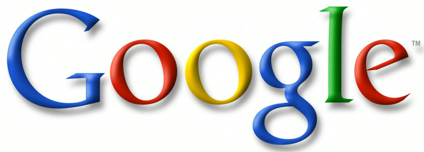
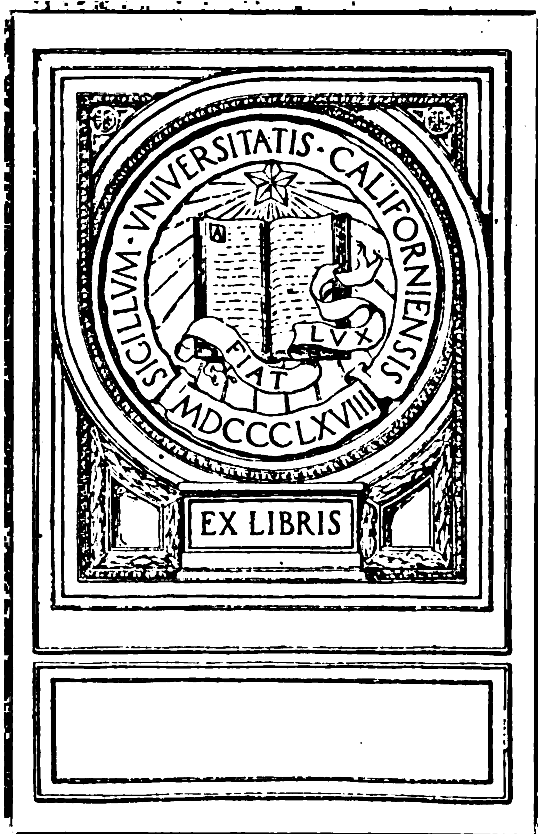
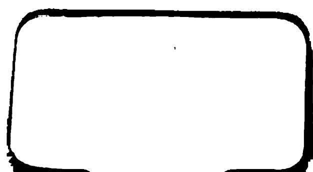



SIGILLVM · VNIVERSITATIS · CALIFORNIENSIS
FIAT
LVX
MDCCCLXVIII
EX LIBRIS



V. Ivanov

Ив. Ивановъ.

toria russkoi kritiki

СТОРІЯ РУССКОЙ КРИТИКИ.

ЧАСТИ ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ.

Изданіе журнала „МІРЪ БОЖІЙ“.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).
1898.

Ив. Ивановъ.

ИСТОРІЯ РУССКОЙ КРИТИКИ.

ЧАСТИ ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ.

Изданіе журнала „МІРЪ БОЖІЙ“.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).
1898.

СОДЕРЖАНІЕ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

стр.

I.

Современное положеніе художественной литературы и критики на Западѣ 1

II.

Новѣйшая французская критика 7

III.

Задача историка русской критики.—Вопросъ о самобытности русской литературы 12

IV.

Сравнительный обзоръ историческаго развитія литературы на Западѣ и въ Россіи.—Литературныя школы во Франціи.—Классицизмъ. 18

V.

Романтизмъ и натурализмъ во французской литературѣ XVIII-го вѣка 24

VI.

Французскій романтизмъ XIX-го вѣка 31

VII.

Натурализмъ, его теорія и практика.—Тэнъ и Золя 36

VIII.

Оппозиція натуральной школы.—Символисты.—Непрестанная смѣна школъ и системъ—сущность литературнаго прогресса Франціи . . 42

IX.

Западныя вліянія на русскую литературу, ихъ отрицательные результаты.—Русскій классицизмъ 51

X.

Русская чувствительная школа и ея отличіе отъ западнаго сентиментализма 56

стр.

XI.

Карамзинское направленіе и его идейное содержаніе 60

XII.

Русскій романтизмъ сравнительно съ западнымъ.—Вопросъ о разочарованіи 68

XIII.

Школа Жуковскаго.—Русскій байронизмъ 73

XIV.

Появленіе самостоятельнаго творчества въ русской литературѣ.—Первая распря отцовъ и дѣтей. 80

XV.

Поколѣніе двадцатыхъ годовъ и его отношенія къ современному обществу.—Вопросъ о новой литературной публикѣ. 85

XVI.

Горе отъ ума въ развитіи новой русской литературы и критики.—Идея свободы и національности творчества 89

XVII.

Роль Пушкина въ исторіи литературныхъ идей.—Реализмъ и народность 94

XVIII.

Эстетика Пушкина 98

XIX.

Вліяніе русской художественной литературы на критику 103

XX.

Преобразованіе русской критики одновременно съ развитіемъ независимаго національнаго творчества.—Публицистическіе мотивы русской эстетики. 110

XXI.

Стилистическо-схоластическій періодъ русской критики.—*Ломоносовъ* 115

XXII.

Сумароковъ и Тредьяковскій, какъ критики и публицисты . . 120

XXIII.

Общественное положеніе русскихъ писателей-классиковъ. 125

XXIV.

Взаимныя литературныя и личныя отношенія писателей классическаго періода.—Полемическіе пріемы классической литературы на Западѣ. 130

стр.

XXV.

Полемика Сумарокова, Тредьяковскаго и Ломоносова.—Общій характеръ русской критики XVIII-го вѣка 136

XXVI.

Юридическій элементъ въ старой литературной критикѣ на Западѣ и въ Россіи 142

XXVII.

Исторія Ломоносова съ академиками-нѣмцами, Тредьяковскаго съ Ломоносовымъ и Сумароковымъ 146

XXVIII.

Ежемѣсячныя извѣстія и *С.-Петербургскія Вѣдомости.*—Словарь Новикова. 152

XXIX.

Преобразовательное направленіе литературы и критики. — Лукинъ—драматургъ и критикъ 157

XXX.

Идеи національности и народности. 162

XXXI.

Единомышленники Лукина въ журналистикѣ и въ поэзіи 167

XXXII.

Крыловъ—публицистъ и критикъ 171

XXXIII.

Критическіе взгляды крыловскаго журнала—*Зритель* 174

XXXIV.

Карамзинъ. — Связь его литературнаго направленія съ его личнымъ характеромъ. 179

XXXV.

Развитіе эстетическихъ идей Карамзина.—Его стиль 183

XXXVI.

Задачи и дѣятельность Карамзина-журналиста 189

XXXVII.

Возрожденіе стилистической критики. — Вопросъ о старомъ и новомъ слогѣ.—Шишковисты и карамзинисты. 194

XXXVIII.

Литературныя общества и періодическія изданія шишковистовъ и карамзинистовъ. 197

стр.

XXXIX.

Оппозиція противъ чувствительнаго направленія 203

XL.

Разложеніе карамзинской школы и начало національно-философскаго направленія русской критики 209

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Оппозиція противъ французской философіи XVIII-го вѣка во Франціи 215

II.

Литературная реформа въ произведеніяхъ г-жи Сталь 222

III.

Возникновеніе новаго философскаго міросозерцанія 226

IV.

Вопросъ о всеобъемлющемъ философскомъ и нравственномъ принципѣ 231

V.

Сенсимонизмъ и его вліяніе на русскую молодежь 235

VI.

Научныя идеи сенсимонизма.—Вопросъ о *вдохновеніи* и *откровеніи*.—Внутренняя связь сенсимонизма съ французскимъ мистицизмомъ и германской философіей 239

VII.

Германская философія въ началѣ XIX-го вѣка.—Ея политическое и нравственное содержаніе 246

VIII.

Принципы философіи Фихте 251

IX.

Культурные выводы фихтіанства.—Идейный первоисточникъ русскаго славянофильства 254

X.

Философская и практическая несостоятельность системы Фихте.—Элементы новой школы 260

стр.

XI.

Шеллингъ.—Роль романтизма и естествознанія въ развитіи шеллингіанства 263

XII.

Гёте и Шеллингъ.—Основныя положенія шеллингіанства 266

XIII.

Культурное и научное значеніе шеллингіанства.—Эстетика Шеллинга 270

XIV.

Судьбы западной философіи въ Россіи 275

XV.

Философскія направленія въ Россіи въ эпоху двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ.—Профессорская и студенческая философія.—Велланскій 280

XVI.

Галичъ 286

XVII.

Судьба философіи въ петербургскомъ университетѣ 291

XVIII.

Шеллингіанство въ московскомъ университетѣ 295

XIX.

Значеніе русскаго академическаго шеллингіанства въ литературной критикѣ 298

XX.

Мерзляковъ.—Возникновеніе литературныхъ кружковъ 304

XXI.

Дружеское литературное общество.—Его вліяніе на Мерзлякова.—Прогрессивныя идеи Мерзлякова 309

XXII.

Теоретическая эстетика въ критикѣ Мерзлякова 314

XXIII.

Каченовскій и *Вѣстникъ Европы* 319

XXIV.

Появленіе романтизма. — Надеждинъ — сотрудникъ *Вѣстника Европы* 323

стр.

XXV.

Надеждинъ, какъ писатель и критикъ. — Вопросъ объ его вліяніи на Бѣлинскаго 328

XXVI.

Надеждинъ.—Его подготовительная педагогическая дѣятельность и сотрудничество у Каченовскаго 334

XXVII.

Статьи Никодима Надоумко 338

XXVIII.

Диссертація Надеждина.—Его эстетическія и общественныя идеи.—Его понятіе о народности и національности 344

XXIX.

Надеждинъ-издатель. — *Телескопъ.* — Перемѣна во взглядахъ Надеждина 351

XXX.

Общій выводъ о значеніи Надеждина—профессора, критика и журналиста 356

XXXI.

Шеллингіанство среди университетской молодежи.—Павловъ—профессоръ и редакторъ.—Общій смыслъ его дѣятельности 363

XXXII.

Нравственное вліяніе новой философіи на русское общество.—Вопросъ о русскомъ *среднемъ сословіи.*—Ученость разночинцевъ и просвѣщеніе высшаго класса 370

XXXIII.

Чего искала русская молодежь въ германской философіи 378

XXXIV.

«Любомудріе» въ Москвѣ.—Университетскій пансіонъ, литературные кружки.—Идеализмъ и практика русскихъ шеллингіанцевъ . . . 383

XXXV.

Отраженіе шеллингіанской эстетики въ русской литературѣ.—Мотивы символизма въ шеллингіанствѣ 388

стр.

XXXVI.

Германская философія и русскій націонализмъ 395

XXXVII.

Философія русской исторіи у русскихъ шеллингіанцевъ 399

XXXVIII.

Русская молодая школа шеллингіанства. 405

XXXIX.

Изученіе народнаго творчества 411

XL.

Веневитиновъ.—Періодическія изданія критиковъ-философовъ.—Кюхельбекеръ.—Общій характеръ русскихъ философовъ. какъ журналистовъ. 417

XLI.

Критическія статьи Веневитинова 421

XLII.

Критическія статьи Кирѣевскаго.—Взглядъ на Пушкина 426

XLIII.

Обозрѣніе русской словесности за 1829 годъ. 430

XLIV.

Критики-поэты 435

XLV.

Полярная звѣзда.—Рылѣевъ, какъ критикъ. 440

XLVI.

Критическія статьи Бестужева-Марлинскаго 445

XLVII.

Полярная звѣзда и *Московскій Телеграфъ.* 453

XLVIII.

Судьба Полевого, какъ писателя 460

XLIX.

Исторія умственнаго развитія Полевого.—Возникновеніе *Московскаго Телеграфа.*—Роль кн. Вяземскаго.—Общій характеръ журнала . 465

стр.

L.

Полемика въ *Телеграфѣ*.—Гоненія на Полевого 471

LI.

Критическія воззрѣнія *Телеграфа* 480

LII.

Полевой и Карамзинъ.—Судьба *Исторіи государства россійскаго* въ критикѣ тридцатыхъ годовъ 488

LIII.

Общественныя и культурно-историческія идеи *Телеграфа*. . . . 494

LIV.

Издательскіе планы Полевого.—Запрещеніе *Телеграфа* 501

LV.

Общественное мнѣніе современниковъ о Полевомъ и общій историческій смыслъ его дѣятельности 505

ИСТОРІЯ РУССКОЙ КРИТИКИ.

I.

Въ наше время всевозможныхъ «кризисовъ» и «переходныхъ состояній» литературѣ и литературной критикѣ выпала едва ли не самая печальная доля. Нельзя сказать, чтобы область художественнаго слова оскудѣла талантами. Страна, въ теченіи цѣлыхъ вѣковъ дававшая тонъ европейской культурной работѣ, и на нашихъ глазахъ можетъ гордиться литературной производительностью. Имена французскихъ авторовъ въ концѣ XIX-го вѣка пользуются такою же всемірной славой, какая сопровождала, напримѣръ, дѣятельность первостепенныхъ свѣтилъ прошлаго, въ родѣ Вольтера и его соратниковъ. Нельзя отрицать и дѣйствительнаго таланта у такихъ людей, какъ Золя, Додэ, Мопассанъ. Процвѣтаетъ даже поэзія, т. е. ежегодно появляются тучи стихотворныхъ сборниковъ. Повидимому, вполнѣ краснорѣчиво опровергается ходячее мнѣніе, будто нашъ вѣкъ отличается исключительной прозаичностью и зараженъ неизлѣчимымъ матеріализмомъ. Напротивъ, очень энергичная новѣйшая поэтическая школа твердо намѣрена водворить на землѣ до сихъ поръ невиданную красоту, и раскрыть предъ нами небывало-свѣтлыя безграничныя перспективы чистѣйшаго вдохновенія...

То же самое и въ критикѣ. На каждомъ шагу произносятся авторитетнѣйшія имена литературныхъ судей, настоящихъ философовъ въ области искусства. Русскіе читатели не перестаютъ до послѣднихъ дней въ тѣхъ же иноземныхъ книгахъ искать окончательныхъ отвѣтовъ на исконные вопросы эстетики, какъ науки, и непогрѣшимыхъ приговоровъ надъ отдѣльными писателями и произведеніями. Противъ именъ Золя и Мопассана съ полнымъ основаніемъ можно поставить имена Тэна и Брандеса и логически заключить о такомъ же процвѣтаніи критики, какимъ пользуется ея предметъ—художественная литература.

«Все обстоитъ благополучно!» могъ бы воскликнуть наблюдатель, окинувъ общимъ взглядомъ современыхъ авторовъ и читателей.

И между тѣмъ, немедленно противъ этого утѣшительнаго вывода послышится протестъ и именно съ той стороны, гдѣ, по только что указаннымъ фактамъ, ему, кажется, совсѣмъ нѣтъ мѣста.

Вы говорите, литература да еще художественная процвѣтаетъ? Жестоко заблуждаетесь. Ея дни сочтены. Если вамъ и попадаются еще страницы, проникнутыя священнымъ огнемъ, это послѣднія сказанія, недопѣтыя пѣсни. Еще, можетъ быть, вы сами услышите ихъ послѣдніе отзвуки и будете присутствовать при безнадежномъ умираніи истиннаго искусства.

Трагическій конецъ неизбѣженъ. Посмотрите, кто въ концѣ нашего вѣка заправляетъ жизнью и является господиномъ во всѣхъ ея областяхъ? Люди, по самой природѣ и особенно по условіямъ своего существованія менѣе всего расположенные къ «искусствамъ творческимъ, прекраснымъ». Это—демократія, провозгласившая неукротимую и безконечную *борьбу интересовъ*, призвавшая всѣ человѣческія силы и способности на поприще политики, исключительно практическихъ стремленій даннаго времени. Это — чернь, горящая жаждой завоевать себѣ первенствующее мѣсто въ государствѣ и обществѣ, и уже на самомъ дѣлѣ занимающая вершины современной цивилизаціи... Развѣ ей нужны поэты, художники, романисты, годами, вдали отъ людской суеты, лелѣющіе чудныя грезы своего творческаго духа и являющіе ихъ міру— будто отдѣланные бриліанты чистѣйшей воды?

Нѣтъ. Широкій путь дѣльцамъ, ораторамъ и особенно журналистамъ, и какой-нибудь заброшенный закоулокъ для горсти чудаковъ, смѣющихъ еще ропотъ лиры предпочитать уличному шуму.

Древній философъ предлагалъ изгнать изъ идеальнаго государства поэтовъ, новѣйшій философъ, блестящій ученый и самъ поэтъ, убѣжденъ, что поэты просто перестанутъ родиться въ грядущемъ царствѣ демократіи. Вопросъ о хлѣбѣ убьетъ слово, и полудикій матеріалистъ Калибанъ до послѣдней пылинки развѣетъ чары благороднаго артиста Просперо.

Таковы идеи Ренана, превосходно развитыя въ одной изъ его философскихъ драмъ.

Идеи не умерли. Ими могли воспользоваться люди совершенно другого характера и направленія, и, пожалуй, еще логичнѣе доказать неминуемую гибель творчества.

Въ самомъ дѣлѣ, какъ оно можетъ устоять не противъ де-

мократіи, а вообще, противъ поразительно-быстрыхъ успѣховъ положительнаго знанія въ наукѣ и здраваго смысла въ жизни? Искусство живетъ чувствомъ и воображеніемъ. Разсудокъ и простой реальный фактъ—его смертельные враги. Правда, поэтическихъ силъ въ настоящее время еще большой запасъ у всѣхъ культурныхъ народовъ. Человѣчество еще не пережило даже юношескаго возраста, какъ бы подчасъ ни были прозаичны и жестокоразсудительны отдѣльныя личности. Въ общемъ у людей еще много восторженности и свѣжести, сколько бы ни казалась дѣйствительная жизнь дѣломъ грубымъ и труднымъ, и для поэтовъ— этихъ вѣчныхъ дѣтей—еще не мало наивно-впечатлительныхъ любителей *пересозданной* правды.

Но все это не вѣчно. Люди нравственно выростутъ, созрѣютъ умомъ и чувствомъ, и тогда современные, самые трезвые романы покажутся имъ такой же безплодной и смѣшной забавой, какою даже нынѣшніе юноши считаютъ, напримѣръ, сказки и легенды.

Вѣдь когда то чудесныя небылицы были общимъ достояніемъ. Въ нихъ вмѣщалась вся мудрость, всѣ познанія человѣка. До сихъ поръ множество племенъ не знаетъ высшей духовной пищи, кромѣ пѣсни, басни, фантастическаго разсказа. Въ культурныхъ обществахъ не осталось и тѣни этой наклонности.

Можно взять въ примѣръ и другія искусства—танцы, драматическія представленія, пѣніе, музыку. Когда-то, даже среди цивилизованныхъ народовъ и въ эпохи высшаго ихъ развитія, эти удовольствія считались гражданской и религіозной обязанностью. Танцами сопровождались торжественнѣйшія празднества въ честь боговъ и великихъ людей, и театральныя зрѣлища составляли необходимую часть культа. Теперь танцы и даже драматическое искусство утратили свой нравственный смыслъ, сохранились ради услажденія женщинъ, молодыхъ людей и, можетъ быть, скоро превратятся просто въ дѣтское развлеченіе.

Не произойдетъ ли того же самаго и съ литературой? Не станутъ ли искусство и поэзія *атавизмами*, признаками ископаемаго быта? Стихи, напримѣръ, несомнѣнно близки къ полному исчезновенію изъ области серьезной литературы, стихотворецъ въ современной печати почти то же самое, что дѣйствующее лицо интермедіи въ старинной драмѣ: если бы не надо было чѣмъ-нибудь занять публику въ антрактѣ, подобнаго артиста можно бы и не выпускать на сцену... А что же романъ, безраздѣльно владѣющій новой *художественной* публикой,—вы думаете, онъ спасется отъ общаго крушенія?

Врядъ-ли. Присмотритесь къ знаменитѣйшимъ современнымъ романистамъ, ко всей модной и, повидимому, сильнѣйшей литературной школѣ. Вождь ея Золя.

Спросите у него, кто онъ, т. е. какого жанра писатель, онъ не назоветъ себя ни беллетристомъ, ни поэтомъ; онъ—*естествоиспытатель*. Да, и въ самомъ прямомъ буквальномъ смыслѣ слова. Онъ стыдится *искусства*, какъ простой *реторики*, *словеснаго шума* или *игры на флейтѣ*. Онъ—*экспериментаторъ*, совершенно такой же, какъ Клодъ Бернаръ, только въ другой области. Тотъ изслѣдуетъ физическіе организмы, писатель—нравственные и общественные. Любимыя выраженія Золя о себѣ и о своихъ послѣдователяхъ: анатомы, физіологи, отнюдь не художники и даже не литераторы. Клодъ Бернаръ говоритъ: «экспериментаторъ—судебный слѣдователь природы». «Мы романисты,—спѣшитъ прибавить Золя,—судебные слѣдователи людей и ихъ страстей».

Есть еще нѣсколько опредѣленій писателя новѣйшаго типа: онъ—собиратель документовъ для законодателей и криминалистовъ, т. е. онъ статистикъ, если угодно, прокуроръ, полицейскій чиновникъ или другое должностное лицо, только не наблюдатель въ старомъ смыслѣ слова. Онъ вѣритъ исключительно въ анализъ и не стѣсняется догматами религіи добра и зла. Такъ открыто заявляетъ глава школы и пускаетъ въ ходъ всю энергію стиля и храбрость вождя всякій разъ, когда на пути встрѣчается отголосокъ отжившаго свой вѣкъ искусства, малѣйшій намекъ на вдохновеніе или просто авторское участіе душой и сердцемъ въ изображаемой дѣйствительности.

Вы видите, сами литераторы открещиваются отъ литературнаго званія и бросаются во всѣ области человѣческой дѣятельности за поисками новыхъ, не литераторскихъ—правъ на существованіе. Развѣ это не краснорѣчивое свидѣтельство въ высшей степени оригинальнаго поворота? Развѣ романистъ, во что бы то ни стало желающій *прикрыть* свое дѣло естествознаніемъ или юриспруденціей, не доказываетъ шаткости чисто литературныхъ основъ для болѣе или менѣе достойнаго положенія писателя? Вѣдь Золя совершенно искренно отожествляетъ свои романы съ протоколами и документами, т. е. съ чисто фактическими данными. Онъ счелъ бы себя оскорбленнымъ, если бы вы похвалили его за силу творчества, за *выдумку*, какъ выражался Тургеневъ, высоко цѣнившій даръ художника—наблюденную жизнь претворять въ фактъ своего творческаго духа.

И такъ, уже въ наше время литературѣ, какъ самостоятельному искусству, нѣтъ мѣста. Оно только *форма* для занимательнаго воспроизведенія точныхъ явленій жизни и писатель—лицо страдательное, своего рода одушевленный аппаратъ для воспріятія дѣйствительности и передачи ея публикѣ.

Судьба литературной критики еще печальнѣе, и здѣсь положеніе дѣла даже опредѣленнѣе, чѣмъ въ искусствѣ.

Если демократическій строй современной и особенно грядущей жизни такъ враждебенъ поэзіи, онъ рѣшительно не допускаетъ тщательнаго изученія поэтическихъ произведеній, фатально устраняетъ съ литературной сцены разсужденія эстетическаго и просто историко-литературнаго содержанія. Новое время создало особый видъ литературы—*журналистику*, и вотъ она-то жесточайшій врагъ не только критики, а вообще—вдумчивой безпристрастной мысли.

Власть журналистики появилась на европейскомъ горизонтѣ одновременно съ распаденіемъ стараго аристократическаго и художественно-прекраснаго общества. Революція—ея родоначальникъ. Съ тѣхъ поръ, въ теченіе всего столѣтія, она не перестаетъ развиваться съ страшной быстротой и становится единственной царицей публики. Ея жизненный нервъ, смыслъ ея бытія—*фактъ*—непремѣнно новый, пойманный на лету и сообщенный читателямъ, во имя только новизны, безъ всякой заботы о качествѣ и значеніи факта. Печать — это громадная хроника, безконечная вереница *faits divers*, по возможности полное отраженіе чрезвычайно сложной и суетливой современной жизни.

Очевидно, въ этомъ океанѣ все спускается до уровня *факта*, все—предметъ «разныхъ сообщеній»—и парламентская рѣчь, и уличный скандалъ, и театральная пьеса, и книга знаменитаго романиста. И послѣдняя новость, пожалуй, самая несущественная въ ряду другихъ, потому что практическое вліяніе литературныхъ произведеній въ средѣ, дающей тонъ новой жизни, совершенно ничтожно. Здѣсь просто ихъ не читаютъ, за обиліемъ насущныхъ дѣлъ. Преданіе о блестящихъ салонныхъ обществахъ, тратившихъ ежедневно цѣлые часы на восторги и толки по поводу какой-нибудь брошюры Вольтера или пьесы Бомарше, звучатъ для насъ едва вѣроятной сѣдой стариной.

Можетъ ли при такихъ условіяхъ журналистика заниматься критикой? Вѣдь критика непремѣнно выясненіе извѣстныхъ идей, пропаганда ихъ, съ цѣлью прямого воздѣйствія на воззрѣнія и

практическую жизнь читателя. Для этого писатели должны стоять во главѣ умственнаго движенія. Ничего подобнаго нѣтъ въ нашемъ столѣтіи. Политическая рѣчь и финансовый бюллетень гораздо важнѣе для публики, чѣмъ основательнѣйшій разборъ хотя бы даже романа Золя.

Въ результатѣ журналистика свела критику къ нулю, замѣнила ее новостями книжнаго рынка, самое большее выписками изъ выходящихъ книгъ, т. е. на мѣсто эстетики водворился *репортажъ*.

Во Франціи, со смерти Сентъ-Бёва, съ конца шестидесятыхъ годовъ непрестанно раздаются жалобы на безнадежный упадокъ критики: жалуются, конечно, идеалисты, которымъ трудно примириться съ исчезновеніемъ когда-то столь великой общественной силы. Какой-нибудь академикъ, философъ или профессоръ, въ родѣ Ренана, Каро, Лансона, сдѣлаетъ отчаянную вылазку противъ современной литературной язвы, выставитъ съ большимъ эффектомъ изъяны журналистики, ея растлѣвающее вліяніе на писателей и публику,—статья, можетъ быть, прочтется съ интересомъ, — но жизнь не внемлетъ даже самымъ благороднымъ воплямъ! Она тяжелой вѣковой стопой давитъ послѣдніе отпрыски стараго культа и на мѣсто Аполлона неумолимо воздвигаетъ какую-то темную, безформенную массу, именуемую «политикой», «соціальными вопросами» и просто «интересами дня».

И, что́ особенно любопытно, эта замѣна стихійно подчиняетъ даже тѣхъ, кто негодуетъ на врага критическаго искусства.

Тотъ же Золя не уступитъ ни одному академику негодованіемъ на журналистику, пожравшую критику, на *репортеровъ*, устранившихъ всякій литературный трибуналъ. Но что̀ же такое собственная дѣятельность Золя, какъ не репортажъ, хотя и болѣе высокаго стиля? Вѣдь онъ, въ качествѣ естествоиспытателя, судебнаго слѣдователя и добросовѣстнаго протоколиста, обязанъ вѣчно гоняться за тѣми же *faits divers*, романъ превращать въ хронику. Брюнетьеръ, можетъ быть, и не правъ, когда вотъ уже нѣсколько лѣтъ всю натуральную школу упорно отождествляетъ съ репортерствомъ и порнографіей, но большая доля истины здѣсь несомнѣнна. Золя съ своими знаменитыми записными книжками, собраніемъ газетныхъ вырѣзокъ, и особенно изъ отдѣла судебныхъ отчетовъ, самый настоящій представитель не литературы, а журналистики. Она — первоисточникъ искусства Золя и питательный нервъ его таланта. Не даромъ же онъ самъ

рекомендуетъ ученымъ и юристамъ изучать его романы, какъ подлинные фактическіе документы.

Можно ли послѣ этого жаловаться на упадокъ критики, если само искусство такъ покорно приспособляется къ всемогущей современной стихіи? Критикѣ оставалось до конца совершить намѣченный путь, и она это сдѣлала, повидимому, окончательно.

II.

Параллельно съ художественнымъ репортажемъ натуральной школы, возникъ еще болѣе откровенный критическій репортажъ критиковъ импрессіонистовъ. Имя популярнѣйшаго изъ нихъ—Леметра—извѣстно и у насъ.

Онъ неоднократно принимался доказывать невозможность критики въ старой формѣ, т. е. съ опредѣленными принципами и взглядами. Ни сужденій, ни приговоровъ въ искусствѣ нѣтъ, существуютъ одни лишь *впечатлѣнія*. Зависятъ они не отъ убѣжденій, вообще не отъ какихъ бы то ни было постоянныхъ и прочныхъ силъ, а исключительно отъ настроенія духа, отъ случайнаго совпаденія разныхъ обстоятельствъ. Ни руководящей идеи, ни опредѣленной цѣли совсѣмъ не требуется для критической статьи. Это—просто занимательная *causerie*, ни къ чему никого не обязывающая. Пришелъ человѣкъ въ общество, садится въ кружокъ, и начинаетъ сообщать, что видѣлъ и слышалъ. Завтра, можетъ быть, онъ совсѣмъ иначе разскажетъ все это... Что же дѣлать! Это будетъ вина его памяти или состоянія его желудка, а вовсе не какихъ-либо нравственныхъ или умственныхъ недочетовъ. О нихъ не можетъ быть даже и вопроса именно въ литературной критикѣ.

Отсюда самая подходящая форма—газетный фельетонъ. Онъ не составитъ дисгармоніи съ прочими *faits divers*, онъ вполнѣ терпимъ въ самой бойкой журнальной лавочкѣ, потому что ни по содержанію, ни по существу ничѣмъ не отличается отъ репортажа. Разница только въ словесной формѣ: репортажъ о явленіяхъ литературы *виртуознѣе*, чѣмъ о городскихъ происшествіяхъ.

И хотите знать настоящую мораль современной эстетики, высказанную знатокомъ дѣла, все тѣмъ же незамѣнимымъ Золя? Его рѣчь, какъ всегда, ясная и откровенная, вполнѣ примѣнима и къ критикѣ.

«Для меня вопросъ таланта является рѣшающимъ въ литературѣ. Я не знаю, что понимаютъ подъ словами писатель нравствен-

ный и писатель безнравственный. Но я очень хорошо знаю, что такое писатель талантливый и писатель бездарный. А разъ у писателя есть талантъ, я считаю, что ему все дозволено. Страница, хорошо написанная, имѣетъ свою собственную нравственность, которая заключается въ красотѣ, въ методѣ, въ энергіи... По моему, непристойными слѣдуетъ считать только тѣ произведенія, которыя дурно задуманы и плохо выполнены».

Ясно до ослѣпительности. *La frase bien tournée* стóитъ какой угодно хорошей мысли. Съ этой точки зрѣнія и излагаются «впечатлѣнія» новыми критиками. Леметръ нисколько не задумывается бойкій водевиль предпочесть всей «славянщинѣ», т. е. Достоевскому и гр. Толстому. Для полнаго торжества школы онъ однажды устроилъ своей публикѣ такое зрѣлище.

Ему хотѣлось доказать, что въ литературѣ вовсе нѣтъ ни великаго, ни ничтожнаго въ нравственномъ смыслѣ, а есть только матеріалъ для хорошо отдѣланныхъ фразъ впечатлительнаго фельетониста.

Леметръ взялъ нѣсколько пьесъ Ожье и Дюма съ особенно популярными и, казалось, вполнѣ опредѣленными героями, и послѣ впечатлѣній критика злодѣи оказались довольно близкими къ добродѣтели, а хорошіе люди очень недалеко отъ порока. Вышло,—не изъ чего было публикѣ волноваться гнѣвомъ или сочувствіемъ, вообще не имѣлось ни малѣйшихъ основаній точно опредѣлять *нравственную* цѣнность дѣйствующихъ лицъ и смыслъ всего произведенія.

Тотъ же самый результатъ, чтó и у Золя, и вообще у всякаго корректнаго репортера. Какое ему дѣло до внутренняго характера происшествія, было бы оно интересно, какъ новость, а ужъ онъ его распишетъ самыми отборными красками!

Намъ припоминается одно не критическое, а художественное произведеніе Леметра, трехактная комедія *Le pardon*. Она чрезвычайно типична для новѣйшихъ направленій и въ искусствѣ, и въ идеяхъ, если только это понятіе умѣстно въ импрессіонизмѣ.

Дѣло идетъ, конечно, о супружеской измѣнѣ. Это роковая тема господствующей школы, но выводы, извлекаемые изъ нея Леметромъ, не лишены оригинальности. Мужъ узналъ о преступленіи жены; вопросъ, какъ устроиться дальше? Простить ее немыслимо: грѣхъ не подлежитъ забвенью, разстаться съ ней логичнѣе всего, но автору это кажется слишкомъ избитымъ мотивомъ. Онъ заставляетъ мужа, въ свою очередь, согрѣшить, и тогда, по убѣж-

денію Леметра, нѣтъ препятствій къ новому счастью супруговъ. Пьеса заканчивается *моралью* въ томъ смыслѣ, что мужу женыизмѣнницы непремѣнно слѣдуетъ совершить такое же преступленіе: это самый дѣйствительный путь вновь связать распавшіяся узы.

Вы видите, даже у импрессіонистовъ есть свой *методъ*. Осуществляется онъ, очевидно, при полномъ устраненіи со сцены самаго понятія о человѣческой нравственности и даже о человѣческомъ достоинствѣ. Пьеса написана очень искусно, въ ней всего три дѣйствующихъ лица: своего рода драматическій фокусъ. Его болѣе чѣмъ достаточно для литературной правоспособности и для серьезнаго общественнаго интереса.

Дальше идти некуда. Искусство и критика сами себѣ произнесли приговоръ и даже опредѣлили свое новое положеніе. Искусство признало себя несвоевременнымъ и поспѣшило затушеваться за спиной науки, критика также помирилась съ перспективой самоубійства. Искусство больше не творитъ, не создаетъ изъ частныхъ явленій жизни чего-то новаго, болѣе яркаго и сильнаго, даже болѣе истиннаго и жизненно-полнаго, чѣмъ отдѣльно взятый фактъ. Писатель ограничиваетъ свое честолюбіе, по возможности, точной записью опытовъ и наблюденій, въ сущности только наблюденій, потому что эксперименты естествоиспытателя отожествлять съ какимъ угодно даже самымъ обширнымъ репортажемъ значитъ наивно или преднамѣренно извращать понятія и самые факты. Въ результатѣ, литература, усиливаясь перестать быть искусствомъ, не пристала и никогда не пристанетъ къ наукѣ. Она переживаетъ будто агонію, судорожно хватаясь за совершенно несродный, чуждый ей предметъ спасенія. Она въ положеніи пловца, покинувшаго давно насиженный берегъ и тщетно тоскующаго о пріютѣ на недоступной сторонѣ потока. Погибнетъ этотъ пловецъ въ волнахъ или вернется вспять?

Исконный стражъ литературы—критика, въ настоящее время утратила свою роль, она болѣе чѣмъ равнодушна къ искусству, она не имѣетъ ничего общаго съ самой основой его бытія. Она больше не судитъ и не оцѣниваетъ, она только ощущаетъ и волнуется не въ смыслѣ какихъ-нибудь глубокихъ и сильныхъ чувствъ, а лишь мимолетнаго нервнаго или чувственнаго возбужденія. *C'est un jeu... Je m'amuse*—вотъ девизы критиковъ, буквально ими признанные и неуклонно оправдываемые до послѣдняго дня. Примѣните этотъ *методъ* къ геніальнѣйшимъ произведеніямъ искусства и къ пошлѣйшимъ продуктамъ бульварныхъ парижскихъ

сценъ, вы легко увидите, гдѣ проще *игра* и доступнѣе *забава*. Тамъ именно и будетъ сочувственное «впечатлѣніе» критика.

Мы могли бы не рисовать этихъ печальныхъ картинъ и совершенно пренебречь судьбой литературы не нашей, а заграничной. Вѣдь цѣль наша—русская критика, какое же намъ дѣло до Золя и Лемэтровъ?

Къ сожалѣнію, нѣтъ никакой возможности обойти непріятный вопросъ. Французская литература и особенно критика всегда были и до сихъ поръ остаются первенствующими во всѣхъ литературахъ. Англійскихъ и итальянскихъ критиковъ у насъ не знаютъ даже по именамъ, за самыми скудными исключеніями; на долю Германіи былъ и, повидимому, долго еще будетъ одинъ Лессингъ. Совершенно иное значеніе французовъ.

Многіе изъ нихъ не только читаются, но занимаютъ положеніе классическихъ писателей. Сентъ-Бёвъ не забытъ до настоящаго времени, Тэнъ—чуть ли не общепризнанный авторитетъ, Брандесъ, также насчитывающій у насъ не мало поклонниковъ, самъ называетъ себя ученикомъ только-что названныхъ учителей, даже импрессіонизмъ, въ лицѣ Лемэтра, стяжалъ обширную извѣстность въ нашей періодической печати, и чтобы дополнить картину, приходится упомянуть самого Франциска Сарсэ,—одно изъ курьезнѣйшихъ явленій парижской blague по банальности и культурной ограниченности!..

Это—цѣлый Олимпъ, и нѣтъ основаній разсчитывать, чтобы и *будущее* его населеніе не встрѣтило у насъ такого же пріема. Можетъ быть, долго еще суждено намъ изображать галлерею на всеевропейскихъ спектакляхъ. По крайней мѣрѣ, до сегодня мы все еще проявляемъ высшую температуру даже при сравнительно заурядной игрѣ совсѣмъ не первостепенныхъ артистовъ. Взять хотя бы того же Сарсэ. Въ отечествѣ давно опредѣлили его «преобладающую способность» — судить о литературѣ съ пониманіемъ и чувствомъ лавочниковъ и французскихъ «титулярныхъ совѣтниковъ». Это—фигура комическая и для литературы оскорбительная, чуть ли не единственный фельетонистъ въ Парижѣ, не умѣющій писать хорошимъ французскимъ языкомъ... Но у насъ другое дѣло! Сарсэ—сотрудникъ большой газеты, человѣкъ извѣстный и мы, будто провинціалъ, въ первый разъ попавшій въ столичный театръ, всѣ декораціи находимъ восхитительными и всякую игру неподражаемой. Да, какъ бы странны ни казались эти выраженія о русскихъ чувствахъ по поводу заграничныхъ

авторовъ и модъ, они вполнѣ оправдываются и нашими общественными науками, и нашей литературой—искусствомъ и публицистикой.

Мы не имѣемъ права равнодушно смотрѣть на судьбу несомнѣнно самой блестящей и вліятельной европейской критики. У насъ является совершенно естественная мысль: а чтò же ждетъ наше художественное творчество и нашу критику? Вѣдь мы—*genus europaeum*, какъ выражался Тургеневъ, и обязаны въ силу законовъ природы пройти *европейскій* путь цивилизаціи. Мы его начали и продолжаемъ. Мало того. На каждомъ нашемъ шагу можно указать самые подлинные слѣды *европеизма* и мы еще до сихъ поръ заботимся о преумноженіи этихъ слѣдовъ, немедленно принимаясь клясться именами день за днемъ возникающихъ на Западѣ знаменитостей.

Спросите у русскаго журналиста, не мечталъ ли онъ въ часы «өемистокловой» безсонницы стать русскимъ Тэномъ, Брандесомъ, даже Сарсэ? Онъ такъ часто съ вѣрноподданнической покорностью подражающій имъ или просто компилирующій ихъ произведенія? И въ устахъ публики несомнѣнно высшей похвалой русскому критику звучало бы заявленіе: это—русскій Сентъ-Бёвъ! И сколько сердецъ сжимается отъ мысли никогда не слышать и не произносить подобныхъ сравненій!..

И вотъ въ отечествѣ Сентъ-Бёвовъ и Тэновъ совершается полный разгромъ критическаго искусства и литературнаго творчества. Бѣдные скиөы не останавливаются и предъ этой перспективой. «Репортажъ и порнографія» быстро водворяются на русской почвѣ, въ еще болѣе грубыхъ формахъ, чѣмъ на Западѣ, потому что Золя все-таки крупный литературный талантъ, а Мопассанъ, можетъ быть, даровитѣйшій писатель всѣхъ новѣйшихъ западныхъ литературъ. Скиөы мчатся и дальше: будто по психопатическому воздѣйствію они усердствуютъ на поприщѣ декаданса и символизма... Короче, нѣтъ ни одной прихоти міровой столицы, ни одного даже временнаго припадка среди парижскихъ скучающихъ мщедѣевъ или просто литературныхъ промышленниковъ, ничего, что бы немедленно не пріѣхало къ намъ на пароходѣ.

И мы, слѣдовательно, должны ждать импрессіонизма? Сойдутъ со сцены писатели стараго типа, и на смѣну имъ придетъ поколѣніе репортеровъ всевозможныхъ спеціальностей. Ихъ грядущее царство уже чувствуется,—даже больше: къ нимъ пристаютъ старики, трусливо и угодливо поддѣлываясь подъ тонъ *новаго* слова...

Не выходитъ ли въ результатѣ, — писать при такихъ условіяхъ исторію русской критики, значитъ становиться въ положеніе римскихъ историковъ и моралистовъ эпохи упадка. Въ сущности, пожалуй, хуже.

III.

У старыхъ писателей, приходившихъ въ отчаяніе отъ современныхъ пороковъ и забвенія античной доблести, была искренняя вѣра въ душеспасительное слово. Когда Ливій разсказывалъ о древнихъ республиканцахъ, а Тацитъ изображалъ идеальные нравы дикихъ германцевъ, оба историка разсчитывали подѣйствовать своими повѣствованіями на растлѣнныхъ современниковъ, вызвать у нихъ соревнованіе, пробудить совѣсть и снова на классической почвѣ великихъ подвиговъ создать Муціевъ и Цинциннатовъ.

Да, такъ думали и даже откровенно заявляли историки. Съ ними была согласна и публика. Исторія всѣми считалась благодарнѣйшимъ источникомъ *примѣровъ* и нравственно-просвѣщающаго краснорѣчія. Мы не знаемъ, на сколько практически оказалась плодотворной эта идея; вѣроятно, весьма недостаточно. Но для насъ любопытны чувства писателей, ихъ завидная вѣра въ великую силу своего труда.

У насъ не мыслимо ничего подобнаго. Иному читателю показалось бы прямо забавнымъ, если бы мы пригласили его брать примѣръ съ какого-нибудь Надеждина, Полевого, Бѣлинскаго и стали разсказывать объ ихъ дѣятельности, въ надеждѣ исправить литературные нравы и вкусы публики. Что́ было, того не будетъ вновь, — могли бы отвѣтить намъ. И совершенно справедливо. Плохъ тотъ народъ и безпомощна его литература, если приходится искать спасенія и руководительства въ прошломъ, если въ лицѣ Бѣлинскихъ, какъ бы они талантливы ни были, національная мысль сказала свое послѣднее слово—ума и энергіи.

Нѣтъ. Мы не имѣемъ въ виду никакихъ поученій. Наша цѣль неизмѣримо серьезнѣе и труднѣе. Мы стремимся не къ внушенію, а логикѣ, желаемъ въ прошломъ отыскать не мораль, а законъ историческаго развитія нашей литературы. Мы прослѣдимъ его безъ всякаго вмѣшательства гражданскихъ чувствъ и публицистическихъ настроеній.

Это заявленіе можетъ показаться чрезвычайно притязательнымъ и даже, пожалуй, двусмысленнымъ. Именно русская критика—это извѣстно рѣшительно всякому читателю—до такой сте-

пени переполнена публицистикой и гражданскими мотивами, что разсказывать ея исторію и остаться свободнымъ какъ разъ отъ ея самыхъ сильныхъ и жизненныхъ стихій—задача неразрѣшимая. Голосъ партіи, личнаго сочувствія заговоритъ непремѣнно, и особенно у историка, начавшаго свою работу какъ разъ гражданскими сѣтованіями и явнымъ критическимъ недовольствомъ.

Да, конечно, сочувствіе и противоположное настроеніе неизбѣжны вообще во всякомъ историческомъ разсказѣ. Мы твердо убѣждены,—объективная, будто чистое искусство — цѣломудренная исторія, врядъ ли осуществима. До сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, всѣ громогласныя заявленія историковъ достигнуть безпристрастія и *безличія* натуралистовъ въ научной работѣ кончались не только полной неудачей, а приводили даже къ совершенно противоположной практикѣ, напримѣръ, у Тэна. Желаніе болѣе достойнаго и даровитаго представителя исторической науки Ранке «погасить свое *я*», чтобы видѣть вещи въ ихъ чистой, ничѣмъ незаслоненной формѣ, идетъ въ разрѣзъ съ основными качествами историка. Именно, разносторонность и отзывчивость личности, первыя условія яснаго и глубокаго пониманія дѣйствительности. А потомъ, такое самоотреченіе психологически невозможно, если только у повѣствователя о чужихъ мысляхъ и дѣлахъ существуетъ какое-либо свое опредѣленное міросозерцаніе и живой интересъ, хотя бы только къ цивилизаціи и къ человѣческому прогрессу вообще.

Мы, слѣдовательно, даже и помышлять не можемъ объ оцѣнкѣ русскихъ критиковъ «по методу натуралистовъ». Мы сознаемся въ полной своей неспособности разсматривать даже самыхъ мелкихъ дѣятелей общественной мысли, будто растенія и организмы. Насъ, какъ и всякаго историка, связываетъ неразрывная нравственная связь со всѣми существами нашей породы, и древній писатель правъ, видя самый прочный залогъ славы великихъ благодѣтелей человѣчества въ существованіи этой связи. Люди отдаленнѣйшихъ поколѣній могутъ протянуть руку Сократу, какъ близкому другу, и если бы они не почувствовали желанія сдѣлать это, ихъ съ полнымъ правомъ можно было бы обвинить въ одномъ изъ самыхъ отвратительныхъ пороковъ. Такихъ Сократовъ знаетъ и наша исторія и мы не надѣемся впасть въ великій грѣхъ неблагодарности.

Но въ началѣ работы насъ занимаетъ не отношеніе къ отдѣльнымъ личностямъ, не та или другая оцѣнка фактовъ и людей,

я самый смыслъ нашей исторіи. Онъ, конечно, также лишенъ платоническаго характера, не представляется намъ въ формѣ чисто-литературнаго упражненія. Напротивъ, желаніе открыть его подсказано самыми повелительными, на нашъ взглядъ, интересами русскаго художественнаго творчества и русской критической мысли въ настоящемъ и будущемъ. Наблюдая новѣйшій поворотъ въ развитіи западной литературы, русскій читатель какъ нельзя болѣе естественно можетъ задаться вопросомъ: какое же положеніе займетъ русское искусство среди явныхъ признаковъ упадка и разложенія одной изъ самыхъ блестящихъ европейскихъ литературъ? Не дѣйствуютъ ли и въ его исторіи тѣ самыя силы. какія привели французскихъ писателей къ натурализму, импрессіонизму и символизму? Вопросы эти тѣмъ настоятельнѣе, что отголоски названныхъ теченій нашли у насъ сочувственный пріемъ и съ новой силой пробудили исконный недугъ русскаго человѣка— проявить возможно точную переимчивость и безупречную подражательность. Что это—неизбѣжный симптомъ въ поступательномъ движеніи нашей литературы, такая же *исторически необходимая* форма, какъ и на Западѣ, или мимолетное и болѣзненное отклоненіе съ исконнаго прямого пути?

Отвѣтъ, повидимому, съ самаго начала возможенъ вполнѣ опредѣленный: наша литература—растеніе пересадочное. Изъ этой идеи Бѣлинскаго прямое слѣдствіе: законность совпаденія нашихъ литературныхъ явленій съ европейскими, т. е. водвореніе натурализма и символизма въ творчествѣ, импрессіонизма въ критикѣ. А если не импрессіонизма, по крайней мѣрѣ системъ Тэна, Сентъ-Бёва или эклектической критики въ лицѣ Брандеса.

Но именно этотъ логическій и даже въ дѣйствительности осуществляющійся выводъ, по нашему убѣжденію, является величайшимъ недоразумѣніемъ, какое только возможно въ обобщеніяхъ историческаго и культурнаго содержанія. Мы—*genus europaeum*, мы—ученики Европы и въ наукѣ, и въ искусствѣ; эти положенія вполнѣ правильны. Но мы не даромъ прожили около семи вѣковъ внѣ западной цивилизаціи. При самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ культурнаго развитія, народъ, обладающій запасомъ нравственныхъ силъ, непремѣнно выработаетъ извѣстный оригинальный складъ натуры, создастъ *свою* почву для будущихъ общечеловѣческихъ сѣмянъ.

Что̀ такая натура и почва существуютъ у русскаго народа— это простой труизмъ. Иностранцы, напримѣръ, даже увѣрены, будто

именно русскій типъ менѣе всего способенъ сглаживаться и ассимилироваться при какихъ бы то ни было внѣшнихъ воздѣйствіяхъ. Для истины *въ такой* формѣ не требуется нашихъ доказательствъ. Но вопросъ получаетъ совершенно другое направленіе, перенесенный въ область литературы.

Въ послѣднее время наши писатели стяжали обширную извѣстность на Западѣ, особенно во Франціи. Вы полагаете, потому что за ними единодушно признана невѣдомая западному человѣку оригинальность творчества и міросозерцанія? Вовсе нѣтъ.

Одновременно съ распространеніемъ въ публикѣ сочиненій Тургенева, Толстого, Достоевскаго поднялся оглушительный вопль критиковъ. Они, подобно мольеровскому герою, принялись кричать: *Au voleur! Au voleur*, т. е. откровенно уличали нашихъ романистовъ въ плагіатѣ изъ ихъ же французскихъ авторовъ. А что не плагіатъ, то сплошная нелѣпость, «славянщина» или утомительно скучная, или просто безсмысленная. Прочтите статьи Леметра, Сарсэ, Вогюэ о произведеніяхъ, какія у насъ считаются славой русской литературы, вы, пожалуй, устыдитесь быть соотечественниками такихъ двусмысленныхъ компиляторовъ. *Преступленіе и наказаніе*, напримѣръ, просто глава изъ похожденій Лекока, весь Тургеневъ—ученикъ Бальзака. Правда, Тургеневъ заявлялъ о своемъ отвращеніи именно къ этому французскому романисту, но это только вѣчная человѣческая неблагодарность! Можно ли представить, чтобы у русскихъ вчерашнихъ и даже еще сегодняшнихъ варваровъ было что-нибудь свое въ мысляхъ или въ воображеніи! Русская *оригинальность* или пережитки средневѣкового варварства, или иллюзія читателей, слишкомъ падкихъ на модныя увлеченія чужимъ, не-французскимъ.

И припомните презрительные отзывы Золя о гр. Толстомъ, вліятельнѣйшихъ современныхъ критиковъ объ Островскомъ, негодующія страницы Гонкура о *денаціонализаціи* и одичаніи французовъ подъ вліяніемъ «московитскихъ» сочувствій, познакомьтесь съ высокомѣрными снисходительными настроеніями «друзей» Тургенева, вы, при извѣстной впечатлительности и обычной русской довѣрчивости къ западнымъ авторитетамъ, невольно задумаетесь надъ участью нашихъ бѣдныхъ великихъ людей! Если первостепенные писатели являются у насъ только популяризаторами Флобера, Жоржъ Зандъ, Бальзака, чего же ждать отъ менѣе сильныхъ,—вообще отъ настоящаго и будущаго нашей литературы?..

Мы рѣшаемся утверждать нѣчто совершенно обратное неиз-

бѣжному отвѣту на этотъ вопросъ. Мы намѣрены доказать, что русская и французская литература *два совершенно различныхъ типа* въ исторіи мірового творчества, и здѣсь французская должна быть понимаема какъ *представительница* вообще западно-европейскихъ литературъ.

Въ культурной основѣ русскаго истинно-художественнаго слова и въ психологическомъ складѣ русскаго писателя выразился совершенно своеобразный характеръ творческаго генія, столь же мало похожій по своей *внутренней сущности* на французскій, какъ, напримѣръ, русская народная пѣсня на испанскую серенаду или провансальскій романсъ.

У Достоевскаго или Тургенева, несомнѣнно, можно встрѣтить не мало идей и мотивовъ, напоминающихъ романы Гюго и Жоржъ Зандъ, но здѣсь столько же французскаго, сколько у всякаго культурнаго человѣка—общечеловѣческой цивилизаціи, будь онъ парижанинъ или японецъ. Въ области общихъ идей терпимости, свободы, демократизма все человѣчество *genus europaeum* точно такъ же, какъ въ общихъ законахъ логическаго мышленія вся зоологическая порода, homo sapiens—нѣчто цѣльное и единое. Но общіе принципы мысли и основныя цѣли нравственнаго и общественнаго развитія не мѣшаютъ великому разнообразію *выводовъ* и *путей*. И именно въ этомъ разнообразіи и заключается высшее достоинство человѣческой природы и залогъ наиболѣе полнаго и гармоническаго развитія цивилизаціи.

Гюго раньше Достоевскаго написалъ *Les Misérables*, слѣдовательно, былъ предшественникомъ русскаго писателя въ защитѣ униженныхъ и оскорбленныхъ; онъ также раньше его воспѣлъ душу и даже нравственныя совершенства «падшихъ ангеловъ», слѣдовательно, предвосхитилъ драму и идиллію Сони. Такъ именно и полагаютъ французскіе критики, и—трудно рѣшить, чего больше здѣсь, прискорбной наивности или смѣшного національнаго самообольщенія?

Поставьте рядомъ хотя бы Маріонъ Делормъ и ту же Соню, Рюи Блаза и Мармеладова, вамъ немедленно самая мысль о какомъ бы то ни было заимствованіи покажется нестерпимо дикой, невѣроятной. До такой степени одна и та же общая нравственная идея можетъ быть выражена въ совершенно различныхъ художественныхъ образахъ и такъ могутъ расходиться пути, ведущіе къ одной и той же цѣли!

Подобныя сопоставленія можно бы распространить до безко-

нечности, и вездѣ насъ поразитъ ослѣпительная разница художественныхъ пріемовъ у русскихъ и западныхъ писателей, разница именно тамъ, гдѣ культурная и нравственная основа образа или мотива тождественна. Очевидно, предъ нами двѣ необычайно глубокихъ разновидности творческой психологіи, приведшія не только къ несходнымъ результатамъ, но создавшія для себя почти противоположные пути историческаго развитія. Исторія русской литературы тамъ, гдѣ предъ нами дѣйствительно національная литература не имѣетъ ничего общаго съ исторіей европейскихъ литературъ, ни по фактамъ, ни по внутреннему смыслу.

Можетъ показаться, мы настаиваемъ на очень простомъ и общеизвѣстномъ фактѣ. Къ сожалѣнію, нѣтъ. Основная оригинальная черта именно историческаго хода нашего искусства до сихъ поръ не раскрыта и не оцѣнена. Принято думать, русская литература своего рода энциклопедія европейскихъ литературъ, наше творчество—складъ чужихъ вѣковыхъ богатствъ. Не даромъ самое передовое и плодотворное теченіе нашей общественной мысли именуется *западничествомъ*. Въ статьяхъ о Писемскомъ мы доказывали, какъ, въ сущности, мало было западнаго въ русскомъ западничествѣ, мало какъ разъ въ его практическихъ, освободительныхъ вліяніяхъ. Теперь мы намѣрены возможно ярче и полнѣй выставить на видъ основную и для насъ руководящую истину: русская художественная литература и, слѣдовательно, критика—явленія совершенно самобытныя въ кругу другихъ литературъ и неизмѣримо болѣе оригинальныя, чѣмъ, напримѣръ, та же французская литература по сравненію съ итальянской и англійской, нѣмецкая параллельно съ французской, и, въ свою очередь, англійская литература XIX-го вѣка рядомъ съ французскимъ романтизмомъ и натурализмомъ.

Понятіемъ самобытности мы пользуемся безъ всякихъ нарочитыхъ чувствъ. Мы не намѣрены проникаться никакими «національными» настроеніями: подобныя настроенія не имѣютъ ни малѣйшей цѣны, если они только лиризмъ и чувство. Если же культурные результаты русскаго творчества дѣйствительно *исторически* оригинальны и сильны своей собственной силой, тогда нѣтъ необходимости ни въ какихъ восклицательныхъ знакахъ. А если этой силы на самомъ дѣлѣ не имѣется, тогда ничего не можетъ быть жалче и недостойнѣе взвинченнаго національнаго самолюбія и самохвальства. Мы думаемъ, *въ области художественной и критической литературы* мы совершенно спокойно имѣемъ право раз-

считывать на краснорѣчіе *фактовъ*, а не *словъ*, и предоставить исторіи и логикѣ защищать нашу «любовь къ отечеству» и даже «національную гордость» Весь нашъ интересъ сосредоточенъ исключительно на культурномъ вопросѣ, и мы представимъ общую картину литературнаго прогресса—европейскаго и русскаго, съ единственной цѣлью—утвердить исходныя точки нашего изслѣдованія историческихъ судебъ русской критики и возможныхъ заключеній на счетъ ея будущаго. Мы возьмемъ французскую литературу, какъ самую типичную и самую вліятельную до послѣднихъ дней. Нашъ обзоръ приведетъ насъ къ вѣрному пониманію современнаго положенія искусства и критики на родинѣ нашихъ исконныхъ учителей, безъ всякихъ усиленныхъ освѣщеній оттѣнитъ все, что заключается оригинальнаго въ сравнительно кратковременномъ развитіи нашей литературы и намѣтитъ исторически-убѣдительную цѣль ея дальнѣйшихъ путей.

IV.

Надъ Франціей пронеслось множество политическихъ бурь, на литературной сценѣ смѣнились ряды героевъ и вереница самыхъ разнообразныхъ зрѣлищъ, но одинъ герой остается до сихъ поръ незамѣнимымъ и одно зрѣлище продолжаетъ блистать вѣковой неувядаемой красотой. Этотъ герой—*классицизмъ* съ его поэтами, просто писателями и даже религіозными проповѣдниками. Расинъ—это «французская религія», по выраженію современнаго критика. Боссюэ,—совершеннѣйшій артистъ классическаго стиля, того «благороднаго» эффекта звучныхъ фразъ, предъ какимъ французская нація будетъ замирать, вѣроятно, до конца своихъ дней. Даже импрессіонизмъ, ловя лишь летящій часъ и изнывая по пестротѣ и возможно быстрой смѣнѣ впечатлѣній, отдалъ честь классицизму,—Леметръ пріостановилъ головокружительный полетъ своего пера ради геніальности того же Расина. Очевидно, классицизмъ—высоко-національное дѣтище французскаго генія, и «классическій вкусъ» исполненъ такого же обаянія для современнаго республиканскаго партера, какое повергало въ восторгъ «ученыхъ дамъ» временъ Мольера.

Это фактъ въ высшей степени поучительный въ психологическомъ и культурномъ смыслѣ Онъ показываетъ, до какой степени классическій духъ, l'esprit classique, утвердился въ сознаніи французовъ и какъ глубоко проникъ въ ихъ художественные инстинкты. Дѣйствительно, вся литература французовъ отъ эпохи

Ришелье до нашихъ дней *классична*, т. е. развивается неизмѣнно въ предѣлахъ заранѣе опредѣленной *школы*, *системы*, подчиняется твердо установленнымъ *формуламъ*. Каждый вліятельный и даровитый французскій писатель или членъ оффиціальной академіи или основатель своей собственной, онъ или подданный уже сложившейся «литературной республики», или законодатель новой. Безъ кодекса нѣтъ искусства, безъ формулы немыслимо геніальное произведеніе, безъ авторитета незаконна авторская слава. Всѣ эти положенія съ неуклонной послѣдовательностью оправдываются всѣми періодами французской литературы.

Появленіе классицизма возвѣщалось самыми краснорѣчивыми знаменіями. Первая книга, положившая основу безсмертной теоріи, объявляла, что хорошій вкусъ въ искусствѣ немыслимъ безъ двухъ условій: безъ вмѣшательства кружка друзей въ творчество писателя и безъ правительственной опеки. Авторъ книги Дюбелле, ученый и вліятельный, писалъ: «Я хотѣлъ бы, чтобы всѣ короли и принцы, любители родного языка, запретили строгимъ указомъ своимъ подданнымъ выпускать въ свѣтъ, а типографщикамъ печатать какое бы то ни было сочиненіе, не выдержавшее предварительно редакціи ученаго мужа».

Эти слова оказались одновременно и программой, и пророчествомъ. Въ нихъ заключается зародышъ будущей академіи и правительственныхъ воздѣйствій, при посредствѣ ученыхъ мужей, на литературу и писателей. Книга Дюбелле относится къ началу XVI-го вѣка. За ней слѣдовалъ длинный рядъ эстетическихъ законодательныхъ уложеній. Французы съ необычайнымъ усердіемъ принялись изобрѣтать и отыскивать въ древней и средневѣковой литературѣ принципы для «редакціи» поэтическихъ произведеній. Въ интересахъ системы и формулъ былъ перетолкованъ и распространенъ Аристотель, создана знаменитая теорія трехъ единствъ, совершенно невѣдомая античному философу, и къ началу XVII-го вѣка окончательно установилась классическая школа, а немного спустя возникъ и неусыпный стражъ эстетическаго законодательства—академія.

Это центральные факты не только французской литературы, а вообще національной психологіи и культурнаго прогресса одной изъ важнѣйшихъ міровыхъ націй. Художественное творчество по заранѣе даннымъ формуламъ и съ одобренія руководящаго авторитета,—въ этомъ положеніи вся сущность французскаго генія поэзіи и критики.

*

До какой степени она близка національному духу, существуетъ внѣ времени и случайныхъ вліяній какой бы то ни было эпохи, доказываетъ изумительная готовность даровитѣйшихъ писателей войти въ извѣстную, строго опредѣленную колею и вложить свой талантъ въ общепризнанныя рамки.

Академія съ первыхъ же лѣтъ становится настоящимъ инквизиціоннымъ судилищемъ въ вопросахъ литературы. Она возникла изъ частнаго кружка писателей, конечно, друзей между собой и естественныхъ враговъ всякаго, кто не желалъ признавать «совѣщаній» этого трибунала. Ришелье оставалось только воспользоваться уже готовымъ началомъ и создать своего рода верховную литературную коммиссію.

Ея неограниченная власть немедленно была признана и даже воспѣта въ стихахъ и прозѣ бездарными педантами-риѳмоплетами, подручными кардинала, и такими талантами, какъ Расинъ и Корнель. Авторъ *Сида* вздумалъ сначала сыграть въ оппозицію, правда, очень скромную, въ сущности даже не въ оппозицію, а въ легкую фронду молодого и уже знаменитаго писателя. Корнель оказался слишкомъ французомъ, чтобы пойти противъ классической піитики, напротивъ, постарался оправдать ее на совершенно неподходящемъ сюжетѣ. Вотъ этотъ-то сюжетъ, испанская драма, и явился оппозиціей кардиналу, какъ министру, ненавидѣвшему всякое напоминаніе объ Испаніи немедленно послѣ жестокой борьбы съ этой страной. Все остальное обстояло благополучно, и академія всего однимъ распоряженіемъ привела къ порядку безпокойнаго поэта. Воцарился истинный деспотизмъ сорока «безсмертныхъ» надъ французской поэзіей и, слѣдовательно, надъ всей европейской литературой, по крайней мѣрѣ, на два вѣка. Въ нашемъ отечествѣ еще Грибоѣдову и Пушкину придется считаться съ отголосками французскаго академическаго педантизма, еще *Горе отъ ума* будетъ подвергаться уничтожающей критикѣ со стороны просвѣщеннѣйшихъ друзей поэта, на основаніи *Поэтическаго искусства* Буало, и даже въ автора *Ревизора* время отъ времени будутъ летѣть камни классическаго происхожденія.

Трудно оцѣнить все *культурное* вліяніе французской академіи на искусство и даже на нравственный міръ писателей. Оно отнюдь не менѣе значительно и *національно*, чѣмъ французская монархія. Одинъ изъ даровитѣйшихъ политическихъ писателей и историковъ начала XIX-го вѣка, обозрѣвая многообразную смѣну государственныхъ формъ во Франціи, высказалъ мысль: наши республики—

монархіи, въ которыхъ временно свободенъ тронъ. Остроумный публицистъ безъ особенныхъ затрудненій могъ прослѣдить живучесть *монархическаго духа* въ самыя, повидимому, «свободныя» эпохи. То же самое еще легче можно бы сдѣлать и относительно *классическаго духа*. Формы будутъ мѣняться, иногда даже безпощадно отрицать одна другую, но самая сущность литературныхъ направленій тожественна отъ Буало до Золя.

Теоретикъ XVII-го вѣка въ стихахъ изложилъ законы классическаго искусства. Основной принципъ его въ высшей степени любопытенъ: Буало разъ навсегда оригинальное поэтическое вдохновеніе объявилъ *folie*, безуміемъ, и потребовалъ отъ авторовъ точнаго повиновенія «игу разума». На его языкѣ разумъ звучалъ естественностью, правдой, вообще самыми, повидимому, основательными понятіями, но въ дѣйствительности сводился къ цѣлому ряду совершенно условныхъ формулъ, подсказанныхъ *классическимъ вкусомъ*. Главнѣйшія заключались въ правилахъ «строгой благопристойности»—*l'étroite bienséance*, въ аристократической чопорности стиля, въ размѣренной, строго обдуманной гармоніи жестовъ, въ безукоризненной салонной тонкости поступковъ. *Поэзія* для Буало совершенно тожественна съ *разумомъ*, т. е. съ логическими построеніями неуклонно послѣдовательнаго разсудка. Поэтъ ничѣмъ не отличается отъ оратора, и Расинъ, даже по поводу Федры, одержимой, надо думать, самой жгучей и безразсудной любовью, могъ гордиться, что на сценѣ показалъ нѣчто въ высшей степени *разумное*, *raisonnable*.

Классикъ не могъ и думать увлечься свободной, прихотливой игрой воображенія, прислушаться къ голосу сердца и дать мѣсто вдохновеннымъ образамъ и прочувствованнымъ рѣчамъ въ поэмѣ или на драматической сценѣ.

Это было немыслимо не только подъ давленіемъ литературной теоріи: публика XVII-го вѣка, т. е. высшее аристократическое общество не допускало ни свободы, ни сердца. Античные герои наравнѣ съ Оронтами и Акастами воплощали непремѣнно салонъ, дворъ, со всей ихъ красивой ложью и поддѣльной красотой. Та же расиновская Федра, щеголяя самой разумной страстью, не могла, по образцу своей древней предшественницы, эврипидовской героини, лично оклеветать Ипполита предъ его отцомъ и своимъ мужемъ. Эту обязанность выполняетъ служанка и наперсница Энона, и поэтъ вполнѣ основательно объясняетъ, почему.

«Клевета, — разсуждаетъ онъ, — заключаетъ въ себѣ нѣчто

слишкомъ темное и низкое, чтобы вложить ее въ уста принцессы». Подобная низость «болѣе свойственна кормилицѣ, которая могла питать болѣе рабскія наклонности».

Это значитъ, человѣкъ высшаго сословія благороденъ и нравственен въ силу своего происхожденія. Корнель только за принцами и вельможами признаетъ способность «обладать добродѣтелью съ ея мельчайшими практическими результатами». Для классиковъ народъ—*la racaille*, «животное, неспособное распознавать хорошія произведенія», «низкая толпа», и судьба литературы была бы «очень странной», если бы писатели вздумали нравиться «животному, неспособному ни на что хорошее».

Это слишкомъ рѣзкій, мало классическій стиль, но и самые величественные поэты, въ родѣ Корнеля, выражаются не иначе, какъ *le peuple stupide—безсмысленный народъ*.

Даже Мольеръ, остроумно издѣвавшійся надъ педантами и «смѣшными маркизами», не одинъ разъ принимался защищать исключительную чистоту и литературность придворнаго вкуса. Очевидно, автору комедій можно было усомниться въ «разумѣ» трагической схолистики, но аристократическій принципъ изящнаго оставался недосягаемымъ.

Таково первое дѣтище французскаго художественнаго генія, самый ранній плодъ академическаго надзора за Парнассомъ. Можно не придавать рѣшающаго значенія аристократизму классиковъ и считать его общественнымъ и политическимъ признакомъ времени. Слѣдуетъ только помнить какое воздѣйствіе обнаружилъ этотъ принципъ на искусство, на художественные и психологическіе пріемы поэтовъ, на идеи и формулы критиковъ.

Такъ какъ все человѣчество, кромѣ высокорожденнаго меньшинства было признано недостойнымъ предметомъ для господствующаго поэтическаго жанра, неминуемо, конечно, опредѣлился въ извѣстномъ направленіи драматическій строй пьесъ и характеристика дѣйствующихъ лицъ. И то, и другое одинаково безпощадно было вдвинуто въ рамки салонныхъ приличій, и подчинено эстетической формулѣ. Оба принципа шли рядомъ и какъ нельзя болѣе совпадали. Бѣдность, безличіе, удручающее однообразіе аристократическихъ будней и аристократическаго нравственнаго міра вполнѣ могли довольствоваться чистой риторикой монологовъ и сценами, лишенными всякаго дѣйствія. Неронъ, Цезарь, Александръ низведены до уровня галантныхъ любовниковъ, ихъ исторіи и эпохи подогнаны подъ мѣрку салоннаго этикета, и всѣ герои

могли въ теченіе всѣхъ пяти актовъ упражняться въ тожественныхъ краснорѣчивыхъ изліяніяхъ и ни на одну минуту не проявить *своей* подлинной индивидуальности.

Отсюда, едва ли не величайшіе два изъяна классицизма—полное пренебреженіе къ исторической перспективѣ и крайнее упрощеніе человѣческой психологіи. Французская трагедія, перебравшая почти всѣ эпохи и всѣхъ героевъ древности и среднихъ вѣковъ, воспроизводившая самыя отчаянныя коллизіи любовной страсти, въ родѣ противоестественныхъ увлеченій и потрясающихъ семейныхъ злодѣйствъ, не представила ни одного дѣйствительно историческаго лица и не раскрыла ни одной тайны нашей души. Это совершенно фантастическая дѣйствительность подъ покровомъ извѣстныхъ именъ и событій, и первобытный анализъ въ уборѣ крикливыхъ эффектныхъ фразъ. Это, однимъ словомъ, полная противоположность шекспировской поэзіи, неистощимой въ оригинальныхъ мѣстныхъ и историческихъ краскахъ, всецѣло построенной на изученіи *исторіи* и *личности*, а не приспособленной ко вкусамъ и нравамъ экзотическаго, одноцвѣтнаго, хотя и блестящаго общества одной эпохи.

Всѣ эти идеи и факты классицизма отнюдь не мимолетныя явленія, не достоянія одного вѣка, они духъ и плоть *всей* французской литературы. Въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ мы будемъ наблюдать два по существу однородныя теченія: или классицизмъ вновь пріобрѣтаетъ власть надъ писателями и публикой, въ своихъ подлинныхъ формахъ, или писатели усиливаются создать *отрицательный моментъ* для классицизма, найти ему совершенный *контрастъ* и установить господство этого контраста исконными *классическими* средствами, т. е. путемъ формулъ, системы, литературной школы и, слѣдовательно, неоффиціальной академіи. Но непремѣнно какой-нибудь академіи, все того же вѣчнаго «кружка друзей» и «редакціи ученыхъ».

Ясно, сущность культурная и психологическая нисколько не мѣняется, царитъ ли извѣстная система съ ея точными принципами, или на мѣсто ея становится другая съ совершенно обратными идеями. Творчество по прежнему ничего не пріобрѣтаетъ ни въ правдѣ, ни въ свободѣ. Нетерпимая формула вызываетъ столь же нетерпимую оппозицію и находитъ себѣ преемницу въ не менѣе рѣшительной такой же формулѣ. Классицизмъ требовалъ строгой, *узкой* благопристойности, во что бы то ни стало втискивалъ въ три единства и въ правила хорошаго вкуса какую угодно

«не благопристойную» исторію, т. е. отъ начала до конца оставался совершенно равнодушнымъ къ дѣйствительности и къ оригинальнымъ стремленіямъ творческаго таланта.

Контрастъ этому деспотизму будетъ проповѣдь крайняго художественнаго реализма, непремѣнно крайняго, потому, что борьба всегда пропорціональна силѣ сопротивленія. Если классикъ не признаетъ никого, кромѣ принцевъ, романтикъ на такой же пьедесталъ возведетъ какъ разъ «безсмысленное стадо», низшіе слои народа. Классикъ говоритъ и ходитъ, будто произноситъ привѣтствіе на королевской аудіенціи и танцуетъ на балу у ея величества; романтикъ потребуетъ не свободы, а разнузданности въ рѣчахъ, вплоть до нарушенія правилъ грамматики, и заставитъ своихъ героевъ уже не ходить, а прыгать, бѣгать «опрометью», говорить «съ пламенѣющими щеками», стоять «будто пораженнымъ громомъ» и вообще походить на «сумасшедшихъ». Таковы подлинныя ремарки самыхъ искреннихъ враговъ классицизма.

Очевидно, это будетъ тоже система и, если угодно, въ своемъ родѣ также классическая, по своей прирожденной ненависти къ простотѣ, къ жизненному реализму, къ глубокой разносторонней психологіи. Классицизмъ Расина и Буало въ полномъ смыслѣ явленіе роковое. Оно, конечно, не могло бы возникнуть, если бы не коренилось въ самыхъ нѣдрахъ французскаго національнаго духа, не могло бы создать геніальнѣйшихъ произведеній искусства—на взглядъ даже современныхъ французовъ. И мы должны логически придти къ заключенію: *классическій духъ* -- подлинный выразитель французскаго творческаго генія, и онъ въ теченіе вѣковъ не измѣнилъ ни своей сущности, ни своего вліянія на литературу: онъ по прежнему система и школа, и менѣе всего — жизнь и вдохновеніе.

Это немедленно обнаружилось въ первую же *эпоху протеста*. Подъ ударами просвѣтительной мысли пали главнѣйшія основы стараго общественнаго строя — феодализмъ, католичество, даже вѣковая королевская власть, но классицизмъ только подновилъ свой внѣшній обликъ, и то далеко не во всѣхъ главнѣйшихъ произведеніяхъ вѣка.

V.

Зданіе классицизма, какъ искусства, начинало колебаться въ эпоху, повидимому, самаго пышнаго разцвѣта. Насмѣшки Мольера надъ трагической напыщенностью и отвлеченнымъ ге-

роизмомъ являлись зловѣщимъ признакомъ. Крайне бѣдный запасъ драматическихъ эффектовъ и худосочная психологія классической трагедіи быстро истощились. Уже ближайшимъ преемникамъ Расина пришлось прибѣгать къ самымъ неправдоподобнымъ вымысламъ и хитросплетеннымъ романическимъ интригамъ. Кребильонъ, признанный наслѣдникъ великихъ классиковъ ранняго поколѣнія, переполнилъ свою сцену всевозможными ужасами и противоестественными преступленіями. Трагедія снизошла до школьнаго упражненія въ реторикѣ, и даже Вольтеръ, считавшійся самымъ свѣдущимъ историкомъ въ теченіе XVIII-го вѣка, способствовалъ разложенію классицизма какъ разъ своими «историческими пьесами». Онѣ еще болѣе, чѣмъ трагедіи Расина, лишены реальнаго историческаго содержанія и представляютъ сцену для необузданной игры воображенія въ характерахъ и фактахъ.

Естественно, живой мертвецъ вызвалъ не мало охотниковъ докончить агонію. Возникла такъ-называемая *мѣщанская драма*, совершенно порвавшая съ аристократизмомъ трагедіи, ея стихотворной формой и даже съ единствами. Не всѣмъ было легко отказаться отъ этого наслѣдства «великаго вѣка» Людовика XIV, и именно Вольтеръ оказался самымъ упорнымъ консерваторомъ въ области художественной критики. Онъ сдѣлалъ нѣсколько уступокъ вкусамъ новой общественной и политической силы—буржуазіи, но это не мѣшало ему колебаться между старымъ и новымъ направленіемъ до конца дней.

Нашлись болѣе отважные преобразователи, и первое мѣсто среди нихъ принадлежитъ Мерсье, краснорѣчивому критику, плодовитому драматургу, позже мужественному дѣятелю революціи.

Идеи Мерсье необычайно богаты и разносторонни. Онъ можетъ быть названъ предшественникомъ двухъ главнѣйшихъ литературныхъ школъ XIX-го вѣка — романтизма и натурализма. Насъ не должны смущать воспоминанія о жестокой междоусобной войнѣ этихъ направленій. Мы увидимъ, война, при всемъ шумѣ, касалась отнюдь на существенныхъ вопросовъ, не имѣла въ виду и даже не могла—создать новыхъ основъ искусства и критики. Въ романтизмѣ таилось множество сѣмянъ натуральнаго романа, и впослѣдствіи натурализмъ буквально повторилъ теоретическія и художественныя увлеченія своего врага. Снова повторяемъ, это общая судьба всѣхъ французскихъ литературныхъ теченій, какъ бы они на первый взглядъ ни разнились по цвѣту и направленію. Это своего рода круговое движеніе въ фатально ограниченныхъ предѣлахъ.

Мерсье воплощаетъ искреннѣйшую и послѣдовательную оппозицію классицизму, какъ теоріи и какъ искусству. На этомъ пути онъ во многомъ расходится съ энциклопедистами. Онъ совершенно не способенъ идти на какія бы то ни было сдѣлки съ основами стараго порядка, онъ исповѣдуетъ демократическій символъ вѣры безъ всякихъ оговорокъ въ идеяхъ и безъ малѣйшей уступчивости на практикѣ. Онъ не посѣщаетъ философскихъ салоновъ, не стремится просвѣщать знатныхъ дамъ и угождать ихъ утонченному вкусу и малому развитію, приспособляя новыя идеи къ старымъ формамъ трагедіи, посланія, или просто легкой болтовни. У него свой кружокъ писателей, исключительно занятыхъ вопросомъ о народѣ и о чисто-демократической литературѣ. Естественно, Мерсье представилъ самый полный и энергическій протестъ противъ идейнаго и художественнаго содержанія старой литературы.

Прежде всего Мерсье романтикъ по своимъ эстетическимъ восторгамъ и по своему представленію о роли поэта. Онъ первый изъ французскихъ писателей классическимъ трагикамъ противоставилъ Шекспира,—пріемъ, усвоенный впослѣдствіи нѣмецкими и французскими романтиками. Мерсье восхваляетъ народность и реализмъ шекспировскаго творчества, французскіе классики въ его глазахъ ничтожные риемачи, *petits rimailleurs*, поглощенные одной лишь заботой о «благопристойности». И нѣтъ сомнѣнія, Мерсье понималъ Шекспира неизмѣримо лучше, чѣмъ современные французскіе критики, и не могъ, конечно, допустить мысли о грубѣйшихъ выходкахъ Вольтера противъ «пьянаго дикаря».

Столь же романтическая идея—и характеристика поэта-трибуна, политическаго и даже соціальнаго дѣятеля въ прямомъ смыслѣ слова. Поэтъ-классикъ—забавникъ богачей и знатныхъ, теперь онъ явится защитникомъ несчастныхъ, ораторомъ угнетенныхъ, точнымъ воспроизводителемъ не красивыхъ пустяковъ тунеяднаго салоннаго общества, а подлинной дѣйствительности народнаго быта. Ни одна сцена у новаго драматическаго писателя не будетъ сочинена ради празднаго времяпрепровожденія: все будетъ проповѣдью и воплощеніемъ жизненной правды.

Но именно изъ демократическаго принципа и вытекаетъ вполнѣ послѣдовательно другая, не романтическая теорія искусства. Если вы хотите дѣйствовать на публику правдивымъ воспроизведеніемъ народной жизни, вы неминуемо придете къ реализму, и вопросъ, гдѣ вы съумѣете остановиться на этомъ пути. Судьба угнетенныхъ и несчастныхъ часто принимаетъ такія въ дѣйствительности вполнѣ

реальныя формы, что на сценѣ или въ романѣ она окажется самымъ *натуралистическимъ* мотивомъ, можетъ произвести впечатлѣніе преднамѣренно мрачнаго вымысла.

Основатели мѣщанской драмы съ Дидро во главѣ впервые произнесли великое слово *реализмъ*, но оно, по неотвратимымъ условіямъ эпохи, сейчасъ же стало орудіемъ борьбы и, притомъ, самой безпощадной и нетерпимой. Классическая ложь въ искусствѣ и рабскіе инстинкты въ идеалахъ естественно должны были вызвать не менѣе *революціонныя* чувства, чѣмъ злоупотребленія въ области политики, напримѣръ, феодализмъ и католичество. И такъ какъ старая школа художественную красоту превратила въ жеманство и искусственныя прикрасы, новая ту же красоту бросилась искать на противоположномъ полюсѣ, въ отрицаніи самой красоты. У Мерсье впервые начинаетъ звучать знаменитое изреченіе романтиковъ: «отвратительное прекрасно», и, слѣдовательно, впервые полагается основаніе натурализму самаго крайняго направленія. Въ результатѣ получится формула и составится система, повидимому, уничтожающія классическій духъ, но на самомъ дѣлѣ воспроизводящія его во всей полнотѣ только на изнанку. Теорію натурализма можно цѣликомъ найти въ разсужденіяхъ Мерсье, только и помышлявшаго искоренить наслѣдіе классическихъ риемачей. Подчасъ Мерсье идетъ даже дальше Золя, потому что, кромѣ художественнаго фанатизма, имъ руководитъ еще и общественный протестъ.

Мерсье, конечно, требуетъ этнографически точнаго воспроизведенія на сценѣ народной жизни; герои-крестьяне должны являться въ своемъ будничномъ платьѣ, говорить своимъ грубымъ языкомъ, не щадя ни вкуса, ни взоровъ культурной публики. Всѣ подробности ихъ бѣдственнаго существованія будутъ раскрыты въ живыхъ драматическихъ сценахъ. Писатель примется искать сюжетовъ всюду, гдѣ особенно много фактовъ человѣческой несправедливости и всевозможнаго извращенія нравственныхъ законовъ. Онъ особенно внимательно воспользуется судебной хроникой, и безъ всякаго смягченія выведетъ на всеобщій позоръ людей-чудовищъ. Онъ пойдетъ дальше, проникнетъ въ тюрьмы, въ дома умалишенныхъ, и свои наблюденія также добросовѣстно сообщитъ публикѣ. Правда, картины эти могутъ вызвать у зрителей чувство ужаса но именно такія впечатлѣнія и должны испытывать счастливцы и богачи, не знающіе темныхъ сторонъ жизни. Мерсье готовъ на дилемму—или приводить читателей въ содроганіе, или заставить ихъ не читать его произведеній.

Критикъ не ограничивался теоріей. Его драмы—тѣ же протоколы и документы, обстоятельное изложеніе судебнаго процесса чередуется съ подробнымъ докладомъ о положеніи, напримѣръ, рабочаго класса, о качествѣ продуктовъ, спускаемыхъ торговцами бѣднякамъ за дешевую цѣну. Декоративная обстановка сценъ у Мерсье нисколько не уступаетъ натуральнымъ драмамъ новѣйшаго происхожденія по основательности и откровенности.

Увлеченія Мерсье вызвали въ свое время насмѣшки, и, замѣчательно, сатиру на теоріи стараго драматурга можно безъ всякихъ поправокъ отнести на счетъ современныхъ золаистовъ. Тотъ же «репортажъ» съ заранѣе опредѣленной цѣлью набрать возможно больше исключительно мрачныхъ происшествій и героевъ, тотъ же фанатизмъ въ мелочахъ и разныхъ спеціальныхъ данныхъ, то же, наконецъ, забвеніе правды и жизни ради отвлеченно поставленной задачи.

И не слѣдуетъ думать, будто Мерсье единственный въ своемъ родѣ ослѣпленный гонитель классицизма. Дидро, болѣе умѣренный и художественно чуткій, впадаетъ въ такія же крайности. Также возмущенный классической благопристойностью, онъ заставляетъ своихъ героевъ волноваться самыми глубокими чувствами и проявлять ихъ на сценѣ. Всѣ они изливаютъ «потокъ чувствъ», *un torent des sentiments*. Такъ выражается одинъ изъ нихъ; авторъ, съ своей стороны, употребляетъ чисто романтическія ремарки, въ родѣ *en sanglotant*, *en pleurant*, рядомъ, одновременно, и исполнителю, пожалуй, трудно было выполнить въ точности подобное указаніе—*рыдать* и *плакать*.

Восемнадцатый вѣкъ только первый опытъ борьбы противъ классицизма, и мы уже видимъ почти всѣ главныя идеи будущихъ школъ. Не достаетъ только рѣзкихъ словесныхъ формулъ для этихъ идей, но системы несомнѣнно намѣчены вполнѣ точно. Классическимъ законамъ противоставлены романтическіе и натуральные, и новый кодексъ, подобно своему предшественнику, налагаетъ руку одинаково и на талантъ писателя, и на предметъ искусства. Поэту нѣтъ безусловной свободы вдохновенія, а дѣйствительности нѣтъ безконтрольнаго доступа въ литературу. Новый поэтъ не долженъ упускать изъ виду основной задачи покончить съ классицизмомъ и съ его «благопристойностью». Цѣли этой можно бы достигнуть, просто отбросивъ въ сторону старый педантизмъ и искренне и свободно приблизившись къ самой жизни. Но французскій геній не можетъ допустить подобнаго беззаконія, надъ

нихъ паритъ неистребимый духъ классицизма, и протестъ быстро формулируется въ новую теорію искусства, и съ этихъ поръ личное вдохновеніе такое же «безуміе», какъ и при классицизмѣ. Отсюда подавляющее изобиліе эстетическихъ разсужденій въ литературѣ XVIII-го вѣка. Свободнѣйшая, повидимому, эпоха въ каждомъ писателѣ находитъ законодателя и всѣ драматурги сначала пишутъ свои теоріи словесности—въ видѣ предисловій, а потомъ уже пьесы. Этотъ любопытный фактъ бросается въ глаза при самомъ поверхностномъ знакомствѣ съ чьими угодно сочиненіями—Дидро, Вольтера, Мерсье, Бомарше и ихъ безсчисленныхъ послѣдователей. Совершенно такъ поступали и классики—Корнель и Расинъ, никогда не пропуская случая посвятить публику въ свою «систему».

Французскій поэтъ будто страшится недоразумѣній или оскорбительнаго равнодушія публики, если онъ не объяснитъ ей *разсудочныхъ* побужденій своего творчества. Такой-же политикѣ будутъ слѣдовать Гюго и Золя, и достаточно этого закона въ исторіи французской литературы, чтобы оцѣнить своеобразныя пути ея развитія.

Они неизмѣнно отправляются отъ системъ и формулъ. Для нихъ личность автора и правда жизни несравненно менѣе важные принципы искусства, чѣмъ строгое соблюденіе «законовъ». Такъ именно будетъ выражаться самый «бурный геній» французскаго романтизма—Гюго. И мы, ознакомившись съ классицизмомъ и оппозиціей писателей XVIII-го вѣка, знаемъ сущность всѣхъ руководящихъ эстетическихъ идей вплоть до нашего времени.

Эта оппозиція была такъ же прервана ходомъ событій, какъ и политическія и всякія другія мечтанія просвѣтителей. Терроръ положилъ конецъ надеждамъ на идеальное и безпрепятственное преобразованіе стараго строя, и быстро привелъ къ бонапартовской имперіи. Наполеонъ, оставаясь корсиканцемъ и Тимуромъ новаго времени, былъ возстановителемъ дореволюціоннаго государственнаго порядка, на сколько его уму вообще были доступны идеи и факты гражданскаго и политическаго характера.

Естественно, возникновеніе новыхъ титуловъ, изобрѣтеніе новаго хитрѣйшаго придворнаго этикета, вообще необыкновенно точное воспроизведеніе *политической* комедіи мѣщанина во дворянствѣ, повлекло и обновленіе классицизма. Со сцены снова зазвучали имена античныхъ героевъ, напыщенные, трескучіе монологи, пустопорожностью содержанія далеко оставлявшіе за собой даже упражненія старыхъ классиковъ.

Послѣдніе отголоски просвѣтительной мысли и романтизма XVIII-го вѣка пріютились въ сочиненіяхъ г-жи Сталь, и здѣсь яростно преслѣдовались новѣйшими академическими блюстителями литературнаго порядка, усердными соревнователями Шатлэновъ и Буало.

Но все равно, какъ полицейскому и казарменному правленію Наполеона далеко до историческихъ основъ старой монархіи, и никакому бонапартизму немыслимо было сравняться съ наслѣдственной, хотя и выродившейся властью бурбоновъ, такъ и новоявленнымъ классикамъ пришлось сыграть только интермедію въ вѣковомъ спектаклѣ французской литературы, на время занять мѣсто настоящихъ артистовъ. Все равно, какъ природа, одаривъ Бонапарта большими военными талантами, до послѣдней степени обидѣла его по части истинно-человѣческаго благородства и царственнаго великодушія, такъ и его «собственные» литераторы при самомъ мучительномъ усердіи проявляли удручающую бездарность и старались взять отвагой и совершеннымъ забвеніемъ литературности въ литературѣ.

Реставрація, смѣнившая имперію, легла, по остроумному выраженію современниковъ, на бонапартовское ложе, т. е. старалась сохранить монархическое наслѣдство Наполеона, и, по возможности, вернуться къ временамъ «красныхъ каблуковъ». Разсчеты—самые легкомысленные и дерзкіе, и они даже въ теоріи грозили неминуемой гибелью ископаемымъ политикамъ и философамъ.

Вся исторія реставраціи наполнена неукротимой борьбой либерализма съ «замогильными выходцами», какъ именовали злые языки вернувшихся въ Парижъ эмигрантовъ, спутниковъ и подданныхъ Бурбоновъ въ дореволюціонномъ смыслѣ. Борьба привела къ рѣшительному низверженію династіи, іюльская революція покончила въ политикѣ со всѣми вожделѣніями феодаловъ и правовѣрныхъ католиковъ.

Этому перевороту на общественной сценѣ соотвѣтствовало появленіе необыкновенно шумной и запальчивой литературной школы—романтизма. Глава ея прямо отожествлялъ свою роль въ искусствѣ съ перемѣнами въ области политики: романтизмъ, говорилъ онъ, то же самое въ поэзіи, что либерализмъ въ парламентѣ. Онъ могъ бы сказать еще яснѣе: именно политическій либерализмъ, окончательная, повидимому, побѣда конституціонныхъ порядковъ надъ пережитками старой монархіи, и превратили Гюго, бывшаго монархиста, въ демократа—и вполнѣ послѣдовательно—въ литературнаго

революціонера. Судьба искусства и теперь, какъ въ эпоху классицизма и просвѣщенія, неразрывно примыкала къ политической исторіи и новая теорія будетъ такъ же строго сообразоваться съ цѣлями новаго оппозиціоннаго теченія въ обществѣ, какъ раньше мѣщанская драма знаменовала наступающее торжество третьяго сословія. Мы можемъ сказать больше: романтизмъ Гюго былъ ни болѣе, ни менѣе, какъ той самой истиной, чьи разсѣянные лучи давно блистали въ страстныхъ рѣчахъ Мерсье.

VI.

Гюго приступилъ къ основанію новаго направленія съ безпримѣрнымъ эффектомъ. Появленіе на сцену романтизма готовится въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, слышится сначала будто отдаленный шумъ приближающейся арміи, въ воздухѣ пахнетъ порохомъ, кое гдѣ на горизонтѣ мелькаютъ отдѣльные застрѣльщики... Все это происходитъ еще при реставраціи, и только въ самомъ концѣ ея, наканунѣ революціи, появляется приснопамятный *манифестъ*—предисловіе къ драмѣ *Кромвель*.

Гюго къ этому времени уже глава и вождь. Въ его квартирѣ основалась настоящая революціонная академія, тѣсно сплоченный кружокъ поэтовъ и критиковъ. Они пойдутъ за своимъ полководцемъ на жизнь и на смерть. Иначе вѣдь нельзя. Безъ кружка, безъ салона, безъ академіи немыслима литературная школа,—все равно, будетъ это гостиная титулованнаго мецената и оффиціальный храмъ безсмертія, или мансарда демократическаго трибуна, и сборище студентовъ и художниковъ. Гюго даетъ новое эстетическое уложеніе, его единомышленники станутъ защищать его искусство и его теорію совершенно тѣми же средствами, какъ это дѣлалось принцами и учеными дамами во времена Расина. Только защита будетъ гораздо шумнѣе и запальчивѣе, какъ и подобаетъ демократическому вѣку.

Что же такое романтизмъ Гюго?

Поэтъ и его друзья провозглашали свободу, либерализмъ, заявляли принципъ самаго неограниченнаго художественнаго творчества: «что существуетъ въ природѣ, то и въ искусствѣ». На сцену снова выступилъ Шекспиръ, какъ богъ-покровитель новой литературы. Классическая схоластика втаптывалась въ грязь и классиковъ даже не удостоивали сколько-нибудь приличнаго надгробнаго слова: до такой степени они казались презрѣнными! Объ академіи нечего и говорить. Она сама почувствовала своего врага

и такіе либеральные политики, какъ Тьеръ, не могли отыскать у Гюго всего *четырехъ* стиховъ хотя бы только посредственныхъ. Очевидно, сраженіе происходило вполнѣ серьезное и противъ академіи съ исторической давностью выросла другая съ самыми необузданными надеждами на будущее.

Пылъ борьбы еще ярче сказывался въ публикѣ и критикѣ. Даже парламентъ послѣднихъ лѣтъ реставраціи не видѣлъ такихъ схватокъ, какія происходили на представленіяхъ драмъ Гюго. Это своего рода *Иліада* и *Одиссея* вмѣстѣ: столько романтикамъ потребовалось битвъ и столько всевозможныхъ приключеній по пути къ торжеству литературнаго либерализма! Въ театръ отряжались цѣлыя полчища молодежи, изобрѣтались особые костюмы—по возможности эксцентричные, часто партіи достигали совершенно воинственнаго азарта и въ публикѣ ходили слухи даже о готовящихся насиліяхъ и преступленіяхъ противъ личностей. Гюго могъ впослѣдствіи съ гордостью вспоминать объ этомъ періодѣ: еще ни одинъ поэтъ не приблизилъ до такой степени поприще искусства къ полю сраженія и не умѣлъ поднять столько страстей въ честь литературныхъ вопросовъ—и притомъ въ одну изъ самыхъ живыхъ политическихъ эпохъ. И все-таки,—въ результатѣ трагическій спектакль выходилъ по существу старой комедіей «много шуму изъ ничего».

Манифестъ Гюго, повидимому, самый основательный трактатъ о поэзіи новаго времени. Авторъ начинаетъ съ исторіи,—затѣмъ, чтобы придти къ теоріи,—разбираетъ факты прошлаго, чтобы построить зданіе будущаго. Путь — совершенно логическій. Но посмотрите, какъ его совершаетъ французскій эстетикъ!

Мы знаемъ, классики съумѣли привязать къ античной драмѣ неизвѣстную даже Аристотелю теорію единствъ, т. е. по своему формулировали одно изъ самыхъ свободныхъ произведеній поэтическаго генія и живое эллинское творчество замѣнили педантическими фокусами. То же самое совершаетъ и Гюго въ историческомъ обзорѣ литературы. Для него, какъ и для классиковъ, полнота и подлинность фактовъ не имѣютъ никакого значенія. Онъ стремится къ заранѣе намѣченной системѣ, и не обозрѣваетъ фактовъ, а подбираетъ ихъ, не объясняетъ, а перетолковываетъ. Тогда истинно-классическій, теперь романтическій пріемъ, позже станетъ научнымъ, натуралистическимъ въ рукахъ Тэна и этотъ послѣдній представитель *классическаго духа* даже откровенно признаетъ, что иначе нельзя и поступать съ критикою.

Исторія поэзіи, какъ она изложена у Гюго, удивительно напоминаетъ пресловутую классификацію фактовъ у Тэна. Оба автора безъ всякой пощады уродуютъ дѣйствительность, преспокойно вычеркивая изъ нея все для себя неудобное. Такъ, Гюго—первобытную поэзію считаетъ *лирической*, хотя библейскій разсказъ не подходитъ подъ этотъ жанръ. Дальше, новая поэзія непремѣнно будто бы *драматическая*, между тѣмъ какъ Эсхилъ, Софоклъ, Эврипидъ имѣютъ, вѣроятно, нѣкоторыя права считаться драматургами. Автору требовалась стройная лѣстница формулъ и онъ быстро поднялся до вершины, не примѣтивъ самыхъ краснорѣчивыхъ препятствій.

Тоже и въ характеристикѣ романтизма. Новая школа должна ввести въ искусство *смѣшное*—le grotesque. Оно должно создать типъ красоты, будто бы невѣдомый древнимъ. Античные поэты, по представленію Гюго, занимались исключительно только возвышеннымъ, героическимъ проявленіемъ красоты и не знали контраста. Опять всякому легко припомнить Терсита изъ *Иліады*, Ира изъ *Одиссеи*—дѣйствующихъ лицъ, менѣе всего героическихъ и составляющихъ несомнѣнную противоположность настоящимъ «богоподобнымъ» и «богоравнымъ» героямъ въ родѣ Ахиллеса и Гектора.

Гюго могъ бы пойти дальше и изучить по тому же Гомеру удивительное разнообразіе психологіи именно въ тѣхъ образахъ, которые кажутся особенно цѣльными и *одноцвѣтными*. Онъ могъ бы оцѣнить способность Ахиллеса—первостепеннаго воителя грековъ—тосковать, проливать слезы и музыкой лиры заглушать боль оскорбленнаго сердца. Другой—такой же доблестный витязь—Гекторъ вдохновляетъ поэта на одну изъ трогательнѣйшихъ сценъ во всей европейской поэзіи—прощанія съ женой и сыномъ.

Греки жили слишкомъ полной и свободной жизнью, были одарены слишкомъ глубокимъ и естественнымъ даромъ творчества, чтобы ихъ поэзію можно было заключить въ какую-нибудь отвлеченную схему. Умъ французскаго критика, воспитанный на фанатической систематизаціи искусства, внесъ тотъ же духъ и въ чужую литературу, и въ свою собственную школу.

Онъ могъ быть правъ, возмущаясь психологической беспомощностью французскихъ классиковъ. Расины и Корнели умѣли воплощать только одну страсть, т. е. и человѣческую природу сводили къ единообразію и строжайшему формализму. Гюго имѣлъ всѣ основанія протестовать и, какъ истый французскій преобразователь, немедленно впалъ въ противоположную крайность.

Герои классиковъ — простыя отвлеченія, герои романтиковъ будутъ соединеніе непримиримыхъ контрастовъ, Кромвель явится и шутомъ, и злодѣемъ, въ другихъ драмахъ станутъ чередоваться мотивы гротеска съ самыми грандіозными рѣчами и сценами. Но такъ какъ все это будетъ взято не изъ дѣйствительности, создано не на основаніи наблюденій и свободнаго творческаго процесса, а путемъ разсудка, съ цѣлью удовлетворить теоріи, въ результатѣ и романтикъ не больше классиковъ приблизится къ дѣйствительно-человѣческой жизни и психологіи.

Всѣ эти Кромвели, Рюи Блазы такія же выдуманныя фигуры и странныя явленія, какъ и прежніе Нероны и Александры. Пожалуй, даже въ новыхъ герояхъ еще меньше индивидуальности, чѣмъ въ старыхъ: романтикъ задается извѣстнымъ политическимъ принципомъ и олицетворяетъ въ дѣйствующихъ лицахъ тѣ или другія общественныя идеи. Такъ, Рюи Блазъ долженъ представлять народъ, донъ-Саллюстій и донъ-Цезарь—дворянство въ эпоху государственнаго упадка. У романтика быстро сложатся такія же психологическія формулы, какъ и у классиковъ. Маріонъ Делормъ — чисто идеальное понятіе въ поэзіи Гюго, такое же, какимъ для Расина была *вообще* принцесса, дама знатной породы. О развитіи характеровъ не можетъ быть и рѣчи. Они появляются готовыми на сцену, опять-таки по классическому обычаю, и весь драматизмъ заключается въ эпизодахъ и сценическихъ положеніяхъ. Контрасты чередуются совершенно механически, распредѣлены по извѣстному надуманному плану.

Въ результатѣ, мы сколько угодно можемъ упиваться благородными идеями поэта и необыкновенно доблестными героями; его драмы столь же далеки отъ художественной жизненной правды и столь же мало имѣютъ общаго съ анализомъ человѣческой души, какъ и всякія риторическія упражненія на заранѣе поставленныя темы.

А между тѣмъ, Гюго для своей теоріи требовалъ *безусловнаго* господства въ литературѣ и на сценѣ. Онъ искренне считалъ себя обладателемъ непогрѣшимой окончательной истины, т. е. всеобъемлющей формулы. Въ искусствѣ, говорилъ онъ, не должно быть ни этикета, ни анархіи, а *законы*. Но поэтъ забылъ, что слово этикетъ само по себѣ вовсе не такое тлетворное, и *законы* могутъ создать условія, не менѣе стѣснительныя, чѣмъ какой угодно этикетъ. У классиковъ былъ аристократическій тонъ, у романтиковъ могутъ явиться не менѣе обязательныя правила демократическаго

новеденія. Зло не въ направленіи поэзіи, а именно въ томъ фактѣ, что сами поэты не могутъ представить искусство безъ спеціальнаго надзора—не за общественными идеалами литературы, а за *пріемами* творчества. Они никакъ не могутъ дорости до мысли: пусть всякій, кто одаренъ художественнымъ талантомъ, по своему воспроизводитъ жизнь и изучаетъ душу. Нѣтъ. Если ты хочешь быть передовымъ авторомъ, ты обязанъ непремѣнно въ самыхъ яркихъ краскахъ изображать *гротескъ*, потому что ты протестуешь этимъ противъ классическаго этикета. Потомъ, въ человѣческомъ нравственномъ мірѣ ты долженъ открыть страшную смуту страстей, настоящій хаосъ настроеній и отмѣтить ихъ такими ремарками: *глаза воспламеняются* или *погруженъ въ ангельское созерцаніе* (*absorbé dans une contemplation angélique*)... И все это опять затѣмъ, чтобы наповалъ сразить благопристойное однообразіе противниковъ.

Естественно, романтикъ, подобно своимъ учителямъ прошлаго вѣка, прямымъ путемъ дойдетъ до натурализма. «Да здравствуетъ природа, грубая и дикая—*brute et sauvage*!» — воскликнутъ ученики Гюго, и романтическая идея о значеніи *отвратительнаго* въ искусствѣ цѣликомъ перейдетъ въ противоположный лагерь.

Золя въ теченіе многихъ лѣтъ будетъ вести необыкновенно шумную войну съ риторами и музыкантами, т. е. съ послѣдователями Гюго. Но по существу обѣ стороны на почвѣ искусства отлично могли бы примириться. Золя такой же романтикъ, только безъ принципіальныхъ задачъ политическаго сдержанія: натурализмъ—безъидейный, негражданскій романтизмъ, а романтизмъ — общественно-тенденціозный натурализмъ. Эти опредѣленія будутъ самыми вѣрными.

Правда, Золя прибавитъ нѣчто уже совсѣмъ новое въ смыслѣ современнаго прогресса: онъ введетъ *научность* въ свою грубую и дикую природу. Съ нимъ рядомъ явится критикъ и даже психологъ съ той же идеей относительно художественой литературы, и они вмѣстѣ создадутъ новую школу, пока послѣднюю, съ такой точной, чисто-французской системой, съ такими математически-простыми формулами. Но именно эта школа и докажетъ все безсиліе французскаго генія вступить на единственно-законный, естественный путь литературнаго развитія, отдѣлить вдохновеніе отъ разсудка, т. е. творческое воспроизведеніе явленій дѣйствительности не замыкать въ преднамѣренно изобрѣтенныя отвлеченныя рамки. Поэтъ не ораторъ, художникъ—не діалектикъ: такія про-

*

стыя понятія! А между тѣмъ, три вѣка французская критика бьется надъ смѣшеніемъ и даже отожествленіемъ двухъ различныхъ способностей человѣческаго духа.

Никто не станетъ доказывать совершенную независимость творчества отъ разума: это другая крайность,—распущенность такъ-называемыхъ бурныхъ геніевъ. Истина одинаково далека и отъ «геніальнаго безумія», и отъ деспотическихъ формулъ, она въ личной свободѣ художника, предоставленнаго контролю своего же личнаго разума, она въ гармоническомъ единеніи образовъ и идей, и отнюдь не въ рабствѣ тѣхъ и другихъ предъ какимъ бы то ни было эстетическимъ уставомъ, будь то салонный этикетъ или «законы» литературнаго либерализма.

Золя и Тэнъ не только не овладѣли этой истиной, а произвели надъ ней гораздо болѣе жестокое насиліе, чѣмъ всѣ ихъ предшественники.

VII.

Идеи натуральной школы, одно изъ любопытнѣйшихъ явленій вообще въ исторіи человѣческой мысли. Самымъ отважнымъ романтикамъ врядъ-ли удалось бы измыслить два такихъ изумительныхъ контраста рядомъ, какъ *научная критика* и *экспериментальный романъ*. Нашему столь положительному и скептическому вѣку суждено было присутствовать при союзѣ умилительнѣйшей въ мірѣ наивности съ небывалыми философскими претензіями. Будто малолѣтній школьникъ, легкомысленный и беззаботный, нарядился въ величественный уборъ какого-нибудь средневѣковаго изобрѣтателя философскаго камня!

Прежде всего, что такое *экспериментальный романъ?*

Отвѣчаетъ Золя:

«Экспериментальный романъ есть слѣдствіе научнаго развитія нашего вѣка; онъ захватываетъ и дополняетъ физіологію, которая сама опирается на физику и химію; замѣняетъ изученіе абстрактнаго, метафизическаго человѣка изученіемъ человѣка естественнаго, подчиненнаго физико-химическимъ законамъ и опредѣляемаго вліяніемъ среды; однимъ словомъ, онъ—литература нашего научнаго вѣка, подобно тому, какъ классическая и романтическая литература соответствуютъ вѣку схоластики и теологіи».

Коротко и ясно, и, главное, очень энергично. Осуждены, повидимому, безнадежно всѣ заблужденія прошлыхъ временъ—«Долой всѣ теоріи!», «Опаснымъ мечтаніямъ нѣтъ мѣста!» восклицаетъ

глава новой школы, раздавая удары по адресу академическаго педантизма и романтической идеологіи.

На основаніи физіологическихъ разсужденій Клода Бернара, Золя разъ навсегда причисляетъ романистовъ къ сонму ученыхъ, физіологовъ и химиковъ. Разницы никакой. «Для всѣхъ человѣческихъ явленій существуетъ безусловный детерминизмъ», и литераторъ имѣетъ право анализъ личности и общества отожествлять съ опытами знаменитаго естествоиспытателя. Получается совершенно «новая формула». Непремѣнно формула, иначе не будетъ порядка въ развитіи новаго искусства.

Въ чемъ же заключается эта формула?

Золя съумѣлъ точно рѣчь Клода Бернара приспособить къ своимъ романамъ, т. е. подставилъ слово литература тамъ, гдѣ у его авторитета читалась медицина, и безъ всякихъ затрудненій *опыты* химика отожествилъ съ *наблюденіями* писателя. На помощь компилятивному теоретическому труду Золя явится Тэнъ и представитъ уже настоящую полную систему научной критики.

Исходная точка таже: идея детерминизма. Человѣкъ—автоматъ, его нравственный міръ—часы, всѣ процессы совершаются по строго опредѣленнымъ законамъ, совершенно такимъ же, какъ, напримѣръ, пищевареніе.

И Тэнъ проведетъ параллель между химическимъ анализомъ и психологіей, пріемами физіолога и критика, параллель, до послѣдней черты неуклонную, свидѣтельствующую о *совпаденіи* методовъ естественнонаучнаго и критическаго. Напримѣръ, «совокупность 20 тысячъ фразъ», составляющихъ *Пантагрюэля*, равносильна «превращенію пищи» въ желудкѣ, и философія Рабле, его личный характеръ столь же опредѣленныя данныя, какъ составъ желудочнаго сока—ферментъ, пепсинъ, кислота.

Правда, вы можете замѣтить, пепсинъ подлежитъ непосредственному нашему *анализу* и анализъ даетъ всегда тожественные результаты относительно одного и того же химическаго тѣла, между тѣмъ какъ душа человѣка можетъ быть только *наблюдаема* по внѣшнимъ проявленіямъ ея силъ и свойствъ и выводы изъ наблюденій, у разныхъ наблюдателей, получаются часто совершенно противоположные.

Ничего не значитъ. «Психологическій анализъ—родъ химіи», безчисленное число разъ повторяетъ авторъ и доходитъ до отожествленія наблюденій психіатровъ съ «видоизмѣненіями» элементовъ, какія химики могутъ производить при своихъ опытахъ.

Это только первый шагъ. Дальше Тэнъ постарается человѣка низвести къ продукту, столь же простому, какъ, напримѣръ, сахарный сиропъ. Какой угодно талантъ, исключительная личность—произведенія опредѣленныхъ естественныхъ силъ, и въ результатѣ геній и весь нравственный міръ не болѣе, какъ одна какая-либо *преобладающая способность*. Поэтому, достаточно изучить расу, среду, эпоху, и можно заранѣе предсказать психологію писателя и, слѣдовательно, содержаніе его произведеній.

Обратите вниманіе на эту удивительную идею о *преобладающей способности* и *механизмѣ* душевнаго развитія. Развѣ вамъ не слышатся отголоски самаго подлиннаго классицизма съ его вѣчнымъ стремленіемъ низвести человѣка къ одной страсти и драматизировать только эту страсть? А эта математическая формула, такъ выражается самъ критикъ, развѣ не идеальное проявленіе классическаго духа, создавшаго геометрически-правильные сады Ленотра и безукоризненно-*разумныя* трагедіи Расина? Идея научности вооружила руку критика на такое *уродованіе дѣйствительности*—такъ выражается другъ и поклонникъ Тэна,—что даже классическая психологія и эстетика въ сравненіи съ тэновскими характеристиками Шекспира, Байрона и многихъ другихъ поэтовъ и государственныхъ людей кажется либеральной и разносторонней.

Классики просто не признавали Шекспира, Тэнъ его возвеличилъ, но предварительно до неузнаваемости исказилъ и душу, и геній англійскаго драматурга. Въ бѣсноватомъ, отрѣшившемся отъ преградъ разсудка и морали, никто, конечно, не узнаетъ автора *Гамлета*, *Лира*, *Макбета*. Никому также неизвѣстенъ и Байронъ, невмѣняемый маньякъ, до послѣдняго нерва одержимый противообщественными страстями. Таковы плоды психологической химіи въ критикѣ!

Но для насъ не столько важны выводы Тэна, сколько сущность его критическаго направленія. Оно самое деспотическое, бездушно-формальное изъ всѣхъ системъ, существовавшихъ во Франціи. Оно идеей автоматизма убило всякое представленіе даже о нравственной свободѣ личности. Что же касается таланта, вдохновенія, они утратили всякое самостоятельное значеніе, разъ весь духовный міръ человѣка являлся неотразимымъ выводомъ изъ внѣшнихъ посылокъ.

Никто безпощаднѣе Тэна не обращался съ фактами исторіи и психологіи. Операціи классиковъ съ античными героями простительны: Расинъ не выдавалъ себя за химика и натуралиста, но

что сказать о психологѣ и историкѣ, почерпнувшемъ свои принципы въ естественныхъ наукахъ, и своей дѣятельностью вызвавшемъ у благосклоннѣйшаго критика-историка такой отзывъ:

«Для Тэна все сводится къ задачѣ по динамикѣ: видимая вселенная наравнѣ съ человѣческой личностью, произведеніе искусства и историческое событіе. Каждая изъ этихъ задачъ составляется изъ самыхъ простыхъ элементовъ. Рискуя даже искалѣчить дѣйствительность, Тэнъ добивается рѣшенія съ непоколебимой строгостью математика, доказывающаго теорему, логика, составляющаго силлогизмъ. Если предъ нимъ писатель или артистъ онъ *вводитъ* то, чѣмъ каждый изъ нихъ долженъ быть благодаря расѣ, средѣ и эпохѣ (моменту); потомъ, когда онъ уловилъ господствующую способность его натуры, онъ *выводитъ* изъ нея всѣ его дѣйствія и всѣ его произведенія».

Болѣе вѣрнаго пути, чѣмъ подобная критика, нельзя и вообразить—для полнѣйшаго извращенія достовѣрнѣйшихъ фактическихъ данныхъ. И это называлось естественно-научнымъ анализомъ, научной психологіей и исторіей литературы! *).

Тэнъ не только съ легкимъ сердцемъ совершалъ безпримѣрно-фантастическіе опыты надъ писателями и историческими событіями, но внесъ не малую лепту и въ гордый полетъ натурализма: «то, что историки дѣлаютъ относительно прошедшаго, великіе романисты и драматурги дѣлаютъ относительно настоящаго». Это заявленіе вполнѣ совпадало съ научными претензіями Золя и, естественно, глава натурализма послѣ тэновскихъ натуралистическихъ изслѣдованій въ области искусства еще болѣе утвердился на пьедесталѣ «экспериментатора» и «физіолога».

Въ результатѣ—экзекуціи научной критики вполнѣ достойно дополнялись натуральнымъ творчествомъ. И тамъ, и здѣсь водворялся репортажъ, фанатическая погоня за отдѣльными фактами, съ мучительнымъ стремленіемъ во что бы то ни стало вогнать ихъ въ извѣстныя *группы* и создать *систему*. И критики, и романисты на своихъ поприщахъ договорятся до истинно-гомерическихъ откровенностей. Оба—*ученые* и *натуралисты* —они представятъ единственные въ своемъ родѣ образцы комическаго ослѣпленія и несовершеннолѣтней наивности.

Тэнъ прямо заявитъ: «историкъ стремится (court) къ общей

*) Подробная оцѣнка ученой и критической дѣятельности Тэна—см. наши статьи, «*Русское Богатство*», январь—апрѣль 1896 года.

идеѣ путемъ фактовъ, *которые доказываютъ ее»*, и разсказъ историка становится занимательнымъ именно потому, что «факты выбраны» и «расположены въ извѣстномъ порядкѣ». Выборъ и расположеніе фактовъ—единственныя цѣли историка, полнота свѣдѣній и вдумчивость въ дѣйствительность *ради нея самой*, *ради жизненной правды*—все это понятія, совершенно невѣдомыя критику. Онъ искренне пишетъ слова *choisir parmi les faits*, гордится «молніями» своего «воображенія», способными «резюмировать теоріи» и «въ шести строкахъ» изображать портреты, и ни на минуту не задумывается надъ убійственнымъ смысломъ своего краснорѣчія,—убійственнымъ нетолько для какой бы то ни было научности, а просто для сколько-нибудь добросовѣстнаго историческаго труда.

Золя, конечно, нечего отставать отъ критика, и его *формула* ничѣмъ не уступаетъ тэновской. У него тоже бездна записныхъ книжекъ, цитатъ изъ газетъ, личныхъ репортерскихъ записей: все это документы общественной физіологіи. Чтобы написать романъ, надо ихъ распредѣлить по группамъ и произвести *выборъ между фактами*.

Цѣль выбора подсказана давно положеніемъ натурализма въ современной литературѣ. Онъ явился протестомъ противъ романтиковъ-идеалистовъ, противъ ихъ громкой и восторженной реторики, противъ культа героизма. На сторонѣ романтиковъ были *идеи*, политическіе и нравственные принципы, натурализмъ долженъ заняться одной *правдой*, жизнью какъ она есть, безъ всякихъ красивыхъ освѣщеній. Но *правда* натурализма будетъ своеобразной правдой, *полюсомъ* для романтическихъ образовъ. И такъ какъ въ этихъ образахъ можно открыть все, что угодно, только не реальную психологію живыхъ людей, натурализмъ создастъ *контрастъ*, возьметъ тѣ же романтическіе образы, только наизнанку. Небывало-благороднымъ героямъ и на рѣдкость величественнымъ происшествіямъ будутъ противопоставлены столь же исключительно-отвратительныя порожденія зла и разсказаны исторіи безпросвѣтно-темныхъ инстинктовъ.

Такое нравственное и психологическое содержаніе натурализма вполнѣ подойдетъ подъ общее культурное настроеніе эпохи. Она—вся разочарованіе въ идеяхъ и идеалахъ, она, устами того же Тэна, произноситъ смертный приговоръ нашимъ надеждамъ видѣть когда-нибудь человѣка свободнымъ отъ звѣрскихъ наклонностей уничтожать ближняго. Царство силы вѣчно и «охота за дичью» не прекратится въ той или другой формѣ до послѣднихъ

дней нашей планеты. Тэнъ даже возмущался воспитателями, внушающими юношамъ идею совмѣстной общественной работы и заставляющими преступниковъ считать явленіемъ отрицательнымъ и ненормальнымъ. Напротивъ. Преступники только выраженіе исконнаго порядка въ людскомъ обществѣ—звѣрской борьбы за личный интересъ.

Эта философія цѣликомъ вошла въ историческіе труды Тэна о революціи и легла въ основу научнаго романа Золя.

«Опаснымъ мечтаніямъ нѣтъ въ немъ мѣста,—говоритъ авторъ;—зло изображается во всемъ его ужасѣ, паденіе обставлено всей грязью и всѣми муками, являющимися его послѣдствіемъ, и всегда приходишь неизмѣнно къ тому выводу, что добродѣтель и счастье заключаются въ логикѣ, въ признаніи правды, въ равновѣсіи человѣка съ природой, его окружающей».

Слова, на первый взглядъ, вполнѣ основательныя. Но вопросъ, что признавать логикой и правдой и съ какой природой находиться въ равновѣсіи? А потомъ, какъ отдѣлить *мечтанія* отъ *логики* и согласоваться съ природой не значитъ ли подчиняться ей?

Тэнъ и Золя, принципіальные враги идеализма и романтической школы, предвосхитили правду и логику даже раньше фактовъ: это—правда разочарованія или равнодушія и логика зла. А природа—сплошная сцена борьбы за существованіе, торжества стихійной силы надъ слабостью. Таковъ, по мнѣнію нашихъ «натуралистовъ», выводъ современной науки.

Въ результатѣ, человѣкъ Золя будетъ *человѣкъ-звѣрь*, а логика—*ужасъ*, *грязь* и *муки*. И все это овладѣетъ литературой вовсе не потому, чтобы въ самомъ дѣлѣ жизнь представляла неистощимую сокровищницу только золаическихъ документовъ—нѣтъ, а потому, что у писателя *новая формула*. И на этотъ разъ она гораздо повелительнѣе, чѣмъ раннія формулы классицизма и романтизма: она—выводъ изъ опытныхъ наукъ, она—въ художественномъ и психологическомъ смыслѣ та же *химія* и тотъ же *анализъ*, какими живетъ современное естествознаніе.

Кромѣ столь эффектнаго научнаго капитала, натурализмъ въ томъ же естествознаніи почерпнулъ и еще одну, въ высшей степени удобную и вполнѣ современную идеи. Ученые производятъ опыты, не задаваясь никакими нравственными цѣлями, не вмѣшивая ни политическіе, ни общественные интересы въ свои изслѣдованія. Такъ же должны держать себя и писатели. Золя чувствуетъ непреодолимое отвращеніе къ политикѣ, не находитъ до-

статочно презрительныхъ выраженій заклеймить политическую борьбу и парламентскія пошлости — *les misères parlementaires*, какъ выражался Сентъ-Бёвъ. Это общее настроеніе новѣйшихъ французскихъ знаменитостей. Тэнъ также не зналъ, куда скрыться отъ шумнаго политическаго свѣта, Ренанъ даже превратился въ драматурга съ цѣлью написать памфлетъ на современную демократію. Еще умѣстнѣе, конечно, идейное безразличіе у *эксперименттатора.*

Но опять фразы одно, а результаты совершенно другое. Золя жестоко возмущался, когда Тэнъ безпрестанно завѣрялъ своихъ читателей въ своемъ безпристрастіи *натуралиста* и въ способности изслѣдовать историческія событія будто растенія и животные организмы, а на самомъ дѣлѣ сочинилъ единственный въ своемъ родѣ пасквиль на цѣлую историческую эпоху и ея дѣятелей. Это, дѣйствительно, бревно въ глазу ученаго, но не мѣшало бы Золя оглянуться и на самого себя.

Правда, въ немъ ничего нѣтъ *политическаго*, это гражданинъ, по закону Солона, вполнѣ заслуживающій изгнанія изъ своего отечества, но *моралистъ* очень яркій и опредѣленный, до такой степени, что именно морали Золя болѣе обязанъ популярностью, чѣмъ таланту. Онъ усиленно старается защитить себя отъ упрековъ въ порнографіи и содержаніе своихъ романовъ пристегиваетъ къ научной системѣ. Но въ то же время онъ литературный талантъ ставитъ внѣ какихъ бы то ни было нравственныхъ обязательствъ. Слейте эту мысль съ «трезвымъ» философскимъ міросозерцаніемъ Тэна и того же Золя, и совершенно логически получится именно нравственная формула: чѣмъ больше грязи, тѣмъ больше правды.

А потомъ судьба натурализма еще при жизни самого учителя ясно обнаружила внутреннія язвы экспериментальнаго романа. Онъ вызвалъ оппозицію, не менѣе рѣшительную, чѣмъ его собственная война съ риторами и идеалистами.

VIII.

Въ противовѣсъ натуралистическому культу звѣрской природы и отвратительной дѣйствительности, возникли давно забытые восторги чистые предъ таинственнымъ и прекраснымъ. Это единственное оправданіе символизма. Онъ знаменовалъ пресыщеніе *грязью* и *ужасами*, и обнаружилъ стремленіе спастись въ область того самаго *l'inconnu*, о которомъ съ невыразимымъ презрѣніемъ

отзывался Золя. Утомленные стонами и оргіями, омутами и застѣнками, люди возжаждали сладкихъ звуковъ и небеснаго далека.

Даже больше. По исконному обычаю французовъ клинъ выбивать такимъ же клиномъ, символисты однимъ взмахомъ крыльевъ улетѣли не только отъ золаической грязи, а вообще отъ бренной земли. Золя подборомъ документовъ умѣлъ создать ультра-дѣйствительность, если такъ можно выразиться,—его оппоненты устранили вообще дѣйствительность и стали воздѣлывать до такой степени утонченное, неуловимое содержаніе, что поэзія превратилась въ звуки безъ всякаго общедоступнаго опредѣленнаго смысла, не только идейнаго, а даже грамматическаго. Золя разсчитывалъ на публику съ самымъ первобытнымъ эстетическимъ пониманіемъ, можно сказать, съ однимъ физіологическимъ чутьемъ, новая школа объявила своей славой и гордостью—творить только для немногихъ посвященныхъ и достоинство произведенія соразмѣрять степенью его невразумительности.

Однимъ словомъ, символизмъ такое же *напряженное* и *разсчитанное* отрицаніе натурализма, какимъ была романтическая «свобода» относительно этикета. И естественно, при всей небесной воздушности формъ и эфемерности смысла, символисты неминуемо выработали также свою *формулу*. Даже и не требовалось ея вырабатывать: она логически подсказывалась положеніемъ, какое занялъ символизмъ рядомъ съ натуральнымъ романомъ, такъ же, какъ и романтическіе «законы» непосредственно вытекали изъ воинственнаго натиска романтиковъ на «красные каблуки».

Символизмъ не заслуживаетъ самъ по себѣ серьезнаго вниманія: онъ лишь временный отрицательный моментъ. Но въ общей исторіи французскаго творчества онъ краснорѣчивое звено. Онъ возникъ одновременно и рядомъ съ импрессіонистской критикой и явился дѣтищемъ одного и того же культурнаго процесса. Импрессіонизмъ—критика *впечатлѣній*—антиподъ критикѣ *теорій* и *принциповъ*, т. е. критическому догматизму.

Если мы вникнемъ въ психологическую суть новѣйшаго направленія, мы непремѣнно придемъ къ ясному чувству разочарованія въ какихъ бы то ни было разсудочныхъ правилахъ художественнаго творчества и къ проблескамъ сознанія великаго значенія свободы. Въ этомъ чувствѣ и сознаніи положительная черта импрессіонизма.

Онъ правъ, пока отрицаетъ и классическую схоластику, и мнимонаучный формализмъ. Онъ правъ даже, выдвигая на пер-

вый планъ *впечатлѣнія* въ области искусства и отдавая имъ предпочтеніе предъ «этикетомъ» и «законами». До этихъ предѣловъ импрессіонизмъ имѣетъ извѣстный историческій смыслъ, такъ же какъ и оппозиція символистовъ обладаетъ долей истины. Но дальше начинается чисто французскій оборотъ дѣла: разъ, ни схоластическій, ни политическій, ни научный догматизмъ въ искусствѣ и въ критикѣ не нашелъ почвы, пусть не будетъ не только догматизма, а вообще ничего сколько-нибудь похожаго на *опредѣленный взглядъ*.

Были цѣпи, теперь полнѣйшая свобода, на каждомъ шагу назойливо бросались въ глаза неотразимо проводимая теорія, школа, теперь прочь даже простую послѣдовательность впечатлѣній, и чѣмъ сужденія объ одномъ и томъ же предметѣ будутъ чаще и рѣшительнѣе противорѣчить другъ другу, тѣмъ критика вѣрнѣе приблизится къ идеалу.

Древніе софисты, отвергая безусловную истину, говорили: «человѣкъ—мѣра вещамъ». Импрессіонисты идутъ гораздо дальше: не человѣкъ, а его минутное настроеніе, часто едва уловимое ощущеніе—мѣра и истинѣ, и красотѣ. Объ искусствѣ нельзя *поучать*, можно только разсказывать о своихъ волненіяхъ. И Лемэтръ чувствуетъ такое же отвращеніе къ Золя и натурализму, какъ и символисты. Въ натурализмѣ очень много *формулъ*, *школы* и *системы*: Лемэтръ хочетъ быть свободнымъ, какъ вѣтеръ пустыни...

Но, снова повторяемъ, пусть слово свобода не чаруетъ вашего слуха: помните, оно произносится не во имя божества, а съ цѣлью искоренить его враговъ. Слѣдовательно, съ самаго начала сторонники свободы не свободны, они во власти страсти, одушевлены гораздо больше ненавистью къ своимъ противникамъ, чѣмъ любовью къ истинѣ, дѣйствуютъ скорѣе подъ вліяніемъ запальчивости, чѣмъ вдумчивой мысли и внутренняго влеченія къ правдѣ.

Въ результатѣ, нравственная цѣна провозглашенной свободы крайне невысока. Изъ страха впасть въ догматизмъ и идейность, импрессіонистъ спускается до уровня самаго банальнаго, такъ называемаго здраваго смысла. Принципы его художественныхъ впечатлѣній—умѣренность и аккуратность. Все, что̀ сколько-нибудь выше буржуазнаго, будничнаго опыта, Лемэтръ считаетъ чудовищнымъ и мистическимъ. Отсюда его презрѣніе къ русской литературѣ, переполненной слишкомъ, на его взглядъ, фантастическими и туманными мотивами. Здѣсь же отчасти и причина его ненависти къ романтизму, дѣйствительно весьма грѣшному въ пре-

увлеченіяхъ по части героизма. Лемэтръ признаетъ только мудрость—практическую и вполнѣ осязательную—*une sagesse à la portée de la main*. Онъ прирожденный врагъ умственныхъ усилій и слишкомъ глубокихъ волненій: это—натура эпикурейская, чувственная и пассивная. Она, очевидно, какъ нельзя болѣе приспособлена къ смѣнѣ совершенно безцѣльныхъ впечатлѣній и ни къ чему не обязывающихъ сужденій.

Понятно, симпатичнѣе всѣхъ писателей Лемэтру долженъ казаться классикъ въ родѣ Расина. Въ сущности, классическая трагедія тоже игра, салонное красивое развлеченіе, а идеалы Расина самые кроткіе и благонамѣренные, и Лемэтръ провозгласитъ его образцовымъ французомъ!

Дѣйствительно, трудно еще отыскать болѣе невинный и усладительно-спокойный спектакль, чѣмъ танцующія фигуры и музыкальнѣйшіе въ мірѣ монологи классическаго трагика!

И онъ—*le français de France*, *французъ Франціи*, *типъ французскаго генія*! Это выраженія импрессіониста, и поучительнѣе ихъ трудно и представить. Новый критикъ не хочетъ ни теорій, ни классификаціи, ни особенно «поученій юношеству». Онъ поэтому отвергаетъ академическую піитику и романтическій либерализмъ, но спасетъ Расина ради его безобидности и умѣренности, ради его духовнаго родства съ современными мѣщанскими идеалами—se laisser aller et se laisser vivre, жить потихоньку день за день, пользуясь, по возможности, пріятными впечатлѣніями. Лемэтръ, напримѣръ, даже вообразить не можетъ ничего очаровательнѣе Парижа и парижскихъ бульваровъ, ничего благороднѣе и разумнѣе *парижскаго духа—l'esprit parisien*. Во имя этихъ прелестей онъ и ополчился на «славянщину» и вообще на «варваровъ» — гр. Тостого, Ибсена, Достоевскаго. Эти дикари грозили разрушить зачарованный кругъ эпикурействующаго Жоржа Дандэна.

Таковъ эстетическій и нравственный полетъ современной литературной философіи во Франціи! Мы видимъ, при всемъ отвращеніи импрессіонистовъ къ поученіямъ и системамъ, у нихъ неизбѣжно составилось свое маленькое законодательство: не выше бульвара и не дальше Булонскаго лѣса!

Какого содержанія можетъ быть искусство, вдохновляемое подобной критикой? Въ натурализмѣ есть извѣстная сила, смѣлость, мало всесторонней правды, творческаго воспроизведенія дѣйствительности, но сколько угодно драматизма. Что же можетъ внушить импрессіонистское томленіе по слегка раздражающимъ чувствен-

нымъ ощущеніямъ, по сразу усваиваемой давно всѣми пережеванной умственной пищѣ?

Отвѣтъ не труденъ. Литература должна вернуться вспять, до классицизма. и снова превратиться въ одну изъ принадлежностей комфорта въ жизни господъ, имѣющихъ возможность предаваться «чувственной лѣни» и смаковать собственныя впечатлѣнія безъ малѣйшаго душевнаго безпокойства и умственнаго напряженія. Критика уже снизошла до чрезвычайно милой, какой-то порхающей болтовни. Еще Сентъ-Бёвъ находилъ, что «хорошая критика» можетъ излагаться только въ формѣ болтовни—*en causant*. Теперь это искусство усовершенствовано, и Лемэтръ, безъ всякихъ церемоній, будетъ «критиковать» автора или актера буквально по слѣдующему методу: *As tu fini, espèce d'echauffé?.. Eh! va donc...* Вообще, какъ водится на бульварѣ въ дружескомъ разговорѣ. Что же дѣлать литературѣ?

Если такъ *забавенъ* и *легокъ* критикъ, каково положеніе беллетриста! Ему уже прямо остается лѣзть изъ кожи, лишь бы все было *легко* и *пріятно*. А такъ какъ его не стѣсняютъ болѣе никакія теоріи и идеи, и менѣе всего «поученія», естественно въ какомъ жанрѣ будетъ осуществляться пріятность и легкость.

И вы думаете, наконецъ, въ этой литературѣ явится и правда, и жизнь, такъ какъ навсегда, повидимому, покончено съ формулами и этикетами? Отнюдь нѣтъ.

Трудно и пересчитать, сколько важнѣйшихъ благороднѣйшихъ культурныхъ силъ лежитъ внѣ импрессіонистскаго міросозерцанія. Оно эгоистическое и консервативное въ смыслѣ полнаго равнодушія къ общему прогрессу, инертное даже въ вопросахъ личнаго совершенствованія, отмежевало себѣ самый узкій кругъ чувствъ и идей, какой только можно представить въ цивилизованномъ обществѣ.

Въ глубинѣ импрессіонизма лежитъ органическая усталость, сближающая нашихъ современниковъ съ жертвами «эпохи упадка». Даже сами критики новаго направленія и безусловно передовые философы, въ родѣ, напримѣръ, Ренана, испытываютъ какую-то своеобразную гордость, сравнивая свое время съ послѣдними вѣками римской имперіи. И Лемэтру, повидимому, доступны всѣ настроенія, свойственныя безнадежно одряблѣвшей природѣ вырождающагося общества.

Онъ крайне низко цѣнитъ дѣятельность мысли и профессію писателя считаетъ послѣдней, заслуживающей разумнаго выбора.

«Что значатъ», восклицаетъ онъ, «наши мелкія, ничтожныя умственныя удовольствія предъ великими животными радостями физической жизни!» И критикъ тоскуетъ по кожѣ, обросшей волосами, по лѣсной берлогѣ, по свободному царству инстинктовъ...

Есть, конечно, доля кокетства и фиглярства въ этой тоскѣ какъ вообще во всей «болтовнѣ» подобныхъ людей. Но не мало и подлинной правды: писатель, отказавшійся отъ какого бы то ни было идейнаго смысла литературы и сбросившій съ себя всякія логическія и нравственныя обязательства, дѣйствительно можетъ тяготиться даже умственнымъ процессомъ и самымъ ничтожнымъ вмѣшательствомъ сознанія въ буржуазный комфортъ и пріятныя ощущенія.

Очевидно, въ искусствѣ съ такимъ источникомъ вдохновенія останется только самый жалкій клочекъ современной дѣйствительности и *выборъ фактовъ* въ импрессіонистской литературѣ окажется еще болѣе бѣднымъ, чѣмъ въ натурализмѣ. Вся новѣйшая школа знаменуетъ собой немощь и равнодушіе. Это уже не воинственная оппозиція ненавистному литературному направленію, а бѣгство отъ него въ сторону, безсильное отмахиваніе руками отъ идей романтизма и жестокой натуральной правды. Цѣлые вѣка деспотическихъ литературныхъ системъ будто въ конецъ измочалили художественный геній Франціи. Начиная съ «Института» Ришелье вплоть до проектированной «Академія Гонкуровъ»—искусство и критика изъ одной сѣти законовъ и нравовъ попадали въ другую, еще болѣе цѣпкую и сложную. Это—длинная смѣна «литературныхъ республикъ» съ очень большими полномочіями президента и министерскаго совѣта.

Расинъ, Гюго, Золя обозначаютъ своими именами три великихъ школы, и замѣтьте, художники въ то же время всегда критики. Едва почувствовавъ творческія силы и раскрывъ глаза на свѣтъ Божій, они уже спѣшатъ заручиться рулемъ и вооружиться очками. У нихъ нѣтъ даже представленія о двухъ основныхъ принципахъ всякаго художественнаго таланта: *личная* свобода вдохновенія и *непосредственное* сближеніе писателя съ жизнью. Нѣтъ. Французъ непремѣнно прицѣпитъ помочи къ какому угодно поэтическому генію и изобрѣтетъ средостѣніе между поэтомъ и дѣйствительностью.

Въ результатѣ необыкновенно блестящее и всемірно-вліятельное развитіе французской литературы представляется въ видѣ однообразно волнующагося моря: волна то падаетъ, то поднимается,

не мѣняя сущности своего состава. Чѣмъ глубже паденіе, тѣмъ будетъ выше подъемъ, чѣмъ нетерпимѣе система одной школы, тѣмъ азартнѣе будетъ оппозиція, столь же систематическая и строго формулированная.

Эта исторія *національна* до послѣдней черты. Самый типъ французскаго ума ничего не могъ создать, кромѣ вѣчнаго неистребимаго *классическаго духа*, т. е. такихъ же формулъ въ искусствѣ, какими питается математическій геній, столь свойственный французамъ. Ни одинъ народъ не обладаетъ такой способностью упростить идею, подъискать для нея идеально точную и прозрачную словесную форму, низвести её до послѣдняго предѣла элементарности и общедоступности. И поэтому никто не можетъ сравняться съ французами въ искусствѣ популяризаціи и Франція искони была призванной *распространительницей идей*, самой благодарной прозелиткой и проповѣдницей философскихъ системъ и научныхъ теорій. Это въ полномъ смыслѣ провиденціальное назначеніе французскаго генія. Онъ съумѣлъ выработать и языкъ, какъ нельзя болѣе подходящій для ясныхъ и популярныхъ опредѣленій, *классически* стройный и точный.

Но тотъ же благодѣтельный геній распространилъ свой *резонирующій разумъ*—*la raison raisonnante*, свою стихійную наклонность къ формуламъ и классификаціямъ на область, менѣе всего подлежащую строго логическимъ процессамъ. Въ творчествѣ всегда останется нѣчто *невѣдомое* и *произвольное*, неуловимое и неуложимое ни въ какіе законы и формулы. Здѣсь самому основательному критику и вліятельнѣйшему писателю слѣдуетъ помнить отвѣтъ германскаго императора пѣвцу: «не мнѣ управлять вдохновеніемъ поэта»... Пусть его *личность* и окружающая его *жизнь* будутъ его руководителями и наставниками. Если личность дѣйствительно даровита, нравственно богата и благородна, она непремѣнно сама подойдетъ къ правдѣ жизни и сама откроетъ и идеи и принципы. Даже больше. Пусть самъ художникъ не подозрѣваетъ на своемъ пути никакихъ тенденцій, даже пусть разсудочно бѣжитъ отъ нихъ, онѣ все-таки проникнутъ въ его творчество, если только оно *жизненно* и *искренне*. Еще опрометчивѣе стараться вложить въ извѣстныя рамки самый процессъ творческой работы. Онъ такое же органическое явленіе, какъ всякое живое созданіе природы, и подчиненъ только своимъ внутреннимъ законамъ. Если это созданіе *естественно* сильно и въ самомъ себѣ таитъ сѣмена красоты, оно принесетъ свои плоды, все равно, какъ

роза непремѣнно дастъ роскошные цвѣты, и шиповникъ при самомъ тщательномъ уходѣ все-таки выйдетъ лишь отдаленнымъ намекомъ на розу.

Французскій умъ пошелъ другимъ путемъ. Онъ почти уничтожилъ грань между поэтомъ и ораторомъ и употреблялъ всѣ усилія, при помощи законовъ и академій, если не создавать поэтическіе таланты, то уже созданные ровнять, обстригать и привязывать къ подпоркамъ. Провозглашая даже правду и природу, онъ безсознательно урѣзывалъ и ту, и другую. Возмущаясь классическимъ отожествленіемъ свободнаго вдохновенія съ безуміемъ, онъ и въ самомъ безуміи отыщетъ формулу и Полоній съ одинаковымъ основаніемъ и о Гамлетѣ, и о романтикахъ могъ бы сказать: это безуміе *систематическое*.

Школы, непрерывный рядъ *школъ*—вотъ альфа и омега литературной исторіи Франціи, и въ сильнѣйшей степени другихъ европейскихъ странъ. Самая національная литература англійская владѣетъ Шекспиромъ, не принадлежащимъ ни къ какой школѣ *въ трагедіяхъ*. Эта оговорка необходима, потому что шекспировскія комедіи цѣликомъ входятъ въ итальянскую школу комическаго жанра, ту самую, гдѣ научился писать фарсы и Мольеръ. Но за то послѣ Шекспира тянется длинный рядъ англійскихъ классиковъ, своего рода академиковъ въ пудрѣ и французскихъ кафтанахъ, и даже неукротимѣйшій геній новой англійской поэзіи Байронъ пишетъ драмы «по правиламъ» въ духѣ французскаго института и осмѣливается заявить о преимуществахъ Попа передъ Шекспиромъ.

Германія съ самаго начала покорно воспринимаетъ иго классицизма, потомъ въ лицѣ Лессинга учится у Дидро и въ драмѣ Шиллера создаетъ бурный романтизмъ и литературную *либеральную* партію. Но психологическіе и реальные таланты шиллеровской драмы тожественны съ «природой» французскаго романтизма: у него она также оглушительно кричитъ и съ такимъ же пристрастіемъ дѣлаетъ бѣшеные прыжки вмѣсто человѣческаго разговора и обыкновенныхъ движеній.

Дальше натурализмъ. Это уже настоящая эпидемія для всѣхъ европейскихъ литературъ, и сама побѣдоносная, объединенная Германія принесли едва ли не обильнѣйшую дань и въ романахъ, и въ пьесахъ на алтарь золаической школѣ.

Можно, конечно, и во французской, и въ другихъ критикахъ услышать голоса, протестующіе противъ той или другой системы,—голоса умѣренности и независимости. Можно насчитать также нѣ-

сколько талантливыхъ писателей, не подчинявшихся игу оффиціальнаго литературнаго кодекса. Но это *дикіе*, если здѣсь умѣстенъ языкъ парламентскихъ партій. Еще за предѣлами Франціи они имѣли и могутъ имѣть свое *независимое* значеніе, по крайней мѣрѣ, въ искусствѣ, въ самой Франціи они своего рода «естественные» люди. Въ критикѣ они способны на многія дѣльныя замѣчанія въ смыслѣ отрицанія, но окончательно освободить искусство они безсильны. Сентъ-Бёвъ, напримѣръ, лично романтикъ, далеко ушелъ отъ «законовъ» Гюго, но это движеніе отнюдь не было прогрессомъ собственно критической мысли.

Сентъ-Бёвъ такая же ничтожная, въ сущности, даже неопредѣлимая величина въ положительной критикѣ, какой пестрый и презрѣнный паразитъ въ политикѣ. Ему ничего не стóило перейти въ какой угодно лагерь, лишь бы остаться на сторонѣ торжествующихъ и располагающихъ наградами и всякими земными благами. Въ *психологическомъ* отношеніи это прямой предшественникъ импрессіонизма, *въ нравственномъ*—совершенный представитель оппортюнизма. Критика у него преобразилась въ остроумную, часто блестящую, но чисто увеселительную болтовню. Его страсть писать біографіи и составлять психологическія характеристики въ результатѣ приводила къ погонѣ за разными *bêtes noires* сплетническаго и пикантнаго содержанія. Ничего прочнаго и цѣльнаго не могли дать эти упражненія, не одушевленныя никакой нравственной вѣрой, никакимъ общественнымъ символомъ. Тэнъ быстро затмилъ Сентъ-Бёва, выдвинувъ снова *формулы* и *системы*...

Теченіе русской литературы на раннихъ порахъ неизбѣжно впало въ общее море, и на русскомъ языкѣ литература заговорила по французски еще усерднѣе, чѣмъ нѣмецкіе Готшеды и англійскіе Драйдены. Но это была не національная литература; она столь же далека отъ народнаго духа, какъ и ея публика, она не менѣе противоестественна, чѣмъ крѣпостникъ-энциклопедистъ и недоросль-вольтерьянецъ. Но именно она и была родоначальницей до сихъ поръ существующаго взгляда, будто русское искусство только одна изъ вѣтвей европейскаго творческаго генія, можетъ быть, даже одно и то же растеніе только на другой почвѣ.

На самомъ дѣлѣ врядъ ли еще въ какой области раскрылось съ такой силой и яркостью культурное отличіе русской національности отъ общеевропейскаго типа, какъ именно въ содержаніи и процессѣ художественнаго творчества.

IX.

При самомъ поверхностномъ взглядѣ на исторію русской литературы бросается въ глаза въ высшей степени оригинальный фактъ. Вся исторія съ XVIII-го вѣка до нашего времени рѣзко дѣлится на два періода, будто на двѣ главы совершенно разнаго характера и содержанія. Одну можно бы назвать россійско-европейская словесность, другую—русская литература. Одна—развитіе западныхъ литературныхъ школъ на русской почвѣ, другая—вся сплошь занята *національной* школой, до такой степени своеобразной и независимой, что рядомъ съ ней неизбѣжно исчезаютъ всякія соображенія о внѣшнихъ вліяніяхъ и руководствахъ.

Ровно въ теченіе столѣтія—отъ петровской реформы до двадцатыхъ годовъ слѣдующаго вѣка—наши писатели говорили на русскомъ языкѣ по-французски или по-нѣмецки, все равно, какъ французскіе классики полагали своей гордостью на французскомъ языкѣ писать по-гречески и по латыни. Это означало родное слово вкладывать въ чужія формы и заставлять служить темамъ и мотивамъ, не имѣющимъ ничего общаго съ народной жизнью и будничной современной дѣйствительностью. Такое оранжерейное искусство перекочевало по всѣмъ странамъ Европы, но нигдѣ оно не имѣло такой любопытной и неожиданной судьбы, какъ у насъ.

Всюду оно встрѣчало необыкновенно сильнымъ отпоромъ появленіе новыхъ художественныхъ направленій, вступало съ ними въ шумный бой, и то исчезало со сцены, то снова разцвѣтало, хотя бы и блѣднымъ цвѣтомъ. Такъ, напримѣръ, было во Франціи. Классицизмъ, разбитый мѣщанской драмой и сентиментализмомъ, воскресъ при первой имперіи и разсчитывалъ заполонить литературу при реставраціи. Ничего подобнаго нѣтъ въ н а шихъ лѣтописяхъ. Не только классицизмъ, но всѣ другія, даже болѣе жизненныя школы, завяли и умерли какъ-то внезапно, будто отъ дуновенія какого-то смертельнаго для нихъ вѣтра. Стоило появиться Грибоѣдову, классицизмъ оказался навсегда похороненнымъ. явился Пушкинъ—всѣ счеты покончены съ романтизмомъ, началъ писать Гоголь—быстро и навсегда установился русскій національный реализмъ, ни по происхожденію, ни по художественнымъ задачамъ не прикосновенный къ европейскому направленію.

Въ результатѣ, основныя эстетическія ученія западныхъ литературъ остались для нашего искусства чисто внѣшними фактами, будто случайно набѣжавшими волнами. Столѣтнее существо-

ваніе не закрѣпило за ними никакихъ правъ на историческую прочность и даже не создало въ нихъ силъ для сколько-нибудь замѣтной борьбы. Достаточно одного произведенія, единоличнаго протеста даровитаго поэта, чтобы цѣлая школа мгновенно распалась, перешла въ область преданій или, самое большее, стала предметомъ педантическаго культа архивныхъ аристарховъ.

Чѣмъ объясняется такое совершенно исключительное явленіе во всей европейской литературной исторіи?

Вопросъ непосредственно приводитъ насъ къ общей оцѣнкѣ такъ-называемыхъ западныхъ вліяній на литературное развитіе русскаго общества.

Самый пышный разцвѣтъ этихъ вліяній падаетъ на екатерининскую эпоху. На Западѣ въ это время происходила ожесточенная борьба классицизма съ новыми художественными и общественными идеями. На смѣну салонной аристократической публики шло третье сословіе и требовало болѣе реальнаго и свободнаго искусства. Удары старымъ теоріямъ наносились со всѣхъ сторонъ,—въ философіи, въ политикѣ, въ эстетикѣ, и на столько успѣшно, что къ сторонникамъ новшествъ постепенно приставали убѣжденнѣйшіе классики, въ родѣ Вольтера, и, скрѣпя сердце, принимались писать чувствительныя драмы и мѣщанскія трагедіи.

Борьба не могла ограничиться Франціей, быстро перешла границы и вызвала талантливѣйшаго критика даже въ самой скромной и спокойной литературѣ—въ нѣмецкой. Лессингъ превратился въ усерднаго ученика Дидро и сталъ во главѣ блестящаго періода германскаго творчества. Именно въ этотъ моментъ и наши авторы съ особеннымъ усердіемъ стали учиться у Вольтера и энциклопедистовъ. Въ первомъ ряду учениковъ числилась сама императрица.

Но посмотрите, въ чемъ заключалось это ученье и какіе плоды выросли на русской почвѣ отъ западныхъ сѣмянъ?

Въ то время, когда во Франціи искусство Расина подвергается сплошному осмѣянію, даже Вольтеръ поднимаетъ руку на классическія трагедіи и издѣвается надъ шаблонностью и пустотой ихъ содержанія, у насъ именно классицизмъ въ самой уродливой формѣ находитъ преданнѣйшихъ послѣдователей. Какимъ-то чудомъ русскіе писатели минуютъ дѣйствительно современныя теченія западной литературы, и сосредоточиваютъ всѣ свои сочувствія на отжившихъ формахъ и развѣнчанныхъ идеяхъ. Ни Дидро, ни Мерсье, ни Бомарше, ни Лессингъ не удостоиваются чести попасть въ число нашихъ учителей; мѣсто это занимаютъ Буало и другіе, еще

болѣе ископаемые охранители классическаго Парнасса. Даже Гриммъ, оффиціальный корреспондентъ Екатерины, авторитетнѣйшій собиратель литературныхъ новостей и признанный судья, не производитъ на русскихъ читателей никакого впечатлѣнія ядовитѣйшими замѣчаніями о «нелѣпой любви» расиновскихъ трагедій. Освободительное движеніе проходитъ мимо нашихъ соотечественниковъ и они ухитряются наложить на себя оковы ниспровергнутаго педантизма какъ разъ въ самую живую и свободную эпоху западнаго искусства.

И вспомните, какими курьезами, по истинѣ достопамятными противорѣчіями и странностями сопровождается первое сколько-нибудь значительное *вліяніе* европейской литературы на русскую!

Во главѣ отечественнаго классицизма стоитъ Сумароковъ.

Самъ по себѣ это отнюдь не жалкій, забитый стихокропатель, въ родѣ Тредьяковскаго. Напротивъ, у него есть и характеръ, и чувство личнаго достоинства, и «любленіе къ стихотворству», для своего времени довольно безкорыстное, даже похожее на сознаніе писательскаго значенія. Сумароковъ не способенъ, подобно автору *Телемахиды*, взять *безчестье* за кровную обиду и состоять на роли шута у знатнаго мецената. Онъ даже не прочь вступить въ пререканія съ московскимъ градоначальникомъ за независимость своей музы, открыто заявить, что не домогается его милостей и на поприщѣ поэзіи ставитъ себя выше вельможи...

Для екатерининской эпохи это своего рода гражданскій подвигъ, тѣмъ болѣе, что раздражительный драматургъ у самой государыни вызвалъ заявленіе видѣть лучше представленіе страстей въ его драмахъ, чѣмъ въ его письмахъ... Такой черты нѣтъ въ біографіи ни Расина, ни Корнеля.

Но именно жесточайшая буря поднята Сумароковымъ какъ разъ во славу Расина—противъ новѣйшей литературной школы, въ лицѣ Бомарше. Сумароковъ не вынесъ представленія мѣщанской драмы *Евгенія*, и вздумалъ искать защиты у самого престола. Противниками россійскаго Вольтера оказывалась не только московская администрація, но вся *публика* старой столицы. Это—фактъ достопамятный. Впослѣдствіи мы оцѣнимъ его историческій смыслъ.

Сумароковъ незадолго до своего московскаго пораженія обратился съ посланіемъ къ «фернейскому патріарху», по его мнѣнію, надежнѣйшему столпу классицизма. Вольтеръ находился въ усерднѣйшей перепискѣ съ Екатериной, обмѣнивался съ ней

самыми отважными комплиментами, часто ничѣмъ не уступавшими образцовому придворному тону, и письмомъ Сумарокова воспользовался для лишнихъ царедворческихъ изліяній по адресу своей высокой поклонницы.

Естественно, въ Фернэ нашлось полное сочувствіе восторгамъ Сумарокова предъ Расиномъ, раздалось энергичнѣйшее негодованіе на новую драму, на *мѣщанскія имена* ея героевъ. Драматурги объявлялись бездарными афериетами, оставившими писать трагедіи по неспособности, и ихъ произведеніямъ давалось остроумное прозвище «незаконнорожденныхъ пьесъ»—*ces pièces bâtardes*...

Легко представить восторгъ Сумарокова. Самъ всеобщій учитель царей и вельможъ считалъ честью соглашаться «во всемъ» съ русскимъ писателемъ!.. Естественно послѣ такого по истинѣ королевскаго посвященія, Сумароковъ уже безповоротно вообразилъ себя Юпитеромъ россійскаго литературнаго Олимпа и совершенно потерялъ мѣру въ самохвальствѣ и авторской гордости.

А между тѣмъ, и. письмо Вольтера, и чувства его ученика выходили сплошнымъ обморачиваніемъ и недоразумѣніемъ. Весь эпизодъ изумительно краснорѣчивъ и поучителенъ вообще для точнаго представленія о томъ, какъ и чему наши литераторы учились у Европы.

Сумароковъ безукоризненно зналъ французскій языкъ,—Вольтеръ и въ этомъ отношеніи не преминулъ ему сказать очень эффектную любезность,—но никакія силы, очевидно, не могли внушить соревнователю Расина *понимать* какъ слѣдуетъ французскія книги, отнюдь не головоломныя, а тѣ же вольтеровскія пьесы.

Правда, опредѣлить точно эстетическую теорію Вольтера не особенно легко: здѣсь постоянно прирожденный классикъ борется съ современникомъ Дидро и Бомарше, т. е. писателей, стяжавшихъ славу не трагедіей, а драмой. Но, во всякомъ случаѣ, не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію лицемѣріе Вольтера, когда онъ Расина именуетъ превосходнѣйшимъ писателемъ и возмущается мѣщанствомъ новыхъ пьесъ.

Письмо къ Сумарокову написано въ февралѣ 1769 года, но еще въ пятидесятыхъ годахъ Вольтеръ настоятельно доказывалъ необходимость сліянія трагическаго съ комическимъ, сцены «трогательныя до слезъ» признавались особенно цѣнными и умѣстными, такъ какъ и сама жизнь переполнена контрастами. Вольтеръ не желалъ только сплошной слезливости и требовалъ смѣха рядомъ съ чувствами. Это и значило защищать новый жанръ, тѣмъ болѣе, что тотъ же Вольтеръ одобрялъ драму Дидро.

Мало этого. Въ томъ же году, когда Сумароковъ получилъ письмо изъ Фернэ, авторъ письма въ предисловіи къ трагедіи *Гебры* высказывалъ слѣдующія истины, повидимому, не оставлявшія камня на камнѣ въ классическомъ святилищѣ:

«Чтобы легче внушить людямъ доблести, необходимыя для всякаго общества, авторъ выбралъ героевъ изъ низшаго класса. Онъ не побоялся вывести на сцену садовника, молодую дѣвушку, помогающую своему отцу въ сельскихъ работахъ, офицеровъ, изъ которыхъ одинъ командуетъ небольшой пограничной крѣпостью, другой служитъ подъ его командой; наконецъ, въ числѣ дѣйствующихъ лицъ простой солдатъ. Такіе герои, стоящіе ближе другихъ къ природѣ, говорящіе простымъ языкомъ, произведутъ болѣе сильное впечатлѣніе и скорѣе достигнутъ цѣли, чѣмъ влюбленные принцы и мучимыя страстью принцессы. Достаточно театры гремѣли трагическими приключеніями, возможными только среди монарховъ и совершенно безполезными для остальныхъ людей».

Вотъ до какихъ выводовъ договаривался восторженный почитатель Расина и его искусства «изображать любовь трагически», какъ выражалось фернейское посланіе!

И Вольтеръ практически слѣдовалъ своимъ новымъ убѣжденіямъ уже потому, что только они и могли спасти его славу драматурга у публики восемнадцатаго вѣка.

Ничего этого не знаетъ русскій классикъ и до конца своей дѣятельности изныеаетъ мучительнымъ желаніемъ «явить Россіи театръ Расиновъ».

И просвѣщенные современники отдаютъ должное этой мукѣ. Для нихъ авторъ *Хорева*, *Семиры* и прочихъ умилительныхъ и столь же утомительныхъ школьныхъ упражненій на реторическія темы—«наперсникъ Буаловъ, россійскій нашъ Расинъ!..» И самъ этотъ наперсникъ не знаетъ, какимъ аршиномъ и измѣрить свои заслуги предъ отечествомъ, и выраженіе Ломоносова о немъ «бѣдное свое риемачество выше всего человѣческаго знанія ставитъ», нисколько не преувеличиваетъ дѣйствительности.

И все это происходило у насъ именно въ то самое время, когда Вольтеръ велъ слѣдующую поучительную бесѣду съ Мармонтелемъ.

Начинающій писатель явился къ патріарху за совѣтомъ на счетъ своихъ первыхъ литературныхъ шаговъ. Вольтеръ указалъ ему на театръ, какъ на самый вѣрный путь къ славѣ. Мармонтель откровенно объяснилъ свое полное незнаніе жизни, незнакомство съ обществомъ, неумѣнье создавать характеры.

— Ну, такъ сочиняйте трагедію,—былъ отвѣтъ.

Юноша послѣдовалъ совѣту, и оказался не хуже другихъ.

Однимъ словомъ, жанръ Расина отживалъ свои дни и утрачивалъ послѣдній кредитъ, и будто отъ смертной агоніи на родинѣ искалъ спасенія въ странѣ скиѳовъ. Никакіе современные уроки не могли увлечь первенствующаго писателя дѣйствительно новыми художественными задачами. Онъ фатально, будто потерявъ глаза и смыслъ, устремлялся въ дебри стараго педантизма и угощалъ своихъ современниковъ давно испортившимися продуктами классической кухни. Даже пребываніе въ Петербургѣ главы новой драмы, Дидро, не образумило «наперсниковъ Буаловыхъ», и они, въ глухотѣ и слѣпотѣ къ литературному прогрессу, остаются до конца достойными соревнователями своихъ соотечественниковъ-крѣпостниковъ, пожалуй, еще лучше Сумарокова владѣвшихъ французскимъ діалектомъ, но не французскими идеями.

Именно идеями. Не было бы особенной бѣды, если бы Сумароковъ проглядѣлъ *форму* литературы, и вообще если бы наши писатели совсѣмъ миновали слезливую и мѣщанскую драму, какъ жанръ.

Но вопросъ получалъ совершенно другое значеніе въ связи съ *содержаніемъ* новой формы.

X.

Вольтеръ, мы видѣли, въ трагедіи счелъ необходимымъ дать мѣсто простому солдату, въ другихъ пьесахъ онъ выводитъ крестьянъ и крестьянокъ: это логическое слѣдствіе измѣны Расину. Драма—демократическое явленіе, точнѣе буржуазное, но изъ нея не исключался и народъ въ тѣснѣйшемъ смыслѣ. Она въ литературѣ то же самое, чѣмъ впослѣдствіи явились принципы 1789 года въ политикѣ. И заимствовать форму драмы, значило сбросить съ себя обязанность писать о привилегированныхъ и только ради нихъ приблизиться къ національной дѣйствительной жизни и, насколько доступно литературному таланту и слову, открыть пути общественному развитію, идеямъ личной и народной свободы.

Можно подумать, мы слишкомъ многаго требуемъ отъ русскаго ученика французскихъ писателей XVIII вѣка. Нисколько. Предъ ними прошли годы, когда опаснѣйшая изъ названныхъ нами идей, народная свобода, могла получить доступъ въ ихъ произведенія. Положимъ, эти годы промелькнули будто предразсвѣтный сонъ и притомъ не обѣщая утра даже въ отдаленномъ будущемъ, все-

таки съ подлинными питомцами европейскихъ вліяній немыслимы были бы такія, напримѣръ, сцены.

Авторъ *Наказа* въ либерализмѣ устремляется даже дальше тѣхъ писателей, чьи книги переписываетъ, вопреки Монтескьё безусловно возмущается пытками и религіозными преслѣдованіями и достигаетъ поразительнаго эффекта: сочиненіе государыни и правительницы громадной, на европейскій взглядъ, совершенно варварской страны осуждается на сожженіе во Франціи... И что же? Дровъ въ этотъ костеръ могли бы подложить самые усердные поклонники Вольтера, и одинъ изъ первыхъ—его корреспондентъ.

Сумароковъ рѣшительно возсталъ въ защиту крѣпостного права, и не по какимъ-либо политическимъ соображеніямъ; это было бы еще извинительно для екатерининскаго подданнаго. Нѣтъ. Въ отзывѣ Сумарокова на мечтательныя идеи императрицы читаемъ: «Нашъ низкій народъ никакихъ благородныхъ чувствій не имѣетъ».

И дальше слѣдовало доказательство еще болѣе «національное». Освободить крестьянъ невозможно, иначе пришлось бы угождать слугамъ. Да и не нужна никакая свобода: среди помѣщиковъ и крестьянъ царствуетъ любовь и миръ.

Когда это говорилось, у Екатерины еще не успѣлъ остыть, извнѣ по крайней мѣрѣ, философскій азартъ, и она на рѣчи Сумарокова отвѣтила убійственной критикой:

«Изображеніе въ поэтѣ работаетъ, а связи въ мысляхъ понять ему тяжело».

Очень зло и мѣтко, но не на всегда. Скоро придетъ время, и сама Екатерина будетъ разсуждать о крѣпостныхъ порядкахъ буквально по «изображенію» своего поэта. Все-таки ея замѣчаніе не теряетъ своего значенія для характеристики сумароковскаго и вообще русскаго европеизма.

Сумароковъ и его соотечественники умѣли даже у свободнѣйшихъ мыслителей прошлаго вѣка извлекать непремѣнно тѣневую сторону, предразсудки—личные или національные и пропускать самую сущность авторскаго міросозерцанія. Напримѣръ, Сумароковъ очень точно вычиталъ у Вольтера— *Шекспира непросвѣщенною*, но совершенно проглядѣлъ прогрессивныя идеи своего учителя во всѣхъ направленіяхъ, даже въ художественной литературѣ, съ непоколебимой гордостью водворялъ на русской сценѣ Расиновъ геній, конечно, до послѣдней степени поблекшій и измельчавшій, съ легкимъ сердцемъ изрекалъ смертный нравствен-

ный приговоръ цѣлому народу даже при полномъ оффиціальномъ поощреніи совершенно другихъ воззрѣній!

Писатель, слѣдовательно, мнящій себя россійскимъ Вольтеромъ въ литературѣ, въ дѣйствительности дѣвственный россійскій крѣпостникъ и на истинно-европейскій взглядъ XVIII-го вѣка всесовершеннѣйшій скиѳъ и варваръ. Послѣдствія этого недоразумѣнія не ограничатся общими идеями. Писатель, защищающій рабство и отрицающій у громаднаго большинства своихъ соотечественниковъ человѣческій образъ, самъ лично получитъ возмездіе сторицей за свою же проповѣдь.

Онъ осуждаетъ себя на такое же рабство предъ всякой внѣшней силой. Онъ лишаетъ себя единственнаго условія, при какомъ осуществимо достоинство писателя, вообще умственнаго работника, не стремится создать для себя *публику* внѣ сословій и привилегій. Онъ остается лицомъ къ лицу съ знатнымъ меценатствомъ и приговариваетъ себя къ участи паразита, вмѣсто высокаго назначенія народнаго просвѣтителя.

Именно къ этой цѣли стремилась французская литература, современная Сумарокову, именно Вольтеръ напрягалъ всѣ усилія, пускался даже въ торговыя и финансовыя предпріятія, лишь бы обезпечить свою независимость какъ писателя и аристократическое меценатство съ неизбѣжнымъ писательскимъ паразитствомъ замѣнить популярностью и широко-общественнымъ вліяніемъ ума и таланта.

Вольтеръ достигъ своего идеала. Въ Россіи, конечно, успѣхъ представлялъ несоизмѣримыя трудности, но для насъ важно не практическое осуществленіе идеи, а сама идея. Ея-то и не разглядѣла наша «классическая» литература, и, соревнуя Расину на сценѣ, наши драматурги считали для себя вполнѣ удовлетворительнымъ и общественную роль поэтовъ Людовика XIV. Даже больше. Все равно, какъ въ поэзіи Сумароковъ, при всѣхъ стараніяхъ, не могъ достигнуть стихотворческаго искусства своего образца, такъ и въ дѣйствительности роль русскаго классика оказывалась тѣмъ ниже, чѣмъ русское крѣпостническое барство первобытнѣе и притязательнѣе аристократизма французскихъ маркизовъ.

Таковъ смыслъ и культурные плоды ранняго воздѣйствія Европы на русское общество. Выводы совершенно ясны. Прежде всего это воздѣйствіе, *исторически* и *нравственно—реакція*, сравнительно съ самой наглядной европейской современностью. Въ результатѣ, оно вмѣсто того, чтобы полагать первую существеннѣйшую основу вся-

каго прогресса—сближать классы и сословія, по крайней мѣрѣ, въ области идеала,—создастъ новую пропасть между европейски-просвѣщеннымъ господиномъ и безнадежно-дикимъ рабомъ. Въ области литературы европейская школа на русской почвѣ безусловно отрицательное явленіе. Классицизмъ, и теоріей, и практикой, явился первымъ средостѣніемъ между искусствомъ и національной жизнью, между писателями и народомъ. Дѣятельность русскихъ классиковъ только въ одномъ отношеніи положительна и для развитія литературы значительна: выработкой языка. Дальше мы подробнѣе объяснимъ этотъ вопросъ. Теперь для насъ достаточно общихъ заключеній, устанавливающихъ границы русскаго ранняго европеизма.

Онѣ по истинѣ самобытны. Изъ указаннаго нами правила можно отыскать и исключенія. Несомнѣнно, Радищевъ и Новиковъ лучше понимали Европу XVIII-го вѣка, чѣмъ Сумароковъ и Фонвизинъ. Но мы пока говоримъ собственно о литературныхъ, художественныхъ вліяніяхъ, а не политическихъ и философскихъ. Предъ нами—эстетическія школы, а не идейные символы и общественныя системы. И вотъ, вмѣшательство-то этихъ школъ въ исторію русской литературы—отрицательный моментъ въ развитіи національнаго творчества. Сама по себѣ западная литературная школа не вноситъ ни въ сознаніе общества, ни въ дѣятельность писателя ничего прогрессивнаго и просвѣтительнаго. Напротивъ. Она играетъ ту же роль, что̀ и всякое нашествіе, иноземное завоеваніе: запруживаетъ источники оригинальнаго роста національныхъ силъ.

Если даже на родинѣ французскій классицизмъ занялъ положеніе, враждебное и презрительное къ народу, иной судьбы онъ не могъ имѣть и въ другой средѣ. Онъ, кромѣ того, доказалъ, что усвоеніе литературной формы отнюдь не является неизбѣжнымъ условіемъ совершенствованія содержанія и цѣлей искусства. Чисто-эстетическій прогрессъ не сообщаетъ литературѣ ни болѣе благороднаго нравственнаго смысла, ни болѣе жизненной общественной силы. Ради этихъ результатовъ требуется другая почва—сближеніе литературы не съ какой бы то ни было теоріей, а съ дѣйствительностью, не съ иноземной школой, а съ родной жизнью.

Только съ этого момента начинается литература, какъ историческая и культурная сила. Только отъ этой черты можно считать періоды ея дѣйствительнаго развитія. Вся предшествующая эпоха то же самое, что̀ обученіе простому искусству говорить и понимать чужой говоръ. Усвоиваются отдѣльныя слова, грамматическія правила, извѣстная красота рѣчи, но отсюда еще очень

далеко до всесторонняго мышленія на извѣстномъ языкѣ. Для русскихъ писателей этотъ путь оказался не особенно длиннымъ. Но послѣ классицизма предстояло господство еще другихъ школъ, болѣе совершенныхъ въ художественномъ и идейномъ смыслѣ. Именно это совершенство и подтвердитъ нашъ взглядъ на русскій литературный европеизмъ.

XI.

Чувствительное и мѣщанское направленіе съ теченіемъ времени, конечно, должно было смѣнить классицизмъ и на русскомъ Парнасѣ. Это произошло уже въ то время, когда революція подводила практическіе итоги просвѣтительной литературѣ. Мѣщане со сцены перешли въ представительное собраніе и съ изумительной быстротой на первыхъ порахъ осуществили самыя смѣлыя мечтанія поэтовъ третьяго сословія.

Привилегіи исчезли, родовитое дворянство само отказалось отъ вѣковыхъ сословныхъ преимуществъ, и національное собраніе повторило съ точностью и эффектомъ рѣчи и подчасъ даже сценическую игру героевъ изъ мѣщанской драмы.

Въ самый разгаръ этихъ событій французскую столицу посѣтилъ глава русскаго сентиментализма и талантливѣйшій пѣвецъ поселянъ и простыхъ горожанокъ.

Это былъ двадцатитрехлѣтній юноша, превосходно образованный, владѣвшій главнѣйшими европейскими языками, начитанный въ ихъ литературахъ и, вдобавокъ, впечатлительный, умный и очень даровитый.

Онъ отправился заграницу и для услады чувствительнаго сердца, и для утѣхи любознательному уму. Онъ, повидимому, совершенно культуренъ и никоимъ образомъ не обозвалъ бы знаменитѣйшихъ французскихъ энциклопедистовъ бульварными шарлатанами, презрѣнными стяжателями и эгоистами, ни разу, вѣроятно, не почувствовалъ желанія перестрѣлять «почтальоновъ-скотовъ», и не пришелъ бы въ смертный ужасъ, увидѣвъ въ театрѣ солдата рядомъ съ начальствомъ.

Нѣтъ. Все это, перечувствованное и пересказанное авторомъ *Недоросля*, недоступно будущему историку *Бѣдной Лизы*. Онъ коротко и ясно заявитъ своимъ соотечественникамъ: «Пусть Виргиліи прославляютъ Августовъ, пусть краснорѣчивые льстецы хвалятъ великодушіе знатныхъ, я хочу хвалить Флора Салина, простого поселянина!..» И дѣйствительно восхвалитъ.

Пока онъ умиляется предъ «счастливыми швейцарами», погружается въ сладкую меланхолію у памятника Руссо, и убѣжденъ въ очень красивой и трогательной истинѣ: «Цвѣты грацій украшаютъ всякое состояніе». Это очевидно изъ блаженнѣйшаго состоянія «просвѣщеннаго земледѣльца», когда онъ сидитъ «на мягкой зелени съ нѣжной своей подругою» и не хочетъ завидовать счастью даже «роскошнѣйшаго сатрапа».

Сцена, дѣйствительно, очень поэтическая, тѣмъ болѣе, что просвѣщенный поселянинъ предполагается отдыхающимъ послѣ «трудовъ и работы», слѣдовательно, настоящій образованный крестьянинъ, чуть не за сохой читающій *Письма русскаго путешественника.*

И вотъ такой-то восторженный поэтъ очутился лицомъ къ лицу съ самыми громкими трибунами «поселянъ», т.-е. французскаго народа. Одно изъ *писемъ* помѣчено: *Парижъ, 18 мая 1789 года*, т. е. написано въ первые дни послѣ открытія генеральныхъ штатовъ. Путешественникъ надолго остался въ Парижѣ и имѣлъ полную возможность воспринять и оцѣнить какія угодно впечатлѣнія и въ какомъ угодно количествѣ.

Что же получилось въ результатѣ?

Мечтатель, способный приходить въ восторгъ отъ швейцарской свободы, впадать въ глубокомысліе по поводу женевскаго философа, въ Парижѣ оказывается Іереміей революціи. Всѣ его сочувствія—*по ту сторону*, т. е. къ старой французской монархіи. При ней «все блаженствовало»,—таково убѣжденіе чувствительнаго русскаго странника. Онъ ухитряется отыскать какого-то аббата изъ очень распространенной породы салонныхъ паразитовъ и разгуливаетъ съ нимъ по парижскимъ улицамъ, оплакивая минувшее «благоденствіе».

Опять очень любопытное явленіе. Именно эти аббаты, не имѣвшіе ничего общаго ни съ церковью, ни съ духовными обязанностями, патентованные сплетники аристократическихъ гостиныхъ и при счастливыхъ обстоятельствахъ—«друзья дома», еще при Людовикѣ XV вызывали глубочайшее отвращеніе у современниковъ. Напримѣръ, одинъ изъ министровъ, маркизъ Даржансонъ, отнюдь не атеистъ и не радикалъ, въ своихъ запискахъ писалъ даже особую главу подъ такимъ названіемъ: «О скандалѣ. Уничтожить (éteindre) смѣшную породу свѣтскихъ людей, именуемыхъ аббатами...»

И просвѣщенный россіянинъ, полъ-вѣка спустя, не находитъ

въ Парижѣ ничего болѣе поучительнаго, чѣмъ бесѣда съ подобнымъ обломкомъ навсегда похороненнаго прошлаго. Онъ съ упоеніемъ слушаетъ росказни аббата о салонахъ, насмѣшки надъ энциклопедистами, а рѣчи Мирабо считаетъ пустой болтовней и не видитъ въ нихъ ничего, кромѣ грубой сварливой запальчивости.

Зачѣмъ французы перестали думать «о памятникахъ любви и нѣжности!»—вотъ самое настоящее сердечное горе русскаго наблюдателя. Зачѣмъ исчезли «цвѣты» изящныхъ обществъ и пало «священное дерево» подъ ударами «дерзкихъ»—такова политика нашего философа. А житейская мудрость еще проще. «Я не зналъ въ Парижѣ ничего, кромѣ удовольствій», признается авторъ, и дальше единственное въ своемъ родѣ изліяніе чувствъ:

«Я оставилъ тебя, любезный Парижъ, оставилъ съ сожалѣніемъ и благодарностью! Среди шумныхъ явленій твоихъ жилъ я спокойно и весело, какъ безпечный гражданинъ вселенной, смотрѣлъ на твои волненія съ чистою душою, какъ мирный пастырь смотритъ съ горы на бурное море...»

И вы напрасно стали бы искать болѣе или менѣе цѣнныхъ и просто фактическихъ свѣдѣній о необыкновенной эпохѣ и исключительныхъ людяхъ. Ничего меланхолическій, скромно-эпикурействующій пастырь не видалъ и не понялъ. Надъ его головой могли гремѣть какіе угодно громы, подъ ногами колебаться земля,—онъ ни на одну минуту не прервалъ бы своихъ воздыханій о любви, о нѣжности, о граціяхъ, о цвѣтахъ. Имѣло ли послѣ этого смыслъ учиться иностраннымъ языкамъ, читать французскихъ писателей и нѣмецкихъ философовъ, если въ Парижѣ 89 года можно было не знать ничего, кромѣ удовольствій, а въ Германіи Лессинга и Канта считать «истиннымъ философомъ того, кто со всѣми можетъ ужиться въ мирѣ?»

Рѣшительно не вышло бы никакого изъяна ни для удовольствій, ни для уживчивости, если бы ни Руссо, ни Гёте не были извѣстны даже по именамъ будущему россійскому исторіографу. Онъ научился единственному искусству у заграничныхъ учителей, и то какъ и для чего научился! Онъ умѣетъ безъ конца растекаться въ чувствительномъ лиризмѣ, поминутно обращаться къ сердцу, природѣ, человѣческому счастью и прочимъ, не менѣе опредѣленнымъ и трогательнымъ предметамъ, впослѣдствіи онъ воспоетъ Лизу, непремѣнно *бѣдную* во всѣхъ смыслахъ слова. Все это несомнѣнные отголоски чувствительности и народности новой французской литературы.

Но опять, будто по волшебству, исчезъ ея живой духъ, и Флоръ Силинъ ни единой чертой не напоминаетъ буржуазныхъ и демократическихъ героевъ западной драмы. Онъ, скорѣе, пейзанъ г-жи Помпадуръ, на красныхъ каблучкахъ, въ разноцвѣтныхъ лентахъ и съ вѣчной любовной пѣсенкой на устахъ...

Опять про русскаго писателя можно съ полнымъ правомъ повторить рѣчь Екатерины: «изображеніе въ поэтѣ работаетъ, а связи въ мысляхъ понять ему тяжело».

Именно въ мысляхъ. Потому что, кто же, съ нѣкоторой связью въ мысляхъ, изъ всей революціонной бури могъ извлечь опереточнаго аббата и при самомъ поверхностномъ знакомствѣ съ французской исторіей, додуматься до идеи о всеобщемъ благоденствіи подъ властью Бурбоновъ! Кто, наконецъ, могъ проглядѣть великій культурный смыслъ философской и литературной борьбы въ Германіи, и какую угодно истину предпочесть молчалинской добродѣтели!..

Очевидно, требовалась незаурядная власть воображенія надъ самымъ, повидимому, убѣдительнымъ краснорѣчіемъ жизни и логики.

И что̀ послѣ этого означали потоки слезъ, пролитыхъ русскимъ авторомъ и его читательницами надъ прудомъ Симонова монастыря! Какой смыслъ могла имѣть смѣхотворная идиллія о просвѣщенномъ поселянинѣ и доброй поселянкѣ!.. Ничего, кромѣ все той же лжи, какую вносилъ въ литературу и классицизмъ, того же рокового пренебреженія къ правдѣ и дѣйствительности. Все равно, какъ высокопросвѣщенный классическій піита именно въ своемъ «просвѣщеніи» и своей школѣ черпалъ лишнія основанія отрицать у «нашего народа» благородныя чувствія, точно также пѣвецъ сельскихъ нѣжностей считалъ свой гражданскій долгъ вполнѣ уплаченнымъ послѣ сентиментальныхъ воркованій о невиданныхъ міромъ земледѣльцахъ и ихъ подругахъ. Непосредственно отъ бумаги, залитой реторическими слезами, можно было вполнѣ свободно и съ сознаніемъ собственнаго достоинства перейти къ крѣпостнической практикѣ, т. е. просто къ торговлѣ и мѣнѣ непросвѣщенными поселянами и не столь нѣжными поселянками. Такой именно путь и совершалъ нашъ путешественникъ.

Это даже не противорѣчитъ вообще психологическимъ законамъ. Литературныя упражненія, эстетическія волненія и книжное краснорѣчіе отнюдь не влекутъ къ реальнымъ послѣдствіямъ въ жизни, если только не та же жизнь подсказала мотивы и идеи краснорѣчія. Напротивъ, работа надъ бумагой дѣлаетъ человѣка постепенно почти совершенно равнодушнымъ къ человѣческой

кожѣ, и онъ перестаетъ различать свои впечатлѣнія отъ своихъ поступковъ, игру своей фантазіи отъ дѣйствительности. Всѣ предметы преобразовываются и даже мѣняютъ свои подлинныя имена. Мужикъ замѣняется мужичкомъ, деревня — сельскимъ раемъ, помѣщикъ—добрымъ бариномъ, бѣдствія однихъ и роскошь другихъ переводятся очень изящнымъ стилемъ — скромный хлѣбъ труженика и избытокъ богачей.

Все какъ слѣдуетъ, и чувствительный поэтъ, только что воспѣвшій Флора Силина, азартно будетъ защищать народное рабство, потому что, вѣдь, то поселянинъ, а эти—просто мужики. Сказка никогда не сойдется съ былью, и именно поэтому доставитъ не мало утѣхъ просвѣщеннымъ любителямъ цвѣтовъ и грацій.

Но исторія сентиментализма въ Россіи представила и еще другія, не менѣе любопытныя явленія.

Съ классицизма нечего было спрашивать *дѣятельной* мысли: онъ по самой сущности — литература застоя и «благоденствія». Не то чувствительная школа. На Западѣ она по происхожденію и по смыслу—*протестъ*. У самыхъ скромныхъ французскихъ чувствительныхъ драматурговъ, въ родѣ Лашоссэ—одного изъ родоначальниковъ новой драмы—уже обнаруживается ея основная задача.

Сначала вопросъ идетъ о правахъ чувства. Они выше сословныхъ предразсудковъ и случайностей фортуны. Они сами по себѣ источникъ счастья и основа человѣческаго достоинства. Даже если примѣнить эту истину только къ любви и браку, старая семья— вся разсчетъ и предразсудокъ — неминуемо рушится и, слѣдовательно, пробивается первая брешь въ вѣковомъ зданіи привилегій и родовыхъ преимуществъ.

Но, вполнѣ послѣдовательно, права чувства можно распространить и дальше, на какую угодно область общественныхъ явленій. Гдѣ несправедливость, гдѣ существуютъ униженные и оскорбленные, тамъ и поприще для чувства и для чувствительной литературы. И французскіе драматурги, а за ними Лессингъ и Шиллеръ, быстро перенесли на сцену рѣшительно всѣ современные вопросы политики, церкви, сословныхъ отношеній. У нѣмцевъ не всѣ эти мотивы развились съ одинаковой полнотой, но у французовъ XVIII-го вѣка сцена превратилась въ настоящую парламентскую трибуну, и партеръ въ теченіе десятилѣтій игралъ роль самаго отзывчиваго и добросовѣстнаго миттинга *).

*) См. нашу книгу: *Политическая роль французскаго театра въ связи съ философіей XVIII-го вѣка.*

Для насъ собственно важенъ общій выводъ: чувство въ европейской литературѣ явилось необыкновенно живой нравственной и общественной силой и именно этимъ своимъ достоинствомъ стяжало новой литературѣ громадную популярность.

При старой французской монархіи всюду было сколько угодно жертвъ, и католическая церковь соперничала съ государствомъ и дворянствомъ въ умноженіи ихъ числа и отягощеніи ихъ участи. Естественно, художественная литература, независимо отъ какихъ бы то ни было философскихъ воздѣйствій, неминуемо распространила свою власть на всю исторію и на все настоящее Франціи, просто потому, что была воодушевлена гуманностью, состраданіемъ и справедливостью. Она хотѣла быть только нравственной, и не медленно стала политической, и именно драмѣ и сценѣ философы обязаны распространеніемъ своихъ идей среди низшихъ классовъ публики.

Въ какой же роли является чувство у насъ?

Въ совершенно неузнаваемой. Оно будто измѣнило свою природу, утратило нервы и кровь и лишилось всякой человѣческой чуткости. Съ нимъ совершилось то же самое превращеніе, какое испыталъ библейскій богатырь, побывавъ въ рукахъ языческой блудницы: онъ утратилъ силу и достоинство и сталъ презрѣнной игрушкой въ нечистыхъ рукахъ.

Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не игра мирно-пастырское созерцаніе величайшаго историческаго переворота и развѣ не чудовищная метаморфоза европейскихъ идей въ слѣдующемъ ученіи русскаго философа?

Всякое общество священно уже потому, что существуетъ. «Самое несовершеннѣйшее» должно вызывать у насъ изумленіе своей «чудесной гармоніей». «Вѣкъ златой» возможенъ всюду, при всевозможныхъ условіяхъ, такъ какъ для счастья необходима только добродѣтель. Высшая мудрость—полнѣйшая тишина и покорность судьбѣ. Пусть все идетъ на свѣтѣ по закону инерціи: человѣкъ обязанъ не покидать своего поста—мирнаго пастыря, смотрящаго съ горы на бурное море, или еще лучше, находчиваго сибарита, умѣющаго вырывать цвѣты удовольствія изъ самой пасти Сциллы и Харибды.

И вы не думайте, будто это говоритъ юношеская неопытность, молодое, неосмысленное, хотя, можетъ быть, и доброе сердце. Нѣтъ. Всѣ эти идеи и картины лягутъ въ основу окончательной исторической философіи Карамзина и будутъ вдохновлять его на всѣхъ поприщахъ ученаго, поэта, публициста.

Движеніе XVIII вѣка, повидимому, столь ему близкое и извѣстное лично, получитъ краткую и энергическую оцѣнку: всѣ эти философы и политики «скучали и жаловались отъ скуки». Не болѣе. Чего же хлопотать намъ о разныхъ «либералистахъ» и идеологахъ: у насъ все тихо и мирно, больше ничего не требуется и мы должны «благодарить небо за цѣлость крова нашего».

И чувствительный рыцарь «Бѣдной Лизы» и Флора Силина не остановится ни предъ какими средствами отстоять свои «святыни», т. е. крѣпостничество и бюрократію во всей ихъ патріархальной неприкосновенности. Онъ двинетъ всѣ рессурсы своего краснорѣчія и отнюдь не сентиментальныхъ передержекъ противъ Сперанскаго, относительно Александра I повторитъ исторію Сумарокова съ Екатериной, т. е. заявитъ себя непримиримымъ врагомъ реформаторскихъ мечтаній молодого государя и благородныхъ совѣтовъ его ближайшихъ друзей. Бывшій поклонникъ «счастливыхъ швейцаровъ» начнетъ теперь издѣваться надъ республиками и конституціями, хотя бы это были даже Англія и Америка, Бонапарта возвеличитъ въ ущербъ Вашингтону и свои чувствительные навыки пуститъ въ ходъ уже не затѣмъ, чтобы воспѣть «просвѣщеннаго земледѣльца», а изобразить россійскаго дворянина во образѣ отца и патріарха.

Таковъ русскій представитель той самой литературной школы, какая во Франціи олицетворялась Дидро и Мерсье, въ Германіи зажгла гражданскимъ огнемъ юношеское сердце Шиллера и драмами поэта подняла всю молодежь до тѣхъ поръ будто политически-заснувшей страны.

Разъясненія излишни: слишкомъ краснорѣчивы факты! Они показываютъ, какъ мало внутренняго, нравственнаго прогресса въ смѣнѣ европейскихъ школъ на сценѣ русской литературы. Мы дальше оцѣнимъ заслуги Карамзина предъ русскимъ языкомъ—заслуги очень почтенныя, но мы теперь же должны запомнить, что собственно литературное направленіе здѣсь не при чемъ. Классики также не мало поработали для русскаго слога, но то исторія грамматики и стилистики, а не литературы.

Въ литературномъ смыслѣ сентиментализмъ остался такимъ же отрицательнымъ явленіемъ въ нашемъ отечествѣ, какъ и классицизмъ, еще даже въ сильнѣйшей степени.

Классицизмъ рѣзко и открыто, по уставу своего ордена, отвращалъ негодующіе или презрительные взоры отъ національной дѣйствительности и являлъ жестокосердіе и аристократизмъ убѣж-

деній въ силу своей художественной сущности, какъ привилегированной литературы. Это—искренній и честный врагъ правды, жизни и народа.

Не то сентиментализмъ.

Въ его репертуарѣ явились разные Силины и Лизы, поселяне и поселянки, зазвучали томные восторги предъ «бѣдностью» и «безвѣстностью», подчасъ даже предъ швейцарами-республиканцами... Можно подумать, дѣло повернуло противъ «Августовъ» и «знатныхъ» на пользу «всякаго состоянія» и даже «земледѣльца»...

Ничуть не бывало, въ результатѣ одна феерическая декорація и праздная игра писательскаго «изображенія», въ сущности обманъ и лицемѣріе. Да, иначе нельзя оцѣнить *нравственныя* качества карамзинскаго художества, и не надо пространныхъ доказательствъ, чтобы подобное литературное явленіе признать болѣе тлетворнымъ и порочнымъ, чѣмъ первобытно-откровенный классицизмъ.

Сентиментализмъ россійскихъ повѣстей и драмъ сослужилъ крайне печальную службу общественной нравственности нашихъ предковъ.

Онъ оказался для нихъ такимъ же удобнымъ, спасительнымъ средствомъ, какимъ искони вѣковъ обряды и разное ханжество являются у людей, въ дѣйствительности невѣрующихъ и жестокихъ.

Поплакать надъ чувствительной пьесой, пережить легкую нервную встряску надъ «трогательной» книгой—то же самое, что для ханжи выполнить извѣстный обиходъ «святаго человѣка». И любопытно, какъ разъ строжайшее выполненіе внѣшнихъ предписаній религіи закаляетъ сердце лицемѣра и ожесточаетъ его природу. Даже въ русской комедіи прошлаго вѣка извѣстенъ типъ богомольной барыни, безпощадной именно во время молитвы, жестокой съ своими слугами непосредственно послѣ набожныхъ и будто бы проникновенныхъ настроеній.

То же самое съ театральной и книжной чувствительностью. Всплакнувъ надъ *Бѣдной Лизой*, иной «отецъ и патріархъ» считалъ свой долгъ человѣколюбію сполна уплаченнымъ и могъ, пожалуй, даже принаечь на патріархальныя экзекуціи надъ подданными за то, что эти подданные такъ мало походили на героевъ сентиментальнаго автора и, слѣдовательно, не заслуживали «цвѣтовъ грацій», т. е. пощады своему человѣческому званію.

Въ результатѣ, нравственное вліяніе сентиментализма отнюдь не можетъ считаться благодѣтельнымъ въ нашей литературѣ и въ нашемъ обществѣ. Онъ по существу продолжалъ дѣло клас-

сицизма, т. е. еще больше углублялъ пропасть между литературнымъ словомъ и культурнымъ прогрессомъ, чисто-художественными увлеченіями и долгомъ писателя предъ своимъ народомъ. Постепенно создавался особый классъ эстетиковъ, риторовъ, маскарадныхъ лицедѣевъ на мотивы манерной граціи и слезливаго празднословія, и отчужденность между народомъ и тонко-просвѣщенными господами росли съ каждымъ новымъ шагомъ европеизма на русской почвѣ.

Въ крѣпостной практикѣ это явленіе отразилось разцвѣтомъ особаго класса аристократовъ—изъ лакейской среды, бурмистровъ, управляющихъ, вообще посредниковъ между бариномъ-европейцемъ и дикаремъ-мужикомъ. Потому что баринъ сталъ слишкомъ изященъ и цивилизованъ, чтобы лично имѣть дѣло съ своими «вассалами», и французская образованность русскихъ «феодаловъ» возымѣла совершенно для Европы неожиданныя послѣдствія: отягчила гнетъ, лежавшій на закрѣпощенной массѣ, и еще глубже унизила народъ предъ первымъ единственно просвѣщеннымъ сословіемъ.

Мы, конечно, не намѣрены подобные результаты приписывать именно европейскимъ вліяніямъ: мы говоримъ о преобразованіи этихъ вліяній въ русской средѣ, точнѣе—о вырожденіи европейской культуры въ высшемъ русскомъ обществѣ. Снова повторяемъ, вырожденіе не безусловно, бывали и настоящіе, прямые ученики европейской цивилизаціи. Но предъ нами литература и ея даровитѣйшіе, по крайней мѣрѣ, самые видные дѣятели. И они-то оказываются достойными соотечественниками тургеневскаго энциклопедиста и англомана, не выносившаго даже одного вида мужика. Очевидно, русская европейсвующая литература сама по себѣ не заключала никакихъ сѣмянъ просвѣщенія и гуманности, оставалась однимъ изъ украшеній барскаго комфорта и еще ярче оттѣняла помѣщичью теплицу отъ мужицкой избы, привиллегированное тунеядство и эгоизмъ отъ крестьянскаго труда и неисчислимыхъ жертвъ.

Сентиментализмъ смѣнился третьей и послѣдней школой—романтической. Плоды ея въ нашемъ климатѣ еще оригинальнѣе: это одна изъ самыхъ своеобразныхъ комедій вообще въ исторіи человѣчества.

XII.

Мы видѣли, чѣмъ романтизмъ былъ на Западѣ,—ожесточенной войной противъ старыхъ преданій аристократической литературы. Но этого мало. Романтизмъ не ограничился искусствомъ, его юно-

шеская страсть борьбы захватила вопросы исторіи, какъ науки, идеалы отдѣльной личности, какъ члена общества. Всѣ эти задачи неразрывно связаны и вытекали изъ общаго неукротимаго стремленія къ свободѣ и оригинальности въ творчествѣ и въ жизни.

Мы знаемъ, эту свободу скоро подчинили *законамъ*, заключили въ теорію и формулу, но самая идея не могла остаться совершенно безплодной. Послѣ классиковъ, пустословившихъ по гречески хотя и на родномъ языкѣ, романтизмъ потребовалъ *національности* въ искусствѣ, на мѣсто античныхъ героевъ и ископаемой исторіи выдвинулъ на сцену прошлое новыхъ европейскихъ народовъ, не отступая предъ самыми первобытными его источниками, предъ средними вѣками. Новые поэты хотѣли быть дѣйствительно національными и народными. Современныя событія какъ нельзя болѣе благопріятствовали этому желанію. Наполеоновскія войны подняли глубочайшіе слои національнаго бытія всѣхъ народовъ, призвали на сцену исторіи именно націи и народнымъ силамъ отдали рѣшеніе грандіозной борьбы всей Европы съ французскимъ цезаремъ.

Въ результатѣ совершенно долженъ былъ измѣниться характеръ поэзіи и исторіи. Ученые принялись изучать народную старину, собирать народныя пѣсни, сказанія, въ своихъ работахъ центръ тяжести принесли на раскрытіе вѣковой народной жизни и выясненіе роли массъ въ великихъ событіяхъ прошлаго. Часто наука и поэзія здѣсь шли рука объ руку, вдохновляя другъ друга, снабжая взаимно идеями и матеріаломъ. Напримѣръ, изъ самаго ранняго французскаго романтизма извѣстенъ любопытнѣйшій фактъ воздѣйствія поэта на ученаго.

Поэтъ — Шатобріанъ, ученый — Огюстэнъ Тьерри. Историкъ впослѣдствіи разсказывалъ, какъ онъ рѣшилъ свое призваніе.

Ему было всего пятнадцать лѣтъ. Онъ учился въ школѣ и хуже всего зналъ исторію по крайне плохимъ и бездарнымъ учебникамъ. Однажды вечеромъ, уединившись въ школьной залѣ, Огюстэнъ читалъ поэму Шатобріана *Мученики*. Здѣсь, по обычаю автора, до чрезвычайности много треска и блеска и неисчерпаемое море пустозвонной мнимо-религіозной реторики. Но рядомъ встрѣчались картины, свидѣтельствовавшія о несомнѣнной чуткости романтическаго поэта къ средневѣковой народной старинѣ.

Между прочимъ, описывались франки. Для юнаго читателя этотъ таинственный народъ былъ извѣстенъ только по имени ничего отчетливаго ни въ нравахъ, ни въ національномъ характерѣ завоевателей Галліи учебники не сообщали. И вдругъ,

поэма рисуетъ дикій, но величественный и грозный строй неукротимыхъ воиновъ, покрытыхъ звѣриными шкурами, лѣсомъ копій и съ громовой бранной пѣсней на устахъ. Пѣсня приводилась здѣсь же дословно...

Тьерри не выдержалъ впечатлѣнія, вскочилъ съ мѣста и, ходя изъ угла въ уголъ, принялся повторять громкимъ, восторженнымъ голосомъ военный гимнъ варваровъ.

Красота и своеобразная сила картины съ этихъ поръ навсегда завоевали будущій великій талантъ ученаго и писателя. И уже достаточно этой заслуги, чтобы обезсмертить романтизмъ и въ поблекшихъ—для насъ искони фальшивыхъ — лаврахъ Шатобріана оставить хотя бы одинъ зеленѣющій цвѣтокъ.

До послѣднихъ дней западными историками не забыты романтическія національныя увлеченія и ихъ великое значеніе для новой науки. Въ увлеченіяхъ часто обнаруживалось не мало уродливаго смѣшного и жалкаго. Иные фанатики мечтали о самомъ подлинномъ воскрешеніи старыхъ бардовъ и давно погребенной дѣйствительности. Но хористы неизбѣжны при всякомъ зрѣлищѣ, и чѣмъ оно грандіознѣе, тѣмъ ихъ больше. Они не помѣшали первымъ нѣмецкимъ романтикамъ, въ родѣ Шиллера, стать первыми трибунами народа, его свободы и достоинства, и новѣйшимъ нѣмецкимъ историкамъ именно съ этой эпохой связывать освобожденіе своей науки изъ тьмы филологическихъ кабинетовъ и дипломатическихъ канцелярій для широкаго поприща общенаціональнаго просвѣщенія и блага.

Впослѣдствіи французскій романтизмъ XIX вѣка остался вѣренъ своимъ началамъ и Гюго требовалъ безусловно національныхъ, мѣстныхъ и историческихъ красокъ въ драмѣ. Результаты не соотвѣтствовали энергіи принципа, и мы знаемъ почему, но смыслъ романтической школы съ того самаго момента, когда впервые было произнесено и опредѣлено г-жей Сталь самое слово *романтизмъ* и до послѣднихъ его отголосковъ въ нашемъ столѣтіи оставался неизмѣннымъ: *l'esprit de la liberté*, по выраженію той же писательницы, т.-е. самобытность, оригинальность, національная и личная борьба противъ всего нивеллирующаго, банальнаго и безличнаго.

Въ нравственномъ мірѣ отдѣльнаго человѣка романтическая стихія выразилась въ высшей степени любопытнымъ мотивомъ — *разочарованіемъ*. До сихъ поръ не написана ни культурная, ни психологическая исторія этого явленія, а между тѣмъ врядъ ли еще какимъ *нравственнымъ* фактомъ такъ краснорѣчиво характеризуется новое время, какъ разочарованіемъ.

Съ самаго начала и особенно съ теченіемъ времени къ этому настроенію новаго человѣка пристало неисчислимое множество всевозможной мелочи и пошлости. Въ обществѣ рѣшительно всѣхъ европейскихъ народовъ протекали цѣлыя десятилѣтія, сплошь заполоненныя разочарованными и равнодушными. Трудно и вообразить, сколько литературныхъ произведеній всевозможныхъ жанровъ посвящено этой изумительной эпидеміи, не поддававшейся, повидимому, никакому цѣлебному средству, даже самому вѣрному и сильному—смѣху. И до сихъ поръ кое-гдѣ, въ укромномъ и затхломъ захолустьѣ все еще поблескиваетъ старая мишура и смущаетъ простодушные взоры.

Въ чемъ же тайна такого единственнаго успѣха?

Отвѣтъ очень простой. Разочарованіе—это вѣдь неудовлетворенность, вообще недовольство окружающей жизнью, критика на нее, хотя бы молчаливая, страданія за ея уродства и презрѣнность, хотя бы и никому невѣдомыя и непонятныя. А кто недоволенъ и критикуетъ, тотъ, предполагается, стоитъ *выше* предмета критики, и разочарованіе, слѣдовательно, нечто иное, какъ тоска по идеалу, жажда чего-то исключительнаго, благороднаго и сильнаго. Разочарованный — своего рода искупительная жертва пошлаго и бездушнаго міра.

И это справедливо.

Возьмите разочарованіе въ жизни и поэзіи его подлинныхъ, искреннихъ исповѣдниковъ, вы непременно откроете именно эти страданія избранной натуры, ея органическій протестъ во имя личной свободы и человѣческаго достоинства противъ общественной косности и стадности.

Совершеннѣйшее воплощеніе разочарованія—байронизмъ. Этого и слѣдовало ожидать. Самая яркая протестующая личность должна была явиться на почвѣ исконной политической свободы и нравственной независимости. Байронъ—великобританецъ до послѣдняго нерва своего вѣчно-возмущеннаго организма, хотя именно на немъ съ небывалой послѣдовательностью оправдалась истина: никто не бываетъ пророкомъ въ своемъ отечествѣ.

О Байронѣ точнѣе будетъ сказать не въ отечествѣ, а въ родномъ обществѣ, т.-е. въ англійской аристократіи. Она никогда не поступалась и не поступится ни своими правами, ни своимъ достоинствомъ, но поведетъ борьбу съ соблюденіемъ традицій и прецедентовъ. Это капитальный фактъ всей англійской политической и общественной исторіи, и его-то нарушилъ Байронъ съ безпримѣрной отвагой и запальчивостью.

Трудно было наслѣднику «бѣшенаго Джэка» и цѣлаго ряда другихъ, не болѣе смиренныхъ предковъ, дѣйствовать «въ границахъ» и съ соблюденіемъ всѣхъ обрядностей самой сложной въ мірѣ британской внутренней политики. Но это не значило, будто мятежный лордъ порвалъ всѣ національныя связи въ своей революціонной дѣятельности. Напротивъ. Онъ остался лордомъ со всѣми его даже предразсудками и со всѣмъ традиціоннымъ комизмомъ.

Онъ, подобно какому-нибудь самому заурядному, всю жизнь безмолвному наслѣдственному законодателю, кичится своей знатностью и весьма часто заставляетъ насъ подозрѣвать, ужъ не защищаетъ ли онъ *личную независимость* во имя *своей власти*. Онъ изнываетъ по славѣ Наполеона и носится съ не особенно зрѣлой идеей, что его имя и бонапартовское оказываются съ тожественными иниціалами. Это стоитъ гордости Шатобріана, когда тому довелось имѣть квартиру въ той самой мѣстности, гдѣ когда то обиталъ Бонапартъ.

Все это жалкая суета сует, тѣмъ болѣе мелкая, чѣмъ серьезнѣе сущность байронизма.

А она—полная противоположность бонапартовской славѣ.

Байронъ единственный въ первой четверти нашего вѣка вѣрный преемникъ просвѣтительныхъ идей. Онъ подлинный ученикъ Руссо, но не фанатическій. Съ женевскимъ философомъ у него общаго только дѣйствительно положительные и разумные идеалы человѣчества: благородная, независимая личность, преисполненная ненависти ко всякому лицемѣрію и стаднымъ инстинктамъ, личность, жертвующая счастьемъ своему достоинству.

Въ этомъ мотивѣ настоящій *культурный* смыслъ байроновской поэзіи. Предъ нами разочарованіе не во имя отрицанія, а извѣстнаго идеала, правда, не вполнѣ опредѣленнаго въ подробностяхъ, но яснаго и увлекающаго въ цѣломъ.

Недаромъ наши поэты, Пушкинъ и Лермонтовъ, нашли въ поэзіи и даже личности Байрона нравственную опору для себя въ некультурной, заносчивой средѣ такъ называемаго «свѣта». Пушкинъ въ біографіи англійскаго поэта почерпнулъ не малое ободреніе для своей поэтической дѣятельности, непонятной и даже унизительной въ глазахъ окружающаго общества. И это нравственное вліяніе байронизма на лучшихъ русскихъ людей неизмѣримо важнѣе и глубже, чѣмъ литературное, до сихъ поръ совершенно незаслуженно занимающее столько мѣста въ русскихъ представленіяхъ о творчествѣ Пушкина и особенно Лермонтова.

Таковы основныя стихіи западнаго романтизма. Всѣ названные нами поэты и множество другихъ быстро стяжали обширную извѣстность среди нашихъ писателей и даже читателей. Мы увидимъ, романтизмъ сильно занималъ русскую критику и одно время волновалъ журналистовъ сильнѣе, чѣмъ всѣ политическіе вопросы. Что же вышло въ результатѣ этой популярности и этихъ волненій?

XIII.

При одномъ звукѣ *романтизмъ* всѣмъ на память непремѣнно приходитъ прежде всего имя Жуковскаго. Онъ единогласно признанъ даровитѣйшимъ, даже единственнымъ идеальнымъ романтикомъ и у современниковъ, и у потомства. Онъ «родился романтикомъ»—говоритъ о немъ Пушкинъ. И это справедливо, но всякія прирожденныя наклонности требуютъ пищи и поощренія, для души Жуковскаго все это нашлось въ нѣмецкой поэзіи. Онъ питомецъ нѣмецкаго романтизма по преимуществу, т. е. творчества Шиллера и германскихъ бардовъ эпохи Наполеона.

Мы знаемъ, ихъ вдохновеніе неудержимо, часто слѣпо стремилось воскресить вѣковую національную старину своей родины, они именно мнили себя новѣйшими наслѣдниками средневѣковыхъ бардовъ и рыцарей и свой историческій патріотизмъ часто доводили до театральной тевтономаніи.

Но старина блистала не одной національностью и народностью. Въ глубинѣ столѣтій, не отличавшихся умственнымъ свѣтомъ, жило много темныхъ преданій и неразгаданныхъ, запутанныхъ происшествій. Темнота здѣсь означала буквально темноту мысли, неразгаданность создавалась легковѣріемъ и наивнымъ воображеніемъ...

Но развѣ для восторженныхъ чтителей старины во имя ея «священныхъ сѣдинъ» и національной страсти, допустимы такія прозаическія объясненія? Нѣтъ, темнота—это таинственность, неразгаданность, выспренняя недоступность, нѣчто, превышающее силы обыкновеннаго человѣческаго разсудка и требующее романтической фантазіи и спеціальнаго чувства.

Въ результатѣ одновременно съ положительнымъ и жизненнымъ ядромъ романтизмъ пріобрѣлъ также свой хвостъ—изъ «туманности» и «неопредѣленности» основныхъ недостатковъ романтизма, по мнѣнію Гёте.

Теперь послѣдователямъ романтиковъ предстояло или ограни-

читься національными и историческими задачами, т. е. ясной, оригинальной поэзіей или дать волю мечтамъ и снамъ и погрузиться въ міръ призраковъ и чудесъ.

Жуковскій выбралъ послѣдній путь.

Національность въ его поэзіи ограничилась весьма сомнительными созданіями въ родѣ Свѣтланы, Людмилы, если и русскихъ, то съ крѣпкой примѣсью космополитическаго «вѣчно женственнаго» элемента. Герои нашего романтика гораздо ближе походятъ на просвѣщенныхъ земледѣльцевъ и нѣжныхъ подругъ Карамзина, чѣмъ на подлинныхъ русскихъ людей. Въ сущности, Жуковскій поэтъ карамзинскаго сентиментализма, только съ примѣсью разной международной чертовщины.

Вотъ въ ней-то и выразился русскій романтизмъ, какъ плодъ нѣмецкихъ вліяній. Жуковскій могъ вполнѣ серьезно разсказывать о привидѣніяхъ, будто лично ему знакомыхъ, и мы не знаемъ до какихъ предѣловъ могла доходить любимая идея поэта: «*мы, не должны смущаться сердцемъ...* мы должны *вѣрить, вѣрить* и *вѣрить*». Такъ подчеркиваетъ самъ Жуковскій, очевидно особенно настаивая на покоѣ и вѣрѣ.

Да, *покой*. Это всеобъемлющая черта въ характерѣ нашего романтика. На Западѣ именно романтики поднимали особенно много шуму подчасъ ради даже самого шума, это они по преимуществу бурные геніи, герои «стремленія и натиска»... А у насъ о романтическомъ поэтѣ Гоголь могъ написать такія строки:

«Благоговѣйная задумчивость, которая проносится сквозь всѣ его картины, истекаетъ изъ того грѣющаго, теплаго свѣта, который наводитъ необыкновенное успокоеніе на читателя. Становишься тише во всѣхъ своихъ порывахъ и какою-то тайною замыкаются твои собственныя уста».

Замѣчательно, сентиментализмъ изъ дѣятельной общественной силы превратился у насъ въ идиллическое усладительное лганье, романтизмъ изъ школы реформы и борьбы сталъ меланхолическимъ сибаритскимъ созерцаніемъ. Духъ жизни и энергіи, будто по какому-то роковому закону, отлеталъ отъ европейскихъ литературныхъ ученій, и русскіе ученики умѣли заимствовать въ большинствѣ случаевъ *отстой* каждаго движенія, а не его цвѣтъ и силу. Они часто предпочитали становиться подъ знамя второстепенныхъ иноземныхъ учителей, даже не различая звѣздъ разныхъ величинъ и не проникая въ смыслъ дѣятельности самихъ вождей.

Сумароковъ, Карамзинъ, Жуковскій—по содержанію, а первые

два и по формѣ своихъ произведеній, несомнѣнно, стояли ближе къ Мармонтелямъ, Жанлисамъ, Тикамъ, чѣмъ къ Вольтерамъ, Дидро, Шиллерамъ. Пушкинъ такъ оцѣнивалъ русскій классицизмъ:

«Французская обмельчавшая словесность envahit tout. Знаменитые писатели не имѣютъ ни одного послѣдователя въ Россіи, но бездарные писаки—грибы, выросшіе у корней дубовъ»...

Это не во всемъ объемѣ примѣнимо къ русско-нѣмецкому романтизму, и притомъ Жуковскій не мечталъ быть оригинальнымъ поэтомъ, славу свою ограничивалъ усвоеніемъ русской литературѣ чужихъ произведеній. Но тамъ, гдѣ сказывались его личныя наклонности къ творчеству, отъ западнаго романтизма оставались лишь, по выраженію Гоголя, «страсть и вкусъ къ призракамъ и привидѣніямъ нѣмецкихъ балладъ».

И чтó особенно любопытно, національныя стремленія романтизма на русской почвѣ дали совершенно неожиданные плоды. Жуковскій силенъ и знаменитъ именно способностью перелагать красоту и духъ иноземнаго творчества на русскій языкъ, т. е. проникаться мотивами чужого вдохновенія. Жуковскій часто превосходитъ переводимыхъ поэтовъ изяществомъ и поэтичностью языка, но муза остается все-таки зарубежной богиней и нашъ даровитѣйшій романтикъ—только переводчикъ.

О другихъ идеяхъ романтизма нечего и говорить. Онѣ цѣликомъ покрываются изреченіями идиллическаго героя, грека Эсхила:

Все небо намъ дало, мой другъ, съ бытіемъ:
Все въ жизни къ великому средству—
И горесть, и радость—все къ цѣли одной.
Хвала жизнедавцу—Зевесу!

Чтó это значитъ, подробнѣе объяснено въ швейцарскомъ письмѣ, путемъ такъ-называемой «горной философіи».

Философъ созерцаетъ страну, гдѣ когда-то совершались великіе физическіе перевороты, и приходитъ почти къ карамзинскому идеалу: сидѣть спокойно на горѣ и глубокомысленно взирать на волнующееся внизу море... Мы говоримъ *почти*, потому что личная природа Жуковскаго гораздо гуманнѣе и благороднѣе, чѣмъ сердце и умъ сентиментальнаго ритора, и онъ готовъ признать извѣстныя права за прогрессомъ. Но только пусть они осуществляются сами собой, а человѣкъ долженъ неутомимо работать и благодушно пользоваться жизнью «на своемъ мѣстѣ, въ своемъ кругѣ»... Повѣрьте, убѣждаетъ нашъ оптимистъ, при какихъ угодно условіяхъ всякому можно быть *справедливымъ*, а «въ этомъ

его человѣческая свобода». Очевидно, это карамзинская *добродѣтель*, совершенно будто бы довлѣющая для человѣческаго счастья и всевозможныхъ идеаловъ.

У Жуковскаго въ теченіи всей жизни не поднималась рука на защиту крѣпостного права, какъ его мыслилъ авторъ *Бѣдной Лизы*; напротивъ, трудно отыскать среди современниковъ болѣе искренне-сердечнаго и дѣйствительно *хорошаго человѣка*, чѣмъ нашъ романтикъ. Но съ высоты «горной философіи» онъ судитъ объ европейской исторіи и жизни совершенно въ духѣ своего лицедѣйствующаго современника. Для него событія сорокъ восьмого года не болѣе, какъ буйство черни, хотя онъ лично можетъ наблюдать германское движеніе, и послѣдній выводъ его буквально московитскій, патріотическій въ смыслѣ *Исторіи государства Россійскаго*.

А между тѣмъ, еще въ 1822 году, подъ вліяніемъ пребыванія въ Европѣ, Жуковскій освобождаетъ своихъ крѣпостныхъ крестьянъ, въ то же время ведетъ войну съ цензурой за слѣдующіе стихи Шиллера:

Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei,
Und wäre er in Ketten geboren—

«человѣкъ созданъ свободнымъ, и свободенъ, даже если бы родился въ цѣпяхъ». Цензура не пропускаетъ этихъ строкъ, и поэтъ не печатаетъ всего перевода.

И смыслъ шиллеровскихъ словъ — подлинный романтизмъ въ области общественныхъ вопросовъ. Сорокъ восьмой годъ также одна изъ страницъ романтической исторіи, при всѣхъ его увлеченіяхъ и крайностяхъ. Можно было не признавать его во всѣхъ подробностяхъ, но зачеркивать однимъ взмахомъ пера — значило краснорѣчивѣйшую дѣйствительность Германіи приносить въ жертву призракамъ и туманамъ ея юродствовавшихъ бардовъ.

Легко представить, что должно было произойти въ русскомъ обществѣ съ другимъ романтическимъ мотивомъ—разочарованіемъ. Нравственная сущность его даже не коснулась русскаго сознанія, но за то съ необыкновенной переимчивостью и поэты, и ихъ публика усвоили хвостъ байронизма, т. е. все каррикатурное, лубочно-эффектное и эгоистическое. И вполнѣ естественно.

Высшее общество объявило «якобинцемъ» Жуковскаго за только что приведенные стихи Шиллера, какъ же оно послѣ этого могло *понять* байронизмъ?

На помощь пришелъ самъ же Байронъ съ его аристократи-

ческими причудами, съ маскарадными мистификаціями, съ головокружительными любовными приключеніями, и со всевозможнымъ психопатизмомъ его героинь—то искреннихъ въ своемъ «безуміи», то еще чаще позировавшихъ въ интригующей роли жертвъ знаменитаго и «фатальнаго» человѣка.

Всей этой пустяковиной и фокусничествомъ отнюдь не исчерпывался байронизмъ, но русскимъ ли недорослямъ было отдѣлять грязь отъ золота? Что ярче бросалось въ глаза, и особенно что̀ являлось доступнѣе и не налагало никакихъ умственныхъ усилій и нравственныхъ обязательствъ, то и хваталось обѣими руками.

Въ результатѣ литература и общество принялись щеголять въ новой формѣ лжи и лицемѣрія, ничѣмъ не уступавшей праздному чувствительному нытью ранней школы. Жуковскій очень остроумно выразился о стихахъ одного изъ самыхъ бойкихъ русскихъ романтиковъ — Языковѣ: его поэзія—«восторгъ, никуда не обращенный».

То же самое можно сказать, и о противоположныхъ настроеніяхъ: тоска, ни на чемъ не основанная и ни къ чему не стремящаяся.

Москвичъ такъ же удобно щеголялъ въ гарольдовомъ плащѣ, какъ и во французскомъ кафтанѣ. Даже еще удобнѣе. Мрачный, меланхолическій видъ, «змѣящаяся», многозначительно горькая улыбка окончательно освобождали его отъ всякой практической дѣятельности, кромѣ уловленія женскихъ сердецъ. Вѣдь онъ презираетъ окружающій міръ и людей, чего же ему дѣлать здѣсь? Достаточно, если онъ будетъ удостоивать «людское стадо» созерцанія своей особы!

И съ какимъ усердіемъ русская литература въ теченіе десятилѣтій живописуетъ блѣдныхъ поручиковъ разныхъ, преимущественно декоративныхъ войскъ! Сколько тратится изобрѣтательности, чтобы выдумать фамилію возможно болѣе зловѣщую въ родѣ Тамарина, Анчарова! Сколько надо изворотливости описать все ту же трафаретную фигуру «интересными» красками и заставлять «говорить молчаніе», такъ какъ герою вообще не полагается разговорчивости, а только въ торжественныхъ случаяхъ «открывать душу».

А сколько изведено стиховъ и риемъ на слова *тоска*, *отчаяніе*, *презрѣніе*! И до послѣднихъ дней все еще русскіе юнцы время отъ времени брящаютъ по ржавымъ струнамъ и разсчитываютъ собрать публику на пошлый, давно заигранный фарсъ.

Но въ извѣстной средѣ понятіе о пошлости совсѣмъ другое, и тамъ, гдѣ театральныя слезы раньше сходили за истинное чувство, гусарское разочарованіе являлось несомнѣннымъ героизмомъ, исключительностью натуры. Героизмъ рѣшительно никого не безпокоилъ. Два стиха Шиллера, сравнительно съ сотней Тамариныхъ и Грушницкихъ, цѣлая революція, «страшный либерализмъ», по мнѣнію «свѣта». И этихъ стиховъ не терпятъ, не допускаютъ всего *десятка словъ*, но превосходно уживаются съ самыми «фатальными» гарольдами.

Очевидно, и въ романтизмѣ среди русскаго общества разыгралась только новая комедія на старую тему—лицемѣрія, безсилія и неразумія. Русскіе читатели западныхъ поэтовъ умѣли совершенно обезвредить и облагонамѣрить самыхъ, повидимому, неукротимыхъ романтиковъ. Нужна была по истинѣ на рѣдкость затхлая и мертвая атмосфера, чтобы байронизмъ низвести до уровня перваго встрѣчнаго недоросля! Но требовался также и не совсѣмъ обычный строй души, чтобы изъ цѣлой литературной школы извлечь какъ разъ ея отрицательныя стороны и даже, на мѣстѣ талантливѣйшаго и серьезнѣйшаго поэта, того же Жуковскаго, весь романтизмъ свести къ идиллическимъ картинамъ и разной «чертовщинѣ».

«Онъ святой, хотя родился романтикомъ», выражался Пушкинъ о пѣвцѣ Свѣтланы. Это *хотя* достойно вниманія. Его можно приставить ко всякому русскому поэту, пересаживавшему иноземные цвѣты въ свое отечество. Сумароковъ — крѣпостникъ, хотя считалъ себя ученикомъ Вольтера, Фонвизинъ — типичный московскій баринъ и россійскій дворянинъ, хотя преслѣдовалъ злонравіе и создалъ мудраго и любвеобильнаго Стародума, Карамзинъ-сладкопѣвецъ—благонадежнѣйшій рыцарь «старой» Россіи, пожалуй, даже Московіи...

Мы называемъ только генераловъ нашей западнической литературы, о рядовыхъ нечего и говорить, насколько они зависѣли отъ того или другого литературнаго направленія. Всѣ неизбѣжно попадали въ общее теченіе вмѣстѣ съ самой публикой. Она была не менѣе писателей «просвѣщенна», но не могла допустить и мысли, чтобы просвѣщеніе нанесло какую-нибудь поруху чину, званію и состоянію человѣка голубой крови и бѣлой кости. О русскихъ меценатахъ даже съ гораздо бо́льшимъ основаніемъ можно повторить рѣчь, сказанную Вольтеромъ по поводу философскихъ увлеченій знатныхъ господъ—европейцевъ.

Эти господа, принимая у себя литераторовъ и болтая съ ними о разныхъ опасныхъ вещахъ, по словамъ Вольтера вообще отнюдь не противника благородныхъ покровителей, такъ думали про себя:

«У насъ сто тысячъ экю ренты, и, кромѣ того, почести. Мы не желаемъ всего этого лишиться ради нашего удовольствія. Мы раздѣляемъ ваши взгляды, но мы заставимъ васъ сжечь при первомъ же случаѣ, чтобъ научить васъ, какъ высказывать свои мнѣнія».

И подобная угроза въ устахъ русскихъ философовъ являлась еще менѣе шуточной, чѣмъ во Франціи. Радищевъ и Новиковъ доказали, что значило въ самый разгаръ западническихъ вліяній на русскую литературу и аристократическое общество не умѣть высказывать своихъ мнѣній.

Державинъ, напримѣръ, умѣлъ.

Онъ отлично зналъ, какую собственно роль играетъ поэзія въ глазахъ современной публики: не болѣе, какъ роль лимонада, напитка очень пріятнаго и даже сладостнаго въ лѣтнюю жару. Но кто же станетъ ради этого оказывать особый почетъ или просто цѣнить производителей прохладительныхъ напитковъ!

Они нисколько не важнѣе и не почтеннѣе, чѣмъ всякій другой поставщикъ житейскаго комфорта: поваръ, обойщикъ, даже просто лакей.

И Тредьяковскій можетъ быть вполнѣ свободно побитъ, Сумароковъ — спеціально натравленъ на другого писателя, Фонвизинъ съ удовольствіемъ будетъ потѣшать петербургскіе салоны шутовскимъ изображеніемъ своихъ собратьевъ—литераторовъ.

И вдругъ такіе-то господа посмѣютъ обезпокоить «законныя права» своихъ читателей и поощрителей! Вышло бы нѣчто совершенно противоестественное, «революціонерное», какъ выражались просвѣщенные бригадиры и чувствительныя совѣтницы.

Въ результатѣ, всѣ литературные школы у насъ оказывались просто *школьничаньемъ*, потому что надъ ними тяготѣла одна неизмѣримо болѣе существенная и вліятельная школа, — школа современной общественной жизни. Чего стоили какой-нибудь сентиментализмъ или романтизмъ, когда баринъ писалъ и баринъ же читалъ? Баринъ не въ смыслѣ происхожденія, а строго-опредѣленной психологіи. И ко всѣмъ періодамъ нашей *школьной литературы* одинаково примѣнимо мѣткое сужденіе Гоголя о началѣ XIX-го вѣка:

«Поверхностная эпоха не могла дать богатаго содержанія на-

шей поэзіи: одно общесвѣтское стало ея предметомъ, и она сдѣлалась сама похожею на умнаго и ловкаго свѣтскаго человѣка, когда онъ сидитъ въ гостиной и ведетъ разговоръ совсѣмъ не затѣмъ, чтобы повѣдать душевную исповѣдь свою или подвинуть другихъ на какое-нибудь важное дѣло, но затѣмъ, чтобы просто повести разговоръ и пощеголять умѣньемъ вести его обо всѣхъ предметахъ».

Это необыкновенно проницательно и вѣрно: «не затѣмъ, чтобы повѣдать *душевную исповѣдь*» и не для какихъ-либо жизненныхъ цѣлей, а просто ради нервнаго возбужденія, ради разговорнаго процесса.

«Я воспою Флора Силина»' «я разсѣю въ монологахъ своихъ трагедій множество нравоучительныхъ истинъ и меня за это похвалитъ даже французскій журналъ» *), «я изображу съ негодованіемъ жестокую помѣщицу», «я воспою русскаго молодца и русскую красавицу», но все это «не ведетъ къ послѣдствіямъ».

Въ салонѣ примутъ всѣ эти шалости пера и произойдетъ точь-въ-точь сцена изъ гоголевской повѣсти.

Свѣтская барыня въ мастерской художника замѣчаетъ этюдъ мужика, приходитъ въ экстазъ и взываетъ къ дочери:

— Ахъ, мужичокъ! Lise, Lise! мужичокъ въ русской рубашкѣ! смотри! мужичокъ!..

Совершенно такъ же она закричитъ, отыскавши въ лѣсу грибъ, въ модномъ журналѣ—интересную прическу, въ веселой газетѣ—новый рецептъ притираній...

Очевидно, русской литературѣ никогда бы не стать ни литературой, ни русской, если бы она осталась на пути европейскихъ школъ и отечественнаго аристократизма. Предстояла настоятельная необходимость порвать и со школами, и съ обществомъ: это одинъ и тотъ же актъ прогресса и онъ въ дѣйствительности совершился одновременно, въ жизни и дѣятельности однихъ и тѣхъ же людей.

XIV.

Сорокъ лѣтъ тому назадъ, въ нашей литературѣ поднялъ много шуму вопросъ о поколѣніяхъ. *Отцы* и *дѣти* надолго, можно ска-

---

*) Въ парижскомъ «*Journal étranger*», въ 1755 году помѣщена сочувственная статья о «*Синавѣ и Труворѣ*», переведенной на французскій языкъ кн. Долгоруковымъ. Трагедія восхвалялась особенно за нравственныя сентенціи.

зать, до послѣднихъ дней, стали на очередь дня и заняли первое мѣсто въ высшей публицистикѣ. Два даровитѣйшихъ писателя отозвались на злобу цѣлымъ рядомъ произведеній, одно изъ нихъ навсегда дало кличку самому явленію, въ другомъ авторъ, Писемскій, обобщалъ его въ слѣдующихъ яркихъ, но правдивыхъ словахъ:

«Ни одна, вѣроятно, страна не представляетъ такого разнообразнаго столкновенія въ одной и той же общественной средѣ, какъ Россія. Не говоря ужъ объ общественныхъ сборищахъ, какъ, напримѣръ, театральная публика или общественныя собранія, на одномъ и томъ же балѣ, составленномъ изъ извѣстнаго кружка, въ одной и той же гостиной, въ одной и той же, наконецъ, семьѣ, вы постоянно можете встрѣтить двухъ трехъ человѣкъ, которые имѣютъ только нѣкоторую разницу въ лѣтахъ и уже, говоря между собою, не понимаютъ другъ друга».

Эта картина стала чисто-русскимъ жанромъ, но она не особенно древняго происхожденія. Семейная и общественная гармонія царствовала у насъ нерушимо въ теченіе долгихъ вѣковъ, и только въ нынѣшнемъ столѣтіи, приблизительно, въ концѣ первой четверти, на сценѣ появились отцы и дѣти, съ трудомъ понимающіе другъ друга.

Фактъ вполнѣ опредѣленно отмѣченъ современникомъ и пріуроченъ къ эпохѣ отечественной войны. Русскимъ войскамъ впервые пришлось свести близкое знакомство съ Европой не по книгамъ только, а по личнымъ продолжительнымъ наблюденіямъ. Раньше вся Европа для русскаго человѣка начиналась и кончалась въ Парижѣ. Это своего рода Мекка для тонко просвѣщенныхъ подданныхъ Екатерины, и въ то же время патентованное царство всевозможныхъ удовольствій. Именно они-то и заставляли даже «семипудовыхъ» скиѳовъ совершать довольно сложное путешествіе. Но за то цѣль достигалась всегда и всенепремѣнно. Мы видѣли, Карамзинъ съумѣлъ взять съ Парижа обычную дань даже во время революціи.

Теперь, по слѣдамъ Наполеона, отправилось въ Европу не мало людей совершенно другого сорта. Ихъ, еще молодыхъ и сильныхъ, не успѣло растлить отечественное воспитаніе на рабскихъ хлѣбахъ. Общеевропейская смута сблизила съ Россіей нѣсколькихъ иностранцевъ иной породы, чѣмъ Вральманы и Гильоме, изъ Германіи—Штейна, изъ Франціи—Сталь и множество простыхъ офицеровъ наполеоновской арміи изъ третьяго сословія, не имѣвшихъ ничего общаго съ авантюристами и космополитическими паразитами.

Любопытно было прислушаться къ впечатлѣніямъ этихъ людей, не имѣвшихъ основаній ни ненавидѣть Россію, какъ націю, ни льстить ей. Впечатлѣнія у всѣхъ оказались почти тожественны.

Плѣнные французы смѣялись надъ русскими, не умѣвшими ни говорить, ни писать на родномъ языкѣ. Штейнъ подражательность иностранцамъ считалъ одной изъ тлетворнѣйшихъ язвъ русской жизни, а г-жа Сталь, довольно неожиданно для петербургскихъ и московскихъ европейцевъ, не находила, повидимому, словъ достойно изобразить пустоту, малообразованность и низкій умственный уровень высшаго русскаго общества. Вѣковая погоня за тонкимъ просвѣщеніемъ, екатериненскій либерализмъ привели къ самому удивительному результату: г-жа Сталь убѣждена, что въ атмосферѣ русскихъ салоновъ «нельзя ничему научиться, нельзя развивать своихъ способностей, и люди здѣсь не пріобрѣтаютъ никакой охоты ни къ умственному труду, ни къ практической дѣятельности».

Отъ взоровъ иностранцевъ не скрылся основной недугъ нашего отечества — крѣпостное рабство, и Штейнъ находилъ неизбѣжнымъ освобожденіе крестьянъ съ земельнымъ надѣломъ. Вообще, въ эпоху народнаго возбужденія по всѣмъ странамъ Европы и у насъ послышались рѣчи, на повалъ бившія чувствительное прекраснодушіе московскихъ патріотовъ и петербургскихъ лицемѣровъ.

И нашлись слушатели для этихъ рѣчей.

Это не были особенно знатные господа: тѣ, напротивъ и теперь остались вѣрны себѣ, Бонапарта отожествили съ революціей, а революцію вообще со всякой дѣятельной общественной мыслью. Здравый смыслъ пріютился у людей, менѣе чиновныхъ и взысканныхъ фортуной, чѣмъ фамусовскій Максимъ Петровичъ,— у своего рода разночинцевъ среди знати.

Впослѣдствіи изъ ихъ среды выйдутъ геніальные писатели. Они своей карьерой, нерѣдко даже трагической участью докажутъ свою оторванность отъ «столбового» дворянства, хотя всѣ они будутъ носить благородныя фамиліи, даже болѣе благородныя, чѣмъ князья Тугоуховскіе, полковники Скалозубы, семьи Хлестовыхъ и Фамусовыхъ. Только благородство на этотъ разъ осуществится не въ ловкомъ прислуживаніи на родинѣ и не въ увеселительныхъ поѣздкахъ за иноземнымъ просвѣщеніемъ, а въ уничтоженіи ветхаго человѣка во имя независимой мысли и дѣятельнаго гуманнаго чувства.

Эти опасные мотивы ворвались въ вихрь салонныхъ сплетенъ и пошлостей какъ-то сразу, будто новое нашествіе.

Современникъ разсказываетъ:

«Я видѣлъ лицъ, возвращающихся въ Петербургъ послѣ отсутствія въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ и выражавшихъ величайшее изумленіе при видѣ перемѣны, происшедшей въ разговорѣ и поступкахъ столичной молодежи. Казалось, она пробудилась для новой жизни и вдохновляясь всѣмъ, что было благороднаго, чистаго въ нравственной и политической атмосферѣ. Гвардейскіе офицеры въ особенности привлекали вниманіе свободой и смѣлостью, съ которой они высказывали свои мнѣнія, весьма мало заботясь,— говорили они въ общественномъ мѣстѣ, или въ салонѣ, были слушателями—сторонники или противники ихъ ученій» *).

Эти ученія заключались въ первомъ пробужденіи національнаго сознанія и народническаго чувства. До сихъ поръ русскіе дворяне чувствовали себя русской націей только, если можно такъ выразиться, по иностранному вѣдомству. Они гордились побѣдами надъ турками и прочими народами, обширными завоеваніями, знаменитыми полководцами, но по вопросамъ внутренней политики это было *сословіе*, а не *нація*. И французскій дипломатъ при Екатеринѣ даже и мысли не могъ допустить, чтобы въ нашемъ отечествѣ когда-либо образовалась цѣльная единая нація, какъ государственное тѣло.

Оффиціальный исторіографъ и публицистъ подтверждалъ эту мысль, освящая вѣковыя пропасти между русскими классами и сословіями.

Но борьба съ Наполеономъ силою вещей оказалась не сословной, а національной, и въ Россіи даже болѣе, чѣмъ на Западѣ. Крѣпостному мужику требовалось, несомнѣнно, больше нравственныхъ усилій возстать на иноземнаго врага, чѣмъ нѣмецкому бюргеру, и недаромъ г-жа Сталь была поражена именно движеніемъ русскаго народа.

Нашлись и соотечественники, способные воспринять великій историческій смыслъ эпохи и гвардейскіе офицеры, столь смущавшіе «очаковскихъ» старичковъ, были первыми русскими по чувству, по духу, по идеаламъ и даже по языку. Восклицаніе Чацкаго — «умный, добрый нашъ народъ» не имѣло ничего общаго съ небылицами о просвѣщенномъ земледѣльцѣ и его нѣжной подругѣ. Тамъ свѣтскій праздный разговоръ, здѣсь «душевная исповѣдь», настоящее личное чувство. Тамъ самодовольство

*) *La Russie et les Russes*, par N. Tourgueneff. Bruxelles, 1847, I, 66.

*

чистаго господина, самолюбованіе чувствительной ханжи, здѣсь искренняя страстная любовь къ родинѣ и жгучая тоска объ ея несовершенствахъ.

Сравните карамзинское патріотическое самохвальство, эту изумительную, по истинѣ варварскую мысль, будто «Европа годъ отъ году насъ болѣе уважаетъ»—съ фактами сплошныхъ или злобныхъ, или презрительныхъ чувствъ иностранцевъ къ русскимъ, вы оцѣните всю громадность шага, сдѣланнаго молодежью послѣ наполеоновскихъ войнъ.

«Европа уважаетъ»... и это въ то время, когда искренніе доброжелатели Россіи, въ родѣ Сталь и Штейна, находили доброе слово какъ разъ о предметѣ, невѣдомомъ гордому патріоту Московіи и совершенно не входившемъ въ разсчеты европейскихъ критиковъ нашего отечества.

Народъ,—вотъ слово, котораго одного было бы достаточно для увѣковѣченія перваго русскаго молодого поколѣнія, оставившаго пути своихъ отцовъ.

Всякое уклоненіе съ торной дороги ведетъ къ жертвамъ, и жертвы приносились. Онѣ, на современный взглядъ, можетъ быть не особенно героичны, но для всей дореформенной эпохи онѣ — истинные гражданскіе подвиги.

Вспомните, еще товарищъ Лермонтова объяснялъ военную карьеру поэта крайне низменнымъ общественнымъ положеніемъ гражданскихъ чиновниковъ. Для нихъ иного названія и не существовало, кромѣ «подъячіе». Пренебречь военнымъ мундиромъ значило бросить въ лицо современному «свѣту» жестокій вызовъ и собрать надъ своей головой бурю насмѣшекъ, презрѣнія и даже ненависти. Могло быть и хуже. Дворянинъ, съ минуты появленія на свѣтъ предназначенный для выпушекъ и петличекъ, становится политически неблагонадежнымъ, разъ онъ пренебрегаетъ скалозубовской философіей.

И такіе смѣльчаки являются.

Одинъ поступаетъ на службу въ уголовную палату, другой — въ надворный судъ, третій уѣзжаетъ въ деревню, читаетъ книги и даже берется учить грамотѣ крестьянъ, а кто остается въ столицахъ, тотъ не пропускаетъ случая поднять на смѣхъ психопатическихъ барышень, поклонницъ военной формы, и, что̀ ужаснѣе всего, самихъ героевъ!

Очевидно, отцы не понимаютъ своихъ дѣтей и это взаимное отчужденіе гораздо глубже и напряженнѣе, чѣмъ впослѣдствіи

междоусобица стареньких романтиковъ съ молодыми позитивистами. Здѣсь приходилось разрывать гораздо болѣе многочисленныя и крѣпкія связи съ прошлымъ, на каждомъ шагу подвергать риску свое *личное* счастье въ тѣснѣйшемъ смыслѣ. Вѣдь еще не народилась новая дѣвушка, Маріанны принадлежали отдаленному будущему, и надворный судья одновременно подвергался обвиненію со стороны отцовъ въ неблагонадежности и даже якобинствѣ, а у дочерей встрѣчалъ или недоумѣніе, или просто отвращеніе.

А это многаго стоило. Общественный протестъ безпрестанно превращался въ біографическую драму для непокорнаго сына, усложнялъ и безъ того не легкую задачу благороднаго поколѣнія.

Разрывъ не имѣлъ бы серьезныхъ послѣдствій, если бы ограничился единичными запальчивыми представленіями въ салонахъ, исключительнымъ подвижничествомъ избранныхъ людей—на службѣ или въ деревнѣ. Великій смыслъ явленія быстро выяснился и упрочился въ полномъ преобразованіи литературы.

XV.

Новой молодежи, отметавшей сословныя и свѣтскія преданія общества, естественно было совершенно измѣнить старыя отношенія къ «искусствамъ творческимъ, прекраснымъ».

Уже эти слова въ устахъ Чацкаго звучатъ знаменательнымъ чувствомъ—все равно, какъ и его рѣчь о народѣ. Такъ не будетъ выражаться читатель, поглощающій страницы стиховъ, будто прохладительный напитокъ, на досугѣ, между другими, болѣе существенными развлеченіями, Очевидно и здѣсь изчезаетъ старое эпикурейское бездушіе, свѣтскій формализмъ, и литература становится словомъ живымъ, насущнымъ хлѣбомъ дѣйствительно просвѣщенной мысли.

Но вѣдь это еще болѣе странное новшество, чѣмъ чиновничья служба! И главное, болѣе опасное, потому что книгу могутъ прочесть многіе и заразиться тѣмъ же недугомъ уваженія къ умственному труду и писательскому таланту.

Въ результатѣ, эпоха протестующихъ надворныхъ судей увидѣла едва ли не самый жестокій и продолжительный расколъ между исконной публикой, аристократическимъ обществомъ и литературой. Не только расколъ, а непримиримую, воинственную ненависть, не заглохшую въ теченіе десятилѣтій.

Раньше писатель жилъ въ самомъ глубокомъ и трогательномъ мирѣ съ высшимъ «свѣтомъ». Его здѣсь не особенно уважали, но именно поэтому онъ и велъ себя тише воды, ниже травы. Готовясь писать какое-нибудь новое твореніе, онъ всякій разъ или открыто, или безмолвно обращался къ своей публикѣ съ умильнымъ запросомъ: *чего изволите?*..

И немедленно появлялась или трагедія на тему «громъ побѣды раздавайся», или жанровая картинка съ мужичкомъ...

Вдругъ такой порядокъ радикально измѣнился. Прежде писательство доставляло одно наслажденіе, во всякомъ случаѣ, никто не думалъ тѣснить ни Карамзина, ни Жуковскаго только за то, что они занимаются литературой; напротивъ, даже поощряли и часто одобряли. Теперь ничего подобнаго.

Прочтите біографіи Грибоѣдова, Пушкина, Лермонтова—трехъ поэтовъ, создавшихъ новую литературу, вы будете поражены однимъ и тѣмъ же фактомъ. Всѣ они будто прирожденные враги окружающаго общества, для двухъ изъ нихъ война начинается въ нѣдрахъ семьи, для всѣхъ троихъ идетъ всю жизнь на свѣтскомъ поприщѣ и заканчивается трагической развязкой.

Грибоѣдову приходится совершить своего рода мытарство изъ за литературныхъ влеченій. Семья требуетъ карьеры, службы и даже прислуживанья, будущій авторъ *Горя отъ ума* весь поглощенъ мечтами о писательствѣ, т. е. о совершенно презрѣнномъ занятіи, въ глазахъ матери. Междоусобица достигаетъ такихъ предѣловъ, что поэтъ рѣшается завидовать пріятелю: у того нѣтъ матери, которой онъ долженъ казаться неосновательнымъ! Даже больше. Грибоѣдовъ приходитъ къ убѣжденію, что «истиннымъ художникомъ можетъ быть только человѣкъ безродный».

Ярче трудно выразить разладъ отцовъ и дѣтей на зарѣ нашей національной литературы.

Подобная исторія съ Пушкинымъ, пожалуй, даже еще болѣе оскорбительная. Ему приходится отвоевывать свое достоинство поэта, званіе литератора предъ начальствомъ, предъ товарищами по службѣ. О семьѣ нечего и говорить: здѣсь просто не признаютъ даже умственнаго развитія у будущаго геніальнаго поэта и не интересуются ни нравственной ни даже внѣшней его жизнью.

И послушайте, какъ осмѣливается говорить Пушкинъ о своихъ литературныхъ занятіяхъ въ письмѣ къ начальнику. Мы рядомъ слышимъ отголоски стараго, но далеко не отжившаго общественнаго взгляда на литературу, и возникновеніе новаго, въ полномъ смыслѣ революціоннаго.

«Ради Бога, не думайте, чтобъ я смотрѣлъ на стихотворство съ дѣтскимъ тщеславіемъ риѳмача или какъ на отдохновеніе чувствительнаго человѣка. Оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мнѣ пропитаніе и домашнюю независимость».

Тотъ, кому было адресовано письмо, сослуживцы поэта и его свѣтскіе пріятели ничего подобнаго не могли представить.

И не только они.

Пройдетъ вся славная дѣятельность поэта, онъ погибнетъ кровавой смертью, и все-таки о немъ нельзя будетъ говорить въ печати. Появится одно краткое извѣстіе, но и за него редакторъ получитъ жестокій выговоръ... Стоитъ ли говорить о человѣкѣ, не бывшемъ ни генераломъ, ни министромъ? «Писать стихи не значитъ еще проходить великое поприще»...

Это будетъ сказано по поводу литератора, покровительствуемаго верховной властью, поэта, съ громадной популярностью во всей странѣ, камеръ-юнкера и аристократа!

Чего же ждать другимъ, менѣе блестящимъ и сильнымъ!

Естественно, начало новой литературы своего рода драматическая хроника и не по обыкновенной вполнѣ понятной причинѣ не по цензурнымъ строгостямъ, а по общественному варварству, стихійной враждѣ «свѣта» къ нравственно-отвѣтственному, идейно-осмысленному слову.

Цензура сравнительно капля горечи въ испытаніяхъ, претерпѣнныхъ нашими поэтами отъ окружавшаго ихъ общества. Но даже и эта капля въ сильнѣйшей степени общественнаго происхожденія. Яростнѣйшими врагами грибоѣдовской комедіи явились московскіе тузы и сплетницы, первыми гонителями Лермонтова за стихотвореніе на смерть Пушкина и первыми виновниками его изгнанія были именно «надменные потомки»; исторія знаетъ ихъ даже по именамъ. Наконецъ, не цензура приковала Грибоѣдова къ карьерѣ ненавистными цѣпями съ послѣднимъ звеномъ — насильственной смертью, не цензура отравила семейное счастье Пушкина, а у Лермонтова о цензурѣ рѣдко даже упоминается, но за то ни у одного поэта въ мірѣ нельзя найти столь обидныхъ и безпощадныхъ издѣвательствъ надъ «свѣтомъ»...

Да, величайшимъ врагомъ русской національной литературы оказалась публика, точнѣе, новой литературѣ пришлось создавать новую публику. Подобно Чацкому, бѣгущему изъ фамусовскаго салона, писателямъ также необходимо было окончательно выйти

изъ старой теплицы и кликнуть кличъ къ другимъ читателямъ и зрителямъ, къ иному міру, гдѣ вѣковое сибаритство, жеманная игра въ бутафорскій героизмъ и дѣтскую маниловщину не опустошили еще душъ и сердецъ, гдѣ можно было говорить искреннимъ, родным языкомъ о родныхъ людяхъ и дѣлахъ.

Этотъ міръ пока представлялся еще очень тѣснымъ, немноголюднымъ, но ему суждено рости и шириться со дня на день! Стоило только великимъ національнымъ талантамъ обратиться къ націи и среди нея неминуемо должны послышаться отвѣтные, сочувственные, вскорѣ восторженные отголоски.

И когда у русскаго писателя образовалась, наконецъ, публика, вопросъ объ его человѣческомъ достоинствѣ и независимости рѣшился окончательно. Изъ наемника и забавника *господъ*, онъ сталъ учителемъ и вождемъ *друзей*. Не всегда осуществлялась и даже могла осуществиться эта дружба, но по временамъ чувство нравственнаго единенія литературы и публики будетъ сказываться такъ ярко, такъ вдохновенно, что одинъ подобный моментъ, по культурному и общественному значенію, стоитъ всѣхъ почестей и поощреній меценатскаго царства.

Мы видимъ, сколько исключительно трудныхъ задачъ предстояло преобразователямъ литературы. Можно сказать, нигдѣ и никогда писатель не находился лицомъ къ лицу съ такой тучей темныхъ силъ. Нигдѣ ему одновременно не приходилось сѣять и обрабатывать почву для посѣва.

На Западѣ задолго до борьбы мѣщанскихъ драматурговъ съ классицизмомъ существовала вполнѣ готовая публика, съ нетерпѣніемъ ждавшая увидѣть себя на сценѣ и въ романѣ. Писатели только рѣшились промѣнять однихъ поклонниковъ на другихъ.

То же самое и съ романтизмомъ.

Гюго изъ монархиста и бонапартиста превратился въ либерала подъ самымъ повелительнымъ давленіемъ современныхъ политическихъ событій, и принялся сочинять законы литературнаго либерализма, настоятельно поощряемый многочисленными сочувственниками.

Ничего подобнаго у насъ въ первой четверти вѣка.

Писатель обращался будто въ пространство съ новыми идеями и новымъ творчествомъ. Въ личную жизнь, со всѣхъ сторонъ неслись къ нему почти исключительно неодобренія и насмѣшки. Сочувствующая публика, если она и существовала, не принадлежала къ средѣ поэта и только въ рѣдкихъ случаяхъ, напримѣръ, на первомъ

представленіи грибоѣдовской комедіи, можно было различить новаго читателя. Впослѣдствіи его Гоголь изобразилъ въ лицѣ «очень скромно одѣтаго человѣка»...

И этотъ читатель отличался скромностью не только по платью, но и по способу и возможности высказывать свои мнѣнія. Господа comme il faut, чиновники разныхъ лѣтъ и ранговъ, даже «неизвѣстно какіе люди» могли кричать несравненно громче и внушительнѣе, потому что за нихъ стояла привычка, патентованная критика въ лицѣ ученыхъ эстетиковъ и бойкихъ журналистовъ. Писателю самому предстояло и творить, и оправдывать свои творенія.

Задача въ высшей степени рискованная. Всѣ авторитеты на сторонѣ школъ, піитикъ и вообще *теорій*. За отважнаго нововводителя только здравый смыслъ и художественная талантливость. Противъ него буквально вѣками выработанныя правила вкуса, точныя формулы, оправданныя общепризнанными образцовыми произведеніями непогрѣшимой французской словесности. За него—свобода и простота творчества, національность его содержанія.

Но вѣдь давно извѣстно, простота дается людямъ несравненно труднѣе, чѣмъ самая хитрая искусственность, вездѣ и въ жизни, и въ искусствѣ. А національность,—это совершенно новый міръ, нѣчто дикое для патріотовъ съ «народной гордостью» въ карамзинскомъ стилѣ и для младенчествующихъ мечтателей «святого» романтизма. Національность,—*подлинная* русская дѣйствительность, освѣщенная русскимъ народнымъ юморомъ и разумомъ... Развѣ все это снилось даже въ самыхъ романтическихъ видѣніяхъ пѣвцамъ подмосковныхъ Кларисcъ?

Борьба являлась неизбѣжной, и счастье русскаго искусства, что во главѣ нападающихъ стали сильнѣйшіе таланты не только нашей, а вообще всей новой европейской литературы.

XVI.

Поэты *родятся*—это старая истина, ее слѣдуетъ дополнить: родятся и критики, потому что создавать художественныя произведенія и цѣнить ихъ—таланты родственные, одинаково не внушаемые учебниками и диссертаціями.

Это правило, хотя и не во всей полнотѣ, понималъ еще Жуковскій. Въ статьѣ *О критикѣ* онъ очень краснорѣчиво изображалъ и оправдывалъ критиковъ, какъ художниковъ-психологовъ, какъ лю-

дей чуткихъ и къ «дѣйствіямъ страстей и тайнамъ характеровъ», и къ красотамъ природы.

Нашъ романтикъ только не закончилъ своего изображенія, не дерзнулъ окончательно установить прáва чуткости, личной художественной свободы поэта и критика. Онъ все еще толкуетъ о «правилахъ образованнаго вкуса», восхищается лагарповской теоріей драматическаго искусства, хотя и обмолвливается очень знаменательной мыслью.

«Онъ, т. е. истинный критикъ, знаетъ всѣ правила искусства, знакомъ съ превосходнѣйшими образцами изящнаго, но въ сужденіяхъ своихъ не подчиняется рабски ни образцамъ, ни правиламъ; въ душѣ его существуетъ собственный идеалъ совершенства»...

Распространите это замѣчаніе на всю литературу, все равно, классическую и посредственную, предоставьте художественно одаренной натурѣ выбирать *свои* пути и стремиться къ *своему* совершенству, вы немедленно введёте искусство въ исключительную зависимость отъ творческаго таланта, жизненности и значительности его созданій. Вы покончите съ правилами и теоріями, и поставите судьями правду и свободу.

Не Жуковскому, лишенному оригинальнаго поэтическаго генія, было вступить на эту дорогу, хотя его статья возникла очень рано, въ 1809 году, среди полнаго торжества чувствительности и наканунѣ романтизма. Этотъ фактъ въ высшей степени любопытенъ. Онъ показываетъ, какъ непрочно было у насъ господство европейскихъ школъ. Въ статьѣ Жуковскаго будто борется заря новаго дня съ тѣнями ночи, правила искусства съ личнымъ художественнымъ инстинктомъ... Представьте, этотъ инстинктъ воплотится въ сильной, цѣльной поэтической личности, сильной настолько, чтобы увлечь за собой публику, и по своей цѣльности неспособной на сдѣлки:—правиламъ конецъ!

Такъ и произошло сначала благодáря одной комедіи Грибоѣдова.

Прежде всего замѣчательны юношескія наклонности будущаго грознаго врага классицизма. Какъ истый сынъ своего поколѣнія, Грибоѣдовъ еще школьникомъ обнаруживаетъ любопытнѣйшія *національныя* влеченія. Онъ составляетъ программу научныхъ занятій, и на первомъ планѣ этихъ *Desiderata* стоитъ изученіе русской исторіи по источникамъ, по лѣтописямъ, запискамъ Герберштейна. Дальше слѣдуетъ даже филологія, грамматическія занятія русскимъ языкомъ. Первые литературные опыты—сатиры и эпиграммы...

Это опять достойно вниманія. Всѣ три основателя русской національной литературы начнутъ и должны будутъ начать крайне запальчивыми насмѣшками надъ окружающей средой. Эпиграммы, а не лирическіе гимны, столь обычные у юныхъ поэтовъ, отмѣтятъ первое пробужденіе творчества у Грибоѣдова, Пушкина и Лермонтова. Они, конечно, не единственные напѣвы юношеской музы, но уже самое появленіе ихъ внушительно. Они вызывались не столько прирожденными сатирическими вкусами поэтовъ, сколько обиліемъ лжи, всевозможныхъ уродствъ на каждомъ шагу въ современномъ свѣтскомъ обществѣ.

Фактъ, отлично понятый Гоголемъ. Геніальный поэтъ говоритъ рядомъ о комедіяхъ Фонвизина и Грибоѣдова и имѣетъ въ виду только ихъ *возникновеніе*, не касается ни авторскихъ настроеній, ни практическаго значенія сатиры того и другого автора. Мы знаемъ, какая громадная разница между смѣхомъ Фонвизина и Грибоѣдова и изъ какихъ совершенно несходныхъ общихъ идеаловъ исходило негодованіе у екатерининскаго комика и у человѣка первой четверти XIX-го вѣка.

Но основа, создавшая обѣ комедіи, дѣйствительно одинакова.

«Наши комики, — пишетъ Гоголь, — двинулись общественною причиною, а не собственною, возстали не противъ одного лица, но противъ цѣлаго множества злоупотребленій, противъ уклоненія всего общества отъ прямой дороги. Общество сдѣлали они какъ бы собственнымъ своимъ тѣломъ; огнемъ негодованія лирическаго зажглась безпощадная сила ихъ насмѣшки. Это—продолженіе той же брани свѣта со тьмою, внесенной въ Россію Петромъ, которая всякаго благороднаго русскаго дѣлаетъ уже невольно ратникомъ свѣта. Обѣ комедіи ничуть не созданія художественныя и не принадлежатъ фантазіи сочинителя. Нужно было много накопиться сору и дрязгъ внутри земли нашей, чтобы явились онѣ почти сами собою, въ видѣ какого-то грознаго очищенія».

Столь же непосредственное, стихійно-необходимое очищеніе произошло и въ самомъ искусствѣ, въ силу не надуманной тенденціи, а личнаго невольнаго отвращенія къ фальши и рабству литературы. Все равно, какъ дѣйствительность вызвала сатиру только въ силу *благородства* новыхъ наблюдателей жизни, такъ старое искусство подверглось нападенію въ силу *поэтической природы* молодыхъ писателей.

И Грибоѣдовъ одновременно съ эпиграммами общественнаго содержанія предпринимаетъ пародію *Дмитрій Дрянской* на клас-

сическую трагедію Озерова. Это первая стычка нарождающейся національной критики съ европейскими школами. Генеральное сраженіе—*Горе отъ ума.*

Трудно сказать, въ какомъ отношеніи грибоѣдовская комедія вызвала больше протестовъ—или какъ сатира на общество, или какъ оскорбленіе *правилъ.*

Противъ сатиры возмущались ея жертвы Фамусовы, Хлестовы: этого и слѣдовало ожидать и поэтъ не имѣлъ права ни изумляться, ни особенно огорчаться. Онъ вполнѣ откровенно списывалъ своихъ героевъ съ реальныхъ лицъ. Но врядъ ли онъ могъ отнестись съ такимъ же настроеніемъ къ литературной критикѣ, притомъ исходившей отъ его ближайшихъ друзей.

Одинъ изъ нихъ, Катенинъ, усердный почитатель французскаго классицизма, затянулъ обычную пѣсню на счетъ правилъ и авторитетовъ, укорялъ автора за то, что въ его пьесѣ «дарованія больше, нежели искусства». Въ болѣе точномъ переводѣ это означало: болѣе жизни, чѣмъ теоріи, правды, чѣмъ искусственности.

Отвѣтъ Грибоѣдова по истинѣ заслуживаетъ безсмертія. Съ него слѣдуетъ считать начало русской національной критики. *Поэтъ* явился предшественникомъ всѣхъ позднѣйшихъ литературныхъ идей, не исключая Бѣлинскаго и публицистовъ шестидесятыхъ годовъ.

«Дарованія болѣе, нежели искусства»—самая лестная похвала, которую ты могъ мнѣ сказать,—отвѣчалъ Грибоѣдовъ классику,—«не знаю, стою ли ея? Исскуство въ томъ только и состоитъ, чтобъ поддѣлываться подъ дарованіе; въ комъ болѣе вытверженнаго, пріобрѣтеннаго потомъ и мученьемъ искусства угождать теоретикамъ, т. е. дѣлать глупости, въ комъ, говорю я, болѣе способности удовлетворять школьнымъ требованіямъ, условіямъ, привычкамъ, бабушкинымъ преданіямъ, нежели собственной творческой силы, тотъ, если художникъ, разбей свою палитру и кисть, рѣзецъ или перо свое брось за окошко. Знаю, что всякое ремесло имѣетъ свои хитрости, но чѣмъ ихъ менѣе, тѣмъ скорѣе дѣло, и не лучше ли вовсе безъ хитростей? *Nugae difficiles.* Я какъ живу, такъ и пишу: свободно и свободно».

Это заявленіе, до конца осуществленное на практикѣ, должно быть поставлено во главѣ нашей литературы... И оцѣните всю разницу подобнаго авторскаго рѣшенія съ поведеніемъ французскихъ самыхъ отважныхъ поэтовъ!

Тамъ непремѣнно поднималась рѣчь о новыхъ *правилахъ* въ

замѣну старыхъ. Писатель, одновременно съ своимъ оригинальнымъ творчествомъ, стремился образовать *школу* и написать для нея *законы*. Если онъ и говорилъ о *свободѣ*, то разумѣлъ не личную творческую свободу художника, а свободу *отъ чужого подданничества* и подчиненность новому главѣ школы, chef de l'école, и новому регламенту искусства.

Совершенно обратное у насъ.

Первый дѣйствительно, сильный и оригинальный поэтъ своей силой пользуется для провозглашенія принципа *свободы*, безъ всякихъ оговорокъ; напротивъ, онъ желалъ бы безусловно устранить *хитрости* и *глупости*, именно все то, безъ чего, по воззрѣніямъ школьнаго искусства, немыслимо настоящее искусство.

Это рѣшительный разрывъ съ иноземными литературными вліяніями и онъ съ каждымъ годомъ будетъ становиться ярче и безповоротнѣе. Преемники Грибоѣдова по освобожденію русской литературы отъ европейскаго школьнаго ига быстро дойдутъ до глубочайшей основы національнаго творчества, откроютъ поэзію въ народныхъ сказкахъ и пѣсняхъ.

Откуда придетъ это вдохновеніе?

Вопросъ—исключительный по своему интересу во всей литературной европейской исторіи.

Пушкинъ съ дѣтства поглощаетъ французскія книги, окруженъ французскими учителями, обиходный языкъ—французскій и будущій поэтъ старается даже сочинять по французски... Но здѣсь же рядомъ приснопамятная няня Родіоновна. Ей поэтъ писалъ такія, напримѣръ, обращенія:

Подруга дней моихъ суровыхъ,
Голубка дряхлая моя!..

За что?.. Не за одно любящее сердце, а за *науку* также, самую неожиданную въ старомъ барскомъ домѣ, за народныя сказки и были, за истинно художественное наслажденіе, подчинившее себѣ умъ и душу будущаго великаго поэта.

Дальше, его достойный наслѣдникъ, юноша страстной, неукротимой натуры, повидимому, самой природой созданный для эффекта, ослѣпительнаго трагизма, оглушительнаго краснорѣчія иноземнаго, особенно французскаго романтизма. И онъ дѣйствительно увлечется поэтомъ бурныхъ желаній и воинственнаго гнѣва.

Но опять, будто нѣкіимъ внушеніемъ, пѣвецъ Демона поднимается на защиту русскихъ сказокъ, даже не зная ихъ съ такой основательностью, какъ Пушкинъ.

Съ тринадцати лѣтъ онъ принимается переписывать произведенія русскихъ поэтовъ, два года спустя онъ жалѣетъ, что не слыхалъ въ дѣтствѣ русскихъ народныхъ сказокъ: «въ нихъ,— думаетъ Лермонтовъ,—вѣрно больше поэзіи, чѣмъ во всей французской словесности».

А вотъ письмо, написанное Лермонтовымъ изъ Москвы по поводу шекспировскаго *Гамлета.* Автору въ это время шестнадцать лѣтъ и онъ защищаетъ и драматурга, и пьесу противъ любительницы французскаго театра.

«Начну съ того, что имѣете переводы не съ Шекспира, а переводъ исковерканной пьесы Дюсиса, который, чтобы удовлетворить приторному вкусу французовъ, не умѣющихъ обнять высокое, и глупымъ ихъ правиламъ, перемѣнилъ родъ трагедіи и выпустилъ множество характеристическихъ сценъ: эти переводы, къ сожалѣнію, играются у насъ на театрѣ».

Мы оцѣнимъ впослѣдствіи весь практическій смыслъ впечатлѣній Пушкина и Лермонтова, когда познакомимся съ отчаянными усиліями университетскихъ профессоровъ литературы во что бы то ни стало поддержать въ сердцахъ своихъ слушателей пламя классицизма и культа французскаго художественнаго генія.

Но трудно было даже съ самымъ блестящимъ учительскимъ краснорѣчіемъ бороться противъ непреодолимой власти генія, питаемаго могучими соками національности.

Грибоѣдовская комедія совершила безпримѣрное завоеваніе публики: задолго до представленія на сценѣ и до появленія въ печати, по Россіи, говорятъ, разошлось до сорока тысячъ списковъ пьесы и на первомъ представленіи, по словамъ очевидца, не было зрителя, не знавшаго комедіи наизусть...

Что могла сдѣлать какая угодно *школа* противъ подобныхъ фактовъ? А между тѣмъ, на помощь Грибоѣдову возставала новая, еще болѣе грозная творческая сила. Ей предстояло нанести послѣдній ударъ россійско-европейскимъ направленіямъ и обезпечить будущее русскому искусству.

XVII.

Можетъ быть, ни на одномъ русскомъ писателѣ не отразилось до такой степени хаотическое состояніе исторіи нашей литературы, какъ на Пушкинѣ. Поэту давно воздвигнутъ всероссійскій памятникъ, а между тѣмъ образъ его до сихъ поръ является со-

отечественникамъ въ какомъ-то смутномъ, едва проницаемомъ туманѣ.

До послѣднихъ дней еще возможенъ судъ надъ авторомъ *Евгенія Онѣгина*, какъ надъ чистымъ художникомъ въ новѣйшемъ смыслѣ, какъ надъ брезгливымъ аристократически-гордымъ жрецомъ «святого искусства», и до сего дня извѣстная отповѣдь толпѣ, вырвавшаяся у поэта въ одну изъ столь многочисленныхъ минутъ его праведнаго негодованія, ставится во главу его изображенія, какъ писателя и какъ человѣка своего времени.

Даже образованность и широкое умственное развитіе поэта до послѣдняго времени оставались сомнительными вопросами въ біографіи Пушкина. А между тѣмъ, если и усомниться въ точности и правдивости сообщеній современниковъ, напримѣръ, записокъ Смирновой, восторженныхъ воспоминаній Гоголя, достаточно совершенно подлинныхъ произведеній самого поэта, для вполнѣ опредѣленной оцѣнки его—не поэтическаго генія: онъ внѣ сомнѣній, а критическаго ума и изумительной культурности всей его природы.

Было бы въ высшей степени любопытной психологической задачей написать подробную исторію литературнаго развитія Пушкина. Врядъ ли можно назвать еще другого поэта въ какой бы то ни было литературѣ, прошедшаго такой быстрый и въ то же время содержательный путь критической мысли. Ея постепенный ростъ у Пушкина, пожалуй, даже поразительнѣе его творческихъ успѣховъ.

Сначала это не болѣе, какъ очень талантливый школьникъ, виртуозъ риѳмъ, повидимому, безнадежно легкомысленный, «французъ», по прозвищу товарищей. Онъ не внушаетъ довѣрія даже ближайшимъ и благосклоннѣйшимъ своимъ знакомымъ. По крайней мѣрѣ, члены современныхъ тайныхъ обществъ не посвящаютъ его въ свои собранія: онъ не надеженъ, недостаточно серьезенъ для такого дѣла!

Поэта постигаетъ изгнаніе за вольные стихи, но и оно не создаетъ ему особенно почетной репутаціи. Тѣмъ болѣе, что и жизнь, и поэзія Пушкина на югѣ не давали никакого основанія уважать въ немъ дѣйствительно-страдающаго писателя и гражданина. Блестящія произведенія слѣдуютъ одно за другимъ, кружатъ головы читателямъ и читательницамъ, но никому и на умъ не приходитъ, какой душевный процессъ совершается съ авторомъ *Руслана*, *Плѣнника*, Алеко и другихъ эффектнѣйшихъ романтическихъ созданій.

А между тѣмъ, въ самый разгаръ славы, поэтъ рѣшается на истинно-героическій, самоотверженный шагъ: онъ идетъ прямымъ путемъ къ разрыву съ публикой, упоенной его поэмами. Онъ въ теченіе четырехъ лѣтъ перерастаетъ просвѣщеннѣйшихъ читателей, своихъ личныхъ друзей и еще вчерашнихъ учителей, у него слагается своя критика и теорія словесности, совершенно не допустимая на взглядъ современныхъ любителей и знатоковъ литературы.

Революція начинается съ Байрона.

Пушкинъ такъ много обязанъ англійскому поэту! Вѣдь всѣ его герои демонической складки и ихъ героини—прямые потомки байроновской музы. А *Кавказскій плѣнникъ*, напримѣръ, можетъ считаться даже весьма точнымъ подражаніемъ *Корсару*. Самъ авторъ это признаетъ: вѣдь онъ «съ ума сходитъ» отъ Байрона!..

Года два спустя по выходѣ въ свѣтъ этого самаго *Плѣнника*, Пушкину приходится высказать свое общее мнѣніе о Байронѣ по поводу его смерти. Онъ не согласенъ съ чувствами кн. Вяземскаго, оплакивающаго безвременную, по его мнѣнію, кончину «властителя думъ» русской молодежи.

«Тебѣ грустно по Байронѣ, — пишетъ Пушкинъ, — а я такъ радъ его смерти, какъ высокому предмету для поэзіи... Геній Байрона блѣднѣлъ съ его молодостью... Постепенности въ немъ не было. Онъ вдругъ созрѣлъ и возмужалъ, пропѣлъ и замолчалъ, и первые звуки его уже ему не возвратились».

Эта идея *своевременной* смерти Байрона была высказана и Гёте, четырьмя годами позже, въ бесѣдахъ съ Эккерманомъ. Ни о какомъ заимствованіи русскаго поэта не можетъ быть, конечно, и рѣчи.

Любопытны и дальнѣйшія совпаденія литературныхъ сужденій молодого Пушкина съ нѣкоторыми идеями старца Гёте. Геніальное художественное чувство, очевидно, не знаетъ возрастовъ.

Одновременно съ байронизмомъ, Пушкина очень занимаетъ вопросъ вообще о романтической школѣ. Поэтъ усиливается объяснить себѣ сущность русскаго романтизма, безпрестанно касается этой темы въ письмахъ къ друзьямъ, даже въ романѣ *Евгеній Онѣгинъ* и, повидимому, никакъ не можетъ придти къ удовлетворительному отвѣту.

Но теоретическій отвѣтъ и невозможенъ былъ. Жуковскій считался представителемъ романтической школы, но Пушкинъ отлично понималъ, что отъ «святости» и «чертовщины» пѣвца Свѣтланы

одинаково далеко до подлиннаго романтизма. О поэзіи Ленскаго дается, между прочимъ, такой отзывъ:

Такъ онъ писалъ темно и вяло,—
(Что романтизмомъ мы зовемъ,
Хоть романтизма тутъ ни мало
Не вижу я;—да что намъ въ томъ)?

О стихахъ Жуковскаго нельзя сказать *вяло*, но темнота и особенно сентиментальность претили Пушкину не менѣе вялости. Въ отзывѣ о Жуковскомъ онъ настаиваетъ преимущественно на его «образцовомъ переводномъ слогѣ». Буквально то же самое повторитъ впослѣдствіи и Гоголь.

Очевидно, Пушкинъ не способенъ помириться съ «святымъ» романтизмомъ русской литературы. Но онъ вскорѣ покончиваетъ и съ демоническимъ направленіемъ. Уже въ 1825 году его собственныя поэмы ему «надоѣли». «*Русланъ*—молокососъ, *Плѣнникъ*—зеленъ». Онъ будто инстинктивно нападаетъ на настоящую романтическую струю.

Развѣнчивая поэмы, онъ прибавляетъ: «я написалъ трагедію и ею очень доволенъ, но страшно въ свѣтъ выдать: робкій вкусъ нашъ не стерпитъ истиннаго романтизма».

Рѣчь шла о *Борисѣ Годуновѣ* и означала прежде всего совершенное уничтоженіе французской классической теоріи. Это само собой разумѣлось, хотя Пушкинъ не преминулъ набросать не мало замѣтокъ нарочито противъ старой школы. Гораздо важнѣе дальнѣйшіе выводы.

Авторъ сосредоточилъ все свое вниманіе на *историческомъ* духѣ эпохи и *національныхъ* чертахъ героевъ и событій. Онъ изучаетъ лѣтописи, сочиненіе Карамзина, добивается житія какого-нибудь юродиваго, вообще работаетъ скорѣе какъ изслѣдователь, чѣмъ вдохновенный поэтъ.

И это называется романтизмомъ! Наименованіе слишкомъ лестное и не всегда заслуженное даже для европейской школы.

Пушкинъ всѣми силами избѣгалъ эффектовъ, приподнятаго драматизма, искусственно-подчеркнутыхъ характеровъ... Развѣ все это входило въ обычную практику даже талантливѣйшихъ романтиковъ? Кто изъ нихъ рѣшался исторической правдѣ и будничной простотѣ принести въ жертву сценичность и показную яркость трагедіи? Кто съ талантомъ автора *Цыганъ* и *Бахчисарайскаго фонтана* рѣшился бы подчинить полетъ своего воображенія первобытному повѣствованію темнаго лѣтописца?

Очевидно, если это и былъ романтизмъ, то весьма своеобразный, не похожій ни на романтизмъ Шиллера, ни на «либеральную» школу Гюго, ни на байронизмъ Ламартина, и менѣе всего на поэзію самого Байрона. Ближе всего русскій поэтъ сталъ къ Шекспиру.

Трагедіи Байрона рѣзко осуждены за монотонность, лаконическую аффектацію, вообще за *неестественность*. Пушкинъ смѣется надъ романтическими злодѣями, даже фразу «дайте мнѣ пить» произносящими по злодѣйски, ставитъ въ примѣръ Шекспира: онъ предоставляетъ герою говорить какъ ему угодно, сообразно съ его драматическимъ характеромъ.

Но Пушкинъ видѣлъ въ Шекспирѣ только *принципіальнаго* учителя, а не руководителя во всѣхъ частностяхъ творчества. Шекспиръ вѣренъ природѣ и исторіи: это общее правило, и Шекспиру будетъ вѣренъ не тотъ, кто подражаетъ его отдѣльнымъ произведеніямъ, а кто вообще стремится воспроизводить правду и исторію.

Въ Англіи прошлое—*свое* англійское, ничѣмъ не похожее на русское, и русскій послѣдователь Шекспира долженъ возсоздавать въ искусствѣ *русскую* дѣйствительность. А эта дѣйствительность сама по себѣ лишена всякаго романтизма, въ ней нельзя найти ни лицъ, ни событій, переполняющихъ драматизмомъ и сильными эффектами шекспировскую сцену. Въ русской исторіи нѣтъ ни Ричардовъ, ни Норфольковъ, ни Маргаритъ. Здѣсь все неизмѣримо скромнѣе, зауряднѣе, проще. Слѣдовательно, и русская *романтическая* трагедія выйдетъ по существу вовсе не романтической даже въ шекспировскомъ смыслѣ. Это будетъ скорѣе *реальная* историческая хроника въ прямой зависимости *отъ предмета*, избраннаго поэтомъ. И такимъ путемъ романтизмъ *логически* исчезаетъ съ русской сцены, разъ признаны основы національности и жизненности.

Пушкинъ, слѣдовательно, толкуя о романтизмѣ, увлекаясь Шекспиромъ, стоялъ на пути къ самому настоящему реализму, къ той самой литературѣ, какую онъ первый привѣтствовалъ въ произведеніяхъ Гоголя.

XVIII.

Пушкинъ слишкомъ хорошо зналъ современныхъ цѣнителей искусства, чтобы не предвидѣть участи своихъ критическихъ вы-

водовъ. Онъ «размышлялъ о трагедіи», создавая Годунова, но не написалъ къ ней предисловія: «Я бы произвелъ скандалъ»—je ferais du scandal,—писалъ Пушкинъ своему другу Раевскому.

И поэтъ объяснялъ почему. «Это жанръ, можетъ быть, менѣе всего признанный». И дальше онъ пускался въ ядовитѣйшія насмѣшки надъ классицизмомъ, писалъ, въ сущности, *предисловіе* къ своей трагедіи.

И Пушкинъ долженъ былъ написать его въ какой бы то ни было формѣ.

Ему предстояло безпрестанно защищать свою трагедію и свой романъ отъ друзей; о критикахъ нечего и говорить.

Стоило Пушкину отбросить романтическіе уборы, и со всѣхъ сторонъ послышались сожалѣнія о паденіи таланта. «Свѣтильникъ души поэта угасъ», говорили самые благосклонные читатели. Гоголь много лѣтъ спустя писалъ по поводу *Мертвыхъ душъ*: «Мнѣ бы скорѣе простили, если бы я выставилъ картинныхъ извергов, но пошлости не простили мнѣ»... Въ сильнѣйшей степени эту участь испытывалъ Пушкинъ, быстро переходя къ реальному національному искусству.

Евгеній Онѣгинъ повторилъ исторію *Горе отъ ума* съ единственной разницей: тамъ смущались классики, здѣсь романтики.

Раевскій, одинъ изъ первыхъ посвятившій Пушкина въ чары демонизма, не узнавалъ блестящаго пѣвца кавказской природы въ скромномъ бытописателѣ. Ему хотѣлось *романтизма* въ общепринятомъ смыслѣ, и не входила въ душу простая русская жизнь и совершенно не героическій отечественный герой: такъ же смотрѣлъ на романъ и другой, не менѣе просвѣщенный пріятель автора, Бестужевъ.

Онъ предъявлялъ самыя высщреннія требованія къ поэзіи. Пушкинъ доказывалъ ея права и на «легкое и веселое»; картина свѣтской жизни также входитъ въ область поэзіи».

Все это трудно понять самимъ свѣтскимъ людямъ; еще труднѣе оказалось для профессоровъ и журналистовъ.

Мы впослѣдствіи ближе познакомимся съ критическими взглядами двухъ даровитѣйшихъ представителей науки и публицистики въ эпоху появленія новой пушкинской поэзіи—Надеждина и Полевого. Исходные принципы критиковъ различны, но они сошлись въ своихъ приговорахъ надъ романомъ Пушкина. Для того и для другого *Евгеній Онѣгинъ* оказывался пустяковиннымъ бумагомараніемъ, *capriccio*, нигилизмомъ, «поэтической бездѣлкой», самое

большое—«блестящей игрушкой»! А профессоръ даже все творчество Пушкина называлъ только «пародіей».

А между тѣмъ, Надеждинъ отнюдь не былъ педантомъ, а Полевой—случайнымъ ремесленникомъ: оба стояли въ первомъ ряду современныхъ эстетиковъ и вообще писателей. Легко представить, сколько поэту пришлось испортить крови ради рецензентовъ и критиковъ! Вся его надежда могла основываться исключительно на публикѣ въ возможно широкомъ смыслѣ, на торжествѣ правды и таланта въ общественномъ мнѣніи.

И вотъ къ этой-то публикѣ поэтъ обратился съ *своей* теоріей словесности, сообразно съ цѣлями изложилъ ее стихами и вставилъ въ самый романъ.

Прежде всего еще въ третьей главѣ остроумно изображены сентиментализмъ и романтизмъ, часто сливавшіеся въ одну смѣхотворную пародію на дѣйствительность.

Свой слогъ на важный ладъ настроя,
Бывало пламенный творецъ
Являлъ вамъ своего героя,
Какъ совершенства образецъ.
Онъ одарялъ предметъ любимый,
Всегда неправедно гонимый,—
Душой чувствительной, умомъ
И привлекательнымъ лицомъ.
Питая жаръ чистѣйшей страсти,
Всегда восторженный герой
Готовъ былъ жертвовать собой,
И при концѣ послѣдней части
Всегда наказанъ былъ порокъ,
Добру достойный былъ вѣнокъ.

Вы видите, эти стихи—прямые предшественники знаменитой гоголевской насмѣшки надъ пристрастіемъ писателей къ «добродѣтельному человѣку». Такъ писалъ Пушкинъ, приблизительно, въ 1824 году, т. е. въ періодъ своего охлажденія къ байронизму.

Но вѣдь Гоголь—признанный живописатель пошлости, самыхъ мелкихъ и непоэтическихъ явленій. Всѣмъ извѣстно его сопоставленіе *двухъ* поэтовъ—лирика и сатирика, писателя, минующаго скучные характеры и печальную дѣйствительность, ни разу не измѣнявшаго возвышеннаго строя своей лиры, вообще витающаго вдали отъ бреннаго земного праха, и писателя, выставляющаго тину житейскихъ мелочей и повседневные характеры.

Давно принято въ этомъ сопоставленіи видѣть Пушкина и самого Гоголя. Это заблужденіе, и прежде всего несправедливость со стороны Гоголя.

Стоило ему прочесть пятую главу Онѣгина и *Родословную моего героя*, чтобы отказаться видѣть пропасть между своимъ учителемъ и самимъ собой, именно какъ изобразителемъ «пошлости».

Вотъ любопытнѣйшее послѣдовательное развитіе реальной теоріи искусства въ пушкинскихъ стихахъ.

Сначала идетъ вопросъ только о національности и будничности мотивовъ и героевъ:

Быть можетъ, волею небесъ
Я перестану быть поэтомъ,
Въ меня вселится новый бѣсъ,
И Фебовы презрѣвъ угрозы,
Унижусь до смиренной прозы.
Тогда романъ на старый ладъ
Займетъ веселый мой закатъ.
Не муки тайныя злодѣйства
Я грозно въ немъ изображу.
Но просто всѣмъ перескажу
Преданья русскаго семейства,
Любви плѣнительные сны,
Да нравы нашей старины.

Поэту самому будто странны такіе вкусы у него, байрониста и романтика—и онъ юмористически сравниваетъ себя—прежде и теперь.

Порой дождливою намедни
Я завернулъ на скотный дворъ...
Тьфу! прозаическія бредни,
Фламандской школы пестрый соръ!
Таковъ ли былъ я, расцвѣтая!
Скажи, фонтанъ Бахчисарая!
Такія ль мысли мнѣ на умъ
Навелъ твой безконечный шумъ,
Когда безмолвно предъ тобою
Зарему я изображалъ...

Теперь далеко до Заремы, до Гиреевъ и прочихъ сновъ юности. На смѣну имъ явятся не только не романтическія фигуры, а даже не допустимыя въ простомъ свѣтскомъ обществѣ. Мы видѣли, поэтъ защищалъ свѣтскую жизнь, какъ предметъ поэзіи, теперь онъ устремляется гораздо глубже въ «фламандскій соръ» требуетъ мѣста среди литературныхъ героевъ «коллежскому регистратору», «станціонному смотрителю» и даже пьяному мужику.

О коллежскомъ регистраторѣ рѣчь ведется совершенно въ гоголевскомъ духѣ: «малый онъ обыкновенный», не Донжуанъ, не Демонъ, даже не цыганъ,

А просто гражданинъ столичный,
Какихъ встрѣчаемъ всюду тьму,
Ни по лицу, ни по уму
Отъ нашей братьи не отличный...

И, наконецъ, полнѣйшее заушеніе всякимъ чинамъ въ искусствѣ и всевозможному шуму и блеску всякихъ эстетическихъ *измовъ*.

Иныя нужны мнѣ картины;
Люблю песчаный косогоръ,
Передъ избушкой двѣ рябины,
Калитку, сломанный заборъ...
Теперь мила мнѣ балалайка,
Да пьяный топотъ трепака
Передъ порогомъ кабака.
Мой идеалъ теперь хозяйка,
Да щей горшокъ, да самъ большой...

Теорія шла къ быстрому осуществленію на практикѣ. Всѣ прозаическіе романы Пушкина—искусство фламандской школы, и со временемъ изъ подъ пера геніальнаго лирика, можетъ быть, явились бы первые образцы народнической литературы. Пушкинъ, весь одушевленный національными инстинктами и горячимъ стремленіемъ къ жизни и простотѣ, сошелъ съ поприща русской литературы истиннымъ творцомъ ея національнаго великаго будущаго.

И помните, творцомъ-художникомъ вопреки современной наукѣ и критикѣ. Одинъ только всевластный талантъ былъ одновременно учителемъ и соратникомъ поэта. Это—въ полномъ смыслѣ вдохновеніе геніальной натуры, органическое влеченіе къ творческой свободѣ и къ вѣчнымъ идеаламъ искусства.

Пушкинъ высказывалъ въ высшей степени серьезную мысль, будто иронически оправдывая себя за выборъ «ничтожнаго» героя. «Вы правы,—говорилъ онъ рыцарямъ школъ, — но и я совсѣмъ не виноватъ», и, предоставляя читателямъ воскликнуть или «экой вздоръ» или «браво», онъ, поэтъ, своего пути не измѣнитъ: онъ убѣжденъ въ своемъ *правѣ*.

И мы увидимъ, на какой высотѣ должно было стоять это убѣжденіе, чтобы и себя оборонять отъ оглушительныхъ воплей «экой вздоръ», и ободрять другихъ, столь же одинокихъ на своей писательской дорогѣ. Мы впослѣдствіи оцѣнимъ всю важность пушкинскаго вліянія на Гоголя, разберемъ, чтó означало привѣтствіе геніальнаго прославленнаго поэта для начинающаго невѣдомаго литератора. Мы поймемъ также, почему Тургеневъ и Писем-

скій, столь, повидимому, несходные люди талантами и личностями, одинаково признавали Пушкина своимъ учителемъ и открытіе ему памятника—своимъ торжествомъ...

А теперь намъ остается сдѣлать общіе выводы изъ нашего обзора историческихъ судебъ русской литературы до вступленія ея на путь прогрессивнаго національнаго движенія.

Эти выводы, при всей своей значительности, подсказываются простой логикой фактовъ, въ сущности даже самими чистыми фактами.

XIX.

Пушкинъ окончательно установилъ пути художественной литературы. Гоголю, въ принципахъ, ничего не оставалось прибавить къ наслѣдству своего учителя. Пушкинъ до конца остался для него единственнымъ руководящимъ критикомъ, внушителемъ художественныхъ задачъ и рѣшающимъ цѣнителемъ ихъ выполненія. Гоголь, по его словамъ, всегда имѣлъ предъ глазами тотъ или другой приговоръ поэта, старался мысленно отгадать его судъ надъ каждой написанной строкой и его одобреніе предпочиталъ какому угодно успѣху.

Гоголь, слѣдовательно, неразрывными нитями привязалъ всю свою дѣятельность къ пушкинскому генію. Это будетъ началомъ отнынѣ неумирающихъ традицій.

Авторъ *Мертвыхъ душъ*, въ свою очередь, станетъ образцомъ для другихъ художниковъ и, подобно Пушкину, увлечетъ за собой и критику. Роли писателей, по смыслу и результатамъ, окажутся поразительно сходными.

Пушкинъ своей «романтической» драмой и фламандскимъ искусствомъ нанесъ смертельный ударъ всѣмъ школамъ россійско-европейской словесности, на мѣсто хитростей литературнаго ремесла, утвердилъ права личнаго таланта, и заставилъ критику считаться не съ *правильностью* художественныхъ произведеній, а съ ихъ *правдой*.

То же самое назначеніе выполнилъ реализмъ Гоголя.

Соперникомъ поэта въ критикѣ на этотъ разъ явилась сила несравненно болѣе зрѣлая и авторитетная, чѣмъ піитики классиковъ и прочихъ школяровъ. Искреннія философскія увлеченія русской молодежи пытались создать новый кодексъ литературнаго уложенія. Они всецѣло захватили первенствующаго современнаго кри-

тика, налегли тяжелымъ деспотическимъ гнетомъ на его умъ даровитѣйшаго публициста и душу прирожденаго художника.

Снова узы теорій грозили опутать и таланты, и жизнь, и безпощадно увѣчить вдохновеніе и свободу. Съ какими идеально-возвышенными намѣреніями присуждались къ смерти лучшія достоянія творчества, если не цѣликомъ, то въ своихъ нерѣдко наиболѣе блестящихъ частностяхъ! Съ какой стремительностью обрушивались громы философскаго доктринерства не только на факты литературы, но и дѣйствительной жизни, если они не вкладывались въ непогрѣшимыя отвлеченныя формулы!

Мы увидимъ дальше результаты этого новаго школьничества, отнюдь не послѣдняго въ исторіи нашего идейнаго развитія, и оцѣнимъ услуги, вновь оказанныя критической мысли творческимъ геніемъ. Мы прослѣдимъ постепенныя столкновенія философскаго идеализма тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ съ литературнымъ направленіемъ Гоголя и опредѣлимъ смыслъ борьбы.

Въ общемъ онъ останется тотъ же, какимъ былъ при Грибоѣдовѣ и Пушкинѣ: школа съ своимъ духомъ систематизаціи и властительскими притязаніями на искусство снова отступитъ предъ искусствомъ — по существу свободнымъ и сильнымъ только своей внутренней правдой и громаднымъ общественнымъ значеніемъ. Бѣлинскій въ повѣстяхъ Гоголя почерпнетъ неизмѣримо болѣе цѣлесообразныя и прочныя свѣдѣнія, чѣмъ въ гегельянствѣ, и именно съ этими повѣстями въ рукахъ самъ же возстанетъ на абстрактный фанатизмъ своей молодости.

Въ слѣдующую эпоху повторится та же исторія, хотя и не въ столь рѣзкой опредѣленной формѣ.

Опять подъ вліяніемъ европейскихъ внушеній, не всегда точно понятыхъ и еще рѣже по достоинству оцѣненныхъ, начнется разрушеніе эстетики. Въ самое короткое время воинственный азартъ достигнетъ наивысшей температуры, эстетика будетъ отожествлена не только съ «чистымъ» поэтическимъ вдохновеніемъ, а вообще съ художественными явленіями, съ творческой даровитостью.

Запальчивость нападокъ не уступитъ смѣлости обобщенія, и самыя отчаянныя вылазки новыхъ теорій устремятся—и совершенно естественно—на сильнѣйшаго родоначальника русскаго искусства—на Пушкина.

И это произойдетъ во имя самыхъ, повидимому, жизненныхъ и реалистическихъ задачъ литературы!

Въ дѣйствительности, и здѣсь нападающими будетъ управлять

школа, извѣстное апріорное воззрѣніе, почерпнутое въ «послѣднихъ словахъ» мнимо-положительной исторической науки. Это она подскажетъ идею объ исключительномъ значеніи для человѣческой культуры опытныхъ знаній и о безплодности, даже чужеядности искусства. Она вооружитъ юныхъ рыцарей біологіи и химіи и придастъ внушительную научную окраску ихъ на самомъ дѣлѣ совершенно ненаучному и исторически неосмысленному предпріятію.

Опять противъ доктринерства станетъ неистощимо-жизненное творчество. Оно и безъ открытой полемики изобличитъ всю призрачность и безцѣльность «разрушенія», изобличитъ исконной своей способностью художественными образами и фактами будить общественное сознаніе и воспитывать въ смутной средѣ современниковъ идеалы гражданственности съ гораздо большимъ успѣхомъ, чѣмъ этого могли бы достигнуть всѣ естественныя науки вмѣстѣ.

Первое мѣсто среди этихъ изобличителей займетъ, какъ и слѣдовало ожидать, преданнѣйшій ученикъ Пушкина. Тургеневу придется не разъ вступить въ открытое сраженіе съ «дѣтьми», и, помимо многихъ второстепенныхъ и временныхъ счетовъ, судьба сраженія всякій разъ будетъ рѣшеніемъ того или иного будущаго литературы и критики.

Тургеневъ снова повторитъ ученіе Пушкина о процессѣ и смыслѣ художественнаго творчества, придастъ этому ученію еще болѣе ясную и полную внѣшнюю форму, оправдывая его въ то же время собственными краснорѣчивѣйшими произведеніями.

Впослѣдствіи мы познакомимся съ подробностями этого когда-то столь шумнаго и до сихъ поръ еще не замолкшаго вопроса о тенденціи и о чистомъ художествѣ. Мы увидимъ, — въ сущности отвѣтъ не подлежалъ сомнѣнію съ самаго начала. Борьба вызвана вовсе не заблужденіями художниковъ, а новымъ нашествіемъ европейскихъ формулъ въ русскую критику. Тургеневъ и писатели равной съ нимъ силы по существу не могли быть эстетическими празднословами и неосмысленными служителями чистой красоты. Авторъ *Отцовъ и дѣтей* не нуждался въ напоминаніяхъ на счетъ значительнаго содержанія литературныхъ произведеній, гражданскаго долга писателей и вообще просвѣтительнаго и цивилизующаго назначенія искусства.

Всѣ эти вопросы рѣшались личнымъ геніемъ художника. Критикѣ здѣсь нечего было дѣлать, и своими антиэстетическими строеніями она могла только затормазить благотворное движеніе въ пол-

номъ смыслѣ идейной, хотя и художественной литературы, вызвать недоразумѣнія между писателемъ и малосознательными читателями.

Это дѣйствительно отчасти и произошло, но только отчасти, на время.

Художникъ опять остался побѣдителемъ. Волна самаго, повидимому, солиднаго европейскаго повѣтрія схлынула даже скорѣе, чѣмъ можно было ожидать. Она едва пережила своихъ творцовъ и до слѣдующихъ поколѣній долетѣлъ только невнятный гулъ еще недавно столь шумной битвы.

Въ наше время снова воскресаетъ старый спектакль. Но уже и пьеса и дѣйствующія лица не представляютъ ни малѣйшей опасности. Русскій символизмъ до сихъ поръ не встрѣтилъ врага въ лицѣ первостепенной художественной силы, какъ это было при раннихъ европейскихъ нашествіяхъ на русскую литературу. Но, повидимому, новѣйшая школа, ея формула до такой степени тщедушна и даже противолитературна, такъ явно противорѣчитъ нагляднѣйшему историческому развитію искусства и особенно его современнымъ естественнымъ задачамъ, что доктрина умретъ сама собой, отъ внутренняго недуга. И, можетъ быть, этотъ исходъ будетъ началомъ излѣченія русской критической мысли отъ болѣзненной стремительности къ паролямъ и лозунгамъ западно-европейскаго происхожденія.

А между тѣмъ, цѣли и содержаніе русской критики вполнѣ опредѣлены ея кратковременной, но необычайно богатой и краснорѣчивѣйшей исторіей.

Никакихъ школъ, никакихъ отвлеченно-формулированныхъ направленій, никакихъ ни чисто-эстетическихъ, ни научно-общественныхъ системъ: совершенная свобода личнаго творчества и искреннее, любовно-вдумчивое отношеніе къ родной дѣйствительности.

Для таланта нѣтъ другихъ ограниченій, кромѣ свойствъ самого этого таланта и голоса кругомъ развивающейся жизни.

Послѣднее въ высшей степени существенное условіе. Личную свободу художника можно понять въ самомъ превратномъ смыслѣ, и декаденты эту свободу кладутъ во главу угла своего формально обязательнаго «безумія».

Но абсолютной свободы нѣтъ ни для художника, ни вообще для смертнаго. Не проходитъ мгновенія, когда бы мы не чувствовали своей ничѣмъ неустранимой связи съ внѣшнимъ міромъ. Нельзя представить ни единой мысли, ни единаго мимолетнаго на-

строенія свободныхъ отъ всепроникающаго «духа земли». Самые фантастическіе образы подсказаны дѣйствительностью — грубой и непосредственной. Самыя идеальныя построенія отвлеченнаго ума созданы изъ того же матеріала, только иначе размѣщеннаго и связаннаго.

И недаромъ легенды объ отшельникахъ и подвижникахъ съ такимъ постоянствомъ разсказываютъ объ «искушеніяхъ»... Нѣтъ, очевидно, спасенія отъ міра даже тамъ, гдѣ, повидимому, ближе всего небо!

Въ этомъ законѣ весь смыслъ мірового процесса.

Если бы наша нравственная жизнь могла питаться исключительно своимъ содержаніемъ, немедленно исчезъ бы всякій интересъ существованія. Оно всецѣло основывается на способности *воспріятія* и возможности *воздѣйствія*. Насъ инстинктивно влечетъ жизнь, потому что мы также инстинктивно увѣрены въ своей, хотя бы и очень относительной, власти надъ ней. А всякая разумная и успѣшная власть мыслима только при тщательномъ изученіи предмета, подлежащаго ей. Въ результатѣ, мы воспринимаемъ впечатлѣнія и часто страданія отъ внѣшняго міра съ тѣмъ, чтобы, въ свою очередь, его заставить воспринять наши идеи, его явленія, насколько возможно, подчинить нашей личности.

Отсюда логическій выводъ: чѣмъ совершеннѣе и глубже воспріимчивость, чѣмъ, слѣдовательно, обширнѣе область воспринимаемаго міра, тѣмъ достижимѣе возможность идейныхъ вліяній на дѣйствительность.

Само собой разумѣется, вліянія могутъ осуществляться только при участіи опредѣленно-направленной воли, но именно эта опредѣленность и обусловливается количествомъ и качествомъ изученныхъ явленій жизни.

Примѣните эти соображенія къ художественному таланту, и вы совершенно послѣдовательно получите точную мѣрку его идеальной и практической цѣнности.

Она прямо и непосредственно зависитъ не отъ какихъ бы то ни было нарочитыхъ усилій автора сказать публикѣ непремѣнно что-нибудь значительное и поучительное, не отъ благороднѣйшихъ въ мірѣ тенденцій, а отъ прирожденной воспріимчивости и чуткости творческаго духа.

Тургеневъ выразилъ эту истину по поводу частнаго случая, защищая свое собственное произведеніе. Онъ не формулировалъ никакой теоріи творчества—ни психологической, ни художествен-

ной, но простая искренняя исповѣдь художника важнѣе всякихъ обобщеній и системъ.

Во время полемики, вызванной *Отцами и дѣтьми*, Тургеневу пришлось, между прочимъ, выслушать жестокія укоризны за *тенденцію* и *рефлексію*, т. е. за недостатокъ свободнаго творчества и чисто-поэтическаго вдохновенія.

Авторъ, въ общемъ, крайне добродушно и сдержанно отвѣчалъ своимъ критикамъ, но малѣйшій намекъ на тенденцію, очевидно, особенно болѣзненно отзывался на его писательской совѣсти.

Онъ готовъ признать какіе угодно недостатки въ своемъ романѣ, готовъ согласиться, что ему «мастерства не хватило», но *тенденція*!.. Ничего не можетъ быть несообразнѣе съ дѣйствительнымъ положеніемъ дѣла!.. Онъ просто *не знаетъ*, какъ и почему извѣстнымъ образомъ сгруппировались у него лица и вышли именно такими, столь неугодными критикамъ.

«Я всѣ эти лица рисовалъ, какъ бы я рисовалъ грибы, листья, деревья; намозолили мнѣ глаза, я и принялся чертить. А освобождаться отъ собственыхъ впечатлѣній потому только, что они похожи на тенденціи, было бы странно и смѣшно».

Слѣдовательно,—впечатлѣнія, замѣтьте — *только отраженія* внѣшняго міра въ чувствѣ и сознаніи наблюдателя могутъ походить уже на тенденціи... Таковъ вѣдь выводъ изъ словъ Тургенева, и онъ подтверждается ежедневнымъ опытомъ—не писателей и художниковъ, а самыхъ обыкновенныхъ смертныхъ.

Но когда же впечатлѣнія граничатъ съ тенденціей, т. е. *сами по себѣ*, независимо отъ преднамѣренной окраски и искусственнаго подбора, преисполнены нравственнаго и общественнаго смысла?

Очевидно, когда они производятся предметами и явленіями, занимающими первое или, по крайней мѣрѣ, безусловно значительное мѣсто въ современной жизни. Въ иныхъ случаяхъ достаточно только назвать эти предметы, или описать самыми элементарными и даже небрежными чертами, чтобы рѣчь для весьма многихъ слушателей получила тенденціозный смыслъ и вызвала безпокойныя и мучительныя чувства.

Именно въ такомъ положеніи очутился Пушкинъ, когда вздумалъ отъ байронизма и романтическихъ эффектовъ перейти къ заурядньмъ «неинтереснымъ» героямъ «свѣта», потомъ къ «просто гражданину столичному» и, наконецъ, къ мужику.

Это тоже выходило *тенденціей*. «Коллежскій регистраторъ», допущенный въ область художественной литературы, производилъ

на современныхъ изящныхъ читателей и оффиціальныхъ блюстителей словесности не менѣе дикое впечатлѣніе, чѣмъ нигилистъ Базаровъ на Фета.

И какъ было Пушкину отражать это впечатлѣніе?

Защищать права «фламандскаго сора», доказывать человѣческое достоинство и извѣстное общественное значеніе «обыкновенныхъ малыхъ»—не дѣло художника. Эта задача предстояла критикѣ. Пушкинъ просто заявлялъ, что онъ чувствуетъ себя въ своемъ правѣ писать о томъ, къ чему его влечетъ личный творческій талантъ.

О тенденціи здѣсь, конечно, не можетъ быть и рѣчи, но впечатлѣнія дѣйствительно могли сойти за тенденціи въ глазахъ извѣстной публики.

Въ дѣйствительности тенденція оставалась именно на сторонѣ этой публики. Она требовала, чтобы художникъ направлялъ свое вниманіе на предметы, не вызывающіе безпокойства въ мысляхъ и чувствахъ просвѣщеннаго читателя, тщательно сортировалъ свои впечатлѣнія и отказывался отъ нѣкоторыхъ совершенно.

Во имя чего?

Отвѣты могутъ быть очень разнообразные, но общій ихъ смыслъ *насиліе* надъ талантомъ писателя, властный контроль надъ его нравственнымъ міромъ и чисто инквизиціонное вмѣшательство даже въ его ощущенія и настроенія.

Ученые критики могли поставить предъ лицомъ поэта авторитетъ науки объ изящномъ, т. е. піитику, школу, свѣтскіе франты—сослаться на хорошій тонъ и утонченный вкусъ, чистымъ поэтамъ естественно напасть на умъ и рефлексію.

Всѣ эти идолы и выдвигались неоднократно, выдвигаются и теперь противъ художественнаго творчества, неизмѣримо менѣе тенденціознаго, чѣмъ наука, этикетъ и культъ красоты.

Тотъ же Тургеневъ очень остроумно направилъ обвиненіе въ тенденціи противъ чистѣйшаго изъ эстетиковъ Фета. И вполнѣ справедливо, и фактически-основательно.

Фетъ съ необыкновеннымъ азартомъ нападалъ на умъ и разсудокъ, не хотѣлъ видѣть и слѣда ихъ въ произведеніяхъ искусства, т.-е. насильственно калѣчилъ и личность художника, и процессъ его творчества... Что̀ можетъ быть тенденціознѣе? И съ Фетомъ могутъ успѣшно соперничать, именно по разсчитанной преднамѣренности писательства, современные мечтатели о сверхземномъ художествѣ. Имъ также приходится зорко слѣдить за

своимъ умомъ, если онъ у нихъ имѣется, и не допускать его разстраивать гармонію звуковъ.

. Очевидно, Пушкинъ—родоначальникъ «впечатлѣній, похожихъ на тенденціи», и въ то же время разрушитель тенденцій въ искусствѣ, какъ разъ съ момента вступленія на путь «тенденціозныхъ» впечатлѣній. Всякая литературная школа, вооруженная теоріями и формулами, и есть самое грубое воплощеніе тенденцій. Протестъ противъ школы, ея хитростей и ремесленническихъ уставовъ—самый подлинный разрывъ съ тенденціей, начало свободы и правды творчества.

Это начало, мы видѣли, положено тремя великими поэтами, и одновременно навсегда опредѣлились пути новой критики, соотвѣтствующіе полному преобразованію искусства.

На развалинахъ европейскихъ школъ должна была вырости національная критическая мысль, столь же независимая и жизненно-содержательная, какъ и ставшее во главѣ ея художественное творчество.

XX.

Творчество стало во главѣ критики — это оригинальнѣйшая черта русской литературы; вдохновеніе поэтовъ предшествовало идеямъ эстетиковъ, впечатлѣнія явились первоисточниками тенденцій.

Подобное явленіе знала античная Греція. Тамъ піитика Аристотеля возникла послѣ блестящаго развитія искусства и составилась изъ обобщеній уже готовыхъ фактовъ. Творчество эллинскихъ трагиковъ выросло на свободѣ и естественныхъ національныхъ силахъ. Никакой теоретикъ не вмѣшивался въ этотъ ростъ и впослѣдствіи, вся заслуга Аристотеля состояла въ точномъ *осмысливаніи дѣйствительности*, а не въ стремленіи передѣлать ее путемъ отвлеченныхъ эстетическихъ предписаній. Скромная, но добросовѣстно выполненная задача и сохранила до сихъ поръ за критикой Аристотеля право на существованіе.

Трактаты позднѣйшихъ классиковъ, много толковавшіе объ Аристотелѣ, на самомъ дѣлѣ не имѣли съ нимъ ничего общаго,— прежде всего по своимъ цѣлямъ.

Они разсчитывали создать искусство и неограниченно управлять имъ. Они и достигли своего идеала, но столь же мертворожденнаго и скоропреходящаго. Ложноклассическая критика погибла

даже раньше своего дѣтища, и погибла въ силу своего противоестественнаго положенія. Критика—спутникъ и сотрудникъ искусства, а не господинъ и самодовлѣющій указчикъ.

Этотъ принципъ достигъ осуществленія въ русской литературѣ съ паденіемъ школъ предъ національнымъ творчествомъ.

У критики немедленно исчезли мотивы и вопросы, до сихъ поръ переполнявшіе статьи журналистовъ и лекціи профессоровъ. Если она хотѣла сохранить старыя сокровища, ей оставалось пребывать въ области литературы, явно приговоренной къ смерти. О «правилахъ» и «хорошемъ вкусѣ» можно было толковать только по поводу трагедій Сумарокова, окончательно заслоненныхъ новой комедіей, сентиментализмъ и романтическое направленіе приходилось пояснять повѣстями Карамзина и балладами Жуковскаго, совершенно разбитыхъ, въ общественномъ мнѣніи, произведеніями Лермонтова и Пушкина. Въ полномъ смыслѣ мертвецамъ приходилось возиться съ трупами и старовѣрамъ бороться съ непреодолимой властью талантовъ и ихъ славы.

Конечно, охотники даже до такихъ подвиговъ не могли перевестись въ нѣсколько лѣтъ. Но самый естественный врагъ всего осужденнаго жизнью—ничѣмъ неотвратимый процессъ вырожденія и вымиранія—шелъ своимъ чередомъ, и новая критика не замедлила стать рядомъ съ новымъ искусствомъ.

Какая же судьба ей предстояла?

Вопросъ отнюдь не рѣшался съ перваго же шага. Мы увидимъ, сколько заблужденій, колебаній, сдѣлокъ съ мертвой стариной отмѣтили раннія движенія критики. Но основныя задачи ея опредѣлились очень скоро, въ силу фактической необходимости.

Если искусство разорвало съ отвлеченной эстетикой и обратилось къ свободѣ и дѣйствительности, критикѣ оставалось идти тѣмъ же путемъ, изъять изъ своего обихода вопросъ о правилахъ творчества и заняться оцѣнкой его смысла и содержанія.

А мы знаемъ, въ чемъ заключалось это содержаніе: воспроизведеніе русской будничной жизни, вплоть до народнаго быта. Художественная литература брала на себя обязанность изучать только землю, и навсегда покинуть эфирныя высоты мечтательной красоты и идеальнаго величія. Поэтъ рѣшался рыться въ житейскомъ «сорѣ» и обыкновенными, часто даже совершенно невзрачными и отнюдь не героическими «малыми» замѣнить эффектнѣйшихъ витязей. А для этой цѣли ему приходилось возможно ближе подойти къ самой неприглядной дѣйствительности, гдѣ и помину

нѣтъ о небесной красотѣ, сказочномъ счастьѣ, гдѣ немощи и лишенія до послѣдней степени обездоливаютъ человѣка и уродуютъ его «божественный образъ».

Перенесите изъ этого міра самыя спокойныя, непосредственныя впечатлѣнія, только искренне и честно перенесите въ свой разсказъ или на свою картину, и вы тотчасъ же у публики затронете чувства, у критика вызовете идеи,—совершенно невѣдомыя ни классическимъ, ни романтическимъ читателямъ и эстетикамъ.

О чемъ будетъ говорить критикъ по поводу вашего произведенія?

Раньше онъ могъ наполнить всю свою статью разсужденіями о стилѣ, о законахъ искусства, потому что самъ авторъ полагалъ всѣ свои силы именно на эти основы своихъ писательскихъ правъ. Теперь вы тоже можете многое сказать о моемъ слогѣ, о чисто-художественныхъ достоинствахъ и недостаткахъ моего произведенія, но помимо всего этого останется нѣчто, самое существенное—*смыслъ* моей работы.

И какой смыслъ!

Чтобы выяснить его, вы не можете ограничиться критикуемой книгой, вы должны *знать* многое помимо ея, отнюдь не менѣе автора, знать не книги также, а тотъ самый «фламандскій соръ», откуда авторъ взялъ героевъ и факты для своего произведенія.

Вы, слѣдовательно, отъ книги неизбѣжно обращаетесь къ жизни и совершенно логически становитесь одновременно и критикомъ литературнаго явленія, и судьей надъ извѣстной дѣйствительностью. А это значитъ—изъ цѣнителя искусства вы превращаетесь въ публициста, т. е. моралиста, политика, соціолога.

И превращеніе произошло съ вами вовсе не потому, что вы взялись за критику нарочито съ публицистическими намѣреніями. Все равно, какъ художникъ не разсчитывалъ на тенденціозныя общественныя воздѣйствія, воспроизводя свои *впечатлѣнія*, такъ и его критикъ можетъ быть неповиненъ въ результатѣ своихъ *идей*.

Впечатлѣнія художника походили на *тенденціи* въ силу самого своего источника, и идеи критика, безъ вмѣшательства его воли, могутъ приблизиться къ *проповѣди* опредѣленнаго смысла въ силу своего предмета. Здѣсь переходъ часто незамѣтенъ для самого писателя, все равно какъ *впечатлѣнія* привели Пушкина и Гоголя къ самымъ краснорѣчивымъ поучительнымъ результатамъ, безусловно независимо отъ какихъ бы то ни было публицистическихъ инстинктовъ того и другого поэта.

Давно извѣстна истина, жизнь—самый могущественный *учитель*, и она неуклонно выполняетъ это назначеніе и въ практическихъ опытахъ незамѣтныхъ людей, и въ произведеніяхъ геніальныхъ художниковъ и мыслителей. Въ этомъ фактѣ великое значеніе литературнаго реализма. Онъ, *въ силу своей сущности*, чреватъ всевозможными *нравственными* результатами. Въ искусствѣ онъ то же, что солнце въ природѣ.

Оно одинаково щедро изливаетъ свои лучи и на каменистую пустыню, и на благословеннѣйшій въ мірѣ край. Оно совершаетъ свое дѣло стихійно, по безстрастному закону природы, но всюду, гдѣ только есть малѣйшая возможность развиться живому организму, подъ его лучами возникаетъ процессъ зарожденія и разцвѣта.

Таково дѣйствіе и художественнаго произведенія, изображающаго правдивую подлинную жизнь.

Эту простую логику и *неразрывное сцѣпленіе* причинъ съ послѣдствіями трудно понять эстетикамъ и читателямъ старой искусственной, отъ начала до конца фантастической литературы. Чистые вымыслы воображенія — пустоцвѣты творчества, можетъ быть, очень красивые и ароматные, но безплодные и тунеядные.

До какой степени несоизмѣрима разница между идеальнымъ искусствомъ и реализмомъ, разница *органическая*, *фатальная*, понималъ даже писатель классической эпохи. Стоило ему подойти къ дѣйствительности и сравнить ее съ современной трагической школой, чтобы немедленно опредѣлилась могучая внутренняя сила жизненнаго вдохновенія.

«Я думаю,—писалъ Мольеръ,—гораздо легче витать въ области высшихъ чувствъ, бросать въ стихахъ вызовъ счастью, осыпать обвиненіями судьбу, поносить боговъ, чѣмъ проникать въ смѣшныя стороны человѣческой природы и заинтересовывать публику несообразностями повседневной жизни. Когда вы изображаете героевъ, вы дѣлаете это, какъ вамъ вздумается. Это совершенно произвольные образы, въ нихъ нечего искать какого-либо сходства съ какой бы то ни было дѣйствительностью. Вы слѣдуете только порывамъ вашего личнаго воображенія, которое часто естественность и правду приноситъ въ жертву чудесному. Но когда вы беретесь изображать дѣйствительныхъ людей, вы должны ихъ брать, какими они являются въ жизни. Необходимо, чтобы ваши созданія походили на дѣйствительность, и ваша работа утратитъ всякое значеніе, если въ ней не узнаютъ типовъ современниковъ».

Очевидно, при такомъ процессѣ творчества неизбѣжно участіе

ума и *разсудка*. Изображать восходъ солнца, цвѣты, трели соловья можно безъ этихъ благороднѣйшихъ силъ человѣческой природы. Но когда художественному воспроизведенію подлежитъ человѣкъ и общество, художникъ обязанъ *понимать*, слѣдовательно, мыслить. А критику предстоитъ при первомъ же взглядѣ на трудъ художника прибѣгнуть къ *сравненію*, опредѣлить соотвѣтствіе литературныхъ образовъ дѣйствительнымъ явленіямъ. Опять—на сценѣ *личный* умъ и *личный* общественный и культурный кругозоръ.

Такимъ путемъ реализмъ искусства совершенно преобразовываетъ критику.

Это преобразованіе совершалось и совершается всегда и вездѣ, но въ русской литературѣ оно приняло своеобразное направленіе, отличное отъ западно-европейскаго.

И мы знаемъ, почему.

На Западѣ реализмъ и даже натурализмъ сохранилъ существенныя преданія старой словесности, т. е. употребилъ всѣ усилія сложиться въ школу, въ эстетическую формулу. Русскій реализмъ, національно не связанный ни съ какими школьными преданіями, явился именно противошкольнымъ и внѣсистемнымъ художественнымъ фактомъ. Результаты въ критикѣ очевидны.

Ей оставалось только судить о правдивости и реальности литературныхъ произведеній, т. е. сопоставлять жизнь и искусство. Даже въ простѣйшей формѣ эта задача непосредственно приводила критика къ *разбору* жизненныхъ явленій и *оцѣнкѣ* уровня пониманія и анализа у художника. Только въ этихъ предѣлахъ и должна была вращаться критическая мысль русскаго эстетика.

Его французскій собратъ, взявшій въ руки, положимъ, драму или романъ изъ школы Гюго, имѣетъ предъ собой рѣшительное заявленіе основателя школы воспроизводить дѣйствительность съ фактической вѣрностью—самымъ уродливымъ явленіямъ. Но это не все. Критикъ, помимо этихъ *реальныхъ* принциповъ, слышитъ изъ тѣхъ же устъ еще цѣлый *эстетическій* уставъ. Очевидно, его критика, разъ она хочетъ быть полной и соотвѣтствовать художественному факту, должна разбиться, по крайней мѣрѣ, на двѣ струи: нравственно-общественную и школьно-теоретическую.

Ничего подобнаго у русскаго критика.

Его авторъ не признаетъ никакихъ *хитростей*, и было бы совершенно безцѣльно судить человѣка по законамъ ему невѣдомымъ. Но тотъ же авторъ заявляетъ притязанія на вѣрное изо-

браженіе жизни, и этимъ самымъ указываетъ цѣль критическаго анализа.

Естественно, анализъ выйдетъ не трактатомъ по эстетикѣ, а публицистической статьей.

Мы не должны понимать слово *публицистика* непремѣнно въ смыслѣ какой-нибудь партійной, намѣренно-односторонней проповѣди. Публицистика можетъ быть и не быть такою проповѣдью, все равно, -какъ и художникъ можетъ совершенно произвольно скомбинировать свои впечатлѣнія, внести своего рода школу въ свои наблюденія и свое творчество. Все это отнюдь не требуется, чтобы впечатлѣнія непремѣнно были поучительны и дѣйствительны въ практическомъ смыслѣ; для этого достаточно самого предмета, вызывающаго впечатлѣнія.

Точно также и критику нѣтъ необходимости слѣпо исповѣдывать какой-либо нравственный и общественный символъ, чтобы его анализъ вышелъ значительнымъ по содержанію и просвѣтительнымъ по смыслу.

Опять предметъ анализа неминуемо превратитъ критика въ философа и учителя. Цѣнность философіи и высота учительства будутъ обусловлены способностью *понимать* предметъ, т. е. искренностью и культурностью личной мысли критика. Но вѣдь и достоинство реальнаго художественнаго произведенія зависятъ отъ глубины и той же искренности поэтическихъ впечатлѣній. Идеалъ и безусловная истина ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ недостижимы, все равно, какъ они—вѣчно искомые предѣлы даже въ опытныхъ наукахъ. Высшая цѣль нравственныхъ усилій человѣчества—вѣрный путь къ истинѣ, и, несомнѣнно, на такой путь одновременно вступили и русское искусство, свободное и реальное, и русская критика, идейная и публицистическая.

XXI.

Принято думать, будто произведенія русскихъ критиковъ переполнены всевозможными вопросами, только не художественными, потому что литературная критика, по разнымъ условіямъ, явилась для русскихъ писателей единственнымъ доступнымъ орудіемъ общественной мысли.

Это справедливо только отчасти и касается только внѣшней исторіи вопроса. Публицистическая сущность нашей критики создана историческимъ развитіемъ художественнаго творчества. Оно—

первый и самый могущественный источникъ постепеннаго наплыва публицистики въ эстетику и, наконецъ, окончательнаго исчезновенія эстетики.

Оригинальное явленіе обнаружилось на первыхъ же порахъ, въ самый ранній періодъ критики. Въ сущности, вся ея исторія сводится, во-первыхъ, къ борьбѣ публицистическихъ мотивовъ съ эстетическими теоріями, а потомъ къ преобразованію публицистическихъ темъ.

Непосредственно послѣ петровской реформы, съ возникновеніемъ свѣтской литературы, должна возникнуть критика. Работа ей во всѣхъ отношеніяхъ предстояла громадная.

Первый основной вопросъ, поглотившій мысли и таланты новыхъ писателей, заключался въ точномъ опредѣленіи *языка*, какимъ слѣдовало пользоваться новой литературѣ. Вопросъ усложнялся до крайней степени именно условіями реформы.

Съ одной стороны трудно было разграничить *два языка* такъ же просто, какъ установлены *два алфавита*, точнѣе, даже *не установлены*, а намѣчены и далеко не сразу разграничены. Установленіе гражданской азбуки совершалось въ теченіе довольно продолжительнаго времени и Тредьяковскому пришлось перенести жестокія нравственныя муки и въ высшей степени запальчивую полемику изъ-за нѣкоторыхъ *буквъ*. Славянскій языкъ не могъ безъ самой упорной борьбы свѣтскую литературу предоставить исключительной власти русскаго.

Съ другой стороны та же реформа наводнила книжную литературу множествомъ иностранныхъ словъ.

Не имѣя ни времени, ни силъ создавать русскія выраженія для европейскихъ понятій, реформа завѣщала ближайшимъ поколѣніямъ настоящій словесный хаосъ.

Онъ представлялъ не только смѣсь различныхъ языковъ *въ отдѣльныхъ словахъ*, но подчинялъ иноземнымъ вліяніямъ самый *характеръ родного* языка, его слогъ и грамматическій строй.

У нарождающейся литературы, слѣдовательно, оказалось два врага—внутренній и внѣшній. Борьба съ ними наполняетъ первый періодъ русской критики.

Его можно назвать *стилистическимъ*.

Но какъ бы ни былъ настоятеленъ вопросъ о самомъ языкѣ, самая ранняя критика не могла уклониться и отъ другихъ задачъ, господствовавшихъ одновременно въ европейской литературѣ. Широко прорубленное «окно» одинаково давало доступъ и чужому искусству, и чужимъ идеямъ объ искусствѣ.

Иноземнымъ военнымъ инструкторамъ, обучавшимъ русскую армію, соотвѣтствовали такіе же инструкторы молодой словесности. Очевидно, вопросъ о теоріи и школѣ неизбѣжно долженъ чередоваться съ поисками за литературнымъ языкомъ и слогомъ, и въ критикѣ рядомъ съ *стилистикой*, развивалась *схоластика*.

Таково содержаніе перваго періода русской критики—*стилистическо-схоластическое*.

Но оно не единственное. Литературными и эстетическими темами не ограничились первые критики — Ломоносовъ, Тредьяковскій, Сумароковъ—и не могли ограничиться. Даже больше. Они представили образцы публицистики во всѣхъ ея формахъ, идейно-культурной и личной, прогрессивной, общественно-просвѣтительной и публицистики — партіи, памфлетовъ, даже «юридическихъ бумагъ». Не всѣ три писателя одинаково повинны во всѣхъ этихъ грѣхахъ, но вопросъ не въ отдѣльныхъ именахъ, а въ общемъ направленіи критической литературы.

Высшая публицистика широкихъ общихъ идей вызывалась неизбѣжно той же самой причиной, какая стояла во главѣ новой словесности — подражательностью. Предъ русскими писателями единственный источникъ просвѣщенія—европейская наука и цивилизація. Этого факта они не могли отвергать, разъ желали продолжать дѣло великаго преобразователя. Но изъ того же источника возстали силы, грозившія поглотить все національно-русское, начиная съ платья и кончая языкомъ и мыслями. Многимъ и здѣсь можно было пожертвовать, но ни одному сколько-нибудь сознательному литературному дѣятелю не могло и на умъ придти создать изъ своей личности и дѣятельности безусловно подвластные цѣлы европейскихъ вліяній.

Отсюда одновременно съ усвоеніемъ европейскихъ знаній и обычаевъ—стремленіе отстоять національную стихію, прежде всего языкъ, исторію, нѣкоторые обычаи, а потомъ вообще національную индивидуальность, нравственную и умственную независимость.

Ясно, патріотическія чувства должны проникнуть во всѣ разсужденія критиковъ, даже если вопросъ шелъ объ языкѣ, стихѣ. И Ломоносову принадлежитъ идея о блестящемъ будущемъ русскаго языка сравнительно даже съ самыми сильными и богатыми языками. «Бодростью и героическимъ звономъ» русскій не уступаетъ, по мнѣнію Ломоносова, ни греческому, ни латинскому, ни нѣмецкому. И если нѣтъ на немъ превосходныхъ

литературныхъ образцовъ, виноватъ не языкъ, а неумѣлость и неопытность писателей.

«Ежели чего точно изобразить не можемъ, не языку нашему, но недовольному своему въ немъ искусству приписывать долженствуемъ. Кто отчасти далѣе въ немъ углубляется, употребляя предводителемъ общее философское понятіе о человѣческомъ словѣ, тотъ увидитъ безмѣрно широкое поле или, лучше сказать, едва предѣлы имѣющее море».

Легко представить, какъ съ подобными чувствами къ родному языку Ломоносовъ могъ встрѣчать рѣчь съ такими рѣченіями: *дисперація*, *трактаментъ*, *штиль-штандъ*, *адіерентъ*, *пленипотенціаръ*, *префеpативы*.

Отдѣльнымъ словамъ соотвѣтствовали и цѣлыя произведенія, причемъ часто въ нѣсколькихъ строкахъ осуществлялось истинное столпотвореніе вавилонское изъ языковъ простонароднаго русскаго, польскаго, малоросійскаго и нѣсколькихъ иностранныхъ. Никакая самая важная тема не могла уберечь автора отъ подобнаго смѣшенія.

За пять лѣтъ до ломоносовской характеристики русскаго языка сравнительно съ античными вышла поэма необычайно торжественнаго содержанія. Называлась она *Умозрительство душевное описанное стихами о переселеніи въ вѣчную жизнь превосходительной баронессы Маріи Яковлевны Строгоновой*.

Здѣсь находятся такія, напримѣръ, строфы:

Трость, копье и гвозди, страстей инструменты;
Отъ чего трепетали свѣта элементы.

Или:

Первые жъ Господь взыде съ матерью своею
Пріятъ Маріи душу со свитою всею.

Или, наконецъ, такія сочетанія: «на небесномъ театрѣ тріумфы отправляти».

Послѣ этого понятны усилія Ломоносова опредѣлить *слогъ* литературной рѣчи,—вопросъ въ высшей степени важный по времени.

Ломоносовъ ясно сознавалъ самостоятельность русскаго *слога*, т. е. языка рядомъ съ церковно-славянскимъ. Но въ самомъ словѣ *слогъ* заключалось существенное ограниченіе самой роли русскаго языка. Ломоносовъ положилъ основаніе многолѣтнему спору о совмѣстномъ существованіи въ свѣтской литературѣ двухъ языковъ, пріурочивъ ихъ къ *содержанію* произведеній.

Употребленіе русскаго языка ставилось въ зависимость от

намѣреній писателя или свойствъ его таланта. Онъ могъ пользоваться этимъ языкомъ—для пѣсни, комедіи, дружескаго письма, для «описанія обыкновенныхъ дѣлъ». Если же его мысль поднималась надъ будничной дѣйствительностью, ему рекомендовался «высокій слогъ», т.-е. смѣсь русскаго языка съ церковно-славянскимъ. Такая идея естественна въ началѣ борьбы двухъ языковъ.

Не только Ломоносовъ, представитель академической критики, не могъ изречь окончательнаго приговора славянскому языку,—но долго спустя послѣ него писатели съ большими талантами и, несомнѣнно, жизненными задачами не могли отрѣшиться отъ той же идеи и слѣдовали наставленіямъ Ломоносова.

Фонвизинъ пишетъ русскимъ *слогомъ* всѣ сцены, гдѣ дѣло идетъ объ «обыкновенныхъ дѣлахъ». Но лишь только Стародумъ принимается объяснять основы высшей нравственности, его рѣчь становится «высокимъ слогомъ», т. е. смѣшеніемъ языковъ.

Ломоносовъ былъ слишкомъ талантливъ, чтобы практически ронять свою теорію дикимъ разноязычіемъ, въ родѣ стиля только-что упомянутой поэмы. Мы будемъ имѣть случай познакомиться съ изумительнымъ искусствомъ пылкаго патріота владѣть простымъ русскимъ языкомъ, сообщать ему даже легкость и игривость.

Но и теоретически Ломоносовъ указалъ на такіе источники развитія чисто-русскаго слога, что заранѣе опредѣлилъ будущій исходъ борьбы. Языкъ народный, по мнѣнію Ломоносова, долженъ принести новому литературному языку обильные питательные соки. Опредѣляя въ народномъ языкѣ три діалекта — московскій, сѣверный или поморскій, украинскій или малороссійскій — критикъ отдавалъ преимущество «отмѣнной красотѣ» перваго, но не исключалъ изъ литературы и двухъ другихъ.

Нѣтъ нужды повторять, что всѣми этими соображеніями руководило прежде всего страстное національное чувство. Если бы мы и не знали безчисленныхъ сраженій Ломоносова съ нѣмецкими учеными по исключительно патріотическимъ мотивамъ, мы вполнѣ опредѣленно могли бы прослѣдить господствующую нравственную струю ломоносовской критики — по его теоретическимъ разсужденіямъ. Ученый безпрестанно впадаетъ въ лирическій, будто въ любовный тонъ, говоря о языкѣ, часто о мелкихъ подробностяхъ и свойствахъ родной рѣчи. Онъ первый русскій публицистъ на почвѣ, повидимому, менѣе всего подходящей для публицистики— на почвѣ грамматики и слога.

И именно здѣсь дѣятельность ранней русской критики безусловно

плодотворна. Установленіе языка являлось дѣйствительной потребностью первой словесности и, слѣдовательно, знаменовало *прогрессивную* дѣятельность первыхъ критиковъ.

Совершенно иной смыслъ *схоластической* работы.

Мы видили, споры о теоріяхъ и формальныхъ правилахъ—одинъ изъ отрицательныхъ результатовъ европейскаго вліянія на русскую литературу. Они удаляли искусство отъ его истиннаго назначенія быть органомъ родной дѣйствительности, свободнымъ и національнымъ. Здѣсь значительно участіе и Ломоносова, вывезшаго изъ Германіи ложноклассическое ученіе нѣмецкаго теоретика—Готшеда. «Изученіе правилъ и подражаніе знатныхъ авторовъ»—принципъ ломоносовской піитики.

Русскій ученый, самъ усердный поэтъ, унизилъ вдохновенный поэтическій талантъ, какъ вѣрный послѣдователь классиковъ поэзію отожествилъ съ краснорѣчіемъ, Пиндара и Малерба признавалъ одинаково почтенными образцами для оды и вообще не отличалъ античнаго классицизма отъ французскаго.

Личная сильная натура увлекала Ломоносова въ сторону отъ чиннаго этикета авторитетовъ и онъ весьма часто поддавался искушеніямъ вольносатирической и просто эпиграмматической музы, сочинялъ *Гимнъ бородѣ* и всегда былъ готовъ засыпать врага ядовитѣйшими строфами особаго сорта poésie legère—откровенной, грубой, но неподдѣльно-остроумной и національно-юмористической...

Все это дѣйствительно будто невольная фронда прирожденнаго оригинальнаго таланта противъ ученаго педантизма. Въ общемъ она не поколебала разъ усвоенныхъ принциповъ.

О *схоластической* критикѣ Сумарокова мы знаемъ: здѣсь онъ въ полномъ смыслѣ «слабое дитя чужихъ уроковъ», но въ *стилистической* области онъ такой же положительный и самостоятельный дѣятель, какъ и Ломоносовъ. Тредьяковскій, безпримѣрно осмѣянный авторъ *Телемахиды*, имѣетъ также полное право на почетное мѣсто въ публицистикѣ о языкѣ. До такой степени вопросъ былъ жизненнымъ и значительнымъ!

XXII.

Пушкинъ очень презрительно отзывался о Сумароковѣ и старался возстановить литературную честь Тредьяковскаго. Это возстановленіе вполнѣ основательно, но уничтоженіе Сумарокова, несомнѣнно, пристрастно.

На великаго поэта, вѣроятно, оказали сильное вліяніе историческія свѣдѣнія о личностяхъ и судьбѣ двухъ старыхъ піитъ. Исторія Тредьяковскаго съ Волынскимъ, подробно дошедшая до потомства, одинъ изъ самыхъ возмутительныхъ эпизодовъ общественнаго варварства добраго стараго времени. Она, при какихъ угодно условіяхъ, могла вызвать сочувствіе къ пострадавшему писателю и покрыть собой всѣ нравственные недочеты въ личности Тредьяковскаго.

Сумароковъ, напротивъ, самъ могъ обидѣть кого угодно, открыто—печатно и устно—ставилъ себя и свой талантъ на недосягаемую высоту, не терпѣлъ чужой популярности рядомъ съ своей славой, и Пушкинъ имѣлъ всѣ основанія обозвать его «завистливый гордецъ»... Въ результатѣ онъ долженъ столько же потерять въ глазахъ позднѣйшаго судьи, сколько выигрывалъ у современниковъ своими притязаніями и удачливостью.

Но и у Сумарокова есть свои заслуги, и даже очень опредѣленныя.

Старая критика не знаетъ болѣе горячаго защитника русскаго языка и болѣе безпощаднаго врага русскихъ французовъ. Въ восторгахъ онъ доходитъ до полнаго старовѣрія, очевидно, по своей стремительности, даже плохо отдавая себѣ отчетъ въ своемъ идеалѣ.

Прекрасенъ нашъ языкъ единой стариной,
Но глупостью писцовъ онъ нынѣ сталъ иной,
И ежели отъ ихъ онъ узъ не освободится,
Такъ скоро никуда онъ больше не годится.

Общественная сатира идетъ у Сумарокова рядомъ съ стилистической критикой. Въ *Притчѣ* о *подьяческой дочери* говорится:

По благородному она всю рѣчь варила —
Новоманерными словами говорила...

Личный врагъ автора всякій, кто

Французскимъ языкомъ въ рѣчь русскую плыветъ.

Или:

Кто русско золото французской мѣдью мѣдитъ,
Ругаетъ свой языкъ и по-французски бредитъ.

Сумароковъ не забываетъ бросить камнемъ и въ родителей, не обучающихъ дѣтей родному языку.

Страсть къ чистотѣ русской рѣчи доходитъ у Сумарокова до фанатизма. Онъ готовъ возставать вообще противъ введенія «чужихъ» словъ въ русскій языкъ, напримѣръ, даже такихъ, какъ *дама*, *принцъ*, *томъ*, *супъ*, *фруктъ*. Слова, изобрѣтенныя

Тредьяковскимъ и навсегда оставшіяся въ языкѣ въ родѣ *обнародовать*, *преслѣдовать*, *предметъ*, отвергаются Сумароковымъ просто изъ-за новизны.

Подобная прямолинейность, конечно, нецѣлесообразна, но въ высшей степени поучительна мучительнѣйшая забота соревнователя Расина и Вольтера объ отечественномъ языкѣ. Въ зависимости отъ личнаго характера, у Сумарокова эта забота выразилась въ самыхъ публицистическихъ формахъ—сатиры и притчи.

Критика Тредьяковскаго обширнѣе и оригинальнѣе патріотическаго гнѣва Сумарокова. Она даже въ *схоластической* области сказала свое слово, очень неумѣлое и невразумительное по формѣ, но дѣльное и поучительное по смыслу.

У Тредьяковскаго, конечно, не могло быть достаточно ни смѣлости, ни художественнаго чувства, чтобы возстать противъ классической теоріи, но ему удалось высказать нѣсколько весьма любопытныхъ общихъ соображеній по эстетикѣ. Они, вмѣстѣ съ драматической личной исторіей Тредьяковскаго, должны были произвести впечатлѣніе на Пушкина.

Поэтъ счелъ нужнымъ вступиться за память автора *Телемахиды* предъ Лажечниковымъ, не пощадившимъ Тредьяковскаго въ романѣ *Ледяной домъ*. «Въ дѣлѣ Волынскаго,—писалъ Пушкинъ,—играетъ онъ лицо мученика...» «Вы оскорбляете человѣка, достойнаго во многихъ отношеніяхъ уваженія и благодарности нашей». Естественно, Пушкинъ съ особенной готовностью заявилъ, что Тредьяковскій—«одинъ понимающій свое дѣло».

И у поэта, помимо чувствительныхъ побужденій, были и совершенно положительныя основанія для такого отзыва.

Нельзя, конечно, искать у Тредьяковскаго безусловно ясныхъ представленій о процессѣ творчества и о смыслѣ творческой работы. Классицизмъ и его держалъ въ такомъ же вѣрномъ подданствѣ, какъ и его болѣе даровитыхъ современниковъ. Но иногда сквозь запутанную и крайне неуклюжую рѣчь профессора элоквенціи мелькаютъ искры настоящей эстетической правды.

Напримѣръ, его понятіе о комедіи для своего времени — новость и образецъ критической проницательности. Если бы идею Тредьяковскаго примѣнить на практикѣ, комическому таланту Сумарокова не осталось бы и минуты жизни.

Тредьяковскій пишетъ:

«Осмѣхаемые каждаго вѣка нравы и худая сторона дѣйствій народныхъ есть самое внутреннее и составляющее комедію. Смѣш-

ное есть самое существо комедіи. Впрочемъ, есть смѣшное въ словахъ и есть смѣшное въ вещахъ. Смѣшное искусство, кое желается на театрѣ, долженствуетъ быть копіею съ онаго *смѣшнаго*, которое есть въ натурѣ. И комедія будетъ ни къ чему годная, ежели въ ней не можно узнаться и не видно тѣхъ поступокъ, кои показываютъ люди, живущіе совокупно. Она всегда должна держаться натуры и не отходить отъ нея никогда».

Положимъ, это разсужденіе сильно напоминаетъ извѣстныя намъ мольеровскія идеи о комедіи и могло, слѣдовательно, попасть на страницы Тредьяковскаго изъ пьесы *Критика на школу женщинъ*. Но для русскаго писателя XVIII-го вѣка высшій идеалъ— разумный выборъ чужихъ мыслей и самостоятельное отношеніе къ ученіямъ разныхъ учителей. Сумароковъ, при всей своей запальчивости и притязательности, не переставалъ носиться съ авторитетомъ Вольтера, плохо понятымъ и не провѣреннымъ. У Тредьяковскаго нѣтъ этого безусловнаго рабства, по крайней мѣрѣ, критической мысли предъ однимъ какимъ-либо иноземнымъ вдохновителемъ.

Предъ нами очень рѣдкій примѣръ. Тредьяковскій, разумѣется, не посягаетъ на поэтическіе таланты Буало и откровенно признаетъ себя неискуснымъ подражателемъ французскаго автора. Сравнивая оду Буало съ своей собственной, Тредьяковскій мирится на очень скромномъ успѣхѣ: «довольно съ меня и того, что я нѣсколько возмогъ оной послѣдовать».

Но столь почтительныя и робкія чувства къ учителю и образцу не помѣшали Тредьяковскому повторить идею Платона о «маніи, которая внушается поэтамъ музами» и точно установить разницу между поэтическимъ вдохновеннымъ талантомъ и ремесленническимъ искусствомъ: «иное быть піитомъ, а иное стихи слагать».

«Манія» врядъ ли заслужила бы одобреніе французскаго автора піитики, отожествлявшаго свободное вдохновеніе поэта съ *безуміемъ*—отнюдь не въ поэтическимъ смыслѣ слова.

Но едва ли не самое сильное право Тредьяковскаго на пушкинскую защиту заключается въ *стилистической* критикѣ.

Идея о тоническомъ стихосложеніи не исключительное достояніе Тредьяковскаго. Что же касается осуществленія теоріи, то нечего и разсуждать о правахъ на первенство Ломоносова и Тредьяковскаго. Достаточно одного примѣра. Въ 1734 году Тредьяковскій сочинилъ оду на взятіе Гданска. Здѣсь, между прочимъ, такое обращеніе къ лирѣ:

Воспѣвай же лира пѣснь сладку
Анну то-есть благополучну
Къ вящщему всѣхъ враговъ упадку,
Къ нещастію въ вѣки тѣмъ скучну.

Всего пять лѣтъ спустя появилась первая ода Ломоносова. Она начиналась такими стихами:

Восторгъ внезапный умъ плѣнилъ,
Ведетъ на верхъ горы высокой,
Гдѣ вѣтръ въ лѣсахъ шумѣть забылъ,
Въ долинѣ тишины глубокой...

Всѣмъ даже современникамъ было очевидно, на чьей сторонѣ побѣда. Но теорія Тредьяковскаго отъ его практическихъ неудачъ не теряетъ значенія, и особенно — основанія этой теоріи.

Профессоръ самой ископаемой науки, примѣрнѣйшій кабинетный книгоѣдъ съумѣлъ почувствовать красоту и силу народной поэзіи. Правда, это чувство, повидимому, не проникало слишкомъ глубоко и Тредьяковскій воспользовался только внѣшней стороной народнаго творчества. Но послушайте его отзывъ о ней, и не забудьте, въ какую эпоху восхвалялась поэзія простого народа:

«Сладчайшее, пріятнѣйшее и правильнѣйшее разнообразныхъ ея стопъ, нежели иногда греческихъ и латинскихъ, паденіе подало мнѣ непогрѣшительное руководство къ введенію тоническихъ стопъ».

Очевидно, не отъ недостатка добрыхъ намѣреній и правильныхъ идей зависѣла жалкая участь Тредьяковскаго и единственная въ исторіи смѣхотворная роль ученаго и поэта. *По существу*— Тредьяковскій ясно представлялъ значеніе прирожденнаго поэтическаго чувства, цѣнилъ по достоинству свободное художественное творчество, *по формѣ*—признавалъ руководствомъ чисто-національную поэзію, т. е. дѣйствительно живой источникъ всего позднѣйшаго литературнаго развитія: всѣ данныя для прочной и успѣшной дѣятельности! Но у столь основательнаго теоретика и помину не было не только о «маніи», т. е. творческомъ геніи, а просто о литературныхъ способностяхъ. И въ силу исконнаго закона человѣческаго самолюбія, у Тредьяковскаго, кажется, даже пропадалъ и здравый смыслъ, когда ему приходилось судить свои собственныя піитическія созданія.

Напримѣръ, теоретически Тредьяковскій не переставалъ возставать противъ малѣйшей порчи русской рѣчи, противъ барбаризмовъ, солецизмовъ, противъ насилія надъ смысломъ во имя риѳмы, требовалъ, «чтобы риѳма звенѣла безъ малѣйшаго повреж-

денія смыслу». Во имя того же принципа и, что еще замѣчательнѣе, во имя естественности Тредьяковскій высказывалъ въ полномъ смыслѣ революціонное правило для нашего XVIII-го вѣка: «драматическому стихотворенію надлежитъ быть въ теченіи слова всеконечно сходственну съ естествомъ». И на этомъ основаніи въ драмѣ не должно быть риѳмъ: предвосхищеніе пушкинской реформы!...

Но практически всѣ истины превращались въ поэзію, послужившую впослѣдствіи въ рукахъ Екатерины однимъ изъ наказаній для провинившихся придворныхъ. Судьба, дѣйствительно, трагическая: знать и не умѣть сдѣлать, понимать и не умѣть доказать!..

Мы до сихъ поръ разбирали положительные результаты ранней критики и оставались все время въ области идей и теорій. Но критика всѣмъ этимъ отнюдь не ограничилась. Публицистическій характеръ даже ея общихъ принциповъ, развернулся неудержимо рѣзко въ личной полемикѣ. Она составляетъ неотъемлемую и во многихъ отношеніяхъ замѣчательную часть въ исторіи русской критической мысли. Именно она особенно ярко отразила общественное положеніе литературы и ея идейную силу. Это настоящая война, съ полной откровенностью обнаружившая таланты и характеры полководцевъ.

XXIII.

Изъ всѣхъ литературныхъ произведеній Ломоносова для современныхъ читателей едва ли не самое поучительное одно изъ его писемъ къ Шувалову. Одъ Ломоносова въ настоящее время никто не станетъ читать для эстетическаго удовольствія, въ критическихъ трактатахъ также нельзя искать непосредственной практической пользы.

Совершенно иное значеніе письма. Въ нѣсколькихъ десяткахъ строкъ трудно представить болѣе краснорѣчивую жанровую картину изъ исторіи литературы и вообще нравовъ и просвѣщенія извѣстной эпохи, и при этомъ бросить въ высшей степени яркій свѣтъ на самихъ героевъ.

Мы позволимъ себѣ напомнить этотъ удивительный документъ читателямъ.

Письмо вызвано происшествіемъ, достаточно яснымъ изъ разсказа Ломоносова.

«Никто въ жизни меня больше не изобидилъ,—писалъ онъ

Шувалову,—какъ ваше высокопревосходительство. Призвали меня сегодня къ себѣ—я думалъ, можетъ быть, какое-нибудь обрадованіе будетъ по моимъ справедливымъ прошеніямъ. Вы меня отозвали и тѣмъ поманили. Вдругъ слышу: Помирись съ Сумароковымъ! то-есть сдѣлай смѣхъ и позоръ; свяжись съ такимъ человѣкомъ, отъ коего всѣ бѣгаютъ, и вы сами нерады. Свяжись съ тѣмъ человѣкомъ, который ничего другаго не говоритъ, какъ только всѣхъ бранитъ, себя хвалитъ и бѣдное свое риѳмачество выше всего человѣческаго знанія ставитъ; Тауберта и Миллера для того только бранитъ, что не печатаютъ его сочиненій, а не ради общей пользы. Я забываю всѣ его озлобленія, и мѣшать не хочу никоимъ образомъ, и Богъ мнѣ не далъ злобнаго сердца. Только дружиться и обходиться съ нимъ никоимъ образомъ не могу... Не хотя васъ оскорбить отказомъ при многихъ кавалерахъ, показалъ я вамъ послушаніе; только васъ увѣряю, что въ послѣдній разъ и ежели не смотря на мое усердіе будете гнѣваться, я полагаюсь на помощь Всевышняго, который мнѣ былъ въ жизни защитникъ, и никогда не оставилъ, когда я пролилъ передъ нимъ слезы моей справедливости. Ваше высокопревосходительство, имѣя нынѣ случай служить отечеству вспомоществованіемъ въ наукахъ, можете лучшія дѣла производить, нежели меня мирить съ Сумароковымъ... Буде онъ человѣкъ знающій, искусной, пускай дѣлаетъ пользу отечеству, я по моему малому таланту также готовъ стараться. А съ такимъ человѣкомъ обхожденія имѣть не могу и не хочу, который всѣ прочія знанія позорилъ, которыхъ и духу не смыслитъ. И сіе есть истинное мое мнѣніе, кое безъ всякія страсти нынѣ вамъ предлагаю. Не токмо у стола знатныхъ господъ, или у какихъ земныхъ владѣтелей, дуракомъ быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который мнѣ далъ смыслъ, пока развѣ выниметъ».

Таковы личныя отношенія между двумя первенствующими писателями эпохи и таково ихъ положеніе предъ знатными господами! Ломоносовъ не могъ не поступиться своимъ достоинствомъ, но и въ немъ, очевидно, заговорила кровь сердца: слишкомъ опредѣленный смыслъ имѣла сцена, устроенная Шуваловымъ!

Сводить литераторовъ для мира или для ссоры—это такое рѣдкостное удовольствіе, не уступающее дракѣ шутовъ! Потѣха не утратитъ привлекательности для благородныхъ меценатовъ и много лѣтъ спустя послѣ Ломоносова и Сумарокова. Еще Державинъ, самъ пѣвецъ Фелицы, будетъ разсказывать, какъ фаворитъ Зубовъ

для веселаго зрѣлища старался натравливать на него Елагина и тотъ въ глаза издѣвался надъ его одами, находя ихъ грубыми и безсмысленными.

И эти сцены отнюдь не исключительное изобрѣтеніе русской жизни: онѣ перешли къ намъ изъ Европы одновременно съ искусствомъ Расина.

Верховный законодатель европейской и русской литературы могъ служить образцомъ по части увеселенія земныхъ владѣтелей. Буало, подобно нашему Фонвизину, умѣлъ превосходно изображать въ смѣхотворномъ видѣ своихъ знакомыхъ. Этотъ талантъ создалъ ему популярность въ аристократическихъ салонахъ и однажды Буало удостоился позабавить Людовика XIV. Король потребовалъ, чтобы и Мольеръ, здѣсь же присутствовавшій, былъ изображенъ ловкимъ артистомъ.

Правда, Буало скоро устыдился своего искусства и бросилъ его, но поучителенъ запросъ на подобныя способности и готовность писателей удовлетворять ему.

Очевидно, французская дѣйствительность безпрестанно могла давать Мольеру мотивы для его сценъ съ педантами. Трисотены и Вадіусы—живыя фигуры, онѣ даже и исторически соотвѣтствуютъ подлиннымъ личностямъ. На каждомъ шагу въ преціозномъ салонѣ можно было натолкнуться на оригинальную полемику. Вѣдь вся судьба піиты зависѣла отъ благосклонности знатнаго господина и вопросъ о побѣдѣ надъ соперникомъ становился вопросомъ жизни и смерти!

Знатные господа не пренебрегали вмѣшиваться въ личные счеты литераторовъ и весьма часто разжигали ихъ съ величайшимъ усердіемъ. Извѣстно, напримѣръ, генеральное сраженіе, устроенное салонными дамами между Расиномъ и Прадономъ.

Расинъ имѣлъ несчастье не угодить герцогу Неверу и герцогинѣ Бульонской и они рѣшили натравить на него довольно бездарнаго риѳмоплета, въ литературномъ отношеніи безсильнаго, но за него стоялъ «свѣтъ»! Послѣ перваго представленія расиновской «Федры» Прадону поручили написать трагедію на ту же тему. Приказаніе исполнено, пьеса принята на сцену, требуется обезпечить успѣхъ. Это дѣлается очень просто: скупаются билеты на шесть первыхъ представленій, и прадоновская «Федра» торжествуетъ. Нѣкая знатная дама сочиняетъ даже сонетъ противъ Расина...

На поэта, истиннаго сына меценатской эпохи, приключеніе производитъ потрясающее впечатлѣніе: онъ рѣшается лучше со-

всѣмъ не писать для театра, чѣмъ вести борьбу съ коалиціей литераторовъ и герцоговъ.

Въ другой разъ роль герцоговъ и герцогинь играетъ самъ Людовикъ XIV. Громадный успѣхъ *Школы женщинъ* вызываетъ зависть сатириковъ и драматурговъ. Одинъ изъ нихъ сочиняетъ памфлетъ, и король поручаетъ Мольеру отвѣчать на нападеніе въ соотвѣтствующемъ тонѣ.

Этотъ порядокъ не прекращается вплоть до конца XVIII вѣка. Именно этому вѣку приписываютъ искреннія увлеченія «свѣта» философіей и либеральной литературой. Именно эта эпоха славится просвѣщенными салонами и, будто бы, необычайно цивилизованными хозяйками. Слава въ дѣйствительности страдаетъ большими изъянами: и на солнцѣ дамскаго просвѣщенія и аристократическаго либерализма очень много безусловно темныхъ пятенъ.

Писателямъ очень часто говорили комплименты, ихъ портретами и бюстами украшали туалетные столики, брошюрами и книгами наполняли кабинеты и гостиныя, но всѣ эти Дидро, Даламберы, Вольтеры неизмѣнно оставались артистами, а ихъ дѣятельность—интереснымъ спектаклемъ. Такъ именно и называли благородные читатели шумъ, поднимаемый Вольтеромъ и *Энциклопедіей*.

Но вѣдь во всякомъ спектаклѣ главный интересъ въ сценичности, въ комизмѣ, въ живомъ ходѣ дѣйствія. Вольтеръ и его товарищи, конечно, неизмѣримо талантливѣе Буало и Расина, но тѣмъ забавнѣе устроить схватку между философами и другими бойкими литераторами!

И схватка устраивается не одна, а цѣлый рядъ вплоть до самой революціи.

Во главѣ застрѣльщиковъ идутъ все тѣ же знатные господа и даже не совсѣмъ знатные, по происхожденію, по крайней мѣрѣ, но по своей меценатской роли въ современной литературѣ. Г-жа Дюдеффанъ, напримѣръ, по отзывамъ современниковъ, едва ли не самая интересная и оригинальная салонная любительница философіи, остроумнѣйшая спорщица съ самими энциклопедистами, усерднѣйшая корреспондентка Вольтера...

Все это—культура, но дальше начинается барство. Переписка съ Вольтеромъ не мѣшаетъ дамѣ оказывать вниманіе жесточайшему литературному и личному врагу фернейскаго патріарха—Фрерону, читать его журналъ *Литературный годъ* и даже восхищаться его выходками противъ Вольтера... И въ результатѣ всего

этого та же г-жа Дюдеффанъ сообщаетъ Вольтеру о небывалыхъ козняхъ энциклопедистовъ противъ него...

Развѣ это не традиціонная роль праздныхъ меценатовъ въ средѣ литераторовъ,—несомнѣнно интереснѣйшаго класса развлекателей.

Но г-жа Дюдеффанъ сравнительно невинное явленіе.

Тотъ же Даламберъ, сообщающій продѣлки этой дамы, пишетъ Вольтеру: «Версаль кишитъ Палиссо мужскаго и женскаго пола».

Палиссо—одинъ изъ главнѣйшихъ враговъ энциклопедистовъ, авторъ многочисленныхъ сатиръ на философію и философовъ. И вотъ онъ-то находитъ при дворѣ покровителей и даже сотрудниковъ.

Завѣдомый другъ и покровитель Вольтера, министръ Шуазёль подзадориваетъ сатирическій талантъ Палиссо, проводитъ его пьесы на сцену, организуетъ даже клику и вообще играетъ роль одновременно и подстрекателя, и забавляющагося барина.

Такое же покровительство находитъ у Шуазёля и Фреронъ.

Вольтеру становится трудно считаться съ этими фактами: вѣдь Шуазёль открыто состоитъ съ нимъ въ прекрасныхъ отношеніяхъ! Чѣмъ объяснить двоедушіе министра?

Любопытно, какая мысль приходитъ на умъ остроумнѣйшему и находчивѣйшему писателю. Шуазёль слишкомъ большой баринъ—*trop grand seigneur*, а большіе господа на дѣла частныхъ лицъ смотрятъ, какъ на «грызню собакъ».

Чувствовалъ ли Вольтеръ весь горькій смыслъ своего объясненія или ему ничего не оставалось, какъ рѣзко охарактеризовать вѣковой фактъ, скрѣпя сердце опредѣлить культурную сущность барскихъ литературныхъ интересовъ?

Но многимъ знатнымъ господамъ мало казалось подстрекательства, они не гнушались принимать непосредственное участіе въ самой «грызнѣ». Одинъ изъ плодовъ салонной сатирической фантазіи увѣковѣченъ исторіей: сцена въ комедіи Палиссо—*Философы*.

Сцена любопытна не только для французской литературы, но и вообще для всякой—извѣстнаго періода, и особенно для русской. Сцена показываетъ, къ какимъ пріемамъ прибѣгали знатные критики и на какой, слѣдовательно, путь толкали литературную полемику.

Происходитъ бесѣда между философомъ и его слугой. Философъ проповѣдуетъ полное презрѣніе къ законамъ. Слуга спрашиваетъ:

— Слѣдовательно, все дозволено?

— За исключеніемъ дѣйствій, вредныхъ вамъ и вашимъ друзьямъ... Все дѣло въ томъ, чтобы быть счастливымъ, а какимъ путемъ—это все равно.

Слуга, наслушавшись подобныхъ правилъ, собирается обобрать своего господина. На гнѣвный окрикъ философа онъ отвѣчаетъ:

— Личный интересъ—это скрытый принципъ, вдохновляющій насъ и управляющій всѣми существами.

— Какъ, измѣнникъ, обокрасть меня!—восклицаетъ господинъ.

— Нѣтъ,—оправдывается его ученикъ.—Я пользуюсь своимъ правомъ. Всякая собственность—общее достояніе.

Вся эта бесѣда, имѣвшая въ виду уличить энциклопедистскую партію въ самыхъ низменныхъ покушеніяхъ на личную и общественную нравственность, была внушена автору одной изъ литературныхъ дамъ, принцессой Робеккъ.

Тлетворнѣйшимъ фактомъ во всѣхъ этихъ исторіяхъ оказалось поощреніе со стороны сильныхъ особъ—сатиры на личности. Вообще цензура въ теченіе всего XVIII вѣка крайне строга, большею частью безпощадна ко всѣмъ критическимъ поползновеніямъ литературы. Но она немедленно становится на сторону критики, если она превращается въ пасквиль на кого-либо изъ новыхъ писателей.

Нравственное вліяніе такой политики на публику и писателей вполнѣ очевидно. Она гораздо больше унижала и часто опошливала литературу, чѣмъ какіе угодно рабскіе инстинкты каждаго литератора отдѣльно.

XXIII.

Въ то время, когда русской критикѣ приходилось переживать самый трудный младенческій періодъ, когда она болѣе всего нуждалась въ добрыхъ внушеніяхъ и руководствахъ, во французской литературѣ совершались самыя непоучительныя зрѣлища.

Возьмемъ нѣсколько сообщеній современниковъ. Всѣ они относятся къ началу шестидесятыхъ годовъ, т. е. ко времени, когда западные отголоски становились у насъ особенно громкими и обильными.

«Въ настоящее время,—пишетъ одинъ очевидецъ, — Парижъ занятъ исключительно литературными распрями. Достаточно обладать заслугами въ наукѣ и искусствахъ, чтобы стать добычей

самой ядовитой сатиры. Личности, наиболѣе уважаемыя по талантамъ и безупречной жизни, оказываются первыми жертвами этой ненависти» *).

Съ этого времени, прибавляетъ другой свидѣтель, сатиры на личности входятъ въ моду съ поразительной быстротой **).

Фактъ вызываетъ глубокое сожалѣніе у всѣхъ, кому дорога честь французской литературы.

Они обращаются съ упреками къ писателямъ, истощающимъ силы въ междоусобной войнѣ, между тѣмъ какъ даже въ Китаѣ люди науки единодушно служатъ родинѣ. Слышатся жалобы на цензуру и правительство, допускающихъ позорить гражданъ на сценѣ Корнелей ***).

Но соображенія о Корнеляхъ, очевидно, направлялись не по адресу. Пьесы Палиссо приходилось давать въ театрѣ при усиленной стражѣ полиціи, публика часто производила настоящіе скандалы, подвергалась арестамъ, и литература такимъ путемъ все больше извращалась и унижалась совершенно нелитературными героями и подвигами. Такъ продолжалось въ теченіе всего философскаго вѣка.

Мы должны помнить, кто былъ ближайшей публикой писателей этой эпохи и на сколько писатель и его трудъ зависѣли отъ публики. Мы не должны также упускать изъ виду громадной силы правительственныхъ и цензурныхъ воздѣйствій на литературные нравы—именно въ то время, когда умственная дѣятельность менѣе всего могла похвалиться нравственной независимостью и достоинствомъ общественнаго положенія. Мы поймемъ тогда смыслъ изложенныхъ явленій и съумѣемъ безпристрастно оцѣнить презрѣнныя, часто позорныя страницы литературной исторіи во Франціи и у насъ.

Писателю требовалось великое напряженіе самосознанія, чтобы спокойно и достойно оцѣнить свое писательское дѣло. Эта оцѣнка дается только при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, когда личное самолюбіе и человѣческая личность не подвергаются униженіямъ ежечасно, при малѣйшемъ проявленіи чисто-авторскихъ притязаній.

Извѣстенъ психологическій законъ: чѣмъ больше человѣка несправедливо, насильственно оскорбляютъ, тѣмъ онъ мучительнѣе

---

*) Favart. *Mémoires*. I, 37.

**) Grimm. *Correspondance littéraire*. IV, 276.

***) Coyer. *Oeuvres*. Londres 1765, I, 90—1. Grimm. Ib. IV, 240.

усиливается при всякомъ случаѣ приподнять себя, набавить цѣны именно тому, что менѣе всего цѣнится.

Великая истина заключена въ гоголевскихъ *Запискахъ сумасшедшаго*: именно одинъ изъ ничтожнѣйшихъ пасынковъ общества долженъ заболѣть *маніей величія*. Обиды, переполнившія его душу болью и горечью, разрѣшаются страшнымъ взрывомъ—въ противоположную сторону. Это—безуміе, но въ жизни безпрестанно совершается тотъ же актъ только не въ такихъ рѣзкихъ формахъ. Забитые и истерзанные люди такъ часто отводятъ душу въ иллюзіяхъ, для нихъ неизмѣримо болѣе цѣнныхъ, чѣмъ дѣйствительность,—въ вѣчномъ повтореніи ролей горе-богатыря и рыцаря на часъ!

На подобное положеніе осуждены и писатели варварскаго меценатскаго вѣка.

Психологія ихъ прекрасно выясняется изъ одного эпизода съ самымъ жалкимъ героемъ жестокихъ временъ, съ Тредьяковскимъ. Эпизодъ разсказанъ имъ самимъ, и здѣсь поучительна всякая подробность.

Академикъ Миллеръ, издатель журнала *Ежемѣсячныя сочиненія*, отказался напечатать нѣкоторыя произведенія Тредьяковскаго въ академическомъ изданіи. Обида — вопіющая! Вѣдь Тредьяковскій такой же членъ академіи, какъ и Миллеръ.

Обиженный обратился за объясненіями.

«По какой бы онъ власти», говоритъ Тредьяковскій, «и по чьему повелѣнію лишаетъ меня моего законнаго права тѣмъ, что моихъ пьесъ не принимаетъ отъ меня въ книжки, и аппробованныхъ не печатаетъ? Но онъ мнѣ на то съ презрѣніемъ, какъ будто должнымъ уже и заслуженнымъ, отвѣтствовалъ при всемъ же собраніи, что не долженъ мнѣ ничего сказать, сколько бъ я его ни спрашивалъ. Гдѣ жъ то узаконено, чтобъ члену секретарь не долженъ былъ ничего сказывать? Трудно бъ терпѣть и великодушному человѣку, бывшему на моемъ мѣстѣ. Однако я извнѣ замолчалъ, а внутри раздирался на части» *).

Всего нѣсколько наивныхъ строкъ, и весь авторъ XVIII-го вѣка цѣликомъ! Необходимость молчать, личная приниженность и безъисходныя муки самолюбія... Легко представить, съ какой стремительностью воспользуется этотъ человѣкъ случаемъ, когда,

*) П. Пекарскій. *Редакторъ, сотрудники и цензура въ русскомъ журналѣ 1755—1764 годовъ*. Приложеніе къ XII-му тому «Записокъ Имп. академіи наукъ. Спб. 1867».

наконецъ, можно не только «внутри» раздираться на части! А такіе случаи возможны съ такими же оффиціально-безправными людьми, какъ самъ оскорбленный, т. е. съ братьями-писателями. Здѣсь уже не будетъ ни удержу, ни пощады, тѣмъ болѣе, что и на другой сторонѣ окажется столько же накопленный желчи и мучительно-сдавленнаго самолюбія.

Отсюда, прежде всего, чисто болѣзненное, будто гипнотически-внушенное самохвальство. Тредьяковскій и Сумароковъ отнюдь люди не глупые, а между тѣмъ стóитъ имъ начать говорить о своихъ заслугахъ и талантахъ, и невольно припоминается Поприщинъ.

Извѣстна гордость Тредьяковскаго *Телемахидой*, но еще оригинальнѣе его общая оцѣнка своихъ поэтическихъ способностей. Онъ «безъ вертопрашнаго тщеславія» заявлялъ, что «въ пріискиваніи риѳмъ пріобрѣлъ навыкъ, не грызя ногтей и безъ пораженія ладонью чела».

И это говорилось о такихъ, напримѣръ, граціозныхъ стансахъ:

Плюнь на скуку
Морску суку
Держись черней и знай штуку!

Или о такомъ лиризмѣ:

О лѣто, ты лѣто горяче
Мухами обильно паче:
Только тѣмъ ты, лѣто, не любовно,
Что не грыбовно...

Но вѣдь это тотъ самый авторъ, который нещадно и публично былъ избитъ и рукопашно, и палками и молилъ власть о своемъ «безчестьи и увѣчьи!..» Надо же было дать исходъ наболѣвшей человѣческой душѣ!

Сумароковъ не только не отставалъ отъ Тредьяковскаго, а явилъ даже, пожалуй, единственный въ своемъ родѣ примѣръ манія величія при полномъ, повидимому, здравомъ разсудкѣ и твердой памяти.

Мы уже слышали отъ Ломоносова, чего стоило послушать Сумарокова на счетъ его «риѳмачества». Печатныя изліянія писателя переполнены тѣмъ же нестерпимымъ ѳиміамомъ собственному генію, и, разумѣется, пламя на этомъ алтарѣ разгоралось тѣмъ ярче, чѣмъ энергичнѣе внѣшнія посягательства на талантъ и славу драматурга.

«Мнѣ хвалу сплететъ Европа и потомки», безъ всякаго сму-

щенія возглашалъ творецъ *Дмитрія Самозванца* въ отвѣтъ на неблагодарность публики и оскорбленія властей. Если Россія не желала оказывать почета своему геніальному гражданину, онъ во всеуслышаніе заявитъ: «я Россіи сдѣлалъ честь своими сочиненіями». Если правительство допускаетъ великаго писателя терпѣть нужду, онъ именно по этому поводу поставитъ свое перо превыше всѣхъ матеріальныхъ наградъ.

Теперь представьте хотя бы даже легкую стычку между подобными самолюбіями, сведите на аренѣ Тредьяковскихъ, Сумароковыхъ и даже Ломоносовыхъ, какое зрѣлище представится вамъ?

Ломоносовъ прямо просилъ «у Господа», чтобы ему «не знаться съ Сумароковымъ», и все изъ-за пререканій, что выше и значительнѣе: «знанія» или «риемачество», т. е. дѣятельность драматурга или перваго русскаго ученаго! И какого! Ломоносовъ могъ разсказать о себѣ совершенно легендарную исторію, представить всѣмъ завистникамъ и врагамъ подлинное свое подвижничество ради науки и мысли!

Онъ не могъ не гордиться своими *дѣйствительными* заслугами и совершенно послѣдовательно не цѣнить въ себѣ русской исключительно даровитой натуры.

Естественно, всякое посягательство со стороны соотечественника на «знанія», а иностранца на русское имя поднимали всю кровь въ сердцѣ Ломоносова, и тогда горе и Сумарокову, и нѣмцамъ-академикамъ!..

И предъ нами развертывается рядъ изумительныхъ сценъ. На первый взглядъ онѣ могутъ произвести впечатлѣніе крайне жалкое и унизительное для памяти нашихъ первыхъ критиковъ. И впечатлѣніе будетъ законно. Но только мы должны помнить, что отнюдь не болѣе достойныя сцены разыгрывались и среди нашихъ учителей въ неизмѣримо болѣе культурномъ обществѣ, чѣмъ Волынскіе и Зубовы.

Мольеръ откровенно вывелъ аббата Котэна въ *Ученыхъ женщинахъ* и достигъ чрезвычайнаго эффекта на публику и свою жертву. Тотъ же Мольеръ въ *Версальскомъ экспромптѣ* назвалъ по имени своего литературнаго врага, Бурсо—«автора безъ репутаціи», т. е. полное ничтожество.

А Буало?

Прежде всего, онъ не выполнилъ своего публичнаго обѣщанія, безусловно обязательнаго для всякаго писателя и безъ торже-

ственныхъ заявленій,—не привлекать своихъ критиковъ къ иному суду, кромѣ «трибунала музъ». Относительно того же Бурсо онъ не вытерпѣлъ: ходатайствовалъ предъ королемъ запретить представленіе сатирической комедіи своего врага на сценѣ.

Наконецъ, Вольтеръ.

Здѣсь грѣховъ сколько угодно. Возьмемъ самый эффектный, стяжавшій въ свое время европейскую извѣстность.

«Патріархъ», выведенный изъ терпѣнія нападками Фрерона, написалъ комедію *Шотландка.* Одному изъ героевъ предназначена самая позорная роль: это—продажный критикъ, политическій доносчикъ, круглая бездарность, вообще, по отзыву героини пьесы: «самый безстыдный и самый подлый плутъ во всѣхъ трехъ королевствахъ. Наши собаки кусаютъ по инстинкту отваги, а онъ по инстинкту низости» *).

И этотъ герой носилъ имя *Frélon—Осà*, вмѣсто подлиннаго *Fréron*!

Цензуру смутила такая откровенность и она потребовала измѣнить имя. Вольтеръ поставилъ *Wasp*—англійское слово, означающее также *оса*: слѣдовательно, замѣны въ сущности не произошло.

И комедія появилась на сценѣ!..

Легко представить впечатлѣнія парижанъ. Очевидецъ пишетъ: «Ни одно произведеніе Вольтера не было принято съ такимъ восторгомъ. Каждому слову аплодировали и ногами, и руками, въ особенности всему, чтò относилось къ Фрерону... Г-жа Фреронъ, занявшая мѣсто въ первомъ ряду амфитеатра, чтобы своей красивой фигурой поощрять сторонниковъ мужа, едва не упала въ обморокъ. Одинъ мой знакомый, сидѣвшій рядомъ съ ней, сказалъ: «Не безпокойтесь, сударыня, личность Вэспа нисколько не похожа на вашего мужа. М-г Фреронъ не клеветникъ, и не доносчикъ». «Ахъ,—воскликнула она наивно,—чтò ни говорите, а его всегда признàютъ»...

Самъ Вольтеръ былъ пораженъ успѣхомъ пьесы, и жалѣлъ, что онъ не поработалъ надъ ней еще тщательнѣе.

Въ какомъ направленіи произошла бы эта работа, показываетъ *Avertissement—Предувѣдомленіе*, написанное авторомъ къ изданію своего произведенія.

Здѣсь разсказывалось объ успѣхѣ комедіи. Фреронъ назывался прямо по имени *F.*—вмѣстѣ съ своимъ журналомъ «*L'Année littéraire*»

*) «L'Ecossaise», Acte II, 1.

и приводилось письмо какого-то лорда, убѣждавшее автора подвергнуть общественному суду всѣхъ «подлыхъ гонителей литературы» и «клеветниковъ добродѣтели», тайно интригующихъ противъ философовъ.

Вольтеръ не пощадилъ даже супруги Фрерона. Она, будто бы, послѣ перваго представленія *Шотландки* поцѣловала автора (онъ былъ запачканъ—barbouillé—двумя поцѣлуями) и поблагодарила за сатиру на ея мужа.

Раздраженіе Вольтера не ослабѣвало до глубокой старости. Во время болѣзни онъ писалъ, что согласенъ идти въ чистилище, если только Фрерона пошлютъ въ адъ.

Такова одна изъ многихъ траги-комедій литературной французской исторіи XVIII-го вѣка!

Среди истинныхъ почитателей Вольтера нашлось, конечно, не мало противниковъ подобной полемики. Они сожалѣли, что Вольтеръ унизился до пасквиля на недостойнаго врага *). Но патріархъ, очевидно, держался другого взгляда и, несомнѣнно, своимъ авторитетомъ и успѣхомъ помогалъ рости полемикѣ, оскорбительной для литературы.

Насъ послѣ этого не изумятъ отечественныя чернильныя битвы. Несомнѣнно, по формѣ онѣ должны быть нерѣдко грубѣе французскихъ образцовъ, но сущность одна и та же. И тамъ, и здѣсь писатели, въ силу извѣстныхъ культурныхъ условій, независимо отъ личныхъ самолюбій и воинственнаго азарта, окунаются въ бездну мелочей, путаются въ личныхъ счетахъ и по временамъ дѣйствительно изображаютъ битву шутовъ и педантовъ.

XXIV.

Мы видѣли, какъ споры о языкѣ и грамматикѣ могли приводить нашихъ раннихъ критиковъ къ вопросамъ о національности и даже народности. Это—высшая публицистика, *templa serena*—*ясныя небеса* нашей ранней критики.

Но тѣ же самые споры неминуемо должны коснуться и другихъ мотивовъ, не столь широкихъ и возвышенныхъ. На новой нивѣ слишкомъ много дѣла, и каждый дѣлатель могъ претендовать на первенство и благодѣтельность именно своей обработки. При особенной психологіи критиковъ здѣсь почти не су-

*) Grimm. IV, 276.

ществовало разницы между крупнымъ и мелкимъ фактомъ, между филологической идеей и даже знакомъ препинанія. Все одинаково могло вызвать самый страстный бой.

И такой бой шелъ непрерывно между Сумароковымъ и Тредьяковскимъ.

Мы приведемъ нѣсколько образчиковъ во всей ихъ неприкосновенности: они безъ нашихъ поясненій введутъ читателя въ сущность дѣла.

Прежде всего о знакахъ препинанія,—пишетъ Сумароковъ. Сначала онъ разгромилъ ударенія—*силы*, потомъ продолжаетъ:

«Мало сего педантства еще; такъ выдумали они то есть невѣжи, почитающіе невѣжество свое полезнымъ умствованіемъ, ставити новомодныя или паче новоскаредныя палочки: наприм. *во-ртъ*, *на-воду* и проч. Такая мерзость, таковыя палочки отлично были угодны г. Тредьяковскому»!

При такой страстности по поводу *черточекъ*, естественно не менѣе сильный гнѣвъ загорался изъ за буквъ,—напримѣръ изъ за буквы з; ее Тредьяковскій извергалъ и вводилъ с, а Сумароковъ защищалъ, изъ-за окончаній множественнаго числа, изъ-за *ой* и *ій*... Противники не пренебрегали описками и опечатками, напримѣръ, Тредьяковскій напалъ на Сумарокова за безграмотность изъ-за «двухъ типографическихъ небрежностей», написалъ полстраницы критики на невѣрно набранный стихъ—*хотя* вмѣсто *хоть*, и Сумароковъ принужденъ былъ даже «показывать многимъ трагедію вчернѣ» для доказательства, что «въ черномъ поправлено или скребено» не было. Въ другой разъ тотъ же Тредьяковскій «въ прежестокую вступилъ ярость, дѣлаетъ протчія восклицанія и протчія неистовствы»—все потому, что не вѣрно поставлена запятая.

Но, кажется, самую жаркую распрю вызвала буква *и*.

Тредьяковскій упорно отстаивалъ *и* во множественномъ числѣ всюду въ именахъ существительныхъ и прилагательныхъ.

Сумароковъ не удовольствовался прозаическимъ опроверженіемъ нелѣпой, по его мнѣнію, идеи и написалъ стихотворную сатиру съ такимъ заключеніемъ:

На что же Трессотинъ намъ тянешь *и* некстати?

. . . .

Россійска языка небесна красота
Не будетъ никогда попрана отъ скота!
И бредъ твой выплюнувъ, повѣрь—тебя заставитъ:
Скончать твой скверный визгъ, стонаніе совы...

Трессотинъ, замѣняющій Тредьяковскаго, пріобрѣлъ необыкновенную популярность въ современной литературной полемикѣ послѣ того, какъ Сумароковъ осмѣялъ Тредьяковскаго въ комедіи *Трессотиніусъ*. Герой споритъ о начертаніи буквы *твердо*, писать ли ее «объ одной ногѣ», или «о трехъ ногахъ». При всей каррикатурности комизма, онъ вполнѣ соотвѣтствовалъ дѣйствительности. Тредьяковскій постоянно прибѣгалъ къ самымъ неожиданнымъ филологическимъ соображеніямъ и сравненіямъ: напримѣръ, *з* и *э* изгонялись изъ азбуки за то, что «не статны собою».

Тредьяковскій ни за что не соглашался уступить *и* и отвѣчалъ въ соотвѣтствующемъ тонѣ.

Его отповѣдь въ началѣ именуетъ противника «дуракомъ» и «вертопрахомъ негоднымъ», его разсужденія—«ямщичей вздоръ или мужицкой бредъ», и выставляется на видъ существенный фактъ: «святыхъ онъ книгъ отнюдь, какъ видно, не читаетъ»... Но постепенно отвѣтъ переходитъ въ крайне раздраженный тонъ, и авторъ совершенно забываетъ всякія филологическія и свѣтскія тонкости:

Ты жъ ядовитый змій, или какъ любишь—змѣй,
Когда меня язвить престанешь ты злодѣй!
Престань, прошу, престань,—къ тебѣ я не касаюсь;
Злонравіемъ твоимъ, какъ демонскимъ, гнушаюсь.
Тебѣ ль, Парнасска грязь, морали не-творецъ,
Учить людей писать? ты истинно глупецъ.
Повѣрь мнѣ, крокодилъ, повѣрь, клянусь я Богомъ!—
Что знаніе твое все въ родѣ есть убогомъ.
Не штука стихъ слагать, да и того ты пустъ;
Безплоденъ ты во всемъ, хоть и шумишь какъ кустъ... *).

Дальше врагу напоминалось о смерти, о Богѣ и о правдѣ, не давалось пощады и внѣшности Сумарокова. Въ другой эпиграммѣ Тредьяковскій съумѣлъ въ двухъ строкахъ изобразить внѣшнія и нравственныя черты своего критика:

Кто рыжъ, плѣшивъ, мигунъ, заика и картавъ
Не можетъ быти въ томъ никакъ хорошій нравъ!

Это изображеніе совпадаетъ съ портретомъ Сумарокова у Ломоносова:

Картавилъ и сопѣлъ, качался и мигалъ.

Любопытно, Тредьяковскій оказывался несравненно болѣе искуснымъ стихотворцемъ въ личной брани, чѣмъ въ торжествен-

---

*) *Образцы литературной полемики прошлаго столѣтія. Библіографическія записки* 1859, № 17.

ныхъ жанрахъ—въ поэмѣ и одѣ. Надо думать, въ первомъ случаѣ тема гораздо глубже захватывала піиту, и онъ здѣсь былъ безусловно искрененъ и въ полномъ смыслѣ одержимъ *маніей*, т. е. вдохновеніемъ.

Искренность и сила полемическихъ волненій у Тредьяковскаго подтверждается удивительнѣйшимъ документомъ, какой только возможенъ въ литературѣ. Если даже предположить извѣстную преднамѣренность, разсчитанную приподнятость рѣчи, и тогда останутся единственные въ своемъ родѣ факты писательской психологіи прошлаго вѣка.

Продолжая свои жалобы на отказъ Миллера печатать его произведенія въ *Ежемѣсячныхъ сочиненіяхъ*, Тредьяковскій пишетъ:

«Послѣ сего, ненавидимый въ лицо, презираемый въ словахъ, уничтожаемый въ дѣлахъ, охуждаемый въ искусствѣ, прободаемый сатіріческими рогами, изображаемый чудовищемъ, еще во нравахъ (что сего безсовѣстнѣе?) оглашаемый, все жъ то или позлобѣ, или по ухищренію, или по чаянію отъ того пользы, или наконецъ по собственной потребности, чтобъ употребляющаго меня праведно, и съ твердымъ основаніемъ *и* въ окончаніи прилагательныхъ множественныхъ мужескихъ цѣлыхъ, всемѣрно низвергнуть въ пропасть безславія, всеконечно уже изнемогъ я въ силахъ къ бодрствованію» *).

Но въ такое положеніе приходилось попадать каждому изъ трехъ соперниковъ. Мы знаемъ «литеральныя войны» при самыхъ разнообразныхъ комбинаціяхъ воюющихъ силъ: Сумароковъ и Тредьяковскій противъ Ломоносова, Ломоносовъ и Тредьяковскій противъ Сумарокова, и самый грозный союзъ Сумарокова и Ломоносова на Тредьяковскаго. Намъ неизвѣстно, по какимъ поводамъ заключались эти союзы, и неожиданнѣе всего единеніе Сумарокова съ Тредьяковскимъ послѣ драматической сатиры и такого, напримѣръ, повидимому, окончательнаго приговора творцу «Телемахиды»:

«Что до склада сего автора касается, такъ это и критики недостойно; ибо всѣхъ читателей слуху онъ противенъ толико, что подобнаго писателя, никогда ни въ какомъ народѣ отъ начала міра не бывало: а онъ еще и профессоръ краснорѣчія! Всѣ его и стихотворныя сочиненія, и прозаическія, и переводы таковы; такъ оставимъ его; ибо нѣтъ моего терпѣнія смотрѣть въ его сочиненія».

*) Пекарскій. *O. cit.*

Эти сочиненія всегда были одинаковыми, но они не мѣшали воинственному драматургу подавать руку «Трессотиніусу» и «Штивеліусу» для общей атаки на искуснѣйшаго одописца. Даже самого Ломоносова изумлялъ этотъ союзъ, и онъ написалъ сатиру *Злобное примиреніе*, называя враговъ Аколастомъ и Сотиномъ, а себя Пробинымъ:

Съ Сотиномъ что за вздоръ? Аколастъ примирился;
Конечно третій членъ къ нимъ лѣшій прилѣпился,
Дабы три фуріи втѣснившись на Парнасъ,
Закрыли крикомъ музъ Россійскихъ чистый глазъ...

Дальше излагались прежнія взаимныя отношенія союзниковъ, и сатира заканчивалась въ чисто-ломоносовскомъ стилѣ гнѣва и страсти:

Кто быть желаетъ нѣмъ, и слышать наглыхъ вракъ,
Межъ самохвалами съ умомъ прослыть дуракъ,
Сдружись съ сей парочкой *).

Но самую типичную полемику, несомнѣнно, пришлось выдержать Сумарокову отъ союза Ломоносова съ Тредьяковскимъ.

И поводъ полемики прямо заслуживаетъ безсмертія: до такой степени онъ краснорѣчиво характеризуетъ литературные нравы и самихъ писателей XVIII вѣка!

Вся исторія загорѣлась изъ-за нѣсколькихъ хвалебныхъ стиховъ второстепеннаго литератора Елагина по адресу Сумарокова. Въ сатирѣ *На петиметра и кокетокъ* Сумароковъ чествовался, какъ «наперсникъ Боаловъ», «россійскій нашъ Расинъ», и даже «защитникъ истины» и «благій учитель»... Это значило забыть о славѣ и талантахъ всѣхъ знаменитыхъ современниковъ, и они должны были немедленно напомнить о себѣ.

Ломоносовъ безпощадно высмѣялъ и въ стихахъ, и въ прозѣ автора сатиры и его «благого учителя», а Тредьяковскій прямо выбранилъ Сумарокова:

Въ комъ глупость безъ конца, въ комъ самый мракъ живетъ...

Такъ легко литература переходила въ личныя оскорбленія, критика въ пасквиль и откровеннѣйшее поношеніе!

Недаромъ на современномъ языкѣ самыя понятія—*критикъ* и *критика* означаютъ все, что угодно, только не «трибуналъ музъ».

---

*) *Любопытные документы изъ портфелей Миллера. Москвитянинъ*, январь 1854, стр. 2—3.

Въ *Покоющемся Трудолюбцѣ* — журналѣ Новикова—авторъ статьи *Путешествіе на Парнассъ* такъ изображаетъ *критиковъ*: «Видъ ихъ былъ угрюмый и свирѣпый; глаза сверкали, какъ молнія, а языкомъ они никого не щадили».

Въ журналѣ *Смѣсь* еще вразумительнѣе опредѣляется *критика*: разсказывается о пріятелѣ, который «покритиковалъ другого доброю великороссійскою пощечиною» и «сія критика весь балъ кончила». Издатель, съ своей стороны, объяснялъ читателямъ: «присылаемыя ко мнѣ критическія письма часто соединяли въ себѣ и злословіе, и осмѣяніе».

Наши авторы отнюдь не скрывали истины, хотя сами болѣе всѣхъ были повинны въ грѣхахъ критики.

Ломоносовъ, съ особенной надменностью бичевавшій своихъ соперниковъ, говорилъ: «опасно быть въ тѣ времена писателемъ, когда больше критиковъ, чѣмъ сочинителей, больше ругательствъ, чѣмъ доказательствъ».

Даже Тредьяковскій, не знавшій удержу своей ругательной маніи, жаловался: «критика наша по большей части безъ узды туда скачетъ, куда ее влечетъ устремленіе».

И тѣмъ краснорѣчивѣе безпрестанное личное повиновеніе автора «устремленію»!

Писатель XVIII вѣка могъ основательно въ теоріи понимать и литературный вкусъ, и литературныя приличія, но у него самого не хватало нравственной уравновѣшенности, истиннаго достоинства писателя и ничто извнѣ не могло внушить ему этихъ добродѣтелей. Выходило такое же противорѣчіе въ критикѣ, какое было въ искусствѣ. Поэтъ могъ отлично оцѣнивать тлетворность подражательности, издѣваться надъ «новоманерными словами» и всякой другой галломаніей, но у него не хватало творческой силы и мужества возстать вообще противъ «чужихъ уроковъ», національное чувство изъ области словаря и грамматики распространить на искусство и художественныя идеи.

Въ результатѣ—Сумароковъ могъ сочинять сколько угодно притчей на Иванушекъ и подъяческихъ дочерей, онъ все-таки изнывалъ отъ честолюбія «явить россамъ театръ расиновъ». Въ критикѣ онъ иронически отзывался о «новомодномъ критическомъ духѣ», т.-е. гдѣ «много бумаги да брани», и здѣсь же усиливался превзойти своего противника непремѣнно бранью.

Тредьяковскій впадалъ въ еще горшія противорѣчія. Онъ глубоко негодовалъ, когда его оглашали въ нравахъ, но именно онъ

и представилъ самый ранній и яркій образецъ подобныхъ оглашателей. Даже гораздо хуже. Тредьяковскому по преимуществу наша юная критика обязана юридическимъ элементомъ.

Мы не можемъ миновать и этого предмета въ нашей исторіи это, несомнѣнно, самая *историческая* черта старой «униженной и оскорбленной» литературы.

И здѣсь русскіе критики не могли похвалиться оригинальностью: какъ въ личныхъ педантскихъ счетахъ, такъ и въ юридическихъ документахъ они могли взять не мало поучительныхъ уроковъ все у той же французской словесности, отчасти даже у своихъ почетнѣйшихъ авторитетовъ.

XXV.

Мы видѣли, съ какимъ усердіемъ французская власть стараго порядка поощряла враговъ новыхъ идей. Естественно, изъ этого поощренія вытекалъ и вполнѣ опредѣленный способъ войны съ энциклопедистами. Его на первыхъ же порахъ въ совершенномъ блескѣ осуществилъ привилегированнѣйшій застрѣльщикъ оффиціозной критики—Палиссо.

Палиссо, конечно, ничего не стоило составить списокъ преступленій философовъ—безъ различія направленій, талантовъ, литературной дѣятельности. На первомъ мѣстѣ значились: безбожіе, матеріализмъ, проповѣдь свободы.

Отнюдь не всѣ философы и даже не большинство повинны въ этихъ смертныхъ грѣхахъ: достаточно вспомнить, какъ горячо возставалъ Вольтеръ противъ матеріализма, какъ вмѣстѣ съ Даламберомъ онъ отозвался объ «ужасной книгѣ» Гольбаха; о Руссо нечего и говорить: для него безбожіе звучало прямо личнымъ оскорбленіемъ.

Но Палиссо требовалось заклеймить страшное слово—*философы*, и оно покрыло собой всѣ оттѣнки и даже контрасты.

Можно представить, сколько понадобилось лжи, передержекъ, фальшивыхъ цитатъ и явнаго шарлатанства! И Палиссо на все это идетъ.

Уничтожая *Энциклопедію*, какъ источникъ повальной нравственной заразы, пасквилянтъ цитируетъ слова изъ статьи Даламбера, какихъ тамъ нѣтъ, выписываетъ статью *Gouvernement—Правительство* и вставляетъ фразу собственнаго измышленія: «неравенство состояній—варварское право», ссылается на книги

автора, совершенно посторонняго *Энциклопедіи*, и его идеи объявляетъ достояніемъ энциклопедистовъ.

Современникъ, наблюдавшій за этой полемикой, замѣчаетъ:

«Палиссо недостаетъ только храбрости на большія преступленія, чтобы сдѣлаться знаменитостью въ лѣтописяхъ Гревской площади. Когда вы видите, какъ человѣкъ извлекаетъ цитаты изъ сочиненій другого съ цѣлью возбудить ненависть къ нему, говорите смѣло: «это—мошенникъ»—вы не ошибетесь» *).

Такъ судитъ о продѣлкахъ Палиссо самый скромный и сдержанный сторонникъ энциклопедистовъ. Но какъ поступать съ подобнымъ противникомъ его жертвамъ? Доказать, что онъ мошенничаетъ—не трудно, но вѣдь это важно только для публики, для общественнаго мнѣнія. Оно и безъ доказательствъ стояло на сторонѣ философовъ. Несравненно важнѣе оградить *Энциклопедію* отъ другой силы—правительственной. Она всемогуща, а между тѣмъ Палиссо могъ толкнуть ее на совершенно незаслуженную кару по адресу оболганныхъ писателей.

Вольтеръ, не въ примѣръ прочимъ философамъ, оболганный Палиссо, первый указалъ практическій результатъ его предпріятій:

«Ваше сообщеніе,—писалъ «патріархъ»,—можетъ попасть въ руки принца, министра, чиновника, занятаго важными дѣлами, въ руки самой королевы, еще болѣе занятой судьбою бѣдныхъ и, по своему положенію, имѣющей мало досуга. Прочтутъ одно ваше предисловіе размѣромъ въ какой-нибудь листъ, не найдутъ времени справиться и сравнить ваши выдержки съ громадными произведеніями, которымъ вы навязываете эти отвратительныя теоріи, не сообразятъ, что авторъ теорій Ламеттри, повѣрятъ, что предметъ вашихъ нападокъ энциклопедистъ, и невинные могутъ пострадать вмѣсто преступника, теперь уже и не существующаго».

Въ заключеніе Вольтеръ совѣтовалъ Палиссо опровергнуть свои навѣты, заявить публикѣ, что онъ былъ введенъ въ заблужденіе...

Легко совѣтовать, но если Палиссо не согласенъ послѣдовать совѣту, что именно и оказалось и должно было оказаться въ дѣйствительности—какъ же тогда поступить?

Единственный путь—просвѣтить принцевъ и чиновниковъ на счетъ истиннаго смысла памфлета, т. е. обратиться прямо по адресу самихъ читателей. Иного выхода нѣтъ.

*) Grimm. IV, 275.

Разъ отъ принцевъ и чиновниковъ зависѣло съ необычайной легкостью и простотой пріемовъ наказать преступниковъ, даже и мнимыхъ, писатель попадалъ въ отчаянное положеніе—или ждать кары съ святою покорностью праведника, или прибѣгнуть къ оффиціальному документу, къ просьбѣ и разъясненію.

Одинъ изъ защитниковъ энциклопедистовъ оправдывалъ рѣзкость своихъ нападокъ ссылкой на злобу и козни «разнузданнѣйшихъ нахаловъ», явно поощряемыхъ людьми власти и силы. Если у Палиссо терпима клевета и доносъ, «рѣзкія краски» не должны изумлять публику у его жертвъ и противниковъ.

То же самое соображеніе примѣнимо и къ нашему вопросу.

Разъ власть вмѣшалась въ литературныя дрязги и поставила себя судьей писательскихъ распрей, энциклопедистамъ неминуемо придется искать защиты тамъ, гдѣ ихъ клеветники находятъ покровительство.

Это до такой степени ясно, что буквально эти соображенія невольно вырвались у одного, совсѣмъ теперь забытаго писателя маркиза Хименеса дѣйствительно ничѣмъ не замѣчательнаго, но на ряду съ Вольтеромъ попавшаго въ журналъ Фрерона.

Писатель жаловался на журналиста—не публикѣ, какъ подобало бы писателю, а начальнику полиціи и откровенно указывалъ, что шагъ этотъ у него вынужденъ высокоофиціознымъ положеніемъ Фрерона.

Къ такому же оружію прибѣгали и энциклопедисты, Вольтеръ и Даламберъ. Правда, Дидро является исключеніемъ и, конечно, для славы первыхъ двухъ философовъ имъ было бы выгоднѣе также остаться исключеніями. Но если мы, при всѣхъ смягчающихъ обстоятельствахъ, имѣемъ основаніе осудить *личную* запальчивость Вольтера, его часто открыто-памфлетическую публицистику, — его литературныя сношенія съ властями заслуживаютъ большей снисходительности.

Намъ, собственно, и незачѣмъ взвѣшивать вины на вѣсахъ Ѳемиды, мы только должны опредѣлить внутреннюю связь историческихъ явленій, до сихъ поръ вызывающихъ нареканія на память идейныхъ воителей прошлаго.

И эти нареканія въ иныхъ случаяхъ неизбѣжны, если отдѣльные факты вырывать изъ общаго культурнаго теченія.

Разъ писателямъ вообще приходилось предъ властью искать защиты противъ литературныхъ враговъ, естественно не всегда, въ жару полемики, въ припадкѣ оскорбленнаго самолюбія, удавалось соблюсти мѣру и не переходить предѣловъ необходимаго и законнаго.

Если, положимъ, Вольтеръ успѣлъ оборонить себя или своихъ друзей отъ «подлаго доноса» Палиссо, какъ онъ выражается,—въ другомъ случаѣ онъ, при своей горячности и щекотливости по части авторскаго достоинства, можетъ обратиться къ цензурѣ или къ министру съ жалобой уже не на доносъ, а просто на личную обиду.

А чувствительность къ ней у Вольтера должна быть развита больше, чѣмъ у другихъ писателей эпохи; именно онъ въ самыхъ жестокихъ формахъ вытерпѣлъ жестокіе нравы своего вѣка. До тридцати-двухъ-лѣтняго возраста Вольтеръ успѣваетъ два раза посидѣть въ Бастиліи, два раза быть изгнаннымъ, два раза побитымъ палками...

И все это для вящшаго униженія его, какъ писателя!.. Очевидно, въ теченіе всей жизни вопросъ о писательскомъ достоинствѣ, о правахъ таланта и умственной дѣятельности для него останется своего рода нервнымъ недугомъ, и онъ не взвидитъ свѣта всякій разъ, когда продажный писака дерзнетъ покуситься на его—трудомъ и геніемъ—пріобрѣтенную славу.

Въ сходномъ положеніи и Даламберъ, незаконный сынъ, подкидышъ, бѣднякъ, на взглядъ «хорошаго общества» — *canaille misérable*. Всѣ его общественныя права, все его человѣческое достоинство въ его талантахъ и его литературномъ имени. Это—единственная его собственность, и, разумѣется, онъ будетъ стоять за нее, какъ истый *собственникъ*.

Въ результатѣ, Вольтеръ не довольствуется страшными литературными экзекуціями надъ Дефонтеномъ—соратникомъ Фрерона; онъ примется взывать на него къ властямъ, потребуетъ суда надъ нимъ за его пасквиль... Большаго успѣха «патріархъ» не будетъ имѣть, жалобы направлялись не по адресу, но достаточно факта: Вольтеръ, съ извѣстной точки зрѣнія, хотя бы съ фрероновской—доносчикъ.

То же самое съ Даламберомъ.

Фреронъ помѣстилъ въ своемъ журналѣ статью противъ *Энциклопедіи* въ духѣ Палиссо, т. е. нафабриковалъ фальшивыхъ цитатъ. Даламберъ требовалъ правосудія... Это, конечно, не доносъ, но все-таки и не литература.

Для насъ не менѣе поучительно и поведеніе французской академіи. Оно также найдетъ соревнователей въ нашемъ отечествѣ.

Съ высоты педантическаго величія «безсмертные» взирали на писателей и критиковъ, какъ на нѣкій жалкій, хотя и крайне без-

покойный муравейникъ. Ученые въ расшитыхъ кафтанахъ и на казенномъ содержанiи считали долгомъ своего служебнаго достоинства презирать менѣе удачливыхъ литературныхъ тружениковъ и зорко оберегали цеховую честь своихъ сочленовъ.

Устраивая по временамъ демонстрацiи противъ новой философiи, академiя не пренебрегала и рѣшительными дипломатическими шагами для искорененiя своевольнаго духа въ журналахъ. Она въ теченiе всего вѣка съ такимъ успѣхомъ практикуетъ эту дѣятельность, что впослѣдствiи въ генеральные штаты явятся даже депутаты съ инструкцiями избирателей—или измѣнить порядокъ выборовъ въ академiю, или совсѣмъ уничтожить ее.

Вотъ какая галлерея примѣровъ и образцовъ представлялась нашимъ европействовавшимъ писателямъ!

Менѣе всего она могла воспитать у русскихъ критиковъ чисто литературные нравы. Напротивъ, ихъ влiянiе, неизбѣжное и неотразимое, могло только выразиться въ столь же грубыхъ и уродливыхъ формахъ, въ какiя театръ расиновъ переродился у Сумарокова.

Главный принципъ—прибѣжище писателей, во взаимныхъ несогласiяхъ—у трибунала власти, а не музъ. Это фактъ французской философiи XVIII-го вѣка. Во что же ему суждено превратиться въ средѣ отнюдь не философовъ, въ средѣ, лишенной столь могущественнаго и непрестанно возраставшаго общественнаго мнѣнiя, какимъ жили и весьма многое дерзали французскiе просвѣтители.

Вольтера били палками, но въ результатѣ онъ въ своей личности воплотилъ республику ума и таланта и въ граждане этой республики добивались чести попасть первые вѣнценосцы современной Европы.

А Тредьяковскiй?

Ему вѣдь тоже нанесли безчестье, но только оно такъ и осталось съ нимъ на всю жизнь. Ему предоставлено сколько угодно внутри раздираться на части, а извнѣ... въ Парижѣ и Фернэ не могли и представить такого положенiя.

Сообразно съ нимъ неминуемо преобразовались и литераторскiя сношенiя съ властью.

XXVI.

Ломоносовъ гнѣвался на Сумарокова за то, что драматургъ бранилъ Тауберта и Миллера изъ-за личной вражды, а «не ради

общей пользы». Слѣдовательно, бранить разрѣшалось, только съ выборомъ причинъ, и Ломоносовъ не пропускалъ случая дать волю своему сердцу во имя патріотическихъ чувствъ.

Этотъ, повидимому, совершенно благородный мотивъ проявлялся у великаго ученаго весьма своеобразно, и его защита славы русскаго народа нерѣдко весьма походила на самый настоящій цензорскій судъ съ пристрастіемъ и дѣлала не много чести терпимости русскаго академика.

Ломоносовъ безпрестанно разстраивался отъ *Ежемѣсячныхъ сочиненій* Миллера, недостаточно, по его мнѣнію, патріотическихъ и часто даже оскорбительныхъ для русскаго имени. Критикъ свои соображенія представлялъ на усмотрѣніе президента академіи наукъ, лицу, имѣвшему право воздѣйствовать на труды академиковъ въ какомъ угодно смыслѣ.

Вотъ образецъ ломоносовской полунаучной, полуоффиціальной критики, по адресу Миллера, неутомимо работавшаго надъ источниками русской исторіи:

«Не токмо въ *Ежемѣсячныхъ*, но и въ другихъ своихъ сочиненіяхъ всѣваетъ по обычаю своему занозливыя рѣчи. Напримѣръ, описывая чувашу, не могъ пройти, чтобы изъ чистоты въ домахъ не предпочесть россійскимъ жителямъ. Онъ больше всего высматриваетъ пятна на одеждѣ россійскаго тѣла, проходя многія истинныя ея украшенія. Ясное и весьма досадительное доказательство сего моего примѣчанія, что Миллеръ пишетъ и печатаетъ на нѣмецкомъ языкѣ смутныя времена Годунова и Разстригины, самую мрачную часть россійской исторіи, изъ чего иностранные народы худыя будутъ выводить слѣдствія о нашей славѣ. Или нѣтъ другихъ извѣстій и дѣлъ россійскихъ, гдѣ бы по послѣдней мѣрѣ и добро съ худомъ въ равновѣсіи видѣть можно было?»

Неизвѣстно, этимъ ли путемъ, или инымъ, высшее правительство также обратило вниманіе на *Опытъ новѣйшей исторіи о Россіи* Миллера, и ученому былъ объявленъ «жестокій выговоръ съ приказаніемъ, чтобъ впредь такія сумнѣнія отъ меня напечатаны не были»,—разсказываетъ самъ Миллеръ *).

Приключеніе страшно перепугало историка, онъ поспѣшилъ оправдаться ссылкой на свое смиреніе и полную готовность подчиниться указаніямъ власти, весь свой трудъ поручилъ усмотрѣ-

*) Пекарскій. *O. cit.*, стр. 52—3.

нію конференцъ-секретаря. Письмо заключалось краснорѣчивѣйшимъ заявленіемъ въ устахъ нѣмецкаго ученаго при русской академіи XVIII-го вѣка.

«А впрочемъ вашего высокородія проницательному разсужденію всѣ свои сочиненія охотно я подвергаю и покорнѣйше прошу, чтобъ вы соизволили принять на себя трудъ прочесть мои историческія пьесы прежде напечатанія, тогда я надеженъ буду о всеобщей аппробаціи оныхъ, а я во всемъ буду слѣдовать вашимъ наставленіямъ».

Изъ письма къ другому лицу узнаемъ, что нѣкій человѣкъ, всегда желавшій погибели историка, добился прекращенія его русской исторіи.

Мы отдаемъ полную справедливость несомнѣнно искреннѣйшему и благороднѣйшему національному чувству Ломоносова и даже готовы допустить, что оно подвергалось сильному искушенію среди товарищей-иностранцевъ, на зарѣ русской науки и сколько-нибудь самостоятельной культурной мысли, но никакія оговорки не могутъ безусловно оправдать только что разсказанной исторіи съ Миллеромъ. Ломоносовъ, въ порывѣ патріотизма, не отступалъ предъ запретомъ цѣлыхъ историческихъ эпохъ для ученыхъ изслѣдованій и по самымъ ничтожнымъ поводамъ открывалъ въ книгахъ иностранцевъ «занозливыя рѣчи». Все это отнюдь не могло ободрить трудолюбивѣйшихъ изслѣдователей, въ родѣ того же Миллера, и добросовѣстности и научности ихъ трудовъ грозила несравненно сильнѣйшая опасность отъ разныхъ «аппробацій» и вполнѣ естественнаго страха даже предъ конференцъ-секретарями, чѣмъ отъ того или другого отношенія къ быту чувашей и русскихъ.

Неудивительно, что иной разъ въ жалобахъ Ломоносова трудно разграничить патріотизмъ отъ чисто-личнаго чувства, все равно, какъ у Вольтера, философскій азартъ незамѣтно переходилъ въ писательское самолюбіе.

Напримѣръ, въ журналѣ Сумарокова *Трудолюбивая пчела* появилась статья Тредьяковскаго о мозаикѣ. Предметомъ очень интересовался Ломоносовъ и считалъ его однимъ изъ своихъ кровныхъ дѣтищъ. Тредьяковскій, въ сущности, и не наносилъ оскорбленія этому чувству, но для Ломоносова достаточно просто неодобрительнаго отзыва о мозаичномъ искусствѣ и онъ жаловался Шувалову:

«Въ Трудолюбивой такъ-называемой Пчелѣ напечатано о мозаикѣ весьма презрительно. Сочинитель того Тр. совокупилъ свое

грубое незнаніе съ подлою злостью, чтобы моему раченію сдѣлать помѣшательство. Здѣсь видѣть можно цѣлый комплотъ: Тр. сочинилъ, Сумароковъ принялъ въ *Пчелу*, Т(аубертъ)... далъ напечатать безъ моего увѣдомленія въ той командѣ, гдѣ я присутствую»...

Слѣдовательно, даже авторъ *Телемахиды* могъ погрѣшить по части любви къ отечеству! Ломоносовъ прямо говорилъ, что его ругательства вредятъ «дѣлу, для отечества славному».

А между тѣмъ, Ломоносовъ за весь восемнадцатый вѣкъ единственный литераторъ и ученый—преисполненный истиннаго сознанія личнаго достоинства, благородно гордый своими заслугами, независимый и мужественный!..

Какіе же примѣры въ жанрѣ конфиденціальной критики могли представить другіе, напримѣръ, тотъ же Тредьяковскій!

Прежде всего самому Ломоносову пришлось испытать горчайшіе плоды нелитературной полемики.

Дѣло возникло по поводу знаменитаго *Гимна бородѣ*, несомнѣнно самаго блестящаго образчика старой легкой поэзіи. Нѣкоторыя строфы гимна и до сихъ поръ неутратили своей остроумной мѣткости и даже литературнаго изящества.

Для Тредьяковскаго шутка оказалась настоящей находкой. Онъ немедленно сталъ на стражѣ благочестія и благонравія. Ломоносовъ смѣялся надъ старовѣрческимъ культомъ бороды, профессоръ элоквенціи повернулъ вопросъ иначе, и за подписью Христофора Зубницкаго выпустилъ нѣсколько документовъ, письма къ неизвѣстному лицу, къ автору *Гимна* и, наконецъ, пародію *Передѣтая борода, или гимнъ пьяной головѣ*.

Въ письмѣ къ неизвѣстному заявлялось:

«Уповаю довольно извѣстно вамъ, какимъ удаленнымъ отъ всякія чести и совѣсти образомъ авторъ непотребнаго *Гимна бородѣ* явилъ безбожное свое намѣреніе и желаніе, чтобъ обругать христіанское ученіе и таинства вѣры нашей къ немалому однихъ соблазну и развращенію, а другихъ сожалѣнію и ревности. Хотя, правда, къ отвращенію таковыхъ продерзостей наилучшее бъ средство быть могло, чтобъ въ примѣръ другихъ удостоить сего ругателя публичнымъ наказаніемъ; однако пока то сдѣлается, нехудо безбожныя его мнѣнія и разглашенія отражать другими способами» *).

Эти способы не противорѣчатъ и первому проекту. Въ письмѣ

*) Библіогр. Записки, № 15.

къ Ломоносову Тредьяковскій пускаетъ въ ходъ богатѣйшій словарь ругательствъ: «безбожный сумасбродъ», «пьяница», «онъ столько подлъ духомъ, столько высокомѣренъ мыслями, столько хвастливъ на рѣчахъ, что нѣтъ такой низкости, которой бы не предпринялъ ради своего малѣйшаго интереса, напримѣръ для чарки вина; однако я ошибся, это его наибольшій интересъ».

На этомъ «интересѣ», дѣйствительно весьма не чуждомъ Ломоносову, построенъ *Гимнъ пьяной головѣ*. И замѣчательно, нѣкоторые стихи этого *Гимна* въ стилистическомъ отношеніи едва ли не самые литературные, написанные нашимъ піитой.

Напримѣръ, такія двѣ самыхъ энергичныхъ строфы:

Съ хмѣлю безобразенъ тѣломъ
И всегда въ умѣ незрѣломъ,
Ты преподло былъ рожденъ,
Хоть чинами и почтенъ;
Но безмѣрное піянство,
Бѣшенство обманъ и чванство
Всѣхъ когда лишатъ чиновъ,
Будешь пьяный рыболовъ.

Голова о прехмѣльная,
Голова ты препустая,
Дурости, безчинства мать,
Нечестивыхъ мнѣній кладъ,
Корень изысканій ложныхъ,
О забрало дѣлъ безбожныхъ,
Чѣмъ могу тебя почтить,
Чѣмъ заслуги заплатить? *)

Ничѣмъ инымъ, договаривался авторъ, какъ сожженіемъ «въ струбахъ».

Такое усердіе, въ свою очередь, не могло остаться безъ награды и даже Сумароковъ откликнулся въ пользу Ломоносова. Самъ авторъ гимна написалъ уничтожающій отвѣтъ *Зубницкому*:

Безбожникъ и ханжа, подметныхъ писемъ враль!..

Тредьяковскій отвѣчалъ сатирой обоимъ противникамъ: относительно Ломоносова главную роль играла опять «винная бочка».

Относительно Сумарокова могъ оказаться болѣе дѣйствительнымъ тотъ же путь доноса. Его Тредьяковскій испробовалъ еще раньше войны изъ-за ломоносовской сатиры, года за полтора до гимна. Очевидно, это — цѣлая организованная атака на благонадежность соперниковъ.

---

*) «Библ. зап.» Ib., стр. 570.

На Сумарокова было подано уже прямо оффиціальное «доношеніе» въ синодъ. Смыслъ доношенія ясенъ изъ нѣсколькихъ строкъ, въ своемъ родѣ удивительно типичныхъ.

«Читая октябрьскую книжку *Ежемѣсячныхъ сочиненій* сего 1755 года, нашелъ я, именованный—въ ней оды духовныя, сочиненныя г. полковникомъ Александромъ Петровымъ сыномъ *Сумароковымъ*, между которыми и оду, надписанную изъ псалма 106: а въ ней увидѣлъ, что она съ осмыя строфы по первую на десять включительно говоритъ отъ себя, а не изъ псаломника о безконечности вселенныя и дѣйствительномъ множествѣ міровъ, а не о возможномъ по всемогуществу Божію. И понеже *Ежемѣсячныя книжки* обращаются многихъ читателей руками, изъ которыхъ иные могутъ и въ соблазнъ притти; того ради по ревности и вѣрѣ моей истинному слову Божію, въ Священномъ Писаніи вѣщающему, о такой помянутыя оды лжи на Псаломника покорнѣйше донося извѣщаю» *).

Синодъ не давалъ хода доношенію въ теченіе года, но, наконецъ, все-таки запросилъ отъ академической канцеляріи свѣдѣній объ имени автора и переводчика иностраннаго сочиненія *О величествѣ Божіи размышленія.* Оно также было напечатано въ журналѣ Миллера. Синодъ немедленно требовалъ оригиналъ. Въ докладѣ, представленномъ императрицѣ Елизаветѣ, ученіе о безчисленныхъ мірахъ объявлялось крайне опаснымъ: оно «многимъ неутвержденнымъ душамъ причину къ натурализму и безбожію подастъ». Синодъ просилъ у императрицы запретить во всей Россіи писать и печатать о множествѣ міровъ, конфисковать *Ежемѣсячныя сочиненія* и переводъ князя Кантемира книги Фонтенелля о множествѣ міровъ.

Докладъ остался безъ послѣдствій, и, несомнѣнно, такой результатъ долженъ былъ особенно огорчить профессора и литератора Тредьяковскаго.

Легко представить, каково жить и рости критической мысли при такихъ условіяхъ!

Похвалы и порицанія одинаково волновали страсти и доводили до личной перебранки. Современная литература выработала даже принципіальное оправданіе подобной критики.

Смѣшивая критику съ сатирой, даже отожествляя ихъ, *Трутень* доказывалъ:

---

*) Пекарскій. Ib., стр. 42.

«Я утверждаю, что критика, писанная на *лицо*, но такъ, чтобы не всѣмъ была открыта, больше можетъ исправить порочнаго... Всякая критика, писанная на лицо, по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, обращается въ критику на общій порокъ».

Это отчасти справедливо относительно сатиры и комедіи: портреты, списанные художникомъ, превращаются въ типы. Но никогда собственно *критика*, т. е. литературная полемика въ духѣ писателей XVIII-го вѣка, не могла утратить своего исключительно личнаго нелитературнаго характера.

Требовалось безусловное преобразованіе критическихъ пріемовъ, это могло совершиться только при полномъ измѣненіи общественнаго положенія писателей и ихъ дѣятельности.

До тѣхъ поръ безсильны были всѣ старанія самыхъ благонамѣренныхъ писателей ввести культурные обычаи на россійскомъ Парнассѣ.

И даже эти старанія характеризуютъ безпомощность критиковъ и крайнюю наивность ихъ задачи.

XXVII.

Мы видѣли, сколько пришлось вытерпѣть оффиціальныхъ и неоффиціальныхъ притѣсненій редактору перваго русскаго научно-литературнаго журнала. *Ежемѣсячныя сочиненія* издавались академикомъ, при академіи. Миллеръ былъ одинъ изъ первостепенныхъ ученыхъ своего времени, оказалъ незабвенныя услуги русской исторической наукѣ, до изданія журнала имѣлъ за собой редакторскій опытъ: въ теченіе двухъ лѣтъ онъ завѣдывалъ *С.-Петербургскими Вѣдомостями.*

Вѣдомости при редакторствѣ Миллера пользовались крупнымъ успѣхомъ, и этотъ успѣхъ внушилъ Миллеру и другимъ академикамъ, въ томъ числѣ Ломоносову, мысль завести особое періодическое изданіе при академіи.

Собственно Миллеру принадлежала удачная идея — издавать при «Вѣдомостяхъ» особое прибавленіе подъ заглавіемъ—*Историческія, генеалогическія и географическія примѣчанія.* Они и создали въ публикѣ успѣхъ академическому органу, и указали путь, какимъ надо вести новое изданіе.

Въ концѣ 1754 года академія обсудила планъ ученаго періодическаго журнала (de ephemeride quadam erudita), и для насъ въ высшей степени любопытно одно постановленіе ученаго собра-

нія: исключить изъ журнала статьи богословскія и вообще всѣ, касающіяся до вѣры, *а равнымъ образомъ статьи критическія или такія, которыми могъ бы кто-нибудь оскорбиться*: exilent, гласилъ параграфъ, quoque omnia scripta critica vel quae aliquo modo famam alicujus laedere aut contra aliquem scripta videri posiant.

Изъ такого сопоставленія критики съ личнымъ оскорбленіемъ очевидны и популярнѣйшія свойства современной критики, и стараніе академиковъ избѣжать во что бы то ни стало недостойныхъ «литеральныхъ войнъ».

И дѣйствительно, въ *Предувѣдомленіи*, т. е. въ программѣ журнала Миллеръ заявлялъ публикѣ:

«Для сохраненія благопристойности и для отвращенія всякихъ противныхъ слѣдствій вноситься не будутъ сюда никакіе явные споры, или чувствительныя возраженія на сочиненія другихъ, ниже иное что съ обидою написанное противъ кого бы то ни было».

Редактору пришлось многое вытерпѣть, чтобы остаться вѣрнымъ этой программѣ. Съ такими сотрудниками, какъ Сумароковъ и Тредьяковскій, трудно было уберечься отъ «чувствительныхъ возраженій», и Миллеръ находился въ непрестанной войнѣ съ своими коллегами.

Но редакторъ оставался твердъ, и не печаталъ даже вообще критическихъ статей. И отдѣла соотвѣтствующаго не существовало вовсе. За первыя восемь лѣтъ изданія въ журналѣ появилась всего одна критическая статья, переводъ извѣстнаго намъ французскаго отзыва о трагедіи Сумарокова *Синавъ и Труворъ*— безусловно хвалебнаго.

Въ 1763 году *Ежемѣсячныя сочиненія* перемѣнили названіе, прибавлено было «и Извѣстія о ученыхъ дѣлахъ». Это означало особый библіографическій отдѣлъ для иностранныхъ и русскихъ книгъ.

Но и теперь критики все-таки не оказывалось. Авторы рецензій придерживались однообразнаго метода: излагали содержаніе книгъ и рекомендовали ихъ русскимъ читателямъ. Разбора и оцѣнки не допускалось. Конечно, и книги для отзыва брались непремѣнно съ положительными достоинствами—на взглядъ редактора.

Но въ статьяхъ по философіи, очень многочисленныхъ въ журналѣ Миллера, встрѣчались часто общія идеи по эстетикѣ и даже по литературѣ въ практическомъ смыслѣ.

Мнѣнія журнала о существенномъ современномъ вопросѣ—о русскомъ языкѣ—не уступали патріотическимъ восторгамъ Ломо-

носова. Въ статьѣ московскаго профессора философіи Поповскáго, ученика и друга Ломоносова, обсуждались надежды Россіи на успѣхи въ философіи.

Ее отъ грековъ заимствовали римляне, «не можемъ ли и мы,—спрашиваетъ авторъ,—ожидать подобнаго успѣха въ философіи, какой получили римляне?.. Что касается до изобилія россійскаго языка, въ томъ передъ нами римляне похвалиться не могутъ. Нѣтъ такой мысли, кою бы по-россійски изъяснить было невозможно. Что жъ до особливыхъ надлежащихъ по философіи словъ, называемыхъ терминами, въ тѣхъ намъ нечего сомнѣваться. Римляне, по своей силѣ, слова греческія, у коихъ взяли философію, переводили по-римски, а какихъ не могли, тѣ просто оставляли. По примѣру ихъ такъ и мы учинить можемъ» *).

Прекрасно также журналъ понималъ смыслъ поэтическаго творчества. Мысль не оригинальная даже въ эпоху Тредьяковскаго, но здѣсь она выражена ясно и распространена сравнительно съ понятіемъ о *маніи* у автора «Телемахиды».

«Чтобъ быть совершеннымъ стихотворцемъ, надобно обо всѣхъ наукахъ имѣть довольное понятіе и во многихъ совершенное знаніе и искусство... Правила одни стихотворца не дѣлаютъ, но мысль его рождается, какъ отъ глубокой эрудиціи, такъ и отъ присовокупленія къ ней высокаго духа и огня природнаго стихотворчества».

Журналъ даже рѣшается предложить русской публикѣ мысль, совершенно несовмѣстимую съ современнымъ значеніемъ писателя.

«Въ бездѣлицахъ я стихотворца не вижу, въ обществѣ гражданина видѣть его хочу, перстомъ измѣняющаго людскіе пороки».

Мы можемъ, слѣдовательно, судить объ основательности и здравомысліи общихъ литературныхъ идей *Ежемѣсячныхъ сочиненій*. Но все это чисто теоретическія разсужденія. Журналъ не касался *явленій* русской литературы и, слѣдовательно, никакого дѣйствительнаго вліянія на искусство и критику имѣть не могъ. А не касался мы видѣли по какой причинѣ: само слово критика звучало жупеломъ въ ушахъ всѣхъ, кто не рѣшался или былъ не въ состояніи пускать въ ходъ «занозливыя рѣчи».

Помимо такого сорта рѣчей ничего и не оставалось. Самый бойкій полемистъ эпохи—Сумароковъ,—оказывается совершенно

*) Объ *Ежемѣсячныхъ сочиненіяхъ*—статьи *Очерки русской журналистики, преимущественно старой. Современникъ* 1851, томы XXV—XXVI. Пекарскій. *Редакторъ, сотрудники и цензура.*

безпомощнымъ, лишь только отъ полемики хочетъ перейти къ литературнымъ сужденіямъ объ отдѣльныхъ произведеніяхъ.

Пока можно изводить противника изъ-за *паки* и *опять*, *сей* и *оный*, *ий* и *ой*, Сумароковъ въ извѣстномъ смыслѣ даже интересенъ. Но стоитъ ему начать эстетическій разборъ, и немедленно весь азартъ разрѣшается такими приговорами о стихахъ и цѣлыхъ произведеніяхъ: «преславно», «скаредный», «преизящно», «подло и гнусно». Иногда критикъ съ умилительной наивностью обнаруживаетъ свою немощь. Напримѣръ, объ одномъ явленіи трагедіи Вольтера *Меропа* (III, 4) говорится: «чего оно достойно—я чувствую, но словами изобразити не могу».

И Сумароковъ вовсе не исключительный примѣръ неумѣлости и безсилія. Съ драматургомъ сошелся гораздо болѣе дѣльный и даровитый человѣкъ—знаменитый публицистъ и ревнитель просвѣщенія XVIII вѣка, одинъ изъ крайне немногочисленныхъ разумныхъ воспитанниковъ европейской культуры своей эпохи и въ то же время рѣдкостнѣйшій примѣръ—на русской почвѣ—умственной энергіи, практической талантливости и благороднѣйшихъ стремленій.

Этотъ удивительный и разносторонній дѣятель вздумалъ внести свою лепту и въ исторію русской литературы, составилъ *Опытъ историческаго словаря о русскихъ писателяхъ*... Можно подумать,—статьи здѣсь писалъ не Новиковъ, а Сумароковъ, вдругъ ко всѣмъ чрезвычайно подобрѣвшій, забывшій всѣ ссоры и пререканія и вздумавшій всѣхъ простить и все забыть.

Словарь переполненъ панегириками или снисходительными отзывами о самыхъ мелкихъ дѣятеляхъ и фактахъ русской литературы. Въ предисловіи авторъ обѣщалъ только «великую умѣренность», а на самомъ дѣлѣ почти всѣ статьи превратилъ въ сплошную хвалу писателямъ. Обычныя выраженія о произведеніяхъ: «довольно хороши», «весьма изрядны», «слогъ чистъ, важенъ, плодовитъ и пріятенъ», или «слогъ чистъ и текущъ».

Восторгъ предъ Сумароковымъ уживается съ такимъ отзывомъ о Тредьяковскомъ: «первый открылъ въ Россіи путь къ словеснымъ наукамъ, а паче къ стихотворству».

Эта елейность новиковскаго произведенія претила даже современникамъ, во всякомъ случаѣ болѣе юному поколѣнію читателей. Предъ нами одно изъ интереснѣйшихъ изданій начала XIX вѣка—*Разсужденіе о Дельфинѣ, романѣ г-жи Сталь-Голстейнъ, переводъ съ французскаго*. Книжка издана въ 1803 году, но предисло-

ніе къ ней касается всей критики ранней эпохи. Между прочимъ, отзывъ о Словарѣ Новикова сопровождается чрезвычайно мѣткими замѣчаніями общаго характера: съ ними мы еще встрѣтимся.

Самый словарь уничтожается безусловно: «во всю мою жизнь не читывалъ я смѣшнѣе сей книги», говоритъ авторъ и выписываетъ рядъ дѣйствительно забавныхъ, ничего не говорящихъ отзывовъ Новикова. Авторъ хотѣлъ бы основательнаго разбора достоинства и недостатковъ поэтическихъ произведеній. Онъ видитъ большой вредъ въ «таковомъ снисхожденіи»: оно «послужитъ только къ большей порчѣ множества молодыхъ людей»: не удерживаемые критикой, юноши бросаются въ литературу вмѣсто болѣе полезныхъ занятій!..

Авторъ совершенно правъ относительно частныхъ сужденій Новикова, но въ Словарѣ встрѣчается нѣсколько достойныхъ вниманія общихъ замѣчаній: они знаменуютъ нѣчто новое сравнительно съ классической схоластикой.

Новиковъ по поводу нѣкоторыхъ пьесъ говоритъ о вѣрномъ изображеніи русскихъ нравовъ, выдержанности характеровъ, естественности дѣйствія.

Самое существенное здѣсь—замѣчаніе о нравахъ. Это—отголоски національнаго принципа критики,—отголоски очень смутные и неустойчивые, но они—непримиримое противорѣчіе прославленію сумароковскаго таланта.

Новиковъ, повидимому, не чувствовалъ диссонанса въ хвалебныхъ гимнахъ своей критики, или не хотѣлъ настаивать на общихъ истинахъ въ ущербъ личностямъ. Онъ такъ старался избѣжать злословія и осмѣянія, этихъ краеугольныхъ камней современныхъ критическихъ упражненій!

Но именно тѣмъ и любопытны и краснорѣчивы будто невольныя обмолвки автора въ пользу принциповъ, губительнѣйшихъ для всего зданія европейско-россійской словесности! Очевидно, были настоятельныя внѣшнія побужденія не нанести обиды и другой силѣ, не имѣвшей ничего общаго съ литературой Сумарокова и Тредьяковскаго.

Въ дѣйствительности эти побужденія являлись такими настоятельными и особенно для ревностнѣйшаго поборника русскаго народнаго просвѣщенія, что трудно и оцѣнить по достоинству «великую умѣренность» Новикова въ литературной критикѣ.

Въ то самое время, когда возникалъ его Словарь, въ русской печати шла ожесточенная война. Участіе въ ней принималъ Новиковъ и вообще вся современная журналистика.

Для насъ теперь и стычки, и генеральныя сраженія этой борьбы просто литературныя преданія, имена героевъ звучатъ какими-то школьными, ископаемыми звуками. А между тѣмъ, на сценѣ русской критики впервые разыгрывалась настоящая драма великаго идейнаго и психологическаго интереса. Противъ толпы старовѣровъ и просто враговъ стоялъ одинъ человѣкъ. Въ шестидесятыхъ годахъ русскаго восемнадцатаго вѣка онъ съумѣлъ вокругъ своей личности сосредоточить столько сильныхъ чувствъ собратьевъ-писателей, что намъ невольно вспоминаются другіе русскіе шестидесятые годы.

Конечно, не надо забывать перспективы! Но, вѣроятно, было же что-то исключительное и въ смѣломъ борцѣ, и въ его предпріятіи, если до насъ дошли самыя злобныя изображенія его внѣшней и внутренней природы, если его дѣятельность и личность подсказали журнальнымъ противникамъ особенное, на рѣдкость выразительное слово *Стозмѣй*...

Даромъ такая привилегія не дается, да еще преподнесенная съ такимъ стремительнымъ единодушіемъ!..

XXVIII.

До какой степени медленно и трудно усвоиваются культурнымъ обществомъ простѣйшія и, повидимому, вполнѣ естественныя идеи—краснорѣчивѣйшее доказательство исторія литературы.

У художественнаго творчества самая обширная публика, соприкосновеніе его съ дѣйствительной жизнью самое тѣсное и непосредственное. Писатели подлежатъ свободной и разносторонней оцѣнкѣ и болѣе, чѣмъ всѣ другіе умственные дѣятели, принуждены считаться съ условіями своей среды, съ ея постепеннымъ нравственнымъ и общественнымъ развитіемъ.

Можно сказать, сама жизнь въ ея многообразномъ движеніи первый художественный критикъ и неотразимый судья. Литературѣ ли послѣ этого не быть правдивой, жизненной, въ полномъ смыслѣ реальной?

И между тѣмъ, ни философія, ни наука не завѣщали исторіи болѣе многочисленныхъ и странныхъ заблужденій и насильственныхъ фантастическихъ вымысловъ, чѣмъ искусство.

Что̀, казалось бы, дальше могло отстоять отъ жизни и правды, чѣмъ ложно-классическая школа? Что̀ могло до такой степени деспотически врываться въ душу самого писателя и налагать рабскія оковы на его талантъ и личные опыты?

И человѣческая природа не всегда легко и радостно гнулась подъ ярмомъ. Бывали минуты возмущенія, и именно у самыхъ талантливыхъ, у самыхъ, слѣдовательно, способныхъ завоевать себѣ права и свободу.

Но это были только минуты... Негодующій голосъ умолкалъ, свѣтлое вдохновеніе отлетало отъ избранника, и онъ покорно вступалъ въ общее стадо и шелъ торнымъ путемъ правилъ и авторитетовъ.

Потребовалось два столѣтія богатѣйшимъ европейскимъ литературамъ, чтобы покончить съ игомъ классицизма. А въ исконномъ царствѣ школы рѣшительнаго конца не предвидится еще и въ наши дни!

Въ русской литературѣ не было такихъ прочныхъ школьныхъ преданій, какъ на Западѣ. Ей стоило только излѣчиться отъ основного недуга, — ученической подражательности, и идолы падали сами собой. Но именно это излѣченіе и совершалось съ большими затрудненіями и мучительными судорогами юнаго литературнаго организма. Правда, на помощь истинѣ вскорѣ пришла мощная сила художественныхъ талантовъ, но до тѣхъ поръ каждый малѣйшій шагъ по пути реализма и свободы покупался нашей критикой цѣной усиленной и часто безплодной борьбы.

Мы знаемъ, ни у одного изъ самыхъ раннихъ критиковъ не было недостатка въ національныхъ инстинктахъ. О Ломоносовѣ нечего и говорить. Патріотическое чувство увлекало ученаго даже въ тѣ области, гдѣ спорные вопросы рѣшались оружіемъ не науки и литературы. Но самое искреннее усердіе не помѣшало Ломоносову свято вѣровать въ нѣмецкія піитики и поддерживать у себя искусственное пламя одописнаго восторга.

Отъ его современниковъ еще менѣе можно было ожидать смѣлости и независимости. Что означали ихъ національныя стремленія и всяческій патріотизмъ, доказалъ самый безпощадный гонитель словесной галломаніи, Сумароковъ. Повидимому, ничего не могло быть естественнѣе, какъ понятіе о чистомъ національномъ *языкѣ* — перенести на *содержаніе* произведеній, возникающихъ на этомъ языкѣ.

Если дѣйствующія лица должны *говорить* по-русски, безъ новоманерныхъ словъ и безъ галлицизмовъ, они, конечно, обязаны и *поступать* также, быть не менѣе національными въ нравахъ, чѣмъ въ рѣчахъ. Слова, вѣдь, только результатъ другого, болѣе важнаго и глубокаго порока—страсти модныхъ господъ перестраи-

вать свою внѣшнюю и внутреннюю жизнь по иноземнымъ образцамъ. Устраните подражательность въ привычкахъ и въ образѣ мыслей, она сама собой исчезнетъ въ разговорѣ и, слѣдовательно, въ литературномъ языкѣ.

Эта столь очевидная логика оказывалась совершенно недоступной нашимъ критикамъ и они устроили грозный натискъ на писателя, позволившаго себѣ перенести національный протестъ изъ области *грамматики* на сцену *жизни*. Шагъ отнюдь не революціонный и менѣе всего безумно-смѣлый, но когда вы знакомитесь съ исторіей по современнымъ документамъ, скромный авторъ теперь совершенно забытыхъ произведеній начинаетъ казаться чуть не преобразователемъ литературы, по крайней мѣрѣ, литературныхъ идей.

Авторъ, дѣйствительно, въ высшей степени скроменъ. Въ эпоху болѣзненныхъ писательскихъ самолюбій и претензій, *Стоэмпй*, т. е. Владиміръ Лукинъ, производитъ совсѣмъ неожиданное впечатлѣніе.

Вообразите, онъ самъ говоритъ о недостаткахъ своихъ сочиненій, самъ искренне упрашиваетъ критиковъ серьезно разобрать его комедіи и научить его искусству писать лучше. Онъ готовъ выслушать какія угодно наставленія, лишь бы вышла польза. Онъ подчинится авторитету стараго заслуженнаго писателя, но только пусть этотъ авторитетъ заявитъ свои права не на основаніи давности и славы, а по здравому смыслу и дѣйствительному литературному таланту.

Очевидно, со стороны подобнаго критика не могло быть ни преднамѣренной злостности, ни надоѣдливой запальчивости. Сравнительно съ Сумароковымъ, это голубиная душа и застѣнчивый школьникъ. И, между тѣмъ, именно Сумароковъ, по свидѣтельству современниковъ, выходилъ изъ себя при одномъ имени Лукина.

Бывало и хуже. Нашъ авторъ подвергался опасности получить такое же возмездіе за свое литераторство, какое переносилъ Тредьяковскій. Очевидно, не было удержу ненависти, посѣянной Лукинымъ въ сердцахъ своихъ современниковъ, хотя онъ отнюдь не разсчитывалъ быть непремѣнно ихъ соперникомъ въ литературныхъ успѣхахъ.

Откуда же такая напряженная воинственность?

Лукинъ писалъ комедіи, точнѣе, передѣлывалъ ихъ съ французскихъ образцовъ и только единственную пьесу—*Мотъ, любовью исправленной*—можно считать сколько-нибудь оригинальнымъ про-

изведеніемъ. Таланта, очевидно, большого не было, и, какъ драматургъ, Лукинъ не представлялъ опасности даже Сумарокову.

О Фонвизинѣ нечего и говорить. Даже *Мотъ*, имѣвшій успѣхъ на сценѣ, не могъ сравняться съ *Бригадиромъ* и *Недорослемъ*. И все-таки ихъ знаменитый авторъ присоединилъ свой голосъ къ нападкамъ на Лукина. Перебравъ весь репертуаръ предосудительныхъ нравственныхъ качествъ, Фонвизинъ напалъ на счастливую мысль: предки Лукина «никакихъ чиновъ не имѣли», и потому даже служить съ такимъ человѣкомъ зазорно! И вообще относительно Лукина не дѣлалось никакого различія между чисто-личными вопросами и литературной дѣятельностью.

Адская Почта разсказывала скандалъ, постигшій было дерзкаго критика. *Трутень*, издававшійся Новиковымъ, помѣстилъ слѣдующее письмо къ издателю. Оно довольно точно отражаетъ чувства, вызванныя у журналистики Лукинымъ, и знакомитъ насъ съ причинами общаго негодованія, конечно, въ извращенной формѣ.

Рѣчь ведется отъ лица самого ненавистнаго критика.

«Мнѣ и славныя русскія трагедіи кажутся ничего не значущими... Словомъ, какъ бы кто хорошо ни написалъ, только не добьется отъ меня, чтобы я вмѣсто худо сказалъ хорошо; и кто что ни говори, а я все-таки стану продолжать свое искусство, т.-е. шептать на ухо, что то-то и то-то худо, а такихъ людей много, которые, сами ничего не зная, мнѣ вѣрятъ...

«Нѣсколько тому миновало мѣсяцевъ, какъ вступилъ я на двадцать восьмой годъ отъ моего рожденія, и въ такое короткое время успѣлъ всѣхъ перекритиковать, перебранить, себя прославить, у другихъ убавить славы, многимъ женщинамъ вскружить головы, молодыхъ господчиковъ отъ ревности свести съ ума и выросль безъ мала въ два аршина съ половиною. Лицо имѣлъ я очень смуглое, но съ того времени, какъ началъ притираться китайскимъ порошкомъ, сталъ гораздо бѣлѣе, а станомъ похожъ на астронома... Я опричь русской грамоты почти ничему не учился, но все знаю, выключая русской азбуки, которую тогда я не доучилъ, а послѣ не имѣлъ времени: ибо началъ упражняться въ письменахъ. А ради того и понынѣ не знаю, гдѣ ставятся *ѣ* и *е*, гдѣ *і* и *и*, гдѣ *а* и *ахъ*!—и тому подобное и гдѣ какія препинанія; для чего вмѣсто запятой, часто ставлю удивительную и вопросительную, а двоеточіе при всякомъ словѣ, ибо мнѣ кажется, что всякое слово отъ другова отдѣляется, и тѣмъ и разрѣзываетъ мысль: но ето бездѣлица...»

Такого же тона или еще болѣе рѣзкаго держались относительно Лукина и другіе журналы—*Смѣсь*, *Полезное съ пріятнымъ*, *Пустомеля*.

Противники не оставляли въ покоѣ и оффиціальную службу Лукина—секретаря при кабинетъ-министрѣ Елагинѣ, и открыто уличали его въ искусствѣ, путемъ лести, «приходити въ милость у большихъ баръ».

Можетъ быть, какъ чиновникъ, Лукинъ и могъ вдохновлять своихъ враговъ на злостныя выходки. Говоритъ же онъ о себѣ: «я родился въ свѣтъ къ принятію одолженій отъ сердецъ великодушныхъ». И онъ съумѣлъ стяжать не мало этихъ одолженій, изъ бѣднаго состоянія, хотя и дворянскаго, дослужившись до дѣйствительнаго статскаго совѣтника.

Не особенно большихъ усилій стоило критикамъ развѣнчивать и драматическія упражненія Лукина: онъ самъ очень невысокаго мнѣнія о своихъ пьесахъ.

Но мы должны не забывать,—мы въ XVIII-мъ вѣкѣ. Что это значило для писателя,—намъ извѣстно. Гораздо позже исторіи съ Лукинымъ, два первенствующихъ и впослѣдствіи также высокопоставленныхъ автора—Крыловъ и Карамзинъ—засвидѣтельствовали горькую участь современнаго писателя.

Крыловъ въ одной изъ остроумнѣйшихъ своихъ сказокъ—*Каибъ*, изображалъ матеріальное положеніе усерднѣйшаго одописца. Бѣднякъ успѣлъ прославить множество меценатовъ, но все-таки не нажилъ себѣ даже приличнаго кафтана...

И трудно было достигнуть даже такого благополучія въ томъ обществѣ, гдѣ «удачнѣе можно искать щастія съ помощію портнова, парикмахера и каретника, нежели съ помощію профессора философіи» *).

Карамзинъ еще ближе подходитъ къ вопросу.

«Мы начинаемъ только любить чтеніе,—пишетъ онъ,—имя хорошаго автора еще не имѣетъ у насъ такой цѣны, какъ въ другихъ земляхъ; надобно при случаѣ объявить другое право на улыбку вѣжливости и ласки» **).

И дальше объясняется, какое право—*чины*.

Но даже и они не мѣшали писателямъ препираться другъ съ другомъ насчетъ происхожденія.

*) *Зритель*, 1792 г., декабрь, стр. 282; май, 41.

**) *Отчего въ Россіи мало авторскихъ талантовъ.*

Незнатная персона былъ Тредьяковскій, всего сынъ попа, а между тѣмъ и онъ торопился укорить Ломоносова въ «подломъ» рожденіи. Мы только-что слышали, какъ смотрѣлъ на дѣло самъ *Стародумъ*, благонамѣреннѣйшій проповѣдникъ души и сердца.

Естественно, Лукинъ пробирался въ люди со всѣмъ усердіемъ, какое ему доступно. Но успѣхи по службѣ не мѣшали его независимости на поприщѣ литературы.

Здѣсь онъ не признавалъ никакихъ чиновъ, и первый поднялъ руку на славу Сумарокова. Въ глазахъ *Трутня*, несомнѣнно, достойнѣйшаго «злоязычника», именно это «дерзновеніе» являлось самымъ тяжкимъ грѣхомъ Лукина.

«Дерзновеніе» не возбуждало бы такого негодованія, если бы дѣйствительно выходило столь неосновательнымъ и комическимъ, какимъ его представляетъ журналъ. У Лукина оказывались *принципы*, настолько убѣдительные и здравые, что именно ихъ внутреннее достоинство невольно сознавалось поклонниками россійскаго Расина. А подобное сознаніе правоты врага, какъ извѣстно, сильнѣйшій мотивъ ожесточенія.

XXIX.

Новиковъ совершенно неправъ, укоряя нашего критика въ малограмотности. Напротивъ, Лукинъ обладалъ, пожалуй, болѣе обширной *грамотой*, чѣмъ издатель *Трутня*.

Онъ зналъ два новыхъ языка—французскій и нѣмецкій, и одинъ древній—латинскій. И что особенно важно, эта ученость, очевидно, усвоена Лукинымъ самостоятельно, по глубокой наклонности «къ словеснымъ наукамъ». Надъ нимъ не тяготѣла педантическая учёба, въ литературѣ и въ эстетикѣ онъ дилеттантъ и стоитъ гораздо ближе къ жизни, чѣмъ къ книгамъ. Онъ прежде всего чиновникъ, т.-е. практическій дѣятель, человѣкъ общества, и потомъ уже писатель.

Фактъ очень важный.

Въ нашей старой литературѣ безпрестанно можно встрѣтить разсужденія о необходимыхъ достоинствахъ настоящаго писателя, о способахъ развить литературный талантъ. Самые свѣдущіе наблюдатели, напримѣръ, Карамзинъ и Жуковскій, даютъ одни и тѣ же отвѣты.

Писатель долженъ жить въ обществѣ, чтобы совершенствовать свой вкусъ и вырабатывать языкъ. Конечно, и Карамзину, и Жу-

ковскому извѣстно, какъ трудно русскому литератору выполнить эту программу. Прежде всего, его могутъ не пустить въ хорошее общество, а потомъ—ему и нечему научиться здѣсь по части языка: здѣсь говорятъ по-французски и не желаютъ знать родной рѣчи.

Такъ было въ прошломъ вѣкѣ и долго оставалось позже, до тѣхъ поръ, пока *просвѣщенное общество* перестало совпадать съ карамзинскимъ *большимъ свѣтомъ*.

Но сущность идеи совершенно правильная.

Наши классики—фанатическіе буквоѣды и копировальщики чужихъ мыслей и произведеній, прежде всего, благодаря полной оторванности отъ современной общественной жизни, все равно, какова бы она ни была. Литераторы прошлаго вѣка—своего рода цехъ, отчасти каста, осужденная на исключительно кабинетную работу, на производство разныхъ словесныхъ и книжныхъ хитростей. И чѣмъ писатель полнѣе осуществляетъ свое отшельническое назначеніе, тѣмъ онъ педантичнѣе и неподвижнѣе въ своихъ профессіональныхъ взглядахъ, тѣмъ онъ покорнѣе книжному авторитету.

Напротивъ, чѣмъ писатель ближе къ живой дѣйствительности, чѣмъ онъ общественнѣе, тѣмъ свободнѣе его отношеніе къ искусству. И не случайно основатели новыхъ школъ въ старой русской литературѣ какъ разъ одновременно—и писатели, и «свѣтскіе люди».

Этого сліянія способностей и требовалъ Жуковскій, но далеко не всѣмъ оно было доступно. Ему самому и Карамзину посчастливилось больше другихъ, и въ результатѣ выиграла авторская свобода и даже внѣшняя красота произведеній.

Мы, конечно, не должны преувеличивать благодѣтельныхъ вліяній свѣтской жизни на старую литературу. Мы знаемъ, большому свѣту отнюдь было не по силамъ вызвать, даже оцѣнить настоящее жизненное искусство. Свѣтъ до конца не выходилъ изъ заколдованнаго круга лжи и забавы, считая литературу чисто эстетическимъ и увеселительнымъ украшеніемъ своего безпечальнаго существованія.

Но мы и не говоримъ объ идейномъ внутреннемъ преобразованіи художественнаго творчества, а только о внѣшнихъ успѣхахъ словесности. Устраненіе педантизма и схоластики было несомнѣннымъ движеніемъ впередъ, и оно совершалось не профессорами элоквенціи, а людьми не столь глубокомысленнаго, но за то болѣе реальнаго міра.

Лукинъ одинъ изъ его питомцевъ.

*

Лучшую пьесу онъ написалъ по личнымъ опытамъ. Это—совершенная новость въ русской литературѣ, вплоть до Грибоѣдова. Правда, Крыловъ и особенно Фонвизинъ могли взять нѣсколько *подлинниковъ* изъ жизни въ свои произведенія, но это отдѣльныя черты и фигуры на ихъ картинахъ. Лукинъ, не обладая талантами своихъ современниковъ, стремится перенести на сцену цѣлую жизненную драму съ ея героями и эпизодами, лично ему извѣстными и подробно изученными.

Въ предисловіи къ *Моту* авторъ сознается, что онъ самъ «въ ономъ вредномъ ремеслѣ долго упражнялся», видѣлъ гибельные плоды страсти и вознамѣрился воспользоваться своими наблюденіями для общей пользы. Лукинъ рисуетъ полную картину игорной комнаты. Онъ не можетъ забыть многочисленныхъ фигуръ, немногихъ счастливцевъ и большинства несчастныхъ, истощенныхъ и разбитыхъ своими неудачами... Впечатлѣнія были до такой степени сильны, что авторъ навсегда бросилъ игру.

Слѣдовательно, предъ нами въ полномъ смыслѣ драма нравовъ, но, къ сожалѣнію, только по замыслу. У Лукина несравненно больше добрыхъ намѣреній, чѣмъ силъ осуществить ихъ. И недостатокъ художественнаго таланта подорвалъ всѣ его усилія.

А между тѣмъ, они по существу направлены противъ всякой литературной школы, разсчитаны на полное преобразованіе языка и содержанія русской комедіи, совпадаютъ, слѣдовательно, съ позднѣйшей дѣятельностью Грибоѣдова. Но какая разница между *подлинниками Мота* и *портретами Горя отъ ума.*

Лукинъ также вывелъ на сцену дѣйствительныхъ лицъ, какъ и Грибоѣдовъ, но дѣйствительность воспроизводить оставалось почти исключительно актерамъ при помощи костюмовъ и внѣшней игры. Типа, души, цѣльнаго явленія не было въ самой драмѣ и только это обстоятельство помѣшало Лукину предвосхитить дѣло Грибоѣдова.

Послушайте разсужденія Лукина, обратите вниманіе на его желаніе найти доказательства не у Буало или иного книжнаго авторитета, а у публики. Онъ ссылается даже не на Вольтера, а на впечатлѣнія какихъ-то безвѣстныхъ зрителей. На сцену, слѣдовательно, выступаетъ та самая сила, какая впослѣдствіи рѣшитъ будущее грибоѣдовской *свободы* и пушкинскаго *права.*

Лукинъ писалъ:

«Мнѣ всегда несвойственно казалось слышать чужестранныя рѣченія въ такихъ сочиненіяхъ, которыя долженствуютъ изобра-

женіемъ *нашихъ нравовъ* исправлять не только общіе всего свѣта, но болѣе *участные нашего народа пороки*. И неоднократно слыхалъ я отъ нѣкоторыхъ зрителей, что не только ихъ разсудку, но и слуху противно бываетъ, ежели лица хотя по нѣскольку на наши нравы походящія, показываются въ представленіи *Клитандромъ*, *Цитодиною* и *Клодиною*, и говорятъ рѣчи, не *наши поведенія знаменующія*. Негодованіе сихъ зрителей давно почиталъ я правильнымъ».

Лукинъ указываетъ нѣкоторыя частности, прямо касавшіяся Сумарокова, одного изъ усерднѣйшихъ «крадуновъ» французской комедіи.

У него слуги философствовали не хуже господъ, при бракахъ заключались свадебные контракты, невѣдомые по русскимъ законамъ и обычаямъ.

Заключеніе выходило нестерпимо оскорбительное для того же россійскаго Вольтера: «Мы на своемъ языкѣ свойственныхъ намъ комедій еще не видали».

Лукинъ даже изумлялся, какъ русская публика, при всемъ ея невѣжествѣ, не чувствуетъ отвращенія къ современной комедіи.

Улики въ плагіатѣ особенно чувствительны. Ихъ не могъ выносить даже Вольтеръ, и именно онѣ были главной причиной его озлобленія на Фрерона.

Что же чувствовалъ Сумароковъ, когда читалъ въ предисловіи къ *Пустомелѣ*, что русскія классическія комедіи «на нашъ языкъ почти силою втащены»?—«Полно, нынѣ такой вѣкъ, что и во всемъ свѣтѣ тѣ лишь знатными писателями и называются, которые лучше прочихъ выкрадутъ и искусненько прикрывши выдадутъ за свое сочиненіе»...

Самъ Лукинъ не скрывалъ своихъ заимствованій.

Но вся бѣда и была въ неизбѣжности этихъ заимствованій, хотя бы и совершенно откровенныхъ. По крайне бѣдному драматическому дарованію Лукинъ могъ только «склонять на наши нравы» чужія пьесы, т. е. заниматься передѣлками, выбрасывать изъ французскихъ комедій спеціально французское и вставлять коегдѣ «свойственное намъ». Выходила тоже въ сущности «изъ вѣтоши перекропышь».

И естественно Сумарокову и его почитателямъ притязанія Лукина казались совершенно неосновательными, а критика—обидной.

Лукинъ открыто выражалъ пренебреженіе къ *авторитету* Сумарокова, вообще не считалъ нужнымъ считаться со вкусами ста-

рыхъ писателей, генераловъ отъ литературы. Онъ не желаетъ пресмыкаться въ ихъ переднихъ и домогаться ихъ руководства и исправленій въ литературной работѣ. Старовѣры ничему его не могли научить, а пьесы только исказить «шапеленскими стихами».

Это неслыханный либерализмъ! Преемственность педантическаго цеха отметалась, и во имя чего же? Зрителей, и не только почтенныхъ, а даже во имя презрѣнной черни.

Лукинъ, порвавши съ аристократическимъ классицизмомъ, неизбѣжно долженъ былъ придти къ вопросу о самой широкой демократизаціи литературы. Единственной опорой для него оставалась публика, и притомъ менѣе всего зараженная предразсудками, т. е на языкѣ XVIII вѣка—совсѣмъ не просвѣщенная.

Отсюда—сочувствія Лукина къ народу, къ его судьбѣ и его языку.

Аристократъ Тредьяковскій съ презрѣніемъ выговаривалъ «ямщичей вздоръ» и «мужицкой бредъ», Лукинъ именно у ямщиковъ и мужиковъ будетъ учиться русскому языку. Онъ жалѣетъ, что мало живалъ и разговаривалъ съ мужиками. Для него—крѣпостные крестьяне—достойныя сожалѣнія жертвы знатныхъ тунеядцевъ, «невинные земледѣльцы», чья «кровь течетъ съ раззолоченныхъ каретъ». Онъ признаетъ этихъ «животныхъ для себя равнымъ созданіемъ»...

Достаточно этихъ идей, чтобы поставить Лукина на недосягаемую высоту не только надъ классиками, но и надъ позднѣйшими самыми трогательными апостолами литературной чувствительности.

Лукинъ стремится оправдать свои мысли на практикѣ. Онъ ведетъ упорную войну противъ иностранныхъ словъ, онъ питаетъ къ нимъ «полное отвращеніе» и усиливается замѣнять ихъ русскими.

Замѣна эта далеко не всегда удачна и самъ авторъ сознается, что его изобрѣтенія иной разъ непонятны зрителямъ. Но они необходимы «для познанія силы, пространства, а иногда и красоты природнаго языка».

Лукинъ готовъ всѣ простыя сословія вывести на сцену съ ихъ рѣчью. У купцовъ онъ заимствуетъ слово *Щепетильникъ* для французскаго *Bijoutier*, и въ этой же пьесѣ заставляетъ дѣйствовать мужиковъ съ ихъ провинціальными говорами. Публикѣ приходилось вмѣсто новомодныхъ словъ по французскому образцу слышать врядъ ли болѣе для нея понятныя выраженія отечественнаго происхожденія, въ родѣ: *сарынь*, *галчить*, *вздынуть*, *галиться*...

Это очень смѣло со стороны драматурга XVIII вѣка. Но смѣлость Лукина—вполнѣ обдуманный и серьезный планъ. Для него народъ—дѣйствительно герой и публика. Когда въ Петербургѣ, въ 1765 году, открылся народный театръ и сразу пріобрѣлъ большую популярность, Лукинъ торжествовалъ.

Онъ взглянулъ на новое учрежденіе, какъ на истинную школу нравственности и даже народнической литературы.

«Сія народная потѣха, — писалъ онъ, — можетъ произвесть у насъ не только зрителей, но со временемъ и писцовъ, которые сперва хотя и неудачны будутъ, но въ послѣдствіи исправятся».

Мы можемъ судить по собственнымъ разсужденіямъ Лукина, въ какой степени «писцы» нуждались въ исправленіи, начиная съ самого критика.

Лукинъ не обладалъ даже хорошимъ литературнымъ стилемъ. Отъ его предисловій вѣетъ какимъ-то канцелярскимъ духомъ, будто подьячій составляетъ хитрую казенную бумагу, а не писатель доказываетъ столь благотворныя и прогрессивныя идеи.

XXX.

О прогрессивности идей Лукина можно судить уже по чувствамъ, съ какими современные геніи и аристархи встрѣтили и сопровождали ихъ автора. Но у него были и сторонники.

Они, конечно, не считали нужнымъ подчеркивать свою связь съ ненавистнымъ *Стозмѣемъ*, осмѣяннымъ даже за свою внѣшность. Но въ журналахъ, современныхъ тому же *Трутню*, усердному защитнику Сумарокова, встрѣчаются иногда совершенно лукинскія мысли.

Напримѣръ, во *Всякой всячинѣ*, издаваемой Козицкимъ, адъюнктомъ академіи, очень дѣятельнымъ переводчикомъ и впослѣдствіи сотрудникомъ Екатерины, повторялась любимая идея Лукина насчетъ *нравовъ* компилятивной комедіи.

«Я думаю», писалъ критикъ, «что не въ однѣхъ книгахъ должно держаться сего правила, чтобы русскимъ представлять русскія умоначертанія, но и въ позорищахъ. Ибо маркизъ на русскомъ театрѣ уши деретъ, а къ свадебному контракту тетушка моя смысла не привязываетъ».

Еще любопытнѣе критика *С.-Петербургскаго Вѣстника*.

Журналъ издавался въ теченіе трехъ лѣтъ съ 1778 года нѣкіимъ Брайко.

Издатель понималъ значеніе литературной критики и серьезно поставилъ этотъ отдѣлъ въ своемъ журналѣ. Публикѣ обѣщались безпристрастныя сужденія объ авторахъ, «не смотря ни на чинъ, ни на свойства, ни на славу». Но не имѣлась въ виду рѣшительность приговоровъ.

Журналъ принималъ во вниманіе «трудности» молодой литературы, отсутствіе у русскихъ писателей образцовъ, «полныхъ словарей и хорошихъ первоначальныхъ произведеній». Въ силу этихъ соображеній журналъ имѣлъ «больше склонности хвалить, нежели порочить».

Но уже это заявленіе выходило нѣкоторымъ «порокомъ» хотя бы для того же всесторонняго образца Сумарокова. И дѣйствительно, въ самомъ началѣ *Вѣстникъ* обвинялъ знаменитаго драматурга, что онъ «не употребилъ достаточнаго старанія прилежнѣе разобрать наши нравы».

Еще ближе стоялъ къ идеаламъ Лукина поэтъ Львовъ, его младшій современникъ.

Опять полная свобода отъ педантизма и оффиціальной учености. Львовъ—членъ поэтическаго кружка, другъ Державина, Капниста, Хемницера. Это нѣчто въ родѣ домашней академіи, и трудно было, конечно, при участіи Державина поклоняться Буало. Здѣсь несравненно больше мѣста дѣйствительно поэтическому вдохновенію, свободному художественному чувству, и Львовъ является первымъ критикомъ-поэтомъ національнаго направленія.

Въ сущности опять только продолженіе ранняго теченія.

Тредьяковскій восхищался *размѣромъ* русскихъ пѣсенъ, т. е. ихъ *формой*, Львовъ почувствовалъ красоту ихъ *содержанія* и прелесть ихъ *напѣва*, т. е. открылъ въ нихъ не правила піитики, а силу творчества.

Въ этомъ отношеніи Львовъ—предшественникъ всѣхъ ученыхъ и художественныхъ цѣнителей народной поэзіи. Фактъ, достойный полнаго вниманія, если мы вспомнимъ, съ какимъ трудомъ много лѣтъ спустя даже Бѣлинскій дошелъ до пониманія предмета.

Львовъ умѣлъ оцѣнить русскія пѣсни и съ бытовой, психологической стороны. Для него это не праздное упражненіе фантазіи и чувства, а въ высшей степени поучительный культурный матеріалъ.

Такая идея въ эпоху, когда все простонародное на самый либеральный взглядъ могло представлять развѣ только нѣкій курьезъ, въ родѣ достопримѣчательностей ирокезскаго быта, великій про-

грессъ по единственно вѣрному пути національнаго развитія литературы и общественной мысли.

И Львовъ, дѣйствительно, своей поэзіей напоминаетъ отчасти позднѣйшее славянофильство. У него нѣтъ партійнаго фанатизма, но его гимны русскому духу не лишены наивности, нѣкотораго задора, свойственнаго всякому молодому идеализму.

Тѣмъ болѣе, что у Львова были весьма основательныя побужденія впасть даже въ еще болѣе приподнятый тонъ.

Галломанія высшаго общества огорчала его до боли сердца, и русскій духъ, изгнанный изъ большого свѣта, такъ изображаетъ у нашего поэта свою участь:

Поклонился я приворотникамъ
Поселился жить въ чистомъ воздухѣ
Посреди поля съ православными.
Я прижалъ къ сердцу землю русскую
И ношу ее припѣваючи;
Позовутъ меня—я откликнуся,
Оглянусь... но незнакомъ никто
Ни одеждою, ни поступками.

Естественно, Львову не нравилась современная литература, жившая чужими указками. Онъ даже Ломоносова отказывается признавать поэтомъ, для него это «сынъ усилія», т. е. искусственный слагатель стиховъ и риемъ, не свойственныхъ русскому духу.

Въ поэмѣ *Добрыня* Львовъ представилъ цѣлую программу національной критики. Подробностей и точныхъ принциповъ здѣсь, конечно, нельзя искать, но основная мысль ляжетъ въ основу всей послѣдующей борьбы русской критики противъ иноземныхъ школъ.

Говоря о формѣ и размѣрахъ русской поэзіи, Львовъ находитъ:

Не аршиномъ нашимъ мѣряны,
Не по свойству слова русскаго
Были за моремъ заказаны;
И глаголъ славянъ обильнѣйшій
Звучной, сильной, плавной, значущій,
Чтобъ въ заморскую рамку втискаться
Принужденъ ежомъ жаться, кучиться,
И лишась красотъ, жару, вольности;
Соразмѣрнаго силъ поприща,
Гдѣ природою суждено ему
Исполинской путь течь со славою,
Тамъ калѣкою онъ щетинится;
Отъ увѣчнаго жъ еще требуютъ
Слова мягкаго, внѣшность бархата.

Рѣчь поэта не всегда такъ спокойна. Подчасъ онъ теряетъ терпѣніе и задаетъ энергическій вопросъ русскимъ литераторамъ:

> Такъ зачѣмъ же намъ надсѣдаться такъ,—
> Биться палицей съ ахинеею?

Это даже сильнѣе грибоѣдовской отповѣди «глупостямъ» классицизма!

Такъ постепенно пробивалась истина сквозь толстую кору подражательскаго фанатизма и рабскихъ инстинктовъ литературы и самихъ литераторовъ. И каждый проблескъ истины, мы видимъ, неизмѣнно стоитъ въ тѣснѣйшей связи не съ эстетикой, а съ публицистикой.

Сильнѣйшіе удары литературному школярству наносятъ писатели, возмущенные европейскими вліяніями на русскіе *нравы*. Прежде всего оскорбляется ихъ національное и патріотическое чувство, а потомъ уже гнѣвъ переносится и въ область искусства. Чисто-художественный вопросъ, слѣдовательно, на русской почвѣ превращается въ культурный и позже прямо политическій.

Сходное движеніе совершалось и на Западѣ. И тамъ борьба школъ сводилась къ борьбѣ сословій, драма одолѣла классицизмъ на сценѣ, потому что она была *мѣщанская*, а классицизмъ—*аристократическій*.

У насъ о сословной борьбѣ не могло быть и рѣчи въ эпоху ранняго развитія литературы, но *національный* протестъ являлся совершенно естественнымъ. Онъ не миновалъ даже преданнѣйшихъ учениковъ западныхъ авторитетовъ, и въ результатѣ съ самаго начала интересъ эстетики, вообще, литературнаго развитія неразрывно слился съ идеей національности. И отъ роста и опредѣленія именно этой идеи зависѣли успѣхи нашей критики. Мы увидимъ, — рѣшительный моментъ ея освобожденія совпалъ съ великимъ національнымъ движеніемъ, съ эпохой отечественной войны. На помощь пришло не мало и другихъ стихій, но всѣ онѣ утверждались, создали совершенно новый кругъ идей и новую теоретическую почву для новой литературы, благодаря побѣдѣ національнаго принципа надъ чужебѣсіемъ.

У Лукина и Львова эта связь идей несомнѣнна, но они ранніе, передовые путники на широкой дорогѣ будущаго, и потому ихъ національзмъ не производитъ цѣльнаго, безусловно внушительнаго впечатлѣнія. Рѣчи ихъ очень энергичны, но мысли дурно оформлены и смутно доказаны. У того и у другого слишкомъ много чувствъ и настроеній въ ущербъ разсужденію и доказательствамъ.

А потомъ у Лукина почти совсѣмъ не было *сатирическаго* таланта столь необходимаго для побѣдоносной борьбы за національную идею, а Львовъ не изъявлялъ притязаній играть роль критика.

Болѣе сильный союзъ сатиры и критики представилъ крыловскій журналъ *Зритель*. Онъ на своихъ страницахъ поднялъ въ высшей степени любопытную и серьезную полемику по вопросу національнаго и подражательнаго искусства. Это—первый примѣръ идейной борьбы между сотрудниками одного и того же журнала. Очевидно, ни въ обществѣ, ни въ самой редакціи не было еще рѣшительнаго отвѣта на жгучій вопросъ. Крыловъ предоставилъ современнымъ критикамъ высказаться вполнѣ свободно, будто обращаясь за окончательнымъ рѣшеніемъ къ самой публикѣ.

XXXI.

Въ чемъ заключались критическія воззрѣнія знаменитаго баснописца,—вопросъ существенный при его художественной талантливости, и въ то же время очень трудный.

Что Крыловъ противникъ подражательности, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія. Въ томъ же *Зритель* нанесено безчисленное множество жесточайшихъ ударовъ россійскому модному обезьянству, и притомъ не ради только сатиры, а во имя гуманнаго общественнаго чувства. *Зритель* держался искренняго демократическаго направленія, и въ каждой книгѣ преслѣдовалъ дворянское тунеядство, рабское пристрастіе къ разорительному блеску, къ иноземнымъ модамъ, и особенно—полное отсутствіе умственныхъ интересовъ въ благородной средѣ.

Въ спискѣ подписчиковъ на «Зритель» поименованъ, между прочимъ, холмогорскій дворцовый крестьянинъ Степанъ Матвѣевичъ Негодяевъ. Этотъ рѣдкостный подписчикъ могъ съ большимъ удовольствіемъ читать сатирическія сказки и рѣчи издателя.

Въ августѣ, напримѣръ, напечатана статья *Мысли философа по модѣ или способъ казаться разумнымъ, не имѣя ни капли разума*. Здѣсь описанъ день благороднаго франта, изображены его учителя и руководители—французы, обучающіе русскихъ дворянъ «трудной наукѣ ничего не думать» и предварительно кончившіе курсъ на галерахъ. Все воспитаніе сводится къ такой морали:

«Съ самаго начала, какъ станешь себя помнить, затверди, что ты благородный человѣкъ, что ты дворянинъ и, слѣдовательно, что ты родился только поѣдать тотъ хлѣбъ, который посѣютъ

твои крестьяны; словомъ, вообрази, что ты счастливый трутень, у коево не обгрызаютъ крыльевъ, и что дѣды твои только для тово думали, чтобы доставить твоей головѣ право ничего не думать».

И здѣсь, слѣдовательно, предъ нами то же самое отношеніе къ народу, какое мы знаемъ изъ произведеній Лукина. Очевидно, Крыловъ будетъ не менѣе убѣжденнымъ врагомъ современной аристократической лживой литературы, чѣмъ авторъ *Щепетильника.* У Крылова только насмѣшки выйдутъ несравненно остроумнѣе и ядовитѣе. Это — прирожденный сатирическій талантъ, невольно переходящій къ убійственной художественной критикѣ на меценатское развращеніе современной литературы..

Ничего не можетъ быть забавнѣе разговора калифа Наиба съ авторомъ одъ.

Калифъ начитанъ въ лирической поэзіи, простодушно вѣритъ ея чувствамъ, и теперь, во время путешествія по своему царству, на каждомъ шагу принужденъ испытывать жесточайшія разочарованія.

Оказывается, одописаніе просто ремесло, самое безопасное, хотя не всегда прибыльное. Героемъ оды можетъ быть кто угодно, лишь бы сочинитель могъ питать надежду на награду.

Калифъ пораженъ.

— Мнѣ удивительна способность ваша,—говоритъ онъ поэту,— хвалить такихъ, въ коихъ, по вашему признанію, весьма мало находите вы причинъ къ похваламъ.

— О, это ничего: повѣрьте, что это бездѣлица: мы даемъ нашему воображенію волю въ похвалахъ, съ тѣмъ только условіемъ, чтобъ послѣ всякое имя вставить можно было. Ода какъ шелковой чулокъ, которой всякой старается растягивать на свою ногу...

Поэтъ сравниваетъ ее съ сатирой и находитъ громадное преимущество оды. Въ сатирѣ нужно непремѣнно изображать дѣйствительные пороки извѣстнаго лица, а въ одѣ—сколь ни опиши добродѣтелей—никто не откажется признать ихъ своими.

Наивный калифъ видитъ важное затрудненіе: вѣдь могутъ узнать ложь, героевъ одописца счесть пустыми пузырями, имъ же надутыми.

Ничего не значитъ. У поэта имѣется самое солидное оправданіе, изъ классической піитики.

— Аристотель иногда очень премудро говоритъ, что дѣйствія и героевъ должно описывать не такими, каковы они есть, но ка-

ковы быть должны. И мы подражаемъ сему благоразумному правилу въ нашихъ одахъ, иначе бы здѣсь оды превратились въ пасквили. И такъ вы видите, сколь нужно читать правила древнихъ.

Еще любопытнѣе опытъ калифа по поводу другого излюбленнаго жанра классическаго искусства—идилліи и эклоги.

Начитавшись сихъ произведеній, калифъ давно уже горѣлъ желаніемъ насладиться золотымъ вѣкомъ, царствующимъ въ деревняхъ, воочію полюбоваться на нѣжности пастушковъ и пастушекъ. Калифъ искренно любилъ своихъ поселянъ и всегда радовался, читая про ихъ счастье въ идилліяхъ. Государь даже завидовалъ ихъ участи: «естьли бы я не былъ калифомъ», говаривалъ онъ, «то бы хотѣлъ быть пастушкомъ».

И вотъ, онъ, наконецъ, видитъ стадо...

«Великой Магометъ», вскричалъ онъ, «я нашелъ то, чево давно искалъ», и сошелъ съ дороги въ поле искать счастливаго смертнаго, который наслаждается при своемъ стадѣ золотымъ вѣкомъ».

Прежде всего требовалось открыть ручеекъ: вѣдь пастушки всегда у чистаго источника наслаждаются любовнымъ блаженствомъ, все равно, какъ модные франты ищутъ счастья въ передняхъ знатныхъ господъ.

Потомъ неразлучный спутникъ идиллическаго счастливца свирѣль.

Калифъ идетъ по полю и на берегу рѣчки дѣйствительно находитъ... но кого? Какое-то «запачканное твореніе, загорѣлое отъ солнца, заметанное грязью».

Калифъ даже сначала усумнился, человѣкъ ли это. Но голыя ноги и борода доказывали человѣческое званіе «творенія».

Все-таки оно не можетъ быть пастухомъ, калифъ справляется у грязнаго дикаря, гдѣ же искомый счастливецъ?

«Ето я», отвѣчало твореніе и въ то же время размачивалъ корку хлѣба, чтобы легче было ее разжевать».

Путешественникъ не можетъ опомниться отъ изумленія. Нѣтъ прежде всего свирѣли: оказывается, пастухъ «голодной не охотникъ до пѣсенъ». Потомъ отсутствуетъ пастушка...

«Она поѣхала въ городъ съ возомъ дровъ и съ послѣднею курицею, чтобы, продавъ ихъ, было чѣмъ одѣться, и не замерзнуть зимою отъ холодныхъ утренниковъ».

Калифъ, наконецъ, догадывается въ чемъ дѣло.

«Но почему жизнь ваша очень незавидна?»

Пастухъ отвѣчаетъ съ истиннымъ «юморомъ висѣлицы»

— О, кто охотникъ умирать съ голоду и мерзнуть отъ стужи, тотъ можетъ лопнуть отъ зависти, глядя на насъ.

Калифъ жестоко раскаивается, что довѣрялъ идилліямъ и эклогамъ.

Выходитъ, стихотворцы обходятся съ людьми, какъ живописцы съ холстомъ: малюютъ все, что угодно ихъ воображенію, и безбожно закрашиваютъ правду.

Калифъ даетъ себѣ слово не судить по произведеніямъ поэтовъ о счастьѣ своихъ мусульманъ.

Трудно искуснѣе и остроумнѣе поразить классическую литературу въ самое сердце. И не одну классическую. Авторъ сказки предвосхитилъ критику противъ русскаго сентиментализма. Разговоръ калифа съ пастухомъ можно съ полнымъ правомъ обратить на Карамзинскую школу, и даже съ бо́льшимъ основаніемъ, чѣмъ на ея предшественницу. Именно Карамзинъ ввелъ въ моду блаженнаго просвѣщеннаго земледѣльца и его нѣжную подругу, онъ создалъ повѣтріе чувствительныхъ вздоховъ и поселянскихъ фарсовъ, и на его литературѣ должна была развиться мечта у юнаго Александра I объ идиллическомъ отшельничествѣ и золотомъ вѣкѣ простого смертнаго.

Ясно, при такомъ проницательномъ взглядѣ на основной недугъ современной литературы, Крыловъ могъ менѣе всего защищать первоисточникъ этого недуга. Писатель являлся слишкомъ талантливымъ *общественнымъ* сатирикомъ, чтобы остаться эстетическимъ староверомъ.

Онъ первый изъ русскихъ журналистовъ рискнулъ предложить читателямъ длинный рядъ статей по литературной критикѣ, безъ всякихъ предварительныхъ оповѣщеній о столь обширномъ отдѣлѣ. Въ глазахъ издателя художественные вопросы въ данномъ случаѣ играли роль настоятельнаго общаго интереса.

И вполнѣ естественно по той связи литературной лжи и общественныхъ представленій, какую раскрывалъ авторъ Каиба.

XXXII.

Критическія статьи *Зрителя* принадлежатъ не Крылову, а его сотруднику Плавильщикову и нѣкоему корреспонденту изъ Орла.

Корреспондентъ ставитъ эпиграфомъ къ своимъ очень запальчивымъ разсужденіямъ правило: «Вода безъ теченія заростаетъ, словесность безъ критики дремлетъ». Это очень смѣлая мысль.

мы увидимъ, она не скоро получила право считаться правильной въ нашей журналистикѣ. Необходимость и даже пользу критики будутъ отвергать такіе популярные писатели, какъ Карамзинъ.

Крыловъ, очевидно, держался совершенно противоположнаго взгляда.

Рядъ статей посвященъ театру и драмѣ. Основная идея не новая—послѣ предисловій Лукина. Русскіе не могутъ слѣпо подражать ни французамъ, ни англичанамъ: «мы имѣемъ свои права, свое свойство и, слѣдовательно, долженъ быть свой вкусъ».

Онъ вполнѣ возможенъ. По мнѣнію автора, у русскихъ не менѣе хорошаго, чѣмъ у иностранцевъ, пожалуй даже больше.

Французскія пьесы, напримѣръ, безпрестанно отступаютъ отъ природы. Вся ихъ классическая теорія—сплошное насиліе надъ правдой и естественностью. Критикъ въ совершенствѣ понимаетъ нелѣпость единствъ, основную язву французской трагедіи, отсутствіе дѣйствія и обиліе монологовъ, онъ готовъ вообще сдать въ архивъ драматическія правила.

«Есть ли дѣло идетъ о пожертвованіи единству мѣста и времени истинными красотами, то тогда сочинитель погрѣшитъ самъ противъ себя и противу зрителей, представивъ имъ скуку по правиламъ». И авторъ знаетъ не мало пьесъ, написанныхъ безъ правилъ и «полнотою своею» «привлекательныхъ», а пьесы съ правилами «страждутъ недугомъ сухости».

Критикъ идетъ гораздо дальше. Онъ будто предчувствуетъ грядущій русскій романтизмъ съ его чудовищными эффектами. Онъ предупреждаетъ писателей, что жестокія злодѣянія россіянамъ несвойственны, достаточно изображать порокъ «безъ усиленнаго начертанія» и впечатлѣніе будетъ достигнуто.

Драма защищается безусловно, потому что она ближе къ природѣ, чѣмъ трагедія. Авторъ возстаетъ на авторитетъ Вольтера и Сумарокова «по естеству вещей», т. е. на основаніи наблюденій надъ дѣйствительностью, гдѣ постоянно чередуются смѣхъ и слезы.

Всѣ эти соображенія пересыпаны крайне рѣзкими выходками, не имѣющими ничего общаго съ искусствомъ. А между тѣмъ они первоисточникъ и основной мотивъ всей критики.

Авторъ—прямолинейный патріотъ. Статьи онъ начинаетъ сѣтованіемъ на иностранные нравы, магазины, таланты, вызывающіе у русскихъ самыя пристрастныя восторженныя чувства. Посредственный чужой писатель кажется геніемъ, а свой отечественный

талантъ находится въ пренебреженіи. На русской сценѣ представятъ скорѣе Чингисъ-хана, чѣмъ героя родной исторіи. У театра во время французскаго представленія вся площадь заставлена шестернями, а русскимъ интересуются только пѣшеходы.

Неужели разумно «гнушаться ощущеніями, внушенными природой»? И «неужели для всѣхъ народовъ на свѣтѣ природа мать, а для насъ однихъ мачиха, которая не дала намъ никакой собственности?»

Этотъ мучительный вопросъ, очевидно, и вдохновилъ автора на литературную критику. Подъ вліяніемъ оскорбленнаго національнаго чувства, онъ дошелъ до сомнѣній въ классической трагедіи и въ безусловной талантливости французскихъ авторовъ.

Предъ нами въ нѣкоторомъ родѣ психологія Чацкаго. Начинаетъ авторъ съ уничтоженія *Свадьбы Фигаровой* и прославленія Козьмы Минина, какъ трагическаго героя, а кончаетъ негодованіемъ на иностранныя гусиныя чиненыя перья; они продаются дороже многихъ россійскихъ сочиненій!

Достается, конечно, и французскому языку—бѣдному и невыразительному.

Однимъ словомъ, патріотическое настроеніе разливается широкой волной и раздраженнаго публициста превращаетъ въ очень проницательнаго критика. Но такъ какъ все дѣло именно въ публицистикѣ, а не въ художественномъ чувствѣ и не въ эстетической вдумчивости,—авторъ доводитъ свою критику только до извѣстныхъ предѣловъ, достаточныхъ для удовлетворенія его національнаго идеала.

Въ результатѣ остаются неприкосновенными многіе предразсудки того же французскаго происхожденія. Авторъ, напримѣръ, требуетъ въ драмѣ непремѣнно торжествующей добродѣтели; только тогда нравственный смыслъ будетъ извлеченъ изъ пьесы «во всемъ своемъ блистаніи». Не допускается и Шекспиръ со всѣми оригинальными чертами его таланта. У него рядомъ съ «наиблагороднѣйшими трагическими красотами» имѣются такого сорта лица и дѣйствія, коихъ «просвѣщенный вкусъ» одобрить не можетъ.

Въ результатѣ —«Чекспёровы красоты подобны молніи, блистающей въ темнотѣ нощной: всякъ видитъ, сколь далеки они отъ блеску солнечнаго въ срединѣ яснаго дня».

Впослѣдствіи авторъ выражается еще энергичнѣе. Въ отвѣтъ на разсужденія противника [illegible] только что раскритикованнаго Вольтера и его русскаго послѣдователя:

«Для героевъ вы хотите, чтобы родился у насъ *Чексперъ*... Вотъ изряднаго нашли вы опредѣлителя вкуса и видно, что вы, начитавшись, заключаете вкусъ въ тѣсные предѣлы площадей, рынковъ и кабаковъ».

И это понятно. Авторъ, ратуя за природу, не дерзаетъ признать ее безъ надлежащихъ операцій надъ ея безобразіемъ—людей свѣдущихъ. «Всякая природа въ своемъ обнаженіи мало привлекательна, авторъ въ украшеніи, кажется, обновляетъ ее».

Очевидно, авторъ не заинтересованъ собственно въ коренномъ преобразованіи искусства, онъ только желаетъ убѣдить соотечественниковъ признать *свое*, *русское* хорошимъ и годнымъ для театральныхъ зрѣлищъ.

Такъ его идею и понялъ орловскій корреспондентъ, потерявшій всякое терпѣніе отъ патріотическихъ разглагольствованій *Зрителя*: «нѣтъ мочи моей выдержать всего того, что вы пишете»...

Въ Россіи нѣтъ писателей, равныхъ Расину, Корнелю и Вольтеру, нѣтъ и произведеній, способныхъ соперничать съ французскими. Что же смотрѣть русской публикѣ?

Не только нечего въ настоящее время, но, вѣроятно, и долго еще не будетъ созданъ русскій вкусъ по очень простой причинѣ.

Русскимъ авторамъ негдѣ брать литературныхъ мотивовъ. Большой свѣтъ въ Россіи болѣе иностранный, чѣмъ русскій, сельскіе жители коптятся въ дыму... Не захочетъ же авторъ-патріотъ видѣть въ оперѣ четырехъ пьяныхъ женщинъ съ яндовою и съ площадными пѣснями. А это картины «въ самомъ природномъ видѣ, достойныя кисти какого-нибудь фламандскаго живописца».

Авторъ предупреждаетъ русскихъ патріотовъ отъ неразумнаго увлеченія отечественнымъ просвѣщеніемъ, художествами, науками. Пріемъ крайне опасный подобное самохвальство. Рѣчь автора въ высшей степени любопытна: она долго будетъ повторяться въ русской публицистикѣ. Мы будто присутствуемъ при зарожденіи междоусобицы западниковъ и славянофиловъ.

«Прекрасное средство», восклицаетъ авторъ, «ободрять науки, говоря, что намъ не нужно болѣе учиться! Не лучше ли изъ любви къ соотечественникамъ показывать ихъ недостатки и, устыжая ихъ гнинную сонливость, воспламенить желаніе углубляться въ науки, дабы слава нашего непритворнаго просвѣщенія сравнилась со славою россійскаго оружія».

Прекрасныя мысли! Подъ ними, несомнѣнно, подписался бы самъ Крыловъ. По крайней мѣрѣ, къ нему отнюдь не могъ относиться

упрекъ въ равнодушномъ отношеніи къ недостаткамъ соотечественниковъ. Всѣ статьи издателя преисполнены сатирическаго духа и каждая изъ нихъ безпощадный приговоръ надъ притворнымъ просвѣщеніемъ.

Упрекъ слѣдовало направить по адресу противника *Зрителя*, его московскаго конкуррента, журнала по преимуществу восторженнаго, лирическаго и склоннаго ко всякаго рода самообольщенію личному и патріотическому.

И какъ велика оказывалась разница въ критическихъ воззрѣніяхъ того и другого изданія, прямо въ зависимости отъ того, что одинъ издатель—первостепенный сатирикъ своего времени, а другой всѣми силами открещивался отъ сатиры! «Расположеніе души моей», заявлялъ онъ публикѣ, «слава Богу, совсѣмъ противно сатирическому и бранному духу».

Для благодушнаго автора, очевидно, сатира и брань казались тожественными и одинаково предосудительными.

Мы заранѣе можемъ угадать результаты.

Зритель именно на почвѣ сатиры вооружился противъ фальшивыхъ направленій литературы. Сатирическій, общественно-отрицательный духъ заставилъ его осмѣять оду и идиллію, негодованіе на модное воспитаніе вооружило его на классическую трагедію и ея теорію. Чтобы показать всю уродливость маніи подражанія, логически требовалось обнаружить несостоятельность того, чему подражали. И русскіе націоналисты невольно догадывались о сухости классическихъ пьесъ, о прозаичности французскихъ стиховъ, о посредственности многихъ иноземныхъ авторовъ. Собственно развивался не вкусъ самъ по себѣ, а здравый смыслъ направлялъ свою критику въ область вкуса.

Этого на первое время вполнѣ достаточно.

Французскія теоріи до такой степени противорѣчили именно разсудку и логикѣ, независимо отъ ихъ художественныхъ изъяновъ, что стоило умному наблюдателю отважиться отрицать и противорѣчить, и священное зданіе начинало колебаться. Отвага же внушалась патріотическимъ гнѣвомъ, даже въ сильнѣйшей степени, чѣмъ это требовалось для чисто-литературнаго протеста.

Отсюда ясны заслуги русской сатиры въ критикѣ, т. е. *художественнаго* дарованія и *публицистическаго* направленія журналистовъ. И то, и другое были на столько существенными, рѣшающими силами, что *сатирическія* статьи крыловскаго журнала по части критики, по крайней мѣрѣ, на десять лѣтъ опередили чисто-

художественныхъ судей современной литературы и заранѣе указали путь борьбы съ новымъ россійско-европейскимъ повѣтріемъ, смѣнявшимъ классицизмъ,—съ карамзинской чувствительностью.

Зритель находился въ дѣятельной полемикѣ съ *Московскимъ журналомъ* Карамзина. Поводъ, какъ увидимъ, на первый взглядъ частный и незначительный, но причина полемики несравненно глубже. Предъ нами два совершенно различныхъ критика по направленію и даже по личной психологіи. Одинъ—оптимистъ и чистый эстетикъ, другой—одинъ изъ реальнѣйшихъ и, слѣдовательно, далеко не прекраснодушныхъ наблюдателей дѣйствительности и въ силу этого совершенно непричастный чистому искусству и выспреннему счастью младенчески-восхищеннаго сердца.

XXXIII.

Въ исторіи русской литературы мало примѣровъ такого единодушнаго и безпощаднаго суда потомства надъ когда-то знаменитымъ и безусловно даровитымъ писателемъ, какъ приговоръ надъ Карамзинымъ.

Трудно представить, на какой высотѣ стояло имя автора *Бѣдной Лизы* въ послѣдніе годы его жизни. Это—настоящій культъ, религіозно-неприкосновенный и, повидимому, навсегда непоколебимый. «Исторіографъ Россійской имперіи»,—такъ оффиціально именовался Карамзинъ,—уже этимъ именованіемъ вселялъ въ сердца современниковъ нѣкоторый трепетъ и благоговѣніе. Никому столько не разсыпалось самыхъ лестныхъ эпитетовъ, въ родѣ *геній, великій*. Поэты, дамы и государственные мужи на этотъ разъ сошлись въ единодушномъ преклоненіи...

Но еще не успѣла слава Россіи испустить послѣдній вздохъ, какъ откуда-то послышались довольно странныя и неожиданныя рѣчи Оказалось, далеко не всѣхъ загипнотизировало краснорѣчіе историка, даже больше,—какъ разъ краснорѣчіе оказалось злополучнѣйшимъ наслѣдствомъ писателя.

И здѣсь также обнаружилось удивительное единодушіе. Булгаринъ шелъ рядомъ съ Полевымъ, и даже Погодинъ, позже Гоееръ исторіографа, печатаетъ въ своемъ журналѣ уничтожающую и жестокую критику на *Исторію Государства Россійскаго*.

Все это происходитъ въ теченіе какихъ-нибудь четырехъ лѣтъ, но до такой степени энергично и *цѣлесообразно*, что капитальнѣйшій трудъ Карамзина оказываетъ плодотворнѣйшую *отрицательную* услугу русской критикѣ и вообще русскому искусству.

Статьи, посвященныя таланту и работѣ историка, безусловно самыя дѣльныя и самыя значительныя по результатамъ изъ всего критическаго матеріала первыхъ десятилѣтій текущаго столѣтія. И какъ разъ потому, что статьи эти были вызваны многочисленными недостатками историческаго произведенія Карамзина. Именно выясненіе не достоинствъ, а пороковъ *Исторіи*—изощрило перо критиковъ и установило основные принципы будущей русской литературы.

Какъ это могло произойти по поводу столь знаменитаго и талантливаго писателя?

Таланты Карамзина не только велики, но и крайне разнообразны. Онъ—стихотворецъ, журналистъ, т. е. критикъ и политическій мыслитель, авторъ повѣстей, наконецъ, ученый. И во всѣхъ областяхъ онъ всю жизнь стоитъ чуть ли не на первомъ мѣстѣ среди современниковъ. Объ этомъ фактѣ свидѣтельствуетъ всякое историческое сообщеніе и воспоминаніе его читателей. Мы, пересматривая журналы Карамзина, на поляхъ противъ его произведеній безпрестанно встрѣчали восторженныя восклицанія давно сошедшихъ въ могилу поклонниковъ и, вѣроятно, болѣе всего поклонницъ «милаго Карамзина». Его біографъ упоминаетъ о громадныхъ успѣхахъ писателя въ дамскомъ обществѣ, и мы можемъ судить, на сколько это справедливо, по многочисленнымъ посланіямъ: къ Филлидѣ, къ Аглаѣ, къ Хлоѣ, къ Деліи, къ жестокой, къ невѣрной, къ вѣрной, къ графинѣ Р. къ госпожѣ П—ой, или просто къ Алинѣ... Это—цѣлый букетъ цвѣтовъ и грацій!

До Карамзина ничего подобнаго не испытывали русскіе литераторы. Очевидно, это—настоящій любимецъ публики, писатель дѣйствительно популярный и даже уважаемый.

Достаточно одного такого вывода, чтобы мы почувствовали себя въ совершенно новой эпохѣ русской литературы. Что́ общаго между шутовскими спектаклями піитъ и профессоровъ и блестящими свѣтскими побѣдами издателя *Аглаи!*

И вотъ здѣсь-то именно начинаются и—кончаются «безсмертныя» литературныя заслуги Карамзина. Онъ первый создалъ большую публику для книги и журнала. Онъ первый показалъ русскому обществу музъ не въ уродливомъ затрапезномъ костюмѣ педантическаго скрипучаго риѳмоплетства, а въ легкомъ изящномъ уборѣ поэтической чувствительности и музыкальнаго свободнаго прекрасногловія.

Немногаго, конечно, стоили Аглаи, Хлои и Филлиды, какъ цѣ-

нительницы литературы, но разъ онѣ читали, писателю приходилось непремѣнно пристально заботиться прежде всего о стилѣ, о языкѣ. Онъ неизбѣжно становился до послѣдней степени удобочитаемымъ, интереснымъ, по крайней мѣрѣ, по формѣ. Да, въ сущности, главнѣе всего по формѣ. Гдѣ же Филлидѣ гоняться за особенно серьезнымъ и жизненнымъ содержаніемъ!

Державинъ написалъ стихотвореніе въ честь Карамзина, еще юнаго писателя. Стихи заканчивались такимъ напутствіемъ патріарха екатерининской поэзіи:

Пой, Карамзинъ, — и въ прозѣ
Гласъ слышенъ соловьинъ!

Трудно точнѣе опредѣлить талантъ и всю дѣятельность Карамзина. Отъ начала до конца—это дѣйствительно соловей рядомъ съ розой и зарей, и гораздо болѣе *пѣніе*, чѣмъ простая рѣчь прозаическаго смертнаго.

Соловьемъ Карамзинъ началъ и соловьемъ же кончилъ. На пространствѣ десятковъ лѣтъ не произошло никакого преобразованія: сначала роль розы играла Лиза, а потомъ ее смѣнило «любезное отечество». Но ни настроеніе писателя, ни даже его литературная школа и стилистическіе пріемы нисколько не измѣнились.

Послѣднія слова, написанныя Карамзинымъ въ его *Исторіи* «Орѣшекъ не сдавался»—своего рода роковое изреченіе. Мы могли бы прибавить: «любезный, нѣжно-образованный юноша» также не сдавался ни предъ какимъ натискомъ времени, развивающихся общественныхъ идей, наростающихъ государственныхъ и нравственныхъ потребностей Россіи, быстрыхъ успѣховъ научной и критической мысли.

Какая угодно Хлоя въ самомъ преклонномъ возрастѣ могла съ полнымъ спокойствіемъ сердца и съ такой же усладой души чертить «милый Карамзинъ» на страницахъ политической исторіи, съ какой она когда-то орошала слезами жертву Симонова пруда.

Не всѣмъ дается такое постоянство, да притомъ еще столь нѣжное и трогательное. Очевидно, природа писателя обладала особымъ закономъ, чрезвычайно психологически-любопытнымъ. Соловей, съ единственнымъ предметомъ въ груди и въ мысляхъ — розой, оказался сильнѣе всѣхъ житейскихъ терній и треволненій!

И здѣсь опять типичнѣйшее явленіе, уже не литературное, а культурно-историческое. Существовали, слѣдовательно, условія, допускавшія долголѣтнюю неприкосновенность самыхъ экзотическихъ

чувствъ и эфирной философіи. Конечно, въ нашемъ мірѣ и экзотическое и эфирное непремѣнно должно питаться самыми реальными соками грязной земли, и карамзинская любезность и нѣжность вплоть до второй четверти XIX вѣка требовала, несомнѣнно, особенно богатаго и правильнаго притока этихъ соковъ.

Какъ совершался этотъ притокъ, мы подробностей не знаемъ. Извѣстенъ только поучительный фактъ со словъ самого Карамзина. Авторъ *Флора Силина, благодѣтельнаго человѣка*, проводилъ время въ деревнѣ и выполнялъ свой отеческій долгъ предъ собственными уже реальными «человѣками».

Сначала онъ *скучалъ* и *грустилъ* и «отъ скуки и отъ грусти» писалъ, находя, что это «лучшая польза нашего ремесла»... Потомъ мы узнаёмъ нѣчто совершенно другое.

Нѣкій сельскій житель, т. е. помѣщикъ, написалъ своимъ мужикамъ: «добрые земледѣльцы, сами изберите себѣ начальника для порядка, живите мирно, будьте трудолюбивы»...

Прошло нѣсколько времени; оказалось, добрые земледѣльцы въ конецъ развратились. Пришлось перемѣнить политику,—какъ собственно, неизвѣстно, но только весьма скоро стадо погибшихъ овецъ снова превратилось въ счастливое общество «благодѣтельныхъ человѣковъ», вѣроятно, и для себя, и для энергичнаго помѣщика.

Какимъ путемъ сельскій житель достигъ этихъ результатовъ, онъ не объясняетъ, но только «безъ англійскихъ мудростей, безъ всякихъ хитрыхъ машинъ, не усыпая земли ни золою, не известкою, ни толчеными костями». Вся реформа ограничилась «трудолюбіемъ», и крестьяне возблагодарили своего благодѣтеля.

Таковъ разсказъ. Вы думаете, это только беллетристика, плодъ скуки и грусти? Вовсе нѣтъ. Нашъ авторъ именно и тѣмъ замѣчателенъ, что краснорѣчія не отличаетъ отъ фактовъ, своихъ чувствъ отъ идей, фантастическихъ цвѣтовъ отъ дѣйствительнаго зла. Именно только что разсказаннымъ анекдотомъ Карамзинъ стремился рѣшить государственный вопросъ, насчетъ участи крѣпостныхъ крестьянъ. Онъ не повѣствовалъ, а доказывалъ, не рисовалъ узоровъ досужаго воображенія, а вносилъ свой голосъ въ законодательные планы.

Войдите въ эту психологію, и вамъ станетъ вполнѣ ясной нравственная и литературная личность Карамзина.

Вы поймете, какую роль играла у него грусть и писаніе отъ бездѣлья, что означалъ для него переходъ отъ *Бѣдной Лизы* къ

Исторіи Государства Россійскаго, въ чемъ могло заключаться движеніе его мысли отъ поприща эстетическихъ чувствительныхъ упражненій до важнѣйшихъ вопросовъ государственной жизни. Вы, наконецъ, проникнете и въ сущность критическихъ и литературныхъ подвиговъ писателя.

Вамъ совершенно ясна слѣдующая мысль.

Если писатель, по натурѣ или по преднамѣренному плану, изгоняетъ изъ своихъ произведеній строго фактическую жизнь, если онъ желаетъ пѣть вмѣсто бесѣды и имѣть дѣло съ граціями, а не съ смертными существами, весь его талантъ долженъ неминуемо сосредоточиться на формѣ. Вѣдь только и существуютъ два орудія у писателя—*содержаніе* и *форма*, фактъ и слово, идея и стиль.

Комбинацій можетъ быть нѣсколько. Перевѣсъ того или другого элемента зависитъ отъ преобладанія въ природѣ писателя той или другой способности, чисто литературной или мыслительной. Можно представить, конечно, и совершенную гармонію: идейность, жизненность вмѣстѣ съ художественностью.

Но возможны и крайности: перевѣсъ мысли надъ формой, или наоборотъ. Во всѣхъ литературахъ можно указать множество примѣровъ всѣхъ этихъ комбинацій.

Карамзинъ—одна изъ самыхъ краснорѣчивыхъ и самыхъ типичныхъ для дореформенной литературы и крѣпостническаго общества: рѣшительное преобладаніе литературности надъ вдумчивостью и наблюдательностью. Карамзинъ—идеальный *словесникъ* въ самомъ точномъ смыслѣ, образцовый производитель словъ и фразъ, артистъ блестящей внѣшности и бѣднякъ духомъ, нищій сердцемъ—не въ смыслѣ ограниченности и жестокости, а развитой общественной мысли и жизненной сознательной гуманности.

XXXIV.

Карамзинъ первое литературное воспитаніе получилъ въ Дружескомъ обществѣ Новикова. Здѣсь онъ могъ впитать много благороднѣйшихъ идей на счетъ просвѣщенія и человѣколюбія, но по части эстетики новиковская школа не отличалась ни основательностью, ни смѣлостью. Мы это знаемъ изъ знаменитаго Словаря. Карамзинъ быстро пріобрѣлъ тѣснѣйшія связи съ нѣкоторыми членами общества, особенно съ Петровымъ, «Агатономъ», но, повидимому, не могъ заручиться опредѣленными взглядами и даже чувствами въ самой важной и увлекательной для него области, въ художественной литературѣ.

Передъ нами одновременно переводъ геснеровской идилліи, гдѣ, конечно, на первомъ планѣ пастухъ, ручей и свирѣль,—упорные планы переводить Шекспира и въ дополненіе картины—уваженіе къ Баттё и правиламъ!

Какъ все это согласить?

Никто рѣшительнѣе Шекспира не высмѣялъ идилій и никто презрительнѣе не относился къ правиламъ. Какъ же онъ могъ попасть рядомъ съ пастушкомъ и піитикой?

Очевидно, существовало нѣсколько вліяній на юнаго любителя словесности, и шекспировское шло отъ нѣмецкаго «бурнаго генія» Ленца. Романтикъ жилъ въ Москвѣ, находился уже на закатѣ своихъ силъ и таланта, даже ума, но не забывалъ священнаго романтическаго культа—Шекспира.

Карамзинъ свидѣтельствуетъ, что Ленцъ «удивлялъ» его иногда и своими піитическими идеями, и, конечно, первое мѣсто въ этихъ идеяхъ занималъ геній Шекспира.

Это значило бурное, ничѣмъ не сдерживаемое *воображеніе* и ничего не щадящая вѣрность *природѣ*.

Русскаго юношу увлекли эти *идеи*, именно идеи, а не самая сущность шекспировской поэтической психологіи. Карамзинъ, какъ идеально чувствительный и *на слова* податливый человѣкъ, былъ очарованъ такими выраженіями, какъ *свобода, натура*. Съ нимъ произошло то же самое, что съ гоголевскимъ Маниловымъ.

Этотъ нѣжный господинъ безпрестанно попадаетъ въ безвыходный туманъ воображенія, «обвороженный фразой», и никакъ не можетъ вникнуть «въ толкъ самого дѣла». Чичиковъ можетъ лгать и плутовать сколько угодно на глазахъ растроганнаго любителя словъ и фразъ.

Есть и у Карамзина такой же лжецъ и плутъ: его природная и развитая воспитаніемъ склонность къ сентиментальнымъ побрякушкамъ и томной нервной слезливости. Она продѣлываетъ съ его воображеніемъ самые неожиданные опыты, въ то время, когда въ ушахъ звенитъ волшебное словечко *натура!*

Оно, очевидно, прямо загипнотизовало впечатлительнаго мечтателя. Карамзинъ примется повторять его и въ прозѣ, и въ стихахъ. Въ предисловіи къ переводу *Юлія Цезаря* Шекспиръ будетъ такъ оцѣненъ: «онъ смотрѣлъ только на натуру, не заботясь, впрочемъ, ни о чемъ».

Одновременно появятся стихи съ энергическимъ началомъ:

Шекспиръ натуры другъ!..

Отдавалъ ли себѣ критикъ отчетъ, что̂ такое *натура* вообще и въ трагедіяхъ Шекспира въ особенности?

Карамзинъ не признаетъ единства; это въ 1787 году, т. е. на пять лѣтъ раньше *Зрителя*, Вольтеръ прямо обзывается софистомъ и уличается въ плагіатахъ у того же Шекспира. Очевидно, съ классицизмомъ у Карамзина покончены всѣ счеты. А Вольтеръ ему втройнѣ ненавистенъ, какъ человѣкъ по преимуществу разсудочный, какъ чрезвычайно запальчивый критикъ жизни и противникъ идиллическаго застоя и, наконецъ, какъ противникъ Руссо, уважаемаго нашимъ писателемъ за чувствительность.

И такъ, одно завоеваніе несомнѣнно, и оно теоретически очень цѣнно. Но его мало для *натуры* Шекспира. Логически слѣдуетъ освободить талантъ писателя отъ всякихъ книжныхъ стѣсненій и заставить его считаться только съ реальной жизнью.

Но вотъ именно здѣсь и камень преткновенія для Карамзина.

Онъ откажется отъ одной лжи, затѣмъ чтобы подпасть подъ иго другой, не менѣе ядовитой и *противоестественной*.

И произойдетъ это потому, что у Карамзина, какъ истиннаго эстетика, *нѣтъ чутья дѣйствительности*. Онъ созерцатель и мечтатель. Онъ готовъ признать психологическую силу Шекспира въ изображеніи характеровъ, но доказать ее рѣшительно не въ состояніи. Для этого надо имѣть представленіе о *дѣйствительныхъ* характерахъ, потому что художественная психологическая критика—сопоставленіе поэтическаго образа съ подлиннымъ историческимъ или современнымъ явленіемъ.

Почему по поводу Брута слѣдуетъ воскликнуть: «вотъ характеръ!»—Карамзинъ не объясняетъ, и, насколько можно судить по его характеристикамъ героевъ русской исторіи, не могъ объяснить. Ему доступенъ только *реторическій* анализъ, т. е. моральные шаблоны. Онъ, характеризуя, непремѣнно проповѣдуетъ какой-нибудь нравственный труизмъ, не раскрываетъ жизненныя основы личности, а при помощи ея отдѣльныхъ чертъ и фактовъ иллюстрируетъ свой тезисъ.

Въ результатѣ, каждый человѣкъ подъ перомъ такого историка и психолога превращается въ нѣкій заранѣе составленный ребусъ какъ разъ на фразу, находящуюся въ распоряженіи отгадчика.

Такимъ же путемъ Карамзинъ не только будетъ объяснять готовые характеры, но и создавать свои въ собственныхъ произведеніяхъ. *Натуры* ни тамъ, ни здѣсь не окажется, но именно этотъ вопіющій недостатокъ всякой философіи и всякаго искус-

ства и создастъ славу Карамзина, какъ политическаго мыслителя, проницательнаго моралиста и интереснаго писателя.

Натура нѣчто крайне сложное, и Шекспиръ въ сильнѣйшей степени этой сложности обязанъ своимъ фіаско у французскихъ классиковъ и у всякой другой подобной публики. Понять и оцѣнить Брута—это цѣлая задача по исторіи и философіи. А познакомиться съ Эрастомъ можно буквально съ двухъ словъ.

Въ результатѣ, и для критики, и для искусства Карамзина натура осталась пустымъ, хотя и обворожительнымъ звукомъ. Онъ повторяется и позже, независимо отъ Шекспира: «вездѣ натура есть наставница» человѣка «и главный источникъ его удовольствій».

Да, натура, но только не шекспировская, а развѣ *стерновская*, да и то подправленная и пообчищенная.

«Стернъ несравненный», воскликнулъ Карамзинъ, «въ какомъ ученомъ университетѣ научился ты столь нѣжно чувствовать?»

Но этого мало, надо столь же нѣжно и говорить.

Посмотрите, какъ нашъ поклонникъ Шекспира вылащиваетъ стихи, не свои только, а требуетъ исправленій и отъ другихъ.

Слово «парень» для него *отвратительно:* онъ желаетъ «покойнаго селянина, который съ тихимъ удовольствіемъ смотритъ на природу и говоритъ: *вотъ гнѣздо!* вотъ *пичужечка!*» Онъ не признаетъ также выраженій: *барабаны*, *потъ*, *сломилъ*, *вскричалъ*, *потупленная* голова...

Но это вѣдь самый послѣдовательный классицизмъ, доходящій до преціозной манерности! Классикъ не имѣлъ права даже комнату называть *комнатой* и солдата *солдатомъ*: чертогъ, воинъ, не иначе. А когда у него дѣйствіе происходило за городомъ, онъ писалъ «мѣстность сельская, но пріятная».

Также и у Карамзина, хотя онъ ненавидитъ единство.

У природы онъ беретъ только *цвѣты*, въ человѣческомъ обществѣ только *нѣжныя сердца*, и изъ этого матеріала строитъ всю свою литературу.

Объявляя объ изданіи *Вѣстника Европы*, онъ цѣлью журнала ставитъ: «указывать новыя красоты въ жизни, питать душу моральными удовольствіями и сливать ее въ сладкихъ чувствахъ съ благомъ другихъ людей».

Подъ этимъ сахарнымъ и медоточивымъ мазкомъ всѣ явленія жизни превращаются въ леденцы и бонбоньерки.

Для всякаго факта и понятія своя особая терминологія, и изъ произведеній Карамзина можно бы извлечь цѣлый словарь новаго

преціознаго тона, ничѣмъ не уступающій фокусничеству мольеровскихъ героинь.

Что, напримѣръ, означаютъ слѣдующія фигуры?

«Призывай богинь парнасскихъ, онѣ пройдутъ мимо великолѣпныхъ чертоговъ и посѣтятъ твою смиренную хижину»...

Это ни болѣе, ни менѣе, какъ совѣтъ писателю не изображать «хладную мрачность души» своей, а «возвыситься до страсти къ добру». Переводъ стоитъ оригинала.

«Великіе геніи ведутъ людей къ сокровищамъ ума путемъ, усѣяннымъ цвѣтами».

Это просто метафора для понятія популяризаціи и доступности научныхъ свѣдѣній.

Вы чувствуете, съ какой тщательностью отдѣлывались эти узоры, и чрезвычайная усидчивость Карамзина надъ отдѣльными фразами и словами доказывается его черновыми рукописями. И замѣтьте, не въ художественныхъ произведеніяхъ, а въ *Исторіи*. Можно изумиться изобилію перечеркиваній, поправокъ въ самыхъ, повидимому, простыхъ выдержкахъ, въ фактическомъ разсказѣ... Можно представить, сколько труда у исторіографа уходило на стиль и какъ сравнительно мало оставалось на сущность дѣла!

Никто, конечно, не станетъ подвергать безусловному порицанію подобную работу, и менѣе всего у Карамзина.

Русскій литературный языкъ еще создавался и мы сейчасъ увидимъ, сколько враговъ онъ встрѣчалъ на своихъ самыхъ законныхъ и естественныхъ путяхъ. Карамзинъ своимъ словеснымъ подвижничествомъ оказывалъ ему великія, въ полномъ смыслѣ незабвенныя услуги. Но только всякая благородная цѣль, при всей своей возвышенности, требуетъ разума. Иначе и услуга можетъ стать источникомъ вреда.

Неужели, при всемъ попеченіи о хорошемъ стилѣ, требовалось непремѣнно филолога-педанта именовать «Великимъ мужемъ Русской Грамматики», а ея еще незрѣлое состояніе изображать картиной «богиня въ пеленахъ»? Неужели по поводу дамскаго пожертвованія настоятельно распространяться о «просвѣщенной благотворительности» русскихъ, готовыхъ благодѣтельствовать даже иностранцамъ: «права человѣчества всего для насъ священнѣе!..» И причемъ здѣсь «*прекрасный слогъ* и добродѣтельное сердце» жертвовательницы?

Очевидно, не было сознанія мѣры въ благомъ дѣлѣ.

А между тѣмъ, никому, кажется, идеалъ умѣренности не былъ

столь свойственъ, какъ историографу,—только не реторической, а практической.

По поводу, напримѣръ, народнаго просвѣщенія онъ разсуждаетъ:

«Глубокомысленный, важный умъ долженъ обуздать нетерпѣливость добраго сердца, которое, плѣняясь намѣреніемъ, хочетъ немедленныхъ плодовъ закона благодѣтельнаго».

Отчего бы этотъ принципъ не примѣнить къ краснорѣчію и не обуздать чувствительнаго сердца на поприщѣ фразъ?

Потому что фразы часто буквально убивали мысль и фактъ. Мы это увидимъ изъ критики, направленной современниками противъ *Исторіи Государства Россійскаго*.

Но у эстетика другая цѣль и, главное, другое прочно установленное воззрѣніе на какую бы то ни было литературную работу.

Карамзину удалось, можетъ быть, ненамѣренно, очень вѣрно опредѣлить себя, какъ писателя. Рѣчь идетъ о поэтѣ, но вопросъ въ извѣстной психологіи, а не разновидности таланта, тѣмъ болѣе, что и нашъ авторъ грѣшилъ очень многочисленными стихами.

«Сильный, хорошій стихъ», говоритъ Карамзинъ, «счастливое слово, искусный переходъ отъ одной мысли къ другой, радуютъ поэта, какъ младенца, и нерѣдко на цѣлый день дѣлаютъ веселымъ, особливо если онъ можетъ сообщить свое удовольствіе другу любезному, снисходительному къ его авторской слабости».

Счастливое слово, любезный другъ, удовольствіе, слабость—таковъ нравственный и практическій обиходъ писателя, способнаго младенчески быть счастливымъ.

И между тѣмъ, этотъ писатель пустился въ журналистику. Цѣль была самая прозаическая: Карамзинъ желалъ пріобрѣсти состояніе, и остальную жизнь прожить спокойно и въ полномъ эстетическомъ удовольствіи. Но достигнуть цѣли не легко тамъ, гдѣ танцовальный учитель совершенно затмѣвалъ собой профессора философіи.

Карамзинъ рѣшилъ преодолѣть всѣ трудности, и для насъ, разумѣется, самый важный и любопытный вопросъ во всей многосторонней дѣятельности нашего писателя—исторія его журнальныхъ успѣховъ и неудачъ.

Именно эта исторія опредѣляетъ положеніе Карамзина въ русской художественной и публицистической критикѣ.

XXXV.

Первое періодическое изданіе Карамзина *Московскій журналъ*, кромѣ «сочиненій въ стихахъ и прозѣ», «описанія разныхъ происшествій» и «анекдотовъ», обѣщалъ два критическихъ отдѣла—для книгъ и театральныхъ пьесъ. Издатель ручался за безпристрастіе своей критики и напоминалъ публикѣ, что «до сего времени весьма немногія книги были у насъ надлежащимъ образомъ критикованы».

Журналъ выходилъ въ теченіе двухъ лѣтъ и нельзя сказать, чтобы блистательно выполнилъ обязательства по части критики. За весь первый годъ достойна вниманія одна лишь статья объ *Эмиліи Галотти*—Лессинга,

Разборъ—изложеніе содержанія пьесы съ одобрительными восклицаніями и однотонными замѣчаніями насчетъ естественности событій и характеровъ. Но несомнѣнно, полезнымъ дѣломъ со стороны Карамзина было уже самое одобреніе драмы въ то время, когда еще классицизмъ не чаялъ своей гибели.

Рецензіи о книгахъ—или простыя упоминанія, или изрѣдка пересказъ особенно любопытнаго сочиненія съ заключительнымъ приговоромъ.

Но эти скромные подвиги давались журналу не легко. Ни публика, ни писатели никакъ не могли привыкнуть даже къ самымъ безпристрастнымъ и сдержаннымъ сужденіямъ журналиста.

Критика производила впечатлѣніе личной обиды просто потому, что она не представляла сплошного панегирика или оды достоинствамъ автора

Карамзину на первыхъ же порахъ пришлось испытать терніи журналистики.

Нѣкій Туманскій перевелъ греческое сочиненіе по миѳологіи и приложилъ свои примѣчанія. *Московскій журналъ* неодобрительно, хотя и необычайно джентльмэнски, коснулся стиля переводчика. По этой части журналъ былъ безусловно компетентенъ и не въ духѣ Карамзина допустить лично-оскорбительную статью.

Но Туманскій не стерпѣлъ критики и отвѣчалъ уже прямо пасквилемъ. За журналистами, какъ частными лицами, отрицалось вообще право на критику. Авторъ утверждалъ, что сужденія ихъ «никогда отъ людей умныхъ уважаемы не были», «извѣстно, что они за подарки истощеваютъ свои хвалы, по пристрастію, самолюбію, личной ссорѣ или зависти выискиваютъ всѣ способы унизить трудъ чуждый».

Еще чувствительнѣе для Карамзина должны были явиться нападки крыловскаго *Зрителя*. На этотъ разъ противникъ говорилъ не мало правды, и *Московскій журналъ* врядъ ли могъ вообще побѣдоносно вести борьбу съ упреками чисто-литературнаго характера.

Въ статьѣ *Критикъ Зритель* издѣвался надъ «неусыпнымъ попеченіемъ о русскомъ языкѣ». Это означало указывать на исключительно стилистическую критику Карамзина, т. е. обличать несомнѣнную односторонность. *Зритель* недоволенъ, что новоявленный журналъ не разсматриваетъ ни авторскихъ мыслей, ни плана сочиненій, ни характеровъ дѣйствующихъ лицъ. «Да и хорошо, что не за свое дѣло берется», говоритъ ядовито авторъ, «какъ заниматься такою мелочью!..»

Слѣдовательно, критическія предпріятія Карамзина немедленно натолкнулись на препятствія, и критикъ нашъ отнюдь не отличался такого сорта характеромъ, чтобы пойти на встрѣчу борьбѣ, по крайней мѣрѣ, продолжать идти своей дорогой.

Напротивъ, *Московскій журналъ* обнаружилъ всю неприспособленность чувствительной натуры къ настоящей журнальной дѣятельности.

Изданіе имѣло 300 «сускрибентовъ», т. е. подписчиковъ, это по времени было успѣхомъ и идеалъ самого издателя не поднимался выше цифры 500. Доходу все-таки журналъ не давалъ, и Карамзинъ вздумалъ замѣнить его альманахомъ, сначала вышла *Аглая*, потомъ *Аониды*. Критика въ обоихъ изданіяхъ отсутствовала, да она и не отвѣчала характеру стихотворныхъ сборниковъ.

Но, независимо отъ стиховъ, Карамзинъ, повидимому, утратилъ всякую охоту къ литературной публицистикѣ. Правда, ко второму выпуску *Аонидъ* издатель приложилъ предисловіе—статью о поэзіи и стихотворствѣ.

Здѣсь высказаны дѣльныя мысли на счетъ самостоятельности поэтическаго вдохновенія. Поэту рекомендуется не гоняться за чуждыми, несвойственными ему идеями, а описывать предметы, къ нему близкіе. Но главный совѣтъ—совершенно въ духѣ безоблачнаго чувствительнаго оптимизма. «Молодому питомцу Музъ лучше изображать въ стихахъ первыя впечатлѣнія любви, дружбы, нѣжныхъ красотъ природы, нежели разрушеніе міра, всеобщій пожаръ натуры и прочее въ семъ родѣ».

Карамзинъ даже отказался напечатать въ *Аонидахъ* слишкомъ энергичное стихотвореніе: такъ ему дорогъ покой душевный и розовое созерцаніе даже въ книгахъ!

Очевидно, это не критика, и даже исчезаетъ самая возможность ея существованія. Все равно какъ изъ идиллическаго пастыря не могъ выработаться публицистъ, вообще писатель—съ новыми, сильными идеями, такъ любезный питомецъ музъ никогда не могъ снизойти до хлопотливой борьбы, за какія бы то ни было литературные вопросы.

Карамзинъ это доказываетъ систематически, прежде всего новымъ, важнѣйшимъ своимъ журналомъ и послѣднимъ періодическимъ изданіемъ—*Вѣстникъ Европы*.

Издатель разсчитывалъ попасть въ политическій моментъ. Революція прекратилась, всюду правительства обратились къ мирнымъ задачамъ отеческаго управленія подданными, а народы уразумѣли необходимость правленія твердаго. Явилась нужда «въ общемъ мнѣніи», т. е. въ политической печати. И *Вѣстникъ Европы* имѣлъ въ виду удовлетворить общему настроенію, «лучшимъ умамъ, стоящимъ теперь подъ знаменемъ власти».

Въ результатѣ, является политическій отдѣлъ,—совершенная новость въ русской журналистикѣ.

Происходитъ это въ 1802 году. Прирожденному оптимизму издателя—полное раздолье. Карамзинъ можетъ съ полнымъ основаніемъ восхвалять правительственные планы на счетъ просвѣщенія: они дѣйствительно существовали въ первое время новаго царствованія. Бонапартъ удостаивается многорѣчивой хвалы за умерщвленіе чудовища революціи. Наконецъ, въ журналѣ печатается знаменитая ститья *О любви къ отечеству и народной гордости*.

Содержаніе ея не представляетъ ничего новаго послѣ статей *Зрителя*, разница въ тонѣ. Карамзинъ благодаритъ Бога за расположеніе своей души, совсѣмъ противное сатирическому духу, а вся сила Крылова именно въ этомъ духѣ.

У Карамзина любовь къ отечеству доказывается патетически, у Крылова,—путемъ безпощадной насмѣшки надъ пасынками Россіи. Карамзинъ крайне недоволенъ подражательностью, пренебреженіемъ русскихъ къ родному языку и роднымъ талантамъ, повторяются буквально мысли Плавильщикова на счетъ богатства русской рѣчи и бѣдности французской. «Хорошо и должно учиться», заканчиваетъ Карамзинъ, «но горе и человѣку, и народу, который будетъ всегдашнимъ ученикомъ».

Это вполнѣ основательно. Но, разъ журналистъ стоитъ за самостоятельные пути развитія, онъ долженъ ихъ указать, и пре-

имущественно, конечно, тамъ, гдѣ недугъ подражательности особенно глубокъ и тлетворенъ, т. е. въ литературѣ.

Помимо патріотическихъ изліяній общаго характера, журналу необходимо было вооружиться критикой, тѣмъ болѣе, что онъ такъ краснорѣчиво изобразилъ достоинства русскаго языка!

Но критиковать, значитъ рисковать на полемику, на утрату прекраснодушнаго *одическаго* настроенія. Это уже испыталъ издатель, и теперь онъ просто изгоняетъ критику изъ своего журнала.

«Что принадлежитъ до критики новыхъ русскихъ книгъ», пишетъ онъ, то мы не считаемъ ее истинною потребностію нашей литературы (не говоря уже о непріятности имѣть дѣло съ безпокойнымъ самолюбіемъ людей). Въ авторствѣ полезнѣе быть судимымъ, нежели судить. Хорошая критика есть роскошь литературы: она рождается отъ великаго богатства, а мы еще не крезы. Лучше прибавить что-нибудь къ общему имѣнію, нежели заняться его оцѣнкою. Впрочемъ, не закаиваемся говорить иногда о старыхъ и новыхъ русскихъ книгахъ, только не входимъ въ рѣшительное обязательство быть критиками». Нечего и говорить, что автору отнюдь не удалось доказать *ненужность* и *безполезность* критики. Самъ же онъ признаетъ пользу «быть судимымъ», слѣдовательно, судъ полезенъ, только не совсѣмъ удобенъ для судьи.

Вообще, Карамзинъ всѣми силами открещивается отъ всякаго подозрѣнія, какое могло бы возникнуть у русской публики, особенно у будущихъ «сускрибентовъ» на его журналъ, въ серьезности его намѣреній, какъ издателя и писателя.

Въ объявленіи объ изданіи Карамзинъ усиленно подчеркиваетъ свою исключительную заботу на счетъ *удовольствія* читателей. Онъ будетъ «указывать *новыя красоты* въ жизни», «избирать *пріятнѣйшіе*» изъ иностранныхъ цвѣтниковъ, «*украшать* словесность, языкъ», вообще—«не учить публику, а единственно занимать ее пріятнымъ образомъ, не оскорбляя вкуса ни грубымъ невѣжествомъ, ни варварскимъ слогомъ».

Очевидно, это особенная *эпикурействующая* публицистика, отъ начала до конца усладительная, разсчитанная прежде всего на пріятное времяпрепровожденіе. Недаромъ, даже по поводу политическаго отдѣла, Карамзинъ спѣшитъ отмѣтить «любопытные и забавные анекдоты»: ихъ издатель будетъ «съ осторожностью» брать изъ англійскихъ газетъ...

Несомнѣнно, былъ смыслъ и въ подобной программѣ. Тамъ, гдѣ едва набиралось триста подписчиковъ на безусловно литера-

турный журналъ, приходилось литературу преподносить въ видѣ самаго легкаго блюда, какого-нибудь безе или экзотическаго фрукта, сочинять трогательные анекдоты и политическія статьи переполнять наивнымъ національнымъ самохвальствомъ и торжественными чувствами на счетъ «счастливаго состоянія Россіи», «спокойствія сердецъ, веселыхъ лицъ, чувствительности русскихъ къ добру».

Все это цѣлесообразно для пріохочиванья публики къ чтенію. Но до такой ли степени?

Самъ Карамзинъ, въ оптимистическомъ ослѣпленіи всѣми и всѣмъ, напечаталъ статью *О книжной торговлѣ и любви къ чтенію въ Россіи*. Въ статьѣ указано громадное развитіе за послѣднія 25 лѣтъ московской книжной торговли, оцѣнены заслуги Новикова и сообщены дѣйствительно замѣчательные факты.

По свѣдѣніямъ Карамзина, даже бѣдные дворяне, съ годовымъ доходомъ не болѣе 500 рублей, собирали *«библіотечки»* и съ величайшимъ почтеніемъ относились къ книгамъ, перечитывали ихъ по нѣскольку разъ.

Правда, большинство этихъ книгъ—романы, и непремѣнно *чувствительные*. Но разъ существуетъ наклонность къ чтенію, читателей можно вести дальше романовъ. Карамзину не приходила на умъ эта простая мысль, и онъ лучше предпочиталъ производить ходкій, уже установившійся товаръ, чѣмъ рисковать *неудовольствіемъ* читателей.

Да, это не былъ ни учитель общественный, ни даже журналистъ въ смыслѣ общественнаго дѣятеля.

Переживъ эпоху просвѣщенія, хорошо знакомый съ ея литературой, Карамзинъ въ личной дѣятельности представилъ одинъ изъ самыхъ послѣдовательныхъ и цѣльныхъ примѣровъ идейной косности. На его языкѣ не было простой фразой требовать, чтобы «всѣ смѣлыя теоріи ума» и другія «любопытныя произведенія остроумія» остались въ книгахъ. Онъ шелъ дальше: не допускалъ теорій даже и въ книги, ограничиваясь ни къ чему не ведущими чувствами.

Даже самое дорогое дѣло—*стиль*—Карамзинъ предоставлялъ на волю судьбы и на доброе усмотрѣніе другихъ, менѣе опасавшихся «непріятностей» отъ самолюбивыхъ авторовъ. Карамзинъ всѣ силы души своей полагалъ на красоту слога, на выработку русскаго языка, но когда явилась необходимость защищать свой трудъ, писатель отошелъ въ сторону, и послѣдній бой на поприщѣ *стилистической* критики произошелъ безъ его участія.

XXXVI.

Выраженіе *стилистическая критика* для всѣхъ полемикъ старыхъ русскихъ литераторовъ неточно. Вопросъ о слогѣ сравнительно второстепенный въ началѣ и ходѣ борьбы. Ея сущность—общественнаго и политическаго содержанія, и грамматика почти для всѣхъ критиковъ является только предлогомъ для раскрытія публицистическихъ принциповъ.

Мы съ этимъ фактомъ встрѣчались неоднократно, но никогда онъ не являлся въ такомъ эффектномъ освѣщеніи, какъ въ спорѣ карамзинистовъ съ шишковистами.

Прежде всего любопытенъ идейный смыслъ борьбы.

Шишковисты выступили на сцену, какъ защитники церковнаго языка. Русскій языкъ только нарѣчіе славянскаго и долженъ всѣхъ своихъ красотъ искать въ священномъ писаніи, а не сочинять новыхъ словъ и не заимствовать выраженій изъ иностранныхъ языковъ. Изъ русской литературы должны быть удалены такія, напримѣръ, слова: эпоха, религія, трогательный, оттѣнокъ, развитіе. Взамѣнъ предлагались: непщевать, гобзованіе, умодѣліе, прозябеніе, и давно вошедшія во всеобщее употребленіе слова: аллея, аудиторія, ораторъ, героизмъ, извергъ должны уступить мѣсто—просаду, слушалищу, краснослову, добледушію, искидку. Это называлось «новыя мысли свои выражать старинныхъ предковъ нашихъ складомъ».

Достаточно этихъ примѣровъ, чтобы книгу адмирала Шишкова—*О старомъ и новомъ слогѣ*—признать неисчерпаемымъ запасомъ комизма и совершенно безцѣльнаго «словоизвитія». Никакія силы не могли заставить людей въ полномъ разсудкѣ и твердой памяти говорить и писать на самодѣльной варварщинѣ оригинальнаго филолога. Естественно, даже публика сразу оцѣнила идеи Шишкова и, по словамъ современника, «вся молодежь, всѣ дамы въ обѣихъ столицахъ ратовали за Карамзина».

Нетрудно было *писателямъ* сражаться съ такимъ противникомъ при вѣрномъ разсчетѣ на успѣхъ, и вся война могла бы остаться въ исторіи нашей критики развѣ только образчикомъ смѣхотворнаго педантическаго ристалища, отнюдь не серьезной литературной полемики.

Въ дѣйствительности, вышло совсѣмъ иначе.

Противъ Карамзина, мы видѣли, возставалъ и Крыловъ, но между нападками *Зрителя* и проповѣдями Шишкова нѣтъ ничего общаго.

Высокопоставленный критикъ, съ чисто военной рѣшительностью, обострилъ вопросъ совершенно неожиданно и перенесъ его на такую почву, что, пожалуй, на этотъ разъ малодушіе Карамзина извинительно.

Шишковъ вопросу о слогѣ придалъ характеръ государственнаго интереса и ненависть къ «высшему штилю» открыто отождествлялъ съ измѣной «обычаямъ, вѣрѣ и отечеству».

Для него преобразованія въ языкѣ равнялись нравственному упадку, религіозному отступничеству и политической революціи. Все это выражалось однимъ грознымъ понятіемъ «духъ времени», враждебный правительству и святости законовъ.

Трудно представить, какихъ предѣловъ достигалъ у Шишкова старовѣрческій азартъ. Впослѣдствіи, въ 1813 году, десять лѣтъ спустя по выходѣ своей книги, онъ даже пожаръ Москвы приписывалъ своимъ литературнымъ противникамъ: «теперь ихъ я ткнулъ бы въ пепелъ Москвы и громко имъ сказалъ: вотъ чего вы хотѣли!»

И главный вожакъ этой столь гибельной для отечества партіи оказывался пѣвецъ Филлиды, Деліи, Лизы и тому подобныхъ, менѣе всего политическихъ и революціонерныхъ предметовъ!

Но у Шишкова грамматика творила чудеса. Съ безпримѣрной находчивостью адмиралъ, впослѣдствіи одинъ изъ вліятельнѣйшихъ государственныхъ людей царствованія Александра I, умѣлъ *по буквамъ* слова предписывать цѣлую программу внутренней политики по наиважнѣйшимъ вопросамъ.

Напримѣръ, *въ государственномъ совѣтѣ* обсуждается вопросъ о крѣпостномъ правѣ. Въ такихъ случаяхъ Карамзинъ прибѣгалъ къ особеннымъ анекдотамъ; его врагъ поступаетъ несравненно проще, хотя и хитроумнѣе. Онъ беретъ слово *рабъ* и доказываетъ, что оно происходитъ отъ «работаю», т. е. служу кому-нибудь «по долгу и усердію»... Очевидно, въ Россіи нѣтъ рабства, какъ учрежденія предосудительнаго и для человѣчества оскорбительнаго, а есть только усердные и жизнерадостные слуги отцовъ-патріарховъ!..

Замѣтьте, Шишковъ вовсе не представлялъ злостнаго мракобѣсія, тонкаго сознательнаго софиста. Напротивъ, какъ помѣщикъ, это, дѣйствительно, нѣчто въ родѣ патріарха, гуманнаго и на рѣдкость безкорыстнаго. Въ положеніи высшаго чиновника Шишковъ обнаруживалъ иногда мужество, недоступное другимъ, хотя бы и болѣе либеральнымъ государственнымъ мужамъ.

Всѣ нелѣпости, филологическія и принципіальныя, у Шишкова были движеніями его сердца и искренними убѣжденіями ума. Можно, конечно, представить, что это за умъ и какъ онъ могъ руководить сердцемъ? Но искренность и убѣжденность не подлежатъ сомнѣнію.

Тѣмъ любопытнѣе вліяніе и власть подобнаго мудреца, по истинѣ безсмертна только что разсказанная сцена въ высшемъ законодательномъ учрежденіи великой имперіи!

Естественно, литераторы должны были вполнѣ серьезно отнестись къ такому человѣку, разъ онъ могъ стоять на вершинѣ государственной лѣстницы и выводы своей филологіи осуществлять въ распоряженіяхъ и циркулярахъ.

И Шишковъ оказывался необходимымъ не только въ высшей администраціи, онъ членъ академіи и даже первостепенный академикъ—по трудолюбію и, пожалуй, даже по учености.

Тишайшій Карамзинъ такъ характеризовалъ академію, гдѣ блисталъ Шишковъ. Члены ея—большинство плохіе переводчики—«големные претолковники, иже отрѣваютъ все, еже есть русское и блещаются блаженне сіяніемъ славяномудрія».

По предложенію Шишкова, академія съ 1805 года стала издавать *Сочиненія и переводы*, и Шишковъ явился главнымъ вкладчикомъ въ эту сокровищницу славяномудрія.

Но и это не все.

Въ 1811 году Шишковъ основалъ общество — «Бесѣду любителей русскаго слова», съ спеціальнымъ научно-литературнымъ органомъ *Чтенія въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова*. Общество скоро получило оффиціальное значеніе, даже выше чѣмъ академія. Уже по составу членовъ — Державинъ, гр. Завадовскій, Мордвиновъ, гр. Разумовскій, Дмитріевъ, сенаторъ Захаровъ—бесѣда представляла нѣчто въ родѣ литературной палаты пэровъ. А потомъ Шишковъ наканунѣ отечественной войны прочелъ здѣсь свое *Разсужденіе о любви къ отечеству*: оно быстро подвинуло государственную карьеру оратора.

По этимъ даннымъ можно судить, что собственно представляло изъ себя шишковистское движеніе. Это протестъ *всяческаго* староверія и *всесторонней* реакціи или, по крайней мѣрѣ, *неограниченнаго* застоя противъ какого бы то ни было новаго вѣянія, преобразованія въ идеяхъ и въ жизни русскихъ людей.

Это—сплоченная организація традицій вообще противъ прогресса, и предъ ея *культурнымъ* и *политическимъ* смысломъ от-

ступаютъ на заднiй планъ всѣ чисто-филологическiе вопросы. Они только создали удобный предлогъ, безобидную почву для объединенiя страстей и стремленiй, часто не имѣвшихъ ничего общаго съ какимъ бы то ни было стилемъ и литературнымъ направленiемъ.

Карамзинъ, повидимому, понялъ фактъ съ самаго начала и повелъ себя идеально-дипломатически.

Шишковисты, конечно, мѣтили почти исключительно въ издателя *Вѣстника Европы*. Это было ясно рѣшительно для всѣхъ, и даже Дмитрiевъ настаивалъ, чтобы Карамзинъ лично отвѣчалъ Шишкову.

Карамзинъ долго отговаривался, но, наконецъ, обѣщалъ удовлетворить настойчивость Дмитрiева и назначилъ даже срокъ.

Въ двѣ недѣли сочиняется отвѣтъ, Карамзинъ привозитъ его къ Дмитрiеву, начинаетъ читать и приводитъ въ восторгъ слушателя. Дмитрiевъ вполнѣ доволенъ, Шишковъ получитъ отпоръ отъ самаго талантливаго и наиболѣе оскорбленнаго писателя.

Но по окончанiи чтенiя Карамзинъ произноситъ такую рѣчь:

— Ну, вотъ видишь, я сдержалъ свое слово: я написалъ, исполнилъ твою волю. Теперь ты позволь мнѣ исполнить свою.

И съ этими словами авторъ бросаетъ рукопись въ каминъ...

Къ достоинству русской литературы нашлись сторонники новаго направленiя, способные сочинить не менѣе талантливую защиту и иначе ею воспользоваться.

У Карамзина съ самаго начала было не мало послѣдователей и даже сотрудниковъ, въ Петербургѣ и въ Москвѣ. Вся талантливая литературная молодежь ни минуты не могла колебаться между той и другой партiей. За Карамзина стояла публика, т. е. самая жизненная и вѣрная опора всякаго литературнаго развитiя. И этимъ уже вопросъ былъ рѣшенъ.

Карамзинистамъ приходилось сѣять сѣмя на благодарную почву, но попутно, отстаивая новый слогъ, они съумѣли коснуться многихъ несравненно болѣе важныхъ и спорныхъ вопросовъ и рѣшить ихъ въ интересахъ художественнаго прогресса и нацiональной свободы отечественной литературы.

XXXVII.

У шишковистовъ было столько комическаго и жалкаго, что ихъ личности и мысли немедленно представили богатую поживу для сатиры. Ее слѣдуетъ считать во главѣ карамзинистской оппо-

зиціи. Она достигала цѣли вѣрнѣе, чѣмъ самая талантливая критическая статья.

Ея талантливѣйшій представитель, Василій Пушкинъ, дядя геніальнаго поэта, своими «посланіями» производилъ настоящій эффектъ среди современныхъ читателей. Александръ Пушкинъ неоднократно упоминаетъ объ его войнѣ съ шишковистами, именуя «вкуса образцомъ», «защитникомъ вкуса».

И дѣйствительно, форма пушкинскихъ сатиръ въ высшей степени изящна, стихъ энергиченъ и содержателенъ. Поэтъ умѣетъ коснуться всѣхъ отрицательныхъ сторонъ шишковистской агитаціи и заклеймить ихъ бойкимъ, остроумнымъ словомъ.

Въ посланіи къ Жуковскому подвергнута осмѣянію манія Шишкова къ старозавѣтнымъ книгамъ. Авторъ ссылается на французскіе авторитеты—Буало, Паскаля, Боссюэ, но не въ классическомъ смыслѣ. Онъ заимствуетъ изъ чужого источника только подтвержденія своихъ здравыхъ воззрѣній на талантъ и просвѣщеніе. Ему нѣтъ дѣла до единствъ и иныхъ хитростей классицизма: онъ также прославляетъ Гомера, Софокла, Эврипида, Ювенала и Лафонтэна.

Рѣчь сатирика далеко не отличается сдержанностью. Для него старовѣры «безумцы», «соборъ безграмотныхъ славянъ», вождь ихъ именуется Балдусомъ и въ уста ему влагается такая рѣчь:

О братіе мои, зову на помощь васъ!
Ударимъ на него и первый буду азъ.
Кто намъ грамматикѣ совѣтуетъ учиться,
Во тьму кромѣшную, въ геенну погрузится;
И аще смѣетъ кто Карамзина хвалить,
Нашъ долгъ, о людіе! Злодѣя истребить.

Пушкинъ отдаетъ должное личной добротѣ Шишкова:

Аристъ душою добръ, но авторъ онъ дурной.

и не только дурной, но и вредный: идеи онъ стремится замѣнить словами и погасить просвѣщеніе.

Это значило бить въ самую больную язву шишковизма, и академикъ не замедлилъ отозваться въ академической рѣчи—прямо обвинилъ своихъ противниковъ въ невѣжествѣ и французскомъ безбожіи.

Обвиненія вызвали посланіе Пушкина къ Дашкову, еще болѣе рѣзкое, чѣмъ первое.

Что слышу я, Дашковъ? Какое ослѣпленье!
Какое лютое безумцевъ ополченье!

Кто тщится жизнь свою наукамъ посвящать,
Раскольниковъ-славянъ дерзаетъ уличать,
Кто пишетъ правильно и не варяжскимъ слогомъ—
Не любитъ русскихъ тотъ и виноватъ предъ Богомъ!

Авторъ указываетъ, что «благочестію ученость не вредитъ», что невѣжда не можетъ любить отечества, тотъ не патріотъ, кто «бѣдный мыслями печется о словахъ», и не разуменъ *старословъ*, скучный и бездарный, осуждающій на костеръ писателей за любовь къ словесности и наукамъ, за *абіе* и *аще*...

Оба посланія были изданы отдѣльно, но Пушкинъ не ограничился ими. По рукамъ въ спискахъ ходила поэма *Опасный сосѣдъ*, напечатанная потомъ заграницей. Въ поэмѣ нѣтъ ничего политическаго, но сатира на Шишкова вставлена въ очень игривое повѣствованіе. Остроуміе и здѣсь не измѣняетъ автору.

Онъ мчится съ сосѣдомъ, Буяновымъ, *на парѣ*, и по этому поводу обращается къ Шишкову:

Позволь, Варяго-Россъ, угрюмый нашъ пѣвецъ,
Славянофиловъ кумъ, взять слово въ образецъ!
Досель, въ невѣжествѣ коснѣя, утопая,
Мы парой *двоицу* по-русски называя
Писали для того, чтобъ понимали насъ...
Ну, къ чорту умъ и вкусъ: пишите въ добрый часъ! *).

Александръ Пушкинъ былъ въ восторгѣ отъ поэмы; отсюда его обращеніе:

И ты замысловатый
Буянова пѣвецъ,
Въ картинахъ столь богатый
И вкуса образецъ...

Въ другой разъ поэтъ называетъ своего дядю Несторомъ *Арзамаса*.

Эти данныя знакомятъ насъ съ нѣкоторыми главными врагами шишковистовъ. Въ защиту карамзинскихъ идей возсталъ рядъ журналовъ: *Цвѣтникъ* въ лицѣ Дашкова, *Московскій Меркурій*—при издательствѣ Макарова, *Сѣверный Вѣстникъ*—въ лицѣ Дм. Языкова, *Пріятное и полезное препровожденіе времени*—подъ редакціей Подшивалова. Въ противовѣсъ шишковскому литературному обществу въ 1801 году въ Петербургѣ образовалось *Вольное общество любителей словесности, наукъ и художествъ*. Общество, не въ примѣръ *Бесѣдѣ*, состояло изъ молодежи: украше-

*) Лейпцигское изданіе 1855 года.

ніемъ его являлись Дашковъ и Василій Пушкинъ. Въ 1815 году возникъ *Арзамасъ* съ участіемъ многихъ членовъ старѣйшаго общества.

Явилась, слѣдовательно, извѣстная организація, въ распоряженіи были періодическія изданія, и борьба закипѣла. Нашлось не мало подражателей Пушкина, шишковисты едва успѣвали читать одну сатиру за другой, во всевозможныхъ формахъ, отъ басни Измайлова до комедіи Дашкова. На ихъ сторонѣ не оказывалось равносильныхъ талантовъ. Они попытались было также основать журналъ *Другъ просвѣщенія* на слѣдующій годъ послѣ выхода книги Шишкова. Но, очевидно, несравненно было удобнѣе и безопаснѣе громить измѣнниковъ и безбожниковъ за священными стѣнами академіи или въ сановитой *Бесѣдѣ*, чѣмъ считаться съ противниками на глазахъ публики. Журналъ представлялъ какое-то богоугодное заведеніе для всего бездарнаго и комическаго. Приснопамятный гр. Хвостовъ, высмѣянный въ современной литературѣ едва ли не больше всѣхъ кунсткамерныхъ рѣдкостей шишковизма, шелъ во главѣ безцѣльнаго представленія. Это вполнѣ характеризуетъ и самый журналъ, и его положеніе въ публикѣ и литературѣ.

Нѣсколько серьезнѣе явился союзникъ въ лицѣ Сергѣя Глинки, издателя отчаянно-патріотическаго *Русскаго Вѣстника*. Его изданіе началось съ 1808 года исключительно ради «возбужденія народнаго духа» противъ французскаго завоевателя. Глинка предчувствовалъ появленіе Бонапарта въ Москвѣ и, долго «лелѣя сердце жизнью мечтательной», вздумалъ, наконецъ, путемъ журнала приготовить русское общество къ грядущему испытанію.

Русскій Вѣстникъ Глинки одно изъ самыхъ прекраснодушныхъ явленій добраго стараго времени, какой-то длящійся залпъ горячихъ чувствъ, пылкихъ рѣчей и, какъ водится, достаточная безпорядочность въ мысляхъ и доказательствахъ. О критикѣ здѣсь не могло быть и рѣчи. Идеи Шишкова восхвалялись, русская старина ставилась во главу угла міровой мудрости, Симеонъ Полоцкій и Костровъ именовались рядомъ съ Сократомъ и Гомеромъ, а дѣвица Волкова даже превозносилась сравнительно съ «гречанкою Сафо».

Все это дышало безусловной искренностью, но ровно на столько же обличало безсиліе по части логики, исторіи и весьма часто здраваго смысла.

Въ эпоху всеобщаго патріотическаго подъема духа и журналъ

Глинки сослужилъ свою службу, но только не на поприщѣ литературы и критики. Воейкову ничего не стоило убить всю эстетику пламеннаго патріота одной чертой. Она при всемъ шаржѣ недалеко отстояла отъ дѣйствительности, и легко представить, сколько нестерпимо-комическаго прибавлялъ Глинка въ шишковистскій фарсъ, и безъ того отлично обставленный по увеселительной части.

Во всемъ воейковскомъ сумасшедшемъ домѣ самые правдивые и самые остроумные стихи направлены противъ московскаго союзника грознаго адмирала.

Номеръ третій на лежанкѣ
Истый Глинка возсѣдитъ;
Передъ нимъ духъ русскій въ стклянкѣ
Не откупоренъ стоитъ.
Книга Кормчая отверзта,
А уста растворены,
Сложены десной два перста,
Очи вверхъ устремлены.
О Расинъ! откуда слава?
Я тебя дружка поймалъ!
Изъ россійскаго Стоглава
Ты Гоѳолію укралъ.
Чувствъ возвышенныхъ сіянье,
Выраженій красота,
Въ Андромахѣ подражанье
Погребенію кота!..

Сатирамъ на шишковистовъ не уступали и критическія статьи ихъ враговъ.

Цвѣтникъ находился въ рукахъ трехъ молодыхъ критиковъ— Дашкова, Бенинцкаго и Никольскаго. Послѣднихъ двухъ постигла ранняя смерть: Бенинцкій умеръ на 28 году, Никольскій на 25-мъ. Оба не только подавали надежды, но и успѣли оправдать ихъ. Бенинцкій обладалъ и беллетристическимъ талантомъ. Оба не пропускали уродливыхъ старовѣрческихъ явленій литературы въ родѣ шишковистскихъ драмъ, романовъ г-жи Радклифъ и не щадили ни авторитетовъ, ни преданій. Пока это была частная, партизанская война, но смерть пресѣкла дальнѣйшее развитіе молодыхъ свободныхъ талантовъ.

Счастливѣе Дашковъ.

До сихъ поръ можно съ удовольствіемъ и пользой прочитать его статьи, для своего времени прямо блестящія по остроумію, логичности, полнотѣ свѣдѣній.

Полемику противъ Шишкова Дашковъ велъ въ *Цвѣтникѣ* въ 1810 году, два года спустя появился въ *Петербургскомъ Вѣстникѣ*, органѣ *Общества любителей словесности, наукъ и художествъ*. Дашковъ, первый изъ журналистовъ, во всемъ объемѣ понялъ значеніе литературной критики. По его мнѣнію, она «главная цѣль» періодическаго изданія, она необходимое руководство для молодыхъ писателей при неустановившейся еще русской словесности. Критикъ «долженъ всегда быть умѣренъ и безпристрастенъ, даже недостатки отмѣчать «съ прискорбіемъ и уваженіемъ» къ извѣстнымъ писателямъ, весьма осторожно пользоваться опаснымъ оружіемъ насмѣшки.

Замѣчательнѣйшую статью Дашкова: *О легчайшемъ способѣ возражать на критики* слѣдуетъ считать смертнымъ приговоромъ шишковизму. Авторъ съ изумительной силой и достоинствомъ оцѣнилъ пріемъ Шишкова сливать литературные вопросы съ политическимъ и нравственнымъ, жестоко высмѣялъ шишковское словопроизводство и, можно сказать, похоронилъ «старослова» во мнѣніи всѣхъ, сколько-нибудь сознательныхъ и безпристрастныхъ свидѣтелей спора.

Немалую услугу оказалъ новой литературѣ Макаровъ. Онъ восторженно изобразилъ значеніе Карамзина въ совершенствованіи стиля, объяснилъ, на основаніи исторіи, законъ развитія языка одновременно съ развитіемъ идей, доказалъ, что высокій слогъ заключается не въ словахъ, а въ содержаніи, въ мысляхъ и чувствахъ автора. Макаровъ впадалъ даже въ лиризмъ, устанавливая славу своего учителя, но сущность его взглядовъ до сихъ поръ справедлива.

«Пройдетъ время, когда и нынѣшній языкъ будетъ старъ: цвѣты слога вянутъ подобно всѣмъ другимъ цвѣтамъ. Въ утѣшеніе писателю остается, что умъ и чувствованія не теряютъ своихъ пріятностей и достигаютъ до самаго отдаленнаго потомства. Красавицы двадцать третьяго вѣка не станутъ, можетъ быть, искать могилы Лизы; но въ двадцать третьемъ вѣкѣ другъ словесности, любопытный знать того, кто за 400 лѣтъ прежде очистилъ, украсилъ нашъ языкъ, и оставилъ послѣ себя имя, любезное отечественнымъ благодарнымъ музамъ, другъ словесности, читая сочиненія Карамзина, всегда скажетъ: «Онъ имѣлъ душу; онъ имѣлъ сердце!».

Макаровъ ссылается на мнѣніе публики о заслугахъ Карамзина: «Онъ сдѣлалъ эпоху въ исторіи русскаго языка».

Это осталось приговоромъ и позднѣйшей критики: Бѣлинскій повторитъ тѣ же слова.

Но борьба съ шишковистами не только выяснила значеніе Карамзина-стилиста: она устремила мысль молодыхъ критиковъ дальше слога и языка. У защитниковъ автора *Бѣдной Лизы* подчасъ, будто невольно, срываются идеи, врядъ ли особенно пріятныя учителю и лестныя для его славы. Даже у Макарова звучитъ нѣкоторая скептическая нотка по поводу могилы *Бѣдной Лизы*. Но это—произведеніе вождя партіи, хотя и не участвующаго въ бою. Иначе отнесется тотъ же критикъ и его товарищи къ мелкимъ карамзинистамъ.

Они упорно будутъ отстаивать *новый языкъ*... Но ихъ изощренный критическій анализъ не удовлетворится грамматическими перестрѣлками,—они направитъ свою разрушительную силу, хотя на первое время и сдержанную, противъ *новаго содержанія* литературы, обязаннаго существованіемъ тому же преобразователю языка.

Еще не успѣла закончиться борьба съ классицизмомъ, начинаются вылазки противъ чувствительности. Онѣ пока минуютъ самого Карамзина, но онъ не можетъ не видѣть, что рѣшается участь его прямыхъ дѣтищъ и рано или поздно придетъ очередь и для его «души» и «сердца».

XXXVIII.

Шишковъ взялся не за свое дѣло, принявшись фанатически преслѣдовать карамзинскую реформу языка. Предпріятіе варяго-росса имѣло бы больше смысла и успѣха, если бы онъ попробовалъ свое оружіе не противъ отдѣльныхъ словъ Карамзина, его изящной отдѣлки стиля, а противъ чувствительнаго манерничанья, часто каррикатурнаго у даровитаго учителя и совершенно нестерпимаго у бездарныхъ учениковъ.

Карамзинъ, напримѣръ, въ письмахъ къ друзьямъ постоянно смѣется надъ Клушинымъ, именуя его Коклюшинымъ, надъ русской вертерьядой подъ заглавіемъ *Несчастный М—въ*. Но сентиментализмъ Клушина и уродства россійскаго Вертера—продукты карамзинской школы. Карамзинъ посѣялъ на русской нивѣ чувствительность и соблазнилъ многихъ нищихъ духомъ и еще болѣе нищихъ талантомъ.

Перелистайте одно—два подобныхъ произведенія, и вамъ станетъ страшно за участь русскаго языка и даже русскаго здраваго смысла. Иногда самые заурядные авторы, отнюдь не кри-

тики, напримѣръ, нѣкій М. С., сочинитель *Россійскаго Вертера*, рѣшались сомнѣваться въ правдивости Геснеровскихъ идиллій, считали простой уловкой риѳмотворцевъ воспѣваніе *рѣчекъ* и *овечекъ* и весьма остроумно разоблачали «стихотворческія басни». Такъ, напримѣръ, тотъ же М. С. рядомъ писалъ идиллію въ стилѣ *Бѣдной Лизы*: на сценѣ и пастушки, и васильки, и даже аленькія гвоздички, а соотвѣтствующая всему этому вздору реальная картина: «крестьянская баба въ лаптяхъ, которая неосторожно рѣзвилась съ большимъ мальчишкой».

Не лучше содержанія и стиль. «Слезы покатились по лицу его подобно бѣлому полотну», «Ангелъ невинности, слезы суть твоя пища»... Это стоило классической «ахинеи», возмущавшей Львова, и было вполнѣ законно ополчиться на нее.

Но недугъ шелъ глубже. Послѣ карамзинскаго путешествія въ русской литературѣ воцарилась повальная манія вояжировать по всѣмъ направленіямъ, начиная съ поѣздокъ на богомолье и въ Малороссію и кончая странствіемъ по комнатѣ.

И все это изображалось въ книгахъ и журналахъ, читатель могъ задохнуться отъ впечатлѣній неутомимыхъ путниковъ, въ дѣйствительности производившихъ всѣ чудеса въ своемъ воображеніи и въ своихъ кабинетахъ.

Столько матеріала, заслужив得аго настоящей сатиры и безпощадной критики! Но шишковисты предпочли арену патріотизма и элоквенціи въ духѣ Тредьяковскаго. Изъ той же карамзинской школы вышли и противники ея явныхъ уродствъ.

Макаровъ достойно оцѣнилъ слезливость Шаликова, эту нервно-развинченную литературу «розоваго цвѣта», реторическую и безсодержательную. Въ *Сѣверномъ Вѣстникѣ*, державшемъ сторону Карамзина, напечатана горячая статья противъ увлеченія французскими авторами чувствительнаго направленія.

Статья—предисловіе къ переводной критикѣ на романъ г-жи Сталь *Дельфина* *). Авторъ до глубины души возмущенъ подражательностью русскихъ: «Мы довольно походимъ на тѣхъ дикихъ народовъ, которые съ изступленіемъ смотрятъ на провозимые къ нимъ европейцами мелочные и весьма обыкновенные товары, какіе отъ сихъ дѣтей природы принимаются за самыя драгоцѣнныя вещи».

Величайшая язва, на взглядъ автора, *чувствительность*. Она до такой степени ослѣпляетъ дамъ, что онѣ даже не различаютъ неблагопристойности французскихъ книгъ, въ томъ числѣ *Дельфины*.

*) Отдѣльное изданіе—*Разсужденіе о Дельфинѣ*. Спб. 1803.

Еще любопытнѣе протестъ противъ сентиментализма въ *Журналѣ россійской словесности*, органѣ *Вольнаго общества любителей словесности, наукъ и художествъ*. Журналъ держался не особенно твердой политики въ спорѣ шишковистовъ съ карамзинистами, склонялся, пожалуй, скорѣе на сторону новыхъ стилистовъ, но относительно сентиментализма мнѣніе журнала совершенно опредѣленное.

Къ чувствительнымъ авторамъ обращалась такая рѣчь:

«Высокопарные педанты! Нѣжные селадоны! Какъ бы счастливы были читатели ваши, если бы, не паря подъ облаками, не напыщиваясь какъ Езопова лягушка, выходя на каѳедру для площадной морали, которой вы сами не слѣдуете, не проливая на каждой страницѣ чувствительныхъ слезъ, которыя возбуждаютъ смѣхъ въ читателяхъ, писали бы просто, но ясно!».

Критики журнала издѣвались надъ сумасбродствомъ чувствительныхъ воздыхателей, всюду отыскивавшихъ цвѣты и грацій. Издѣвательство не могло не задѣть первостепеннаго поклонника конфектныхъ волшебныхъ замковъ, и Карамзину, по справедливости, слѣдовало бы возстать на защиту сентиментализма.

Но онъ до конца предпочелъ хранить молчаніе и во что бы то ни стало избѣжать «непріятностей».

А между тѣмъ, въ журналистикѣ, враждебной слезоточивости россійскихъ Стерновъ, выставлялись на видъ не только художественныя уродства модной школы. Русская критика и здѣсь оставалась вѣрна своей основной стихіи—публицистикѣ. Сентиментализмъ терпѣлъ пораженіе, какъ источникъ *жизненной* лжи, какъ словесная призма, совершенно извращавшая дѣйствительность для нравственнаго чувства и умственнаго взора краснорѣчивыхъ кабинетныхъ путешественниковъ.

Особенно любопытенъ протестъ, вышедшій изъ бывшаго карамзинскаго журнала и пропущенный отнюдь не прогрессивнымъ и либеральнымъ редакторомъ, по крайней мѣрѣ, въ области литературной критики.

Вѣстникъ Европы послѣ Карамзина, т. е. съ 1804 года переходилъ въ разныя руки; одно время редактировался даже Жуковскимъ, по самой природѣ отнюдь не публицистомъ и даже не издателемъ.

Это немедленно и доказалъ кроткій пѣвецъ Свѣтланы.

Въ руководящей статьѣ романтикъ такъ опредѣлялъ политику и критику:

«Политика въ такой землѣ, гдѣ общее мнѣніе покорно дѣятельной власти правительства, не можетъ имѣть особой привлекательности для умовъ беззаботныхъ и миролюбивыхъ: она питаетъ одно любопытство, и въ такомъ только отношеніи журналистъ описываетъ новѣйшіе и самые важные случаи міра».

Надо понимать, вѣроятно, «анекдоты», столь близкіе сердцу Карамзина, и «осторожныя» выписки изъ англійскихъ газетъ.

О критикѣ Жуковскій судитъ также на карамзинскій ладъ, т. е. вполнѣ беззаботно на счетъ литературы и весьма заботливо касательно своего спокойствія.

«Критика, но, государи мои, какую пользу можетъ приносить въ Россіи критика? Что прикажете критиковать? Посредственные переводы посредственныхъ романовъ? Критика и роскошь—дочери богатства, а мы еще не крезы въ литературѣ».

По мнѣнію Жуковскаго, современные ему писатели даже не желали быть крезами. Не замѣтно дѣятельнаго, повсемѣстнаго усилія умовъ производить или пріобрѣтать, нѣтъ образцовъ, а самая тонкая критика ничто безъ образцовъ...

И это писалось человѣкомъ, наводнявшимъ литературу переводами, твердилось въ то время, когда царили Жанлисъ, Коцебу, Радклиффъ! И царству ихъ не предвидѣлось конца, разъ журналисты отказывались отъ критики и предоставляли публикѣ самой разбираться въ невѣроятномъ переводномъ хламѣ.

Жуковскій взывалъ: «дадимъ свободу раскрыться нашимъ геніямъ!..» Это означало: дождемся красотъ и тогда воскликнемъ по адресу читателя и автора: «восхищайся, подражай, будь остороженъ!»

Подъ такими идеями могъ бы подписаться самъ Шишковъ.

По поводу статьи московскаго профессора Мерзлякова о классической трагедіи, онъ взывалъ о развращеніи юношества и увѣрялъ, что «истинные таланты никогда не возникнутъ» при существованіи критики.

Правда, Жуковскій никогда не уличалъ своихъ противниковъ ни въ какихъ смертныхъ грѣхахъ, ему случалось даже мимоходомъ признавать пользу критики, но ничто не могло подвинуть его на борьбу и полемику. А безъ этихъ условій самыя благія намѣренія—тунеядный капиталъ.

Другой издатель *Вѣстника Европы*, Каченовскій, докторъ философіи и профессоръ изящныхъ искусствъ, впослѣдствіи ожесточенный врагъ *философскаго* движенія среди профессоровъ и сту-

дентовъ, обезсмертившій себя непримиримой ненавистью къ *поэзіи* Пушкина. Трудно было даже въ допотопныя времена русской науки оригинальнѣе оправдать ученую степень и высокое положеніе въ университетѣ!

Подвиги Каченовскаго въ журналистикѣ такого же полета. «Одобреніе начальства» для него стояло рядомъ съ «благосклонностью сускрибентовъ», въ дѣйствительности неизмѣримо выше. Потому что врядъ ли «сускрибенты» были особенно довольны, когда профессоръ, вмѣсто полемики, жаловался властямъ на Полевого, издателя *Московскаго Телеграфа*, человѣка, не въ достаточной степени проникнутаго почтеніемъ къ «заслуженнымъ» сторожамъ литературнаго и научнаго кладбища.

За всѣ эти дѣла журналу Каченовскаго пришлось умереть «смертью обыкновенною, по чину естества». Такъ выражался самъ профессоръ, можетъ быть, первый и послѣдній разъ достойно оцѣнивая свою философію и критику.

Но смерть произошла только въ 1830 году, а мы пока въ самомъ разцвѣтѣ дѣятельности Каченовскаго. Онъ горой стоитъ за классицизмъ. Сравнительно свободно обращаясь съ преданіями русскихъ лѣтописей, ученый не смѣетъ коснуться археологическихъ святынь расиновскаго наслѣдства. Онъ безпрестанно говоритъ о «правилахъ здраваго вкуса» и переполняетъ журналъ восторгами предъ послѣдними, въ конецъ измельчавшими птенцами сумароковской школы. Подъ его сѣнью начнется подвижничество Надеждина, разсчитанное на полное уничтоженіе Пушкина, какъ нигилиста, т. е. *нуля* въ русской поэзіи.

Вообще, біографія *Вѣстника Европы* вполнѣ благонамѣренна и нестерпимо солидна. Пожалуй, даже при Карамзинѣ журналъ былъ терпимѣе и, во всякомъ случаѣ, обладалъ болѣе развитымъ художественнымъ чутьемъ. И все-таки педантъ въ одномъ отношеніи оказался разсудительнѣе поэта.

Подъ редакціей Каченовскаго *Вѣстникъ Европы* напечаталъ одну изъ самыхъ основательныхъ отповѣдей русскому сентиментализму. Она, положительно остроумна, отнюдь не обличаетъ пера самого редактора, тѣмъ любопытнѣе добрая воля убѣжденнаго классика!

«Кто въ театрѣ смѣется надъ новыми Стернами», гласитъ статья, «тотъ уже вѣрно стыдится щеголять сентиментальностью и вѣрно уже напалъ, иль скоро нападетъ на хорошій вкусъ въ словесности. Чувствительность сердца есть, конечно, драгоцѣнный

даръ природы; но надобно, чтобы она была управляема здравымъ разумомъ, а здравый разумъ запрещаетъ безполезно таскаться по бѣлому свѣту, разнѣживаться при всякой обыкновенной вещи, болтать безпрестанно о лазурно-розовомъ небѣ и бальзамическомъ вліяніи, и единственно въ этомъ болтаніи показать все просвѣщеніе, а въ сентиментальныхъ путешествіяхъ, сказкахъ и романсахъ—весь кругъ изящной словесности. Если разсмотрѣть, откуда проистекаетъ и куда ведетъ сія приторная чувствительность, то вдругъ окажется, что источникомъ ея будетъ нерадивое воспитаніе и невѣжество, а слѣдствіемъ—изнѣженность сердца, неспособность къ отправленію должности въ общежитіи и несносная причудливость».

Это очень лестно и книга *Вѣстника Европы*, № 13-й 1812 г., гдѣ помѣщено столь рѣдкое для своего времени разумное разсужденіе, настоящій памятникъ здраваго смысла среди удручающей классической пустыни и идиллическихъ долинъ золотого вѣка.

Легко замѣтить, что протестъ противъ сентиментализма выходитъ особенно убѣдительнымъ не по эстетическимъ соображеніямъ критика, а благодаря его въ высшей степени цѣлесообразному указанію на нравственное и общественное растлѣніе подъ вліяніемъ злополучной школы. Даже для *Вѣстника Европы* сентиментализмъ существенная немощь на пути умственнаго развитія русскаго юношества и подрывъ жизненной энергіи.

Другіе, болѣе послѣдовательные критики, эту сторону вопроса подчеркнули еще откровеннѣе и ярче. Изъ ихъ разсужденій прямо будетъ вытекать идея о *практическомъ* вредѣ сентиментализма, о полномъ контрастѣ русской жизни и стерновскихъ чувствъ.

Журналъ Россійской словесности, столь рѣзко заявившій себя противъ «высокопарныхъ педантовъ», не менѣе опредѣленно проводилъ демократическіе взгляды на положеніе крѣпостнаго народа. Новаго, по существу, ничего не проповѣдывалось, повторялось еще крыловское сравненіе барской роскоши и мужицкой нужды, тонкаго французскаго воспитанія и народныхъ лишеній. Но для насъ любопытно одновременное уничтоженіе литературной чувствительности и помѣщичьяго сословнаго эгоизма, художественной лжи и общественной неправды.

Журналъ напоминалъ просвѣщеннымъ читателямъ, что мужики отдаютъ часто послѣднее рубище на барскія прихоти, на французскія моды, на лакейскія ливреи. Вообще журналъ неустанно слѣдуетъ политикѣ *Зрителя*—приводить въ связь наносное фран-

цузское просвѣщеніе съ органическимъ отечественнымъ варварствомъ, и естественно, сентиментализмъ, какъ самый пышный и самый искусственный плодъ иноземной моды, попадаетъ на первый планъ именно въ гражданскихъ сатирахъ и проповѣдяхъ современниковъ.

Опять плохо приходилось не только слабымъ дѣтищамъ карамзинской школы, но и самому ея родителю.

Карамзинъ въ эпоху журнальнаго издательства, по своему понималъ народность и національность. Въ *Аглаѣ* онъ задумалъ напечатать богатырскую сказку объ Ильѣ Муромцѣ. Дальше его демократизмъ не простирался, но и здѣсь онъ принялъ самую пріятную форму.

Въ русской старинѣ Карамзинъ искалъ еще больше услады, чѣмъ можно найти въ нѣмецкихъ идилліяхъ.

Оказывается, до сихъ поръ издатель нѣжно-розоваго альманаха изнывалъ надъ прозаической истиной и тяжкой существенностью, только теперь онъ готовится облегчить свое изстрадавшееся сердце:

Ахъ! не все намъ горькой истиной
Мучить томныя сердца свои!
Ахъ, не все намъ рѣки слезныя
Лить о бѣдствіяхъ существенныхъ!
На минуту позабудемся
Въ чародѣйствѣ красныхъ вымысловъ

Илья Муромецъ остался неоконченнымъ. Очевидно, даже безпощадно разсыропленное народное преданіе не совсѣмъ пришлось по сердцу поклоннику Стерна!

XXXIX.

Непреодолимая наклонность всюду стараться высасывать одинъ медъ не покинетъ Карамзина и наканунѣ его приступа къ *Исторіи Государства Россійскаго*. Онъ многозначительно сообщаетъ читателямъ о своей любви къ русскимъ древностямъ, увѣряетъ, что ему «старая Русь извѣстна болѣе, нежели многимъ изъ согражданъ его...» Откуда же и какъ получилъ Карамзинъ свои свѣдѣнія?

Отвѣтъ слѣдующій:

«Я люблю сіи времена; люблю на быстрыхъ крыльяхъ воображенія летать въ ихъ отдаленную мрачность, подъ сѣнью давно истлѣвшихъ вязовъ искать брадатыхъ моихъ предковъ, бесѣдовать съ ними о приключеніяхъ древности, о характерѣ славнаго народа

русскаго, и съ нѣжностью цѣловать руки у моихъ прабабушекъ, которыя не могутъ насмотрѣться на своего почтеннаго правнука, не могутъ наговориться со мною».

Вотъ, слѣдовательно, источникъ историческихъ и бытовыхъ представленій Карамзина: воображеніе и фантастическія бесѣды съ прабабушками!

Мы должны вполнѣ серьезно понимать рѣчь будущаго исторіографа. Недаромъ онъ, намекая читателямъ *Московскаго журнала* на свою будущую государственную работу именовалъ свой «трудъ»—«памятникомъ души и сердца моего», хотя бы «для малочисленныхъ пріятелей».

Души и *сердца*, это не то, что *ума* и *критики*. И въ дѣйствительности *Исторія* окажется однимъ изъ художественныхъ и литературныхъ явленій опредѣленной школы.

Это—капитальнѣйшій фактъ въ судьбахъ русской критики.

Мы увидимъ, въ какомъ направленіи вдохновилъ Карамзинъ русскую критическую мысль своимъ «памятникомъ».

Все равно, какъ его послѣдователи быстро довели сентиментализмъ и международный маскарадъ нѣжности до послѣдняго предѣла смѣхотворности и безсмыслія и этимъ вызвали неизбѣжный протестъ здраваго смысла и здороваго чувства, такъ самъ Карамзинъ на своей ученой работѣ обнаружилъ съ особенной яркостью несостоятельность своего литературнаго направленія, и его *Исторія* формой и содержаніемъ нанесла такой ударъ реторикѣ и сентиментализму, какой не по силамъ былъ ни одному, самому искусному современному противнику карамзинистовъ.

Мы знаемъ, на чувствительность будто невольно поднимали руку консервативнѣйшіе журналы и благонамѣреннѣйшіе публицисты. Нѣкоторые изъ нихъ даже усиливались спасти классицизмъ, но россійская вертеровщина рѣшительно возмущала ихъ уравновѣшенную душу.

И они правы.

Въ сентиментализмъ, при всѣхъ его заслугахъ—освобожденія литературы отъ правилъ и этикета,—по самой его природѣ могло проникнуть больше лжи и неправдоподобія, чѣмъ въ бездарнѣйшую классическую трагедію.

Классицизмъ имѣлъ дѣло съ прошлымъ, съ исторіей, съ давно погибшими героями; его наслѣдникъ настойчиво врывался въ настоящее, въ дѣйствительную жизнь и подмѣнялъ для всѣхъ очевидную осязательную правду полетами воображенія.

Чтобы развѣнчать классицизмъ Дмитрія Донского, требуется все-таки нѣкоторая ученость и извѣстная вдумчивость въ логику и психологію. Но чтобы возстать на «несчастнаго М—ва» достаточно просто твердой памяти и разсудка.

Отсюда—совершенно необходимый публицистическій характеръ почти всей критики, направленной противъ сентиментализма. Онъ только усилится и углубится, когда предъ читателями явится *подлинная отечественная исторія*, изложенная въ духѣ сентиментализма. Контрастъ правды и искусства выйдетъ прямо ослѣпительнымъ, и у Карамзина окажутся самые неожиданные противники — ученые историки Каченовскій и даже Погодинъ, здѣсь же, одновременно съ знаменитыми статьями Арцыбашева въ его журналѣ заявляющій о своемъ преклоненіи предъ исторіографомъ.

Очевидно, трудъ Карамзина *стихійно* толкалъ ученыхъ и журналистовъ на протестъ и часто уничтожающія сомнѣнія.

Такимъ образомъ, независимо отъ какихъ бы то ни было преднамѣренныхъ нападокъ принципіальныхъ враговъ, сентиментализмъ долженъ былъ погибнуть: онъ самъ себѣ вырылъ могилу и самъ себѣ пропѣлъ отходную.

И этой отходной—по волѣ иронической судьбы—явилось самое талантливое и значительное произведеніе Карамзина.

Борьба, вызванная имъ, тянется нѣсколько лѣтъ. Она отнюдь не наполняетъ всецѣло журналистики и не поглощаетъ всей современной критической мысли.

Рядомъ возникаютъ и растутъ еще болѣе могучія и богатыя послѣдствіями теченія, чѣмъ война съ отживающими литературными школами.

Все до сихъ поръ изложенное развитіе русской критики—мирная и кроткая исторія не особенно сильныхъ и глубокихъ мыслей, сравнительно покойныхъ и довольно однообразныхъ чувствъ и настроеній.

Въ литературѣ нѣтъ великихъ творческихъ талантовъ, блестящихъ образцовъ, нѣтъ, слѣдовательно, самыхъ возбудительныхъ явленій для критической работы. *Въ обществѣ* отсутствуютъ искренніе, широкіе идейные интересы, въ громадномъ большинствѣ оно живетъ на старой, для него непогрѣшимой почвѣ, и самые отважные не рѣшаются порвать своихъ связей съ исторически установившимися общественными гранями и сословными отношеніями.

Въ результатѣ литературная критика и публицистическая по-

*

лемика превращаются въ домашній споръ. Только ясновидцу Шишкову могутъ казаться опасными трогательныя упражненія карамзинистовъ и кроткія поползновенія другихъ писателей—думать не согласно съ нимъ, стражемъ Синопсиса. Тотъ же самый *Вѣстникъ Европы* Каченовскаго, очень свободно критиковавшій литераторовъ, защищаетъ вообще цензуру и противопоставляетъ ее «неистовымъ революціямъ». Очевидно, при такомъ строѣ мысли нечего было опасаться ни за развращеніе юношества, ни за гибель отечественныхъ талантовъ.

Это не значитъ, будто старая критика не принесла литературѣ существенной пользы.

Напротивъ. Она успѣла затронуть важнѣйшіе вопросы искусства и даже дѣйствительности. Она — нравственное чувство для жизни и здравый смыслъ для искусства—возстала на классицизмъ за долго до Грибоѣдова, обнажила язвы чувствительности, когда еще и слуху не было о стихахъ и эпиграммахъ Пушкина, наконецъ, она касалась главнѣйшаго устоя россійско-европейской словесности и уродливаго экзотическаго «просвѣщенія»—крѣпостного права.

И мы видѣли, подчасъ сильно доставалось одинаково и комедіянтамъ литературы, и деспотамъ жизни.

Но, при всѣхъ добрыхъ намѣреніяхъ критиковъ и публицистовъ, у нихъ не было необходимыхъ опоръ и единственно-надежныхъ условій успѣха: въ литературѣ—произведеній, сильныхъ одинаково и творчествомъ, и правдой, въ жизни—фактовъ и людей, отвѣчающихъ идеямъ. Приходилось жить *одной теоріей*, т. е. пребывать въ нѣкоторомъ туманѣ по части конечныхъ выводовъ и цѣлей критики, существовать почти исключительно *отрицаніемъ*. Для публики—самый неблагодарный путь къ уясненію новыхъ идеаловъ. Для нея необходима *наглядная иллюстрація* мысли, яркій опредѣленный *образъ*.

Онъ замѣнитъ собой самыя основательные логическіе доводы и приведетъ къ желанному выводу самыя тугія и упорныя головы.

Нѣтъ сомнѣнія, журнальная полемика о классицизмѣ и сентиментализмѣ длилась бы еще цѣлые годы, если бы на помощь критикамъ не явились художники и не освѣтили вдохновеніемъ и чувствомъ ихъ идеи.

Справедливо также, что общественная мысль долго еще совершала бы заколдованный кругъ въ предѣлахъ карамзинско

любвеобильной мечтательности и крыловской чисто-отрицательной сатиры, если бы въ полемику не ворвались событія и рядомъ съ литераторами не стали дѣятели.

Все это, къ великому выигрышу русскаго прогресса, произошло одновременно, т. е. событія нашли достойныхъ участниковъ и истолкователей, явленія жизни вызвали вполнѣ соотвѣтствующій откликъ въ идеяхъ, и на завоеваніе новыхъ порядковъ и новыхъ вѣрованій пошли рядомъ геніальные художники и искренніе энергическіе идеалисты. Таланты быстро нашли свою публику, это неудивительно, но также и идеалисты не остались безъ учениковъ и послѣдователей.

Въ этомъ фактѣ основной культурный интересъ преобразовательнаго періода русской критики.

По главнѣйшимъ всепроникающимъ силамъ великаго прогрессивнаго движенія критической и общественной мысли, его можно точно опредѣлить наименованіемъ *національно-философскаго*.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Въ одной французской комедіи прошлаго вѣка, направленной противъ современной модной философіи, изображается въ высшей степени эффектная и, по замыслу автора, ядовитая сцена.

Философы вольтеріянскаго и энциклопедическаго направленія держать совѣтъ, какъ вытѣснить отовсюду своихъ противниковъ и дѣлять между собой вселенную. Одинъ долженъ возмутить Петербургъ и его академію, другой отправитъ памфлетъ въ Италію, третій, одаренный исключительной храбростью, разошлетъ двадцать повѣстей по обоимъ полушаріямъ, предсѣдатель совѣта беретъ на себя Англію.

Сцена по смыслу вполнѣ соотвѣтствовала дѣйствительности. Французскіе просвѣтители дѣйствительно властвовали надъ просвѣщеннымъ міромъ и могли похвалиться самыми блестящими и въ то же время самыми покорными вѣрноподданными. Но, мы видимъ, еще въ самый разгаръ этой власти является протестъ, насмѣшка, хотя и не поражающая особеннымъ талантомъ, но преисполненная злости и одушевленная надеждой на близкій конецъ ненавистнаго деспотизма.

До революціи это только партія, проникнутая самыми разнообразными реакціонными чувствами—религіознымъ фанатизмомъ, политической косностью, духовнымъ мракобѣсіемъ. Со времени переворота картина мѣняется. Философія быстро теряетъ кредитъ даже у вчерашнихъ друзей и усердныхъ проповѣдниковъ, и противниками ея теперь можно считать едва ли не всѣхъ спасшихся и разочарованныхъ.

Въ самомъ дѣлѣ, повидимому, банкротство полное!

Столько самонадѣянныхъ обѣщаній, такой азартъ критики и

разрушенія всего стараго, и въ результатѣ ужасы террора и тьма бонапартизма.

Некогда разбирать вопроса, дѣйствительно ли философія и критика виноваты въ кровавомъ движеніи революціи. Въ минуты запуганности, вообще сильныхъ нравственныхъ потрясеній логика у людей стремится принять самую упрощенную форму. Изслѣдованіе внутреннихъ, болѣе или менѣе глубокихъ причинъ данныхъ явленій требуетъ спокойствія и вдумчивости, легче рѣшить вопросъ на основаніи внѣшняго сопоставленія фактовъ. Что стоитъ рядомъ, что слѣдуетъ другъ за другомъ во времени, то и связано между собой причинностью.

Post hoc—ergo propter hoc, и въ результатѣ—Вольтеръ и его послѣдователи, эти искренніе монархисты и въ большинствѣ еще болѣе открытые враги матеріализма и безбожія, превращаются въ сочинителей-разбойниковъ, въ безудержныхъ отрицателей всего святаго, нравственаго и даже вообще духовной природы человѣка и принципіальныхъ основъ общественнаго порядка.

Нападенія начинаются очень рано, еще въ первый періодъ революціи. Во главѣ нападающихъ идутъ рядомъ малодушные отступники въ родѣ «незаконнаго сына философіи» Лагарпа, прирожденные враги просвѣтительной мысли—Деместръ и цѣлый рядъ пророковъ и софистовъ средневѣковой реставраціи. Къ нимъ присоединяются и несравненно болѣе благородные и искренніе искатели душевнаго мира и новой вѣры.

Не въ природѣ человѣческаго духа жить среди развалинъ и пустынь, вносить въ міръ сплошное отрицаніе и сомнѣніе, и всякій разъ непосредственно послѣ стремительнаго натиска на отжившіе идеалы жизни и мысли, у людей поднимается жгучая жажда построить новое зданіе хотя бы даже изъ стараго матеріала. А если этотъ матеріалъ оказывается безнадежно негоднымъ, наскоро изготовляется новый, часто призрачный и фантастическій, но дающій хотя бы временное удовлетвореніе неистребимымъ человѣческимъ вожделѣніямъ о гармоніи и положительной истинѣ.

И въ самой Франціи, только-что привѣтствовавшей Вольтера небывалыми восторгами, торжественно хоронившей его прахъ въ Пантеонѣ, поднимаются одинъ за другимъ безпощадные критики вольтеріянства и всего философскаго движенія, завѣщаннаго его эпохой.

Критики на первыхъ порахъ по существу продолжаютъ старое дѣло и ихъ голоса кажутся особенно внушительными и даже ори-

гинальными только потому, что теперь они звучатъ совершенно кстати и предъ ними такая же обширная и внимательная аудиторія, какая еще такъ недавно была у энциклопедистовъ.

Рядомъ съ философами вольтеровскаго толка во французской литературѣ еще до революціи дѣйствовали писатели совершенно другого нравственнаго склада, будто не французскаго національнаго типа. Талантливѣйшій изъ нихъ Руссо отъ современниковъ стяжалъ наименованіе *нѣмецкаго* автора.

И дѣйствительно, его можно поставить во главѣ оригинальной породы публицистовъ, писавшихъ на французскомъ языкѣ, но по происхожденію не принадлежавшихъ чистой французской расѣ.

Руссо—женевскій гражданинъ, Швейцаріи будутъ принадлежать также г-жа Сталь, Бенжамэнъ Констанъ. Всѣ они потомки гугенотовъ, въ разныя времена оставившихъ Францію, и всѣ они отличаются одной въ высшей степени яркой и важной чертой.

У нихъ не могло быть узкаго національнаго духа, галльскаго часто нетерпимаго идолопоклонства предъ исключительно національными сокровищами ума и искусства. Они несравненно доступнѣе культурнымъ вліяніямъ другихъ націй и весьма часто вносятъ во французскую литературу мотивы, чуждые самой сущности французскаго генія.

Руссо страстно возставалъ противъ холодной философской разсудочности энциклопедистовъ, противъ ихъ пренебреженія къ другимъ способностямъ человѣческой природы, менѣе опредѣленнымъ и, можетъ быть, менѣе философскимъ, но тѣмъ болѣе глубокимъ и естественнымъ.

Въ противовѣсъ логическому разсудку, онъ взывалъ къ міру безсознательныхъ влеченій человѣческаго сердца, къ «внутреннему свѣту» чувства и свободной игрѣ поэтически-настроеннаго воображенія. Въ порывѣ протеста эту игру Руссо готовъ довести до «необъяснимаго бреда» и предпочесть даже такія настроенія бездушному резонерству идолопоклонниковъ чистаго ума. Высшихъ истинъ, по мнѣнію философа, слѣдуетъ искать не путемъ резонерства, а при помощи чувства, вдохновеннаго мечтательнаго созерцанія, когда «умъ молчитъ, а сердцу ясно».

На этихъ основахъ Руссо пытался утвердить свою религію и нравственность. Открывая источникъ истинной человѣчности и благородства въ таинственной области инстинктивныхъ движеній чувствительной природы, Руссо не прочь былъ бросить какимъ угодно жесткимъ обвиненіемъ въ лицо безсердечнымъ эгоистич-

нымъ послѣдователямъ чистой логической мысли, всемогущаго, неизмѣнно яснаго и доказательнаго разума просвѣтителей.

Этотъ разумъ, истинное дѣтище французской расы, вызвалъ у нашего мечтателя столь же рѣшительное порицаніе, какъ и нравы современнаго парижскаго общества. Руссо съ совершенно одинаковыми чувствами отнесся и къ вольтеровской философіи, и къ аристократическому свѣту. Въ философѣ отъ начала до конца жилъ первостепенный сатирикъ своего времени, и какъ разъ съ оружіемъ, направленнымъ противъ основныхъ продуктовъ національнаго французскаго ума, вкуса и тона.

Соотечественники ни на шагъ не отстали отъ своего предшественника и учителя.

Констану въ молодости приходится переживать самый шумный періодъ парижскаго просвѣщенія. Онъ гость философскихъ салоновъ, близкій знакомый популярныхъ beaux esprits, самъ отличный говорунъ и интересный кавалеръ. Но, по настроенію и образу мысли, онъ человѣкъ другой планеты.

Онъ успѣлъ побывать въ англійскихъ университетахъ, познакомился съ германской философіей и усвоилъ несравненно болѣе сложный и разносторонній взглядъ на вещи, чѣмъ французско-энциклопедическій.

Для иного парижскаго философа достаточно одного, двухъ физіологическихъ открытій, чтобы разгадать всѣ тайны человѣческой природы, какой-нибудь остроумной гипотезы или просто фикціи, чтобы проникнуть въ основу политическихъ обществъ,— Констанъ во всѣхъ этихъ вещахъ находитъ бездну неразрѣшимыхъ или, во всякомъ случаѣ, крайне трудныхъ задачъ.

И здѣсь, какъ у Руссо, вопросъ о религіи стоитъ на первомъ мѣстѣ и создаетъ цѣлую пропасть между салонными мудрецами и «нѣмецкимъ студентомъ».

Лично Констанъ не питаетъ настоятельной склонности къ вѣрѣ и еще менѣе—къ религіозному культу. Но онъ крайне осторожно судитъ о происхожденіи религій, съ изумительнымъ терпѣніемъ допытывается общаго смысла въ каждой религіозной системѣ и считаетъ великой находкой, если ему удается проникнуть въ нравственную и общественную сущность того или другого культа...

Несоизмѣримая разница съ французскими мыслителями школы Гельвеція и Гольбаха! Для нихъ историческія религіи — сплошь результатъ хитроумія жрецовъ и легковѣрія народа, лишенный всякой почвы въ самой человѣческой природѣ.

Среди блестящаго, восторженно-беззаботнаго общества конца просвѣтительнаго вѣка Констанъ проходитъ задумчивымъ, нерѣшительнымъ и для него самого съ не вполнѣ яснымъ безпокойствомъ неудовлетвореннаго ума и сердца.

Сердца, кажется, еще болѣе, чѣмъ ума.

Изъ близкаго ежедневнаго вращенія въ парижскомъ обществѣ Констанъ выноситъ столь же безотрадныя впечатлѣнія, какъ и Сенъ-Прэ. Его критика даже суровѣе, чѣмъ сарказмы героя Руссо, потому что касается самыхъ основъ французскаго характера и французской цивилизаціи. Это—приговоръ не одной какой-либо скоропреходящей эпохѣ, а психологическому и культурному типу.

Преобладающія черты французскаго характера — фатовство и реторика, стремленіе къ театральнымъ эффектамъ, удручающая узость идей, трусливость и, слѣдовательно, ограниченность идейнаго міросозерцанія.

По глубокому убѣжденію Констана, французы—нація, менѣе всего способная къ воспріятію новыхъ идей, а если они и мирятся съ этими идеями, непремѣнно подъ условіемъ не подвергать ихъ разбору и критикѣ.

Спорить съ французомъ совершенно безцѣльно. Во-первыхъ, французъ считаетъ своимъ долгомъ говорить обо всемъ, даже чего вовсе не понимаетъ и не знаетъ. А потомъ всякія доказательства разбиваются о разъ усвоенныя французомъ понятія. Это справедливо одинаково о людяхъ свѣта и литературы.

Гдѣ же противоположный полюсъ? Какую націю можно сравнить съ французами, чтобы представить образецъ серьезности въ идеяхъ и солидности въ практическихъ отношеніяхъ?

Нѣмцевъ,—отвѣтитъ Констанъ.

Ихъ нашъ наблюдатель знаетъ по многочисленнымъ личнымъ знакомствамъ. Онъ много разъ бесѣдовалъ съ нѣмецкими философами и просто образованными нѣмцами: впечатлѣнія остались самыя лестныя.

У нѣмцевъ, сравнительно съ французами, и идей гораздо больше, и добросовѣстности въ спорахъ, и оригинальности въ воззрѣніяхъ, если только умный нѣмецъ не порабощенъ какой-либо одной философской системой.

Констанъ признается, сколько онъ пользы вынесъ изъ бесѣдъ съ нѣмецкими учеными и какое горькое разочарованіе и даже раздраженіе овладѣвало имъ послѣ необыкновенно смѣлыхъ и бойкихъ французскихъ упражненій въ краснорѣчіи. Констанъ прямо готовъ

бѣжать изъ страны, гдѣ «все заключается въ притязательныхъ и преувеличенныхъ фразахъ того или другого направленія». Захолустный Веймаръ кажется ему истинными Аѳинами достойной мысли и прочныхъ убѣжденій.

Не менѣе рѣзки отзывы и о самой прославленной силѣ французскаго просвѣщенія—«умныхъ дамахъ». Для него эта порода своего рода *безтолковое метаніе въ пространствѣ—des femmes d'esprit c'est du mouvement sans but*. Послѣ пребыванія во французскомъ обществѣ одиночество кажется блаженнѣйшимъ на землѣ состояніемъ.

Третій авторъ, родомъ изъ гельветической республики,—г-жа Сталь, выросшая на идеяхъ Руссо, связанная съ Констаномъ тѣсными сердечными узами, пошла еще дальше въ критикѣ французскаго ума и генія.

Констанъ только мимоходомъ, хотя и вполнѣ опредѣленно, указалъ на нѣмцевъ, какъ на положительный противовѣсъ французскимъ несовершенствамъ. Сталь создала изъ этого сравненія цѣлую обширную систему, воспользовалась нѣмцами для самыхъ разнообразныхъ цѣлей—нравственной и философской проповѣди, литературной критики и политической оппозиціи. Она въ началѣ XIX-го вѣка повторила роль Тацита, когда-то громившаго римскіе пороки доблестями германцевъ.

Въ предпріятіи Сталь для насъ сравнительно второстепенные вопросы—ея враждебныя чувства къ наполеоновской власти. Мы должны остановить наше вниманіе на тѣхъ мотивахъ германской эпопеи французской писательницы, какіе имѣли въ виду не временную политическую форму, а вѣковыя явленія національной мысли и творчества французовъ.

Но и здѣсь находимъ существенную разницу въ смѣлости и оригинальности идей. Въ литературномъ отношеніи у Сталь были предшественники еще въ половинѣ XVIII-го вѣка. На нѣмецкую поэзію указывалъ Мерсье, одновременно съ восторженными выхваленіями шекспировскаго таланта. На французскомъ языкѣ являлись произведенія нѣмецкой музы, повидимому, менѣе всего соотвѣтствовавшія французскому духу, *Мессіада* Клопштока, *Идилліи* Гесснера, *Басни* Лессинга. Переводились, передѣлывались и давались на сценѣ пьесы даже второстепенныхъ нѣмецкихъ драматурговъ въ родѣ Шлегеля. *Вертеръ* имѣлъ очень обширную публику, не остались безъизвѣстными въ Парижѣ Шиллеръ и Лессингъ, какъ авторы драмъ.

Все это отрывочные факты, но смыслъ ихъ любопытенъ. Задолго

до революціи французская литература уже тосковала о зарейнскомъ искусствѣ, и Сталь въ этой области явилась прямой наслѣдницей старыхъ критиковъ и драматурговъ.

Иначе стоялъ вопросъ относительно *философіи*.

Проникнуть сюда было несравненно труднѣе даже для самыхъ отважныхъ поклонниковъ германской поэзіи. Даже самая простая система нѣмецкой метафизики—нѣчто недосягаемое для обыкновеннаго французскаго ума, воспитаннаго на увлекательно-прозрачной философіи Вольтера и Кондильяка. А между тѣмъ, именно въ этой безднѣ тумановъ и заключались настоящія національныя сокровища германскаго генія.

Это чувствовалъ Констанъ и число такихъ людей увеличивалось постепенно съ эпохи революціи. Неудовлетворенность разсудочнымъ эмпиризмомъ естественно приводила въ міросозерцанію, основанному на принципахъ чистаго разума, разочарованіе въ матеріалистическихъ системахъ вызывало жажду идеализма, и нѣмецкіе философы какъ разъ шли на встрѣчу этимъ исторически-необходимымъ и нравственно-мучительнымъ запросамъ вчерашнихъ признанныхъ наставниковъ всего міра.

Въ самомъ началѣ столѣтія, въ 1804 году, въ Парижѣ основывается журналъ *Archives littéraires de l'Europe*, съ цѣлью установить литературную и философскую связь между Франціей и Европой.

Подъ Европой разумѣлась преимущественно Германія. Журналъ помѣщалъ горячія статьи во славу германской учености, поэзіи и особенно философіи.

Ея высшей заслугой признавалось обсужденіе высшихъ идеальныхъ вопросовъ человѣчества, и [этимъ самымъ наносился ударъ отечественному легкому философствованію [1]).

Журналъ просуществовалъ всего три года и былъ закрытъ наполеоновскимъ правительствомъ. Но столь краснорѣчивое умственное движеніе нельзя было подавить никакой внѣшней властью. Скоро Бонапарту пришлось воздвигнуть цѣлое гоненіе на книгу такого же направленія, несравненно болѣе энергичную и искусно написанную. Что въ журналѣ разбрасывалось по разнымъ статьямъ и доказывалось далеко не всегда съ одинаковымъ талантомъ, то въ книгѣ явилось будто снопомъ блестящихъ идей и фактовъ.

---

[1]) Virgil Rossel. *Histoire des rélations littéraires entre la France et l'Allemagne.* Paris 1897, p. 151.

Гоненіе могло только поднять значеніе книги и расширить ея популярность.

II.

Французы до сихъ поръ не могутъ вполнѣ спокойно говорить о сочиненіи Сталь, посвященномъ Германіи. Всякій критикъ и историкъ непремѣнно съ особенной тщательностью подчеркнетъ исключительныя настроенія, руководившія писательницей, и ея односторонній идеалистическій взглядъ на Германію и нѣмецкій національный характеръ. Сталь воображала сплошную идиллію тамъ, гдѣ впослѣдствіи народился Бисмаркъ и всякія другія сопутствующія обстоятельства... Это возмущаетъ французское сердце.

Намъ нѣтъ дѣла до гражданскаго гнѣва современныхъ цѣнителей книги, никакія чувства не могутъ подорвать ея великаго историческаго культурнаго значенія.

Оно велико не только для французовъ и нѣмцевъ—націй, ближе всего заинтересованныхъ. Оно также фактъ для русской литературы и для умственнаго развитія одного изъ значительнѣйшихъ поколѣній русскихъ дѣятелей.

Сталь долго оставалась авторитетомъ для русскихъ критиковъ французской философіи. Отдѣльныя главы ея книги переводились въ лучшихъ русскихъ журналахъ [2]), и наши романтики и философы отчасти французскимъ путемъ пришли къ отрицанію французскаго матеріализма и французскаго искусства. Въ разсужденіяхъ первыхъ русскихъ шеллингіанцевъ безпрестанно звучатъ отголоски остроумныхъ наблюденій писательницы надъ нѣмецкой культурой и ея достоинствами сравнительно съ французскимъ поверхностнымъ *esprit*. И когда русскіе критики указывали на владычество германскихъ музъ во французской литературѣ, они могли сослаться прежде всего на примѣръ Сталь.

Ничего, конечно, не могло быть убѣдительнѣе подобной ссылки: нѣмецкая мысль, несомнѣнно, имѣла всѣ права на интересъ русскихъ, разъ ей подчинялись сами французы [3]).

Сталь, дѣйствительно, изумительно ярко освѣтила особенности германской философіи, какъ разъ соотвѣтствовавшія настроенію

---

[2]) Напримѣръ, въ *Мнемозинѣ* статья о Кантѣ. Ср. Колюпановъ *Біографія А. И. Кошелева*. Москва 1889, I, 440.

[3]) Кн. Вяземскій въ статьѣ о *Бахчисарайскомъ фонтанѣ*—Пушкина.

европейскаго общества послѣ революціи и французскаго философскаго господства.

Писательница подвергла критикѣ міросозерцаніе, особенно распространенное Франціей XVIII-го вѣка. Матеріализмъ нанесъ великій вредъ не только уму и нравственности, но самому характеру французовъ. Онъ поставилъ дѣятельность человѣка въ исключительную зависимость отъ внѣшняго міра, поработилъ его природу впечатлѣніямъ и обстоятельствамъ, и подорвалъ всякій интересъ къ духовному міру, изъялъ изъ обращенія какъ разъ глубочайшіе вопросы психологіи и нравственности.

Убѣдите человѣка, что его душа—нѣчто пассивное, необходимое созданіе не зависящихъ отъ нея силъ, ничто иное, какъ результатъ ощущеній удовольствія или страданія,—вы до послѣдней степени съузите кругъ умственной энергіи и философскихъ интересовъ.

Напротивъ, выдвиньте на первый планъ *нравственную природу* человѣка, докажите ея свободную самодѣятельность, необходимость—въ цѣляхъ познанія истины—изслѣдовать *ея* законы и *ея* силы, вы сосредоточите наше вниманіе прежде всего на идеяхъ, на душѣ, на разумѣ и особомъ мірѣ явленій, совершенно недоступныхъ и невѣдомыхъ матеріалистическому философу.

Въ результатѣ, среди французовъ развился и утвердился особый родъ *насмѣшливаго скептицизма*, пренебреженіе ко всему, что требуетъ особыхъ умственныхъ усилій. Для нихъ метафизика, вообще отвлеченная философія звучитъ необыкновенно забавно, въ родѣ чудовищной фамиліи нѣмецкаго барона изъ романа Вольтера *Кандидъ*.

Французская публика вполнѣ напоминаетъ анекдотическаго принца, требовавшаго спеціально для себя легкаго пути къ изученію математики. Она—тоже своего рода царственная публика—немедленно поднимаетъ на смѣхъ или презрительно отталкиваетъ все недоступное первому взгляду, не похожее на газетную статью. Для нея ненавистна мысль—*подумать* или *изслѣдовать глубину сердца*, чтобы понять идею, художественный образъ.

Сталь, какъ истинная ученица Руссо, обрушивается на Вольтера, главнѣйшаго, по ея мнѣнію, виновника столь печальныхъ фактовъ. Ее особенно возмущаетъ *Кандидъ*, переполненный «адской веселостью», «сардоническимъ смѣхомъ», всѣмъ, что «представляетъ человѣческую природу съ самой плачевной стороны».

Вольтеръ попалъ подъ гнѣвъ писательницы, какъ жертва ис-

купленія. Она сама не можетъ не признать благороднѣйшихъ чувствъ и мыслей, вдохновляющихъ его трагедіи. Она могла бы также сослаться и на біографію писателя; здѣсь многіе эпизоды—особенно касательно практической гуманности—убѣдительнѣе всякихъ драмъ и романовъ.

Сардоническій смѣхъ Вольтера являлся не столько плодомъ насмѣшливаго отрицанія, сколько горькаго пессимистическаго чувства при видѣ безконечныхъ многообразныхъ бѣдствій человѣчества и многихъ, дѣйствительно презрѣнныхъ свойствъ человѣческой природы.

Для насъ любопытно, что Вольтеръ въ изображеніи Сталь долженъ былъ встрѣтить полное сочувствіе у русскихъ противниковъ французской философіи. Наши вольтеріанцы оказали единственную въ исторіи медвѣжью услугу своему учителю,—разславили его философію именно въ смыслѣ грубѣйшаго матеріализма и тупого нравственнаго безразличія къ добру и злу, къ мысли и чувству.

Новымъ русскимъ философамъ естественно приходилось вести борьбу съ первоисточникомъ отечественнаго развращенія, и Сталь только могла ободрить ихъ своей рѣшительностью.

Но сущность ея разсужденій не въ частныхъ примѣрахъ, а въ общей характеристикѣ культурнаго состоянія французскаго общества и въ указаніи путей къ спасенію.

Матеріализмъ одинаково извратилъ нравственность, понизилъ умственную жизнь и обезплодилъ литературу и философію. Онъ изуродовалъ человѣческую природу и заградилъ живые источники идейнаго и творческаго совершенствованія.

Надо возстановить полноту и цѣльность воззрѣній на человѣческую природу, возвысить нравственное достоинство человѣческаго бытія, и удовлетворить нашей естественной жаждѣ идеала и гармоніи.

Именно естественной.

«Сила ума,—говоритъ Сталь,—никогда не можетъ долго оставаться отрицательной, ограничиваться невѣріемъ, непониманіемъ, презрѣніемъ. Нужна философія вѣры, энтузіазма, философія, подтверждающая путемъ разума откровенія чувства» [1]).

Права энтузіазма Сталь защищала въ особой книгѣ *О литературѣ*, защищала въ интересахъ поэзіи, не существующей безъ

[1]) *De l'Allemagne.* Troisième partie, chapitre VI, Kant.

свободнаго вдохновенія, безъ лирическихъ волненій сердца. Все это въ изобиліи оказывалось у нѣмецкихъ поэтовъ, и Сталь рѣшилась разъяснить французскимъ читателямъ даже *Фауста*, какъ великое созданіе нѣмецкаго генія.

Теперь она пытается раскрыть тайны нѣмецкой философіи, толкуетъ объ этомъ предметѣ вообще, особенное вниманіе посвящаетъ Канту, не пропускаетъ его послѣдователей и противниковъ.

Никто, конечно, въ настоящее время не станетъ въ книгѣ Сталь искать поучительныхъ свѣдѣній о германскихъ философахъ; дѣло ограничивается изложеніемъ выводовъ различныхъ системъ и даже пространный разговоръ о Кантѣ—ученическій пересказъ очень сложнаго и труднаго предмета. Но ради даже такого предпріятія писательница принуждена напомнить своей публикѣ о предстоящихъ трудностяхъ и объ особенномъ вниманіи, обыкновенно не свойственномъ французскимъ читателямъ, разсказать даже для поощренія анекдотъ о привередливомъ и легкомысленномъ принцѣ.

Во всякомъ случаѣ, объясненія Сталь являлись откровеніемъ не только для парижанъ; ея работа проникнута искреннимъ интересомъ къ предмету, и часто это чувство подсказываетъ писательницѣ въ высшей степени замѣчательныя критическія соображенія. Это чисто сердечное, почти поэтическое проникновеніе въ сущность дорогого вопроса.

Такъ, напримѣръ, Сталь сравниваетъ Канта съ нѣкоторыми позднѣйшими философами. Кантъ не указалъ единаго принципа, охватывающаго въ себѣ міръ духовный и матеріальный и помирился съ ихъ взаимодѣйствіемъ. Многихъ не удовлетворило это раздвоеніе, и они сочли необходимостью продолжить систему Канта и свести идеи и явленія къ цѣльному и единому.

Сталь не считаетъ подобныхъ усилій фактомъ философскаго прогресса. Все равно, какой бы принципъ ни признать объединяющимъ—духовный или матеріальный—онъ не дѣлаетъ міръ понятнѣе. По мнѣнію Сталь, такое воззрѣніе даже противорѣчитъ нашему непосредственному чувству, признающему міръ физическій и нравственный—двумя разными мірами.

Можно спорить, что̀ именно подсказываетъ намъ наше чувство и слѣдуетъ ли полагаться на его внушенія въ вопросахъ философіи, но несомнѣнно одно: поиски абсолюта, наравнѣ съ нѣкоторыми плодотворными вліяніями, привели философовъ къ безусловно отрицательнымъ результатамъ, по существу враждебнымъ

строгой критической философіи Канта. Мы убѣдимся въ этомъ неоднократно.

Но именно стремленіе къ единому принципу являлось необходимымъ, прежде всего *исторически*.

Если дѣйствительно человѣчеству послѣ революціи требовалась философія вѣры, такую философію не могла дать чистая критика.

Она по существу продолжала дѣло разрушенія и, слѣдовательно, не вела къ всеобъемлющему единственно успокоительному идеалу.

Кантъ опредѣлилъ границы человѣческаго разума, разграничилъ, слѣдовательно, міръ познаваемаго отъ невѣдомаго. Но не этого искали наслѣдники энциклопедистовъ. Они и отъ своихъ учителей и старшихъ современниковъ достаточно слышали о недоступности истины всѣхъ истинъ. Эта увѣренность и привела многихъ къ рѣшительному отрицанію вообще подобной истины.

Что не познаваемо нашимъ умомъ, того и не существуетъ; отсюда меньше шага до матеріализма и насмѣшливаго скептицизма, столь возмущавшаго Сталь.

Очевидно, во имя спасенія новыхъ высшихъ задачъ человѣческаго духа, требовалось открытіе высшаго принципа мірозданія, философскій символъ вѣры, логическая система, удовлетворяющая нравственно-религіозному настроенію общества.

Это стремленіе къ единству отнюдь не исключительная черта пореволюціонной эпохи. Оно обнаруживалось всегда и вездѣ, лишь только человѣчеству предстояло создать новыя положительныя основы личной и общественной жизни.

Въ теченіе того-же столь безпощадно-отрицательнаго XVIII-го вѣка идея единства не умирала вплоть до революціи. Не всѣ философы наслаждались только разрушеніемъ существующаго и общепризнаннаго,—рядомъ шли попытки новыхъ сооруженій въ политикѣ, въ религіи, даже въ наукѣ. Такія понятія, какъ *естественное состояніе, прирожденныя права человѣка, внутренній свѣтъ*—ничто иное, какъ формы абсолюта. Онѣ въ высшей степени произвольны, искусственны и неопредѣленны, но, мы знаемъ,—ихъ практическое дѣйствіе на современниковъ ничѣмъ не уступало позднѣйшимъ философскимъ принципамъ.

Революція поставила было себѣ задачу не только разметать полуразвалившееся зданіе стараго порядка, но и воздвигнуть новое святилище свободы, братства и равенства.

На помощь были призваны самые строгіе *принципы единства*,

т. е. въ основу грядущаго общества и государства были положены чистѣйшія метафизическія понятія, и на первомъ мѣстѣ— понятіе человѣка какъ такого, какъ непосредственнаго продукта совершенной природы.

Задача оказалась невыполнимой, но неудача дискредитировала только опредѣленные принципы и философскія понятія, а не вообще принципіальность и философію.

Въ самый разгаръ революціонной бури у нѣкоторыхъ очевидцевъ совершался оригинальный умственный процессъ, ведшій къ новымъ единствамъ и грозные опыты революціи не только не мѣшали этому процессу, но будто давали ему новую пищу и подсказывали выводы.

III.

Сталь въ своей негодующей картинѣ французской философіи представила далеко не полную перспективу современнаго развитія французскихъ идей. Она ни единымъ словомъ не коснулась теченія, совершенно противоположнаго вольтеріанству, едва замѣтнаго до революціи, но чреватаго шумнымъ и продолжительнымъ будущимъ.

Въ исторіи человѣчества нѣтъ безусловно одноцвѣтныхъ эпохъ— можно отмѣтить только *преобладающія* настроенія и нельзя всѣ идеалы свести къ одной всеобъемлющей системѣ.

Вѣкъ энциклопедіи по преимуществу, но не исключительно— критическій. Даже у самого главы «философской церкви» Вольтера всю жизнь не изсякали стремленія. совершенно другого характера, чѣмъ его ожесточенная борьба съ католичествомъ. Именно Вольтеръ высказалъ восторженный отзывъ о религіи савойскаго викарія и отлично понималъ неудовлетворительность какой бы то ни было чисто-отрицательной философской системы.

Отсюда попытки Вольтера во что бы то ни стало создать нѣчто въ родѣ религіозныхъ представленій. Трудно давалась подобная работа мефистофелю всякихъ догматовъ, но отдѣлаться отъ нея совершенно, очевидно, не было силъ и воли даже у вольтеровской «адской веселости».

Разсудкомъ не создаются религіи, и Вольтеру менѣе всего къ лицу являться «патріархомъ» какой-бы то ни было церкви, кромѣ философской. Но, очевидно, вопросъ представлялъ великій жизненный смыслъ, если рѣшать его брался подобный человѣкъ. А это означало неизбѣжность другихъ попытокъ, и болѣе счастливыхъ

все зависѣло отъ личной приспособленности проповѣдника къ своему дѣлу. Сѣмена ожидались безусловно благодарной почвой.

Мы говоримъ не о пережиткахъ католичества, не о безплодныхъ усиліяхъ спасти вѣру отцовъ въ ея дѣвственной чистотѣ и силѣ. Даже и послѣ революціи Римъ напрасно будетъ поднимать голову, вооружаться такими блестящими защитниками, какъ Деместръ или Ламеннэ. Дѣло само себѣ произнесетъ приговоръ въ тотъ самый часъ, когда даровитѣйшій изъ рыцарей папства—Ламеннэ—торжественно отречется отъ него и направитъ весь свой талантъ на своего вчерашняго вдохновителя.

Нѣтъ. Никакіе перевороты и бѣдствія не могли помочь средневѣковому католичеству оправиться послѣ ударовъ Вольтера и энциклопедіи. Слуги Рима могли и до сихъ поръ еще могутъ сколько угодно отводить душу въ тщательномъ развѣнчиваніи личности Вольтера, въ укоризнахъ его писательской сварливости и тщеславію, легкомысленному всезнайству, разсчитанной льстивости предъ знатными и сильными,—все это не возстановитъ кредита ни инквизиціи, ни іезуитовъ, ни всего прочаго шарлатанства и варварства римской церкви, и не притупитъ стрѣлъ *Кандида* и *Философскаго словаря*.

И не даромъ тотъ же Деместръ всю жизнь оставался усерднымъ читателемъ вольтеровскихъ произведеній, ища у него таланта и искусства для борьбы противъ него же самого.

При такихъ условіяхъ не могли имѣть серьезнаго культурнаго значенія чисто-реакціонныя католическія вожделѣнія.

Раскройте книги Деместра и Бональда, на каждой страницѣ будутъ подвергаться жестокой пыткѣ или ваше нравственное чувство, или человѣческое достоинство и простой здравый смыслъ.

У одного вы прочтете доказательства, что міръ осужденъ на вѣчное кровопролитіе, на повальное страданіе—виновныхъ—за свои преступленія, невинныхъ—за чужіе грѣхи, что, наконецъ, палачъ—краеугольный камень общественнаго порядка.

И это вполнѣ послѣдовательно.

Чтобы подчинить человѣчество неограниченной и непогрѣшимой власти римскаго престола и *Index*'а, надо предварительно отнять у людей нравственное и естественное право самостоятельной мысли, а для этого логически слѣдуетъ дискредитировать самую природу и самыя способности человѣка.

Тѣмъ же путемъ шелъ и Бональдъ: въ лицѣ его Деместръ привѣтствовалъ свое второе *я*. Но здѣсь движеніе оказалось еще эффектнѣе.

Во имя священныхъ принциповъ пришлось отрицать шагъ за шагомъ не только науку, философію, но даже техническія открытія—въ родѣ телеграфа—подвергать проклятію. Каковы же могли быть принципы и какое будущее имъ предстояло, если они не уживались съ самыми естественными, ничѣмъ не отвратимыми результатами научной и умственной дѣятельности даже своихъ современниковъ!

Очевидно, не на сторонѣ новыхъ католиковъ было рѣшеніе великаго вопроса о вѣрѣ, объ единомъ идеальномъ принципѣ, какъ вообще никогда и нигдѣ никакая реакція не излѣчивала недуговъ своего времени и не давала прочнаго, искренняго, нравственнаго утѣшенія ни отдѣльнымъ личностямъ, ни всему обществу.

Живое теченіе пробивалось вдали отъ софистовъ и мракобѣсовъ, тщательно оберегая свой путь отъ гнилого дыханія электризуемаго трупа. Здѣсь задача предстояла неизмѣримо болѣе трудная, чѣмъ даже защита римскихъ догматовъ вольтеріанскимъ методомъ. Человѣческій умъ, по своей природѣ конечный и скептическій, не могъ собственными силами построить вѣчное зданіе положительнаго идеала. Примѣръ Вольтера навсегда остался убѣдительнымъ, независимо отъ какихъ бы то ни было теоретическихъ соображеній.

Предстоялъ единственный выходъ, указанный Руссо,—*внутренній голосъ*. Онъ не связанъ ни логикой, ни фактами. Это—состояніе поэтическаго восторга, безотчетное и стихійное. Это не объясненіе и доказательство тайнъ, а откровеніе и ясновидѣніе. Восторгъ можетъ перейти въ «необъяснимый бредъ»; опредѣленіе дано самимъ Руссо, часто лично испытывавшимъ этотъ переходъ. Человѣкъ можетъ не *понимать* образовъ своего *внутренняго свѣта*, но съ тѣмъ болѣе напряженнымъ интересомъ онъ готовъ *созерцать*. Отсюда преобладающая, часто исключительная роль безсознательнаго, поэтическаго и таинственнаго въ ущербъ разсудку, фактическому знанію и даже здравому смыслу. Такой результатъ неразлученъ съ самой задачей. Мы видимъ его развитіе еще до революціи; въ слѣдующую эпоху онъ налагаетъ свою печать на философскія, политическія и нравственныя системы. И что особенно любопытно: онъ иногда вторгается въ міросозерцаніе мыслителя будто помимо его воли.

Философъ начнетъ строить систему на самыхъ, повидимому, положительныхъ научныхъ данныхъ, не перестаетъ убѣждать

насъ именно въ своемъ безусловномъ уваженіи только къ наукѣ и логикѣ, и дѣйствительно пускаетъ въ ходъ громадный запасъ фактовъ изъ исторіи и естествознанія.

Но судьба искателя единаго принципа—неотвратима. Послѣ продолжительныхъ блужданій въ ясныхъ областяхъ самыхъ строгихъ наукъ—въ родѣ математики и физики—философъ попадаетъ въ безпросвѣтное и безвыходное царство мистическихъ представленій и часто дѣло доходитъ до измышленія настоящаго религіознаго культа съ таинствами и пророчествами.

Именно такой путь прошла новѣйшая позитивистская школа, начиная съ ея основателя Сенъ-Симона и кончая Огюстомъ Контомъ.

Въ этой школѣ мистицизмъ явился послѣднимъ звеномъ движенія. У другихъ съ мистицизма началась вся философія, и именно они были вполнѣ послѣдовательными представителями поколѣнія, жаждавшаго философской вѣры.

Мы только что назвали французскія имена, но тотъ же фактъ—достояніе всей европейской мысли начала XIX вѣка. Въ Германіи, гдѣ, по указаніямъ Сталь, слѣдовало искать новыхъ умственныхъ горизонтовъ, происходило то же самое сплетеніе философіи съ мистицизмомъ, потому что и здѣсь съ такимъ же усердіемъ искали всеобъединяющаго и всетворческаго принципа.

Здѣсь также системы начинались близкимъ соприкосновеніемъ съ подлинными науками, воспринимали ихъ идеи и выводы, а кончались проповѣдью созерцанія, экстаза, священнаго безумія. Сенъ-Симону съ полнымъ основаніемъ можно противоставить Шеллинга. Параллель между французской и германской мыслью можно провести еще дальше: открыть изумительныя совпаденія шеллингіанской *философіи* съ самымъ откровеннымъ *мистицизмомъ* Сенъ-Мартэна.

Такую пеструю и, на первый взглядъ, противорѣчивую картину представляетъ философское развитіе пореволюціонной эпохи. Въ дѣйствительности нѣтъ никакого противорѣчія между Контомъ, творцомъ классификаціи наукъ, закона трехъ стадій культурнаго прогресса и создателемъ «позитивнаго» культа, такъ же, какъ Шеллингъ вѣренъ себѣ и въ восторгахъ предъ открытіями новѣйшаго естествознанія и въ провозглашеніи поэтическаго созерцанія, какъ единственнаго пути къ познанію міровой истины.

Противорѣчіе заключалось не въ развитіи философскихъ системъ, а въ самихъ задачахъ философовъ. Они разсчитывали

создать *религію* изъ матеріаловъ *науки*, *вѣру* слить съ *разумомъ* и идеальную тоску *сердца* удовлетворить доводами *разсудка*. Это значило, непознаваемое по существу пытаться сдѣлать практически доступнымъ и логически убѣдительнымъ.

Естественно, въ разсужденіяхъ философа наступалъ моментъ, когда онъ принужденъ былъ покинуть почву искренне цѣнимаго имъ знанія и логики и, подобно Сенъ-Симону, обратиться къ помощи *видѣнія* или, подобно Шеллингу, къ нестоль откровенному, но не болѣе философскому источнику—*геніальному вдохновенному творчеству*.

Такимъ путемъ, въ силу исторической необходимости, мысль начала XIX-го вѣка приняла въ высшей степени своеобразное направленіе и обнаружила крайне разнородное идейное содержаніе.

IV.

Послѣ критики предыдущей эпохи и особенно послѣ разрушительныхъ потрясеній революціи, новыя поколѣнія нуждались въ новыхъ положительныхъ основахъ дальнѣйшаго нравственнаго и культурнаго развитія. Никакіе перевороты не въ силахъ остановить духовной жизни; напротивъ, они еще больше обостряютъ исконную человѣческую жажду болѣе прочной истины и болѣе цѣлесообразной дѣйствительности.

Отсюда вѣчный взрывъ религіозныхъ настроеній какъ разъ во времена политическихъ или общественныхъ катастрофъ. Такъ было и на зарѣ нашего вѣка.

Открывалось два выхода: одинъ, простѣйшій, вернуться вспять, собрать изъ обломковъ старое зданіе и зажить въ немъ по старинѣ. Немногихъ могла удовлетворить такая перестройка даже на первыхъ порахъ; о будущемъ не было и рѣчи. Другой выходъ—признать новыя завоеванія мысли и знанія и именно ими воспользоваться для заполненія пропасти, созданной тою же мыслью и тѣмъ же знаніемъ.

Это было, конечно, несравненно разумнѣе, чѣмъ фанатическая война какого-нибудь Бональда противъ неотразимыхъ истинъ «скотологіи», т. е. естествознанія. Волей-неволей приходилось «скотологію» считать силой, потому что она вступила какъ разъ въ самый блестящій періодъ своего развитія, и не только считать, но и положить ее во главу угла возможнаго сооруженія.

Здѣсь прогрессивный шагъ новой философіи, и мы увидимъ,

какіе плодотворные результаты получились отъ тѣснаго союза философіи съ опытной наукой.

Но не могъ получиться только конечный результатъ, именно самый искомый, по культурнымъ задачамъ эпохи—первенствующій.

Наука давала множество *фактовъ* и *частныхъ идей*, но совершенно не уполномочивала философа подчинить всѣ эти факты *одной силѣ* и свести идеи къ *одному принципу*. Пока дѣло шло объ отдѣльныхъ обобщеніяхъ, о группировкѣ явленій, философъ оставался ученымъ, но лишь только хотѣлъ вывести итогъ, онъ немедленно становился поэтомъ, логика уступала мѣсто фантазіи, разумъ—творчеству, философія—мистицизму.

Впослѣдствіи философы поняли фатальность такого положенія и тщательно постарались разъ навсегда отдѣлить истинную философію отъ опаснаго сосѣдства мнимаго философствованія и простого фантазерства.

Ученики позитивистской школы оцѣнили по достоинству заблужденія своего учителя, и Милль единодушно съ Литтре требовали отъ философовъ примириться съ темной областью непознаваемаго, съ безграничнымъ, но недоступнымъ намъ океаномъ, омывающимъ берегъ нашихъ фактовъ и идей. У насъ нѣтъ ни корабля, ни компаса для путешествія по этой пучинѣ...

Это, въ сущности, возстановленіе кантовскаго воззрѣнія, и оно ярко подчеркивало *регрессивную* черту въ философіи начала XIX-го вѣка. На нее могла указать еще Сталь.

Но регрессъ здѣсь явился неизбѣжнымъ симптомомъ времени и для своей эпохи, сравнительно съ другими попытками возстановить нравственную и философскую гармонію—представлялъ выигрышъ со стороны разума и науки на счетъ рабства и суевѣрія.

Это видно уже по распредѣленію того и другого теченія въ разныхъ общественныхъ слояхъ.

Деместръ вербовалъ послѣдователей среди «стараго» общества, среди обломковъ эмиграціи—во Франціи и вчерашнихъ «смѣшныхъ маркизовъ» въ другихъ странахъ. «Философская вѣра» въ различныхъ системахъ съ энтузіазмомъ воспринималась молодыми поколѣніями, цвѣтомъ просвѣщенія и нравственной силы всюду—отъ Франціи до нашего отечества.

Особенно здѣсь западно-европейская мысль вызвала богатѣйшіе идейные и практическіе результаты. На западѣ съ философіей и вѣрой вела жестокую конкурренцію политика. Парламентъ вырывалъ множество даровитыхъ силъ отъ университетской аудиторіи и изъ ученаго кабинета.

Въ Россіи ничего подобнаго. Вся умственная жизнь принуждена была сосредоточиться на литературѣ и наукѣ. Философскіе вопросы получали *исключительное* значеніе въ жизни общества и отдѣльныхъ выдающихся личностей. Въ философіи русскіе люди искали не только нравственнаго утѣшенія и научнаго единства, какъ было на Западѣ, но и отвѣта на всѣ запросы высокоодаренной, заключенной въ себѣ, души.

Отсюда необыкновенная стремительность русской воспріимчивости къ философскимъ идеямъ и страстность въ ихъ возможномъ приложеніи къ дѣйствительности. Отсюда также чисто теоретическая отважная прямолинейность выводовъ.

Вѣдь развитіе философской мысли для русскихъ философовъ не ограничивалось и не контролировалось столь же свободнымъ развитіемъ реальной жизни. Напротивъ, именно эта жизнь своими отрицательными явленіями только приподнимала авторитетъ и привлекательность отвлеченнаго идеальнаго міра. Не воспитывая у лучшихъ людей ни сочувствія къ дѣйствительности, ни опытности въ рѣшеніи жизненныхъ вопросовъ, она являлась первой причиной часто фанатическаго поклоненія философской теоріи, первымъ побужденіемъ, усвоить и развить менѣе всего положительное и практически плодотворное міросозерцаніе.

Мы увидимъ это на примѣрѣ самыхъ блестящихъ представителей русскихъ философскихъ поколѣній.

Принято думать, будто эти поколѣнія учились философіи исключительно у нѣмцевъ, будто шеллингіанство и гегеліанство начинаютъ и увѣнчиваютъ философскую полосу въ исторіи нашего общественнаго прогресса.

Дѣйствительно, имена Шеллинга и Гегеля переполняютъ литературу и производятъ впечатлѣніе единодержавной власти германской мысли подъ русской интеллигенціей вплоть до шестидесятыхъ годовъ.

Такъ предполагать тѣмъ естественнѣе, что французская *философія* послѣ революціи, отчасти даже раньше, утратила свой кредитъ повсюду, и у насъ въ то же время. Мы увидимъ, русскіе юноши даже открещивались отъ слова *философія* и вводили новый терминъ *любомудріе*. Они боялись, какъ бы ихъ не смѣшали съ поклонниками французскихъ «софистовъ»: они хотѣли быть учениками настоящей мудрости, т. е. германской.

Но именно эти нововводители съ большимъ эффектомъ пользовались *французской* мудростью, правда, не энциклопедической, но независимой отъ шеллингіанства.

Мы имѣемъ въ виду кн. Одоевскаго, его разсужденія о пагубномъ *раздорѣ* и *разрозненности* науки и жизни, о безплодной специализаціи знаній [5]).

Объ этомъ предметѣ очень краснорѣчиво разсуждалъ Сенъ-Симонъ [6]), и вотъ его-то слѣдуетъ поставить во главѣ русскихъ учителей по философіи.

Во Франціи впервые для всей Европы было произнесено осужденіе старой философіи, и въ той же самой Франціи, даже на почвѣ той же философіи, возникла новая система со всѣми признаками будущаго умственнаго общеевропейскаго движенія.

Изъ книги Сталь русскіе читатели могли узнать, какъ въ Германіи рѣшается вопросъ объ единомъ философскомъ принципѣ. Брошюры Сенъ-Симона *непосредственно* отъ XVIII-го вѣка приводили къ тому же вопросу.

Правда, полнота, послѣдовательность и ясность идей были на сторонѣ нѣмецкихъ философовъ, но сущность заключалась въ возбужденіи извѣстной темы, въ постановкѣ извѣстной философской задачи.

Значеніе сенъ-симонизма для русскаго просвѣщенія тѣмъ для насъ любопытнѣе, что онъ могъ прямымъ путемъ тѣхъ же русскихъ философовъ направить къ позитивизму, къ Огюсту Конту, т. е. установить тѣснѣйшую умственную связь между ранними философскими поколѣніями двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ съ дѣятелями шестидесятыхъ.

Изъ школы Сенъ-Симона вышли самые разнообразные элементы: пророки и жрецы новаго религіознаго культа, въ родѣ Базара и Анфантэна и подъ конецъ жизни—Конта, но также и величайшіе представители французской положительной науки—Огюстэнъ Тьерри, Литтре, Контъ въ наиболѣе сильную пору своей дѣятельности. Съ именемъ Сенъ-Симона связано, кромѣ того, развитіе соціальныхъ идей и рѣшительная постановка рабочаго вопроса, а у послѣдователей Сенъ-Симона и вопроса о женской эмансипаціи.

Естественно, отпрыски школы въ высшей степени многочисленны и вліянія ея многообъемлющи. Прослѣдить ихъ во всей полнотѣ — задача, до сихъ поръ невыполненная даже въ европейской наукѣ и для европейскаго міра. Мы должны ограничиться освѣщеніемъ тѣхъ идей сенъ-симонизма, какія оставили ясные отголоски въ нашей философско-критической литературѣ

[5]) *Сочиненія кн. В. Ѳ. Одоевскаго.* Спб. 1844. I, 347 etc.

[6]) Въ *Lettres au Bureau des Longitudes*

V.

Одинъ изъ самыхъ отзывчивыхъ и критически одаренныхъ сыновъ русской философской эпохи разсказываетъ по личному опыту о впечатлѣніи, какое производили на русскую молодежь сенъ-симонистскія проповѣди.

За Сенъ-Симономъ шли, кого не могъ удовлетворить чисто-философскій идеализмъ, кто по врожденнымъ сочувствіямъ или разумнымъ основаніямъ стремился идею непосредственно переводить въ жизнь и всякую теорію считать значительной и цѣлесообразной по ея приложимости къ дѣйствительности.

Самъ Сенъ-Симонъ именно съ этой точки зрѣнія смотрѣлъ на философію. Ему требовался единый принципъ не для отвлеченной гармоніи міросозерцанія, а для переустройства общества и государства—на совершенномъ устраненіи чисто-отрицательныхъ завѣтовъ предыдущей эпохи и на величественномъ сооруженіи новаго положительнаго мірового идеала.

Отсюда увлеченіе сенъ-симонизмомъ именно самой энергической и даровитой молодежи начала нашего столѣтія, отсюда вѣра въ сенъ-симонизмъ, какъ самое могущественное, одновременно научное и пророческое орудіе соціальнаго переобразованія.

«Новый міръ», пишетъ русскій молодой публицистъ, «толкался въ дверь, наши души, наши сердца растворялись ему. Сенъ-симонизмъ легъ въ основу нашихъ убѣжденій и неизмѣнно остался въ существенномъ» [7]).

Чѣмъ же собственно были тронуты души и сердца русскихъ послѣдователей Сенъ-Симона?

Для нихъ, несомнѣнно, прежде всего была важна преемственная связь ученія Сенъ-Симона съ французской философіей XVIII-го вѣка, столь же важна, какъ рекомендація нѣмецкаго «любомудрія» именно французской писательницей, г-жей Сталь.

Русской интеллигенціи не приходилось дѣлать обходовъ и отваживаться на скачки. Они непосредственно отъ учителей своихъ отцовъ могли перейти къ ихъ преемникамъ и умственныя впечатлѣнія дѣтства связать съ идеалами молодости.

Сенъ-Симонъ называлъ себя ученикомъ Даламбера, одного изъ главнѣйшихъ представителей *Энциклопедіи*. И дѣйствительно, раннія философскія мечты Сенъ-Симона продолжаютъ замыслы про-

---

[7]) Герценъ. *Былое и думы*. Изд. 1878 г., I, 197.

свѣтителей, но съ существеннымъ новымъ мотивомъ. Сенъ-Симонъ и впослѣдствіи его ученики вплоть до шестидесятыхъ годовъ будутъ преслѣдовать мысль объ энциклопедическомъ сводѣ научныхъ результатовъ во всѣхъ областяхъ знанія. Сенъ-Симонъ неоднократно будетъ приступать къ плану новой *Энциклопедіи*, но въ то время, когда создатели стараго словаря, съ Вольтеромъ, Дидро и Даламберомъ во главѣ, стремились преимущественно къ *разрушенію* старыхъ вѣрованій и принциповъ, Сенъ-Симонъ имѣетъ въ виду созиданіе, не *критическую*, а *органическую* работу.

Это его собственные термины. Ими обозначаются разные періоды въ исторіи культуры и Сенъ-Симонъ философовъ XVIII-го вѣка и революціонеровъ считаетъ дѣятелями критическаго момента, самъ онъ и его ученики—организаторы. Эта идея будетъ усвоена всей школой и ляжетъ въ основу книжной и общественной пропаганды сенъ-симонизма.

Но изъ какихъ же матеріаловъ возникнетъ новое зданіе?

Отвѣтъ очень простой.

Средніе вѣка имѣли свой объединяющій принципъ, но онъ теперь ни идейно, ни практически неосуществимъ, и Сенъ-Симонъ рѣшительно устраняетъ реакціонеровъ и вообще защитниковъ стараго общественнаго и церковнаго строя.

Но и противники реакціонеровъ не заслуживаютъ одобренія.

Они суевѣріямъ противоставляютъ знаніе, деспотизму — свободу, стаднымъ чувствамъ — сознаніе личности и человѣческаго достоинства, но всѣ эти благородныя понятія безсильны и безплодны. Между ними нѣтъ центральной идеи, науки находятся въ анархическомъ состояніи, не связаны другъ съ другомъ и не приведены въ дѣятельное соприкосновеніе съ жизнью.

Необходимо систематизировать все человѣческое знаніе, а первый шагъ къ этой цѣли—тщательное собираніе его результатовъ. Отсюда—идея энциклопедіи.

Если у людей будетъ въ распоряженіи «хорошая энциклопедія», явится и «совершенная наука», «общая наука»— *la science générale*. Спеціальныя науки—только матеріалъ и пути къ высшему идеалу, а идеалъ—систематизація научныхъ фактовъ и выводовъ въ одной всеобъемлющей теоріи. А эта теорія, въ свою очередь, должна объяснить тайну мірозданія и въ то же время стать нравственной руководительницей человѣческой дѣятельности.

И Сенъ-Симонъ намѣчаетъ обширный планъ единенія наукъ. Путь величественный и въ то же время логическій! Отъ физиче-

скихъ тѣлъ къ организмамъ, отъ организмовъ къ животнымъ, отъ животныхъ къ первобытному человѣку, отъ первобытнаго человѣка къ историческому, вплоть до послѣдняго времени.

Философъ очень высокаго мнѣнія о своей системѣ. Это даже не *научный методъ*, а *самъ божественный законъ*, *физика и мораль вселенной*. И Сенъ-Симонъ въ патетическомъ тонѣ взываетъ къ ученымъ: оставить ученую мастерскую, проникнуться сердечнымъ жаромъ и направить свои усилія на созданіе гармоніи и всеобщаго вездѣсущаго мира [8]).

Сенъ Симонъ даже знаетъ всѣми признанный принципъ, способный объединить новыхъ организаторовъ, принципъ изъ области естествознанія. Это ни болѣе, ни менѣе, какъ *законъ тяготѣнія*. На немъ и должна быть основана новая научная философія.

Для насъ можетъ звучать очень странно подобное рѣшеніе труднѣйшаго вопроса. Но на этотъ разъ Сенъ-Симонъ не оригиналенъ. Законъ, открытый Ньютономъ, въ теченіе всего XVIII-го вѣка и долго спустя привлекалъ жгучій интересъ философовъ и ученыхъ.

Законъ поражалъ своей простотой и величіемъ. Онъ подчинялъ строгому единству весь безграничный міръ небесныхъ тѣлъ. Астрономія вмѣстѣ съ открытіемъ Ньютона пріобрѣла завидное преимущество надъ всѣми другими науками — всеобъясняющій единый принципъ.

Но нѣтъ ли такого принципа и для другихъ отраслей знанія? Напримѣръ, для философіи и даже для политики и нравственности

Въ отвѣтъ одни искали такого закона, подходящаго къ той или другой наукѣ, болѣе смѣлые прямо распространяли тяготѣніе на все, что̀ доступно человѣческому вѣдѣнію. Богословамъ и ученымъ пришлось защищать отъ фанатическихъ систематизаторовъ Провидѣніе или науку. Лапласъ, напримѣръ, счелъ необходимымъ вооружиться за астрономію противъ мечтателей и дилеттантовъ. Это, въ свою очередь, вызвало гнѣвъ Сенъ Симона, религіозно вѣровавшаго во всеобщность ньютоновскаго открытія.

Для насъ существенъ фактъ распространенія того или другаго *естественно-научнаго* открытія до принципіальнаго объединенія, при помощи этого открытія,—всѣхъ явленій жизни. Увлеченіе надолго переживетъ Сенъ-Симона, мы встрѣтимся съ нимъ въ гер-

---

[8]) Ср. *Histoire du saint-simonisme*, par Sébastien Charléty, Paris 1896, 15–6.

манской философіи, вообще независимой отъ сенъ-симонизма, но—согласно духу времени—также проникнутой стремленіемъ создать универсальную науку природы и духа.

Для Сенъ-Симона, мы уже знаемъ, такая наука требовалась не для платоническихъ цѣлей, а для «соціальной физики». Краснорѣчивѣйшее выраженіе! Оно точно опредѣляетъ задушевные замыслы философа: свести науку объ обществѣ къ строгимъ законамъ естествознанія и придти къ соціальнымъ выводамъ путемъ тщательнаго научнаго изученія исторіи.

Отсюда ясна роль ученыхъ. Въ сущности, они прирожденные законодатели. Они—люди, способные не только объяснять, но и предвидѣть, и именно этотъ даръ ставитъ ихъ выше всѣхъ другихъ людей [9]).

Ученые должны владѣть духовной властью, т. е. устанавливать принципы управленія государствомъ и обществомъ. Они призванные руководители практическихъ дѣятелей, отнюдь не администраторы, а верховные наблюдатели за администраціей и вообще соціальнымъ развитіемъ. Осуществленіе научныхъ выводовъ принадлежитъ другимъ, иначе классъ ученыхъ, при сліяніи духовной и свѣтской власти въ ихъ рукахъ, превратился бы въ метафизиковъ, интригановъ и деспотовъ.

На этомъ соображеніи основано соціальное значеніе *промышленнаго* класса и сенъ-симонистская идеализація матеріальнаго труда наравнѣ съ умственнымъ.

Идеи этого порядка имѣли для французской внутренней политики большое значеніе: благодаря имъ, Сенъ-Симонъ явился родоначальникомъ теоретическаго соціализма, такъ же, какъ его понятіе о научномъ построеніи общественныхъ и нравственныхъ идеаловъ поставило его во главѣ позитивизма.

Но есть еще третье, и для насъ важнѣйшее, открытіе сенъ-симонизма. Именно оно отводитъ мѣсто научно-соціальной школѣ въ области литературы и Сенъ-Симонъ налагаетъ не менѣе оригинальную печать своего духа на искусство, чѣмъ на философію и политику.

---

[9]) Un savant est un homme qui prévoit, c'est par la raison que la science donne le moyen de prédire qu'elle est utile, et que les savants sont supérieurs à tous les hommes. *Lettres d'un habitant de Genève*, Paris 1802, p. 35.

VI.

Въ трактатахъ по математикѣ и другимъ наукамъ Сенъ-Симонъ не переставалъ пускать въ ходъ очень своеобразный пріемъ, независимо отъ логическихъ доводовъ, обращался къ *сердцу* и *чувству* ученыхъ, говорилъ о своей *страсти* «успокоить Европу» и «перестроить европейское общество».

Это значило вводить въ философію силу, постороннюю строгой идеѣ и наукѣ,—силу паѳоса, поэзіи, вообще творчества и вдохновенія. Сенъ-Симонъ не только допускалъ подобныя *настроенія* въ своемъ философско-политическомъ предпріятіи, но настаивалъ на особомъ классѣ людей, обладающихъ нарочито этими силами, т. е. вдохновеніемъ и способностью дѣйствовать на чувство. Сенъ-Симонъ называетъ этихъ людей *артистами* и считаетъ ихъ третьимъ необходимымъ элементомъ въ политическомъ строѣ.

Это отчасти платоновская идея. Греческій философъ-законодатель поручаетъ поэтамъ и пѣвцамъ распространять среди гражданъ законы и почтеніе къ нимъ. На толпу особенно дѣйствуютъ поэтическія вдохновенныя рѣчи, кажущіяся ей внушеніемъ божества и самъ Платонъ безпрестанно впадаетъ въ патетическій прорицательскій тонъ, часто совершенно затуманивающій смыслъ разсужденія [10]).

Напомнивъ Платона-законодателя республики съ философами-правителями, сенъ-симонизмъ совпалъ съ идеями античнаго мечтателя и въ самой любопытной части своей соціальной организаціи.

Сенъ-Симонъ далъ тему, его послѣдователи разработали ее съ особенной тщательностью. Разработка шла въ направленіи, совершенно отвѣчавшемъ личности и задачамъ первоучителя. Онъ началъ разсужденіями о *культѣ* въ одномъ изъ раннихъ своихъ сочиненій [11]) и кончилъ краснорѣчивой рѣчью къ своимъ ученикамъ: «Помните,—чтобы совершать великія дѣла, слѣдуетъ быть энтузіастомъ».

Эти слова одушевили всѣ позднѣйшія теоріи сенъ-симонизма. Ученики подняли силу чувства, симпатическаго воздѣйствія, творческаго вдохновенія на небывалую высоту. Они разсуждали такъ.

Исторія—«соціальная физіологія», т.-е. должна быть наукой, имѣющей свои законы и уполномачивающей ученыхъ руководить

[10]) Въ діалогѣ *Законы.*

[11]) Въ *Lettres d'un habitant de Genève.*

настоящимъ и предсказывать будущее. Наука можетъ привести это будущее въ логическую связь съ прошлымъ, но дальше остается труднѣйшая часть задачи, надо осуществить воспитательную и просвѣтительную, т. е. практическую цѣль науки.

Сама наука этого не въ состояніи достигнуть.

«Научное доказательство можетъ удовлетворить логическимъ основаніямъ такихъ или иныхъ дѣйствій, но у него нѣтъ достаточно силы вызвать эти дѣйствія. Для этого требуется, чтобы оно, доказательство, заставило *полюбить* ихъ. Но это не его роль. Доказательство не заключаетъ въ самомъ себѣ неотразимаго повода дѣйствовать. Наука можетъ указать средства, какъ достигнуть извѣстной цѣли? Но почему именно данная цѣль, а не другая? Почему просто не успокоиться и не остановиться на пути къ какой бы то ни было цѣли? Почему даже не отступить вспять? Чувство, т. е. глубоко ощущаемая симпатія къ намѣченной цѣли, одно только можетъ устранить затрудненія».

На арену долженъ выступить классъ людей, нарочито одаренныхъ отъ природы «симпатической способностью».

По мнѣнію сенъ-симонистовъ, во всѣ времена, во всѣхъ странахъ вліяніе на общество принадлежало людямъ, «говорившимъ сердцу». Разсужденіе, силлогизмъ—только второстепенныя и промежуточныя средства. Общество поддавалось непосредственному увлеченію только благодаря различнымъ формамъ *чувствительнаго воздѣйствія*.

Въ органическія эпохи такое воздѣйствіе совершается *культомъ*, въ критическія—*искусствами*. Нравственное воспитаніе общества и заключается въ томъ, чтобы доказанныя истины превратить для него въ идею *долга*, въ предметъ *страсти*.

Отсюда отожествленіе художника и поэта съ жрецомъ, т. е. самое идеальное представленіе о творческомъ талантѣ и художественной дѣятельности. Сенъ-симонизмъ воскресилъ античный образъ поэта-пророка, поэта-философа и поэта-вождя и вознесъ на выспреннѣйшую чисто-романтическую высоту геній и вдохновеніе.

Сенъ-симонисты, возставая, подобно Сталь, противъ разсудочности XVIII-го вѣка и его презрѣнія къ энтузіазму, шли гораздо дальше писательницы въ защитѣ патетической силы человѣческой природы. Даже точныя науки не могутъ обойтись безъ вдохновенія и творчества.

Обыкновенно думаютъ, будто широкія обобщенія въ какой бы то ни было наукѣ составляются логически, изслѣдователь постепенно

восходитъ отъ одного факта къ другому и непрерывная цѣпь фактовъ приводитъ его, наконецъ, къ закону. Открыть законъ слѣдовательно, значитъ связать рядъ фактовъ общей идеей, и сама эта идея—непосредственный результатъ наблюденныхъ частныхъ явленій.

По мнѣнію сенъ-симонистовъ, это безусловное заблужденіе. Еще ни одинъ научный законъ не былъ открытъ такимъ путемъ.

Въ дѣйствительности общій принципъ является плодомъ *вдохновенія*. Наличность извѣстныхъ фактовъ *внушаетъ* изслѣдователю идею, но между такой идеей и фактами всегда существуетъ нѣкоторый *промежутокъ*, *пропасть*, заполняемая *геніемъ*, а отнюдь не строго-научнымъ методомъ [12]).

Но и этого мало.

Даже всякая наука вообще возможна только не на основаніи строго разсудочныхъ соображеній и неопровержимыхъ удостовѣренныхъ фактовъ, а на основаніи *вѣры*, т. е. силы, противоположной разсудку и наукѣ.

Напримѣръ, почему ученый стремится опредѣлить точное логическое отношеніе двухъ какихъ-нибудь явленій? Вѣдь, по безусловному требованію разума и логики, это опредѣленіе допустимо только въ томъ случаѣ, когда изслѣдователю извѣстны *всѣ* другіе сопутствующіе факты, всѣ возможныя комбинаціи ихъ и *всѣ условія*, при какихъ совершаются данныя явленія.

Напримѣръ, мы ежедневно съ одинаковой увѣренностью ждемъ восхода солнца и на слѣдующій день. Почему?

Логически мы не имѣемъ никакого права на подобный разсчетъ. Извѣстныя намъ астрономическія явленія, касающіяся вопроса, ничто сравнительно съ бездной *неизвѣстныхъ* намъ возможныхъ фактовъ. Мы, слѣдовательно, ждемъ восхода солнца на основаніи нашего *прошлаго* опыта, а вовсе не потому, что мы *знаемъ* будущее. Мы *вѣруемъ* въ неизмѣнность порядка, мы по природѣ *влюблены въ порядокъ*, по выраженію сенъ-симонистовъ, мы *стремимся* къ нему, т. е. въ свои логическіе выводы вмѣшиваемъ силу чувства, паѳоса, вообще—силу неразсудочную, нелогическую и ненаучную.

Сенъ-симонисты, родоначальники позитивной философіи, съ блестящей проницательностью оцѣнили внутреннее достоинство и научные предѣлы такъ называемаго позитивнаго метода.

[12]) *Doctrine*, p. 132.

Въ сущности, позитивизма, какъ его представляютъ фанатическіе послѣдователи, не существуетъ и именно совершенно прямолинейный позитивизмъ *не позитивенъ*.

Въ самомъ дѣлѣ,—говорятъ, позитивный методъ состоитъ въ группировкѣ наблюденныхъ фактовъ, независимой отъ какого бы то ни было руководящаго чувства или предубѣжденія. Группировка даетъ изслѣдователю объективный законъ, соподчиняющій факты.

Но на самомъ дѣлѣ процессъ этотъ никогда не осуществляется въ такой идеально-безстрастной формѣ, какъ воображаютъ позитивисты.

Человѣкъ никогда не является безусловно независимымъ, *изолированнымъ* отъ привходящихъ вліяній. Или внѣшній міръ, *среда* или собственная *личность* господствуютъ надъ изслѣдователемъ и онъ или навязываетъ міру *формы своего бытія*, или уничтожается предъ нимъ, подчиняется ему.

Въ результатѣ изслѣдователь одновременно *изобрѣтаетъ* и *удостовѣряетъ*, и процессъ удостовѣренія—*vérification* ничто иное, какъ оправданіе предвидѣній, вдохновеній и откровеній, а вовсе не непрерывно послѣдовательный результатъ классификаціи фактовъ.

Отсюда значеніе личной талантливости изслѣдователя: изобрѣтеніе, вдохновеніе и есть то, что мы называемъ *геній*. Безъ него невозможны широкія обобщенія, открытіе законовъ, т. е. прогрессъ даже положительныхъ наукъ. Безъ него наука превращается въ безплодное компиляторство и безжизненный педантизмъ.

Если вдохновеніе и *симпатическія способности* имѣютъ такое значеніе даже въ опытномъ знаніи, естественно, ихъ роль еще выше въ соціальной наукѣ и въ соціальныхъ вопросахъ.

Если всѣ выводы ученаго построены на его инстинктивной *любви* къ естественному порядку, къ гармоніи, очевидно, дѣятельность общественнаго философа, историка, законодателя, преобразователя возможна только при такой же любви къ соціальному порядку, при *энтузіазмѣ* и *самоотверженіи*—*dévouement*—во имя извѣстнаго единаго положительнаго принципа.

И сенъ-симонисты берутъ на себя двойную обязанность быть учеными и вдохновителями, людьми разсудка, *raisonneurs*, и людьми страсти, *passionés*, т. е. проповѣдниками и пророками.

Наука и промышленность, умственный и матеріальный трудъ сами по себѣ не имѣютъ цѣны. У сенъ-симонистовъ они только «средства создать для человѣка условія, наиболѣе благопріятныя

развитію глубокаго сострадания къ *слабымъ*, покорности *сильнымъ*, любви къ *соціальному порядку*, обожанію *всеобщей гармоніи*» [13]).

Сильные, на языкѣ сенъ-симонистовъ, означаютъ, конечно, людей духовной силы, людей знанія и особенно людей энтузіазма. Поэты и пророки стоятъ на вершинѣ соціальнаго зданія: они—источники воодушевленія ради общаго дѣла, они — вожди общества по путямъ, открытымъ учеными, они—творцы священнаго огня гуманности и соціальности.

Выводы изъ всѣхъ этихъ разсужденій совершенно очевидны, именно въ вопросѣ, ближе всего занимающемъ насъ.

Творческая способность возведена сенъ-симонистами на недосягаемую высоту сравнительно со всѣми другими духовными человѣческими силами. Разъ вдохновеніе—*inspiration*—является виновникомъ даже научныхъ истинъ и естественныхъ законовъ, оно, несомнѣнно, стоитъ выше науки въ строгомъ смыслѣ, оно путемъ энтузіазма и созерцанія, *intuition*, открываетъ тайны мірозданія.

Съ другой стороны, тоже вдохновеніе—рѣшающая положительная сила и въ нравственной и общественной жизни человѣчества, такой же краеугольный камень въ политическомъ зданіи, какъ и въ научномъ. Слѣдовательно, энтузіазмъ и тоже созерцаніе, вообще безсознательное внушеніе выше историческаго изслѣдованія. Оно и въ области исторіи и соціальной политики можетъ подняться до такихъ горизонтовъ, какіе совершенно недоступны чисто-научной исторической работѣ.

Отъ этихъ понятій въ высшей степени легко дойти до крайне своеобразной идеи, съ какой мы встрѣтимся въ германской философіи и у ея русскихъ послѣдователей.

Единственный источникъ высшей истины, вѣрный путь къ тайнамъ природы и жизни—художественный геній, художественное творчество, непосредственное созерцаніе и творческое вдохновеніе.

Это шеллингіанская идея. О связи ея съ сенъ-симоновскими представленіями толковать безплодно. Первыя произведенія Сенъ-Симона не находятся ни въ какой связи съ германской философіей.

Правда, Сенъ-Симонъ побывалъ въ Германіи, но путешествіе произошло послѣ *Писемъ женевскаго обывателя* и не оставило у Сенъ-Симона никакихъ положительныхъ впечатлѣвій.

Онъ нашелъ, что нѣмцы очень увлекаются отдѣльными науками, но ничего не сдѣлали для всеобщей науки, для *science*

---

[13]) *Ib. Introduction.*

générale и не могутъ, слѣдовательно, представить ничего поучительнаго для соціальнаго преобразователя на почвѣ положительнаго знанія.

Совпаденіе сенъ-симонистскихъ воззрѣній съ послѣднимъ выводомъ шеллингіанской системы такое же исторически и нравственно-необходимое, какъ изумительное сходство идей французскаго мистика Сенъ-Мартэна съ основными философскими представленіями того же Шеллинга.

Сенъ-Мартэнъ не находился ни въ какихъ отношеніяхъ съ германскимъ философомъ, а между тѣмъ дошелъ до идеи абсолютнаго тожества. Природа ничто иное, какъ проявленіе божества, осуществленіе мысли, слова и творчества Бога. Первый моментъ творчества—*раздѣленіе* твари и творца, второй—*сліяніе въ безразличіи*, въ абсолютѣ [14]).

Сенъ-Мартэну неизвѣстны *термины* нѣмцевъ, но *мысль* не измѣняетъ своей сущности отъ менѣе философской формы.

Совершенно ясно поставленъ у Сенъ-Мартэна и вопросъ о познаніи абсолютнаго бытія. Путь тотъ же, что у Шеллинга и у Сенъ-Симона, *интуиція*. У мистика есть свое очень любопытное обозначеніе этого субъективнаго источника высшаго вѣдѣнія—*пламя стремленія*, *la flamme de notre désir*, т. е. тотъ же энтузіазмъ, поэтическій восторгъ, вдохновенное созерцаніе. Сенъ-Мартэнъ посвятилъ особое сочиненіе психологіи *человѣка стремленій*, *L'homme de désir*.

Слѣдуетъ помнить, Сенъ-Мартэнъ вовсе не представлялъ изъ себя зауряднаго искателя чудесъ и тайнъ, отнюдь не былъ послѣдователемъ особенно распространеннаго мистицизма, весьма часто сливающаго шарлатанство съ безуміемъ или слабоуміемъ.

Сенъ-Мартэнъ оставался чуждъ разнымъ продѣлкамъ, маскарадному культу и теургическимъ операціямъ исповѣдниковъ многочисленныхъ сектъ, въ родѣ масоновъ, розенкрейцеровъ, мартинистовъ. Для французскаго мистика достаточно было личныхъ *нравственныхъ стремленій* къ совершенствованію и духовному свѣту безъ вмѣшательства видѣній и чудесъ, вообще внѣшнихъ силъ.

Для него вдохновеніе и откровеніе—естественныя состоянія ума. Именно они отличаютъ *новаго человѣка*, *человѣка стремленій* отъ людей холоднаго разсудка и нравственнаго безразличія.

Эти идеи были высказаны еще въ XVIII-мъ вѣкѣ, *L'homm*

---

14) Ср. Matter. *S. Martin*, *le philosophe inconnu*. Paris. 1862, p. 177.

de désir вышло въ 1790 году, одновременно съ сочиненіемъ Вольнея *Ruines*, преисполненнымъ скептицизма, разрушительной критики и отрицанія. Очевидно, самый ходъ умственнаго развитія французскаго общества подсказывалъ протестъ въ опредѣленномъ направленіи, и во Франціи среди страшнаго переворота мысль доходила до тѣхъ самыхъ выводовъ, какіе легли въ основу германской философіи того же времени.

Мы должны теперь обратиться именно къ этой философіи. Она—первостепенная учительница русскихъ философскихъ поколѣній, но не единственная. Мы видѣли, русскіе искатели новой истины могли не покидать старинной дороги своихъ отцовъ, т. е. могли продолжать интересоваться французской литературой и здѣсь найти путь къ этой истинѣ, а главное, безпощадную критику французской философіи XVIII-го вѣка. Одни писатели указывали прямо на нѣмцевъ, какъ на учителей будущаго, другіе, независимо отъ нѣмецкаго учительства, давали собственныя рѣшенія настоятельныхъ современныхъ задачъ, и эти рѣшенія, въ силу исторической логики и основныхъ законовъ человѣческой природы, совпадали съ выводами германскихъ философскихъ системъ.

Но, конечно, и во французской мысли, и въ нѣмецкой было свое оригинальное и исключительное достояніе. Прежде всего въ сенъ-симонизмѣ заключался обильный источникъ вопросовъ, лежавшихъ за горизонтомъ германскаго идеализма,—вопросовъ политическихъ и соціальныхъ. А потомъ общій духъ французской научно-философской школы, неуклонно практическій, жизненно-преобразовательный былъ далекъ отъ выспреннихъ высотъ германской чистой метафизики.

Даже наиболѣе фантастическіе мотивы сенъ-симонизма, въ родѣ пророчествъ и видѣній основателя школы, неизмѣнно направлены на дѣйствительность и когда сенъ-симонисты въ лицѣ поэта рисовали пророка и энтузіаста, они разумѣли мужественнаго соціальнаго агитатора словомъ и дѣйствіемъ, т. е. рѣчами, книгами и практическими предпріятіями.

Германскихъ философовъ, по натурѣ и по направленію мыслей, не смущало такое подвижничество, вмѣсто нравственно-политическаго идеала французской философіи, здѣсь предъ нами—нравственно-философскій.

Это, сущность германскаго идеализма, но въ дѣйствительности онъ не могъ строго выдержать своего исконнаго національнаго характера,—по могущественнымъ историческимъ условіямъ.

Германія наравнѣ со всѣмъ европейскимъ міромъ была вовлечена въ жестокую—вначалѣ внѣшнюю—потомъ внутреннюю, политическую борьбу.

Наполеонъ, постепенно порабощая одно государство за другимъ, поставилъ, наконецъ, грозный вопросъ уже не правительствамъ, а націямъ. Отвѣтъ рѣшалъ не извѣстныя дипломатически-установленныя вассальныя отношенія государей, а культурную самостоятельность народовъ.

Дѣло шло не о разгромѣ той или другой арміи, не о военной дани, не о личныхъ униженіяхъ государственныхъ людей, а о самыхъ основахъ государства, о національной цивилизаціи и исторіи.

Вопросъ, очевидно, касался рѣшительно всѣхъ великихъ и малыхъ, просвѣщенныхъ и простыхъ, прямо въ силу ихъ кровной принадлежности къ составу націи.

Правда, и теперь въ Германіи нашлись эстетики и мудрецы, въ родѣ Гёте, ощутившіе только чувство перепуга при страшной тучѣ, надвигавшейся на ихъ отечество. Но это—исключительныя явленія, знаменовавшія одновременно и рѣдкостную природную политическую ограниченность и старинную нѣмецкую безпомощность въ великихъ государственныхъ нуждахъ.

Гётевское олимпійство, оригинально уживавшееся съ слѣпымъ культомъ Бонапарта, вызвало негодованіе у самихъ нѣмцевъ, и сторицею было восполнено и въ то же время отнюдь не лестно оттѣнено великимъ воодушевленіемъ прирожденныхъ служителей отрѣшенной мысли—философовъ.

Дыханіе живой жизни немедленно оказалось въ высшей степени плодотворнымъ, и подсказало нѣмецкому профессору одну изъ величайшихъ культурныхъ идей начала нынѣшняго вѣка.

Но и здѣсь, какъ и въ идеѣ объ единомъ философскомъ принципѣ, мы находимъ тѣснѣйшую связь съ предъидущей эпохой, настолько тѣсную, что переходъ къ новой идеѣ—логическое развитіе старой мысли, неоцѣненной въ свое время и ожидавшей соотвѣтствующей общественной атмосферы и воспріимчивой исторической почвы.

VII.

Въ восемнадцатомъ вѣкѣ, во время борьбы литературы противъ французскаго классицизма, естественно возникла мысль о несостоятельности основныхъ силъ, создавшихъ классическую

школу и поддерживавшихъ ея господство. На первомъ планѣ являлась вѣковая вѣра французовъ въ недосягаемое преимущество своей цивилизаціи и, конечно, своего искусства предъ умственными и художественными созданіями другихъ націй.

Французы привыкли чувствовать себя аѳинянами среди европейцевъ, и эта привычка съ примѣрнымъ усердіемъ поддерживалась въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ тѣми же европейцами.

Классицизмъ, національнѣйшее дѣтище французовъ, обнаружилъ изумительное вліяніе на всѣ литературы и способствовалъ міровому блеску французскаго имени въ такой мѣрѣ, какъ ни одинъ французскій завоеватель.

Очевидно, съ правами классицизма на господство неразрывно были связаны вообще исключительныя права французской культуры, и врагамъ расиновской поэзіи логически слѣдовало направить оружіе на аѳинское самодовольство французовъ и попытаться перемѣнить ихъ взглядъ на заграничныхъ «варваровъ».

Эту тяжелую и неблагодарную роль взялъ на себя прямой предшественникъ новѣйшихъ литературныхъ школъ—Мерсье.

Путемъ драмы онъ разсчитывалъ произвести не только литературную реформу, но и уничтожить культурную пропасть между французами и другими націями Европы.

Рѣчь его и на эту тему звучитъ такой же страстью, какъ и въ защитѣ Шекспира.

Ему ненавистно національное тщеславіе соотечественниковъ, увѣренность въ безусловномъ превосходствѣ французской образованности надъ цивилизаціей всѣхъ другихъ народовъ. Безпристрастное изображеніе характеровъ, нравовъ и образа мыслей чужихъ націй показало бы французамъ, что имъ не достаетъ еще многихъ добродѣтелей. Писатели должны взять на себя эту задачу, помочь развитію своего народа, сгладить предубѣжденія между націями, питающими взаимную ненависть и презрѣніе только по плохому знакомству другъ съ другомъ [15]).

Сталь какъ разъ послѣдовала совѣту Мерсье, только не въ драматической формѣ, и впала даже въ нѣкоторую крайность, для насъ очень важную. Въ противовѣсъ французскому національному самообольщенію, Сталь снабдила романтически восторженными красками Германію. Что же должно было произойти, когда за критику французской исключительности примутся писатели другихъ

---

[15]) *Du Théâtre*, Amsterdam 1773, pp. 111—2.

національностей, и особенно наиболѣе пренебрегаемыхъ французами?

Одна изъ такихъ, несомнѣнно, нѣмцы, по мнѣнію Вольтера, лишенные даже человѣческой членораздѣльной рѣчи.

А между тѣмъ, именно нѣмцамъ исторія судила стать на стражѣ національной идеи. Ихъ отечество подверглось особенно чувствительнымъ униженіямъ послѣ побѣдъ французскаго цезаря и оно же вмѣстѣ съ Россіей явилось во главѣ европейской войны противъ Наполеона. Настала *политическая* національная борьба, культурная шла уже давно, еще въ XVIII-мъ вѣкѣ, въ жестокихъ нападкахъ Лессинга на Вольтера и на классицизмъ.

Теперь литературѣ предстояло стать великой исторической силой, если только она хотѣла и была способна проявить жизненность и стяжать національную славу.

И она не могла не выполнить этого назначенія.

Даже въ Россіи, не знавшей ни Шиллеровъ, ни «бурныхъ геніевъ», нашествіе Бонапарта вызвало отечественную народную войну и до самыхъ основъ всколыхнуло спокойно и едва замѣтно прозябавшую русскую публицистику. Въ Германіи то же явленіе должно было принять несравненно болѣе обширные размѣры, и на почвѣ политическаго освобожденія страны создать новые мотивы общественной и даже философской мысли.

Возбужденіе оказалось до такой степени могущественнымъ, что философія и публицистика совпали, и даровитѣйшимъ представителемъ общественнаго мнѣнія и народныхъ чувствъ Германіи явился профессоръ университета, философъ.

Когда мы въ настоящее время перечитываемъ знаменитыя рѣчи Фихте, мы не перестаемъ чувствовать себя въ самой подлинной атмосферѣ *восемнадцатаго* вѣка и предъ нами возстаетъ типичнѣйшій образъ германской просвѣщенной эпохи—маркизъ Поза.

Вы помните, шиллеровскій герой умоляетъ испанскаго короля почеркомъ пера измѣнить существующій порядокъ вещей и возродить человѣчество къ новой жизни...

При какомъ настроеніи можно обратиться съ подобной мольбой къ деспоту и фанатику и твердо надѣяться на непосредственные плоды благодѣтельнаго законодательнаго акта?

При единственномъ настроеніи, проникавшемъ лучшихъ людей всей просвѣтительной эпохи, при восторженной вѣрѣ въ силу человѣческаго разума и человѣческой преобразовательной воли.

Это—чисто религіозное преклоненіе предъ творческимъ геніемъ философскаго *слова*, безпрепятственно изъ нѣдръ хаоса вызывающаго новый молодой міръ, *весну* исторіи.

Вѣра дожила во всей своей дѣвственной чистотѣ до самой революціи и именно она устремила французскихъ законодателей на трагическій путь не—преобразованій въ политикѣ или въ общественныхъ отношеніяхъ, а гораздо дальше—на путь коренныхъ передѣлокъ человѣка вообще, его природы и его вѣками выросшихъ привычекъ и вѣрованій.

И напрасно нѣкоторые новѣйшіе якобинцы бѣлаго цвѣта, въ родѣ историка Тэна, усиливаются заклеймить безуміемъ и преступленіемъ героевъ революціи. Они гораздо больше жертвы, чѣмъ герои, жертвы того самаго воззрѣнія на ходъ человѣческихъ дѣлъ, какое исповѣдуетъ шиллеровскій идеалистъ.

Вообразите человѣка, непоколебимо убѣжденнаго въ торжествѣ своего *естественнаго* и *разумнаго* идеала надъ какой-угодно дѣйствительностью, представьте, однимъ словомъ, не менѣе искренняго и прямолинейнаго послѣдователя *разума*, все равно, въ какомъ угодно смыслѣ, чѣмъ въ средніе вѣка были у католичества и папы, вы непремѣнно съ такимъ прозелитомъ дойдете до фанатизма и жестокости.

Надо только помнить, — отвлеченный разумъ дѣйствительно былъ религіей восемнадцатаго вѣка и впослѣдствіи революціонеровъ, и историкъ обнаружитъ крайнее неразуміе или партійный политическій разсчетъ, если теоретиковъ и идеологовъ смѣшаетъ съ обыкновенными злодѣями и съумасшедшими, если вмѣсто тщательнаго психологическаго анализа займется полицейскимъ протоколированіемъ внѣшнихъ фактовъ.

Если ужъ дѣйствительно мы обязаны произнести судебный приговоръ «учредителямъ» и «законодателямъ», мы должны направить свой гнѣвъ прежде всего не на отдѣльныхъ личностей, а на общій нравственный источникъ заблужденій и насилій, на дѣйствительно неосновательную *философію*, на фантастическое представленіе о всемогуществѣ чисто разсудочныхъ понятій и всевозможныхъ художественныхъ идеаловъ.

Сущность этой философіи перешла далеко за предѣлы Франціи—въ среду, гдѣ не было рѣшительно никакой почвы для политическаго якобинства. Лучшее доказательство, что и такая философія по условіямъ времени являлась *исторической* необходимостью, а не произвольнымъ преступнымъ умысломъ нарочитыхъ злодѣевъ.

Это не значитъ *оправдывать* ужасы французскаго переворота, вызвавшаго на сцену несомнѣнно не мало и дурныхъ страстей и годами накипѣвшей личной ненависти и желчи, и темныхъ инстинктовъ честолюбія и мести. Это значитъ явленія, фактическіе результаты связывать съ причиной и почвой, т. е. совершать единственно цѣлесообразную и поучительную работу всякаго историческаго изслѣдованія.

Философская вѣра въ непреодолимо-побѣдоносное воздѣйствіе *идеи*, т. е. нравственной человѣческой *личности* на дѣйствительность явилась логическимъ оружіемъ культурной борьбы восемнадцатаго вѣка съ преданіями. Вѣдь у человѣка вообще въ распоряженіи только два пути—установить извѣстный жизненный строй: или воспользоваться общимъ готовымъ матеріаломъ, или въ случаѣ его явной непригодности попытаться извлечь основы бытія изъ собственнаго духовнаго міра, изъ своего *я*.

Просвѣтительная философія безповоротно порвала съ прошлымъ, и особенно какъ разъ въ самой важной по человѣчеству необходимой области—*съ духовными идеалами* и вѣрованіями, т. е. съ католическимъ ученіемъ и папской церковью.

Ясно, единственнымъ прибѣжищемъ осталась та же самая сила, какая со временъ реформаціи обнажала язвы старины и постепенно разрушала ветхое зданіе.

Это и былъ *разумъ*, т. е. обобщенная человѣческая *личность*.

Онъ одновременно велъ разрушительный процессъ противъ преданій и создавалъ свои положительныя понятія, создавалъ очень простымъ путемъ, въ прямую противоположность съ представленіями своего непримиримаго врага.

Самая распространенная идея восемнадцатаго вѣка—идея *естественнаго человѣка* ничто иное, какъ логическій полюсъ старому культу традиціоннаго, исторіей освященнаго, будь это вопіющее злоупотребленіе и несправедливость.

Это культурный смыслъ, психологическій еще яснѣе. Свести человѣка къ естественному состоянію, т. е. оторвать его отъ исторической почвы и всякихъ условій дѣйствительности, значитъ провозгласить крайній индивидуализмъ, на мѣсто религіи массы и законовъ жизни поставить религію *я* и внушенія *личности*.

Такой результатъ отнюдь не открытіе вольтеровской критики, онъ вообще плодъ всякаго коренного культурнаго протеста, онъ развился задолго до *энциклопедіи* въ нѣдрахъ лютеровскаго религіознаго движенія. Просвѣтительная философія только сдѣлала

дальнѣйшій шагъ. Протестантизмъ усиливался разумъ и личность привести въ гармонію съ священнымъ писаніемъ, философы отвергли и это ограниченіе и остались на пути такъ-называемой естественной логики и метафизики. Прямымъ ученикомъ французскихъ просвѣтителей явился Фихте, столь же тѣсно связанный съ философіей и психологіей энциклопедистовъ, какъ Шиллеръ съ ихъ политикой.

VIII.

Фихте началъ съ восторговъ предъ французской революціей и, слѣдовательно, предъ французской философіей. Ему, какъ и маркизу Позѣ, казались высшей мудростью «права человѣка» внѣ времени и пространства и онъ путемъ публицистики дѣлалъ то же самое для французскихъ идей среди германской публики, что Шиллеръ путемъ поэзіи.

Идея всепреобразующей философской личности развилась у Фихте подъ прямымъ вліяніемъ французской мысли и практики, и Фихте служилъ этой практикѣ своимъ словомъ, пока она сама служила міровому культурному прогрессу.

Но на сценѣ идеологовъ и законодателей явился скоро Тимуръ XIX-го вѣка, самъ полагавшій свою гордость именно въ этой роли. Такой оборотъ дѣла быстро разочаровалъ и французскихъ и иностранныхъ поклонниковъ революціи. Поэты въ родѣ Бэрнса и Вордсворта, горячо привѣтствовавшіе зарю свободы и правды, теперь настроили свои лиры на совершенно другой тонъ, съ общечеловѣческаго на практическій, съ французскаго на національный.

Буквально то же самое произошло и съ Фихте, и должно было произойти по еще болѣе повелительнымъ обстоятельствамъ.

Наполеонъ только грозилъ Англіи и не могъ пойти дальше континентальной системы, жестоко давившей и собственныхъ подданныхъ оригинальнаго политика. Но Германія совершенно подпала подъ дикое самовластіе завоевателя, и нѣмецкій патріотизмъ никогда еще за все существованіе германской націи не имѣлъ болѣе достойныхъ основаній проявить всю свою «тевтонскую ярость» и во всемъ блескѣ напомнить времена борьбы Лютера и Гуттена противъ Рима.

Теперь соедините чувство патріотизма, принципъ національности съ идеей личности въ смыслѣ XVIII-го вѣка, и вы получите всю философскую, политическую и культурную систему Фихте.

Все равно какъ сама французская философія—только болѣе рѣшительное проявленіе протестантскаго духа, точнѣе—идейной и нравственной оппозиціи противъ католичества, такъ Фихте прямой наслѣдникъ стариннаго гуттеновскаго гнѣва на враговъ національнаго могущества и культурной независимости Германіи.

Въ началѣ XIX-го вѣка германскому философу пришлось произвести настоящую революцію въ области національнаго сознанія. Для него это было вполнѣ свойственное предпріятіе. Онъ только что защищалъ чужую революцію, и теперь ему не предстояло даже измѣнять основного принципа, а только перенести его въ другую среду и направить къ другимъ цѣлямъ.

Личность въ философской системѣ Фихте останется на той же высотѣ, на какую поставили ее французскіе просвѣтители, а *внѣшній міръ* снизойдетъ до еще болѣе низкаго уровня, окажется еще призрачнѣе и безсильнѣе въ сравненіи съ человѣческимъ разумомъ, чѣмъ полагали энциклопедисты. Это будетъ результатомъ болѣе строгой систематичности отвлеченной мысли и болѣе напряженныхъ практическихъ стремленій нѣмецкаго профессора.

Ему предстоитъ дѣйствовать на менѣе воспріимчивыхъ слушателей, чѣмъ французская публика XVIII вѣка, и достигнуть болѣе трудныхъ идейныхъ преобразованій и въ несравненно болѣе короткій срокъ, чѣмъ Вольтеру среди давно уже скептическаго и недовольнаго общества вызвать какое угодно отрицательное чувство къ старой церкви и старому общественному строю.

Еще такъ недавно первостепенный умъ Германіи—Лессингъ—считалъ политическіе вопросы исключительнымъ достояніемъ государей и министровъ, первостепенный нѣмецкій поэтъ готовъ бѣжать на край свѣта, лишь бы спастись отъ политики, что же могли думать средніе люди, не геніи, а просто бюргеры и ихъ дѣти?

А между тѣмъ государи и министры безнадежно склонялись подъ гнетомъ иноземнаго властителя, вся надежда оставалась на тѣхъ, кто до сихъ поръ не занимался политикой и шелъ покорно во слѣдъ призваннымъ *оффиціальнымъ* распорядителямъ своихъ судебъ, однимъ словомъ, на бюргеровъ, на народъ, на молодежь.

И Фихте изъ профессора превращается въ трибуна.

«Я не могу просто думать, я хочу дѣйствовать, дѣйствовать внѣ меня!»—восклицаетъ онъ и направляетъ весь свой талантъ, всю свою логику на это *внѣшнее*.

Борьба не особенно трудна, доказываетъ философъ. Что̀ такое

внѣшній міръ? Призракъ, не имѣющій самостоятельнаго бытія. Онъ созданъ нашимъ *я*, онъ—совокупность нашихъ представленій. Мы не можемъ познать *сущности* явленій вовсе не потому, что она непостижима для нашего разума, а просто потому, что ея не существуетъ. Ихъ творитъ наше *я*, единственно реальная сущность. Это—высшій единый принципъ, не ограниченная творческая сила, одновременно познающая и создающая все *не я*.

Очевидно, это *я* безусловно свободно, неограничено никакими внѣшними законами и условіями ни въ своихъ силахъ, ни въ своихъ цѣляхъ. *Я* создаетъ внѣшній міръ своей внутренней дѣятельностью, то же *я* указываетъ и цѣли своему созданію. Смыслъ внѣшняго міра заключается въ его соотвѣтствіи нашей волѣ, его прогрессъ ничто иное, какъ осуществленіе нашей нравственной свободы, и природа существуетъ за тѣмъ, чтобы *я* могло проявлять свою независимость и свое творчество.

Такимъ образомъ, *непознаваемость* сущности внѣшняго міра превратилась для Фихте въ *небытіе* и духовный міръ, *субъектъ* сталъ единственнымъ источникомъ бытія и его развитія.

Практическіе выводы очевидны: проповѣдь безусловной свободы личности, совершенное устраненіе всякаго внѣшняго авторитета и восторженная вѣра въ творческое воздѣйствіе духа, разума, *идей* на дѣйствительность, политическій и общественный строй, на самый ходъ исторіи.

До сихъ поръ это—понятія XVIII вѣка, и еще составляя критику на сочиненія Кондорсе, Фихте въ глубинѣ человѣческаго духа видѣлъ законъ историческаго прогресса. Но дальше начались *временныя* приложенія теоріи, подсказанныя философу его личнымъ положеніемъ среди современныхъ событій.

Французамъ культъ разума былъ необходимъ затѣмъ, чтобы сломить иго старой церкви и стараго государства. Фихте принципъ всемогущаго творческаго *я* требовался, какъ оружіе противъ вообще старой цивилизаціи, господствовавшей надъ нѣмецкими умами, т.-е. противъ французской духовной и политической власти.

Вѣками установился порядокъ считать французовъ привилегированной націей, аристократами и избранными талантами среди всего человѣчества. Это повлекло всѣ европейскіе народы къ постыдному національному самоотреченію, къ умственному рабству, а теперь—и къ политическимъ униженіямъ.

Правы ли французы въ своихъ притязаніяхъ и дѣйствительно ли нѣмцы столь безнадежные данники чужой силы?

Для Фихте отвѣтъ заранѣе предрѣшенъ.

Еще до завершенія философской системы Фихте задумалъ «пробудить отъ усыпленія и нравственно поднять своихъ соотечественниковъ».

Система давала ему могущественное оружіе. Понятіе абсолютнаго *я* на политической почвѣ непосредственно переходило въ идею національнаго *я* и все, что Фихте—въ качествѣ философа—открывалъ въ области личнаго творчества и воздѣйствія на внѣшній міръ, все это—въ качествѣ политика—онъ неизбѣжно долженъ былъ перенести на первоисточникъ возрожденія Германіи, національность.

Сами французы XVIII вѣка выразили насмѣшливое сомнѣніе въ исключительныхъ правахъ на міровое господство французской цивилизаціи и литературы; германскій ученикъ французской мысли пошелъ гораздо дальше. Въ силу законовъ рѣшительной борьбы, одна крайняя идея вызвала другую, и на мѣсто аѳинскихъ воззрѣній французскаго народа на свое провиденціальное назначеніе, выросли такія же воззрѣнія у ихъ противниковъ.

Отъ общаго принципа *національности* Фихте логически перешелъ къ идеализаціи *германизма* и во имя настоятельныхъ побужденій современности именно на эту цѣль направилъ свое стремленіе дѣйствовать, свою страсть — воодушевить родину на культурную и политическую борьбу.

IX.

Въ самой натурѣ Фихте жили всѣ задатки довести разъ воспринятую идею до послѣднихъ отвлеченныхъ и практическихъ результатовъ. Какъ у всякаго бойца, да еще чувствующаго себя въ очагѣ всеобщаго возбужденія и сосредоточивающаго на себѣ общественное вниманіе, у Фихте не могло быть чисто-теоретическихъ взглядовъ. Всякая мысль превращалась у него въ *убѣжденіе*—не въ смыслѣ доказанной и безусловно усвоенной истины, а въ смыслѣ непосредственно дѣйствующей, стихійно стремящейся къ осуществленію—идеи.

Отсюда, рѣзкая прямолинейность, даже фанатизмъ міросозерцанія, близкій въ вѣрѣ въ личную непогрѣшимость и не вступающій въ сдѣлки съ разными ограниченіями, частными подробностями, т. е. отдѣльными отвлеченными или жизненными препятствіями.

Этотъ психологическій законъ превосходно выраженъ Сенъ-Симономъ, философскую и научную мысль также ставившимъ во главѣ общественныхъ преобразованій.

«Создать систему — значитъ создать мнѣніе — по самой природѣ—рѣзко-рѣшительное, безусловное, исключительное» [16]).

Такую систему создалъ и Фихте изъ національнаго вопроса.

Онъ родоначальникъ *національной идеи* въ ея безусловномъ смыслѣ, т. е. основатель религіи національности, всякихъ сильныхъ чувствъ и энергическихъ предпріятій на поприщѣ національной политики, національной литературной дѣятельности и національнаго просвѣщенія.

Подробности совершенно очевидны.

Фихте вполнѣ логически перешелъ къ идеѣ народности, самобытности, къ защитѣ всѣхъ основъ національной духовной оригинальности—народнаго языка, народной поэзіи и народныхъ преданій, вѣрованій и вѣнецъ всего — проповѣдь всеобщаго народнаго просвѣщенія.

Только оно можетъ окончательно освободить націю отъ унизительныхъ чужихъ вліяній, только оно упрочитъ ея самобытный, свободный путь положительнаго и культурнаго прогресса, обезпечитъ ея творческому генію жизненную силу и безсмертную славу.

Естественно, Фихте могъ договориться до народничества въ тѣснѣйшемъ смыслѣ, превознести собственно народъ, низшіе классы надъ высшими, потому что послѣдніе впитываютъ въ себя чужое просвѣщеніе и даже чужіе нравы, вырываютъ пропасть между своей духовной жизнью и народной нравственной почвой.

Основная язва этого чужебѣсія—усвоеніе чужого языка и пренебреженіе роднымъ, и Фихте прямымъ путемъ отъ своей философской системы подошелъ къ вопросамъ литературы и искусства.

Національное *я* и значитъ ничто иное, какъ національное *творчество*, т. е. народное — по языку и содержанію.

Фихте неистощимъ на эту тему, и здѣсь его оригинальная заслуга не предъ одной нѣмецкой литературой.

Но философъ не могъ обойти мотива, съ такимъ блескомъ развитаго у сенъ-симонистовъ, о поэтѣ-проповѣдникѣ и общественномъ вождѣ.

---

[16]) Produire un système, c'est produire une opinion qui est par sa nature tranchante, absolue, exclusive. *Cathéchisme politique des Industriels*. Paris 1832. p. 44—5.

Именно Фихте и долженъ былъ особенно увлечься вопросомъ объ идейномъ и творческомъ вліяніи слова на людей и жизнь. Онъ самъ въ рѣчахъ къ германскому народу является пророкомъ, то грознымъ и карающимъ, то восторженнымъ и одушевляющимъ. Онъ даже приводилъ изреченія древнихъ израильскихъ пророковъ, имѣя въ виду современную дѣйствительность и, конечно, возлагалъ самыя выспреннія надежды на вдохновенную, прочувствованную рѣчь. Недаромъ онъ просилъ у прусскаго правительства позволенія выступить передъ войскомъ съ патріотической проповѣдью. Философъ готовъ былъ превратиться въ Тиртея и отвлеченную мысль смѣнить на паѳосъ краснорѣчія.

Надо помнить, дѣятельность Фихте падаетъ на самыя тяжелыя времена для германскаго народа, послѣ тильзитскаго мира, когда власть Наполеона, казалось, не имѣла предѣла и философъ на каждомъ шагу могъ жестоко поплатиться за свое гражданское мужество.

Это положеніе сообщило особый страстный характеръ рѣчамъ Фихте и рѣзко раздѣлило его систему на два момента. Одинъ неразрывно связанъ съ современностью: это — самый принципъ фихтіанства, *субъективный идеализмъ* и въ практическихъ выводахъ культурная исключительность германской націи. Обѣ идеи внушены философу борьбой и ея развитіемъ и могли не пережить историческихъ условій, вызвавшихъ къ жизни идеи.

Но другому моменту суждено было остаться прочнымъ капиталомъ въ европейской мысли.

Фихте до такой степени тщательно и полно раскрылъ понятіе національности, его историческое и культурное значеніе, такъ ярко освѣтилъ нравственный и творческій смыслъ самобытной стихіи въ жизни народа и государства, такъ горячо защищалъ именно основныя права народа въ политическомъ и умственномъ прогрессѣ страны, что съ этихъ поръ *національное*, *націонализмъ*, *народничество* стали аксіомами сами по себѣ, независимо отъ частныхъ историческихъ обстоятельствъ.

Легко, конечно, представить, идея Фихте, въ общей принципіальной основѣ одинаково обязательная для писателей и политиковъ всѣхъ націй, являлась различной въ своихъ мѣстныхъ, историческихъ опредѣленіяхъ.

Фихте доказывалъ міровое назначеніе германской стихіи, его ученики — не германцы — тѣ же доказательства естественно могли приложить къ *своимъ* національностямъ.

Почва приложенія въ началѣ XIX-го вѣка повсюду оказывалась не менѣе подготовленной, чѣмъ въ Германіи, и прежде всего въ нашемъ отечествѣ.

Оно шло во главѣ грандіозной борьбы противъ бонапартизма, и до такой степени путь этотъ былъ внушителенъ и національнъ, что, мы увидимъ впослѣдствіи, именно эти черты отмѣчены прежде всего самими иностранцами.

Вполнѣ послѣдовательно, къ русскимъ умамъ быстро привилось фихтіанство, какъ мощная проповѣдь національнаго принципа и, разумѣется, германофильство нѣмецкаго философа неизбѣжно превратилось въ соотвѣтствующее *русское* направленіе, впервые посѣяны были идейныя сѣмена *славянофильства*.

Мы отнюдь не должны представлять здѣсь школьническаго прозелитизма, чистокнижныхъ вліяній и еще менѣе модныхъ увлеченій, какъ это было съ русско-французскимъ аристократическимъ просвѣщеніемъ XVIII-го вѣка. Все равно, какъ было бы несправедливо философскій субъективизмъ Фихте считать только вѣяніемъ вообще духа просвѣтительной философіи, такъ и русскую національную мысль начала столѣтія невозможно привязывать къ *внѣшнимъ* заимствованіямъ. Мы увидимъ, русскіе журналисты, навѣрное не читавшіе произведеній Фихте и вообще не обладавшіе ни малѣйшими философическими наклонностями, съ необычайнымъ азартомъ развивали символъ національной вѣры.

У нихъ только не было логической стройности ни въ основѣ, ни въ подробностяхъ, говорила кровь и страсть, непосредственное чувство патріотизма, но смыслъ оставался тотъ же — *доказывалась ли* и *раскрывалась* идея или только *провозглашалась* и *внушалась*.

Великая культурная сила философскаго періода русскаго общественнаго развитія и заключается именно въ *исторической причинности* явленія, въ его *реальной почвенности*, проще и точнѣе — въ совпаденіи запросовъ практической, глубоко переживаемой дѣйствительности съ извѣстными выводами философскаго разума.

Только этимъ фактомъ и обусловливается вообще плодотворность всякаго умственнаго движенія вездѣ и всегда, только при такихъ сопутствующихъ обстоятельствахъ иноземныя вліянія на нашу общественность дѣйствительно являлись положительными, жизненно-производительными.

И мы должны теперь же установить основной законъ русскаго культурнаго прогресса. Безусловно просвѣтительныя и преобразовательныя теченія въ русской жизни создавались отнюдь не усвое-

ніемъ тѣхъ или другихъ западныхъ идей, а назрѣвали въ сознаніи самихъ лучшихъ представителей русскаго общества, съ исторической послѣдовательностью и нравственной повелительностью подсказывались всѣмъ русскимъ людямъ, кто желалъ искренне и глубоко вдуматься въ русскую дѣйствительность,

Если не было этой искренности и вдумчивости, если, независимо отъ иностранныхъ книгъ, у русскихъ просвѣщенныхъ читателей не болѣло сердце своей родной болью, не проявляло чуткости и отзывчивости не къ отвлеченнымъ разсужденіямъ, а къ реальнымъ фактамъ, самая гуманная иноземная философія не мѣшала разцвѣтать самому дикому эгоизму и варварству какъ разъ среди вольтеріанцевъ и энциклопедистовъ, среди покорнѣйшихъ подданныхъ великой философской республики.

Поколѣніе начала XIX-го вѣка отнюдь не отличалось такой покорностью. Мы встрѣтимся съ изумительной силой критической мысли, съ твердымъ сознательнымъ скептицизмомъ, направленнымъ на самыхъ вліятельныхъ учителей, и между тѣмъ не можетъ быть и сравненія между нравственными и умственными отраженіями германскихъ идей на міросозерцаніи русской молодежи двадцатыхъ и позднѣйшихъ годовъ и вольтеріанскими пошлостями екатерининскихъ «орловъ».

Германская философія не служила пищей праздному тунеядному любопытству и не являлась также единственнымъ духовнымъ достояніемъ русскихъ критиковъ и философовъ. Она только давала *обобщенія* готовымъ фактамъ и идеямъ, она приводила въ систему понятія и стремленія, внушенныя вовсе не ею, а силой, несравненно болѣе настоятельной—русской жизнью, русской политической и общественной исторіей.

Такъ будетъ повторяться со всѣми дѣйствительно преобразовательными отраженіями западныхъ идей въ русской средѣ.

Философское понятіе Фихте о національности для русскаго общества начала XIX-го вѣка будетъ такимъ же логическимъ, желаннымъ фактомъ, какимъ впослѣдствіи окажутся идеи сороковыхъ и отчасти шестидесятыхъ годовъ.

Здѣсь и заключается величайшій культурный переворотъ, разбивающій исторію русскаго прогресса на двѣ эпохи—просвѣщеннаго эпикурейскаго модничанья высшихъ сословій прошлаго вѣка, какъ разъ заинтересованныхъ въ практической безплодности европейскаго просвѣщенія на русской почвѣ, и подлинной нравственно воспринимаемой образованности новыхъ поколѣній начала текущаго столѣтія, *интеллигенціи* въ истинномъ смыслѣ слова.

Мы говоримъ *нравственно-воспринимаемой*: это значитъ сознательно, свободно, не ради извѣстнаго авторитета, эстетическихъ или умственныхъ цѣлей, а ради настоятельныхъ жизненныхъ потребностей и ради духовной мучительной жажды. А это значитъ воспріятіе идей будетъ совершаться не въ сплошной, хаотической формѣ, какъ это было съ вольтеріанцами, а въ соотвѣтствіи съ принципами и причинами, стоящими выше самихъ авторитетовъ и ихъ идей, въ соотвѣтствіи съ приложимостью понятій къ дѣйствительности.

Отсюда совершенно самостоятельный интересъ русскихъ философскихъ теченій.

Въ каждомъ изъ нихъ заключается зерно той или другой европейской философской системы, но одушевленное и развитое русской средой и русскимъ умомъ.

Въ результатѣ, многое изъ каждой системы отпадаетъ и остается лишь то, что́ дѣйствительно можетъ служить объединяющимъ принципомъ въ міросозерцаніи русскихъ учениковъ иностранной мысли. И исторія русскихъ философскихъ направленій и просто увлеченій, исторія, разработанная непремѣнно въ подробностяхъ и оттѣнкахъ, исторія, до сихъ поръ совершенно отсутствующая, была бы въ полномъ смыслѣ исторіей русской культуры, по крайней мѣрѣ, до эпохи реформъ.

Фихтіанство имѣло у насъ ту же судьбу, какъ и его преемники: отъ него осталась идея національности, необходимая русскому просвѣщенію по русскимъ же историческимъ условіямъ и выросшая изъ русскихъ же историческихъ событій.

Что же касается основного принципа философіи Фихте, онъ — принципъ по преимуществу боевой, революціонный, и на родинѣ не могъ пережить соотвѣтствовавшей ему эпохи уже въ силу своей философской односторонности и узко-практической преднамѣренности.

Оба эти недостатка одинаково способны вызвать оппозицію, особенно первый. Для этого философу достаточно другой *личной* натуры, чѣмъ у Фихте — агитатора и проповѣдника. Ничего не могло быть легче, какъ появленіе полнаго контраста именно среди нѣмецкихъ философовъ, т. е. новое воплощеніе исконнаго германскаго типа мыслителя: отрѣшеннаго созерцателя, идеально-примирительнаго ума, готоваго пренебречь какой угодно дѣйствительностью во имя цѣльности и гармоніи отвлеченной системы и философію превратить скорѣе въ поэзію и даже религію, чѣмъ въ политику.

Не могъ остаться безъ дѣйствія и другой недостатокъ фихтіанства: его прямолинейная приспособленность къ извѣстнымъ практическимъ нуждамъ. Разъ онѣ миновали или даже утрачивали свой острый характеръ, ослаблялось значеніе и самой системы. Тѣмъ болѣе, что она, вся исполненная нервной стремительности и страстныхъ призывовъ, уже сама по себѣ не могла удовлетворить извѣстное намъ основное стремленіе начала XIX-го вѣка къ единому прочному философскому принципу—успокоительному послѣ разрушеній предыдущей эпохи и созидательному послѣ бурь революціи.

Изъ среды учениковъ самого Фихте вышелъ философъ, какъ нельзя болѣе способный на мѣсто *субъективизма* и *политики* выдвинуть объективное созерцаніе.

X.

Система Фихте могла оказать большую услугу Германіи въ нравственно-общественномъ отношеніи, воодушевить равнодушныхъ и ободрить павшихъ духомъ, но она по существу была безсильна какъ теорія, какъ система. Безусловное отрицаніе внѣшняго міра, какъ сущности и реальной силы, встрѣчалось съ противорѣчіями на каждомъ шагу—и въ наукѣ, и въ жизни.

Та самая темная сила, съ какой боролся Фихте,—деспотизмъ Наполеона, являлась нагляднымъ доказательствомъ безсилія философскаго разума и могущества исторической дѣйствительности.

Наполеонъ всю свою нехитрую систему внѣшней и внутренней политики построилъ именно на рѣшительномъ устраненіи идей въ смыслѣ общихъ принциповъ, на эксплоатированіи фактовъ самаго грубаго почвеннаго характера—низменныхъ инстинктовъ у отдѣльныхъ личностей, и чувствъ страха и эгоизма у общества. Цезарь являлъ изъ себя воплощенный *тактъ обстоятельствъ*: такъ любилъ онъ самъ характеризировать свою философію, и достигъ поразительныхъ успѣховъ, какіе и не грезились идеологамъ.

Очевидно, въ міровомъ порядкѣ имѣло значеніе нѣчто помимо *я*—нравственнаго и свободнаго.

А потомъ, независимо отъ возникновенія первой имперіи, права органической жизни политическихъ обществъ, такъ-называемые законы историческаго развитія, т. е. та же дѣйствительность, существующая внѣ нашего *я* и независимо отъ него, пріобрѣли небывалый кредитъ послѣ разгрома благороднѣйшихъ и теоретически-стройныхъ государственныхъ идеаловъ.

Уже Сенъ-Симонъ жестоко ополчался на адвокатовъ и метафизиковъ революціонныхъ собраній, обзывалъ ихъ кандидатами въ сумасшедшій домъ за ихъ пренебреженіе къ урокамъ исторіи. Эта идея даже въ такой рѣзкой формѣ нашла не мало сочувственниковъ, и продолжаетъ находить ихъ до сихъ поръ, но сущность ея—признаніе закономѣрнаго развитія общества въ ущербъ неограниченно-героическимъ воздѣйствіямъ личности на дѣйствительность—перешла даже къ искреннимъ защитникамъ самой революціи.

И эти защитники, въ родѣ Минье, Тьера, Гизо и многочисленныхъ либеральныхъ политиковъ и ученыхъ девятнадцатаго вѣка, нашли единственный надежный путь оправдать революцію—доказать ея *фактическую* необходимость, связать ее съ неизбѣжнымъ *ходомъ вещей* и оставить возможно меньше мѣста *творчеству отдѣльныхъ* личностей. Только при такомъ взглядѣ революція пріобрѣтала свои права въ культурной исторіи человѣчества.

Наконецъ, другой внѣшній міръ—природа—также съ чрезвычайной настойчивостью заявлялъ о своемъ бытіи какъ разъ въ эпоху фихтіанства. Наивныя мечты Сенъ-Симона распространить законъ тяготѣнія на явленія нравственнаго порядка не могли имѣть никакого серьезнаго значенія и даже логическаго смысла.

Совсѣмъ другой матеріалъ представило естествознаніе философамъ въ сравнительно очень короткій срокъ, въ теченіе двадцати-тридцати лѣтъ. За это время сдѣлано множество въ высшей степени важныхъ открытій въ области электричества, и каждое изъ нихъ вызывало сильнѣйшее возбужденіе философской мысли.

Открытіе «животнаго электричества», т. е. гальванизмъ немедленно отразился на судьбѣ «единаго принципа». Нашлись рѣшительные люди, готовые всѣ явленія органической и неорганической жизни свести къ электрической силѣ, особаго рода нервной жидкости. Міръ сразу получалъ удивительно стройное и простое единство, и новый принципъ давалъ сколько угодно мотивовъ и поводовъ къ самымъ смѣлымъ выводамъ въ области глубочайшихъ тайнъ бытія.

Физика и химія не остановились на гальванизмѣ. Дальнѣйшія открытія все рѣшительнѣе, казалось, утверждали единство міровыхъ силъ. Была доказана тѣснѣйшая взаимная связь электричества и магнетизма. Становилось очевиднымъ, — вся природа проникнута единымъ органическимъ двигателемъ, *естественной силой*, творящей многообразныя формы по извѣстнымъ неуклоннымъ законамъ.

Вопросъ о неразрывномъ единствѣ всего, подлежащаго изслѣдованію человѣческаго ума, неотразимо ставился не метафизическими соображеніями, а совершенно наглядными открытіями и наблюденіями. Уже Сенъ-Симонъ, ища логическаго естественнаго закона для созданія новаго общественнаго строя, призналъ за аксіому непрерывную цѣпь развитія отъ неорганическаго міра до соціальныхъ явленій высшаго порядка, исторію называлъ «соціальной физикой» и свое собственное подготовительное поприще проходилъ по строгому плану: началъ съ изученія неорганизованныхъ тѣлъ, перешелъ къ организмамъ и закончилъ *новымъ христіанствомъ*, т. е. новымъ законодательствомъ.

Практическіе результаты не соотвѣтствовали отвлеченной стройности проекта, но для насъ важно отмѣтить *идею развитія*, объединяющаго, по представленію сенъ-симонистской школы, всѣ явленія физическаго и нравственнаго міра.

При свѣтѣ этой идеи организмы—продуктъ не преднамѣренныхъ цѣлей, лежащихъ въ основѣ мірозданія, а необходимыя проявленія единой естественной творческой силы, дѣйствующей по законамъ, ей безусловно присущимъ.

Такимъ образомъ, всѣ организмы ничто иное, какъ только различныя ступени естественнаго развитія, между ними нѣтъ пропастей и произвольныхъ перерывовъ и скачковъ, такъ же какъ нѣтъ вмѣшательства спеціальной силы въ созданіе организмовъ рядомъ съ неорганической природой.

Этотъ взглядъ одновременно наносилъ удары и старой философіи естествознанія, и старой назидательной метафизикѣ, уничтожалъ теорію витализма и доказывалъ неосновательность узкихъ морализирующихъ телеологическихъ воззрѣній на міръ.

Ясно, при такихъ условіяхъ внѣшняя дѣйствительность пріобрѣтала сама по себѣ громадный интересъ и безусловныя независимыя права не только на опытное изслѣдованіе; но и на чистофилософскія системы.

Именно философское вліяніе новыхъ естественно-научныхъ выводовъ особенно важно и оригинально.

Идея единой естественной силы, проходящей черезъ всѣ формы и явленія и въ силу законовъ создающая столь совершенные цѣлесообразные организмы, эта идея, независимо отъ какихъ бы то ни было нравственныхъ и метафизическихъ выводовъ, преисполнена величія и поэзіи, глубины и красоты. Она какъ нельзя болѣе способна увлечь съ одинаковой силой и мысль, и воображеніе, раз-

вернуть заманчивѣйшія перспективы предъ творческимъ, логическимъ разумомъ и свободной вдохновенной фантазіей.

Въ результатѣ ни въ одной идеѣ не заключается такихъ богатыхъ источниковъ для противоположныхъ наклонностей и запросовъ человѣческой природы, для строгой науки и для «патетической силы». Философъ съ одинаковымъ успѣхомъ можетъ пользоваться фактами и образами, доказательствами и лиризмомъ. Вѣдь понятіе естественной творческой стихіи не даетъ рѣшительнаго отвѣта на высшій вопросъ философіи о первопричинѣ, и здѣсь послѣ какихъ угодно опытовъ и открытій оставалось обширное поприще для личнаго *творчества* философа.

Система, просто стремясь къ возможной полнотѣ и цѣлостности, неизбѣжно сливала въ себѣ разнообразнѣйшіе элементы, чего могло не быть въ фихтіанской системѣ рѣзко практическаго, нравственно-просвѣтительнаго характера.

Шеллингъ и по внѣшнимъ внушеніямъ, и особенно по разносторонней талантливости своей натуры создалъ оригинальное философское ученіе, изобилующее и плодотворнѣйшими логическими истинами, и въ полномъ смыслѣ романтическимъ творчествомъ.

XI.

Шеллингъ родился поэтомъ и очень долго дышалъ поэтическимъ воздухомъ современной Германіи. Необыкновенная, очень ранняя талантливость въ философскихъ вопросахъ не мѣшала первому германскому властителю русскихъ думъ до конца сохранять въ себѣ сильную поэтическую закваску. Именно одинъ изъ первыхъ русскихъ прозелитовъ нѣмецкой философіи отъ лекцій Шеллинга вынесъ совершенно опредѣленное и очень богатое послѣдствіями впечатлѣніе: «Шеллингъ поэтъ тамъ, гдѣ даетъ волю естественному стремленію своего ума». И слушатель выражаетъ даже увѣренность, что Шеллингъ писалъ въ молодости стихи [19]).

Догадка вполнѣ справедливая.

Девятнадцати лѣтъ Шеллингъ блестяще усвоилъ философію Фихте и написалъ нѣсколько произведеній въ духѣ учителя. Но въ то же время молодой философъ воспринималъ обильныя вліянія другой области — романтической поэзіи, лично былъ въ тѣсныхъ отношеніяхъ съ главнѣйшими романтиками—Тикомъ, Августомъ

---

[19]) Ив. Кирѣевскій въ письмѣ къ А. Кошелеву. *Полное собраніе сочиненій.* Москва 1861, стр. 15, 18.

и Фридрихомъ Шлегелями и фантастичнѣйшимъ изъ нихъ — Новалисомъ. Эта среда и вызвала его самого на стихотворное творчество.

Стихи оказались мимолетнымъ увлеченіемъ; несравненно болѣе глубокіе слѣды въ умственномъ развитіи Шеллинга оставило романтическое міросозерцаніе, особенно романтическія воззрѣнія на искусство.

Романтическая литературная школа и поразительные успѣхи естествознанія—основные факты въ возникновеніи и въ развитіи шеллингіанства. По существу оба факта вели къ совершенно гармонической системѣ, хотя и далеко не ясной и логической во всѣхъ подробностяхъ.

Для романтиковъ поэзія, искусство не только творческія силы, а высшее духовное явленіе, душа міра, сущность человѣческаго развитія. Этотъ взглядъ неуклонно развивался Шиллеромъ, независимо отъ спеціальныхъ романтическихъ теорій. Художественная геніальность и человѣческое совершенство для него тожественны. Эстетическое воспитаніе человѣчества значитъ идеально-гармоническое развитіе двухъ основныхъ сторонъ нашего нравственнаго міра—чувства и разума, природы и свободы.

Естественно *красота* и—*истина* понятія, совпадающія другъ съ другомъ [20]). Но Шиллеръ такъ думалъ только въ минуты лирическаго восторга и сознательно не совершилъ всего пути къ культу искусства; на долю романтиковъ осталось еще очень многое.

Шиллеръ строго разграничивалъ *красоту* и *мораль*, эстетическую оцѣнку отъ нравственной, указывалъ психологическую основу противорѣчій и приводилъ убѣдительные примѣры [21]). Романтики, въ качествѣ бурныхъ геніевъ не желали знать никакихъ оговорокъ и довели идеализацію искусства и генія до всеобъемлющей силы и величія.

Поэзія—истинное откровеніе міра, высшая сущность, внѣ ея нѣтъ ни религіи, ни философіи, ни познанія.

Геній, т. е. творческая сила—абсолютная личность, *я* фихтіанской системы. Здѣсь романтизмъ шелъ рядомъ съ учителемъ Шеллинга, но отнюдь не ради его цѣлой системы и практическихъ выводовъ, а перенося только его представленіе о субъектѣ на свое

---

[20]) Шиллеръ. *Художники.*

[21]) Въ статьяхъ *Мысли объ употребленіи пошлаго и низкаго въ искусствѣ* и *О нравственной пользѣ эстетическихъ нравовъ.*

понятіе геніальнаго художника. Это воплощенная личная свобода, могущество внѣ законовъ, границъ и контроля, вполнѣ самодовлѣющій міръ.

Но не единственный, иначе изъ системы получается отвлеченная мораль, сплошная практическая тенденція, исчезаетъ художественная гармонія и всякая поэтическая таинственность. Философія въ результатѣ распадается на цѣлый рядъ болѣе или менѣе частныхъ правилъ нравственнаго и политическаго содержанія.

Совершенно другой результатъ, если *я*, т. е. *генія* противоставить другому міру, *природѣ*, точнѣе, не противоставить, а привести въ естественную органическую связь.

Потому что геній, училъ еще Шиллеръ, та же природа. Отличительная черта генія—торжество надъ разными хитростями и уловками ума, рѣшеніе самыхъ запутанныхъ задачъ «съ незатѣйливою простотой и легкостью», по внушенію природы. Отсюда вѣчная наивность, непосредственность генія [22]).

Если вся сила генія въ его безсознательномъ сліяніи съ природой, въ голосѣ и внушеніяхъ природы именно ему, генію,—очевидно творческое вдохновеніе ничто иное, какъ раскрытіе природы, освѣщеніе ея тайнъ, и искусство—единственная истинная *философія природы*.

Но подлинное опредѣленіе этого процесса не философія, а *созерцаніе*, *интуиція*, вообще нѣчто противоположное логикѣ и опытному знанію, непроизвольное и таинственное.

Такова романтическая теорія искусства и творчества. Существенная для насъ черта этой теоріи сліяніе искусства и высшаго познанія, философіи и поэзіи, идей и вдохновенія.

Все это означало самое выспреннее превознесеніе искусства и творческаго таланта. Никогда ни одна литературная школа не увѣнчивала такой славой и блескомъ поэта во имя его дарованія, не отводила такого исключительнаго мѣста въ человѣческой дѣятельности поэзіи ради нея самой, какъ романтизмъ.

Сильная художественная даровитость, несомнѣнно, самое яркое свидѣтельство оригинальности личности, и романтики ни на шагъ не отстали отъ Фихте: во имя искусства создавали такой же идеальный субъективизмъ, какой у философа служилъ политикѣ.

Практическіе результаты очевидны.

Сколько бы ни было безпорядочной, часто туманной декламаціи

---

[22]) *Наивная и сентиментальная поэзія.*

въ проповѣдяхъ романтиковъ, они первые среди писателей-художниковъ рѣшились установить на общихъ идейныхъ основахъ великое призванiе поэта. Толкуя съ самой возвышенной точки поэтическое творчество, его психологiю и его идейное содержанiе, они тѣмъ самымъ создали совершенно новыя общественныя и нравственныя права для писательской дѣятельности.

Но этого мало. Вопросъ имѣлъ и другую сторону, неразрывно связанную съ понятiемъ о поэзiи.

Разъ поэтъ—глашатай высшихъ тайнъ, такое назначенiе налагало на его личность и направленiе его таланта исключительныя нравственныя обязательства.

Романтики путемъ психологiи и эстетики дошли до тѣхъ самыхъ выводовъ относительно значенiя «патетическихъ способностей», какiе были высказаны сенъ-симонистами ради практическихъ цѣлей. Это невольное совпаденiе романтизма съ одной изъ современныхъ ему философскихъ школъ. Но не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнiю непосредственное и въ высшей степени глубокое воздѣйствiе романтизма на шеллингiанство. Можно сказать даже, вся шеллингiанская философiя искусства, для насъ особенно цѣнная, прямое наслѣдство романтическаго литературнаго направленiя.

XII.

Шеллингъ, въ сущности, не оставилъ единой цѣльной философской системы, онъ нѣсколько разъ вносилъ поправки даже въ основныя положенiя своей философiи, до конца находился въ процессѣ философскаго развитiя, принимавшаго съ теченiемъ времени все болѣе смутныя и произвольныя формы.

Первичная наклонность къ поэтическому творчеству въ ущербъ логическому процессу довольно легко перешла въ фантазёрство, а романтическая идея о всепроникающемъ взорѣ художественнаго таланта выродилась въ самый подлинный мистицизмъ.

Эта разбросанность шеллингiанской мысли была ясна даже русскимъ послѣдователямъ философа, и одинъ изъ ученыхъ родоначальниковъ русскаго шеллингiанства — Галичъ — отдавалъ себѣ отчетъ въ недостаткахъ излюбленной системы [23]). Это не мѣшало Шеллингу навербовать многочисленныхъ восторженныхъ поклон-

---

[23]) *Исторiя философскихъ системъ.* Спб. 1818—1819, кн. 2, стр. 293.

никовъ среди русской молодежи. Впослѣдствіи мы увидимъ, чего искала и что нашла эта молодежь въ шеллингіанствѣ.

Но очевидно одно: Шеллингъ, при всей сбивчивости и отрывочности своей системы, отвѣтилъ на жгучіе запросы современнаго общества.

Его заслуги начинаются съ того, что онъ въ философіи возстановилъ права природы, внѣшняго міра. Никакого особенно смѣлаго и оригинальнаго шага не требовалось для этого возстановленія.

Естествознаніе совершало блестящія и непрерывныя завоеванія и увлекало за собой философа. Гёте былъ однимъ изъ самыхъ эффектныхъ завоеваній современной могущественнѣйшей и модной науки. Русскому поэту удалось съ удивительной точностью опредѣлить сущность гетевскаго поэтическаго таланта и всего міросозерцанія:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ...

Это значило выполнять романтическій идеалъ художественнаго творчества, воплощать генія въ его подлинной природѣ и истинѣ.

И ни у кого правда и поэзія именно *природы* не сливались въ такой гармоніи, какъ у Гёте.

Усердныя занятія естественными науками будто подсказывали поэту все новые поэтическіе мотивы и расширяли его умственный кругозоръ до безграничной увлекательной перспективы пантеистическаго созерцанія дивныхъ «матерей», таинственныхъ, но неотразимо краснорѣчивыхъ стихій бытія.

Гёте явился прообразомъ Шеллинга—болѣе полнымъ, чѣмъ романтики. У автора Фауста, помимо лирическихъ восторговъ предъ природой, былъ большой запасъ чисто-научнаго интереса къ ней и умѣнья даже подробностями естественно-научныхъ открытій пользоваться съ творческими цѣлями.

Изученіе явленій природы, по сознанію Гёте, дисциплинировало его умъ и образовало въ извѣстномъ направленіи его поэтическій талантъ.

«Не занимайся я естественными науками,—говорилъ онъ,—я никогда не узналъ бы, каковы люди. Ни въ какой другой области нельзя до такой степени прослѣдить чистое воззрѣніе и мышленіе, ошибки чувствъ и ума, слабость и силу характера. Всюду все болѣе или менѣе шатко и неустойчиво, со всякимъ можно болѣе или менѣе сговориться; но природа не допускаетъ шутокъ, она всегда

правдива, всегда серьезна и строга; она вся—правда: ошибки и заблужденія всегда зависятъ отъ людей» [24]).

При такихъ воззрѣніяхъ Гёте могъ привѣтствовать систему Шеллинга, какъ философское поясненіе и обоснову своей поэзіи.

Шеллингъ нѣкоторое время изучалъ математику, физику, химію и даже медицину, въ теченіе всей жизни не упускалъ изъ виду ни одного естественно-научнаго открытія и стремился немедленно ввести его въ свою систему.

Итакъ, *природа* должна занять мѣсто рядомъ съ *я*.

Но въ какихъ же отношеніяхъ находятся между собой эти два міра?

Отвѣтъ опять подсказанъ естественными науками. Это, въ сущности, *единый* міръ, природа осуществляетъ въ своемъ развитіи тѣ же законы, какіе лежатъ въ основѣ нравственнаго міра.

Эта истина ясна изъ самаго простого соображенія.

Почему мы познаемъ природу, почему даже вообще разсчитываемъ на плодотворность нашихъ наблюденій и опытовъ?

Потому что мы можемъ понять ее. А это мыслимо въ единственномъ случаѣ, когда законы природы соотвѣтствуютъ, точнѣе, совпадаютъ съ законами нашего духа. Иначе книга природы для насъ оставалась бы навсегда недоступной.

Ясно, уже существованіе естественныхъ наукъ само по себѣ создавало исходный принципъ шеллингіанской философіи. Если люди понимаютъ другъ друга,—единственно потому, что у каждаго изъ нихъ мысль подчиняется тожественнымъ логическимъ законамъ, то же самое необходимо предположить и относительно объекта и субъекта, будь это внѣшній міръ и личность.

Гёте, подчиняясь своей, по преимуществу, поэтической природѣ, задумывалъ создать *поэму природы*, своего рода эпосъ съ героями естественными силами, Шеллингу-философу оставалось развить *философію природы*. И онъ выполнилъ свою задачу, оставаясь на вполнѣ логическомъ послѣдовательномъ пути—даже въ мистическихъ выводахъ.

Въ самомъ дѣлѣ, если *я* и *природа* представляютъ единство, возникаетъ вопросъ: какъ постигнуть его? Какъ установить *общее начало* духа и внѣшнихъ явленій?

Оно, очевидно, заключаетъ въ себѣ сліяніе двухъ принци-

---

[24]) *Разговоры Гёте, собранные Эккерманомъ.* Перев. Аверкіева, Спб. 1891. II, 146.

повъ—свободы, т. е. разума и необходимости, т. е. естественнаго развитія.

Природа не подчинена деспотическому закону цѣлесообразности, т. е. въ ея жизнь не вмѣшивается сила, ей посторонняя и чуждая.

Природа живетъ по законамъ, въ ней самой заключеннымъ, ея развитіе *необходимо*, но результаты его оказываются въ то же время *разумны*, *цѣлесообразны*. Организмы, несомнѣнно, являются воплощеніемъ принципа цѣлесообразности, т. е. разумной свободы.

Органическая жизнь—ступень, гдѣ безсознательное творчество природы переходитъ въ сознательный, цѣлесообразный результатъ.

Итакъ, сліяніе *необходимости* и *свободы*, *природы* и *разума*, единственно полное представленіе о міровомъ процессѣ.

Внѣ этой идеи только два выбора: или матерію отожествить съ разумомъ, или устранить представленіе объ органическомъ развитіи, матерію безусловно подчинить внѣшней силѣ и весь жизненный процессъ такимъ путемъ превратить въ искусственный.

Ни то, ни другое объясненіе, по мнѣнію Шеллинга, не удовлетворяетъ ни логикѣ, ни научнымъ фактамъ.

Логически, слѣдовательно, единство опредѣлено, абсолютный принципъ установленъ. Это ни всепоглощающее и всетворящее *я* Фихте, ни всенаполняющее себѣ довлѣющее инертное вещество матеріалистовъ, это *необходимо разумное*, *естественно-цѣлесообразное*.

Остается существеннѣйшая задача: какъ человѣческій умъ можетъ этотъ логическій результатъ сдѣлать достояніемъ своего сознанія, т. е. воспринять его не какъ внѣшній выводъ, а какъ моментъ своего бытія?

Гёте, воспѣвая природу, считалъ сущность ея недосягаемой для разсудка.

«Человѣкъ долженъ обладать способностью возвыситься до *высочайшаго разума*, дабы прикоснуться къ божеству, которое открывается въ первичныхъ явленіяхъ, какъ физическихъ, такъ и нравственныхъ; оно скрывается за ними и они переходятъ отъ него».

И мы знаемъ, этотъ *высочайшій разумъ* даже для трезваго положительнаго ума Гёте часто значилъ нѣчто для здраваго смысла мало доступное или даже совсѣмъ невразумительное.

Напримѣръ, автору Фауста очень часто приходилось *фантазію* ставить на недосягаемую высоту сравнительно съ умомъ.

«Если бы при помощи фантазіи,—говорилъ Гёте,—не создава-

лись вещи, которыя останутся на вѣки загадкой для ума, то фантазія немного бы стоила».

И поэтъ на личномъ примѣрѣ оправдывалъ этотъ взглядъ, допускалъ въ свои произведенія ббразы и идеи, ему самому, повидимому, неясныя, во всякомъ случаѣ, не поддававшіяся точному толкованію.

Разъ у него спросили: что̀ онъ разумѣлъ въ сценѣ, гдѣ Фаустъ идетъ къ *матерямъ*.

Въ отвѣтъ, разсказываетъ разсказчикъ, «Гёте, по своему обычаю, закутался въ таинственность и, глядя на меня большими глазами, повторялъ: «матери! матери! какъ это странно звучитъ!» [25]).

Вопросъ о *матеряхъ* какъ разъ касался конечнаго вопроса философіи, познанія принципа, управляющаго міромъ.

Шеллингъ этотъ принципъ свелъ къ *абсолютному тождеству* міра нравственнаго и міра природы. Но самый терминъ ничего не объяснялъ и ничего не доказывалъ. Звучалъ онъ не менѣе «странно», чѣмъ гётевскія *матери*. Но вопросъ: *яснѣе* ли и было ли у Шеллинга болѣе удовлетворительное средство раскрыть тайну, чѣмъ «большіе глаза» и загадочныя восклицанія?

Средства логическаго и научнаго, т. е. доказательнаго, не могло быть, въ силу ограниченныхъ способностей человѣческаго ума. Онъ можетъ только постигать отдѣльныя явленія и частные законы природы и духа, но охватить единое міровое начало, внѣ предѣловъ человѣческаго вѣдѣнія.

Оставался другой путь, по существу тотъ самый, какой Гёте превозносилъ въ ущербъ разсудку,—путь воображенія, фантазіи, поэтическаго вдохновенія, художественнаго творчества, т. е. *созерцаніе* вмѣсто *разсужденія*, искусство вмѣсто философіи.

XIII.

Мы видимъ, какъ мало Шеллингу потребовалось самостоятельныхъ усилій мысли и въ основныхъ положеніяхъ его системы, и въ окончательномъ выводѣ.

За права природы, въ философіи и поэзіи, поднимались первостепенные современные умы и таланты. Если Гёте только ограничился замысломъ, написать эпосъ или драму природы, французскій академикъ Лемерсье выполнилъ тему. Онъ сочинилъ поэму

[25]) *O. cit.* II, 6, 219.

Атлантіаду, гдѣ вмѣсто греческой миѳологіи царила физика и дѣйствующія лица воплощали *равновѣсіе*, *тяготѣніе*, *центробѣжную силу*, разные металлы и даже математическія науки.

Это въ полномъ смыслѣ шеллингіанское, хотя и очень грубое произведеніе. Нѣмецкій философъ не могъ дойти до такихъ уродливыхъ результатовъ, но сущность его мысли—прямое достояніе его старшихъ и младшихъ современниковъ.

Заслуга Шеллинга ограничивается талантливой систематизаціей ходячихъ мыслей и фактовъ, искусствомъ отвлеченной идеологіи сообщить привлекательность поэзіи, а фантастическіе выводы сдобрить научнымъ соусомъ.

Это поистинѣ артистическое соединеніе искони, по мнѣнію Платона, враждебныхъ силъ выгодно отразилось даже на неоригинальныхъ соображеніяхъ и на туманныхъ, чисто-вдохновенныхъ обобщеніяхъ.

Даровитѣйшій нѣмецкій историкъ философіи съ восторгомъ говоритъ о благотворныхъ вліяніяхъ шеллингіанства на науку [26]). И историкъ правъ. Шеллингъ доказалъ абсолютное тожество законовъ духа и природы; въ природѣ развивается и осуществляется духъ, природа реализуетъ законы духа.

Результаты этой идеи для естествознанія очевидны, прежде всего для физики — единство физическихъ силъ, для біологіи—единство развитія организмовъ, т. е. дарвиновская теорія. Шеллингъ устранилъ пропасть между неорганической природой и организмами, т. е. погубилъ витализмъ, съ другой стороны—связалъ низшіе организмы съ высшими необходимой естественной связью, т. е. доказалъ несостоятельность вмѣшательства метафизики въ естествознаніе.

Мы видѣли, на всѣ эти идеи Шеллинга наталкивало то же естествознаніе, но никто изъ философовъ не успѣлъ изъ этихъ внушеній создать цѣлое міросозерцаніе, способное вдохновить новыя научныя силы по извѣстному пути изслѣдованій. И мы впослѣдствіи встрѣтимъ среди русскихъ шеллингіанцевъ страстную любовь къ естественнымъ наукамъ, и какъ разъ талантливѣйшіе шеллингіанцы будутъ именно по спеціальному образованію—естественники.

Шеллингіанство, слѣдовательно, первая философская система, многому научившаяся отъ опытныхъ наукъ, но зато первая же и оказавшая ихъ популярности и развитію величайшія услуги.

---

[26]) K. Fischer. *Geschichte der neueren Philosophie,* VI Band. Heidelberg 1894, pp. 323 etc.

Міръ—органическое цѣлое—истина, ставшая во главѣ всего умственнаго развитія нашего вѣка. Однимъ изъ первыхъ апостоловъ ея былъ и оставался Шеллингъ.

Но чѣмъ шире идея, тѣмъ больше риску она представляетъ въ приложеніяхъ и выводахъ.

Одинъ изъ самыхъ раннихъ русскихъ шеллингіанцевъ — Велланскій, оставилъ рядъ сочиненій, прославившихся своей невразумительностью и самыми странными аналогіями и обобщеніями будто бы на почвѣ естествознанія [27]). Но когда русскій философъ производилъ удивительнѣйшія операціи надъ «магнетизмомъ, электрицизмомъ и хемизмомъ», когда мужескій полъ признавалъ типомъ центробѣжнымъ и соотвѣтствующимъ свѣту, а женскій центростремительнымъ и соотвѣтствующимъ тяжести, и даже гордился такимъ «познаніемъ вещей»,—все это являлось подлинными отголосками шеллингіанства.

Надо было только допустить въ область философіи фантазію и творчество, и принципъ абсолютнаго тожества немедленно порождалъ самыхъ уродливыхъ дѣтищъ путемъ параллелизма между психологіей и физикой или химіей.

Самъ Шеллингъ, конечно, не могъ ограничиться только усвоеніемъ фактовъ и болѣе или менѣе опредѣленныхъ выводовъ естественныхъ наукъ, онъ прямо устремился къ систематизаціи природы по отвлеченнымъ понятіямъ, т. е. къ насильственной укладкѣ естественныхъ явленій въ разсудочныя рамки, въ интересахъ конечнаго стройнаго вывода.

Легко представить, сколько произвола и фантазёрства должно было возникнуть при такомъ философствованіи!

Творчество философа безпрестанно опережало реальную дѣйствительность и независимо отъ познанія самого абсолюта съ помощью вдохновенія и созерцанія, на каждомъ шагу впадало въ мистицизмъ и метафизическую риторику даже при объясненіи частныхъ вопросовъ.

Это, мы уже указывали, вина собственно не лично Шеллинга, а самой задачи. Но увлеченіе философа несомнѣнно. Онъ неуклонно погружался въ непроницаемый туманъ откровеній, не имѣвшихъ ничего общаго съ его ранними наставницами—естественными науками.

---

[27]) Ср. М. Филипповъ—*Судьбы русской философіи. Русское Богатство*, 1894, III, 139 etc. Здѣсь довольно подробное изложеніе «философическаго умозрѣнія» Велланскаго.

Такое движеніе шеллингіанства можно было предусмотрѣть заранѣе, лишь только философъ назвалъ источникъ высшаго человѣческаго познанія—поэзію, искусство.

Здѣсь опять извѣстная личная заслуга Шеллинга, именно въ остроумномъ сопоставленіи человѣческаго творчества съ творчествомъ природы.

Мы видѣли, жизнь природы развивается по законамъ и въ то же время цѣлесообразно, процессъ одновременно и необходимъ, и разуменъ.

То же самое и поэтическое творчество.

Оно въ совершенной гармоніи сливаетъ вдохновеніе и сознаніе, т. е. нѣчто непроизвольное, стихійное съ требованіями разума.

Художникъ сознательно приступаетъ и ведетъ свое дѣло, но результатъ работы создается при помощи другой силы, чѣмъ разсудокъ и критика, въ немъ всегда заключается *больше*, чѣмъ было въ сознаніи художника.

Поэтъ можетъ тщательно контролировать *процессъ* своей работы, но онъ не можетъ подчинить контролю *плодъ* ея, не можетъ предсказать его содержаніе и охватить его смыслъ. Все это—созданіе безсознательной творческой силы, и истинное произведеніе искусства—воплощеніе такой же гармоніи необходимости и разума, какъ и міровое начало.

Очевидно, творчество единственный путь къ абсолютному тожеству и искусство—высшая ступень человѣческой мудрости. Только благодаря творческой способности, человѣкъ усвоиваетъ смыслъ мірового процесса и познаетъ тайну мірового единства.

На основаніи этого представленія Шеллингъ снабдилъ, конечно, искусство самыми выспренними опредѣленіями, совпалъ вполнѣ съ лиризмомъ романтиковъ. И мы имѣемъ всѣ основанія приписать Шеллингу тѣ же заслуги, какія стяжали романтики провозглашеніемъ самостоятельнаго достоинства и великаго идейнаго значенія искусства.

Но и здѣсь рядомъ съ заслугами не слѣдуетъ забывать безусловно отрицательныхъ результатовъ.

Объявить искусство высшимъ проявленіемъ человѣческой природы, значитъ устранить шиллеровское настоятельное указаніе, насколько различна эстетическая стихія отъ нравственной и до какой степени скользкій путь—слѣдовать внушеніямъ только эстетическаго характера.

Въ области эстетики рѣшительную роль играетъ воображеніе и все, что увлекаетъ его, вызываетъ положительное чувство, напримѣръ, сила. «Самое дьявольское дѣло,—говоритъ Шиллеръ,—можетъ намъ эстетически нравиться, какъ скоро обнаруживаетъ силу».

И Шиллеръ счелъ нужнымъ подробно оцѣнить «опасность эстетическихъ нравовъ». Нравственность, основанная на чувствѣ прекраснаго, вообще на художественномъ вкусѣ, не выдерживаетъ критики.

Устами Шиллера говорилъ истинный «просвѣтитель», гражданинъ. Другія рѣчи характеризовали бы чистаго художника. А это и былъ бы крайній послѣдователь шеллингіанской теоріи искусства [28]). Здѣсь *правда* отожествлялась съ *красотой*, заключались, слѣдовательно, сѣмена самаго разнузданнаго символизма и эстетизма.

И мы, дѣйствительно, встрѣтимся съ цвѣтами, если не съ плодами этихъ сѣмянъ,—у русскихъ шеллингіанцевъ.

Столько разнороднѣйшихъ элементовъ заключалось въ системѣ нѣмецкаго философа, вызвавшаго въ Россіи первое глубокое и жизненно-вліятельное философское возбужденіе.

Не легко было ученикамъ разобраться въ этомъ сплетеніи идей, притомъ еще не всегда разчлененныхъ и уясненныхъ самимъ учителемъ.

Трудность увеличивалась не только раннимъ поверхностнымъ знакомствомъ русскихъ просвѣщенныхъ людей съ философіей, но и культурной и общественной средой, менѣе всего приспособленной къ спокойному независимому росту философской мысли.

Наконецъ, именно такая среда вызвала у лучшихъ, благороднѣйшихъ умовъ особенно настоятельные нравственные запросы къ философіи, ставила философію въ положеніе единственной учительницы жизни—личной и общественной и болѣе всего способствовала превращенію школы въ секту, философовъ въ проповѣдниковъ.

Эти неминуемыя послѣдствія философскихъ увлеченій на русской почвѣ создавали, въ свою очередь, идейную страстность, приподнимали температуру философской среды и вносили въ развитіе и смыслъ системъ менѣе всего организующую стихію.

Если мы примемъ во вниманіе всѣ эти условія, окружавшія русскія философскія поколѣнія, если оцѣнимъ сопутствующія обстоя-

[28]) Ср. Гаймъ, *Романтическая школа*, Москва 1891, 555.

тельства даже въ самомъ общемъ, съ перваго взгляда ясномъ, смыслѣ, мы отдадимъ справедливость доброй волѣ и талантливости раннихъ русскихъ учениковъ философіи, мы даже признáемъ: врядъ ли гдѣ возвышенныя представленія Сенъ-Симона, Фихте, Шеллинга о нравственномъ и общественномъ назначеніи философа осуществлялись въ такой полнотѣ, какъ въ русской литературѣ философскаго періода.

XIV.

Въ теченіе всего XVIII-го вѣка понятіе *философіи* въ Россіи имѣло два значенія: или нарочито-темнаго царства педантизма и схоластики или чрезвычайно доступной, но ровно настолько же легковѣсной системы энциклопедистовъ. У той и у другой философіи были свои поклонники и враги.

Схоластика издавна пріютилась въ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ и внушала не то оторопь, не то брезгливость, такъ называемому просвѣщенному обществу, т. е. аристократической интеллигенціи.

Вольтеріанство производило опустошенія среди этой самой интеллигенціи и вызывало искреннее презрѣніе и ненависть у знатоковъ «настоящей» философіи, требующей исключительныхъ усилій логики и діалектики.

При такихъ условіяхъ не могло быть и рѣчи о замѣтныхъ литературныхъ вліяніяхъ философской мысли.

Философія, какъ предметъ научнаго изученія, до конца XVIII-го вѣка существовала только въ духовныхъ семинаріяхъ и академіяхъ. Этотъ философскій разсадникъ стоитъ во главѣ всей русской академической и профессорской философіи. Отсюда вышли первые учителя философской молодежи, т. е. будущихъ дѣятелей на поприщѣ критики и публицистики. Здѣсь гораздо раньше университетовъ были переведены и тщательно усвоены тѣ самыя системы германскихъ философовъ, какимъ предстояло выполнить руководящую роль въ умственномъ развитіи даровитѣйшихъ писателей тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ.

Первоисточникъ русской философской жизни—кіевская духовная академія. На сѣверѣ философія стала прививаться одновременно съ основаніемъ московской славяно-греко-латинской академіи, въ 1682 году. Въ програму входило преподаваніе философіи: *разумительной*, *естественной* и *нравной*, т. е. вся область отвле-

ченнаго и нравственнаго мышленія, вмѣстѣ съ философскимъ толкованіемъ результатовъ опытныхъ наукъ.

Это толкованіе съ самаго начала должно было ограничиться крайне скромными предѣлами, по самому духу просвѣщенія, царствовавшему на духовныхъ каѳедрахъ. Но, во всякомъ случаѣ, въ теченіе цѣлаго вѣка академическая и семинарская наука не прерывала связей, по крайней мѣрѣ, вообще съ движеніемъ западной философской мысли. Приспособляя ее даже къ опредѣленнымъ, отнюдь не всегда философскимъ цѣлямъ, пропитывая ее схоластическимъ формализмомъ, она въ извѣстной степени изощряла мысль своихъ питомцевъ на вопросахъ высшаго порядка и невольно подготовляла умственную почву для будущихъ, болѣе живыхъ и полныхъ воспріятій.

Эта услуга тѣмъ важнѣе въ культурномъ отношеніи, что философія свѣтской наукой является только съ основанія московскаго университета. Но и это начало совершилось не при добрыхъ предзнаменованіяхъ. Въ теченіе цѣлыхъ десятилѣтій университетская философія напоминаетъ экзотическое растеніе, съ трудомъ прививающееся къ неблагодарной почвѣ и ежеминутно угрожаемое крайне суровыми стихіями. А потомъ, и сама по себѣ она долго не можетъ отдѣлаться отъ вѣкового наслѣдства—отъ педантизма, узости и безжизненности идей. Именно стихіи здѣсь занимали первенствующее мѣсто. Безъ ихъ вмѣшательства русская свѣтская философія, повидимому, съ самого начала приняла бы болѣе свѣтлое и широкое направленіе.

По крайней мѣрѣ, у первыхъ студентовъ и ученыхъ не было недостатка ни въ талантливости, ни въ смѣлости.

Профессоръ московскаго университета, Поповскій, ученикъ Ломоносова представлялъ себѣ самыя отрадныя перспективы русской философской мысли. Намъ приходилось говорить объ его статьѣ въ *Ежемѣсячныхъ Извѣстіяхъ;* она дышитъ восторженной вѣрой въ предметъ, какъ разъ менѣе всего внушавшій довѣрія въ половинѣ XVIII-го вѣка. Поповскій возлагалъ блестящія надежды на философскія способности русскаго языка. Считая философію матерью всѣхъ наукъ и искусствъ, онъ не видѣлъ никакихъ препятствій его успѣшному расцвѣту въ русскомъ университетѣ и въ русской литературѣ.

Ближайшіе факты шли на встрѣчу этимъ надеждамъ.

Со второй половины XVIII го вѣка русскіе молодые люди посылаемые заграницу, помимо языковъ, литературы, естествен

ныхъ наукъ, начинаютъ интересоваться и основнымъ оригинальнѣйшимъ явленіемъ германской цивилизаціи—ея философіей, тѣмъ самымъ *нѣмецкимъ идеализмомъ*, какой впослѣдствіи будетъ проповѣдовать Сталь своимъ соотечественникамъ.

До какой степени быстро и устойчиво къ русскимъ юнымъ душамъ прививались сѣмена этого идеализма, показываетъ краснорѣчивѣйшая художественная характеристика русской идеалистической психологіи.

«Съ душою прямо *геттингенской*», — говоритъ Пушкинъ о Ленскомъ, — и весьма точно поясняетъ, что̀ значило обладать геттингенской душой.

Одновременно поклоняться Канту и быть поэтомъ, собирать плоды учености и питать вольнолюбивыя мечты... Въ результатѣ, естественно, «духъ пылкій и довольно странный»...

Сліяніе философіи съ поэзіей, восторженныхъ рѣчей съ искренней страстью къ наукѣ,—такъ рисуется юный русскій философъ первой четверти XIX-го вѣка.

Эти черты, съ изумительной проницательностью отмѣченныя поэтомъ, останутся до конца самыми типичными для русскаго философскаго поколѣнія.

Любопытно обозначеніе типа именно *геттингенской* душой. Это—опять точное отраженіе исторіи.

Геттингенъ, по преимуществу, снабжалъ русскія учебныя заведенія профессорами. За вторую половину прошлаго вѣка въ его спискахъ безпрестанно встрѣчаются имена, увѣнчавшія себя въ Россіи плодотворной общественной или ученой дѣятельностью.

Геттингенскій университетъ не воспитывалъ исключительно отвлеченныхъ идеалистовъ и мечтателей. Его культурныя вліянія выходили далеко за предѣлы спеціально-нѣмецкаго прекраснодушія, вполнѣ соотвѣтствовали жизненному направленію просвѣтительной эпохи, даже въ самыхъ отважныхъ своихъ идеалахъ ни на минуту не упускавшей изъ виду земныхъ интересовъ человѣчества.

Въ Геттингенѣ оказывался богатый запасъ умственной пищи и для романтика Ленскаго, и для Николая Тургенева, автора книги о налогахъ, и для Кайсарова, автора первой попытки поставить вопросъ объ отмѣнѣ крѣпостного права на научную почву, и для Куницына—знаменитѣйшаго юриста своего времени, автора перваго русскаго ученаго и въ то же время политически-значительнаго сочиненія объ естественномъ правѣ.

По этимъ примѣрамъ можно судить о богатствѣ умственнаго капитала, вывозимаго русскими студентами изъ Геттингена. Оно до такой степени разнообразно и полно практическаго смысла, что за весь періодъ философскихъ увлеченій къ раннимъ задачамъ успѣло прибавиться весьма не многое—новое по существу.

Геттингенскія вліянія не могли не захватить и чисто-художественныхъ вопросовъ. Эстетика, стоявшая во главѣ романтической школы, отличалась громадной научной производительностью, даже независимо отъ эстетической религіи шеллингіанства.

Еще со временъ Ломоносова трактаты нѣмецкихъ эстетиковъ пользовались большимъ уваженіемъ среди русскихъ ученыхъ. Когда философія распространила свою власть на искусство и въ союзѣ съ романтизмомъ стала подрывать царство классиковъ, ея новыя теченія немедленно перешли и въ русскую науку.

Изъ біографіи Грибоѣдова извѣстна большая популярность профессора Буле среди московскихъ студентовъ, чувствовавшихъ особую склонность къ «искусствамъ творческимъ, прекраснымъ». Вліянію Буле приписывается раннее и глубокое развитіе у Грибоѣдова вкуса къ драматической литературѣ—жизненной и свободной. Къ сожалѣнію, мы не можемъ съ точностью опредѣлить подробности этого вліянія, во всякомъ случаѣ любопытна историческая связь первой національной русской комедіи съ философскимъ направленіемъ эстетики.

Буле превосходно зналъ русскую исторію и написалъ даже сочиненіе о критической литературѣ по исторіи. Въ области искусства онъ могъ быть вполнѣ достойнымъ соревнователемъ иностранныхъ учителей-историковъ, въ родѣ Шлецера и Миллера. Существеннымъ недостаткомъ учености Буле до конца его дѣятельности оставалось чтеніе лекцій по-латыни. Идеи профессора могли имѣть только ограниченный кругъ послѣдователей.

Малой доступности преподаванія соотвѣтствовала и самая неопредѣленность философскихъ ученій, по крайней мѣрѣ, для русскихъ студентовъ. Въ началѣ девятнадцатаго вѣка, въ разцвѣтъ системъ Фихте и Шеллинга, съ русскихъ каѳедръ звучатъ имена Лейбница, Вольфа, Канта, Якоби и многочисленныхъ dii minores германской философіи.

Всякій заграничный профессоръ непремѣнно привозитъ съ собой одну излюбленную систему, дополняетъ и исправляетъ ее по собственнымъ соображеніямъ, и въ результатѣ получается вольфіанство Шадена и Винклера, шеллингіанство Фесслера, кантіанство Фишера.

До тѣхъ поръ, пока совершается такой діалектическій и метафизическій сплавъ въ лекціяхъ иностранцевъ, философія, при всемъ своемъ вліяніи на изворотливость и тонкость отвлеченнаго мышленія русской молодежи, не можетъ имѣть большого практическаго значенія. Она остается своего рода священной мудростью, весьма часто интригующей вниманіе слушателей именно своей маловразумительностью и непроницаемыми туманами.

Въ результатѣ, даже критическая философія Канта могла развивать вкусъ къ безплодному схоластическому ратоборству, къ чистословесной запальчивости, убаюкивающей умственную энергію призрачными подвигами діалектическаго искусства.

Мы, поэтому, имѣемъ всѣ основанія періодъ русскаго философскаго развитія въ духовныхъ и свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ подъ руководствомъ профессоровъ-иностранцевъ, считать періодомъ исключительно подготовительнымъ, равнозначущимъ въ исторіи европейской философіи съ эпохой средневѣковой схоластики. Несомнѣнно, какъ въ средніе вѣка въ Европѣ, такъ и въ теченіе XVIII и въ началѣ XIX вѣка на русскихъ каѳедрахъ бывали выдающіеся философскіе таланты, сильные живою и оригинальною мыслью, чуткіе къ насущнымъ нуждамъ души и сердца своихъ слушателей, и дальше мы встрѣтимся съ отголосками подобнаго философскаго учительства.

Но только съ отголосками. Само явленіе настолько мимолетно и по современнымъ условіямъ просвѣщенія—безпочвенно, что оставило по себѣ только неопредѣленную свѣтлую дымку благодарныхъ лирическихъ воспоминаній и никакихъ прочныхъ осязательныхъ вліяній. По крайней мѣрѣ, именно на авторѣ, особенно горячаго лиризма, московскомъ профессорѣ Надеждинѣ, мы и не откроемъ такихъ вліяній. Очевидно, практическая, дѣйствительно-просвѣтительная задача философіи въ Россіи была тѣсно связана съ двумя условіями: съ окончательнымъ переходомъ ея въ кругъ свѣтскихъ наукъ и съ появленіемъ русскихъ учителей философіи.

Но и эти условія вполнѣ не обезпечивали нравственныхъ и общественныхъ вліяній философіи. Необходимо было совершенно покончить съ цеховыхъ педантизмомъ и вывести философскую мысль изъ вагнеровскаго кабинета на встрѣчу природѣ и будничной человѣческой дѣйствительности.

Именно эта задача оказалась особенно трудной. Оффиціальные русскіе философы, при всей доброй волѣ и многочисленныхъ внѣшнихъ побужденіяхъ, не могутъ рѣшиться сбросить съ себя док-

торской мантіи и колпака и заставляютъ философію перекочевать изъ аудиторій на менѣе священныя поприща, но несравненно болѣе доступныя и, слѣдовательно, образовательныя.

XV.

Мы можемъ съ полной точностью говорить о *профессорской* и *студенческой* философіи; это два разныхъ типа. У нихъ одинъ источникъ и одно общее содержаніе, но совершенно различныя цѣли и, главное, настроенія, съ какими изучается предметъ.

Философія очень скоро создала рѣзкія границы между двумя слоями русскаго общества. На одной сторонѣ философія продолжала оставаться школьной спеціальностью, на другой—немедленно превратилась въ неисчерпаемый источникъ практическихъ идей въ художественной литературѣ, въ критикѣ даже въ политикѣ.

Тотъ и другой лагерь представлялся людьми часто одинаково учеными, но не одинаково образованными.

На сторонѣ каѳедральной философіи числились солиднѣйшія диссертаціи, высшія ученыя степени, нерѣдко лекторскій талантъ и даже самостоятельный научный авторитетъ.

Но все это пребывало въ высшихъ областяхъ идеологіи, и если спускалось на землю, то не за тѣмъ, чтобы заодно съ ней вдумчиво и любовно обсудить ея настоящее и будущее, а за тѣмъ, чтобы озадачить ее высшимъ познаніемъ вещей и прорицательскимъ языкомъ боговъ.

Не здѣсь, очевидно, приходится искать дѣйствительно просвѣтительныхъ теченій мысли, просвѣтительныхъ не по теоретическому достоинству, а по двигающей и вдохновляющей силѣ.

Громадная разница между двумя философскими направленіями обнаружилась вмѣстѣ съ распространеніемъ системы, заключавшей въ себѣ одинаково богатыя данныя и для безплоднаго жреческаго культа чистаго философствованія и для глубокаго возбужденія нравственныхъ и гражданскихъ инстинктовъ.

Мы видѣли, шеллингіанство легко можетъ быть приспособлено къ самымъ разнороднымъ психическимъ организаціямъ. Въ немъ можетъ найти вполнѣ убѣдительный философскій принципъ и человѣкъ съ наклонностями строгаго ученаго, прирожденный естествоиспытатель, но можетъ также получить истинное утѣшеніе и мечтатель, мистикъ, любитель неразгаданныхъ тайнъ и смутно влекущихъ глубинъ.

Въ шеллингіанствѣ съ одинаковымъ правомъ могутъ видѣть своего предшественника два особенно яркихъ и непримиримо противоположныхъ дѣтища нашего вѣка: дарвиновская теорія и мистицизмъ всякаго рода, начиная съ художественныхъ пиѳическихъ символовъ и кончая религіозно-философскими культами.

Естественно, эта двойственность должна была отразиться и на русскихъ ученикахъ Шеллинга. И можно даже заранѣе распредѣлить отраженія между различными философскими лагерями.

Ученые-спеціалисты, при слабо развитой русской общественности въ началѣ столѣтія, при почти полномъ отчужденіи отъ «свѣта», весьма долго единственнаго представителя интеллигенціи, непреодолимо погружались въ бездну отрѣшенной учености и выспренняго идеализма. Русскій философъ-профессоръ съ гораздо большимъ успѣхомъ, чѣмъ его германскій собратъ, могъ въ теченіе всей жизни изображать великана въ своемъ кабинетѣ и растеряннаго ребенка на улицѣ, просто на̀ людяхъ.

А если обстоятельства и заставляли его непремѣнно обнаружить дѣятельность въ непривычной средѣ, онъ немедленно изображалъ зрѣлище человѣка, долго пребывавшаго въ неподвижномъ состояніи, и теперь безтолково размахивающаго руками, удивляющаго прохожихъ своей походкой, звукомъ и тономъ голоса.

Мы отнюдь не увлекаемся сравненіями. Именно такое впечатлѣніе произведутъ на насъ профессорскіе походы въ область журналистики и критики. Ученые публицисты безпрестанно будутъ попадать въ трагико-комическое положеніе людей, никакъ не умѣющихъ взять требуемой ноты въ общемъ хорѣ и пускающихъ свою рѣчь то слишкомъ высоко, то нестерпимо низко, то залетающихъ въ область головоломнаго техническаго жаргона, то обнаруживающихъ въ полномъ смыслѣ дурной, не литературный тонъ.

Очевидно, здѣсь неизбѣжно находило особенно сочувственный отголосокъ все, что̀ было въ шеллингіанствѣ романтическаго, метафизическаго, нарочито-хитроумнаго и запутаннаго.

Рядомъ съ профессорами у того же источника стояла еще болѣе жаждущая молодежь.

Въ первое время почти вся она принадлежала къ обществу, т. е. къ аристократіи, искони просвѣщавшейся у европейскихъ учителей.

Здѣсь существовала старая культурная почва, мы знаемъ, не глубокая и далеко не всегда лестная для русскаго умственнаго развитія, но во всякомъ случаѣ стихійно враждебная педантизму и цеховому ремесленничеству, будь это наука или философія.

По условіямъ русскаго просвѣщенія и это чисто отрицательное достоинство большой выигрышъ для здраваго смысла и реализма литературы въ ущербъ схоластикѣ и чистымъ отвлеченіямъ. Съ подобнымъ фактомъ мы уже встрѣчались въ эпоху борьбы школьнаго классицизма съ болѣе живой литературной школой.

Какая участь ожидала шеллингіанство въ Россіи, если бы оно превратилось въ исключительное достояніе академической учености, обнаружилось съ самаго начала, на произведеніяхъ первыхъ шеллингіанцевъ.

Система Шеллинга, какъ и всѣ другія, появилась прежде въ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ, а отсюда перешла въ свѣтскія. Надеждинъ, впослѣдствіи профессоръ московскаго университета, обучавшійся въ московской академіи, нашелъ среди студентовъ множество рукописныхъ переводовъ нѣмецкихъ философскихъ сочиненій и, между прочимъ, *Философію религіи* Шеллинга. Это было въ 1810 году. Не отставала по части философіи отъ московской академіи и кіевская. Именно ея воспитанникъ Велланскій — историческій родоначальникъ русскаго шеллингіанства.

Онъ самъ приписывалъ себѣ эту честь и указывалъ точную хронологію своей первой философской проповѣди.

«Въ 1804 году я первый возвѣстилъ россійской публикѣ,—писалъ Велланскій,—о новыхъ познаніяхъ естественнаго міра, основанныхъ на ѳеософическомъ понятіи, которое хотя значилось у Платона, но образовалось и созрѣло въ Шеллингѣ».

Эта фраза довольно точно характеризуетъ философское направленіе самого Велланскаго.

Въ натурѣ и судьбѣ русскаго шеллингіанца успѣли развиться самыя разнообразныя стихіи, какъ нельзя болѣе подъ стать романтической и мистической сторонѣ ученія Шеллинга.

Сынъ мѣщанина, студентъ духовной академіи, онъ въ ранней молодости мечтаетъ то о монашескихъ подвигахъ, то о гвардейской солдатской карьерѣ, наконецъ, ѣдетъ заграницу на казенный счетъ, изучаетъ естественныя науки и медицину и является профессоромъ медико-хирургической академіи [29]).

Послѣднее обстоятельство, казалось бы, должно было направить философа на путь положительной мысли. Въ дѣйствительности

[29]) О Велланскомъ — *Русск. В.*, 1867, 11. *Р. Архивъ*, 1864, 804. Статьи М. Филиппова, *Р. Бог.*, 1894, 3. Колюпановъ. *O. cit.* I. 443. Никитенко. *Журналъ Мин. Нар. Просв.* 1869, янв., стр. 18. П. Милюковъ. *Главныя теченія русской историч. мысли.* М. 1897, 241.

Велланскій увлекся исключительно *творчествомъ*, поэзіей шеллингіанства, довелъ до послѣднихъ предѣловъ усилія германскаго философа истолковать міръ при помощи отвлеченныхъ началъ ума.

Устами русскаго философа говорила страсть настоящаго прозелита и въ результатѣ создалась фантастичнѣйшая система «ѳеософическаго понятія» явленій природы и духа.

Его главныя работы—*Пролюзія къ медицинѣ и Біологическое изслѣдованіе природы въ творящемъ и творимомъ*—представляютъ цѣпь самыхъ неожиданныхъ аналогій, сопоставленій и отожествленій, *догматически* внушающихъ читателю «познаніе естественнаго міра». Вся игра мысли основана на операціяхъ съ субъектомъ и объектомъ. Шеллингіанскій принципъ абсолютнаго тожества даетъ автору право сплетать міръ физическій и духовный въ самые прихотливые узоры, а открытіе животнаго магнетизма влечетъ къ особымъ теоріямъ и аксіомамъ, объясняющимъ по философіи Велланскаго важнѣйшія явленія органической жизни.

Трудно представить, какое *понятіе* о мірѣ можно заимствовать изъ подобныхъ упражненій?

Но привлекательность разсужденій Велланскаго для русскихъ читателей, искавшихъ философской пищи, заключалась какъ разъ въ недостаткахъ и странностяхъ его сочиненій.

Отъ нихъ вѣетъ глубокой искренностью и истинно-благороднымъ полетомъ мысли, столь свойственнымъ всякому идейному убѣжденію. Очевидно, для автора его фантастическіе полеты въ область таинственнаго—не праздная забава эпикурейски-настроеннаго ума, столь свойственнаго всякаго рода мистикамъ, а результатъ упорныхъ думъ и напряженныхъ поисковъ истины.

Когда Сенковскій поднялъ на смѣхъ теософію Велланскаго, ученый опубликовалъ въ газетахъ вызовъ, кому желательно опровергнуть его хотя бы одну теорію съ помощью науки. Въ случаѣ успѣха оппонента, Велланскій обязывался уплатить 5.000 рублей ассигнаціями.

Вызовъ остался безъ отвѣта, но, несомнѣнно, прибавилъ лишнюю черту къ исторіи всякихъ благородныхъ донкихотствъ.

Велланскій не могъ имѣть послѣдователей въ полномъ смыслѣ слова, т. е. исповѣдниковъ его натурфилософскихъ идей. Для этого требовался исключительный складъ ума и воображенія. Но шеллингіанство въ общемъ могло только выиграть даже отъ такой пропаганды.

Восторженный прозелитъ открывалъ безграничныя перспективы

высшихъ тайнъ. Менѣе всего эта даль могла удовлетворить строгій логическій разумъ, но она несомнѣнно должна была чарующе дѣйствовать на всякій смѣлый юный умъ и, если не давала немедленно безупречныхъ отвѣтовъ на его запросы, то могла сулить въ будущемъ великія завоеванія науки и философіи.

Мы вскорѣ познакомимся съ настроеніемъ русской молодежи въ началѣ вѣка и увидимъ, для этихъ настроеній не такъ была важна идеальная разсудочная ясность и безусловно доказательная научность, сколько мощное идейное возбужденіе.

Напротивъ. Чѣмъ больше было романтической таинственности въ идеяхъ, тѣмъ поэтичнѣе, обаятельнѣе являлась вся система. Именно романтизмъ и загадочность совершенно не входили въ недавно господствовавшую французскую философію и теперь уже въ силу контраста производили впечатлѣніе новаго и высшаго міросозерцанія.

Мы услышимъ отъ самихъ русскихъ философовъ какъ разъ такія признанія и естественно, теософія Велланскаго, въ настоящее время окончательно погребенная въ пыли вѣковъ, еще въ тридцатые годы находила усердныхъ читателей. Они въ потѣ лица распутывали затѣйливыя умозрѣнія философа, даже въ душѣ не осмѣливаясь протестовать противъ затѣйливости и требовать больше ясности и доказательности для умозрѣній.

Намъ ясно положеніе Велланскаго въ русскомъ шеллингіанствѣ. Его проповѣдь—отнюдь не популяризація системы и еще менѣе ея общедоступное практическое истолкованіе. Это скорѣе нечленораздѣльный ободряющій крикъ энтузіаста, увлекающаго насъ въ невѣдомую страну и съ пророческимъ ясновидѣніемъ и паѳосомъ набрасывающаго предъ нами широкую, хотя и смутную картину ея еще неизслѣдованныхъ сокровищъ.

Сохранились извѣстія о Велланскомъ, какъ о лекторѣ. Онъ, какъ и слѣдовало быть пророку, являлся скорѣе импровизаторомъ и лирикомъ, чѣмъ ученымъ и чтецомъ. Его рѣчь вызывала у слушателей глубокое вниманіе, и, вѣроятно, не всѣ послѣ лекціи могли отдать ясный отчетъ въ ея содержаніи и смыслѣ, но за то врядъ ли кто оставлялъ аудиторію безъ нѣкоего духовнаго просвѣтленія и даже умиленныхъ чувствъ. Все это—обычная законная награда благороднымъ стремленіямъ и твердой вѣрѣ въ истину и человѣка, столь рѣдкой даже при самомъ свѣтломъ умѣ и самой строгой учености и столь могущественно одушевлявшей русскаго шеллингіанца.

Эти свойства, для величайшихъ учителей философіи въ началѣ нашего столѣтія, были гораздо важнѣе и выше, чѣмъ чисто-ученая талантливость. Велланскій воплощалъ типъ именно того *артиста*, *поэта*, вообще человѣка съ *симпатическими и творческими способностями*, какой Сенъ-Симонъ ставилъ на вершинѣ своего соціальнаго зданія и какому Шеллингъ приписывалъ высшее вѣдѣніе.

И къ великой славѣ русскаго философа, это творчество соединялось съ неотъемлемой добродѣтелью всякаго идейнаго учителя, съ рыцарственнымъ личнымъ благородствомъ. Предъ нами не профессіональное занятіе предметомъ, не служба по каѳедрѣ извѣстной науки, а нравственное удовлетвореніе личности, служеніе дѣлу во имя неразрывной связи своего *я* съ судьбой этого дѣла.

Какъ было необходимо именно для русскаго ученаго такое отношеніе къ наукѣ! Неизмѣримо плодотворнѣе и доблестнѣе, чѣмъ самая объективная и трезвая ученость, дѣйствовало на русскую молодежь это мистическое одушевленіе жадно искомой, отъ вѣка скрытой тайной. И всѣ эти — *объекты*, *субъекты*, *хемизмы*, *магнетизмы* въ устахъ учителя звучали подчасъ истиннымъ откровеніемъ, и мы до конца русской философской эпохи будемъ встрѣчать все тотъ же энтузіазмъ къ философскимъ, на нашъ взглядъ, варварскимъ и, пожалуй, безплоднымъ хитростямъ и тонкостямъ.

Была, конечно, и здѣсь своя отрицательная сторона и, мы увидимъ дальше, очень существенная. Увлеченіе философскими откровеніями грозило *философію* замѣнить просто *философствованіемъ*, т. е. діалектикой, а потомъ просто софистикой, словесной и книжной реторикой. Исканіе высшей истины легко могло превратиться въ азартную страсть къ словопреніямъ и призрачно-глубокомысленнымъ ратоборствамъ.

Новая философія ничѣмъ не была обезопашена отъ схоластическаго недуга, если только безусловно не спѣшила стать твердо на почву дѣйствительности и тѣшила себя безконечными полетами въ заоблачное царство чистыхъ идей.

Красота и отвага полетовъ на первыхъ порахъ могли имѣть великое нравственное воспитательное значеніе въ средѣ, до сихъ поръ чуждой высшимъ запросамъ разума и не знавшей серьезныхъ умственныхъ усилій. Но на этой границѣ не могла остановиться философская мысль, если только она разсчитывала выполнить жизненное назначеніе.

Мы увидимъ, задача оказалась и должна была оказаться въ высшей степени трудной. Чистая теорія и ученая книга обнаружили и въ русскую философскую эпоху свою исконную односторонность, враждебность къ будничной заурядной дѣйствительности, пренебреженіе къ ней во имя своихъ отрѣшенныхъ недосягаемо выспреннихъ интересовъ.

Въ результатѣ, вся исторія русскаго философскаго движенія сводится къ постепенному *опрощенію* философской мысли, если такъ можно выразиться, къ сближенію ученыхъ съ публикой, науки съ критикой, литературы съ руской жизнью, пока, наконецъ, философская идея, литературная критика и поэзія не придутъ къ общей всеобъединяющей цѣли: къ полному соотвѣтствію критической мысли и художественнаго творчества русской дѣйствительности въ прямомъ и всестороннемъ смыслѣ.

Эта цѣль лежитъ пока въ отдаленномъ будущемъ для первыхъ русскихъ философовъ, и предъ нами долженъ пройти еще рядъ идеалистовъ-мечтателей или просто книжниковъ и жрецовъ новой философской церкви.

Младшій современникъ Велланскаго—Галичъ, второй учитель русскаго шеллингіанства. Онъ всего нѣсколькими годами моложе Велланскаго, но представляетъ, несомнѣнно, высшую стадію философскаго развитія.

Почва та же—шеллингіанство, но изъ нея извлекаются болѣе сочныя сѣмена, а главное, болѣе приспособленныя къ русской нивѣ.

XVI.

Галичъ—духовнаго происхожденія, учился сначала въ орловской семинаріи, потомъ въ петербургской учительской гимназіи, впослѣдствіи педагогическомъ институтѣ [30]).

Здѣсь преподавалась философія нисколько не лучше и не свободнѣе, чѣмъ въ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ, и во время студенчества Галича, т. е. съ 1803 года, господствовалъ еще Вольфъ и преподаваніе носило характеръ ученическаго вызубриванія разныхъ догматическихъ, оффиціально одобренныхъ положеній.

Но 1808 году правительство задумало учредить университетъ и въ Петербургѣ. Пришлось отправить заграницу молодыхъ лю-

[30]) Подробная біографія Галича—вышеуказанная статья Никитенко.

дей для подготовленія къ профессурѣ, и въ числѣ ихъ Галича, по каѳедрѣ философіи.

Ему дана была особая инструкція, въ высшей степени любопытная не столько для характеристики оффиціальныхъ воззрѣній на предметъ, сколько по общимъ отзывамъ о современной заграничной философіи.

Инструкція указывала на перемѣны, постигшія философію «въ послѣднемъ вѣкѣ», и предупреждала насчетъ опасности попасть изучающему новую философію на ложный путь: «быть разсказчикомъ пустыхъ умствованій или безсмысленнымъ распространителемъ мистическихъ заблужденій».

Философу рекомендовалось положительное философское развитіе: онъ «долженъ обозрѣвать и научаться природѣ, не приступая еще къ сужденію о ея законахъ; онъ долженъ изыскивать человѣка, какъ разумное существо, какъ жителя земного, прежде чѣмъ начнетъ писать о свойствахъ людей».

Особенно замѣчательно мнѣніе инструкціи о методѣ философской мысли: онъ долженъ быть методомъ математическихъ наукъ, т. е. такимъ же точнымъ и научнымъ. А для этой цѣли будущему философу предварительно необходимо «знать естественную исторію, физику, медицинскую антропологію, всемірную исторію, энциклопедію наукъ и всеобщую грамматику».

Послѣдняя наука должна научить философа *языку*—«величайшему пособію для мысли», иначе его разсужденія могутъ оказаться «токмо скопищемъ безсмысленныхъ словъ».

Въ порядкѣ философскихъ наукъ психологія ставилась инструкціей на первомъ мѣстѣ, и метафизика увѣнчивала философскую ученость.

Метафизика именно и представляетъ особенно много опасностей обиліемъ сектъ и ученій. Требуется тщательная подготовка и строгій критическій выборъ, чтобы не наброситься на первую попавшуюся систему.

Трудно было внимательнѣе и разумнѣе отнестись къ предмету. Инструкція стремилась дѣйствительно къ научной и логической философіи, свободной отъ мистицизма и софистики.

Умъ и талантъ Галича находились на высотѣ предписаній. Онъ усердно воспользовался заграничнымъ путешествіемъ, ознакомился въ разныхъ университетахъ съ разными школами и остановился на шеллингіанствѣ, но отнюдь не загипнотизированный системой и не отдаваясь «истинамъ» съ младенческимъ простодушіемъ Велланскаго.

Шеллингіанство привлекло Галича совершенно другимъ содержаніемъ, чѣмъ его предшественника. Галичъ нашелъ въ системѣ всестороннее примѣненіе различныхъ способностей человѣка—разума и воображенія, разсудка и чувства. Для него это было *здравой* основой философіи, ея *жизненнымъ* содержаніемъ.

Естественно, теософія Шеллинга, его мистицизмъ не могли овладѣть сочувствіемъ Галича, и онъ не только не поусердствовалъ, подобно Велланскому, въ этомъ направленіи, но старался даже обѣлить самого Шеллинга отъ укоризнъ критиковъ въ «мистицизмѣ и піитической мечтательности» [31]).

Оправданіе нельзя назвать удачнымъ и даже исторически вѣрнымъ.

Галичъ издалъ свою *Исторію философскихъ системъ* въ 1818 году. Девятью годами раньше Шеллингъ напечаталъ *Философскія розысканія о сущности человѣческой свободы и о предметахъ, связанныхъ съ нею*. Разсужденіе имѣло въ виду доказать возможность логическаго разумѣнія высшихъ чисто-религіозныхъ понятій, излагалась система, тожественная съ извѣстнымъ намъ ученіемъ Сенъ-Мартэна и сближавшая шеллингіанство съ древне-христіанскимъ мистицизмомъ. Съ этихъ поръ Шеллингъ не переставалъ идти путемъ аллегорій и вдохновеній и отнюдь нельзя было сказать, будто онъ только «возстановилъ уничиженную и изъ области философіи вытѣсненную фантазію въ прежнихъ ея правахъ».

Галичъ рѣшается упрекнуть Шеллинга въ одномъ сравнительно незначительномъ недостаткѣ: въ «произвольномъ словоозначеніи», т. е. въ смутѣ и неопредѣленности философскихъ терминовъ. Смута шла гораздо дальше формы и стиля.

Но для насъ важно, что русскій философъ съ самого начала не обнаружилъ наклонности къ мечтательности и фантастичности. Онъ только желалъ живой философіи, «свѣтской и житейской, приводящей истинный опытъ въ связь съ разумнымъ вѣдѣніемъ», философіи не «для однихъ кабинетовъ».

Шеллингіанство, пользуясь одинаково естествознаніемъ и воображеніемъ, удовлетворяло этому желанію.

Перетерпѣвъ въ личной жизни не мало довольно романтическихъ и юношески-легкомысленныхъ приключеній, Галичъ привезъ изъ-за границы трезвое и свободное міросозерцаніе. Въ диссертаціи—первомъ философскомъ трудѣ—онъ обнаружилъ блестящій

[31]) Галичъ. *О. с.*, часть II, стр. 296.

литературный талантъ и въ высшей степени замѣчательный взглядъ на свой предметъ.

Диссертація написана въ необычайной формѣ; она—письмо къ молодому искателю мудрости. Авторъ, между прочимъ, высказывалъ такое соображеніе:

«Здравая натура твоя есть уже рѣдкій даръ мыслить и чувствовать человѣчески; содержать всѣ силы въ естественной ихъ цѣлости и не увлекаться, не попускать себя увлекать другимъ, умѣрять порывы воображенія разсудкомъ, быть яснымъ въ душѣ и языкѣ, имѣть наипаче практическую цѣль человѣчества передъ глазами».

Дальше еще любопытнѣе шеллингіанскія признанія Галича рядомъ съ оговорками въ пользу свободнаго философскаго изслѣдованія, не подчиненнаго одной системѣ. Авторъ даже такую систему считаетъ—суетной надеждой энтузіастовъ. «Разногласіе въ воззрѣніяхъ»—неизбѣжный историческій фактъ человѣческаго развитія.

Уже эти данныя показываютъ, сколько у Галича было свободныхъ и живыхъ стихій, какъ далеко—по натурѣ—стоялъ онъ отъ буквоѣдовъ и кабинетныхъ метафизиковъ.

Оригинальность и жизнь прорывались у Галича будто невольно, въ его профессорской дѣятельности, въ его сочиненіяхъ, въ его личной жизни.

Уже по поводу диссертаціи одинъ изъ критиковъ—Велланскій - заявилъ, что «способъ представленія» не соотвѣтствуетъ «достоинству» предмета. Философъ находилъ стиль диссертаціи даже соблазнительнымъ для насмѣшниковъ надъ философіей.

Замѣчаніе не принесло плодовъ.

Гораздо позже, въ 1834 году, Галичъ издалъ одно изъ важнѣйшихъ своихъ сочиненій—*Картину человѣка*, еще болѣе серьезнаго содержанія, чѣмъ диссертація, и еще болѣе исполненное соблазновъ.

Книга имѣла въ виду изученіе духовной и физической природы человѣка, его умственной и художественной дѣятельности, его добродѣтелей и пороковъ, и авторъ нашелъ на своемъ пути достаточно поводовъ впадать въ тонъ поэта и даже публициста съ недюжиннымъ сатирическимъ талантомъ и съ очень настойчивыми поучительными цѣлями.

«Чувственная связь представленій» вдохновляетъ философа на образную рѣчь о мечтахъ и обстоятельствахъ, имъ благопріят-

ныхъ. Статья о *свободѣ* заключаетъ сильную защиту свободы мысли. «Какъ бы высоки ни были мнѣнія, догадки, идеи мудреца, онѣ должны выдержать повѣрку общаго ума человѣческаго. Только бореніе мыслей обнаруживаетъ обоюдные ихъ недостатки, только симъ путемъ мы вообще и доходимъ до опредѣлительныхъ истинъ: ибо гдѣ воплощенный разумъ безусловный?»

Не мало также искусства вмѣсто философіи—въ изображеніи любви и страсти и необыкновенно яркая характеристика пороковъ, личныхъ и общественныхъ.

Иная страница изъ книги Галича и теперь сдѣлала бы честь серьезному журналу и сообщила бы кое-какія новыя истины, хотя бы, напримѣръ, ученымъ и всякаго рода фанатикамъ *своего прихода*.

Напримѣръ, къ отдѣлу гордости Галичъ относитъ *чиновную спесь*, т. е. педантизмъ. Она «не только исключительно занимается вещами менѣе существенными, наприм., собраніемъ монетъ, китайскихъ куколъ, фоліантовъ и проч., но и навязываетъ свой односторонній вкусъ всѣмъ и каждому, не сносясь съ общимъ чувствомъ образованнаго человѣчества... Педантизмъ возможенъ не въ одномъ бытѣ ученыхъ или, по выраженію Свифта, *ословъ, навьюченныхъ книгами*; мы встрѣчаемъ его даже въ формѣ довольно чинной и щеголеватой. Общій его признакъ — слабость, особливо разсудка; она-то изъясняетъ погрѣшности на счетъ того, что важно и неважно; люди скудоумные будутъ смѣшивать малое съ великимъ и прилѣпятся къ первому всѣми силами; люди слабаго сердца будутъ чувствительны только къ бездѣлкамъ»... [32]).

Эти разсужденія не лишены эффекта въ устахъ ученаго философа.

И Галичъ оставался вѣренъ себѣ и въ личныхъ отношеніяхъ. Всѣмъ извѣстны посланія Пушкина, студента царскосельскаго лицея. Галичъ читалъ здѣсь лекціи по латинскому языку, преподавая одновременно философскія науки въ педагогическомъ институтѣ, потомъ въ университетѣ.

Латинскій языкъ находился въ полномъ загонѣ. Галичъ велъ бесѣды съ учениками о чемъ угодно, только не о грамматикѣ и стилистикѣ. Пушкинъ много разъ воспѣлъ любимаго профессора, называя его самыми поэтическими и нѣжными именами, въ родѣ слѣдующихъ:

Апостолъ нѣги и прохладъ,
Мой добрый Галичъ!..

[32]) *Картины человѣка*. Спб. 1834, стр. 183, 271, 290, 298.

Галичъ также «другъ мудрости прямой, правдивъ и благороденъ», но, кромѣ мудрости, еще «вѣрный другъ бокала»...

Очевидно, философъ могъ вполнѣ отъ чистаго сердца громить педантизмъ и прямо изъ житейскихъ наблюденій почерпать остроумныя и часто ѣдкія изображенія человѣческихъ пороковъ и слабостей.

Вмѣстѣ съ Велланскимъ онъ—представитель ранняго *петербургскаго* шеллингіанства. Оно неразрывно связано съ философскими школами въ духовныхъ учебныхъ академіяхъ. Это одинъ источникъ, другой—заграничныя командировки.

Правительство, въ лицѣ Екатерины II и Александра I, заботилось о достойномъ замѣщеніи русскихъ каѳедръ и нѣсколько разъ посылало отборныхъ студентовъ въ иностранные университеты.

Мы видѣли, эти посылки увѣнчивались весьма значительными результатами въ области науки и общественныхъ вопросовъ. И несомнѣнно, успѣхи съ теченіемъ времени могли только умножаться: это видно на примѣрахъ Галича и Велланскаго.

Почти сверстники по лѣтамъ, они по научному направленію стоятъ далеко другъ отъ друга. Сравнительно съ Велланскимъ, Галича можно назвать настоящимъ положительнымъ ученымъ и общественнымъ просвѣтителемъ. По крайней мѣрѣ, его сочиненія обличаютъ высокопросвѣщенный критическій умъ и благородный независимый характеръ.

Оставалось только развиться этимъ богатымъ силамъ и стремленіямъ и «практическая цѣль человѣчества», столь озабочивавшая молодого профессора, безъ всякаго сомнѣнія, много выиграла бы отъ его учености и таланта.

Въ дѣйствительности, ни Велланскій, ни Галичъ, по своимъ непосредственнымъ личнымъ вліяніямъ, не вышли изъ своихъ кабинетовъ и аудиторій. Мало этого, даже въ этихъ тѣсныхъ предѣлахъ оба философа не нашли самой необходимой свободы для своего философскаго слова.

XVII.

Надъ русской философіей гроза собралась издалека, изъ тѣхъ краевъ, откуда явилась въ Россію и сама философія. Собственно, свободой философія въ Россіи не пользовалась и раньше грозы. Еще въ 1813 году, по поводу диссертаціи Галича, совѣтъ педагогическаго института вмѣнилъ новому преподавателю въ обязан-

ность—не вводить своей системы, а держаться учебников, одобренных начальством.

Но отъ этого ограниченія было еще далеко до окончательнаго разгрома философіи.

Разгромъ не вызывался никакими отечественными, русскими фактами. Только развѣ Скалозубы и полоумныя московскія кумушки могли кричать о безбожіи петербургскихъ профессоровъ и требовать повальнаго сожженія книгъ.

Реакція явилась европейскимъ отголоскомъ и притомъ болѣе громкимъ и глубокимъ, чѣмъ самый его источникъ.

Мы видѣли, какую роль играла философія Фихте въ національномъ германскомъ движеніи, т. е. университетъ и его питомцы. Молодежь первая восприняла проповѣди профессора-трибуна, не могла забыть ихъ немедленно, лишь только окончилась борьба съ Бонапартомъ. Напротивъ. Германскія правительства, руководимыя священнымъ союзомъ, сдѣлали все, чтобы національному освободительному движенію сообщить демократическое революціонное направленіе.

Государи въ разгарѣ борьбы надавали конституціонныхъ обѣщаній своимъ народамъ, но когда буря пронеслась, обѣщанія были выполнены немногими государствами, именно: Баденомъ, Баваріей, Саксенъ-Веймаромъ и Вюртембергомъ. Пруссія отложила вопросъ на неопредѣленный срокъ.

Очевидно, фихтіанское движеніе не утратило своей почвы. Университеты по прежнему остаются его очагомъ, особенно іенскій. Онъ организуетъ студенческіе союзы, выпускаетъ циркуляры къ другимъ университетамъ, устраиваетъ патріотическія и либеральныя празднества, жжетъ сочиненія и портреты реакціонеровъ и, наконецъ, одинъ изъ іенскихъ студентовъ убиваетъ нѣкоего Коцебу, нѣмца по происхожденію, русскаго по службѣ, автора ядовитыхъ статей противъ политическихъ агитаторовъ.

Вотъ и вся сущность событій, возымѣвшихъ громадное дѣйствіе далеко за предѣлами Германіи.

Русскіе ученые и особенно русская молодежь не имѣли рѣшительно никакого отношенія къ заграничному университетскому движенію. Даже больше. Галичъ, напримѣръ, путешествовалъ по Германіи въ 1811 году, какъ разъ въ самый разцвѣтъ дѣятельности Фихте, и мы не знаемъ ни малѣйшихъ отзвуковъ этого движенія изъ біографіи русскаго студента.

Но дипломатическій вождь европейскаго политическаго міра

Меттернихъ, усвоившій нехитрую систему запугиванья и бѣлаго террора, призналъ нѣмецкія событія достойными особаго конгресса европейскихъ государей. Программа была старая, бонапартовская, произвести рѣшительное давленіе на мысль и слово, и начать, конечно, съ университетовъ: они сами себя выдвинули на первый планъ.

Все было сдѣлано въ Карлсбадѣ, въ теченіе трехъ недѣль: такъ хвалился Меттернихъ. Жизнь, конечно, необыкновенно быстро все это раздѣлала, но пока тонъ былъ заданъ по всѣмъ направленіямъ; должна наступить эпоха экзекуцій, и прежде всего въ Саксенъ-Веймарѣ съ его іенскимъ университетомъ.

Какое касательство могли имѣть ко всему этому русскіе университеты?

Но нашему отечеству не въ первый и не въ послѣдній разъ было попадать въ чужія теченія по закону инерціи и, какъ водится, въ стремительности опережать даже своихъ руководителей.

Въ Петербургѣ нашелся собственный Меттернихъ въ лицѣ Магницкаго. Сопоставленіе можетъ произвести комическое впечатлѣніе, а между тѣмъ нѣкоторое сравненіе австрійскаго канцлера съ русскимъ чиновникомъ весьма поучительно и вполнѣ естественно. Черты въ сущности психологически совершенно типичныя и общія весьма многимъ усерднѣйшимъ поборникамъ движенія вспять.

Прирожденное и воспитанное легкомысліе въ вопросахъ нравственности, полнѣйшее личное равнодушіе къ религіи и вѣрѣ, презрѣніе ко всякаго рода человѣческой независимости и оригинальности и, слѣдовательно, къ серьезной мысли и благородному искреннему чувству, внѣшнее джентльмэнство и корректность и непреодолимый цинизмъ въ глубинѣ души, эпикурейство рядомъ съ единственнымъ жизненнымъ мотивомъ—эгоизмомъ и во имя его неограниченной безпринципностью: таковъ былъ европейскій стражъ священныхъ традицій Меттернихъ. Еще въ болѣе грубой формѣ тотъ же типъ представлялъ и Магницкій, циническій атеистъ въ тѣсномъ кружкѣ пріятелей и рьяный защитникъ Бога и церкви предъ начальствомъ. Оруженосца онъ нашелъ въ лицѣ Рунича, попечителя петербургскаго университета, а послушное орудіе въ лицѣ министра князя Голицына — человѣка искренне религіознаго, но непроницательнаго и безвольнаго. Именно онъ представлялъ благодарнѣйшую жертву для застращиванія и чисто террористическаго гипноза.

Въ результатѣ, русскіе университеты оказались подъ мечемъ

палача. Казнь началась съ казанскаго. Цѣлымъ рядомъ инструкцій университетъ былъ превращенъ въ застѣнокъ, на мѣсто «лжеименнаго» разума водворилась священная инквизиція по нравственной и религіозной системѣ Магницкаго. Философіи, конечно, не было здѣсь мѣста, и профессора увольнялись за малѣйшее подозрѣніе въ соприкосновеніи даже съ кантіанствомъ, до сихъ поръ оффиціально допускавшимся въ духовныхъ и свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Разгромъ казанскаго университета только первый подвигъ Магницкаго.

Богатѣйшую поживу Магницкій усмотрѣлъ въ петербургскомъ университетѣ. Ему не стоило большихъ трудовъ овладѣть ничтожнымъ, суетливымъ карьеристомъ Руничемъ, опутать сѣтями благонамѣренности и благочестія князя Голицына, и въ результатѣ въ ноябрѣ 1821 года произошла приснопамятная исторія.

Въ стѣнахъ университета Руничъ учинилъ допросъ четыремъ профессорамъ, вѣрнѣе, даже не допросъ, а безапелляціонное судбище, не допускавшее ни объясненій, ни оправданій. Профессорамъ грозили даже жандармами съ обнаженными палашами. Галичъ оказался однимъ изъ четырехъ.

Обвиненіе противъ него Руничъ формулировалъ коротко и ясно. «Вы явно предпочитаете язычество христіанству, распутную философію дѣвственной невѣстѣ церкви Христовой, безбожнаго Канта Христу, а Шеллинга духу святому».

Ничѣмъ эти грозныя улики не доказывались и доказать ихъ, конечно, не было возможности не только для Рунича, но и для гораздо болѣе искуснаго слѣдователя.

Галичъ не потерялъ духа, и далъ смиренно-ироническій отвѣтъ. Соли Руничъ совершенно не замѣтилъ и привѣтствовалъ новообращеннаго въ громкомъ стилѣ призваннаго насадителя «благодати Божіей».

Галичъ отвѣчалъ:

«Сознавая невозможность опровергнуть предложенные мнѣ вопросные пункты, прошу не помянуть грѣховъ юности и невѣдѣнія».

Руничъ не желалъ удовлетвориться словеснымъ раскаяніемъ и требовалъ отъ профессора переизданія его исторіи философіи съ подробнымъ описаніемъ совершившагося чуда-обращенія.

Требованіе не было выполнено, высшее правительство даже поспѣшило возстановить жертвъ Рунича въ ихъ правахъ и снова опредѣлило на службу. Но собственно профессорская дѣятельность Галича закончилась навсегда.

Руничъ, несомнѣнно, переусердствовалъ и это было признано его же начальствомъ, но философія и послѣ петербургскаго эпизода ничего не выиграла. Напротивъ. Недовѣріе къ ней, повидимому, еще больше укоренилось. «Обскурантизмъ», по выраженію Велланскаго, «началъ управлять колесницею Русскаго феба».

Результаты вышли многообразные и многознаменательные.

Такіе люди, какъ Велланскій, «ужаснулись отъ тучъ» и стали пребывать «въ бездѣйствіи».

И это были лучшіе люди. Нашлись болѣе податливые и вмѣсто молчанія и бездѣйствія, сами рѣшились говорить и работать въ требуемомъ направленіи.

Именно этотъ результатъ, неизмѣнно сопровождающій «тучи» внесъ растлѣніе въ русскую университетскую науку и гораздо болѣе всякаго педантизма и бездарности подорвалъ жизненныя силы только что посѣянныхъ сѣмянъ философіи.

XVIII.

Мы видѣли, шеллингіанство впервые явилось въ Петербургѣ. Когда о немъ услыхали въ московскомъ университетѣ—достовѣрно трудно рѣшить. Можетъ быть, еще Буле познакомилъ студентовъ съ новой системой. Во всякомъ случаѣ московскій профессоръ Давыдовъ родоначальникомъ русскаго шеллингіанства называлъ Галича, хотя отдавалъ справедливость и философскимъ заслугамъ Буле.

Это не точно. Велланскій предшествовалъ Галичу, его сочиненія были извѣстны, конечно, и въ Москвѣ, философа даже приглашали сюда на курсъ публичныхъ лекцій съ громаднымъ гонораромъ. А потомъ московская духовная академія въ 1810 году обладала блестящимъ преподавателемъ философіи,—Фишеромъ.

Онъ оставилъ по себѣ самую лестную славу среди учениковъ. Надеждинъ захватилъ только поздніе отголоски этой славы, но и онъ могъ изобразить ее въ чрезвычайно сильныхъ выраженіяхъ:

«Я учился у учениковъ Фишера и знаю, какой энтузіазмъ возбуждало въ нихъ одно воспоминаніе, одно имя великаго учителя. Дѣйствительно, то немногое, что онъ успѣлъ сообщить имъ, было исполнено такой жизни, облито такимъ свѣтомъ, что душа, чувствующая потребность и силу мыслить, естественно должна была покориться непреодолимому магическому очарованію. Въ самой академіи слѣды преподаванія Фишера невозможно было истребить совершенно».

Надеждинъ явился впослѣдствіи однимъ изъ первыхъ московскихъ послѣдователей шеллингіанства, но не первымъ.

Въ московскомъ университетѣ нашлось два профессора, по направленію своихъ ученыхъ занятій представляющихъ нѣкоторую параллель съ петербургскими шеллингіанцами. Рядомъ съ Велланскимъ можно поставить естествоиспытателя-философа, профессора сельскохозяйственныхъ наукъ, Павлова, съ Галичемъ Давыдова, профессора русской словесности.

Аналогія, конечно, очень поверхностная: Павлову былъ чуждъ теософическій полетъ Велланскаго и Давыдовъ менѣе всего могъ соперничать съ оригинальнымъ и независимымъ авторомъ *Картины человѣка*. Но одинъ стремился естественнымъ наукамъ придать философское единство и умозрительную глубину, другой на первыхъ порахъ искренне мечталъ о насажденіи исторіи философіи въ московскомъ университетѣ.

Давыдовъ предшествовалъ Павлову. Шаги его на философскомъ поприщѣ не стяжали ему авторитета у современниковъ и почетной памяти у потомства.

Профессоръ присталъ къ шеллингіанству не по внутреннему влеченію и не по твердому убѣжденію въ достоинствахъ системы, а потому, что она стояла на очереди дня, Петербургъ исповѣдовалъ ее, Москва тосковала о ней. Эти настроенія были настолько сильны еще ко времени появленія *Исторіи философскихъ системъ* Галича, что авторъ этой книги долженъ былъ измѣнить ея планъ.

Сначала Галичъ не разсчитывалъ вовсе излагать систему Шеллинга, какъ еще незаконченную и вполнѣ невыясненную. Но потомъ, «склонясь на *требованіе* многихъ почтенныхъ читателей разнаго званія, я доставилъ въ особомъ прибавленіи по крайней мѣрѣ ключъ къ шеллинговой системѣ въ *первоначальномъ* ея видѣ» [34]).

Естественно, и московскіе профессора должны были отозваться на потребность времени.

Давыдовъ началъ преподавать логику въ 1817 году и тогда же заявилъ свое предпочтеніе Шеллингу, признавъ его своимъ руководителемъ въ предметѣ.

Этого было достаточно для блюстительскаго ока Магницкаго. Въ докладѣ Александру I о бѣсовскомъ революціонномъ духѣ ло-

---

[33]) О немъ монографія Е. Ѳеоктистова и въ статьѣ Никитенко, стр. 43 etc.

[34]) *Ист. филос. системъ. Предисловіе* ко второй книгѣ.

гика Давыдова клеймилась какъ одно изъ его проявленій, шеллингіанство признавалось вообще вольнодумствомъ и развратомъ.

Это происходило въ 1823 году. Давыдову фактъ былъ неизвѣстенъ, и профессоръ вздумалъ расширить философское преподаваніе именно въ духѣ шеллингіанства. Въ 1826 году Давыдовъ прочиталъ вступительную лекцію къ новому курсу—*О возможности философіи, какъ науки.*

Лекторъ довольно ясно излагалъ основное положеніе философіи тождества, т. е. «единство и тожество законовъ обоихъ міровъ идеальнаго и вещественнаго».

Это значило прать противъ рожна. Курсъ былъ запрещенъ и сама каѳедра философіи упразднена.

На этомъ событіи закончилась исторія русской университетской философіи въ философскую эпоху.

Шеллингіанство было окончательно устранено, какъ предметъ преподаванія, и объявлено столь же ядовитой нравственной и политической заразой, какою считалось вольтеріанство.

Разгромъ произвелъ въ высшей степени глубокое впечатлѣніе въ подлежащей средѣ. Быстро былъ усвоенъ извѣстный взглядъ на Шеллинга не только оффиціальными лицами, стоявшими на стражѣ просвѣщенія, но и самими просвѣтителями.

Дѣятельность Магницкаго вызвала обычные нравственные плоды среди людей слабыхъ, малодушныхъ или просто «пекущихся о многомъ». Гдѣ только ни проносился вихрь мракобѣсія и рабства, онъ всюду усѣявалъ свой путь «мертвецами».

Въ петербургскомъ университетѣ Руничъ нашелъ угодниковъ и предателей [35]). Еще раньше такого же результата достигъ Магницкій въ казанскомъ университетѣ.

Здѣсь водворилось подлинное шпіонство, превратило храмъ науки въ постыдный темный притонъ наушниковъ и доносителей и вызвало къ нему глубокое чувство омерзѣнія у мѣстнаго общества.

Въ Москвѣ шеллингіанство надолго осталось пугаломъ для благонамѣренныхъ профессоровъ. Каченовскій далъ тонъ еще во время преподаванія Давыдовымъ логики. Въ *Вѣстникѣ Европы* онъ выражалъ недоумѣніе, «по какому чудесному обстоятельству Шеллингъ не преподаетъ ученія своего въ домѣ сумасшедшихъ!» [36]).

Естественно, послѣ исторіи съ давыдовской лекціей, оторопь

---

[35]) Никитенко. *О. с.*, стр. 51.

[36]) *В. Евр.* 1817, № 20, стр. 259, примѣчанія за подписью *Рдръ*.

еще сильнѣе возрасла и въ 1831 году по поводу сочиненія Надеждина pro venia legendi профессора Ивашковскій и Снегиревъ подали въ факультетъ отдѣльное мнѣніе.

Надеждинъ даже не упоминалъ о Шеллингѣ, но критики усмотрѣли въ диссертаціи духъ запретной системы и желали знать: «можетъ ли сіе ученіе быть допущено въ нашемъ университетѣ?..»

Недугъ захватилъ и другія учебныя заведенія, проникалъ всюду одновременно съ экзекуціями и миссіонерскимъ давленіемъ спасителей отечества въ жанрѣ Магницкаго.

Въ нѣжинскомъ лицеѣ въ 1830 году два профессора отличились доносительской доблестью,—одинъ докладывалъ, что студенты читаютъ сочиненія *Александра Пушкина и другихъ подобныхъ*, другой—обвинялъ самого доносчика въ пристрастіи къ запрещеннымъ философскимъ ученіямъ [37]).

Легко представить, при такихъ условіяхъ философіи вообще и шеллингіанству въ особенности пришлось покинуть университетскія аудиторіи и искать себѣ менѣе виднаго, но болѣе затишнаго пріюта.

Они нашли этотъ пріютъ.

Здѣсь разцвѣло дѣятельное философское направленіе и отсюда оживотворило общественную мысль.

Чтобы оцѣнить по достоинству значеніе внѣакадемической философіи, мы должны сначала подвести итоги общелитературнымъ заслугамъ профессорскаго шеллингіанства, т. е. разсмотрѣть результаты *критической* дѣятельности ученыхъ словесниковъ и философовъ.

XIX.

Изъ двухъ первыхъ шеллингіанцевъ-профессоровъ особенно цѣннаго вклада въ эстетику мы должны ждать отъ Галича. Его личныя наклонности къ публицистикѣ и будничнымъ наблюденіямъ надъ дѣйствительностью, его отзывчивость и разнообразная талантливость, повидимому, заранѣе готовили для него поприще критика.

Оно вѣдь такъ недалеко отъ поэтическаго лиризма и сатирическихъ остротъ, въ изобиліи украшающихъ *Картину человѣка!*

Что касается Велланскаго, онъ въ качествѣ шеллингіанца не могъ миновать вопросовъ объ искусствѣ, но не могъ также и

---

[37]) Колюпановъ. *О. с.* I, 461.

здѣсь спуститься до земли и обыденныхъ фактовъ, какъ и въ своемъ ѳеософическомъ толкованіи міра.

Эстетическія представленія Велланскаго столь же выспренни, сколь и неуклюжи по формѣ. Имѣть какое-либо практическое значеніе для художественной литературы они врядъ ли могли, уже просто по неудобочитаемости для обыкновеннаго смертнаго произведеній философа. А потомъ общія опредѣленія въ искусствѣ тѣмъ менѣе дѣйствительны въ приложеніи, чѣмъ философичнѣе ихъ содержаніе и обширнѣе охватъ.

Что̀, напримѣръ, могъ извлечь писатель-художникъ изъ такихъ несомнѣнно, шеллингіанскихъ идей?

«Объектъ поэзіи есть представленіе универса идеальнымъ образомъ».

Если даже читатель и понималъ *универсъ* и *идеальный образъ*, онъ менѣе всего могъ цѣлесообразно примѣнить свои свѣдѣнія къ своему дѣлу. Философъ въ своемъ полетѣ залеталъ на такія высоты «скрытнѣйшихъ происшествій натуры», что подлинные объекты поэзіи, объекты, ежеминутно и неотвязно преслѣдующіе творческую фантазію и человѣческое чувство наблюдателя — тонули въ непроницаемомъ туманѣ и, слѣдовательно, сама поэзія становилась чѣмъ-то неуловимымъ и неосуществимымъ.

Наконецъ, для самого философа, теософически созерцающаго универсъ, не могутъ представлять насущнаго интереса такія мелочи, какъ русская литература—современница *Пролюзіи къ медицинѣ*. Велланскому не могло и на умъ придти сопоставить свою эстетику съ образцами искусства. Этого не дѣлалъ даже Шеллингъ, имѣвшій въ распоряженіи творчество Гёте и Шиллера.

А всякіе художественные принципы достигаютъ дѣйствительной силы и вліянія только путемъ ихъ практическаго выясненія и оправданія.

Эстетика не существуетъ безъ иллюстрацій, и критика превращается въ безплодное и безпочвенное резонерство, разъ у нея нѣтъ предъ глазами предметовъ суда—все равно, отрицательнаго или положительнаго.

Позднѣйшее шеллингіанство—не профессорское и не академическое—тѣмъ и обнаружило высшую стадію русскаго философскаго развитія, что спустилось съ высоты универса до всѣмъ извѣстнаго міра, въ критикѣ вмѣсто сокровеннѣйшихъ тайнъ заговорило о русской литературѣ, о Державинѣ, о Пушкинѣ.

Это было цѣлымъ переворотомъ и немедленно внесло множе-

ство новыхъ темъ въ философско-критическія разсужденія. *Новыхъ* не для шеллингіанства и германской философіи вообще, а для русскихъ раннихъ шеллингіанцевъ.

Достаточно назвать одинъ великій вопросъ—*національный*. Для Велланскаго онъ не существуетъ, его эстетика внѣ даже нашей планеты, не только отдѣльныхъ странъ свѣта и государствъ. Но разъ эстетика иллюстрируется и притомъ въ интересахъ русскаго читателя, *національность* немедленно занимаетъ подобающее ей первостепенное мѣсто.

И между тѣмъ, она скрывалась въ поднебесномъ туманѣ даже для Галича, автора особаго сочиненія о «наукѣ изящнаго».

Въ эстетикѣ Галичъ гораздо болѣе точный воспроизводитель идей Шеллинга, чѣмъ вообще въ философіи.

Еще въ диссертаціи Галичъ впадалъ совершенно въ тонъ Шеллинга, наставляя своего юношу: «рѣшеніе задачи міра не дается извнѣ; оно совершается во внутреннемъ твоемъ святилищѣ и притомъ творческимъ актомъ».

Въ *Картинѣ человѣка* «ощущенія прекраснаго» превознесены сравнительно съ умственными и нравственными силами. «Эстетическія чувствованія», по мнѣнію автора, «роднятъ насъ съ небожителями...» Вообще русскій философъ неистощимъ въ романтическомъ лиризмѣ тамъ, гдѣ заходитъ рѣчь о шеллингіанскомъ источникѣ высшаго вѝдѣнія.

Въ 1825 году явился *Опытъ науки изящнаго*, на девять лѣтъ раньше *Картины человѣка*, но выспренность мысли та же.

Прежде всего, авторъ желаетъ непремѣнно остаться на исключительной высотѣ ученаго философа и заранѣе объявляетъ свое сочиненіе достояніемъ немногихъ избранныхъ. «Нелѣпое было бы легкомысліе требовать *свѣтскаго чтенія* отъ книжки, въ которой *начертываются основанія строгой науки*».

Судей предлагаемаго сочиненія можетъ быть еще меньше, чѣмъ читателей. На первомъ мѣстѣ авторъ ставитъ *философовъ* и на послѣднемъ—*поэтовъ*.

Очевидно, вся работа разсчитана по необычайно строгому масштабу, въ смыслѣ исключительной серьезности и малодоступности содержанія. Галичъ не отказывается отъ удовольствія презрительно сопоставить *журнальную статью* съ «прочнымъ зданіемъ науки». И въ то время, когда онъ позже станетъ съ большимъ остроуміемъ изобличать *педантизмъ*, теперь онъ считаетъ нужнымъ указать на смѣшеніе этого понятія съ *строгой наукой* у людей поверхностнаго направленія мыслей.

Вообще авторъ постарался всѣми силами возможно величественнѣе изобразить авторитетъ своей науки и до послѣдней степени съузить кругъ читателей своего сочиненія [38]).

Въ результатѣ явилась книга, довольно удобочитаемая по формѣ: Галичъ даже и въ роли спеціально серьезнаго ученаго не могъ утратить своего таланта. Но содержаніе ея врядъ ли могло имѣть какое вліяніе на изящное и на науку о немъ.

По времени появленія *Опыта* особенный интересъ должны были представлять разсужденія о *романтизмѣ*. Въ нихъ ничего нѣтъ ни оригинальнаго, ни яркаго послѣ книги Сталь и многочисленныхъ нѣмецкихъ теорій словесности. Любопытна только ссылка на поэта Жуковскаго: Галичъ приводитъ его стихи *Таинственный посѣтитель* [39]) съ цѣлью дать понятіе о главныхъ мотивахъ романтической поэзіи.

Что касается основного вопроса о художественномъ произведеніи, отвѣтъ формулированъ вполнѣ ясно и въ духѣ шеллингіанской эстетики. Собственно этотъ отвѣтъ только и имѣетъ извѣстное практическое значеніе, какое именно—мы указывали по поводу романтическихъ теорій творчества.

Галичъ «общую» часть своего *Опыта* заключаетъ:

«Прекрасное твореніе искусства происходитъ тамъ, гдѣ *свободный геній человѣка*, какъ *нравственно-совершенная сила*, *запечатлѣваетъ божественную*, *по себѣ значительную и вѣчную идею въ самостоятельномъ*, *чувственно-совершенномъ*, *органическомъ образѣ или призракѣ*» [40]).

Это въ высшей степени содержательное, обильное выводами опредѣленіе. Два принципа новой эстетики—свобода художника, какъ творческой личности и высокая идейность его произведенія—подчеркнуты рѣзко, даже, можетъ быть, слишкомъ настойчиво.

Свобода творчества да еще при идеальномъ представленіи о геніи, какъ *нравственно-совершенной силѣ*, могло прямымъ путемъ привести къ эстетическому идолопоклонству, къ *эстетизму* въ смыслѣ полнѣйшаго равнодушія ко всему прозаическому, земному, будничному. Теорія *чистаго искусства* таится въ выспреннемъ и неограниченномъ представленіи о *свободѣ творчества* и искусство для искусства ничто иное, какъ послѣдній аккордъ лирическаго

---

[38]) *Опытъ науки изящнаго*. Спб., 1825. Предисловіе.
[39]) *Ib.*, стр. 52—3, 55.
[40]) *Ib.*, стр. 40.

гимна во славу совершенства, божественности и прочихъ внѣземныхъ доблестей художественнаго таланта.

Но это—крайность и изнанка. Въ разумномъ толкованіи идея художественной свободы и личнаго достоинства художника—великій культурный шагъ сравнительно съ ремесленническимъ словеснымъ кропаніемъ и писательскимъ рабствомъ классической эпохи.

Есть оборотная сторона и въ принципѣ *идейности*. Его можно поднять на такую высоту, что окажутся *нехудожественными* и не *идейными* произведенія великаго нравственнаго и общественнаго смысла и значенія, но только не запечатлѣвающія *божественной* и *вѣчной* идеи.

Самъ Галичъ въ *предисловіи* къ *Опыту* предупреждаетъ о возможности подобнаго критическаго результата при руководствѣ его идеей объ изящномъ.

И результатъ не только возможенъ, но даже неизбѣженъ.

Мы встрѣтимся съ нимъ въ критическихъ статьяхъ Надеждина; онъ соблазнитъ также и юнаго Бѣлинскаго. Одно за другимъ будутъ «падать въ цѣнѣ», выраженіе Галича, произведенія Пушкина и во имя «божественныхъ» и «вѣчныхъ» идей на многіе годы повиснетъ надъ талантомъ величайшаго русскаго поэта гроза профессорскаго безпощаднаго приговора.

Но это опять только отрицательный моментъ—въ дѣйствительности плодотворной идеи. Надеждинъ такъ и замретъ въ безвоздушныхъ высотахъ своей науки и философіи, Бѣлинскій будетъ спасенъ отъ критическаго омертвѣнія живымъ личнымъ художественнымъ чувствомъ. Но каковы бы ни были частныя послѣдствія увлеченія идейностью, требованіе идейности отъ творческихъ произведеній явилось какъ нельзя болѣе кстати одновременно съ провозглашеніемъ свободы генія. Оно вносило извѣстныя ограниченія въ эту теорію и полагало предѣлы художественной свободѣ.

Художникъ долженъ быть свободнымъ и въ то же время идейнымъ. Это значило, подрывать въ корнѣ отпрыски чистаго эстетизма, вполнѣ возможные на почвѣ исключительной свободы.

Позднѣйшей критикѣ и предстояла сложная, но вполнѣ ясная задача: установить и практически оправдать уже готовыя понятія: творческаго свободнаго таланта и идейнаго художественнаго произведенія. По существу эти два вопроса и исчерпываютъ основное содержаніе и цѣли художественной критики.

Они неразрывно связаны другъ съ другомъ. Критику требуется одновременно и личное художественное дарованіе и совершенный

такт дѣйствительности, т. е. личная отзывчивость на ея многообразныя явленія, умѣнье производить имъ относительную оцѣнку и въ результатѣ цѣлесообразные запросы къ просвѣтительной силѣ искусства.

Соединить всѣ эти способности для природы, повидимому, не менѣе трудная, можетъ быть, даже болѣе трудная задача, чѣмъ создать первостепенный творческій талантъ. Извѣстная французская банальность, будто «критика — легка, а искусство — трудно», не имѣетъ никакого ни отвлеченнаго, ни историческаго права на серьезную истину. Она примѣнима только къ явленіямъ особаго рода, въ сущности ничего общаго не имѣющимъ ни съ критикой, ни съ искусствомъ.

Галичъ повторяетъ въ своей книгѣ замѣчаніе одного русскаго писателя: Россія бѣдна литературой, но богата критикой. Это было сказано до славы Пушкина и до появленія великой литературы сороковыхъ годовъ. Несомнѣнно, *такая* критика болѣе чѣмъ легка, и это доказываетъ ея роль въ литературѣ и въ обществѣ. Старая критика, мы видѣли, безпрестанно дѣлила свои владѣнія съ пасквилемъ, клеветой или изводила читателей схоластитической отрыжкой.

Отсюда оставалось необозримое пространство до критики, способной подняться хотя бы до уровня современнаго искусства.

Дѣятельность Пушкина почти успѣла закончиться, Гоголь взошелъ на художественномъ горизонтѣ звѣздой первой величины, а русская критика все еще протирала глаза и металась отъ школьной указки до уличной брани, никакъ не находя достойнаго *литературнаго* пути. Даже Бѣлинскій перетерпѣлъ не мало весьма эффектныхъ крушеній раньше, чѣмъ овладѣлъ настоящимъ рулемъ и компасомъ.

И нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, отъ Бородинскихъ статей до письма къ Гоголю разстояніе несравненно больше, чѣмъ отъ *Кавказскаго плѣнника* до *Евгенія Онѣгина* или отъ *Сорочинской ярмарки* до *Ревизора*. Мы сравниваемъ не таланты критика и художниковъ, а имѣемъ въ виду трудъ и усилія, идейную работу, вносящую полное преобразованіе въ міросозерцаніе писателя.

Русской литературѣ оказалось *легче* произвести цѣлый рядъ первостепенныхъ творческихъ талантовъ, чѣмъ хотя бы двухъ равносильныхъ критиковъ. Мы увидимъ впослѣдствіи, съ какой медленностью прививались къ русской критикѣ окончательныя, повидимому, завоеванія Бѣлинскаго. Дѣятельность Добролюбова убѣдитъ

насъ, какъ *трудна* критика даже послѣ блестящаго и внушительнѣйшаго учителя и руководителя, а публицистика Писарева сразу перенесетъ насъ будто въ легендарную эпоху русской критической мысли...

Нѣтъ, исторія критики тѣмъ и поучительна, что именно она съ поразительной наглядностью раскрываетъ многотрудный, часто тягостный процессъ совершенствованія общественныхъ идей и художественно-литературныхъ воззрѣній и, слѣдовательно, съ особенной настойчивостью подчеркиваетъ заслуги отдѣльныхъ дѣятелей.

Мы только что видѣли, какъ при всей учености, при несомнѣнной доброй волѣ родоначальники русскаго шеллингіанства не могли внести новой жизни въ современную художественную литературу. Пребывая въ недосягаемыхъ областяхъ гордой науки и универсальныхъ созерцаній, они для писателей-художниковъ оставались совершенно внѣшнимъ и чуждымъ явленіемъ. Пушкинъ питалъ самыя нѣжныя чувства къ Галичу, какъ человѣку, но намъ совершенно неизвѣстны эстетическія вліянія профессора на своего ученика.

И если они были, цѣнность и сила ихъ не могли идти ни въ какое сравненіе съ личными вдохновенными стремленіями поэта къ инымъ путямъ творчества.

Тотъ же выводъ въ еще болѣе яркой формѣ справедливъ и относительно московскихъ ученыхъ эстетиковъ.

Въ то время, когда общественное мнѣніе вынуждало Галича вводить въ исторію философіи разборъ шеллингіанской системы, когда эта система волновала умы молодежи, ея учителей раздѣляла на враждебные лагери и приводила въ сильнѣйшее безпокойство оффиціальную власть, въ это самое время съ каѳедры старѣйшаго московскаго университета невозбранно продолжало раздаваться слово «магистровъ» и «докторовъ» словеснаго искусства.

Мы говоримъ прежде всего о профессорѣ Мерзляковѣ.

XX.

Дѣятельность Мерзлякова входитъ какой-то промежуточной, будто *лишней* полосой въ исторію русской критики.

Онъ по рожденію принадлежитъ классической эпохѣ, по зрѣлому періоду своего университетскаго преподаванія—онъ современникъ Пушкина, его, слѣдовательно, можно назвать представителемъ *переходнаго* времени.

Отвѣтственная задача жить въ такія времена! Самое простое ея разрѣшеніе—умѣть не отстать отъ *перехода*, т. е. не впасть въ раздоръ съ временемъ, но подчиниться ему не пассивно и не противъ воли, а сознательно, съ полнымъ пониманіемъ его стремленій и съ искреннимъ сочувствіемъ новымъ людямъ.

У Мерзлякова, повидимому, были всѣ данныя выполнить эту задачу.

Очень даровитый, даже съ поэтическимъ талантомъ, лично—простой и сердечный, сынъ небогатой купеческой семьи, слѣдовательно, по прежнимъ условіямъ просвѣщенія, ученый по призванію, Мерзляковъ подавалъ надежды на самую живую и отзывчивую дѣятельность.

Обстоятельства благопріятствовали.

Ученикомъ пермскаго народнаго училища Мерзляковъ обратилъ на себя вниманіе начальства *Одой на заключеніе мира со шведами*. Оду довели до свѣдѣнія Екатерины II и юный поэтъ былъ принятъ на казенный счетъ въ московскую университетскую гимназію.

Дальше слѣдовалъ университетъ и сближеніе съ Жуковскимъ. Послѣднее обстоятельство имѣло очень большое значеніе не только въ личномъ развитіи Мерзлякова.

Мы впервые встрѣчаемся съ фактомъ первостепеннаго культурнаго смысла въ исторіи русскаго просвѣщенія—съ студенческимъ кружкомъ. Явленіе будетъ развиваться десятки лѣтъ и по временамъ играть исключительную роль въ литературѣ.

Умственные запросы русской молодежи очень рано стали перерастать духовную пищу, предлагавшуюся въ университетскихъ аудиторіяхъ. Запросы развивались подъ вліяніемъ заграничныхъ путешествій и заграничной литературы. Еще при Екатеринѣ молодые русскіе студенты могли слушать въ германскихъ университетахъ какія угодно лекціи, увлекаться современными европейскими идеалами народнаго блага и общественной свободы, а по возвращеніи въ Россію, попадали въ міръ дѣйствительности, по самымъ своимъ жизненнымъ основамъ враждебный подобнымъ увлеченіямъ, и въ наукѣ встрѣчали или прямую ненависть къ независимой мысли, или неуклонное барственно-эпикурейское стремленіе играть съ огнемъ, не обжигаясь.

Естественно, возникало безвыходное противорѣчіе. Съ одной стороны само правительство отъ запада требовало образованія для своихъ дѣятелей и университетскихъ профессоровъ, съ дру-

гой—немедленно пресѣкало часто даже самыя скромныя попытки осуществить плоды этого образованія. Мы могли видѣть изъ исторіи съ петербургскими профессорами и особенно съ Галичемъ, въ какое ложное положеніе попадали совершенно благонамѣренные люди, на казенный счетъ ѣздившіе слушать нѣмецкихъ философовъ и искренне желавшіе оправдать разсчеты правительства—поднять умственный уровень русской молодежи.

Чтò общаго между крамолой и безбожіемъ и личностью и учеными трудами Галича? Очевидно, ничего, если Галичъ и послѣ катастрофы могъ состоять на государственной службѣ и печатать свои сочиненія.

И между тѣмъ, катастрофа разразилась и имѣла свои послѣдствія.

У Галича были и предшественники, и преемники.

Въ 1766 году за границу было послано двѣнадцать молодыхъ людей съ научной цѣлью; слушали они лекціи въ лейпцигскомъ университетѣ; надзиралъ за ними гофмейстеръ и монахъ-духовникъ, и результаты получились менѣе всего блестящіе.

Самые даровитые изъ путешественниковъ ничего не достигли въ своемъ отечествѣ и даже выдѣлили изъ своей среды настоящую жертву искупленія—Радищева.

Подобныя исторіи происходили и съ учеными, пріѣзжавшими по приглашенію правительства изъ-за границы. Безпрестанно имъ приходилось не по собственной волѣ отбывать на родину, или, подобно Раупаху, товарищу Галича, отрясать негостепріимный прахъ отъ ногъ своихъ.

Очевидно, всякому, кто питалъ жажду продолжать любимое дѣло и по возвращеніи изъ-за границы въ Россію, приходилось обходиться домашними средствами, т. е. оставить надежду на открытую просвѣтительную дѣятельность и замкнуться въ тѣсномъ кружкѣ единомышленныхъ и вѣрныхъ людей.

Отсюда параллельное существованіе двухъ центровъ высшаго просвѣщенія—университетовъ съ профессорами и кружковъ со студентами. И мы знаемъ, какъ долженъ былъ распредѣлиться умственный свѣтъ, исходившій изъ того и другого центра.

Университеты, въ качествѣ оффиціальныхъ учрежденій, не могли не подчиниться внѣшнимъ силамъ, въ родѣ предпріятій Магницкаго и Рунича. Они не только подчинились, но въ лицѣ многихъ своихъ членовъ даже пошли на встрѣчу господствовавшему гасительному направленію и изъ среды профессоровъ вы

двинули усердныхъ конкуррентовъ—гонителей «лжеименнаго разума». Мы видѣли факты, увидимъ и дальше, убѣдимся, что даже для чисто-литературныхъ отношеній профессорской корпораціи не прошла безслѣдно воспитательная дѣятельность Магницкаго.

Естественно, свѣта и воздуха оставалось искать за стѣнами университета. Для этого молодому человѣку вовсе не требовалось быть даже очень пылкимъ искателемъ, не надо было обладать нарочитыми либеральными наклонностями, а просто—не имѣть способности сегодня сжигать то, чему поклонялся вчера. А именно такъ и ставился вопросъ для русскихъ питомцевъ или заграничныхъ университетовъ, или просто заграничной философіи.

Въ силу вещей на сцену появлялось *западничество*, не какъ фанатическое обожаніе европейскаго въ противоположность русскому, а просто какъ уваженіе къ мышленію и просвѣщенію въ противоположность схоластикѣ и реакціи. И въ этомъ смыслѣ первые западники явились учредителями первыхъ кружковъ, независимыхъ культурныхъ центровъ.

Членами *Дружескаго литературнаго общества*, основаннаго при дѣятельномъ участіи Жуковскаго, мы не случайно встрѣчаемъ извѣстныя имена Кайсарова и Александра Тургенева. Это имена воспитанниковъ геттингенскаго университета, людей, окунувшихся въ нѣмецкое море и не нашедшихъ пристанища на современномъ политическомъ берегу своего отечества.

Почему—показываютъ самые простые факты. Кайсарова, мы знаемъ, занималъ вопросъ объ отмѣнѣ крѣпостного права, и даже Жуковскій—человѣкъ отнюдь не политическій—впослѣдствіи отвѣтилъ на этотъ вопросъ освобожденіемъ своихъ крестьянъ.

Несомнѣнно, и остальные члены кружка должны были подходить подъ это направленіе. А оно не могло ограничиться только общественными вопросами, оно было однимъ изъ членовъ многообъемлющаго символа просвѣщенной вѣры, т. е. и въ литературѣ заявляло соотвѣтствующія требованія. Примѣръ — тотъ же Жуковскій.

Мы знаемъ цѣну его романтизма — художественную и національную, но, подробно разбирая явленія философскаго періода нашей критики, мы не должны умолчать о связи поэзіи Жуковскаго съ философіей.

На первый взглядъ это звучитъ странно. Жуковскій, несомнѣнно, увлекался мистицизмомъ, даже привидѣніями, вообще «тайнами» и «ужасами» полуночнаго часа, но серьезнаго интереса къ философіи въ немъ не было.

И все-таки, его романтизмъ внесъ свою дань въ распространеніе германской философіи среди русской молодежи.

Рядомъ съ духовными учебными заведеніями, съ путешествіями за-границу слѣдуетъ помнить еще одинъ путь, какимъ философія изъ Германіи переселялась въ Россію. Это путь, далеко не столь опредѣленный и прямой, какъ другіе два, но для нѣкоторыхъ онъ могъ быть самымъ легкимъ и даже единственнымъ, по крайней мѣрѣ, какъ вступленіе въ царство новой мысли.

Одинъ изъ учениковъ философской эпохи, обозрѣвая разныя культурныя вліянія на русское общество, такъ опредѣляетъ роль поэзіи Жуковскаго:

«Она передала намъ ту идеальность, которая составляетъ отличительный характеръ нѣмецкой жизни, поэзіи и философіи; и такимъ образомъ, въ составъ нашей литературы входили двѣ стихіи: умонаклонность французская и германская» [41]).

Слѣдовательно, Жуковскій, по представленію современниковъ, своей поэзіей создалъ совершенно новую умственную почву, развилъ «сторону, идеальную, мечтательную», до него невѣдомую русскому просвѣщенному обществу «французско-карамзинскаго направленія».

Въ такомъ же смыслѣ, только еще рѣзче, выражается другой современникъ Жуковскаго, поэтъ и критикъ.

Жуковскій далъ «германическій духъ русскому языку», ближайшій къ нашему національному духу, какъ тотъ «свободному и независимому» [42]).

Это слишкомъ сильно. Авторъ самъ одаренъ «германическимъ духомъ» и переоцѣнилъ его сродство съ русскимъ національнымъ. Но для насъ важенъ взглядъ современниковъ на культурное значеніе переводовъ Жуковскаго. Несомнѣнно, они не могли создать философовъ, но они воспитывали почву для сѣмянъ философіи, и въ области эстетики стихи Жуковскаго, мы видѣли, предвосхищали отвлеченныя положенія самыхъ строгихъ русскихъ ученыхъ.

Отъ «идеальнаго и мечтательнаго» въ поэзіи не трудно было, при извѣстномъ настроеніи ума, перейти къ «идеальному и мечтательному» въ теоріи, тѣмъ болѣе, что сама эта теорія вы-

[41]) И. В. Кирѣевскій. *Обозрѣніе русской словесности за 1831 годъ.* Полное собраніе сочиненій, I, 23.

[42]) Кюхельбекеръ, *Взглядъ на нынѣшнее состояніе русской словесности.* Статья, переведенная въ *В. Евр.* 1817 года изъ *Conservateur impartial.* Ср. Колюпановъ. *О. с.* II, 25.

цомъ своего зданія полагала ту же поэзію. А именно такимъ и было шеллингіанство.

Жуковскій по своимъ литературнымъ задачамъ могъ быть совершенно неповиненъ въ такихъ послѣдствіяхъ своего романтизма, но всякое художественное явленіе тѣмъ и значительно, что оно по своимъ жизненнымъ отраженіямъ часто далеко превосходитъ разсчеты самого художника. Примѣрами изобилуетъ всякая литература, и русская въ особенности.

Намъ теперь ясно, какіе общіе настоятельные мотивы могли вызывать частныя литературныя общества, кружки и собранія для литературныхъ и философскихъ бесѣдъ. На западѣ въ ту же эпоху весь континентъ кишелъ также союзами и обществами, но преимущественно политическаго направленія. Въ Россіи только въ рѣдкихъ случаяхъ политика входила въ программу кружка. Она ограничивалась чисто-культурными, просвѣтительными задачами. И вполнѣ послѣдовательно.

Эти задачи для Россіи первой четверти XIX-го столѣтія именно и являлись настойчивыми историческими нуждами и самая устойчивость и быстрое развитіе кружковъ показываютъ ихъ *почвенвенность*, ихъ соотвѣтствіе данному періоду русской общественной жизни.

Будущему историку русской культуры представитъ въ высшей степени содержательный и оригинальный вопросъ о явленіи, повидимому, произвольномъ и часто просто личномъ, въ дѣйствительности знаменующемъ одно изъ самыхъ глубокихъ теченій русскаго просвѣщенія въ высшемъ нравственномъ и общественномъ смыслѣ.

Страницу въ этой исторіи займетъ и *Дружеское литературное общество*, открывшее свою дѣятельность 12 января 1801 года.

XXI.

Цѣль *Общества* опредѣлялась исключительно литературными задачами: «очищать вкусъ, развивать и опредѣлять понятія обо всемъ, что̀ изящно, что̀ превосходно».

Мы не знаемъ, какъ осуществлялась эта цѣль, но собранія общества оставили глубокій слѣдъ въ памяти Мерзлякова.

Четырнадцать лѣтъ спустя, въ письмѣ къ Жуковскому Мерзляковъ восторженно вспоминаетъ о «правилахъ», «которыя пріобрѣлъ» онъ «въ незабвенномъ, можетъ быть, уже невозвратномъ для насъ любознательномъ обществѣ словесности».

ченіи поэтическаго дарованія. Онъ призывалъ современниковъ, менѣе всего привыкшихъ уважать писателя, «почтить науку и талантъ стихотворца изъ любви къ самимъ себѣ» и «очистить чрезъ это собственныя удовольствія».

Все это выходило за предѣлы и классическихъ традицій, и старинныхъ университетскихъ привычекъ. Личная даровитость профессора давала чувствовать себя и въ содержаніи, и въ направленіи лекцій. Она также заставила его произвести важную реформу въ оффиціальномъ преподаваніи.

До Мерзлякова русская литература преподавалась въ университетѣ вмѣстѣ съ древними. Мерзляковъ сообщилъ каѳедрѣ отечественной словесности самостоятельное значеніе. Раньше произведенія русской поэзіи разбирались исключительно по латинскимъ реторикамъ, Мерзляковъ выдвинулъ на первый планъ національное содержаніе русскихъ образцовъ и старыя руководства замѣнилъ новыми.

Какими же? Вотъ съ этого вопроса и начинается рядъ минусовъ въ столь, повидимому, живой и оригинальной дѣятельности профессора.

Когда мы слышимъ отзывы о Мерзляковѣ, какъ лекторѣ, перечитываемъ его критическія статьи въ *Трудахъ Общества любителей Россійской Словесности*, въ журналахъ *Амфіонъ*, *Вѣстникъ Европы*, наши впечатлѣнія безпрестанно двоятся. Мы ни на минуту не увѣрены, съ кѣмъ мы имѣемъ дѣло, дѣйствительно ли съ реформаторомъ словесной науки, или съ лекторомъ и литераторомъ, ищущимъ популярности и въ то же время желающимъ спасти историческій престижъ своей ученой степени?

Прочтите разборы *Россіады* Хераскова, *Эдипа* Озерова и особенно *Дмитрія Самозванца* — Сумарокова: сколько смѣлыхъ, свѣжихъ идей! Какая отвага въ развѣнчиваніи общепризнанныхъ талантовъ и какое краснорѣчіе всюду, гдѣ защищаются интересы естественности, драматизма, психологіи! И даже нѣчто совсѣмъ новое и обѣщающее богатые плоды: профессоръ додумывается до *исторической* критики.

Онъ усиливается возстановить несправедливо попранную память Тредьяковскаго, именуетъ его «просвѣщеннымъ учителемъ литературы», даже *Телемахиду* считаетъ «излишне порицаемой», грубость языка злополучнаго піиты приписываетъ не столько самому автору, сколько его времени и въ заключеніе подчеркиваетъ заслуги Тредьяковскаго въ вопросѣ о стихосложеніи.

По поводу Сумарокова—рѣзкая отповѣдь «умственному рабству» русскихъ писателей предъ французскими. Ломоносовъ наводитъ критика на упрекъ, зачѣмъ поэтъ сочинялъ преимущественно торжественныя оды,—слѣдовало понизить тонъ лиры и выбрать болѣе будничный предметъ: «человѣкъ всего занимательнѣе для человѣка». Съ этой же точки зрѣнія восхваляется Державинъ за употребленіе простыхъ народныхъ выраженій [43]).

Вообще характеристика Державина, какъ поэта, замѣчательна. Мерзляковъ предвосхитилъ основныя мысли Бѣлинскаго, подмѣтилъ главную силу державинскаго таланта—яркость и свѣжесть красокъ, и въ то же время недостатокъ искусства, изящества, чувства мѣры. Заключеніе безусловно въ пользу оригинальнаго таланта, какъ бы мало ни было въ немъ «гармоніи и симметріи». Выводъ Мерзлякова могъ навсегда остаться въ русской критикѣ. Онъ продиктованъ подлиннымъ художественнымъ чувствомъ:

«Разсматривая внимательно всѣ превосходства и недостатки Державина, я часто воображаю, что смотрю на открытую, великолѣпную и разнообразную до безконечности природу, во всей видимой и мнимой ея безпечности и свободѣ: она прелестна, величественна и въ своихъ безпорядкахъ, и въ своихъ ужасахъ, и въ своихъ безпрерывныхъ измѣненіяхъ; вездѣ и всегда трогаетъ мои чувства, не смотря на первое упорство строгаго разума, требующаго ближайшихъ и точнѣйшихъ отношеній и связей между предметами» [44]).

Въ учебникѣ, изданномъ для студентовъ, Мерзляковъ рѣшился даже высказать общее положеніе, оправдывающее его восторги предъ природой вопреки разуму.

«Изящное не доказывается по законамъ разума», писалъ профессоръ, «и правила вкуса не извлекаются изъ чистыхъ понятій, а выводятся только изъ опытовъ и повѣряются одною критикою» [45]).

На чемъ же будетъ основана сама критика?

По мнѣнію Мерзлякова, «ее можно назвать матерью и стражемъ вкуса». Очевидно, она должна руководиться какими-нибудь прочными и ясными принципами, иначе ея авторитетъ—стража—можетъ быть одинаково и отвергаемъ, и признаваемъ.

---

[43]) *Труды О. Л. Р. С.* 1812, I, *Разсужденіе о Россійской словесности въ нынѣшнемъ ея состояніи.*

[44]) *Труды*, 1820, XVIII. *Державинъ.*

[45]) *Краткое начертаніе теоріи изящной словесности*. Москва, 1822. *Вступленіе*, § 11.

Профессоръ даетъ въ высшей степени любопытный отвѣтъ: «Самое понятіе о прекрасномъ чуждо всякихъ законовъ; только *критика вкуса* имѣетъ здѣсь свой голосъ, болѣе или менѣе опредѣленный».

Мало этого. «Произведенія изящныхъ искусствъ, какъ предметы чувствованія и вкуса, не подвержены строгимъ правиламъ и не могутъ, кажется, имѣть постоянной системы или науки изящнаго».

Выводъ, повидимому, ясенъ: чувство, а не разсудокъ, вкусъ, а не теорія, впечатлѣнія, а не законы—таковы основы критики.

И если вы сопоставите выводъ съ уничтожающей критикой на классическія трагедіи, съ гражданскимъ негодованіемъ на чужебѣсіе и на пассивное преклоненіе предъ авторитетами,—предъ вами возстанетъ образъ критика-реформатора, профессора-просвѣтителя.

И у Мерзлякова были всѣ задатки выполнить это назначеніе, и все-таки онъ не выполнилъ, даже больше. На фонѣ талантливости все одолѣвшіе педантизмъ и малодушіе производятъ на насъ несравненно болѣе прискорбное впечатлѣніе, чѣмъ скоропалительное и пустоцвѣтное шеллингіанство Давыдова, товарища Мерзлякова и его преемника на каѳедрѣ словесности.

XXII.

Никакія независимыя идеи, самыя пылкія импровизаціи не помѣшали Мерзлякову не только преподавать учебную теорію изящнаго, но даже найти себѣ учителя въ лицѣ нѣмецкаго эстетика. Два руководства, предложенныя студентамъ, *Краткое начертаніе теоріи изящной словесности* и *Краткая риторика* представляли компиляцію книги Эшенбурга: *Entwurf einer Theorie und Litteratur der schönen Wissenschaften*. Книга—одно изъ дѣтищъ школьнаго классицизма.

Но сущность заключалась не въ достоинствахъ или недостаткахъ нѣмецкой теоріи, а въ томъ, что русскій профессоръ не нашелъ другого средства просвѣщать своихъ слушателей, кромѣ перевода и компиляціи.

При такомъ оборотѣ дѣла всѣ критическія новшества, отрицанія, системы и воззванія къ художественному чувству утрачивали всякое практическое значеніе.

Профессоръ твердо держался разъ принятаго пути—до такой

степени твердо, что за свои компиляторскія наклонности подвергся даже порицанію учебнаго начальства.

Въ концѣ 1827 года Мерзлякову поручили составить для гимназій риторику и піитику. Спустя два года, Мерзляковъ представилъ въ Комитетъ учебныхъ пособій рукопись. Отзывъ послѣдовалъ слѣдующій:

«Комитетъ, разсмотрѣвъ рукописи Мерзлякова, нашелъ, что онѣ суть ничто иное, какъ почти буквальный переводъ извѣстной книги Гейнзія *Der Redner und Dichter* и переводъ очень неудачный съ прибавленіемъ авторовъ древнихъ и европейскихъ изъ Эшенбурга и съ присовокупленіемъ русскихъ, весьма недостаточныхъ. Что касается до примѣровъ, то оные или переведены изъ Гейнзія же, или заимствованы безъ разбора изъ старыхъ нашихъ риторикъ и піитикъ, а потому всѣ почти обветшалыя. Такъ, въ примѣръ ироніи приводится: *Счастливы тѣ народы, у коихъ боговъ полны огороды!* Или для показанія слога сатиры приводится сатира Антіоха Кантемира *Къ уму своему*. Даже самыя опечатки старыхъ примѣровъ не исправлены какъ слѣдуетъ».

Рукопись была возвращена автору и замѣнена *Россійской Риторикой* Кошанскаго, основанной «на нынѣшнемъ состояніи нашей словесности» [46]).

Этотъ фактъ въ высшей степени краснорѣчивъ. Онъ показываетъ, на что сошла дѣятельность Мерзлякова. Жестокому отзыву комитета соотвѣтствовало и отношеніе молодежи къ профессору.

Слава его, какъ лектора, скоро стала преданіемъ. Преподаватель будто съ самаго начала вступилъ на наклонную плоскость и безостановочно шелъ къ полному паденію. Уже въ двадцатыхъ годахъ у Мерзлякова не было благодарной аудиторіи. Импровизаціи, какъ бы онѣ иногда ни удавались, не могли скрыть страшнаго для профессора порока: Мерзляковъ не слѣдилъ за своей наукой и не вдумывался въ развитіе русской художественной литературы. Вновь возникавшія явленія заставали его врасплохъ и онъ или подвергалъ ихъ суду съ точки зрѣнія своихъ риторикъ, или обличалъ полную растерянность критической мысли.

Еще въ 1818 году онъ напалъ на баллады и на «духъ германскихъ поэтовъ» на совершенно неожиданномъ основаніи, неожиданномъ послѣ войны съ русскимъ классицизмомъ:

«Что это за духъ, который разрушаетъ всѣ правила піитики,

---

[46]) Н. Барсуковъ. *Жизнь и труды М. П. Погодина*. III, 166—7.

смѣшиваетъ вмѣстѣ всѣ роды, комедію съ трагедіей, пѣсни съ сатирой, балладу съ одой и пр. и пр.» [47]).

Мы должны помнить, эта вылазка явно направлена противъ *Жуковскаго*—основателя того самаго общества, о какомъ Мерзляковъ хранилъ восторженныя воспоминанія. Выходило, слѣдовательно, противорѣчіе даже въ *личныхъ* отношеніяхъ профессора, и не по какимъ либо причинамъ эгоистическаго характера, а во славу піитики, ради идеи. Фактъ существенной важности. Правила, будто фатумъ, тяготѣли надъ мыслью ученаго и вынуждали его на поступки, способные произвести на историка весьма двусмысленное нравственное впечатлѣніе. Тѣмъ болѣе, что выходка противъ баладъ явилась отъ *неизвѣстнаго* лица, не имѣвшаго будто никакихъ касательствъ къ бывшему члену *Дружескаго общества*.

Недоразумѣнія, все равно, какъ и ремесленическое компиляторство, могли только усилиться съ годами.

Во имя піитики были осуждены баллады, ради Горація—въ самое странное положеніе попала лирическая поэзія. Мерзляковъ вообще всю поэзію раздѣлилъ на два рода: эпическій и драматическій, а лирическую включилъ въ разрядъ эпической.

И такъ могъ разсуждать авторъ *пѣсенъ* и *романсовъ!*

Не только художественное чутье, но простое чувство *самооправданія* должно бы подсказать профессору болѣе эстетическій и уважительный взглядъ на любимый родъ поэзіи.

Послѣ этого не удивительны упражненія Мерзлякова не только въ торжественномъ одописаніи, но и въ переводахъ идиллій г-жи Дезульеръ. Профессоръ могъ впадать въ преднамѣренное піитическое «піянство» и мириться съ приторной сентиментальностью въ панье и въ красныхъ каблучкахъ.

Мерзляковъ имѣлъ несчастіе дожить до молодыхъ произведеній Пушкина. Выходили *Русланъ и Людмила, Кавказскій Плѣнникъ*, профессору надлежало бы сказать вѣское слово по этому поводу, тѣмъ болѣе, что студенты немедленно были охвачены жгучимъ интересомъ къ событію.

Учителю, оказалось, нечѣмъ было отозваться на увлеченіе молодежи. Блестящій стихъ Пушкина, неисчерпаемая роскошь и ослѣпительная яркость образовъ не могли, конечно, не тронуть *сердца* критика, столь удачно оцѣнившаго талантъ Державина.

Но это былъ безсознательный трепетъ, невольное и смутное

---

[47]) *Труды*, XI, *Письмо изъ Сибири*.

впечатлѣніе, слабый отголосокъ настроеній, подсказавшихъ профессору задушевныя ноты въ его собственныхъ пѣсняхъ.

Мерзляковъ *плакалъ*, читая *Кавказскаго Плѣнника*. «Онъ чувствовалъ,—разсказываютъ очевидцы,—что это прекрасно, но не могъ отдать себѣ отчета въ этой красотѣ и безмолвствовалъ».

Безмолвіе, конечно, въ данномъ случаѣ дѣлало профессору больше чести, чѣмъ рѣчи его товарищей по университету въ родѣ Каченовскаго и Надеждина. Но и безмолвіе при столь краснорѣчивомъ голосѣ самой жизни—явное свидѣтельство безсилія, отсталости, нравственной смерти заживо.

Мерзляковъ до конца оставался дѣятельнымъ членомъ университета и *Общества любителей россійской словесности*, но въ этой дѣятельности не было ни жизненности, ни современности, слѣдовательно, плодотворности, а главное, не было единства, послѣдовательности и строгой принципіальности.

Въ свѣтлые моменты профессоръ отряхивалъ руки отъ всякихъ піитическихъ узъ и, указывая на сердце, говорилъ слушателямъ: «Вотъ гдѣ система». И непосредственно за столь эффектнымъ жестомъ могла послѣдовать цѣлая диссертація о правилахъ, длинная ода со всѣми реторическими фигурами и въ самомъ «высокомъ штилѣ».

Естественно, Мерзляковъ еще при жизни, отъ своихъ же учениковъ, услышалъ вполнѣ справедливый судъ, чрезвычайно скромный по формѣ, но уничтожающій по существу.

Одинъ изъ представителей молодого поколѣнія задумалъ высказать нѣсколько соображеній по поводу сочиненія Мерзлякова *О началѣ и духѣ древней трагедіи*. Критикъ приступилъ къ своей задачѣ съ совершеннымъ уваженіемъ къ профессору, но уваженіе не помѣшало автору попасть не въ бровь, а въ глазъ заслуженному словеснику.

У Мерзлякова оказывались только «искры чувствъ», «разбросанныя понятія о поэзіи, часто облеченныя прелестью живописнаго слова, но не связанныя между собою, не озаренныя общимъ взглядомъ и перебитыя явными противорѣчіями».

Указывался и еще болѣе существенный недостатокъ, столь же неожиданный, какъ и сдѣлки профессора-поэта съ піитиками. Исторія происхожденія искусствъ у него «забавныя сказочки», нѣтъ представленія о «постепенности существеннаго развитія искусствъ». Это значило—нѣтъ историческаго метода, т. е. основного условія научности и вѣрности литературныхъ сужденій. А

между тѣмъ, могли же мы отмѣтить вполнѣ *историческую* оцѣнку дѣятельности Тредьяковскаго!..

Но и она пронеслась «искрой»...

Критикомъ Мерзлякова явился очень молодой, двадцатилѣтній юноша. Мы съ нимъ встрѣтимся, какъ съ однимъ изъ даровитѣйшихъ представителей философскаго поколѣнія и въ то же время питомцемъ внѣуниверситетскаго разсадника знанія и идей. Отсюда, мы видимъ, поднималась неизбѣжная война противъ оффиціальной академической науки, неспособной, очевидно, при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ стать съ вѣкомъ наравнѣ и покончить съ обветшалыми уставами своего цеха.

Мы называемъ благопріятными условіями даровитость Мерзлякова и его прирожденное стремленіе къ критически независимой, художественно-чуткой мысли.

Только въ исключительныхъ случаяхъ ученая степень и профессура могли соединиться съ поэтическимъ талантомъ, и это соединеніе не повело ни къ какимъ положительнымъ результатамъ.

Мы только-что видѣли отзывъ *критика* изъ круга современной молодежи, еще рѣзче приговоръ *поэта*, первостепеннаго художника, болѣе всего заинтересованнаго въ вопросѣ.

Пушкинъ не согласенъ признавать никакихъ заслугъ за критикой Мерзлякова, даже упадокъ славы Хераскова онъ считаетъ независящимъ отъ мерзляковскихъ лекцій. Общее мнѣніе Пушкина о профессорѣ самое отчаянное: «добрый пьяница, но ужасный невѣжда» [48]).

Послѣднее сужденіе, въ сущности, имѣлъ въ виду и критикъ, обличавшій ученаго въ забавныхъ сказочкахъ.

Но Пушкинъ распространилъ свой взглядъ и не пощадилъ вообще университета. Для него это царство «предразсудковъ и вандализма».

И у поэта есть подлинныя данныя изрекать такой приговоръ. Онъ называетъ еще одно профессорское имя съ не менѣе безпощадными эпитетами: «Каченовскій тупъ и скученъ».

Устами поэта, несомнѣнно, говорили гнѣвъ и страсть: Каченовскій досадилъ Пушкину многообразными путями, и лично, и особенно при посредствѣ своего соратника—Надеждина.

---

[48]) Письмо къ А. Бестужеву. 21 марта 1825 г. Письмо къ Плетневу 26 марта 1831 г.

Но какъ бы мы ни смягчали форму пушкинскихъ опредѣленій, смыслъ останется непоколебимъ и исторически-справедливъ. Именно въ лицѣ Каченовскаго профессорская «наука» выступала съ самымъ громоздкимъ арсеналомъ противъ жизни и поэзіи, противъ насущнѣйшихъ стремленій молодыхъ поколѣній и настоятельнѣйшихъ фактовъ новой литературы.

XXIII.

Литературная дѣятельность Каченовскаго неразрывно связана съ *Вѣстникомъ Европы*. Послѣ Карамзина журналъ этотъ сталъ университетскимъ по сотрудничеству профессоровъ и ихъ ближайшихъ учениковъ. Каченовскій, ставшій во главѣ журнала съ 1805 года, старался придать ему ученый и вполнѣ джентльмэнскій характеръ. Онъ обѣщалъ читателямъ не помѣщать пасквилей, не нападать на личности и давать только серьезный и вполнѣ литературный матеріалъ.

По части учености обѣщанія были выполнены. Редакторъ, спеціалистъ въ русской исторіи, давалъ много оригинальныхъ и переводныхъ статей историческихъ, филологическихъ и даже философскихъ.

Далеко не всѣ статьи отличались одинаковыми достоинствами. Каченовскій въ изученіи источниковъ русской исторіи проявлялъ большую критическую проницательность и отважный скептицизмъ. Гончаровъ, слушавшій его лекціи въ тридцатыхъ годахъ, такъ передаетъ свои впечатлѣнія:

«Когда онъ касался спорнаго въ исторіи вопроса, щеки его, обыкновенно блѣдныя, загорались алымъ румянцемъ и глаза блистали сквозь очки, а въ голосѣ слышался задоръ редактора *Вѣстника Европы*. Онъ мысленно видѣлъ предъ собою своихъ ученыхъ противниковъ и поражалъ ихъ стрѣлами своего неумолимаго анализа. И всю исторію такъ читалъ, точно смотрѣлъ въ нее глубоко, какъ въ бездну, сквозь свои критическіе очки».

Несомнѣнно, анализъ и скептицизмъ приносили большую пользу слушателямъ Каченовскаго. Профессоръ, между прочимъ, дерзнулъ поднять руку и на Карамзина, подвергъ строгой критикѣ предисловіе къ *Исторіи Государства Россійскаго*. Еще плодотворнѣе могъ быть ученый анализъ касательно лѣтописныхъ легендъ.

Но отвага и скептицизмъ Каченовскаго имѣли предѣлы, весьма замѣчательные для личной характеристики ученаго.

Прежде всего, Каченовскій рѣшительно не отличался нравственнымъ мужествомъ, этимъ основнымъ условіемъ мощныхъ вліяній скептицизма и критики. Когда на него напали сильные люди за отзывы о Карамзинѣ, онъ окончательно растерялся и больше не хотѣлъ и слышать о критикѣ на исторіографа. Потомъ, вообще литературную критику ученый редакторъ считалъ дѣломъ второстепеннымъ въ журналѣ и не имѣлъ ни малѣйшаго представленія о животрепещущемъ нервѣ журналистики своего времени. Наконецъ, благонамѣренность скептическаго историка доходила до умилительно-услужливой защиты благодѣтельныхъ вліяній цензуры на литературу. Защита звучала очень внушительно, такъ какъ авторъ ссылался на французскую революцію.

Въ устахъ журналиста эта рѣчь являлась довольно неожиданной, особенно при старыхъ цензурныхъ порядкахъ.

Но еще важнѣе отношеніе Каченовскаго къ современнымъ направленіямъ мысли и литературы.

Гончаровъ замѣчаетъ, что Каченовскій—скептикъ «кажется, во всемъ». Догадка довольно удачная. Ученый дѣйствительно проявилъ свой неумолимый скептицизмъ въ области искусства и философіи, но только не на счетъ прошлаго и отжившаго, а какъ разъ противъ всего новаго и свѣжаго.

Конечно, и здѣсь сомнѣніе подчасъ оказывалось цѣлесообразнымъ, и мы указывали раньше на удачную отповѣдь *Вѣстника Европы* неразумнымъ выученикамъ карамзинской чувствительности. Но чаще всего скептицизмъ Каченовскаго билъ мимо цѣли и обличалъ въ ученомъ профессорѣ изумительную ограниченность пониманія современности и удручающую притупленность художественнаго вкуса.

Никто изъ ученыхъ педантовъ не доставлялъ такихъ благодарныхъ темъ для всякаго рода издѣвательствъ, какъ редакторъ *Вѣстника Европы*. Поэты, съ Пушкинымъ во главѣ, осыпали его эпиграммами и посланіями, и нѣкоторыя выраженія этихъ эпиграммъ, въ родѣ «во тьмѣ, въ пыли, въ презрѣньѣ посѣдѣлый», невольно припоминаются по поводу многочисленныхъ вылазокъ журнала Каченовскаго въ современную словесность.

Прежде всего, любопытенъ вопросъ касательно философіи. Каченовскій и въ университетѣ, и въ литературѣ жилъ и дѣйствовалъ среди философовъ, не всегда послѣдовательныхъ и устойчивыхъ, но, во всякомъ случаѣ, тронутыхъ господствующими теченіями.

Были и равнодушные, въ родѣ Мерзлякова, не подавшаго голоса ни за, ни противъ новыхъ увлеченій. И умолчаніе въ духѣ этого профессора, покладливаго, противорѣчиваго и далеко не всегда увѣреннаго въ своихъ собственныхъ убѣжденіяхъ.

Другое дѣло Каченовскій. Онъ заговорилъ громко и авторитетно, и какъ заговорилъ!

Пушкинъ негодовалъ на «пасквилей томительную тупость» въ *Вѣстникѣ Европы*; философы имѣли всѣ основанія еще выше поднять негодующій тонъ.

Каченовскій неоднократно пытался побить камнями нѣмецкую философію и дѣлалъ это въ чрезвычайно грубой, отнюдь не научной формѣ. Мы знаемъ отзывъ о Шеллингѣ: иного наименованія, кромѣ «галиматьи», шеллингіанство въ глазахъ русскаго профессора не заслуживало.

Этого взгляда *Вѣстникъ Европы* держался неуклонно до самой своей кончины, въ 1830 году. Каченовскій, наканунѣ прощанія съ своей публикой, продолжалъ недоумѣвать: «И чего ради, смѣемъ спросить, изъ германскихъ головъ этотъ весь товаръ, состоящій изъ невразумительныхъ или затѣйливыхъ диковинокъ, желаютъ нагрузить въ головы русскія?»

Любопытно, что профессоръ ограничивался только оригинальными примѣчаніями скептическаго направленія, самыя статьи о философіи переводились съ иностранныхъ языковъ.

Легко представить, на какомъ уровнѣ стояли философскія воззрѣнія Каченовскаго, если даже Давыдовъ счелъ необходимымъ почерпнуть кое-что изъ шеллингіанства и навлекъ на себя начальственное неудовольствіе за германскую «галиматью».

Совершенно такого же достоинства и чисто литературныя идеи Каченовскаго. Онъ оставался неизмѣннымъ защитникомъ классицизма. Здѣсь, очевидно, не хватило у него ни критики, ни простой разсудительной вдумчивости. Для профессора классическая піитика пребывала сокровищницей «правилъ здраваго смысла» и «Викторъ Гугонъ» на его взглядъ былъ однимъ только и замѣчателенъ— «уклоненіемъ отъ подчиненности» этимъ правиламъ.

При такихъ условіяхъ *Вѣстникъ Европы* превратился въ пріютъ всяческаго литературнаго старовѣрія. Мерзляковъ охотно помѣщалъ здѣсь свои статьи, съ профессоромъ дѣятельно конкуррировали разные «жители Бутырской слободы», старавшіеся поражать ненавистныя новшества стилемъ болѣе легкимъ и современнымъ.

Одна изъ жертвъ—поэма Пушкина *Русланъ и Людмила*

герой—«житель Бутырской слободы», его впослѣдствіи смѣнитъ житель Патріаршихъ прудовъ и, не смотря на значительное разстояніе между этими московскими урочищами, оба критика окажутся самыми близкими сосѣдями по духу и таланту.

«Житель» громилъ Пушкина во имя «нашихъ стариковъ», между прочимъ, Сумарокова и Петрова, находилъ иронически «очаровательную дикость» въ современной поэзіи и совершенно утрачивалъ терпѣніе при одной мысли о Пушкинской поэмѣ. Критика она особенно возмущала своимъ не аристократическимъ содержаніемъ. Она—подражаніе *Еруслану Лазаревичу*!.. «Житель», сдѣлавъ нѣсколько цитатъ, обращается къ публикѣ:

«Позвольте спросить: если бы въ московское благородное собраніе какъ-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможнымъ) гость съ бородою, въ армякѣ, въ лаптяхъ, и закричалъ бы зычнымъ голосомъ: *здорово, ребята!* Неужели бы стали такимъ проказникомъ любоваться? Бога ради, позвольте мнѣ, старику, сказать публикѣ, посредствомъ вашего журнала, чтобы она каждый разъ жмурила глаза при появленіи подобныхъ странностей. Зачѣмъ допускать, чтобы такія шутки старины снова появлялись между нами! Шутка грубая, не одобряемая вкусомъ просвѣщеннымъ, отвратительна, а ни мало не смѣшна и не забавна. Dixi».

Бутырскій житель вызвалъ достойную головомойку у современныхъ же читателей. *Сынъ Отечества*, направляемый Гречемъ, высмѣялъ старческое брюзжаніе московскаго журнала и довольно искусно побилъ его его же авторитетами—древними и новыми классиками—по части свободы въ эпизодахъ и стилѣ пушкинской поэмы.

Но *Вѣстникъ Европы* твердо держался своей линіи. Бутырскій житель отвѣчалъ обширной антикритикой.

Подробности этой полемики даже въ свое время не представляли насущнаго интереса для читателей. Поэтическое произведеніе по существу играло совершенно второстепенную роль въ журнальной перепалкѣ. Споръ шелъ на архивную, только отчасти преобразованную тему—о *старомъ* и *новомъ*. И *Вѣстникъ Европы* упорно отстаивалъ преданья старины глубокой.

Но, очевидно, упорство на подобномъ пути само по себѣ преизобильно всевозможными неожиданностями и противорѣчіями. Волны ненавистной, но сильной жизни поминутно врывались въ кабинетъ ученаго и подчасъ производили здѣсь удивительный безпорядокъ.

Каченовскому съ своимъ журналомъ приходилось попадать въ

положеніе своего именитаго сотрудника—Мерзлякова. На сравнительно краткихъ промежуткахъ читатели могли узнавать вещи, трудно примиримыя и прямо невозможныя при сколько-нибудь убѣжденномъ редактированіи журнала.

Въ 1820 году уничтоженъ *Русланъ и Людмила* и, конечно, авторъ поэмы, а менѣе трехъ лѣтъ спустя *Вѣстникъ Европы* напечаталъ статью Погодина о *Кавказскомъ плѣнникѣ*—«прелестномъ цвѣтникѣ на Русскомъ Парнассѣ». Не только столь лестно именовалась новая поэма, но и о прежней говорилось, какъ о благопріятномъ предзнаменованіи для будущаго развитія пушкинскаго таланта [49]). Пушкинъ титуловался «любезный поэтъ нашъ» и ему посылались самыя сердечныя напутствія на дальнѣйшіе успѣхи.

Но даже и болѣе яркіе проблески терпимости и отзывчивости не могли бы освѣтить въ общемъ сѣрую и пыльную физіономію профессорскаго журнала. Непослѣдовательность могла только вызывать у людей заинтересованныхъ лишнюю горечь раздраженія.

XXIV.

Сотрудникомъ *Вѣстника Европы* одно время состоялъ кн. Вяземскій, какъ поэтъ и какъ критикъ. Послѣдній разъ его имя въ журналѣ встрѣчается въ 1817 году, и скоро другъ Пушкина дѣятельно начинаетъ преслѣдовать Каченовскаго посланіями и эпиграммами.

Причина разлада ясна изъ статьи князя о *Кавказскомъ плѣнникѣ*, напечатанной въ *Сынѣ Отечества* [50]).

Статья любопытна во многихъ отношеніяхъ. Собственно переходы кн. Вяземскаго изъ одного журнала въ другой не имѣютъ большого значенія для судебъ русской критики. Но разрывъ съ *Вѣстникомъ Европы* знаменовалъ появленіе новой литературной школы, точнѣе, новаго эстетическаго понятія, *романтизма*.

Это понятіе не имѣло въ русской критикѣ и малой доли того значенія, какое оставалось за нимъ на Западѣ въ теченіе всей половины XIX вѣка. Мы указывали на чисто-внѣшній характеръ романтическихъ увлеченій русской журналистики. Въ Россіи не было культурной и національной почвы для романтическаго творчества въ его подлинномъ историческо-литературномъ смыслѣ.

---

[49]) *В. Евр.* 1823, ч. 128, № 1.

[50]) *Къ портрету Жуковскаго. В. Евр.* ч. 91, № 4, стр. 246, подпись К. В.

Интересъ къ романтическому направленію поэзіи проникъ въ русскую критику одновременно съ «германическимъ духомъ», т. е. съ переводами Жуковскаго, особенно съ произведеніями Байрона. Въ то время, когда философію пересаживали на русскую почву профессора и вообще ученые, новое искусство нашло первыхъ воспріемниковъ среди поэтовъ. Это вполнѣ соотвѣтствуетъ самой сущности предметовъ, но оба теченія, философское и художественное, на родинѣ имѣли общій источникъ. Мы видѣли тѣснѣйшую связь между романтизмомъ и идеями Фихте, особенно Шеллинга. Должны были сойтись оба теченія и въ русской литературѣ. Критика, если только она желала остаться на высотѣ современнаго искусства, неминуемо становилась одновременно философской и романтической.

Новая школа ничего другого не могла означать, какъ философское преобразованіе содержанія поэзіи и романтическая переработка формы. Съ одной стороны, *идейность*, невѣдомая старой классической литературѣ, съ другой — упраздненіе школьныхъ піитическихъ жанровъ и созданіе новыхъ.

Естественно, сторонники философіи непремѣнно выступали энергическими защитниками романтизма, и наоборотъ, ненавистники «нѣмецкой галиматьи» осуждали себя на неуклонное оберегаціе обветшалыхъ святынь классическаго Парнасса.

Разрывъ кн. Вяземскаго съ Каченовскимъ впервые освѣтилъ этотъ фактъ и положилъ начало продолжительной войнѣ двухъ идейныхъ и художественныхъ міросозерцаній.

Борьба вызвала много шуму и подчасъ страстнаго азарта, но по смыслу и по результатамъ представила очень мало поучительнаго и плодотворнаго и въ критикѣ, и въ искусствѣ.

Мы знаемъ, какъ Пушкинъ разрѣшилъ вопросъ о романтизмѣ Долго и безплодно отыскивая теоретическое опредѣленіе школы, онъ по внушенію своего творческаго генія покончилъ съ поисками созданіемъ національнаго русскаго реализма. Это и было единственнымъ производительнымъ рѣшеніемъ вопроса—одинаково и для критиковъ, и для художниковъ.

Но то, чтó непосредственно давалось великому таланту и глубокому художественному чутью Пушкина, другимъ являлось въ смутной, почти недоступной дали, и авторъ *Евгенія Онѣгина* опередилъ критиковъ и публицистовъ, по крайней мѣрѣ, на пятнадцать лѣтъ своей проповѣдью будничности и реализма поэтическихъ задачъ.

Въ результатѣ послѣдовала жестокая борьба *теоретиковъ* романтизма съ величайшимъ *практикомъ* современнаго искусства. Борьба по существу выходила сплошнымъ недоразумѣніемъ, свидѣтельствовала о возрожденіи эстетическаго отвлеченнаго деспотизма только на другихъ основахъ, враждебныхъ классикамъ, но столь же нетерпимыхъ и противо-художественныхъ.

Критики романтическаго направленія образовали свою академію въ университетской наукѣ и въ печати, оградили себя формулами и правилами и будто изъ засады принялись громить современную поэзію, не стоявшую на высотѣ теоретически-выработанной *идейности смысла* и наивно-превознесенной романтической *силы творчества*.

Очевидно, романтизмъ долженъ былъ внести въ критику такой же разладъ, какой былъ созданъ философіей.

Мы видѣли, ученые философы, при лучшихъ намѣреніяхъ, не могли оказать непосредственныхъ вліяній на художественную литературу, съ самаго начала воспарили на такія недосягаемыя вершины созерцанія, что всякая дѣйствительность предъ созерцателемъ превращалась въ ничто, безслѣдно пропадала на неограниченномъ горизонтѣ его орлинаго взгляда.

То же самое произошло и съ не менѣе учеными романтиками.

Они съ высоты каѳедръ взяли столь же выспренній тонъ и поддались такому же неудержимому полету въ эфирныя высоты идеальнаго искусства, и между ихъ фантазіей и дѣйствительностью легла роковая пропасть. Они, толкуя о романтизмѣ, о вдохновеніи, о поэтической свободѣ, о творческой геніальности, являлись столь же практически-безплодными резонерами, какъ и самые отвлеченные метафизики и схоластики.

Въ результатѣ, философія и романтизмъ могли стать дѣйствительно жизненными силами только при одномъ условіи: если они окончательно освобождались отъ школьнаго педантизма и отрѣшеннаго теоретическаго священнодѣйствія, если философія переставала быть схоластической игрой въ формулы, опредѣленія и умозаключенія, а романтизмъ—новымъ виномъ для старыхъ мѣховъ, т. е. новымъ матеріаломъ для эстетическихъ рубрикъ и начальническихъ экзекуцій со стороны парнасскихъ стражей въ преобразованныхъ мундирахъ.

Это условіе вполнѣ осуществилось и въ философіи, и въ эстетикѣ. Рядомъ съ университетомъ и оффиціальными учителями философіи возникли и быстро разрослись общества свободнаго *любо-*

XXV.

Когда мы въ настоящее время читаемъ статьи Надеждина, насъ неотвязно преслѣдуетъ одно и то же впечатлѣніе: какія мучительныя усилія долженъ былъ употреблять этотъ человѣкъ, чтобы сочинять цѣлыя страницы непремѣнно сверхъестественнаго краснорѣчія! А если все это давалось автору легко, какъ мало тогда въ немъ жило чувства мѣры и настоящей красоты и правды!

Это какой-то фанатизмъ риторства, длящееся изступленіе въ погонѣ за прекраснословіемъ, нервная лихорадка при одной мысли вдругъ не проявить «стиля» и написать, какъ пишутъ и говорятъ обыкновенные люди. Это было бы посрамленіемъ достоинства ученаго и философа!

Къ чему ведетъ такая стремительность, мы отчасти знаемъ на примѣрѣ Карамзина. Краснорѣчіе можетъ не только затемнять смыслъ рѣчи, но даже извращать факты, создавать небывалое въ дѣйствительности и перетолковывать простѣйшія данныя. Мы увидимъ, какую богатую поживу въ этомъ направленіи представилъ исторіографъ своимъ критикамъ.

То же самое съ Надеждинымъ.

Возьмемъ нѣсколько примѣровъ изъ его докторской диссертаціи: они совершенно опредѣленно познакомятъ насъ съ литературной и ученой личностью критика. Идеи его мы пока оставимъ: намъ нуженъ психологическій процессъ, какимъ создавались идеи и форма, въ какой появлялись предъ публикой.

Прежде всего, важнѣйшій вопросъ объ *изящномъ* и объ осуществленіи его въ произведеніяхъ искусства. Профессоръ разсуждаетъ:

«Единое вѣчное и безпредѣльное *изящество* само по себѣ недоступно ни для какого сотвореннаго ока. Оно дозволяетъ только лобызать край ризъ своихъ благоговѣйному чувству въ явленіяхъ, образующихъ величественное царство *природы* или таинственное святилище *духа* человѣческаго».

Не менѣе краснорѣчиво изображеніе античнаго міросозерцанія.

«Въ *древнемъ* мірѣ, преизбыточествующій внутреннею полнотою духъ, проторгаясь внѣ себя, естественно долженъ былъ срѣтать безпредѣльный океанъ бытія, коего неукрощенныя волны колыхались, вздымаемыя внутреннею непостижимою силою, не вступавшею еще ни въ содружество, ни въ борьбу ни съ какимъ чуждымъ могуществомъ. Это было невѣдомое море, коего безбрежнаго

хребта не разсѣкало еще ни одно дерзновенное кормило, въ коего прозрачныхъ струяхъ не рисовался еще ни одинъ строптивый парусъ, напряженный человѣческой рукою. И чѣмъ слѣдовательно могло быть препинаемо или развлекаемо созерцаніе сего величественнаго океана вещественной жизни, коего безбрежный кристаллъ оцвѣтлялся только однимъ чистымъ отраженіемъ свѣтлой лазури небесъ, съ нимъ сливавшихся?» [52]).

Одновременно съ этой статьей въ *Вѣстникѣ Европы* появился также отрывокъ изъ диссертаціи. Книга была написана на латинскомъ языкѣ, называлась *De origine*, *natura et fatis poeseos quae romantica audit*, и для двухъ московскихъ журналовъ, авторъ перевелъ нѣсколько главъ.

Отрывокъ въ журналѣ Каченовскаго не такъ философиченъ и глубокомысленъ, какъ въ *Атенеѣ*. Профессоръ Павловъ, шеллингіанецъ, редактировалъ *Атеней* и, вѣроятно, соблазнился выспреннимъ полетомъ ученаго. Но и въ другой статьѣ Надеждинъ остается на высотѣ призванія.

Напримѣръ, онъ преподаетъ намъ такое поученіе на счетъ благоразумія и умѣренности чувствъ и настроеній:

«Гражданину *настоящаго міра* не слѣдуетъ сія неумѣренная расточительность внѣшней жизни, по силѣ коей все *классическое* бытіе рода человѣческаго было не что иное, какъ веселое пированіе въ роскошномъ лонѣ природы; но, съ другой стороны, онъ не долженъ позволять себѣ и того бурнаго кипѣнія жизни внутренней, коимъ называемый духъ *Романтическаго* міра необузданно скитался по распутіямъ мечтаній и призраковъ» [53]).

Кромѣ такихъ лирическихъ «безпорядковъ», каждая страница у Надеждина пестритъ изумительно замысловатыми выраженіями и словами: «заклеймить себѣ въ собственность», «созвать всеобщее вниманіе», «завидливое черножелчіе», «зажиточное воображеніе».

Три года спустя Надеждину пришлось говорить рѣчь въ торжественномъ собраніи университета на тему той же диссертаціи *О современномъ направленіи изящныхъ искусствъ*. Реторическій зудъ будто нѣсколько убавился или ораторъ постарался приноровиться къ аудиторіи, но и здѣсь встрѣчаются рѣдкостнѣйшіе перлы своеобразнаго витійства, всевозможныя фигуры перепол-

---

[52]) Различіе между пластическою и романтическою поэзіею, объясняемое изъ ихъ происхожденія. *Атеней*. 1830, январь, стр. 6, 9, 10.

[53]) *О настоящемъ злоупотребленіи и искаженіи романтической поэзіи*. *В. Евр.*, 1830, янв., 16.

няютъ рѣчь и намъ подчасъ становится жаль самоотверженно усердствующаго оратора. Тѣмъ болѣе жаль, что могло быть слишкомъ мало цѣнителей подобнаго усердія и среди современниковъ, и среди потомства.

Профессоръ наносилъ явный ущербъ словесности, сообщая своему стилю холодный, жеманный паѳосъ, во времена Пушкина создавая своего рода классическій этикетъ формы, до такой степени странный и даже противоестественный въ новой литературѣ, что именно риторство Надеждина особенно вредило содержанію его лекцій и статей.

Отъ этого содержанія нельзя было ожидать особенной поучительности и свѣтлыхъ взглядовъ. Вся научная подготовка Надеждина такого сорта, что для дѣйствительно поучительной и *двигающей* профессорской дѣятельности требовалась исключительная *жизненная* талантливость самой натуры,—тонкая, воспріимчивая, художественно-богатая. Ею не обладалъ профессоръ, и въ результатѣ на университетской каѳедрѣ и въ журналистикѣ явился новый дѣятель въ общемъ стараго типа, лишній тормазъ для русскаго творчества со стороны схоластики, для русской критики со стороны притязательной, нетерпимой учености.

Это не значитъ, будто у краснорѣчиваго словесника совсѣмъ не было ни одной положительно полезной мысли и онъ въ теченіе всей своей жизни не сказалъ ни единаго прочнаго слова. Нѣтъ. Такой сплошной мракъ просто исторически-немыслимъ въ философскую эпоху. Надеждинъ, какъ и всѣ, стоялъ у источника великихъ идей, и было бы странно, если бы ни одной капли живой воды не попало въ мутныя волны профессорскихъ диссертацій. Этого, конечно, не случилось, и Надеждинъ волей-неволей заимствовалъ не мало хорошихъ мыслей не у опредѣленныхъ учителей, а просто, можно сказать, изъ окружающаго воздуха.

Этимъ хорошимъ профессоръ обязанъ исключительно своему времени, все отсталое, педантически нетерпимое, всѣ недоразумѣнія и сознательная борьба съ лучшими явленіями современной литературы лежатъ на личной совѣсти ученаго.

Его талантъ журналиста только еще рѣзче подчеркнулъ его грѣхи и будто безповоротно украсилъ врата университетскаго храма науки въ философскій періодъ надписью: *Оставь надежду...*

Мы тщательно выдѣлимъ изъ трудовъ нашего ученаго все, что могло быть сохранено его младшими современниками, и въ чемъ на первый взглядъ можно видѣть его *учительство* въ литературной критикѣ.

Это учительство съ давнихъ поръ ставится на совершенно незаслуженную высоту, съ нимъ неразрывно связывается умственное развитіе и критическая дѣятельность Бѣлинскаго.

Такъ вопросъ представляется ближайшимъ современникамъ и профессора, и его ученика. Въ статьѣ одного изъ товарищей Бѣлинскаго съ полной увѣренностью высказана мысль, совершенно достаточная для увѣнчанія ума и таланта Надеждина при какихъ бы то ни было недостаткахъ.

Авторъ статьи отлично зналъ Бѣлинскаго, жилъ даже съ нимъ въ одномъ нумерѣ студенческаго общежитія, слушалъ лекціи Надеждина и могъ оцѣнить первыя статьи будущаго знаменитаго критика. Всѣ данныя, повидимому, для вполнѣ компетентнаго рѣшенія вопроса о взаимныхъ идейныхъ отношеніяхъ профессора и студента.

Но историкамъ извѣстно, до какой степени очевидцы оказываются близорукими какъ разъ для распознаванія ближайшихъ къ нимъ явленій. Безчисленное число разъ приходится вносить поправки даже въ фактическія сообщенія свидѣтелей и только въ рѣдкихъ случаяхъ полагаться на ихъ мнѣнія и приговоры.

Какъ въ мірѣ физическомъ, такъ и въ нравственномъ требуется извѣстное разстояніе между наблюдателемъ и предметомъ, чтобы отчетливо разсмотрѣть и общее, и подробности. Въ вопросахъ нравственныхъ задача усложняется, помимо излишней близости предмета, обиліемъ и напряженностью впечатлѣній и чувствъ въ ущербъ анализу и спокойствію. Въ нашемъ случаѣ товарищъ Бѣлинскаго, одинъ изъ первыхъ виновниковъ легенды объ учительскихъ вліяніяхъ Надеждина на даровитѣйшаго представителя современной молодежи, особенно легко могъ проглядѣть дѣйствительный смыслъ отношеній. Соученику и товарищу такъ естественно привлечь на благодѣянія общаго учителя—по отношенію именно къ сверстнику. А для этой цѣли неизбѣжно приподнимается и прикрашивается значеніе учителя и принижается самостоятельность и оригинальная сила ученика. Онъ—ученикъ—одинъ изъ многочисленныхъ студентовъ, но единственная впослѣдствіи критическая сила!

Какъ это могло случиться?

Вопросъ можно разрѣшить двоякимъ способомъ: прослѣдить духовную связь Бѣлинскаго съ умственными теченіями времени, остановиться внимательно на совершенномъ отчужденіи будущаго критика отъ казенной университетской науки, направить, слѣдовательно, анализъ на личные задатки критической мысли и художественнаго чувства студента-неудачника. Это одинъ путь—сложный и отвѣтственный.

Другой—несравненно проще. Онъ искони призывается на помощь всѣми простодушными психологами и историками, часто даже не вполнѣ сознательно слѣдующими младенческой логикѣ: post hoc, ergo propter hoc.

Особенно эта логика удобна именно при разрѣшеніи вопроса о всевозможныхъ вліяніяхъ. Для утвердительнаго отвѣта достаточно просто нѣсколькихъ механическихъ сопоставленій отдѣльныхъ фактовъ и мыслей. Въ нашемъ случаѣ, напримѣръ, стòитъ взять раннія статьи Бѣлинскаго, если угодно, и позднѣйшія, раскрыть одновременно *Вѣстникъ Европы* и діалоги Никодима Надоумко: часа можно не сидѣть, и набрать не мало параллельныхъ и аналогичныхъ мѣстъ.

А такъ какъ самъ же молодой авторъ ссылался на своего учителя, писалъ, кромѣ того, въ его же журналѣ,—заключеніе вполнѣ убѣдительное. Оно выражено въ слѣдующемъ приговорѣ товарища Бѣлинскаго:

«Сочувствуя вполнѣ восторженному удивленію молодого поколѣнія къ плодотворной дѣятельности Бѣлинскаго, я обязанъ сказать, однако, что онъ въ первые годы своей литературной дѣятельности былъ только сознательнымъ органомъ выраженія идей Надеждина. Какъ редакторъ журнала, Николай Ивановичъ, найдя въ Бѣлинскомъ человѣка, одареннаго эстетическимъ пониманіемъ, вполнѣ способнаго развивать его мысли и излагать ихъ въ изящной формѣ, сообщилъ молодому таланту философско-художественное направленіе для послѣдующей независимой дѣятельности».

Сужденіе въ сущности очень скромное, но оно все-таки превращаетъ Бѣлинскаго-юношу въ компилятора и въ покорнаго воспроизводителя чужихъ уроковъ.

На самомъ дѣлѣ ничего не могло быть, ни по личной натурѣ Бѣлинскаго, ни по содержанію его первой же критической статьи. Впослѣдствіи мы подробно оцѣнимъ это содержаніе и увидимъ, что Надеждину не могли даже и грезиться важнѣйшія идеи молодого критика, именно идеи, оставшіяся съ самаго начала до конца руководящими для Бѣлинскаго и безусловно не вѣдомыя ни Надеждину, ни другимъ университетскимъ словесникамъ.

А какъ легко вообще уличить людей одного и того же поколѣнія въ заимствованіяхъ и подражаніяхъ, показываетъ дальнѣйшій разсказъ того же товарища Бѣлинскаго. Въ разсказѣ на мѣсто Надеждина будто становится уже самъ разсказчикъ.

Для насъ любопытно, въ сущности, не настроеніе разсказчика,

а роль Бѣлинскаго. Она оставалась совершенно одинаковой по отношенію и къ студенту-товарищу, и къ профессору-редактору.

Бѣлинскій, исключенный изъ университета за неуспѣшность, оказался въ самомъ бѣдственномъ положеніи и ради какого бы то ни было литературнаго заработка принялся переводить романъ Поль-де-Кока.

Разсказчикъ часто навѣщалъ переводчика. «Въ одно изъ этихъ посѣщеній,—повѣствуетъ онъ,—я началъ ему читать свои созерцанія природы, въ которыхъ она разсматривалась, какъ откровеніе творческихъ идей, какъ безпредѣльная пучина зиждительныхъ силъ, вырабатывающихъ изъ вещества художественные образы, и стройными хороводами небесныхъ сферъ возвѣщающихъ гармонію вселенной».

«Не успѣлъ я прочесть нѣсколькихъ страницъ, какъ Бѣлинскій судорожно остановилъ меня:

«— Не читай, пожалуйста,—сказалъ онъ,—у меня у самого носятся въ душѣ подобныя мысли о творчествѣ природы, которымъ я не успѣлъ еще дать формы, и не хочу, чтобы кто-нибудь подумалъ, что я занялъ ихъ у другихъ и выдалъ за свои» [54]).

Авторъ разсказа потомъ нашелъ эти мысли въ *Литературныхъ мечтаніяхъ*.

Онѣ, слѣдовательно, никому не принадлежали, какъ исключительная собственность, и были именно тѣмъ богатствомъ, какое Бѣлинскій только и *могъ* заимствовать изъ лекцій Надеждина-шеллингіанца. Кромѣ нихъ, *Литературныя мечтанія* заключали нѣчто другое, не только чуждое профессорской критикѣ «учителя», но прямо уничтожавшее его авторитетъ.

Надеждинъ далъ Бѣлинскому только то, что самъ получилъ отъ германской философіи и что студентъ съ талантомъ и трудолюбіемъ Бѣлинскаго въ эпоху тридцатыхъ годовъ могъ найти во множествѣ другихъ источниковъ, несравненно болѣе свѣтлыхъ, чѣмъ статьи Надеждина.

Мы съ этими источниками познакомимся впослѣдствіи, а пока снова обратимся къ наукѣ и критикѣ профессора.

---

[54]) П. Прозоровъ. *Бѣлинскій и Московскій университетъ въ его время*. *Библіотека для Чтенія*. 1859, декабрь.

XXVI.

Надеждинъ довольно подробно разсказалъ исторію своего умственнаго развитія [55]). Но разсказъ все-таки не дастъ намъ многихъ существенныхъ моментовъ какъ разъ изъ *литературной* дѣятельности ученаго, для насъ особенно любопытной. Приходится дополнять свѣдѣнія изъ другихъ источниковъ, фактически достовѣрныхъ, но далеко не всегда идущихъ въ тонъ автобіографическому разсказу профессора.

Надеждинъ—сынъ сельскаго дьякона, воспитанникъ рязанскаго духовнаго училища, потомъ семинаріи и, наконецъ, московской академіи. Весь этотъ путь будущій профессоръ университета прошелъ съ блестящимъ успѣхомъ. Въ академіи онъ засталъ большую популярность философіи среди студентовъ и самъ увлекся предметомъ, одновременно занимался исторіей; но какая собственно философская система вызывала его исключительное сочувствіе, мы не знаемъ. По окончаніи академическаго курса слѣдовало профессорство въ рязанской семинаріи по русской и латинской словесности.

Было бы очень поучительно знать съ точностью, въ какомъ направленіи шло преподаваніе литературы у будущаго критика. Отъ него самого мы ничего не узнаемъ на этотъ счетъ, и, можетъ быть, потому, что профессору въ эпоху составленія автобіографіи было не особенно лестно вспоминать о своемъ раннемъ учительствѣ.

Дѣло происходило въ половинѣ двадцатыхъ годовъ. Шеллингіанство и романтизмъ были уже фактами русской литературы, сочиненія Пушкина вызывали всеобщій интересъ, въ высшей степени горячій, положительный или отрицательный. Даже университетская наука въ лицѣ Мерзлякова успѣла произнести осужденіе отечественному классицизму.

И вотъ въ это-то самое время рязанскіе семинаристы слышали отъ своего профессора самыя допотопныя рѣчи о поэзіи и вообще о литературѣ. Имъ образцами краснорѣчія рекомендовались отрывки изъ св. книгъ и сочиненій Ломоносова. Они предостерегались отъ увлеченій западной литературой. Тамъ, поучалъ профессоръ, господствуетъ «суетное остроуміе и дерзкое вольномысліе, прикрытое обольстительными прикрасами ложнаго краснорѣчія»

---

[55]) *Н. И. Надеждинъ.* Автобіографія съ дополненіями. П. Савельева. *Русскій Вѣстникъ.* 1856, мартъ.

Это проповѣдывалось въ 1825 году; годъ спустя Надеждинъ уволился изъ духовнаго званія для поступленія на гражданскую службу и переѣхалъ въ Москву.

Здѣсь онъ, у своего земляка, профессора медицинскаго факультета, познакомился съ Каченовскимъ, и это знакомство открыло ему одновременно и литературную, и ученую карьеру. Каченовскій явился дѣятельнѣйшимъ воспріемникомъ молодого ученаго.

Этотъ фактъ для насъ достаточно краснорѣчивъ, но желательно было бы отъ самого Надеждина услышать объясненіе рѣшительнаго переворота въ его судьбѣ.

Въ Москвѣ Надеждинъ въ теченіе пяти лѣтъ не имѣлъ никакихъ оффиціальныхъ занятій, состоялъ домашнимъ наставникомъ въ частномъ домѣ, у «большого барина». Въ домѣ была богатая библіотека, преимущественно изъ французскихъ книгъ, между прочимъ, французскій переводъ знаменитой исторіи Гиббона.

Надеждинъ набросился на чтеніе, отъ Гиббона перешелъ къ Гизо, читалъ съ увлеченіемъ, но увлеченіе не разстраивало старой закваски, столь знакомой рязанскимъ семинаристамъ.

Читателя не подкупили ни талантъ, ни идеи западныхъ историковъ. Все это ложилось ровнымъ, спокойнымъ слоемъ, и Надеждинъ былъ очень доволенъ своей уравновѣшенностью.

«Не будь положенъ во мнѣ,—говорилъ онъ,—сначала школьный фундаментъ старой классической науки, я бы потерялся въ такъ-называвшихся тогда высшихъ взглядахъ, новыхъ романтическихъ мечтаніяхъ, которыя были à l'ordre du jour. Теперь, напротивъ, эти новыя пріобрѣтенія настилались во мнѣ на прочное основаніе, и дѣло шло своимъ чередомъ».

По обыкновенію, очень удачнымъ для Надеждина.

Каченовскій, очевидно, быстро оцѣнилъ «фундаментъ» своего молодого пріятеля, и поспѣшилъ приспособить его къ своему журналу.

Приспособленіе не представляло никакихъ затрудненій, тѣмъ болѣе, что одновременно съ сотрудничествомъ должна была зайти рѣчь и объ ученомъ будущемъ «магистра священныхъ и гуманныхъ наукъ».

Въ какомъ направленіи могъ Надеждинъ принять участіе въ *Вѣстникѣ Европы*? Мы знаемъ, журналъ велъ войну противъ германской философіи и стоялъ за классицизмъ. Успѣха среди публики журналъ не имѣлъ никакого. Ему съ каждымъ годомъ грозила «смерть обыкновенная, по чину естества», какою онъ и

умеръ. Чисто младенческая растерянность и старческая немощь обнаруживались всякій разъ, когда профессору приходилось серьезно браться за перо журналиста и критика. Ученый впадалъ въ совершенно нелитературный уличный тонъ полемики, или, чувствуя даже и на этомъ поприщѣ свое безсиліе, обращался съ мольбой къ начальству на журналистовъ и цензоровъ.

Оба «качества» для насъ представляютъ большую важность. Они полностью были усвоены новымъ сотрудникомъ *Вѣстника Европы*. Надеждинъ вполнѣ послѣдовательно выполнялъ програму профессорскаго журнала, насколько вопросъ шелъ о внѣшней писательской политикѣ.

Для примѣра намъ достаточно двухъ фактовъ. Оба они касаются самаго опаснаго противника Каченовскаго, Полеваго, и оба удостовѣрены документально.

Тщетно уловляя благосклонность читателей въ теченіе многихъ лѣтъ, Каченовскій въ концѣ 1828 года, въ самый разгаръ сотрудничества Надеждина, обратился съ своего рода манифестомъ къ публикѣ.

Онъ обѣщалъ умножить свои труды по издательству журнала. «Предполагаю работать самъ», заявлялъ профессоръ, «не отказывая однакожъ и другимъ литераторамъ участвовать въ трудахъ моихъ».

Фраза—высоко-забавная для всѣхъ, кто имѣлъ представленіе о значеніи *самого* въ журналистикѣ! Ею, конечно, не замедлили воспользоваться, и *Московскій Телеграфъ* напечаталъ жестокую отповѣдь «Бенигны», т. е. самого издателя, старческой фанфаронадѣ ученаго, указывалъ на безнадежную отсталость его въ литературѣ, неисправимую приверженность къ «смѣшнымъ предразсудкамъ» и полную неспособность научиться чему-нибудь у современнаго умственнаго движенія.

Каченовскій закипѣлъ гнѣвомъ и немедленно въ примѣчаніи подъ статьею Надоумки объявилъ, что онъ не станетъ препираться съ Бенигною, а приметъ «другія мѣры ко охраненію своей личности».

И мѣры послѣдовали.

Каченовскій подалъ жалобу въ московскій цензурный комитетъ, прежде всего на цензора, Сергѣя Глинку, разсматривавшаго журналъ Полеваго.

Оскорбленный статью Бенигны считалъ оскорбительной для мѣста своего служенія, для своихъ «дипломовъ на ученыя степени», для своего званія ординарнаго профессора и свои соображенія подтверждалъ пунктами устава о цензурѣ.

Совѣтъ университета дѣятельно принялъ сторону своего сочлена и доносилъ попечителю учебнаго округа: онъ, совѣтъ, «не можетъ оставить безъ вниманія оскорбленіе, нанесенное личности издателя *Вѣстника Европы*, одного изъ достойнѣйшихъ своихъ чиновниковъ, по утвержденію высшаго начальства съ честью въ теченіе многихъ лѣтъ преподававшаго при московскомъ университетѣ: риторику, археологію, теорію изящныхъ искусствъ и нынѣ занимающаго кафедру россійской исторіи и статистики». Полевой сомнѣвался въ правахъ издателя *Вѣстника Европы* на его исключительныя литературныя притязанія.

Совѣтъ университета перечислялъ эти права: «избраніе высшаго начальства народнаго просвѣщенія въ публичные преподаватели словесности и законовъ ея въ университетѣ Московскомъ, званіе члена ученаго сословія Императорской россійской академіи, всемилостивѣйшія награжденія Государя Императора, которыхъ былъ удостоиваемъ издатель *Вѣстника Европы*, единственно по ученой службѣ своей при университетѣ по предмету словесности и исторіи россійской».

Въ заключеніе совѣтъ также ссылался на «пунктъ» и просилъ попечителя «принять начальническія мѣры для учиненія законнаго взысканія и для отвращенія на будущее время подобнаго оскорбленія личности чиновниковъ университета».

Процессъ не имѣлъ успѣха для Каченовскаго. Любопытно,— даже цензоръ Глинка, въ отвѣтъ на жалобу, высказалъ убійственный взглядъ на литературныя заслуги «чиновника университета» и академика.

Глинка предлагалъ перевести, «если только можно перевесть на какой-нибудь языкъ», статьи Каченовскаго и посмотрѣть: «что скажутъ тогда европейскіе любители словесности, привыкшіе къ соображенію мыслей съ ясностью и точностью словъ, что скажутъ они о семъ туманномъ сбродѣ рѣчей?» «Да и я долженъ прибавить», говорилъ цензоръ уже какъ критикъ, «что если бы у насъ всѣ стали такъ писать, то россійская словесность быстрыми бы шагами отступила къ тринадцатому столѣтію».

Главное управленіе цензуры оправдало Глинку [56]).

Эпизодъ превосходно характеризуетъ профессорскую атмосферу философской эпохи и показываетъ, какъ много здѣсь было простору мысли и свободному знанію.

---

[56]) Подробное изложеніе исторіи у Барсукова II, 265.

Обидчивость Каченовскаго на чужіе отзывы не мѣшала ему самому наѣздничать безъ мѣры и удержу, во вредъ чужой «чести». Статья *Вѣстника Европы* объ *Исторіи русскаго народа* Полеваго, переполнена личной бранью и оскорбленіями [57]). Такія выраженія, какъ «лохмотья отъявленной нищеты», «уродливость изувѣченнаго натурой калѣки», «шарлатанство», пестрятъ на каждой страницѣ и все заканчивается такимъ сравненіемъ *Исторіи:* «сіе море великое и пространное: тамо гады, ихъ же нѣсть числа: животныя малыя съ великими».

Статья принадлежитъ Надеждину и показываетъ, какъ основательно сотрудникъ вошелъ въ личные интересы редактора.

Легко представить, какое впечатлѣніе подобные ученые подвиги могли производить на неученыхъ! Пушкинъ на юридическое предпріятіе Каченовскаго отозвался остроумнымъ *Отрывкомъ изъ литературныхъ лѣтописей*, а въ статьяхъ объ *Исторіи* Полеваго достойно оцѣнилъ и критику Надеждина [58]).

Эпиграфомъ къ *Отрывку* стоитъ латинская фраза: *Tantae ne animis scholasticis irae*!.. Слова «схоластическія души» и «гнѣвъ» мѣтко выражали не только характеръ разсказываемаго событія и его героевъ, но и дѣятельность новаго критика *Вѣстника Европы*.

XXVII.

Пушкинъ посвящалъ эпиграммы и Каченовскому, и Надеждину; оба они представлялись поэту выходцами какого-то темнаго и на рѣдкость тупоумнаго міра, но изъ двухъ—Надеждинъ занималъ первое мѣсто въ сильныхъ чувствахъ Пушкина.

Ему пришлось лично встрѣтиться съ тѣмъ и съ другимъ, и обѣ встрѣчи разсказаны имъ самимъ. Съ Каченовскимъ у поэта завязался «дружескій» и «сладкій» разговоръ: это—иронія, но разговоръ, очевидно, дѣйствительно былъ, и Пушкинъ свою иронію не сопровождаетъ никакимъ язвительнымъ замѣчаніемъ.

Совершенно другое впечатлѣніе отъ встрѣчи съ Надеждинымъ.

«Онъ,—сообщаетъ Пушкинъ, — показался мнѣ весьма простонароднымъ, vulgar, скученъ, заносчивъ и безъ всякаго приличія.

---

57) *В. Евр.* 1830, январь, 37.

58) *Сочиненія.* Спб., 1887, V, 64; P. S. ко 2-й ст. объ Исторіи, стр. 78. Ср. у Сухомлинова. *Полемическія статьи Пушкина. Изслѣдованія и статьи по русской литературѣ и просвѣщенію.* Спб., 1889, II, 249.

Напримѣръ, онъ поднялъ платокъ, мною уроненный. Критики его были очень глупо написаны, но съ живостью, а иногда и съ краснорѣчіемъ. Въ нихъ не было мыслей, но было движеніе; шутки были плоски».

Это писалось около пяти лѣтъ спустя послѣ первыхъ статей Надеждина. Негодованіе поэта должно было улечься, тѣмъ болѣе, что статьи Надоумки не принесли ему рѣшительно никакого ущерба. И поэтъ не правъ только въ одномъ: глупостью Надеждинъ не страдалъ, и мысли у него были, хотя и не его собственныя.

Надеждинъ былъ приглашенъ въ *Вѣстникъ Европы* съ очевидной цѣлью дать генеральное сраженіе новой литературѣ и преимущественно, конечно, Пушкину, и онъ съ первой же статьи взялъ необыкновенно развязный тонъ. Это должно было сойти за живость и бойкость пера, но тяжелая схоластическая основа мысли и языка автора—всѣ его старанія быть остроумнымъ и легкимъ—превращала въ какое-то неуклюжее комическое метаніе за хлесткими словечками и головокружительно-хитросплетенными фразами.

Критикъ даже прибѣгъ къ діалогу, сочинилъ «сцену изъ литературнаго балагана», изобрѣлъ нѣкое «сонмище нигилистовъ», пересыпалъ бесѣду драматическими ремарками, латинскими восклицаніями, въ примѣчаніяхъ велъ даже переписку съ редакторомъ, вообще напрягалъ всѣ усилія сокрушить врага.

Во имя чего собственно поднимался такой шумъ, чтò отрицалъ отважный критикъ и чего желалъ?

Первая статья Надоумко появилась въ концѣ 1828 года—*Литературныя опасенія за будущій годъ*, вторая—въ началѣ слѣдующаго—*Сонмище нигилистовъ*. Она и представила публикѣ во всемъ блескѣ мысли и талантъ критика.

Нигилистами назывались новѣйшіе авторы, лишенные «идей», равнодушные къ «холодному смыслу и размышленію».

Но что значила на языкѣ критика *идея?*

Это понятіе для поэтическаго творчества дано германской философіей и романтизмомъ. Оно достаточно было превознесено первыми русскими шеллингіанцами. Не было рѣшительно никакой заслуги толковать объ *идеѣ* художественнаго произведенія, другой вопросъ—опредѣлить понятіе и примѣнить его къ фактамъ.

Надеждинъ уклонился отъ положительной задачи и предпочелъ болѣе легкую—отрицаніе и высмѣиваніе всего, что, по его мнѣнію лишено было идеи. Но отрицаніе—чисто словесное, бездоказатель-

ное уже въ силу того, что не былъ установленъ самый *принципъ* отрицанія и какого бы ни было приговора.

Критикъ нашелъ *благодарный* матеріалъ для своихъ упражненій въ поэмахъ Пушкина, по очень простой причинѣ. Здѣсь на сценѣ самыя простыя вещи, реальныя и даже будничныя. Ничего выспренняго, нарочито-философическаго, сколько-нибудь подходящаго подъ схоластическій масштабъ *изящнаго* и *идеальнаго*.

Въ результатѣ, поэзія Пушкина *ничто*, *нуль*, тѣмъ болѣе, что можно даже скаламбурить по случаю одной изъ поэмъ.

«Литературный хаосъ, осѣменяемый мрачною философіею *ничтожества*, разражается *Нулиными!* Неужели бѣдной нашей литературѣ вѣчно мыкаться въ мрачной преисподней губительнаго *нигилизма?*»

Фамилія пушкинскаго героя оказалась неистощимымъ мотивомъ для остротъ и каламбуровъ. Вся статья о поэмѣ въ сущности и состоитъ изъ этихъ упражненій, чередующихся съ французскими, латинскими, итальянскими восклицаніями, съ воспоминаніями объ «Іонійской философической школѣ», о «глубокомысленномъ Кантѣ», о «великомъ Галлерѣ».

Съ поэмой критику рѣшительно нечего дѣлать. «Что тутъ анатомировать?» спрашиваетъ онъ.

«Мыльный пузырь, блистающій столь прелестно всѣми радужными цвѣтами, разлетается въ прахъ отъ малѣйшаго дуновенія... Чтó же тогда останется?.. Тотъ же *нуль*, но въ добавокъ... безцвѣтный! А эта *цвѣтность* составляетъ все оптическое бытіе его!.. Скажемъ посему только pro forma: *Графъ Нулинъ проглотилъ пощечину Натальи Павловны*; геній поэта переварилъ ее съ творческимъ одушевленіемъ и... разрѣшился *Нулинымъ*. C'est le mot de l'énigme».

У критика есть оригинальные термины—*нигилистическое изящество*, *пародіальный геній*, *арлекинское величіе*, наконецъ, *прыщики на лицѣ вдовствующей нашей литературы*: все это для характеристики таланта и произведеній Пушкина.

Надеждину особенно ненавистно пристрастіе поэта къ слишкомъ простымъ мотивамъ и жанровымъ картинамъ. На его языкѣ «мастеръ фламандской школы» — презрительнѣйшая брань. Пушкинъ «не переросъ скудной мѣры человѣчества» и «душа его даже слишкомъ дружна съ земною жизнью».

Въ статьѣ о *Полтавѣ* критикъ безпощаденъ къ *усамъ* Мазепы, къ «бурлацкому» окрику Карла XII: это каррикатура, «Енеида

наизнанку». Если Петръ Великій царь—онъ не можетъ «держать Мазепу за усы», и ужъ, конечно, объ этомъ писать неприлично!

Эти замѣчанія вводятъ насъ отчасти въ эстетическія тайны критика, намъ давно извѣстныя, еще по *Наукѣ* Галича. Все тѣ же выспреннія возглашенія о невиданной землей красотѣ, о недосягаемыхъ идеалахъ.

Изящныя искусства «должны быть отглашеніями вѣчной гармоніи». Геній это—«творческій зиждительный *духъ*, воззывающій изъ нѣдръ своихъ собственныя, самородныя и самообразныя изящныя формы, для воплощенія вѣчныхъ идей, созерцаемыхъ имъ во всей небесной ихъ лѣпотѣ»...

Такова философія критика! На меньшемъ онъ не помирится. Все, что не «небесная лѣпота» и не «вѣчная гармонія»—все это «оскорбляетъ человѣческую природу».

Онъ и Байрона допускаетъ не потому, что англійскій поэтъ воспроизвелъ извѣстныя культурныя черты своего времени, создалъ рядъ общечеловѣческихъ образовъ, а потому, что у него все необыкновенно, все, по представленію критика, исполински-велико.

«*Байроновы* поэмы суть опустѣвшія кладбища, на которыхъ плотоядные коршуны отбиваютъ съ остервенѣніемъ у шипящихъ змѣй полуистлѣвшіе черепы. Его міръ есть адъ: и какое исполинское величіе потребно для Полуфема, избравшаго себѣ жилищемъ сію безпредѣльную бездну?..»

Такой полетъ не препятствуетъ критику соперничать съ кѣмъ угодно, не только съ Пушкинымъ, и въ «арлекинскомъ величіи». Это соперничество, при зудящей страсти Надеждина быть оригинальнымъ и остроумнымъ, ставитъ его безпрестанно въ самыя комическія положенія, менѣе всего соотвѣтствующія «небесной лѣпотѣ».

Напримѣръ, критикъ желаетъ въ конецъ доконать поэта и изображаетъ ужасы, къ какимъ можетъ привести реализмъ, «вѣрные снимки съ натуры».

«Да съ какой натуры!»—восклицаетъ эстетикъ.—«Вотъ тутъ-то и заковычка!. Мало ли въ натурѣ есть вещей, которыя совсѣмъ нейдутъ для показу?.. Дай себѣ волю... пожалуй, залетишь и Богъ вѣсть куда!—отъ спальни недалеко до дѣвичьей, отъ дѣвичьей до передней, отъ передней до сѣней; отъ сѣней дальше и дальше!.. Мало ли есть мѣстъ и предметовъ еще болѣе *вдохновительныхъ*»..

Потомъ критикъ цитируетъ стихи, гдѣ описывается, что лакей принесъ на ночь Нулину:

Сигару, бронзовый свѣтильникъ,
Щипцы съ пружиною, *будильникъ*.

Критикъ снова пускается въ догадки: «Кто не чувствуетъ, что послѣднее слово есть вставка, замѣнившая другое равно созвучное, но болѣе идущее къ дѣлу слово, принесенное поэтомъ съ истинно героическимъ самоотверженіемъ въ жертву туранскому приличію?..»

Естественно, Пушкинъ находилъ шутки своего критика плоскими и даже его статьи глупыми. Не лучшаго мнѣнія были о нихъ и современные журналисты. *Сынъ Отечества* остроумно воспользовался образцами надеждинскаго остроумія, напечатавъ замѣтку *О чутьѣ критика Имярека, живущаго на Патріаршихъ Прудахъ*, съ эпиграфомъ *Similis simili gaudet—подобный подобнымъ и любуется*, и безъ большихъ усилій пришелъ къ сравненію критика съ героиней крыловской басни.

Попадалъ Надоумко въ просакъ и въ другихъ случаяхъ, помимо остроумія. Напримѣръ, клеймя растлѣвающее вліяніе *Нулина* на молодыхъ дѣвицъ, онъ сообщалъ о себѣ: «Завалившись недавно еще за двадцать три года».

Эта метрическая справка и удивительное словечко «завалившись» стóили Надеждину эпиграммы Пушкина и злой замѣтки въ томъ же *Сынѣ Отечества*.

Взглядъ на творчество Пушкина, какъ на «галантерейную литературу» и «пародію», Надеждинъ сохранитъ до конца. Единственное исключеніе будетъ сдѣлано только для *Бориса Годунова*. И произойдетъ это совершенно неожиданно.

По поводу VII-й главы *Евгенія Онѣгина* Надеждинъ повторялъ прежнія шутки и насмѣшки надъ притязаніями Пушкина быть серьезнымъ поэтомъ, совѣтовалъ ему «*разбайрониться* добровольно и добросовѣстно», не признавалъ за нимъ таланта «изображать природу поэтически съ лицевой ея стороны, подъ прямымъ угломъ зрѣнія: онъ можетъ только мастерски выворачивать её наизнанку». Слава Пушкина нé болѣе, какъ «молва, скитающаяся по гостинымъ и будуарамъ на крыльяхъ журнальныхъ листковъ, вмѣстѣ съ модами и извѣстіями о *Лебедянскихъ скачкахъ*»...

Стиль и этой статьи ничѣмъ не уступалъ красотамъ прежнихъ «сценъ». Говорилось о «стереотипныхъ пропорціяхъ», «о педантической чиновности и аккуратности природы», въ противоположность «рѣзвому скаканію разгульной фантазіи» Пушкина.

Наконецъ, критикъ давалъ рѣшительный совѣтъ «сжечь *Годунова*!»—произведеніе, очевидно, окончательно негодное.

Статья напечатана въ *Вѣстникѣ Европы*. Одновременно выходила въ свѣтъ диссертація автора, наступала смерть журналу Каченовскаго и его питомецъ вступалъ въ составъ профессоровъ московскаго университета.

Почти годъ спустя Надеждину пришлось отпѣвать журналъ, пріютившій его первыя критическія дѣтища.

Отпѣваніе не лишено извѣстнаго интереса для характеристики автора. Надеждинъ, между прочимъ, говорилъ о почившемъ *Вѣстникѣ:*

«Онъ начался нѣжными вздохами отроческой чувствительности, провелъ мужество въ шумныхъ бояхъ и окончился старческими суровыми роптаніями. Вѣтреная молодежь не была почтительна къ его преклоннымъ лѣтамъ: она издѣвалась надъ его сѣдинами и ругалась сѣтованіями. Старецъ долго сохранялъ презрительное хладнокровіе; но при дверяхъ гроба собрался съ послѣдними остатками угасающихъ силъ, ополчился на рать супостатовъ и грянулъ грозно. Вѣроятно, сіе чрезмѣрное напряженіе порвало послѣднія нити, коими онъ привязывался къ жизни, и *Вѣстникъ Европы* преставился».

Нельзя, конечно, увидѣть особенной почтительности къ «старцу» въ этой отходной, и что̀ еще любопытнѣе, это—иронія надъ старческими роптаніями и предсмертнымъ напряженіемъ.

Мы знаемъ, кому *Вѣстникъ* обязанъ своей безпокойной агоніей. Воинственный критикъ изъ молодежи, пытавшійся электризовать трупъ, говорилъ надъ нимъ послѣднее слово уже въ собственномъ изданіи. Не бо̀льшимъ уваженіемъ напутствовался здѣсь же и другой профессорскій журналъ *Атеней*, недавно еще напечатавшій отрывокъ изъ диссертаціи Надеждина.

Атеней издавался профессоромъ Павловымъ. Съ нимъ мы встрѣтимся, какъ съ главнѣйшимъ насадителемъ шеллингіанства въ Москвѣ. Но философія не помѣшала редактору ополчиться на Пушкина и извести публику совершенно непреодолимой ученостью.

О немъ ходила эпиграмма:

Журналъ казенный, философскій,
Благонамѣренный московскій...

Теперь Надеждинъ припоминалъ эту шутку и говорилъ о покойникѣ: «Онъ надѣялся подольститься къ публикѣ ученостью—и перепугалъ ее». Но зато *Атеней* сохранилъ «невинную репутацію» и, по словамъ автора, «только при чтеніи его одного позволялось обходиться *безъ перчатокъ*».

Органъ Каченовскаго, очевидно, требовалъ перчатокъ.

Все это излагалъ публикѣ новый издатель, съ 1831 года, журнала *Телескопъ* и приложенія къ нему—*Молвы*, еженедѣльной газеты. Въ ея программѣ первое, даже исключительное мѣсто, занимали: «моды», «картинки», «модные экипажи и мебели», «модные обычаи и изобрѣтенія», «модныя издѣлія» и, наконецъ. «острыя слова и забавные анекдоты».

Очевидно, профессоръ желалъ уловлять благосклонность публики и не скупился на *пріятное*.

Теперь онъ состоялъ ординарнымъ профессоромъ теоріи изящныхъ искусствъ и археологіи. Совершилось это благодаря диссертаціи *О такъ-называемой романтической поэзіи*. Она—послѣднее слово эстетической философіи ученаго и вмѣстѣ съ критикой *Телескопа* должна считаться вѣнцомъ его литературной дѣятельности.

XXVIII.

Сочиненіе Надеждина прошло въ факультетѣ не безъ затрудненій. Мы уже говорили, въ какое смущеніе пришли нѣкоторые профессора отъ шеллингіанскихъ тенденцій автора. Но были и другія, болѣе существенныя замѣчанія, прямо касавшіяся литературнаго таланта и умственныхъ способностей будущаго профессора.

Ученые критики въ своемъ докладѣ писали:

«При взглядѣ на планъ диссертаціи г. Надеждина должно сказать, что онъ изложенъ языкомъ запутаннымъ и загадочнымъ, въ чемъ, повидимому, сочинитель полагалъ главное достоинство сочиненія, почему цѣлаго—полноты, надлежащей связи и отношенія между частями, даже при самомъ величайшемъ напряженіи ума, отъ излишней метафизической тонкости выраженій, однимъ взглядомъ обозрѣть весьма затруднительно» [59]).

Если такое впечатлѣніе книга производила на спеціалистовъ, если они не могли допустить выраженій въ родѣ *людскость*, *работная матерія*, на какія же завоеванія могла разсчитывать диссертація въ большой публикѣ?

Надеждинъ взялъ въ полномъ смыслѣ жгучій вопросъ. Еще въ статьяхъ *Вѣстника Европы* онъ неоднократно проявлялъ страсть и гнѣвъ противъ новаго направленія.

---

[59]) Н. Поповъ. *Н. И. Надеждинъ на службѣ въ Московскомъ университетѣ. Журналъ Мин. Нар. Просв.* 1880, часть CCVII, стр. 12.

Въ автобіографіи онъ разсказываетъ, что его негодованіе было возбуждено особенно непочтительностью романтиковъ къ «почтеннымъ старикамъ», т. е. къ русскимъ классикамъ, и онъ «сталъ въ душѣ за классицизмъ».

Читатели, дѣйствительно, услышали о «гробницѣ романтическаго суесловія», о «великомъ Ломоносовѣ». Но это отнюдь не значило, будто у критика было вполнѣ опредѣленное художественное міросозерцаніе. Руководящую идею отыскать въ статьяхъ не менѣе трудная задача, чѣмъ и въ диссертаціи, по мнѣнію московскихъ профессоровъ.

Теперь явилась цѣлая книга о романтизмѣ.

Гораздо раньше ея въ журналѣ Измайлова *Благонамѣренный* была напечатана статья *О романтикахъ и о Черной рѣчкѣ*, нападавшая на *самозванцевъ* романтизма: они пишутъ «всякія нелѣпости», ссылаясь на «романтическій вкусъ». Въ ихъ произведеніяхъ нѣтъ «ни глубокихъ чувствъ, ни прелестей мечтательности, составляющихъ существенность поэзіи романтической» [60]).

Очевидно, критика очень скоро и въ сентиментализмѣ, и въ романтизмѣ распознала уродливыя и комическія увлеченія: для этого не требовалось особеннаго художественнаго чутья, а простой здравый смыслъ. На него именно и ссылались критики шаликовской чувствительности и романтической чертовщины.

Если Надеждинъ имѣлъ въ виду ту же цѣль—сразить псевдоромантиковъ, передъ нимъ и рядомъ съ нимъ оказывалось сколько угодно сочувственниковъ, даже болѣе полезныхъ для просвѣщенія публики, чѣмъ онъ съ своимъ краснорѣчіемъ и ученостью.

Повидимому, авторъ диссертаціи вступилъ именно на этотъ благодарнѣйшій путь.

Книга переполнена энергичнѣйшими воплями противъ «необузданнаго скаканія *Поэзіи Романтической*», «изгаринъ и поддонковъ *Романтическаго* духа», противъ «чернокнижія», «адскихъ зраковъ», вообще «*Лже-Романтическихъ* изгребій», и къ «поэтическимъ мятежникамъ нашихъ временъ» обращается такая рѣчь:

«Пусть предстанетъ даже на судъ сама *Романтическая Поэзія*: она обличитъ и сомнетъ похитительницу, украшающуюся теперь ея именемъ».

Изъ подобныхъ декламацій состоитъ весь отрывокъ, напечатанный въ *Вѣстникѣ Европы*.

---

[60]) Ср. Колюпановъ I, 538.

Въ *Атенеѣ* изъясняется происхожденіе романтической поэзіи и ея отличіе отъ классической: всѣ изъясненія извѣстны изъ книги Сталь и многочисленныхъ статей и трактатовъ о романтизмѣ на всѣхъ языкахъ. Только врядъ ли кто могъ формой до такой степени затемнить совершенно ясную мысль, какъ этого достигъ русскій ученый.

До сихъ поръ, слѣдовательно, ничего оригинальнаго, и позже, когда мы познакомимся съ критикой молодыхъ шеллингіанцевъ, членовъ кружковъ, идеи Надеждина утратятъ всякое право на новизну и смѣлость. Профессоръ ни на шагъ не опережалъ студентовъ, во многихъ отношеніяхъ даже отставалъ. Мы убѣдимся въ этомъ изъ простого хронологическаго сопоставленія фактовъ. Въ сущности, нападки на «буйность и кровожадность» лже-романтизма въ началѣ тридцатыхъ годовъ являлись запоздалыми: для критики и искусства это былъ вполнѣ «завоеванный пунктъ» и профессоръ велъ войну съ призраками.

Но оставался еще одинъ вопросъ, самый существенный: программа будущаго развитія литературы.

Попробуйте извлечь ее изъ разсужденій Надеждина.

Вы можете набрать сколько угодно доказательствъ, что онъ *не сочувствуетъ* классицизму. «Кумирная неподвижность *классической поэзіи*», «распукленные *Агамемноны*», «рабское ярмо французскаго вкуса, возлагаемое на поэзію, во имя *Аристотеля* и *Буало*, насилуетъ ея истинное достоинство и посему отнюдь не можетъ и не должно быть терпимо».

Это проповѣдывалъ съ большимъ краснорѣчіемъ еще Мерзляковъ почти за двадцать лѣтъ до диссертаціи, даже больше. Авторъ диссертаціи все-таки увѣнчиваетъ Ломоносова-поэта: онъ «не только былъ истинный поэтъ, но еще по превосходству поэтъ *русскій*, въ коемъ сей великій народъ пробудился къ полному поэтическому сознанію самого себя». Мерзляковъ думалъ о поэтическомъ талантѣ великаго ученаго такъ, какъ впослѣдствіи стала думать вся русская критика.

И такъ, классицизмъ упраздненъ?

Не совсѣмъ. Авторъ диссертаціи готовъ предпочесть «работное подражаніе *классицизму*», «быть снисходительнѣе къ *нео-классическому* педантизму», выбрать скорѣе «*французскій* вкусъ», чѣмъ,—вы думаете,—психопатовъ романтизма? Да,—если это Вольтеръ, Байронъ, Шиллеръ, Гёте, Пушкинъ.

Именно въ примѣръ «лже-романтическаго неистовства» приво-

дится поэзія Байрона, а Вольтеръ попадаетъ рядомъ съ нимъ собственно въ качествѣ «кощуна». Они оба «отсвѣчиваютъ мрачное пламя одной и той же есѳетической преисподней». На Байрона сыплются невѣроятные громы: онъ «язва природы, ужасъ человѣчества, ненавидящій землю, отверженный небомъ», «справедливо величается отъ своихъ соотечественниковъ именемъ *сатанинскаго*».

Шиллеръ и Гёте—только за отдѣльные пороки, въ родѣ *Чернаго рыцаря* въ *Орлеанской Дѣвѣ* и чертей и вѣдьмъ въ *Фаустѣ*,—унижаются предъ «нео-классическимъ педантизмомъ», но зато Пушкинъ не находитъ пощады! По мнѣнію, критика гораздо охотнѣе можно согласиться перелистать подчасъ *Хорева* и *Димитрія Самозванца* Сумарокова, даже *Рослава* Княжнина, по крайней мѣрѣ отъ безсонницы, чѣмъ губить время и труды на безпутное скитаніе по *цыганскимъ* таборамъ или *разбойническимъ* вертепамъ. Такъ, «если нечѣмъ полюбоваться, не съ чего и стошниться».

Очевидно, представленія критика какія-то массовыя, не уясненныя и не разчлененныя. Онъ будто поддается гипнозу страшныхъ словъ *сатана*, *цыганъ*, *разбойникъ*, *адъ*, *Каинъ*, не отдаетъ отчета ни въ общемъ смыслѣ, ни въ подробностяхъ ужасающихъ его явленій.

Причислить Пушкина къ «мятежникамъ«, тиранящимъ «терпѣніе здравомыслія» и «на алтарь чистыхъ дѣвъ извергающимъ скверныя уметы руками неомовенными», значило даже для 1830 г. писать величайшія «нелѣпыя бредни», стóившія самаго нездравомыслящаго романтизма. Не было никакой надежды изъ подобнаго источника дождаться дѣйствительно поучительныхъ мыслей, лично авторомъ продуманныхъ и доказанныхъ.

Было бы, конечно, совершенно неосновательно становиться на современную намъ почву литературной критики и поражать стараго эстетика новѣйшимъ усовершенствованнымъ оружіемъ. Мы призываемъ Надеждина отнюдь не на экстренный судъ истины, какъ она намъ представляется въ настоящее время. Мы желаемъ остаться въ точно опредѣленныхъ предѣлахъ извѣстной эпохи и судить *сравнительно* и *относительно*, принимая за высшую мѣру современниковъ самого критика.

И вотъ на этотъ-то безусловно законный и справедливый масштабъ Надеждинъ въ общемъ *ниже* своего поколѣнія. Нѣкоторыя идеи онъ довольно прочно усвоилъ отъ своихъ старшихъ современниковъ, хотя и не вполнѣ послѣдовательно. Но это какъ разъ

идеи-труизмы, нисколько не стоющія такой напряженной широковѣщательной риторики. Другія, несравненно болѣе жизненныя и по времени спорныя, но явно прогрессивныя и для будущаго литературы властныя, не удостоились ни признанія, ни даже должнаго вниманія со стороны профессора.

Любопытно,—даже самые простые и наглядные выводы современной общественной мысли принимали у Надеждина менѣе всего научный и культурный характеръ. Напримѣръ, единственный вопросъ великаго значенія, затронутый диссертаціей о народности и національности. Мы увидимъ, съ какой тщательностью онъ разъяснялся теоретически и съ какой стремительностью прилагался къ жизни молодыми философами, все тѣми же членами обществъ и кружковъ. Мы убѣдимся, на какомъ широкомъ историческомъ и философскомъ основаніи воздвигался юными писателями идеалъ народнаго творчества и національной мысли. У Надеждина все сводится къ чувству патріотизма, весьма недалекому отъ карамзинской любви къ отечеству и народной гордости.

Предшественникомъ Надеждина въ этомъ направленіи былъ извѣстный намъ неудавшійся словесникъ-шеллингіанецъ Давыдовъ. На лекціяхъ этотъ профессоръ изумлялъ слушателей громкимъ, *сановитымъ*, но совершенно не вразумительнымъ краснорѣчіемъ, умѣлъ сливать вмѣстѣ Цицерона, Квинтиліана и Гегеля, всю жизнь удовлетворяясь работой компилятора и положеніемъ академическаго метафизика. На философію взглядъ у него выработался вполнѣ соотвѣтствующій подобному житію.

Ея основы «святая вѣра наша, мудрые законы изъ исторической жизни нашей, развившіеся въ органическую систему, прекрасный языкъ, представляющій удивительную логику народа въ запечатлѣніи природы своею личностью, дивная исторія славы нашей».

Всѣ эти данныя сами по себѣ полны психологическаго и культурнаго значенія, но у профессора вдохновленная ими «философія» превращалась въ самодовольную благонамѣренную ретошику, отрѣшенную и отъ психологіи, и отъ исторіи, и вообще отъ фактовъ. А если и призывались они на сцену,—исключительно съ тѣми же патріотическими и назидательными цѣлями.

Надеждинъ—превосходный примѣръ.

Въ одной изъ статей *Вѣстника Европы* у него встрѣчается дѣльное замѣчаніе о *народности*. Она «не состоитъ въ искусствѣ накидывать русскія пословицы и поговорки гдѣ ни попало... Чтобы

быть *народнымъ*, надобно уловить *духъ* народный, а онъ не продается, подобно газамъ, въ бутылкахъ»[61]).

Это написано въ 1829 году, когда вопросъ о *народности* и *національности* волновалъ и ученыхъ, и молодежь. У Надеждина онъ такъ и остался мимолетнымъ.

Въ дисертаціи много говорится о «патріотическомъ енеуасіасмѣ». Онъ признается «родовымъ непреложнымъ наслѣдіемъ русской поэзіи», и весь національный характеръ русскихъ сводится къ патріотизму. Будто критикъ какой угодно національности не могъ бы того же самаго доказать о своемъ народѣ!

Но Надеждинъ нагромождаетъ цѣлыя горы на своемъ открытіи, и принимается бичевать русскихъ поэтовъ, почему они не воспѣли побѣды русскихъ надъ турками! «Неужели въ груди ихъ не бьется сердце русское?.. Увы! они сдѣлались романтиками и ничѣмъ не захотятъ быть болѣе!»

Такъ ученый понималъ *національное* содержаніе поэзіи!

Время нисколько не измѣнило этого взгляда, даже упрочило и до послѣдней степени съузило. Три года спустя въ университетской рѣчи профессоръ рисовалъ безнадежное положеніе европейскихъ народовъ и быстрый прогрессъ русскаго, долженствующаго во всемъ опередить Западъ. Европейцы «изнурены вѣковой дряхлостью, согбены подъ тяжестью вѣковыхъ предразсудковъ, терзаемы болѣзненными конвульсіями возрожденія» и вообще близки къ вымиранію...

Невольно въ этомъ торжественномъ похоронномъ маршѣ слышались давнишнія рѣчи преподавателя словесности, предостерегавшаго рязанскихъ семинаристовъ отъ соблазновъ западной литературы.

Такую же своеобразную форму приняла у Надеждина и другая популярная идея,—правда, очень сложная по своему происхожденію, но представлявшая тѣмъ болѣе интереса для ученаго изслѣдователя.

Русскимъ молодымъ философамъ, искавшимъ прочныхъ культурныхъ основъ для національнаго творчества, естественно представился старый *исходный* моментъ всякаго художественнаго возрожденія — возвратъ къ классическому міру и къ классическому искусству. Россіи слѣдуетъ сбросить съ себя чужія вліянія, подавляющія ея самобытный геній, обратиться къ первоисточнику

---

[61]) Въ ст. о *Полтавѣ*. *В. Евр.* 1829, № 8.

европейской цивилизаціи и выработать самостоятельно содержаніе и форму искусства. Отсюда—классическія тенденціи русскихъ шеллингіанцевъ, не во имя самого классицизма, а ради освобожденія русскаго умственнаго развитія отъ рабства предъ современной европейской и особенно французской образованностью и литературой [62]).

Съ неменьшимъ усердіемъ ратуетъ за классицизмъ и Надеждинъ, но у него классическая идея просто метательный снарядъ для борьбы съ ненавистнымъ романтизмомъ, и авторъ, ослѣпленный цѣлью, впадаетъ въ безвыходныя противорѣчія съ самимъ собой.

Ему требуется противоставить античный, языческій міръ новому и христіанскому, и онъ не стѣсняется въ изображеніи эпикурейства и эгоизма классическаго человѣка: «неумѣренная расточительность внѣшней жизни», «веселое пированіе на роскошномъ лонѣ природы», античный патріотизмъ—«чисто матеріальное побужденіе», оно «не возвышалось никогда за предѣлы вещественной природы», ему было невѣдомо «познаніе внутренняго всеобщаго достоинства человѣческой природы»...

Чему же новый человѣкъ можетъ научиться отъ подобнаго міросозерцанія, т. е. отъ *содержанія* античной литературы?

Оказывается, всѣмъ добродѣтелямъ.

По мнѣнію ученаго, «древняя классическая поэзія съ самаго нѣжнѣйшаго дѣтства была наставницею добродѣтели и установительницею благочинія». Даже больше. «Вездѣ и всегда изученіе *классической* древности поставлялось во главу угла умственнаго и нравственнаго образованія юношества, какъ первоначальная стихія развиваемой духовной жизни».

Авторъ забылъ, что эпоха самаго восторженнаго культа классической древности—возрожденіе—отличалась чѣмъ угодно, только не нравственностью и не благочиніемъ.

Выводъ Надеждина изъ всѣхъ разсужденій не трудно предугадать. Ему во многихъ отношеніяхъ дорогъ классицизмъ, не можетъ онъ отвергнуть и романтизма, воплощающаго духовную природу человѣка, очевидно, надо «возвести ихъ къ дружественному гармоническому единству». Такъ предписываетъ диссертація.

Въ университетской рѣчи та же мысль нѣсколько опредѣлен

---

[62]) Веневитиновъ въ статьѣ *Нѣсколько мыслей въ планъ журнала.* Кирѣевскій. *Девятнадцатый вѣкъ.* Сочиненія I, 78.

ніе: «соединить идеальное одушевленіе среднихъ временъ съ изящнымъ благообразіемъ классической древности, уравновѣсить душу съ тѣломъ, идеи съ формами, просвѣтить мрачную глубину Шекспира лучезарнымъ изяществомъ Гомера».

Задача—логическая, по существу съ незапамятныхъ временъ сознанная даже классическимъ міромъ въ принципѣ гармоническаго развитія нравственныхъ и физическихъ силъ. Поставить ее для профессора не требовалось никакихъ нарочитыхъ усилій мысли. Другое дѣло—указать пути осуществленія, отмѣтить данныя въ современномъ развитіи искусства, обѣщающія достиженіе великой цѣли, а прежде всего точно и ясно опредѣлить понятія «изящнаго благообразія» и «внутреннее могущество духа», т. е. истинно-художественныя *формы* искусства и его дѣйствительно-идейное *содержаніе*.

Безъ этого опредѣленія ученому всегда можетъ представиться искушеніе напасть, подобно Мерзлякову, на поэтическое произведеніе въ родѣ баллады только потому, что оно не вкладывается въ «освященныя древностью» рамки, или, подобно самому Надеждину, произнести смертный приговоръ современному роману, напримѣръ, *Евгенію Онѣгину*—во имя «небесной лѣпоты» и «вѣчной идеи».

Надеждинъ, повидимому, понялъ задачу, и постарался ее выполнить въ своемъ журналѣ *Телескопъ* и въ той же рѣчи. Эти старанія—вѣнецъ критическаго таланта профессора и собственно по нимъ можно судить, на сколько могло быть плодотворно и глубоко его вліяніе на младшихъ современниковъ.

XXIX.

Мы знаемъ желаніе Надеждина видѣть *Годунова* сожженнымъ; оно высказано въ 1830 году въ *Вѣстникѣ Европы*, годомъ раньше по поводу *Полтавы* грозно защищались «освященныя древностью и оправданныя вѣковыми опытами правила, составлявшія доселѣ коренное уложеніе критическаго судопроизводства», и вотъ въ только-что народившемся *Телескопѣ* является статья о *Борисѣ Годуновѣ*.

Предъ нами тоже діалогъ старыхъ знакомыхъ, самого автора и его пріятеля Тлѣнскаго. Но роли сильно измѣнились: Тлѣнскій принужденъ энергично укорять автора за отступничество отъ прежняго «образа мыслей». Раньше Надеждинъ считалъ Пушкина

способнымъ только на каррикатуры, теперь онъ, тотъ же поэтъ,— авторъ оригинальнаго драматическаго произведенія, вполнѣ серьезнаго и полнаго достоинствъ. Они не тускнѣютъ даже отъ невозможности подвести пьесу подъ какой-либо традиціонный титулъ: драмы, трагедіи, комедіи, и критикъ настолько безпристрастенъ и даже *чутокъ*, что довольно проницательно объясняетъ равнодушіе публики къ новому созданію Пушкина.

Публика «привыкла отъ него ожидать или смѣха, или дикости, оправленной въ прекрасные стишки, которые можно написать въ альбомъ, или положить на ноты. Ему вздумалось теперь перемѣнить тонъ и сдѣлаться постепеннѣе: такъ и перестали узнавать его!... Онъ теперь гудитъ, а не щебечетъ».

Авторъ не ожидалъ этого, и ему самому «странно такое превращеніе». Въ дѣйствительности, конечно, не столь значительно превращеніе «щебетанія», сколько «странность» авторскаго слуха. Раньше ухо критика упорно слышало одинъ фарсъ, даже во всемъ *Онѣгинѣ*, теперь оно вдругъ усовершенствовалось.

Откуда такія «чудеса», какъ выражается Тлѣнскій?

Критикъ понимаетъ большія тонкости въ пьесѣ, отлично объясняетъ роль юродиваго, какъ единственнаго органа «безмолвствующаго народа», справедливо подвергаетъ сомнѣнію доступность древнему лѣтописцу идей, какія поэтъ влагаетъ въ уста Пимена.

Не обходится, конечно, дѣло и безъ крупныхъ недоразумѣній: критикъ до глубины души возмущенъ сценой Самозванца съ Мариной: «хитрый Самозванецъ» будто бы не могъ открыть «своей Дульцинеѣ тайну», не доволенъ и смѣшеніемъ языковъ въ сценѣ битвы...

Но что все это въ сравненіи съ недавними упражненіями Надоумки!

Очевидно, профессоръ могъ говорить по временамъ вполнѣ осмысленнымъ языкомъ, писать даже сравнительно простымъ и вразумительнымъ слогомъ и, что казалось совершенно неожиданнымъ, обнаруживать художественную чуткость.

Одновременно предъ нами некоторый актъ самоотверженія: критикъ самъ сознается въ перемѣнѣ своихъ воззрѣній на талантъ Пушкина.

Мы должны запомнить эту перемѣну. Она важнѣе всякихъ другихъ филисофскихъ идей профессора для его вліянія на сотрудника *Телескопа* Бѣлинскаго, если только безусловно отъ На-

деждина Бѣлинскій долженъ былъ заимствовать *естественный* взглядъ на первостепеннаго современнаго поэта,—естественный, какъ увидимъ, при великомъ *художественномъ* дарованіи молодого критика.

Но перемѣны съ Надеждинымъ не ограничились частными вопросами о произведеніяхъ Пушкина. Профессоръ рѣшилъ провозгласить два принципа великаго значенія и силы въ новой литературѣ. Правда, провозглашеніе это состоялось довольно поздно, отнюдь не было новымъ словомъ даже для большой публики. Но оно шло съ университетской каѳедры, изъ устъ авторитетнаго ученаго, освящалось, слѣдовательно, наукой и благонамѣреннѣйшей мыслью.

Объявивъ цѣлью новаго творчества единство, сліяніе классицизма съ романтизмомъ, изящества формъ съ могуществомъ духа, Надеждинъ поспѣшилъ раскрыть непосредственные частные результаты этого стремленія.

Главныхъ два: «потребность *естественности* и потребность *народности* въ изящныхъ искусствахъ».

Мы знаемъ, какъ раньше критикъ понималъ естественность. Ему казалось оскорбительнымъ для человѣческой природы все, что не совпадало съ вѣчной гармоніей и небесной лѣпотой, и именно съ этой точки зрѣнія послѣдовательно уничтожался *Евгеній Онѣгинъ*: онъ такъ близокъ къ земной жизни и не перерось скудной мѣры человѣчества! Отсюда изящный каламбуръ: «Для *генія* не довольно смастерить *Евгенія!*»

Теперь совершенно другое теченіе мысли.

«Современное эстетическое направленіе, — говоритъ профессоръ,—требуетъ отъ художественныхъ созданій полнаго сходства съ природою, равно чуждаясь поддѣльнаго излишества, какъ въ наружныхъ матеріальныхъ формахъ, такъ и во внутренней идеальной выразительности. Оно спрашиваетъ у образа: гдѣ твой духъ? у мысли: гдѣ твое тѣло? Отсюда нисхожденіе изящныхъ искусствъ въ сокровеннѣйшіе изгибы бытія, въ мельчайшія подробности жизни, соединенное съ строгимъ соблюденіемъ всѣхъ вещественныхъ условій дѣйствительности, съ географическою и хронологическою истиною физіономій, костюмовъ, аксессуаровъ».

Это значитъ, критикъ требуетъ отъ художественнаго произведенія мѣстной и исторической вѣрности лицъ и событій. Это основное положеніе реализма, но профессоръ идетъ гораздо дальше.

Онъ желаетъ «всеобъемлющаго взгляда на жизнь», а на этотъ

взглядъ «всѣ черты, изъ коихъ слагается физіономія бытія», одинаково заслуживаютъ безпристрастнаго вниманія и художника, и критика.

Надеждинъ сравниваетъ старое искусство съ новымъ и находитъ существенную разницу именно тамъ, гдѣ раньше видѣлъ одно «арлекинское величіе». Теперь нидерландская школа—типичная представительница творчества, потому что «миніатюрная живопись дѣйствительности превращается въ господствующую подробность генія».

Профессоръ привѣтствуетъ появленіе «частныхъ сценъ домашней жизни», во всѣхъ искусствахъ, въ музыкѣ Обера, въ скульптурѣ Рауха, въ живописи Шарле, въ романахъ Бальзака, даже водевили Скриба находятъ себѣ мѣсто въ «философіи современной исторіи».

Терпимость со стороны ученаго эстетика поистинѣ безгранична, и онъ разсужденія объ естественности заключаетъ фразой, уничтожающей всѣ его прежнія издѣвательства надъ «пародіальной» поэзіей Пушкина:

«Все устремляется къ сближенію съ природой, великой во всѣхъ своихъ подробностяхъ, нелицепріятной ко всѣмъ своимъ явленіямъ».

Это совершенно полное уложеніе художественнаго реализма, правда, въ очень общей формѣ, но достаточно опредѣленное. Если бы его послѣдовательно примѣнить на практикѣ, русская литературная критика немедленно стала бы въ уровень съ современнымъ искусствомъ и русское общество не присутствовало бы при многолѣтней ожесточенной журнальной борьбѣ, отравлявшей существованіе величайшимъ художникамъ русскаго слова и ставившей часто въ недостойное положеніе даже искреннихъ поборниковъ общественной мысли.

Надеждинъ, помимо *естественности*, столь энергично отмѣтилъ и другое, «равно могущественное направленіе современнаго генія»—*народность*.

Здѣсь идея привязывается не столько къ исторической и философской почвѣ, сколько къ чувствительной, внушается патріотическими влеченіями. Такъ и объясняется понятіе народности: это «патріотическое одушевленіе изящныхъ искусствъ».

Профессоръ не замѣчаетъ, что *естественность* жестоко можетъ пострадать отъ подобнаго одушевленія, разъ оно самовластно и исключительно будетъ управлять вдохновеніемъ художника. Про-

фессоръ говоритъ проникновеннымъ тономъ о «родномъ *благодатномъ* небѣ», о «родной *святой* землѣ», о «родныхъ *драгоцѣнныхъ* преданіяхъ» и, конечно, о «родной славѣ» и «родномъ величіи».

И здѣсь же немедленно указываетъ на свободу художника отъ «вліянія предубѣжденій и страстей».

Но вѣдь патріотическое одушевленіе непремѣнно ради родной благодати, святости, драгоцѣнности, въ высшей степени легко можетъ повести къ предубѣжденіямъ, потому что оно въ такой формѣ явное *пристрастіе*, т. е. страсть въ пользу одушевляющаго предмета.

Какъ же, при такихъ требованіяхъ, критикъ отнесется къ самому національному и народному созданію русскаго искусства—къ сатирѣ? Онъ долженъ будетъ признать ее *неестественной*, такъ какъ изъ его *естественности* явно вытекаетъ панегирическое отношеніе къ родному. И мы снова впадаемъ въ потокъ краснорѣчивыхъ воззваній диссертаціи—писать оды на русскія побѣды!

Очевидно, надлежало критику отдѣлить отъ политики, по крайней мѣрѣ, полагая и утверждая *основы* ея развитія, необходимо было принципъ *народности* выяснить исторически и доказать ради его самого, а не постороннихъ практическихъ цѣлей.

И Надеждинъ приближался къ этой цѣли, но не созналь всего ея значенія—независимаго, самодовлѣющаго.

Онъ понимаетъ безплодность подражательнаго искусства, стѣснительность чужеземныхъ вліяній для истинныхъ талантовъ, но, устраняя заимствованную внѣшнюю основу искусства, онъ не утверждаетъ національной, внутренней, т. е. не проникаетъ въ художественную и культурную силу *народнаго* творчества.

Онъ готовъ признать право на существованіе за народной поэзіей, говоритъ ей даже довольно лестные комплименты, но это снисходительное благоволеніе ученаго и эстетическаго аристократа къ *дѣтямъ природы*.

Фактъ въ высшей степени важный! Разсматривая развитіе и идею національности и народности у молодыхъ русскихъ критиковъ, мы снова убѣждаемся въ педантичности и отсталости профессора отъ своихъ современниковъ съ болѣе живой философской мыслью и болѣе глубокимъ художественнымъ чувствомъ.

Надеждинъ восклицаетъ:

«Потеряютъ ли когда свое волшебное очарованіе народныя пѣсни, народныя пляски, народныя басни и преданія, завѣщанныя намъ младенческими досугами первобытныхъ, необразованныхъ народовъ!»

Отвѣтъ, конечно, благопріятный, но все-таки это не «искусство человѣческое». Всѣ эти пѣсни и басни «равнозначительны съ гармоническою пѣснью соловья, съ затѣйливой архитектурой пчелы, даже съ роскошнымъ великимъ убранствомъ сельскаго крина».

Изящныя искусства начинаются только съ «разсвѣтомъ мышленья», и «истинное творческое одушевленіе» только тамъ, «гдѣ свободная игра жизни просвѣтлена идеею, покорна цѣли».

Слѣдовательно, за народомъ, какъ поэтомъ, не признается мышленія, и на сцену снова выступаетъ такая *идея* и *цѣль*, что, очевидно, извѣстное намъ изображеніе *естественности*, оправданіе мелочей будничной жизни, подрывается въ корнѣ. Потому что, именно народная поэзія какъ нельзя болѣе склонна къ такой *естественности* и несравненно рѣже, чѣмъ водевиль Скриба, можетъ впасть въ тривіальность.

XXX.

Мы видимъ, главнѣйшіе руководящіе принципы творчества и критики никакъ не могли въ мысляхъ Надеждина принять вполнѣ устойчивыхъ и ясныхъ формъ. Профессоръ безпрестанно сбивался на выспренній эстетическій путь. Его безпрестанныя обмолвки и безсиліе провести разъ воспринятую идею до ея логическихъ послѣдствій производятъ впечатлѣніе менѣе всего самостоятельнаго и убѣжденнаго мышленія. Будто ученый поддавался по временамъ современнымъ теченіямъ, но поддавался не умомъ и сердцемъ, а краснорѣчивымъ словомъ.

Въ результатѣ, сопоставляя лекціи и статьи Надеждина, можно набрать сколько угодно противорѣчій и несообразностей.

Напримѣръ, *естественность* и *народность* разъяснены въ публичной рѣчи 6-го іюля 1833 года. Кажется, на счетъ естественности, по крайней мѣрѣ, не могло быть сомнѣнія, рѣчь составлялась раньше, можетъ быть, даже за нѣсколько мѣсяцевъ и почти совпала съ статьей *Молвы* о журналѣ Кирѣевскаго *Европеецъ*.

Молва недовольна взглядами *Европейца* какъ разъ на естественность.

«Никто не выдумывалъ взгляда оригинальнѣе и своенравнѣе, какъ новый московскій журналъ... Разбирая стихотворенія Баратынскаго, онъ утверждаетъ, что самыя мелкія подробности жизни являются поэтическими, когда мы смотримъ на нихъ сквозь гармоническія струны его лиры!» При такомъ взглядѣ, по увѣренію

Европейца, «балъ, маскарадъ, непринятое письмо, пированіе друзей, неодинокая прогулка, чтеніе альбомныхъ стиховъ, поэтическое имя, однимъ словомъ, всѣ случайности и всѣ обыкновенности жизни тѣсно связываются съ самыми возвышенными минутами бытія и съ самыми глубокими, самыми свѣжими мечтами и воспоминаніями, такъ что, не отрываясь отъ гладкаго паркета, мы переносимся въ атмосферу музыкальную и мечтательно просторную». «Взглядъ чудный и небывалый!» восклицаетъ *Молва*. «Въ отличіе отъ прочихъ журнальныхъ взглядовъ мы, можемъ назвать его *сквознымъ*, но не въ смыслѣ вѣтра, ибо онъ болѣе удивителенъ, чѣмъ опасенъ» [63]).

Телескопъ, въ свою очередь, громилъ *Горе отъ ума* и объявлялъ, что оно «отжило уже почти вѣкъ свой».

Не легко было читателямъ разобраться въ убѣжденіяхъ редактора и профессора, и еще труднѣе было у подобнаго руководителя заимствоваться идеями и принципами, все равно, въ области философіи или критики.

Надеждинъ, несомнѣнно, тяготѣлъ къ шеллингіанству: мы могли это видѣть изъ его широковѣщательныхъ разсужденій объ изящномъ, о геніѣ, объ идеалѣ, о вѣчномъ и прекрасномъ. Все это шеллингіанскіе полеты, и они давно были извѣстны русской литературѣ по сочиненіямъ самыхъ раннихъ русскихъ философовъ.

Естественно, профессоръ часто достигалъ большой силы краснорѣчія: темы все были въ высшей степени благодарныя для ораторскихъ импровизацій, и аудиторія изъ юношества тридцатыхъ годовъ, какъ нельзя болѣе, приспособлена къ путешествіямъ въ заоблачныя высоты любомудрія.

И предъ нами—восторженныя воспоминанія слушателей Надеждина. Одно изъ нихъ мы приведемъ: оно передаетъ и впечатлѣнія слушателей, и средства, какими лекторъ вызывалъ ихъ.

Въ сентябрѣ 1832 года товарищъ министра народнаго просвѣщенія Уваровъ съ многими знатными лицами посѣтилъ университетъ и явился на лекцію Надеждина. Событіе осталось незабвеннымъ для очевидцевъ.

«Предметомъ лекціи было объясненіе *идеи безусловной красоты*, являющейся подъ *схемою гармоніи жизни*, о ея осуществленіи въ Богѣ подъ образомъ *вѣчной отчей любви* къ творенію и проявленіи въ духѣ человѣческомъ *стремленіемъ къ безконечному*, *божествен-*

---

[63]) *Молва*. 1832, № 11.

нымъ восторгомъ, а въ душѣ художника образованіемъ *идеаловъ*. Студенты, записывавшіе лекціи, бросили свои перья, чтобъ черезъ записыванье не пропустить ни одного слова, и только смотрѣли на профессора, котораго глаза горѣли огнемъ вдохновенія; одушевленный голосъ сопровождался оживленностью физіономіи, живостью движеній, торжественностью самой позы; даже посторонніе посѣтители, вмѣсто тяжелой неподвижности, которую соблюдали на лекціяхъ другихъ профессоровъ, невольно обратились къ профессору и смотрѣли на него, какъ будто на оракула» [64]).

При всемъ восторгѣ, Уваровъ все-таки догадался задать оракулу очень прозаическій вопросъ, «понимаютъ ли его студенты?». Надеждинъ отвѣчалъ, разумѣется, утвердительно, но это еще не рѣшало вопроса вообще о цѣлесообразности такого преподаванія.

Другой слушатель Надеждина, отдавая должное его импровизаторскому таланту, заявляетъ печальный фактъ: профессора далеко не всѣ студенты понимали, обзывали даже его лекціи схоластикой, школярствомъ. Правда, это, по словамъ автора, были слушатели, не получившіе философскаго образованія [65]). Но много ли было получившихъ? И могъ ли плодотворно вліять на аудиторію профессоръ, требовавшій—не ради предмета, а ради своего преподаванія нарочитой спеціальной подготовки?

Наконецъ, третій слушатель, Константинъ Аксаковъ, даетъ, повидимому, самыя точныя и реальныя свѣдѣнія объ успѣхахъ профессора.

«Надеждинъ производилъ съ начала своего профессорства большое впечатлѣніе своими лекціями. Онъ всегда импровизировалъ. Услышавъ умную, плавную рѣчь, почуявъ, такъ сказать, воздухъ мысли, молодое поколѣніе съ жадностью и благодарностью обратилось къ Надеждину, но скоро увидѣло, что ошиблось въ своемъ увлеченіи. Надеждинъ не удовлетворилъ серьезнымъ требованіямъ юношей; скоро замѣтили сухость его словъ, собственное безучастіе къ предмету и недостатокъ серьезныхъ занятій».

Мы видимъ, съ какой стремительностью молодежь философской эпохи набрасывалась даже на призракъ мысли. Легко представить, сколько сочувствія вызывала у подобной публики даже способность профессора вызвать у другихъ работу идей. Станкевичъ проститъ

[64]) Прозоровъ. *О с.*, стр. 10—11.

[65]) Максимовичъ. *Москвитянинъ*, 1856, № 3. Дополненія *Къ воспоминанію о Н. И. Надеждинѣ*, напечаталъ старый слушатель Надеждина, Лавдовскій, въ высшей степени восторженныя. *Моск. Вѣд.* 1856, № 81, 7-го іюля.

всѣ недостатки Надеждину за то, что профессоръ «много пробудилъ своими знаніями» въ его душѣ, и если онъ—Станкевичъ—будетъ въ раю, то Надеждину обязанъ за это. Но тотъ же Станкевичъ «чувствовалъ бѣдность преподаванія» своего благодѣтеля [66]).

Понимали, несомнѣнно, и другіе, и даже больше Станкевича. По крайней мѣрѣ, его товарищъ, Герценъ, съ большимъ сочувствіемъ вспоминающій о другомъ московскомъ шеллингіанцѣ, — профессорѣ Павловѣ,—не считаетъ нужнымъ говорить о философскихъ заслугахъ Надеждина.

Популярность профессора среди студентовъ основывалась, помимо мимолетнаго увлеченія краснорѣчіемъ, на «деликатности» его обращенія: со студентами Надеждинъ «не любилъ никакихъ полицейскихъ пріемовъ». А въ этомъ отношеніи студенты были еще менѣе избалованы, чѣмъ «воздухомъ мысли».

Но далеко не всегда Надеждинъ оставался вѣренъ даже и такому либерализму. По поводу его диссертаціи произошла исторія, напоминающая процессъ Каченовскаго съ цензоромъ Глинкой изъ-за статьи Полевого.

Тотъ же *Московскій Телеграфъ* неуважительно отозвался объ отрывкѣ изъ книги Надеждина и въ отвѣтъ «Пряниковъ изъ села Тихоміровa» въ *Московскомъ Вѣстникѣ* взывалъ о личномъ оскорбленіи.

Диссертація была представлена на судъ гг. профессоровъ. «Этотъ судъ профессоровъ», увѣрялъ Пряниковъ, «былъ строгій, основанный на правилахъ, предписанныхъ самимъ закономъ и по праву отъ Верховной Власти имъ дарованному. Слѣдовательно, это дѣло было оффиціальное. Какъ же онъ, Полевой, будучи частнымъ человѣкомъ, могъ вмѣшиваться въ такое дѣло? А тѣмъ болѣе, какъ онъ, не принадлежа собственно ни къ государственнымъ чиновникамъ, ни къ сословію ученыхъ, могъ присвоить себѣ право быть ревизоромъ дѣйствій цѣлаго университета и послѣ одобренія университетомъ оной диссертаціи и удостоенія г. Надеждина высшей ученой степени доктора, смѣетъ столь дерзко поносить и сочиненіе, и сочинителя?»

Дальше приводилась статья закона, карающая преступленіе Полевого, угрожалось «уголовнымъ порядкомъ», и указывалось на вредное вліяніе «особливо» среди «молодыхъ людей» такихъ критикъ [67]).

---

[66]) *День*. 1862, № 40.
[67]) Барсуковъ. III, 26—7.

Не разногласитъ съ подобными справками и пристрастіе профессора—именовать своихъ литературныхъ противниковъ непремѣнно *не литературными* именами—въ родѣ «литературный *Робеспьеръ*», и даже *террористы*. Къ счастью, слово *нигилистъ* еще не имѣло соотвѣтствующаго значенія. Не лишены страсти въ извѣстномъ направленіи и удивительно яростные нападки Надеждина на восемнадцатый вѣкъ. Даже Деместры и Бональды не достигали такого паѳоса. И паѳосъ тѣмъ замѣчательнѣе, что онъ увлекалъ профессора, преподававшаго *исторію* искусствъ, слѣдовательно, обязаннаго владѣть представленіемъ объ *историческомъ* смыслѣ явленій и менѣе всего располагающаго нравственнымъ правомъ показывать внезапныя стихійныя пропасти и «рѣзкія глубокія межи» на пути человѣческой цивилизаціи.

А между тѣмъ профессоръ въ торжественномъ собраніи университета обращался къ публикѣ совершенно въ тонѣ запальчиваго агитатора на миттингѣ:

«Я вызываю васъ, м.м. г.г., указать мнѣ въ исторіи человѣческаго рода другую подобную эпоху, которая бы въ краткомъ пространствѣ столѣтія сосредоточила столько распутствъ и ужасовъ! Въ тяжкомъ вѣковомъ томленіи Римской Имперіи вы не найдете періода, съ коимъ можно бы было сравнить сей зловѣщій вѣкъ, начавшійся оргіями регентства и заключившійся свирѣпствами терроризма, вѣкъ кощунства и нечестія, разврата и безначалія, вѣкъ шарлатановъ и изувѣровъ, интригановъ и крамольниковъ, сибаритовъ и убійцъ».

Но противорѣчія и несообразности были, очевидно, рокомъ въ жизни Надеждина. Его ученая и литературная карьера прервалась политическими страданіями за напечатаніе въ *Телескопѣ* одного изъ *философическихъ писемъ* Чаадаева.

Письма, какъ извѣстно, крайне сенсаціоннаго содержанія. Они—самый рѣзкій, почти отчаянный крикъ человѣческаго сердца, надорваннаго нескончаемыми разочарованіями въ себѣ самомъ, въ судьбахъ своей родины, во всемъ человѣчествѣ. Это—лирическій пессимизмъ, въ высшей степени сложнаго и своеобразнаго состава, эффектнѣйшее выраженіе чувства, обуревающаго тургеневскаго Потугина, нераздѣльно слитыхъ любви и ненависти къ Россіи.

Въ *Письмахъ* звучало не мало и вполнѣ современныхъ мотивовъ, прежде всего тоска о культурномъ прогрессѣ Россіи, свободномъ и могучемъ не менѣе европейскаго, страстные поиски причины, почему онъ не осуществился и еще болѣе нетерпѣливая жажда источника—его возможнаго осуществленія.

Мы видѣли, одни указывали на связь съ древнимъ міромъ, на возрожденіе античнаго классицизма на русской почвѣ, какъ первоосновы всякой европейской цивилизаціи. Чаадаеву представлялся болѣе краткій путь, мимо Эллады и Византіи, прямо католичество и послѣдовательный западный европеизмъ.

Устами автора говорила страсть, своего рода азартъ ясновидящей мысли: это доказывается и складомъ *Писемъ*, и строжайшимъ искусомъ одиночества, сопровождавшимъ возникновеніе *Писемъ*. Но что также въ нихъ было много прочувствованной и выстраданной правды, засвидѣтельствовано отзывомъ Пушкина, совершенно спокойнымъ и безпристрастнымъ.

Поэтъ не согласенъ съ унизительнымъ представленіемъ Чаадаева о русской *исторіи*, но сужденія о современномъ состояніи Россіи во многомъ казались Пушкину «глубоко справедливыми», и онъ поясняль, почему.

«Наша общественная жизнь весьма печальна. Это отсутствіе общественнаго мнѣнія, это равнодушіе ко всякому долгу, къ справедливости и правдѣ, это циническое презрѣніе къ мысли и къ человѣческому достоинству дѣйствительно приводятъ въ отчаяніе. Вы хорошо сдѣлали, что громко это высказали» [68]).

Но Пушкинъ въ то же время опасался послѣдствій. И опасенія не замедлили оправдаться.

Телескопъ былъ запрещенъ, предсѣдателю цензурнаго комитета, ректору Болдыреву, предложено выйти въ отставку, Надеждинъ, редакторъ журнала, исключенъ изъ службы и сосланъ въ Усть-Сысольскъ, Чаадаевъ подвергнутъ временному надзору въ качествѣ сумасшедшаго.

Болдыревъ въ дѣлѣ не причемъ, онъ подписалъ листы, не читая, но Надеждинъ долженъ былъ отдавать себѣ отчетъ въ печатаніи подобной статьи. Что же его заставило рискнуть?

Современникамъ вопросъ представлялся такъ, будто Надеждинъ просто утопилъ цензора, пустилъ статью, не боясь за себя лично и не щадя довѣрчиваго сослуживца [69]).

Можетъ быть, редакторъ подцензурнаго изданія и могъ питать такія надежды, но, во всякомъ случаѣ, редакторъ *Телескопа* пострадалъ не за либерализмъ. *Письмо* обѣщало шумъ и шуму, дѣйствительно, произошло даже больше, чѣмъ можно было ожидать. Жур-

---

[68]) Письмо отъ 19 окт. 1836 на франц. яз. Сочин. VII, 411.

[69]) Барсуковъ. IV, 388.

налъ, конечно, выигрывалъ, и, естественно, редакторъ подвергся сильному соблазну.

Дальнѣйшая судьба Надеждина, редактора *Журнала Министерства Внутреннихъ Дѣлъ*, потомъ виднаго чиновника того же министерства, нисколько не соотвѣтствовала опрометчивому поступку на поприщѣ журналистики. Даже въ эпоху сороковыхъ годовъ и послѣ 1848 года никому и на умъ не приходила мысль о сомнительности убѣжденій бывшаго профессора.

И его профессорская дѣятельность постепенно отходила въ область преданій. На литературной сценѣ, правда, дѣйствовалъ одинъ изъ его учениковъ и даже сотрудниковъ, но врядъ ли самый тщательный психологическій и идейный анализъ могъ бы открыть точки соприкосновенія между неистовымъ Виссаріономъ и бывшимъ оракуломъ московскаго университета.

Врядъ ли и съ самаго начала этихъ точекъ существовало особенно много. При подробномъ разборѣ критической дѣятельности Бѣлинскаго намъ само собой представится все общее, что могло быть у него съ Надеждинымъ. Мы могли и теперь предугадать главнѣйшія общія идеи, именно тѣ, какія самого Надеждина ставили въ уровень съ современнымъ умственнымъ движеніемъ.

Но мы ни въ какомъ случаѣ не могли бы взять на себя смѣлость утверждать, будто профессоръ являлся оригинальнымъ обладателемъ этого капитала и онъ первый и единственный подѣлился имъ съ своимъ слушателемъ. Напротивъ. Мы переходимъ къ другому, внѣуниверситетскому, философскому теченію, и убѣждены, что простая исторія его обозначитъ законныя мѣста въ умственномъ движеніи тридцатыхъ годовъ, *отцамъ*, т. е. профессорамъ и оффиціальнымъ ученымъ, и *дѣтямъ*, ихъ слушателямъ, но далеко не всегда послѣдователямъ и ученикамъ.

Настоящихъ, общепризнанныхъ учителей было мало у этой молодежи. Мы уже знаемъ нѣкоторыя черты взаимныхъ отношеній между профессорами и молодыми писателями: Мерзляковъ вызываетъ почтительное, но рѣшительное осужденіе, Надеждинъ сначала увлекаетъ, но скоро разочаровываетъ. Оба профессора, казалось бы, званные и избранные руководители именно писателей: оба—ученые по литературѣ, краснорѣчію, искусству.

Но дѣйствительность не оправдала многообѣщавшихъ предзнаменованій. Истиннымъ учителемъ молодежи по философіи и, слѣдовательно, по литературному и критическому искусству, явился спеціалистъ совсѣмъ другой науки, не имѣющей ничего общаго ни съ «умозрительными теоріями», ни съ изящными искусствами.

Даже больше. Именно этого профессора современники ставятъ во главѣ московскаго шеллингіанства, мимо Давыдова и Надеждина, ему приписываютъ переселеніе германской философіи въ среду московскихъ студентовъ и съ его именемъ люди совершенно разныхъ направленій связываютъ начало философскихъ увлеченій будущихъ критиковъ и публицистовъ.

Исторически честь не единолично заслуженная, но *нравственно*, несомнѣнно, законная, разъ *сила* вліянія одного человѣка затмила *права* чужой дѣятельности.

XXXI.

Михаилъ Григорьевичъ Павловъ, студентъ харьковскаго университета, потомъ медико-хирургической академіи, наконецъ, московскаго университета, по окончаніи курса математики, и медикъ, заграницей спеціалистъ по сельскохозяйственнымъ наукамъ.

Это своего рода энциклопедія, только какъ разъ безъ предмета, создавшаго нашему ученому славу, безъ философіи. Она въ германскихъ университетахъ, повидимому, поглощала почти все его время, и потомъ, сочиняя книги по сельскому хозяйству, читая лекціи по физикѣ, Павловъ неизмѣнно оставался усерднымъ апостоломъ шеллингіанства.

Герценъ, одинъ изъ его слушателей разсказываетъ:

«Германская философія была привита московскому университету М. Г. Павловымъ. Каѳедра философіи была закрыта съ 1826 г. Павловъ преподавалъ введеніе къ философіи вмѣсто физики и сельскаго хозяйства. Физики было мудрено научиться на его лекціяхъ, сельскому хозяйству невозможно; но его курсы были чрезвычайно полезны. Павловъ стоялъ въ дверяхъ физико-математическаго отдѣленія и останавливалъ студента вопросомъ: «Ты хочешь знать природу? Но чтó такое природа? Что такое знать?» [70]).

Отвѣты на вопросы Павловъ черпалъ въ шеллингіанской системѣ и умѣлъ излагать ихъ съ «пластической ясностью». Если профессоръ не достигалъ идеала въ этомъ направленіи, вина была въ самой философіи Шеллинга, не законченной и не уясненной во всѣхъ подробностяхъ.

Лекціи Павлова приняты были «съ жаромъ» университетской молодежью. Многіе студенты отважились на самостоятельное изу-

[70]) *Былое и думы*. VII, 119. *Записки К. А. Полеваго*. Спб. 1888, 85—6.

ченіе Шеллинга: такія увлекательныя перспективы умѣлъ показать профессоръ, самъ воодушевленный истинами новаго «любомудрія».

«Отъ первой лекціи до послѣдней», разсказываетъ одинъ изъ его слушателей, «не было ни одной холодной, ни одной сухой или скучной. Одушевленіе не оставляло профессора ни на минуту. И это одушевленіе переходило въ его слушателей. Мысли Павлова, мало принесшія намъ пользы въ самой наукѣ, послужили однакоже для насъ путеводною нитью въ другихъ, развили или, по крайней мѣрѣ, послужили къ развитію какого-то особеннаго критическаго взгляда на науку вообще, на ея начала и основанія, на ея развитіе и выполненіе» [71]).

Мы видимъ, отзывы современниковъ о Павловѣ отнюдь не менѣе благопріятные, чѣмъ о Надеждинѣ или о Галичѣ. Павловъ имѣетъ несомнѣнныя преимущества своей учительской близостью къ молодежи. Мы сейчасъ увидимъ значеніе этого факта, но предварительно мы тщательно должны рѣшить вопросъ, какъ далеко могло идти вліяніе популярнѣйшаго профессора-шеллингіанца и какіе вполнѣ обязательные плоды могло принести оно въ критической литературѣ?

Павловъ *создалъ* у слушателей интересъ къ философіи и лекціями, и сочиненіями. Въ какомъ направленіи развилась собственная мысль профессора, видно изъ его статей, предназначенныхъ для большой публики.

Съ перваго взгляда статьи, повидимому, сильно подрываютъ только что засвидѣтельствованное очевидцами достоинство Павлова, *ясность мышленія*. Напротивъ, мы прямымъ путемъ попадаемъ въ безвыходныя дебри тѣхъ самыхъ натуръ-философскихъ аналогій, гипотезъ, почти ясновидѣній, знакомыхъ намъ по произведеніямъ Велланскаго.

Очевидно, Шеллингъ у русскихъ мыслителей дѣйствовалъ преимущественно на страсть къ мнимо-научному глубокомыслію, баюкивавшему философовъ одновременно призраками строгаго познанія природы и неограниченнаго проникновенія въ ея законы и тайны.

Фактъ, вполнѣ естественный.

Если Шеллингъ, въ центрѣ широкаго и блестящаго развитія опытныхъ наукъ, могъ впасть въ мистическое толкованіе ихъ выводовъ и опытному изслѣдованію явленій противоставить твор-

[71]) Колюпановъ I, 475.

чество и созерцаніе,—на русской почвѣ было несравненно больше простора для самыхъ фантастическихъ экскурсій въ область невѣдомаго и непознаваемаго.

Русскіе философы оказывались, приблизительно, въ положеніи древнихъ греческихъ мудрецовъ, до-сократовскихъ временъ. Обладая весьма ограниченными свѣдѣніями о природѣ и человѣческой душѣ, эти мудрецы, именно въ силу свое ограниченности, съ чрезвычайной отвагой пускались въ открытіе причины всѣхъ причинъ, создавали поразительнѣйшіе абсолюты, часто дѣтски-наивнаго содержанія, просто брали какое-нибудь вещество—воду, огонь, воздухъ, и къ нему пріурочивали развитіе міровой жизни.

Этотъ размахъ воображенія тѣшилъ незрѣлую мысль, и какой-нибудь Ѳалесъ могъ искренне воображать себя носителемъ верховной истины, Пиѳагоръ вполнѣ серьезно облекать въ непроницаемый туманъ поэтическую игру своей фантазіи и даже дѣлить на разныя степени, будто въ священномъ орденѣ, своихъ учениковъ, сообразно съ приближеніемъ ихъ къ святилищу высшей мудрости.

Естественно, въ подобныхъ системахъ первое мѣсто занимаютъ элементарнѣйшіе пріемы мышленія—сравненіе, аналогія, часто просто—метафора, поэтическая фигура. Въ эллинской философіи, вплоть до Аристотеля лишенной сколько-нибудь значительнаго научнаго основанія, эти упражненія процвѣтаютъ даже послѣ трезвой скептической мысли Сократа, еще Платонъ будетъ сочинять поэмы вмѣсто разсужденій и безъ малѣйшихъ затрудненій самые сложные вопросы философіи и психологіи рѣшать путемъ лирическаго безпорядка, сравненій, уподобленій, аллегорій.

Достаточно вспомнить чрезвычайно размашистую задачу въ діалогѣ *Республика* о «высшемъ благѣ» и результатъ всѣхъ преширательствъ, уподобленіе этого идеала солнцу! Для эллинскаго мудреца рѣшеніе вполнѣ удовлетворительное. Такимъ оно и должно быть для всякаго первичнаго ученическаго философскаго мышленія, не умѣющаго разграничивать логики и поэзіи, идей и образовъ, знанія и воображенія.

То же самое происходитъ съ русскими шеллингіанцами.

Они, конечно, неизмѣримо ученѣе древнихъ греческихъ философовъ, но вѣдь и творчество, ихъ соблазняющее, гораздо зрѣлѣе и сложнѣе. Вода или огонь въ качествѣ абсолюта вызовутъ у нихъ улыбку сожалѣнія, но это не значитъ, чтобы они вообще отказались отъ натурфилософскихъ принциповъ. Тѣмъ болѣе, что, мы

знаемъ, само естествознаніе своими открытіями влекло философовъ на этотъ путь.

Несомнѣнно, «животный магнетизмъ», какъ всеобъемлющая основа жизни, болѣе научное и философски-глубокое представленіе, чѣмъ какая-либо изъ четырехъ стихій, постепенно возводившихся у древнихъ философовъ въ первоисточники бытія. Но *сущность* міросозерцанія та же.

Шеллингъ, на основаніи своей теоріи абсолютнаго тожества, логически могъ дойти до чисто-платоновской идеи: міръ *слѣдует* изучать не по фактическимъ даннымъ, а по высшимъ категоріямъ разума, *чистыхъ отвлеченій*. «Мы явленія оставимъ въ сторонѣ,— говоритъ Платонъ,—они не дадутъ намъ настоящаго знанія, а только *мнѣнія*, *грёзы*. Единственный источникъ реальнаго вѣдѣнія, совершенной *увѣренности*—діалектическій процессъ мысли—*черезъ идеи къ идеямъ*» [72]).

Шеллингіанство именно и становилось на этотъ путь, стремясь чисто-философскими обобщеніями предвосхитить данныя опытныхъ наукъ и созидая міръ дѣйствительности изъ міра идей, бытіе изъ мышленія.

Метафизика искони вѣковъ вращается въ однихъ и тѣхъ же предѣлахъ. Все новое, входящее въ ея область, принадлежитъ не ей: это—матеріалъ, заимствованный ею извнѣ, изъ исторіи и естествознанія. Пріемы, путь и цѣли остаются неизмѣнными, и вполнѣ естественно не только у Шеллинга, но и у Гегеля и также у Шопенгауера будутъ звучать самые подлинные голоса древнѣйшихъ разгадчиковъ тайны Изиды, отъ Будды до Платона.

Легко представить, съ какимъ юношескимъ пыломъ должны были наброситься на столь увлекательныя приманки русскіе ученики западной философіи. Уже на примѣрѣ Велланскаго мы видѣли, до какихъ предѣловъ могъ развиться соблазнительный и безотвѣтственный натурфилософскій азартъ. Павловъ, одаренный гораздо болѣе оригинальной и точной мыслью, остался сыномъ своей эпохи и послѣдователемъ господствующей вдохновенной мудрости.

Мы видѣли, одинъ изъ слушателей Павлова придаетъ большое значеніе простой постановкѣ вопроса: что̀ такое природа?

И Павловъ, дѣйствительно, ставилъ этотъ вопросъ, но какъ отвѣчалъ?

Напримѣръ, въ журнальной статьѣ объяснялось понятіе *веще-*

[72]) *Respublica*, lib. VI.

ства. По мнѣнію философа, вещество—*свѣтъ* сгущенный и потемненный тяжестью, при взаимномъ ихъ ограниченіи.

Дальше, что такое самый свѣтъ?

«Свѣтъ есть проявленіе силы расширительной, электричество есть тотъ же свѣтъ, но смѣшанный въ предѣлахъ сильнѣйшаго ограниченія; оттуда дѣйствія его такъ порывисты, бурны, а именно отъ усилія расторгнуть узы, столь противныя его натурѣ».

Потомъ, опредѣленіе *животныхъ*: они—соединеніе вещества съ преобладаніемъ жидкихъ частей [73]).

Можно, конечно, до безконечности изобрѣтать подобныя опредѣленія, но врядъ ли они сколько-нибудь въ состояніи увеличить *знаніе* и помочь *пониманію* естественныхъ явленій. Весь смыслъ ихъ формальный, діалектическій, очень полезный для гимнастическихъ упражненій мысли, но безплодный для ихъ содержанія.

Больше пользы было для слушателей Павлова отъ его простыхъ сообщеній объ идеяхъ *критической* философіи. Въ статьѣ *О способахъ изслѣдованія природы* Павловъ знакомилъ публику съ кантовскимъ воззрѣніемъ на познаваемое и непознаваемое, на *явленіе* и *сущность*. Философъ, конечно, не останавливался на кантовскомъ дуализмѣ и переходилъ на шеллингіанскій путь къ всеобъемлющему вѣдѣнію. Но для русской молодежи важно было слышать «пластически ясное» изложеніе великой критической системы. Оно, при всемъ соблазнѣ шеллингіанскихъ откровеній, могло вызвать въ умахъ въ высшей степени плодотворную работу и удержать юную мысль отъ головокружительныхъ полетовъ въ царство невѣдомаго и неизслѣдуемаго.

Несомнѣнно, критической философіи на первыхъ порахъ было не подъ силу бороться съ полурелигіозной, полупоэтической системой Шеллинга, сулившей дать отвѣты на всѣ запросы идеальнотоскующаго духа, примирить всѣ противорѣчія человѣческаго ума и жизни въ чудной вѣчной гармоніи высшаго разума. Но уже весьма существеннымъ фактомъ было знакомство будущихъ критиковъ съ философіей, представлявшей своего рода противоядіе противъ крайнихъ увлеченій созерцаніемъ и догматизмомъ. Въ этомъ большое преимущество Павлова предъ Велланскимъ.

Но оставалась еще самая важная задача, та самая, къ какой въ Петербургѣ приступилъ Галичъ съ своей книгой *Наука объ изящномъ*. Мы говоримъ о приложеніи философіи къ критикѣ. Галичу оно совершенно не удалось; оно даже не стояло въ про-

---

[73]) *Телескопъ*, 1836, ч. 32 и 36.

граммѣ петербургскаго эстетика. Какъ же отнесся къ задачѣ Павловъ?

Онъ выступилъ на поприще журналистики съ журналомъ *Атеней*. Мы видѣли, здѣсь былъ напечатанъ отрывокъ изъ диссертаціи Надеждина. Въ той же самой книгѣ помѣщено «новое опредѣленіе романтизма»: «это—новый родъ словесности, въ которомъ, для краткости, выпускается здравый смыслъ» [74]).

Слѣдовательно, журналъ враждовалъ съ современнымъ направленіемъ литературы и стоялъ за классицизмъ?

Отвѣтъ дается утвердительный многочисленными статьями, въ родѣ хвалы *Стихотворной наукѣ* Буало, могочисленныхъ издѣвательствъ надъ романтизмомъ, и особенно критикой на произведенія Пушкина.

По поводу IV и V главъ *Евгенія Онѣгина* «Атеней» писалъ: «*Романтическое* выручаетъ стихотвореніе отъ всѣхъ притязаній здраваго смысла и законныхъ требованій вкуса». Роману Пушкина, конечно, произносится смертный приговоръ: «Нѣтъ характеровъ, нѣтъ и дѣйствія. Легкомысленная только любовь Татьяны оживляетъ нѣсколько оное».

Не пощажена и форма, стихи романа. Въ общемъ, они хороши, но «сотни мелочей» «заживо цѣпляютъ людей, учившихся по старымъ грамматикамъ» [75]).

Можно подумать, журналъ будетъ твердо стоять на стражѣ старой школы и до конца вести войну противъ Пушкина, какъ представителя неразумныхъ новшествъ?

Оказалось, *Атеней* повторилъ оригинальную исторію Мерзлякова и Надеждина: одинъ—классикъ—*плакалъ* надъ стихами Пушкина, другой—врагъ *нигилизма*—отрекся отъ своей вражды къ «нигилисту». Не судьба была профессорамъ выдерживать фронтъ даже на разстояніи весьма скромныхъ періодовъ времени. Всего годъ спустя *Атеней* напечаталъ статью о *Полтавѣ*. Авторъ—Максимовичъ—защищалъ Пушкина отъ упрековъ критики въ искаженіи характеровъ и возстановилъ безусловно и психологическое, и историческое достоинство поэмы [76]).

---

[74]) *Атеней*, 1830, январь, 116.

[75]) *Атеней*, 1828, № 4; ст. подпис. *В.*, принадлежитъ М. Дмитріеву, сотруднику *Вѣстника Европы*, автору статей противъ Пушкина и заслужившему отъ поэта наименованіе лже-Дмитріева въ отличіе отъ И. И. Дмитріева. Письмо къ А. С. Пушкину, апр. 1825 г. Сочин. VII, 120.

[76]) *Атеней*, 1829, № 6.

Это происходило въ 1829 году, а годъ спустя все-таки явилась статья Надеждина, еще не признававшаго Пушкина, и сатирическая замѣтка о романтизмѣ.

Очевидно, у журнала не было твердаго символа критической вѣры, и редакторъ его или не могъ додуматься до этого символа, или считалъ его лишнимъ для своей учености и философской мысли.

Второе объясненіе, пожалуй, вѣрнѣе: при блестящихъ способностяхъ профессора, внимательное отношеніе къ современной литературѣ не могло не привести его къ устойчивымъ и болѣе основательнымъ литературнымъ понятіямъ. Но Павловъ, подобно Галичу, не желалъ снизойти до *поэтовъ* и въ критическомъ отдѣлѣ своего журнала предоставлялъ хозяйничать людямъ самаго разнообразнаго умственнаго склада.

Повидимому, и современники понимали и цѣнили безучастіе профессора къ самымъ жгучимъ вопросамъ времени. *Атеней* велъ упорную борьбу съ *Московскимъ Телеграфомъ* и статьями, и сатирическими замѣтками. Но это не помѣшало брату Николая Полевого—постоянной жертвы выходокъ *Атенея*—дать самый лестный отзывъ о Павловѣ. Очевидно, профессоръ царствовалъ въ журналѣ, но не управлялъ, по крайней мѣрѣ, насколько дѣло касалось литературной полемики и критики.

Но и собственно философская дѣятельность Павлова продолжалась недолго. Правительство поручило ему устроить земледѣльческій хуторъ, и онъ послѣдніе годы жизни посвятилъ исключительно своей оффиціальной спеціальности, сельскому хозяйству.

Мы, слѣдовательно, можемъ опредѣлить границы *практическаго* вліянія популярнѣйшаго шеллингіанца. Павловъ не былъ *руководителемъ* молодого поколѣнія, а только *возбудителемъ* новыхъ умственныхъ интересовъ. Онъ, подобно своимъ современникамъ ученымъ, не могъ стать на одномъ и томъ же *жизненномъ* пути съ будущими дѣятелями литературы и работать съ ними ради общихъ цѣлей—*литературнаго* прогресса.

Онъ, дѣйствительно, «въ дверяхъ» аудиторіи останавливалъ студента, проходилъ съ нимъ даже въ аудиторію, но дальше—пути профессора и студента расходились. Профессоръ шелъ въ свой ученый кабинетъ, а студенту предоставлялось собственными силами разбираться въ явленіяхъ *толпы* и *улицы*, точнѣе—общедоступной и тѣмъ болѣе настоятельной дѣйствительности.

Великая заслуга, конечно, *призывать* умы къ работѣ, да еще

на новомъ пути, но еще выше назначенiе всякаго учителя *совмѣстно работать* съ своими учениками, рука объ руку съ ними проходить весь намѣченный путь и нравственной чуткостью и умственной терпимостью устранить разстоянiе, отдѣляющее одно поколѣнiе отъ другого, и тѣмъ спасти юныхъ путниковъ отъ недоразумѣнiй и ошибокъ. Это единенiе и неразрывная преемственность культурной работы — высшiй идеалъ всякаго прогресса, и онъ, повидимому, труднѣе всего осуществимъ въ русскомъ обществѣ. Не осуществился онъ и въ философскую эпоху.

Ея младшее поколѣнiе, взявшее впослѣдствiи въ свои руки судьбу литературы и критики, осуждено было на самостоятельную работу именно въ важнѣйшей области практическаго примѣненiя философскихъ идей. Мы должны помнить этотъ фактъ: онъ многое объяснитъ и, если потребуется, многое оправдаетъ.

XXXII.

При ближайшемъ, не идейномъ и историческомъ, а *личномъ* сопоставленiи старыхъ русскихъ философовъ и молодыхъ, обрисовывается одна въ высшей степени любопытная черта.

Мы знаемъ, какъ и гдѣ напитывались философiей будущiе профессора, слышимъ даже о большой стремительности ихъ именно къ шеллингiанству, но намъ остается неизвѣстнымъ одинъ фактъ. Собственно для общей исторiи *философiи* онъ не имѣетъ большого значенiя, но для характеристики *философовъ* и для точнаго представленiя объ ихъ дѣятельности онъ безусловно необходимъ и поучителенъ, какъ никакая ученая книга.

Что влекло Велланскаго, Галича, Давыдова, Надеждина, Павлова къ системѣ Шеллинга?

Отвѣтовъ, конечно, можно представить не мало и вполнѣ основательныхъ: популярность системы, ея особыя достоинства. Но что собственно хватало за душу русскихъ студентовъ, слушавшихъ лекцiи шеллингiанцевъ, читавшихъ сочиненiя Шеллинга? Не было ли болѣе глубокаго *интимнаго* мотива предпочесть шеллингiанство другому ученiю? Однимъ словомъ, не было ли именно въ этой философiи особенной нравственно-притягательной силы для всѣхъ, кто искалъ истины?

Мы знаемъ, было очень многое. Мы видѣли, какими идеями шеллингiанство шло на встрѣчу тоскѣ своего времени и могло превратиться для своихъ учениковъ въ философскую религiю.

Одинъ изъ слушателей Шеллинга намъ разсказываетъ случай, возможный только при дѣйствительно пророческомъ авторитетѣ учителя надъ учениками.

Въ Мюнхенѣ, въ одной изъ лекцій Шеллингъ жестоко напалъ на Гегеля, успѣвшаго уже стяжать европейскую славу. Философъ не поскупился ни на презрительную мимику, ни на унизительныя слова, и вся рѣчь вышла сопоставленіемъ его, шеллинговой, непогрѣшимой философіи съ «искусственной филигранной работой» Гегеля.

Аудиторія замерла отъ изумленія и восторга. Когда профессоръ кончилъ, студенты встали съ мѣстъ, и произошла бурная овація. Шеллингъ величественно поклонился и ушелъ походкой тріумфатора [77]).

Не существовало ли подобныхъ чувствъ и у русскихъ учениковъ германскаго философа,—чувствъ не по *разсудку*, а по *сердцу?*

Вѣдь отъ этого условія зависитъ энергія отвлеченной мысли и ея практическое направленіе. Ничто не дѣлаетъ умственнаго дѣятеля болѣе послѣдовательнымъ и чуткимъ, какъ *личный* энтузіазмъ во имя излюбленной идеи.

Былъ ли онъ у старшаго поколѣнія шеллингіанцевъ?

Врядъ ли. Мы много слышимъ о краснорѣчіи ученыхъ философовъ, но въ то же время или намъ прямо говорятъ объ ихъ «собственномъ безучастіи къ предмету», или мы сами должны предположить это безучастіе, встрѣчая на каждомъ шагу колебанія философа, будто оторопь предъ логическими выводами воспринятаго принципа и даже явное отступленіе отъ провозглашенной системы.

Въ біографіи единственнаго ученаго шеллингіанца мы находимъ живой отголосокъ любовнаго проникновеннаго чувства къ избранному философскому воззрѣнію. Легко угадать, кто этотъ философъ. Галичъ, при всѣхъ притязаніяхъ на недоступную толпѣ ученость, единственный изъ русскихъ ученыхъ философовъ обнаружилъ свободный публицистическій талантъ и даже нѣкоторые задатки художественной критики. Онъ именно и примыкаетъ къ молодому поколѣнію своеобразнымъ чувствительно-идейнымъ настроеніемъ.

Разъ одинъ изъ учениковъ Галича обратился къ нему съ такимъ запросомъ:

---

[77]) Karl Rosenkranz. *Schelling. Vorlesungen.* Danzig 1843, XXI.

— Скажите, Александръ Ивановичъ, можно ли сказать, что шеллингова философія рѣшаетъ удовлетворительно задачи, составляющія ея программу?

Галичъ улыбнулся своей иронической улыбкой и спросилъ у своего собесѣдника:

— А вы сами какъ думаете? Находите ее удовлетворительною?

— И такъ, и сякъ,—отвѣчалъ онъ.—Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ она меня удовлетворяетъ, въ другихъ нѣтъ.

— Ну, я поставлю вопросъ иначе: чувствуете ли вы, что вамъ съ нею нѣсколько лучше и вы сами, съ помощью ея, не сдѣлались ли немного лучшимъ?

— О, да!

— Ну, такъ и довольствуйтесь этимъ. Тотъ философскій образъ мыслей есть самый для насъ приличный, который наиболѣе содѣйствуетъ намъ къ достиженію мира съ самимъ собою и съ другими. Счастливъ тотъ, чьи убѣжденія ближе къ истинѣ, но безъ убѣжденій жить нельзя [78]).

Можетъ быть, профессору приходилось неоднократно высказывать этотъ взглядъ. Можетъ быть, именно благодаря такому *сердечному* толкованію отвлеченныхъ истинъ, Галичъ, опять одинъ изъ всѣхъ профессоровъ-шеллингіанцевъ, пріобрѣлъ, въ своихъ ученикахъ близкихъ, родныхъ друзей.

Когда надъ нимъ разразилось гоненіе, ученики немедленно пришли на помощь и съумѣли оказать ее любимому учителю въ такой формѣ, что Галичъ гордился своими обязательствами по отношенію къ молодежи.

«Отъ нихъ не стыдно принять помощь,—говорилъ онъ,—они мнѣ родные, насъ соединяетъ союзъ идей. И есть же въ идеяхъ какая-нибудь сила, когда вотъ и такой неискусный ловецъ, какъ я, уловляю ими сердца моихъ ближнихъ и становлюсь предметомъ ихъ любви и попеченій».

Да, сила была въ идеяхъ, и великая, и прочная, какой до философской эпохи не знало русское общество. Самыя понятія *идея, убѣжденія* явились во всемъ своемъ духовномъ величіи, облеченныя властью и чарующимъ свѣтомъ, только въ этотъ періодъ. При переходѣ изъ восемнадцатаго вѣка къ первой четверти девятнадцатаго мы попадаемъ будто въ другой міръ. Онъ не возникъ, конечно, изъ ничего: исторія не знаетъ чудесъ и внезапно-

---

[78]) Никитенко. *О. с.*, стр. 78.

стей. Даже величайшія катастрофы всегда связаны многочисленными нитями съ прошлымъ, спокойнымъ порядкомъ вещей. Русскіе философы имѣютъ своихъ духовныхъ отцовъ и свои преданія. Отцы—рѣдкія отдѣльныя личности, преданія—скромныя и часто печальныя, но это только лишней яркой чертой оттѣняетъ энергію дѣтей, отнюдь не устраняя исторической преемственности въ ихъ идеальныхъ стремленіяхъ и умственной работѣ.

Сами дѣятели философской эпохи вполнѣ сознаютъ свои отношенія къ прошлому русской образованности. Они извлекутъ изъ забвенія своихъ предшественниковъ, поспѣшатъ увѣнчать ихъ хотя бы запоздалыми лаврами и скорѣе готовы будутъ преувеличить ихъ заслуги, чѣмъ пренебречь ими.

Новиковъ явится на первомъ мѣстѣ.

«Память о немъ почти исчезла; участники его трудовъ разошлись, утонули въ темныхъ заботахъ частной дѣятельности, многихъ уже нѣтъ; но дѣло, ими совершенное, осталось: оно живетъ, оно приноситъ плоды и ищетъ благодарности потомства».

Такъ будетъ писать одинъ изъ представителей философскаго направленія и разъ навсегда точно и достойно опредѣлитъ культурное значеніе новиковской дѣятельности: «Новиковъ не распространилъ, а создалъ у насъ любовь къ чтенію» [79]).

Другой современникъ не согласится даже съ такой оцѣнкой, найдетъ ее несоотвѣтствующей дѣйствительному историческому положенію Новикова въ екатерининскую эпоху. Онъ не станетъ понижать заслугъ просвѣтителя, но посмотритъ на него не какъ на героя и исключительное обособленное явленіе, а какъ на выразителя цѣлаго теченія, перваго среди многихъ. Взглядъ въ высшей степени важный. Онъ показываетъ, какой ясный отчетъ люди двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ отдавали себѣ въ постепенномъ развитіи русской общественной мысли и на какой, слѣдовательно, твердой почвѣ стояли, защищая извѣстныя идеи.

Нашъ авторъ съ исторической точностью изобразитъ смыслъ старой аристократической образованности, исключительнаго достоянія знатныхъ русскихъ учениковъ Европы и совершенно посторонней для русскаго народа и даже русскаго общества въ широкомъ смыслѣ.

Существовали разныя высшія ученыя учрежденія и не было

---

[79]) Кирѣевскій. *Обозрѣніе русской словесности за 1829 годъ. Сочиненія* I, 20—21.

народныхъ школъ, и «когда въ высшемъ обществѣ нашемъ спорили о софистическихъ задачахъ Руссо и Гельвеція, мужики наши не имѣли понятія о необходимѣйшихъ житейскихъ отношеніяхъ. Высшія точки нашего общественнаго горизонта были освѣщены яркимъ пламенемъ европейской образованности, а низшія закрыты густымъ мракомъ вѣкового азіатства».

Такъ продолжалось съ реформы Петра, до самаго конца восемнадцатаго вѣка. Пропасть казалась непроходимой и именно люди, озаренные европейскимъ свѣтомъ, менѣе всего были расположены устранить ее, разсѣять мракъ азіатства въ народной средѣ. Вѣдь тогда могли бы поколебаться самыя основы благоденствія и тонкаго просвѣщенія «высшихъ точекъ!»

Слѣдовало народиться людямъ, не заинтересованнымъ въ народномъ невѣжествѣ, напротивъ, лично раздѣляющимъ невзгоды существующаго порядка.

Это и была *интеллигенція*, *средній классъ*, непричастный сословнымъ благамъ высшаго общества, но стоящій также и надъ народной массой и ея темнотой.

Это *третье сословіе* не въ западноевропейскомъ смыслѣ, это совершенно самобытное явленіе русской культуры, третье сословіе—не политическая сила, а исключительно умственная, точнѣе, просвѣтительная. Составъ его крайне разнообразный, постепенно мѣнявшійся въ зависимости отъ общихъ государственныхъ перемѣнъ.

Сначала то же дворянство, только не вельможное, дворянство мелкихъ чиновъ и скромныхъ служебныхъ карьеръ, потомъ «семинаристы», скоро стяжавшіе въ русскомъ обществѣ и въ литературѣ особую репутацію людей ученыхъ и педантовъ. Но именемъ «семинариста» будутъ по привычкѣ преслѣдовать и такихъ «педантовъ», какъ Бѣлинскій: очевидно, въ семинаристѣ было нѣчто помимо затхлой учености и рабьяго школьнаго духа, былъ нѣкій *контрастъ* легкому, блестящему просвѣщенію господъ благороднаго домашняго воспитанія.

И этотъ контрастъ—дѣйствительное *знаніе* и самостоятельная *мысль*. Недаромъ, первоисточникомъ русской философіи явились именно семинаріи и ея первоучителями семинаристы въ буквальномъ смыслѣ.

Съ теченіемъ времени интеллигенція пріобрѣтала новыя силы и классическое наименованіе *разночинецъ*, внѣ табели о рангахъ, все больше и больше сливалось съ другимъ именемъ новѣйшаго *литературнаго* происхожденія, но большой *исторической* давности—

интеллигентъ. Реформы шестидесятыхъ годовъ закончили процессъ, но и до послѣднихъ дней можно еще нащупать старую пропасть между «высшими точками» и «средними людьми».

И вотъ этотъ-то процессъ ясно сознавался поколѣніемъ двадцатыхъ годовъ.

Московскій Телеграфъ, обозрѣвая путь русской образованности, писалъ:

«Около конца осьмнадцатаго столѣтія, не ближе—началъ образовываться у насъ классъ среднихъ людей между *бариномъ* и *мужикомъ* существъ, то-есть тѣхъ людей, которые вездѣ составляютъ истинную, прочную основу государствъ. Изъ среды сего-то класса вышелъ Новиковъ»...

Но онъ былъ не одинъ. Авторъ не желаетъ упустить ничьихъ заслугъ, не забываетъ даже вспомнить о немногихъ дѣйствительно просвѣщенныхъ меценатахъ, правда, не называя ихъ по именамъ:

«Не Новиковъ, а цѣлое общество людей благонамѣренныхъ, при подкрѣпленіи нѣкоторыхъ вельможъ, дѣйствовало на пользу насъ, ихъ потомковъ, распространяя просвѣщеніе. Новиковъ былъ только главнымъ дѣйствующимъ лицомъ».

Его заслуга, по мнѣнію *Телеграфа*, не въ изданіи нѣсколькихъ полезныхъ книгъ и не въ умноженіи читателей *Московскихъ Вѣдомостей*, она гораздо шире и глубже: Новиковъ «первый создалъ отдѣльный отъ свѣтскаго кругъ образованныхъ молодыхъ людей средняго состоянія».

Все значеніе Карамзина исчерпывается именно его связями съ этимъ кругомъ, тѣмъ, что онъ въ обществѣ Новикова получилъ начатки умственнаго развитія и даже литературнаго таланта. Не всѣ обладали этимъ талантомъ въ равной степени, но всѣ работали на одномъ пути и съ одинаковыми цѣлями.

«Они-то внесли образованность въ тотъ отдѣлъ нашего общества, гдѣ она производитъ многозначащіе, прочные успѣхи. Въ первый разъ сочиненіями Карамзина и распространеніемъ понятій, общихъ ему и сверстникамъ его, русскіе средняго состоянія стали сближаться съ литературою. Это было начальнымъ основаніемъ общей образованности нашей, и съ сего-то времени такъ-называемый *низшій кругъ людей* сталъ сближаться съ высшимъ, разрушивъ преграды, заслонявшія общество русское отъ академій и большаго свѣта» [80].

---

[80]) *Моск. Тел.* 1830, № 2, стр. 206—208.

Но Карамзинъ, литературный и журнальный органъ новиковскаго просвѣщенія, распространялъ понятія французскаго восемнадцатаго вѣка, только безъ его вольнодумства и безбожія. Онъ современникъ «стараго порядка», и за французскимъ горизонтомъ онъ не видитъ звѣздъ, или, по крайней мѣрѣ, не понимаетъ ихъ блеска и величины.

Въ *Письмахъ русскаго путешественника* онъ много толкуетъ о Кантѣ, о Гёте, но онъ, въ сущности, равнодушенъ къ нимъ: Гёте его занимаетъ преимущественно своей внѣшностью, а Кантъ—философской славой. Но въ чемъ смыслъ этой славы, Карамзинъ не понимаетъ и въ качествѣ свѣтскаго человѣка и француза, повидимому, и понимать не стремится.

«Домикъ у него маленькой», разсказывается о Кантѣ, «и внутри приборовъ немного. Все просто, кромѣ его метафизики».

Это страшное слово освобождаетъ русскаго путешественника отъ всякаго безпокойства на счетъ нѣмецкой философіи. Его настроеніе вполнѣ подходитъ подъ извѣстное намъ изображеніе французскаго ума у г-жи Сталь. Карамзина гораздо больше интересуетъ Лафатеръ и его физіогномическія открытія, чѣмъ Кантъ и его «метафизика». Карамзинъ даже не дошелъ до азбучнаго представленія о философіи Канта, направленной именно противъ метафизики. Очевидно, для русскаго юноши это слово просто «жупелъ» и самъ философъ—курьёзъ или, самое большое, любопытная знаменитость.

Естественно, Карамзинъ спѣшитъ отмѣтить столь же знаменитаго соотечественника Канта, *не поклонника* кантовской метафизики.

Позднѣйшее поколѣніе отлично понимало смыслъ этихъ фактовъ. Карамзинъ «щеголеватый французъ душою», мало того, по природѣ даже не способный развиться до иного культурнаго идеала и до конца дней оставшійся въ предѣлахъ своихъ юношескихъ сочувствій [81]).

Раздвинуть ихъ съумѣлъ другой писатель, младшій современникъ Карамзина, искренній его почитатель, но по натурѣ совершенно на него непохожій.

Жуковскій—не по разсудочнымъ соображеніямъ, а по врожденнымъ влеченіямъ принялся за нѣмецкую поэзію, и мы указывали,

---

[81]) Н. Полевой. *Баллады и повѣсти В. А. Жуковскаго. Очерки русской литературы*. Спб. 1839, I, 104.

какое это имѣло значеніе для распространенія вообще германскихъ идей въ русскомъ обществѣ.

Но мы въ то же время объяснили, какъ ограниченъ въ сущности былъ романтизмъ русскаго поэта и какое незначительное мѣсто занималъ въ мечтательной и меланхолической поэзіи Жуковскаго первостепенный мотивъ новой европейской литературы и мысли—*національный*. А потомъ, и собственно идеи, т. е. философія, не нашли въ сердцѣ поэта сочувствія, и его современникамъ оставалось обширное поприще для изученія германскаго генія и для преобразованія отечественной литературы въ духѣ новаго умственнаго и художественнаго направленія.

Все это было ясно самимъ свидѣтелямъ литературной дѣятельности Жуковскаго. Тотъ же Полевой, отдавая полную справедливость таланту Жуковскаго, указывалъ на неподвижность этого таланта, на неизмѣнность поэтическихъ настроеній и мыслей Жуковскаго въ теченіе десятковъ лѣтъ. Не укрылось отъ критика и полное незнакомство поэта съ дѣйствительной русской народностью, и непониманіе западнаго романтизма во всемъ его художественномъ и идейномъ содержаніи.

«Поэтическая мечтательность» — все, что усвоилъ Жуковскій, въ сущности—нашелъ въ ней отвѣтъ на тоску своей души. Но это только одинъ изъ лучей романтическаго міра, другихъ поэтъ не распозналъ и не схватилъ. Онъ овладѣлъ лишь «первоначальной идеей міра не классическо-французскаго», и остался въ самомъ началѣ новаго пути.

Естественно, въ критикѣ Жуковскій не могъ создать ничего значительнаго въ томъ самомъ направленіи, какое представляла его поэзія. Не было сознательнаго проникновенія въ *идеи*, а только сочувственный откликъ на *вдохновеніе*, и романтизмъ и «германическій духъ» могли остаться мимолетными явленіями, если бы за нихъ не всталъ рядъ борцовъ *убѣжденныхъ* и *живущихъ убѣжденіями*.

Галичъ своей рѣчью о необходимости убѣжденій для самой жизни подчеркивалъ основную черту современнаго молодого поколѣнія, идейно-послѣдовательнаго и практически-преобразующаго.

Если человѣку «безъ убѣжденій жить нельзя», значитъ убѣжденія приходятъ не извнѣ, а ихъ жадно ищутъ, за нихъ отдаютъ свой покой, ради нихъ готовы на борьбу и растрату силъ.

Не со всѣми, конечно, осуществляется сполна этотъ законъ: часто борьба остается только душевной, незримой и, слѣдовательно, не вразумительной для общества. Но она непремѣнно существуетъ,

формы ея зависятъ отъ разныхъ внутреннихъ и внѣшнихъ условій, характера и мужества личности. Мы увидимъ многообразные примѣры, и мыслителей-аристократовъ, не приспособленныхъ къ открытой людской сценѣ и теряющихся при первомъ столкновеніи ихъ идеальнаго духа съ «духомъ земли»... Но рядомъ съ ними явятся и настоящіе дѣлатели жизни, не отступающіе ни передъ шумомъ и пестротой толпы, ни передъ неудобствами боевой арены. Но и у тѣхъ, и у другихъ будетъ одно общее, дѣлающее ихъ родными по духу и превращающее силы отдѣльныхъ личностей въ великое движеніе эпохи: отвлеченная мысль, оживотворенная личнымъ горячимъ участіемъ, убѣжденіе, совпадающее съ вѣрой.

Это до такой степени типичныя, всѣмъ одинаково свойственныя черты, что *основы* міросозерцанія русскаго философскаго поколѣнія мы можемъ разбирать, не разбивая нашего разсужденія по отдѣльнымъ философамъ и ихъ произведеніямъ.

Единодушіе въ частностяхъ недостижимо: на этомъ настаивалъ еще Галичъ. Не было единодушія мыслителей и въ германской мысли какого бы то ни было направленія. Даже больше—не было неуклонной послѣдовательности въ собственномъ философствованіи Шеллинга. Но это не мѣшало существовать вполнѣ опредѣленнымъ *принципамъ* системы, для всѣхъ одинаково обязательнымъ.

Естественно, у каждаго изъ русскихъ шеллингіанцевъ, у Кирѣевскаго, Одоевскаго, Веневитинова явятся свои собственныя соображенія и выводы, особенно касательно практическаго приложенія философскихъ данныхъ. Но всѣ они и для себя самихъ, и для исторіи—исповѣдники одного толка и общественные просвѣтители во имя одного и того же идеала.

XXXIII.

Перечитывая воспоминанія, записки, сочиненія современниковъ философской эпохи, мы безпрестанно встрѣчаемся съ разсказами на одну и ту же тему, какъ въ былые годы молодежь увлекалась философскими спорами, сколько страсти и увлеченія вносила въ рѣшеніе вопросовъ, повидимому, совершенно безстрастнаго и неличнаго характера. Азартъ начался съ Фихте и Шеллинга и во всей полнотѣ и свѣжести перешелъ на гегельянство.

Много обыкновенно говорятъ о русскомъ равнодушіи, нелюбопытствѣ, безъидейности русской жизни, а вотъ предъ нами сцены часто умилительной наивности, самаго подлиннаго донкихотства

и въ то же время сцены, преисполненныя напряженной мысли и безкорыстнѣйшаго увлеченія надеждами на личное и общественное совершенствованіе.

Слово философія для этихъ людей заключаетъ въ себѣ «нѣчто магическое». Оно говоритъ будто о невѣдомомъ, только что открытомъ мірѣ, зажигаетъ жажду проникнуть въ его тайны, заставляетъ читателей набрасываться на самыя невразумительныя и запутанныя книги только потому, что въ нихъ идетъ рѣчь о нѣмецкомъ «любомудріи» [82]).

Спорамъ и разговорамъ нѣтъ конца. Они завязываются всюду, при малѣйшемъ поводѣ, въ университетской аудиторіи, въ квартирѣ товарища, даже на улицѣ при разставаньи юные философы не могутъ окончить бесѣды и способны «всполошить всю улицу» [83]).

Ни тяжкая болѣзнь, ни даже приближеніе конца не угашаетъ священнаго огня. Друзья приходятъ къ больному, проводятъ цѣлые дни у его постели, но философія не сходитъ со сцены, и, можетъ быть, именно печальное зрѣлище недуга и грядущей смерти еще выше поднимаетъ стремительность юношей къ «задачамъ, коихъ разрѣшеніе скрывается въ глубинѣ таинственныхъ стихій, образующихъ и связующихъ жизнь духовную и жизнь вещественную» [84]). И авторъ этихъ строкъ даетъ подлинное изображеніе нравственной природы своихъ сверстниковъ, изображая неотразимость и неизмѣнность «сего стремленія»:

«Ничто не останавливаетъ его, ни житейскія печали и радости, ни мятежная дѣятельность, ни смиренное созерцаніе; сіе стремленіе столь постоянно, что иногда, кажется, оно происходитъ независимо отъ воли человѣка, подобно физическимъ отправленіямъ».

Никакія историческія перемѣны и перевороты не устраняютъ его. Все исчезнетъ—нравы, идеи, привычки, а «чудная задача всплываетъ надъ усопшимъ міромъ». Часто осмѣянная, развѣнчанная сомнѣніями, она у новыхъ поколѣній опять находитъ страстное сочувствіе и снова съ прежней силой волнуетъ умы.

И не только умы избранныхъ, оставляющихъ прочный слѣдъ въ умственномъ движеніи эпохи. Великіе вопросы захватываютъ

---

[82]) Кирѣевскій, въ ст. о кн. Надеждина *Опытъ науки философіи*. «Москвитянинъ» 1845, кн. II, отд. *Библіографія*, стр. 33 etc., подписано *К*.

[83]) Одоевскій. *Русскія ночи. Сочиненія*. Спб. 1844, II, 10.

[84]) Такъ происходило во время предсмертной болѣзни Веневитинова. *Воспоминанія* Кошелева. Колюпановъ. *О. с.* II, 120. Одоевскій. *Сочин.* II, III—IV.

людей обыкновенныхъ, среднихъ способностей, и именно они своимъ большинствомъ еще ярче окрашиваютъ извѣстнымъ идейнымъ цвѣтомъ цѣлую эпоху.

Намъ описываютъ не только блестящія сраженія первостепенныхъ талантовъ, философскій бой идетъ по всей линіи молодежи тридцатыхъ годовъ. Кирѣевскій находитъ достойнаго соперника въ лицѣ будущаго дерптскаго профессора Розберга, отнюдь не блестящаго и многоученаго, но сильнаго общей силой времени, ловкаго діалектика въ популярныхъ философскихъ темахъ и неутомимаго подъ вліяніемъ всеобщаго увлеченія.

Очевидецъ разсказываетъ:

«Помню, что разъ, какъ-то вечеромъ, завязался споръ, не кончившійся до глубокой ночи, и, чтобы окончить его, согласились собраться на другой день у Кирѣевскаго. На другой день явились тамъ всѣ спорившіе, но жаркое состязаніе длилось, наконецъ, до того, что, наконецъ, Розбергъ, усталый, утомленный, перемѣнившійся въ лицѣ отъ двухъ-дневнаго спора, съ глубокимъ убѣжденіемъ и очень торжественно произнесъ:

— Я не согласенъ, но спорить больше нѣтъ силъ у меня» [85]).

Увлеченіе не минуетъ людей съ совершенно положительнымъ практическимъ направленіемъ. Именно это направленіе и окрылитъ современныхъ ловителей момента, сообщитъ ихъ дѣятельности возвышенный идейный характеръ, и достаточно обладать извѣстной культурностью натуры, общественными инстинктами, чтобы въ это столь фанатически-философствующее время превратиться въ серьезнаго работника на пути просвѣщенія и прогресса.

Именно это произошло съ Николаемъ Алексѣевичемъ Полевымъ. Впослѣдствіи мы подробно оцѣнимъ его литературныя заслуги, пока намъ достаточно указать въ немъ одного изъ любопытнѣйшихъ витязей новаго умственнаго движенія.

Полевой явился въ Москву съ большимъ запасомъ энергіи, съ наслѣдственными практическими талантами купеческаго сына, съ рѣшительнымъ желаніемъ пробить себѣ видную и не заурядную дорогу не въ коммерческомъ мірѣ, а въ высшей интеллигенціи.

Очевидно, подобный человѣкъ — наилучшій пробный камень своей современности, точный показатель ея духовныхъ нуждъ и стремленій. И Полевой на первыхъ же порахъ принимается за философію, за шеллингіанство.

---

[85]) Ксеноф. Полевой. *О. с.*, 154.

У него нѣтъ школьной подготовки, онъ самоучка, и если впослѣдствіи Бѣлинскому придется довольно окольными путями доходить до гегельянства, — для Полевого задача еще болѣе усложняется.

Но она должна быть разрѣшена во что бы то ни стало, даже если журналистъ разсчитываетъ на самую обыкновенную публику, просто на подписчиковъ и читателей своего изданія.

Разсчеты Полевого вполнѣ практичны и основательны. Онъ ихъ и не скрываетъ ни отъ кого, разъясняетъ въ своемъ журналѣ, твердо убѣжденный въ ихъ достоинствѣ и цѣлесообразности. По его мнѣнію, въ журнальной дѣятельности «главное сыскать скользскую дорожку, которая вьется между излишнею важностью и ничтожною легкостью», не душить читателя длинными сухими статьями, списанными съ огромныхъ книгъ [86]). Удобочитаемость, общедоступность, новизна и свѣжесть содержанія—идеалъ журнальнаго писателя.

Легко оцѣнить, какая честь будетъ оказана философіи, если на нее обратитъ вниманіе такой искусный и дѣятельный работникъ литературы. Это значитъ, внѣ философіи буквально нѣтъ спасенія, какъ бы публика ни любила «легкія какъ пухъ книжечки».

И Полевой быстро превращается въ усерднѣйшаго шеллингіанца.

Усердіе, повидимому, практикуется исключительно въ бесѣдахъ съ людьми свѣдущими, пріятелями и даже случайными знакомыми. Эта стремительность вызоветъ насмѣшки многихъ очевидцевъ и въ томъ числѣ Пушкина [87]). Журналисты будутъ укорять издателя *Телеграфа* въ «неясномъ безпокойствѣ объ одномъ всеобщемъ началѣ», въ «безотчетномъ желаніи дать во всемъ себѣ отчетъ», «въ безсильномъ стремленіи къ неопредѣленнымъ общимъ идеямъ, въ какой-то міръ пустоты абсолютной, проистекающемъ не изъ внутренняго убѣжденія, не отъ богатства силъ и знаній, не отъ чтенія идеалистовъ-философовъ, но пріобрѣтенномъ по невѣрнымъ слухамъ о германскихъ теоріяхъ» [88]).

Мы увидимъ, насколько справедливы эти обвиненія и до какой степени серьезно Полевой успѣлъ ознакомиться съ современ-

[86]) *Моск. Телеграфъ.* 1825, I.

[87]) Дѣтскія сказки. *Вѣтреный мальчикъ.* Сочин. V, 107.

[88]) *Московскій Вѣстникъ*, 1828 г., ср. Весинъ. *Очерки исторіи русской журналистики.* Спб. 1881, стр. 101.

ными идеями, необходимыми для его критики и публицистики. Для насъ важенъ фактъ, свидѣтельствующій о нетерпѣливой жаждѣ популярнѣйшаго журналиста — познать тайны германскаго любомудрія.

Изъ источника, безусловно благосклоннаго къ Полевому, мы узнаемъ, какъ ловились эти тайны на лету, брались приступомъ съ одного натиска, будто единственное спасеніе для ума и сердца.

Напримѣръ, любопытенъ путь, какимъ шеллингіанство дошло до Полевого. У извѣстнаго намъ проф. Павлова былъ сослуживецъ по земледѣльческой школѣ Андросовъ. Онъ, постоянно встрѣчаясь съ Павловымъ, увлекся философіей Шеллинга. Съ нимъ познакомился Полевой, и въ результатѣ новый прозелитъ. Полевой жадно набросился на новыя для него идеи, по обыкновенію, слѣдовали цѣлые вечера споровъ и этого довольно для «воспріимчиваго» слушателя. «Онъ усвоилъ себѣ нѣкоторыя идеи трансцедентальной философіи, — прибавляетъ разсказчикъ, — сталъ читать книги, написанныя въ духѣ ея, и былъ уже приверженцемъ новыхъ взглядовъ, когда судьба сблизила его со многими молодыми людьми, изучавшими нѣмецкую философію» [89]).

Эта простая исторія можетъ считаться типичной. Весьма многіе современники философской эпохи именно такимъ путемъ превращались въ философовъ и горячихъ распространителей философіи.

Если извѣстное міросозерцаніе можно усвоить помимо книгъ и лекцій, — явное доказательство, что оно само превратилось въ общественную школу, овладѣло не только умами, но самой жизнью наиболѣе развитыхъ людей и стало насущной духовной пищей цѣлаго поколѣнія.

Это превращеніе и совершалось съ шеллингіанствомъ. Оно переполняло атмосферу двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ и неизмѣнно встрѣчало каждаго ученаго и литературнаго дѣятеля въ самомъ началѣ его пути.

Впослѣдствіи гегельянство станетъ рядомъ съ философіей Шеллинга, успѣетъ вытѣснить ее изъ оборота русской молодежи, но та же напряженность философскихъ страстей останется во всей неприкосновенности, пожалуй, даже усилится. Гегель на нѣкоторое время займетъ положеніе непогрѣшимаго учителя и найдетъ послѣдователей среди даровитѣйшихъ русскихъ искателей истины.

---

[89]) Кс. Полевой, 89.

Это будетъ новой волной стараго теченія, и съ нею отнюдь не изсякнетъ самый потокъ. Гегеля смѣнятъ другіе, менѣе властные вожди русскихъ молодыхъ поколѣній, но и имъ будутъ принесены обильныя жертвы чисто-ученическаго энтузіазма, часто даже болѣе беззавѣтнаго, въ честь Конта или Бокля, чѣмъ раньше—Шеллинга и Гегеля.

Слѣдовательно, молодые русскіе шеллингіанцы въ полномъ смыслѣ родоначальники великаго періода въ исторіи русскаго просвѣщенія. Къ нимъ, увлекающимся и юнымъ, вполнѣ приложима патріотическая мысль Леопарди, обѣщавшаго «патріархамъ» своей родины вѣчную хвалу «дѣтей».

Наши «патріархи» часто далеко не доживали до внушительнаго возраста, преждевременная смерть полагала конецъ блестящимъ надеждамъ друзей такихъ людей, какъ Веневитиновъ, Станкевичъ, и наименованіе «патріарховъ» можетъ произвести на насъ впечатлѣніе грустной ироніи. Но дѣло не въ продолжительности жизненнаго пути: на этотъ счетъ судьба русскихъ писателей извѣстна своей безжалостностью, а въ его нравственномъ значеніи и изумительной содержательности.

Эти люди умѣли очень рано *начинать* и многое *передумать* уже въ тѣ годы, когда для иныхъ поколѣній едва одолима школьная наука и часто совершенно непреодолима душевная истома и умственный холодъ — плоды этой науки. Умѣть не учиться, а учить себя, не «получать образованіе», а искать и находить его, не «удовлетворять требованіямъ современнаго просвѣщенія», а ставить ихъ,—вотъ въ чемъ существенная разница философскаго поколѣнія отъ его предшественниковъ и преемниковъ. Она коренится на совершенно опредѣленной нравственной почвѣ, составлявшей, повидимому, исключительный завидный удѣлъ философской эпохи. Ее объяснили сами же молодые философы: это невольное и непреодолимое стремленіе, будто физическое отправленіе, разрѣшить высшія задачи личной и общественной жизни.

XXXIV.

Шеллингіанство, по своему составу какъ нельзя болѣе приспособлено стать философіей молодости. Въ немъ столько поэзіи, столько задачъ воображенію и творчеству, такой неисчерпаемый запасъ величественныхъ идей и увлекательнѣйшихъ перспективъ, что самое поверхностное знакомство съ системой можетъ сообщить

сильнѣйшее возбужденіе всѣмъ духовнымъ силамъ отзывчивой юношеской натуры.

Такъ происходило съ русскими шеллингіанцами.

Первыя начала «любомудрія» они пріобрѣтаютъ еще въ школѣ или даже во время домашняго воспитанія.

Главной философской школой въ Москвѣ является не университетъ, а университетскій благородный пансіонъ. Здѣсь жизнь и ученье отличались гораздо большей свободой, чѣмъ въ университетѣ, воспитатели и профессора тѣснѣе сживались съ воспитанниками, вносили въ свои занятія больше личнаго интереса и идейнаго содержанія, чѣмъ въ университетскія лекціи.

Въ этомъ отношеніи пансіонъ занималъ привилегированное и въ высшей степени выгодное положеніе. Въ его стѣнахъ даже такіе сановитые подвижники оффиціальной учености, какъ Давыдовъ, превращались въ гуманныхъ и разумныхъ руководителей юношества.

Собственно всѣ сочувственныя извѣстія о Давыдовѣ связаны съ его пансіонской дѣятельностью. Онъ давалъ воспитанникамъ читать книги, бесѣдовалъ съ ними, даже издавалъ ихъ рѣчи и стихотворенія въ особомъ пансіонскомъ альманахѣ, знакомилъ молодежь съ философіей и шеллингіанствомъ.

Эти факты показываютъ, на какой путь могла бы направиться и университетская служба Давыдова, если бы внѣшнія силы не помогли превратиться ему въ *чиновника* и компилятора.

Во всякомъ случаѣ, пансіонеры многимъ были обязаны Давыдову, и именно въ литературномъ развитіи. Въ пансіонѣ происходили засѣданія Общества любителей россійской словесности, его предсѣдатель, Прокоповичъ-Антонскій, состоялъ въ тоже время директоромъ пансіона, человѣкъ добрый, сердечный, религіозно-мечтательный и даже мистикъ, но истинный другъ юношества. Давыдовъ одно время исполнялъ должность инспектора, и во главѣ съ этими двумя руководителями пансіонъ преуспѣвалъ. Съ 1821 г. къ нимъ присоединился Павловъ, и въ пансіонѣ окончательно водворилась философія.

До какой степени лекціи Павлова воздѣйствовали на слушателей, показываетъ произведеніе одного изъ пансіонеровъ, кн. Одоевскаго.

Автору было всего девятнадцать лѣтъ, и онъ призвалъ всю силу юношескаго увлеченія для прославленія философіи. Она, что солнце среди планетъ, источникъ свѣта для всѣхъ наукъ. Она—единственное средство опредѣлить вѣрность или ошибочность на-

шихъ идей. Она одинаково необходима и полезна и въ политической жизни, и въ частной, и въ семейной [90]).

Эти мысли могли быть непосредственнымъ отраженіемъ лекцій Павлова. Но одновременно у пансіонеровъ существовалъ другой, не менѣе глубокій интересъ. Общество словесности дѣйствовало на ихъ глазахъ, они привлекались къ живому участію въ его засѣданіяхъ и между собой, подъ руководствомъ Давыдова, составляли свои собранія.

Естественно, русскій языкъ и русская литература заняли первенствующее мѣсто въ пансіонскомъ образованіи. Начальство поощряло самостоятельную дѣятельность воспитанниковъ, давало имъ темы для публичныхъ рѣчей, печатало эти рѣчи. Пансіонеры жили въ литературной атмосферѣ, лично безпрестанно сталкиваясь съ представителями современной науки и словесности.

Болѣе цѣлесообразной школы для подготовленія будущихъ литературныхъ дѣятелей трудно и представить, и кн. Одоевскій всецѣло обязанъ пансіону своими авторскими стремленіями

По выходѣ изъ пансіона, столь тщательно развитыя наклонности не могли заглохнуть. Общія сочувствія невольно единили молодежь, нашелся и человѣкъ, какъ нельзя болѣе способный быть центромъ единенія.

Раичъ, сохранившій въ исторіи литературы извѣстность какъ переводчикъ *Освобожденнаго Іерусалима*, лѣтами былъ много старше университетской молодежи, но душой стоялъ на одномъ уровнѣ съ ея идеалистическими стремленіями, можетъ быть, даже многихъ превосходилъ отрѣшенной мечтательной поэтичностью натуры. Современники называютъ Раича поэтомъ-младенцемъ, добродушнѣйшимъ человѣкомъ, безкорыстнымъ, чистымъ, олицетворенной буколикой. Страстная преданность литературѣ соединялась въ немъ съ серьезной ученостью [91]). Лучшаго объединителя молодежь не могла желать.

Въ кружкѣ съ самаго начала встрѣчаются имена съ будущей громкой литературной извѣстностью: кн. Одоевскій, братья Кирѣевскіе, Полевой, Погодинъ, кн. Вяземскій, Веневитиновъ, Кюхельбекеръ. Цѣли преслѣдовались исключительно литературныя. Общество собиралось по два раза въ недѣлю и члены читали свои произведенія и переводы. Общество выпустило нѣсколько альма-

---

[90]) Сумцовъ. *Кн. В. Ѳ. Одоевскій*. Харьковъ. 1884, стр. 5.

[91]) Барсуковъ, I, 161—2.

наховъ съ избранными стихотвореніями современныхъ поэтовъ, и естественно напало на мысль объ изданіи журнала.

Какіе же планы представлялись начинающимъ писателямъ и во имя какихъ идей они готовились выступить на путь публицистики, столь неблагодарный и многотрудный въ ихъ время?

Мы знаемъ, какъ Полевому рисовалась дѣятельность журналиста и въ чемъ издатель *Телеграфа* полагалъ свои нравственныя обязанности и общественное просвѣщеніе. Основная цѣль — доступность и свѣжесть мыслей и фактовъ, популяризація въ совершеннѣйшемъ смыслѣ слова. Журналистъ долженъ вмѣшаться въ толпу, приноровиться къ ея пониманію и языку, потому что его идеалъ—быть понятымъ и создать своей дѣятельностью не избранный кружокъ сочувственниковъ, а публику, аудиторію, охватывающую, по возможности, всѣхъ читателей.

И мы увидимъ, съ какимъ успѣхомъ Полевой достигъ своей цѣли.

Его журналъ не только не открещивался отъ философіи, но, напротивъ, полагалъ ее въ основу своей критики. Съ самаго начала изданія журналъ переполненъ шеллингіанскими идеями, но предлагались онѣ публикѣ въ самыхъ изящныхъ и привлекательныхъ уборахъ: ни бойкость пера, ни ясность мысли не измѣняли писателямъ *Телеграфа*, все равно, описывали они моды или вводили читателя въ таинство абсолюта.

Въ результатѣ выходило очень искусное практическое и въ то же время безусловно литературное предпріятіе. Полевой обнаружилъ истинный талантъ общественнаго дѣятеля совершенно исключительнымъ умѣньемъ слить культурныя задачи журналистики съ ея широкимъ вліяніемъ. И мы раздѣляемъ похвалу хотя бы очень заинтересованнаго лица политикѣ *Телеграфа*: его философія «незамѣтно усвоивалась читающей публикой» [92]).

Нѣчто другое на томъ же пути произошло съ молодыми современниками Полевого и его сотоварищами по кружку Раича.

Полевой, при столь ловкомъ приложеніи своихъ не особенно глубокихъ и обширныхъ философскихъ познаній, сохранилъ большой запасъ сдержанности и трезвости въ увлеченіяхъ шеллингіанствомъ. Онъ ни на минуту не питалъ намѣренія журналъ свой сдѣлать исключительнымъ органомъ нѣмецкой философіи и душу свою положить за «любомудріе». Онъ съумѣлъ удержаться на

---

[92]) Ксеноф. Полевой, 158.

срединѣ между простой эксплуатаціей модныхъ идей и беззавѣтной рыцарской преданностью имъ. Недаромъ, говорятъ, его любимымъ присловіемъ была французская фраза, означавшая: «это сообразно съ обстоятельствами», «это глядя по дѣлу»... Большой секретъ уловить *относительное* значеніе вопроса въ кругу другихъ и разрѣшать его въ данномъ направленіи!

Полевой именно такъ воспользовался философіей.

«Журнальная смѣтливость издателя», говоритъ его ближайшій сотрудникъ была такова, «что онъ никогда не увлекался въ однообразное направленіе всегда имѣя въ виду общность своихъ читателей» [93]).

Товарищи Полевого также выступили впослѣдствіи на поприще издателей, и не имѣли тѣни успѣха сравнительно съ Полевымъ.

Дѣло объясняется просто, изъ *психологіи* философскихъ увлеченій издателя *Телеграфа* и его конкуррентовъ.

Прежде всего, даровитѣйшіе изъ нихъ—Одоевскій, Кирѣевскій, Веневитиновъ—по происхожденію благородные юноши, изящнаго и даже тонкаго воспитанія, въ высшей степени культурные и просвѣщенные, но въ такой же степени удаленные отъ *дѣйствительности* и *толпы*.

Эти два термина для двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, и даже позже, въ полномъ смыслѣ техническіе, означаютъ особый міръ, противоположный другому,—не дѣйствительности и не толпы, міру идей и исключительныхъ существъ, міру философіи и поэзіи.

Мы очень часто можемъ слышать отъ молодыхъ шеллингіанцевъ слова дѣйствительность, народъ, но мы не должны поддаваться сладкимъ звукамъ. Мы должны помнить, дѣйствительность имѣетъ многообразныя значенія, и впослѣдствіи, въ періодъ гегельянства, именно это понятіе принесетъ величайшія бѣдствія русской критикѣ.

Вопросъ, что̀ разумѣть подъ дѣйствительностью? Вѣдь, и профессора-шеллингіанцы, въ родѣ Галича и Надеждина, твердили о ней, и это не помѣшало одному гордо парить въ заоблачныхъ высотахъ «изящнаго», а другому — уничтожать какъ разъ самыя дѣйствительныя произведенія отечественной поэзіи и возмущаться ихъ излишней близостью къ землѣ.

То же самое понятія народъ, нація.

Эти слова съ большимъ эффектомъ произносились еще Карамзинымъ, ихъ постоянно повторяли теоретики романтизма, и тотъ

---

[93]) *Ib.*, 157.

же Надеждинъ въ основу литературнаго прогресса полагалъ, между прочимъ, *народность*.

Но мы знаемъ, чего стоило народолюбіе чувствительныхъ сочинителей, видѣли также, до какихъ предѣловъ доходило народничество московскаго профессора. Онъ все-таки аристократъ книги и кабинета, онъ для себя самого единственно взрослый и *сознательно-творящій* человѣкъ, а народъ—лепечущій младенецъ или даже свистящій соловей.

Молодые шеллингіанцы будутъ одарены слишкомъ развитымъ художественнымъ чувствомъ, органической и принципіальной гуманностью,—они уйдутъ далеко сравнительно съ профессорами въ идеяхъ о дѣйствительности и народѣ. Но это будетъ преимущественно *теоретическое* движеніе.

Наши философы, въ ближайшихъ своихъ намѣреніяхъ, живо напомнятъ намъ «старенькихъ романтиковъ» Тургенева.

Они вполнѣ искренно стремились и сближаться съ народомъ, и благодѣтельствовать ему, принимались даже за предпріятія на пользу народа по самымъ послѣднимъ словамъ науки, и результаты далеко не соотвѣтствовали ни планамъ, ни дѣламъ. И вы помните, въ какое траги-комическое положеніе попадаетъ Павелъ Кирсановъ съ своими фермами и комитетами.

Такой неистощимый запасъ доброй воли, такая бездна благороднѣйшихъ идей и такіе жестокіе уроки дѣйствительности!

Очевидно, нѣтъ,—въ самой природѣ романтиковъ нѣтъ силъ одолѣть эту дѣйствительность, потому что отвлеченныя идеи о ней не стоятъ на уровнѣ съ ея жизненнымъ смысломъ.

Эти замѣчанія потребуются намъ на каждомъ шагу при точной оцѣнкѣ философскихъ и критическихъ идей русскихъ шеллингіанцевъ, и въ результатѣ, рядомъ съ великими заслугами, предъ нами откроется и великій изъянъ. Мы поймемъ, на сколько для Полевого оказалось цѣлесообразнѣе быть меньше философомъ и больше публицистомъ, а Пушкину даже мало интересоваться теоріями и слѣдовать внушеніямъ своей творческой природы—запускать руку въ самую подлинную дѣйствительность и класть на свои картины самые яркіе фламандскіе штрихи.

XXXV.

«Въ началѣ XIX вѣка Шеллингъ былъ тѣмъ же, чѣмъ Христофоръ Колумбъ въ XV. Онъ открылъ человѣку неизвѣстную

часть его міра, о которой существовали только какія-то басно-словныя преданія—*его душу*».

Таковъ смыслъ шеллингіанства, по мнѣнію Одоевскаго [94]). Мы знаемъ, то же самое писала Сталь о всей германской философіи. Если русскій философъ приписываетъ заслугу только Шеллингу, очевидно, это плодъ исключительнаго увлеченія извѣстной системой.

И тотъ же Одоевскій объясняетъ, почему Шеллингъ удостоился привилегіи.

«Для счастья человѣка необходимо одно: свѣтлая, обширная аксіома, которая обняла бы все и спасла бы его отъ муки сомнѣнія: ему нуженъ свѣтъ незаходимый и неугасаемый, живой центръ для всѣхъ предметовъ, словомъ, ему нужна истина, но истина полная, безусловная».

Авторъ отличительной чертой своего времени считаетъ «желаніе выйти изъ скептицизма, чему-либо вѣрить».

И предметъ вѣры, несомнѣнно, существуетъ. «Потребность свѣтлой истины свидѣтельствуетъ о существованіи сей истины». Даже больше. Сомнѣнія противны человѣческой природѣ, именно вѣра, истина, аксіома—не только возможны, но законны и естественно необходимы.

Но истина недостижима для наукъ и особенно для современныхъ, разрозненныхъ, мелочныхъ, сплошь скептическихъ. Вѣрный путь указанъ Шеллингомъ, и русскій авторъ, объясняя идеи германскаго философа, почти буквально повторяетъ упомянутое нами выше разсужденіе Платона о совершенномъ знаніи, превосходящемъ даже математику. Она связана съ чертежами, т. е. внѣшними явленіями, а совершенное знаніе должно достигаться *внутреннимъ* путемъ, у Платона—діалектическимъ, у Шеллинга—созерцательнымъ.

Шеллингъ, по мнѣнію Одоевскаго, поставилъ задачу всему девятнадцатому вѣку, и разработка этой задачи «должна наложить на него характеристическую печать, и гораздо вѣрнѣе выразить его внутренное значеніе въ эпохахъ міра, нежели всѣ возможные паровики, винты, колеса и другія индустріальныя игрушки».

Сравненіе въ высшей степени краснорѣчивое, когда мы дальше узнаемъ смыслъ задачи. Практическая дѣятельность вѣка въ глазахъ русскаго шеллингіанца блѣднѣетъ предъ отвлеченнымъ вопросомъ и притомъ не разсудочнымъ и не логическимъ, а неуловимымъ и таинственнымъ.

---

[94]) *Сочиненія*. I, 15.

Шеллингъ «отличилъ безусловное, самобытное, свободное самовоззрѣніе души отъ того воззрѣнія души, которое подчиняется, напримѣръ, математическимъ, уже *построеннымъ* фигурамъ: онъ призналъ основу всей философіи во внутреннемъ чувствѣ, онъ назвалъ первымъ знаніемъ знаніе того акта нашей души, когда она обращается на самую себя и есть вмѣстѣ и предметъ, и зритель».

Эта дѣятельность можетъ быть возбуждена отнюдь не логическимъ путемъ, не при помощи силлогизма или факта, потому что силлогизмомъ можно *доказать*, но не *увѣрить*.

Обратите вниманіе на это точное различіе: доказательство не есть увѣренность и научная истина не есть истина, достойная вѣры. Къ такой истинѣ единственный путь — *эстетическій*, т. е. *вдохновеніе* [95]).

Во всѣхъ этихъ разсужденіяхъ для насъ ничего нѣтъ новаго, и Одоевскій самъ приводитъ цитаты изъ сочиненій Шеллинга.

Любопытно другое: русскій шеллингіанецъ съ восторгомъ идетъ за учителемъ и, признавъ эстетическую способность высшей, впадаетъ въ самый подлинный *символизмъ*.

Слово получило громкую популярность только въ наше время, но всѣ данныя для символической теоріи искусства заключались въ романтизмѣ и шеллингіанствѣ, именно въ ихъ общей идеализаціи творчества, какъ откровенія совершенныхъ истинъ.

Отсюда послѣдовательно вытекаетъ, во-первыхъ, крайне выспреннее представленіе объ избранникахъ, обладающихъ даромъ творчества, а потомъ—благоговѣйное отношеніе къ самому творчеству.

Вся философская литература тридцатыхъ годовъ переполнена апоѳеозами поэта, поэтическаго таланта, геніальной личности. А такъ какъ всякій апоѳеозъ, естественно, требуетъ контраста для своего блеска, этимъ контрастомъ явится толпа, будничная дѣйствительность, и аристократическое настроеніе проникнетъ въ литературную дѣятельность именно тѣхъ благородныхъ юношей, которые менѣе всего способны были питать сословные предразсудки по происхожденію и страдать цеховой нетерпимостью—по своей учености.

Веневитиновъ, краснорѣчивѣйшій ораторъ философскаго кружка, очень ярко выразилъ ходячее понятіе своихъ сверстниковъ о поэтѣ въ слѣдующемъ стихотвореніи:

---

[95]) *Ib.* I, 283 etc.

О, если встрѣтишь ты *его*
Съ раздумьемъ на челѣ суровомъ,
Пройди безъ шума близъ него,
Не нарушай холоднымъ словомъ
Его священныхъ тихихъ сновъ;
Взгляни съ слезой благоговѣнья
И молви: это сынъ боговъ,
Любимецъ музъ и вдохновенья.

Другіе поэты не отставали отъ Веневитинова въ усердіи возвеличивать свое назначеніе среди смертныхъ и даже безсмертныхъ. Насъ безпрестанно увѣряютъ во всемогуществѣ поэтическаго таланта, въ родствѣ поэта съ ангелами, звуки лиры отожествляются съ перунами Зевса, а чародѣй, ихъ извлекающій — имѣетъ свободный доступъ къ тайнамъ ада и рая.

Журналы печатаютъ статьи *О достоинствѣ поэта*, студенты, съ одобренія профессоровъ, говорятъ рѣчи на тѣ же темы съ университетской каѳедры въ присутствіи высшаго начальства [96]).

Можно ли, послѣ этого, укорять Пушкина, если онъ—дѣйствительный поэтъ цѣлой эпохи — заявитъ о преимуществахъ поэта надъ толпой? Пушкинъ могъ имѣть безчисленные поводы къ личному гнѣву на современную ему толпу—и читателей, и болѣе всего критиковъ. Но и безъ этого гнѣва онъ имѣлъ право въ *своей* поэзіи дать мѣсто идеѣ, считавшейся философской общепризнанной истиной.

Но разъ поэзія не только литература, а своего рода божественное откровеніе, она далеко не всегда можетъ быть доступной, понятной во всей своей глубинѣ, т. е. не всегда можетъ найти соотвѣтствующую форму. Все равно, какъ не научный опытъ даетъ истину, а только созерцаніе, такъ и слова не въ силахъ выразить идеи, а только развѣ намекнуть на нее, навести на мысль, но отнюдь не представить ее во всей полнотѣ и точности.

Душа невыразима рѣчью, и Одоевскій ссылается на Бетховена. Геніальный музыкантъ сѣтовалъ, что онъ никогда не могъ передать бумагѣ своихъ чувствъ и своего воображенія. Онъ въ исполненіи своей музыки слышалъ не то, что чувствовалъ, даже не то, что написалъ.

То же самое творческія идеи: онѣ никогда не могутъ быть переданы словами.

Каждая рѣчь обманъ и для насъ, и для нашихъ собесѣдниковъ. Каждому слову мы прибавляемъ понятіе, не выражаемое сло-

---

[96]) Ср. Весинъ, 176. Прозоровъ. *О. с.*, стр. 13.

вами и созданное не внѣшнимъ предметомъ, а «самобытно и безусловно исшедшее изъ нашего духа». Единственная возможность для двухъ даже единомышленныхъ людей понять другъ друга— «говорить искренно и отъ полноты душевной». Надо, такъ сказать, взаимно сблизить души, установить связь безсознательную, непосредственную, и тогда идеи собственно будутъ не выясняться, а внушаться, не передаваться, а инстинктивно восприниматься.

Въ бесѣдѣ можетъ не быть видимой логической связи и стройности, а между тѣмъ именно этотъ процессъ передачи идей и будетъ самымъ цѣлесообразнымъ. Мы его должны имѣть въ виду, особенно при объясненіи философическихъ понятій: они, выраженныя словами, простые звуки и могутъ имѣть тысячи произвольныхъ значеній, но одно настоящее достижимо только путемъ внутренняго проникновенія въ смыслъ понятія.

Отсюда — необходимость аналогій и сопоставленій, т. е. *символовъ.*

«Ты знаешь мое неизмѣнное убѣжденіе, — говоритъ Фаустъ у Одоевскаго, — что человѣкъ, если и можетъ рѣшить какой-либо вопросъ, то никогда не можетъ вѣрно поревести его на обыкновенный языкъ. Въ этихъ случаяхъ я всегда ищу какого-либо предмета во внѣшней природѣ, который по своей аналогіи могъ служить хотя приблизительнымъ выраженіемъ мысли».

Когда мы читаемъ эти разсужденія, мы чувствуемъ себя въ самой современной атмосферѣ символизма. Совпаденіе доходитъ до тожественности старыхъ шеллингіанскихъ идей съ «откровеніями» новѣйшихъ авторовъ.

У Метерлинка, напримѣръ, есть въ высшей степени любопытная статья *Le Réveil de l'âme — Пробужденіе души.* Начинается она заявленіемъ, что наступитъ и уже наступаетъ удивительное время: наши души будутъ сообщаться другъ съ другомъ безъ посредства физическихъ чувствъ. Произойдетъ освобожденіе нашей духовной стихіи и люди приблизятся другъ къ другу, взаимно проникая въ думы и чувства, безъ помощи словъ и внѣшнихъ выраженій. Знаки и слова утратятъ значеніе, все будетъ рѣшаться таинственнымъ воздѣйствіемъ *присутствія* одного человѣка на другого. И уже теперь люди стали неизмѣримо болѣе чуткими къ психической жизни другъ друга, уже теперь многое угадывается и невольно понимается, что раньше требовало вмѣшательства рѣчи [97]).

[97]) Maurice Maeterlinck. *Le Trésor des Humbles.* Paris. 1896, p. 29 etc.

Несомнѣнно, отъ этихъ соображеній не отказались бы и наши философы тридцатыхъ годовъ: такъ мало новаго подъ солнцемъ!

Кирѣевскій идетъ еще дальше. Онъ прямо защищаетъ права *иперлогическаго* знанія, *невыразимаго*. По его мнѣнію, слово не только не въ силахъ охватить содержаніе идеи, но оно въ сущности убиваетъ жизненную силу идеи. Мысль и чувство тогда только могущественны, пока они не *вполнѣ* высказаны. Разъ они совершенно уяснились для разума и нашли выраженіе въ словѣ,— они превратились въ цвѣтокъ, изображенный на бумагѣ: онъ не растетъ и не пахнетъ. Такъ и совершенно изъясненная мысль утрачиваетъ свою власть надъ душой человѣка. «Она родится втайнѣ и воспитывается молчаніемъ» [98]).

Опять поразительное совпаденіе съ мечтаніями того же современнаго символиста. Метерлинкъ въ похвалу *Молчанію* написалъ цѣлую поэму въ прозѣ. Здѣсь, между прочимъ, говорится: «лишь только уста засыпаютъ, души просыпаются и принимаются за дѣло; потому что молчаніе—стихія, полная неожиданностей, опасностей и счастья; въ этой стихіи души пріобрѣтаютъ совершенную свободу» [99]). И здѣсь же настоятельно подверждается, что слова никогда не въ силахъ выразить дѣйствительныхъ отношеній между двумя существами. Поэтому *молчаніе любви* краснорѣчивѣе всякихъ любовныхъ *рѣчей*, и именно въ немъ заключена глубина и сила чувства.

Для насъ эти сопоставленія любопытны въ одномъ отношеніи, отнюдь не для исторіи символическихъ идей, а для полнаго освѣщенія философскихъ настроеній русской молодежи. Система Шеллинга, мы видимъ, дѣйствовала чрезвычайно энергично въ направленіи эстетическихъ теорій. Основной принципъ—художественное творчество, высшая ступень познанія—былъ цѣликомъ усвоенъ русскими шеллингіанцами со всѣми послѣдствіями, вплоть до мистическаго углубленія въ человѣческую душу и таинственнаго самоизслѣдованія путемъ созерцанія и вдохновенія.

Фактъ вполнѣ естественный. Русскіе шеллингіанцы ясно поняли господствующее идейное направленіе своего вѣка и лично восприняли это направленіе со всею страстью мятущейся молодости, и погрузились въ неотразимо влекущую даль полупредчувствуемыхъ, полусознаваемыхъ истинъ. Какою жалкой въ сравненіи съ этимъ

---

[98]) Кирѣевскій къ Хомякову. Письма. *Сочиненія*, стр. 90—1.

[99]) *O. c. Le Silence*, p. 17.

необъятнымъ міромъ должна была казаться старая французская философія!

И русскіе писатели, начиная съ сотрудниковъ *Телеграфа* и кончая тѣмъ же Кирѣевскимъ, въ порывѣ увлеченія германской мыслью произнесутъ смертный приговоръ «французскому направленію».

Гельвеція и Гольбаха можно называть философами только развѣ «въ насмѣшку». Вся французская литература XIX вѣка живетъ исключительно чужимъ вдохновеніемъ. Кузэнъ, Виллымэнъ, даже Гизо—всѣ усердные ученики и подражатели нѣмецкихъ философовъ [100]).

Очевидно, для русскихъ нѣмецкая философія должна быть также источникомъ просвѣщенія, и русскіе читатели шеллинговыхъ сочиненій не отступятъ предъ самымъ рискованнымъ путешествіемъ въ туманное, для самого Колумба не вполнѣ изслѣдованное царство «абсолютнаго тожества».

И мы только-что видѣли диковинныя рѣдкости, вывезенныя иными путешественниками изъ своего странствія.

Но мы знаемъ, въ самомъ шеллингіанствѣ заключались не одни поиски за высшими тайнами. Даже эти поиски были въ сильной степени вдохновлены совершенно опредѣленными фактами, быстрыми и поразительными открытіями естественныхъ наукъ. Можно думать, именно успѣхи естествознанія возбудили ревность философіи и она поспѣшила развернуть свои силы въ томъ же направленіи, но только съ большей смѣлостью: открыть не законы, обобщить не факты, а весь міръ духовный и матеріальный заключить въ стройную, разумную систему.

Русскіе ученики Шеллинга прекрасно поняли исходную точку шеллингіанства и оцѣнили ея значеніе при новѣйшемъ развитіи положительныхъ наукъ. Не отказываясь отъ всеобъемлющей аксіомы, они не упустили изъ виду и историческаго положенія новой системы въ ряду другихъ философскихъ системъ.

Положеніе это наши шеллингіанцы опредѣлили крайне просто, какъ могла сдѣлать таже Сталь, дававшая бѣглый очеркъ исторіи германской философіи.

Шеллингъ совмѣстилъ въ своемъ міросозерцаніи всѣ предшествовавшія системы, вобралъ въ свою философію и матеріализмъ

---

[100]) Ксеноф. Полевой, 158. Кирѣевскій. *Обозрѣніе русской словесности за 1829 годъ. Сочин.* I, 34.

и идеализмъ, т. е. утвердилъ единство двухъ міровъ. А это значитъ идею слить съ дѣйствительностью, философію съ жизнью, и, слѣдовательно, литературу превратить въ практическую силу.

Этотъ выводъ, логически вытекающій изъ принципа тожества, въ своемъ развитіи, повидимому, совершенно расходится съ основной задачей шеллингіанства созерцательной и мистической. И мы указывали на эту двойственность системы, съ одной стороны неразрывно связанной съ положительной наукой, съ другой, въ качествѣ философской религіи своего времени, стремящейся къ верховной истинѣ.

Теперь предстоялъ вопросъ, какая изъ этихъ основъ шеллингіанства возобладаетъ у русскихъ послѣдователей системы? Увлекутся ли они безповоротно неизглаголанными тайнами и «полуподозрѣнными» чувствами, падутъ ли они ницъ предъ нестерпимо величественнымъ образомъ поэта-пророка и тайнамъ принесутъ въ жертву жалкую земную жизнь, а ради поэта пренебрегутъ толпой и всѣмъ зауряднымъ и будничнымъ?

Если бы вопросъ рѣшился въ такомъ смыслѣ, въ ту же минуту отлетѣлъ бы отъ русской литературы геній свѣта и правды, и она заполонилась бы безплоднымъ фантазерствомъ и отрѣшеннымъ кабинетнымъ священнодѣйствіемъ брезгливыхъ эпикурейцевъ. Результаты вышли бы вполнѣ сходные съ ограниченными практическими воздѣйствіями академическаго шеллингіанства на литературу и критику.

Молодыхъ философовъ спасла извѣстная намъ *нравственная сила* философскихъ увлеченій, напряженный *личный* интересъ къ новымъ истинамъ; именно на этой психологіи и выросла побѣда жизненныхъ задачъ шеллингіанства надъ чисто отвлеченными и мечтательными.

XXXVI.

Какъ бы высоко ни стоялъ авторитетъ Шеллинга въ глазахъ его русскихъ послѣдователей, какими бы восторженными наименованіями ни награждали они и самого философа и его систему, мы безпрестанно встрѣчаемъ оговорки, ограниченія и даже возраженія. Фактъ новый послѣ безусловно вѣрноподданнической преданности германскому философу Велланскаго и даже Галича.

Старые шеллингіанцы обнаруживали гораздо меньше расположенія критиковать и анализировать, чѣмъ вѣрить и созидать. Мы

видѣли, Велланскій и Павловъ самоотверженно пустились вслѣдъ за своимъ учителемъ въ безбрежное море натурфилософскихъ теорій и загадокъ, Галичъ усиливался оправдать Шеллинга отъ обвиненій въ мистицизмѣ и излишнемъ произволѣ воображенія въ ущербъ логикѣ. Ничего подобнаго у молодыхъ шеллингіанцевъ.

Они, конечно, охвачены общимъ интересомъ къ естественнымъ наукамъ. Кн. Одоевскій занимается химіей и ведетъ длинныя рѣчи о систематизаціи положительныхъ знаній. Но мы не знаемъ откуда это стремленіе? Оно могло быть внушено сенъ-симонизмомъ еще успѣшнѣе, чѣмъ шеллингіанствомъ, и мы склонны думать, что именно французскій источникъ долженъ занять первое мѣсто.

Выше мы указывали на совпаденіе нѣкоторыхъ идей у князя Одоевскаго съ разсужденіями Сенъ-Симона, въ раннюю эпоху его дѣятельности. Еще любопытнѣе мысли русскаго философа о научномъ методѣ въ исторіи, т. е. о самомъ рѣшительномъ приложеніи принциповъ опытныхъ наукъ.

Уже въ одной изъ статей Мерзлякова встрѣчается неожиданное для классика выраженіе—«умственная химія» [101]), т. е. анализъ психологическихъ явленій. Очевидно, даже стараго словесника коснулись соблазны времени,—у его учениковъ не случайныя обмолвки, а цѣлые въ высшей степени отважные планы.

Одоевскій отказывается понять, почему никто не догадался *къ исторіи* примѣнить «аналитическую методу», ту самую, какую «употребляютъ химики при разложеніи органическихъ тѣлъ».

Слѣдуетъ описаніе «методы»: оно будто заимствовано изъ какого-нибудь самаго отчаяннаго позитивистскаго трактата, въ родѣ философскихъ статей Тэна, или изъ его руководящей книги о французской философіи XIX-го вѣка. Тотъ же разговоръ о столь же строгомъ и послѣдовательномъ анализѣ нравственныхъ явленій, какъ и физическихъ.

«Химики,—пишетъ Одоевскій,—сначала доходятъ до ближайшихъ началъ тѣла, каковы, напримѣръ, кислоты, соли и проч., наконецъ, до самыхъ отдаленныхъ его стихій, каковы, напримѣръ, четыре основные газа... Для этого рода историческихъ изслѣдованій можно было бы образовать прекрасную науку съ какимъ-нибудь звучнымъ названіемъ, напримѣръ, *аналитической этнографіи*. Эта наука была бы въ отношеніи къ исторіи тѣмъ же,

---

[101]) *Труды Общ. Люб. Росс. Словесности.* 1812, I., стр. 59, въ *Разсужденіи о Росс. Словесности въ нынѣшнемъ ея состояніи.*

чѣмъ химическое разложеніе и химическое соединеніе въ отношеніи къ простому механическому раздробленію и механическому смѣшенію тѣлъ».

Автору рисуется удивительное будущее химіи. Она теперь задыхается въ удушливой атмосферѣ, ее давитъ «технологическій соръ», но она все-таки приближается къ своей настоящей цѣли: «навести ученыхъ на химію высшаго размѣра».

«Она должна заниматься внутренними, сокрытыми элементами природы», она не создана для «узды матеріалистовъ», ея назначеніе—*испытывать глубину*.

И русскій философъ не отступаетъ предъ крайнимъ предѣломъ испытанія, въ сущности, вполнѣ шеллингіанскимъ. Если на основаніи философіи тожества можно весь міръ построить по законамъ разума, вновь создать его по началамъ духа, отчего же въ результатѣ *аналитической этнографіи* не *возстановить исторію*? Это значитъ, «открывъ анализисомъ основные элементы народа, по симъ элементамъ систематически построить его исторію».

При такомъ возсозданіи исторія дѣйствительно стала бы наукой, а теперь она только романъ, исполненный прежалкихъ и неожиданныхъ катастрофъ [102]).

Дальше идти невозможно въ увлеченіи наукой и положительнымъ мышленіемъ. Позднѣйшіе прямолинейные позитивисты не открыли другой высшей цѣли, чѣмъ разложеніе сложнѣйшихъ нравственныхъ и соціальныхъ явленій на простѣйшіе факты и *логическое* возсозданіе ихъ, вполнѣ совпадающее съ *дѣйствительностью*.

Такимъ путемъ шеллингіанецъ приходилъ къ точнѣй наукѣ и къ фактамъ. Онъ до конца оставался въ границахъ своей системы, весь вопросъ заключался только въ его преимущественномъ сочувствіи *натуръ* или *философіи*, т. е. естественно-научной стихіи шеллингіанства или его метафизикѣ. Увлеченія въ обѣ стороны, повидимому, одинаково сильны: тамъ чистѣйшій символизмъ, здѣсь—позитивистскія надежды на химическій анализъ нравственнаго міра человѣка.

И та, и другая перспектива безгранична и соблазнительна, и естественно въ разсужденіяхъ нашихъ философовъ безпрестанно чередуются идеи того и другого порядка, тѣмъ болѣе, что всѣ онѣ могли одинаково тѣшить молодое воображеніе и давать неистощимый матеріалъ возбужденной юношески-энергической мысли.

---

[102]) *Ib.* 370—373.

И мы не должны смущаться, встрѣчая столь, повидимому, непримиримыя теченія рядомъ. Мы уже неоднократно могли отмѣтить чрезвычайно близкое сосѣдство философіи и мистики въ началѣ XIX-го вѣка, строгой науки и поэтическаго фантазерства. Мы указали и на исторически-повелительную причину этого сосѣдства—всеобщую нравственную потребность въ цѣльномъ міросозерцаніи при условіи чрезвычайно внушительнаго *наступательнаго* развитія естествознанія.

Заслуга русскихъ шеллингіанцевъ состояла въ томъ, что они на первыхъ же порахъ обняли все многообразное содержаніе излюбленной системы, и даже отдали ясный отчетъ въ несоотвѣтствіи ея теоретическихъ задачъ съ дѣйствительными разультатами.

Одоевскій, при всѣхъ своихъ восторгахъ предъ идеями Шеллинга, призналъ *неисполнимость* вызванныхъ философомъ надеждъ. Изъ чудной роскошной страны, открытой Шеллингомъ, «одни вынесли много сокровищъ, другіе лишь обезьянъ да попугаевъ». Авторъ не объясняетъ подробно своей аллегоріи, но ему, несомнѣнно, была ясна обманчивость безграничныхъ завоеваній человѣческой мысли, ослѣпившихъ нѣкоторыхъ учениковъ философа. И именно поэтому Одоевскій снова заговорилъ о фактахъ и опытномъ изслѣдованіи и горячо привязался къ естествознанію [103]).

Кирѣевскій еще яснѣе опредѣлилъ неудовлетворительную, по его мнѣнію, черту нѣмецкой философіи. Есть одно качество, ставящее французскую литературу выше всѣхъ другихъ: «это тѣсная связь литературы съ жизнью» [104]).

Шеллингъ наполнилъ этотъ пробѣлъ, но не до такой степени, чтобы могли получиться выводы русскихъ философовъ.

«Стремленіе къ существенности», «сближеніе духовной дѣятельности съ дѣйствительностью» —таковы основныя черты новой литературы. «Часъ для поэта жизни наступилъ», говоритъ Кирѣевскій, узаконяя, очевидно, безусловный реализмъ искусства. Мало этого.

Разъ мысль должна сблизиться съ дѣйствительностью, все направленіе умственнаго развитія должно быть *практическимъ*. А это значитъ, «общее мнѣніе» должно достигнуть уровня высшихъ

---

[103]) Біографъ приписываетъ кн. Одоевскому даже совершенно неосновательную заслугу, будто «онъ предсказалъ дарвиновскую теорію развитія органической жизни». Сумцовъ, стр. 40. Мы видѣли, эта теорія логически вытекала изъ шеллингіанскаго воззрѣнія на природу и русскому философу оставалось только извлечь ее изъ сочиненій своего учителя.

[104]) *Сочиненія* I, 34, прим.

современныхъ идей, иначе жизнь разойдется съ успѣхами ума. Отсюда необходимость широкаго общественнаго развитія и просвѣщенія, необходимость неограниченной и глубокой цивилизаціи [105]).

Во главѣ движенія должна стать литература, писатели будутъ просвѣтителями народа. Еще въ школѣ у юныхъ философовъ всѣ интересы сосредоточены на русской литературѣ; съ теченіемъ времени они растутъ и находятъ твердую опору въ той же философіи.

Германская мысль была всецѣло пропитана національными инстинктами. Учитель Шеллинга всю свою систему приспособилъ къ этимъ инстинктамъ и создалъ теорію германизма, какъ міровой культурной стихіи. О фихтіанскихъ идеяхъ мы очень рѣдко слышимъ отъ русскихъ философовъ тридцатыхъ годовъ, имя Фихте исчезаетъ въ лучахъ шеллинговой славы, но не можетъ быть сомнѣнія, что тотъ же Шеллингъ ввелъ своихъ учениковъ въ систему своего учителя. По крайней мѣрѣ, понятіе о культурномъ прогрессѣ въ связи съ развитіемъ національностей—прямое наслѣдство Фихте. Естественно, это понятіе у русскихъ философовъ должно преобразоваться въ другомъ, также національномъ направленіи, и съ самаго начала одновременно съ исповѣданіемъ *германской* философіи мы слышимъ настойчивое провозглашеніе *русскаго* просвѣщенія. Собственно идея національности явилась неизбѣжнымъ выводомъ изъ принципа *практическаго* сближенія *ума съ жизнью*. Сама жизнь требовала этой идеи и даже предупредила философовъ фактами, не особенно глубокомысленными и значительными, но, тѣмъ не менѣе, шумными и въ высшей степени популярными.

XXXVII.

Исторія всегда была и будетъ лучшей учительницей народовъ. Ея уроки всегда отличаются ясностью и непререкаемой авторитетностью. Понять ихъ могутъ даже многіе изъ «малыхъ сихъ» и порывомъ взволнованнаго чувства предвосхитить глубокія и трудныя думы великихъ и сильныхъ.

Одинъ изъ такихъ уроковъ былъ данъ всѣмъ европейскимъ народамъ въ началѣ XIX вѣка, и посмотрите, въ какомъ удивительномъ единодушіи оказываются люди совершенно различнаго образованія и литературныхъ вкусовъ!

Мы упоминали о *Русскомъ Вѣстникѣ* Глинки. Въ 1808 году

---

[105]) *Ib.*, 69—70.

у будущаго издателя заговорило «сердце вѣщунъ» и онъ рѣшилъ издавать журналъ именно противъ французскаго просвѣщенія XVIII вѣка, «нравы и добродѣтели праотцевъ нашихъ» противопоставить чужеземному растлѣвающему вліянію. Много лѣтъ позже съ не менѣе горячимъ чувствомъ заговорятъ противъ «софистовъ» и молодые философы, чуждые всякой національной нетерпимости и патріотической воинственности.

Четыре года спустя у Глинки является послѣдователь—Гречъ, издатель *Сына Отечества*. Внукъ нѣмецкаго выходца, онъ теперь проникнутъ стремительнымъ желаніемъ служить русскому отечеству, изъ своего журнала сдѣлать «народный вѣстникъ русскій» и иноземнымъ заниматься исключительно только въ связи съ отечественнымъ.

И *Сынъ Отечества*, по свидѣтельству самого издателя, стяжалъ огромный успѣхъ, поддерживался «вельможами патріотами» и сочувствіемъ обширной публики. И успѣхъ этотъ Гречъ приписывалъ настроенію общества, «обстоятельствамъ».

Они до такой степени соотвѣтствовали разсчетамъ и чувствительныхъ, и просто ловкихъ предпринимателей печати, что и тѣ, и другіе могли ссылаться даже на восторги иностранцевъ предъ патріотизмомъ русскихъ. Рѣчь короля прусскаго о высокихъ подвигахъ русскаго мужества, о русскомъ народѣ, какъ примѣрѣ для всѣхъ другихъ, была переведена и встрѣтила, конечно, всеобщую признательность. Патріотическая волна захватила и науку. Мы знаемъ горячія рѣчи Мерзлякова, одновременно Павловъ и Давыдова внушали пансіонскимъ воспитанникамъ любовь къ родному языку, и Павловъ потомъ эти внушенія перенесъ въ свой журналъ.

Въ *Атенеѣ* о народной поэзіи высказывались идеи, несравненно болѣе послѣдовательныя, чѣмъ извѣстныя намъ разсужденія Надеждина. Въ первой же книгѣ журнала появилась статья *О направленіи поэзіи въ наше время* съ необычайно смѣлой и редактору-шеллингіанцу даже несвойственной проповѣдью *реализма* и *народности* искусства.

Статья напечатана въ самомъ началѣ 1828 года, но, несомнѣнно, мысли ея могли одушевлять и раннія лекціи Павлова въ пансіонѣ.

Авторъ статьи возстаетъ противъ *идеаловъ* въ поэзіи, т. е. слишкомъ возвышеннаго, не реальнаго содержанія. «Вѣкъ ихъ, кажется, минулъ безвозвратно. Мы требуемъ теперь человѣка дѣйствительнаго, съ его слабостями, страстями, заблужденіями, странностями. Новыя потребности указали и на новые источники».

Гдѣ же ихъ искать?

Тѣ же «обстоятельства» дали отвѣтъ. Великія историческія событія, независимо отъ какихъ бы то ни было художественныхъ теорій, подняли цѣну національнаго прошлаго, и только съ эпохи отечественной войны въ Россіи нашла почву важнѣйшая идея романтизма: уваженіе къ дѣйствительной народной старинѣ, не украшенной и не видоизмѣненной идиллической чувствительностью пресыщеннаго тонкаго вкуса, изученіе народныхъ преданій и народнаго быта во всей подчасъ эстетически-непригядной полнотѣ.

Авторъ статьи въ *Атенеѣ* именно и характеризуетъ этотъ новый интересъ къ національной стихіи,—строгій, научный и, слѣдовательно, практически-значительный.

«Мы начали отыскивать забытыя, кинутыя преданія, памятники народнаго невѣжества и легковѣрія, нестройной гражданственности или вымышленные причудливымъ младенчествующимъ воображеніемъ. Разсчетомъ вѣка охлажденные, не позволяя себѣ необдуманныхъ порывовъ души, мы зато съ бо̀льшимъ жаромъ стали собирать, какъ нѣкое сокровище, неясныя, но живыя, свободныя чувствованія простой старины, звучащія еще въ народныхъ пѣсняхъ и преданіяхъ».

Авторъ, очевидно, историческое направленіе своего времени противопоставляетъ философической идеологіи предыдущей эпохи. Мы видимъ, изъ какихъ многообразныхъ побужденій поколѣніе начала XIX вѣка становилось народническимъ въ настоящемъ и прошломъ. Политическія событія, нравственный переворотъ въ умахъ послѣ революціи, логическіе выводы новой философіи,—все соединилось во имя національнаго принципа и выдвинуло на сцену культуры народъ, какъ великую историческую силу и невѣдомаго до сихъ поръ обладателя духовныхъ богатствъ.

Естественно, въ кружкѣ Раича національный вопросъ занималъ первое мѣсто.

Здѣсь не было разныхъ мнѣній, и даровитѣйшіе представители философской мысли съ удивительнымъ единодушіемъ доходятъ до крайнихъ выводовъ, ничѣмъ не уступающихъ германофильскимъ проповѣдямъ Фихте.

Россія должна имѣть и, несомнѣнно, имѣетъ свое особое *назначеніе* въ человѣческой культурѣ. Въ чемъ состоитъ оно—вопросъ сложный и еще нерѣшенный. Достовѣрно одно, міровая роль Россіи не уступаетъ значенію другихъ народовъ, и вѣроятнѣе всего, даже превосходитъ.

Философія должна представить полную картину развитія ума человѣческаго и въ этой картинѣ Россія увидитъ собственное свое предназначеніе. Именно поэтому изученіе философіи и важно: оно должно служить русскимъ національнымъ цѣлямъ.

Такъ разсуждалъ Веневитиновъ, искуснѣйшій ораторъ кружка и подававшій едва ли не самыя блестящія надежды, какъ публицистъ и критикъ [106]).

Кирѣевскій безпрестанно свидѣтельствуетъ о своей глубокой, восторженной любви къ Россіи, всѣ силы свои посвящаетъ родинѣ и поприще писателя, какъ просвѣтителя народа, считаетъ достойнѣйшимъ изъ всѣхъ. «Куда бы насъ судьба ни завела,—говоритъ онъ о себѣ, о своихъ братьяхъ и друзьяхъ,—и какъ бы обстоятельства ни разрознили, у насъ все будетъ общая цѣль: благо отечества, и общее средство: литература».

Онъ рисуетъ эффектную сцену, какъ они лѣтъ черезъ 20 снова сойдутся въ дружескій кружокъ и отдадутъ другъ другу отчетъ, что̀ каждый изъ нихъ сдѣлалъ для просвѣщенія Россіи.

И для Кирѣевскаго философія необходима исключительно въ интересахъ независимаго національнаго прогресса.

Онъ пишетъ настоящую оду въ честь философіи, ея всемогущаго вліянія на поэзію и науку... Но откуда она придетъ для насъ, русскихъ?

Отвѣтъ любопытный. Его признали бы своимъ всѣ молодые шеллингіанцы: въ немъ нераздѣльно сливается высокое чувство уваженія къ европейской культурѣ и непоколебимая вѣра въ судьбы своей страны. Здѣсь нѣтъ ни западничества, ни славянофильства, какъ враждебныхъ крайнихъ партій. Философы конца двадцатыхъ годовъ умѣютъ оставаться подлинными русскими и даже горячими патріотами и, ни на минуту не колеблясь, отдавать должное старой западной цивилизаціи.

«Конечно,—говоритъ Кирѣевскій,—первый шагъ нашъ къ философіи, къ ней долженъ быть присвоеніемъ умственныхъ богатствъ той страны, которая въ умозрѣніи опередила всѣ другіе народы. Но чужія мысли полезны только для развитія собственныхъ. Философія нѣмецкая вкорениться у насъ не можетъ. *Наша* философія должна развиться изъ *нашей* жизни, создаться изъ текущихъ вопросовъ, изъ господствующихъ интересовъ *нашего* народнаго и частнаго быта».

---

[106]) Веневитиновъ. *Нѣсколько мыслей въ планѣ журнала.*

Нѣмецкая философія, слѣдовательно, только переходная ступень отъ французской софистики къ настоящей умственной работѣ. Кирѣевскій превозноситъ благодѣянія германскаго вліянія на русскую литературу, но онъ преисполненъ патріотическихъ чувствъ. Подчасъ его можно признать за подлиннаго славянофила, даже въ молодые годы: до такой степени близко къ сердцу онъ принимаетъ всякое малѣйшее посягательство со стороны иностранцевъ на достоинство русскаго имени и на такой выспренней высотѣ ему рисуется цивилизаторская миссія его родины!

За границей онъ попадаетъ въ среду «первоклассныхъ умовъ Европы», начиная съ Шеллинга и Гегеля и кончая звѣздами второй величины, но тоже въ высшей степени яркими, для русскаго взора,—ослѣпительными. Кирѣевскій дѣятельно посѣщаетъ лекціи профессоровъ, завязываетъ личныя знакомства, но ни на минуту не поддается гипнозу, столь часто подчинявшему въ старое время разныхъ русскихъ путешественниковъ предъ лицомъ той или другой европейской знаменитости.

Это не ученикъ, а просто любопытный слушатель, всегда способный распознать дѣйствительное золото отъ призрачнаго блеска. Онъ внимательно слѣдитъ за лекціями Шеллинга и сейчасъ же отмѣчаетъ несоотвѣтствіе возбужденныхъ надеждъ и осуществившихся фактовъ. То же самое, на что̀ указывалъ и Одоевскій, только его сверстникъ дошелъ до истины у самаго ея источника.

«Гора родила мышь», пишетъ Кирѣевскій своему вотчиму Елагину, усердному шеллингіанцу. Елагинъ первый познакомилъ съ философіей своего пасынка и, очевидно, интересовался его заграничными успѣхами въ любимомъ предметѣ. Кирѣевскій долженъ пересылать ему философскія новости и, конечно, новыя лекціи Шеллинга, и вотъ оказывалось, — философъ два года подрядъ читалъ одинъ и тотъ же курсъ. Съ такой основательной подготовкой явился русскій студентъ въ заграничную аудиторію! Сравнивая настроенія Кирѣевскаго съ росказнями Карамзина о Кантѣ, мы попадаемъ будто въ двѣ разныя и чрезвычайно отдаленныя другъ отъ друга эпохи.

Естественно, Кирѣевскій еще осторожнѣе относится къ нѣмцамъ внѣ философіи. Онъ возмущается ихъ неуважительными отзывами о русскихъ по вопросу, повидимому, довольно сомнительному: есть ли у русскихъ энергія? Наконецъ, онъ переходитъ въ наступательное положеніе и *общій* типъ нѣмцевъ изображаетъ въ самыхъ безнадежныхъ краскахъ: и наклонность къ «нелѣпому

восторгу», и тупость, и бездушіе, и въ заключеніе рѣшительный возгласъ: «Германіей ужъ мы сыты по горло!»

Возгласы, по формѣ, могутъ быть плодомъ минутнаго возбужденія, столь понятнаго у русскаго путешественника заграницей. Но у Кирѣевскаго имѣется цѣлая система культурныхъ воззрѣній. Они заслуживають всего нашего вниманія, потому что такой цѣльности и по истинѣ философскаго безпристрастія и разносторонности русская общественная мысль могла достигнуть только въ отдаленномъ будущемъ, отчасти по винѣ самого Кирѣевскаго.

Онъ безпрестанно возвращается къ историческимъ судьбамъ Россіи. Мы знаемъ, вопросъ рѣшенъ на общихъ философскихъ основахъ: «просвѣщеніе — условіе и источникъ *всѣхъ* благъ» и «судьба Россіи заключается въ ея просвѣщеніи». Но гдѣ же его источникъ?

Въ Европѣ. Это настойчивый и постоянный отвѣтъ нашего автора, *въ Европѣ*, а не въ Московіи, не въ допетровской Руси.

Кирѣевскій въ важнѣйшей своей статьѣ *Девятнадцатый вѣкъ* подвергъ жестокой критикѣ патріотовъ славянофильскаго толка.

Они обвиняютъ Петра, будто онъ далъ ложное направленіе русской образованности, заимствовалъ ее изъ просвѣщенной Европы, а не развилъ «внутри нашего быта».

Въ отвѣтъ Кирѣевскій прежде всего указываетъ *на заимствованіе чужихъ мыслей* со стороны самихъ пророковъ самобытности.

«Стремленіе къ національности есть ничто иное, какъ непонятое повтореніе мыслей чужихъ, мыслей европейскихъ, занятыхъ у французовъ, у нѣмцевъ, у англичанъ, и необдуманно примѣняемыхъ къ Россіи. Дѣйствительно, лѣтъ десять тому назадъ стремленіе къ національности было господствующимъ въ самыхъ просвѣщенныхъ государствахъ Европы: всѣ обратились къ своему народному, къ своему особенному. Но тамъ это стремленіе имѣло свой смыслъ: тамъ просвѣщеніе и національность одно, ибо первое развилось изъ послѣдней. Потому, если нѣмцы искали чисто нѣмецкаго, то это не противорѣчило ихъ образованности; напротивъ, образованность ихъ такимъ образомъ доходила только до своего сознанія, получала болѣе самобытности, болѣе полноты и твердости. Но у насъ искать національнаго, значитъ искать необразованнаго; развивать его на счетъ европейскихъ нововведеній, значитъ изгонять просвѣщеніе. Ибо не имѣя достаточныхъ элементовъ для внутренняго развитія образованности, откуда возьмемъ мы

ее, если не изъ Европы? Развѣ самая образованность европейская не была послѣдствіемъ просвѣщенія древняго міра? Развѣ не представляетъ она теперь просвѣщенія общечеловѣческаго? Развѣ не въ такомъ же отношеніи находится оно къ Россіи, въ какомъ просвѣщеніе классическое находилось къ Европѣ?» [107]).

Это напечатано въ началѣ 1832 года; тѣ же идеи были высказаны въ статьѣ *Обозрѣніе русской словесности за 1829 годъ* напечатанной въ сборникѣ Максимовича *Денница* на 1830 годъ, подъ статьёй въ первый разъ подписано имя автора.

XXXVIII.

Кирѣевскій очень трезво цѣнилъ русскую литературу, даже отрицалъ ея существованіе и приводилъ этотъ печальный фактъ въ связь съ другимъ: «у насъ еще нѣтъ полнаго отраженія жизни народа». Чтò же есть?—«Надежда и мысль о великомъ назначеніи нашего отечества».

Но это назначеніе неразрывно связано съ европейской цивилизаціей и безъ нея немыслимо и неосуществимо.

Критикъ пользуется западной мыслью о періодической смѣнѣ европейскихъ народовъ, какъ представителей просвѣщенія человѣческаго, и доходитъ до убѣжденія, что такая роль рано или поздно выпадетъ русскимъ. Западъ подготовилъ нашу образованность, онъ—ея колыбель, и когда европейскіе народы закончатъ кругъ своего умственнаго развитія, начнетъ Россія.

Авторъ договаривается до идеи, напоминающей извѣстную намъ похоронную пѣсню Надеждина,—но только напоминающей. У Кирѣевскаго пока на первомъ планѣ не патріотическое идолопоклонство, а философія исторіи съ сильнымъ вмѣшательствомъ національнаго чувства.

Каждый изъ европейскихъ народовъ, по мнѣнію Кирѣевскаго, «совершилъ свое назначеніе», т. е. закончилъ самобытное развитіе и изжилъ «отдѣльную жизнь». Всѣ *частныя* государства поглощены *цѣлой* Европой.

Но въ этомъ *цѣломъ* нѣтъ *стройнаго, органическаго тѣла*, нѣтъ *средоточія* и потому, что нѣтъ *господствующаго* народа политически и умственно. А между тѣмъ это *господство*—законъ исторіи: «всегда одно государство было, такъ сказать, *столицею* другихъ,

[107]) *Сочиненія*. I, 82—3.

было *сердцемъ*, изъ котораго выходитъ и куда возвращается вся кровь, всѣ жизненныя силы просвѣщенныхъ народовъ».

И автору, разумѣется, не трудно различныя историческія эпохи свести къ преобладанію различныхъ народовъ. Въ настоящее время на вершинѣ европейскаго просвѣщенія Англія и Германія. Но ихъ власть недолговѣчна, ихъ внутренняя жизнь закончила кругъ живого развитія и совершенствованія, и вся Европа цѣпенѣетъ и превращается въ болото, «гдѣ цвѣтутъ однѣ незабудки, да изрѣдка блеститъ холодный блуждающій огонекъ» [108]).

Выраженія очень смѣлыя, но, снова повторяемъ, это отнюдь не приговоръ надъ европейской культурой. Напротивъ, она должна быть безусловно и сознательно усвоена Россіей ради историческаго будущаго. Кирѣевскій неистощимъ па критику русской самобытности, независимой отъ европейскаго просвѣщенія.

Грибоѣдовская комедія даетъ ему благодарный мотивъ въ этомъ направленіи. Онъ недоволенъ Чацкимъ за его слишкомъ рѣшительныя нападки на русскую подражательность. Она смѣшна, но не сама по себѣ, а по своей неловкости и непослѣдовательности. Подражать слѣдуетъ *вполнѣ*, вовсе не опасаясь за цѣлость русскаго національнаго характера.

«Наша религія, наши историческія воспоминанія, наше географическое положеніе, вся совокупность нашего быта столь отличны отъ остальной Европы, что намъ физически невозможно сдѣлаться ни французами, ни англичанами, ни нѣмцами».

Вѣра Кирѣевскаго въ устойчивость русской стихіи безгранична и онъ готовъ даже помириться съ уродствомъ отечественнаго чужебѣсія, лишь бы дать бо́льшій просторъ европеизму на русской почвѣ.

«До сихъ поръ,—говоритъ онъ,—національность наша была національность необразованная, грубая, китайски неподвижная. Просвѣтить ее, возвысить, дать ей жизнь и силу развитія можетъ только вліяніе чужеземное. И какъ до сихъ поръ все просвѣщеніе наше заимствовано извнѣ, такъ только извнѣ можемъ мы заимствовать его и теперь, и до тѣхъ поръ, покуда поровняемся съ остальною Европою. Тамъ, гдѣ *обще-европейское* совпадется съ нашею *особенностью*, тамъ родится просвѣщеніе истинно-русское, образованно-національное, твердое, живое, глубокое и богатое благодѣтельными послѣдствіями. Вотъ отчего наша любовь къ ино-

---

108) *Сочин.* I, 45.

странному можетъ иногда казаться смѣшною, но никогда не должна возбуждать негодованія; ибо болѣе или менѣе, посредственно или непосредственно, она всегда ведетъ за собою просвѣщеніе и успѣхъ, и въ самыхъ заблужденіяхъ своихъ не столько вредна, сколько полезна» [109]).

Авторъ самъ подалъ примѣръ желательнаго для него совпаденія *общеевропейскаго* съ *національнымъ*, и не онъ одинъ, а всѣ русскіе шеллингіанцы. Идея попремѣннаго культурнаго главенства народовъ—открытіе германской философіи, и очень нехитрое: оно должно было устранить галломанскій періодъ и провозгласить диктатуру германизма. Шеллингъ указывалъ на признаки этой диктатуры: общеевропейское увлеченіе германской философіей. У русскихъ публицистовъ не было своихъ Шеллинговъ, не было вообще самостоятельныхъ философскихъ и научныхъ системъ, но зато много *вѣры* и *надежды*. Кирѣевскій откровенно указалъ именно на эти опоры русскаго національнаго самосознанія.

Указаніе по существу мало убѣдительное: все достовѣрное и реальное принадлежало будущему, насколько вопросъ касался Россіи. Но вѣра оказалась великой и вполнѣ дѣйствительной силой. Она вызвала *дѣла*, была оправдана вполнѣ сознательной работой своихъ исповѣдниковъ.

У молодежи тридцатыхъ годовъ двѣ идеи—о всемірномъ предназначеніи Россіи и о личномъ просвѣтительномъ призваніи ея юныхъ сыновъ—слились въ одинъ символъ и сообщили ихъ литературной дѣятельности своеобразный идеалистическій характеръ оставшійся въ исторіи русскаго просвѣщенія неотъемлемымъ достояніемъ философской эпохи. Несомнѣнно, разъ первенствующую роль играла *вѣра*, т. е. чувство, идея легко переходила въ экстазъ и утрачивала разумную сдержанность и даже логичность.

Кирѣевскій съ теченіемъ времени додумался до открытаго и безпримѣснаго славянофильства. Задатки заключались еще въ раннихъ произведеніяхъ: стоило только мысль о болотномъ оцѣпенѣніи Европы оттѣнить контрастомъ русской жизненности и свѣжести. Это уже было сдѣлано Надеждинымъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ, дѣлалось и неучеными публицистами, изъ породы Глинки, авторами съ вѣщими сердцами.

Очень эффектное, напримѣръ, сопоставленіе тлетворнаго европеизма съ неистощимыми богатствами русской натуры, выходило

---

[109]) *Ib.* I, 109.

въ статьяхъ Свиньина, дѣятельнаго сотрудника *Сына Отечества*, и издателя *Отечественныхъ Записокъ* съ 1820 года.

Свиньинъ недоволенъ былъ *скромностью* русскихъ «къ достоинству своему», и вознамѣрился познакомить ихъ съ національными героями. Журналъ неустанно прославлялъ русскихъ самоучекъ и поэтовъ. Одновременно печатались и цѣнные матеріалы для русской исторіи, но собственно не ради науки, а во имя все той же славы и «народной гордости»: «добрые ремесленники и смышленые мужички» въ глазахъ издателя стояли выше всякаго просвѣщенія, особенно европейскаго.

Не миновали такой «любви къ отечеству» и просвѣщенные шеллингіанцы.

«Западъ гибнетъ», провозгласилъ Одоевскій въ тѣхъ же *Русскихъ ночахъ*, гдѣ Шеллинга именовалъ Колумбомъ XIX-го вѣка. На западѣ все одряхлѣло и все опровергнуто: вѣра, наука, искусство. Дѣло цивилизаціи долженъ взять народъ «юный, свѣжій, непричастный преступленіямъ стараго міра», и, конечно, это русскій народъ. «Девятнадцатый вѣкъ принадлежитъ Россіи!»... [110]).

Опять *вѣра* и *надежда*, по существу тѣ самыя настроенія, какія нашихъ авторовъ въ области эстетики приводили къ тайнамъ символизма. Культурные идеалы переживаютъ у нихъ такое же превращеніе, и послѣ справедливой просвѣщенной оцѣнки европейскаго прогресса перерождаются въ романтическое народничество, философъ исторіи становится пророкомъ-ясновидцемъ.

Кирѣевскій испыталъ жестокое разочарованіе въ литературной дѣятельности. Его страстно-любимое дѣтище, журналъ *Европеецъ* на третьемъ нумерѣ былъ запрещенъ за статью самого издателя *Девятнадцатый вѣкъ*. Подверглась оффиціальному порицанію и статья о *Горѣ отъ ума*. Усмотрѣна была *политика*, выраженія Кирѣевскаго *просвѣщеніе*, *дѣятельность разума* гр. Бенкендорфомъ переведены какъ *свобода* и *революція*, открыты и *конституціонныя* вожделѣнія мирнаго шеллингіанца.

Журналъ погибъ и Кирѣевскій замолчалъ, подавленный и разочарованный. Благонамѣреннѣйшіе современные люди—въ родѣ Никитенко, Погодина, возмущались карой и не видѣли въ статьѣ ничего преступнаго. Правда, Погодинъ не одобрялъ статьи за ея европейскія сочувствія. Онъ былъ убѣжденъ, что «Россія особливый

---

110) *Сочин.* I, 314.

міръ», и что «всей Европы надежда должна быть на Россію», а Кирѣевскій вздумалъ мѣрить ее на европейскій аршинъ! [111]).

Но и Погодину не могли придти въ голову проникновенія Бенкендорфа, а Никитенко воскликнулъ: «Тьфу! Да что же мы, наконецъ, будемъ дѣлать на Руси? Пить и буянить? И тяжко, и стыдно, и грустно!»

Максимовичъ, близко стоявшій къ Кирѣевскому, свидѣтельствуетъ объ его глубокомъ огорченіи: столь горячо лелѣянныя надежды на литературную дѣятельность рушились и вмѣстѣ съ ними въ корнѣ подорвано страстное желаніе—служить родинѣ.

Кирѣевскій замолчалъ на долго, на цѣлыхъ двѣнадцать лѣтъ. Явилось нѣсколько небольшихъ статеекъ безъ имени, и за это время міросозерцаніе безвременно подшибленнаго журналиста круто мѣнялось и выразилось, наконецъ, въ знаменитомъ письмѣ къ гр. Комаровскому, въ началѣ 1852 года. Оно носитъ названіе: *О характерѣ просвѣщенія Европы и его отношеніи къ просвѣщенію Россіи*, напечатано въ московскомъ сборникѣ Ивана Аксакова.

Другія времена и другія пѣсни! У Кирѣевскаго совсѣмъ испарился *европеецъ* и остался славянофилъ чистѣйшей крови. Письмо относится къ позднѣйшей эпохѣ и намъ не представляется необходимости разбирать его подробно. Достаточно въ общихъ чертахъ указать на перемѣну въ авторскихъ взглядахъ.

Теперь и рѣчи нѣтъ о европейскомъ просвѣщеніи, какъ неизбѣжной основѣ русскаго. Западъ и Россія противоставляются другъ другу, какъ два совершенно различныхъ культурныхъ міра, и все сопоставленіе идетъ къ вящей славѣ Россіи.

Европа заимствовала религію и цивилизацію у Рима, односторонне-разсудочнаго, холодно-логическаго, не знавшаго полноты и цѣльности умозрѣнія, всесторонняго развитія нравственной жизни. Въ результатѣ—на западѣ вся культура и бытъ сложились разсудочно, искусственно, безъ всепроникающей внутренней связи и гармоніи, безъ разумнаго и духовнаго единства: государство изъ насилій завоеванія, законодательство изъ логическихъ разсужденій юрисконсультовъ и собраній и внѣшнихъ воздѣйствій на массу.

Россія получила религію и образованность отъ Византіи и къ ней перешла глубокая, нравственно-свободная мудрость древнихъ отцовъ церкви, ищущая внутренней цѣльности разума, а не внѣшней связи логическихъ понятій. Восточный созерцатель это—безмя-

---

[111]) *Сочиненія Кирѣевскаго*. I, стр. 80, ср. Барсуковъ, IV, 8—9.

тежность внутренней цѣльности духа, глубина самосознанія, западный схоластикъ—безпокойный діалектикъ, «всегда суетливый, когда не театральный».

Раньше нѣкоторыя мысли Кирѣевскаго о спасительной силѣ европеизма и о варварствѣ русской старины и самобытности напоминали *Философическія письма* Чаадаева, теперь все наоборотъ.

Авторъ въ прошломъ русской исторіи открываетъ блестящія картины цивилизаціи, затмевающія европейское просвѣщеніе: богатѣйшія библіотеки у нѣкоторыхъ русскихъ князей XII и XIII вѣковъ, изумительная образованность монаховъ и тѣхъ же князей: они занимались такими «глубокомысленными писаніями» отцовъ церкви, какія «даже въ настоящее время едва ли каждому нѣмецкому профессору любомудрія придутся по силамъ мудрости».

Въ столь же идеальномъ свѣтѣ рисуется автору и древнерусская семья и вообще вся нравственная личность и даже внѣшнее поведеніе русскаго человѣка. Увлеченіе доходитъ до идеализаціи, совершенно неожиданной послѣ извѣстныхъ намъ юношескихъ заявленій Кирѣевскаго о необходимости *общее мнѣніе* возвышать до уровня ума *людей просвѣщенныхъ*.

Теперь выхваляется именно личное самоотреченіе русскаго характера. Русскій человѣкъ никогда не стремился «выставить свою самородную особенность», у него единственное желаніе «быть правильнымъ выраженіемъ основного духа общества».

Отсюда недалеко до прославленія вообще пассивныхъ добродѣтелей, даже страданія и примиренія съ какими бы то ни было внѣшними условіями общественной жизни.

И Кирѣевскій, дѣйствительно, прибавляетъ такую параллель:

«Западный человѣкъ искалъ развитіемъ внѣшнихъ средствъ облегчить тяжесть внутреннихъ недостатковъ. Русскій человѣкъ стремился внутреннимъ возвышеніемъ надъ внѣшними потребностями избѣгнуть тяжести внѣшнихъ нуждъ». И русскій человѣкъ, по мнѣнію Кирѣевскаго, даже не понялъ бы, въ старину, политической экономіи; такъ идеально было его міросозерцаніе!

Не смотря на неуклюжесть и туманность выраженій, смыслъ ясенъ: у русскаго человѣка, подъ покровомъ «внутренняго возвышенія», изумительная приспособляемость къ обстоятельствамъ и неистощимое терпѣніе.

И вотъ къ этимъ-то основамъ просвѣщенія Кирѣевскій призывалъ своихъ читателей! Онъ, конечно, не мечталъ о возстановленіи старины во всей ея неприкосновенности, но, въ то же время.

«въ прежней жизни отечества», «въ самобытныхъ началахъ» указывалъ единственный источникъ науки. Какъ собственно указанныя выше начала могутъ развить науку и зачѣмъ вообще ее развивать, если еще писанія XV вѣка превосходили мудростью современныхъ философовъ и если древній русскій человѣкъ достигалъ идеала «внутренней цѣльности самосознанія», «внутренней справедливости» въ законахъ, «единодушной совокупности» въ сословныхъ отношеніяхъ и «твердости семейныхъ и общественныхъ связей? [112])»

Что-нибудь изъ двухъ: или русскій человѣкъ не такое ужъ совершенство, какъ онъ рисуется автору, или никакая новая образованность не имѣетъ ни цѣли, ни смысла. Эта дилемма до конца не исчезнетъ изъ славянофильской философіи, и именно она будетъ внутреннимъ разъѣдающимъ недугомъ всей системы, какъ бы искренни и благородны ни были ея защитники.

Но въ тридцатыхъ годахъ дилеммы еще не существовало, по крайней мѣрѣ, для молодыхъ шеллингіанцевъ. Всѣ они приблизительно въ духѣ Кирѣевскаго рѣшали вопросъ объ отношеніи европейскаго просвѣщенія къ русскому и, твердо стоя на почвѣ національности, часто даже впадая въ патріотическій лиризмъ, они не забывали своихъ учителей и ни на минуту не сомнѣвались въ великой силѣ западной цивилизаціи и въ ея благодѣяніяхъ русской литературѣ и русскому народу.

Эта идея нашла полное осуществленіе въ критикѣ и въ ученолитературной дѣятельности молодежи. Философія и народность уживались рядомъ и пролагали пути истинно идейному и національному искусству.

XXXIX.

Мы видѣли, журналъ Павлова ставилъ въ неразрывную связь изслѣдованіе народнаго творчества и проникновеніе въ литературу реализма. Молодые дѣятели съ точностью принялись выполнять эту вполнѣ логическую программу.

Братъ Кирѣевскаго, Петръ Васильевичъ, первый изъ современныхъ поклонниковъ русской старины, началъ собирать народныя пѣсни, внесъ въ это дѣло необыкновенное чутье народнаго духа, величайшее усердіе и представилъ, такимъ образомъ, на-

[112]) *Сочиненія*, II, стр. 229 etc.

глядныя иллюстраціи для художественной критики новаго направленія.

Достойнымъ соревнователемъ Кирѣевскаго явился Максимовичъ, авторъ извѣстной намъ статьи о *Полтавѣ*.

Максимовичъ, спеціалистъ по ботаникѣ, но слушатель Павлова и Давыдова, рано пристрастился къ философіи и словесности, философіи давалъ полный просторъ въ своихъ ботаническихъ разсужденіяхъ, а словесность разрабатывалъ въ журналахъ. Малороссъ по происхожденію, онъ естественно современныя національныя увлеченія перенесъ на малорусскую поэзію и издалъ три сборника украинскихъ пѣсенъ.

Первый сборникъ вышелъ въ 1827 году и предисловіе къ нему одинъ изъ краснорѣчивѣйшихъ образцовъ критики двадцатыхъ годовъ въ ея основныхъ принципахъ. Тонъ статьи показываетъ, что принципы эти еще новость, и тѣмъ важнѣе было одновременное появленіе и теоріи, и примѣровъ, превосходно поясиявшихъ теорію.

«Наступило, кажется, то время,—писалъ издатель пѣсенъ,—когда познаютъ истинную цѣну народности; начинаетъ уже сбываться желаніе: да создастся поэзія истинно-русская! Лучшіе наши поэты уже не въ основу и образецъ своихъ твореній поставляютъ произведенія иноплеменныхъ, но только средствомъ къ полнѣйшему развитію самобытной поэзіи, которая началась на родимой почвѣ, долго была заглушаема пересадками иностранными и только изрѣдка сквозь нихъ пробивалась».

Максимовичъ лично обладалъ поэтическимъ талантомъ и художественнымъ чувствомъ. Его сборникъ имѣлъ не только научное значеніе, онъ настоящій художественный памятникъ, одинаково цѣнный и для поэта, и для историка. Пушкинъ и Гоголь восторженно привѣтствовали трудъ Максимовича, и этотъ фактъ краснорѣчивѣе всѣхъ статей засвидѣтельствовалъ вѣрность направленія, принятаго молодыми критиками. Для старыхъ шеллингіанцевъ такое единеніе оказалось недостижимой задачей, здѣсь же мы заранѣе ждемъ возможно тщательной и разумной оцѣнки современныхъ поэтическихъ талантовъ, въ томъ числѣ Пушкина.

Максимовичъ уже доказалъ это; его товарищи и раньше, и позже его статьи шли тѣмъ же путемъ, искренне стремясь философскій идеализмъ сблизить съ дѣйствительностью, преклоненіе предъ европейской культурой съ основами русской національности. Если цѣль оказалась не вполнѣ достигнутой, причина отнюдь не

въ недостаткѣ доброй воли и еще менѣе — въ ошибочномъ пониманіи задачи.

Въ кружкѣ Раича съ самаго начала не умирала мысль о журналѣ. Членовъ кружка связывала совмѣстная служба при Московскомъ архивѣ иностранныхъ дѣлъ. Всѣ упомянутые нами писатели братья Кирѣевскіе, кн. Одоевскій, Веневитиновъ—«архивные юноши». Столь тѣсныя отношенія естественно внушали мысль объ общей литературной работѣ.

Вопросъ обсуждался долго и внимательно. Участіе принимали и Полевой, будущій издатель *Телеграфа*, и кн. Вяземскій, главнѣйшій его сотрудникъ въ началѣ изданія. Въ проектахъ, конечно, не оказалось недостатка, но въ обществѣ немедленно выяснилось два теченія, въ высшей степени для насъ любопытныхъ.

Соображенія Полевого на счетъ журнала не встрѣтили одобренія «архивныхъ юношей», философовъ и аристократовъ. Къ Полевому, очевидно, примкнулъ и кн. Вяземскій. Оба остались при особомъ мнѣніи, а другой проектъ былъ представленъ Веневитиновымъ въ формѣ статьи *Нѣсколько мыслей въ планъ журнала.*

Это было моментомъ разъединенія среди русскихъ критиковъ. Оно основывалось не на рѣзкой разницѣ общественныхъ и литературныхъ взглядовъ: всѣ одинаково признавали романтизмъ, философію, вообще германское вліяніе. Были, конечно, степени въ *увлеченіяхъ*, но принципы для всѣхъ оставались признанными и прочными.

Вопросъ заключался въ практическомъ приложеніи этихъ принциповъ.

Здѣсь «архивные юноши» оказывались будто людьми другой планеты сравнительно съ Полевымъ, типичнымъ журнальнымъ бойцомъ, и даже сравнительно съ кн. Вяземскимъ.

Мы знаемъ, какія цѣли, по мнѣнію Полевого долженъ былъ преслѣдовать русскій публицистъ: это неограниченная популяризація фактовъ и идей, неустанная забота о новизнѣ и занимательности матеріала, въ общемъ самоотверженное служеніе публикѣ, хотя и вполнѣ культурное и просвѣтительное. А разъ публика занимаетъ такое мѣсто въ предпріятіи журналиста, онъ естественно превращается въ ловца сочувствій, т. е. въ литературнаго борца, въ полемизатора съ соперниками и противниками. Гдѣ же собственно предѣлъ борьбѣ и до какой температуры дол-

[113]) *Нѣсколько мыслей въ планъ журнала.*

женъ достигать полемическій азартъ—вопросы несущественные и зависятъ исключительно отъ обстоятельствъ. Заранѣе можно предположить, предѣлы будутъ очень широки и температура высока, разъ журналистъ во что бы то ни стало добивается общественнаго интереса къ своему дѣлу.

Приблизительно такихъ же мыслей держался и кн. Вяземскій. Болѣе тридцати лѣтъ спустя онъ сочинилъ *Литературную Исповѣдь* и вполнѣ откровенно опредѣлялъ духъ своей былой журнальной дѣятельности:

Когда я молодъ былъ и кровь кипѣла въ жилахъ.
Я тотъ же кипятокъ любилъ искать въ чернилахъ.
Журнальныхъ схватокъ пылъ, тревогъ журнальныхъ шумъ
Какъ хмелемъ подстрекалъ заносчивый мой умъ.
Въ журнальный циркъ не разъ, задорный литераторъ
На драку выходилъ, какъ древній гладіаторъ.

Онъ былъ «бойцомъ кулачнымъ», и это не преувеличено.

Именно кн. Вяземскій первый поднялъ полемику изъ за романтизма по поводу *Бахчисарайскаго фонтана*, безпощадно преслѣдуя «классиковъ», т. е. *Вѣстникъ Европы*, не скупился на эпиграммы, а впослѣдствіи и на очень сильныя личныя выходки противъ ненавистныхъ литераторовъ. Впослѣдствіи среди враговъ Бѣлинскаго мы встрѣтимъ кн. Вяземскаго во всемъ пылу гнѣва и страсти, и не одного Бѣлинскаго, а вообще

«Какихъ-то—не въ домекъ—сороковыхъ годовъ».

Вообще другъ Пушкина не отставалъ отъ великаго поэта въ неутомимой энергіи бросить стрѣлу по адресу литературнаго противника, и на этотъ счетъ даже припоминалъ старинныхъ бояръ. своихъ предковъ, страшныхъ охотниковъ до кулачныхъ свалокъ.

Естественно, Вяземскій одинъ изъ первыхъ поддержалъ Полевого.

Но другая партія совершенно иначе понимала свой аристократизмъ и съ негодованіемъ отвернулась бы отъ картины «боярина-богатыря», съ такимъ вкусомъ нарисованной въ *Исповѣди* Вяземскаго. Ея идеалъ проникнутъ спокойно-философскимъ созерцаніемъ и невозмутимо-культурной терпимостью, идеалъ высшаго изящнаго просвѣщенія, глубокой идейности и чисто-рыцарственнаго служенія одной истинѣ съ твердымъ разсчетомъ стяжать друзей и читателей во имя только этой истины.

Мы знакомы съ лирически-мечтательной, отчасти мистической личностью кн. Одоевскаго. Веневитиновъ не такъ былъ склоненъ

къ тайнамъ и символамъ; напротивъ, онъ стремился къ ясности и полной опредѣленности мысли. Но вся натура располагала его къ тому же жанру мирнаго аристократически-свободнаго философствованія, какимъ жилъ и Одоевскій. Недаромъ, его первое юношеское увлеченіе Гёте и первая страсть—поэзія—въ высшей степени вдумчивая, полная философскихъ отголосковъ, но прекраснодушная и по существу идиллическая.

Въ посланіи къ одному изъ друзей Веневитиновъ говорилъ:

Оставь, о, другъ мой, ропотъ твой,
Смири преступныя волненья:
Не ищетъ вчужѣ утѣшенья
Душа богатая собой.
Не вѣрь, чтобъ люди разгоняли
Сердецъ возвышенныхъ печали.

Печали молодого поэта, конечно, не безнадежныя мечтанія празднаго ума и эпикурействующаго сердца, столь часто украшающія банальность мысли и мелкоту чувства не соотвѣтствующими звуками и красками. У Веневитинова рано и быстро развиваются задатки настоящаго мыслителя. У него стихотворчество только одно изъ самыхъ незначительныхъ проявленій изумительно богатой духовной жизни и онъ самъ произнесетъ безжалостный приговоръ надъ притязательными «сынами Аполлона»:

«Многочисленность стихотворцевъ», по мнѣнію Веневитинова, «во всякомъ народѣ есть вѣрнѣйшій признакъ его легкомыслія». Истинный поэтъ непремѣнно философъ, *глубокій мыслитель*, «вѣнецъ просвѣщенія». Онъ творецъ не подъ вліяніемъ «перваго чувства»: оно «только порождаетъ мысль, которая развивается въ борьбѣ», и мысли снова надо обратиться въ чувство, чтобы явиться поэзіей. Иначе — она выродится въ простой механизмъ, станетъ «орудіемъ безсилія». Человѣкъ не можетъ дать себѣ яснаго отчета въ своихъ чувствахъ и, естественно, избѣгаетъ точнаго языка разсудка, т. е. прозы, освобождаетъ себя — подъ предлогомъ чувства—отъ обязанности мыслить и, поддаваясь безотчетному наслажденію, отвлекается отъ высокой цѣли совершенствованія.

Это—прекрасная характеристика чистыхъ художниковъ риѳмъ и сладкихъ звуковъ. Именно такъ долженъ былъ говорить поэтъ-философъ, такъ думали и его сверстники. «Поэту необходимы знанія», твердилъ Одоевскій, «поэту необходимы убѣжденія, потому что для читателей вовсе не безразлично, какъ поэтъ относится

къ тѣмъ или другимъ явленіямъ міра физическаго и нравственнаго» [114]).

Всѣ эти идеи, конечно, не представляютъ ничего неожиданнаго: всѣ онѣ свободно могли возникнуть на почвѣ шеллингіанской идеализаціи поэта. Ничего нѣтъ поразительнаго и въ разсужденіи Одоевскаго о «поэтическомъ магизмѣ», т. е. о способности поэтовъ предвосхищать историческія изысканія ученыхъ и *проницать* тайны прошлаго независимо отъ разработки источниковъ [115]).

Достигнуть подобнаго успѣха, конечно, не могутъ простые стихотворцы съ безотчетными чувствами и мимолетными настроеніями, и мы поймемъ, почему молодые шеллингіанцы поспѣшать объявить Пушкина *поэтомъ-философомъ*. Это означало—выдѣлить его изъ сонма всѣхъ современныхъ сладкопѣвцевъ и ремесленниковъ [116]).

Веневитиновъ до конца своей краткой жизни останется настоящимъ подвижникомъ мысли и, скончавшись двадцати двухъ лѣтъ, оставитъ русской критикѣ почетное и богатое наслѣдство.

Но этимъ вопросъ не рѣшался. Смыслъ всякаго богатства заключается не въ количествѣ, а *въ оборотѣ*, въ практической широкой производительности богатства. Выполнялось ли это условіе дѣятельностью Веневитинова и его друзей?

Всѣ они съ глубокой убѣжденностью работали надъ личнымъ умственнымъ развитіемъ, всѣ горѣли истинно-гражданскимъ желаніемъ—сдѣлать участниками своихъ сокровищъ и русское общество, даже народъ. Насколько же удалось имъ осуществить свою столь трудную и высокую задачу?

Въ сущности, отвѣтъ въ общихъ чертахъ мы предвосхитили даже отрывочной характеристикой даровитѣйшихъ русскихъ философовъ. Факты только полнѣе объяснятъ намъ уже извѣстное и окончательно установятъ значеніе философской молодежи въ исторіи нашего общественнаго просвѣщенія. Мы отъ начала до конца пребудемъ въ области необыкновенно развитой мысли, искренняго энтузіазма, и въ то же время насъ неотступно будутъ преслѣдовать «сердецъ возвышенныхъ печали».

---

114) *Русскія ночи. Соч.* I, 172.

115) *Ib.*, стр. 387.

116) Кирѣевскій. Въ ст. *Нѣчто о характерѣ поэзіи Пушкина.*

XL.

Планъ, представленный Веневитиновымъ, ясно опредѣлялъ литературное направленіе будущаго журнала. Авторъ совершенно покапчивалъ съ французскимъ вліяніемъ: въ обществѣ *любомудрія*, т. е. германской философіи, — это былъ вопросъ рѣшенный. Но устранить французскія правила не значитъ отдаться полному произволу, а именно это, по мнѣнію Веневитинова, и произошло въ русской литературѣ.

Послѣ освобожденія отъ классицизма явилась всеобщая страсть къ стихотворству и совершенное пренебреженіе къ умственной работѣ, къ систематической подготовкѣ основы для новой литературы.

Такую подготовку можетъ создать только философія, какъ наука. Она вызоветъ самостоятельную дѣятельность русской мысли и упрочитъ ея *самобытное* развитіе. Философія разовьетъ въ русскомъ обществѣ и народѣ *самопознаніе*, т. е. способность отдавать себѣ отчетъ въ своемъ прошломъ и въ «своемъ предназначеніи»,—и въ результатѣ русскіе люди направятъ свои нравственныя усилія къ цѣлямъ дѣйствительно-національнымъ, исторически и разумно-необходимымъ.

Ясно, начала философіи должны стать доступными русской публикѣ, и въ этомъ заключается цѣль журнала.

Тожественныя идеи исповѣдывалъ и Одоевскій. Параллельно съ нападками Веневитинова на безотчетное стихотворство, онъ въ *Вѣстникѣ Европы* нападалъ на пустоту, безсмысліе и невѣжество такъ называемаго просвѣщеннаго русскаго общества, большого свѣта. Очевидно, апостолы *любомудрія* совершенно ясно поняли, гдѣ таятся жесточайшіе враги серьезной умственной работы и идейной литературы.

Результатомъ всѣхъ этихъ разсужденій и явился альманахъ *Мнемозина*.

Цѣль журнала заключалась въ борьбѣ съ французской легковѣсной философіей, съ заграничными бездѣлками. Издатели хотѣли обратить вниманіе русскаго общества на истинную философію, «распространить нѣсколько новыхъ мыслей, блеснувшихъ въ Германіи».

Такъ объясняли издатели свое предпріятіе уже въ то время, когда оно отживало свои дни, — но программа дѣйствительно выполнялась неуклонно. Правда, выполнять пришлось очень недолго:

вышло всего четыре книги и все изданіе продолжалось годъ съ небольшимъ.

Успѣха оно не имѣло: у *Мнемозины* оказалось всего 157 подписчиковъ, какъ разъ изъ того самаго большого свѣта, какой громилъ кн. Одоевскій. Объ общественномъ вліяніи не могло быть и рѣчи. И между тѣмъ, его слѣдовало бы желать по всѣмъ даннымъ.

Издатели заручились сотрудничествомъ первостепенныхъ литературныхъ силъ: Пушкинъ, Грибоѣдовъ стояли во главѣ поэзіи, кн. Вяземскій и молодой другъ Пушкина—Кюхельбекеръ должны были украсить критическій отдѣлъ, Павловъ и Одоевскій завѣдывали философіей.

Что могъ проповѣдывать альманахъ по части философіи мы знаемъ: важнѣйшимъ произведеніемъ здѣсь были статьи кн. Одоевскаго—*Афоризмы изъ различныхъ писателей, по части современнаго германскаго любомудрія.* Любопытнѣе критика; здѣсь пальма первенства принадлежитъ статьѣ Кюхельбекера *О направленіи нашей поэзіи, особенно лирической въ послѣднее десятилѣтіе.*

Еще до изданія *Мнемозины* Кюхельбекеръ пріобрѣлъ извѣстность въ качествѣ критика, и кн. Одоевскій счелъ необходимымъ заручиться его сотрудничествомъ.

Товарищъ Пушкина по лицею, сынъ нѣмецкой семьи, Кюхельбекеръ еще въ школѣ числился страстнымъ поклонникомъ литературы, преимущественно германской и романтической. Ему не требовалось философскихъ изысканій, чтобы вознегодовать на классицизмъ и своими художественными сочувствіями совпасть съ шеллингіанцами.

Кюхельбекеръ дѣйствительно и не причастенъ любомудрію. Онъ принадлежитъ къ чистымъ романтикамъ, романтикамъ по инстинктивнымъ влеченіямъ и поэтическому складу натуры, какимъ былъ и современный ему критикъ и романистъ Бестужевъ-Марлинскій. Мы упоминали объ этой нефилософской породѣ молодежи двадцатыхъ годовъ; она, независимо отъ философіи и даже дѣятельнѣе самихъ философовъ, защищала новое искусство и являлась будто переходнымъ звеномъ отъ критиковъ къ художникамъ, отъ отвлеченной мысли къ творчеству, отъ теоріи къ практикѣ.

Немедленно по выходѣ изъ лицея Кюхельбекеръ напалъ на французскій классицизмъ во имя «германическаго духа», по его мнѣнію, «ближайшаго къ нашему національному духу», и развѣнчивалъ русскихъ классиковъ, ссылаясь, между прочимъ, на критику Мерзлякова о Херасковѣ.

Двѣ статьи такого содержанія были напечатаны въ 1817 году, въ петербургской французской газетѣ *Conservateur impartial*, издававшейся при министерствѣ иностранныхъ дѣлъ [117]).

Съ тѣхъ поръ взгляды Кюхельбекера на «германическій духъ» измѣнились. Его статья въ *Мнемозинѣ* основана на самобытныхъ принципахъ. Съ ними вполнѣ былъ согласенъ Пушкинъ и это обстоятельство, вѣроятно, и вызвало приглашеніе Кюхельбекера въ *Мнемозину*.

Перемѣна въ воззрѣніяхъ Кюхельбекера такъ же, вѣроятно, произошла подъ вліяніемъ Пушкина. Теперь онъ ратовалъ противъ «наносныхъ нѣмецкихъ цѣпей» и вообще противъ всякихъ иноземныхъ, и могъ вполнѣ заслужить наименованіе *перваго славянофила*, какое дали ему впослѣдствіи [118]).

Кюхельбекеръ, какъ поэтъ, впадаетъ въ еще болѣе восторженный лиризмъ, чѣмъ произошло впослѣдствіи съ Кирѣевскимъ.

«Да создастся,—восклицаетъ онъ,—для славы Россіи поэзія истинно-русская, да будетъ святая Русь не только въ гражданскомъ, но и въ нравственномъ мірѣ первою державою во вселенной! Вѣра праотцевъ, нравы отечественные, лѣтописи, пѣсни и сказанія народныя—лучшіе, чистѣйшіе, важнѣйшіе источники для нашей словесности».

Великія надежды авторъ возлагаетъ на Пушкина, какъ представителя новой національной литературы. Кюхельбекеръ очень проницательно раскрываетъ *ненародное* содержаніе поэзіи Жуковскаго, разъясняетъ психологію литературнаго *подражателя*, всегда лишеннаго силы, свободы и вдохновенія, «необходимыхъ трехъ условій всякой поэзіи». Выводъ точный и ясный: «всего лучше имѣть поэзію народную» [119]).

Одновременно Кюхельбекеръ напечаталъ въ *Мнемозинѣ* пылкое стихотвореніе—*Проклятіе*. «Гнусному оскорбителю» поэта сулились всевозможныя кары, а поэтъ превозносился какъ исключительное, божественное явленіе на землѣ...

Альманаху нельзя было отказать ни въ критической талантливости, ни въ литературности, ни еще менѣе—въ серьезности содержанія. Но всѣ эти достоинства оказались втунѣ.

Нѣкоторые тонкіе цѣнители и отзывчивые юноши съ лю-

---

[117]) Ср. Колюпановъ. II, 24.

[118]) *Русск. Стар.* 1875, XIII, 337. *В. К. Кюхельбекеръ*. Сообщ. Ю. Косова и М. Кюхельбекера.

[119]) *Мнемозина*. М. 1824, часть II.

бовью читали статьи сборника и особенно сочиненія Одоевскаго: объ этомъ свидѣтельствуетъ Бѣлинскій, но для большой публики такая умственная пища была слишкомъ тонкой, а философія въ формѣ афоризмовъ—прямо утомительной.

Мнемозина явилась слишкомъ аристократичной и ученой для своихъ современниковъ—и не только читателей, но и для журналистовъ. Мы впослѣдствіи познакомимся съ пріемами журнальной полемики въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ: исторія *Московскаго Телеграфа* дастъ намъ изобильный матеріалъ, а такія фигуры, какъ Булгаринъ и Сенковскій, освободятъ насъ отъ всякихъ разъясненій. Кн. Одоевскому и его сотрудникамъ уже пришлось бороться съ подобными героями, и легко представить, борьба оказалась не по силамъ.

Полевой и кн. Вяземскій—люди другого типа: они превосходно справлялись съ журнальной тлѣй и Булгаринымъ, въ жуткія минуты приходилось прибѣгать къ другимъ своимъ талантамъ—*не литературнымъ*. *Мнемозинѣ* пришлось сложить оружіе, и не столько потому, что для нея страшенъ былъ Булгаринъ, сколько по несоотвѣтствію ея тона и содержанія вкусамъ и умственному уровню публики. Та же исторія произойдетъ и съ *Московскимъ Вѣстникомъ*, дѣтищемъ той же передовой философской и литературной молодежи.

Бѣлинскій очень мѣтко объяснилъ его кончину и его слова цѣликомъ можно примѣнить къ *Мнемозинѣ* и вообще ко всѣмъ литературнымъ предпріятіямъ благородныхъ любомудровъ.

«*Московскій Вѣстникъ*,—говоритъ Бѣлинскій,—имѣлъ большія достоинства, много ума, много таланта, много пылкости, но мало, чрезвычайно мало смѣтливости и догадливости и потому самъ былъ причиною своей преждевременной кончины. Въ эпоху жизни, въ эпоху борьбы и столкновенія мыслей и мнѣній, онъ вздумалъ наблюдать духъ какой-то умѣренности и отчужденія отъ рѣзкости въ сужденіяхъ».

Одоевскій, приблизительно, въ томъ же смыслѣ объяснялъ неудачу и своего альманаха. Онъ несравненно рѣзче, чѣмъ Бѣлинскій, изображаетъ «жизнь» и «борьбу». Это понятно, Бѣлинскій самъ *жилъ* и лично *боролся*, на него явленія той и другой области не могли производить эстетически-удручающаго впечатлѣнія. А кн. Одоевскій именно какъ эстетикъ судитъ о бурной сценѣ дѣйствительности.

«Я и мои товарищи,—пишетъ онъ,—были въ совершенномъ

заблужденіи. Мы воображали себя на тонкихъ философскихъ диспутахъ портика или академіи, или по крайней мѣрѣ въ гостиной; въ самомъ же дѣлѣ мы были въ райкѣ: вокругъ пахнетъ саломъ и дегтемъ, говорятъ о цѣнахъ на севрюгу, бранятся, поглаживаютъ нечистую бороду и засучиваютъ рукава; а мы выдумываемъ вѣжливыя насмѣшки, остроумные намеки, діалектическія тонкости, ищемъ въ Гомерѣ или Виргиліи самую жестокую эпиграмму противъ враговъ нашихъ, боимся расшевелить ихъ деликатность».

Пораженіе неизбѣжное, и оно имѣло для кн. Одоевскаго тѣ же послѣдствія, какія гибель *Европейца* для Кирѣевскаго. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ Одоевскій молчалъ и занялся службой.

Такова судьба даровитѣйшихъ шеллингіанцевъ. Они дурно справляются съ превратностями литературнаго поприща и еще неудачнѣе ведутъ себя какъ просвѣтители публики. Они не понимаютъ и не знаютъ своихъ читателей. Они слишкомъ аристократичны, не по убѣжденіямъ и еще менѣе сословнымъ предразсудкамъ, а по пріемамъ дѣятельности. Они—господа, говорящіе толпѣ умныя рѣчи съ балкона и способные придти въ ужасъ при одной мысли спуститься на улицу и сойтись лицомъ къ лицу съ своими слушателями.

Естественно, слушатели остаются совершенно равнодушными и къ рѣчамъ, и къ самимъ ораторамъ. Судьба жестокая, несправедливая, но законная и неотразимая!

Послѣ *Мнемозины* дѣятельность товарищей и единомышленниковъ Одоевскаго не прекратилась немедленно. Они нашли пріютъ въ другихъ журналахъ, хотя ихъ скоро поразилъ страшный ударъ: смерть вырвала изъ ихъ среды едва ли не самую блестящую надежду русской философской критики двадцатыхъ годовъ.

XLI.

Веневитиновъ, кромѣ *Плана*, успѣлъ написать еще нѣсколько статей—незначительныхъ по размѣрамъ, но въ высшей степени содержательныхъ. Отголоски ихъ будутъ встрѣчаться намъ вплоть до самаго зрѣлаго періода критики Бѣлинскаго.

Мы знаемъ негодованіе Веневитинова на поэтическій произволъ новой литературы, на понятіе о романтизмѣ, какъ о полномъ отсутствіи какихъ бы то ни было руководящихъ идей для поэтическаго творчества.

Это понятіе составилось вполнѣ естественно: романтизмъ устра-

нялъ классическую школу, т.-е. системы, формулы, правила, очевидно, онъ самъ—полная неограниченная свобода, капризная игра фантазіи и всевозможныя прихоти поэтической личности. Подтвержденіе этой теоріи не трудно было найти и въ западномъ романтизмѣ: бурные германскіе геніи могли служить безукоризненными образцами *натиска* въ какомъ угодно *нелогическомъ* направленіи. Страстная протестующая поэзія Байрона не противорѣчила тому же представленію. Надеждинъ имѣлъ основаніе напасть на *лжеромантизмъ*, на разнузданность нарочито своевольнаго воображенія и преднамѣренныя оскорбленія здравому смыслу и осмысленной красотѣ.

Надеждинъ могъ бы сослаться даже на теорію, не только на практику современныхъ романтиковъ, напримѣръ, на произведеніе Ореста Сомова *О романтической поэзіи*. Здѣсь романтизмъ опредѣлялся какъ «прихоть своенравной поэзіи, которая отметаетъ все обыкновенное, требуя новаго и небывалаго».

Но московскій профессоръ не представлялъ ясно цѣли своихъ нападеній, а главное, не имѣлъ для собственнаго обихода точнаго представленія о романтизмѣ и могъ громить однимъ ударомъ и уродливыя упражненія бездарныхъ фантазеровъ, и Пушкина вмѣстѣ съ Байрономъ.

А между тѣмъ настоятельно было освободить новую литературу отъ упрековъ въ безпринципности, указать и на новомъ пути принципы, по достоинству отнюдь не уступающіе старымъ правиламъ.

Эту цѣль и имѣлъ въ виду Веневитиновъ.

Защищая необходимость научнаго философскаго просвѣщенія, онъ требовалъ отъ литературы «болѣе думать, нежели производить». Молодой критикъ отвергалъ самодовлѣющее искусство, и общественное значеніе поэта опредѣлилъ въ такихъ выраженіяхъ, какія Бѣлинскій повторилъ только въ послѣдніе годы своей дѣятельности.

«Для общества, — писалъ Веневитиновъ, — безполезенъ поэтъ, который наслаждается въ собственномъ своемъ мірѣ, котораго мысль внѣ себя ничего не ищетъ и, слѣдовательно, уклоняется отъ цѣли всеобщаго совершенствованія».

Полемизируя съ Полевымъ изъ-за *Евгенія Онѣгина*, Веневитиновъ настаивалъ на «исторической точкѣ зрѣнія въ искусствѣ», и на «одной основной мысли» критическихъ воззрѣній. Исторія научитъ насъ, что романтическая поэзія вовсе не заключается

только «въ неопредѣленномъ состояніи сердца», и что «поэты не летаютъ безъ цѣли и какъ будто единственно на зло піитикамъ». Въ самой поэзіи имѣются свои постоянныя правила, каковыя имъ должна открыть философія и исторія.

И на этомъ основаніи Веневитиновъ требовалъ отъ поэтовъ «философіи времени», т.-е. умственнаго развитія, стоящаго на уровнѣ эпохи, отъ критиковъ—руководящихъ идей, отъ профессоровъ, вродѣ Мерзлякова, — признанія «постепенности существеннаго развитія искусства».

Насъ часто поражаетъ *буквальное* совпаденіе идей Веневитинова и Бѣлинскаго, и уже этотъ фактъ свидѣтельствуетъ, по какому пути направилась бы критика молодого автора.

Напримѣръ, въ статьѣ объ *Евгеніи Онѣгинѣ* Веневитиновъ признаетъ единственно разумный способъ цѣнить явленія словесности—«степенью философіи времени, а въ частяхъ по отношенію мыслей каждаго писателя къ современнымъ понятіямъ о философіи». И съ этой точки зрѣнія, прибавляетъ Веневитиновъ, и «Аристотель не потеряетъ правъ своихъ на глубокомысліе».

Бѣлинскій въ 1842 году писалъ:

«Искусство подчинено какъ и все живое и абсолютное процессу историческаго развитія... Искусство нашего времени есть выраженіе, осуществленіе въ изящныхъ образахъ современнаго сознанія, современной думы о значеніи и цѣли жизни, о нуждахъ человѣчества, о вѣчныхъ истинахъ бытія.

Веневитиновъ въ разгаръ ожесточеннѣйшихъ нападокъ *Вѣстника Европы* на *Руслана и Людмилу*, на основаніи этой поэмы предсказывалъ *національное* значеніе пушкинской поэзіи и народность опредѣлилъ такъ, какъ ее впослѣдствіи объяснялъ Гоголь и вмѣстѣ съ нимъ Бѣлинскій въ статьяхъ о Пушкинѣ.

«Народность отражается не въ картинахъ, принадлежащихъ какой-либо особенной странѣ, но въ самыхъ чувствахъ поэта, напитаннаго духомъ одного народа и живущаго, такъ сказать, въ развитіи, успѣхахъ и отдѣльности его характера».

Правда, понятіе *духа народа* весьма неопредѣленно, и мы увидимъ, самого Веневитинова оно не навело на вѣрное представленіе о пушкинскомъ романѣ. Пришлось другому критику того же направленія, исправить недоразумѣніе. Мы видѣли, нѣчто подобное произошло и съ Надеждинымъ, четыре года спустя опредѣлявшимъ народность словами Веневитинова. Ему также мелькомъ брошенная фраза о народности не помѣшала уничтожить *Евгенія*

Онѣгина. Но, помимо частной ошибки, Веневитиновъ совершенно иначе понялъ самый талантъ Пушкина и его будущее развитіе, чѣмъ ученый сотрудникъ *Вѣстника Европы*.

Именно о статьѣ по поводу первой главы *Евгенія Онѣгина* Пушкинъ отозвался, что только ее одну прочелъ съ любовью и вниманіемъ: «все остальное или брань, или переслащенная дичь».

Поэтъ простеръ свое вниманіе дальше благосклонныхъ заявленій. Онъ читалъ у Веневитинова *Бориса Годунова*. Когда потомъ сцена Пимена съ Григоріемъ была напечатана въ *Московскомъ Вѣстникѣ*, Веневитиновъ привѣтствовалъ ее статьей, написанной для *Journal de St.-Pétersbourg—Analyse d'une scène détachée de la tragédie de M. Pouchkin*. Статья появилась въ печати только въ полномъ собраніи сочиненій Веневитинова, но содержаніе ея не могло остаться тайной и мы указывали на странный поворотъ во мнѣніяхъ Надеждина о Пушкинѣ именно при появленіи *Бориса Годунова*. Мы не въ состояніи установить фактической связи между критикой Веневитинова и покаяніемъ профессора, но не должны упускать изъ виду и хронологическаго отношенія фактовъ.

Веневитиновъ въ трагедіи видѣлъ освобожденіе Пушкина отъ байроническихъ вліяній, рѣшался даже признать «поэтическое воспитаніе» поэта «законченнымъ». «Независимость его таланта—вѣрная порука его зрѣлости и его муза, являвшаяся только въ очаровательномъ образѣ грацій, принимаетъ двойной характеръ Мельпомены и Кліо».

Несомнѣнно, дальнѣйшее освобожденіе Пушкина и русской литературы отъ западнаго романтизма, ея переходъ къ національному реальному искусству также встрѣтилъ бы сочувствіе критика.

Но смерть прервала всѣ надежды, и идеи Веневитинова,—исторической, философской и общественной критики—должны были ждать полнаго своего воплощенія въ лицѣ Бѣлинскаго. А пока, непосредственно послѣ кончины Веневитинова раздались вопли Нікодима Надоумки...

Смерть Веневитинова глубоко поразила не только его ближайшихъ друзей. Едва ли не перваго *критика* оплакивали *поэты*. Дельвигъ и Пушкинъ видѣли въ немъ чуткаго, художественно-одареннаго цѣнителя искуства.

Самъ поэтъ и въ то же время мыслитель, Веневитиновъ стремился слить въ идеальной гармоніи творчество и идею. Любопытно его доказательства философскаго содержанія гомеровскихъ поэмъ. Оно

заключается въ ясномъ и простомъ отраженіи природы. Слѣдовательно, всякое правдивое и реальное творчество въ то же время глубоко-идейно, стоитъ на уровнѣ философскаго мышленія. Веневитиновъ не успѣлъ обѣлить всѣхъ выводовъ изъ своихъ общихъ положеній, не могъ даже выяснить съ должной полнотой и самыя положенія, но, несомнѣнно, въ его умѣ бродили начала плодотворнѣйшей художественно-идейной критики.

Это чувствовалось даже тѣми, кто врядъ ли могъ понимать всю точность философски-развитой натуры Веневитинова. Погодинъ, не находившій въ самомъ себѣ искреннихъ созвучій съ современнымъ философскимъ движеніемъ, фигура московскаго склада и славянофильской окраски, много лѣтъ спустя послѣ смерти молодого критика трогательно вспоминалъ объ его нравственной красотѣ.

«Дмитрій Веневитиновъ былъ любимцемъ, сокровищемъ всего нашего кружка. Всѣ мы любили его горячо. Точно такъ предшествовавшее поколѣніе, поколѣніе Жуковскаго, относилось къ Андрею Тургеневу, а слѣдующее, забредшее на другую дорогу, къ Николаю Станкевичу. Въ Карамзинскомъ кружкѣ это мѣсто занималъ Петровъ. И всѣ четыре поколѣнія лишились безвременно своихъ представителей, какъ будто принося искупительныя жертвы. Двадцать пять лѣтъ собирались мы остальные въ этотъ роковой день 15 марта въ Симоновъ монастырь, служили панихиду, и потомъ обѣдали вмѣстѣ, оставляя одинъ приборъ для отбывшаго друга» [120]).

Веневитиновъ очень скоро былъ оцѣненъ и въ литературѣ. Это понятно. Послѣ него оставалось не мало его единомышленниковъ, по крайней мѣрѣ, въ основныхъ принципахъ новой критики. Веневитинова оцѣнили именно въ томъ смыслѣ, какъ онъ этого самъ желалъ бы. Въ немъ признали поэта-фолософа, писателя, обѣщавшаго съ великимъ блескомъ оправдать единодушные разсчеты молодежи на просвѣтительную службу отечеству.

Критикъ, давшій такую характеристику таланту и уму Веневитинова, нѣкоторое время оставался дѣйствующимъ лицомъ на литературной сценѣ, и въ отзывѣ о покойномъ поэтѣ излагалъ точную программу своей собственной критической дѣятельности.

Въ *Обозрѣніи русской словесности за 1829 годъ* Кирѣевскій указывалъ на Веневитинова, какъ на самаго даровитаго поэта—по-

---

[120]) Барсуковъ, II, 92—3.

слѣдователя германской мысли и литературы. Онъ «созданъ былъ дѣйствовать сильно на просвѣщеніе своего отечества, быть украшеніемъ его поэзіи и, можетъ быть, создателемъ его философіи».

Это назначеніе видно изъ поэзіи Веневитинова. Предъ нами *философъ, проникнутый откровеніемъ своего вѣка*, поэтъ глубокій и самобытный, такъ какъ у него чувство освѣщено мыслью и каждая мысль согрѣта сердцемъ, «мечта не украшается искусствомъ, но сама собою родится прекрасная». Такое творчество, ничто иное, какъ свободное развитіе собственной души поэта, не ума разукрашенное пренамѣренно и навязанное извнѣ. Это «созвучіе и сердца», отсюда содержательность и глубина веневитиновскихъ стиховъ: философія ему еще болѣе сродна, чѣмъ поэзія.

Видѣть въ подобныхъ качествахъ идеальное достоинство поэта, значитъ сознательно и безповоротно въ основу литературной критики полагать свободное вдохновеніе поэта и нравственное богатство его личности. Очевидно, теоріи сами собой становятся непримѣнимыми, и идейность обусловливаетъ цѣнность творчества.

Этими понятіями и руководился Кирѣевскій въ своей, къ великому ущербу русской критики, непродолжительной критической дѣятельности.

XLII.

Первая статья Кирѣевскаго, за подписью цифръ 9. 11, напечатана въ *Московскомъ Вѣстникѣ*. Журналъ явился отчасти взамѣнъ погибшей *Мнемозины*, по крайней мѣрѣ, въ составъ сотрудниковъ и новаго журнала входили представители философской молодежи, Веневитиновъ, Кирѣевскій. Пушкинъ и здѣсь стоялъ на первомъ планѣ среди поэтовъ, даже больше, горячо интересовался вообще судьбой журнала.

Вѣстникъ возникъ въ результатѣ союза Погодина и Пушкина. Въ этомъ заключалась его новая отличительная черта отъ прежняго органа передовой литературы, хотя оба журнала были дѣтищами одного и того же кружка. Но во главѣ *Мнемозины* сталъ философъ и мечтатель, Одоевскій; редакторомъ *Вѣстника* былъ выбранъ Погодинъ, а Пушкинъ смотрѣлъ на журналъ, какъ на свой личный органъ, долженствующій притомъ одолѣть *Телеграфъ* Полевого.

Эти факты въ высшей степени важны и могли быть богаты послѣдствіями, если бы у сотрудниковъ Погодина оказалось больше энергіи и практическихъ талантовъ.

Погодинъ не имѣлъ никакихъ нравственныхъ касательствъ къ философіи. Именовать ее галиматьей, подобно Каченовскому, онъ, конечно, не имѣлъ духу при повальномъ увлеченіи «сока умной молодежи», германскимъ любомудріемъ, но это любомудріе совершенно не входило въ его самобытную душу. Сочувствіе равнодушію къ высокимъ матеріямъ онъ могъ усмотрѣть и въ краснорѣчивомъ замѣчаніи Пушкина: «за вами смотрѣть надо».

Замѣчаніе высказано по поводу намѣренія Погодина «ошеломить» альманахъ *Сѣверные цвѣты* «чѣмъ-нибудь капитальнымъ». Великій поэтъ не считалъ такихъ подвиговъ доблестными и въ журнальномъ дѣлѣ цѣлесообразными. Можно думать даже, Пушкинъ успѣхи поэзіи, особенно близкой его сердцу, ставилъ внѣ зависимости отъ философіи, смотрѣлъ на вопросъ совершенно практически. Если у поэта нѣтъ *дарованія*, не помогутъ ни философія, ни гражданственность [121]).

Пушкинъ, конечно, имѣлъ всѣ основанія рѣшать въ такомъ простѣйшемъ смыслѣ въ высшей степени сложный вопросъ. Его самого дѣйствительно одинъ талантъ провелъ между всевозможными подводными камнями современной словесности, въ открытое море свободнаго творчества.

Поэтъ, руководясь внушеніями своей исключительной природы, отдалъ только мимолетную дань романтизму и даже байронизму, соблазнительнѣйшему изъ всѣхъ искушеній, и съумѣлъ оцѣнить по достоинству и властителей своего юношескаго вдохновенія, и твердо стать на своемъ собственномъ пути.

Но совершенно иная судьба могла быть у другихъ, слабѣйшихъ, не столько по *таланту*, сколько по *личности*, по неспособности даже и большими силами пользоваться по *своей* программѣ, независимо отъ мнѣній большинства и даже вопреки имъ.

Пушкинъ считалъ своимъ *правомъ* идти наперекоръ вкусамъ публики, отчасти имъ же самимъ воспитаннымъ. И дѣйствительно шелъ, даже заранѣе предвидя непониманіе и вражду, могъ искренно удивляться сочувствію нѣкоторыхъ избранныхъ *Борису Годунову* и самоотверженно смѣяться надъ *Кавказскимъ плѣнникомъ*, популярнѣйшимъ произведеніемъ его музы среди читателей.

Многіе ли способны на такую роль?

И вотъ здѣсь же развитіе философіи и гражданственности

---

[121]) Критическія замѣтки. По поводу VII главы *Евг. Онѣгина*. *Сочин.* VII, 130.

являлось незамѣнимымъ подспорьемъ для поэта, сколько-нибудь перероставшаго умственный и художественный уровень поклонниковъ классицизма и обожателей романтической школы въ духѣ Жуковскаго.

Пушкинъ на примѣрѣ Веневитинова могъ оцѣнить эту истину, и не одного только Веневитинова.

Другой критикъ вызвалъ у поэта еще болѣе сочувственный отзывъ, и какъ разъ за статью, встрѣтившую залпъ насмѣшекъ въ современной журналистикѣ. Очевидно, философія могла быть соперницей поэзіи и именно такимъ представлялось ея назначеніе любомудрамъ шеллингіанскаго толка.

Первая статья Кирѣевскаго *Нѣчто о характерѣ поэзіи Пушкина* еще рѣшительнѣе разсужденій Веневитинова знаменовала этотъ союзъ: недаромъ нѣсколько позже авторъ съ такой настойчивостью подчеркивалъ у самого Веневитинова органическую связь идеи и чувства.

Это первая статья, посвященная оцѣнкѣ вообще таланта Пушкина. Только въ 1828 году и отъ писателя молодой философской школы поэтъ дождался вдумчиваго и дѣйствительно литературнаго суда надъ своими произведеніями.

Авторъ дѣлитъ на три періода дѣятельность Пушкина, повторяя отчасти мысль Веневитинова, именно считая *Бориса Годунова* однимъ изъ знаменій *поэзіи русско-пушкинской*, т. е. безусловно самостоятельной, національной.

Но только *однимъ* изъ знаменій. Здѣсь существенное преимущество идеи Кирѣевскаго надъ критикой Веневитинова.

Кирѣевскій съ самаго начала убѣжденъ въ глубокой оригинальности пушкинскаго таланта, не исчезающей даже предъ могучимъ вліяніемъ Байрона, и не обнаруживающей своей силы развѣ только въ первый періодъ—*итальянско-французскій*.

Критикъ понимаетъ достоинства *Руслана и Людмилы*, чисто поэтическія, художественныя. Пушкинъ пока—исключительно поэтъ, «передающій чисто и вѣрно внушенія своей фантазіи».

Во второмъ байроническомъ періодѣ онъ является *поэтомъ-философомъ*. Во главѣ произведеній этого направленія стоитъ *Кавказскій плѣнникъ*. Изъ всѣхъ поэмъ, по мнѣнію Кирѣевскаго, она менѣе всего удовлетворяетъ требованіямъ искусства, но «богаче всѣхъ силою и глубокостью чувства».

Поэтъ становится мыслителемъ и, слѣдовательно,—болѣе оригинальнымъ, чѣмъ просто поэтъ-художникъ. Онъ въ самой поэзіи

стремится выразить «сомнѣнія своего разума», т. е. процессъ своей мысли, а это естественно сообщаетъ предметамъ «общія краски особеннаго воззрѣнія». Въ результатѣ—близость поэзіи къ дѣйствительности: Кавказскій плѣнникъ и Онѣгинъ—люди нашего времени съ ихъ пустотою и прозою.

Сходныхъ чертъ съ произведеніями Байрона можно найти не мало, но сходство обусловлено вовсе не механической случайной подражательностью русскаго поэта, а именно особыми достоинствами лиры Байрона, какъ «голоса своего вѣка». Эта жгучая *современность* байронической поэзіи и захватила Пушкина.

Ясно,—при такихъ условіяхъ подчиненія русскій поэтъ могъ сохранить особенности своего таланта, свое природное направленіе. И все это дѣйствительно сохранилось.

Веневитиновъ былъ не согласенъ съ критиками, обвинявшими Пушкина почти въ плагіатахъ,—но онъ не развилъ своей мысли, не показалъ пушкинской стихіи даже въ байроническихъ отголоскахъ, и можно думать онъ представлялъ ее весьма неясно — до *Бориса Годунова*.

По крайней мѣрѣ, *Евгеній Онѣгинъ* — въ первой главѣ — лишенъ, по мнѣнію Веневитинова *народности*. Критикъ даже возражалъ Полевому въ этомъ смыслѣ, нарочито опровергая статью *Телеграфа* о пушкинскомъ романѣ. Полевой, рѣшительно не признававшій серьезнаго значенія за новымъ произведеніемъ Пушкина, видѣлъ много «своего», «родного» въ легкомысленномъ *capriccio*. Веневитиновъ отвѣчалъ, что не слѣдуетъ «приписывать Пушкину лишнее» и не видѣлъ въ романѣ ничего народнаго, кромѣ именъ петербургскихъ улицъ и ресторацій.

Кирѣевскій понялъ *національность* самого характера Онѣгина. Правда, предъ Кирѣевскимъ было *пять* главъ романа, Веневитиновъ говорилъ только объ *одной*, но московское чайльдъгарольдство вполнѣ выяснялось съ самаго начала. На этомъ настаивалъ и самъ авторъ, отвергая сходство своего героя съ другимъ байроновскимъ лицомъ — Донъ-Жуаномъ. На этотъ счетъ пришлось опровергать Марлинскаго, критика — не философа, но тѣмъ не менѣе предубѣжденнаго противъ безусловной оригинальности Пушкина. Кирѣевскій поставилъ вопросъ на настоящую почву, и въ *психологіи* пушкинскаго творчества, въ его манерѣ изображать дѣйствительность—указалъ свидѣтельство независимаго національнаго дарованія.

Борисъ Годуновъ вызываетъ у Кирѣевскаго восторгъ — вѣр-

ностью исторіи и народному складу характеровъ. Критикъ ждетъ отъ трагедіи «чего-то *великаго*» и считаетъ Пушкина «рожденымъ для драматическаго рода».

Для насъ важна послѣдовательность, усмотрѣнная критикомъ въ постепенномъ ростѣ самобытности и народности пушкинскаго таланта. *Бориса Годунова* признавалъ и Надеждинъ, — но для него трагедія явилась сюрпризомъ и должна была произвести катастрофу во взглядахъ критика. Даже Веневитиновъ не умѣлъ провести связующей нити чрезъ всѣ произведенія Пушкина. Кирѣевскій имѣлъ въ виду именно эту задачу. Въ первой статьѣ она не выполнена съ необходимыми поясненіями и частными примѣрами, но важно, что авторъ созналъ ее и не упускалъ изъ виду и въ дальнѣйшихъ своихъ статьяхъ. Это было зарожденіемъ критики психологической и исторической. Въ идеѣ она не новость: ея требовалъ Веневитиновъ. Но осуществлять практически пришлось Кирѣевскому.

Въ слѣдующей статьѣ *Обозрѣніе русской словесности за 1829 годъ*—критикъ попытался представить общую историческую картину русской литературы.

XLIII.

Кирѣевскій во главѣ новѣйшаго умственнаго развитія ставитъ современную господствующую философію. Онъ не называетъ имени Шеллинга, но вполнѣ точно опредѣляетъ основы его системы и искусно приводитъ ихъ въ связь съ научнымъ и нравственнымъ направленіемъ XIX-го вѣка.

Оно можетъ быть выражено двумя словами—*уваженіе къ дѣйствительности*. Это уваженіе политиковъ заставило обратиться къ исторіи и въ ней искать уроковъ для настоящаго и будущаго. Поэзія также приблизилась къ фактамъ и къ жизни, философія сосредочила свои силы на изученіи развитія природы и человѣка.

Кирѣевскій считаетъ это стремленіе высшей ступенью европейскаго просвѣщенія. Философія Шеллинга утвердила гармоническое міровоззрѣніе, объемлющее духъ и бытіе, идеи и дѣйствительность. Авторъ довольно искусственно—въ цѣляхъ стройности своего представленія—изображаетъ раннія ступени умственнаго прогресса. Они характеризуются французскимъ и нѣмецкимъ вліяніемъ. Одно пренебрегало «лучшей стороной нашего бытія—стороной идеальной и мечтательной», другое — полная противопо-

ложность: «идеальность, чистота и глубокость чувства», стремленіе къ темному, равнодушіе ко всему обыкновенному, ко всему, «что не *душа*, что не *любовь*».

Одно вліяніе было воспринято Карамзинымъ, другое—Жуковскимъ.

Можно многое возразить противъ этихъ разсужденій. Прежде всего автору, очевидно, новѣйшая германская философія представляется результатомъ примиренія французскаго и стараго германскаго міросозерцанія. А между тѣмъ, ни самъ авторъ, ни кто другой не могъ бы открыть отраженій французскаго матеріализма XVIII-го вѣка въ шеллингіанствѣ, и мы видѣли, Шеллингъ дошелъ до признанія права дѣйствительности какъ разъ подъ вліяніемъ научныхъ фактовъ и историческихъ событій, не имѣвшихъ ничего общаго съ дореволюціоннымъ просвѣщеніемъ. Это признаніе явилось въ полномъ смыслѣ симптомомъ *новаго* столѣтія, пореволюціонной эпохи. И сбивчивость мысли Кирѣевскаго тѣмъ любопытнѣе, что онъ указываетъ на исключительно-высокое положеніе исторіи среди современныхъ наукъ: «направленіе историческое обнимаетъ *все*». А этотъ фактъ менѣе всего можно привязать къ тому направленію, какое авторъ называетъ «французско-карамзинскимъ». Потомъ, неизвѣстно, какимъ образомъ Карамзина можно пріурочивать къ «жизни дѣйствительной»: напротивъ, болѣе фантастической «словесности» съ притязаніями на «идеальность, чистоту и глубокость чувствъ» — наша литература не знаетъ. Очевидно, авторъ не позаботился ни для читателей, ни даже для себя самого разъяснить свою философію исторіи русской литературы. Но существеннымъ фактомъ остается признаніе исторической и культурной неудовлетворительности карамзинской и романтической школы. Отсюда логически вытекалъ принципъ національнаго реализма.

Именно на основаніи этого принципа *Полтава* признается лучшей поэмой Пушкина: она—*историческая* въ истинномъ смыслѣ слова; она посвящена не *мечтательности*, а *существенности*, т. е. не порывамъ воображенія, а дѣйствительности. Критикъ находитъ и нѣкоторые недостатки, т. е. противорѣчія *истинѣ*—положительной, жизненной правдѣ, напримѣръ, романическая чувствительность Мазепы, когда онъ узнаетъ хуторъ Кочубея. «Эта сцена изъ Корнеля, вплетенная въ трагедію Шекспира».

Уже такое сравненіе показываетъ, чего критикъ искалъ у Пушкина и какъ высоко ставилъ его талантъ. По его мнѣнію,

словесность русская еще не доросла до направленія Пушкина, и поэма не могла имѣть видимаго вліянія на литературу.

Это совершенно вѣрный взглядъ, подтвержденный исторіей. Естественно, Пушкинъ привѣтствовалъ статью Кирѣевскаго, называлъ ее «краснорѣчивой и полной мыслей». Но ему пришлось считаться съ злополучнѣйшимъ выраженіемъ, въ недобрую минуту слетѣвшимъ съ пера критика.

Фраза сдѣлала настоящую карьеру и долгое время не сходила со страницъ журналовъ, не согласныхъ со взглядами Кирѣевскаго или вообще считавшихъ лишними всякіе взгляды, особенно философскіе.

Характеризуя одного изъ подражателей-поэтовъ, барона Дельвига, Кирѣевскій пустился въ фигуральныя словоизвитія и нарисовалъ такую картину:

«Его муза была въ Греціи; она воспиталась подъ теплымъ небомъ Аттики; она наслушалась тамъ простыхъ и полныхъ, естественныхъ, свѣтлыхъ и правильныхъ звуковъ лиры греческой; но ея нѣжная краса не вынесла бы холода мрачнаго Сѣвера, если бы поэтъ не прикрылъ ее нашею народною одеждою; если бы на ея классическія формы не набросилъ душегрѣйку новѣйшаго унынія: и не къ лицу ли гречанкѣ нашъ сѣверный нарядъ?»

Эта «душегрѣйка» съ восторгомъ была встрѣчена современною печатью, и журналы немедленно воспользовались дешевой потѣхой. Но не одобрили душегрѣйки и такіе читатели, какъ Жуковскій и Пушкинъ. Совершенно основательно можно было опасаться за судьбу самыхъ здравыхъ критическихъ идей среди большой публики изъ-за подобной игры стиля.

Но мы уже могли не разъ замѣтить даже по краткимъ образцамъ, что критики-философы далеко не отличались мастерствомъ формы. Одоевскій, повидимому, безпрестанно ощущалъ сердечную тоску по выспренности и загадочности философическаго діалекта: Веневитиновъ, стремившійся къ идеальной ясности, не достигъ ея въ своихъ статьяхъ, а Кирѣевскій вдавался въ аллегоріи и лирическія фигуры сомнительнаго достоинства. Мы вспомнимъ всѣ эти изъяны философской критики, когда сопоставимъ съ ней произведенія менѣе ретивыхъ любомудровъ и болѣе искусныхъ публицистовъ,—вродѣ Полевого. Пробѣлы произведутъ на насъ тѣмъ болѣе прискорбное впечатлѣніе, что бойкой публицистикѣ недоставало, въ свою очередь, многихъ положительныхъ качествъ философской критики, и только совмѣстная и единодушная работа

представителей одного въ сущности критическаго направленія, но разныхъ типовъ, могла бы спасти русскую критику отъ безплодныхъ метаній въ разныя стороны и утвердить ее на прочномъ пути послѣдовательнаго развитія.

Эти метанія очень энергично осуждены тѣмъ же Кирѣевскимъ, въ его послѣдней большой статьѣ о современной литературѣ—*Обозрѣніе русской словесности за 1831 годъ.*

Кирѣевскій сѣтуетъ на отсутствіе опредѣленныхъ идей въ русской критикѣ: это еще было горемъ Веневитинова. И нашъ авторъ указываетъ тотъ же источникъ смуты: у русскихъ критиковъ нѣтъ самобытности вкуса, всѣ они поддаются тѣмъ или другимъ иноземнымъ внушеніямъ. Они не успѣли воспитаться на образцахъ отечественныхъ, и появленіе талантливыхъ произведеній застаетъ ихъ врасплохъ.

Замѣчаніе въ высшей степени умѣстное!

Привычка XVIII вѣка сравнивать русскихъ писателей непремѣнно съ иностранными классиками и именовать ихъ «россійскій Вольтеръ», «нашъ Лафонтенъ» и даже «россійская Сафо» долго не вывѣтривалось ни подъ какими новыми вліяніями. Мѣста французскихъ классиковъ заняли англійскіе и нѣмецкіе, и мы увидимъ, что на языкѣ Полевого означало: «гуморъ Шекспировъ», «исполинскія остроты Гюго», «многостороннія творенія Гёте»... Ни болѣе, ни менѣе, какъ рѣшительные приговоры Пушкину и Гоголю.

А между тѣмъ Полевой считалъ себя и былъ въ дѣйствительности однимъ изъ самыхъ оригинальныхъ и независимыхъ критиковъ своего времени.

Великаго труда стоило русскимъ людямъ дойти до самой, повидимому, простой мысли: разъ русскіе—особая національность, имѣютъ свою исторію и создали свои нравы и свое міросозерцаніе, естественно среди нихъ появиться и особымъ писателямъ, не похожимъ ни на Гёте, ни на Гюго и сильнымъ своими силами и красивымъ своими чертами.

Первая половина этого разсужденія была легко усвоена подъ многообразными воздѣйствіями фактовъ и идей, но вторая давалась крайне медленно. И нетолько критикамъ, имѣвшимъ личные и литературные счеты, напримѣръ, съ Пушкинымъ, но даже друзьямъ поэта и далеко не послѣднимъ величинамъ въ художественной литературѣ и въ критикѣ.

Будто оправдывалась старая истина, что русскіе особенно неохотно признаютъ отечественные таланты и въ культурномъ

отношеніи такъ мало развиты и такъ мало терпимы и вдумчивы, что скорѣе согласятся не понять и осудить, чѣмъ радушно и любовно приглядѣться къ новому лицу и привѣтствовать его истинныя достоинства. Во всякомъ случаѣ, Кирѣевскому удалось напасть на самый болѣзненный недугъ русской критики и пояснить свой діагнозъ чрезвычайно удачнымъ примѣромъ.

Появился *Борисъ Годуновъ*, и посмотрите, что произошло среди русскихъ Аристарховъ!

«Иной критикъ, помня Лагарпа, хвалитъ особенно тѣ сцены, которыя болѣе напоминаютъ трагедію французскую, и порицаетъ тѣ, которымъ не видитъ примѣра у французскихъ классиковъ. Другой, въ честь Шлегеля, требуетъ отъ Пушкина сходства съ Шекспиромъ, и упрекаетъ за все, чѣмъ поэтъ нашъ отличается отъ англійскаго трагика, и восхищается только тѣмъ, что находитъ между обоими общаго... И эта привычка смотрѣть на русскую литературу сквозь чужіе очки иностранныхъ системъ до того ослѣпила нашихъ критиковъ, что они въ трагедіи Пушкина нетолько не замѣтили, въ чемъ состоятъ ея главныя красоты и недостатки, но даже не поняли, въ чемъ состоитъ ея содержаніе».

Кирѣевскій приглашалъ читателей взглянуть на трагедію «глазами не предубѣжденными системою», «отказаться отъ многихъ школьныхъ и ученыхъ предразсудковъ», вообще судить Пушкина, какъ поэта независимаго, оригинальнаго, не обязаннаго непремѣнно находиться въ вѣрноподданствѣ у теорій и у образцовъ.

Это разсужденіе ничто иное, какъ признаніе *свободы художника*, какъ о ней заявилъ Грибоѣдовъ, и повтореніе истины, высказанной Пушкинымъ по поводу грибоѣдовской комедіи: «Драматическаго писателя должно судить по законамъ, имъ самимъ надъ собой признаннымъ».

Пушкинъ написалъ эти слова одновременно съ заявленіемъ Грибоѣдова, т. е. лѣтъ на шесть раньше Кирѣевскаго. Такъ медленно *идеи* критики совпадали съ *инстинктами* художниковъ! Но совпаденіе все таки происходило, и именно у молодыхъ шеллингіанцевъ, ярко подчеркивая всю жизненность и глубину ихъ литературно-философскихъ стремленій.

Кромѣ того, и *смѣлость* стремленій. Кирѣевскій, сравнивъ разъ поэму Пушкина съ шекспировскими, теперь дѣлаетъ еще болѣе отважный шагъ: рѣшается *Бориса Годунова* сопоставить съ *Прометеемъ* Эсхила. Это классическое общеобожаемое произведеніе также не трагедія, а *стихотвореніе*, въ «ней еще

менѣе *ощутительной* связи между сценами», и въ ней также «развивается воплощеніе мысли».

Выводъ давно намъ извѣстный: «въ Годуновѣ Пушкинъ выше своей публики», какъ онъ былъ выше и въ *Полтавѣ*. Не стояли въ уровень съ нимъ и отечественные Лагарпы и Шлегели. При такихъ условіяхъ настоятельной и по истинѣ спасительной являлась дѣятельность критиковъ, умѣвшихъ отрѣшаться и отъ классическихъ и романтическихъ предразсудковъ, смотрѣть глазами безъ очковъ и судить русскихъ поэтовъ безъ справокъ съ какими бы то ни было авторитетами.

Но будто злой рокъ тяготѣлъ надъ молодыми критиками-философами. Одинъ за другимъ они быстро сходили со сцены и, оставаясь въ цвѣтѣ силъ, очищали поприще «сорокамъ низовскимъ», по выраженію Пушкина. Вмѣстѣ съ *Мнемозиной* ушелъ въ святилище отрѣшенной мысли Одоевскій, съ *Европейцемъ* замолчалъ Кирѣевскій, почти одновременно постигла безвременная кончина и *Московскій Вѣстникъ*. Нива русской критики окончательно поросла бы плевелами, если бы нѣкоторое, правда, непродолжительное время не оставался на стражѣ литературы и литературной публицистики журналъ Полевого «Московскій Телеграфъ.

XLIV.

Полевой явился наслѣдникомъ и продолжателемъ не только критиковъ-философовъ. При одномъ этомъ условіи его журналу врядъ ли удалось бы сыграть такую шумную, даже блестящую роль, какая отмѣтила все время его существованія. Вѣроятно, участь *Телеграфа* напомнила бы «естественныя» кончины *Мнемозины* и *Московскаго Вѣстника*, если бы его руководитель вздумалъ, подобно своимъ благороднымъ современникамъ, воспарить въ высшія сферы германскаго любомудрія и съ неуклоннымъ усердіемъ послѣднія слова философіи прикидывать къ явленіямъ литературы и даже общественной жизни.

Этого не случилось съ *Телеграфомъ*: журналъ, помимо философіи, усвоилъ еще другое направленіе современной критической мысли, далеко не столь громкое и внушительное, какъ философское, но имѣвшее свои особыя достоинства. Они-то и оказались исключительно цѣнными въ рукахъ талантливаго публициста.

Мы неоднократно, на основаніи подлинныхъ данныхъ, могли отмѣтить основные изъяны философской критики шеллингіанскаго

направленія. Въ высшей степени ярко и только развѣ отчасти преувеличенно изобразилъ эти изъяны одинъ изъ современниковъ нашихъ философовъ. Судья—безусловно надежный и добросовѣстный, такъ какъ его самого увлекала таже германская философія, хотя въ лицѣ другого учителя. Разница между этимъ судьей и знакомыми намъ любомудрыми—въ чрезвычайно развитомъ дѣятельномъ общественномъ инстинктѣ, въ страстной стремительности теорію видѣть осуществленной дѣйствительностью, идею и принципъ живыми силами человѣческаго бытія.

Мы знаемъ, эти волненія только въ слабой степени могли быть доступны большинству шеллингіанцевъ. Они, несомнѣнно, мечтали о разнообразныхъ плодотворныхъ и вполнѣ жизненныхъ результатахъ своего философствованія, но на уровнѣ мечтаній не стояла ни личная энергія, ни практическое искусство. Естественно, мечтатели, при всей своей благонамѣренности, должны были вызвать суровую отповѣдь у всѣхъ, кто по натурѣ не чувствовалъ себя способнымъ успокоиться на «прекрасныхъ дняхъ Аранжуэца».

Указавъ на извѣстные намъ стилистическіе пороки философско-критическихъ трактатовъ, нашъ очевидецъ продолжаетъ:

«Молодые философы испортили себѣ не однѣ фразы, но и пониманіе; отношеніе къ жизни, къ дѣйствительности сдѣлалось школьное, книжное, это было то ученое пониманіе вещей, надъ которымъ такъ геніально смѣялся Гёте въ своемъ разговорѣ Мефистофеля съ студентомъ. Все *въ самомъ дѣлѣ* непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блѣдной, алгебраической тѣнью. Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобъ отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ; и если ему попадался по дорогѣ какой-нибудь солдатъ подъ хмелькомъ или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи. Самая слеза, навертывавшаяся на вѣкахъ, была строго отнесена къ своему порядку, къ «гемюту» или къ «трагическому въ сердцѣ» [123]).

Нѣкоторыя выраженія этой добродушной сатиры показываютъ, что авторъ мѣтилъ и въ гегельянцевъ, въ позднѣйшее поколѣніе

[123]) Герценъ *Былое и думы*. VII, 123.

русско-германскихъ философовъ. Сущность вопроса, дѣйствительно, одинакова въ теченіе всей философской эпохи. Крайняя выспренность чувствъ и настроеній, чисто религіозное пристрастіе къ формуламъ и обобщеніямъ подрывали жизненную силу и здоровую чуткость часто самой вдумчивой и, несомнѣнно, глубокой мысли. Мы видѣли, какъ этотъ подрывъ отражался на самыхъ благородныхъ и практически-настоятельныхъ идеяхъ философской критики.

Ея неотъемлемой заслугой останется по истинѣ рыцарственное представленіе о литературѣ и о личности писателя, какъ художественнаго таланта. Именно философская критика покончила съ старымъ барственнымъ отношеніемъ русскаго общества къ искусству, какъ къ ремеслу, и къ литераторамъ, какъ наемнымъ увеселителямъ.

Но увѣнчивая творчество лаврами и окружая художниковъ ореоломъ исключительности, та же философія доводила процессъ до крайности и готова была впасть въ нелѣпый культъ поэта-жреца, какъ контраста презрѣнной толпѣ. И вина заключалась въ теоретической прямолинейности мыслителей, всегда и вездѣ развивающейся въ ущербъ *такту дѣйствительности* и даже здравому смыслу.

Слѣдовало бы поменьше философіи, побольше непосредственнаго художественнаго чувства и болѣе устойчиваго и энергическаго интереса къ обыденной современности. Пушкину безпрестанно приходилось напоминать критикѣ объ этихъ неотъемлемыхъ качествахъ литературнаго судьи, и мы знаемъ недовѣріе поэта къ философіи и профессіональной учености. Ему болѣе цѣнными казались простота и искренность художественныхъ впечатлѣній и вполнѣ реальный, не теоретическій и безпредразудочный взглядъ на его произведенія.

Естественно, этому требованію могли удовлетворить гораздо успѣшнѣе просто образованные читатели, чѣмъ усердные слушатели философскихъ курсовъ. У этихъ читателей не оказывалось широкихъ эстетическихъ принциповъ, не было глубины въ пониманіи таланта и творческаго процесса, но о частныхъ явленіяхъ литературы, они вполнѣ способны были сказать дѣльное и мѣткое слово. Тѣмъ болѣе, что сама литература, въ лицѣ того же Пушкина, обнаруживала непреодолимое стремленіе окончательно спуститься на землю, покинуть не только облака, но даже Кавказскія горы, и сосредоточиться на невзрачныхъ жанрахъ бѣдной красками будничной жизни.

Впослѣдствіи, хотя сравнительно очень не скоро, поэтъ найдетъ всестороннихъ цѣнителей своего фламандскаго искусства и эти цѣнители съумѣютъ подъискать и принципы, и идеи, освящающія новую поэзію. Это будетъ однимъ изъ величайшихъ завоеваній русской критики, но и теперь, на глазахъ поэта, кое-гдѣ мелькаютъ проблески истины.

Они весьма неярки и неустойчивы. Случайность и какая-то нервная разбросанность—таково наше первое впечатлѣніе. Полная противоположность статьямъ философской школы: тамъ все строго согласовано, соподчинено руководящимъ идеямъ, здѣсь вихрь эффектныхъ фразъ, блестящихъ, мимолетныхъ замѣчаній, импрессіонистскихъ вдохновеній. Противорѣчій можно найти сколько угодно, но въ то же время нельзя не почуять нѣкоего духа, носящагося надъ этимъ хаосомъ. Этотъ духъ—прирожденное эстетическое чувство критика, никогда неизмѣняющая чуткость къ истинной красотѣ и дѣйствительной правдѣ жизни.

Но эти свойства необходимы, также и для поэтовъ и нашъ типъ критиковъ, несомнѣнно, долженъ состоять въ тѣсномъ духовномъ родствѣ съ любимцами музъ. Вдохновеніе здѣсь столь же привычное оружіе, какъ и анализъ, даже еще болѣе острое и сильное. И мы дѣйствительно въ лицѣ каждаго критика встрѣчаемъ прежде всего поэта. Творческая способность замѣняетъ здѣсь философскую діалектику и полеты воображенія преобладаютъ надъ послѣдовательнымъ разсудочнымъ изысканіемъ.

Мы отчасти знакомы съ этимъ родомъ критики по разсужденіямъ Кюхельбекера. Мы могли оцѣнить лиризмъ критика во славу русской національной поэзіи, замѣтить отсутствіе спокойныхъ логическихъ доказательствъ безусловно основательной мысли и въ то же время указать, сколько было брошено мѣткихъ замѣчаній юнымъ энтузіастомъ по адресу такихъ признанныхъ свѣтилъ литературы, какъ Жуковскій.

Кюхельбекеръ не особенно высоко цѣнился современниками. Самый почетный отзывъ далъ о немъ Пушкинъ, хотя онъ же не отказывалъ себѣ въ удовольствіи посмѣяться надъ пламеннымъ буршемъ словесности.

«Онъ человѣкъ дѣльный съ перомъ рукахъ,—писалъ Пушкинъ,—хоть и сумасбродъ» [124]). Поэта, несомнѣнно, радовали искры настоящаго художественнаго чувства, освѣщавшія статьи Кю-

[124]) Письмо къ кн. Вяземскому 10 авг. 1825 г.

хельбекера, но въ то же время онъ не могъ забыть, какъ критикъ вздумалъ драться съ нимъ на дуэли за знаменитый стихъ: «и кюхельбекерно, и тошно».

Другіе были менѣе снисходительны къ романтическимъ выходкамъ Кюхельбекера, и Гречъ, напримѣръ, далъ ему уничтожающую характеристику, налегая преимущественно на его полоумie и другія, еще менѣе приглядныя нравственныя качества, вродѣ неблагодарности къ благодѣтелямъ [125]). Но во всемъ отзывѣ звучитъ явная желчь и въ нашихъ глазахъ никакія чувства булгаринскаго пріятеля и союзника не понизятъ хотя бы и очень скромныхъ заслугъ несчастнаго товарища Пушкина предъ русской критикой.

Къ той же породѣ поэтическихъ цѣнителей литературы принадлежало еще два писателя,—Рылѣевъ и Бестужевъ-Марлинскій. Эти имена въ литературной исторіи неразрывно связаны другъ съ другомъ и въ теченіе двадцатыхъ годовъ представляютъ едва ли не самый идейный и рыцарственный *союзъ* на поприщѣ журналистики. Недаромъ дѣятельности этого союза неизмѣнно принадлежало горячее сочувствіе Пушкина и только благодаря Рылѣеву и Марлинскому на короткое время установилась было гармонія и вполнѣ сознательное взаимное дружелюбіе между критикой и искусствомъ. А между тѣмъ до потомства если и дошла литературная слава двухъ друзей, то отнюдь не въ критикѣ: Рылѣевъ — поэтъ, Марлинскій — романистъ, одинъ незабвенный авторъ посланія *Ко Временщику*: оно, несомнѣнно, останется столь же безсмертнымъ въ нашей общественной исторіи, какъ и имя Аракчеева, другой когда-то жегъ сердца стремительно-романтическими повѣстями и едва ли не первый изъ русскихъ прозаиковъ явился своего рода властителемъ думъ, по крайней мѣрѣ, двухъ поколѣній.

Но чтò сдѣлано этими авторами на самомъ трудномъ и смутномъ пути русской словесности, остается забытымъ, хотя можно смѣло сказать, двѣ-три оригинальныхъ мысли въ критикѣ семьдесятъ лѣтъ тому назадъ стоили дороже какого угодно стихотворенія и повѣсти.

---

[125]) *Записки о моей жизни.* Спб. 1886, стр. 381 etc.

XLV.

Мысль о періодическомъ изданіи въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ лелѣялась Марлинскимъ. Еще въ 1819 году онъ добивался разрѣшенія на изданіе журнала, но не имѣлъ успѣха. Три года спустя идея, наконецъ, осуществилась. Марлинскій привлекъ къ своему плану Рылѣева, и съ 1823 года началъ выходить альманахъ *Полярная Звѣзда*.

Предпріятіе задумали очень серьезно. Издатели не намѣрены были печатать книжки для собственнаго удовольствія и ограничиваться наслажденіемъ видѣть свои произведенія въ печати въ собственномъ изданіи. Цѣль ставилась несравненно шире, совершенно такъ, какъ впослѣдствіи ее понялъ Полевой для своего *Телеграфа*.

«Полярные господа», какъ называлъ новыхъ издателей Пушкинъ, желали произвести переворотъ въ литературѣ и въ положеніи русскаго писателя, во что бы то ни стало добиться успѣха изданія и литературный трудъ превратить въ почетную доходную статью. Всѣмъ сотрудникамъ былъ предложенъ гонораръ—фактъ, безпримѣрный для того времени и даже для позднѣйшаго. Пушкинъ стоялъ во главѣ приглашенныхъ и съ нетерпѣніемъ ждалъ осуществленія предпріятія.

Надежды немедленно оправдались. *Полярная Звѣзда*, по своей судьбѣ среди читателей, дѣйствительно создала эпоху въ исторіи русской журналистики. Въ теченіе трехъ недѣль было раскуплено 1.500 экземпляровъ, успѣхъ совершенно безпримѣрный на современномъ книжномъ рынкѣ. Только *Исторія* Карамзина могла соперничать съ *Полярной Звѣздой*, ни одинъ же журналъ не могъ и мечтать о подобномъ торжествѣ. Издатели не только возмѣстили расходы, но получили даже прибыли до 2.000 рублей [126]).

Альманахъ выходилъ въ теченіе трехъ лѣтъ, закончился 1825 годомъ. Рылѣевъ дѣлилъ свое время между заботами по издательству и собраніями тайнаго общества... Четырнадцатое декабря положило конецъ всѣмъ дѣламъ и надеждамъ: издатель *Полярной Звѣзды* и политичнскій мечтатель окончилъ жизнь на эшафотѣ.

Близкій свидѣтель событій даетъ очень простую, но очень мѣт-

---

[126]) *Воспоминанія о Рылѣевѣ*—кн. Е. Оболенскаго. *Полное собраніе сочиненій К. Ѳ. Рылѣева.* Лейпцигъ—Brockhaus. 1861, стр. 57.

кую характеристику Рылѣева: она вполнѣ совпадаетъ и съ его литературной личностью, и критическимъ талантомъ.

«Рылѣевъ былъ не краснорѣчивъ и овладѣвалъ другими не тонкостями риторики или силою силлогизмовъ, но жаромъ простого и иногда несвязнаго разговора, который въ отрывистыхъ выраженіяхъ изображалъ всю силу мысли, всегда прекрасной, всегда правдивой, всегда привлекательной. Всего краснорѣчивѣе было его лицо, на которомъ являлось прежде словъ все то, что онъ хотѣлъ выразить, точно, какъ говорилъ Муръ о Байронѣ, что онъ похожъ на гипсовую вазу, снаружи которой нѣтъ никакихъ украшеній, но какъ скоро въ ней загорится огонь, то изображенія, изваянныя внутри хитрою рукою художника, обнаруживаются сами собою. Истина всегда краснорѣчива, и ея любимецъ, окруженный ея обаяніемъ и ею вдохновенный, часто убѣждалъ въ такихъ предположеніяхъ, которыхъ ни онъ дѣтскимъ лепетаньемъ своимъ не могъ еще объяснить, ни другихъ довольно вразумить; но онъ провидѣлъ ихъ и заставлялъ провидѣть другихъ» [127]).

Это—довольно точное опредѣленіе именно вдохновляющагося, а не анализирующаго критика. Таковъ именно Рылѣевъ во всѣхъ своихъ немногочисленныхъ и краткихъ разсужденіяхъ о поэзіи и искусствѣ. Собственно подобіе критической статьи имѣютъ только *Нѣсколько мыслей о поэзіи*, да и эти мысли отрывокъ изъ письма. Но равноправное мѣсто съ этимъ разсужденіемъ должны занимать и другія письма Рылѣева, именно письма къ Пушкину. Они чрезвычайно содержательны и часто стóятъ длинныхъ разсужденій.

Въ *отрывкѣ* Рылѣевъ рѣшаетъ самый модный и жгучій вопросъ современной критики: о романтической и классической поэзіи. Мы можемъ предугадать отвѣтъ автора, зная общее направленіе его художественной натуры. Для Рылѣева не существуетъ теоретическихъ опредѣленій поэзіи: нѣтъ, слѣдовательно, ни романтизма, ни классицизма,—это споръ о словахъ, а существуетъ и будетъ существовать «одна истинная, самобытная поэзія» и правила ея всегда будутъ одни и тѣ же. Только духъ времени, степень просвѣщенія общества, условія страны создаютъ для нея различныя формы. И совершенно безцѣльно само стремленіе вообще опредѣлить поэзію. Она ничто иное, какъ осуществленіе «идеаловъ

---

[127]) *Воспоминаніе о Кондратьѣ Ѳедоровичѣ Рылѣевѣ*. Н. Бестужева. *О. с.* стр. 23—24.

высокихъ чувствъ, мыслей и высокихъ истинъ, всегда близкихъ человѣку и всегда недовольно ему извѣстныхъ». Сущность ея въ оригинальности и независимости, величайшее зло—въ подражательности. Въ этомъ смыслѣ романтиками можно назвать и древнихъ самобытныхъ поэтовъ,—Гомера, Эсхила, Пиндара.

Критикъ не пытался развить своихъ мыслей и пояснить ихъ примѣрами. Его перомъ управляла истина, но у его ума не хватало ни выдержки, ни глубины, чтобы истину всесторонне объяснить и утвердить на общеубѣдительныхъ основахъ. Это не критика, а развѣ только критическія впечатлѣнія и наброски. Но, несомнѣнно, они коренились въ такомъ прочномъ чувствѣ, пожалуй, даже инстинктѣ, что сужденія о частныхъ явленіяхъ поэзіи заранѣе были установлены и критикъ не могъ впасть ни въ одно изъ педантическихъ недоразумѣній старовѣровъ словесности или проглядѣть живую искру непосредственной поэзіи въ погонѣ за философской доктриной.

Письма къ Пушкину и представляютъ приложеніе общаго критическаго настроенія Рылѣева.

Они дышатъ страстнымъ преклоненіемъ предъ геніемъ великаго поэта. Это—сплошныя любовныя объясненія и восторженные гимны, только изрѣдка прерываемые сомнѣніями и оговорками. Общій смыслъ отношенія Рылѣева къ пушкинскому таланту ясенъ изъ слѣдующаго поистинѣ романтическаго воззванія:

«Пушкинъ! ты пріобрѣлъ уже въ Россіи пальму первенства: одинъ Державинъ только еще борется съ тобою, но еще два, много три года усилій и ты опередишь его. Тебя ждетъ завидное поприще: ты можешь быть нашимъ Байрономъ, но, ради Бога, ради Христа, ради твоего любезнаго Магомета не подражай ему. Твое огромное дарованіе, твоя пылкая душа могутъ вознести тебя до Байрона, оставивъ Пушкинымъ. Если бы ты зналъ, какъ я люблю, какъ я цѣню твое дарованіе! Прощай, чудотворецъ».

Въ такомъ же тонѣ и отзывы объ отдѣльныхъ произведеніяхъ Пушкина. Они не всегда безупречны на нашъ современный взглядъ. Рылѣевъ, напримѣръ, упорно ставитъ *Евгенія Онѣгина* ниже *Бахчисарайскаго фонтана* и *Кавказскаго плѣнника* и «готовъ спорить объ этомъ до второго пришествія». Противъ *Онѣгина* былъ и Марлинскій, но по соображеніямъ, чуждымъ Рылѣеву. Марлинскій находилъ самую тему романа и его содержаніе слишкомъ мелкими, недостойными поэзіи, т. е. онъ стоялъ противъ реализма и будничности.

Пушкинъ въ письмѣ къ Рылѣеву защищалъ свое дѣтище и доказывалъ, что «легкое» и «веселое», вообще «картины свѣтской жизни» входятъ въ область поэзіи.

Рылѣевъ соглашался съ Пушкинымъ и признавалъ за его «чертовскимъ дарованіемъ» способность втолкнуть въ поэзію даже свѣтскую жизнь. Очевидно, романъ страдалъ, по его мнѣнію, другими недостатками. Собственно первая глава. И легко догадаться, какими именно. Критикъ усмотрѣлъ ненавистную ему подражательность, заподозрилъ Пушкина въ копированіи Байрона. Это казалось ему нестерпимо-унизительнымъ для русскаго поэта и онъ, не вдумавшись въ сущность самаго типа московскаго Чайльдъ-Гарольда, ополчился на призрачный смертный грѣхъ поэта.

Вообще, пушкинскій байронизмъ для Рылѣева настоящее бѣльмо въ глазу. Онъ уличаетъ поэта въ подражаніи Байрону еще по другому, болѣе серьезному поводу. Здѣсь рѣзкая отповѣдь Рылѣева, своего рода гражданскій подвигъ.

Дѣло коснулось аристократизма Пушкина. Поэтъ имѣлъ слабость подчиняться тону современнаго общества, а кромѣ того, чувствовалъ по временамъ естественную необходимость бороться съ чванствомъ и вызывающимъ варварствомъ этого общества его же оружіемъ.

Общество выше всякаго генія и всякой умственной дѣятельности ставило происхожденіе и чины и съ этой позиціи считало себя въ правѣ смотрѣть на потомка Ганнибала сверху внизъ. Тогда Пушкинъ припоминалъ свою родню съ другой стороны и бросалъ въ лицо своимъ врагамъ «пятисотлѣтнее дворянство» рода Пушкиныхъ.

Рылѣевъ не могъ стерпѣть этихъ комическихъ и недостойныхъ счетовъ геніальнаго поэта съ высокородными пошляками.

Онъ усиленно объяснялъ Пушкину его *личныя* права на высокое положеніе. «Чванство дворянствомъ — непростительно, особенно тебѣ,—писалъ онъ.—На тебя устремлены глаза Россіи, тебя любятъ, тебѣ вѣрятъ, тебѣ подражаютъ. Будь поэтъ и гражданинъ».

Рылѣевъ искренне смѣется надъ герольдическими разсчетами поэта и умоляетъ его, ради Бога, «быть Пушкинымъ»: «ты самъ по себѣ молодецъ».

Будущій декабристъ не желаетъ допустить даже мысли о покровительствѣ литературѣ со стороны власти. Онъ всѣми силами души возстаетъ противъ придворнаго и оффиціальнаго меценат-

ства. Вполнѣ достаточно, если правительства просто не будутъ стѣснять талантовъ и предоставятъ ихъ свободнымъ внушеніямъ ихъ вдохновенія. Истинный талантъ, при такихъ условіяхъ, не останется безъ пропитанія. Онъ самъ по себѣ сила вполнѣ довлѣющая и не нуждается ни въ пенсіяхъ, ни въ орденахъ, ни въ ключахъ камергерскихъ.

Мы видимъ, какое значеніе имѣло для Рылѣева близкое участіе въ общественныхъ интересахъ современной передовой молодежи. Если онъ шелъ противъ литературныхъ школъ и піитическихъ теорій подъ вліяніемъ врожденнаго художественнаго чувства, высокія права личности художника и его таланта онъ защищалъ, какъ политикъ и публицистъ. Нечего и говорить,— всѣ эти идеи прекрасно развивались и критиками-философами на основании шеллингіанской эстетики. Но у Рылѣева тѣ же идеи явились не доктриной учителя, не внушеніемъ авторитета, а живымъ и дѣятельнымъ инстинктомъ, горячей рѣчью въ полномъ смыслѣ практическаго дѣятеля, убѣжденнаго въ своей вѣрѣ безъ всякихъ философскихъ категорій и, слѣдовательно, свободно заявляющаго о ней всѣмъ простымъ и непосвященнымъ.

И результаты немедленно сказываются, на первый взглядъ едва замѣтно, будто мимоходомъ, но по существу чрезвычайно сильно. Критикъ поэта ставитъ рядомъ съ гражданиномъ: эти понятія для него равнозначущія, точнѣе, поэтическій талантъ самъ по себѣ налагаетъ извѣстныя гражданскія обязательства: на него устремлены глаза его родины!

Философы также мечтали о народномъ просвѣщеніи, но до этой цѣли довольно далеко отъ вершинъ шеллингіанства. Конечно, поэтъ пророкъ, но, пожалуй, его пророческому сану будетъ достойнѣе пребывать гдѣ-нибудь въ пустынѣ или въ надземныхъ высотахъ, чѣмъ среди толпы. Вопросъ весьма трудный, особенно если сообразить всю его божественную исключительность самой природы поэта.

Но замѣните пророка гражданиномъ, и перспективы совершенно преобразовываются. Общаго много между гражданиномъ и пророкомъ въ духовномъ смыслѣ, но въ практическомъ можетъ быть громадная разница. Гражданинъ—это работникъ на общемъ житейскомъ поприщѣ нуждъ, страданій, часто мелкихъ треволненій. Ему требуется и соотвѣтствующая рѣчь, и образъ мыслей. Онъ менѣе всего можетъ углубляться въ неизрѣченныя чувствованія и въ неизглаголанныя грезы; отъ всего этого не прочь

были юные философы. Ему необходимо говорить вразумительно и общедоступно: не даромъ онъ, вѣритъ нашъ авторъ, «не будетъ безъ денегъ и, слѣдовательно, безъ пропитанія». За тайны любомудрія находилось крайне мало охотниковъ платить, хотя любомудріе таило въ себѣ множество высокихъ истинъ и благороднѣйшихъ идеаловъ. *Мнемозина* отцвѣла, не успѣвши разцвѣсть, вся обвѣянная небесными лучами философіи и эстетики.

Полярная звѣзда до конца горѣла ярко и властно, именно потому, что слово «гражданинъ» не было звукомъ пустымъ на языкѣ ея издателя. Она дѣйствительно стремилась свѣтить всѣмъ и на всѣхъ путяхъ, не брезгуя сильнымъ голосомъ страсти, непосредственнаго чувства, злой ироніи и лирическаго паѳоса.

Рылѣевъ еще сравнительно скроменъ въ этихъ пріемахъ, его товарищъ съ самаго начала отвергъ всякій тонъ и профессіональное жеманниченье, столь процвѣтавшее у современныхъ аристарховъ, и самъ же откровенно сознался въ этомъ. Другого пути къ побѣдѣ надъ читателемъ не было. «Чтобы быть прочтену,—заявлялъ онъ публикѣ,—я былъ принужденъ писать коротко, ново и странно».

И Марлинскій, дѣйствительно, гоняясь за новизной, безпрестанно впадалъ въ странности. Но форма не наносила ущерба идеѣ, а между тѣмъ намѣченная цѣль достигалась. И мы, познакомившись съ публицистикой автора, готовы отпустить ему даже еще больше прегрѣшеній по части преднамѣренной оригинальности.

XLVI.

Марлинскій искони считается однимъ изъ самыхъ подлинныхъ русскихъ романтиковъ. Причина—его повѣсти, не менѣе статей изобилующія новизнами и странностями. И все-таки—романтизмъ Марлинскаго нѣчто совершенно другое, чѣмъ классическій романтизмъ Жуковскаго.

Этотъ поэтъ явился излюбленной жертвой нашихъ союзниковъ. Мѣткій ударъ нанесъ ему Кюхельбекеръ, еще больнѣе поразилъ Рылѣевъ,—за мистицизмъ, мечтательность, неопредѣленность и туманность. Всѣ эти пороки «растлили многихъ и много зла надѣлали». Это указаніе для своего времени не малая заслуга: такъ полно и ясно даже Пушкинъ не представлялъ тлетворнаго вліянія поэзіи Жуковскаго на русскую словесность. И, несо-

мнѣнно, лишій ударъ по адресу мистицизма и мечтательности былъ новымъ успѣхомъ реальнаго искусства и здравомыслящей критики.

Марлинскій пошелъ дальше Рылѣева и на своемъ «странномъ» языкѣ произнесъ чрезвычайно эффектный приговоръ старымъ школамъ.

Критику было это очень удобно: онъ писалъ преимущественно обозрѣнія литературы за отдѣльные годы, первый ввелъ ихъ въ обычай и могъ свободно дѣлать какія угодно отступленія, какъ впослѣдствіи будетъ поступать Бѣлинскій. У Марлинскаго эта манера вошла въ привычку и онъ по поводу частныхъ вопросовъ писалъ цѣлые трактаты общаго содержанія, — напримѣръ, въ статьѣ о романѣ Полевого *Клятва при гробѣ Господнемъ.*

Никто, ни раньше, ни позже нашего критика, не подвергъ такой экзекуціи французское вліяніе на русскую литературу, какъ это сдѣлано въ только-что упомянутой статьѣ.

Авторъ не пощадилъ ни одной эпохи, ни одного классическаго героя, ни одного театральнаго мотива. «Мраморная челядь Олимпа», «стриженныя въ видѣ грибовъ аллеи Ленотра», «тираны желудка и терпѣнія въ четырехъ лицахъ»—разумѣются, произведенія французской кухни наравнѣ съ трагическими героями, безпощадное негодованіе на невѣжественныхъ гувернеровъ-эмигрантовъ, на ихъ «душегубныя книжонки», злая иронія подъ смѣсью гасконскаго съ нижегородскимъ,—и все это съ цѣлью наповалъ сразить «сусальную позолоту» очаковскихъ временъ, оставить въ глупцахъ старичковъ, вздыхающихъ о старинѣ и завѣщавшихъ своимъ дѣтямъ долги и болѣзни...

Такъ еще никто не воевалъ съ классицизмомъ. Автора, очевидно, гораздо меньше занимаетъ чисто-литературный вопросъ, чѣмъ идейный и культурный. Онъ почти готовъ совсѣмъ миновать піитику ради общественной сатиры. Въ результатѣ предъ нами одинъ изъ самыхъ раннихъ примѣровъ публицистической критики, управляемой безусловно просвѣщеннымъ міросозерцаніемъ и чрезвычайно широкими принципами.

Они обнаруживаются тѣмъ яснѣе, чѣмъ ближе авторъ подходитъ къ современности. Чувствительная школа Карамзина, смѣнившая классицизмъ, подвергается не менѣе жестокой критикѣ. Марлинскій издѣвается надъ увлеченіемъ руской публики *Бѣдной Лизой* и чувствительнымъ путешествіемъ ея автора: «всѣ завздыхали до обморока, всѣ кинулись ронять алмазныя слезы на лан-

дыши, надъ горшкомъ палеваго молока, топиться въ лужѣ. Всѣ заговорили о матери-природѣ—они, которые видѣли природу только съ просонка изъ окна кареты»...

Слѣдующая школа—романтизмъ—подвергается той же участи. Марлинскій, подобно Рылѣеву, понимаетъ отрицательные плоды туманной музы Жуковскаго и полонъ негодованія на «собачій вой балладъ», на «бѣсовъ, пахнущихъ кренделями, а не сѣрою». Даже Пушкинъ, по наблюденіямъ критика, успѣлъ вызвать на свѣтъ божій цѣлую вереницу незаконныхъ дѣтищъ гяуризма и донъжуанизма. «Житья не стало отъ толстощёкой безнадежности, отъ самоубійствъ шампанскими пробками, отъ злодѣевъ съ биноклями, въ перчаткахъ glacés»...

Помимо школъ, русская словесность наплодила не мало и самобытныхъ уродствъ... Подъ вліяніемъ пробужденія національныхъ идей на Западѣ, она пожелала также быть національной и даже народной. Цѣль оказалась чрезвычайно простой, достижимой съ одного натиска. Требовалось только въ изобиліи снабдить романы и повѣсти разными терпкими принадлежностями русскаго простонароднаго быта, — русскимъ квасомъ, прибаутками и пословицами, лубочными картинками нравовъ, по возможности гуще размалеванными.

Это одинъ сортъ народности.

Другой еще забавнѣе, такъ какъ притязаетъ поэтическое изящество соединить съ національными чертами русской жизни. Иванъ Горюнъ поэтому долженъ играть на свирѣлкѣ Дафниса и Меналка, русскіе пѣсенники блистать купидонами и нимфами.

Во всѣхъ подобныхъ напряженныхъ вымыслахъ рабскаго воображенія нѣтъ ни капли ни поэзіи, ни народности. А между тѣмъ эти понятія — неразрывны: народъ всегда жилъ въ мірѣ поэзіи. Она одушевляла его обряды, его вѣрованія, даже его наивныя суевѣрія. Именно народъ сохранилъ для насъ неисчерпаемый источникъ поэтическихъ мотивовъ, мы должны вернуться къ нимъ. «Лучше потѣшаться у горъ на масляницѣ, чѣмъ зѣвать въ обществѣ греческихъ боговъ, или съ портретами своихъ напудренныхъ предковъ».

Марлинскій страстно защищаетъ даже равноправность русской исторіи съ западноевропейской—по части разнообразія и занимательности. Онъ будто предвосхищалъ жалобы Чаадаева на безцвѣтность и безжизненность русской старины. Авторъ не считаетъ ни русскихъ князей, ни русскихъ крестьянъ менѣе интересными и

менѣе культурными, чѣмъ европейскихъ владѣтелей и европейскій народъ. На Руси не было только крестовыхъ походовъ и реформаціи: все остальное, что переживала Европа, пережито и нашимъ отечествомъ. Даже больше. Характеры древнихъ русскихъ людей должны быть ярче, самобытнѣе, рѣшительнѣе, потому что на Руси шла борьба и съ природой, и съ врагами, болѣе жестокая, чѣмъ гдѣ-либо. Естественно, сколько можно почерпнуть здѣсь благодарнаго матеріала для поэзіи, какихъ можно извлечь героевъ и съ какимъ правомъ можно создать національную драму и повѣсть!

Если этого нѣтъ, вина русской тщедушной подражательной образованности. «Мы всосали съ молокомъ безнародность и удивленіе только къ чужому». У насъ нѣтъ народной гордости. Въ восторгѣ предъ чужими геніями, мы вмѣсто того, чтобы соревновать имъ, создать свое, столь же сильное и талантливое, стараемся унизить даже и то, что есть у насъ. И авторъ не находитъ словъ заклеймить русскую общественность, русскій свѣтъ и такъ-называемыхъ просвѣщенныхъ людей.

У насъ нѣтъ склонности къ серьезной умственной дѣятельности. Русскій юноша привыкъ учиться припѣваючи, на лету схватывать кое-какія знанія, балы и увеселенія мѣшать съ наукой и всю жизнь оставаться самонадѣяннымъ недоучкой.

Въ результатѣ—нравственное ничтожество, тунеядство, «безлюдье сильныхъ характеровъ», всеобщій сонъ и апатія. «Наша жизнь безтѣнная китайская живопись, нашъ свѣтъ,—гробъ повапленный».

Отсюда удручающая бѣдность и безсодержательность литературы. У русскихъ людей «мало творческихъ мыслей», и въ результатѣ нищета художественнаго творчества. Чудный русскій языкъ—будто усыпленный младенецъ. Ему недоступна ясная и сильная рѣчь. Слышатся только сквозь сонъ нѣкій гармоническій лепетъ и неопредѣленные стоны. «Лучъ мысли рѣдко блуждаетъ по его лицу». А между тѣмъ, какая мощь таится въ этомъ младенцѣ! Только когда онъ стряхнетъ съ себя сонъ!

Критикъ не указываетъ цѣлительныхъ средствъ, не предписываетъ литературѣ никакихъ правилъ, но его безпрестанныя необыкновенно стремительныя публицистическія отступленія вполнѣ ясно опредѣляютъ его идеалы.

Марлинскій восторженно рисуетъ образъ новаго независимаго гордаго поэта въ противоположность старымъ піитамъ, угодникамъ и слугамъ меценатовъ. Онъ настаиваетъ на совершенномъ отчуж-

денiи талантовъ отъ свѣтской жизни и свѣтской среды. Природа, старина, «мощный свѣжiй языкъ», вдумчивое свободное уединенiе—таковы стихiи истиннаго поэта. Ими исчерпывается и такъ-называемый романтизмъ. Онъ ничто иное, какъ «жажда ума народнаго, зовъ души человѣческой». Поэтическiй генiй въ непосредственномъ общенiи съ народомъ—таковъ краткiй и краснорѣчивый принципъ новой романтической поэзiи

И усилiя критика направлены на двѣ цѣли: установить идею личнаго самодовлѣющаго достоинства писателя и объяснить историческое и культурное значенiе народа, людей среднихъ.

Здѣсь Марлинскiй прямой и единственный предшественникъ Полевого. У издателя *Телеграфа* одной изъ самыхъ излюбленныхъ темъ будетъ прославленiе третьяго сословiя, какъ первостепенной культурной силы, какъ единственной могучей основы умственнаго народнаго развитiя и, слѣдовательно, литературнаго прогресса. Тѣ же мысли проповѣдуетъ и Марлинскiй, по обыкновенiю картиннымъ и взволнованнымъ стилемъ.

Среднее сословiе «дало купцовъ, ремесленниковъ, художниковъ, ученыхъ; надѣло рясу священника, парикъ адвоката или судьи, нахлобучило шапку профессора, переодѣлось въ пеструю куртку странствующаго комедiянта; но всего важнѣе—оно дало жизнь писателямъ всѣхъ родовъ, поэтамъ всѣхъ величинъ, авторамъ по нуждѣ и по наряду, по ошибкѣ и по вдохновенью... Первый печатный листъ былъ уже прокламацiя побѣды просвѣщенныхъ разночинцевъ надъ невѣждами дворянчиками».

Очевидно, литература должна помнить свое происхожденiе и своихъ благодѣтелей. Она обязана сохранить связь съ мiромъ, ее создавшимъ, и задача писателя не завоеванiе свѣтскихъ успѣховъ и благосклонности меценатовъ и властей, а неразрывное нравственное единенiе съ народомъ.

Тогда окажутся лишними всякiя теорiи и внушенiя эстетиковъ. Критикѣ не надо будетъ съ указкой слѣдить за работой писателя. Ея цѣлью станетъ объяснять красоты искусства, силу и свойства талантовъ. Наука для писателей совершенно въ другомъ мѣстѣ, именно въ личномъ тщательномъ знакомствѣ съ родной страной.

«Садитесь на лихую тройку и проѣзжайте по святой Руси», приглашаетъ критикъ будущихъ поэтовъ; «у воротъ каждаго города старина встрѣтитъ васъ съ хлѣбомъ и солью, съ привѣтливымъ словомъ, напоитъ васъ медомъ и брагою, смоетъ, спаритъ

долой всѣ ваши заморскія притиранія, и ударитъ челомъ въ напутье какимъ-нибудь преданьемъ, былью, пѣсенкой».

Критикъ указываетъ, до какой степени поверхностно знакомство просвѣщенныхъ людей съ народомъ. Природу они изучаютъ изъ оконъ кареты, народную жизнь наблюдаютъ по случайнымъ столкновеніямъ съ разнымъ людомъ, угождающимъ барину, въ родѣ извозчиковъ, разносчиковъ. Надо узнать другой народъ—«бодрый, свѣжій, разноязычный, разнообразный, судя по областямъ». Его еще никто не разглядѣлъ во всѣхъ подробностяхъ, его нравовъ и оригинальности его психологіи, никто даже и не думалъ объ этомъ.

А между тѣмъ сколько здѣсь сильныхъ и самобытныхъ чертъ! Съ древнихъ временъ народъ остается одинъ и тотъ же въ глубинѣ своего характера. Сквозь всѣ историческія испытанія онъ пронесъ невредимой свою душу и неприкосновеннымъ свой обликъ, чистымъ свой языкъ, «столь живописный, богатый, ломкій». Это «народъ, у котораго каждое слово завиткомъ и послѣдняя копѣйка ребромъ».

Такъ русскій романтикъ рисуетъ себѣ русскую національность. Въ его картинѣ, очевидно, нѣтъ ни одного штриха, напоминающаго неуловимо-тонкія космополитически-неопредѣленныя и расплывчатыя декораціи Жуковскаго и его подражателей. И сколько бы ни звучало для насъ наивнаго чувства въ народническихъ изліяніяхъ Марлинскаго, они одушевлены яснымъ убѣжденіемъ въ національныхъ путяхъ новой литературы, національныхъ по духу и смыслу, не только по формѣ и обличью, національныхъ не въ силу мучительныхъ потугъ народолюбствующихъ словесниковъ, а подъ вліяніемъ глубокаго проникновенія писателя въ міръ народной души и исторической жизни.

Было бы слишкомъ смѣло Марлинскому приписать вполнѣ опредѣленную систему критическихъ воззрѣній, признать его совершенно установившимся публицистомъ во имя идейности и народности литературы. Онъ не даетъ намъ права—возводить его въ представители своего рода школы и удѣлить ему мѣсто среди учителей-вдохновителей. Онъ самъ, повидимому, не представлялъ этой роли и даже вообще отрицалъ у критики цѣль—«поправлять автора»: это значило бы, по его мнѣнію, «учить сеpинеткою соловья пѣть, и молнію летать какъ бумажный змѣй». Онъ желалъ только по возможности—*объяснять* и *указывать*, предоставляя таланту полную свободу.

Но, очевидно, назначеніе критики понималось слишкомъ узко.

Самъ критикъ не могъ удержаться отъ весьма энергичныхъ наставленій и усиленныхъ поправленій. И это невольное, но неизбѣжное нарушеніе собственной воли могло принести только пользу современнымъ талантамъ.

Лишній разъ поднять вопросъ о правахъ русской старины и дѣйствительности имѣть свое мѣсто въ поэзіи, выдвинуть на первый планъ оригинальный складъ русскаго характера и подчеркнуть въ немъ драматическія и лирическія черты—значило работать въ томъ самомъ направленіи, въ какомъ шелъ Пушкинъ—одинокій и непризнаваемый признанными знатоками литературы. Недаромъ поэтъ по поводу одного изъ обозрѣній Марлинскаго писалъ ему: «Предвижу. что буду согласенъ съ тобою въ твоихъ мнѣніяхъ литературныхъ» [128]). Фактъ—безпримѣрный, если не считать издателя той же *Полярной звѣзды*—Рылѣева и нѣкоторыхъ счастливыхъ исключеній, въ родѣ статьи Веневитинова. Но несмотря и на эту статьи, сердце Пушкина, несомнѣнно, больше лежало къ поэту-публицисту, чѣмъ къ философу-поэту.

Отсутствіе философіи, конечно, имѣло и свою отрицательную сторону, — Марлинскій писалъ очень длинныя разсужденія и ни разу не додумался до необходимости представить свои взгляды въ цѣльной, строго обоснованной формѣ. Ему приходилось касаться существеннѣйшихъ теоретическихъ вопросовъ, напримѣръ, о реализмѣ въ поэзіи, объ отношеніи искусства къ природѣ. Эти темы требовали тщательнаго и всесторонняго разрѣшенія, имъ предстояло въ теченіе цѣлыхъ десятилѣтій занимать русскую критику, плодить ожесточеннѣйшую полемику и пребывать во главѣ угла всѣхъ разнообразныхъ теченій эстетики и публицистики. Какой плодотворный толчокъ далъ бы вопросу краснорѣчивый романтикъ, если бы попытался остановить на немъ свое вниманіе!

Ничего подобнаго не произошло.

Толкуя о возможности для истиннаго таланта открыть интересъ и поэзію даже въ «старыхъ предметахъ», критикъ рѣшается заявить: «всякой горшокъ тогда найдетъ свою поэзію». Это выраженіе могло бы стать достойной параллелью желчному стиху Пушкина о черни, не цѣнящей художественной красоты Аполлона Бельведерскаго.

Печной горшокъ тебѣ дороже:
Ты пищу въ немъ себѣ варишь...

[128]) Письмо отъ 21 марта 1825 г., по поводу статьи Взглядъ на *Русскую словесность въ теченіе 1824 и началѣ 1825 годовъ*.

Эти слова написаны на пять лѣтъ раньше статьи Марлинскаго, въ 1828 году, и критикъ, можетъ быть, имѣлъ въ виду именно ихъ. Это значило вносить поправку въ минутное настроеніе поэта и напоминать ему его же собственную теорію фламандскаго искусства.

Но все дѣло ограничилось одной фразой: мысль, чреватая великими выводами, осталась неразвитой и даже точно не объясненной.

Одновременно Марлинскій написалъ нѣсколько горячихъ строкъ противъ фанатическихъ поклонниковъ реализма, — впослѣдствіи натуралистовъ. Онъ не признаетъ рабскаго фотографированія природы. «Развѣ простота пошлость?.. Природа! Послѣ этого, тотъ, кто хорошо хрюкаетъ поросенкомъ, величайшій изъ виртуозовъ, а фельдшеръ, снявшій алебастровую маску съ Наполеона, первый ваятель!! Искусство не рабски передразниваетъ природу, а создаетъ свое изъ ея матеріаловъ».

Опять — зерно великой истины, но только зерно: авторъ бросилъ его, немедленно умчался дальше, предоставивъ его собственной участи.

И эта молніеность мыслей, точнѣе настроеній нерѣдко головой выдаетъ критика. Роковая судьба всякихъ импрессіонистскихъ сужденій—запутывать автора въ противорѣчія и двусмыслицы.

Сочувствіе Марлинскаго реализму, кажется, достаточно энергично, но оно не мѣшаетъ ему написать фразу, вызвавшую отпоръ Пушкина: Майковъ «оскорбилъ образованный вкусъ своею поэмою *Елисей*».

Пушкинъ въ письмѣ къ Марлинскому припомнилъ какъ разъ самыя реалистическія мѣста изъ забракованной поэмы и находилъ ихъ «уморительными», совершенно не оскорбляясь въ своемъ поэтическомъ вкусѣ [129]).

Попадалъ въ просакъ Марлинскій и по поводу произведеній самого Пушкина. Въ *Онѣгинѣ* онъ не желалъ терпѣть изображенія свѣтской пустоты, романъ считалъ подражаніемъ *Донъ Жуану*. Послѣдняя мысль еще не особенно смертный грѣхъ, но устранять поэтическое творчество отъ будничныхъ явленій хотя бы высшаго общества, значило опять наносить ущербъ реальному искусству и съуживать столь торжественно признанныя права поэта — все дѣлать достояніемъ поэзіи.

---

[129]) Письмо отъ 13 іюня 1823 года.

Въ результатѣ — критика Марлинскаго переполнена лучами разсѣянной истины, но сама истина — полная и побѣдоносная — такъ и осталась недоступной для талантливаго писателя. Его отрицательные приговоры надъ школами, его восторженные отзывы о народности басенъ Крылова и грибоѣдовской комедіи — неотъемлемыя завоеванія здороваго художественнаго *чувства*, но всѣ попытки затронуть область принциповъ и основъ, неизмѣнно сопровождались недоговоренностью, неясностью и противорѣчивостью *мысли*. Правда, эти недостатки нерѣдко выкупались живой идейно-общественной отзывчивостью Марлинскаго, его несомнѣннымъ талантомъ публициста, вѣрнымъ инстинктомъ культурнаго и просвѣщеннаго гражданина. Но всѣ эти достоинства оказывались безсильными, когда приходилось рѣшать чисто-эстетическіе вопросы: о реализмѣ, объ отношеніи творчества къ природѣ и дѣйствительности.

XLVII.

При всѣхъ мѣткихъ сужденіяхъ, высказанныхъ Марлинскимъ о разныхъ литературныхъ вопросахъ, оригинальнѣйшей и въ то же время благороднѣйшей чертой его статей слѣдуетъ признать его отношеніе къ опаснѣйшему сопернику по ремеслу—къ Полевому. Появленіе *Московскаго Телеграфа* критикъ встрѣтилъ не особенно дружелюбно: мы увидимъ,—это значило пѣть хоромъ съ большинствомъ современныхъ литераторовъ. Отзывъ Марлинскаго пріобрѣлъ даже классическую извѣстность и онъ дѣйствительно остроумно, хотя и карикатурно, схватилъ характеръ журнала.

Телеграфъ «заключаетъ въ себѣ все; извѣщаетъ и судитъ обо всемъ, начиная отъ безконечно малыхъ въ математикѣ до пѣтушьихъ гребешковъ въ соусѣ или до бантиковъ на новомодныхъ башмачкахъ. Неровный слогъ, самоувѣренность въ сужденіяхъ, рѣзкій тонъ въ приговорахъ, вездѣ охота учить и частое пристрастіе— вотъ знаки сего телеграфа, а *смѣлымъ владѣетъ Богъ*,—его девизъ».

Это писалось въ 1825 году. Восемь лѣтъ спустя взглядъ критика совершенно перемѣнился. Марлинскій—восторженнѣйшій поклонникъ талантовъ Полевого и его журнала. Онъ отказывается даже говорить подробно о главнѣйшихъ русскихъ поэтахъ, находя свою рѣчь безполезной послѣ дѣльныхъ, безпристрастныхъ и увлекательныхъ статей *Телеграфа*. Этимъ журналомъ «должна гор-

диться Россія, который одинъ стоитъ за нее на стражѣ противъ старовѣрства, одинъ для нея на ловлѣ европейскаго просвѣщенія».

Но это, сравнительно, скромно съ рѣшительностью Марлинскаго—встать на защиту *Исторіи русскаго народа.* Злополучнѣйшій трудъ Полевого вызвалъ единодушный натискъ; во главѣ нападавшихъ стояли: Пушкинъ—первый представитель поэзіи и Погодинъ—ученый историкъ. О Надеждинѣ и Каченовскомъ нечего и упоминать: они прямо отводили душу...

И среди этой повальной травли Марлинскій возвысилъ голосъ, и, притомъ, въ самомъ рискованномъ направленіи: онъ Полевому отдавалъ предпочтеніе предъ Карамзинымъ. У того исторія—«златопернатый разсказъ», у Полевого—«повѣствованіе, пернатое свѣтлыми идеями».

Дальше слѣдовалъ горячій панегирикъ широтѣ взглядовъ автора, его мужеству и «неумытному суду» надъ грѣшниками и праведниками. Припоминались имена Баранта, Тьерри, Нибура, Савиньи, и Полевой провозглашался историкомъ, достойнымъ своего времени. Естественно, восторгамъ предъ трудомъ Полевого должны были соотвѣтствовать чувства и рѣчи по адресу его противниковъ, и Марлинскій не пожалѣлъ словъ для достойной отповѣди «университетскому колокольчику», «кислымъ щамъ пузырнымъ»...

Отзывъ относится къ 1833 году, когда журнальная дѣятельность Полевого стояла въ зенитѣ своего развитія и надъ ней уже висѣла правительственная гроза. Любопытно, чтó именно Марлинскій отчасти способствовалъ оффиціальнымъ врагамъ Полевого. Статью объ издателѣ *Телеграфа* онъ напечаталъ въ самомъ *Телеграфѣ* и самая эффектная цитата изъ нея не преминула попасть въ матеріалы къ обвинительному акту, составленному Уваровымъ. Но не только одна цитата, вообще въ составѣ обвиненія играли большую роль «Марлинскаго отзывы, въ *Телеграфѣ* помѣщаемые» [130]).

Это понятно.

Марлинскій, одинъ изъ главныхъ участниковъ декабрьской исторіи, избѣжавшій казни только благодаря рыцарственному самоотверженному признанію своего грѣха, но все-таки сосланный въ Якутскъ, не могъ считаться благонамѣреннымъ писателемъ.

---

[130]) Сухомлиновъ. *Изслѣдованія и статьи по русской литературѣ и словесности.* Спб. 1889. Н. А. Полевой и его журналъ *Московскій Телеграфъ.* стр. 421, 425.

А между тѣмъ, статью о Полевомъ онъ написалъ въ Дагестанѣ, гдѣ продолжалъ отбывать вторую степень своего искупленія. Въ русской публикѣ не могли забыть издателя *Полярной Звѣзды* и достаточно, напримѣръ, познакомиться съ восторженными воспоминаніями Греча, совершенно не сочувствовавшаго политикѣ Марлинскаго, чтобы оцѣнить почти исключительное положеніе блестящаго свѣтскаго льва и литератора [131]).

И сочувствія такого человѣка, оказывалось, безусловно принадлежали Полевому и его журналу: это стоило какой угодно рекомендаціи и ярко подчеркивало духъ и цѣли *Телеграфа*.

Для насъ фактъ существенно важенъ. Онъ безъ всякихъ подробныхъ изслѣдованій съ совершенной точностью опредѣляетъ мѣсто журнала, смѣнившаго *Полярную Звѣзду*. Альманахъ прекратился какъ разъ въ первый годъ изданія *Телеграфа*, и мы можемъ впервые установить преемственность направленія въ русской періодической печати.

Полярная Звѣзда была кратковременной свѣтлой полосой на горизонтѣ петербургской журналистики, за ней слѣдовала монополія Греча и Булгарина. Въ томъ же 1825 году Гречъ, издававшій *Сынъ Отечества*, вошелъ въ союзъ съ Булгаринымъ, издателемъ *Сѣвернаго Архива*, и немедленно началась чисто биржевая спекуляторская дѣятельность компаніи. Главную роль игралъ Булгаринъ, и Гречъ единолично, вѣроятно, не довелъ бы своего изданія до позорнаго положенія, стяжавшаго безсмертіе въ исторіи русской журналистики. Но благонамѣренности Греча хватило на очень короткое время.

Мы упоминали о возникновеніи *Сына Отечества*, какъ спеціально-патріотическаго органа въ эпоху двѣнадцатаго года. Помимо патріотизма, Гречъ умѣлъ на первыхъ порахъ обнаружить извѣстную смѣтливость и даже талантливость критика. Онъ явился предшественникомъ Марлинскаго въ годичныхъ обозрѣніяхъ литературнаго движенія. Статьи Греча не идутъ ни въ какое сравненіе съ эффектными «взглядами» издателя *Полярной Звѣзды*, но для своего времени они были полезной новостью. Еще важнѣе другая черта журнала Греча: грамотность и возможная правильность языка. Это достоинство впослѣдствіи отмѣтилъ Марлинскій, признавая заслуги Греча предъ русской грамматикой и русскимъ стилемъ. Наконецъ, и самые отзывы Греча, пока онъ дѣйство-

[131]) Гречъ, *О. с.* стр. 393 etc.

валъ самостоятельно, не грѣшили пристрастіемъ и разными нелитературными настроеніями.

Его критику цѣнилъ Пушкинъ, именуя «любезнымъ нашимъ Аристархомъ», Марлинскій заявлялъ: «на пламени его критической лампы не одинъ литературный трутень опалилъ себѣ крылья». Полевой, по свидѣтельству его брата, воспитывалъ себя на статьяхъ *Сына Отечества* и дружественное сближеніе съ авторомъ «считалъ однимъ изъ пріятнѣйшихъ событій въ жизни своей».

Но положеніе Греча общественное и литературное совершенно измѣнилось, лишь только онъ связалъ свою дѣятельность съ булгаринскими промыслами. И замѣчательно, связалъ уже послѣ того, какъ основательно узналъ продѣлки Булгарина и могъ вполнѣ оцѣнить его нравственную физіономію.

Мы впослѣдствіи еще встрѣтимся съ этимъ дуумвиратомъ и Булгаринъ займетъ свое мѣсто въ нашей исторіи. Въ настоящее время для насъ достаточно опредѣлить литературную обстановку, при какой возникалъ журналъ Полеваго.

Тотъ же Гречъ избавилъ насъ отъ труда рыться въ темной біографіи Булгарина и съ компетентностью близкаго пріятеля подвелъ итогъ его дѣламъ и добродѣтелямъ въ началѣ его издательскаго поприща.

По происхожденію полякъ, офицеръ русскаго гвардейскаго полка, онъ предъ войной двѣнадцатаго года вышелъ въ отставку, перешелъ во французскую службу, участвовалъ въ походѣ Наполеона и въ сраженіяхъ противъ русскихъ. Гречъ по достоинству оцѣниваетъ эти подвиги—«по суду совѣсти и по общему закону чести». Булгаринъ «былъ русскимъ подданнымъ и дворяниномъ, воспитанъ въ казенномъ заведеніи на счетъ правительства, носилъ гвардейскій мундиръ и перешелъ подъ знамена непріятельскія».

Послѣ войны Булгаринъ основался въ Петербургѣ, вошелъ въ милость къ такимъ людямъ, какъ «гнусный Магницкій и сумасбродный Руничъ», велъ какой-то чрезвычайно кляузный процессъ. Гречъ именно этимъ процессомъ объясняетъ окончательное паденіе Булгарина. До 1823 года Булгаринъ почти не занимался литературой.

Она выступила на сцену уже послѣ неудачъ на другихъ поприщахъ. Началось дѣло съ плагіата, съ изданія *Одъ Горація* съ чужими объясненіями, потомъ явился *Сѣверный Архивъ*. Гречъ даетъ безнадежный отзывъ и объ этомъ изданіи.

«Набравъ нѣсколько историческихъ матеріаловъ, сталъ онъ издавать *Сѣверный Архивъ*, печаталъ въ немъ статьи интересныя,

но впадалъ въ страшные промахи, особенно по недостаточному знанію иностранныхъ языковъ, коверкалъ имена собственныя, смѣшивалъ событія, и если бы издавалъ теперь, то не избѣжалъ бы обличеній и насмѣшекъ, но въ тѣ блаженныя времена, когда «печатный каждый листъ казался намъ святымъ», и не то сходило съ рукъ».

Какъ разъ около этого времени Гречъ. раньше увлекавшійся либерализмомъ, «вытрезвился отъ либеральныхъ идей волею и неволею». Особенно сильное впечатлѣніе на него произвела семеновская исторія, онъ быстро превратился въ совершенно подходящій матеріалъ для булгаринскихъ воздѣйствій и закрылъ глаза на всѣ «недоразумѣнія» въ жизни и характерѣ пестраго авантюриста.

Союзъ заключенъ, и *Сынъ Отечества* немедленно измѣнилъ даже свою программу. Обстоятельный библіографическій отдѣлъ былъ уничтоженъ, собственно литературная критика устранена времена, когда въ этомъ отдѣлѣ могъ сотрудничать даже Марлинскій, а въ стихотворномъ являться Пушкинъ, Жуковскій, Баратынскій, Рылѣевъ, прошли безвозвратно. На страницахъ журнала водворился особый жанръ публицистики—смѣсь памфлета, инсинуацій, личной брани и юридическихъ бумагъ. Поставщикомъ этого матеріала былъ преимущественно Булгаринъ, но Гречъ стоялъ рядомъ съ нимъ и, повидимому, не страдалъ ни чувствомъ гнѣва, ни презрѣнія. Онъ правда удерживалъ «сарматскіе порывы Булгарина», т. е. его доносительскій зудъ, но продолжалъ развивать компанейскую дѣятельность. Съ января 1825 года союзники начали третье изданіе, газету *Сѣверную Пчелу*, и окончательно заполонили литературу. *Пчела* на долгіе годы осталась истинной язвой русской журналистики и оказала неисчислимыя растлѣвающія вліянія на публику и писателей.

Издатели съ цинической откровенностью восхваляли взаимно другъ друга. Произведенія Булгарина объявлялись классическими и безсмертными, рядомъ писались торговыя рекламы товарамъ купцовъ, имѣвшихъ счастье заслужить предъ знаменитымъ литераторомъ, до небесъ превозносился и литературный товаръ людей пріятныхъ и приверженныхъ, но зато не было пощады чужимъ.

Пріятельскія критики писались въ такомъ тонѣ: «Покупайте, гг. покупатели! Не скупитесь, папеньки! Да это раскупятъ, какъ конфекты, да и какъ не купить того, что полезно, хорошо и дешево»

---

[132]) Кс. Полевой. *О. с.* стр. 117.
[133]) *Сѣверная Пчела.* 1830, № 30.

Критики *Сѣверной Пчелы* и *Сына Отечества* не стѣснялись никакими «переоборотами», по выраженію Пушкина: все зависѣло отъ перемѣны въ личныхъ отношеніяхъ. Никакого смысла и значенія не имѣли ни талантъ, ни популярность писателя. Пушкинъ отъ начала до конца оставался неизмѣнной мишенью для отборныхъ булгаринскихъ залповъ, Гоголь прямо не существовалъ на страницахъ газеты и журнала. Исчезла безслѣдно даже грамотность, основное достоинство прежняго *Сына Отечества* и статьи писались на какомъ-то международномъ неосмысленномъ языкѣ. Совершалось сплошное издѣвательство надъ формой и содержаніемъ литературы, и между тѣмъ монополія держалась чрезвычайно прочно.

Союзники съумѣли обезпечить себя не только со стороны цензуры и власти, но производили настоящую панику среди самихъ литераторовъ. И, что особенно оригинально и краснорѣчиво для цѣлаго періода русской литературы, эти факты находятся въ непосредственной связи.

Даже Пушкину и его друзьямъ пришлось испытать нѣкоторую оторопь предъ разнообразными путями булгаринской мести.

Булгаринъ, раздраженный неодобродительной статьей объ его романѣ *Самозванецъ* въ *Литературной газетѣ* и приписавшій ее Пушкину: авторомъ ея былъ Дельвигъ—напечаталъ въ *Сѣверной Пчелѣ Анекдотъ*, т. е. пасквиль на «французскаго стихотворца» Пушкина и вмѣстѣ съ тѣмъ похвальнѣйшую аттестацію самому себѣ, подъ именемъ Гофмана.

Анекдотъ—типичнѣйшее произведеніе булгаринскаго пера и нѣсколько строкъ подлинника освободятъ насъ на будущее время отъ подробныхъ некрологическихъ экскурсій въ человѣческую и литературную душу автора.

Гофманъ обращается къ одному почтенному французскому литератору съ такимъ письмомъ:

«Дорожа вашимъ мнѣніемъ, спрашиваю у васъ, кто достоинъ болѣе уваженія изъ двухъ писателей. Предъ вами предстаетъ на судъ, во-первыхъ, природный французъ, служащій усерднѣе Бахусу и Плутусу, нежели Музамъ, который въ своихъ сочиненіяхъ не обнаружилъ ни одной высокой мысли, ни одного возвышеннаго чувства, ни одной полезной истины, у котораго сердце холодное и нѣмое существо, какъ устрица, а голова—родъ побрякушки, набитой гремучими риѳмами, гдѣ не зародилась ни одна идея, который бросаетъ риѳмами во все священное, чванится предъ чернью вольнодумствомъ, а тишкомъ ползаетъ у ногъ сильныхъ, чтобъ позволили ему наря-

диться въ шитый кафтанъ, который мараетъ бѣлые листы на продажу, чтобъ спустить деньги на крапленыхъ листахъ, и у котораго одно господствующее чувство—суетность. Во-вторыхъ, иноземецъ, который во всю жизнь не измѣнилъ ни правиламъ своимъ, ни характеру, былъ и есть вѣренъ долгу чести, любилъ свое отечество до присоединенія онаго къ Франціи и послѣ присоединенія любитъ вмѣстѣ съ Франціею, который за гостепріимство заплатилъ Франціи собственною кровью на полѣ битвы, а нынѣ платитъ ей дань жертвою своего ума».

Пушкинъ отвѣчалъ статьей *О запискахъ Видока*, оцѣнивавшей по достоинству патріотизмъ и литературные пріемы Булгарина. Статья страшно обезпокоила друзей Пушкина и онъ рѣшилъ обратиться съ письмомъ къ гр. Бенкендорфу, предупреждая его о возможныхъ шагахъ Булгарина. Бенкендорфъ отвѣтилъ поэту въ успокоительной формѣ, но фактъ достаточно внушителенъ, чтобы представить исключительное положеніе удивительнаго журналиста [134]).

Можно привести и еще болѣе эффектные случаи. Напримѣръ, двумя годами позже исторіи съ Пушкинымъ въ Москвѣ появилось сатирическое стихотвореніе *Двѣнадцать спящихъ будочниковъ*, направленное противъ «Выжигиныхъ», т. е. Булгарина, автора романа *Иванъ Выжигинъ*. Въ *Сѣверной Пчелѣ* въ библіографическомъ отдѣлѣ выписали полное заглавіе баллады и вмѣсто рецензіи напечатали: *Ни слова*! Но для властей и этого оказалось достаточно: цензоръ Аксаковъ, пропустившій балладу, былъ отставленъ отъ должности [135]).

Легко понять, какое раздолье открывалось при такихъ условіяхъ «патріотическимъ» талантамъ Булгарина и съ какой стремительностью онъ пользовался обстоятельствами!

На эти именно годы, на періодъ перваго безудержнаго разгула пасквилянтства и доносительства, падаетъ многотрудная и неожиданно успѣшная дѣятельность Полевого. Въ атмосферѣ, насыщенной булгаринскимъ духомъ, обыкновеннымъ людямъ нелегко было просто дышать,—Полевой съумѣлъ не только жить, но дѣйствовать на свой единоличный страхъ, съ единственнымъ оружіемъ—глубокой вѣрой въ свои силы и въ благородство своихъ цѣлей.

---

[134]) Барсуковъ. III, 18—19.
[135]) Барсуковъ. IV, 12.

XLVIII.

Судьба Николая Алексѣевича Полевого, какъ писателя, представляетъ одну изъ самыхъ благодарныхъ иллюстрацій къ извѣстной классической истинѣ: современники рѣдко по достоинству оцѣниваютъ талантливыхъ дѣятелей, и только потомство произноситъ правый судъ и отводитъ крупнымъ и мелкимъ героямъ надлежащее мѣсто въ галлереѣ исторіи.

Относительно Полевого это правило осуществилось въ самой рѣзкой прямолинейной формѣ. Приговоръ потомства совпалъ съ итогами, какіе самъ писатель успѣлъ подвести своей дѣятельности. И произошло это послѣ того, какъ знаменитымъ журналистомъ былъ пройденъ въ высшей степени бурный, отъ начала до конца воинственный путь идейной и личной борьбы съ подавляющимъ большинствомъ современниковъ.

За семь лѣтъ до смерти Полевой издавалъ собраніе своихъ критическихъ статей и писалъ предисловіе, болѣе похожее на исповѣдь, чѣмъ на обычное вступленіе къ книгѣ. Писатель говорилъ о себѣ не только какъ о критикѣ и публицистѣ, но совершенно открыто и искренне рисовалъ свой нравственный портретъ. И то и другое было вскорѣ подписано людьми, еще весьма недавно состоявшими, повидимому, въ непримиримой враждѣ съ авторомъ исповѣди.

Полевой писалъ:

«Немногіе изъ русскихъ литераторовъ, говоря вообще, писали столь много и въ столь многообразныхъ родахъ, какъ я. Едва ли какой-нибудь современный предметъ, сколько-нибудь волновавшій умы и сердца моихъ современниковъ, не обращалъ на себя моего вниманія, какъ критика и журналиста. Изученіе и разборъ всего, что мелькало передъ нами, въ минувшія 15, 20 лѣтъ, увлекали меня безпрерывно и постоянно. Осмѣливаюсь думать, что въ томъ, что было мною писано, и не одни современники найдутъ поводъ къ размышленію».

Переходя къ вопросу, какъ онъ относился къ предметамъ своихъ сужденій, авторъ торжественно заявляетъ:

«Кладу руку на сердце и дерзаю сказать вслухъ, что никогда не увлекался я ни злобою—чувствомъ для меня презрительнымъ, ни завистью—чувствомъ, котораго я не понимаю, никогда то, что говорилъ и писалъ я, не разногласило съ моимъ убѣжденіемъ, и никогда сочувствіе добра не оставляло сердца моего; оно всегда

сильно билось для всего великаго, полезнаго и прекраснаго. Смѣю думать, что самые враги мои, если они и въ состояніи сказать обо мнѣ очень многое, въ тайнѣ сердца своего не станутъ противорѣчить симъ словамъ моимъ» [136]).

И они, дѣйствительно, не противорѣчили.

Среди современныхъ литераторовъ Полевой, несомнѣнно, имѣлъ всѣ основанія считать своими «врагами» Бѣлинскаго и Надеждина, и перваго особенно опаснымъ и безпощаднымъ. Братъ и ближайшій сотрудникъ издателя *Телеграфа* съ глубокой грустью и негодованіемъ говоритъ о нападкахъ Бѣлинскаго на Полевого въ послѣдній періодъ его жизни и приписываетъ ихъ «страстямъ низкимъ и ничтожнымъ»: столько, по мнѣнію автора, было желчи и несправедливости въ гоненіяхъ знаменитаго критика! [137]).

Въ дѣйствительности, конечно, Бѣлинскому были чужды чисто личныя побужденія въ какой бы то ни было литературной борьбѣ, и противъ Полевого въ особенности. Дѣло шло прежде всего о Полевомъ-драматургѣ. Это была дѣятельность, менѣе всего достойная ранней славной карьеры журналиста, дѣятельность—ремесленника и дешеваго лубочнаго патріота. Именно «квасной патріотизмъ», когда-то жестоко осмѣянный *Телеграфомъ*, теперь сталъ вдохновителемъ автора *Дѣдушки русскаго флота, Иголкина, Параши Сибирячки*. Одинъ изъ современныхъ критиковъ, независимо отъ Бѣлинскаго, такъ характеризовалъ содержаніе драмъ Полевого: «Русская рука! русское сердце! не бѣлы-то снѣги! русская баба! русскій штыкъ! русскій морякъ! русскій флагъ! русское ура! урра! урррa!» Этимъ мотивамъ соотвѣтствовали и эпизоды, и личности героевъ, надѣленные, ради ихъ россійскаго народнаго званія, всевозможными доблестями и сверхъестественной удачливостью [138]).

Усердіе автора, конечно, находило соотвѣтствующее поощреніе въ высшихъ сферахъ, но отнюдь не могло подкупить болѣе или менѣе независимую и литературно-просвѣщенную критику.

Несомнѣнно, данничество предъ «кваснымъ патріотизмомъ» свидѣтельствовало и о другихъ, болѣе важныхъ оттѣнкахъ, возникшихъ въ литературной работѣ Полевого въ послѣдніе годы жизни. Врядъ ли можно было съ уваженіемъ отнестись къ сов-

---

[136]) *Очерки русской литературы*, т. I. Спб. 1839. Нѣсколько словъ отъ сочинителя, стр. VIII, IX.

[137]) Кс. Полевой. *О. с.*, стр. 460—1.

[138]) Статья о Полевомъ, какъ драматургѣ, г. Вл. Боцяновскаго. Въ *Ежегодникѣ Императорскихъ театровъ*. 1894—1895, прилож., кн. 3-я.

мѣстному труду Полевого съ Булгаринымъ надъ романомъ, къ сотрудничеству въ такихъ органахъ, какъ *Библіотека для Чтенія*. Правда, Полевой впослѣдствіи публично отказался отъ статей, напечатанныхъ подъ его именемъ въ этомъ журналѣ: Сенковскій, оказывалось, передѣлывалъ критическіе отзывы Полевого съ невѣроятной безцеремонностью, прибавлялъ «брань» на неугодныхъ ему писателей, уснащалъ всевозможными размышленіями отъ себя... Вообще, говоритъ Полевой, «я хотѣлъ разсуждать, а меня заставляли браниться» [140]).

Но, во-первыхъ, эти факты до авторскаго объясненія оставались редакціонной тайной, а потомъ Полевой ихъ терпѣлъ, по крайней мѣрѣ, въ теченіе двухъ лѣтъ по 1837 годъ и, слѣдовательно, не могъ разсчитывать на полное снисхожденіе своихъ противниковъ.

Позже слѣдовало издательство *Русскаго Вѣстника*, и жестокая война противъ таланта и произведеній Гоголя. *Ревизоръ* являлся безцѣльнымъ и безсмысленнымъ «фарсомъ», *Мертвыя души* вызывали у критика совѣтъ автору перестать лучше писать, чѣмъ «постепенно болѣе и болѣе падать». И все это по поводу клеветы, возведенной, будто бы, Гоголемъ на Россію въ его сатирахъ и особенно крайне неприличнаго языка, не допустимаго «въ порядочномъ обществѣ» [141]).

Все это очень мало напоминало прежняго Полевого, по пріемамъ критики и особенно по руководящимъ идеямъ: основная демократическая струя, ярко прорѣзывавшая энергическія страницы *Телеграфа*, обмелѣла и будто исчезла.

Естественно было наблюдателямъ со стороны заговорить о старческомъ упадкѣ таланта, о попятномъ движеніи идей, о небрежности и нелитературности работы.

Для всего этого существовало въ высшей степени смягчающее обстоятельство—страшная нужда, угнетавшая Полевого. Буквально разгромленный и подавленный катастрофой съ *Телеграфомъ*, онъ принужденъ былъ биться какъ рыба объ ледъ изъ-за многочисленныхъ долговъ и насущнаго пропитанія семьи. Его письма за послѣдніе годы жизни — моменты настоящей мученической агоніи. Мимолетные проблески надежды, безпрестанно смѣняющіяся отчаяніемъ, предъ нами все время утопающій, готовый ухватиться за

---

[139]) Кс. Полевой, стр. 567.

[140]) *Очерки*. Нѣск. словъ, стр. XVI, XVII, XVIII.

[141]) *Русскій Вѣстникъ*, 1842 годъ.

первый спасительный предметъ. И, несомнѣнно, случись Бѣлинскому прочитать одно изъ этихъ писемъ, онъ смягчилъ бы свои удары и пощадилъ бы идейную немощь во имя добраго чувства къ собрату-писателю [142]).

Но Бѣлинскій видѣлъ только литературные внѣшніе факты.

Послѣ сотрудничества въ *Библіотекѣ для Чтенія* Полевой взялся редактировать *Сынъ Отечества*, превратилъ его изъ еженедѣльнаго изданія въ ежемѣсячный и на первыхъ порахъ, по старой памяти о *Телеграфѣ*, возбудилъ напряженныя ожиданія и надежды у публики.

Въ результатѣ, оказалась полная солидарность по направленію съ *Библіотекой для Чтенія* и неуклонная война съ *Отечественными Записками*, гдѣ первымъ критикомъ состоялъ Бѣлинскій. И онъ, по поводу духа и запальчивости *Сына Отечества*, давалъ слѣдующую фактически-справедливую характеристику новаго пути стараго журналиста:

«Не странное ли зрѣлище представляетъ собою человѣкъ, который съ силою, энергіею, одушевленіемъ, вооруженный смѣлостью и дарованіемъ, явился на литературномъ поприщѣ рьянымъ поборникомъ новаго и могучимъ противникомъ стараго, а сходитъ съ поприща, на которомъ подвизался съ такимъ блескомъ, съ такою славою и такимъ успѣхомъ, сходитъ съ него—противникомъ всего новаго и защитникомъ всего стараго?..»

И дальше перечисляются великія заслуги издателя *Телеграфа* предъ русской критикой: онъ убилъ авторитетъ Корнелей и Расиновъ, онъ привѣтствовалъ Пушкина великимъ поэтомъ, ратовалъ противъ безвкусія, вычурности, натянутости, а теперь его боги—классики и романтики низшаго разбора, и онъ же во главѣ противниковъ Пушкина [143]).

Сопоставленія вполнѣ основательныя и изъ нихъ видно, какъ мало было у Бѣлинскаго желанія развѣнчать всю литературную карьеру Полевого и вычеркнуть изъ исторіи литературы его положительныя заслуги.

Но при всѣхъ оговоркахъ и часто именно благодаря имъ, укоризны критики являлись особенно чувствительными и Полевой умеръ, не доживъ до болѣе яснаго и мирнаго горизонта. Умеръ, и «потомство» въ лицѣ тѣхъ же современниковъ, устами того же

---

[142]) Письма напечатаны у Кс. Полевого, особенно трагиченъ періодъ *Русскаго Вѣстника* (письмо отъ 21 марта 1842 года, стр. 543 etc.).

[143]) *Сочиненія*, III, 105—6.

Бѣлинскаго заговорило, и въ такомъ тонѣ, о какомъ Полевой не могъ и мечтать.

Полевой теперь сразу занималъ первое мѣсто среди литературныхъ героевъ Россіи, его имя ставится рядомъ съ именами Ломоносова и Карамзина, оно, слѣдовательно, знаменуетъ цѣлую эпоху. И какую эпоху! Полагавшую основу дальнѣйшему неуклонному прогрессу русской общественной мысли и русскаго просвѣщенія. Даже самыя шумныя предпріятія Полевого, вызвавшія противъ него исключительное ожесточеніе во всѣхъ лагеряхъ—науки, литературы, интеллигенціи,—объясняются критикомъ съ обычнымъ искусствомъ и полнымъ благоволеніемъ къ почившему бойцу.

Бѣлинскій восхищается статьей Полевого о Карамзинѣ, но за статьей слѣдовала жестокая брань почти всей печати, брань раздражила автора, и его *Исторія Русскаго народа* вышла переполненной нетерпѣливыми и чрезвычайно пространными нападками на Карамзина... Бѣлинскій говоритъ: «пожалѣемъ о слабости замѣчательнаго человѣка, оказавшаго литературѣ и общественному образованію великія заслуги; но не будемъ оправдывать его слабости или называть ее добродѣтелью».

Но, несомнѣнно, самый существенный фактъ, какой подчеркивалъ Бѣлинскій, полемическіе пріемы *Телеграфа* сравнительно съ современной печатью. Полевой «умѣлъ сохранять свое достоинство въ жару самой запальчивой полемики»: это много значило въ двадцатые и тридцатые годы, гораздо больше, чѣмъ мы можемъ представить въ настоящее время.

Въ общемъ статья Бѣлинскаго—достойный надгробный памятникъ человѣку и писателю, дѣлающій одинаковую честь и автору, еще вчерашнему противнику покойнаго, и самому покойнику [144]).

Десять лѣтъ спустя память Полевого увѣнчалъ и другой его врагъ—Надеждинъ, врагъ въ самомъ рѣзкомъ смыслѣ слова. Даже въ посмертномъ вѣнкѣ былая вражда сказалась нѣсколькими терніями, но результатъ—тожественный съ выводомъ Бѣлинскаго.

«Въ 1829 году, — пишетъ Надеждинъ,—въ Москвѣ выходило не мало журналовъ, изъ которыхъ шесть были чисто-литературные. Странное было то время! Характеръ журналистики былъ тогда по преимуществу полемическій. Живѣе всѣхъ дѣйствовалъ или, по

---

[144]) Отдѣльное изданіе статьи. Спб. 1846.

крайней мѣрѣ, громче всѣхъ кричалъ—*Телеграфъ*, журналъ, издававшійся покойнымъ Н. А. Полевымъ, московскимъ гражданиномъ, при участіи и сочувствіи всѣхъ почти тогдашнихъ литературныхъ знаменитостей. Полевой былъ въ то же время и частнымъ дѣйствователемъ по всѣмъ отраслямъ литературной дѣятельности. Онъ издавалъ книги, судилъ и рядилъ обо всемъ и умѣлъ снискать себѣ такой авторитетъ, какимъ рѣдко кто пользовался въ русской словесности. Извѣстна главная тенденція этого весьма талантливаго и во всякомъ случаѣ замѣчательнаго русскаго писателя. Онъ былъ въ полномъ смыслѣ разрушителемъ всего стараго, и въ этомъ отношеніи дѣйствовалъ благотворно на просвѣщеніе, пробуждалъ застой, который болѣе или менѣе обнаруживался всюду» [145]).

Всѣ эти отзывы представляютъ намъ довольно точную картину писательской судьбы Полеваго. Начало—полное блеска и энергіи, конецъ—нѣчто въ родѣ медленной нравственной агоніи... Естественно возникаетъ вопросъ, чѣмъ создано было такое заключеніе жизненнаго пути одного изъ талантливѣйшихъ русскихъ журналистовъ? И вопросъ становится тѣмъ поучительнѣе, чѣмъ богаче результаты удачливаго періода жизни Полевого.

По словамъ Бѣлинскаго, они создали эпоху въ исторіи русской литературы. Подобная похвала—исключительный фактъ въ нелицепріятныхъ приговорахъ критика. Но онъ дѣйствительно вполнѣ соотвѣтствуетъ исторической истинѣ. Для Бѣлинскаго, писавшаго непосредственно послѣ кончины Полевого, для читателей—личныхъ свидѣтелей его успѣховъ и паденія—не предстояло необходимости подробно расчленять многообразные идейные и практически просвѣтительные пути критика и публициста. Для насъ эта именно задача является настоятельной. Среди этихъ путей многое въ настоящее время можетъ представлять только историческій интересъ, но рядомъ съ этимъ «архивнымъ матеріаломъ» многое до нашихъ дней сохранило жизненный насущный смыслъ.

XLIX.

Полевой переселился въ Москву изъ далекой провинціи, изъ Курска, отнюдь не съ литературными цѣлями. Его отецъ сначала велъ торговыя дѣла въ Сибири, потомъ короткое время наканунѣ наполеоновскаго нашествія въ Москвѣ, наконецъ въ Курскѣ—родинѣ Полевыхъ. Въ Москву онъ отправилъ сына съ цѣлью устроить

---

[145]) *Русск. Вѣстн.*, мартъ 1856, стр. 57.

сбытъ для своихъ водочныхъ продуктовъ. Это произошло въ началѣ 1820 года. Николаю Алексѣевичу шелъ двадцать четвертый годъ. Раньше изъ Сибири онъ уже былъ въ Москвѣ также съ торговыми порученіями отъ отца девять лѣтъ назадъ, выполнилъ порученія крайне неудачно, но зато дѣятельно посѣщалъ театръ, читалъ книги безъ счета, пробрался даже въ университетъ и слушалъ Мерзлякова, вообще яростно набросился на умственную пищу, какую только могла предложить столица пятнадцатилѣтнему провинціалу съ свободными матеріальными средствами. Одновременно шло дѣятельное сочинительство. Отцу при первомъ свиданіи пришлось сдѣлать строгій выговоръ и сжечь кипу бумагъ новоявленнаго писателя.

Но природная, чрезвычайно упорная стремительность къ авторству должна была взять верхъ. До первой поѣздки въ Москву будущій критикъ страстно поглощалъ весь книжный матеріалъ, какой только попадался подъ руки. Самъ онъ такъ характеризуетъ свое умственное образованіе до путешествія въ Москву: «я прочиталъ тысячу томовъ всякой всячины, помнилъ все, что прочиталъ, отъ стиховъ Карамзина и статей *Вѣстника Европы* до хронологическихъ чиселъ и Библіи, изъ которой могъ пересказывать наизусть цѣлыя главы. Но это былъ какой-то хаосъ мыслей и словъ, когда самъ я едва начиналъ мыслить».

Одновременно проходилась въ высшей степени содержительная практическая школа, велись дѣла съ откупщиками, шла конторская работа, завязывалось множество знакомствъ и подлинная русская жизнь широкой волной входила въ воспріимчивый духовный міръ юноши.

При такихъ условіяхъ естественно науку приходилось хватать урывками, по счастливымъ случайностямъ и встрѣчамъ. Итальянецъ, пьяный цирульникъ, отбившійся отъ наполеоновской арміи, показываетъ произношеніе французскихъ буквъ, музыкальный учитель научаетъ нѣмецкой азбукѣ. Николай Алексѣевичъ усвоиваетъ все это съ чрезвычайной быстротой и передаетъ свою только что пріобрѣтенную ученость брату Ксенофонту, будущему своему сотруднику. И теперь уже обнаруживаются зачатки журнальныхъ талантовъ: Полевой безпрестанно измышляетъ и издаетъ тетрадки въ формѣ журналовъ, наполняя ихъ собственными статьями и стихотвореніями [146]). Къ 1817 году появляется первая его статья

[146]) Кс. Полевой, стр. 15.

уже въ настоящемъ журналѣ,—въ *Русскомъ Вѣстникѣ*, описаніе пребыванія въ Курскѣ императора Александра I. Въ 1818 году въ *Вѣстникѣ Европы* печатается переводъ изъ сочиненій Шатобріана, два года спустя Полевой заводитъ личныя знакомства съ петербургскими и московскими литераторами и издателями, вызываетъ у нѣкоторыхъ даже сильныя чувства, какъ *самоучка*, и путь къ давно взлелѣянной цѣли, повидимому, открывается широкій и свободный.

На первыхъ порахъ Полевому едва ли не всякій литераторъ и ученый кажется достойнымъ всяческаго почтенія. Онъ съ замираніемъ сердца присутствуетъ на засѣданіи Общества любителей россійской словесности, каждаго члена описываетъ потомъ самыми лестными эпитетами, дрожитъ отъ восторга только при видѣ каталога классическихъ европейскихъ писателей,—однимъ словомъ переживаетъ медовый мѣсяцъ, своего рода праздникъ своихъ литературныхъ влеченій и мечтаній.

Но вскорѣ приходится охладить чувства и поразнообразить эпитеты. Москва изобилуетъ литературными обществами. Полевой является всюду и вездѣ съ неизмѣнной идеей объ изданіи журнала. Эта же идея волновала другихъ, но, очевидно, въ совершенно другомъ направленіи, чѣмъ планы Полевого. По крайней мѣрѣ, будущій издатель *Телеграфа* не имѣлъ успѣха въ самомъ просвѣщенномъ современномъ обществѣ литераторовъ, въ раичевскомъ. Мы знаемъ, единственный изъ крупныхъ представителей литературы выразилъ ему сочувствіе, кн. Вяземскій и, по разсказамъ князя, именно ему обязанъ *Телеграфъ* возникновеніемъ. Именно онъ ободрилъ своимъ участіемъ «юношу» и закабалилъ себя новому изданію [147]).

Братъ Полевого также называетъ кн. Вяземскаго «главнымъ одушевителемъ редакціи», который ободрялъ издателя въ началѣ борьбы, обильно снабжалъ журналъ своими статьями и руководилъ даже авторствомъ самого Полевого [148]).

Но всякое внѣшнее руководительство должно было играть второстепенную роль при энергіи и поразительномъ публицистическомъ талантѣ новаго журналиста. Задачи были поставлены самыя широкія, какія только допускались условіями времени. Въ оффиціальной программѣ, представленной въ министерство народнаго

---

147) *Полное собраніе сочиненій кн. П. А. Вяземскаго*, I, XLVIII—XLIX.

148) Кс. Полевой, стр. 126, ср. Сухомлиновъ. *Н. А. Полевой и его журналъ Московскій Телеграфъ. Изслѣдованія и статьи.* II, 370—1.

просвѣщенія, Полевой отказывался быть поставщикомъ «легкаго. поверхностнаго и забавнаго чтенія», имѣлъ въ виду «пользу» читателей, даже въ стихотвореніяхъ обѣщалъ соблюдать строжайшій выборъ, за критическими статьями обезпечивалось безпристрастіе и литературность.

Съ 1825 года началъ выходить журналъ—по двѣ книги въ мѣсяцъ. Въ руководящей статьѣ въ первомъ нумерѣ издатель на первый планъ выдвигалъ литературную критику. Она—пробный камень дарованій и добросовѣстности журналиста, и не должна гоняться за вкусами литературной черни.

Критика дѣйствительно заняла первенствующее мѣсто въ *Телеграфѣ* и Полевой имѣлъ полное право заявлять: «никто не оспоритъ у меня чести, что первый я сдѣлалъ изъ критики постоянную часть журнала» [149]).

Но критикой далеко не ограничились замыслы издателя. Журналъ предназначенъ носить «энциклопедическій характеръ». Онъ будетъ «знакомить читателей съ новыми идеями и важнѣйшими предметами, обращающими на себя вниманіе современной Европы». Это можно сказать всеобъемлющая программа, и ее *Телеграфъ* выполняетъ съ безкорыстной энергіей.

Политики онъ касаться не можетъ, но онъ дѣлаетъ политику при всякомъ удобномъ случаѣ, и мы увидимъ, съ какой находчивостью пріемовъ и смѣлостью воззрѣній.

Въ журналѣ съ каждымъ мѣсяцемъ расширяются и разнообразятся многочисленные отдѣлы. Въ «Библіографіи» издатель намѣренъ давать отчеты обо *всѣхъ* русскихъ книгахъ, помѣщаетъ самостоятельныя рецензіи объ иностранныхъ, чрезвычайно широко пользуется заграничными журналами съ тою же цѣлью, не стѣсняется отчетами даже о такихъ сочиненіяхъ, какъ армянская грамматика, работа по теоріи вѣроятностей на французскомъ языкѣ, въ рецензіяхъ о художественныхъ произведеніяхъ приводятся цитаты иногда на шести языкахъ, не исключая латинскаго и испанскаго [151]). Вообще для редактора нѣтъ препятствій ни въ предметахъ, ни въ способахъ доказывать идеи и просвѣщать читателей: былъ бы только матеріалъ свѣжъ, поучителенъ и общедоступенъ. Въ интересахъ солидности и основательности журналъ не прочь блеснуть

---

[149]) *Очерки*, стр. XIV.
[150]) *М. Тел.*, томъ XIV, 56—7.
[151]) *М. Т.,* XIX, 111; XXII, 365, 416—7.

ученостью и особенно энциклопедичностью, но отнюдь не педантической и не мертвенно-школьной.

Сотрудники *Телеграфа* превосходно знають русскую литературу. Отъ ихъ глазъ не скроется самый ловкій литературный хищникъ и компиляторъ. При журналѣ существуетъ спеціальный «сыщикъ»—гроза современныхъ микробовъ поэзіи и журналистики, и улики журнала всѣ въ высшей степени остроумны и всегда убѣдительны. Булгаринская продѣлка съ одами Горація, компилятивное сочиненіе француза о Россіи, списанное съ книги русскаго писателя, безчисленныя подражанія Пушкину, часто до наивнаго переложенія его стиховъ, особенно изъ *Кавказскаго плѣнника* и *Евгенія Онѣгина*—все это попадаетъ въ неисчерпаемый багажъ русскаго журналиста. Онъ безпощаденъ къ иностранцамъ, присваивающимъ себѣ трудъ русскаго, и печатаетъ всякій разъ нарочитыя и обширныя статьи ради вящей улики. Къ отечественнымъ хищникамъ онъ снисходительнѣе, но его иронія всегда убійственна и всегда строго обоснована [152]).

У издателя богатѣйшій запасъ бойкихъ заглавій для критическихъ вылазокъ въ современный литературный хаосъ. Предъ нами «литературные пріиски»—для разоблаченія заимствованій Надеждина у нѣмецкихъ эстетиковъ, *Литературныя и журнальныя рѣдкости*—для улики *Отечественныхъ Записокъ*, въ перепечаткѣ подъ видомъ новаго оригинальнаго произведенія—старой переводной повѣсти [153]). Кромѣ того, существуетъ постоянное приложеніе *Новый живописецъ общества и литературы*—сатирическое обозрѣніе книгъ и людей, подробные обзоры журналистики, русской и иностранной, и авторъ до такой степени стремителенъ въ этой работѣ, что желалъ бы знать «всѣ журналы, выходящіе нынѣ въ цѣломъ свѣтѣ» [154]).

Вообще журналистика—его задушевнѣйшее дѣтище. *Телеграфъ* печатаетъ исторію русскихъ газетъ и журналовъ «съ самаго начала до 1828 года» съ главной цѣлью доказать культурное и общественное значеніе журналистики и указать «русскимъ отличнымъ литераторамъ» на ихъ равнодушіе къ журналамъ, между тѣмъ какъ на Западѣ въ журналистикѣ принимаютъ участіе первостепенные таланты [155]).

---

[152]) *М. Т.*, XII, 45; XVIII, 35; XIX, 21; XXIX, 368—9; XXIII, 361.
[154]) XXXI, 345; XXXV, 295—7.
[155]) XX, 519.

Въ другой разъ рѣчь *Телеграфа* поднимется до настоящаго паѳоса горечи и гнѣва, и по предмету, на нашъ современный взглядъ менѣе всего заслуживающему подобнаго настроенія.

Редакторъ въ восторгѣ отъ англійской журналистики и желаетъ ее возможно шире распространить въ своемъ отечествѣ. Въ Россіи пока невозможна такая печать. Русская публика «требуетъ отъ журналистовъ пестроты, разнообразія газетнаго, антикритикъ, сказокъ, стиховъ, мелочей. Она хочетъ играть журнальными книжками, а не читать ихъ... Мы еще не знаемъ *общественной литературной жизни*: всякій у насъ работаетъ въ своемъ умѣ, про себя» [156]).

Телеграфъ восхищается не одной содержательностью европейской журналистики, но ея бойкостью—«звучностью и привлекательностью». Для доказательства онъ готовъ даже привести изъ французской газеты объявленіе о помадѣ, дѣйствительно написанное съ ловкостью и вкусомъ [157]).

И журналъ приближается къ своему идеалу, и именно на томъ поприщѣ, гдѣ труднѣе всего было стяжать успѣхъ въ двадцатые и тридцатые годы.

Телеграфъ до неуловимости разнообразенъ и находчивъ въ погонѣ за интересомъ читателей. Бесѣдуя о календаряхъ, онъ умѣетъ сдѣлать любопытныя цитаты и коснуться первостепеннаго вопроса о значеніи тѣхъ же календарей въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія [158]). Кажется, на что неблагодарнѣе темы—критиковать дурныхъ переводчиковъ, сличать подлинникъ съ оригиналомъ, но и здѣсь *Телеграфъ* умѣетъ представить зрѣлище большаго общаго интереса.

Въ одномъ случаѣ онъ лишній разъ нанесетъ рядъ неизлѣчимыхъ ранъ невѣжеству и тупоумію *Вѣстника Европы* Каченовскаго, а въ другомъ дастъ блестящую страницу изъ исторіи русскихъ нравовъ.

Онъ изобразитъ типъ аристократическаго переводчика съ французскаго, барича-недоросля, мужа богатой жены, тунеяднаго посѣтителя клубовъ, вздумавшаго отъ бездѣлья и фанфаронства завоевать славу литератора при помощи «*замушечныхъ* и *забостонныхъ* пріятелей»... [159]). Это цѣлая сатира, и только по поводу перевода мольеровскаго «Скупого».

---

[156]) XVIII, 179, 181, 191.
[157]) XX, 251.
[158]) XXV, 132—3.
[159]) XIX, 124—5.

Эта манера говорить «по поводу», впослѣдствіи чрезвычайно широко усвоенная Бѣлинскимъ, открыта *Телеграфомъ*. И вполнѣ понятно, почему. Издатель задался цѣлью всяческими путями распространять идеи и знанія среди публики, привыкшей забавляться литературой. Онъ ненамѣренно идетъ дорогой французскихъ просвѣтителей XVIII-го вѣка, «украшаетъ разумъ», дѣлая его доступнымъ одинаково «канцлеру и сапожнику». Читатель неожиданно для самого себя проглатываетъ большое количество «невещественнаго капитала»—собственное выраженіе Полевого,—проглатываетъ среди живой, увлекательной бесѣды. И великій выигрышъ учителя заключается въ искусствѣ замаскировать свою учительскую роль легкостью стиля, будто случайно вызванной вереницей идей, тонкимъ умѣньемъ «поводъ» связать съ проповѣдью.

Въ результатѣ едва ли не всѣ принципы литературной критики, какъ её понималъ Полевой, множество воззрѣній нравственнаго и общественнаго содержанія, нерѣдко личная исповѣдь писателя высказаны и объяснены «по поводу» какого-нибудь мелкаго книжнаго, театральнаго или житейскаго факта. Эти объясненія,—напримѣръ, тотъ же портретъ высокороднаго литератора,—случалось, увлекали критика далеко за предѣлы поставленнаго вопроса и на его долю приходилось развѣ нѣсколько заключительныхъ замѣчаній. Но читатель не могъ чувствовать себя разочарованнымъ: ничтожество повода достаточно иллюстрировалось этими замѣчаніями, а сама статья всегда оставляла глубокое впечатлѣніе пріятнаго и поучительнаго сюрприза.

L.

Мы знаемъ, надъ журналомъ Полевого издѣвались за небывалую въ русской журналистикѣ пестроту содержанія, особенно доставалось издателю за модныя картинки. Положимъ, модныя картинки издавались при самыхъ серьезныхъ журналахъ и десятки лѣтъ спустя, и, напримѣръ, герой Глѣба Успенскаго испытывалъ при этомъ фактѣ отнюдь не приливъ юмористическаго настроенія, а нѣчто близкое къ драмѣ и горючимъ слезамъ. Его «точно варомъ обдало» при одной мысли, что для нѣкоторыхъ русскихъ читателей надо писать о модахъ, въ какія бы то ни было времена... [160]).

[160]) *На старомъ пепелищѣ.*

Но Полевой поступалъ совсѣмъ иначе, чѣмъ описатель модъ тридцать лѣтъ спустя. Можетъ быть, уловки редактора не лишены наивности, но всѣ онѣ направлены къ одной, менѣе всего наивной цѣли и извѣстный характеръ пріема зависѣлъ всецѣло отъ аудиторіи, внимавшей публицисту.

Напримѣръ, по поводу украшеній дамскихъ шляпокъ и платьевъ совершается экскурсія въ область естественной исторіи и предлагаются свѣдѣнія о птицѣ марабу. Та же бесѣда о модахъ уполномочиваетъ журналиста лишній разъ выступить на защиту просвѣщенія, и только потому, что приходится сообщать о туалетахъ парижскихъ дамъ, посѣтившихъ *засѣданіе академіи* [161]).

Не выше модъ, конечно, вопросъ о балетѣ, именно о четырехактномъ балетѣ *Рауль синяя борода*. Но какъ разъ этотъ балетъ наводитъ автора на воспоминанія о добромъ старомъ времени французскаго классицизма и о жестокихъ гоненіяхъ классиковъ на романтизмъ. А эти воспоминанія, въ свою очередь, вызываютъ автора на разсужденія о неизбѣжности прогресса, о естественной смѣнѣ стараго новымъ. Это ни болѣе, ни менѣе какъ, основной одухотворяющій принципъ всей публицистической дѣятельности Полевого, какъ ее представляетъ Бѣлинскій: «мысль о необходимости умственнаго движенія, о необходимости слѣдовать за успѣхами времени, улучшаться, идти впередъ, избѣжать неподвижности и застоя, какъ главной причины гибели просвѣщенія, образованія, литературы». Бѣлинскій прибавляетъ, что эта истина, теперь общее мѣсто, была принята въ свое время «за опасную ересь» [162]).

Но, пожалуй, опасныя ереси безопаснѣе проповѣдывать въ легкой бесѣдѣ о модахъ и балетахъ, чѣмъ въ нарочито важныхъ рѣчахъ, и *Телеграфъ* по случаю *Рауля* пишетъ слѣдующее:

«Никто не ропщетъ на неумолимое время за то, что оно ежеминутно дѣлаетъ человѣка старѣе и старѣе, одно поколѣніе замѣняетъ другимъ; никто не сѣтуетъ о томъ, что дѣти, сохраняя нѣкоторыя черты родителей, не совершенно похожи на нихъ, а имѣютъ собственныя физіономіи. Итакъ, если сама природа столь неутомимо производитъ новое и новое, истребляя все устарѣвшее, то почему же намъ хотѣть положить преграды дѣятельности ума человѣчества?»

И дальше слѣдуетъ живая жанровая картина—старушки, когда-

161) XIX, 275; XXXI, 399.
162) Отд. изд., стр. 38.

то красавицы и чаровательницы, теперь одинокой и осужденной на одни воспоминанія рядомъ съ прелестными внучками...[163]). Картинка смѣняется остроумной пародіей проповѣдей русскихъ классиковъ съ ископаемыми словечками подлинныхъ статей Каченовскаго, и на долю балета остается всего четыре строчки, но зато устроена лишняя атака на ненавистный старовѣрческій лагерь.

Къ тому же вопросу критикъ *Телеграфа* возвращается и по поводу игры Мочалова въ *Гамлетѣ*, мимоходомъ разсказывается вкратцѣ цѣлая исторія сценической игры въ Россіи. По поводу представленія на московской сценѣ *Школы мужей* обозрѣвается драматическая дѣятельность Мольера, развитіе мѣщанской драмы и судьба театра въ эпоху революціи[164]). Критикъ убѣжденъ, что «и водевиль играетъ свою роль въ жизни нашего просвѣщенія», и принимается «философствовать» «ради» водевиля[165]).

Легко представить, по случаю булгаринскаго *Димитрія Самозванца*, важнаго литературнаго факта своего времени, пишется цѣлая диссертація о классицизмѣ и романтизмѣ, наравнѣ съ классиками жестоко достается неистовымъ романтикамъ[166]).

Мы вполнѣ можемъ оцѣнить эту находчивость и бойкость пера по матеріалу, обильно разсѣянному въ статьяхъ *Телеграфа*, по цитатамъ чужихъ упражненій. *Телеграфу* приходилось разбирать *професорскія* піитики, оригинальныя или переводныя, написанныя такимъ стилемъ:

«Изъ соннаго искусства изсѣкателей извели для наслажденія сладкомечтающихъ художниковъ одну соединенную дѣйствительность». Это изъ переводной книги, обязанной своимъ существованіемъ, между прочимъ, Шевыреву.

Въ журналѣ другого московскаго ученаго, Каченовскаго, печаталась «изящная словесность» на такомъ языкѣ:

«Цыганообразный прибылъ, какъ продолженіе разговора пока-

---

163) XIX, 150, XXIII, 140.

164) XXVIII, 116. Статья принадлежитъ Василію Ушакову дѣятельному театральному критику *Телеграфа*. Сначала онъ, подобно Марлинскому, выступилъ врагомъ *Телеграфа*, но потомъ сталъ сотрудникомъ журнала. О немъ Кс. Полевой, стр. 137—139 и 267—269. Статьи Ушакова въ *Телеграфѣ* подписаны *В. У.*

165) XXIX, 271, 547.

166) XXXII, 232. Статья того же Ушакова, состоявшаго въ близкомъ знакомствѣ съ Булгаринымъ. Этимъ фактомъ объясняются слишкомъ горячія похвалы роману, хотя *Телеграфъ*, за исключеніемъ ранняго періода, не стѣснялся въ самыхъ лестныхъ отзывахъ о произведеніяхъ Булгарина.

зало, изъ Кларенбурга, гдѣ покойная моя бабушка провела послѣднюю половину своей жизни; влекомый потокомъ болтливости, скоро и ея самой коснулся онъ своимъ разсказомъ». Или дальше: «Мы встали; я же нырнулъ въ боковую комнату».

Мы знаемъ, не менѣе оригинальна была рѣчь и третьяго московскаго профессора Надеждина, какъ автора диссертаціи. Онъ вмѣстѣ съ своимъ покровителемъ Каченовскимъ доставлялъ «сыщикамъ» *Телеграфа* богатѣйшую наживу [167]). Даже словари давали *Телеграфу* возможность писать презабавные отчеты и, чтобы убить одно изъ подобныхъ изданій, достаточно было, по его выраженіямъ, составить слѣдующтю фразу: «Я взялъ *абшитъ* и теперь живу какъ *безмолвникъ*, но *безмрачный*, ибо *безмятежіе* даетъ *доброгласіе* моимъ чувствамъ. Мнѣ нужна теперь только *добродѣйка* для *благосчастія* въ жизни». Наконецъ, кн. Шаликовъ, комическій воздыхатель и притязательный знатокъ тона и французскаго діалекта, одними только опечатками во французскихъ словахъ вдохновляетъ *Телеграфъ* на убійственную сатиру [168]).

Очевидно, подобные таланты и умы невольно внушали критику пародіи и ими *Телеграфъ* пользовался весьма охотно. Напримѣръ, въ «Отрывкахъ изъ новаго альманаха «*Литературное зеркало*» напечатаны сцены изъ трагедіи *Стенька Разинъ*, превосходно пародирующія таланты и произведенія Демишиллеровыхъ, т. е. псевдоромантиковъ. Сатира не минуетъ, конечно, злополучной «душегрѣйки», одной изъ самыхъ излюбленныхъ мишеней *Телеграфа*. Но здѣсь же направленъ и вполнѣ цѣлесообразный ударъ въ философско-романтическую выспреннюю поэтику. Демишиллеровъ убѣжденъ: «только тѣ минуты жизни поэтовъ, которыя выдаютъ изъ жизни вседневной, имѣютъ право входить въ заколдованный кругъ ихъ мечтаній» [169]).

Эта воинственность, конечно, не оставалась безъ возмездія. *Телеграфъ*, и въ самомъ началѣ встрѣтившій немного друзей, съ каждымъ мѣсяцемъ пріобрѣталъ все больше враговъ. Стрѣлы направлялись на самый, по мнѣнію противниковъ, уязвимый пунктъ— прежде всего на общественное положеніе заносчиваго редактора.

[167]) XII, 255; XIX 274—5, XXXI, 353—4.

[168]) XIV. 129, 197. Еще забавнѣе исторія съ отзывомъ *Révue encyclopédique* о *Дамскомъ журналѣ* Шаликова. Князь жаловался, почему *Телеграфъ* не привелъ этого отзыва. *Телеграфъ* въ отвѣтъ перепечаталъ статью французскаго журнала и она оказалась менѣе всего лестной для чувствительнаго редактора. XIV, 99.

[169]) XXXII, 74.

Полевой—*купецъ* и даже торговецъ водкой: въ глазахъ Каченовскаго, Шаликова и вообще патентованныхъ педантовъ и благородныхъ литераторовъ—это клеймо и въ нѣкоторомъ родѣ лишеніе правъ. Даже Пушкинъ присоединилъ свой голосъ къ аристократической критикѣ. Сначала поэтъ доволенъ *Телеграфомъ* и «остренькимъ сидѣльцемъ». Но довольство, повидимому, поддерживалось исключительно посредничествомъ кн. Вяземскаго, по крайней мѣрѣ, таковъ смыслъ писемъ Пушкина къ князю. Во всякомъ случаѣ, при всѣхъ нападкахъ на Полевого за невѣжество и даже безграмотность, Пушкинъ цѣнилъ его отзывы и «съ нетерпѣньемъ» ждалъ ихъ о произведеніи Гоголя [170]).

Раздраженіе Пушкина было вызвано крайне рѣзкими нападками *Телеграфа* на «литературную аристократію». Полевой помнилъ, какъ его принимали въ литературныхъ салонахъ, судьба аристократическихъ изданій отнюдь не отличалась блескомъ и силой, и, естественно, *Телеграфъ* не пропускалъ случая посмѣяться надъ привилегированными словесниками. Пушкинъ отвѣчалъ въ *Литературной Газетѣ*.

Поэтъ, какъ часто бывало съ нимъ, пересолилъ въ своемъ гнѣвѣ и статью закончилъ такой исторической справкой:

«Эпиграмма демократическихъ писателей XVIII-го вѣка пріуготовила крики: *Аристократовъ къ фонарю* и ничуть не забавные куплеты съ припѣвомъ: *Повѣсимъ его, повѣсимъ*. Avis au lecteur» [171]).

Любопытно было, что въ числѣ столь опасныхъ враговъ аристократіи оказывались, кромѣ Полевого, Гречъ и Булгаринъ.

Полевой отвѣчалъ достойной отповѣдью «литературной недобросовѣстности», и, конечно, не думалъ прекратить своей войны съ «аристократами».

Въ отместку, на него сыпались сатиры за плебейство. Въ 1830 году въ Москвѣ вышелъ «нравственно-сатирическій романъ»: *Купеческій сынокъ или слѣдствіе неблагоразумнаго воспитанія*: стихи романа должны были пародировать мѣщанскій жаргонъ [172]).

Вопросъ вдругъ принялъ высоко оффиціальный характеръ. Графъ Бенкендорфъ остался недоволенъ статьей *Литературной Газеты* и потребовалъ объясненія у цензуры. Та отвѣчала въ высшей степени краснорѣчивымъ соображеніемъ, очевидно, за свой

170) Письма въ іюнѣ и отъ 15 сент. 1825 года. Письмо къ Гоголю отъ 25 авг. 1831 года.

171) *Литературная Газета*, 1830, № 45.

172) Варсуковъ, III, 232.

счетъ вступая въ литературно-политическую полемику съ журналистомъ-плебеемъ. Здѣсь какъ бы слышатся первые отголоски надвигающейся грозы. Цензоръ доносилъ о «стремленіи *Московскаго Телеграфа* выставить съ дурной стороны русское дворянство, чрезъ осмѣиваніе онаго почти въ каждой книжкѣ журнала разными критическими пьесами». А это стремленіе, по мнѣнію цензора, заслуживало «сильнаго опроверженія», какъ дѣло неблагонамѣренное.

Шаликовъ, чрезвычайно дорожившій своимъ титуломъ грузинскаго князя, клеймилъ Полевого «мюжжикомъ» и отрицалъ у него тонкія чувства [173]). Аристократы, какъ видимъ, не стѣснялись въ эпитетахъ. Особенно отличалась *Галатея*, издававшаяся Раичемъ. Даже кн. Вяземскій, самъ любившій чернильныя войны, возмущался тономъ журнала и находилъ одно объясненіе: Раичъ «спился. Трезвому невозможно такимъ образомъ и такъ скоро опошлиться» [174]).

У Полевого, слѣдовательно, оказывалось два принципіальныхъ врага—литературная аристократія и академическая наука. И замѣчательно, оба врага шли однимъ путемъ, очевидно, вполнѣ соотвѣтствовавшимъ духу времени. Если Пушкинъ договорился до революціонныхъ эпизодовъ, Надеждину и Каченовскому было несравненно легче дойти уже прямо до юридическихъ бумагъ.

Въ *Молвѣ*, среди многочисленныхъ уликъ и критикъ, было представлено такое историческое соображеніе:

«Если находятся еще въ Россіи квасные патріоты, которые, наперекоръ Наполеону, почитаютъ Лафайэта человѣкомъ мятежнымъ и пронырливымъ, то пусть они заглянутъ въ № 16 *Московскаго Телеграфа* (на страницѣ 464) и увѣрятся, что «Лафайэтъ—самый честный, самый основательный человѣкъ во французскомъ королевствѣ, чистѣйшій изъ патріотовъ, благороднѣйшій изъ гражданъ, хотя вмѣстѣ съ Мирабо, Сіесомъ, Баррасомъ, Баррерому и множествомъ другихъ былъ однимъ изъ главныхъ двигателей революціи; пусть сіи квасные патріоты увидятъ свое заблужденіе и перестанутъ

Презрѣнной клеветой злословить добродѣтель» [175]).

Мы оцѣнимъ вполнѣ эту справку, встрѣтивъ ее въ обвинительномъ актѣ Уварова противъ Полевого: оффиціальный документъ буквально воспроизведетъ домыслъ журналиста [176]).

---

[173]) Кс. Полевой, 261.

[174]) Барсуковъ, II, 329.

[175]) *Молва*, 1831 года, № 48.

[176]) Сухомлиновъ. *О. с.*, стр. 418.

Ученые шли еще дальше: они не желали допускать Полевого даже въ свою среду. Когда Общество исторіи и древностей россійскихъ выбрало автора *Исторіи русскаго народа* въ свои члены, Арцыбашевъ—одинъ изъ жестокихъ критиковъ Карамзина—заявлялъ свое глубокое негодованіе Погодину. Оно особенно любопытно въ устахъ сравнительно самостоятельнаго и свѣдущаго изслѣдователя русской исторической науки.

«Состояніе Полевого,—писалъ онъ,—укоризна не ему, но тому ученому обществу, которымъ онъ удостоенъ, безъ всякихъ заслугъ, членскаго званія. Купца 3-й гильдіи можетъ судебное мѣсто высѣчь плетьми и—кто знаетъ будущее?—можетъ быть, со временемъ высѣкутъ Полевого».

Арцыбашева приводитъ въ отчаяніе эта возможность, но не ради Полевого, а ради чести ученаго общества. «Есть и крѣпостные люди съ ученостью,—продолжаетъ онъ,—лучшею, нежели Полевой, такъ неужели же и ихъ производить въ члены ученаго общества, состоящаго при университетѣ?» [177]).

Съ теченіемъ времени эта учено-аристократическая атака на удачливаго журналиста-плебея перешла даже на театральныя подмостки и московская сцена увидѣла небывалое зрѣлище: полемику драматическаго автора съ критикомъ путемъ веселыхъ куплетовъ.

А. И. Писаревъ, очень плодовитый, талантливый стихотворецъ и драматургъ, обидѣлся отзывомъ Полевого еще въ *Отечественныхъ Запискахъ*, издалъ цѣлую брошюру *Анти-Телеграфъ* и въ водевиль *Три десятки* вставилъ куплеты, долженствовавшіе поразить невѣжество Полевого:

Журналистъ безъ просвѣщенья
Хочетъ публику учить,
Самъ не кончивши ученья,
Всѣхъ сбирается учить;
Мертвыхъ и живыхъ тревожитъ.
Не пора ль ему шепнуть:
«Тотъ другихъ учить не можетъ,
Кто учился какъ-нибудь!»

Въ театрѣ поднялся страшный шумъ: сторонниковъ Полевого среди публики нашлось больше, чѣмъ враговъ, и водевиль скоро былъ снятъ со сцены [178]).

---

[177]) Барсуковъ, III, 45.

[178]) Подробности о Писаревѣ въ *Литературныхъ и театральныхъ воспоминаніяхъ* С. Т. Аксакова. Эпизодъ съ водевилемъ, Кс. Полевой, стр. 141, ср. Колюпановъ, I (2), стр. 300, прим. 72.

Наконецъ, были у Полевого противники болѣе, для него чувствительные и опасные, чѣмъ профессора и поэты—современная университетская молодежь. Журналистъ, естественно, очень дорожилъ ея расположеніемъ, но безпрестанно между нимъ и студентами обнаруживались недоразумѣнія, и по очень простой причинѣ.

Мы знаемъ, Полевой, по строго-практическому складу своего ума, менѣе всего былъ способенъ увлечься чистыми отвлеченностями или даже реальными, но слишкомъ отдаленными умозрительными перспективами. И мы слышали отзывъ философской молодежи о смутѣ философскаго міросозерцанія Полевого. Одинъ изъ представителей этой молодежи отмѣчаетъ еще болѣе существенный недостатокъ: недоступность для Полевого идей, не шеллингіанства и сенъ-симонизма, идей рѣзкой политической и жизненной окраски. Полевой, очевидно, за нѣкоторыми дѣйствительно слишкомъ поэтическими и мечтательными идеалами Сенъ-Симона, не могъ различить преобразовательнаго и особенно критическаго зерна школы.

«Для насъ», писалъ много лѣтъ позже оппонентъ Полевого, «сенъ-симонизмъ былъ откровеніемъ, для него безуміемъ, пустой утопіей, мѣшающей гражданскому развитію» [179]).

Можно представить, какой богатый матеріалъ накоплялся въ современной журналистикѣ на тему *Анти-Телеграфъ*. Уже въ половинѣ 1825 года издатель могъ составить «особенное прибавленіе къ своему журналу, состоявшее исключительно изъ критическихъ статей противъ *Телеграфа* [180]).

Это предпріятіе, конечно, должно было только еще больше расплодить возраженія и брань, и Полевой, повидимому, начиналъ чувствовать усталость и охлажденіе къ безпрерывнымъ стычкамъ и въ концѣ 1826 года объявлялъ публикѣ о своемъ рѣшительномъ намѣреніи — больше не печатать антикритикъ [181]). Но эта политика осталась въ проектѣ, журналъ по прежнему продолжалъ воевать и даже прямо заявлялъ о необходимости полемики, «журнальная брань» то же, что «уголовныя слѣдствія въ государственномъ управленіи» [182]).

Но *Телеграфъ* «бранилъ» не личности, а дѣла и произведенія между тѣмъ какъ противъ него велась почти исключительно личная

---

[179]) *Былое и думы*, VI, 198.
[180]) Кс. Полевой, стр. 134.
[181]) XII, 247—8.
[182]) XXXI, 417.

война. Краснорѣчивѣйшее доказательство безсилія противниковъ въ литературной борьбѣ, и въ то же время большихъ талантовъ и чрезвычайныхъ успѣховъ Полевого. Даже Уваровъ совѣтовалъ журналистамъ прекратить «дерзкія личности», отнюдь, конечно, не изъ сочувствія къ Полевому, а чтобы «облагородить изданія» [183]).

Замѣчательно, самъ Булгаринъ вожделѣлъ о чемъ-то подобномъ и въ предисловіи къ своимъ *Воспоминаніямъ* укорялъ критику въ неблагородныхъ побужденіяхъ [184]).

Но мы все-таки не должны думать, что хотя бы и въ жалобахъ Бургарина заключалось одно лицемѣріе. Журналы просто *не могли* быть иными и содержаніе ихъ не становилось благороднѣе, отнюдь не по исключительной винѣ издателей.

Мы знаемъ мнѣніе Полевого о современной журнальной публикѣ. Онъ не стѣснялся это мнѣніе высказывать и въ болѣе откровенной формѣ. Большая часть публики любитъ перебранки литераторовъ, запальчивое остроуміе предпочитаетъ какой угодно критикѣ. Въ умственномъ развитіи она едва доросла до творчества Булгарина, и *Телеграфъ*, одобряя *Ивана Выжигина*, отлично сознаетъ секретъ его успѣха,— Вальтеръ Скоттъ не вполнѣ понятенъ для русскихъ читателей, а Булгаринъ «наклоняется до публики» [185]).

Автору и журналисту приходится «угождать» и «услуживать», какъ мы читаемъ въ одной статьѣ *Телеграфа* [186]), не смотря на твердое рѣшеніе издателя не заискивать предъ чернью. Но гдѣ же взять читателей помимо этой черни?

Въ высшемъ обществѣ русскихъ книгъ не читаютъ, тамъ думаютъ и говорятъ на чужихъ языкахъ, и тотъ же Булгаринъ оплакивалъ судьбу русскаго писателя, являющагося ниже иностранца въ своемъ отечествѣ. Даже классическія произведенія распродавались крайне медленно, напримѣръ, *Исторія* Карамзина, сочиненія Батюшкова, Жуковскаго [187]). Въ журналахъ, мы знаемъ, не платили гонорара вплоть до появленія *Телеграфа*: исключеніе сдѣлала на короткое время *Полярная звѣзда*, потомъ съ 1825 года примѣру ея послѣдовалъ Гречъ [188]).

Такія условія менѣе всего могли поднять достоинство литера-

---

[183]) Барсуковъ, IV, 99.

[184]) Предисловіе къ IV-й части, изд. 1848 года.

[185]) XII, 247; XXVIII, 78.

[186]) XIX, 180.

[187]) Въ *Русскомъ Архивѣ*. Ср. Весинъ, *Очерки исторіи русской журналистики двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ*. Спб. 1881, стр. 223, 165.

[188]) Кс. Полевой, 203—4.

турнаго труда и журнальныхъ сотрудниковъ. Въ результатѣ, помимо угожденія публикѣ, ихъ тонъ, по самой обстановкѣ, впадалъ въ крайности, и непремѣнно мелочныя и личныя. Тотъ же Уваровъ, желавшій облагородить русскіе журналы, энергично настаивалъ на ихъ «опасномъ направленіи», требовалъ, чтобы они прекратили «дерзкое сужденіе о предметахъ, лежащихъ внѣ ихъ круга». Позже мы увидимъ, что̀ это значило практически и что въ глазахъ министра считалось нестерпимой дерзостью... Можно подивиться таланту Полевого въ теченіе цѣлыхъ лѣтъ говорить о «предметахъ» среди многообразнѣйшихъ Сциллъ и Харабдъ. Бѣлинскій былъ правъ, отмѣчая прежде всего литературность полемики *Телеграфа*: мы видимъ, это элементарное качество всякой культурной журналистики превращалось въ подвигъ во времена Полевого.

LI.

Уже по отрывочнымъ примѣрамъ мы могли судить о богатствѣ талантовъ нашего журналиста, и на первомъ планѣ стоитъ публицистическій талантъ. Полевой много заботился о критикѣ, но и въ ней онъ оставался политикомъ очень яркой окраски. Сравнительно съ его заслугами, какъ общественнаго мыслителя, его критическая дѣятельность является второстепенной. Въ критикѣ онъ становился вполнѣ сильнымъ и свободнымъ, когда приходилось рѣшать общественный или нравственный вопросъ, а не эстетическій, не чисто художественный.

Мы видѣли, «Телеграфъ» ратовалъ за романтизмъ. Здѣсь ничего не было ни смѣлаго, ни оригинальнаго. *Телеграфъ* только не поскупился на энергію и на остроуміе въ нападкахъ на классиковъ. Защищая, напримѣръ, Мицкевича отъ классическихъ зоиловъ, *Телеграфъ* уподобляетъ ихъ «гаду, перегрызть пилу тщившемуся», при другомъ случаѣ сравниваетъ съ «совами», просиживающими «всю жизнь въ одномъ дуплѣ, не заботясь о мірѣ» и нетерпимыми къ чужой жизни и ко всей вселенной внѣ ихъ гнѣзда [189]). Вообще «педанты» и диктаторы не находятъ пощады у критиковъ *Телеграфа*. Журналъ очень мѣтко опредѣляетъ основную литературно-общественную разницу между классиками и романтиками: одни сидятъ въ крѣпости изъ древнихъ книгъ, другіе увлекаютъ публику, и побѣда ихъ несомнѣнна. Критикъ

[189]) XXII, 305; XXIX, 4, 5, 109, 265.

Телеграфа умѣетъ забавно изложить драматическіе пріемы классиковъ съ не меньшимъ остроуміемъ, чѣмъ когда-то дѣлали то же самое враги классицизма во Франціи XVIII вѣка [190]). Но съ особенной жестокостью уничтожены классики и ихъ ученость по поводу *Горя отъ ума*. Статья безъ подписи и, можетъ быть, принадлежитъ самому издателю: въ прочувствованной рѣчи невольно слышится личное наболѣвшее чувство «самоучки» и «невѣжды».

«Наши ученые,—пишетъ критикъ,—жестоко возстаютъ противъ всего новаго, даже противъ новыхъ понятій, для коихъ необходимы новыя слова. Усердіе ихъ простирается до того, что нынѣ они стараются осмѣять даже *высшіе взгляды*, ибо горько разставаться имъ съ своими *низменными взглядами*. Самою лучшею сатирою на русскую ученость было бы то сочиненіе, въ которомъ кто-нибудь собралъ бы все, что осмѣивали и преслѣдовали наши ученые отъ временъ Тредьяковскаго до нашихъ. Тредьяковскій язвилъ Ломоносова, Ломоносовъ мѣшалъ Миллеру, Сумароковъ перечилъ Ломоносову, а тамъ, а тамъ... можно досчитаться и до нашихъ дней. И все за новые взгляды, за новыя ученія, за новыя слова, за новыя новости. Тредьяковскій думалъ, что Ломоносовъ роняетъ россійскую ученость; Ломоносовъ говорилъ, что Миллеръ оскорбляетъ русскихъ, выводя ихъ отъ шведовъ, а Сумарокову не нравилось все, что было не его, или не господина Расина и не господина Вольтера». Именно новизнѣ характеровъ и драматическаго развитія *Горе отъ ума* обязано жестокой враждой классиковъ [191]).

Естественно, *Телеграфъ* отрицалъ вообще всякія попытки подчинить поэзію правиламъ. Ихъ не существуетъ для искусства всѣхъ временъ, такъ же какъ и для «дѣйствій человѣчества». «Поэзія—самое свободное, неуловимое изъ всего проявляющагося въ человѣчествѣ» [192]).

Этотъ взглядъ *Телеграфъ* съ большимъ успѣхомъ примѣнилъ въ театральной критикѣ, именно въ сравнительной оцѣнкѣ двухъ знаменитѣйшихъ трагиковъ—Мочалова и Каратыгина. Журналъ отдавалъ преимущество московскому артисту: онъ «больше говоритъ душѣ и сердцу зрителей». Каратыгинъ «весь—искусство» Мочаловъ «весь—чувство»; «одинъ какъ будто говоритъ публикѣ

---

[190]) Напр., Grimm, *Corresp. littéraire*, XV, 238. *М. Тел.*, XXIX, 494.
[191]) XXXVIII, 128—9.
[192]) XIV, 289.

смотри и удивляйся! другой заставляетъ ее невольно раздѣлять съ нимъ его чувство и принимать малѣйшее участіе въ лицѣ, имъ представляемомъ» [193]).

Любопытна тонкость и проницательность, съ какими *Телеграфъ* предсказалъ торжество Мочалова въ роли *Гамлета*. Каратыгинъ, по мнѣнію критика, превосходилъ Мочалова, исполняя роль по искаженному переводу, т. е. по нешекспировскому тексту. Но въ настоящемъ шекспировскомъ Гамлетѣ Мочаловъ, навѣрное, превзошелъ бы всѣхъ другихъ исполнителей. Предсказаніе исполнилось восемь лѣтъ спустя, когда Мочаловъ привелъ Бѣлинскаго въ восторгъ ролью Гамлета по переводу Полевого [194]).

Всѣ эти идеи о свободѣ творчества, о безцѣльной полемикѣ романтиковъ и классиковъ были продолженіемъ дѣла, начатаго другими. Полевой внесъ въ вопросъ больше послѣдовательности, яркости и чисто-публицистической страсти. Для него романтизмъ являлся торжествующей школой во имя практической жизненности, свободы и прогресса, а не философскихъ и эстетическихъ соображеній. *Телеграфъ* поэтому не отказался напечатать въ статьѣ кн. Вяземскаго суровый запросъ русскимъ философамъ, подвизавшимся въ *Московскомъ Вѣстникѣ*. Дѣло началось изъ-за сочиненій Вальтеръ-Скотта.

Критикъ требовалъ «практической рецензіи», столь же ясной и положительной, какъ творчество романиста. Только при такихъ условіяхъ можно «дѣйствовать на умы» русскихъ читателей.

«Русскій умъ любитъ, чтобы ему было за что держаться, а не любитъ плавать въ туманахъ и влажной мглѣ, въ стихіи неопредѣленной, въ которой нѣмцу раздолье, какъ рыбѣ въ прохладной рѣкѣ» [195]).

Но это не значило, будто *Телеграфъ* вообще открещивается отъ философіи. Напротивъ, онъ усвоилъ вполнѣ современный европейскій взглядъ на нее, какъ на положительную науку. Авторитетъ *Телеграфа*—французская философія въ лицѣ Кузэна.

Ксенофонтъ Полевой жестоко напалъ на Кирѣевскаго, когда тотъ непочтительно отозвался о французскомъ философѣ, обвинилъ

193) XXIX, 107.

194) Ст. о Мочаловѣ—*В. У.*, XXIX, 275. О переводѣ *Гамлета* и первомъ представленіи трагедіи въ переводѣ Полевого — Кс. Полевой, 365. Особенно любопытенъ разсказъ автора о помощи, какую К. А. Полевой оказалъ Мочалову при изученіи роли Гамлета.

195) XXII, 136.

въ заимствованiяхъ у нѣмцевъ. И замѣчательно, даже по этому случаю *Телеграфъ* не забываетъ указать на развитiе литературной и политической жизни Францiи и, повидимому, этотъ именно фактъ заставляетъ критика французскую философiю предпочитать всякой другой [196]).

Естественно, журналъ не преминулъ затронуть очень щекотливый вопросъ о философiи XVIII-го вѣка. Мы знаемъ, какъ его рѣшали профессора московскаго университета, въ родѣ Каченовскаго и Надеждина, и, по условiямъ времени, поступали вполнѣ цѣлесообразно. *Телеграфъ* занимаетъ противоположное положенiе.

Онъ прежде всего энергично возражаетъ автору, обвинившему просвѣщенiе въ гибели Францiи XVIII-го вѣка. А потомъ даетъ подробное изображенiе борьбы «ѳеологической школы» противъ того же просвѣщенiя. Эта школа не возбуждаетъ въ насъ никакого благороднаго сочувствiя, она руководилась почти исключительно «своекорыстiемъ и предразсудками» и возставала противъ просвѣтительной философiи не потому, что она была «чувственная», но потому, что она была «свободномыслящая», враги, слѣдовательно, ненавидѣли ее за то, «что въ ней было лучшаго».

Телеграфъ идетъ дальше. Онъ отдѣляетъ революцiю отъ философiи XVIII-го вѣка, считаетъ философiю столь же мало виноватой въ ужасахъ революцiи, какъ христiанство въ Вареоломеевской ночи и въ тридцатилѣтней войнѣ [197]).

Сотрудники *Телеграфа* не одобряли ни матерiализма, ни якобинства, и ихъ заслуга состояла именно въ стремленiи выдѣлить, по ихъ мнѣнiю, здоровое зерно критицизма и свободы въ философiи прошлаго вѣка и снять съ нея огульное поношенiе реакцiонеровъ и мракобѣсовъ [199]).

Это пристрастiе ко всему жизненному и свободному легло въ основу лучшихъ критическихъ статей Полевого.

Телеграфъ съ самаго начала сталъ на сторону Пушкина, провозглашалъ его, не въ примѣръ современному просвѣщенному русскому обществу и даже русскимъ писателямъ, «великимъ знатокомъ языка русскаго». Титулы «великiй поэтъ», «человѣкъ генiальный» безпрестанно сопровождаютъ имя Пушкина. Но эти отзывы касались

---

196) XXXI, 219.

197) XII, 253; XXIII, *Нынѣшнее состоянiе философiи во Францiи*, стр. 50 etc

198) Кс. Полевой о Гольбахѣ и Гельвецiи и о философской пропагандѣ *Телеграфа*,—*Записки*, стр. 157—159, ср. Колюпановъ, I (2), стр. 64—5.

199) XXI, 513—7; XXIX, 109.

преимущественно «прелестныхъ стихотвореній» поэта. Похвалы понизились въ тонѣ по поводу *Евгенія Онѣгина*, но не сразу. Начало романа привѣтствовалось восторженно, только съ выходомъ дальнѣйшихъ главъ критикъ видѣлъ слишкомъ мало разнообразія въ содержаніи, «краски и тѣни одинаковы», «картина все та же». Критикъ, очевидно, не успѣлъ распознать психологической стихіи въ романѣ и, что̀ еще удивительнѣе, чисто-русскаго реализма въ замыслѣ поэта.

Онъ прикидываетъ «чувствованія» Пушкина къ байроническимъ и находитъ, что первыя «не досягаютъ высоты» вторыхъ. Въ результатѣ совѣтъ поэту—«перейти въ русскій міръ, углубиться въ отечественное, родное ему» [200]).

Три года спустя Полевой давалъ отчетъ о *Борисѣ Годуновѣ* и называлъ Пушкина «первымъ изъ современныхъ русскихъ поэтовъ», «полнымъ представителемъ русскаго духа своего времени», но одновременно подчеркивались два изъяна въ поэзіи Пушкина: карамзинское образованіе въ дѣтствѣ и подчиненіе Байрону. Даже *Евгеній Онѣгинъ*, по мнѣнію Полевого, «русскій снимокъ съ лица Донъ-Жуанова».

Мы знаемъ, это взглядъ, довольно распространенный въ ранней критикѣ пушкинскаго таланта. И все недоразумѣніе было создано не заблужденіемъ поэта, а извѣстнымъ типомъ его героя. Евгеній Онѣгинъ, какъ личность, дѣйствительно, копія байроническихъ фигуръ, такъ его именуетъ и самъ поэтъ. Эта подражательность *жизни* была перенесена критиками на произведеніе *автора*, и даже Полевой, при всей своей чуткости къ живой дѣйствительности, не распозналъ истины.

А между тѣмъ, въ той же статьѣ вѣрно оцѣнены недостатки романтической нѣмецкой и французской драмы. Въ *Эгмонтѣ* Гёте и *Донъ-Карлосѣ* Шиллера критикъ не находитъ строго-исторической истины и жизненной простоты. То же самое и въ драмахъ Гюго, созданныхъ подъ вліяніемъ систематическаго протеста противъ старой теоріи и построенныхъ непремѣнно на странныхъ противоположностяхъ.

Полевой рѣшительно отрицаетъ эстетическія системы. О Шекспирѣ онъ такъ выражается: «его система въ душѣ, его философія въ сердцѣ, его тайна въ великой идеѣ, которую угадалъ его геній». Ничего преднамѣреннаго и напряженнаго. Критикъ возстаетъ осо-

---

[200]) XXXII, 243, № 6, мартъ 1830 года.

бенно противъ «напряженія», предвосхищая любимый терминъ Писемскаго и всюду ища свободнаго раскрытія природы и таланта поэта.

Полевой идетъ дальше. Онъ готовъ защищать популярнѣйшую идею критики шестидесятыхъ годовъ, о преимуществахъ дѣйствительности надъ творчествомъ. «Никогда фантазія никакого поэта не превзойдетъ поэзіи жизни дѣйствительной».

Слѣдовательно, полная свобода вдохновенной личности художника и реальная жизнь, какъ источникъ вдохновенія. Эти принципы, совершенно установленные Полевымъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ, въ первое время изданія *Телеграфа* должны были бороться съ юношескими пристрастіями къ романтизму, хотя бы и въ умѣренной дозѣ по части грандіознаго и чрезвычайнаго.

Напримѣръ, въ статьѣ о сочиненіяхъ Шиллера *Телеграфъ* не признавалъ трагедій, взятыхъ изъ будничной жизни. Такія трагедіи не могутъ «возбудить высокихъ ощущеній». На основаніи этого соображенія въ *Коварствѣ и любви* Шиллера критикъ отрицалъ трагическій интересъ [202]).

Впослѣдствіи на склонѣ лѣтъ и въ упадкѣ литературной энергіи и таланта Полевой снова вернется къ призракамъ молодости и выступитъ противъ Гоголя, какъ поэта слишкомъ низменной дѣйствительности. Къ таланту русскаго сатирика будетъ прикинута мѣрка «высокаго гумора Шекспирова» и «исполинскихъ остротъ Виктора Гюго»...

Это возвращеніе къ стародавнимъ наивностямъ краснорѣчивѣе всѣхъ патріотическихъ драмъ свидѣтельствовало о нравственномъ шатаніи критика. Но по статьямъ этого періода никто и не станетъ судить Полевого, какъ критика. Ему не суждено было—мы увидимъ какой судьбой—неуклоннаго и неутомимо бодраго литературно-общественнаго прогресса, какъ онъ осуществился въ жизни его прямого наслѣдника—Бѣлинскаго...

Но въ лучшія времена личной энергіи и публицистическаго таланта Полевой стоялъ на высотѣ, не только недоступной, но даже едва понятной большинству его соперниковъ.

Блестящій примѣръ, тотъ же разборъ «Бориса Годунова», къ сожалѣнію, не дождавшійся окончанія.

Правда, надо имѣть въ виду, что тонъ статьи былъ разгоряченъ

---

[201]) XIV, 229, № 8, 1827 года.

[202]) Статьи о Пушкинѣ въ *Очеркахъ русской литературы*, I.

въ сильнѣйшей степени полемическимъ настроеніемъ противъ Карамзина, но это обстоятельство не только не повредило истинѣ, а даже помогло критику подчеркнуть ее съ нарочитой яркостью.

Карамзинъ безъ всякой критики принялъ разсказъ лѣтописей о преступленіи Бориса и создалъ изъ его судьбы мелодраму. Поэтъ перенесъ съ буквальной точностью этотъ замыселъ на свою сцену.

Полевой спрашиваетъ: «что могъ извлечь Пушкинъ, изображая въ драмѣ своей тяжкую судьбу человѣка, который не имѣетъ ни силъ, ни средствъ свергнуть съ себя обвиненіе передъ людьми и потомствомъ!.. Вмѣсто того, чтобы изъ жребія Годунова извлечь ужасную борьбу человѣка съ судьбою, мы видимъ только приготовленія его къ казни и слышимъ только стонъ умирающаго преступника».

Въ этой же статьѣ дано краткое и краснорѣчивое опредѣленіе романтической, новой драмѣ. У нея есть также законы, прежде всего строгое единство дѣйствія. Она не похожа на классическую только тѣмъ, что «условія не безобразятъ истину и жизнь» классическая говоритъ, а она дѣйствуетъ...

Неудача Пушкина въ *Борисѣ Годуновѣ*, слѣдовательно, исключительно вина Карамзина, слѣдовательно, внѣшняго отрицательнаго вліянія на поэта. Собственный же талантъ его, на взглядъ Полевого, всегда стоялъ на высотѣ правды и жизненной силы. Немедленно послѣ кончины Пушкина Полевой предлагалъ воздвигнуть ему памятникъ, «достойный его славы и русской чести».

Помимо таланта и дѣятельности Пушкина, *Телеграфъ* безпрестанно обращался и къ другимъ первостепеннымъ русскимъ писателямъ, неизмѣнно стремясь произнести надъ ними судъ принципіальный, всеобъемлющій, истинно-литературный и прочный.

Статьи Полевого о Державинѣ и о Жуковскомъ—цѣлые трактаты, какихъ не знала раньше русская журналистика. Полевой не только попытался опредѣлить поэтическій геній Державина по всѣмъ его произведеніямъ, но отдалъ себѣ ясный отчетъ въ исключительности этого генія для его эпохи. Мы знаемъ, Мерзляковъ уже понималъ поэтическую силу Державина; но это скорѣе было инстинктивнымъ чутьемъ художественной природы критика, чѣмъ подробной и всесторонне развитой идеей. Восторги предъ Державинымъ не помѣшали профессору пользоваться въ своей наукѣ піитиками, Полевой именно примѣромъ Державина воспользовался ради лишней атаки на теоріи и эстетики. Можетъ быть, статья написана даже съ неумѣреннымъ энтузіазмомъ и

подчасъ очень фразисто, что вообще не въ духѣ Полевого, но, какъ и всегда, критика непосредственно переходила въ воинственную публицистику противъ ученаго педантизма и его претензій сковать разсудочными узами свободный полетъ генія.

Отъ проницательности критика не ускользаетъ основной изъянъ державинскаго вдохновенія— идеализація русской старины вопреки исторической правдѣ. Не будь этого наивнаго увлеченія, Державинъ началъ бы истинно-національный періодъ русской поэзіи. Въ талантѣ поэта было достаточно національныхъ русскихъ стихій, но Державину не доставало яснаго пониманія предмета и даже своего генія. Державинъ легко соблазнился почестями, и чиновничьей дѣятельностью, пошелъ въ вельможи и сановники, а подъ конецъ жизни вздумалъ даже сочинить классическую трагедію.

Всѣ эти недоразумѣнія снова даютъ Полевому поводъ, къ страстнымъ нападкамъ на его жесточайшихъ враговъ—свѣтъ и классицизмъ. Критикъ одновременно говоритъ гражданскимъ голосомъ даровитаго разночинца и сильнаго литератора и лирической рѣчью романтика.

Статья о Жуковскомъ прежде всего блестящая сатирическая характеристика меценатскаго періода русской литературы. Его смѣнили англійскія и германскія вліянія. Жуковскій явился даровитѣйшимъ романтикомъ, но отнюдь не на почвѣ всего европейскаго романтизма. Въ его поэзіи нѣтъ народности, нѣтъ и живой дѣйствительности. Эти замѣчанія были сдѣланы и другими, но у Полевого они принимаютъ болѣе рѣзкую форму: народность и дѣйствительность означаютъ чуткое отношеніе поэта къ общественной и политической жизни своего отечества.

У Жуковскаго не было этой гражданской чуткости, и Полевой очень тонко даетъ читателямъ понять основной порокъ прекраснодушнаго романтизма пѣвца «Свѣтланы».

Критикъ не желаетъ прослыть хулителемъ таланта Жуковскаго. «Нѣтъ!—продолжаетъ онъ,—мы сами благоговѣемъ предъ младенческою чистотою этой души, ровною струею переливавшейся черезъ страшную долину событій съ 1803 до 1833 года, переливавшейся постоянно съ гармоническимъ журчаніемъ, не смотря на то, по какимъ бы скаламъ, падавшимъ въ нее со всѣхъ сторонъ, ни текла дума поэта».

Благоговѣніе, врядъ ли искреннее въ устахъ критика и попало оно среди въ высшей степени вѣскихъ укоризнъ, ради только законнаго чувства почтенія къ заслуженному литературному имени дѣйствительно добраго человѣка.

Могъ ли Полевой благоговѣть предъ поэтомъ, «не знающимъ національности русской», — Полевой, произнесшій одновременно въ статьѣ о Мерзляковѣ жестокую отповѣдь перелагателямъ русскихъ народныхъ пѣсенъ? Для критика именно въ просторѣ и грубости народныхъ думъ заключаются «красоты необыкновенныя», и сотрудничество тонко-просвѣщенныхъ стихотворцевъ съ народомъ онъ считаетъ театральными плясками съ *па* и *антраша*: «крестьяне въ маскарадѣ... ошибка страшная и нестерпимая!».

И въ доказательство Полевой подробно разлагаетъ Мерзляковскія пѣсни на составные элементы—чисторусскіе и иноземные... Но и послѣ этой критики онъ призывалъ читателей къ снисходительности. «Иначе, хваля и презирая безъ отчета, мы будемъ несправедливы».

Эта сдержанность — характерная черта Полевого, какъ критика, и особенно относительно старыхъ, въ свое время значительныхъ литературныхъ именъ. Только одно оказалось исключеніемъ, и по обстоятельствамъ въ высшей степени любопытнымъ и въ исторіи идейнаго развитія Полевого, и въ судьбахъ всей русской критики. Это имя Карамзина.

LII.

Бѣлинскій, мы видѣли, сѣтовалъ на безтактную запальчивость Полевого относительно Карамзина въ *Исторіи русскаго народа*. Критикъ могъ высказать и болѣе существенный упрекъ—въ прямой непослѣдовательности мнѣній.

Телеграфъ въ первые годы изданія, повидимому, искренне раздѣлялъ «карамзинолатрію», царствовавшую въ нѣкоторыхъ литературныхъ кружкахъ. Это выраженіе принадлежитъ Гречу, очень сильно изображающему исключительное положеніе «исторіографа» въ послѣдній періодъ его жизни. «Изступленные фанатики,—пишетъ Гречъ,—требовали не только признанія таланта въ Карамзинѣ, уваженія къ нему, но и самаго слѣпого языческаго обожанія. Кто только осмѣливался судить о Карамзинѣ, выбрать въ его твореніяхъ малѣйшее пятнышко, тотъ въ ихъ глазахъ становился злодѣемъ, извергомъ, какимъ то безбожникомъ» [203]).

Телеграфъ не противорѣчилъ этимъ настроеніямъ.

---

[203]) Гречъ, *О. с.*, стр. 409, 413.

Журналъ готовъ сопровождать одами даже такія происшествія въ жизни Карамзина, какъ его отъѣздъ заграницу. Напримѣръ, въ 1826 году печатается такое воззваніе къ «Дельфійскому богу»:

Вѣнецъ тобою данъ
Историку, философу, поэту!
О! будь его вождемъ! Пусть, странствуя по свѣту,
Онъ возвратится здравъ для славы Россіянъ! [204])

По смерти Карамзина журналъ восклицалъ:

«Поэты русскіе! усыпьте могилу его цвѣтами скорби! Вы, которымъ Провидѣніе вручило рѣзецъ исторіи и внушило даръ высокаго краснорѣчія! Воздвигните ему памятникъ нелестнаго сердечнаго слова!» [205]).

Телеграфъ очень хлопоталъ о біографіи, достойной Карамзина, желалъ бы имѣть даже «постоянный журналъ разговоровъ его», изъ иностранныхъ источниковъ собиралъ уважительные отзывы «о первомъ и величайшемъ историкѣ Россіи». Карамзинъ, по мнѣнію *Телеграфа*, «единственный въ слогѣ», представилъ также въ великой и вѣрной картинѣ нашей старины мелкія историческія событія, и журналъ считаетъ долгомъ взять на себя защиту исторіографа предъ иностранцами, ихъ недоразумѣніями, ихъ невѣдѣніемъ русскаго подлинника и дѣйствительнаго положенія русской исторической науки.

Телеграфъ не пропускаетъ случая ссылаться на Карамзина, даже какъ философа, указываетъ, какъ удачно русскій историкъ предвосхитилъ нѣкоторыя мысли Кузэна—величайшаго авторитета сотрудниковъ *Телеграфа* [206]).

Изъ всѣхъ этихъ славословій для насъ особенно важна чрезвычайно высокая оцѣнка историческаго труда Карамзина. Этого мало. *Телеграфъ* взялъ на себя роль оберегателя карамзинской славы, роль очень хлопотливую.

Не всѣ русскіе журналисты оказались зараженными идолопоклонствомъ предъ талантами исторіографа, и на противоположныхъ чувствахъ сошлись самые несходные литераторы и разнообразныя изданія.

Голосъ сомнѣнія раздался въ *Сѣверномъ Архивѣ*, слѣдовательно, изъ устъ Булгарина, еще въ 1825 году, по поводу исторіи Бориса Годунова.

---

[204]) VIII, 84—стих. В. Пушкина.
[205]) IX, 80.
[206]) XV, 70; XVIII, 214, 217—8; XXV, 303.

Критикъ упрекалъ историка въ погонѣ за краснорѣчіемъ, за небрежность въ «доказательствахъ» и изслѣдованіяхъ, и, что еще важнѣе, въ равнодушіи къ бытовой исторіи русскаго народа, развитію его учрежденій, его образованію [207]).

Булгаринъ не могъ идти далеко въ своихъ разсужденіяхъ на подобныя темы, по невѣроятному, анекдотическому невѣжеству, засвидѣтельствованному Гречемъ [208]). Въ Москвѣ нашелся болѣе освѣдомленный журналъ *Московскій Вѣстникъ*, редактируемый Погодинымъ. Онъ открылъ генеральную атаку на *Исторію Государства Россійскаго* статьями И. С. Арцыбашева.

Это былъ «регистраторъ русской исторіи», по выраженію Погодина, до своихъ статей о Карамзинѣ въ теченіе болѣе двадцати лѣтъ занимался «сводомъ лѣтописей», напечаталъ нѣсколько работъ историко-археологическаго содержанія, и въ глазахъ Погодина, очевидно, обладалъ извѣстнымъ авторитетомъ [209]).

Статьи объ *Исторіи* Карамзина появились въ 1828 году и съ самаго начала обнаружили большую запальчивость и даже безпощадность автора.

Арцыбашевъ прежде всего напалъ на слогъ Карамзина, болѣе *провозглашательный*, нежели *историческій*, на стремленіе историка истиной жертвовать «суесловію», прельщать «любителей легкаго чтенія». И критикъ нерѣдко очень удачно подбираетъ факты для подтвержденія своихъ укоризнъ.

Напримѣръ, гибель Аскольда и Дира.

«Несторъ даетъ знать просто: убилъ или убили Аскольда и Дира; для чего же написано здѣсь, что они пали *подъ мечами къ ногамъ Олеговымъ?* Такія украшенія въ слогѣ бытописательномъ вредятъ истинѣ и могутъ произвести ненужные споры: иной, обнадѣявшись на слова г. исторіографа, будетъ въ самомъ дѣлѣ утверждать, что Аскольдъ и Диръ убиты *мечами* и пали *къ ногамъ Олега*. Сверхъ того, что значитъ *умолчаніе*, которое историкъ намъ означилъ тремя точками?»

Арцыбашевъ, очевидно, не отступалъ и предъ мелочными придирками, но въ общемъ онѣ давали вѣрное представленіе о наивно торжественномъ велерѣчіи исторіографа. Карамзинъ, оказывалось, даже не оправдалъ своей собственной программы, какъ бы она ни была разсчитана на внѣшнія украшенія исторической истины.

---

[207]) *Сѣв. Архивъ*, 1825 г., часть XIII.

[208]) *О. с.*, стр. 452—3.

[209]) Біографія Арцыбашева и отношенія къ Погодину. Барсуковъ, II, 135 etc.

Въ предисловіи историкъ признавалъ непозволительнымъ «для выгодъ своего дарованія обманывать добросовѣстныхъ читателей», «мыслить и говорить за героевъ, которые уже давно безмолвствуютъ въ могилахъ», и послѣ этихъ разсужденій все-таки сочиняется рѣчь Святослава.

Заключеніе—критика: «довольно красиво, да только не очень справедливо», распространяется на весь трудъ Карамзина и всюду подтверждается самыми наглядными примѣрами: сличеніемъ карамзинскаго разсказа съ лѣтописнымъ [210]).

Подобная критика не могла отличаться самостоятельной новизной и широтой идей, но, несомнѣнно, во многихъ случаяхъ поражала выспренняго исторіографа въ самые чувствительные изъяны его таланта и способа писать исторію на манеръ беллетристики чувствительно проповѣдническаго жанра.

Годъ спустя противъ Карамзина выступилъ Полевой. У него, какъ видимъ, были предшественники, и *Телеграфъ* очень ихъ не жаловалъ. Онъ смѣялся надъ попытками Каченовскаго критиковать исторіографа, съ пренебреженіемъ говорилъ объ Арцыбашевѣ и Погодинѣ, объявившемъ историческій трудъ Карамзина «только памятникомъ краснорѣчія», пишется, наконецъ, спеціальная статья *Антикритика и хладнокровныя замѣчанія на толки г. критиковъ Исторіи государства россійскаго и ихъ сопричетниковъ*. Арцыбашевъ, Строевъ, Погодинъ находятъ достойную, отповѣдь, и особенно достается Погодину, какъ наиболѣе видному ученому [211]).

И въ томъ же году, въ самомъ скоромъ времени, въ томъ же *Телеграфѣ* является статья самого издателя [212]).

Начинается статья очень смѣлыми похвалами *Исторіи* и попутно бросаются укоры по адресу критиковъ въ родѣ Арцыбашева. Вообще Карамзинъ ставится на крайне возвышенный пьедесталъ, наравнѣ съ Ломоносовымъ, но немедленно слѣдуетъ оговорка: значеніе Карамзина, какъ писателя, *историческое*, *сравнительное*. И дальше рядъ замѣчаній касательно *Исторіи*.

Она «неудовлетворительна», «какъ *философъ историкъ*, Карамзинъ не выдерживаетъ строгой критики». Полевой видитъ только «прекрасныя фразы», въ «реторическомъ» карамзинскомъ опредѣленіи исторіи, чрезвычайно ограниченное пониманіе ея цѣлей

---

210) *Московскій Вѣстникъ*, 1828, часть XI, стр. 290—292; часть XII, стр. 73, 87—8, 267—8.

211) *М. Т.*, XXIII, 488, 492; ст. О. Сомова о критикахъ Карамзина, XXV, 238.

212) *М. Т.*, 1829 года, XXVII; перепечатана въ *Очеркахъ*, т. II.

удовольствіе, *нѣга* читателей, *красота повѣствованія.* Общей руководящей идеи нѣтъ у Карамзина. Ему не доступно представленіе о «духѣ народномъ», вмѣсто исторіи, у него выходитъ галлерея портретовъ. Притомъ безъ всякой исторической перспективы и безъ критическаго анализа.

Полевой не забываетъ поразить едва ли не самый слабый пунктъ карамзинскаго творенія, — превратное чувство любви къ отечеству. У патріотически-настроеннаго, но не мыслящаго историка, даже варвары являются облагороженными, чрезвычайно доблестными, мудрыми, даже художественно-развитыми, только потому, что Рюрикъ, Святославъ—*русскіе* князья.

У Карамзина нѣтъ ни малѣйшаго представленія объ исторической связи событій, и критикъ, между прочимъ, приводитъ весьма любопытный примѣръ подобнаго же близорукаго историческаго смысла. «Даже въ наше время,—говоритъ онъ,—повѣствуя о французской революціи, развѣ не полагали, что философы развратили Францію, французы, по природѣ вѣтренники, одурѣли отъ чада философіи и вспыхнула революція».

Это «наше время», благодаря историкамъ, въ родѣ Тэна, не сошло со сцены до послѣднихъ дней и, конечно, историческій смыслъ Карамзина долженъ былъ потерпѣть совершенный разгромъ предъ столь простой, но, повидимому, чрезвычайно трудно осуществимой точкой зрѣнія. Естественно, Полевой считаетъ возможнымъ «на каждую главу» исторіи Карамзина написать «огромное опроверженіе, посильнѣе замѣчаній г. Арцыбашева».

Статья не многословная, но поразившая славу Карамзина во всѣхъ существенныхъ источникахъ ея свѣта, патріотическаго чувства и историческаго таланта и разума.

Немедленно поднялась буря. «Идолопоклонники» инстинктивно должны были почувствовать въ Полевомъ несравненно болѣе сильнаго врага, чѣмъ во всѣхъ другихъ зоилахъ Карамзина. Самая сдержанность тона, энергичныя похвалы сообщали особенно рѣзкую соль исторически-сравнительной оцѣнкѣ значенія Карамзина. И во главѣ оскорбленныхъ оказались первостепенные представители современной литературы.

Пушкинъ написалъ рядъ статей объ *Исторіи русскаго народа* и раньше Бѣлинскаго отмѣтилъ будто преднамѣренное совпаденіе *критики и творчества.* Полевой, казалось, за тѣмъ уничтожалъ Карамзина-историка, чтобы самому стать на его мѣсто. Поэтъ говорилъ сдержанно и въ литературномъ тонѣ. Онъ негодовалъ

на *Вѣстникъ Европы* и *Московскій Вѣстникъ*, на статьи Надеждина и Погодина, на «непростительнѣйшее забвеніе обязанности» критика. Но, очевидно, Пушкинъ, вдохновившійся именно *Исторіей* Карамзина въ *Борисѣ Годуновѣ*, не могъ простить Полевому посягательства на геній исторіографа.

Кн. Вяземскій поступилъ гораздо энергичнѣе: отказался отъ сотрудничества въ *Телеграфѣ*, прервалъ даже личныя отношенія съ издателемъ и составилъ о немъ самое удручающее мнѣніе, какъ литераторѣ. Полевой, будто бы, «родоначальникъ литературныхъ наѣздниковъ, какихъ-то кондотьери, низвергателей законныхъ литературныхъ властей. Онъ изъ первыхъ пріучилъ публику смотрѣть равнодушно, а иногда и съ удовольствіемъ, какъ кидаютъ грязью въ имена, освященныя славою и общимъ уваженіемъ, какъ, напримѣръ, въ имена Карамзина, Жуковскаго, Дмитріева, Пушкина» [213]).

Негодовалъ и третій корифей современной литературы — Жуковскій. Такимъ подвигомъ оказалось довольно скромное и безусловно справедливое сужденіе о нѣкоей «литературной власти!». Полевой, ограничившись статьей, въ сущности не отступилъ отъ своихъ прежнихъ чувствъ къ Карамзину, за исключеніемъ развѣ только нѣкоторыхъ неосторожныхъ раннихъ похвалъ *Телеграфа* фактической вѣрности карамзинской *Исторіи*. Весь вопросъ сводился къ исторически-относительной оцѣнкѣ Карамзина и ея-то не желали признать ни идолопоклонники, ни даже такіе журнальные бойцы, какимъ съ гордостью заявлялъ себя кн. Вяземскій.

Естественно, у Полевого заговорила желчь и обида. Съ этихъ поръ Карамзинъ становится для него своего рода кошмаромъ. Помимо двойного текста къ *Исторіи русскаго народа*, *Телеграфъ* безпрестанно метаетъ камни въ огородъ исторіографа и его неразумныхъ почитателей.

До какой степени чувства Полевого были возбуждены нападками на его безусловно искреннюю и литературную попытку опредѣлить мѣсто Карамзина въ русской литературѣ, показываетъ удивительная статья *Телеграфа* о двухъ обозрѣніяхъ русской словесности въ «Денницѣ» и «Сѣверныхъ цвѣтахъ». Статья имѣла въ виду Кирѣевскаго и Сомова, но не упустила и вопроса pro domo sua.

Статья упоминаетъ о злополучной критикѣ *Телеграфа* на Ка-

---

[213]) Полное собр. сочиненій кн. Вяз., 1884 года, IX, 211.

рамзина и заявляетъ: «Авторъ сего разбора, въ качествѣ человѣка, могъ ошибиться, но, какъ гражданинъ и писатель, исполнилъ свой долгъ безукоризненно».

И въ доказательство слѣдуетъ ссылка на иностраннаго критика, во всемъ согласнаго съ русскимъ [214]).

Иностранцы и позже оказываютъ услугу «Телеграфу». Напримѣръ, Брокгаузъ понизилъ цѣны на нѣкоторыя книги, и въ числѣ ихъ оказался нѣмецкій переводъ *Исторіи* Карамзина. Книги эти уступались *за полцѣны*. «Видно, что худо покупаютъ ихъ въ Германіи» [215]).

Въ статьяхъ о разныхъ писателяхъ Полевой не пропускаетъ случая указать на неразумный патріотизмъ Карамзина, на его поверхностное французское отношеніе къ Шекспиру, Канту, Гёте и даже на утомительность его искусственно-красиваго стиля [216]).

Все это несомнѣнные отголоски скорѣе личныхъ настроеній, чѣмъ настоятельной необходимости—добивать величіе Карамзина. Но, соглашаясь съ Бѣлинскимъ касательно патетическаго происхожденія отзывовъ Полевого объ исторіографѣ въ эпоху *Исторіи русскаго народа*, мы не должны упускать изъ виду цѣлесообразности и въ общемъ полной основательности критики Полевого. Онъ, даже и въ порывѣ сильныхъ чувствъ, приносилъ несомнѣнную пользу здравому смыслу и критической правдѣ, не оставляя въ покоѣ лжей и наивностей своего соперника. Полевой, при всемъ полемическомъ азартѣ, именно по отношенію къ карамзинской исторической школѣ, выполнялъ долгъ гражданина и писателя гораздо «безукоризненнѣе», чѣмъ его жертва со всѣмъ своимъ краснорѣчіемъ и національной гордостью.

Тѣмъ же путемъ шелъ Полевой и въ другихъ общественно-литературныхъ вопросахъ своего времени.

LIII.

Мы отчасти знакомы съ демократическими тенденціями Полевого: они—основной символъ его идейной вѣры. *Телеграфъ* въ русской печати явился первымъ органомъ третьяго сословія, т. е. интеллигенціи, разночинцевъ, всего просвѣщеннаго изъ низшихъ сословій въ противоположность *свѣту* и *баричамъ*. Полевой съ

---

[214]) XXXI, 214.

[215]) XXXVIII, 289.

[216]) Въ статьяхъ о Державинѣ, Жуковскомъ, *Очерки*, I, 78, 104, 140.

гордостью заявлялъ о своемъ происхожденіи изъ купеческаго званія и не остановился предъ самыми презрительными выходками по адресу *боярскихъ дѣтокъ*.

Эти взгляды находились въ совершенно логической связи съ принципами Полевого въ литературной критикѣ. Тамъ *Телеграфъ* неустанно защищалъ талантъ противъ привилегій, т. е. учености, здѣсь—личность противъ правъ рожденія и положенія. Одна и та же идея личной свободы и личнаго достоинства водила перомъ публициста и эстетика.

Орестъ Сомовъ, при всемъ своемъ романтизмѣ, былъ поклонникомъ свѣта и его вліяній на искусство; кн. Вяземскій, при всей своей публицистической воинственности, также не прочь былъ сдѣлать набѣгъ на несвѣтскихъ литераторовъ. *Телеграфъ* достойно отвѣтилъ тому и другому.

«Большой свѣтъ,—заявлялъ журналъ,—никогда не былъ разсадникомъ дарованій, а, напротивъ, много разъ убивалъ самыя счастливыя надежды». И примѣровъ приводится длинный рядъ—все писателей изъ демократической среды и демократическаго развитія таланта. Особенно эффектно сопоставленіе Шекспира съ его покровителемъ, графомъ Соутгамптономъ, и дальше сравненіе литературныхъ вкусовъ людей знатныхъ и народа.

«Они всегда смотрѣли и будутъ смотрѣть на литераторовъ, какъ на ремесленниковъ, болѣе ихъ искусныхъ въ своемъ дѣлѣ, но чуждыхъ имъ во всѣхъ отношеніяхъ. Они покупаютъ книгу такъ же, какъ покупаютъ лампу, кресло, рояль, какъ удобство, но не какъ произведеніе безсмертнаго духа».

Совершенно иначе, по наблюденіямъ *Телеграфа*, относятся къ литературѣ «низшіе классы». Для нихъ «литература есть та стихія, которою они сближаются съ человѣчествомъ. Она просвѣтитъ ихъ умъ, образуетъ ихъ чувства и покажетъ имъ обязанности ихъ къ Богу, къ царю, къ отечеству» [217]).

Отсюда горячая защита литературы, какъ «потребности жизни», «невещественнаго капитала» наравнѣ съ «вещественнымъ». Это сопоставленіе, заимствованное Полевымъ изъ иностранной политико-экономической литературы, вызвало смѣхъ у завистниковъ и противниковъ *Телеграфа*, но идея отъ этого не утрачивала ни своего достоинства, ни своего практическаго значенія именно для русскаго общественнаго сознанія.

---

[217]) XXXI, 229.
[218]) XXIII, 241.

Только при одновременномъ и одинаково цвѣтущемъ развитіи *промышленности* и *литературы* «государство является въ полнотѣ народнаго бытія» [219]).

Народъ, какъ основа государственной жизни и литературы, какъ просвѣтительная сила—двѣ могучія стихіи прогресса и благоденствія политическаго общества, *Телеграфъ* поэтому неустанно стоитъ на стражѣ писательскаго достоинства и народнаго просвѣщенія путемъ литературы.

«Сословіе литераторовъ есть одно изъ полезнѣйшихъ въ просвѣщенномъ государствѣ. Оно составляется изъ людей благомыслящихъ, которые съ хорошимъ образованіемъ соединяютъ пламенную любовь къ наукамъ и отважную вражду къ невѣжеству».

Прежде всего къ невѣжеству народа. *Телеграфъ* внушаетъ писателямъ идти съ талантами въ народъ, писать для него. *Телеграфъ* собиралъ свѣдѣнія у книгопродавцевъ, и тѣ охотно замѣнили бы сказки и прочій вздоръ, фабрикуемый для народа, «истинно полезными сочиненіями». И журналъ обращается къ подлежащимъ силамъ съ такимъ возваніемъ:

«Кто изъ литераторовъ захочетъ посвятить себя полезному, но не славному труду: сочиненію для простого народа книгъ, сообразныхъ цѣли ихъ изданія? Пора бы, однакожъ, подумать объ этомъ! Каждый истинный сынъ отечества, конечно, съ большимъ удовольствіемъ увидѣлъ бы появленіе полезной для простого народа книжки, нежели десяти стихотвореній къ Лидѣ, къ Лизѣ, къ Машѣ, къ Сашѣ—этой воды, которая потопляетъ наши альманахи и журналы» [220]).

И снова слѣдуетъ любимое доказательство *Телеграфа*, ссылка на западные культурные порядки. Въ Англіи, напримѣръ, цѣлыя общества для изданія простонародныхъ книгъ. Почему, въ Россіи это дѣло совершенно заброшено? А между тѣмъ народу читать нечего, кромѣ старыхъ и заказныхъ книгопродавческихъ книгъ. И *Телеграфъ* предлагаетъ на первое время воспользоваться календарями для распространенія среди народа положительныхъ знаній и здравыхъ понятій [221])

Полевой оставался вѣренъ себѣ и во «внѣшней политикѣ». Мы знаемъ его недовольство младенческимъ патріотизмомъ Карамзина. Эта тема лежала близко сердцу журналиста. Онъ безпре-

[219]) XXXI, 416.
[220]) XII, 56.
[221]) XIX, 125.

станно возвращается къ ней,—и однажды далъ удивительно мѣткое, ставшее знаменитымъ наименованіе извѣстному сорту «любви къ отечеству».

«Многіе признаютъ за патріотизмъ безусловную похвалу всему, что свое. Тюрго называлъ это *лакейскимъ патріотизмомъ*, *du patriotisme d'antichambre*. У насъ его можно бы назвать *кваснымъ патріотизмомъ*. Я полагаю, что любовь къ отечеству должна быть слѣпа въ пожертвованіяхъ ему, но не въ тщеславномъ самодовольствѣ: въ эту любовь можетъ входить и ненависть» [222]).

Нельзя не замѣтить любопытнаго совпаденія нѣкоторыхъ разсужденій Полевого съ идеями первостепеннаго русскаго гуманиста—просвѣтителя Тургенева. Основной принципъ «внутренней политики» — требованіе отъ интеллигенціи работы на пользу народа—скромной, незамѣтной, менѣе всего героической. Во «внѣшней политикѣ»—страстная любовь къ славѣ отечества и жгучая ненависть ко всему, что безславитъ его, приснопамятное потугинское чувство любви и вражды къ родинѣ.

Полевой на каждомъ шагу будетъ напоминать намъ благороднѣйшіе и культурнѣйшіе завѣты нашей литературы.

Унизивъ квасной патріотизмъ, Полевой возсталъ противъ славянофильскаго ученія о гниломъ Западѣ. Онъ соглашался съ Кирѣевскимъ насчетъ «великаго предназначенія» Россіи, но совершенно не вѣрилъ, будто государства Европы отжили свой вѣкъ: «новый вѣкъ для нихъ только начинается» [223]).

И въ доказательство «Телеграфъ» не уставалъ перечислять успѣхи Европы въ XIX-мъ столѣтіи во всѣхъ областяхъ творчества и мысли. Именно въ тщательномъ изученіи этихъ успѣховъ, въ усвоеніи культурной энергіи европейцевъ Полевой видѣлъ задачу русскаго просвѣщенія.

Отсюда безпримѣрное усердіе *Телеграфа* сообщать публикѣ литературныя и ученыя новости Европы. Нѣтъ рѣшительно ни одной литературы, какой бы *Телеграфъ* не коснулся, ни одного знаменитаго европейскаго имени въ наукѣ первой четверти XIX-го вѣка, не упомянутаго журналомъ Полевого.

Этотъ «самоучка» приходилъ въ страстное негодованіе на русскую ученую косность и умственную безжизненность. И негодова-

---

[222]) XV, 232.
[223]) XXXI, 230—1.
[224]) XXVI, 438—9.

ніе оказывалось вполнѣ праведнымъ, Полевому приходилось высказывать такіе упреки:

«Равнодушіе русскихъ литераторовъ и ученыхъ людей непостижимо. Твореніе Нибура будто и не существуетъ для нихъ. Ни въ одной русской книгѣ не увидите и слѣда, что автору или переводчику знакомъ Нибуръ. У насъ переводятъ нѣмецкую дрянь прошлаго вѣка, подъ именемъ *исторій, географій, юридическихъ книгъ*, — и въ голову не придутъ переводчикамъ ни Нибуръ, ни Риттеръ, ни Савиньи. Мы все еще твердимъ о Ролленѣ, Шрекѣ, Аренвилѣ, Гуго Гроціи и въ Клюберѣ думаемъ видѣть великаго человѣка» [225]).

И *Телеграфъ* имѣлъ право гордиться, что онъ познакомилъ русскую публику съ Нибуромъ, Савиньи.

Но Полевой отнюдь не былъ слѣпымъ поклонникомъ европейскихъ авторитетовъ. Напримѣръ, онъ признавалъ полное невѣжество иностранцевъ относительно Россіи и въ *Телеграфѣ* появлялись убійственныя статьи противъ западныхъ путешественниковъ, изучавшихъ Россію въ гостиныхъ или изъ коляски. Особенно доставалось французамъ—за ихъ національное самодовольство, «площадный патріотизмъ», и дѣйствительно, расовое невѣжество въ культурѣ и нравахъ другихъ народовъ [226]). Вообще,— «галломанія» одинъ изъ спеціальныхъ враговъ *Телеграфа* и онъ настаиваетъ на необходимости учиться русскимъ у англичанъ — практическимъ свѣдѣніямъ, наукѣ, общественности, у нѣмцевъ — философіи, литературѣ, а поэзію англійскую журналъ даже и не осмѣливался сравнивать съ французской [227]). Только Кузэнъ стоялъ для *Телеграфа* внѣ критики, и нѣкоторыя произведенія Виктора Гюго.

Но для насъ особенно любопытна полемика *Телеграфа* въ области политической экономіи съ Ж. Б. Сэемъ. Журналъ противъ неограниченной свободы торговли, потому что всякое государство рано или поздно должно развить собственныя производства во всѣхъ областяхъ промышленности.

Государствъ исключительно земледѣльческихъ или промышленныхъ нѣтъ. «Время, въ которое государство довольствуется земледѣліемъ, показываетъ, что сіе государство ниже другихъ по своему

[225]) Сочиненіе Савиньи *Geschichte des römischen Rechts in Mittelalter*, изложено *Телеграфомъ* подробно, томъ XXVIII.

[226]) XV, 231; XXII, 144.

[227]) XV, 237, XX, 252.

образованію гражданскому». И *Телеграфъ* смѣло перечислялъ рядъ производствъ, дѣйствительно позже развившихся въ Россіи,—например, свекловичный сахаръ, и рисовалъ для Россіи будущее всесторонней промышленной дѣятельности. Только она, по мнѣнію журнала, ведетъ къ богатству и просвѣщенію [228]). Статьи по экономическимъ вопросамъ писались въ *Телеграфѣ* очень горячо и популярно: издатель, можетъ быть по своей прежней коммерческой дѣятельности, чувствовалъ себя сильнымъ въ этой области. Во всякомъ случаѣ, политическая экономія открывала издателю запретный путь вообще въ политику и лишній разъ доказывала находчивость и энергію Полевого.

Естественно, *Телеграфъ* стоялъ за самое тѣсное сближеніе русскихъ съ родственнымъ племенемъ, поляками. Въ журналѣ усердно писались статьи о Мицкевичѣ, неизмѣнно восторженныя и проникнутыя горячимъ желаніемъ сближенія двухъ народовъ.

Телеграфъ горько сѣтовалъ на незнакомство русскихъ съ польской литературой и языкомъ, ставилъ журналамъ польскимъ и русскимъ въ обязанность «изготовить предварительныя мѣры семейнаго сближенія» и создать обоюдную пользу для словесностей русской и польской. Полевой открываетъ даже постоянный отдѣлъ *Новости польской литературы* [229]). И здѣсь на сценѣ все та же культурность идей и гуманность стремленій.

И все это разнообразіе предметовъ являлось отнюдь не результатомъ одной практической бойкости издателя. Полевой успѣвалъ серьезно учиться и набирать множество свѣдѣній по всѣмъ предметамъ общепросвѣтительнаго характера. Въ критикѣ на историческія сочиненія онъ обнаруживалъ поразительную эрудицію и библіографическія познанія настоящаго ученаго [230]). Литературныя статьи, часто написанныя наскоро и при полномъ отсутствіи разработки матеріала въ этой области, оказывали большія услуги даже спеціалистамъ ученымъ.

Фактъ въ высшей степени краснорѣчивый и онъ засвидѣтельствованъ академикомъ Я. К. Гротомъ.

«Я сталъ читать Державина,—пишетъ Гротъ—по смирдинскому изданію тридцатыхъ годовъ, съ помощью отдѣльныхъ къ нему объясненій, напечатанныхъ Остолоповымъ и Львовымъ. При

---

[228]) XXIII, 243.

[229]) Статьи о Мицкевичѣ, XIV, 192; XXV, 233; XXIX, 3, etc.

[230]) Напр., ст. о сочиненіяхъ Берха, Бергмана и Сумарокова. *Очерки* II, 98.

этомъ позволю себѣ небольшое отступленіе, чтобы отдать справедливость слишкомъ забытому нынче писателю, въ свое время принесшему великую пользу литературѣ, именно *Полевому*. Его критическія статьи о русскихъ авторахъ, помѣщавшіяся сначала въ *Московскомъ Телеграфѣ*, а потомъ составившія книгу *Очерки русской литературы*, при всемъ несовершенствѣ своемъ съ точки зрѣнія ученыхъ требованій, имѣли, однакожъ, очень благотворное дѣйствіе, распространяя въ обществѣ историко-литературныя знанія и возбуждая любознательныхъ къ дальнѣйшимъ занятіямъ. Ему былъ я обязанъ первымъ моимъ знакомствомъ съ названными двумя комментаріями къ Державину» [231]).

Способности Полевого шли дальше, чѣмъ распространеніе свѣдѣній и понятій въ литературной исторіи. «Самъ онъ не былъ ученымъ,—говоритъ современный ученый,—но умѣлъ понять всю важность новыхъ изслѣдованій». Полевой, не въ примѣръ заграничнымъ и отечественнымъ ученымъ въ родѣ Каченовскаго, оцѣнилъ литературно-археологическія изслѣдованія Калайдовича [232]).

Подобные факты можно бы умножить, и они свидѣтельствуютъ о совершенно исключительномъ явленіи въ исторіи русской періодической печати, не только временъ Карамзиныхъ и Каченовскихъ, но и позднѣйшей эпохи. Неустанная страсть издателя къ самообразованію, по истинѣ ненасытная жажда знанія—живого, практически-дѣйствительнаго, и поразительное искусство пріобщать къ своему умственному капиталу обширную публику. Еще вчера подписчики журналовъ угощались или идиллическими стишками чаще всего на самомъ дикомъ піитическомъ нарѣчіи, или уличной перебранкой ученыхъ и критиковъ, нерѣдко далеко оставлявшей за собой схватку мольеровскихъ педантовъ, или изслѣдованіями о куньихъ мордкахъ и словесныхъ теоріяхъ, одинаково требовавшими перевода на общедоступный языкъ.

Самымъ литературнымъ и отраднымъ явленіемъ приходилось считать диссертаціи шеллингіанцевъ. Но философы слишкомъ рѣдко спускались на землю и возвышенныя идеи осуществляли на оцѣнкѣ современной художественной дѣйствительности. Шеллингіанство посѣяло много плодотворныхъ, преобразовательныхъ сѣмянъ въ эстетикѣ, но оказалось безсильнымъ одушевить ее публицистической энергіей и буднично-настоятельными идеалами.

---

[231]) У Сухомлинова. *О. с.*, стр. 368.

[232]) Пыпинъ, *Меценаты и ученые Александровскаго времени*, Вѣстн. Европы 1888, V, 720.

Публика по достоинству оцѣнила и педантовъ, и фаустовъ: тѣ умирали естественной смертью отъ худосочія и маразма, эти тщетно усиливались дотянуть до своихъ высотъ толпу.

Явился Полевой, и картина мгновенно измѣнилась.

Журналистъ заговорилъ простой обыденной рѣчью, но о вещахъ важныхъ и поучительныхъ. Идея ни на минуту не утрачивала своего достоинства, и выигрывала въ доступности и простотѣ. Успѣхъ *Телеграфа* быстро доказалъ цѣлесообразность такой политики, и фактъ засвидѣтельствованъ со стороны, соперникомъ и конкуррентомъ.

Среди воинственнаго натиска на *Телеграфъ* со стороны его собратій, *Отечественныя Записки* Свиньина писали о врагахъ московскаго журналиста:

«Что бы они ни дѣлали, какъ ни напрягались, а публика сама видитъ ревность издателя *Телеграфа* ознакомить Россію съ ходомъ наукъ и словесности европейской; публика давно признала журналъ сей лучшимъ литературнымъ журналомъ, великодушно прощаетъ ему нѣкоторую небрежность въ переводахъ, нѣкоторую рѣшительность, рѣзкость въ приговорахъ и сужденіяхъ, искупаемыя, впрочемъ, благонамѣренностью цѣли и слишкомъ, можетъ быть, пламенною любовью къ истинѣ и совершенству, и вопреки гонителей и подражателей подписка на *Телеграфъ* увеличивается ежегодно».

Братъ Полевого приводитъ цифры, показывающія изумительный ростъ популярности *Телеграфа*. Первое изданіе, не много меньше тысячи, разошлось до выхода второй книжки, третью книжку пришлось печатать почти въ двойномъ количествѣ экземпляровъ и доходъ издателя съ каждымъ годомъ увеличивался [233]).

Успѣхъ ободрялъ издателя на дальнѣйшее расширеніе и совершенствованіе дѣла, но тотъ же успѣхъ собиралъ все больше тучъ надъ головой удачливаго журналиста и гроза должна была разразиться надъ *Телеграфомъ* въ полный разгаръ его блеска и жизни.

LIV.

Полевой не намѣренъ былъ ограничиться однимъ изданіемъ и его мечты росли одновременно съ популярностью *Телеграфа*. Уже черезъ два года съ половиной онъ задумываетъ газету *Компасъ*

---

233) Кс. Полевой, 112, ср. Колюпановъ, I (2), 554.

и ученый журналъ *Энциклопедическія лѣтописи отечественной и иностранной литературъ*. Въ іюлѣ 1827 года въ московскій цензурный комитетъ былъ представленъ планъ этихъ изданій.

Издатель свидѣтельствовалъ о серьезныхъ успѣхахъ *Телеграфа* въ такой средѣ, какъ ученыя общества и иностранная журналистика. Эти успѣхи обязываютъ издателя «распространить полезную цѣль» журнала, но его размѣры—непреодолимое препятствіе. Приходится откладывать множество дѣльныхъ и любопытныхъ статей. А между тѣмъ издателю желательно «составить полное обозрѣніе современнаго просвѣщенія и настоящія лѣтописи современной исторіи».

Съ этою цѣлью предлагается газета, выходящая по два раза въ недѣлю, и трехъ-мѣсячный журналъ «совершенно ученаго содержанія». Газета должна имѣть два отдѣла — политическій и литературный.

Цензура не находила препятствій удовлетворить ходатайство Полевого, считала только необходимымъ запросить министра народнаго просвѣщенія, въ коего вѣдомствѣ состояла цензура, насчетъ политическихъ извѣстій и статей о театрѣ. Министръ касательно политики, въ свою очередь, направилъ вопросъ въ министерство иностранныхъ дѣлъ, но сужденія о театральныхъ пьесахъ и объ игрѣ актеровъ — запретилъ безъ всякихъ справокъ. Все прочее Полевому разрѣшалось.

Но пока велось дѣло, шефъ жандармовъ Бенкендорфъ получилъ три обвинительныхъ акта противъ *Московскаго Телеграфа* и дальнѣйшихъ намѣреній его издателя.

Въ запискахъ указывалось на крайнюю опасность политической газеты: она даже своимъ *молчаніемъ* можетъ «волновать умы и посѣвать неблагопріятныя ощущенія въ читателяхъ». Потомъ вообще «духъ» *Телеграфа* «есть оппозиція», уже потому, что Полевой принадлежитъ къ среднему сословію, а это сословіе «всегда болѣе наклонно къ нововведеніямъ», а потомъ самая Москва вообще центръ неблагонамѣренныхъ мыслей и поступковъ писателей. Тамъ отъ временъ Новикова до послѣднихъ дней печатаются всѣ запрещенныя и вредныя книги, тамъ и о политикѣ судятъ по своему, не соображаясь съ петербургскими внушеніями. Авторы записокъ обнаруживали рѣдкостный талантъ читать между строкъ. Естественно, Полевой уличался въ примѣшиваніи политики къ рецензіямъ о поэзіи, обвинялся въ «самомъ явномъ карбонаризмѣ» и всѣ москвичи, «замѣченные въ якобинизмѣ», сотрудники *Теле-*

графа. Авторы, оказывается, подробно знали личныя знакомства этихъ опасныхъ людей, съ кѣмъ кто «водится» и подкрѣпляли свои домыслы напоминаніемъ о декабрьской исторіи. Сочувственные намеки на декабристовъ добровольцы открывали въ *Телеграфѣ* повсюду и даже кн. Вяземскій попалъ въ авторы «катехизиса декабристовъ», за стихотвореніе *Негодованіе*.

Цѣль была вполнѣ достигнута. Полевой на верху нашелъ единственнаго защитника—И. С. Мордвинова, но защита не принесла никакой пользы. Петербургскіе литераторы и многіе москвичи, по свидѣтельству очевидца, торжествовали побѣду. Полевой не только получилъ отказъ въ своихъ ходатайствахъ, но съ тѣхъ поръ на него обратили особенное вниманіе и ему приходилось теперь дѣйствовать подъ сугубымъ наблюденіемъ.

Неудача не испугала журналиста.

Въ 1831 году онъ является съ новымъ проектомъ расширенія программы и объема *Телеграфа* путемъ приложеній. Программа заканчивалась торжественнымъ изъявленіемъ благонадежности—религіозной и политической. Императоръ Николай не согласился съ этими завѣреніями и на докладѣ министра написалъ: «Не дозволять, ибо и нынѣ ничуть не благонадежнѣе прежняго».

Рѣшеніе состоялось въ ноябрѣ 1831 года, и вскорѣ министромъ народнаго просвѣщенія явился Уваровъ, злѣйшій врагъ *Телеграфа* и его издателя. Новый министръ немедленно представилъ государю докладъ о запрещеніи *Телеграфа*, государь отказалъ; черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣдовало второе ходатайство министра, и на этотъ разъ онъ былъ удовлетворенъ.

Что̀ побуждало Уварова къ столь энергическимъ дѣйствіямъ?

Ксенофонтъ Полевой вражду министра къ *Телеграфу* объясняетъ неодобрительными отзывами журнала объ академическихъ изданіяхъ. Но этого обстоятельства врядъ ли было бы достаточно для гоненій министра на журналъ. Уваровъ, несомнѣнно, гораздо важнѣе считалъ «неблагонамѣренность» Полевого касательно другихъ дѣйствій правительства,—не академическихъ изданій. А потомъ, ему не давали покоя все тѣ же добровольцы.

Уваровъ, какъ глава цензурнаго вѣдомства, безпрестанно получалъ жалобы на распущенность цензуры. Самолюбіе начальника, естественно, уязвлялось и онъ принялся собирать матеріалы, подтверждающіе жалобы [234]).

---

[234]) По словамъ Пушкина, эту работу велъ Бруновъ, по совѣту Блудова Сочин., V, 204.—Исторія запрещенія «Телеграфа» у Сухомлинова. *О. с.*

Въ результатѣ составилась толстая тетрадь изъ выписокъ за все время изданія *Телеграфа* [235]).

Это въ высшей степени любопытный и содержательный документъ. Начинается онъ съ идей Полевого о назначеніи журнала и журналиста: журналъ долженъ имѣть въ себѣ *душу*, т. е. цѣль, а журналистъ, являться *колонновожатымъ*. Это, по мнѣнію составителя обвинительнаго акта, означало возвѣщать о необходимости преобразованій и восхвалять революцію. Въ подтвержденіе приводился отзывъ *Телеграфа* о французской революціи, какъ фактѣ *европейскомъ* и *необходимомъ*, презрительное мнѣніе о «большомъ свѣтѣ» старой Франціи.

Тотъ же революціонный характеръ приписывался и демократическимъ взглядамъ Полевого. Приводились дѣйствительно эффектныя мѣста изъ статей *Телеграфа*, напримѣръ, о торжествѣ «чернаго человѣка», купца и раба надъ «феодалистомъ» при помощи «*уравнительнаго ядра*». Эти слова подчеркивались обвинителемъ. Слѣдовали дальше цитаты и насчетъ «могущественнаго и сильнаго средняго сословія» Россіи, въ Москвѣ, и особенно такое стремительное заявленіе: «Первый печатный листъ былъ уже прокламація побѣды просвѣщенныхъ *разночинцевъ* надъ *невѣждами-дворянчиками*. Латы распались въ прахъ».

Удостоилась отмѣтки и слѣдующая программа общественной литературной дѣятельности: «Мы должны помогать правительству, *создавая* русскую промышленность, *русское воспитаніе*, *русскую* литературу, словомъ, *внутреннее образованіе*».

Актъ былъ готовъ, составъ преступленія опредѣленъ, требовался только поводъ къ процессу. Полевой создалъ его—рецензіей на драму Кукольника *Рука Всевышняго отечество спасла*.

Драма съ перваго представленія попала въ разрядъ высокооффиціозныхъ поэтическихъ произведеній. Патріотизмъ автора одобрилъ государь, избранная публика наполняла театръ, сомнѣваться въ достоинствахъ пьесы — значило не признавать русской славы и обнаруживать духъ возмущенія.

Полевой въ Москвѣ, не зная подробностей объ этихъ тріумфахъ драмы, написалъ статью, безусловно неодобрительную и даже ядовитую, пріѣхалъ въ Петербургъ, увидѣлъ собственными глазами и услышалъ отъ другихъ «вліятельныхъ особъ», какому риску подвергалась его чисто-литературная критика, немедленно по-

---

[235]) Напечатана у Сухомлинова.

слалъ въ Москву распоряженіе вырѣзать статью. Но распоряженіе пришло поздно, успѣли уничтожить статью только въ нѣсколькихъ экземплярахъ...

Драма признавалась крайне неудачнымъ произведеніемъ, по обилію отступленій отъ исторической истины, по мелодраматическимъ эффектамъ, она «печалила» критика въ то время, когда ея восторгъ былъ признанъ обязательнымъ для всякаго истиннаго патріота.

Гроза назрѣла и разразилась.

Никитенко, въ дневникѣ подъ 5 апрѣля 1834 года, даетъ любопытныя подробности. Государь хотѣлъ сначала очень строго поступить съ Полевымъ, но потомъ призналъ вину правительства въ долготерпѣніи и ограничился запрещеніемъ изданія.

Фактъ вызвалъ «сильные толки». «Одни горько сѣтуютъ, что единственный хорошій журналъ у насъ уже не существуетъ. По дѣломъ ему, говорили другіе, онъ осмѣливался бранить Карамзина. Онъ даже не пощадилъ моего романа. Онъ либералъ, якобинецъ—извѣстное дѣло».

Уваровъ въ разговорѣ съ Никитенко точнѣе опредѣлилъ политическую программу *Телеграфа*: это—органъ декабристовъ.

При всей важности оффиціозныхъ воззрѣній на дѣятельность Полевого и настроеній публики, для насъ еще поучительнѣе впечатлѣніе первостепенныхъ современныхъ литераторовъ. Вопросъ шелъ не только о безпримѣрно вліятельномъ органѣ печати, но и о самой участи русскаго писателя, его положеніи предъ обществомъ и властью.

Былъ ли понятъ лучшими современниками этотъ вопросъ во всемъ его дѣйствительномъ значеніи?

LV.

Мы знаемъ, какую помощь могъ оказать политическимъ обвинителямъ Полевого проф. Надеждинъ. До такой роли не могли снизойти ни Пушкинъ, ни кн. Вяземскій, но именно они привѣтствовали бѣду Полевого.

По какимъ соображеніямъ и подъ давленіемъ какихъ чувствъ?

О кн. Вяземскомъ вопросъ несложенъ: послѣ извѣстной намъ исторіи по поводу Карамзина, мы не можемъ удивляться знакомому намъ негодованію князя на непозволительную смѣлость и вольность *Телеграфа* въ критическихъ пріемахъ.

Князь жалѣетъ, что противъ *Телеграфа* пришлось употребить «усиленную мѣру». Журналъ просто слѣдовало раньше держать въ предѣлахъ цензуры и «онъ упалъ бы самъ собою».

«Все достоинство *Телеграфа* въ глазахъ многихъ,—говоритъ князь,—было его francparler, въ хвостъ и въ голову. Цензура, дѣйствуя на него, какъ на прочихъ, показала бы ничтожество его, ибо онъ бралъ не талантомъ, а грудью. Запрещеніемъ онъ въ глазахъ многихъ дѣлается жертвою, и во всякомъ случаѣ заплатившіе подписчики его становятся жертвами. Теперь я полагаю, что онъ молитъ Бога, чтобы запретили *Исторію* его: это было бы лучшее средство для него поквитаться съ публикою».

Чувства автора этихъ строкъ вполнѣ опредѣленны, но основанія не вполнѣ ясны и совершенно недоказательны. Вопросъ объ издательской лояльности Полевого долженъ бы остаться постороннимъ при сужденіяхъ о катастрофѣ, поразившей журналиста. Оцѣнка талантливости Полевого не зависитъ отъ настроеній его личныхъ недруговъ, но вотъ относительно «груди» кн. Вяземскій обмолвился вѣрнымъ словомъ, неожиданно лестнымъ для своей жертвы.

Полевой дѣйствительно] умѣлъ при случаѣ постоять за себя передъ цензурой — дерзость, немыслимая для его журнальныхъ совмѣстниковъ.

Поучительна, напримѣръ, исторія съ статьей *Утро у знатнаго барина князя Беззубова*. Цензура усмотрѣла въ ней намекъ на московскаго сановника, кн. Юсупова. Цензоръ Глинка потребовалъ нѣкоторыхъ передѣлокъ въ статьѣ; Полевой отвѣчалъ, что онъ не намѣренъ исключать ни одной буквы, и цензоръ пропустилъ статью [236]).

Это дѣйствительно значило стоять грудью за свое дѣло... Но сужденія кн. Вяземскаго до такой степени очевидный результатъ извѣстныхъ настроеній, что они характерны скорѣе для судьи, чѣмъ для подсудимаго.

Сложнѣе вопросъ съ Пушкинымъ.

Поэтъ сообщаетъ въ своемъ дневникѣ прежде всего о радости Жуковскаго запрещенію *Телеграфа*. Но прекраснодушный поэтъ въ то же время жалѣетъ о фактѣ. Пушкинъ думаетъ иначе. «*Телеграфъ* достоинъ былъ участи своей. Мудрено съ большей наглостью проповѣдывать якобинизмъ передъ носомъ правительства. Но Полевой былъ баловень полиціи. Онъ умѣлъ увѣрить ее, что его либерализмъ пустая только маска».

---

[236]) Барсуковъ, III, 21.

Это очень сильно и именно противъ либерализма.

Источникъ намъ извѣстенъ. Пушкинъ, какъ публицистъ, не могъ выносить демократическихъ выходокъ Полевого. Его идеалъ складывался въ совершенно противоположномъ направленіи, чѣмъ гимны Полевого среднему сословію, купцу, черному человѣку.

Пушкинъ желалъ въ дворянствѣ видѣть высшую общественную силу, возлагалъ на него историческое назначеніе—быть представителемъ народныхъ нуждъ и народнаго просвѣщенія. Отсюда—идея сословной независимости дворянства и отрицательная критика всѣхъ мѣропріятій правительства, подрывавшихъ привилегированное положеніе родоваго дворянства. Петръ I, конечно, стоялъ во главѣ этой «революціи», слилъ въ своей личности Наполеона и Робеспьера [237]).

Въ основѣ всѣхъ этихъ крайне смѣлыхъ и вдохновенныхъ соображеній лежала политическая мечта, близко напоминающая философію реакціонныхъ идеологовъ начала XIX-го вѣка—Деместра и Бональда.

Они также вожделѣли о дворянствѣ, какъ независимой основѣ государственнаго строя, фантазировали о «патриціатѣ», нигдѣ никогда не существовавшемъ и безусловно невозможномъ въ дѣйствительности, о патриціатѣ, свободномъ отъ кастоваго эгоизма и сословныхъ предразсудковъ, патриціатѣ, всецѣло живущемъ идеалами общаго блага и стоящемъ на стражѣ народнаго благоденствія.

Разница между Пушкинымъ и французскими пророками регресса въ искренней заботливости русскаго поэта о крѣпостномъ народѣ. Онъ до идей дворянскаго государственнаго авторитета дошелъ не путемъ тоски по «старому порядку», а руководимый глубокимъ чувствомъ состраданія къ участи жертвъ крѣпостническаго своеволія. Иного способа исцѣлить вѣковую язву Пушкинъ не видѣлъ въ окружающей жизни.

Изъ того же стремленія родилась и программа Пушкина издавать политическую руководящую газету. Но поэтъ скоро испыталъ во всей прелести тернія даже журнальныхъ замысловъ, не только уже осуществленнаго издательства, и на своей судьбѣ могъ убѣдиться, какъ просто было, въ глазахъ полиціи и цензуры тридцатыхъ годовъ, попадать въ якобинцы или, во всякомъ случаѣ, въ люди неблагонадежные и бунтовщики.

---

[237]) Ср. Анненковъ. *Общественные идеалы А. С. Пушкина. Воспоминанія и критическіе очерки*, отдѣлъ третій. Спб., 1881.

Намъ теперь ясна основная *идейная* причина негодованія Пушкина на Полевого и радость по случаю гибели *Телеграфа*. Оказывалось столкновеніе двухъ непримиримыхъ политическихъ міросозерцаній, и намъ излишне пускаться въ объясненія, какому изъ нихъ принадлежало будущее и какое, слѣдовательно, обнаруживало въ авторѣ болѣе глубокій практическій смыслъ.

Пушкинъ долго не забывалъ «востренькаго сидѣльца», какъ врага «боярскихъ дѣтокъ», и безумно запальчиваго демократическаго и либеральнаго агитатора. Въ статьѣ о Радищевѣ, написанной въ 1836 году, Пушкинъ совершенно порываетъ съ своими юношескими чувствами къ автору *Путешествія изъ Петербурга въ Москву*. Тринадцать лѣтъ назадъ онъ жестоко укорялъ Марлинскаго за то, что онъ забылъ въ обзорѣ русской словесности Радищева. Тотъ же грѣхъ допустилъ и Гречъ въ «Опытѣ исторіи русской литературы».

«Кого же мы будемъ помнить?—спрашиваетъ Пушкинъ.—Это молчаніе непростительно ни тебѣ, ни Гречу: я отъ тебя его не ожидалъ» [238]).

Теперь Радищевъ просто крайне неискусный подражатель французскихъ философовъ XVIII вѣка.

Пушкину особенно не нравится у Радищева «слѣпое пристрастіе къ новизнѣ» и недостатокъ опыта и свѣдѣній. Дальше читаемъ:

«Отымите у него честность, — въ остаткѣ будетъ Полевой. Онъ какъ будто старается раздражить верховную власть своимъ горькимъ злорѣчіемъ: не лучше ли было бы указать на благо, которое она въ состояніи сотворить? Онъ поноситъ власть господъ, какъ явное беззаконіе: не лучше ли было представить правительству и умнымъ помѣщикамъ способы къ постепенному улучшенію состоянія крестьянъ?»

Въ такомъ духѣ долго продолжаетъ Пушкинъ. Онъ недоволенъ и войной Радищева съ цензурой: слѣдовало просто «публиковать о правилахъ, коими долженъ руководствоваться законодатель»..

Смыслъ этихъ поправокъ ясенъ. Пушкинъ искренне воображалъ, что Радищева или кого-либо другого изъ литераторовъ допустили бы дѣлать указанія верховной власти и сочинять проекты касательно основныхъ государственныхъ вопросовъ. Почему же тогда для самого Пушкина эта цѣль оказалась запретной, при всѣхъ красно-

---

[238]) *Сочиненія*, VIII, 50.

рѣчивыхъ свидѣтельствахъ поэта о своемъ укрощенномъ духѣ и облагихъ намѣреніяхъ служить правительству талантомъ писателя?

Очевидно, вся критика Пушкина, направленная и противъ Радищева, и противъ Полевого, явилась результатомъ совершенно естественныхъ запросовъ къ литературѣ по части зрѣлости сужденій и основательности свѣдѣній. Но только эти запросы были столь же не ко двору и могли привести къ не менѣе печальнымъ практическимъ результатамъ, чѣмъ, по мнѣнію Пушкина, безцѣльная и безразсудная запальчивость Полевого.

А между тѣмъ, эта запальчивость въ сущности обманъ зрѣнія. Полевой просто обладалъ несравненно болѣе живымъ публицистическимъ талантомъ, чѣмъ современные ему журналисты. Бойкости пера было не мало и въ статьяхъ Булгарина и Сенковскаго, но цѣли этихъ журналистовъ отъ начала до конца оставались такими мелкими, часто пошлыми, что рядомъ съ дѣятельностью подобныхъ журналистовъ дѣйствительно общественно-просвѣтительная публицистика Полевого рѣзко бросалась въ глаза. Все несчастье *Телеграфа* заключалось именно въ неуклонномъ стремленіи жить насущными запросами современности и по мѣрѣ силъ рѣшать ихъ независимо отъ оффиціальныхъ внушеній и усмотрѣній.

Полевой первый изъ русскихъ издателей додумался до идеи руководящаго *общественнаго* органа, первый возмечталъ въ талантѣ журналиста явить практическую силу и въ русскомъ обществѣ открыть самостоятельныя идейныя теченія. Уже такое представленіе о назначеніи журналиста и періодической печати ставитъ Полевого на недосягаемую высоту сравнительно съ Каченовскими, Надеждиными, Гречами и даже съ критиками-философами. Потому что издатель *Телеграфа* не только мечталъ, но умѣлъ и осуществлять свои мечтанія. Съ его имени русская періодическая печать должна начинать свою исторію общественныхъ идеаловъ и общественнаго просвѣщенія. А именно этой исторіи принадлежитъ самое отдаленное будущее, и Бѣлинскій, отмѣчая именемъ Полевого эпоху въ развитіи русскаго самосознанія, отдалъ законную честь своему непосредственному предшественнику и истинному учителю.

Конецъ II-й части.

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

Политическая роль французскаго театра въ связи съ философіей XVIII-го вѣка. Москва. 1895 г. Цѣна 3 руб. 50 коп.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ. Жизнь. — Личность. — Творчество. С.-Петербургъ. 1896 г. Цѣна 2 руб.

Шекспиръ. С.-Петербургъ. 1896 г. Цѣна 25 коп.

Писемскій. С.-Петербургъ. 1897 г. Цѣна 1 руб.

Учитель взрослыхъ и другъ дѣтей. (Бичеръ-Стоу). Москва. 1898 г. Цѣна 30 коп.

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

Политическая роль французскаго театра въ связи съ философіей XVIII-го вѣка. Москва. 1895 г. Цѣна 3 руб. 50 коп.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ. Жизнь. — Личность. — Творчество. С.-Петербургъ. 1896 г. Цѣна 2 руб.

Шекспиръ. С.-Петербургъ. 1896 г. Цѣна 25 коп.

Писемскій. С.-Петербургъ. 1897 г. Цѣна 1 руб.

Учитель взрослыхъ и другъ дѣтей. (Бичеръ-Стоу). Москва. 1898 г. Цѣна 30 коп.

Цѣна 2 р., съ перес. 2 р. 25 к.

Ив. Ивановъ.

Исторія русской критики.

ЧАСТИ ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ.

Изданіе журнала „МІРЪ БОЖІЙ“.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).
1900.

Ив. Ивановъ.

ИСТОРІЯ РУССКОЙ КРИТИКИ.

ЧАСТИ ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ.

Изданіе журнала „МІРЪ БОЖІЙ“.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).
1900.

СОДЕРЖАНІЕ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

СТРАН.

Общій взглядъ на смыслъ культурнаго движенія новаго времени . . 1

II.

Общая характеристика русскаго литературнаго движенія въ первой половинѣ XIX-го вѣка 7

III—VI.

Московскій Наблюдатель. Критическая дѣятельность пушкинскаго кружка. *Современникъ* 15

VII.

Появленіе на литературную сцену Бѣлинскаго 39

VIII—XXXII.

Эпоха Бѣлинскаго 46

XXXIII—XLIV.

Славянофильство и западничество 213

XLV—L.

Послѣдній періодъ дѣятельности Бѣлинскаго. Майковъ. Культурное и нравственное значеніе личности и дѣятельности Бѣлинскаго въ исторіи русскаго общественнаго развитія 292

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

I—IV.

Общій характеръ историческаго періода по смерти Бѣлинскаго . . . 335

V—VII.

Положеніе литературы въ концѣ сороковыхъ годовъ и вліяніе его на передовыхъ представителей русской мысли и науки 366

СТРАН.

VIII—XIII.

Журналы и критики реакціонной и библіографическо-фельетонной эпохи 385

XIV—XX.

Молодое поколѣніе славянофиловъ.—Григорьевъ.—Алмазовъ.—Эдельсонъ 427

XXI.

Предвѣстники и будущіе дѣятели преобразовательной эпохи 473

XXII—XXIII.

Начало царствованія Александра II. — Возрожденіе литературы и общественной мысли.—Роль славянофиловъ 479

XXIV—XXV.

Катковъ 493

XXVI.

Общій характеръ движенія и дѣятелей шестидесятыхъ годовъ . . . 508

XXVII—XXXI.

Старшее поколѣніе шестидесятниковъ.—Философская и критическая дѣятельность Чернышевскаго 514

XXXII—XXXVII.

Личность, идеи и судьба Добролюбова 550

XXXVIII—XLI.

Общій характеръ второго періода шестидесятыхъ годовъ.—Психологія нигилизма и младшаго поколѣнія шестидесятниковъ.— Отношеніе *шестидесятниковъ-дѣтей* къ *шестидесятникамъ-отцамъ* и къ Бѣлинскому. 597

XLII—LI.

Писаревъ какъ личность и какъ писатель.—Его сподвижники и враги. 623

LII.

Соціально-экономическія идеи *Русскаго Слова* 638

LIII—LIV.

Литературная и публицистическая борьба съ нигилизмомъ 694

LV.

Итоги литературной критики и публицистики шестидесятыхъ годовъ.—Общій взглядъ на историческія судьбы русской критики и ея будущее 719

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

Девятнадцатый вѣкъ, возставая противъ критической, преимущественно отрицательной мысли предъидущей эпохи, усвоилъ ея самое существенное и цѣнное наслѣдство—идею прогресса. Сенъ-симонисты, съ особенной страстью ополчившіеся противъ «вольтерьянскаго духа» и созидавшіе зданіе новаго порядка и новой вѣры, во главу угла положили законъ прогрессивнаго развитія человѣчества и этимъ основнымъ принципомъ своей религіи и церкви пытались объяснить прошлое и логически вывести изъ него будущее міровой цивилизаціи. Они воспользовались обильными трудами просвѣтителей, шедшихъ въ борьбу противъ стараго государства и стараго общества также съ непоколебимой увѣренностью въ поступательномъ, ничѣмъ не отвратимомъ движеніи человѣческаго разума.

Не мало въ высшей степени тяжелыхъ испытаній и препятствій предстояло преодолѣть этой вѣрѣ.

Исторія на всемъ своемъ пространствѣ отнюдь не представляла идиллической картины. Это было прекрасно извѣстно людямъ XVIII вѣка. Не даромъ именно среди нихъ явились обожатели «естественнаго состоянія», ожесточенные ненавистники цивилизаціи и даже «гражданскаго состоянія». Мы встрѣтимъ сколько угодно пессимистическихъ изліяній на счетъ судебъ человѣчества у философовъ и поэтовъ. Гиббонъ, одинъ изъ самыхъ яркихъ сыновъ своего времени, нарисуетъ удручающую перспективу историческаго прошлаго. Это «списокъ преступленій, безразсудствъ и бѣдствій человѣческаго рода». Величайшіе герои на политической сценѣ весьма часто то же самое, что злодѣи въ частной жизни...

Другой писатель эпохи, одновременно поэтъ и одинъ изъ самыхъ раннихъ философовъ исторіи, романтически-вдохновенный и глубоко-

ученый Гердеръ, передавалъ современникамъ результаты своихъ изслѣдованій въ самой грустной формѣ:

«Земля—добыча насилія. Ея исторія—печальная картина охоты людей другъ за другомъ. Малѣйшая перемѣна въ рабскомъ состояніи человѣчества сопровождается кровью и слезами угнетенныхъ. Славнѣйшія имена принадлежатъ убійцамъ народовъ, деспотамъ, эгоистамъ»...

И вотъ, на глазахъ этихъ людей, даже при помощи ихъ самихъ, выросла идея, наложившая сильную и оригинальную печать на всю литературу и на личные характеры ея талантливѣйшихъ представителей.

Они не отступили предъ тьмой, окутывавшей прошлое человѣчества и таившей невѣдомое, можетъ быть, столь же зловѣщее будущее. Они отважно принялись изучать списокъ преступленій и безразсудствъ и прочитали въ немъ смыслъ, не скрывающій ни іоты правды и дѣйствительности и въ то же время исполненный надеждъ.

Да, заблужденій люди пережили неисчислимое множество, переживаютъ ихъ и до послѣднихъ дней. Но не въ заблужденіяхъ нашъ предѣлъ. Они не болѣе, какъ тѣ покрывала, какія природа даетъ вновь возникающимъ растеніямъ. Съ теченіемъ времени покровы вянутъ и отпадаютъ, замѣняются новыми, пока стволъ не увѣнчается короной цвѣтовъ и плодовъ. Этотъ процессъ—точный символъ медленно, но неуклонно развивающейся истины.

Страсти, не менѣе заблужденій, властны надъ людьми. Онѣ часто вызывали страшные кровавые перевороты, устремляли честолюбцевъ на разгромъ цѣлыхъ націй, и именно въ этой бурѣ рождались и крѣпли новыя идеи, и человѣческій разумъ собиралъ для себя новую пищу. Страсти «мятежныя и опасныя становятся источникомъ движенія и, слѣдовательно, прогресса». Все, что мѣняетъ сцену дѣйствія и положеніе дѣйствующихъ лицъ, расширяетъ кругъ идей. Столкновеніе добра и зла увеличиваетъ опытность и развиваетъ силы добрыхъ и утверждаетъ самое понятіе блага. Ни одна историческая перемѣна не совершается безъ пользы и человѣчество нерѣдко собираетъ первые плоды разума и нравственной энергіи на полѣ вчерашней битвы [1]).

Еще энергичнѣе защищалъ цѣлесообразность заблужденій и страстей отнюдь не лирическій авторъ. Кантъ всякій шагъ куль-

---

[1]) Turgot. *Sur les progrès successifs de l'esprit humain. Oeuvres.* Paris. 1808, II.

туры считалъ неразлучнымъ съ проявленіемъ особаго свойства человѣческой природы—*Ungeselligkeit*, неприспособленности отдѣльной личности къ условіямъ даннаго общества. Именно личная страсть, все равно какой угодно нравственной цѣнности, создаетъ антагонизмъ общества и отдѣльнаго человѣка. Изъ борьбы постепенно возникаетъ закономѣрный порядокъ—высшій и болѣе прогрессивный. А борьба, въ свою очередь, вызываетъ къ жизни таланты и совершенствуетъ ихъ среди опасностей и испытаній. Нѣтъ, слѣдовательно, ни одного бѣдствія безъ положительнаго вклада въ общій капиталъ цивилизаціи [2]).

И это убѣжденіе оставалось не только отвлеченной идеей, а живѣйшимъ нравственнымъ чувствомъ дѣятелей просвѣщенія. Оно помогло кенигсбергскому отшельнику проникнуть въ смыслъ событій революціи и за грозными, часто отталкивающими, фактами разглядѣть культурное зерно, обильное безсмертными міровыми плодами. Даже больше. То же самое убѣжденіе спасло мужество Кондорсе въ минуту насильственной смерти и философъ закрылъ глаза, не переставая восторженной мыслью созерцать необозримо-величественную даль человѣческаго совершенствованія.

Такія настроенія не умираютъ вмѣстѣ съ людьми и вѣра просвѣтителей перешла къ поколѣніямъ, готовымъ отречься отъ многихъ цѣлей отцовъ, но твердо сохранившимъ источникъ ихъ воинственныхъ критическихъ замысловъ и неисчерпаемаго идейнаго энтузіазма.

Борьба,—вотъ господствующій девизъ новѣйшей философіи исторіи. Не ложь, не гоненія на правду и истину опасны для прогресса, а застой, отсутствіе умственной жизни, усыпленіе мысли. Это величайшее изъ всѣхъ золъ. «Дайте намъ,—восклицаетъ Бокль,—парадоксъ, дайте намъ заблужденіе, дайте все, что вамъ угодно, но только спасите насъ отъ застоя. Онъ холодный духъ рутины, окутывающій тьмой нашу природу. Онъ пятнаетъ людей подобно ржавчинѣ, притупляетъ ихъ способности, заставляетъ увядать ихъ силы, дѣлаетъ ихъ неспособными, даже убиваетъ у нихъ желаніе бороться за истину или просто опредѣлить предметъ своихъ дѣйствительныхъ вѣрованій» [3]).

Эта истина подтверждается ежедневнымъ опытомъ. Она точно

---

[2]) Kant. *Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Abricht.* Werke. Leipzig. 1838, t. VII.

[3]) Buckle. *Mill on Liberty. Essays.* Leipzig, 1867, 93—94.

опредѣляетъ смыслъ отдѣльныхъ историческихъ эпохъ и значені личностей. Оно должно быть измѣряемо не столько обиліемъ истинъ доступныхъ данному человѣку, не столько широтой его ума и куль турностью его воззрѣній, сколько способностью вызвать движені во имя истины и ради воззрѣній. Совершеннѣйшій и изящнѣйші умъ можетъ остаться мертвымъ капиталомъ и тунеяднымъ эгои стическимъ явленіемъ, разъ онъ не выйдетъ на арену общих интересовъ и взаимныхъ столкновеній съ другими, менѣе совер шенными духовными организаціями. Весь смыслъ человѣческихъ способностей въ жизнедѣятельности, а не во внутреннемъ отрѣ шенномъ совершенствованіи. Отсюда—немощное самоуслаждені такъ называемыхъ избранныхъ аристократическихъ натуръ, ощу щающихъ мучительную оторопь при одной мысли объ окрыто встрѣчѣ съ противникомъ. Отсюда положительное преимуществ не столь привилегированныхъ талантовъ и не столь тонкихъ мы слителей и эстетиковъ, но исполненныхъ практическаго мужеств и не таящихъ отъ свѣта своей *Ungeselligkeit.*

Исторія знаетъ не одну эпоху, когда изящество и культур ность общества достигали высшаго предѣла, когда цивилизація казалось, истощала всѣ свои силы на отдѣлку просвѣщеннѣйших любителей мысли и творчества, и это именно были времена за стоя и ржавчины. За ними слѣдовало увяданіе культуры и т варварство, какое итальянскій философъ Вико ставилъ въ конці мертвенной эгоистической цивилизаціи. И вина лежала въ мер твенности, въ принципіальной апатіи, въ нравственной немощ людей, утратившихъ инстинктъ движенія и борьбы.

Приложите этотъ принципъ къ какому угодно явленію ил дѣятелю и вы получите безошибочную культурно-историческу оцѣнку. Факты и люди естественнымъ путемъ размѣстятся вт вашемъ приговорѣ. Вамъ не потребуется прибѣгать къ тяжелому искусу, ежеминутно стоять на стражѣ пристрастій и ошибокъ свидѣтелей прошлаго, считаться съ ихъ личными, часто неволь ными извращеніями чужихъ заслугъ и характеровъ.

Одного вопроса не можетъ ни скрыть, ни извратить какой угодно пристрастный свидѣтель. Напротивъ. Именно его пристра стіе сообщитъ особенно рѣзкую окраску спорному предмету,—и температура гнѣвнаго или ненавистническаго чувства создаст блестящее освѣщеніе самой цѣнной черты въ унижаемой личности: ея способности вызывать сильныя чувства у свидѣтелей ея дѣя тельности.

Пусть эта дѣятельность будетъ управляться ложными принципами, но только *принципами*, пусть она граничитъ даже съ фанатизмомъ, но только во имя *убѣжденій*, и за извѣстнымъ именемъ останется почетное мѣсто въ памяти потомства. Недаромъ, даже Платонъ, измышлявшій на склонѣ лѣтъ всевозможныя кары за «ереси», преклонился предъ *искренностью* заблужденій и не призналъ ихъ преступленіями. Истина, такая ясная и подлинная, какой требуетъ, напримѣръ, Саладинъ отъ Натана, вѣчно манящая, но врядъ ли достижимая цѣль для нашихъ силъ. Единственное неопровержимое назначеніе человѣчества—исканіе истины, и на этомъ неограниченномъ поприщѣ должно быть мѣсто всякому уму и всякому знанію. Терпимость—естественный необходимый результатъ основныхъ законовъ нашего нравственнаго міра, логическое слѣдствіе несовершенства нашихъ способностей, столь же логическое, какъ и принципъ открытой борьбы во имя того, что данному уму въ данную минуту представляется истиной.

Мы, поэтому, въ своей исторіи не произносили и не будемъ произносить приговоровъ по статьямъ какого бы то ни было партійнаго уложенія, и еще менѣе могли допустить судъ надъ дѣлами и дѣятелями прошлаго по современнымъ представленіямъ въ области общественныхъ идеаловъ. Мы лично могли сочувствовать усиліямъ писателя въ одномъ опредѣленномъ — для насъ дорогомъ—направленіи, но это сочувствіе не помѣшало бы намъ оцѣнить *прогрессивныя* заслуги и его враговъ, т. е. его искренность и талантливость идейной борьбы, хотя бы даже за то, что намъ кажется заблужденіемъ. Мы ни на минуту не забывали, что и наша современная истина—со временемъ—можетъ оказаться заблужденіемъ и тогда бы исторію пришлось превратить въ нескончаемый рядъ уголовныхъ протоколовъ и взаимныхъ безпощадныхъ каръ одного поколѣнія другимъ.

Нѣтъ. Мы производимъ не слѣдствіе, стремимся не къ побѣдоносному сопоставленію нашихъ истинъ съ чужими ошибками, а желаемъ представить поучительнѣйшую школу независимаго развитія мысли и рыцарскаго труженичества во имя ея. Предъ нами нѣтъ ни героя, ни жертвъ, только во имя большей или меньшей правильности воззрѣній и цѣлесообразности дѣйствій. Истинный героизмъ не въ способности усвоить болѣе жизненныя и, слѣдовательно, болѣе благодарныя для защиты идеи, и еще менѣе въ практическомъ успѣхѣ, а въ способности вообще вѣровать и разсчитываться съ другими за свою вѣру.

Нерѣдко, защитникъ отживающихъ идеаловъ можетъ предстат предъ нами съ гораздо болѣе свѣтлымъ ореоломъ, чѣмъ сторон ники новизны, и наше сочувствіе будетъ завоевано совершенн другими достоинствами героя, чѣмъ самые передовые взгляды— нравственные и общественные. Недаромъ, Донъ-Кихотъ один изъ любимцевъ человѣчества, при всемъ ретроградствѣ цѣлей многихъ инстинктовъ ламанчскаго рыцаря.

И мы помнимъ, единственные невозбранно-законные вѣсы, ка кими располагаетъ историческая Ѳемида, должны быть направ лены не на умъ человѣка, какъ прогрессивнаго мыслителя, не н его сердце, какъ идеальнаго члена семьи и кружка друзей, не н его таланты дѣятеля, а на нѣчто высшее всего этого, на ег *личность*, какъ нравственный типъ, на его *натуру*, какъ еди ничное проявленіе человѣческой природы вообще. И только пр такихъ условіяхъ возможенъ достойный судъ, потому что онъ бу детъ основанъ на единственно прочныхъ данныхъ, неизмѣнныхъ по своему нравственному смыслу, во всѣ времена и во всякой средѣ: на глубинѣ и силѣ чувства, одушевлявшаго нашего под судимаго, и на безкорыстіи и мужествѣ, управлявшихъ его жизнью Если вы найдете въ немъ цѣльность, послѣдовательность и ис кренность натуры, вы отведете ему мѣсто въ роскошнѣйшемъ пантеонѣ человѣчества. Если нѣтъ, васъ не подкупятъ личныя обаятельныя качества Деместра, не ослѣпятъ звучныя риѳмы Гейне не закружитъ сказочное счастье Наполеона. Вы не послѣдуете за какими угодно совершенными авторитетами исторіи и эстетики, полными умиленія предъ семейной корреспонденціей автора *С.-Петербургскихъ вечеровъ*, восторгами надъ «пѣснями» автора парижскихъ писемъ. Вы не забудете гимновъ политика палачу и деспотизму ради нѣжныхъ словъ отца и шутовскихъ издѣвательствъ надъ нравственнымъ достоинствомъ человѣка и гражданина ради острыхъ каламбуровъ любовника.

Въ нашей исторіи до сихъ поръ мы встрѣчали только смутные и отрывочные намеки на подлинную исторически-безсмертную духовную силу. Предъ нами не прошло ни одной личности, одинаково искренней въ убѣжденіяхъ и отважной въ дѣлахъ. Русская жизнь не дала русской литературѣ ни одного героя— не въ смыслѣ талантливости и ума, а въ смыслѣ цѣльной натуры, гармоническаго нравственнаго міра писателя-борца. Только въ концѣ вѣкового движенія русской литературы явился журналистъ съ несомнѣнными задатками идейнаго бойца. Не продолжительнымъ ока-

зался его путь и далеко не выдержанными остались его дѣла. Полевой умеръ преждевременной авторской смертью и не донесъ до могилы лавровъ своей молодости.

Но эти лавры не были случайностью. Они неразрывно сплетались съ рѣдкими, но жизненными побѣгами такой же молодой энергіи среди раннихъ поколѣній и разрослись въ роскошный вѣнецъ гражданской славы у преемниковъ.

Именно этому не всегда глубокому, но ни при какихъ условіяхъ не умиравшему живому теченію русская критика обязана своими успѣхами. Какъ бы подчасъ ни казались мелочны боевыя схватки русскихъ журналистовъ, какимъ бы кошмаромъ ихъ ни угнеталъ авторитетъ иноземныхъ учителей, сколько бы средостѣній ни воздвигала отечественная дѣйствительность между идеями и явленіями, писателемъ и публикой, мы все время не теряемъ изъ виду проблесковъ подлиннаго прогресса и — русской мысли и русской жизни, потому что намъ не перестаютъ говорить объ *убѣжденіяхъ* и не отступаютъ предъ посильной *борьбой* за нихъ. Въ этихъ фактахъ заключалось все будущее русскаго культурнаго развитія и историкъ долженъ лелѣять ихъ, какъ лучи разсѣянной истины, какъ достовѣрнѣйшіе показатели жизнеспособности національнаго генія и національной гражданственности.

II.

Мы знаемъ, съ какой стремительностью Полевой спѣшилъ выступить на защиту полемики,—онъ, болѣе всѣхъ терпѣвшій отъ личныхъ навѣтовъ и литературной вражды почти всей современной журналистики! Въ этой защитѣ сказался *инстинктъ* прирожденнаго публициста, и Полевой, можетъ быть, не сознавалъ всего значенія своихъ запальчивыхъ проповѣдей.

А между тѣмъ, онѣ краснорѣчивое эхо приближавшейся, уже наступавшей грозы. Онѣ предвѣщали не полемику, не единоборство ловкихъ «журнальныхъ сыщиковъ» и дерзкихъ спекуляторовъ литературы, а цѣлую бурю неумолкаемаго идейнаго боя — и за вѣчныя основы искусства, и за насущные вопросы повседневной дѣйствительности. На сцену готовился выступить боецъ неукротимой энергіи, весь одушевленный страстной, всепоглощающей вѣрой въ свою истину, все слагающій—и талантъ, и умъ, всю свою природу и все свое личное счастье—предъ единымъ божествомъ—личнымъ убѣжденіемъ писателя и гражданина.

Ему, въ теченіе болѣе вѣка, предшествовали боязливые, будто разорванные голоса, также заявлявшіе объ убѣжденіяхъ и также требовавшіе борьбы. Мы ихъ слышимъ всякій разъ, когда сквозь педантизмъ и рутину пробивался свѣтъ національной стихіи или оригинальнаго ума и таланта. Сумароковъ и Ломоносовъ говорятъ лирическія хвалы родному языку, Мерзляковъ въ лицо аристократическому офранцуженному обществу бросаетъ укоръ въ недостаткѣ патріотизма и въ постыдномъ чужебѣсіи, Крыловъ издѣвается надъ просвѣщенными франтами, предпочитающими парикмахера философу. Это все вѣщія рѣчи, это все натурой воспринятыя убѣжденія и въ результатѣ все это борьба, протестъ, т. е. движеніе и прогрессъ.

И въ какой тьмѣ онъ осуществляется! Предъ нами будто *lucida intervalla*, свѣтлые моменты среди сословныхъ предразсудковъ, цеховой нетерпимости, варварской надменности — язвъ, не чуждыхъ самой литературѣ и наукѣ. Но духъ носится надъ хаосомъ, и, несомнѣнно, изъ хаоса долженъ возникнуть стройный міръ въ процессѣ все той же борьбы, личнаго увлеченія, партійнаго азарта, часто ненависти и злобы. Но пусть разыгрываются какія угодно страсти, лишь бы не млѣла жизнь; онѣ навѣрное вынесутъ на поверхность взбаломученнаго общественнаго моря сѣмена подлинной силы.

Съ такимъ именно чувствомъ выступило новое *философское* поколѣніе на смѣну старикамъ, безпомощнымъ пловцамъ въ родѣ Мерзлякова, изнывавшаго въ безъисходной борьбѣ между личнымъ сочувствіемъ *убѣжденію* и *свободѣ* и стихійно-засасывающимъ болотомъ преданій и авторитетовъ. Теперь больше не будетъ сдѣлокъ человѣческой души со страхомъ іудейскимъ.

Теперь самъ учитель объявитъ молодежи: нѣтъ ни единаго мудреца, не подлежащаго «повѣркѣ общаго ума человѣческаго», нѣтъ безусловнаго воплощеннаго разума, а только «боренье мыслей», и оно единственный путь къ истинѣ.

Великія слова и ихъ однихъ достаточно было бы для вѣчной памяти потомства о профессорѣ Галичѣ. Но учитель желалъ большаго. Онъ требовалъ борьбы за *убѣжденія*. Онъ находилъ, что «безъ убѣжденій жить нельзя». Онъ, слѣдовательно, стремился среди юношества создать религію духа и истины и источникомъ счастья объявлялъ усвоеніе единаго вдохновляющаго философскаго принципа. Мысль сливалась съ чувствомъ и разумъ

съ энтузіазмомъ. Воля дѣйствовать и жить по убѣжденіямъ вытекала изъ необходимости обладать ими.

И явился другой учитель, воплотившій въ своей личности эту гармонію идеи и паѳоса. Впослѣдствіи юные философы будутъ прямо объявлять «холоднаго человѣка»—«подлецомъ»: онъ «не можетъ быть хорошимъ человѣкомъ» [4]). Это представленіе могло быть почерпнуто изъ лекцій Павлова, не прочитавшаго ни разу «ни одной холодной, ни одной сухой или скучной» лекціи, не утратившаго ни на минуту «воодушевленія» и сообщавшаго его слушателямъ.

Естественно, ученики пойдутъ еще дальше. «Мысль развивается въ борьбѣ»,—девизъ молодыхъ шеллингіанцевъ, мысль—душа литературы, а литература—служба родинѣ и народному просвѣщенію. Это вполнѣ логическая цѣпь положеній, и какимъ восторгомъ звучатъ рѣчи начинающихъ писателей при одной мысли, что лѣтъ черезъ двадцать они, послѣ честной гражданской работы, соберутся вмѣстѣ и взаимно отдадутъ отчетъ въ своихъ дѣлахъ. А «въ свои свидѣтели каждый будетъ призывать просвѣщеніе Россіи. Какая минута!» [5]).

И вы думаете, имъ нужна непремѣнно громкая слава, рукоплесканія многочисленной публики. Нѣтъ! У кого жизнь сливается съ убѣжденіемъ, тому путь къ осуществленію идей безразличенъ, усѣятъ ли его розы или покроютъ терніи. Послѣдніе, пожалуй, еще желательнѣе: цѣль въ глазахъ энтузіазта возвысится до священнаго призванія именно благодаря препятствіямъ и испытаніямъ. А для утѣшенія ему достаточно увѣренности, что гдѣ-то, въ неизвѣстной дали есть другъ-читатель, какой-нибудь бѣднякъ на четвертомъ этажѣ, «скромно одѣтый» провинціалъ или даже мечтательная любительница поэзіи.

Да, всѣ эти цѣнители творчества и сочувственники философовъ и художниковъ безпрестанно проходятъ въ юномъ воображеніи нашихъ идеалистовъ, и если писателю приходится встрѣтить свою мечту воплощенной—онъ счастливъ, его грудь переполняется отвагой на дальнѣйшій путь.

Одинъ изъ такихъ счастливцевъ такъ изображалъ своему другу свои первыя писательскія впечатлѣнія:

---

[4]) Слова Станкевича: *Н. В. Станкевичъ*. Анненковъ. *Воспоминанія и критическія очерки*. Спб. 1881. III, 290.

[5]) Письмо И. В. Кирѣевскаго къ И. А. Кошелеву. *Сочиненія*. I, 12—13.

«Если бы ты зналъ, какъ весело быть писателемъ! Я написалъ одну статью, говоря по совѣсти, довольно плохо, и если бы могъ, уничтожилъ бы ее теперь. Но, не смотря на то, эта одна плохая статья доставила мнѣ минуты неоцѣненныя. Кромѣ многаго другого скажу только одно. Есть въ Москвѣ одна дѣвушка, прекрасная, умная, любезная, которую я не знаю и которая меня отъ роду не видывала. Тутъ еще нѣтъ ничего особенно пріятнаго, но дѣло въ томъ, что у этой дѣвушки есть альбомъ, куда она пишетъ все, что ей нравится, и, вообрази, подлѣ стиховъ Пушкина, Жуковскаго и пр., списано больше половины моей статьи. Что она нашла въ ней такого трогательнаго, я не знаю; но, не смотря на то, это одно можетъ заставить писать, если бы даже въ самой работѣ и не заключалось лучшей награды» [6]).

Такъ мало требовали молодые писатели отъ славы! Очевидно, въ самой работѣ заключалось утѣшеніе, стоявшее выше популярности и публичнаго шума. На него трудно было разсчитывать, когда приходилось создавать еще публику для новой литературы и вчерашнихъ читателей *Бѣдной Лизы* и *Свѣтланы* преобразовывать въ мыслителей. Писательство выходило борьбой въ силу историческаго порядка вещей, и въ этой борьбѣ таилась несказанная притягательная сила для юныхъ дѣятелей.

Какая пропасть легла между ними и еще не сошедшими со сцены учителями и общепризнанными талантами! Карамзинъ, наверху славы, не желаетъ защищать дѣла всей своей жизни, сторонится отъ литературнаго спора, возникшаго по поводу его же произведеній, онъ соглашается уступить настоятельнымъ просьбамъ пріятеля, пишетъ полемическую статью, но, вмѣсто печати, бросаетъ ее въ огонь... Вотъ краснорѣчивѣйшій образчикъ умственной косности и эпикурейскаго литераторства! Я буду говорить умильныя и красныя рѣчи въ гостиной, чеканить поразительно художественныя фразы и измышлять неуловимо тонкія чувства въ своемъ кабинетѣ, но да сохранятъ меня силы небесныя отъ публичнаго ратоборства за эти рѣчи и чувства! Я брезгливо отвернусь отъ улицы и литературнаго «толкучаго рынка». Именно такъ на моемъ салонномъ нарѣчіи будетъ именоваться сцена какой бы то ни было журнальной публицистики,—и я не стану отвѣчать «ни на одну критику», лишь бы не запачкать перчатокъ въ газетной пыли. Я буду «жаркимъ спорщикомъ въ своемъ кругу»

---

[6]) Кирѣевскій. *О. с.* I, 16—17.

но что дѣлается и говорится внѣ его, меня не можетъ ни волновать, ни даже интересовать [1]).

Съ такими мыслями старые русскіе писатели совершали свое величественное шествіе! Подъ стать Карамзину и другой великій авторитетъ аристократической словесности, Жуковскій. Прекрасная душа романтика также не выносила борьбы и онъ готовъ былъ возсылать хвалу «жизнедавцу Зевесу» во всякую минуту своего бытія. Кротость, равновѣсіе духа, «полнѣйшая тишина и покорность судьбѣ», во всемъ этомъ «высшая мудрость» и, слѣдовательно, возможное человѣческое счастье.

Эти настроенія по существу не дѣятельны и не прогрессивны. Благо русской литературы, что она рядомъ съ «мирными пастырями» создала писателей совершенно другого закала, и у карамзинской школы и у романтизма нашлись борцы и защитники. Иначе рости бы невозбранно плевеламъ классицизма. Именно рѣшимость спуститься до «толкучаго рынка» должна отвести въ исторіи даже и слабѣйшимъ литературнымъ талантамъ не менѣе почетное мѣсто, чѣмъ кроткимъ созерцательнымъ геніямъ.

Съ теченіемъ времени становятся все рѣже младенчески-невозмутимыя души въ жанрѣ Жуковскаго и слащавые самодовольные эгоисты въ стилѣ Карамзина. Все тѣснѣе ограничивается та священная вершина горы, откуда литераторы-собраты тусклыми очами обозрѣвали бурное житейское море. Олимпъ смертныхъ постепенно вымираетъ и гибнетъ въ преданіяхъ старины, подобно художественному Олимпу боговъ. Уже философы жаждутъ борьбы, для романтиковъ весь смыслъ въ движеніи, въ воинственныхъ вызовахъ прошлому и въ страстной защитѣ будущаго. Философы будутъ вести свои безконечные споры сравнительно мирно и терпимо, какъ и подобаетъ ученикамъ германскаго «любомудрія». Они немедленно намѣтятъ чрезвычайно возвышенныя цѣли, но именно благодаря отдаленности цѣлей отъ дѣйствительности, философы могутъ оберечь себя отъ излишней запальчивости. У кого стремленія граничатъ съ небомъ, тотъ можетъ, сравнительно, спокойно проходить мимо будничныхъ мелочей.

У него не будетъ недостатка въ энтузіазмѣ, въ нравственной энергіи, въ глубокой искренней вѣрѣ, но самыя свойства задачи

---

[1]) Сочувственная характеристика Карамзинскаго отношенія къ литературной полемикѣ у кн. Вяземскаго, въ статьѣ о *Ревизорѣ*. *Современникъ*. 1836, II, стр. 289.

неминуемо съузятъ кругъ его практическихъ дѣйствій. Только самыхъ избранныхъ можетъ захватить интересъ къ абсолюту и тождеству и только нарочито подготовленные умы могутъ принять участіе въ многотрудномъ путешествіи къ таинствамъ высшаго созерцанія.

Естественно, философы остаются гораздо болѣе принципіальными борцами, чѣмъ подлинными преобразователями дѣйствительности. Ими владѣетъ *идея*—борьбой развивать мысль, но они, по личнымъ организаціямъ и по намѣченнымъ идеаламъ, далеки отъ осуществленія этой идеи. Они благонамѣреннѣйшіе учители и неприспособленные дѣлатели жизни. Они окажутъ незамѣнимыя услуги въ теоретическомъ ниспроверженіи идейнаго рабства и ученаго педантизма. Они нанесутъ первые и жесточайшіе удары профессорской эстетикѣ и рядомъ съ университетской аудиторіей создадутъ свою свободную, оригинальную, просвѣтительную въ истинномъ смыслѣ слова.

Но эта аудиторія также останется привилегированной обителью науки и мысли. У нея также будутъ свои жрецы и свои «оглашенные». Это также общество вѣрующихъ и посвященныхъ, отдѣленное отъ большинства смертныхъ грозными средостѣніями малодоступныхъ философскихъ истинъ и эстетическихъ идеаловъ. Здѣсь провозгласятъ великій принципъ: «мысль развивается въ борьбѣ», но показать наглядно это развитіе, оправдать принципъ всенародно, а не только на глазахъ «своего круга», придется другимъ. Это будутъ менѣе философы и болѣе литераторы. Они поймутъ и литературу, какъ одну изъ отраслей жизненной, практически цѣлесообразной дѣятельности. Даровитѣйшій поэтъ молодого поколѣнія рѣшится назвать писаніе стиховъ ремесломъ, дающимъ ему средства къ существованію, критики на тѣ же стихи посмотрятъ, какъ на службу обществу и примѣнять къ нимъ всѣ тѣ же нравственные запросы, по какимъ оцѣниваются общественные дѣятели.

И вспомните, съ какой послѣдовательностью эти запросы становятся все опредѣленнѣе и настойчивѣе!

Сначала мы слышимъ о безполезности поэта, способнаго «наслаждаться въ собственномъ своемъ мірѣ» и, слѣдовательно, «уклоняться отъ цѣли всеобщаго совершенствованія». Поэту рекомендуются живые интересы человѣчества, вниманіе къ *общему* уму и *общему* чувству. Это большой успѣхъ сравнительно съ созерцательной кротостью пастырей, но это слишкомъ неопредѣленная за-

дача и крайне обширная программа. Точнаго, для всѣхъ яснаго руководящаго текста пока нѣтъ, потому что идея всеобщаго совершенствованія—понятіе всеобъемлющее, въ него можно вложить какое угодно практическое содержаніе и намѣтить какой угодно путь на будущее.

Необходимо идею расчленить, приблизить ее къ ближайшимъ насущнымъ цѣлямъ современности и предложить формулу по силамъ всякому, у кого только можетъ явиться желаніе выйти изъ «своего міра».

И мы, дѣйствительно, слышимъ о *гражданскомъ* долгѣ поэта. Мысль несравненно болѣе вразумительная, чѣмъ всемірное идеальное реформаторство. Поэтъ—гражданинъ своего отечества и сама дѣйствительность укажетъ ему его назначеніе, если онъ только отнесется къ ней съ искренней и всесторонней вдумчивостью. Очевидно, и принципъ борьбы принимаетъ другую форму. Борьба неизбѣжно усвоитъ популярный и яркій характеръ, потому что предметъ ея захватитъ всѣхъ просвѣщенныхъ людей времени, не только ученыхъ и философовъ, а всякаго, кто одаренъ способностью осмысливать хотя бы только свою личную жизнь. Литература на самомъ дѣлѣ превращается въ одну изъ общественныхъ и даже политическихъ силъ: она разрѣшаетъ вопросы сословныхъ отношеній, всеобщей равноправности предъ закономъ, затрогиваетъ авторитетъ пережитковъ старины и исключительныхъ преимуществъ.

Совершенно послѣдовательно въ литературѣ обнаружится сочувствіе тѣмъ или другимъ фактамъ и направленіямъ современной мысли и практики и, естественно, завязывается споръ между заинтересованными сторонами. Въ спорѣ немедленно обнаружатся два общихъ теченія—консервативное и преобразовательное. И то же самое поколѣніе литераторовъ разовьетъ *гражданскую* идею до ея частныхъ, слѣдовательно, еще болѣе практическихъ выводовъ. Рядомъ съ Рылѣевымъ, искавшимъ въ писателѣ вообще гражданина, явится гражданинъ-*демократъ*—Бестужевъ-Марлинскій, защитникъ средняго сословія, его культурнаго прогресса и историческихъ заслугъ на всѣхъ поприщахъ ума и искусства.

Программа оказывается не только вполнѣ установленной въ смыслѣ общественной роли писателя, но она предписываетъ ему извѣстную партію, ставитъ ближайшую цѣль для его таланта. Рѣчь критика невольно становится энергичной, подчасъ задорной, потому что онъ ежеминутно представляетъ себѣ многочисленныхъ противниковъ своей идеи. Безстрастное и «кроткое» обсужденіе

вопроса немыслимо, потому что за каждымъ словомъ скрывается *фактъ* живой дѣйствительности и каждый выводъ—*убѣжденіе*, не художественный плодъ отрѣшеннаго мышленія, а результатъ непосредственныхъ историческихъ и жизненныхъ внушеній. Теперь писатель дѣйствуетъ думая, и намѣренъ, думая—вызывать дѣйствія—въ дорогомъ для себя направленіи.

Съ этихъ поръ прогрессъ русской мысли и, слѣдовательно, жизни, обезпеченъ. Подготовительный путь законченъ. Принципъ борьбы рѣшенъ безповоротно. Спастись отъ нея будутъ въ состояніи только исключительныя организаціи—умственно-косныя и нравственно-мертворожденныя. Борьба захватитъ впослѣдствіи даже «чистое искусство» и именно среди самыхъ идиллическихъ питомцевъ музъ найдетъ азартнѣйшихъ бойцовъ—за что́, догадаться не трудно. Культъ парнасской красоты тоже, по неотразимому велѣнію времени, превратится въ партію, въ тенденцію и потребуетъ отъ своихъ служителей самыхъ прозаическихъ средствъ защиты и нападенія. «Толкучій рынокъ» не только обезчеститъ эмпирей, но именно здѣсь найдетъ не мало перловъ для своей, менѣе всего эстетической исторіи. Это—судьба сравнительно отдаленнаго будущаго, хотя неразрывно связанная съ боевымъ моментомъ воинствующей литературы.

Мы знаемъ его сильнѣйшаго выразителя. Полевой съ честью принялъ наслѣдство своихъ старшихъ современниковъ и его журналъ явился по преимуществу очагомъ борьбы. Въ этомъ фактѣ незабвенное значеніе *Телеграфа*. Полевой завершилъ предисловіе къ исторіи русскаго прогресса, вписалъ послѣднюю страницу поразительной силы и краснорѣчиваго содержанія. Онъ цѣликомъ воспринялъ не только *общіе* интересы и *гражданскій* долгъ предшественниковъ, онъ съ примѣрной отвагой всталъ на защиту именно прогрессивнаго направленія, онъ безъ колебаній понялъ, какимъ идеаламъ принадлежитъ будущее русскаго общества и неустанно ратовалъ за демократизмъ въ просвѣщеніи и въ общественномъ строѣ. Онъ первый дѣйствительно боролся и вызывалъ борьбу подъ страхомъ несомнѣнныхъ многочисленныхъ опасностей. Онѣ, наконецъ, сломили журналиста, подорвали его энергію и даже принизили его личность. Но лучшее прошлое осталось неизгладимымъ въ сознаніи современниковъ и друзей, и враговъ. Оружіе павшаго изъ рукъ въ руки взялъ еще болѣе сильный боецъ и «старому забіякѣ», такъ называлъ себя Полевой, вскорѣ пришлось привѣтствовать «нашего Орланда». Мало этого. Ему выпало рѣдкое счастье, — въ самомъ

началѣ новой борьбы, услышать отъ новаго героя, исполненнаго стремительной отваги и несокрушимой вѣры въ свои молодыя идеи, признаніе неразрывной нравственной связи между нимъ, юнымъ и начинающимъ, и имъ, утомленнымъ и отошедшимъ въ сторону.

III.

Весной 1835 года бывшій издатель *Телеграфа* получилъ слѣдующее письмо:

«М. г. Николай Алексѣевичъ! Я принимаюсь за изданіе журнала не изъ корыстныхъ видовъ, не изъ дѣтскаго тщеславія, но вмѣстѣ съ тѣмъ и не по сознанію въ своихъ силахъ и въ своемъ назначеніи, а изъ увѣренности, что *теперь* всякій можетъ сдѣлать *что-нибудь*, если имѣетъ хоть искру способности и добра... какъ бы то ни было, но мнѣ было бы пріятно имѣть читателемъ того человѣка, который съ такимъ благороднымъ и безпримѣрнымъ самоотверженіемъ старался водрузить на родной землѣ хоругвь вѣка, который воспиталъ своимъ журналомъ нѣсколько юныхъ поколѣній и сдѣлался вѣчнымъ образцомъ журналиста... Да, мнѣ пріятно и лестно думать, что вы будете иногда, въ рѣдкіе часы вашего досуга, перелистывать книгу, мною составленную, хотя, можетъ быть, для васъ это будетъ ни пріятно, ни лестно... Но ваше вниманіе ко всякому благородному порыву, ваше расположеніе и ласковость къ молодымъ людямъ, сколько-нибудь принимающимъ участіе въ дѣлахъ книжнаго міра, ваша снисходительность къ способности силъ при честныхъ намѣреніяхъ, въ чемъ я имѣлъ удовольствіе увѣриться собственнымъ опытомъ, заставляютъ меня надѣяться, что вы не откажитесь принять моего приношенія».

Прошелъ годъ послѣ прекращенія *Телеграфа*. Полевому, кромѣ того, было запрещено вообще печатать свои статьи и самое имя его не допускалось въ періодической печати. Тѣмъ отраднѣе было получить подобное изъявленіе чувствъ отъ начинающаго автора, уже достаточно засвидѣтельствовавшаго независимость и смѣлость своихъ сужденій. Очевидно, устанавливалась тѣсная историческая и идейная связь между дѣятельностью Полевого и молодого критика. Связь тѣмъ болѣе важная, что имя критика было Бѣлинскій и его дѣятельности предстояло наложить неизгладимую печать на все дальнѣйшее умственное движеніе русскаго общества.

Начало полагалось при самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ. Вмѣстѣ съ *Телеграфомъ* замолкъ единственный убѣжден-

ный публицистическій голосъ. Сцена литературы и журналистики оказалась въ рукахъ уже не дуумвирата, какъ было во времена *Телеграфа*, а гораздо сильнѣйшаго союза—тріумвирата. Въ составъ его входили—тѣ же Гречъ и Булгаринъ, вновь присоединился Сенковскій. Въ ихъ распоряженіи состояло два журнала—*Сынъ Отечества*, *Библіотека для Чтенія* и ежедневная газета *Сѣверная Пчела*. Тонъ давала *Библіотека для Чтенія*, владѣвшая пятью тысячами подписчиковъ и открывшаяся на капиталы и энергію перваго среди современныхъ издателей-книгопродавцевъ—Смирдина.

Современники съ особеннымъ усердіемъ разсказываютъ намъ о появленіи новаго журнала. Наступала будто новая эпоха, готовая подчиниться нѣкоему могучему, до тѣхъ поръ небывалому духу. *Телеграфъ*, при своемъ возникновеніи, не вызвалъ и малой доли сильныхъ чувствъ, сопровождавшихъ первыя книги *Библіотеки*. И очевидцы правы: волненія были вполнѣ основательны, особенно у тѣхъ, кто сколько-нибудь дорожилъ достоинствомъ русской литературы.

Мы знаемъ о результатахъ двоедержавія Булгарина и Греча. Пушкинъ чрезвычайно метко опредѣлялъ положеніе: «Русская литература головою выдана Булгарину и Гречу». Факты указываютъ,—не только одна литература, но и публика. Если критическія статьи Греча внушали оторопь молодымъ читателямъ, статьи Булгарина грозили всевозможными безпокойствами даже Пушкину, извѣстія *Сѣверной Пчелы* стояли подъ охраной власти. Это видно изъ злополучнаго эпизода съ *Литературной Газетой*.

Она позволила себѣ замѣтить, будто сообщенія булгаринской газеты ложны. Бенкендорфъ немедленно довелъ это происшествіе до свѣдѣнія министра народнаго просвѣщенія, главы цензурнаго вѣдомства, и просилъ его поставить на видъ цензору, что свѣдѣнія и статьи въ *Сѣверную Пчелу* сообщаются по «приказанію» его, Бенкендорфа и, слѣдовательно, *Литературная Газета* совершила поступокъ «неприличный», грозящій ослабленіемъ у публики довѣрія къ правительству и нарушеніемъ общественнаго спокойствія... [8]). Въ такую можно было попасть бездну зла только благодаря сомнѣнію въ непогрѣшимости репортерскаго отдѣла въ изданіи Булгарина!

Когда съ друзьями или, какъ ихъ именовала пародія на поэму

---

[8]) Барсуковъ. III, 235.

Пушкина, съ братьями разбойниками[9]), соединился профессоръ Сенковскій, иго превратилось въ невыносимый деспотизмъ, откровенный до циничности и вооруженный соблазнительнѣйшими приманками для публики. Всѣ, кто только былъ причастенъ къ литературѣ и стоялъ внѣ тріумвирата, почувствовалъ себя подъ гнетомъ невыносимой темной силы и въ первый разъ поэты и журналисты заволновались и затолковали объ освобожденіи. До тѣхъ поръ русской литературѣ не приходилось видѣть такого единодушія среди, лично и идейно враждебныхъ другъ другу людей, единодушія во имя общаго отвращенія къ систематическому растлѣнію читательскихъ мыслей и вкусовъ тремя союзными органами.

Прежде всего, впечатлѣнія двухъ первостепенныхъ современныхъ художниковъ. Именно булгаринская монополія давно уже возбуждала у Пушкина желаніе, пуститься въ публицистику и даже въ издательство. Еще до появленія *Библіотеки для Чтенія* онъ не могъ помириться съ мыслью о единовластномъ авторитетѣ *Сѣверной Пчелы* въ политикѣ, и не переставалъ носиться съ мечтой о политической газетѣ[10]). Когда на сцену выступилъ Сенковскій и сразу стяжалъ успѣхъ, мечта о газетѣ превратилась у Пушкина въ настойчивую страсть, пойти на встрѣчу *Библіотекѣ* журналомъ. Гоголь находилъ, что всѣ литераторы оказались «въ дуракахъ», а литература «безъ голоса»[11]). Такія мысли естественны у Пушкина и Гоголя, но даже сама цензура чувствовала ненормальность положенія и готова была съ полнымъ удовольствіемъ разрѣшить изданіе новаго журнала, особенно въ Москвѣ, для противодѣйствія петербургской монополіи[12]).

Именно такія соображенія были высказаны по поводу ходатайства извѣстнаго намъ сослуживца профессора Павлова, шеллингіанца Андросова. Ему безъ всякихъ препятствій былъ разрѣшенъ *Московскій Наблюдатель* и въ новой редакціи вновь сошлись знакомые намъ ученики германскаго любомудрія—Павловъ, Кирѣевскій, Одоевскій.

Журналъ явно былъ разсчитанъ на оппозицію петербургскому

---

[9]) Объ этой пародіи пишетъ Плетневъ въ письмѣ къ Гроту: пародію читалъ Бѣлинскій у Плетнева. *Переписка Я. К. Грота съ П. А. Плетневымъ.* Спб. 1896. II, 25.

[10]) Письмо къ кн. Вяземскому отъ 2-го мая 1830 года. *Сочиненія.* VII, 223—224.

[11]) Письмо къ Погодину. *Письма.* VI, 157.

[12]) Барсуковъ. IV, 231.

тріумвирату. Разрѣшеніе состоялось въ концѣ 1835 года, одновременно Пушкинъ обратился къ Бенкендорфу съ просьбой дозволить ему издавать ежемѣсячный журналъ *Современникъ*. Съ слѣдующаго года журналъ появился. Такимъ образомъ, противъ *Библіотеки* сразу возстало два изданія, одинаково одушевленныя принципіальнымъ стремленіемъ—уничтожить врага.

Аттака въ сущности направлялась преимущественно противъ Сенковскаго. Спеціалистъ по восточнымъ языкамъ, докторъ философіи, онъ, по словамъ цензора Никитенко, былъ «весь сложенъ изъ страстей, которыя кипѣли и бушевали отъ малѣйшаго внѣшняго натиска». Темпераментъ, очевидно, какъ нельзя болѣе приспособленный къ журнальному поприщу. Для кипучихъ страстей Сенковскій избралъ самую доступную и прямую цѣль — успѣхъ журнала какими бы то ни было путями и средствами. Началъ онъ съ приглашенія въ редакторы Греча, слѣдовательно, съ тѣснаго союза съ *Сѣверной Пчелой*, единственной распространенной глашательницы славы. Потомъ слѣдовалъ длиннѣйшій списокъ сотрудниковъ, заключавшій имена и Пушкина, и Гоголя, и Полевого, и Жуковскаго, и Кирѣевскаго, и Одоевскаго, однимъ словомъ, всѣхъ современныхъ знаменитостей. Въ дѣйствительности, Гречъ игралъ роль почетнаго предсѣдателя, а большинство знаменитостей замышляло пойти грудью на новый журналъ. Душою и силой его явился единолично Сенковскій, покрывшій страницы *Библіотеки* разными псевдонимами: барона Брамбеуса, Тютюнджи-Оглу, А. Бѣлкина.

Таланты у профессора оказались самые разносторонніе. Онъ не желалъ знать себѣ равныхъ въ беллетристикѣ, въ критикѣ, въ ученыхъ изслѣдованіяхъ. Мало этого. Онъ не допускалъ, чтобы чужое произведеніе могло появиться въ его журналѣ безъ его исправленій. Онъ принялся передѣлывать, перечерчивать, отрѣзывать концы и придѣлывать другіе—все равно, къ повѣстямъ или статьямъ. Журналъ превратился въ единоличную исповѣдь всемогущаго владыки,—исповѣдь одноцвѣтную и однотонную, но въ высшей степени удобочитаемую, легкокрылую и легкомысленную.

Въ сущности, мысли были заранѣе изгнаны изъ самой программы журнала и, конечно, немедленно предстояло утратить всякій авторитетъ философамъ, столь почитавшимся въ современной литературѣ. Шеллингъ, Гегель объявлены шарлатанами и сумасбродами, окончательно униженъ Велланскій. Это вполнѣ совпадало съ политикой Булгарина. *Сѣверная Пчела* энергично поддер-

живала вылазки Сенковскаго и Булгаринъ напалъ на «новыя слова»—абсолютъ, *субъективъ* и *объективъ*, и даже божился, что все это «галиматья», совершенно неожиданно для самого себя давая вѣрную оцѣнку *объективамъ* и *субъективамъ* собственнаго измышленія.

Но, спускаясь и въ болѣе доступныя области, Сенковскій не обнаруживалъ ни малѣйшихъ признаковъ мышленія. Вся критика барона состояла изъ издѣвательствъ и шутовскихъ выходокъ, разсчитанныхъ, дѣйствительно, на вкусъ «толкучаго рынка» и до послѣдней степени неприхотливаго читателя.

Библіотека, напримѣръ, печатала длинную статью противъ своихъ противниковъ и вся полемическая соль ограничивалась остроумно-преднамѣренным невѣдѣніемъ автора точныхъ названій *Телескопа* и *Московскаго Наблюдателя*. Тому и другому журналу дано множество чрезвычайно забавныхъ наименованій: *Московскій Надзиратель*, *Соглядатай*, *Назидатель*, *Набиратель*, *Темноскопъ*, *Каледоскопъ*, *Микроскопъ*, *Ороскопъ* [13]).

Въ другихъ случаяхъ, особенно критическихъ для остроумія критика, авторъ просто вставлялъ въ цитаты изъ чужихъ произведеній свои шуточки и пошлости и не боялся рѣшительно никакихъ уликъ. Барону ничего не стоило сегодня увѣнчать лаврами новооткрытаго генія, а завтра забросать его грязью и даже откровенно заявить публикѣ, что все это—шутка и баронъ не желаетъ помнить своихъ мнѣній.

Даже Гречу довольно скоро пришлось испытать на своей особѣ крайности баронской фантазіи и издать по этому случаю особую брошюру [14]). Менѣе чѣмъ въ четыре года Сенковскій успѣлъ составить два противоположныхъ мнѣнія о вопросѣ, казалось бы, вполнѣ опредѣленномъ,—о грамотности и стилѣ Греча. То слогъ Греча казался барону «пріятнымъ, свѣтлымъ», и критикъ находилъ въ немъ «очаровательную простоту» и «высокое краснорѣчіе», то вдругъ тотъ же слогъ оказывался устарѣлымъ и даже «дикимъ».

Только въ нѣкоторыхъ случаяхъ *Библіотека* строго вела одну линію, именно когда вопросъ шелъ о дѣйствительныхъ, сильныхъ талантахъ. Тамъ она выходила изъ себя и когда угодно могла излить сколько угодно желчи и пошлаго острословія по адресу

---

[13]) *Библ. для Чтенія.* 1836, VII.

[14]) *Литературныя поясненія.* Спб. 1838 года. О нихъ замѣтка Бѣлинскаго, *Сочиненія.* Москва. 1875, II, 444.

Пушкина или Гоголя. Авторъ *Мертвыхъ душъ* до конца не выходитъ изъ Поль-де-Коковъ, за то Булгаринъ царствуетъ на русскомъ Парнасѣ. Эта игра велась такъ упорно и съ такой отвагой, что у современниковъ невольно являлось подозрѣніе, ужъ не впрямь ли въ русской критикѣ хозяйничаетъ какой-нибудь «турокъ», сбиваетъ съ толку простодушныхъ читателей и тѣмъ мститъ Россіи за униженіе своего отечества [15]). Серьезно трудно было повѣрить въ такое превращеніе, но невѣроятно наглая безпринципность и явная вражда ко всему истинно-талантливому требовали какого-либо объясненія. И между тѣмъ, весь секретъ заключался въ простѣйшихъ мотивахъ и вполнѣ естественныхъ побужденіяхъ: съ одной стороны темная публика, съ другой—азартная ловля подписчика. И *Библіотека* безъ малѣйшихъ колебаній превращалась въ балаганъ и нѣчто даже худшее.

У барона имѣлся въ распоряженіи обширный репертуаръ спеціальныхъ соблазновъ. Онъ первый пустилъ въ оборотъ беллетристику рѣзко-наркотическаго аромата, первый принялся живописать многообразныя приключенія героинь будущей натуральной школы и, насколько допускала цензура, не стѣснялся откровенностями ни въ фактахъ, ни въ нравственныхъ выводахъ, ни въ стилѣ. Ему принадлежатъ необыкновенно «вкусные» эпитеты, въ родѣ «теплое, роскошное, пуховое тѣльце дѣвушекъ», и еще круче приправленныя картины: «бѣлая, жирная ножка мандаринши, на которой влюбленныя насѣкомыя утопаютъ въ небесномъ блаженствѣ». Баронъ, въ погонѣ за пикантными соусами, доходилъ часто до подлиннаго декадентства, такъ что новѣйшіе исповѣдники школы свободно могутъ заимствовать со страницъ *Библіотеки*: «розовыя понятія», «свѣтлыя чувства» женщины и самую женщину «мягкую, хрустальную, благовонную»...

И такимъ оружіемъ Сенковскій билъ наповалъ провинціальнаго обывателя. *Библіотека* царствовала и могла управлять, потому что годъ за годомъ неустанно разсѣевала заразу пошлости, безъидейности, шутовства и цинизма по всѣмъ угламъ Россіи. По существу выходилъ настоящій заговоръ противъ просвѣщенія и умственнаго развитія публики. Въ иномъ направленіи и съ бо́льшимъ упорствомъ не могли бы дѣйствовать злѣйшіе враги русскаго общества. И между тѣмъ, именно эта дѣятельность считалась вполнѣ благонамѣренной и цѣлесообразной. Никакой опасности сверху тріумвиратъ

---

[15]) Бѣлинскій. II, 56.

не могъ ждать. Бенкендорфъ основательно входилъ въ издательскіе планы Булгарина и въ политику барона Брамбеуса: отъ такихъ просвѣтителей ничего «неприличнаго» въ смыслѣ шефа жандармовъ не могло произойти.

Но, мы уже знаемъ, время невозбранной эксплуатаціи какого бы то ни было литературнаго монополиста съ одной стороны и брезгливаго олимпійства—съ другой, миновало навсегда Воздухъ, какимъ дышали лучшіе люди тридцатыхъ годовъ, былъ насыщенъ элементомъ протеста и борьбы, и именно тріумфы могущественнаго тріумвирата ополчили на него всѣхъ, кто только могъ отдать отчетъ въ нравственномъ и общественномъ смыслѣ его подвиговъ.

IV.

Московскій Наблюдатель съ первыхъ же книжекъ можетъ быть признанъ за воплощенное отрицаніе *Библіотеки.* Его походъ открылся статьей Шевырева *Словесность и торговля.* Авторъ жестоко нападалъ вообще на продажность литературы, картинно изображалъ благоденствіе удачливыхъ и ловкихъ литераторовъ. Но всѣ стрѣлы морали и живописи направлены на *Библіотеку* и *Пчелу*, и журналъ прямо именовался «пукомъ ассигнацій, превращеннымъ въ статьи».

Молодой ученый явно поддался полемическому пылу и хватилъ черезъ край, уличая русскихъ литераторовъ въ сибаритствѣ и роскоши. Сенковскій и Булгаринъ, несомнѣнно, блаженствовали, но это не давало публицисту права рисовать нѣкое Эльдорадо всей русской словесности и нападать на самый принципъ литературнаго заработка. По крайней мѣрѣ, Шевыревъ не съумѣлъ отдѣлить нормальныхъ явленій отъ порочныхъ, завѣдомыхъ козлищъ отъ ихъ жертвъ, и далъ поводъ другому воинствующему журналу подвергнуть критикѣ промахи своего же соратника.

Цѣлесообразнѣе могла выйти другая статья *Наблюдателя*—*Брамбеусъ и юная словесность*—отвѣтъ на одно изъ самохвальствъ Сенковскаго, провозгласившаго себя главой новой литературной школы и уничтожавшаго французскую литературу. Соль московской статьи заключалась именно въ этомъ уничтоженіи: баронъ усерднѣйше компилировалъ французскихъ беллетристовъ и ихъ же подвергалъ казни. *Наблюдатель*, на этотъ разъ въ добродушномъ тонѣ, разоблачилъ проказы Брамбеуса и путемъ буквальныхъ сопоставленій находилъ сплошное воровство въ знаменитѣйшемъ

произведенiи *Большой выходъ у сатаны* [16]). Наконецъ, вскорѣ появилась еще третья статья, самая энергическая и искусная изъ всѣхъ трехъ. *Наблюдатель* доходилъ здѣсь до паѳоса въ своемъ гнѣвѣ на поруганiе литературы «новымъ Батыемъ». Ссылаясь на излюбленные критическiе прiемы барона, журналъ спрашивалъ:

«Читая все это легкомысленное пустословiе, котораго все честолюбiе заключается только въ томъ, чтобы сдернуть насильственную улыбку съ губъ празднаго читателя, позволительно ли молчать? Не долгъ ли всякаго честнаго человѣка возбуждать негодованiе къ этому зубоскальству, которое умерщвляетъ всякое вѣрованiе въ науку, даетъ толпѣ соблазнительный примѣръ осмѣивать ученiе, мысли, мнѣнiя прежде, чѣмъ она узнала ихъ, оправдываетъ наглое невѣжество въ собственныхъ его глазахъ тогда, когда должно было бы стыдить и позорить его при всякомъ случаѣ? Не есть ли обязанность всякаго литератора, который еще не отдалъ пера своего на аренду, возставать явно и открыто противъ этихъ злоупотребленiй, угрожающихъ ниспроверженiемъ всякаго уваженiя къ литературѣ?» [17]).

Это были истинно гражданскiя рѣчи, и имъ долго не суждено утратить своего значенiя. *Наблюдатель* умѣлъ подмѣтить изъяны своего врага и поднять вопросъ на высоту принципа. Проницательности требовалось не особенно много при вопiющихъ порокахъ *Библiотеки*, но очень много доброй воли и идейной силы, чтобы раскрыть общiй смыслъ развивавшагося недуга и поставить точный дiагнозъ его нравственному влiянiю на общество.

На помощь *Наблюдателю* выступилъ *Современникъ*. Онъ также началъ съ аттаки на *Библiотеку* статьей Гоголя *О движенiи журнальной литературы въ 1834 и 1835 году*. Генiальный сатирикъ, какъ и слѣдовало ожидать, обнаружилъ блестящiй публицистическiй талантъ. До статей Бѣлинскаго это единственная *художественно-яркая* характеристика литературныхъ явленiй. Авторъ умѣетъ найти поразительно мѣткое слово, живой образъ, юмористическое сравненiе, и одной чертой запечатлѣть существенное содержанiе даннаго явленiя.

Гоголь сѣтуетъ на небывалое «отсутствiе журнальной дѣятельности и живого современнаго движенiя», и приписываетъ вину безъидейности и безотчетности прежде всего первенствующаго жур-

---

[16]) *Моск. Наблюд.* 1835. II, 447 etc.

[17]) *Моск. Набл.* 1835, V. *Критическое объясненiе*, стр. 489.

нала *Библіотеки.* Въ ней нѣтъ движущей, господствующей силы, нѣтъ опредѣленной цѣли, нѣтъ никакого вкуса, ея рецензіи—«не есть дѣло убѣжденія и чувства, а просто слѣдствіе расположенія духа и обстоятельствъ», и ея сподвижница *Пчела* такая же «корзина, въ которую сбрасывалъ всякій все, что ему хотѣлось».

Все это справедливо и остроумно и окончательный выводъ разбивалъ, казалось, на голову литературныхъ уродовъ, «литературное безвѣріе и литературное невѣжество», «мелочное въ мысляхъ и мелочное щегольство». Негодованіе Гоголя тѣмъ внушительнѣе, что оно сопровождалось вполнѣ опредѣленной положительной программой для всякаго настоящаго журнала и достойной критики.

Въ статьѣ усиленно подчеркивается необходимость имѣть журналу одинъ опредѣленный тонъ, одно уполномоченное мнѣніе, а не быть складочнымъ мѣстомъ всѣхъ мнѣній и толковъ. Журналъ долженъ управляться «единою волею», ясной единой цѣлью, продуманной и прочувствованной идеей. Критикъ долженъ считать свое дѣло важнымъ и приниматься за него съ благоговѣніемъ и предварительнымъ размышленіемъ, готовый отдать отчетъ въ каждомъ словѣ своемъ...

И это все справедливо и въ высшей степени благородно. Мы видѣли, и *Наблюдатель* не отставалъ отъ *Современника* по части идеальныхъ запросовъ литературы. Его главный критикъ Шевыревъ издалъ одновременно докторскую диссертацію и историческимъ путемъ старался опредѣлить законное направленіе современной критической мысли.

Эта книга, *Теорія поэзіи въ историческомъ развитіи у древнихъ и новыхъ народовъ*, послѣдній и самый совершенный плодъ ученой эстетики предъ эпохой Бѣлинскаго. Нѣкоторыя идеи ея представляютъ для историка большой интересъ; онѣ прежде всего показываютъ высшую точку, на которой стоялъ безспорно талантливѣйшій оффиціальный эстетикъ тридцатыхъ годовъ и, слѣдовательно, вообще университетская наука объ изящномъ, а потомъ разсужденія Шевырева косвенно опредѣляютъ степень оригинальности первыхъ статей Бѣлинскаго. Мы встрѣтимъ не мало совпаденій въ ученыхъ понятіяхъ профессора и страстныхъ проповѣдяхъ молодого критика, но мы замѣтимъ также не мало отличій, даже контрастовъ. Простое сопоставленіе рѣшитъ вопросъ объ относительной прогрессивности воззрѣній обоихъ писателей. Рѣшеніе тѣмъ настоятельнѣе, что Шевыревъ явится вскорѣ одной изъ излюбленныхъ мишеней Бѣлинскаго.

Когда вы читаете диссертацію Шевырева, предъ вами съ каждой страницей раскрывается великій прогрессъ университетской эстетики тридцатыхъ годовъ сравнительно съ неизглаголанными вѣщаніями Надеждина. Предъ вами нѣтъ и слѣда уродливой реторики, сдобренной искусственнымъ азартомъ на самомъ дѣлѣ совершенно нехудожественной натуры автора и ясными отголосками далеко еще не покинутаго цехового педантизма. Шевыревъ пишетъ литературно, красиво и въ общемъ вполнѣ вразумительно.

Во главѣ книги стоитъ въ высшей степени важный выводъ: «искусство было прежде теоріи». Величайшіе поэты новаго міра «дѣйствовали безъ теоріи». Даже больше. «Во Франціи теорія, слишкомъ рано явившаяся, только что стѣснила художественную дѣятельность и произвела вліяніе, вредное для словесности».

Дальше подчеркивается замѣчательная идея Платона о критическомъ талантѣ. Такъ какъ начало поэзіи—вдохновеніе, то и судить о поэтахъ можно «не однимъ искусствомъ, а тѣмъ же божественнымъ наитіемъ». Проще, это значитъ: критикъ долженъ обладать художественнымъ чувствомъ, и, слѣдовательно, научиться критикѣ такъ же невозможно, какъ и поэтическому творчеству.

Естественно, авторъ даетъ превосходное опредѣленіе классицизма и классическаго вкуса,—опредѣленіе на основаніи тѣхъ же реторикъ: это просто чувство приличій—*le sentiment des convenances*. т. е. подражаніе этикету свѣтскаго общества [18]). Мысль эта не могла не быть извѣстной и раньше, но Шевыревъ первый выводилъ ее изъ первоисточниковъ и подкрѣплялъ подлинными фактами.

Наконецъ, заключительное обобщеніе автора кажется перломъ ума и учености сравнительно съ прежними эстетическими поученіями:

«Греція представила намъ сначала всѣ образцы поэзіи, потомъ теорію, отсюда не ясно ли слѣдуетъ, что и въ наукѣ знаніе образцовъ, исторія поэзіи, должна предшествовать ея теоріи; что настоящая теорія можетъ быть создана только вслѣдствіе историческаго изученія поэзіи, которому можемъ мы предпослать предчувствіе теоріи въ томъ же родѣ, какъ мы нашли оное въ поэтическихъ миѳахъ Греціи. Какъ было на дѣлѣ, такъ должно быть и въ наукѣ» [19]).

---

[18]) *Теорія поэзіи*. Москва. 1836, стр. 1, 34, 173 370—378.

[19]) *Ib.*, стр. 368

Этимъ положеніемъ устранялись не только старыя піитики, но подрывался авторитетъ и новыхъ философскихъ эстетикъ. Признавая заслуги германской философіи предъ наукой объ изящномъ, Шевыревъ указываетъ на протестующее теченіе въ самой Германіи. Протестъ направленъ противъ новаго вида схоластики, философскихъ изысканій о началахъ творчества и о смыслѣ прекраснаго. Въ самомъ отечествѣ Шеллинга и Гегеля нашлись критики отвлеченнаго фанатизма, и Шевыревъ присоединяется къ нимъ.

Одинъ изъ протестантовъ очень искусно изобличалъ пороки эстетическаго философствованія и его обличенія могли бы оказать большую услугу русскимъ послѣдователямъ германскаго любомудрія.

Критикъ находилъ, что Германія до сихъ поръ не имѣетъ хорошей эстетики. Существующія теоріи слишкомъ отвлеченны и не разсчитаны на основную силу поэзіи—воображеніе. Онѣ обращаются исключительно къ разуму, питаютъ его правилами и началами, но не предлагаютъ никакого образа, никакого созерцанія красоты, нисколько не говорятъ фантазіи. Въ результатѣ, можно прочесть цѣлые томы философскихъ поученій и не получить никакого представленія о прекрасномъ [20]).

Поэты, конечно, еще энергичнѣе должны были возставать противъ философской тьмы и деспотизма. Жанъ Поль Рихтеръ находилъ гораздо больше пользы и смысла въ журнальныхъ рецензіяхъ, чѣмъ въ хитроумныхъ философскихъ терминахъ и выводахъ. И русскій авторъ признаетъ, что поэтъ однимъ мѣткимъ замѣчаніемъ полнѣе можетъ высказать намъ извѣстную эстетическую идею, чѣмъ иной систематическій эстетикъ при помощи философскихъ опредѣленій.

И въ Германіи метафизическое направленіе уступаетъ мѣсто историческому. Эстетика должна слѣдовать путями естественной исторіи, собирать факты изящнаго, быть всеобъемлющей памятью изящнаго, все равно, какъ естествознаніе—зеркало и память природы. «Всеобъемлющій опытъ и собираніе»—таковы задачи новой эстетики.

Русскій авторъ не забывалъ указать на увлеченіе своихъ соотечественниковъ нѣмецкими умозрѣніями и желалъ, чтобы «эмпирическое изученіе искусства взяло верхъ надъ философскимъ» [21]).

---

[20]) Разсужденія Менцеля. *Шевыревъ*, стр. 309.
[21]) *Ibid.*, стр. 363, 372.

Мы видимъ, ученый не только понялъ сущность искусства и художественной критики, но и сталъ впереди даровитѣйшихъ современныхъ эстетиковъ. Защитой *исторической* эстетики Шевыревъ опередилъ Бѣлинскаго перваго періода его дѣятельности. Молодому критику предстояло еще долго и мучительно биться въ сѣтяхъ философскихъ теорій и приносить самоотверженныя жертвы «терминамъ» и «опредѣленіямъ». Уже достаточно того факта, чтобы оцѣнить положительныя достоинства диссертаціи Шевырева. Не надо забывать, что ученый обладалъ и поэтическимъ талантомъ. Бѣлинскій находилъ возможнымъ признавать и поощрять этотъ талантъ. Можно было многаго ждать отъ такой разносторонней даровитости и учености. И Пушкинъ поспѣшилъ привѣтствовать Шевырева, какъ историка поэзіи [22]).

Слѣдовательно, противъ петербургскаго тріумвирата встали, повидимому, силы въ высшей степени серьезныя. Здѣсь было много знанія, искренней любви къ литературѣ, безусловно честныя цѣли и, что̀ важнѣе всего, принципіальная жажда борьбы. Какіе же получились результаты?

Мы должны оцѣнить ихъ съ особенной тщательностью: они именно та историчестая обстановка, въ какой появился Бѣлинскій, и мы не поймемъ дѣйствительнаго значенія его первыхъ шаговъ, не отдавъ всей справедливости его старшимъ современникамъ и соперникамъ.

V.

Московскій Наблюдатель съ самаго начала заставилъ настороржиться петербургскихъ монополистовъ, но не прошло года, Сенковскій успокоился и продолжалъ обычныя презрительныя игривыя шуточки. Для противника и этого казалось достаточно. Его ждали, какъ торжества Москвы надъ Петербургомъ, а онъ вышелъ какимъ-то тщедушнымъ, вялымъ и, прежде всего, безличнымъ. Ему также не далась единая направляющая воля, яркій опредѣленный характеръ, онъ также превратился въ альманахъ, въ сборникъ статей, несомнѣнно, болѣе литературныхъ, чѣмъ въ *Библіотекѣ*, но столь же случайныхъ и подчасъ довольно страннаго содержанія. Примѣръ тотъ же Шевыревъ.

Въ его диссертаціи мы могли найти не мало весьма цѣнныхъ идей, но если бы мы и здѣсь задали вопросъ, какая же физіоно-

---

[22]) Замѣтка объ *Исторіи поэзіи* Шевырева, въ 1835 году. *Сочиненія*, V. 285.

нія и какой характеръ у нашего эстетика, мы не могли бы найти точнаго отвѣта. Шевыревъ правильно понялъ *историческое* развитіе поэзіи, составилъ вѣрное заключеніе и о будущемъ *художественной* критики, но не успѣлъ установить руководящихъ мотивовъ въ области *общественныхъ* идей. Свѣдущій историкъ и благоразумный эстетикъ, Шевыревъ совершенно неуловимый или крайне пестрый публицистъ. У профессора нѣтъ продуманнаго символа общественной вѣры, онъ прекрасный изслѣдователь книгъ и теорій и весьма плохой наблюдатель и осмысливатель жизни и фактовъ.

Въ *Теоріи поэзіи* Шевыревъ не могъ не коснуться самаго безпокойнаго вопроса современной критики: объ отношеніи поэзіи къ дѣйствительности. И онъ написалъ такую фразу: «должны же существовать отношенія между искусствомъ и общественною жизнью» [23]).

Но этимъ все и ограничилось. Какія отношенія и какъ они могутъ установиться—отвѣтовъ не послѣдовало. И мы даже можемъ сомнѣваться, сознавалъ ли критикъ всю важность своего заявленія.

Онъ, напримѣръ, восхищается Гораціемъ за то, что тотъ открылъ «нравственное назначеніе» поэзіи, слилъ «обязанность гражданина» съ обязанностью поэта, и «вѣка оправдали слова Горація»

Кажется, достаточно сильно и точно. Но нѣсколько дальше дѣло принимаетъ другой оборотъ. Отдавъ дань восторга римской идеѣ нравственной и гражданской цѣлесообразности искусства, Шевыревъ не считаетъ противорѣчіемъ съ такимъ же восторгомъ встрѣтить и поэзію Гёте. «Великій поэтъ Германіи поставилъ цѣль искусства въ немъ самомъ, отрѣшивъ его отъ всѣхъ цѣлей внѣшнихъ», говоритъ авторъ, явно сочувствуя новой постановкѣ вопроса.

Та же исторія германской поэзіи вовлекаетъ Шевырева еще въ одно недоразумѣніе. Мы слышали отъ критика настойчивое отрицаніе благодѣтельнаго вліянія теоріи на искусство. Но, оказывается, Лессингъ именно критикѣ, т. е. все-таки теоріи, обязанъ своими художественными произведеніями и русскій авторъ при знанія Лессинга сопровождаетъ такимъ замѣчаніемъ:

«Не слышится въ этихъ словахъ Лессинга голосъ начинающагося искусства Германіи, въ которой Гёте былъ питомцемъ критики?»... [24]).

---

[23]) *О. с.*, стр. 372.

[24]) *Ib.*, стр. 97—100, 233—234, 240.

Слѣдовательно, бываютъ случаи, когда критика не только направляетъ искусство, но даже создаетъ его, по крайней мѣрѣ вызываетъ къ дѣятельности? Вопросъ требовалъ тщательнаго обслѣдованія, во всякомъ случаѣ, ученый не долженъ былъ допускать возможности разно толковать его личныя воззрѣнія какъ разъ на самые существенные принципы критической *практики*.

Выводъ можетъ быть одинъ: эти принципы не ясны самому автору и онъ будетъ безпрестанно грѣшить противъ логики, лишь только отъ обсужденія чисто-литературныхъ задачъ перейдетъ къ общественнымъ.

Такъ это и произошло именно въ статьяхъ *Наблюдателя*.

Мы уже видѣли, какую близорукость и наивность обнаружилъ Шевыревъ въ катоновскомъ гоненіи на корыстолюбіе русской литературы. Ученый метнулъ стрѣлу выше цѣли и подорвалъ убѣдительность даже своихъ вполнѣ основательныхъ замѣчаній. То же самое съ нимъ происходило едва ли не всякій разъ, лишь только онъ стремился свои общія идеи осуществлять на отдѣльныхъ фактахъ и именахъ литературы.

Онъ, напримѣръ, удостоилъ историческую драму Кукольника громадной статьи и попутно произнесъ удивительный панегирикъ Карамзину. Этотъ панегирикъ прекрасно характеризуетъ ахиллесову пяту Шевырева, какъ профессора и какъ журналиста. Онъ не пропускалъ случая блеснуть словесной музыкой часто въ ущербъ какой угодной идеѣ и даже здравому смыслу.

Теперь онъ проситъ читателя представить знаменитаго исторіографа въ самомъ величественномъ положеніи, не имѣющемъ ничего общаго съ дѣйствительностію и главное, съ исторіографическимъ геніемъ Карамзина.

«Представьте себѣ его въ двадцатипятилѣтнихъ креслахъ, свидѣтеляхъ его труда неутомимаго; одинъ, чуждый помощи, сильной рукой приподымаетъ онъ тяжелую завѣсу минувшаго, сшитую изъ ветхихъ хартій, и устремляетъ на великую эпоху Россіи глубокомысленныя очи, а другою рукою пишетъ съ нея живую картину, возвращая минувшее настоящему... и внезапно хладная коса смертная касается неутомимой руки писателя на самомъ широкомъ ея разбѣгѣ... перо выпало изъ перстовъ, вслѣдъ затѣмъ свинцовая завѣса закрыла отъ насъ исторію Россіи—свинцовая, потому что. послѣ могучей руки Карамзина, никто до сихъ поръ не осмѣлился достойно поднять ее, хотя и были нѣкоторыя усилія... Славныя кресла Карамзина до сихъ поръ еще праздны, къ стыду нашей литературы!»

Этотъ же паөосъ ставилъ критика часто въ менѣе всего внушительное положеніе. Шевырева преслѣдовала мысль не только быть выспренне-краснорѣчивымъ, но и безподобно-изящнымъ. Онъ хотѣлъ увлекать и очаровывать, и, прежде всего, конечно, сердца нѣжныя и тонко-чувствующія. Отсюда—манія Шевырева играть роль дамскаго рыцаря, оказывать дамамъ медвѣжьи услуги, осыпая ихъ донкихотскими комплиментами и изображая сверхъестественныя доблести русской женщины. Нѣкоторыхъ читательницъ это могло трогать, но эффектъ достигался цѣной серьезнаго авторитета и положительнаго ума. Профессоръ выходилъ какимъ-то селадономъ и сладкопѣвцемъ, замирающимъ при одномъ звукѣ — *женщина*.

Дальше шло еще хуже. Шевыревъ бралъ подъ свою защиту свѣтское общество и договаривался до рекомендаціи Гоголю—заняться высшими классами, какъ болѣе поучительнымъ явленіемъ русской жизни.

Въ этой рекомендаціи могла сказываться не одна смута критическихъ воззрѣній. Бѣлинскій жестоко обнаруживалъ безсмыслицу такихъ вѣщаній профессора, какъ изображеніе кончины Каразина [25]), другіе свидѣтели дополнили характеристику, пожалуй, еще болѣе существенными чертами.

У Шевырева не только не было прочныхъ общественныхъ взглядовъ, но и личнаго достоинства. «Мелочно-самолюбивый, искательный, наклонный къ почестямъ и готовый при случаѣ подгадить»,—таковъ отзывъ современника [26]). И, какъ бы онъ ни былъ рѣзокъ по формѣ, сущность его не противорѣчитъ публицистической пестротѣ личности профессора. Очевидно, при всѣхъ здравыхъ идеяхъ и свѣдѣніяхъ, отъ Шевырева менѣе всего можно было ожидать послѣдовательной и граждански-мужественной борьбы, и, слѣдовательно, и *Московскій Наблюдатель* не грозилъ никакими серьезными опасностями злокозненному тріумвирату.

Оставался *Современникъ*.

VI.

Пушкинъ и Гоголь усердно снабдили первую книгу *Современника* своими произведеніями, рядомъ красовались имена Жуков-

[25]) *Сочиненія*. II, 86 etc.

[26]) Воспоминанія А. И. Афанасьева, *Русская Старина* 1886, авг. Ср. Колюпановъ. I (2) стр. 132 etc.

скаго и кн. Вяземскаго. Выходило цѣлое созвѣздіе. Но злой рокъ тяготѣлъ надъ его блескомъ и готовился ежеминутно превратить его въ падучія звѣзды, при энергической помощи первостепеннаго свѣтила—издателя Пушкина.

Поэтъ не нашелъ въ себѣ никакихъ издательскихъ талантовъ, и, кромѣ того, въ союзѣ съ кн. Вяземскимъ, внесъ въ журналъ нѣкій трупный запахъ. Да, какъ это ни странно, но Пушкинъ вредилъ *Современнику* не меньше своимъ писательскимъ участіемъ, чѣмъ издательскимъ безучастіемъ.

Мы знаемъ, какихъ догматовъ держался поэтъ, принимаясь за публицистику. Эти догматы вынудили его на незаслуженно-жестокое отношеніе къ гибели *Телеграфа* и еще раньше подсказывали ему выходки, менѣе всего достойныя его личности и генія. Но догматы были дѣйствительно вѣрой поэта и онъ съ обычной страстностью мечталъ сдѣлать ихъ общимъ достояніемъ. Онъ, столько натерпѣвшійся отъ «свѣта», не разъ заклеймившій его пламенной рѣчью гнѣва и сарказма, онъ, владѣвшій всѣми силами свободнаго художника-реалиста, сталъ на защиту аристократизма противъ «отвратительной власти демократіи». До какой степени поэтъ попадалъ впросакъ, онъ могъ бы понять изъ совершенно неожиданныхъ послѣдствій своихъ убѣжденій: ему приходилось даже Булгарина заносить въ списокъ революціонеровъ.

Современникъ немедленно отразилъ задушевныя мечты издателя, и этотъ фактъ легъ роковой чертой на его судьбу. Редакція, повидимому, заранѣе отказалась вдумываться въ какія бы то ни было современныя явленія, разъ ей грезилась обида аристократическимъ традиціямъ. Она не поколебалась бросить камнемъ въ чернь и ремесленниковъ, разрушавшихъ прядильныя машины, въ то время, когда на Западѣ самой наукой было признано трагическое положеніе рабочаго класса именно благодаря распространенію машинъ. Политическая экономія, въ лицѣ даже послѣдователей ученія о свободной конкурренціи и невмѣшательствѣ государства въ экономическія отношенія, снисходила до лирическаго краснорѣчія ради бѣдствій «черни» и «ремесленниковъ». Сисмонди, напримѣръ, писалъ настоящія элегіи и памфлеты о соціальномъ и нравственномъ положеніи рабочихъ и капиталистовъ. Именно онъ машины объявлялъ національнымъ бѣдствіемъ, не видя спасенія даже въ отдаленномъ будущемъ. И въ это время русскій журналъ, повидимому, готовъ присоединиться къ цѣлительному средству, изобрѣтенному стихійной враждой вла-

дѣльцевъ машинъ противъ «лишняго» ремесленника, средству Мальтуса! По крайней мѣрѣ, иного выбора не представлялось, разъ публицистъ становился безусловно въ нападательное положеніе по отношенію къ черни [27]).

Въ той же статьѣ *Современникъ* защищалъ неизвѣстно отъ какихъ внутреннихъ враговъ русское правительство и даже ядовито просилъ у кого-то *извиненія* за свои вѣрноподданническія чувства. Соотвѣтственно подвергался поношенію критика «этотъ позоръ русской литературы», «демократическій духъ», переселившійся изъ Европы въ Россію и вызвавшій похвалы черни и нападки на высшее общество. Указывалось, конечно, что это общество «большею частью недоступно нашимъ сатирикамъ».

Потомъ слѣдовала статья кн. Вяземскаго о *Ревизорѣ*. Князь и теперь являлся «кулачнымъ бойцомъ», писалъ чрезвычайно запальчиво, но тратилъ свой порохъ во славу все того же Джаггернаута.

Онъ не нашелъ иного средства защитить Гоголя отъ разнаго сорта щепетильниковъ и лицемѣрныхъ брезгливцевъ, какъ сожалѣніемъ о незнакомствѣ русскихъ писателей съ высшимъ кругомъ читателей, т. е. «образованнѣйшимъ»—спѣшилъ прибавить князь. Дальше журналистика объявлялась «толкучимъ рынкомъ», выхвалялось карамзинское безучастіе къ журнальной полемикѣ, и доходило дѣло до преклоненія предъ «аристократическими традиціями гостиныхъ вѣка Людовика XIV или Екатерины II». Вотъ что значило возстать противъ «демократіи», какъ черни! Безслѣдно исчезали всѣ задатки новой русской мысли, всѣ проблески прогрессивнаго движенія въ искусствѣ и въ общественномъ самосознаніи, аристократическій журналъ грозилъ договориться до эстетической семибоярщины.

Во всякомъ случаѣ образъ «человѣка въ сферѣ гостиной рожденнаго», какъ недосягаемаго идеала сравнительно съ русскими литераторами, явно тѣшитъ воображеніе критика. Онъ подробно живописуетъ манеры кровнаго аристократа и побиваетъ ими журналистовъ, находившихъ въ языкѣ гоголевской комедіи дурной тонъ.

Князь забывалъ, что это открытіе цѣликомъ лежало не на лакействѣ и не на плебейскихъ претензіяхъ критиковъ, а именно на пережиткахъ литературныхъ аристократическихъ традицій гостиныхъ вѣка Людовика XIV.

---

[27]) *О враждѣ къ просвѣщенію, замѣчаемой въ новѣйшей литературѣ.* Современникъ. II, 206.

У критика были, несомнѣнно, добрыя намѣренія и цѣль его усилій дѣлала честь его художественному чувству, но будто угнетаемый общимъ фальшивымъ настроеніемъ редакціи *Современника*, онъ пустился въ совершенно неподходящія размышленія и далъ богатую пищу сатирическому уму тѣхъ же литераторовъ. Неужели *Ревизора* нельзя было оправдать инымъ путемъ, помимо восхваленій салонныхъ господъ и даже эпохи Людовика XIV? Самъ Гоголь, вѣроятно, не выразилъ бы сочувствія подобному пріему, по крайней мѣрѣ въ періодъ *Ревизора*.

Но *Современникъ* велъ свою линію, преисполненную противорѣчій и уклоненій. Журналъ обнаруживалъ тотъ самый порокъ, въ какомъ гоголевская статья укоряла другіе журналы—безотчетность. Въ третьемъ выпускѣ *Современника* помѣщена статья *Вольтеръ*, по поводу корреспонденціи философа. Письма касались спеціальнаго вопроса, одной торговой сдѣлки и отнюдь не могли дать достаточно матеріала для полной характеристики Вольтера.

Но авторъ статьи будто задался корыстной цѣлью на нѣсколькихъ страницахъ собрать всѣ доступныя ему укоризны по адресу Вольтера. Сдѣлать это было не трудно,—несравненно труднѣе понять факты, повидимому, настойчиво требующіе укоризнъ.

Мы много слышимъ о неумѣньи Вольтера охранять собственное достоинство, о его слабости къ милостямъ государей. Все это, можетъ быть, и справедливо, но авторъ билъ совершенно мимо цѣли, обвиняя самого Вольтера въ его же несчастіяхъ и въ равнодушіи къ нимъ его современниковъ. Вольтера посадили въ Бастилію, изгнали, не переставали преслѣдовать и все это не могло «привлечь на его особу состраданія и сочувствія!» По истинѣ изумительное теченіе мыслей и пониманіе историческихъ явленій! Не доставало только присоединить оправдательную рѣчь въ пользу тюремщиковъ и гонителей.

И опять вина не въ зломъ умыслѣ журнала, а безтактности, безсознательности, въ недостаткѣ развитого общественнаго смысла. Вольтера можно бы обвинить кое въ чемъ и посущественнѣе, чѣмъ въ льстивыхъ письмахъ къ людямъ силы и власти, хотя бы, напримѣръ, въ его отношеніяхъ къ Руссо, но все это должно имѣть свою перспективу, занять надлежащее мѣсто въ личной біографіи писателя и въ общей исторіи времени, получить психологическое и культурное освѣщеніе. Если у редакціи *Современника* не было желанія или силъ выполнить подобную задачу, не представлялось необходимости сочинять памфлетъ на завѣдомую жертву темныхъ

силъ фанатизма и варварства. Публицистъ, отдающій строгій отчетъ въ своихъ просвѣтительныхъ цѣляхъ, не допуститъ такого промаха. И Пушкинъ лично вполнѣ стоялъ на высотѣ призванія. Вѣдь съумѣлъ же онъ опредѣлить законное мѣсто въ исторіи русской литературы даже для Тредьяковскаго и понять сущность байроновской личности и поэзіи.

Естественно, отъ журнала невозможно было ожидать энергическаго и послѣдовательнаго воздѣйствія на общественное мнѣніе. У него былъ слишкомъ тщедушный публицистическій капиталъ, отзывавшійся притомъ временами Очакова и покоренія Крыма. Толковать о Людовикѣ XIV и Екатеринѣ II въ тонѣ былыхъ сановныхъ менторовъ литературы, значило заранѣе осуждать себя на роль выходцевъ съ того свѣта.

Вина падала на Пушкина далеко не всецѣло. Съ каждой книгой участіе поэта становилось менѣе замѣтнымъ. Но, несомнѣнно, пушкинская политическая программа, если такъ можно назвать его романтическія чувства относительно «демокраціи», сослужила свою службу и въ сильной степени способствовала омертвѣнію *Современника*. Онъ какъ начался, такъ и остался *лишнимъ* журналомъ, все равно, какъ бываютъ лишніе люди, можетъ быть, и очень благонамѣренные и симпатичные, но только не приспособленные къ живому участію въ поступательномъ движеніи жизни. Современнику предстояло испытать ту самую судьбу, какую Погодинъ описывалъ въ статьѣ *Прогулки по Москвѣ* [28]).

У московскаго профессора редакція *Современника* просила сообщеній «о современномъ состояніи Москвы». Погодинъ въ отвѣтъ далъ протокольный отчетъ о печальной участи старинныхъ барскихъ домовъ. Оказывалось, всѣ они утрачивали свое благородное назначеніе и превращались въ казенныя или коммерческія учрежденія. Духъ времени безпощадно сметалъ съ роскошныхъ хоромъ гербы и замѣнялъ ихъ вывѣсками присутствій, школъ, судовъ...

Внушительный урокъ, аристократамъ *Современника!* Они не поняли морали, и сами подписали себѣ смертный приговоръ. Кн. Вяземскій, порвавши съ Полевымъ изъ-за славы Карамзина, вставшій на защиту гостиныхъ, дошелъ впослѣдствіи до яростной вражды противъ современной литературы. И все по принципу аристократизма и изящества и во имя отвращенія къ толкучему рынку. Это онъ въ стихахъ броситъ камнемъ въ «родоначальника литера-

[28]) *Современникъ*, 1836, III, стр. 260.

турной черни», въ «какіе-то не въ домекъ сороковые года» и сравнитъ ненавистное движеніе идей съ «потьмой» и «плѣсенью болотъ». Въ прозѣ князь будетъ еще откровеннѣе, коротко и ясно опредѣлитъ *чернь*: «Приверженецъ и поклонникъ Бѣлинскаго въ глазахъ моихъ человѣкъ отпѣтый, и просто сказать пѣтый дуракъ» [29]).

И эти рѣчи не должны казаться неожиданностью. Можно прекрасно чувствовать художественныя достоинства произведеній искусства, и не понимать ихъ идейнаго смысла, отмѣчать успѣхи творчества и не видѣть развитія общественной мысли. Кн. Вяземскій одобрялъ *Ревизора* и защищалъ неизящный стиль комедіи, но ему не по силамъ было проникнуть въ содержаніе пьесы и на основаніи образовъ и сценъ вывести логическія заключенія касательно живыхъ людей и современной дѣйствительности. Много литературнаго вкуса и никакого публицистическаго чутья: таковъ благородный «кулачный боецъ» и таковъ весь *Современникъ*.

По смерти Пушкина журналъ не измѣнилъ своей окраски, сталъ только болѣе вялымъ и даже въ чисто-литературномъ отношеніи блѣднымъ и немощнымъ. Въ рукахъ профессора Плетнева *Современникъ* утратилъ всякую современность, и не только по какому-либо злополучному стеченію обстоятельствъ, а согласно намѣреніямъ самого издателя. Плетневъ будто желалъ воскресить времена Надеждина, воевавшаго противъ Пушкина, обнаруживалъ не менѣе ненавистническія чувства къ Лермонтову и не менѣе тупое непониманіе его таланта. И не одного только лермонтовскаго таланта. На проницательный взглядъ Плетнева и Бѣлинскій не обладалъ никакимъ художественнымъ чувствомъ, «не носилъ въ душѣ сочувствія съ художническими истинами», а былъ простымъ компиляторомъ чужихъ мыслей [30]).

И первоисточникъ этихъ настроеній все та же аристократичность. Предъ нами брезгливый бѣлоручка, во снѣ и на яву грезящій о «дѣйствительно благородной литературной школѣ» и впадающій въ смертный ужасъ предъ «геніально-литературной мерзостью», т. е. предъ всей вліятельной современной литературой вообще, и въ особенности предъ статьями Бѣлинскаго.

Салонныя преданія сохраняются въ точности. Для Плетнева вступать въ полемику значитъ «пачкаться въ грязи». Правда,

---

[29]) *Литературная исповѣдь*. Полное собраніе сочиненій. Спб. 1887, II 168.—Письмо къ Погодину. X, 266.

[30]) *Переписка*. I, 163, 228; II, 66—7.

журналъ сильно отстаетъ отъ текущихъ вопросовъ жизни, превращается въ альманахъ и въ сборникъ историческихъ матеріаловъ; на это указываютъ издателю его близкіе друзья, далеко превосходящіе ученостью его самого. Но пусть разрушится весь міръ, а Плетневъ не перестаетъ быть Плетневымъ. Это его сильнѣйшій аргументъ, и во имя столь убѣдительной логики онъ презираетъ подписчика. Онъ желаетъ уподобиться *Revue des deux Mondes*; этотъ журналъ можно читать и черезъ двадцать лѣтъ.

Такимъ долженъ быть и *Современникъ*. Правда, во французскомъ *Обозрѣніи* постоянно идутъ политическіе обзоры. Но это—бездѣлица. «Вѣдь о политикѣ нельзя да и нечего писать у насъ», и *Современникъ* можетъ быть совершенно не современнымъ и для него это вѣрнѣйшій путь къ благородству и идеальной литературности [31]).

И Плетневъ до конца выдерживаетъ свой характеръ, клеймя нестерпимымъ презрѣніемъ Бѣлинскаго — какъ вожака партіи, Краевскаго—какъ издателя распространеннаго журнала и обзывая того и другого «скотиками».

А между тѣмъ, Плетневъ не реакціонеръ и не мракобѣсъ, онъ только пережитокъ архивнаго порядка вещей, тщедушное дѣтище «традицій», трагикомическій Донъ-Кихотъ прекрасной, но безнадежно отцвѣтшей дамы—словесности гостиныхъ. Естественно, *Современникъ* принципіальный врагъ идейнаго и культурнаго прогресса. Плетневъ не допускаетъ разногласія между отцами и дѣтьми. По его мнѣнію, очаковскія времена безсмертны и онъ съ негодованіемъ выписываетъ слѣдующую фразу Грота: «Одно поколѣніе никогда не можетъ мыслить совершенно одинаково съ другимъ». Это вопіющая ересь! Жизнь должна замереть на двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ, все, что послѣдуетъ дальше,—вѣроотступничество отъ «благородной литературной школы».

Мы на примѣрѣ *Современника* можемъ вполнѣ точно оцѣнить нравственную силу и историческую важность не столько правильныхъ критическихъ сужденій, сколько энергіи мышленія, личной чуткости къ новымъ запросамъ жизни, неуклонной рѣшимости,—бороться за свой судъ и свои идеалы. Надежда культурнаго будущаго заключалась не въ одномъ тонко-развитомъ художественномъ чувствѣ, а еще болѣе въ граждански-мужественной независимой мысли. Если ея не было, то и художественное чув-

[31]) *Ib.* II, 197, 276—7, 284, 531, 835, 21, 295, 182.

ство рисковало измельчать и извратиться, такъ именно и произошло съ писателями *Современника*, отрицавшими у Лермонтова умъ и талантъ.

Но этого мало. Разъ въ личности писателя не заключается дѣятельныхъ инстинктовъ во имя общественнаго прогресса и, слѣдовательно, онъ осужденъ на неизбѣжную смерть за-живо, другіе болѣе грубые и эгоистическіе инстинкты невольно толкнутъ его на менѣе всего почтенную и идейную самозащиту. Именно невольно Пушкинъ заговорилъ о якобинствѣ *Телеграфа*, заговорилъ отнюдь не изъ сочувствія Уваровымъ и Бенкендорфамъ, а по самому естественному и простѣйшему стремленію къ самооправданію и самосохраненію. Полевой представлялъ демократическую идею, и этого было достаточно, чтобы вызвать вполнѣ искреннее негодованіе у поэта-публициста. Наслѣдники Пушкина, запутавшись въ тѣхъ же сѣтяхъ преданій, пойдутъ еще дальше.

Плетневъ, при всей своей брезгливости и аристократичности, не побрезгуетъ вести очень горячія бесѣды съ цензорами на счетъ ихъ снисходительности къ Бѣлинскому и компаніи, т. е. къ *Отечественнымъ Запискамъ*. Мы слышимъ поразительное сообщеніе, будто цензура состоитъ на откупу Бѣлинскаго и подобныхъ ему журналистовъ. «Отъ цензоровъ нельзя не бѣситься», восклицаетъ основатель литературнаго благородства, очевидно, переходя въ тонъ своеобразнаго патриціанскаго бѣлаго якобинства и уже не различая нравственнаго достоинства средствъ для борьбы. Онъ прямо жалуется цензору на ненавистныхъ журналистовъ, указывая даже казусы преступленія и повторяя такимъ образомъ роль московскаго профессора, Надеждина, относительно Полевого [32]).

Въ письмахъ къ другу его усердіе простирается гораздо глубже, и мы не имѣемъ безусловно убѣдительныхъ данныхъ сомнѣваться, чтобы подобное усердіе не обнаруживалось и предъ лицомъ власти. Чувства профессора были слишкомъ возмущены и мучительно уязвлены какъ разъ для подобнаго предпріятія. Предъ нами поучительный документъ,—письмо Плетнева къ Гроту по поводу революціонныхъ движеній на Западѣ. Онъ въ немногихъ словахъ рисуетъ цѣлый типъ русскаго литературнаго дѣятеля, отнюдь не злонамѣреннаго и не фанатически-нетерпимаго, но только безусловно лишеннаго способности вдумываться въ процессъ окружающей дѣйствительности и дѣлать логическіе выводы изъ наблюденій.

---

[32]) *Ib.* II, 177, 93, 494

Плетневъ пишетъ:

«Ты доискиваешься причины тѣхъ безумствъ, которыя нынѣ потрясаютъ Европу, эти причины въ постепенности, съ какою безостановочно, по странному ослѣпленію, всѣ стремились въ нынѣшнемъ столѣтіи къ уничтоженію такъ называемаго *авторитета* во всемъ: въ религіи, въ политикѣ, въ наукахъ и въ литературѣ. Дерзость возстала съ такимъ безстыдствомъ, что достоинству оставалось только отстраниться. Въ нашей литературѣ лично приступилъ къ этому Булгаринъ, испугавшійся послѣ самъ и теперь за то страждущій отъ послѣдователей. Но во всемъ блескѣ это ученіе развито Полевымъ, Сенковскимъ и Бѣлинскимъ» [33]).

И дальше слѣдуетъ патріархальная защита авторитета вездѣ и при всякихъ обстоятельствахъ. Автору, конечно, приходится обмолвиться и умнымъ словомъ: онъ ратуетъ противъ маніи отрицанія, т. е. недуга, въ дѣйствительности существовавшаго только въ его воображеніи, насколько вопросъ шелъ о русской публицистикѣ. Легко возражать противъ чудовищнаго самодѣльнаго призрака! Но еще удивительнѣе смѣсь ихъ именъ, произведенная разстроеннымъ воображеніемъ писателя. Булгаринъ идетъ рядомъ съ Полевымъ, Сенковскій съ Бѣлинскимъ... Пріемъ, стоящій на высотѣ задушевныхъ бесѣдъ съ цензорами.

Очевидно, предъ нами нравственная агонія дѣятеля, отметаемаго современностью и мстящаго ей слѣпой неукротимой ненавистью. И нашъ выводъ не долженъ падать исключительно на одного Плетнева. Судьба *Современника* совершилась вполнѣ послѣдовательно. Еще при Пушкинѣ Бѣлинскій удивлялся: «И это *Современникъ?* Что жъ тутъ современнаго?» Эти вопросы такъ и остались безъ отвѣта. Пушкинъ, несомнѣнно, могъ бы озарить страницы журнала блескомъ своего *творчества*, но въ *общественныхъ идеяхъ* журнала, попрежнему, царствовала бы смута и нѣчто весьма близкое къ тьмѣ, пока поэтъ признавалъ бы необходимымъ держаться своей благородной программы и допускать своихъ критиковъ-друзей говорить похвальныя рѣчи «традиціямъ» вплоть до Людовика XIV.

Таковы были рыцари, вступившіе въ ратоборство съ петербургскими диктаторами. *Московскій Наблюдатель* и *Современникъ*, одинаково преисполненные благихъ намѣреній, столь же одинаково отцвѣли, не успѣвши разцвѣсть. Бросивъ вызовъ врагу, рѣшив-

---

[33]) *Ib.* III, 208.

шись, слѣдовательно, на борьбу, они не запаслись ни силами, ни оружіемъ. Чтобы разсчитывать на побѣду, необходимо *владѣть* настоящимъ по своему міросозерцанію и не очутиться врасплохъ предъ будущимъ по своимъ идеаламъ. Идейно надо быть гражданиномъ двухъ міровъ—дѣйствительнаго и того, какой долженствуетъ развиться изъ него въ силу историческаго процесса.

А между тѣмъ, оба журнала по своей *природѣ* явно принадлежали одному міру и притомъ—прошлому или отживающему свои дни. Отсталость сказывалась не во всемъ: въ области искусства и Шевыревъ, и кн. Вяземскій могли подчасъ сказать дѣльное и поучительное слово. Но времена безраздѣльнаго царства одной чистой литературности съ каждымъ днемъ уходили вспять. Уже давно въ общественномъ сознаніи вращались такія понятія, какъ поэтъ—пророкъ, писатель—гражданинъ, и рѣка забвенія неминуемо готова была поглотить всякаго, кто не доросталъ сознательно до этихъ понятій и кто сторонился отъ новаго жизненнаго шумнаго пути литературы, какъ отъ толкучаго рынка.

Крѣпкія слова никогда не измѣняли хода человѣческихъ дѣлъ и сильныя личныя чувства тогда только приносили настоящее осязательное утѣшеніе страстно-взволнованнымъ людямъ, когда за эти чувства стояла *общая* сила. Иначе, и слова, и чувства могутъ вызвать одно лишь комическое зрѣлище, напомнить ребенка, бьющаго ручонкой по тому мѣсту, о какое онъ ушибся. Именно до этого незавиднаго положенія и дошелъ Плетневъ, въ теченіе многихъ лѣтъ извергавшій бранныя рѣчи на непобѣдимыхъ соперниковъ. И что особенно трагично для нашего героя, эти соперники собственно и не думали съ нимъ соперничать, кажется, даже и не помнили хорошо о существованіи его «школы», а шли своимъ путемъ и неотразимой силой увлекали за собой публику и даже отчасти друзей обездоленнаго *Современника*.

И имъ принадлежало не только настоящее, но и самое отдаленное будущее: они жили и дѣйствовали съ твердой увѣренностью—ни на мгновеніе не очутиться позади жизни, а если возможно, именно своей дѣятельностью уравнять путь ея поступательнаго движенія. Въ такихъ людяхъ и самыя ошибки, даже продолжительныя и глубокія заблужденія—моменты прогресса: потому что все это—не благоговѣйно и безсознательно воспринятое завѣщаніе «старшихъ», а личной борьбой добытое достояніе. А тамъ, гдѣ искренне борятся за убѣжденія, гдѣ ихъ не заимствуютъ, а завоевываютъ, тамъ не устанутъ совершенствовать ихъ, и недавнее заблужденіе ляжетъ въ основу новой истины.

VII.

Мы разсказали по истинѣ печальную и трагическую исторію. Мы видѣли бойцовъ, одушевленныхъ благороднѣйшими намѣреніями, но неизмѣнно падавшихъ на полѣ битвы въ полномъ изнеможенiи и умиравшихъ медленной безславной смертью злобнаго безсилія. Врагъ торжествовалъ надъ ними, даже не напрягая силъ, снисходя лишь до насмѣшки и презрѣнія. Ни *Современникъ*, ни *Московскій Наблюдатель* не съумѣли нанести даже чувствительнаго удара позорному тріумвирату, не только подорвать его силы и успѣхи. Они, кромѣ того, сами постарались подготовить свое пораженіе.

Телескопъ, въ лицѣ Надеждина принимая участіе въ общемъ натискѣ на *Библіотеку для Чтенія*, объявилъ войну Шевыреву за его диссертацію. Запальчивость краснорѣчиваго эстетика и на этотъ разъ питалась гораздо болѣе «семейными дѣлами», чѣмъ интересами истины. Оба профессора представили еще разъ недостойное зрѣлище мелочной придирчивой полемики, превосходно доказывавшее публикѣ взаимныя личныя враждебныя чувства ученыхъ, но совершенно постороннее дѣйствительнымъ вопросамъ *теоріи* и *исторіи* литературы.

Естественно, атмосфера журналистики не становилась яснѣй и чище. Сцена дѣйствія цѣликомъ оставалась въ распоряженіи «братьевъ разбойниковъ», разбитымъ и разочарованнымъ мечтателямъ «благородной литературной школы» приходилось съ видомъ оскорбленнаго достоинства скрыться въ уединеніи, подальше отъ «толкучаго рынка».

Обозрѣвая поле журнальной войны, московскій профессоръ приходилъ къ заключенію: «Кабинетъ — вотъ гдѣ всѣ удовольствія. Нравственное размышленіе: какое удовольствіе въ саду!» [34]).

Изъ Петербурга въ отвѣтъ несся сочувственный откликъ. Не менѣе почтенный ученый мужъ, отвѣдавъ горькихъ плодовъ журнальной суеты, мечталъ еще опредѣленнѣе объ отшельничествѣ и покоѣ:

«Удивительно, какое дѣйствіе производитъ дневной свѣтъ въ сравненіи съ средоточеннымъ свѣтомъ лампы. Первый влечетъ къ разсѣянности, къ ходьбѣ по комнатамъ, къ окну, чтобы ви-

---

[34]) Погодинъ. Барсуковъ. IV, 354.

дѣть жизнь и внѣ дома. Второй сближаетъ всѣхъ къ одной точкѣ, къ одной цѣли, зоветъ книгу въ руки, или другое что, чѣмъ бы всѣ внимательнѣе могли заняться» [35]).

И такія занятія, несомнѣнно, чрезвычайно комфортабельны и безотвѣтственны. Другое дѣло, внѣ кабинета и лицомъ къ лицу съ неблизкими людьми!.. Никакое отшельничество, конечно, не могло до конца умирить сердецъ неудачливыхъ рыцарей, и наши отрѣшенные читатели все еще будутъ дѣлать вылазки на ненавистный уличный шумъ. Но ихъ ропотъ теряется въ волнахъ чужихъ рѣчей и людямъ вечерняго свѣта и ночной тишины приходится заживо хоронить и свои сочувствія, и свою вражду. У нихъ предъ глазами происходятъ сцены, свидѣтельствующія о несомнѣнномъ отливѣ всего жизненнаго и сильнаго куда-то въ другую сторону, въ лагерь менѣе всего дружественный заслуженнымъ авторитетамъ и почтеннымъ именамъ.

Въ то самое время, когда замолкалъ единственный истинно-общественный публицистическій голосъ *Московскаго Телеграфа* и русскому обществу грозило своего рода вавилонское плѣненіе, одинъ молодой петербургскій литераторъ переживалъ слѣдующее приключеніе.

«Однажды,—разсказываетъ онъ,—прохаживаясь по Невскому проспекту, я зашелъ въ кондитерскую Вольфа, въ которой получались всѣ русскія газеты и журналы. Я подошелъ къ столу, на которомъ они были разложены, и мнѣ прежде всего попался на глаза нумеръ *Молвы*. Въ этомъ нумерѣ было продолженіе статьи подъ заглавіемъ *Литературныя мечтанія—элегія въ прозѣ*. Это оригинальное названіе заинтересовало меня: я взялъ нѣсколько предшествовавшихъ нумеровъ и принялся читать.

«Начало этой статьи привело меня въ такой восторгъ, что я охотно бы тотчасъ поскакалъ въ Москву, если бы это было можно, познакомиться съ авторомъ ея и прочесть поскорѣе ея продолженіе.

«Новый, смѣлый, свѣжій духъ ея, такъ и охватилъ меня.

«Не оно ли,—подумалъ я,—это новое слово, котораго я жаждалъ, не это ли тотъ самый голосъ правды, который я такъ давно хотѣлъ услышать?

«Я выбѣжалъ изъ кондитерской, сѣлъ на перваго попавшагося мнѣ извозчика и отправился къ Языкову (другу разсказчика).

---

[35]) Плетневъ. *Переписка*. II, 38.

«Я вбѣжалъ къ нему и закричалъ:

«— Ну, братъ, у насъ появился такой критикъ, передъ которымъ Полевой—ничто. Я сейчасъ только пробѣжалъ статью—это чудо, чудо!

«— Неужели?—возразилъ Языковъ,—да кто такой? Гдѣ напечатана эта статья?..

«Я перевелъ духъ, бросился на диванъ и, немного успокоясь, расказалъ ему, въ чемъ дѣло.

«Мы съ Языковымъ, какъ люди, всѣмъ дѣтски увлекавшіеся, тотчасъ же отправились въ книжную лавку, достали нумера *Молвы* и я прочелъ ему начало статьи Бѣлинскаго.

«Языковъ пришелъ въ такой же восторгъ, какъ я, и впослѣдствіи, когда мы прочли всѣ статьи, имя Бѣлинскаго уже стало дорого намъ.

«Какъ ничтожны и жалки казались мнѣ, послѣ этой горячей и смѣлой статьи, пошлыя, рутинныя критическія статьи о литературѣ, появлявшіяся въ московскихъ и петербургскихъ журналахъ!..» [26])

Это не единственный эпизодъ. Статьи критика взволновали сердца и тѣхъ, кто не обладалъ способностью дѣтски увлекаться или кого на первый взглядъ не очаровывалъ непреодолимый талантъ Бѣлинскаго.

Другой молодой писатель также подробно разсказалъ намъ свои первыя впечатлѣнія послѣ одной изъ раннихъ статей новаго критика. На этотъ разъ повѣствованіе еще поучительнѣе. Оно показываетъ, какъ новый талантъ дѣйствовалъ на предубѣжденныя, по чуткія души. Критикъ не подчинялъ ихъ своему авторитету съ перваго натиска, но поднималъ въ нихъ невольную борьбу идей и чувствъ. Онъ могущественно заставлялъ ихъ разобраться въ раньше усвоенной вѣрѣ и путемъ независимой мысли велъ ихъ къ новымъ истинамъ.

Тургеневъ въ молодости романтикъ и мечтательная «прекрасная душа», подобно многимъ сверстникамъ, преклонялся предъ поэтическимъ геніемъ Бенедиктова. Вдругъ въ *Телескопѣ* появляется статья, безпощадно обрывающая лавры съ прославленнаго поэта. Юныхъ романтиковъ охватилъ гнѣвъ. Тургеневъ также негодовалъ, готовый приносить все новыя жертвы своему божеству. Но нѣчто пока неразгаданное и смутное говорило: совсѣмъ иное его него-

---

[26]) И. И. Панаевъ. *Литерат. воспоминанія*. Спб. 1876, стр. 141—2.

дующему сердцу. Началась борьба, своего рода раздвоенiе художественной личности, пережитое, вѣроятно, не однимъ только будущимъ художникомъ, а многими самыми обыкновенными смертными.

«Къ собственному моему изумленiю и даже досадѣ»,—разсказываетъ Тургеневъ»,—что-то во мнѣ сильно соглашалось съ «критикомъ», находило его доводы убѣдительными... неотразимыми. Я стыдился этого, уже точно неожиданнаго впечатлѣнiя, я старался заглушить въ себѣ этотъ внутреннiй голосъ; въ кругу прiятелей я съ бóльшей еще рѣзкостью отзывался о самомъ Бѣлинскомъ и объ его статьѣ... но въ глубинѣ души что-то продолжало шептать мнѣ, что *онъ былъ правъ*... Прошло нѣсколько времени и я уже не читалъ Бенедиктова»...

Начало въ высшей степени знаменательное. Всего нѣсколько статей, и сильныя чувства возбуждены. Они съ этихъ поръ не улягутся, будутъ рости съ каждымъ шагомъ новаго критика, и съ теченiемъ времени соберутъ вокругъ его имени громадный хоръ и восторженныхъ поклонниковъ, и ожесточенныхъ враговъ.

Именно впечатлѣнiе небывалой энергiи пробѣжало по читающей публикѣ. Только безнадежно немощные духомъ могли не почувствовать исключительной силы и власти въ стремительныхъ рѣчахъ новаго писателя. Мы только что слышали привѣтствiя молодежи, съ неменьшимъ сочувствiемъ отозвались и «отцы». Ихъ было мало, но тѣмъ краснорѣчивѣе они свидѣтельствовали о дыханiи идейной жизни, внезапно повѣявшемъ на омертвѣвшiе стогны русской журналистики.

Полевой съ нетерпѣнiемъ ждалъ новыхъ подвиговъ «нашего Орланда», радовался «какъ старый забiяка» новой войнѣ, обѣщавшей еще неслыханныя пораженiя и побѣды. Лажечниковъ, истомленный немощами московской печати, радостно встрѣчалъ появленiе Бѣлинскаго и былъ увѣренъ, что онъ «охулки на руку не дастъ»...

Но все это пока голоса друзей и привѣтствiя избранныхъ. За ними стояла несмѣтная толпа равнодушныхъ и обиженныхъ. Они также должны были отозваться на безпокойное явленiе, и ихъ отзывы несравненно внушительнѣе по количеству. Если Тургеневу стóило усилiй помириться съ мнѣнiями Бѣлинскаго, какъ же могли встрѣтить «Орланда» его жертвы и его фатальные противники—по неизлѣчимой косности и авторскому самолюбiю?

Въ то самое время, когда увлекающiеся юноши восторженно

перечитывали *Литературныя мечтанія*, кругомъ солидные люди сообщали отчаянныя свѣдѣнія о героѣ.

Это—плебей, недоучившійся казенный студентъ, выгнанный изъ университета за развратное поведеніе. Наружность у него самая ужасная. Это какой-то циникъ, бульдогъ, пригрѣтый Надеждинымъ съ цѣлью травить имъ своихъ враговъ. Его и фамилія странная—не то семинарская, не то польская—*Бѣлинскій*. Что касается пріемовъ его критики, они совершенно недостойны приличнаго общества и обличаютъ человѣка злобнаго и завистливаго.

Въ Москвѣ не лучше судили патріархи «науки и свѣта». Погодинъ именовалъ писанія Бѣлинскаго «лаемъ», другіе считали его отверженцемъ судьбы и людей, совершенно неспособнымъ къ общежитію и человѣческимъ отношеніямъ съ кѣмъ бы то ни было [37]). Стоитъ ему выразить даже скромное сомнѣніе въ поэтическихъ талантахъ какого-нибудь профессора въ родѣ Шевырева, и онъ немедленно попадаетъ въ разрядъ штрафованныхъ, его имя становится браннымъ, связи съ нимъ—зазорными.

Естественно, печать не остается позади публики. По изліяніямъ органовъ петербургскаго тріумвирата можно сочинить обширную біографію и характеристику Бѣлинскаго. На первомъ планѣ пришлось бы поставить все то же плебейство и малообразованность критика.

Цинизмъ Бѣлинскаго, по представленію петербургскихъ литераторовъ, доходилъ до такой степени, что этотъ несчастный считалъ аристократомъ всякаго, кто носитъ чистое бѣлье, моетъ лицо и не обладаетъ запахомъ чеснока и водки. Для Бѣлинскаго это вполнѣ достаточная причина ненавидѣть ближняго! Его злостность—безпредѣльна. На него рѣшительно нѣтъ возможности угодить. Чтобы имѣть полное представленіе объ его черной и порочной душѣ, надо прочесть повѣсть въ *Библіотекѣ для Чтенія*—*Піюша*.

Герой ея—Виссаріонъ Кривошеинъ, или попросту—Висяша.

Біографія его проста и вразумительна: молодость—пьянство и трактиры, исключеніе изъ университета и отсюда непримиримая ненависть къ «отсталымъ» наставникамъ. Потомъ—цѣлый рядъ другихъ изгнаній изъ разныхъ домовъ, гдѣ Висяша брался за воспитаніе дѣтей. Но ничто не укрощало самолюбія урода.

Онъ судилъ и рядилъ о Фихте и Гегелѣ, и называлъ презрѣнными невѣждами всѣхъ, кто не понималъ знаменитаго тождества. Въ

---

[37]) Барсуковъ. IV. 354. Кс. Полевой, 369.

настоящее время Висяша всѣмъ недоволенъ, въ театрѣ онъ вслухъ возмущается пьесами, въ журналѣ поноситъ лучшія произведенія родной литературы, оскорбляя чувства самихъ читателей...

Очевидно, новый критикъ вдохновлялъ заинтересованную публику даже на художественномъ поприщѣ: такъ солоно приходилось его имя!..

Бѣлинскій имѣлъ всѣ основанія считать свою судьбу оригинальной и даже исключительно завидной. Онъ не замедлилъ заявить объ этомъ.

«Недавно вступивъ на литературное поприще, еще не успѣвъ осмотрѣться на немъ, я съ удивленіемъ вижу, что рѣдкимъ изъ нашихъ литераторовъ удавалось съ такимъ успѣхомъ, какъ мнѣ, обращать на себя вниманіе, если не публики, то, по крайней мѣрѣ, своихъ собратій по ремеслу. Въ самомъ дѣлѣ, въ такое короткое время нажить себѣ столько враговъ, и враговъ такихъ доброжелательныхъ, такихъ непамятозлобныхъ, которые, въ простотѣ сердечной, хлопочутъ изо-всѣхъ силъ о вашей извѣстности,—не есть ли это рѣдкое счастіе?.. Я до такой степени удостоенъ судьбою этого счастія, что имѣлъ бы право почесть себя очень замѣчательнымъ человѣкомъ, если бъ враги-пріятели были хоть сколько-нибудь замѣчательны: одно только это непріятное обстоятельство озлобляетъ порывы моего самолюбія» [38]).

Но Бѣлинскому не всегда приходилось отвѣчать въ такомъ тонѣ на заботы «пріятелей» объ его славѣ. Тріумвиратъ, подъ предводительствомъ Булгарина, устремлялся очень далеко, вплоть до обвиненія неустранимаго противника въ жесточайшихъ политическихъ преступленіяхъ, въ измѣнѣ и въ ренегатствѣ. Это буквально, и у Бѣлинскаго волей-неволей долженъ былъ подняться стиль въ уровень съ юридическими домыслами «патріотовъ своего отечества».

Это эпизодъ второго года дѣятельности критика и онъ достаточно характеризуетъ ожесточеніе «заслуженныхъ литераторовъ» и воинственное положеніе молодого Орланда. Бѣлинскій отвѣчалъ по адресу для всѣхъ ясному.

«Нѣтъ, м. г., на святой Руси не было, нѣтъ и не будетъ ренегатовъ, т. е. этакихъ выходцевъ, бродягъ, пройдохъ, этихъ растригъ и патріотическихъ предателей, которые бы, играя двойною присягою, попадали въ двойную цѣль, и, избавляя отъ него-

---

[38]) *Отъ Бѣлинскаго. Сочиненія*. М. 1875, стр. 274.

дяя свое отечество, пятнали бы своимъ братствомъ какое-нибудь государство» [39]).

Подобная отповѣдь стоила Пушкинскаго *Видока*, и отважному критику слѣдовало бы помнить внушительные прецеденты, но,—говорилъ онъ, «я рожденъ, чтобы называть вещи ихъ настоящими именами: *Я въ мірѣ боецъ*».

Програмна — краткая, но преизобильная послѣдствіями, не только для личной жизни Бѣлинскаго, но и для его отдаленной памяти въ будущемъ.

Необычайно шумное, *цезарское* вступленіе на общественную арену не всегда служитъ для писателя достовѣрнымъ предзнаменованіемъ его будущей судьбы. Часто это мимолетная вспышка моды, счастливое совпаденіе обстоятельствъ, нерѣдко даже результатъ искусныхъ литературно-житейскихъ маневровъ. Будто блуждающій огонекъ вспыхиваетъ писательское имя, нѣкоторое время носится предъ заинтересованными взорами зрителей, и безслѣдно пропадаетъ, оставляя по себѣ лишь отрывочныя и смутныя впечатлѣнія у любителей «былого».

Не то съ Бѣлинскимъ.

Сильныя чувства, вызванныя его первыми статьями у отдѣльныхъ личностей, постепенно превращались въ широкій общественный интересъ. Кружокъ почитателей и лагерь ненавистниковъ быстро разростались далеко за предѣлы литературнаго міра и журнальныхъ партій. Вскорѣ не надо было произносить самаго имени Бѣлинскаго, чтобы въ *безъимянныхъ* навѣтахъ или *безпредметныхъ* восторгахъ читатели могли отгадать все его же—безпокойнаго при жизни и незабвеннаго по смерти. Придетъ время, о немъ нельзя будетъ говорить въ печати. На его памяти на цѣлые годы отяготѣетъ вынужденное безмолвіе. Но лишь только просвѣтлѣетъ небо надъ его родиной, самымъ блестящимъ свѣтиломъ явится все онъ же, неуничтожимый ни открытыми гоненіями, ни самой страшной карой для писателя—продолжительнымъ молчаніемъ.

Но это не значитъ, будто слава Бѣлинскаго безповоротно доказана и утверждена, будто всеобщій интересъ къ его имени—одно ничѣмъ незатемняемое чувство признательности и любви. Далеко нѣтъ.

Не скоро, часто вѣками—дается вѣнокъ безъ терній тѣмъ, кто

[39]) *Сочин.* I, 494—5.

глубоко взволновалъ своихъ современниковъ и оставилъ послѣ себя богатое наслѣдство великихъ идей и страстныхъ убѣжденій. Они остаются современниками даже среди позднѣйшихъ наслѣдниковъ своего дѣла и потомки, судя ихъ, безпрестанно судятъ вопросы своихъ дней, изрекая тотъ или другой приговоръ надъ ними, свидѣтельствуютъ о своемъ *я*—нравственномъ и общественномъ. И казалось бы—давно ушедшія вдаль—тѣни продолжаютъ стоять воплощенной совѣстью предъ малодушными и двуличными.

Такова краткая и подлинная исторія Бѣлинскаго въ прошломъ и будущемъ.

VIII.

Судить Бѣлинскаго въ высшей степени легко, и именно въ отрицательномъ направленіи. Судъ можетъ вчинить и провести съ успѣхомъ безъ особенныхъ усилій не только какой-нибудь усердный и упорный зоилъ, но просто любой борзописецъ, совершающій набѣги «ради матеріала» на чужіе труды. Стоитъ взять нѣсколько томовъ сочиненій Бѣлинскаго, раскрыть ихъ наудачу въ разныхъ мѣстахъ: немедленно составится пребойкая обвинительная статейка на самыя удручающія темы.

Прежде всего можно отмѣтить странную манеру критика говорить о самыхъ серьезныхъ предметахъ будто стихами въ прозѣ. Предъ нами не спокойное логическое разсужденіе, не послѣдовательная цѣпь опредѣленій и доказательствъ, а взрывы вдохновеннаго лиризма, вереницы поэтическихъ фигуръ, искры пламеннаго чувства. Плавная рѣчь безпрестанно прерывается восклицаніями, переходитъ въ діалогъ, пестритъ многоточіями.

Произведенія начинающаго талантливаго поэта оказываются утренней зарей, обѣщающей прекрасный день. Разочарованный взглядъ на любовь опровергается стремительнымъ гимномъ въ честь сердечныхъ увлеченій. Пессимистическое стихотвореніе поэта поясняется горячими изліяніями личнаго чувства и страстными свидѣтельствами личнаго опыта. Критика выходитъ, пожалуй, лиричнѣе самого произведенія и *разсуждающій* писатель перестаетъ отличаться отъ *творящаго*. Философская идея единства всего существующаго украшается живописными сценами человѣческихъ взаимныхъ сочувствій, пламеннаго отклика счастливца на диссонансы жизни, на чужія слезы и горе, невольнаго благоговѣнія юноши въ присутствіи старца и умиленнаго любованія старца ра-

достями рѣзваго дитяти. Все это что угодно—драма, идиллія, романъ, только не критика въ общепринятомъ смыслѣ.

И авторъ часто совершенно покидаетъ почву отвлеченнаго анализа, даже въ вопросахъ публицистики и исторіи. Міросозерцаніе античнаго грека изображается въ драматической формѣ. Значеніе театра раскрывается въ бурномъ монологѣ, будто извлеченномъ изъ какой-нибудь романтической поэмы и обращенномъ къ читателю-собесѣднику.

Но трудно и сказать, что дѣлается съ критикомъ, когда онъ начинаетъ говорить объ идеѣ! Какихъ только сравненій, образовъ, безграничныхъ перспективъ не подсказываетъ ему его взволнованное чувство! Въ каждой фразѣ критикъ будто стремится захватить васъ трепетомъ своей души и помимо логическихъ доводовъ и разсужденій увлечь васъ бурей восторга и подчинить вашъ разсудокъ мощной искренности вѣры. И вы только въ томъ случаѣ можете послѣдовать за оригинальнымъ философомъ, когда вы одарены такимъ же воспламеняющимся духомъ, когда вы способны холодное резонерство и жесткую логику презрѣть ради свободныхъ поэтическихъ упоеній и жизненныхъ прихотливыхъ красотъ.

Тогда только вы помиритесь съ удивительными эпитетами, разсѣянными рядомъ съ самыми, повидимому, строгими понятіями и прозаическими предметами!

Такъ рѣшались писать развѣ только очень отважные романтики и то въ минуты исключительнаго протеста противъ золотой средины и всяческаго мѣщанства. И критикъ не преувеличиваетъ, сравнивая художественныя волненія съ песчаными мятелями въ безбрежныхъ степяхъ Аравіи... Написать столько страницъ такихъ горячихъ, ни на минуту не ослабѣвающихъ и не тускнѣющихъ рѣчей можно только подъ властью по истинѣ «божественнаго вдохновенія», той самой, таинственной *маніи*, какую древній философъ приписывалъ природѣ великихъ художниковъ.

Все это справедливо, скажутъ намъ, и всякій можетъ наслаждаться этимъ геніемъ при самомъ поверхностномъ знакомствѣ съ Бѣлинскимъ. Но только подобный геній отнюдь не безусловная добродѣтель. Блескъ и остроуміе не создаютъ критика

Онъ прежде всего долженъ быть мыслителемъ, т. е. обладать твердымъ, вполнѣ опредѣленнымъ міросозерцаніемъ, ясной системой художественныхъ принциповъ и общественныхъ идеаловъ, и на публику долженъ дѣйствовать не поэтическимъ азартомъ, а неопровержимой трезвой логикой фактовъ и доказательствъ. И

еще вопросъ, можетъ ли писатель, подверженный такой впечатлительности и безпрестанно состязающійся съ лириками, владѣть строго послѣдовательнымъ умомъ и прочными идеями? Взять того же Бѣлинскаго.

Извѣстно, напримѣръ, какъ скоропалительно онъ провозгласилъ Достоевскаго геніемъ за *Бѣдныхъ людей*, а потомъ жестоко раскаявался въ своемъ увлеченіи и находилъ, что по поводу этого событія о немъ, Бѣлинскомъ, «старомъ чортѣ, безъ палки нечего и толковать» [40]).

Да и одно ли это увлеченіе!

Остановитесь на самыхъ блестящихъ и остроумныхъ страницахъ, извлеките изъ нихъ самыя, повидимому, прочувствованныя и убѣдительныя идеи, сопоставьте ихъ другъ съ другомъ и сдѣлайте выводъ... Окажется, предъ вами нѣчто въ родѣ современнаго критика-импрессіониста, гордаго именно своей непослѣдовательностью и неуловимостью и капризной игрой ума и особенно воображенія. Это хорошо для какого-нибудь Леметра, но вѣдь не допустятъ же русскіе почитатели Бѣлинскаго подобнаго таланта въ своемъ избранномъ критикѣ!..

И доказательствъ опять сколько угодно.

Бѣлинскій писалъ всего какихъ-нибудь четырнадцать лѣтъ. Срокъ, сравнительно, непродолжительный, но сколько разъ онъ то благословлялъ, то проклиналъ однихъ и тѣхъ же боговъ! Проклиналъ, въ буквальномъ смыслѣ, со всею страстью и откровенностью своей «неистовой натуры» [41]).

Это его собственное выраженіе и лучшаго нельзя придумать для точной характеристики многочисленныхъ приключеній его критической мысли.

Сначала «достойнымъ проклятья» оказывается поэтъ, который «своими сочиненіями старается заставить васъ смотрѣть на жизнь съ его точки зрѣнія». Въ такомъ случаѣ онъ даже лишается права числиться поэтомъ: онъ «мыслитель и мыслитель дурной, злонамѣренный, моралистъ». Критикъ спѣшилъ заявить, что такой поэтъ утрачивалъ надъ нимъ свою «чародѣйскую власть», и заставлялъ его или презирать поэта, или жалѣть о немъ [42]).

Немного спустя, всего годъ, публика узнавала новый оттѣ-

---

[40]) *Анненковъ и его друзья*. Спб. 1892 стр. 610.

[41]) Въ письмѣ отъ 12 окт. 1838 г. Пыпинъ. *Бѣлинскій, его жизнь и переписка*. Спб. 1876, I, 175.

[42]) *Литературныя мечтанія*—1834 годъ.

нокъ истины. Съ грѣхомъ пополамъ можетъ быть сопричисленъ къ сонму чародѣевъ и поэтъ, пересоздающій жизнь по собственному идеалу. Правда, онъ качественно ниже поэта, просто воспроизводящаго жизнь «во всей ея наготѣ и истинѣ», но зато уже проклятій по его адресу не слышно [43]).

Но это не значило, что читатели окончательно освободились отъ сюрпризовъ и критикъ не станетъ больше преслѣдовать ихъ «безсознательностью» и «откровенной свыше» художественностью. Напротивъ. Они еще прочтутъ чрезвычайно рѣшительныя нападки на Мольера, на Бомарше за сатиру и тенденціозность, узнаютъ, до какой степени мало *художественно Горе отъ ума* и ниже всякой нравственной критики главный герой комедіи. Въ грибоѣдовскомъ произведеніи нѣтъ цѣлаго, нѣтъ идеи, а Чацкій «просто крикунъ, фразеръ, идеальный шутъ, на каждомъ шагу профанирующій все святое, о которомъ говорятъ».

Возможно ли до такой степени проглядѣть смыслъ пьесы и извратить роль ея героя? Вѣдь достаточно прочесть одну эту страницу въ сочиненіяхъ критика, чтобъ у иного современнаго читателя вырвалось самое нелестное восклицаніе объ его талантѣ и даже личности.

Но мы еще не говоримъ о Бородинскихъ статьяхъ, гдѣ читатель приглашался отказаться наотрѣзъ отъ собственной личности и уничтожиться предъ дѣйствительностью, какова бы она ни была. А потомъ эта удивительная истина: «общество всегда правѣе и выше частнаго человѣка, и частная индивидуальность только до такой степени и дѣйствительность, а не призракъ, до какой она выражаетъ собою общество» [44]).

Вотъ какую проповѣдь произносилъ критикъ со всею «дикостью своей натуры» [45]). Опять его изреченіе и опять оно умѣстно. Да, мы не должны забывать ни объ одномъ излишествѣ нашего героя. Бѣлинскій *весь*, до послѣдней черты, долженъ предстать предъ нами. Именно сомнительныя и, повидимому, несимпатичныя черты его критической дѣятельности должны быть выставлены неуклонно и ярко. Поступая такъ, мы будемъ дѣйствовать въ духѣ самого Бѣлинскаго: онъ никогда не замалчивалъ и не смягчалъ своихъ ошибокъ и мужественно готовъ былъ считаться съ какими угодно послѣдствіями.

---

[43]) *О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя*—1835 годъ.

[44]) Въ статьѣ о *Горѣ отъ ума.*

[45]) Въ письмѣ отъ 10 сент. 1838 года. Пыпинъ. I, 228.

Это, несомнѣнно, рѣдкостное качество, но легче ли тѣмъ, кто захотѣлъ бы оправдать критика въ безпримѣрно-рѣзкой идейной перемѣнчивости, въ прихотливости и стремительности приговоровъ надъ важнѣйшими явленіями русской и иностранной литературы?

Окончательно развѣнчавъ Чацкаго и «частную индивидуальность» и поставивъ на непогрѣшимой высотѣ общество, Бѣлинскій въ слѣдующемъ же году воспѣлъ Байрона за «гордое возстаніе», за «могучій стоицизмъ». И рѣчь критика на этотъ разъ звучала будто невольнымъ чувствомъ сострадания и удивленія къ «несправедливо отягощенной страданіемъ личности» [46]).

Это начало новаго преображеннаго и прозрѣвшаго Бѣлинскаго, но все еще подверженнаго колебаніямъ, оговоркамъ, какому-то мучительному раздвоенію мысли и личныхъ сочувствій, однимъ словомъ—*распаденію*.

Опять его слово, и оно, какъ всегда, вѣрнѣйшая характеристика нравственнаго состоянія критика. Именно въ періодъ *распаденія* онъ доставляетъ обильный и благодарный матеріалъ искателямъ противорѣчій. Умъ Бѣлинскаго будто мечется на распутьи, раннія увлеченія тускнѣютъ и расплываются въ разнообразныхъ уступкахъ новымъ впечатлѣніямъ и опытамъ. Но старое еще окончательно не утратило своей власти и продолжаетъ вести борьбу съ постепенно надвигающимся теченіемъ. Провозглашается право поэта гремѣть благороднымъ негодованіемъ, молитву забывать для проповѣди и лиру мѣнять на свистокъ сатиры, и здѣсь же, безъ всякихъ оговорокъ, посылается привѣтъ раздраженнымъ стихамъ Пушкина о презрѣнной черни и недоступномъ пѣвцѣ... [47]).

Во что вѣруетъ критикъ? По какимъ даннымъ произноситъ свои приговоры? Немного требуется недоброжелательной и преднамѣренно-скептической воли, чтобъ усомниться въ руководящихъ принципахъ вдохновенно-страстнаго и въ то же время безпощаднаго судьи. Для извѣстной цѣли достаточно.

Вполнѣ доказано, предъ нами какой-то странный критикъ-поэтъ, резонеръ-лирикъ, неожиданно-перемѣнчивый въ своихъ предпочтеніяхъ и осужденіяхъ. Можетъ ли онъ сообщить читателю прочное фактическое свѣдѣніе, вкоренить въ него строгую обоснованную идею? Кто поручится, что въ слѣдующій моментъ этотъ фактъ и

---

[46]) Въ статьѣ *Русская литература въ 1840 году.*

[47]) Статья о *Стихотвореніяхъ Лермонтова.*

эта идея не будутъ сброшены и растоптаны новымъ порывомъ и еще болѣе бурный лиризмъ не воздвигнетъ столь же обожаемое но не менѣе тлѣнное божество?

Такой процессъ неоднократно совершался и когда угодно можетъ вновь совершиться надъ личностью и дѣломъ Бѣлинскаго. И такова обоюдоострая привилегія всякаго плодовитаго ума и богатой глубокой личности. Кому за всю жизнь удалось стяжать двѣ-три идеи и въ нихъ почерпнуть вполнѣ достаточный умственный и нравственный матеріалъ для всего своего существованія, тому нечего опасаться противорѣчій, измѣнъ, распаденій и раскаяній. Кто, не мудрствуя лукаво, идетъ вслѣдъ другимъ по ясной и торной дорогѣ, того, навѣрное, не постигнутъ ни сомнѣнія, ни крутыя ошибки, ни опрометчивыя увлеченія. И снисходителенъ будетъ къ нему судъ людей: вѣдь кругомъ него подавляющее большинство одной съ нимъ природы и однихъ духовныхъ силъ.

Но горе тому, кто осмѣлится не только уклониться съ общей дороги, а еще дерзнетъ «проклясть» ее и влечь другихъ на поиски за другими путями и цѣлями. Тогда каждый шагъ станетъ подвергать его все бо̀льшей отвѣтственности, и наблюдатели со стороны откроютъ фальшь и неразуміе всюду, гдѣ не поймутъ или не захотятъ понять новаго движенія.

Все это всѣмъ извѣстныя и даже всѣмъ надоѣвшія истины. А между тѣмъ, онѣ неизмѣнно ложатся въ основу неумирающей вражды косныхъ и рабскихъ инстинктовъ противъ жизни и оригинальности. Носители инстинктовъ, конечно, никогда не сознаются, что ихъ проповѣди вдохновляются такими избитыми и недостойными чувствами. Но сравните нападки современниковъ Бѣлинскаго съ незамолкшими до послѣднихъ дней навѣтами, вы будете поражены ихъ тождественностью.

Упреки въ безграмотности и неучености—исконный воинственный пріемъ критиковъ, нравственно или умственно слишкомъ ничтожныхъ, чтобы въ области убѣжденій подняться выше данной дѣйствительности, а въ области знанія перейти за предѣлы компиляторства и ремесленническаго педантизма.

Но вѣдь и приведенные нами факты изъ сочиненій Бѣлинскаго вполнѣ достовѣрны. Отрицать нельзя, что онъ въ теченіе четырнадцати лѣтъ прошелъ въ своемъ родѣ безпримѣрный путь идейнаго развитія, до такой степени рѣшительный и быстрый, что исходная и заключительная точка могутъ показаться непримиримыми контрастами.

*

Ни у какого ранняго и позднѣйшаго критика подобнаго явленія нельзя открыть. Съ именемъ каждаго непремѣнно соединяется представленіе о цѣльной единой системѣ художественныхъ воззрѣній, о точно опредѣленной литературной школѣ.

А здѣсь представители всѣхъ школъ отъ чистаго художника до вдохновеннаго публициста могутъ черпать, повидимому, одинаково сильные оправдательные документы... Какъ же это объяснить и на какомъ выводѣ остановиться, независимо отъ какихъ бы то ни было нашихъ отношеній къ таланту и личности критика?

Вопросъ въ высшей степени любопытный, и не только для уясненія положительнаго значенія Бѣлинскаго. Во всѣхъ европейскихъ литературахъ текущаго столѣтія нельзя указать ни одного случая, гдѣ бы представился подобный вопросъ въ такой полнотѣ и требовалъ отвѣта поучительнаго вообще для судебъ умственнаго прогресса цѣлаго общества. Нигдѣ и никогда личность одного писателя не воплощала въ себѣ столько основныхъ историческихъ чертъ родной культуры и нигдѣ столь энергическая авторская дѣятельность не распадалась на такіе значительные по смыслу психологическіе періоды. Можно сказать, Бѣлинскій, какъ человѣкъ и какъ писатель, въ своемъ нравственномъ развитіи и литературной дѣятельности воспроизвелъ подробный планъ многообразныхъ преобразованій нашей общественной мысли.

Какими же путями могла сложиться подобная личность и какая сила сообщила такую глубину и значительность ея исканіямъ истины и даже ея заблужденіямъ?

IX.

Общепринятый и легчайшій способъ оцѣнить талантъ писателя и богатство его нравственной природы—поставить его лицомъ къ лицу съ предшественниками и современниками и тщательно прослѣдить зависимость его дѣятельности отъ чужихъ вліяній.

Опять задача именно съ Бѣлинскимъ чрезвычайно простая. Врядъ ли какого еще писателя равнаго значенія обвиняли въ столь многочисленныхъ связяхъ съ разными учителями, руководителями и внушителями. Объ одномъ изъ этихъ духовныхъ отцовъ критика мы говорили и пришли къ заключенію, что Надеждинъ менѣе всего заслуживаетъ право именоваться даже предшественникомъ Бѣлинскаго, не только учителемъ. Заключеніе наше найдетъ

впослѣдствіи и другія основанія, помимо подробнаго разбора дарованія и трудовъ профессора.

Незаслуженная слава Надеждина идетъ отъ самихъ современниковъ и ближайшихъ свидѣтелей совмѣстной дѣятельности ученаго и недоучившагося студента. Тѣ же свидѣтели успѣли открыть и другого, еще болѣе сильнаго авторитета для Бѣлинскаго въ лицѣ Полевого. На этотъ разъ обвиненіе гораздо ближе стояло къ правдѣ, но только не по существу. Мы уже указывали нѣкоторыя черты критики *Телеграфа*, совпадающія съ позднѣйшими пріемами Бѣлинскаго. Но это совпаденіе отнюдь не соотвѣтствовало выводу, сдѣланному петербургскими учеными: Бѣлинскій—школяръ, начитавшійся Полевого [48]). Мысль эту слѣдовало понимать такъ, будто Бѣлинскій только и занимался обезъянничаньемъ чужого ума и чужого искусства. Очевидно, въ уликахъ оскорбленныхъ аристарховъ заключалось столько же злобы, сколько наивности во впечатлѣніяхъ добрыхъ товарищей.

Но существовалъ еще одинъ источникъ, откуда Бѣлинскій могъ почерпать свои идеи и знанія. Источникъ, повидимому, самый серьезный и неопровержимый. Значеніе его признавалъ самъ Бѣлинскій, безпрестанно называя своимъ учителемъ то одного, то другого сверстника, преимущественно двухъ—Михаила Бакунина и Станкевича. Одинъ изъ позднѣйшихъ изслѣдователей прямо заявилъ, что нашъ критикъ «выносилъ строго обдуманныя статьи» изъ бесѣдъ друзей и можетъ «назваться по преимуществу обобщителемъ идей» [49]).

Въ этомъ заявленіи уже нѣтъ ни вражды, ни наивности, если только буквальное и непосредственное пониманіе заявленій самого Бѣлинскаго не считать опрометчивостью и недомысліемъ. На первый взглядъ можетъ показаться неожиданной наша оговорка. Какъ же, въ самомъ дѣлѣ, должны быть принимаемы личныя сообщенія писателя о собственномъ духовномъ развитіи, какъ не буквально и не непосредственно!

Мы думаемъ, бываютъ случаи, когда именно прямыя свидѣтельства заинтересованнаго лица о своихъ отношеніяхъ къ другимъ лицамъ могутъ не соотвѣтствовать истинѣ. Это безусловно возможно, когда свидѣтельства высказываются подъ вліяніемъ первыхъ впечатлѣній, когда одновременно совершается извѣстный

---

[48]) Письмо Плетнева Гроту. *Переписка*. II, 702.

[49]) Анненковъ. *Н. В. Станкевичъ. Переписка его и біографія*. Москва 1857, стр. 73.

процессъ и оцѣниваются его смыслъ и сила. Тогда какъ разъ виновникъ или жертва процесса можетъ явиться менѣе всего достовѣрнымъ и безпристрастнымъ судьей фактовъ и истолкователемъ ихъ послѣдствій. И чѣмъ энергичнѣе и искреннѣе участіе въ процессѣ, тѣмъ менѣе должно быть у насъ надежды услышать отъ самого участника нелицепріятный и *исторически-правоспособный* приговоръ.

Эти соображенія какъ нельзя болѣе подходятъ къ вопросу о Бѣлинскомъ.

Мы, независимо отъ его лирическихъ изліяній по адресу друзей и руководителей, должны изслѣдовать самую сущность его нравственной природы и установить принципы ея постепеннаго роста. Мы, также помимо свидѣтельства сверстниковъ Бѣлинскаго, обязаны составить точное представленіе о психологіи его ближайшихъ друзей и на основаніи этого представленія опредѣлить возможныя духовныя воздѣйствія «кружка» на будущаго критика. Это единственные вѣрные пути къ рѣшенію первостепенной задачи въ нашей исторіи. Мы будемъ считаться не съ мимолетными настроеніями и возбужденными чувствами, а съ самыми источниками и—скоропреходящихъ волненій, и прочныхъ руководящихъ преобразованій міросозерцанія.

Какую нравственную почву представлялъ изъ себя Бѣлинскій, когда на него начали и продолжали дѣйствовать, по общему мнѣнію, сильнѣйшія вліянія Станкевича и его товарищей? Съ другой стороны, на какихъ преимуществахъ могло основываться рѣшающее дѣйствіе этихъ вліяній? Дѣйствительно ли Бѣлинскій явился податливымъ и вполнѣ благодарнымъ *матеріаломъ*, а его сверстники по всѣмъ правамъ заняли роли *творцовъ* и *образователей*?

Бѣлинскому шелъ девятнадцатый годъ, когда онъ явился въ Москву для поступленія въ университетъ. Это очень зеленая молодость, но уже въ двѣнадцать лѣтъ будущій писатель оказался старше своего возраста, и по очень основательнымъ причинамъ.

Современникъ, близко знавшій семью и раннюю жизнь Бѣлинскаго, дѣлалъ такой общій выводъ: «У жизни есть свои сынки и пасынки, и Виссаріонъ Григорьевичъ принадлежалъ къ числу самыхъ нелюбимыхъ своею лихою мачихою. Не радостно она встрѣтила его въ родной семьѣ и дѣтство его, эта веселая, беззаботная пора, было исполнено тревогъ и огорченій столько же, сколько и позднѣйшіе возрасты, и надобно было имѣть ему много воли, много любви, чтобы выйти побѣдителемъ изъ этой страшной борьбы съ роковыми случайностями».

Въ сущности, это выраженіе не соотвѣтствуетъ дѣйствительности, оно слишкомъ романтично и звучитъ интригующимъ тономъ. На самомъ дѣлѣ не было ничего романтическаго и ничего нарочито интереснаго. Мальчикъ просто осужденъ на безпріютность, одиночество и заброшенность съ самыхъ юныхъ лѣтъ. За нимъ не присматриваетъ ни чей любящій и заботливый взглядъ. Его настоящее и будущее сполна въ его рукахъ. Некому даже позаботиться о приличной одеждѣ и онъ ходитъ съ прорѣхами, въ нагольномъ тулупѣ, живетъ по угламъ, располагая вмѣсто мебели квасными боченками и, по его словамъ, попадаетъ даже въ кругъ «людей презрѣнныхъ» [50]).

Такъ онъ позже пишетъ родителямъ, и здѣсь же прибавляетъ, что онъ «имѣлъ право лѣниться». При такихъ условіяхъ права не ограничиваются лѣнью. Мальчикъ могъ весьма легко уподобиться тѣмъ же презрѣннымъ людямъ или окончательно захирѣть и затеряться.

Ничего подобнаго не случилось.

Ученикъ уѣзднаго училища—онъ уже проникнутъ собственнымъ достоинствомъ. Онъ побѣдоносно справляется съ школьной наукой, не смущается ни низшаго, ни высшаго начальства, не приходитъ въ восторгъ отъ его похвалъ и не волнуется его наградами. Онъ будто *знаетъ себя* и съ двѣнадцати лѣтъ чувствуетъ силы, превосходящія всяческія внѣшнія поощренія и не нуждающіяся въ благопріятныхъ обстоятельствахъ.

Онъ много читаетъ и не затрудняется показывать свои необязательныя знанія въ ученическихъ отвѣтахъ. Его уже теперь трудно цѣнить на общую мѣрку школьниковъ. На формальный взглядъ учителей онъ плохой ученикъ, на общечеловѣческій—онъ обладатель блестящихъ способностей, серьезной мысли и богатыхъ—оффиціально лишнихъ—знаній.

И мальчикъ отлично понимаетъ свое исключительное положеніе. Онъ—бѣдный, оборванный—не производитъ впечатлѣнія слабаго и заброшеннаго. Онъ смѣлъ въ поступкахъ и рѣчахъ, даже болѣе—онъ рѣшителенъ въ важнѣйшихъ вопросахъ своей дальнѣйшей жизни.

Онъ рано задумываетъ попасть въ университетъ и перестаетъ посѣщать гимназію. Его исключаютъ «за нехожденіе въ классъ». Его это не смущаетъ. Не даромъ онъ не руководится чужими

---

[50]) Письмо отъ 17 февр. 1831 года. *Р. Старина.* XV, 79.

мнѣніями, самъ обо всемъ думаетъ, и изгнаніе изъ гимназіи не разрушаетъ его плановъ и не подрываетъ его энергіи. Онъ является въ Москву съ единственнымъ капиталомъ—«пламеннымъ желаніемъ» достигнуть намѣченной цѣли, и становится студентомъ.

Начинается истинный мартирологъ! Сначала «казенный коштъ», нѣчто въ родѣ кантонистскаго общежитія... «Да будетъ проклятъ этотъ несчастный день!» восклицалъ потомъ Бѣлинскій, вспоминая свое поступленіе подъ кровъ казенныхъ блогодѣяній.

А передъ этимъ только онъ умолялъ отца не оставить его умереть съ голоду, убѣдительно напоминалъ ему его званіе отца и описывалъ свои хожденія по мукамъ, среди безъисходной нужды въ платьѣ и въ пищѣ... Можно ли учиться въ такомъ положеніи?

Для Бѣлинскаго можно, если бы было гдѣ. Онъ страстно интересуется образовательными учрежденіями Москвы, — университетскимъ музеемъ, библіотекой, театромъ. Онъ даетъ подробные и горячіе отчеты родителямъ о своихъ новыхъ впечатлѣніяхъ. Онъ, очевидно, преисполненъ жаждой подѣлиться думами и чувствами и даже забываетъ о тяжелыхъ опытахъ своего дѣтства. Только въ невыносимые приступы отчаянія, когда въ отцовскихъ письмахъ оказывалась все та же жестокость и укоризны, Бѣлинскій вспоминалъ, какъ подобные «поступки» «раздирали душу» его. И по временамъ ему приходилось опять возвращаться къ давно знакомому убѣжденію: «Я вижу, что оставленъ, брошенъ, презрѣнъ, что обо мнѣ не хотятъ и знать»... [51]).

Эта смѣна мимолетнаго забвенія и отдыха воплями страшной нравственной боли наполняетъ всю университетскую жизнь Бѣлинскаго. Когда онъ восторженно говоритъ объ игрѣ Щепкина, разсуждаетъ о русскихъ писателяхъ, мы ясно видимъ, какъ истерзанная душа хватается за всякій призракъ свѣта и отрады. Она ищетъ примиренія съ какой бы то ни было дѣйствительностью. Потому что—противоестественна вѣчная боль надорванныхъ нервовъ и невыносимо мучительна непрестанная дрожь негодованія, мучительна особенно въ девятнадцать лѣтъ, когда такъ хочется гармоніи и счастья! И жажда примиренія здѣсь не будетъ прекраснодушнымъ вожделѣніемъ объ идиллическомъ покоѣ и мечтательномъ самодовольномъ блаженствѣ. Нѣтъ. Въ такой формѣ она роскошь, потребность исключительнаго комфорта послѣ того, какъ всѣ насущныя нужды удовлетворены и человѣку требуется не только счастье, но и наслажденіе.

[51]) *Р. Стар.* XV, 56, 60.

Бѣлинскій далекъ отъ этого предѣла. Онъ не достигнетъ ничего подобнаго до конца своихъ дней. Онъ неустанно будетъ горѣть другой страстью,—не стремленіемъ и желаніемъ, а именно страстью. Вопросъ идетъ о спасеніи личности и жизни въ буквальномъ смыслѣ. Необходимо найти что-либо положительное, что-нибудь полюбить, на чемъ-нибудь успокоить жгучее чувство одиночества. Необходимо вѣровать и поклоняться, чтобы не истомиться въ конецъ гнѣвомъ и отчаяніемъ. Равнодушный скептицизмъ и эпикурейское презрѣніе совершенно недоступны подобной натурѣ. Вся ея жизнь въ движеніи, а оно немыслимо безъ цѣли, т. е. безъ идеала, безъ вѣрованія, безъ любви.

Впослѣдствіи Бѣлинскій разскажетъ про себя удивительную и въ то же время грустную исторію. Въ ея внутреннемъ смыслѣ заключена вся мощь его генія и все значеніе его жизненнаго дѣла.

«Съ горя, чтобы любить хоть кого-нибудь, завелъ себѣ котенка и иногда развлекаю себя удовольствіемъ кроткихъ и невинныхъ душъ—играю съ нимъ» [52].

Легко представить, съ какой стремительностью долженъ былъ искать «удовольствія кроткихъ и невинныхъ душъ» двадцатилѣтній студентъ, угнетаемый нищенской нуждой, лишенный опоры въ самыхъ близкихъ по природѣ людяхъ! Мы должны запомнить этотъ моментъ и его психологическое содержаніе. Онъ многое объяснитъ намъ въ самомъ критическомъ эпизодѣ духовной жизни Бѣлинскаго. Моментъ достигъ высшаго напряженія, благодаря жестокой неудачѣ самаго дорогого замысла нашего героя. Бѣлинскаго исключили изъ университета спустя два года по вступленіи—«по слабому здоровью и притомъ по ограниченности способностей» [53]. Это было несчастіе, но не горшее. Величайшее разочарованіе постигло Бѣлинскаго въ судьбѣ его литературнаго произведенія,—трагедіи. Онъ разсчитывалъ повернуть свой злополучный житейскій путь по другому направленію и былъ разбитъ безпощадно и непоправимо.

«Драматическая повѣсть»—*Дмитрій Калининъ* должна занимать одно изъ первыхъ мѣстъ среди нашихъ источниковъ для уясненія личности Бѣлинскаго и ея позднѣйшихъ преобразованій.

---

[52]) Письмо отъ 23 февраля 1843 года. *Сборникъ Общества любителей россійской словесности на 1891 годъ*. Москва 1892, стр. 282, въ статьѣ В. А. Гольцева.

[53]) Подлинный документъ объ увольненіи напечатанъ. *Р. Старина*. XV, 677—8.

«Повѣсть»—одна изъ искреннѣйшихъ исповѣдей, когда-либо возникшихъ изъ подъ писательскаго пера. Для насъ она непогрѣшимая путеводная нить въ исторіи великой души.

X.

Бѣлинскій, непосредственно послѣ разгрома своей мечты, такъ объяснялъ смыслъ своей драмы:

«Въ этомъ сочиненіи, со всѣмъ жаромъ сердца, пламенѣющаго любовью къ истинѣ, со всѣмъ негодованіемъ души, ненавидящей несправедливость, я въ картинѣ довольно живой и вѣрной представилъ тиранство людей, присвоившихъ себѣ гибельное и несправедливое право мучить себѣ подобныхъ. Герой моей драмы есть человѣкъ пылкій, съ страстями дикими и необузданными; его мысли вольны, поступки бѣшены и слѣдствіемъ ихъ была его гибель».

Молодой авторъ находилъ, что подобная задача и такой герой вполнѣ допустимыя явленія. Онъ даже ждалъ лавровъ и одобренія отъ университетскаго начальства и цензурнаго вѣдомства, по очень простымъ соображеніямъ: «Мое сочиненіе не можетъ оскорбить чувства чистѣйшей нравственности и цѣль его есть самая нравственная»...

Какимъ же надо было обладать оптимизмомъ, чтобы питать такія мысли послѣ, кажется, весьма внушительныхъ опытовъ и отъ жизни, и отъ университетской науки! Бѣлинскій не могъ безъ чувства отвращенія вспоминать о реторическихъ упражненіяхъ ископаемыхъ профессоровъ піитики и элоквенціи. «Пошлость большей части нашихъ профессоровъ,—говоритъ кн. Одоевскій,—порождала въ немъ лишь презрѣніе». Утѣшеній никакихъ не давала университетская аудиторія. Оставалось искать ихъ внѣ университета, прежде всего въ своей личной мысли и въ вѣрѣ въ свои силы и въ свое будущее. А нравственная сила всегда найдетъ нѣчто свѣтлое и возвышенное даже среди окружающей дѣйствительности. Неизлѣчимая тоска и грусть или безпросвѣтный пессимизмъ, разрушающій всякую живую энергію—свидѣтельства немощи и малодушія. Бѣлинскій не поддавался этимъ недугамъ въ самыя тяжелыя минуты, и теперь онъ, задыхающійся въ тискахъ всевозможныхъ лишеній и разочарованій, готовъ пѣть гимнъ во славу красоты и истины.

Въ предисловіи къ драмѣ молодой авторъ ведетъ трогательную рѣчь о «морѣ мыслей и чувствованій, возбуждаемыхъ созерцаніемъ

этой чудесной, гармонической, безпредѣльной вселенной... судьбою человѣка, сознаніемъ его нравственнаго величія». Это — романтическій идеализмъ, шиллеровскія настроенія и они подскажутъ автору и ослѣпительный блескъ въ лицѣ героини трагедіи, подавляющую силу и отвагу въ лицѣ героя и кромѣшную тьму въ душахъ враговъ добра. Великое и ничтожное будутъ доведены до крайнихъ предѣловъ, человѣческое превратится или въ божественное, или въ адское. Никакихъ сдѣлокъ съ будничной дѣйствительностью и уступокъ смертной природѣ авторъ не допуститъ. Такъ и впослѣдствіи онъ, охваченный идеей, пойдетъ до послѣднихъ логическихъ выводовъ, какіе только возможны, и готовъ будетъ, подобно средневѣковому рыцарю, пожертвовать своимъ счастьемъ и самой жизнью, лишь бы ни одна тѣнь, ни что двусмысленное не коснулось обожаемаго имени его дамы. Все равно, какъ у Лермонтова еще съ дѣтскаго возраста сталъ складываться образъ мощный и таинственный, впослѣдствіи воплотившійся въ Демонѣ и во множествѣ демоническихъ фигуръ, такъ и у Бѣлинскаго въ годы юности развился истинно религіозный культъ предъ неустрашимо-послѣдовательной духовной силой, предъ цѣльностью мысли и чувства, предъ неразрывной гармоніей ума и воли, міросозерцанія и жизни.

Въ этомъ представленіи интересъ трагедіи. Объ ея художественныхъ достоинствахъ не можетъ быть и рѣчи. Здѣсь она— нестройный крикъ, но именно, и драгоцѣнна своей нестройностью и своей открытой искренностью. Пусть герой Дмитрій Калининъ напоминаетъ Карла Моора, а героиня Софья Лѣсинская—Луизу, пусть и для лагеря злодѣевъ можно найти сколько угодно подлинниковъ, отнюдь не въ жизни, а въ шиллеровской поэзіи, трагедія все-таки результатъ не перечитаннаго, а пережитаго, и— главное, передуманнаго.

Мысль—единственная и всемогущая муза новаго писателя, и если онъ станетъ чертить свои фигуры слишкомъ одноцвѣтными красками, если онъ каждую изъ нихъ превратитъ въ плоть какого-нибудь отвлеченія, это будетъ торжествомъ преслѣдующей его идеи. Въ общемъ выростетъ стремительная атака на «тиранство», т. е. крѣпостное право.

Дмитрій Калининъ—олицетворенная страсть и «горячка». Даже о самыхъ обыкновенныхъ, «прозаическихъ» предметахъ онъ говоритъ пылко и стремительно. Онъ воспринимаетъ жизнь совершенно иначе, чѣмъ другіе люди. Онъ одаренъ, повидимому, не-

измѣримо бо́льшимъ количествомъ тончайшихъ путей, по нимъ впечатлѣнія доходятъ до его ума и сердца и дивной душевной лабораторіей, неутомимо выбрасывающей снопы героическихъ образовъ и запальчивыхъ идей. Мы по первому его монологу чувствуемъ, что явленія внѣшняго міра, безразличныя для большинства, способны этого человѣка бросить въ жаръ и холодъ и вызвать у него неожиданную вереницу общихъ мыслей и искреннѣйшихъ сердечныхъ откровеній. И тогда нѣтъ на его пути достаточно внушительныхъ силъ, чтобы заставить его податься въ сторону или остановиться.

И вы не думайте, будто это лишь одна накипь молодости, чисто шиллеровская буря и натискъ, естественныя въ незрѣлые годы романтизма и совершенно неосновательные въ возрастѣ возмужалости и солидности. У Бѣлинскаго не будетъ и даже немыслимъ вдохновитель, подобный Гёте. Никакой олимпіецъ и тайный совѣтникъ не совратитъ «неистоваго Виссаріона» съ его рыцарственной дороги. Онъ до послѣдняго момента будетъ горѣть неугасимымъ огнемъ недовольства, протеста и неутомимой жаждой все той же разумной и справедливой гармоніи.

Хотите доказательствъ, обратитесь къ личнымъ письмамъ Бѣлинскаго, и именно къ тѣмъ, гдѣ вопросы стоятъ просто и до прозрачности ясно, гдѣ интересы автора не взвинчены никакимъ публицистическимъ азартомъ и преднамѣренной аффектаціей.

Дмитрій Калининъ неистовствуетъ противъ разрушителей его личнаго счастья, опирающихся на господское право по закону «мучить себѣ подобныхъ». Въ сходное положеніе попадаетъ самъ авторъ драмы.

Онъ задумываетъ жениться и немедленно наталкивается на стѣну предразсудковъ, отдѣляющую его невѣсту отъ подлинной человѣческой свободы и независимаго достоинства мыслящей личности. И посмотрите, что̀ совершается съ этимъ, уже весьма закаленнымъ бойцомъ!

Это все тѣ же монологи Дмитрія Калинина, и даже сущность ихъ не измѣнилась, потому что на свѣтѣ не бываетъ двухъ правдъ и верховныя нравственныя истины не подлежатъ метаморфозамъ.

Въ письмахъ къ будущей женѣ Бѣлинскій не стѣсняется осыпать проклятіями ея старомодныхъ родственниковъ, почитателей разныхъ свадебныхъ обычаевъ, невѣсту укорять въ тѣхъ же рабскихъ чувствахъ и грозить ей, что онъ посѣдѣетъ отъ гнусной жениховской «пытки»! Онъ буквально дрожитъ отъ негодованія

и обиды при одной мысли вступить въ сдѣлку съ ненавистнымъ «общественнымъ мнѣніемъ». Слова «низко», «недостойно» гремятъ безпрестанно. Для него въ дѣйствительности нѣтъ даже понятій *теорія* и *практика*, идея и жизнь, для него это нѣчто безусловно цѣльное, неразрывное и, можно сказать, *физически* связанное со всѣмъ его существомъ [54]).

На иной взглядъ можетъ показаться едва вѣроятнымъ и даже забавнымъ, какъ человѣкъ поднимаетъ бурю изъ-за такого второстепеннаго вопроса, вѣнчаться ли по общепринятому порядку, въ присутствіи родственниковъ или какъ-нибудь проще? Но для Бѣлинскаго здѣсь вопросъ *кровный*, какъ онъ самъ выражается, и кровный именно потому, что на сцену выступаетъ мысль о сдѣлкѣ, хотя бы даже фактически ничтожной измѣнѣ убѣжденію. А въ этомъ смыслѣ для Бѣлинскаго нѣтъ мелочей. Какъ у истиннаго рыцаря, у него всякое лыко въ строку, разъ задѣта честь его идеала. Не можетъ быть и рѣчи о политикѣ, о колебаніяхъ и послабленіяхъ. Для Бѣлинскаго благородная мысль, пребывающая въ области созерцанія и заглушаемая силой и назойливыми притязаніями дѣйствительности, совершенная безсмыслица и чистѣйшая пошлость. «Это значитъ молиться Богу своему втайнѣ, а вьявь приносить жертвы идоламъ».

И намъ, не легко, можетъ быть, представить, сколько въ самомъ дѣлѣ заключалось здѣсь натуры и крови. Послушайте, что Бѣлинскій пишетъ невѣстѣ въ отвѣтъ на ея доводы о неизбѣжности вмѣшательсства «общественнаго мнѣнія» въ ея свадьбу. Приведемъ всего нѣсколько строкъ, по истинѣ замѣчательныхъ, вскрывающихъ съ анатомической точностью душу удивительнаго человѣка.

«Да, Marie, мы съ вами во многомъ расходимся. Вы, за отсутствіемъ какихъ-либо внутреннихъ убѣжденій, обожествили деревяннаго болвана общественнаго мнѣнія и преусердно ставите свѣчи своему идолу, чтобъ не разсердить его. Я съ дѣтства моего считалъ за пріятнѣйшую жертву для Бога истины и разума — плевать въ рожу общественному мнѣнію тамъ, гдѣ оно глупо или подло, или то и другое вмѣстѣ. Поступить наперекоръ ему, когда есть возможность достигнуть той же цѣли тихо и скромно, для меня божественное наслажденіе».

---

[54]) Письма Бѣлинскаго къ М. В. Орловой, его невѣстѣ, напечатаны въ *Сборникѣ О. Л. Р. С.* на 1896 годъ, стр. 157 etc.

Это не фразы. За нихъ авторъ разсчитывается всѣми своими нервами, всѣми силами ума и таланта. Этимъ впослѣдствіи объяснится намъ удивительный фактъ. Сколько бы перемѣнъ ни происходило въ міросозерцаніи Бѣлинскаго, въ какія бы крайности онъ ни бросался, его *нравственный* авторитетъ не колебался среди его друзей и читателей.

Сочинить бородинскія статьи наканунѣ сороковыхъ годовъ стоило громаднаго риска въ томъ кругу, гдѣ вращался критикъ. Но сочинить совершенно безкорыстно, ради единственнаго удовольствія высказать свое мнѣніе—это коренным образомъ мѣняло вопросъ:

Бѣлинскій какъ былъ, такъ и остался чистѣйшимъ духовнымъ зеркаломъ для близкихъ ему людей. Такіе различные по личнымъ характерамъ и умственному направленію люди, какъ Панаевъ, Тургеневъ, Кавелинъ, Герценъ, Станкевичъ, единодушно свидѣтельствуютъ о кристальной чистотѣ нравственной природы Бѣлинскаго и чисто стоическомъ благородствѣ и неподкупности его стремленій.

Съ общаго безмолвнаго согласія онъ превратился въ оригинальнаго цензора нравовъ. Люди, чувствовавшіе за собой какой-либо изъянъ, тщательно таили его отъ взоровъ безпощаднаго энтузіаста, будто отъ воплощенной совѣсти и невольно становились лучше въ присутствіи призваннаго судьи, одинаково нелицепріятнаго и съ собой, и съ другими.

Даромъ не даются такія права. Человѣческій эгоизмъ только въ исключительныхъ случаяхъ поступается своими притязаніями. Дѣятельность и личность Бѣлинскаго были именно такимъ случаемъ для современниковъ, считавшихъ въ своемъ кругу первостепенныя художественныя и умственныя силы. Не простили бы другому и «абстрактный героизмъ» и непосредственно воспослѣдовавшее фанатическое обожаніе дѣйствительности, не простили бы именно при общественныхъ и литературныхъ условіяхъ эпохи.

Но относительно Бѣлинскаго никто не смѣлъ помыслить о злорадной мести, объ унизительныхъ намекахъ. Онъ будто парилъ на недосягаемой высотѣ—если не идейной непогрѣшимости во всѣхъ частныхъ вопросахъ, то общей принципіальной безупречности.

И позднѣйшимъ противникамъ критика приходилось жаловаться на *деспотизмъ* имени и таланта Бѣлинскаго. Такія жалобы, напримѣръ, пускалъ въ ходъ одинъ изъ достойныхъ младшихъ современниковъ критика—Валеріанъ Майковъ, рѣшившійся спорить

съ грознымъ «вожакомъ» по нѣкоторымъ второстепеннымъ вопросамъ искусства.

Надо сколько-нибудь вдуматься въ эти явленія и чрезвычайность ихъ, особенно въ исторіи нашего общества, должна поразить самаго предубѣжденнаго наблюдателя.

Но здѣсь чрезвычайное—естественно и законно. Какъ же иначе можно смотрѣть на человѣка, способнаго переживать такіе, напримѣръ, моменты?

Его убѣжденія остаются безплодными, предъ нимъ продолжаютъ воздвигать все тотъ же призракъ идола, тогда онъ пишетъ:

«Письмо ваше, Маріе, заставило меня перегорѣть въ жгучемъ мучительномъ огнѣ такихъ адскихъ мукъ, для выраженія какихъ у меня нѣтъ словъ. Мнѣ хотѣлось броситься не на полъ, а на землю, чтобы грызть ее. Задыхаясь и стоная, валялся я по дивану. Мой докторъ говорилъ на сторонѣ, что если бы я не послалъ къ нему, я или бы умеръ къ утру отъ удара въ голову, или сошелъ бы съ ума».

Эта сцена совершенно въ духѣ юношеской трагедіи и прославленный писатель не далеко ушелъ отъ Дмитрія Калинина по «огненнымъ словамъ, живымъ образамъ и непосредственному чувству».

Это—его выраженія и въ нихъ подлинный портретъ ихъ автора отъ его первой молодости до заката дней. Письмо къ Гоголю, увѣнчивавшее «ратованіе» всей жизни Бѣлинскаго будетъ все такимъ же гремящимъ монологомъ драмы, какими теперь являются предъ нами рѣчи «раба».

XI.

Рабъ—на этомъ понятіи построенъ весь паѳосъ трагедіи. «Я весь превращаюсь въ злобу и неистовство»,—говоритъ Дмитрій, и это только при одномъ звукѣ слова. Протесты Карла Моора не идутъ ни въ какое сравненіе съ «неистовствомъ» нашего героя. Тамъ почти сплошной книжный багажъ, иносказанія на темы женевскаго философа, чужая теорія, только подогрѣтая своими экстренными средствами. Герои бѣгаютъ «опрометью», «какъ сумасшедшіе», говорятъ «съ пламенѣющими щеками», стоятъ «будто пораженные громомъ», ударяютъ о камни оружіемъ непремѣнно такъ, что «сыплются искры», постоянно призываютъ небо, адъ, землю, всякіе ужасы, любятъ бесѣдовать весьма свободно съ самимъ Богомъ.

Подобныхъ ремарокъ и припадковъ мы найдемъ не мало и въ драмѣ Бѣлинскаго, въ ту эпоху одержимаго «абстрактнымъ героизмомъ» и шиллеровскимъ геніемъ. Но по существу—какая громадная разница! Мы должны сосредоточить на ней наше вниманіе. Она подготовитъ насъ къ точному отвѣту на величайшій вопросъ въ исторіи Бѣлинскаго: почему Шиллеръ могъ кончить эллинствующимъ созерцателемъ, а его когда-то страстный поклонникъ—умереть съ пламенной рѣчью на устахъ, сгорѣть въ борьбѣ какъ въ своей стихіи?

Герой шиллеровской юности—гигантъ внѣ всякихъ человѣческихъ измѣреній. Онъ вычеркиваетъ изъ жизни человѣчества все прошлое и настоящее, уничтожаетъ общество, его исторію, его законы. Ему гадокъ чернильный вѣкъ, гадки люди, заслоняющіе ему «человѣчество», нестерпима философія, стремящаяся «обморочить природу», ненавистны въ особенности всякіе законы: «они превратили въ улитокъ то, что взвилось бы орлинымъ полетомъ, и не создали ни одного великаго человѣка».

Сущность созерцанія Карла Моора лежитъ за предѣлами обычнаго міроваго порядка и строя. Онъ желаетъ всего или ничего, крайность и геніальность для него тожественны. «Свобода», по его мнѣнію, «производитъ крайности и колоссовъ». Его преслѣдуютъ исключительно грандіозные образы. *Людей* нѣтъ, есть *человѣчество*, а самъ герой мститель за его страданія и орудіе Верховнаго судьи.

На меньшемъ Карлъ Мооръ не помирится. Еще ребенкомъ онъ мечталъ «жить какъ солнце и какъ оно умереть». На этомъ тріумфальномъ пути нѣтъ препятствій, не можетъ быть паденій. «Пусть страданія,—восклицаетъ герой,—разобьются о мою твердость! Я выпью до дна чашу бѣдствій!...»

Очевидно, предъ нами героизмъ по существу внѣ времени и пространства, даже внѣ законовъ природы. Отъ подобнаго азарта весьма естественно и даже прямо разумно перейти къ охлажденію и разочарованію. Кто одушевленъ мыслью слить черную землю съ голубымъ небомъ, кто горитъ притязаніями наложить печать своего личнаго могущества на самыя основы жизни и природы, тотъ собственными усиліями роетъ пропасть и для своихъ притязаній и для своего одушевленія. Это все равно, что поднять человѣческій голосъ на высоту инструмента: голосъ неминуемо оборвется и пѣвецъ можетъ утратить способность пѣть даже обыкновеннымъ человѣческимъ голосомъ.

Такъ именно произошло съ Шиллеромъ.

Наслѣдіемъ фантастическаго величія и молніеноснаго героизма явились кроткія пѣсни въ честь неземной красоты и неуловимыхъ сновъ прекрасной души. Бѣлинскій явно вдохновлялся Шиллеромъ и *Разбойниками* по преимуществу. Это—первая ступень его духа, для насъ особенно поучительная: на ней долженъ обнаружиться весь полетъ будущаго писателя.

Дмитрій Калининъ не меньше Карла Моора чувствуетъ пристрастіе къ роковымъ настроеніямъ и потрясающимъ поступкамъ, «погружается въ мрачную задумчивость», «скрипитъ отъ ярости зубами», впадаетъ въ «неистовый восторгъ», явно соревнуетъ съ шиллеровскимъ разбойникомъ, желая, въ случаѣ гибели своихъ надеждъ, «въ одно мгновеніе истребить этотъ чудовищный міръ»...

«О! кровавыми руками,—восклицаетъ онъ,—исторгнулъ бы я тогда изъ своего сердца остатки жалости и состраданія, превратилъ бы всѣ мои чувства и помышленія въ ярость и неистовство, своимъ дыханіемъ, какъ вредоноснымъ ядомъ заразилъ бы воздухъ и воду, и, смотря на ужасъ и суетливость, съ которыми бы зашевелились эти муравьи въ своемъ муравейникѣ, съ дикимъ хохотомъ, съ адскимъ самонаслажденіемъ проговорилъ бы: «Я рабъ! Софья выходитъ замужъ!..» [55]).

Это—достойно Шиллера. Но прислушайтесь къ восклицанію *я рабъ*! это русскіе звуки, безусловно реальные и, слѣдовательно, истинно-драматическіе. Паѳосъ Дмитрія сосредоточенъ не на коренномъ преобразованіи мірозданія, а на самомъ близкомъ осязаемомъ злѣ русской дѣйствительности. Рядомъ съ нимъ является на сцену герой, напоминающій также шиллеровское созданіе—камердинера изъ *Коварства и любви*. Въ этой трагедіи поэтъ несравненно ближе къ землѣ и къ человѣческой правдѣ и камердинеръ, личность культурно-историческая, живое народное преданіе о подвигахъ патріархальныхъ нѣмецкихъ властителей. Иванъ Бѣлинскаго выполняетъ ту же задачу.

Онъ—крѣпостной и вся его роль создана за тѣмъ, чтобы объяснить публикѣ смыслъ этого общественнаго состоянія. Предъ нами Иванъ не только разсказываетъ о неистовствахъ барыни, но

---

[55]) Картина третья. Пьеса напечатана въ *Сборникѣ О. Л. Р. С. на 1891 годъ*. Нѣсколько сценъ напечатаны въ *Р. Старинѣ*, 1876, январь. Въ этомъ отрывкѣ нѣкоторыя лица носятъ другія имена, чѣмъ въ полномъ текстѣ. Трагедія раньше называлась *Владиміръ и Ольга*.—Воспоминанія Н. Аргиландера. *Р. Стар.* XXVIII, 141.

и претерпѣваетъ ихъ. Мы видимъ *практику* крѣпостничества во всей истинѣ и здѣсь же находится человѣкъ, умѣющій краснорѣчиво и, по собственному опыту, прочувствованно оцѣнить явленіе.

Послѣ разсказа Ивана Дмитрій произноситъ слѣдующій монологъ:

«Неужели эти люди для того только родятся на свѣтъ, чтобы служить прихотямъ такихъ же людей, какъ и они сами?.. Кто далъ это гибельное право однимъ людямъ порабощать волю другихъ, подобныхъ имъ существъ, отнимать у нихъ священное сокровище—свободу? Кто позволилъ имъ ругаться правами природы и человѣчества? Господинъ можетъ для потѣхи или для разсѣянія содрать шкуру съ своего раба, можетъ продать его, какъ скота, вымѣнять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь съ отцомъ, съ матерью, съ сестрами, съ братьями и со всѣмъ, что для него мило и драгоцѣнно!.. Милосердый Боже! Отецъ человѣковъ! отвѣтствуй мнѣ: Твоя ли премудрая рука произвела на свѣтъ этихъ зміевъ, этихъ крокодиловъ, этихъ тигровъ, питающихся костями и мясомъ своихъ ближнихъ, и пьющихъ, какъ воду, ихъ кровь и слезы?..»

Въ экземплярѣ, представленномъ въ цензурный комитетъ, авторъ счелъ нужнымъ сдѣлать къ монологу своего героя примѣчаніе. Здѣсь говорится о «славѣ и чести нашего мудраго и попечительнаго правительства», истребляющаго «подобныя тиранства». Для доказательства приводится указъ о наказаніи нѣкоей купчихи «за тиранское обращеніе съ своею дѣвкою». «Этотъ указъ,—прибавляетъ авторъ,—долженъ быть напечатанъ въ сердцахъ всѣхъ истинныхъ друзей человѣчества, въ сердцахъ всѣхъ истинныхъ россіянъ, умѣющихъ цѣнить мудрыя распоряженія своего правительства» [56]).

Явная captatio benevolentiae по адресу подлежащаго вѣдомства. Но дипломатія Бѣлинскаго не имѣла ни малѣйшаго успѣха, только, повидимому, разожгла негодованіе профессоровъ-цензоровъ. Они грозили ему, ни болѣе, ни менѣе, какъ лишеніемъ правъ состоянія и ссылкой въ Сибирь... Такъ разсказываетъ очевидецъ, и въ разсказѣ нѣтъ ничего неправдоподобнаго, если мы припомнимъ даже университетскіе нравы и литературные пріемы Каченовскихъ и Надеждиныхъ, еще сравнительно лучшихъ среди академическихъ просвѣтителей тридцатыхъ годовъ [57]).

[56]) *Сборникъ*, стр. 528.

[57]) Восп. Аргилландера. *Ib.*, стр. 142.

И цензоры—правы. *Духъ* трагедіи слишкомъ громко говоритъ за себя, чтобы его можно было облагонамѣрить кроткими примѣчаніями. Даже безнадежно близорукимъ и глухимъ могла броситься искренность, воодушевлявшая именно монологи протеста. Въ эти минуты авторъ уже теперь иногда обнаруживалъ истинно-художественное дарованіе, обильно отпущенное ему природой, не драматическое, а сверкающій лиризмъ, впослѣдствіи одно изъ неотразимыхъ оружій критика.

Такъ, напримѣръ, героиня на разсудительные уговоры подруги отвѣчаетъ, что ея несчастія безпримѣрны и горю ея нѣтъ предѣловъ. «Въ цвѣтущей юности, въ порѣ сладостныхъ мечтаній, осыпанная всѣми дарами фортуны и воспитанія, я есть ни что иное, какъ жертва, украшенная цвѣтами для закланія».

Столь же краснорѣчивъ авторъ и тамъ, гдѣ должна звучать его личная завѣтная жажда свѣта и гармоніи. Онъ, несомнѣнно, весь на сторонѣ своего героя, когда тотъ мечтаетъ о свободномъ жизненномъ пути: «цвѣточной цѣпью прикую къ себѣ вѣтреное, легкокрылое счастіе, и вся жизнь моя будетъ восторгъ, упоеніе и любовь».

Мы твердо увѣрены, подобный идеалъ недостижимъ ни для автора, ни для его героя. Но мечты всегда отражаютъ дѣйствительность: чѣмъ она безотраднѣе и чѣмъ мучительнѣе напряженіе силъ, тѣмъ настоятельнѣе желаніе—«забыться и заснуть». Именно у самыхъ энергическихъ натуръ неизбѣжны эти мгновенныя вожделѣнія о покоѣ и не мерцающемъ свѣтѣ. Это моменты невольной усталости и какъ бы самоотреченія, но тѣмъ выше и грознѣе слѣдующій протестующій взрывъ!..

У Бѣлинскаго онъ всегда будетъ направленъ на предметъ всѣмъ ясный и, что, особенно существенно—вполнѣ доступный воздѣйствію человѣческихъ силъ. Предъ нами неопровержимое доказательство, что протестъ—осмысленный и логически-послѣдовательный результатъ личной жизни негодующаго юноши. Авторъ трагедіи лишенъ таланта чувства и идеи воплощать живые художественные образы, но онъ становится истиннымъ художникомъ всякій разъ, когда пламенной рѣчью клеймитъ рабскую и убогую дѣйствительность. Этотъ лиризмъ страсти и гнѣва ляжетъ въ основу публицистическаго генія Бѣлинскаго. Безпрестанно почерпая новые мотивы въ ближайшихъ личныхъ опытахъ, критикъ ни на одно мгновеніе не отдалится отъ жизни и правды, какими бы теоріями и символами философской вѣры ни увлекался его вѣчно жаждущій умъ.

*

И мы съ самаго начала должны твердо и отчетливо запомнить родовыя черты этого оригинальнаго типа, установить прирожденныя основы мыслящей и дѣйствующей личности. Тогда только мы можемъ разсчитывать на правильное рѣшеніе основного вопроса: на сколько Бѣлинскій былъ созданъ внѣшними вліяніями и на сколько его дѣятельность можетъ считаться самобытнымъ и, слѣдовательно, исторически прочнымъ достояніемъ русской общественной мысли?

Соберемъ же въ одно цѣлое всѣ доступные намъ факты и установимъ гармоническій духовный образъ человѣка, представившаго изъ своей умственной жизни такую, повидимому, неуловимо-пеструю, непримиримо-разнородную картину.

Мы видѣли впечатлѣніе, произведенное первыми статьями Бѣлинскаго. Его можно кратко и точно выразить словами одного изъ современниковъ: *правдивый и рѣзкій голосъ* [58]). Этимъ выраженіемъ удачно схвачены и *смыслъ*, и *форма* произведеній Бѣлинскаго. Критику мало высказать правду, ей надо сообщить особенно яркую окраску, не только изложить мысль, а провозгласить ее, не только убѣдить читателей, а увлечь ихъ, овладѣть ими и превратить ихъ не только въ сочувствующую, но и содѣйствующую публику, попытаться ихъ настроенія непосредственно слить съ дѣломъ. Писатель самъ *живетъ* своими идеями, того же *органическаго* участія въ идеяхъ онъ требуетъ и отъ другихъ.

Это фактъ величайшей психологической и культурной важности. *Мысль есть дѣло*, *слова—поступки*, писатель—отвѣтственнѣйшее нравственное лицо, какъ представитель высшихъ духовныхъ интересовъ общества. Эти истины могутъ показаться намъ весьма простыми, но далеко не просты онѣ въ дѣйствительности, особенно если ихъ изъ области теоретическаго краснорѣчія перенести на сцену фактическаго осуществленія. Даже среди лучшихъ современниковъ Бѣлинскаго, его личныхъ друзей господствующая черта его писательскаго характера вызывала нѣчто въ родѣ испуга и тягостныхъ ощущеній.

Погодинъ могъ совершенно естественно «обращаться къ умѣренности» молодого критика, по его словамъ—«малаго съ чувствомъ, какіе попадаются рѣдко» [59]). Но то же самое дѣлали люди, ни единой чертой не напоминавшіе московскаго профессора. Станке-

---

[58]) Слова Панаева въ письмѣ къ Бѣлинскому.

[59]) Барсуковъ. IV, 306.

вичъ рисовалъ Бѣлинскому самыя отрадныя перспективы его будущей дѣятельности, но съ однимъ условіемъ «только будь посмирнѣе», и не переставалъ охлаждать температуру чувствъ своего друга всевозможными средствами—насмѣшкой, убѣжденіями, совѣтами [60]). Даже Бакунинъ, отважнѣйшій діалектикъ среди современныхъ русскихъ философовъ, приходилъ въ ужасъ и смущеніе отъ стремительности своего ученика по гегельянству.

Бѣлинскій такъ писалъ объ этомъ эпизодѣ:

«Учитель мой возмутился духомъ, увидѣвъ слишкомъ скорые и слишкомъ обильные и сочные плоды своего ученія, хотѣлъ меня остановить, но поздно: я уже сорвался съ цѣпи и побѣжалъ благимъ матомъ» [61]).

Другими свидѣтелями подобныхъ приливовъ энергіи овладѣвали чувства, еще менѣе лестныя для энтузіаста. Эстетикъ и эпикурействующій созерцатель В. П. Боткинъ смотрѣлъ на неразумную трату крови и воли съ улыбкой пріятельскаго соболѣзнованія и покровительственнаго снисхожденія, какое обыкновенно испытываютъ уравновѣшенные и благоразумные господа къ безтолково-мятущейся молодости.

Боткинъ не осуждаетъ Бѣлинскаго. Доброта и художественное чувство самодовольнаго резонера идутъ такъ далеко, что въ вѣчныхъ безкорыстныхъ волненіяхъ Бѣлинскаго онъ все-таки видитъ нѣчто прекрасное и благородное, даже больше — ощущаетъ сладостныя, сочувствующія движенія сердца.

«Въ этой желчной слабости,—пишетъ онъ,—вѣчной младенческой беззащитности, въ этой безпрерывной борьбѣ теоретическаго, добросовѣстнаго ума съ вопіющимъ и оскорбленнымъ сердцемъ, Бѣлинскій возбуждаетъ во мнѣ не только задушевное участіе, но привязанность, которая сильнѣе всей прежней къ нему привязанности» [62]).

Очень нѣжно, но неизмѣримо пріятнѣе такія чувства испытывать, чѣмъ вызывать. И все это въ высшей степени краснорѣчиво. Предъ нами *исключительное явленіе*, въ полномъ смыслѣ слова, цѣлой нравственной пропастью отдѣленное даже отъ просвѣщеннѣйшихъ и доброжелательнѣйшихъ сверстниковъ и совре-

---

[60]) *Переписка и біографія*, стр. 128, 131.

[61]) Пыпинъ. I, 298.

[62]) Письмо къ Анненкову, отъ 26 ноября 1846 года. — *Анненковъ и его друзья*, стр. 522.

мениковъ. Бѣлинскій одинъ и единственный по своей натурѣ, и такимъ остается отъ начала до конца.

Рѣшительно каждый фактъ, касающійся личныхъ отношеній Бѣлинскаго и его друзей, рѣзко подчеркиваетъ ничѣмъ не сглаживаемую, ни предъ чѣмъ не уступающую *самобытность* его личности. Мы рѣшаемся пойти дальше: всякій разговоръ о вліяніяхъ на Бѣлинскаго извнѣ, будь это идеально-поэтическое и изящное общество Станкевича или неотразимо-логическіе побѣдоносные философскіе диспуты Бакунина — плодъ недоразумѣнія и неточнаго представленія о личности Бѣлинскаго и объ источникахъ вліянія. Мы сдѣлаемъ еще шагъ и скажемъ: никто изъ тѣхъ, кто окружалъ Бѣлинскаго, по самой природѣ вещей не могъ такъ или иначе преобразовать его нравственнаго міра. Потому что такія преобразованія психологически возможны только въ томъ случаѣ, когда преобразователь *по натурѣ* сильнѣе и обильнѣе преобразуемаго, отнюдь не по богатству свѣдѣній, или по дару словъ, или даже по литературному таланту, а по всей своей нравственной сущности. Если это условіе отсутствуетъ, не можетъ быть и рѣчи о вліяніи, а развѣ только о заимствованіи. Вліяніе есть подчиненіе и власть, и распространяется оно на человѣка, подчиняющагося всецѣло, не только на его мысли и разсужденія, а на его *фактическое* отношеніе къ внѣшнему міру.

Напримѣръ, мы имѣемъ полное право говорить о вліяніи Гёте на Шиллера. Пѣвецъ Карла Моора и маркиза Позы реально, а не теоретически только превратился въ примиреннаго филистера и эстетическаго ясновидца. Онъ не воспользовался гётевской мудростью самодовольнаго застоя и равнодушія лишь для звуковъ сладкихъ и молитвъ, а онъ сталъ жить по принципамъ этой мудрости, разъ навсегда преклонилъ предъ ними и свою мысль, и свое человѣческое достоинство. Это—дѣйствительно вліяніе.

Ничего подобнаго съ Бѣлинскимъ.

Боткинъ въ своей сладкоглаголевой рѣчи обмолвился однимъ меткимъ словомъ, упомянувъ о «вопіющемъ оскорбленномъ сердцѣ» Бѣлинскаго. Вотъ такое-то сердце и не мирится съ какими угодно настойчивыми вліяніями теорій и людей, а подчиняется лишь одной власти—жизненной правдѣ, непосредственно воспринятой и «добросовѣстнымъ умомъ» передуманной. А все другое, что намъ кажется внушеннымъ книгой или пріятельской бесѣдой, результатъ переходныхъ состояній духа, плодъ мучительной жажды хотя-бы мгновеннаго покоя и забвенія среди неизбывной борьбы идеальной

мысли и гнетущей жизни. И мы увидимъ, самые мотивы, приковавшіе по обыкновенію страстное чувство Бѣлинскаго, какъ нельзя болѣе отвѣчали этой жаждѣ. Разъ захваченный какой-либо идеей, онъ шелъ до конца, до крайнихъ выводовъ не находя полнаго затишья и въ самомъ, повидимому, успокоительномъ міросозерцаніи. И этотъ именно фактъ, господствующій въ такой степени только надъ Бѣлинскимъ среди всѣхъ его друзей и учителей, бросаетъ вѣрный свѣтъ на смыслъ такъ называемыхъ внѣшнихъ вліяній и внушеній.

Окиньте взглядомъ жизненное поприще критика, возьмите Бѣлинскаго въ какой угодно моментъ,—вы повсюду найдете одинъ и тотъ же духъ. Его умѣетъ писатель вложить въ самыя несоотвѣтствующія идеи, остаться самимъ собой въ самой несродной теоретической атмосферѣ.

Мы видѣли шиллеровскій романтизмъ, вдохновившій Бѣлинскаго на жестокую трагедію. Вскорѣ наступитъ моментъ, когда Шиллеръ подвергнется жесточайшему развѣнчанію, «неистовыя проклятія» посыплются на «благороднаго адвоката человѣчества». Такъ выражается Бѣлинскій, точно передавая свое новое неистовство.

Оно, повидимому, полная противоположность предъидущему воззрѣнію. Бѣлинскому теперь ненавистна опека надъ человѣческимъ родомъ, его божество—дѣйствительность... Мы впослѣдствіи увидимъ, чтó это означало не на діалектѣ философіи и лирическаго восторга, а на языкѣ общечеловѣческой будничной жизни. Теперь посмотримъ, какъ выразился новый культъ у нашего неутомимаго искателя религіи?

Казалось бы, чтó можетъ быть покойнѣе—полнаго примиренія съ дѣйствительнымъ, признаніе его разумнымъ! Остается только горѣть тихимъ свѣтомъ любви и неограниченнаго благоволенія. Такъ это и выходило даже у самого изобрѣтателя новой истины, у Гегеля, сливавшаго совершенно безпрепятственно разумную, философскимъ умомъ добытую дѣйствительность съ повелительными порядками прусской государственности. Русскіе гегельянцы, какъ мы увидимъ, не обинуясь, рекомендовали въ видѣ принципіальной програмы какъ разъ философическія оды Гегеля, образцоваго и благодарнаго представителя табели о рангахъ.

Бѣлинскій поучался гегельянству какъ разъ у переводчика этихъ «гимназическихъ рѣчей», и мы найдемъ изумительно точныя воспроизведенія замѣчаній переводчика въ статьяхъ критика. Вліяніе, надо полагать, несомнѣнное...

Но погодите дѣлать выводъ, обратите вниманіе, *какъ* пришелъ къ «разумной дѣйствительности» учитель Бѣлинскаго и какъ ухватился за нее ученикъ?

Бакунинъ обнаружилъ блестящій діалектическій талантъ, отчасти наслѣдственный: въ его семьѣ даже изъ женскихъ устъ безпрестанно слышались самые жестокіе отвлеченные термины новой философіи. Сама по себѣ семья представляла истинное царство разумной дѣйствительности, спокойное до идилличности, культурное до философизма, уравновѣшенно-счастливое до наслажденія самымъ процессомъ умственнаго анализа. Станкевичъ рекомендовалъ настоятельно Бѣлинскому сойтись тѣснѣе съ семьей Бакуниныхъ и объяснялъ дѣло вполнѣ краснорѣчиво, и относительно своихъ собственныхъ понятій о счастьи и относительно среды, откуда вышелъ даровитѣйшій толкователь гегельянства.

Узнавъ, что Бѣлинскій проводитъ лѣто въ деревнѣ Бакуниныхъ, Станкевичъ писалъ:

«Полный благородныхъ чувствъ, съ здравымъ свободнымъ умомъ, добросовѣстный, онъ нуждается въ одномъ только: на опытѣ, не по однимъ понятіямъ, увидѣть *жизнь* въ благороднѣйшемъ ея смыслѣ; узнать нравственное счастье, возможность гармоніи внутренняго міра съ внѣшнимъ,—гармоніи, которая для него казалась недоступною до сихъ поръ, но которой онъ теперь вѣритъ. Какъ смягчаетъ душу эта чистая сфера кроткой, христіанской семейной жизни!» [63]).

Для автора этихъ тихихъ рѣчей здѣсь заключена полная *практическая* истина, для Бѣлинскаго она не болѣе, какъ развѣ сладкій голосъ, поющій про любовь въ минуты мимолетнаго забытья и сна. Разница обнаруживается немедленно при первомъ же изложеніи подробностей.

Станкевичъ, воспѣвъ гармонію и благость бытія, переходитъ къ проницательности Шиллера на счетъ «всего лучшаго въ Божьемъ твореніи». Разумѣется Шиллеръ—идеалистъ и мечтатель. И, вѣроятно, самъ Бакунинъ не былъ далекъ отъ этого сліянія шиллеровскаго идеальнаго прекраснодушія съ гегельянскимъ практическимъ простодушіемъ. Мы видѣли, онъ испугался стремительнаго движенія своего ученика по указанному пути.

И Бѣлинскій, дѣйствительно, однимъ порывомъ покончилъ съ «пошлымъ шиллеризмомъ», и какъ покончилъ! Обратите вниманіе

---

[63]) *Переписка*, стр. 189.

на изумительный способъ усваивать гармонію! Нѣчто менѣе всего гармоническое, кроткое и уже отнюдь не смягчающее души.

Бакунинъ не хотѣлъ, очевидно, безусловно отрывать Бѣлинскаго отъ «абстрактнаго героизма», а нападая на Шиллера, не прочь былъ сохранить для него почетное мѣсто, хотя бы безъ всякаго вліянія. Бѣлинскій не могъ допустить ни послабленій, ни недомолвокъ.

Онъ узналъ случайно отъ самого Бакунина лишній примѣръ наивностей, господствующихъ въ драмахъ Шиллера—«взревѣлъ отъ радости». Шиллеръ окончательно являлся прекраснодушнѣйшимъ подвижникомъ безплоднаго проповѣдничества и торжествующій Бѣлинскій восклицаетъ: «Новый міръ, новая жизнь! Долой ярмо долга... гнилой морализмъ и идеальное резонерство! Человѣкъ можетъ жить—все его, всякій моментъ жизни великъ, истиненъ и святъ!»

Слѣдовательно, любовь и благоволеніе,—и настоянія Станкевича «быть посмирнѣе» будутъ, наконецъ, выполнены?

Ничего подобнаго.

Дѣло въ томъ, что и *любить* можно отнюдь не гармоничнѣе, чѣмъ *ненавидѣть*, пожалуй, даже еще безпокойнѣе и неистовѣе.

Какъ разъ въ то самое лѣто 1837 года, когда онъ практически воспринималъ гегельянскую идею о разумной дѣйствительности среди кроткой и философической семьи, онъ сообщалъ одному изъ друзей такую истину:

«Ты знаешь мои понятія о людяхъ, ты знаешь, что я раздѣляю ихъ на два класса—на людей съ зародышемъ любви и людей, лишенныхъ этого зародыша. Послѣдніе для меня—скоты, и я почитаю слабостью всякое снисхожденіе къ нимъ».

Это очень краснорѣчиво, но у насъ имѣются еще болѣе сильныя изліянія страннаго обожателя дѣйствительности. Для него, напримѣръ, дышать однимъ воздухомъ съ пошлякомъ и бездушникомъ все равно, что лежать съ связанными руками и ногами. Онъ презираетъ и ненавидитъ добродѣтель безъ любви и предпочтетъ бездну порока и разврата и разбой съ ножомъ въ рукахъ на большихъ дорогахъ пошлому резонерству, добротѣ по разсчету и честности изъ эгоизма. «Лучше быть падшимъ ангеломъ, т. е. дьяволомъ, нежели невинною, безгрѣшною, но холодною и слизистою лягушкою...»

Опасно быть любимымъ подобной любовью! Она требовательнѣе всякой ненависти и возлагаетъ страшную отвѣтственность на

того, кого избираетъ своимъ предметомъ. Это именно сліяніе любви и ненависти въ одно неугомонное чувство, какое создало лермонтовскую поэзію и воплощено въ лицѣ одного изъ тургеневскихъ героевъ. Оно несравненно глубже и напряженнѣе, чѣмъ просто гнѣвъ и презрѣніе. Оно воинственное по самому существу и безпощадно разрушительное въ силу своей искренности и сознанія своего достоинства. И примиреніе Бѣлинскаго съ дѣйствительностью не что иное, какъ усиленно-страстное отношеніе къ ней, еще мучительнѣе запросы къ внѣшнему міру и къ философскимъ истинамъ, чѣмъ раньше—въ періодъ абстрактнаго героизма. Это—психологически въ высшей степени глубокая черта. Любовь не примиряетъ и не успокаиваетъ, а волнуетъ и изощряетъ взоръ и умъ.

Карлъ Мооръ могъ находить истинное утѣшеніе и даже счастье въ самомъ громогласіи и рѣшительности своего протеста. Бѣлинскій, увлекаясь такой же опекой надъ человѣчествомъ, могъ чувствовать себя исключительно-героической натурой, внѣ толпы и внѣ обычнаго порядка вещей. А что же можетъ быть усладительнѣе для юношескаго воображенія, какъ не такое выспреннее *сценическое* положеніе!

И Бѣлинскій, несомнѣнно, былъ счастливѣе и покойнѣе именно въ эпоху шиллеризма. Теперь ему указали путь совершеннаго умиротворенія, разумнаго оправданія дѣйствительности, и онъ затосковалъ безъисходными муками рыцаря, принужденнаго ежеминутно отдавать себѣ отчетъ въ любви къ крайне непостоянной и подозрительной дамѣ.

Съ одной стороны, умъ стремится къ дѣйствительности, и я, пишетъ Бѣлинскій, «трепещу таинственнымъ восторгомъ, сознавая ея разумность, видя, что изъ нея ничего нельзя выкинуть и въ ней ничего нельзя похулить и отвергнуть». Это одно—и такъ именно думалъ переводчикъ рѣчей Гегеля.

Но возникаетъ немедленно вопросъ: въ мірѣ существуютъ пошляки и бездушники, какъ же съ ними быть?

По принципу съ ними надо примириться, какъ съ неизбѣжнымъ звеномъ въ цѣпи дѣйствительныхъ явленій, и умъ, вѣроятно, и примирился бы. Теоретическія системы могутъ совершать и не такія чудеса съ разсудкомъ. Но на сцену выступаетъ «оскорбленное сердце», «неистовая натура», и только-что установленная идея объективной любви ко всему существующему разлетается прахомъ. Философъ начинаетъ «неистовствовать и свирѣпствовать». Это—его выраженіе, повидимому, совершенно неумѣстное въ устахъ обла-

дателя гармоніи. И вновь начинается «ратованіе», нисколько не уступающее азарту Дмитрія Калинина, только еще болѣе нервное и тревожное, будто отъ невольнаго сознанія, что новая вѣра—въ высшей степени скользкій путь и оправдывать ее приходится съ вызывающей энергіей отчаянія и подавленныхъ протестующихъ воплей чувства.

Такое именно впечатлѣніе производитъ сцена, устроенная Бѣлинскимъ предъ однимъ изъ пріятелей наканунѣ появленія въ печати бородинскихъ статей.

Авторъ прочиталъ статью съ «лихорадочнымъ впечатлѣніемъ» и при первой попыткѣ слушателя возражать «съ жаромъ» засыпалъ его нервными рѣчами:

«Я знаю, что — не договаривайте, меня назовутъ льстецомъ, подлецомъ, скажутъ, что я кувыркаюсь передъ властями... Пусть ихъ! Я не боюсь открыто и прямо высказывать свои убѣжденія, что бы обо мнѣ ни подумали.

«Онъ началъ ходить по комнатѣ въ волненіи.

«— Да, это мои убѣжденія,—продолжалъ онъ, разгорячаясь все болѣе и болѣе.—Я не стыжусь, а горжусь ими... И что мнѣ дорожить мнѣніемъ и толками чортъ знаетъ кого? Я только дорожу мнѣніемъ людей развитыхъ и друзей моихъ... Они не заподозрятъ меня въ лести и подлости. Противъ убѣжденій никакая сила не заставитъ меня написать ни одной строчки... Они знаютъ это... Подкупить меня нельзя... Клянусь вамъ, Панаевъ, вы вѣдь еще меня мало знаете.

«Онъ подошелъ ко мнѣ и остановился передо мною. Блѣдное лицо его вспыхнуло, вся кровь прилила къ головѣ, глаза его горѣли.

«— Клянусь вамъ, что меня нельзя подкупить ничѣмъ!.. Мнѣ легче умереть съ голода—я и безъ того рискую этакъ умереть каждый день (и онъ улыбнулся при этомъ съ горькой ироніей), чѣмъ потоптать свое человѣческое достоинство, унизить себя передъ кѣмъ бы то ни было, или продать себя.

«Разговоръ этотъ со всѣми подробностями живо врѣзался въ мою память. Бѣлинскій какъ будто теперь предо мною... Онъ бросился на стулъ, запыхавшись... и, отдохнувъ немного, продолжалъ съ ожесточеніемъ:

«— Эта статья рѣзка, я знаю, но у меня въ головѣ рядъ статей еще больше рѣзкихъ... Ужъ какъ же я отхлещу этого негодяя Менцеля, который осмѣливается судить объ искусствѣ, ничего не смысля въ немъ» [64]).

[64]) Панаевъ. *О. с.*, стр. 358—9.

Намъ понятно смущеніе, какое вызывалъ подобный Орландъ у русскихъ гегельянцевъ, а самого Гегеля, вѣроятно, повергъ бы въ смертный ужасъ. Задолго передъ смертью Гегель съумѣлъ достигнуть полнаго примиренія не только съ тѣмъ, что дѣйствительно разумно, а просто, дѣйствительно сильно. Съ 1818 года до самой кончины на философа вліяло не столько діалектическое развитіе идей, сколько оффиціально-обязательное существованіе фактовъ.

Герценъ, очень высоко оцѣнивающій философію Гегеля, за исключеніемъ ея религіозныхъ тенденцій, произноситъ убійственный приговоръ нравственному значенію философа и практической роли его философіи въ наиболѣе зрѣлый періодъ... Этотъ приговоръ еще разъ освѣщаетъ намъ пропасть, лежавшую между подлиннымъ гегельянствомъ и гегельянскими увлеченіями Бѣлинскаго.

«Гегель,—пишетъ Герценъ,—во время своего профессората въ Берлинѣ, долею отъ старости, а вдвое отъ довольства мѣстомъ и почетомъ, намѣренно взвинтилъ свою философію надъ земнымъ уровнемъ и держался въ средѣ, гдѣ всѣ современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, какъ зданія и села съ воздушнаго шара; онъ не любилъ зацѣпляться за эти проклятые практическіе вопросы, съ которыми трудно ладить и на которые надобно было отвѣчать положительно» [65]).

Это не совсѣмъ точно. Гегель весьма не прочь былъ отвѣчать на практическіе вопросы, именно съ своего воздушнаго шара. Знаменитое положеніе «государство есть осуществленное царство свободы» прямымъ путемъ привело философа къ идеалу безусловнаго поглощенія личности государствомъ, личной свободы государственнымъ авторитетомъ. И здѣсь, именно, дѣло не обошлось безъ философическихъ орнаментовъ, изъ спеціально-гегельянской терминологіи, но *практическая сущность* отвѣта выходила вполнѣ опредѣленной, сколько бы Герценъ ни укорялъ философа въ преднамѣренной «діалектической запутанности». Гегель съ неменьшимъ усердіемъ, чѣмъ современный ему чистый историкъ и идеально-безкорыстный культурный мыслитель Ранке, служилъ историческому *моменту даннаго* государства. Этой *дѣйствительности* было вполнѣ достаточно, чтобы въ *мірѣ фактовъ*, а не умозрѣній, заслонить всѣ освободительные и даже разрушительные элементы, заключавшіеся въ діалектическомъ *методѣ* Гегеля. Методъ—*путь* философа, а указанная дѣйствительность—нравственно-практиче-

[65]) *Былое и думы*. VII, 124—5.

скій, самимъ философомъ осуществленный *предѣлъ*. Не можетъ быть и вопроса, что̀ именно подлежало непосредственному усвоенію учениковъ? Вопросъ рѣшился немедленно, лишь только пришлось истолковать основную аксіому школы: «что дѣйствительно, то разумно».

Изъ аксіомы можно сдѣлать самый радикальный выводъ: если разумно — существующее, то разуменъ и протестъ противъ него, потому что онъ тоже существуетъ. и, слѣдовательно, дѣйствителенъ. Революція имѣетъ поэтому за себя не менѣе оправданій, чѣмъ подчиненіе господствующему строю. *Логически* опровергнуть этотъ выводъ нѣтъ возможности и аксіома узаконяетъ борьбу, а не примиреніе.

Но именно этого вывода и не было сдѣлано русскими гегельянцами. Они съ головой погрузились въ фетишизмъ дѣйствительности и тотъ же Бакунинъ, по словамъ Герцена, усиливался «примирить, объяснить, *заговорить*», лишь только возникло разногласіе чисто-гегельянскаго кружка Станкевича съ сенсимонстскими влеченіями друзей Герцена. Впослѣдствіи Бакунинъ освободился отъ буддійскаго очарованія не болѣе глубокимъ проникновеніемъ въ смыслъ гегельянства, а естественными наклонностями своей природы.

Это фактъ капитальной важности.

Никакія чисто философскія достоинства гегельянской системы не могутъ оправдать ея, по крайней мѣрѣ, въ двоедушіи—нравственномъ и политическомъ. Только личныя энергическія усилія самого творца системы могли предотвратить ея тлетворныя вліянія. Философъ всегда долженъ быть *личнымъ* воплотителемъ *практическаго* содержанія своей философіи, потому что на этой ступени она становится религіей и неизбѣжно порождаетъ секты. Гегель могъ видѣть своими глазами краснорѣчивѣйшія доказательства и Герценъ находитъ, что, «вѣроятно, старику иной разъ бывало тяжело и совѣстно смотрѣть на недальновидность черезъ край удовлетворенныхъ учениковъ своихъ».

Можетъ быть,—но только эта совѣстливость не осуществлялась въ дѣйствительности. Учитель предпочиталъ въ хорошія минуты благодушно острить надъ темнотой своей философіи и, конечно, еще забавнѣе смотрѣть на ратоборства и недоразумѣнія учениковъ. Это значило собственными руками разрушать культурное, общественно-просвѣтительное достоинство собственной мысли и Богу духа и истины предпочитать міръ самой неразумной дѣйствительности.

Этимъ объясняется, почему впослѣдствіи такъ низко палъ авторитетъ Гегеля у его прежнихъ русскихъ идолопоклонниковъ. Бот-

кинъ, Тургеневъ, даже кроткій Станкевичъ или рѣшительно отвертываются отъ стараго «фетиша» и «стараго шута», или сопровождаютъ его имя полуснисходительной, полупрезрительной насмѣшкой [66]). Это чувство не означало безусловнаго уничтоженія всей философіи Гегеля и его таланта, но оно свидѣтельствовало о полномъ разочарованіи въ жизненныхъ положительныхъ заслугахъ и гегельянской мысли, и гегельянскаго философскаго дарованія. Станкевичъ шелъ еще дальше: подъ конецъ жизни онъ неустанно твердилъ Грановскому о необходимости *жить*, переставать думать и жить для разрѣшенія самыхъ трудныхъ вопросовъ, заниматься *постройкой жизни*—задачей, болѣе высокой, чѣмъ философія [67]).

Это значило призывать человѣка къ дѣятельности во что бы то ни стало, т. е. къ борьбѣ съ неразумной дѣйствительностью и созданію новой.

Но у Станкевича призывъ остался прекрасной мечтой, Бѣлинскій не нуждался въ немъ. Въ самый страстный періодъ любви и примиренія въ немъ бродила такая сила протеста, что ежеминутно слѣдовало ожидать побѣды натуры надъ теоріей, сердца надъ діалектикой, жизни надъ системой. И просвѣтленіе должно было произойти не только безъ пріятельскихъ вліяній, но прямо наперекоръ имъ, и прежде всего независимо отъ непосредственныхъ учителей по гегельянству Бакунина и Станкевича. О роли Бакунина мы знаемъ; намъ остается опредѣлить значеніе Станкевича въ духовномъ развитіи Бѣлинскаго.

XIII.

Бѣлинскій сравнительно скоро разошелся съ Бакунинымъ и намъ не трудно догадаться—почему. У Бакунина было двѣ черты, одинаково нестерпимыя для его ученика. Съ одной стороны, онъ обладалъ наклонностью *заговорить*, т. е. опутать слушателя сѣтями діалектики и зачаровать его критическій смыслъ священными рѣченіями *самого*, съ другой стороны—Бакунинъ, безспорно, побѣдоносный истолкователь философскихъ тайнъ, не прочь былъ разыграть роль апостола Петра, какъ понимаетъ ее католическая церковь,—въ гегельянской сектѣ.

Но Бѣлинскій слушалъ чужія рѣчи вовсе не за тѣмъ, чтобы

---

[66]) *Переписка* Станкевича, стр. 308. *Анненковъ и его друзья*, стр. 527.
[67]) Біографія, стр. 187, 223.

вѣровать имъ на-слово, и еще менѣе могъ «гонять сквозь строй категорій всякую всячину» и предаваться «логической гимнастикѣ» [68]). Для него гегельянство было *психологическимъ моментомъ*. Онъ самъ опредѣлялъ его словами: «утомился отвлеченностью» и «жаждалъ сближенія съ дѣйствительностью». Естественно, онъ немедленно принялся *провѣрять* воспринятыя истины и мысленно, и нравственно. Краснорѣчивому учителю отъ этого не могло поздоровиться.

Провозглашая разумность *всякой* дѣйствительности, Бѣлинскій здѣсь же опредѣляетъ ненавистнѣйшій для него порокъ — пошлость.

«Пошлы только тѣ, которыхъ мнѣнія и мысли не есть цвѣтки, плоды ихъ жизни, а грибы, наростающіе на деревахъ».

Этимъ людямъ не дано жить въ духѣ; слѣдовательно, жить въ духѣ, т. е. быть философомъ, хотя бы даже въ гегельянскомъ направленіи, по мнѣнію Бѣлинскаго, значитъ развивать идеи, какъ выводы и результаты жизни. Изъ тона письма можно заключить, что *такой* выводъ логически не ясенъ Бѣлинскому, но тѣмъ краснорѣчивѣе посылки: онѣ подсказаны инстинктомъ, натурой писателя, не замирающими ни предъ какими теоріями и авторитетами.

Очевидно, здѣсь не могутъ быть прочны внѣшнія, лично не провѣренныя вліянія. «Кто пляшетъ подъ чужую дудку, тотъ всегда дуракъ», заявитъ Бѣлинскій позже, но тоже—темное пока—сознаніе продолжаетъ работать неустанно и въ періодъ ученичества. Впослѣдствіи Бѣлинскій раскается въ «добровольномъ отреченіи отъ своей сущности» предъ Станкевичемъ именно потому, что раньше онъ расходился съ нимъ подъ вліяніемъ Бакунина.

Слѣдовательно, вліяніе Станкевича безусловно сильно, оно торжествуетъ, къ нему возвращается Бѣлинскій?

Такъ можно заключить изъ заявленій и поступковъ самого Бѣлинскаго. Въ началѣ онъ именуетъ Станкевича «огромной субстанціей» и преклоняется предъ его личностью и талантами, потомъ до конца жизни онъ отзывается о немъ не менѣе восторженно и портретъ Станкевича—единственный—украшаетъ его кабинетъ... Естественно было возникнуть всеобщему представленію на счетъ великихъ благодѣяній, оказанныхъ Бѣлинскому его товарищемъ. Представленіе составилось еще при жизни Станкевича,

---

[68]) *Былое и думы.* VII, стр. 125—6.

и ему приходилось настойчиво опровергать ихъ. Для насъ драгоцѣнны эти опроверженія: въ нихъ заключается гораздо больше исторической истины, чѣмъ во всѣхъ домыслахъ современниковъ и позднѣйшихъ историковъ.

Въ октябрѣ 1836 года Станкевичъ пишетъ:

«Не знаю, откуда эти чудные слухи заходятъ въ Питеръ? Я—цензоръ Бѣлинскаго? Напротивъ, я самъ свои переводы, которыхъ два или три въ *Телескопѣ*, подвергалъ цензорству Бѣлинскаго, въ отношеніи русской грамоты, въ которой онъ знатокъ, а въ мнѣніяхъ всегда готовъ съ нимъ посовѣтоваться, и очень часто послѣдовать его совѣтамъ» [69]).

Можетъ показаться, вопросъ касается преимущественно литературы, хотя Станкевичъ и говоритъ о «мнѣніяхъ». Но на самомъ дѣлѣ у Станкевича не было силъ оказывать на Бѣлинскаго другое вліяніе, кромѣ, такъ сказать, общевоспитательнаго. О немъ говорится въ томъ же письмѣ. Станкевичъ находитъ одну изъ статей Бѣлинскаго «неосторожной» и намѣренъ заявить ему объ этомъ. И мы не сомнѣваемся, мягкая, гуманная, всегда примиряюще-настроенная личность Станкевича могла оказывать смягчающее воздѣйствіе на «неистоваго Виссаріона». Но натуры друзей были слишкомъ различны, прямо противоположны, чтобы кто-нибудь изъ нихъ могъ подчиниться другому.

Прежде всего слѣдуетъ ввести въ точные предѣлы общеизвѣстныя высокія качества Станкевича. Не слѣдуетъ ихъ ни преувеличивать, ни принижать, но, насколько возможно по существующихъ даннымъ, отдать имъ только должное.

Всю кратковременную жизнь Станкевича можно представить въ формѣ нѣсколькихъ стихотвореній; для дѣтства — лирическая пѣсня, для молодости—задумчивая идиллія, изящная элегія, подъ конецъ прерываемая сдержанными драматическими восклицаніями, и, въ заключеніе, преждевременная смерть. Правда, по распорядкамъ судьбы русскихъ писателей, не слишкомъ ранняя. Станкевичъ умеръ двадцати семи лѣтъ и можно назвать не мало литературныхъ дѣятелей, успѣвшихъ къ этому возрасту оставить весьма цѣнное наслѣдство. Отъ Станкевича у насъ важнѣйшее достояніе—его письма. Онъ только передъ смертью готовился приступить къ *жизни*.

Мы должны принять въ разсчетъ недугъ, медленно разру-

[69]) *Переписка*, стр. 200

шавшій молодой организмъ, но, помимо физическаго порока, слѣдуетъ признать и нравственное препятствіе къ болѣе ранней «постройкѣ жизни». Безусловно устанавливая личную симпатичность Станкевича, историкъ обязанъ — независимо отъ трогательныхъ чувствъ — безпристрастно разобраться въ предметѣ, несомнѣнно, въ сильной степени опоэтизированномъ исключительнымъ стеченіемъ обстоятельствъ.

Станкевичъ провелъ такое же беззаботное дѣтство, какъ и глава другого кружка, современнаго Бѣлинскому—Герценъ. По поводу Герцена очевидцы разсказываютъ повѣсть нѣкоего золотого вѣка: такъ лелѣяли и обожали ребенка! Малѣйшее замѣчаніе приводило его въ изумленіе и онъ чувствовалъ себя неограниченнымъ принцемъ крови среди экзотическаго помѣщичьяго царства [70]). Барская избалованность оставила надолго свои слѣды въ характерѣ *Sonntagskind'a*. Университетъ, быстро пріобрѣтенное вліяніе среди студентовъ, крѣпкая оборона отъ покушеній начальства со стороны сильной семьи,—все это усыпало только лишними цвѣтами путь «Пушки».

Сопоставить эту поэму съ біографіей Бѣлинскаго значитъ во мгновеніе ока изъ «страны лимоновъ и апельсинъ» перенестись въ тундры. То же самое впечатлѣніе получится и при сравненіи той же біографіи съ жизнью Станкевича.

Герценъ имѣлъ возможность пить шампанское и угощаться рябчиками даже въ карцерѣ, и все-таки вызывать у родныхъ смертельное безпокойство, какъ бы не пострадало «слабое здоровье молодого человѣка», и, когда угодно, по щучьему велѣнью прекратить свое пріятное заключеніе. Рѣзвый ребенокъ Станкевичъ по шалости свободно могъ сжечь одну изъ отцовскихъ деревень... Все это, разумѣется, отнюдь не укоризны ни тому, ни другому, мы только желаемъ провести параллель между различными условіями, воспитавшими нашихъ дѣятелей.

Неугомонная рѣзвость золотого дѣтства смѣнилась, какъ водится, поэтически-мечтательной юностью. Стихи и любовь получаютъ преобладающее значеніе, и нѣмецкая поэзія, какъ самая богатая смутными романтическими предчувствіями и безпредѣльными неизглаголанными стремленіями, становится источникомъ счастья нашего юноши. Даже больше. Она—мѣрило жизни, она—

---

[70]) *Изъ дальнихъ лѣтъ.* Воспоминанія Т. П. Пассекъ. Спб. 1878. Томъ I, стр. 81 etc.

вмѣстилище всѣхъ идеаловъ, доступныхъ молодому воображенію. Станкевичъ стихами умиряетъ свои огорченія, стихами исчерпываетъ смыслъ земного бытія и стихами же поднимается въ вѣчное царство свѣта и покоя.

Особенно чаруетъ его стихотвореніе Шиллера *Resignation*, *Самоотреченіе*. Поэтъ здѣсь говоритъ о себѣ, что онъ «въ Аркадіи родился», природа надѣлила его ранними радостями, но май отцвѣлъ и поэту пришлось подумать о вѣчности. Но поэтъ не страшится никакихъ огорченій. У него есть откровеніе, способное помирить его съ какой угодно житейской непогодой. Именно это откровеніе и повергало въ несказанное наслажденіе Станкевича. Онъ не переставалъ повторять:

«Кто тоскуетъ по другомъ мірѣ, тотъ не долженъ знать земныхъ наслажденій. Кто вкусилъ отъ земного наслажденія, тотъ да не надѣется на награду другого міра, гдѣ пышно разцвѣтаютъ только терніи и скорби нашего дольняго существованія».

Легко понять,—при такомъ настроеніи прекрасной душѣ представляются не особенно острыя терніи, и не чрезмѣрно мучительной—жертва наслажденіями. И съ устъ Станкевича не сходитъ фраза: *Es herrscht eine allweise Güte über die Welt—надъ міромъ царствуетъ премудрая благость...*

Заключеніе вполнѣ естественное послѣ описанныхъ нами «опытовъ жизни». Мы точно знаемъ также, что мыслитъ юный мечтатель подъ «подвигомъ»—это ничто иное, какъ «бѣгство отъ суетныхъ желаній и отъ убивающихъ людей», во имя «любви и жажды знаній»:

Пускай гоненье свѣта выдетъ
Звѣздой злосчастья надъ тобой,
И міръ тебя возненавидитъ:
Отринь, попри его стопой!

Все это возможно именно съ «любовью» поэта, даже очень легко. Надземный міръ ему болѣе доступенъ, чѣмъ «дольній», Его близкіе люди именуютъ «небеснымъ». Онъ недоволенъ прозвищемъ, но не можетъ утверждать, чтобы онъ совсѣмъ былъ неповиненъ въ комическомъ эпитетѣ.

Онъ очень любитъ заявлять толпѣ свое презрѣніе къ ней и свидѣтельствовать объ ограниченности ея пониманія «мечтаній святыхъ». Эти мечты

Щедро платятъ за утраты
И съ небесами жизнь дружатъ...

Естественно для этихъ мечтаній — «міръ — безотвѣтная пуыня» [71]).

Небеса неотразимо заитересованы во всѣхъ ощущеніяхъ прекасной души, переживающей длинную и многообразную исторію ›бви. Философія опять выражается стихами, на этотъ разъ гёвской «индійской легендой» *Gott und Bajadera.* Двукратный певодъ ея былъ помѣщенъ въ *Московскомъ Наблюдателѣ*, подъ званіемъ *Магадэва и Баядера* [72]). Здѣсь опять рѣчь идетъ о равителяхъ неба» и о «надзвѣздныхъ чертогахъ», и въ общемъ, юсвѣтленіе любовной страсти до высшаго блаженства.

Стихотвореніе это вызываетъ нервическій восторгъ у Станкеяа и онъ намѣревается написать даже особую драму и взять мой исторію чувства любви отъ низшей ступени физическаго ечения до приближенія къ горнему міру.

Мотивъ, какъ видимъ, весьма отличный отъ драмы Бѣлинскаго. для насъ это не является неожиданностью. «Прекрасное моей ізни не отъ міра сего», пишетъ Станкевичъ, и дѣятельно примается украшать всѣми цвѣтами своего воображенія всякое женвенное созданіе, кажущееся ему роковымъ для его бытія.

Результаты—очевидны: мечты—безъ конца и смутныя состоянія ши. Станкевичъ сознается, что онъ «боится всего опредѣленго, всего точнаго: это производитъ головную боль». Но зато е неуловимое, необъяснимо волнующее доводитъ юношу до крайй степени возбужденія.

Ему попалась въ руки музыка Шуберта—*Erlkönig* и вотъ какъ ъ разсказываетъ событіе:

«Это было послѣ обѣда, послѣ веселья, любезничанья. Я поробовалъ, и чуть не сошелъ съ ума! Иначе, кажется, нельзя ыло выразить это фантастическое прекрасное чувство, которое хватываетъ душу, какъ самъ царь младенца, при чтеніи этой аллады. Уже начало переноситъ тебя въ этотъ темный таинтвенный міръ, мчитъ тебя durch Nacht und Wind...»

Какую же плѣнительную вереницу ощущеній должна испытыать такая душа и какимъ далекимъ и чуждымъ долженъ предтавляться ей реальный міръ! Съ теченіемъ времени именно въ щущеніяхъ она привыкнетъ находить свою нравственную пищу, езамѣтно для себя станетъ переоцѣнивать ихъ красоту и смыслъ

[71]) *Завѣтно*, стихотв. отъ 1833 года.

[72]) Первый разъ. Часть XVI, 1838 года, стр. 39—40, перев. П. Петрова

и вообразить себя великой, одинокой и страдающей въ области своихъ грезъ и чувствъ.

Это исконный путь всѣхъ прекраснодушныхъ отщепенцевъ земной юдоли и неутомимыхъ изслѣдователей своихъ тайныхъ волненій и фантастическихъ образовъ. Это психологія гётевскаго Вертера.

Ничего въ сущности онъ не испыталъ и не узналъ, никакихъ ударовъ судьбы онъ не видѣлъ даже какъ зритель, ни малѣйшаго «подвига» онъ не совершилъ,—онъ только полюбилъ, и этого происшествія достаточно, чтобы онъ влюбился въ собственную особу и вознесъ свою тонко-чувствующую и сладостно-томящуюся душу на недосягаемую высоту надъ «толпой» и сталъ взирать на весь міръ съ «меланхолической улыбкой». Это несомнѣнный нравственный недугъ, самовнушеніе маніи величія, геройство въ пустомъ пространствѣ, подвижничество среди фантасмагорій и призраковъ. Станкевичъ, разумѣется, несравненно выше по своей духовной организаціи гётовскаго горебогатыря. Блѣдная немочь вертерьянства не могла цѣликомъ овладѣть чуткой рыцарственной природой русскаго юноши тридцатыхъ годовъ, но весьма настойчивые отголоски риторической меланхоліи и пустопорожняго геройствованія слышатся намъ безпрестанно въ поэтическихъ исповѣдяхъ Станкевича.

Напримѣръ, стихотвореніе *День жизни*. Начинается оно совершенно въ вертеровскомъ стилѣ:

Печально идутъ дни мои,
Душа свой подвигъ совершила:
Она любила—и въ любви
Небесный пламень истощила.

Дальше оказывается, виной этого истощенія «два созданья»: въ нихъ поэтъ узналъ «міръ». Тоже вертеровскій способъ становиться ученымъ и философомъ! Конецъ не противорѣчитъ ни началу, ни срединѣ:

И мнѣ ль любить, какъ я любилъ?
Я ль пламень счастія разрушу?
Мой другъ, двѣ жизни я отжилъ
И затворилъ для міра душу...

Это—обычная ложь прекрасной души: кто способенъ въ «созданіяхъ» видѣть міръ, тотъ, навѣрное, не затворитъ для него дверей,—совершенно напротивъ. Это просто фразерство празднаго ума, путающагося въ тонкихъ сѣтяхъ полуотвлеченныхъ, полу-чувственныхъ ощущеній. У разныхъ Чайльдъ-Гарольдовъ, Рене и всякихъ другихъ демоновъ крупной и мелкой породы подобныя

упражненія—сущность всей жизни, у Станкевича—лишь стадія духовнаго развитія, но очень глубокая. Она подсказала нашему герою своего рода *Вертера*, повѣсть *Нѣсколько мгновеній изъ жизни графа Z*. Это въ полномъ смыслѣ *historia morbi*, проще—діагнозъ чахотки, поразившей грудь чрезвычайно экзотическаго созданія, почти эфирнаго и *небеснаго* по тонкости ощущеній, по изящной тоскѣ о любви и счастьѣ, по сверхъестественной способности испытывать «бури и грозы» подъ яснымъ небомъ.

Въ теченіе всего разсказа намъ жаль «это созданіе», какъ выражается самъ авторъ: преждевременная смерть, несомнѣнно, трогательна. Но надъ свѣжей могилой у васъ неотступно является мысль: вѣдь и сама жизнь «созданія» была сплошной агоніей и жалѣть собственно приходится не о смерти, а о самомъ появленіи на свѣтъ подобныхъ «обреченныхъ». Если вообще, по мнѣнію пессимистовъ, жизнь—скверная и неостроумная шутка, то жизнь съ наслѣдственной чахоткой—настоящій сарказмъ, жестокій и безжалостный. Пусть мы даже вполнѣ съ этимъ согласимся, вѣдь все-таки жить приходится и, волей-неволей, вести борьбу со всевозможными шутками и сарказмамы, т. е., насколько возможно, *передѣлывать* жизнь и, слѣдовательно, привязывать идеи и дѣятельность не къ живой добычѣ смерти, а къ дѣлателямъ жизни. И пусть сочувственная слеза будетъ законной данью злополучному графу Z, мы все-таки должны непремѣнно уйти отъ его гроба возможно дальше, если только не желаемъ пребывать въ мертвецахъ, хоронящихъ мертвыхъ.

Станкевичъ не былъ такимъ мертвецомъ, но онъ пережилъ *мертвый* періодъ въ своей жизни. Признать этотъ фактъ неизбѣжно, сколько бы насъ ни подкупали прекрасныя грёзы и трогательнѣйшая исповѣдь поэтически-взволнованнаго сердца. Органическая болѣзнь Станкевича способствовала прекраснодушію и подъ конецъ безпрестанно окутывала его мглой меланхоліи и религіозной тоски. Безотрадныя думы по ночамъ, молитвы самоотреченія и покорности предъ верховной силой,—все это проливаетъ цѣлительный бальзамъ въ вѣчно трепетную грудь юнаго страдальца. Сильныхъ чувствъ не можетъ жить въ такой груди, и сколько бы намъ ни толковали о счастьѣ, любви и мукахъ разочарованія, мы знаемъ, какъ неглубоко прививаются «удары судьбы» какъ разъ къ прекраснымъ душамъ. Именно поэтому имъ безпрестанно приходится взвинчивать свои бури и грозы, чтобы удержаться на облюбованной исключительной высотѣ. Дѣло не можетъ

обойтись безъ реторики и софистики, и даже нашъ искрені герой будетъ съ гордостью изъяснять блаженство потерять сущ ство, съ которымъ *разлучила тебя твоя мысль!..*

Гордость наивная до умилительности и не подозрѣвающ какой подрывъ она совершаетъ собственному подвигу, до кан степени принижаетъ *чувство*, обижаетъ *существо* и извращае *мысль*. Выигрываетъ развѣ только *идея изящнаго*, потому что, первый взглядъ, дѣйствительно красиво не только побѣди умомъ сердце, но даже обрести въ этой побѣдѣ блаженство.

Мы знаемъ, какъ далеко эстетическія ощущенія могутъ с стоять отъ принциповъ нравственнаго и идейнаго, какъ час изящное вступаетъ въ противорѣчіе съ духовно-великимъ и разу нымъ, потому что изящное можетъ быть красотой формы и ч стѣйшимъ волненіемъ физической природы человѣка. Изящн почти всегда приближается къ этому предѣлу, когда занимае господствующее положеніе въ настроеніяхъ и міросозерцаніи п клонника красоты.

Станкевичъ именно такой рыцарь изящнаго, опять, долж мы оговориться, только временный, въ извѣстный періодъ свое духовнаго развитія. Но фактъ не теряетъ своего значенія и впол мирится съ другими намъ извѣстными чертами прекраснодуші Станкевичъ чувство изящнаго называетъ своимъ единственны наслажденіемъ, достоинствомъ и даже, *можетъ быть*, спасеніем Онъ сочиняетъ чрезвычайно эфирную аллегорію *Три художни* на тему единства красоты во всѣхъ творческихъ искусствах Аллегорія написана въ выспреннемъ тонѣ и въ ея образахъ впол достаточно романтической темноты и невысказаннаго таинстве наго краснорѣчія...

Остановиться на этой точкѣ значило бы дѣйствительно з быться и заснуть. Станкевича не могла постигнуть подобн участь. Романтизмъ и мечты были данью счастливому дѣтству золотой молодости, но данью, въ высшей степени существенно

У васъ неминуемо являются параллели: шиллеризмъ Бѣли скаго—это стремительный протестъ Карла Моора, опека над человѣчествомъ, шиллеризмъ бури и натиска; у Станкевича ши леровскіе мотивы—резиньяція, углубленное созерцаніе прекрасна душевное настроеніе эллинской идилліи или романтической элег и чувствительной баллады. Въ результатѣ исторія графа Z трагедія Дмитрія Калинина: трудно даже представить болѣе ярк и болѣе поучительные контрасты. Они даны первыми ступеня

нравственнаго развитія того и другого дѣятеля, и они не могутъ не наложить своей печати на ихъ дальнѣйшій путь и на ихъ взаимныя отношенія.

XIV.

Станкевичъ, всегда искренній и чуткій, превосходно понималъ основной недостатокъ своей природы. Онъ, толкуя о гармоніи и примиреніи, не прочь идеализировать *женственныя* вліянія, женщину вообще за счетъ природы. Но, обращаясь на себя, онъ не можетъ не воскликнуть: «мнѣ надо больше твердости, больше жестокости!» [73]). Дальше, подчиняясь смутно влекущимъ мотивамъ искусства, сходя съ ума отъ романтической музыки, сопоставляя поэзію и науку, онъ долженъ сознаться: «не понимаю человѣка, который знаетъ о существованіи и спорахъ мыслителей, и бѣжитъ ихъ и отдается въ волю своего темнаго поэтическаго чувства» [74]). Наконецъ, ища воплощенія своихъ романтическихъ грезъ въ различныхъ женственныхъ существахъ, вожделѣя о любви, онъ томится въ то же время жаждой знаній и ясной практической мысли. Онъ даже теряетъ терпѣніе, охватываемый со всѣхъ сторонъ туманами нѣмецкой философіи и возстаетъ противъ покорной воспріимчивости русскаго юношества.

Онъ пишетъ Грановскому:

«Когда же нибудь надо послѣдовать внутреннему голосу и жить своею жизнью. Когда же нибудь надобно отбросить эту робкую уступчивость, эту ученическую скромность, стать лицомъ къ лицу съ тѣми обольстителями души, которые тайною, отрадною надеждой поддерживаютъ жизнь ея, и потребовать отъ нихъ вразумительнаго отвѣта» [75]).

Выводъ изъ всего этого ясный: жить надо для жизни, а не для отвлеченностей. Таково неустанное внушеніе Станкевича Грановскому, попавшему въ самое жерло нѣмецкихъ теорій и системъ. Еще важнѣе другое заключеніе, опредѣляющее самую сущность жизни: это—идея человѣческаго достоинства, какъ руководящій принципъ человѣческой дѣятельности. Идея—цѣль всѣхъ философскихъ занятій Станкевича и онъ, уяснивъ ее, хотѣлъ бы потомъ убѣдить другихъ и пробудить въ нихъ высшій интересъ [76]).

---

[73]) *Біографія*, стр. 131, 159.

[74]) *Переписка*, стр. 184.

[75]) Письмо отъ 14 іюня 1836 года.

[76]) *Переписка*, стр. 159.

Цѣль вполнѣ достигалась, и именно этимъ фактомъ объясняется исключительное положеніе Станкевича среди товарищей. Предъ нами *дѣятельная* прекрасная душа, но мы не должны забывать, дѣятельная логически, умственно, духовно. Въ натурѣ Станкевича не было апостольской стихіи, какою въ высочайшей степени обладалъ Бѣлинскій. Мы хотимъ сказать, Станкевичъ не былъ одаренъ неусыпнымъ желаніемъ идею претворять въ фактъ и сдѣлать ее достояніемъ не только избранныхъ, но провозгласить ее какъ общую истину, бросить ее въ лицо толпѣ и міру и, если потребуется, встать за нее бойцомъ. Прекраснодушная основа личности осталась до конца, гипнотизировала-ли нашего героя музыка Шуберта, или онъ обращался къ своимъ друзьямъ съ призывомъ отдать всѣ свои силы просвѣщенію народа [77]).

Среди званыхъ нашлись избранные, съ точностью выполнявшіе завѣтъ. Бѣлинскій также, навѣрное, неоднократно слышавшій подобныя рѣчи отъ Станкевича, оставался всю жизнь въ первомъ ряду просвѣтителей. Но именно въ этомъ вопросѣ и обнаружилось съ особенной яркостью различіе двухъ нравственныхъ типовъ, представляемыхъ друзьями.

Предъ нами драгоцѣнное свидѣтельство, вводящее насъ въ сущность вопроса безъ всякихъ нарочитыхъ толкованій. Станкевичъ и Бѣлинскій одинаково восторгались театромъ и оставили намъ множество изъясненій своего восторга. Мы возьмемъ по одному у каждаго и сопоставимъ ихъ: достаточно прочесть только фразы, чтобы придти къ опредѣленному выводу.

Станкевичъ пишетъ:

«Театръ становится для меня атмосферою; *прекрасное* моей жизни не отъ міра сего; излить свои чувства некому: тамъ, въ драмѣ искусства, какъ-то вольнѣе душѣ. Множество народа не стѣсняетъ ея, ибо надъ этимъ множествомъ паритъ какая-то мысль. Наше искусство не высоко, но театръ и музыка располагаютъ душу мечтать о немъ, объ его совершенствѣ, о прелестяхъ изящнаго, дѣлать планы эфемерные, скоропреходящіе»...

Бѣлинскій еще пламеннѣе описываетъ свои чувства, но посмотрите, какое это пламя и сопоставьте его съ мечтами о прелестяхъ изящнаго и съ планами эфемерными:

«Вы здѣсь живете не своею жизнью, страдаете не своими скорбями, радуетесь не своимъ блаженствомъ, трепещете не за свою

[77]) Эпизодъ имѣлъ мѣсто въ Берлинѣ.—*Воспоминанія Невѣрова.* Р. Старина, XL, 419.

опасность; здѣсь ваше холодное *я* исчезаетъ въ пламенномъ эфирѣ любви. Если васъ мучитъ тягостная мысль о трудномъ подвигѣ вашей жизни и слабости вашихъ силъ, вы здѣсь забудете ее... Но возможно ли описать всѣ очарованія театра, всю его магическую силу надъ душою человѣческою? О! какъ было бы хорошо, если бы у насъ былъ свой народный русскій театръ... Въ самомъ дѣлѣ, видѣть на сценѣ всю Русь, съ ея добромъ и зломъ, съ ея высокимъ и смѣшнымъ, слышать говорящими ея доблестныхъ героевъ, вызванныхъ изъ гроба могуществомъ фантазіи, видѣть бойкіе пульсы ея могучей жизни»...

Предъ нами во весь ростъ идейный созерцатель и жизненный дѣятель, эстетикъ и публицистъ, философъ-поэтъ и мыслитель-борецъ.

Такъ это выйдетъ и въ дѣйствительности.

Когда Бѣлинскій возьметъ въ свои руки *Телескопъ*, надъ русской журналистикой немедленно повѣетъ новый раздражающій духъ,—кого негодованіемъ, кого восторгомъ. Станкевичъ также пообѣщаетъ свое участіе, но сейчасъ же начнетъ повторять роль «аристократическихъ сотрудниковъ», столь возмущавшихъ Погодина. Принимается онъ переводить статью о Гегелѣ, даетъ часть, но продолженіе оказывается во власти ироническихъ судебъ: лакей Иванъ забылъ взять въ деревню номеръ иностраннаго журнала, необходимый для статьи!.. Станкевичъ комически изображаетъ бурное негодованіе Бѣлинскаго, но самому Бѣлинскому врядъ ли было до комизма: весь журналъ, крайне разстроенный Надеждинымъ и снабженный жалкими средствами, лежалъ на его отвѣтственности [78]).

Но даже если Станкевичъ и выполнитъ взятое на себя обязательство, онъ всѣми силами протестуетъ противъ наименованія *литераторъ*. Почему? Восторженный Бѣлинскій объяснялъ это «глубокимъ чувствомъ простоты», но, несомнѣнно, больше правды въ другомъ толкованіи: изящной, аристократической и въ сильной степени отрѣшенной натурѣ Станкевича претило наименованіе, какое приходилось раздѣлять съ менѣе всего почтенными и благородными фигурами современной журналистики.

Толкованіе подтверждается отношеніемъ Станкевича къ полемикѣ.

Біографъ очень мѣтко выражается на этотъ счетъ.

---

78) *Переписка*, стр. 171.

«Станкевичъ былъ служителемъ истины въ чистой, отвлеченной мысли, въ примѣрѣ своей жизни, и никогда не могъ бы служить ей на буйной ярмаркѣ современности» [79]).

Даже больше. Станкевича непріятно безпокоило все стремительное, энергическое. Онъ не могъ понять гнѣвныхъ настроеній ни въ какихъ случаяхъ, даже когда вопросъ шелъ о побѣдѣ истины надъ ложью. Въ природѣ, напримѣръ, онъ не могъ помириться съ кавказскими горами, какъ съ чрезмѣрно буйнымъ проявленіемъ стихійныхъ силъ. То же самое впечатлѣніе производили на него и человѣческіе порывы.

Очевидно, здѣсь почва для гегельянской гармоніи существовала сама по себѣ, независимо ни отъ какихъ діалектическихъ воздѣйствій. Ученіе о примирительномъ отношеніи къ дѣйствительности какъ нельзя болѣе совпадало съ первичнымъ нравственнымъ строемъ всей личности Станкевича, и онъ, слѣдовательно, по совершенно различнымъ мотивамъ, чѣмъ Бѣлинскій, могъ впасть въ гегельянскій толкъ.

Тамъ былъ вопль истерзанной души, здѣсь—одинъ изъ давно знакомыхъ голосовъ тихихъ, кроткихъ мечтаній и стройныхъ возвышенныхъ думъ. Станкевичъ поэтому и не могъ впасть въ крайности и громить проклятіями «абстрактный героизмъ» шиллеровскаго Sturm und Drang'а. Онъ никогда и не зналъ шиллеризма въ этой формѣ, и, естественно, Бѣлинскому пришлось вступить въ распрю съ другимъ, лишь только онъ послѣдовательно развилъ свой новый культъ. Объ этомъ разногласіи съ Станкевичемъ на почвѣ гегельянства мы знаемъ отъ самого Бѣлинскаго, и оно въ высшей степени важно. Оно показываетъ, что значило для Бѣлинскаго воспринять идею. Въ результатѣ всегда начиналась діалектика и этой собственно идеи, только-что усвоенной, а *діалектика жизни*—личной, часто мучительной нравственной работы. «Покоя нѣтъ душѣ моей», всегда могъ сказать о себѣ Бѣлинскій, бывалъ ли одержимъ онъ «пошлымъ шиллеризмомъ», или «разумной» дѣйствительностью.

И безпокойство заключалось отнюдь не въ самыхъ идеяхъ, а въ стихійномъ, непреодолимомъ стремленіи Бѣлинскаго діалектику теорій слить съ діалектикой фактовъ. Для него не существовало идеала внѣ его осязательнаго воплощенія. Если идеалъ не воплощался, что-нибудь, значитъ, было неладно или съ идеаломъ, или съ дѣйствительностью, или идеалъ оказывался мертворожденнымъ, или дѣйствительность не поднималась на высоту идеала.

[79]) *Біографія*, стр. 129.

А отсюда уже прямой выходъ: или надо усовершенствовать идеалъ, или преобразовать дѣйствительность. Та и другая работа требуетъ громадныхъ усилій и всегда жестокой отвѣтственной борьбы. Все это и наполнило жизнь Бѣлинскаго именно потому, что онъ былъ свободенъ отъ вліяній самыхъ дорогихъ для него людей, и оставался *самъ по себѣ*.

Бакунинъ могъ только запутать его въ лабиринтѣ отвлеченностей и превратить въ эпикурейца діалектики, Станкевичъ—создать изъ него самое большое—почтеннаго передатчика послѣднихъ словъ европейской науки отечественной интеллигенціи. Въ первомъ случаѣ Бѣлинскій могъ бы и перейти предѣлы «разумной дѣйствительности», но вовсе не къ выигрышу русскаго общественнаго прогресса. Во второмъ—онъ доразвился бы до блестящаго популяризатора, но среди его заслугъ не числилось бы самой большой: таланта двигать и увлекать все, что только было и родилось потомъ на Руси чуткаго и рыцарственно мыслящаго.

Бѣлинскій, помимо книгъ, могъ многое извлечь изъ личныхъ сношеній съ просвѣщенными пріятелями, и этотъ процессъ, разумѣется, былъ несравненно увлекательнѣе и *возбудительнѣе*, чѣмъ книжное самообученіе. Но дальше Бѣлинскій принадлежалъ себѣ, и большею частью, наперекоръ только-что выслушаннымъ собесѣдникамъ, принимался такъ «неистовствовать и свирѣпствовать», что приводилъ въ ужасъ своихъ мнимыхъ учителей. И тѣмъ неожиданнѣе оказывалось положеніе учителей, что они не всегда понимали смыслъ воспріимчивости своего ученика именно къ даннымъ идеямъ. Они не видѣли какъ разъ *діалектики жизни* у Бѣлинскаго, всегда предшествовавшей и сопровождавшей *діалектику идеи*. Они, какъ, напримѣръ, Бакунинъ, становились въ позу авторитета въ то время, когда намѣченная жертва авторитета успѣла пережить цѣлый процессъ критики и провѣрки. Авторитетъ часто не видѣлъ и малой доли тѣхъ жизненныхъ фактовъ, не зналъ даже самой узкой полосы той дѣйствительности, гдѣ ученикъ былъ хозяиномъ и своимъ человѣкомъ.

Кроткая и христіанская семья Бакуниныхъ, умилявшая Станкевича, барское Эльдорадо, взлелѣявшее Герцена, изысканно-культурная атмосфера, обвѣявшая дѣтство и молодость Станкевича, не могли дать всѣмъ этимъ роднымъ дѣтямъ судьбы даже отдаленнаго представленія о томъ, какъ жилъ и въ особенности, что̀ пережилъ одинъ изъ самыхъ нелюбимыхъ ея пасынковъ.

Какая рѣчь могла быть здѣсь о вліяніяхъ какихъ бы то ни

было идей и рѣчей, когда всѣ эти рѣчи и идеи давно предупредила грозная правда, неразрывно сросшаяся съ каждымъ звѣномъ духовнаго роста ребенка, юноши, мужа! Если мы тщательно вдумаемся въ *историческій* жизненный путь, пройденный Бѣлинскимъ, если мы примемъ въ разсчетъ необыкновенную чувствительность и воспріимчивость почвы рядомъ съ исключительной жесткостью и тяготой посѣва, намъ покажутся прямо жалкими по своему сравнительному значенію и шиллеризмъ, и гегельянство, и промежуточныя, еще менѣе существенныя, вліянія *отвлеченныхъ* источниковъ.

И независимо отъ психологическаго анализа, мы на каждомъ шагу будемъ убѣждаться въ той же истинѣ по литературнымъ трудамъ Бѣлинскаго. Предъ нами съ каждымъ годомъ все выше будетъ расти и все ярче опредѣляться рѣдкостнѣйшій продуктъ русской почвы,—отъ начала до конца,—*self made man*, или еще точнѣе и выше: съ первой минуты сознанія до послѣдней предсмертной строки человѣкъ самъ себя самоотверженно искренне *создававшій* и съ неустаннымъ мужествомъ *проявлявшій*.

Это далеко не безусловно совпадающіе факты даже на самыхъ культурныхъ сценахъ: у насъ они—величайшая гордость нашего общественнаго самосознанія.

XV.

Мы видѣли, какое впечатлѣніе произвела первая статья Бѣлинскаго на читателей разныхъ поколѣній и разныхъ литературныхъ направленій. Подобное впечатлѣніе было бы невозможно только при наличности какихъ угодно смѣлыхъ и новыхъ идей. Въ статьѣ было нѣчто другое, несравненно болѣе существенное для отзывчивости публики, чѣмъ отвага воззрѣній и свѣжесть мысли.

Смѣлые люди бывали и до Бѣлинскаго, въ бойкости пера Надеждинъ могъ никому не завидовать. Не были также исключительнымъ явленіемъ и преобразовательныя стремленія въ области критики. Изъ статей Веневитинова, Кирѣевскаго, Полевого и критиковъ-поэтовъ легко набрать достаточное количество рѣшительныхъ приговоровъ надъ старой русской литературой. Самъ Бѣлинскій при первомъ случаѣ выступилъ на защиту философской критики своихъ предшественниковъ, отдалъ должное идейнымъ стремленіямъ *Мнемозины*, заслугамъ профессора Павлова [80]). И

[80]) *Журнальная замѣтка*, по поводу нападокъ Булгарина на «домашнихъ нашихъ новомыслителей». *Сочиненія* II, 468—9.

не требовалось непремѣнно злого умысла и изощренной проницательности, чтобы въ раннихъ статьяхъ Бѣлинскаго, особенно въ первой, почуять ясные отголоски прежней и современной критической мысли. Это естественно: не съ Бѣлинскаго начиналась исторія русскаго слова. И мы понимаемъ,—отголоски для нѣкоторыхъ ушей могли казаться до такой степени внушительными, что собственно на долю личнаго ума и таланта Бѣлинскаго не оставалось ничего или очень мало: все принадлежало учителямъ-благодѣтелямъ.

Подобное впечатлѣніе, несомнѣнно, возобладало бы надъ удивленіемъ и восторгами, если бы молодой критикъ не обнаружилъ совершенно оригинальнаго, до него невѣдомаго качества. По исконному порядку всякое начинаніе въ области идей встрѣчается людьми недовѣріемъ и сомнѣніями. Очевидцы заранѣе предубѣждены противъ новой *независимой* умственной силы и для большинства достаточно смутнаго и отдаленнаго намека на *заимствованіе* и *повтореніе*, чтобы проглядѣть дѣйствительную новизну и оригинальность.

Этимъ объясняется свидѣтельство университетскаго товарища Бѣлинскаго:

«Кто только посѣщалъ лекціи Надеждина, не хотѣлъ вѣрить, что эти *мечтанія* писаны Бѣлинскимъ, а не Надеждинымъ» [81]).

Бѣлинскій самъ шелъ на встрѣчу такому настроенію. Онъ съ большимъ уваженіемъ припоминалъ о «правдѣ» Никодима Аристарховича Надоумко, ссылался на его «премудрое слово», одобрялъ его «невѣжливыя выходки противъ тогдашнихъ геніевъ». Надоумко умѣлъ «припугнуть ихъ»,—теперь некому сдѣлать то же самое относительно «нынѣшнихъ» геніевъ. Естественно, ученикъ профессора будетъ продолжать старую систему, только при другихъ обстоятельствахъ.

Выводъ очень простой, и *литературныя мечтанія* могли сойти за редакціонную статью *Молвы*, написанную только не самимъ редакторомъ, а его ближайшимъ сотрудникомъ.

Этотъ сотрудникъ шелъ еще дальше въ своемъ ученическомъ рвеніи. Онъ осыпалъ похвалами даже Коченовскаго, покровителя Надеждина, находилъ возможнымъ произнести почетное надгробное слово *Вѣстнику Европы*. Этотъ фактъ по всей справедливости слѣдуетъ признать идеально-философскимъ примиреніемъ съ *дѣйствительностью*, независимо отъ какой бы то ни было внѣшней системы.

---

[81]) Проворовъ. *О. с.*, стр. 13.

Бѣлинскаго восхищала упорная борьба коснаго журнала противъ всѣхъ живыхъ теченій времени. Борьба, мы знаемъ, пароль и лозунгъ критика, и этому обстоятельству мы обязаны великимъ значеніемъ его дѣятельности. Но борьба, принципіально покрывающая слѣпое мракобѣсіе и способная оправдать тупое упорство въ области просвѣщенія и общественныхъ идей, перестаетъ быть жизненной силой, а превращается въ своего рода понятіе чистаго искусства. Вѣдь отрѣшенные поэты не желаютъ подвергать себя нравственному, вообще практическому суду, считая вполнѣ довлѣющими мотивами своего существованія самый процессъ пѣснопѣнія.

О Каченовскомъ нельзя сказать и этого. Бѣлинскій, несомнѣнно, преувеличивалъ безкорыстіе и принципіальное благородство профессора, не отступавшаго въ борьбѣ съ своими критиками предъ совершенно нелитературнымъ оружіемъ. Критикъ, помимо явно взвинченныхъ и неосмотрительныхъ похвалъ Каченовскому—издателю, спѣшилъ выразить уваженіе и къ его авторитету въ русской исторіи.

Все это не требовалось содержаніемъ статьи и должно быть признано результатомъ редакторскихъ внушеній.

Еще любопытнѣе проявленія тѣхъ же примирительныхъ чувствъ критика въ другихъ несравненно болѣе широкихъ вопросахъ. Мы знаемъ, что̀ пришлось Бѣлинскому пережить и передумать до своей первой статьи, знаемъ, какимъ благодѣтелемъ оказался для него университетъ и какія рѣчи подсказалъ ему современный строй жизни.

Теперь священный огонь юношеской трагедіи будто начинаетъ меркнуть и неудачный драматургъ, нашедшій пріютъ на страницахъ профессорскаго журнала,—готовъ остепениться и охладить пылъ своего негодующаго сердца. Слѣдуетъ еще припомнить,— Бѣлинскій по выходѣ изъ унивеситета старался пристроиться въ уѣздные учителя, и безуспѣшно. Съ его аттестатомъ благосклонное начальство могло предложить только мѣсто приходскаго учителя. Наконецъ,—отвращеніе къ университетской наукѣ и университетскимъ схоластикамъ, кромѣ того, глубокая обида за свое человѣческое достоинство, — единственныя чувства, вынесенныя Бѣлинскимъ изъ университетскихъ аудиторій.

И вдругъ послѣ всѣхъ этихъ опытовъ,—ода попеченіямъ правительства, какъ разъ о просвѣщеніи и въ томъ самомъ направленіи, гдѣ авторъ потерпѣлъ полный разгромъ.

Правительство, пишетъ авторъ, «издерживаетъ такія громад-

ныя суммы на содержаніе учебныхъ заведеній, ободряетъ блестящими наградами труды учащихъ и учащихся, открывая образованному уму и таланту путь къ достиженію всѣхъ отличій и выгодъ». И дальше говорилось о «знаменитыхъ сановникахъ», чрезвычайно усердныхъ къ народному благу, объявлялось, что намъ не нужна «чуждая умственная опека», рисовалась умилительная критика «любознательнаго юношества въ центральномъ храмѣ русскаго просвѣщенія», и въ заключеніе провозглашался патріотическій девизъ: «православіе, самодержавіе и народность».

Но и на этихъ возгласахъ порывъ юнаго гражданина не останавливался. «Благородное дворянство» въ свою очередь должно получить дань славы. По наблюденіямъ автора, это дворянство принялось дѣятельно давать своимъ дѣтямъ «образованіе прочное и основательное». Нельзя было при этомъ торжественномъ обзорѣ великихъ доблестей русскаго государства миновать и другія сословія, купечество и духовенство. Выходило *omnes meliores!*— всѣ другъ друга лучше; купцы недаромъ такъ крѣпко держались за свои «почтенныя окладистыя бороды»; эти герои со временемъ «сдѣлаются типомъ народности». И вообще, будущее преисполнено блеска и силы: сѣмена созрѣютъ, и русская литература будетъ соперничать съ европейской.

Предсказаніе, имѣвшее за себя много основаній, но оно построено на соображеніяхъ чисто надеждинскаго стиля. У профессора патріотическій азартъ доходилъ вплоть до восхваленія русской физической силы, просто русскаго кулака. И Надеждинъ, въ качествѣ редактора, конечно, не имѣлъ ничего противъ, чтобы и его сотрудникъ вступилъ на тотъ же путь, говорилъ самыя чувствительныя слова, въ родѣ народности, національности, смышленности и усердія русскаго народа, и при случаѣ растолковывалъ ихъ въ духѣ извѣстнаго гимна *громъ побѣды раздавайся* и, по примѣру учителя, настоятельно требовалъ отъ литературы одъ въ честь русскаго оружія.

И, несомнѣнно, другой на мѣстѣ Бѣлинскаго достойно оправдалъ бы надежды своего редактора. Но профессорскія вліянія и, можетъ быть, весьма пристальныя внушенія, встрѣтили страшнаго врага—не столько въ воззрѣніяхъ сотрудника, сколько въ его личной природѣ. Онъ на первыхъ порахъ могъ весьма точно воспроизвести ту или другую мысль, увлекшую его воображеніе и чувство гармоніей и оптимистическими обѣтованіями. Рано надорванная грудь естественно искала хотя бы временнаго облегченія и хотя

бы призрачной утѣхи. Но это, моменты и настроенія, сущность личности совершенно другая. Именно она и вызвала чрезвычайный откликъ у современныхъ читателей.

Всѣ, кто восторгался статьей Бѣлинскаго, менѣе всего могли сочувствовать усладительнымъ патріотическимъ волненіямъ его сердца. Но фразы, обличавшія нѣкоторый культъ дѣйствительности, очевидно, совершенно исчезали въ общемъ смыслѣ разсужденій и находили себѣ уничтожающій противовѣсъ въ другихъ изреченіяхъ, явно выражавшихъ личное *я* критика—внѣ всякихъ внѣшнихъ воздѣйствій.

Это *я* не заслонялось даже болѣе внушительными вліяніями со стороны, чѣмъ идеи Надеждина о любви къ отечеству и русской народности. Бѣлинскій съ обычной стремительностью спѣшилъ сообщить публикѣ свое посвященіе въ тайны шеллингіанства, по возможности, буквально воспроизводя эстетическія формулы школы. Имя Шеллинга не произносится: читатели должны открытія германскаго философа считать общеобязательными истинами.

Критикъ умѣетъ съ горячимъ воодушевленіемъ провозгласить то или другое шеллингіанское положеніе и явно стремится очаровать читателя его художественной красотой, а не логической основательностью. «Поэтическое одушевленіе есть отблескъ творящей силы природы». «Искусство есть выраженіе великой идеи вселенной въ ея безконечно-разнообразныхъ явленіяхъ». «Весь безпредѣльный, прекрасный Божій міръ есть ничто иное, какъ дыханіе единой вѣчной идеи (мысли единаго вѣчнаго Бога), проявляющееся въ безчисленныхъ формахъ, какъ великое зрѣлище абсолютнаго единства въ безконечномъ разнообразіи...»

Все это множество разъ читала русская публика и безъ конца слышали студенты, учившіеся у Надеждина. Естественно, критикъ доходилъ и до самаго выспренняго представленія о поэтѣ-художникѣ. Мы знаемъ, только этому исключительному созданію шеллингіанская философія уступала право познавать міровую тайну непосредственно—и новый критикъ принимаетъ истину на слово:

«Только пламенное чувство смертнаго, пишетъ онъ, можетъ постигать въ свои свѣтлыя мгновенія, какъ велико тѣло этой души вселенной, сердце котораго составляютъ громадныя солнца, жилы—пути млечные, а кровь—чистый эѳиръ».

Мы видимъ,—критикъ усвоилъ даже образный языкъ шеллингіанцевъ и не прочь пуститься въ океанъ широковѣщательныхъ

аллегорій и символовъ. У него вполнѣ достаточно лирическихъ чувствъ, чтобы соревновать съ какимъ угодно изъ своихъ предшедственниковъ по части восторговъ предъ красотой и величіемъ абсолютнаго тождества, предъ неотразимо-гармоническимъ развитіемъ природы нравственной, физической и предъ полнымъ сліяніемъ человѣческаго *я* съ общей міровою жизнью.

Отсюда, мы знаемъ,—совсѣмъ рядомъ идея о безсознательномъ и безцѣльномъ творчествѣ. «Безотчетно мгновенная вспышка воображенія»,—вотъ что глубоко трогаетъ Бѣлинскаго и окрыляетъ его краснорѣчіе на жестокую отповѣдь поэтамъ-филолофамъ и моралистамъ. Критикъ воздерживается отъ искушеній чистаго символизма, гдѣ даже и членораздѣльная человѣческая рѣчь является недостойнымъ умысломъ противъ художественной красоты неизглаголанныхъ ббразовъ. Мы встрѣчали шеллингіанцевъ, отважно устремлявшихся вплоть до безмолвнаго симпатическаго общенія душъ. Бѣлинскій остановился у самыхъ вратъ святилища,—и по всѣмъ даннымъ не имѣлъ ни силъ ни воли войти въ него.

Дѣло въ томъ, что предъ нами самый странный шеллингіанецъ и очень опасный послѣдователь московскихъ патріотовъ и эстетиковъ. Изъ его статьи мы могли извлечь не мало мыслей, уполномочивавшихъ Надеждина напечатать ее въ своей *Молвѣ*. Но въ то же время, изъ того же источника, читатели, только случайно заглядывавшіе въ надеждинскій журналъ и ничего не ждавшіе изъ ученаго Назарета,—почерпнули надежды на новую, еще не бывалую критику.

Противорѣчіе на первый взглядъ вопіющее, и, что особенно любопытно, самъ авторъ статьи его, повидимому, не подозрѣвалъ. Благонамѣренный оптимизмъ и всеобъединяющее и всепримѣряющее шеллингіанство уживались у него вполнѣ удобно съ идеями, несшими въ своемъ развитіи жестокую войну всяческому гражданскому оптимизму и философскому прекраснодумію.

Это сліяніе двухъ различныхъ, по существу даже противоположныхъ стихій—черта первостепенной важности въ первомъ періодѣ критики Бѣлинскаго. Въ психологическомъ отношеніи—это поучительнѣйшій случай, какой только можетъ представить личность писателя.

Бѣлинскій *создается* на нашихъ глазахъ, развивается не по своему дарованію, а по самому содержанію своей мысли и по нравственнымъ задачамъ своей личности. Мы присутствуемъ при *исторіи души*, и исторія эта съ совершенной откровенностью изла-

гается самимъ героемъ, публично, въ формѣ непрерывной исповѣди своихъ взглядовъ на всѣмъ доступныя явленія дѣйствительности. И притомъ исповѣдь отнюдь не преднамѣренно составленный обзоръ мыслей и поступковъ, а она сама—мысли и поступки.

Бѣлинскій весь заключенъ въ своихъ статьяхъ: внѣ литературы для него не было жизни, и въ жизни не было ничего, равноправнаго съ литературой. Это, можетъ быть, единственное явленіе въ исторіи человѣческаго ума и творчества. И оно съ полной яркостью обнаружилось въ первой же статьѣ.

XVI.

Посмотрите, что значитъ личность—для какихъ угодно отвлеченныхъ идей и въ области самыхъ отрѣшенныхъ чувствъ! Мы видѣли, какъ логически у русскихъ шеллингіанцевъ изъ основныхъ принциповъ школы вытекало презрѣніе ко всему наглядному, ясному и, слѣдовательно, жизненно значительному. Такъ было исчезновеніе *ея* въ безграничномъ океанѣ міровового бытія, самоотреченіе личности во имя всепоглощающаго абсолютнаго духа.

У Бѣлинскаго тоже вопросъ идетъ о самоотреченіи, но какомъ! Переходъ совершается незамѣтно къ идеѣ вдохновеннаго созерцанія авторъ прибавляетъ только одно слово—*любовь*. Идея «не только мудра, но и любяща»,—вотъ и все положеніе,—но его достаточно, чтобы мы немедленно услышали восторженный гимнъ человѣческому самоотверженію уже не во имя абсолютнаго тождества, а во имя человѣчества, «для блага ближняго, родины»...

И картина мгновенно мѣняется.

Раньше мы слышали призывы къ познанію отъ вѣка скрытыхъ тайнъ, намъ толковали о художественномъ ясновидѣніи, объ исключительно эстетическихъ путяхъ къ міровой истинѣ. Теперь, однимъ порывомъ страстнаго чувства разорвана радужная паутина и предъ блаженно-задумчивыми очами созерцателя безграничныхъ вселенскихъ перспективъ открылась ограниченная, но неукротимо безпокойная сцена человѣческихъ страданій.

Такъ неожиданно молодой критикъ понялъ философскую идею самоотреченія!

Дальше окажется еще проще творчество и созерцаніе подмѣнить стремленіемъ и дѣятельностью. Старые шеллингіанцы много занимались силами природы, животнымъ магнетизмомъ, химизмомъ и прочими физическими явленіями. Все это у нихъ вело къ окон-

чательному торжеству ничѣмъ неразрушимой гармоніи. Процессъ въ ихъ воззрѣніи игралъ второстепенную роль,—предустановленная цѣль замѣняла своимъ божественнымъ величіемъ смуту и нестройность отдѣльныхъ явленій.

Нашъ философъ измѣнитъ точку зрѣнія на противоположную. Его именно увлечетъ постепенное развитіе естественныхъ силъ, процессъ, т. е. борьба. И онъ провозгласитъ: противоборство силы сжимательной и расширительной въ природѣ то же самое, что борьба между добромъ и зломъ въ мірѣ нравственномъ. Еще одинъ шагъ,—и борьба окажется *сущностью* міровой жизни,—не самодовлѣющее спокойное тождество, а неустанное броженіе стихій. А отсюда уже непосредственный выводъ нравственнаго содержанія:

«Безъ борьбы нѣтъ заслуги, безъ заслуги нѣтъ награды, безъ дѣйствованія нѣтъ жизни».

Но истина въ такой формѣ еще немного значила бы въ практическомъ смыслѣ: въ истину можно вѣровать и оставаться совершенно равнодушнымъ къ ея осуществленію.

Мы это и видѣли неоднократно,—убѣдились въ грустномъ фактѣ даже на ближайшихъ товарищахъ Бѣлинскаго.

Станкевичъ, несомнѣнно, зналъ тѣ же истины, какими вооруженъ Бѣлинскій въ первыхъ статьяхъ. Но познаніе не только не вело къ дѣлу, а даже, повидимому, способствовало усиленному желанію стать возможно дальше отъ непросвѣщенной черни. Послушайте, съ какимъ презрѣніемъ Станкевичъ говоритъ о политикѣ заграницей, какъ ему претитъ шумъ періодической печати: намъ невольно припоминаются такія же настроенія Карамзина при тождественныхъ обстоятельствахъ. И мы не знаемъ, много ли могла бы выиграть русская публика отъ нарожденія такихъ глубоко просвѣщенныхъ умовъ и тонко чувствующихъ душъ. Можетъ быть,—время и особенно—*неразумная* дѣйствительность вылечила бы аристократическаго философа отъ его недуга,—мы знаемъ только одно: Бѣлинскому въ этомъ смыслѣ не отъ чего было лечиться,—и онъ безъ всякихъ эволюцій и философской діалектики, чутьемъ своей дѣйственной натуры открылъ истинно культурную цѣль всякой мысли и всякаго таланта.

Припоминая отвращеніе Станкевича къ самому наименованію *литераторъ*, Бѣлинскій заявлялъ о себѣ:

«Я литераторъ, потому что это мое призваніе и мое ремесло вмѣстѣ».

Призваніе—это значитъ долгъ совѣсти, высшая нравственная

цѣль жизни, не забава и не жажда успѣха. Только призваніе можетъ создать изъ человѣка героя, истину поставить для него выше личнаго разсчета, и именно въ терніяхъ пути открыть ему наслажденіе и высшее счастье духа, равное какому угодно высшему эстетическому самоуглубленію.

И теперь сопоставьте усладительныя воркованія служителей шеллингіанскаго тождества и впослѣдствіи рыцарей гегельянской діалектики съ слѣдующимъ самооткровеніемъ Бѣлинскаго: «Люди, хладнокровные и умственной жизни, могутъ ли понять, какъ можно предпочитать истину приличіямъ и изъ любви къ ней навлекать на себя ненависть и гоненіе? О! имъ никогда не постичь, что за блаженство, что за сладострастіе души сказать какому-нибудь генію въ отставкѣ безъ мундира, что онъ смѣшонъ и жалокъ своими дѣтскими претензіями на великость, растолковать ему, что онъ не себѣ, а крикуну-журналисту обязанъ своею литературною значительностью; сказать какому-нибудь ветерану, что онъ пользуется своимъ авторитетомъ въ кредитъ, по старымъ воспоминаніямъ или по старой привычкѣ; доказать какому-нибудь литературному учителю, что онъ близорукъ, что онъ отсталъ отъ вѣка и что ему надо переучиваться съ азбуки, сказать какому-нибудь выходцу Богъ вѣсть откуда, какому-нибудь пройдохѣ и Видону, какому-нибудь литературному торгашу, что онъ оскорбляетъ собою и эту словесность, которою занимается, и этихъ добрыхъ людей, кредитомъ коихъ пользуется, что онъ поругался и надъ святостью истины и надъ святостью знанія, заклеймить его имя позоромъ отверженія, сорвать съ него маску, хотя бы она была и баронская, и показать его свѣту во всей его наготѣ!.. Говорю вамъ, во всемъ этомъ есть блаженство неизъяснимое, сладострастіе безграничное»!

Вы видите,—здѣсь борьба не принципъ, не убѣжденіе, а просто сама натура писателя, и вы легко представите, что всѣ философскія внушенія, какъ бы они ни казались основательны отвлеченному уму Бѣлинскаго, будутъ рано или поздно отвергнуты и разбиты органическими силами его нравственнаго міра.

И теперь, — вы уже замѣтили, — въ перечисленіи смертельныхъ враговъ критикъ подошелъ какъ разъ къ издателю *Вѣстника Европы*, одному изъ «литературныхъ учителей» отсталыхъ, близорукихъ, невѣжественныхъ въ самой азбукѣ. По «вліяніямъ» Каченовскаго пришлось пощадить, даже одобрить,—но мы отлично знаемъ,—чего стоитъ эта снисходительность и какой прочности

эти вліянія. Начинающему писателю трудно не считаться съ желаніями редактора, да еще въ положеніи Бѣлинскаго, и мы должны признать, можетъ быть, не одну уступку съ его стороны—своему покровителю и литературному воспріемнику.

Но уступки не шли дальше частностей, и надо изумляться наивности или безразличію редактора, пропускавшаго мимо глазъ сущность и чувствовавшаго полное удовлетвореніе отъ вводныхъ предложеній и примѣчаній.

Стремительность и неугомонность личности разобьетъ у Бѣлинскаго и болѣе тяжелыя цѣпи, чѣмъ подсказыванья Надеждина.

По философской эстетикѣ творчество должно быть безотчетно, своего рода пророческимъ наитіемъ,—и нашъ критикъ сумѣетъ выразить эту истину въ очень краснорѣчивой формѣ. Истина дѣйствительно художественно-красива, *поэтична* и ставитъ извѣстныхъ избранниковъ на почти божественную высоту сравнительно съ обыкновенными людьми. Картина очень увлекательная для юнаго романтическаго воображенія, и Бѣлинскій стремительно подпишетъ подъ ней свое имя.

Но это—дань художественному чувству,—есть нѣчто болѣе глубокое и болѣе *личное* у нашего критика,—сладострастіе протеста. И стоитъ ему встрѣтиться съ человѣкомъ, отвѣчающимъ на эту страсть, онъ мгновенно забываетъ свои мирныя художественныя упоенія.

Такая встрѣча происходитъ съ Грибоѣдовымъ, и она подскажетъ критику поразительную идею о «палачѣ-художникѣ». Шеллингіанецъ отступилъ бы въ ужасѣ отъ подобной фигуры, но Бѣлинскій продолжаетъ:

«Каждый стихъ Грибоѣдова есть сарказмъ, вырвавшійся изъ души художника въ пылу негодованія»...

Въ комедіи Грибоѣдова имѣются недостатки, но они не мѣшаютъ *Горю отъ ума* быть «образцовымъ геніальнымъ произведеніемъ», а Грибоѣдову—«Шекспиромъ комедіи».

Этотъ приговоръ вскорѣ встрѣтитъ отпоръ въ другой философской эстетикѣ, въ гегельянской,—но и новое увлеченіе не помѣшаетъ звучать все тому же внутреннему голосу, подающему сочувственный откликъ только на могучія проявленія жизни и на независимыя стремленія духа.

Присмотритесь къ опредѣленіямъ, какія авторъ даетъ художественнымъ произведеніямъ, какъ онъ рѣзко подчеркиваетъ и безъ того энергичныя выраженія,—вы поймете размахъ совершающагося предъ вами умственнаго процесса. Комедія должна быть

плодомъ *горькаго* негодованія, сарказмомъ, *судорожнымъ* хохотомъ... Гдѣ же здѣсь до художественности, лишенной нравственныхъ задачъ! Здѣсь, очевидно, не только существуетъ цѣль, но неуклонное намѣреніе достигнуть ее, т. е. «заклеймить *мстительною* рукой» преступниковъ и уродовъ.

И насъ не должны смущать явныя противорѣчія автора. То онъ осудитъ Фонвизина за излишнюю вѣрность его типовъ натурѣ, то превознесетъ Грибоѣдова именно за то, что его лица «сняты съ натуры во весь ростъ, почерпнуты со дна дѣйствительной жизни». Противорѣчіе объясняется просто: смѣхъ Фонвизина менѣе глубокъ и осмысленъ, чѣмъ у Грибоѣдова. Его умственный кругозоръ ýже, душа мельче, чѣмъ у творца Чацкаго,—и критикъ не могъ остаться на чисто-художественной почвѣ. Идейная, нравственно-общественная стихія заговорила,—и ему невольно пришлось подыскивать эстетическія оправданія для совершенно неэстетическихъ сужденій.

Бѣлинскій упорно будетъ твердить: «цѣль вредитъ поэзіи», но въ то же время перестанетъ восхвалять сліяніе въ поэзіи мысли съ чувствомъ, пламенное сочувствіе природѣ. Очевидно,—одно понятіе уничтожаетъ другое, потому что мысль всегда предполагаетъ цѣль, а сочувствіе даже вдохновляетъ стремленіе къ поставленной цѣли. Критикъ восторженно отзывается о Веневитиновѣ какъ разъ о поэтѣ менѣе всего безотчетномъ, о поэтѣ—идейномъ по преимуществу.

И потомъ,—способенъ ли вообще нашъ авторъ составить извѣстную теорію творчества и по ней произносить свои приговоры?

Это вопросъ въ высшей степени важный. Всякая философская система владѣетъ своей эстетикой. Это извѣстно Бѣлинскому, и разсѣянные лучи шеллингіанской истины безпрестанно мелькаютъ въ *Литературныхъ мечтаніяхъ*. Впослѣдствіи то же самое должно повториться во имя другой системы.

Да,—искушеніе несомнѣнно: Бѣлинскій желаетъ стать съ вѣкомъ наравнѣ и даже укоряетъ Пушкина за то, что ему недоставало «нѣмецко-художественнаго воспитанія».

Это—жестокій упрекъ и могъ бы привести критика къ не менѣе безпощадному суду надъ Пушкинымъ, чѣмъ драматическіе діалоги Никодима Надоумко. Но и здѣсь опять возникаетъ столкновеніе послѣднихъ словъ чужой науки съ личными влеченіями критика.

Онъ по поводу неудачныхъ переводовъ Полежаева произноситъ крайне неосторожную, эстетически-ненаучную фразу: «какъ-то не

идутъ въ душу». Вотъ, оказывается, гдѣ настоящій трибуналъ критики—и невѣжество Пушкина въ нѣмецко-художественномъ воспитаніи не помѣшаетъ Бѣлинскому сравнить его творчество съ теоріями и сдѣлать такой выводъ:

«Пушкинъ не говорилъ, что поэзія есть то или то, а наука есть это или это, нѣтъ, онъ своими созданіями далъ мѣрило для первой и до нѣкоторой степени показалъ современное значеніе другой».

Зачѣмъ же тогда и толковать о какихъ-то изъянахъ пушкинской поэзіи, разъ она сама по себѣ замѣняетъ всякую эстетику?

И именно Пушкинъ даетъ критику возможность показать, какой живой ключъ свободной мысли бьетъ въ его натурѣ, какъ неестественны и жалки всѣ внѣшнія воздѣйствія сравнительно съ этой органической силой.

Можно подивиться, какъ Надеждинъ допустилъ въ своемъ журналѣ такую характеристику пушкинскаго таланта. Она — первая въ русской литературѣ и только пять лѣтъ спустя въ *Отечественныхъ запискахъ* появится статья, равная ей по значенію и широтѣ взгляда. Статья переводная, авторъ ея нѣмецкій писатель Варнгагенъ фонъ-Энзе. Переводчикъ—Катковъ — сопроводитъ ее предисловіемъ, полнымъ восторговъ предъ величіемъ Пушкина. Но этотъ лиризмъ уже не будетъ новостью. Пушкинъ при жизни могъ узнать, какое мѣсто ему принадлежитъ въ исторіи русской литературы.

XVII.

Сужденіе о Пушкинѣ—замѣчательнѣйшая страница въ первой статьѣ Бѣлинскаго. Эти нѣсколько строкъ раскрываютъ намъ сущность критическаго таланта Бѣлинскаго и показываютъ—теперь же съ полной ясностью, какими принципами будетъ руководиться критикъ и какія цѣли преслѣдовать,—независимо отъ теоретическихъ увлеченій той или другой философской системой.

Бѣлинскій пишетъ:

«Пушкинъ былъ совершеннымъ выраженіемъ своего времени. Одаренный высокимъ поэтическимъ чувствомъ и удивительною способностью принимать и отражать всѣ возможныя ощущенія, онъ перепробовалъ всѣ тоны, всѣ лады, всѣ аккорды своего вѣка; онъ заплатилъ дань всѣмъ великимъ современнымъ событіямъ, явленіямъ и мыслямъ, всему, что только могла чувствовать тогда

Россія, переставшая вѣрить въ несомнѣнность «вѣковыхъ правилъ самою мудростью извлеченныхъ изъ писаній великихъ геніевъ», и съ удивленіемъ узнавшая о другихъ правилахъ, о другихъ мірахъ мыслей и понятій, и новыхъ, неизвѣстныхъ ей дотолѣ взглядахъ на давно извѣстныя ей дѣла и событія. Несправедливо говорятъ, будто онъ подражалъ Шенье, Байрону и другимъ: Байронъ владѣлъ имъ не какъ образецъ, но какъ явленіе, какъ властитель думъ вѣка, а я сказалъ, что Пушкинъ заплатилъ свою дань каждому великому явленію. Да, Пушкинъ былъ выраженіемъ современнаго ему міра, представителемъ современнаго ему человѣчества, но міра русскаго, но человѣчества русскаго».

И дальше въ лирической картинѣ рисуется восторгъ, охватившій всю Россію при звукахъ пушкинской лиры.

Буквально то же самое услышатъ русскіе читатели и отъ иностраннаго критика.

Варнгагенъ фонъ-Энзе будетъ доказывать, что Пушкинъ — «выраженіе всей полноты русской жизни и потому онъ національ въ высшемъ смыслѣ этого слова».

Бѣлинскій предвосхитилъ эту истину и исчисленіемъ общественныхъ заслугъ Пушкина подписалъ приговоръ всякой чисто-эстетической критикѣ. Сдѣлалъ онъ это не на основаніи какого бы то ни было художественнаго воспитанія, а по внушенію той самой силы, какая создала изъ Пушкина великаго національнаго поэта.

Пушкинъ обладалъ высшей чуткостью и отзывчивостью, его душа давала откликъ на всѣ явленія дѣйствительности. Такая же музыкальность природы—основное свойство Бѣлинскаго. Онъ—первый русскій критикъ-художникъ; въ первый разъ поэтическое творчество нашло прирожденнаго цѣнителя и сочувственника; русскіе поэты дождались въ полномъ смыслѣ родной души. Они не рисковали безпомощно биться будто о каменную стѣну о стихійное непониманіе художественнаго таланта литературными учителями и могли быть увѣрены—одержать побѣду въ личныхъ сочувствіяхъ критика, даже въ ущербъ его разсудочнымъ задачамъ.

Нечего было дѣлать здѣсь и какимъ угодно авторитетнымъ внушителямъ. Они могли на время обольстить вѣчно ищущій и увлекающійся умъ молодого писателя той или другой идеей, но разъ навсегда снабдить его готовымъ міросозерцаніемъ, оберечь свои внушенія отъ взрыва мятежныхъ инстинктовъ ученика—они были не въ силахъ, хотя и не понимали своего дѣйствительнаго положенія.

Мы увѣрены,—Надеждинъ былъ въ полномъ убѣжденіи, что іобрѣлъ себѣ самаго удобнаго, подручнаго сотрудника. Недаиъ онъ вскорѣ передастъ ему даже редакцію своихъ журналовъ, исколько не опасаясь неожиданностей и возмущеній. Если его и танавливала по временамъ слишкомъ стремительная рѣчь Бѣнскаго,—онъ въ ту же минуту успокоивался: онъ и самъ говоилъ сильныя фразы и изощрялъ перо въ заносчивомъ бою съ игилистами». Развѣ могъ бывшій обыватель патріаршихъ прудовъ пустить другой смыслъ въ страстныхъ изліяніяхъ критика! Геи преднамѣреннаго риторства и политики личнаго разсчета съ удомъ вѣрятъ въ чужую искренность,—и Бѣлинскій могъ подъ окровительствомъ Надеждина начать полное разрушеніе всѣхъ арыхъ порядковъ, сложившихся на русскомъ ученомъ Парнассѣ.

Но, конечно, ближайшее личное и писательское соприкосновеіе съ такимъ наставникомъ, какъ Надеждинъ, не могло пройдти езнаказанно. Бѣлинскій своему профессору обязанъ противорѣіями, легкомысленнымъ лиризмомъ и нерѣдко явнымъ старовѣрескимъ наслѣдіемъ сановныхъ эстетиковъ. Большое удовольствіе олженъ былъ получить редакторъ отъ настоящей оды своего отрудника вѣку Екатерины, ея орламъ, громамъ побѣдъ и заеваній и русскому духу—въ разгулѣ «величавыхъ и гордыхъ ельможъ». Все это дышало умилительной наивностью, стоявшею волнѣ на высотѣ профессорской исторической философіи и торжественныхъ академическихъ рѣчей.

Но критикъ, къ сожалѣнію, и здѣсь собственными руками разивалъ очаровательный призракъ. Зачѣмъ онъ похвалилъ Грибоѣдова, какъ палача-художника! Вѣдь этотъ палачъ первою жертвой заклеймилъ какъ разъ восторженнаго поклонника очаковскихъ временъ и екатерининскихъ орловъ. Фамусовъ съ великимъ благоговѣніемъ выслушалъ бы рѣчь нашего критика о временахъ Максима Петровича и сталъ бы втупикъ, узнавъ немного позже о своей «печати ничтожества» въ грибоѣдовской комедіи.

Намъ ясна—смута и нестройность первой статьи Бѣлинскаго. Мы можемъ сказать больше: статья, очевидно, не была строго продумана раньше, чѣмъ авторъ рѣшилъ положить ее на бумагу. Она—рядъ скорѣе настроеній, взволнованныхъ чувствъ и сильныхъ впечатлѣній, чѣмъ логическихъ мыслей. Она менѣе всего цѣльное разсужденіе, она дѣйствительно поэтическое произведеніе въ прозѣ, не столько *элегія*, какъ ее называетъ самъ авторъ, сколько лирическая поэма. Она важна для насъ не столько отдѣльными

сужденіями, сколько *психологической основой*, единственно вполнѣ прочнымъ и выдержаннымъ элементомъ. Она самооткровеніе не столько критика, сколько человѣка.

Критикъ едва уловимъ. Однѣ его идеи можно опровергнуть другими или остаться въ полномъ недоумѣніи насчетъ истиннаго взгляда автора. Но не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія въ нравственной *личности* автора.

Самъ Бѣлинскій, повидимому, понималъ этотъ смыслъ своего перваго литературнаго шага. Онъ въ той же статьѣ отказывается считать себя литераторомъ и писателемъ, а настаиваетъ на «честномъ и добросовѣстномъ человѣкѣ». И въ качествѣ таковаго онъ могъ впадать въ самую непосредственную откровенность съ читателемъ, сознаваться ему, что онъ—авторъ—мало знакомъ съ Гёте «по незнанію нѣмецкаго языка».

Это выходило даже трогательно, но, разумѣется, болѣе на общей почвѣ человѣческой честности, чѣмъ писательскаго авторитета.

Такъ и мы должны цѣнить всю статью.

Бѣлинскій еще ищетъ своего пути. Природа снабдила его чуднымъ компасомъ, и рано или поздно поиски непремѣнно приведутъ къ вѣрной цѣли. Но пока молодой критикъ на распутьи,—и это мучительное состояніе будетъ продолжаться нѣсколько лѣтъ.

Руководителя, способнаго указать путь,—нѣтъ на лицо. Учителей сколько угодно; у каждаго свой символъ вѣры и въ каждомъ символѣ, какъ всегда, имѣется своя привлекательная сторона. Бѣлинскому именно привлекательность должна особенно бросаться въ глаза, потому что для него принципы литературной дѣятельности—основы самой жизни. Онъ не можетъ услаждаться самымъ процессомъ поисковъ, существовать среди утонченно-эпикурейской игры въ діалектику, въ нескончаемое созиданіе и разрушеніе полуистинъ и полузаблужденій. Мы слышали, литература—его призваніе, это значитъ—его вѣра и религія, и ему, слѣдовательно, нуженъ практическій догматъ, а не чистая теорія.

Естественно, онъ страстно будетъ возставать противъ всяческихъ недомолвокъ и особенно противъ «комплиментовъ и мадригаловъ», т. е. сдѣлокъ и отступленій. Онъ до послѣдняго звена доведетъ философскую идею, именно потому, что ему необходимо указаніе для практическихъ дѣйствій. И друзьямъ-гегельянцамъ стоитъ только сообщить ему общія основы системы,—онъ неза-

само отъ дальнѣйшихъ внушеній продѣлаетъ весь логическій процессъ и самостоятельно придетъ къ тѣмъ самымъ практическимъ приложеніямъ системы, какія будутъ освящены самимъ учителемъ.

Пока онъ держится шеллингіанскихъ вдохновеній. Болѣе года спустя послѣ *литературныхъ мечтаній*, мы слышимъ восторженную характеристику чувства изящнаго. Она излагается въ такихъ рѣшительныхъ выраженіяхъ, что не всякій шеллингіанецъ, по крайней мѣрѣ не поэтъ-романтикъ, рѣшился бы на подобный апоѳеозъ.

Бѣлинскій какъ разъ впадаетъ въ ту самую опасность, на какую указывалъ даже Шиллеръ. Онъ не желаетъ различать границъ эстетическаго и нравственнаго воззрѣнія. По его мнѣнію, «эстетическое чувство есть основа добра, основа нравственности». Но послушайте, что слѣдуетъ дальше, что значитъ на языкѣ критика,—*изящное*.

Уничтоживъ Сѣверо-Американскіе Штаты за равнодушіе къ изящному, Бѣлинскій продолжаетъ:

«Гдѣ нѣтъ владычества искусства, тамъ люди не добродѣтельны, а только благоразумны, не нравственны, а только осторожны; они не борются со зломъ, а избѣгаютъ его, избѣгаютъ его не по ненависти ко злу, а изъ разсчета. Цивилизація тогда только имѣетъ цѣну, когда помогаетъ просвѣщенію, а, слѣдовательно, и добру—единственной цѣли бытія человѣка, жизни народовъ, существованія человѣчества. Погодите, и у насъ будутъ чугунныя дороги и, пожалуй, воздушныя почты, и у насъ фабрики и мануфактуры дойдутъ до совершенства, народное богатство усилится, но будетъ ли у насъ религіозное чувство, будетъ ли нравственность, вотъ вопросъ! Будемъ плотниками, будемъ слесарями, будемъ фабрикантами, но будемъ ли людьми,—вотъ вопросъ!»

Обратите вниманіе: искусство упоминается лишь въ началѣ рѣчи, дальше оно подмѣняется просвѣщеніемъ, добромъ, религіознымъ чувствомъ, нравственностью, даже просто человѣческимъ званіемъ. Энергичнѣе невозможно разсуждать и дальше идти некуда. Шеллингъ въ искусствѣ видѣлъ самооткровеніе міровой сущности, но что значитъ эта метафизическая истина съ жизненными, вполнѣ осязательными задачами, возложенными критикомъ на искусство? И теперь посмотрите, какой результатъ, у философа и у моралиста.

Въ области философіи можно безнаказанно дѣлать какія угодно широкія обобщенія и открытія. Все равно это предметъ вѣры и

созерцанія, а не общеубѣдительнаго доказательства. Но разъ открытіе вы совлекли съ неба на землю, вы немедленно предъявите ему неотразимые запросы по части жизненнаго значенія и смысла. Страшная опасность для метафизическаго сооруженія, буквально такая же какъ для развѣнчиваемаго и разоблачаемаго кумира, только-что недосягаемо красовавшагося на пьедесталѣ среди зачарованныхъ идолослужителей.

Бѣлинскій систематически продѣлывалъ этотъ процессъ со всѣми завоеваніями философской діалектики и, конечно, раньше другихъ въ божествѣ открывалъ просто раззолоченнаго истукана.

Открытіе неминуемо должно произойти прежде всего съ идеей изящнаго. Обольщенный романтической таинственной красотой шеллингіанскаго представленія о творчествѣ и творческомъ геніѣ,— Бѣлинскій эстетику возвелъ въ науку наукъ и «единственною цѣлью критики» призналъ «усиліе уяснить и распространить господствующія понятія своего времени объ изящномъ». Дальше оказывается, — это значило удовлетворять общественной «жаждѣ образованности». Сообщать публикѣ «нѣмецкія начала» эстетики и быть «гувернеромъ общества»—одно и то же! [82])

Достаточно такой постановки вопроса, чтобы предсказать неминуемое крушеніе замысла,—и въ самомъ близкомъ будущемъ.

Для переворота не потребуется никакихъ нарочитыхъ опытовъ, ни практическихъ, ни умственныхъ,—а просто теорію нельзя будетъ сблизить съ жизнью. А это—первостепенная и исконная задача критика. И онъ, въ силу вещей, начнетъ просвѣщать общество не столько нѣмецкими началами, сколько русской дѣйствительностью,—и теоріи, разумѣется, придется отступить на задній планъ, а потомъ и окончательно исчезнуть.

Въ то самое время, когда такъ широковѣщательно провозглашалась всеобъемлющая власть изящнаго и нѣмецкихъ теорій,—Бѣлинскій впервые встрѣтился съ самымъ плодотворнымъ своимъ учителемъ, вѣрнѣе, другомъ по сродству душъ, художникомъ-реалистомъ. Этотъ другъ впослѣдствіи затмитъ жизненнымъ смысломъ своихъ произведеній всѣ философскія идолопоклонства Бѣлинскаго. Гоголь — истинный воспріемникъ и двигатель его критическаго генія.

---

[82]) О критикѣ и литературныхъ мнѣніяхъ *Московскаго Наблюдателя* 1836-й годъ.

XVIII.

Въ періодъ преклоненія предъ гегельянскимъ ученіемъ о разумной дѣйствительности Бѣлинскій глубоко страдалъ отъ одного неустранимаго противорѣчія. Оно воплощалось въ лицѣ Лермонтова. Критикъ не могъ не поддаваться очарованію этого мощнаго таланта; всякое стихотвореніе Лермонтова было для него праздникомъ и онъ спѣшилъ даже подѣлиться счастьемъ съ своими друзьями. Но одно обстоятельство удручало Бѣлинскаго. Лермонтовъ не только не обнаруживалъ примиренія съ дѣйствительностью, но протестовалъ противъ нея всѣми силами души и таланта.

Это—любопытный фактъ. Онъ показываетъ, какъ трудно было Бѣлинскому правду жизни подчинить логикѣ умозрѣнія. И, если Лермонтовъ вносилъ разладъ въ гегельянство Бѣлинскаго, Гоголь выполнилъ ту же самую роль относительно раннихъ эстетическихъ вѣрованій критика. Художественная основа природы Бѣлинскаго противъ его воли оказывала ему незамѣнимыя услуги на пути также къ полной идейной независимости.

Вѣрный шеллингіанецъ—непремѣнно романтикъ, и мы объясняли тѣснѣйшую психологическую и культурную связь между шеллингіанствомъ и романтизмомъ. А романтикъ, значитъ поэтъ высшихъ явленій, пѣвецъ неземной красоты и исключительнаго героизма, и мы видѣли, какъ трудно было русской критикѣ помириться съ мотивами пушкинской поэзіи, слишкомъ мелкими и общедоступными. Реализмъ, какъ литературное направленіе, признавался вполнѣ и безповоротно только Пушкинымъ, т. е. первымъ художникомъ эпохи, критика не успѣла дорости до «фламандскаго сора» и даже устами Полевого все еще только толковала о грандіозности Гюго и Шекспира.

Бѣлинскій, захваченный талантомъ Гоголя,—немедленно присоединилъ свой голосъ къ восторгамъ Пушкина предъ тѣмъ же талантомъ. И въ русской критикѣ впервые появляется *теорія реальнаго искусства.*

Обратите вниманіе—на краснорѣчивое совпаденіе. Въ *Литературныхъ мечтаніяхъ* опредѣлено общее значеніе Пушкина,—спустя нѣсколько мѣсяцевъ, тоже самое—сдѣлано относительно Гоголя. Никакія теоріи не помѣшали и не помогли критику совершить эти два дѣла. И они не были бы совершены, если бы критикъ

для своихъ сужденій располагалъ только оружіемъ отвлеченной эстетики. Его оригинальное преимущество предъ литературными учителями заключалось въ прирожденной—*чувствуемой* эстетикѣ и голосъ ея прорывался сквозь чужія авторитетнѣйшія рѣчи всякій разъ, когда творческое явленіе своею мощью дѣйствовало на непосредственную воспріимчивость критика.

Было бы въ высшей степени любопытно рѣшить вопросъ, насколько Бѣлинскій былъ знакомъ съ гегельянской философіей въ моментъ сочиненія статьи *О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя*?

Статья напечатана въ «Телескопѣ» за 1835 годъ, въ томъ же году нѣсколько позже помѣщенъ переводъ французскаго *Опыта о философіи Гегеля*. Авторъ перевода Станкевичъ. Съ другой стороны, извѣстно, что не Станкевичъ, а Бакунинъ преимущественно просвѣщалъ Бѣлинскаго въ гегельянствѣ, и просвѣщеніе это падаетъ на половину 1837 года. Съ этого времени Бѣлинскій дѣйствительно принимается обожать дѣйствительность и приносить ей самоотверженныя жертвы.

Но если Бѣлинскій въ началѣ 1835 года еще не былъ гегельянцемъ,—то основы для воспріятія ученія о дѣйствительности, несомнѣнно, существовали. И Гоголю, такимъ образомъ, пришлось сыграть двойную роль въ критическомъ развитіи Бѣлинскаго.

Сначала—спокойное творчество и добродушный юморъ повѣстей очаровали критика жизненной полнотой и правдой. Бѣлинскому не стоило большихъ усилій—понять слабость шиллеровскаго романтизма именно по части естественности и выйти изъ-подъ вліянія громовыхъ рѣчей Карла Моора и маркиза Позы. Это было дѣломъ простоличнаго умственнаго и эстетическаго роста критика и ему незачѣмъ было ждать гегелевой дѣйствительности, чтобы разоблачить шиллеровскую мечтательность.

Уже въ *Литературныхъ мечтаніяхъ* Грибоѣдовъ восхваляется за реализмъ его типовъ, Гоголь могъ только повысить тонъ восхваленій и вызвать у критика уже рядъ обобщеній.

Эти соображенія важны не только для оцѣнки критическаго таланта Бѣлинскаго, но и для уясненія его психологической исторіи. Гегельянство явилось для него такой же естественной и неизбѣжной ступенью развитія, какъ и ранніе отголоски фихтіанскаго героическаго воззрѣнія на личность, шеллингіанскаго ученія объ искусствѣ; Бѣлинскій-юноша непремѣнно долженъ былъ пережить полосу романтизма. Это вытекало изъ самой природы юности и еще болѣе изъ житейскихъ условій. Бѣлинскій—

романтикъ легко, почти безсознательно становился фихтіанцемъ въ презрѣніи къ дѣйствительности и въ идеализаціи субъекта и въ тѣхъ же романтическихъ мечтаніяхъ могъ почерпать сочувствія шеллингіанской эстетикѣ. Она, возвеличивавшая творчество и, слѣдовательно, художниковъ, являлась однимъ изъ приложеній ученія Фихте о всемогуществѣ субъекта.

Романтическій угаръ смѣнился болѣе спокойной вдумчивостью и отрезвленіемъ чувствъ. Бѣлинскій становился реалистомъ и по своимъ житейскимъ воззрѣніямъ и по своимъ литературнымъ вкусамъ. Дѣйствительность логически выступила на первый планъ и одинъ изъ первыхъ симптомовъ новыхъ настроеній—восторги предъ реальной поэзіей Гоголя.

Но еще полнаго разрыва нѣтъ съ прошлымъ. Бѣлинскому еще дороги образы, вѣявшіе на него очарованіемъ сверхъестественной силы въ годы ранней молодости. Преклоняясь предъ талантомъ Гоголя, онъ спѣшитъ сказать защитительное слово и въ честь Шиллера. Онъ указываетъ на его искренность и даже глубину мысли. Онъ съ меланхолической улыбкой сожалѣнія провожаетъ въ даль невозвратнаго прошлаго свои вдохновенныя мечты и, приближаясь къ жизненной правдѣ, не можетъ забыть былыхъ наслажденій идеалами.

Это начало поворота на новый путь, первое *распаденіе* въ духовномъ развитіи критика. Бѣлинскій не остановится, потому что не можетъ остановиться,—на половинчатомъ міросозерцаніи. Идеи Гегеля упадутъ на почву вполнѣ подготовленную и въ высшей степени благодарную, потому что онѣ сами по себѣ совпадутъ съ заранѣе совершающимся процессомъ въ умѣ Бѣлинскаго.

Приступая къ разбору произведеній Гоголя, Бѣлинскій задаетъ вопросъ, умѣстный вообще въ устахъ противника фихтіанскаго міросозерцанія:

«Развѣ... не всѣ убѣждены, что Божіе твореніе выше всякаго человѣческаго, что оно есть самая дивная поэма, какую только можно вообразить, и что высочайшая поэзія состоитъ не въ томъ, чтобы украшать его, но въ томъ, чтобы воспроизводить его въ совершенной истинѣ и вѣрности?».

Выводъ: «поэзія реальная, поэзія жизни, поэзія дѣйствительности истинная и настоящая поэзія нашего времени. Ея отличительный характеръ состоитъ въ вѣрности дѣйствительности; она не пересоздаетъ жизнь, но воспроизводитъ, возсоздаетъ ее и, какъ выпуклое стекло, отражаетъ въ себѣ, подъ одною точкою зрѣнія,

разнообразныя ея явленія, выбирая изъ нихъ тѣ, которыя нужны для составленія полной, оживленной и единой картины».

Критикъ не отступаетъ предъ «безпощадной откровенностью» искусства, убѣжденъ, что въ поэтическомъ представленіи всякая дѣйствительность прекрасна. Гдѣ истина, тамъ и поэзія, тамъ же и нравственность. «Факты говорятъ громче словъ; вѣрное изображеніе нравственнаго безобразія могущественнѣе всѣхъ выходокъ противъ него».

Это—защита не только реальнаго искусства, но и подлиннаго натурализма, только безъ преднамѣреннаго выбора исключительно отрицательныхъ явленій. Критикъ вообще противъ тенденціозности и притязательности. Онъ предоставляетъ таланту полную свободу и твердо увѣренъ, что талантъ самъ по себѣ и народенъ, и нравствененъ, и полонъ поучительнаго содержанія. Это все та же восторженная вѣра въ незамѣнимыя достоинства творческихъ способностей человѣка. Но критикъ оказался вынужденнымъ сдѣлать оговорку насчетъ *выбора* явленій. Въ высшей степени существенное ограниченіе таланта!

Гдѣ выборъ, тамъ анализъ, разсудокъ, слѣдовательно, *оцѣнка* фактовъ съ точки зрѣнія ихъ нравственнаго достоинства и жизненной значительности. Очевидно, одного вдохновенія недостаточно для созданія «полной, обновленной и единой картины». Въ какой мѣрѣ аналитическая способность должна принимать участіе въ творческомъ процессѣ—вопросъ едва ли разрѣшимый. Даже больше,—врядъ ли возможно съ рѣшительной общеобязательной точностью установить предѣлы естественнаго выбора и преднамѣреннаго подбора. Тамъ, гдѣ для одного художника—непосредственный голосъ его поэтической природы, для другого—уже тенденція. И тотъ же Гоголь, по убѣжденію Бѣлинскаго, спокойный и безпристрастный созерцатель и воспроизводитель дѣйствительности, для остальной современной критики—нарочитый изобразитель всего грязнаго и уродливаго въ русской жизни. И самъ Гоголь будто давалъ право такъ смотрѣть на его, по крайней мѣрѣ, позднѣйшія произведенія.

Вѣдь признавался же авторъ по поводу *Ревизора*, что онъ «рѣшился собрать въ одну кучу все дурное въ Россіи, какое зналъ», всѣ несправедливости и «за однимъ разомъ» посмѣяться надъ всѣми.

Развѣ это не выборъ ради полноты и въ то же время развѣ не откровенное сознаніе въ преднамѣренности?

Очевидно, вопросъ гораздо сложнѣе, чѣмъ онъ представлялся

Бѣлинскому. Въ творчествѣ, точнѣе, въ творческомъ процессѣ заключаются двѣ силы—непосредственныя внушенія дѣйствительности и переработка этихъ внушеній личностью художника. И Бѣлинскій не правъ, приписывая все значеніе самой дѣйствительности, *фактамъ*, реальной истинѣ. Такая идея не далеко отъ того, что тотъ же Гоголь называлъ *проступкомъ*, т. е. отъ «рабскаго буквальнаго подражанія природѣ». Бѣлинскій прекрасно усвоилъ шеллингіанское представленіе о художественномъ творчествѣ, тождественномъ съ процессомъ міровою развитія: безцѣльность съ цѣлью, безсознательность съ сознаніемъ. Геній, какъ и природа, дѣйствуетъ безсознательно, но результаты дѣятельности являются цѣлесообразными.

Это въ высшей степени увлекательная философія,—поэтическая и величественная,—но въ ней не раскрывается *психологическая* тайна творчества. О *сознаніи* природы мы не имѣемъ никакого опредѣленнаго представленія, между тѣмъ какъ та же способность—основная сила нравственнаго міра человѣка. И нѣтъ даже логическаго основанія, не только опытнаго,—отождествлять *міровой процессъ съ субъективнымъ*—психологическій процессъ съ органическимъ и на этомъ отождествленіи строить практическіе выводы, распространяющіеся на человѣческую дѣятельность.

Для такихъ выводовъ необходимо безусловно выйти изъ предѣловъ метафизики и исключительно у психологіи искать требуемыхъ отвѣтовъ.

Бѣлинскій, напримѣръ, въ той же статьѣ о Гоголѣ и по поводу все той же безцѣльности и безсознательности припоминаетъ *Горе отъ ума*: по *чистѣйшей нравственности* эта комедія стоитъ рядомъ съ «спокойнымъ юморомъ» Гоголя. Такова мысль критика.

Но всякому ясно, какая громадная разница въ *настроеніяхъ* Грибоѣдова, создававшаго Чацкаго,—и Гоголя, живописавшаго старосвѣтскихъ помѣщиковъ или поручика Пирогова. Гоголь только подъ конецъ жизни, когда онъ задался открыто проповѣдническими цѣлями, принялся сочинять монологи для своихъ героевъ, но отъ собственнаго лица.

Какъ же теперь разграничить преднамѣренность и сознательность? Никакая эстетика не рѣшитъ этого вопроса и онъ всякій разъ рѣшается *эмпирически*, т. е. для каждаго случая отдѣльно. Единственный, по нашему мнѣнію, общій выводъ возможенъ только въ общей психологической формѣ: идеальная художественная природа—гармоническое сліяніе творческихъ силъ съ нравственнымъ

міросозерцаніемъ, соотвѣтствіе способности наблюдать и воспринимать—силѣ анализировать и понимать, видѣть и постигать, воспроизводить и осмысливать — вотъ высшая цѣль человѣческаго духа и, слѣдовательно, поэтическаго таланта. Въ результатѣ *истина* творческихъ образовъ по преимуществу будетъ зависѣть отъ того свойства художника, какое Бѣлинскій выражаетъ непереводимымъ французскимъ словомъ—*concevoir,* отъ воспріятія, *значительность* произведенія отъ того, что критикъ называотъ *выборомъ*, сознательностью. Но только сознательность эта простирается гораздо дальше, чѣмъ думаетъ Бѣлинскій, дальше желанія воспроизвести непроизвольно воспринятую идею. Писатель сознателенъ не потому только, что у него достаточно воли сѣсть за столъ и закрѣпить перомъ на бумагѣ свое «таинственное ясновидѣніе», свой «поэтическій сомнамбулизмъ», какъ выражается критикъ. Выборъ долженъ быть направленъ и у высшихъ творческихъ организацій необходимо на самыя явленія, на содержимое сомнамбулизма,—и именно результатъ выбора свидѣтельствуетъ о глубинѣ вдумчивости, анализа, силы—критикующей и оцѣнивающей.

Въ зависимости отъ этого взгляда мѣняются и задачи критики.

Бѣлинскій, оставаясь на чисто-философской почвѣ художественнаго созерцанія, упорно продолжаетъ считать обязанностью русскаго критика—«распространять въ своемъ отечествѣ извѣстныя основныя понятія объ изящномъ». Его гипнотизируетъ выспреннее метафизическое представленіе о *творчествѣ* и онъ только случайно и невольно оговаривается насчетъ другихъ духовныхъ способностей, не менѣе необходимыхъ генію, чѣмъ и простому смертному.

Эта односторонность выводила изъ терпѣнія даже Боткина. Онъ негодовалъ, что Бѣлинскій «крѣпко сидитъ на художественности», и находилъ, что «отъ этого его критика еще далеко не имѣетъ той свободы, оригинальности, того простого и дѣльнаго взгляда, къ которымъ онъ способенъ по своей природѣ».

Дальше Боткинъ выражается еще энергичнѣе противъ силы, порабощавшей богатую природу Бѣлинскаго: «нѣмецкія теоріи чуть не убили здравый смыслъ въ нашей критикѣ» [33]).

Мы видѣли,—Бѣлинскому удавалось весьма ярко проявлять этотъ смыслъ съ самаго начала. Теоріи не помѣшали критику провозгласить Гоголя истиннымъ поэтомъ и распознать основную силу

---

[33]) *Анненковъ и его друзья,* стр. 527.

его таланта. Природа Бѣлинскаго не замолкала при самомъ настойчивомъ шумѣ теорій. Ей теперь предстоитъ самое тяжелое испытаніе, потому что теорія на первыхъ порахъ какъ будто совпадетъ съ «здравымъ смысломъ» и пойдетъ на встрѣчу естественнымъ запросамъ самой природы. Бѣлинскій находится въ періодѣ излѣченія отъ собственнаго поэтическаго сомнамбулизма; положительный умъ беретъ верхъ надъ туманными внушеніями чувства; правда и сила жизни борется съ блескомъ и тщетой воображенія.

И какой же увлекательной желанной гостьей должна показаться философія, возводящая въ перлъ созданія эту правду и силу, философія дѣйствительности!

XIX.

Въ маѣ 1835 года Надеждинъ вышелъ изъ университета и собрался ѣхать заграницу. На время отсутствія онъ передалъ завѣдываніе *Телескопомъ* и *Молвой* Бѣлинскому. Молодой редакторъ разсчитывалъ на помощь друзей и, мы знаемъ,—обманулся въ ней. Станкевичъ даже прямо писалъ: «разумѣется, я не стану тратить времени на *Телескопъ*» и отводилъ для него «два-три часа свободныхъ» по воскресеньямъ. Но, очевидно, и эти часы заполнялись другими заботами, рѣже всего журнальными.

Бѣлинскому пришлось работать за всѣхъ. Задача усложнялась еще матеріальными условіями изданія. Надеждинъ не выполнилъ своихъ обязательствъ предъ подписчиками и его замѣстителю приходилось одновременно издавать запоздавшія книжки и готовить матеріалъ для будущихъ.

Всѣ старанія не могли увѣнчаться успѣхомъ. Бѣлинскій издалъ только половину книжекъ, и Надеждинъ, вернувшійся изъ заграницы, свидѣтельствовалъ подписчикамъ, что это обстоятельство совершенно не зависѣло отъ редакціи, т. е. отъ Бѣлинскаго [84]).

Новая редакція начала дѣйствовать, вѣроятно, немедленно послѣ выхода пятой книги журнала за 1835 годъ. Эта книга разрѣшена цензурой 17-го мая и въ этомъ мѣсяцѣ Надеждинъ уѣхалъ изъ Москвы. Мы, слѣдовательно, можемъ точно опредѣлить направленіе редакторской дѣятельности Бѣлинскаго.

Несомнѣннымъ выраженіемъ сочувствій редакціи и ближайшихъ сотрудниковъ является статья о философіи Гегеля, напеча-

---

[84]) *Отъ издателя*, 26 октября 1836 года. *Телескопъ* № 24.

танная въ концѣ 1835 года. Это довольно поверхностное произведеніе должно было имѣть значеніе не только для журнала, но и для самого редактора.

Мы знаемъ, съ какой страстью изучалась нѣмецкая философія въ Москвѣ. Гегельянству принадлежало первое мѣсто въ этомъ усердіи русской молодежи. Герценъ разсказываетъ: «Всѣ ничтожнѣйшія брошюры, выходившія въ Берлинѣ и другихъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ нѣмецкой философіи, гдѣ только упоминалось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ въ нѣсколько дней» [85]).

Но подобная храбрость не могла осуществляться всѣми, кто жаждалъ истины. Легко было Станкевичу и Бакунину разсчитывать свои часы на свободные и не свободные, утопать въ діалектическихъ омутахъ и въ выспреннихъ полетахъ въ нездѣшній міръ,—Бѣлинскому была рѣшительно не доступна эта роскошь. Не могъ онъ соревновать и Герцену, почувствовавшему желаніе «ex ipsa fonte bibere» пить изъ самого источника. Оставалось слушать пріятелей, да читать переводныя статьи.

И статья Вильма, переведенная Станкевичемъ, имѣла для Бѣлинскаго большой смыслъ, была однимъ изъ «источниковъ».

Отсюда онъ узнавалъ, что цѣль современнаго поколѣнія создать церковь рядомъ съ государствомъ. Гегель это объясняетъ такъ:

«Всемірный духъ въ послѣднія времена былъ слишкомъ занятъ дѣйствительностью, чтобы войдти въ себя и сосредоточиться; теперь, когда нѣмецкая нація возвратила свою національность, основаніе всякой живой жизни, мы можемъ надѣяться, что рядомъ съ государствомъ возникнетъ и церковь, что, заботясь о царствѣ міра сего, снова помыслятъ и о царствіи Божіемъ; другими словами, что, рядомъ съ политическими интересами и повседневною дѣйствительностью, процвѣтетъ, наконецъ, наука, свободный и раціональный міръ ума».

Гегель шелъ дальше, по пути отреченія отъ внѣшняго міра во имя философскаго самоуглубленія. Онъ требовалъ *отвлеченія* отъ всякаго бытія, непосредственно даннаго человѣку, ищущему истины: необходимо отказаться отъ самого себя, заставить умолкнуть всѣ свои чувства. Дорога длинна и утомительна, но счастливцы возвращаются изъ путешествія полные вѣры.

Гегель и сливалъ свою философію съ религіей. Поглощая въ

[85]) *Былое и думы*, VII, 121.

новой системѣ всѣ предшествовавшія ученія, какъ подготовительныя стадіи, онъ притязалъ на окончательную высшую истину. Исторія философіи—развитіе самосознанія духа, гегельянство — вѣнецъ этого пути и послѣднее звѣно въ великой цѣпи идей и міровоззрѣній.

Гегельянство, не личный вымыселъ философа, не плодъ его творчества и разума, а логическій и естественный результатъ многовѣкового движенія человѣческой мысли. Гегель только истолкователь процесса и его завершенія. Его система, слѣдовательно, одновременно и непогрѣшимо-разумна, какъ наука, и общеобязательна, какъ религія. Съ одной стороны это—послѣдняя всеобъединяющая глава въ исторіи философіи, съ другой, безусловная практическая истина, предметъ вѣры и принципъ жизни.

Въ послѣднемъ значеніи гегельянство и должно было собрать вокругъ себя всѣхъ, кто искалъ нравственной и вдохновляющей опоры для своего существованія. До Гегеля успѣли другіе предложить разныя системы философской и даже научной религіи и русское юношество уже считало въ своей средѣ служителей сенсимоновской церкви и горячихъ исповѣдниковъ шеллингіанства. Менѣе прочнымъ изъ двухъ культовъ оказалось шеллингіанство еще въ толкованіяхъ учителя затерявшееся въ туманѣ лирической метафизики и романтическаго символизма. Для сенсимонизма требовалась особая нравственная почва,—съ рѣзко развитыми политическими и соціальными инстинктами. Сенсимонизмъ—философія отъ начала до конца преобразовательная, протестующая и совершенствующая практически, въ непосредственномъ столкновеніи съ повседневной дѣйствительностью.

Въ началѣ XIX-го вѣка сенсимонизмъ и во Франціи нашелъ крайне ограниченный кругъ послѣдователей. Только послѣ реставраціи, во времена іюльской монархіи,—идеи школы стали распространяться и постепенно входить въ политическія программы.

Естественно,—въ Россіи еще менѣе было данныхъ для прививки сенсимонистскихъ сѣмянъ. Большинству гораздо привлекательнѣе казалось совершенно противоположное ученіе, свободное отъ всякаго революціоннаго и отрицательнаго наслѣдія восемнадцатаго вѣка и проникнутое успокоительнымъ оптимизмомъ и примиряющими запросами къ дѣйствительности и человѣческой личности.

Въ политическомъ отношеніи гегельянство явилось однимъ изъ симптомовъ нравственной усталости и общественной реакціи эпохи, слѣдовавшей за разрушительной работой просвѣтителей и рево-

люціонеровъ. Вся метафизическая часть системы Гегеля совершенно блѣднѣла предъ этимъ ея непосредственно-жизненнымъ смысломъ.

Гегель началъ съ призыва отрѣшиться отъ мелкой будничной дѣйствительности и уже этотъ призывъ былъ реакціей предыдущей дѣятельной полосѣ германской общественности. Дальше Гегель вводилъ своихъ слушателей въ созерцаніе діалектическаго развитія духа, гдѣ одинаково все необходимо, все форма истины, все, слѣдовательно, разумно. Такъ въ популярной формѣ ученики понимали учителя. Отсюда еще болѣе популярный выводъ: всякій фактъ имѣетъ свое мѣсто въ міровомъ процессѣ, свою дѣйствительность, т. е. свою разумность.

Можно было, конечно, оговориться, какъ впослѣдствіи и дѣлалъ Бѣлинскій, не все то разумно, что̀ дѣйствительно,—но *практически* эта оговорка имѣла чисто индивидуальный смыслъ. Кто могъ опредѣлить точную мѣру *разумной дѣйствительности* въ каждомъ отдѣльномъ приложеніи идеи къ наглядной дѣйствительности?

Опредѣляя исторію философіи, какъ постепенное развитіе одной и той же философіи, какъ откровеніе одной и той же истины, Гегель различаетъ идеи отъ ихъ историческихъ формъ. По мнѣнію философа, если *очистить* основныя начала системъ, являющихся въ исторіи, отъ всего, что принадлежитъ внѣшней ихъ формѣ и частному примѣненію, то получатся различныя степени абсолютной идеи, т. е. идеи опредѣляемой логически.

Но очевидно, этому процессу очищенія, выдѣленія идеи отъ случайныхъ наслоеній должно предшествовать точное познаніе самой идеи. Историкъ заранѣе долженъ ясно представлять предметъ своихъ поисковъ, иначе онъ не отличитъ безусловнаго отъ случайнаго.

И самъ Гегель эти поиски сравниваетъ съ сужденіями о человѣческихъ дѣйствіяхъ. Чтобы судить о нихъ, надо имѣть понятіе о справедливости и долгѣ.

Теперь представляется вопросъ,—откуда же получается познаніе абсолютной идеи, если оно должно предшествовать изученію ея историческаго откровенія? Оно—плодъ діалектически-развивающагося разума. Но не отъ этого «мірового духа» зависитъ отличить идею отъ формы, а отъ личнаго разума философа.

Ясно, слѣдовательно, что тотъ или другой приговоръ надъ *историческимъ* проявленіемъ истины зависитъ отъ такихъ же «случайностей», какія сопровождаютъ воплощеніе идеи въ извѣстныхъ формахъ, и положеніе: *что̀ дѣйствительно, то разумно*—или имѣетъ

безчисленное множество индивидуальныхъ толкованій или одно, гдѣ историческое проявленіе идеи сливается съ ея логической сущностью.

Такъ это и вышло въ практическихъ выводахъ самого Гегеля.

Его нѣмецкій біографъ Гаймъ—называетъ гегельянство «философіей реставраціи», и Гайму рѣдко приходилось на своемъ вѣку давать столь мѣткія опредѣленія. Гегель не только отлично уживался съ прусской реакціей первой четверти нашего вѣка, но быстро стяжалъ положеніе государственнаго философа и завѣдомаго діалектическаго первосвященника всѣхъ догматовъ, какіе будетъ угодно провозгласить прусскому правительству.

Эта карьера не представляла ничего неожиданнаго. Гегель отъ природы былъ совершенно лишенъ того, что именуется политическимъ чувствомъ и гражданскимъ достоинствомъ. Онъ даже Гёте далеко оставилъ за собой по части косности и равнодушія къ судьбѣ Германіи въ эпоху освободительной борьбы съ Наполеономъ. Въ то время, когда страна напрягала всѣ силы—сломить постыдное иго, Гегель восторгался демоническимъ положеніемъ Наполеона и недовѣрчиво острилъ надъ нѣмецкими мечтами объ освобожденіи.

У философа, очевидно, не было отечества въ современной дѣйствительности; онъ нашелъ его нѣсколько лѣтъ спустя, когда патріотическій голосъ Фихте потребовалось замѣнить изліяніемъ чиновничьихъ чувствъ по торжественнымъ случаямъ.

Гегель оказался чрезвычайно талантливымъ истолкователемъ прусскихъ порядковъ, вдохновленныхъ меттерниховскими конгрессами. Гегель не отступалъ и предъ прямыми личными нападками на людей независимыхъ и мечтательнаго направленія сравнительно съ прусской философіей субординаціи. У Гегеля также былъ свой культъ личной силы и оригинальности, но только оффиціально призванной проявлять свое могущество.

Бонапартистскіе инстинкты, общіе у Гегеля съ Гёте, остались до конца и находили удовлетвореніе въ маленькихъ бонапартахъ нѣмецкой крови. Для этихъ господъ особенно было цѣнно, что профессоръ берлинскаго университета всегда умѣлъ подыскать философскую подоплеку ихъ задушевнымъ думамъ. Если Фихте создалъ философію субъективизма съ цѣлью поднять и воодушевить униженную Германію, у Гегеля имѣлся въ распоряженіи настоящій философскій камень, именуемый разумной дѣйствительностью и способный мѣнять цвѣта и оттѣнки отъ предѣловъ абсолютной идеи вплоть до полицейскаго гоненія вообще на идеи.

Такъ Гегель самъ истолковалъ свою философію, какъ практическое ученіе. И при всей разрушительности діалектическаго метода, темнотѣ и двусмысліи терминовъ, неуловимой софистикѣ общихъ выводовъ,—такое именно толкованіе, очевидно, являлось самымъ достовѣрнымъ и экскурсіи учениковъ по другимъ направленіямъ были достояніемъ ихъ юношеской стремительности, легковѣрія или просто неразумія.

Ничей авторитетъ никогда такъ быстро и безнадежно не падалъ, какъ авторитетъ Гегеля. Только мыслители въ родѣ Тэна все еще томились надъ давно загнившимъ и распавшимся сооруженіемъ. Но и теперь гегельянство, какъ практическое воззрѣніе, постояло за себя. Если судить по восторгамъ Тэна предъ произведеніями Гегеля, Франція нѣмецкому философу обязана воспитаніемъ одного изъ самыхъ слѣпыхъ реакціонеровъ и ограниченныхъ мыслителей второй половины нашего вѣка.

Мы видѣли, чѣмъ было гегельянство для прекрасныхъ душъ въ родѣ Станкевича,—тѣми же гармоническими напѣвами о мірѣ и созерцаніи, какіе звучали въ меланхолическихъ стихотвореніяхъ нѣмецкой музы въ родѣ *Резиньяціи*, *Баядеры*. Другого искалъ Бѣлинскій. Его томила жажда по такой истинѣ, какую можно бы поставить въ основу кипучей дѣятельной жизни и въ то же время съ уравновѣшенными, освѣженными силами идти своимъ путемъ наперекоръ всѣмъ мнимымъ истинамъ и очевиднымъ обманамъ.

Бѣлинскому нужно было одновременно и успокоиться отъ своихъ безплодныхъ романтическихъ покушеній на могущественнаго духа земли и приготовиться къ борьбѣ за какой-либо догматъ, за высшую правду. Для его ближайшихъ друзей гегельянство—лишняя принадлежность ихъ богатаго житейскаго комфорта, для него—источникъ вдохновенія, новаго безпокойства; тамъ—доминирующая нота къ усладительной симфоніи, здѣсь—воинственный призывъ.

И пока Бакунинъ и Станкевичъ будутъ сладостно опутывать свои мысли и чувства тонкой калейдоскопической паутиной безконечной діалектики, скупать, по словамъ Герцена, брошюры уѣздныхъ и губернскихъ нѣмецкихъ гегельянцевъ и смаковать ихъ на невозмутимомъ барственномъ досугѣ,—Бѣлинскій успѣетъ вывести учителя на чистую воду.

Герценъ напрасно съ нѣкіимъ изумленіемъ передаетъ свою бесѣду съ Бѣлинскимъ насчетъ крайнихъ выводовъ, сдѣланныхъ критикомъ, изъ гегелевскихъ положеній. Бѣлинскій подтвердилъ

самое, по мнѣнію своего собесѣдника, невѣроятное предположеніе и прочелъ ему *Бородинскую годовщину* Пушкина.

Отвѣтъ Бѣлинскаго былъ точнымъ воспроизведеніемъ тѣхъ самыхъ умозаключеній, какія сдѣлалъ самъ Гегель въ качествѣ политическаго мыслителя, и Бородинскія статьи писались въ строгомъ духѣ гегельянскаго государственнаго ученія.

Если Герценъ считалъ выводъ Бѣлинскаго неправильнымъ, видѣлъ явную непослѣдовательность, онъ долженъ бы раскрыть ее Бѣлинскому. Этого не было сдѣлано во-время, не произошло и позже, когда Герценъ приписывалъ одному изъ произведеній Гегеля—*Феноменологіи духа*—чрезвычайное вліяніе на складъ истинно-современнаго человѣка. Краснорѣчивая фраза не сопровождалась никакими реальными доказательствами. Правда, тэновскій лиризмъ также чисто словесный, но тамъ всякому ясно, въ чемъ тайна восторга: Гегель обѣими руками могъ бы подписаться подъ революціонной исторіей Тэна. Герценъ—человѣкъ другой планеты сравнительно съ французскимъ историкомъ, отчего же ему было не раскрыть глаза Бѣлинскому на другіе идеальные предѣлы гегельянства, чѣмъ Бородинскія статьи?

Еще удивительнѣе положеніе Бакунина.

Этотъ первоучитель гегельянства обратился къ компромиссу, по словамъ Герцена, хотѣлъ *заговорить* обоихъ противниковъ его, Герцена и Бѣлинскаго. Подобный пріемъ еще менѣе могъ остепенить «неистоваго Виссаріона».

И опять напрасно Герценъ статью Бѣлинскаго *Бородинская годовщина* называетъ «яростнымъ залпомъ»—по нимъ—либерально-мыслившимъ философамъ. «Я прервалъ тогда съ нимъ всѣ сношенія», прибавляетъ Герценъ. Это также не было убѣдительно для Бѣлинскаго.

Въ результатѣ онъ предоставленъ самому себѣ, своей вѣчно работающей мысли. Бородинскія годовщины явились отнюдь не преднамѣренной вылазкой противъ враговъ, а страстной, лично необходимой исповѣдью возбужденной души.

XX.

Бѣлинскій первый періодъ своей дѣятельности называетъ «телескопскимъ ратованіемъ». Это—точная характеристика чрезвычайно энергичныхъ статей критика. Онъ вполнѣ оправдалъ надежды Полевого и Лажечникова и менѣе чѣмъ за два года успѣлъ

вызвать страстные отклики—вражды и восторга. Врагамъ оказалось совершенно не подъ силу бороться съ Бѣлинскимъ литературными средствами. *Литературныя мечтанія*, при всѣхъ противорѣчіяхъ и неясностяхъ, ошеломили петербургскихъ и московскихъ журналистовъ невиданной внутренней силой и ослѣпительнымъ блескомъ формы. Впослѣдствіи даже такой солидный и сдержанный ученый, какъ Гротъ, принужденъ будетъ признать въ статьяхъ Бѣлинскаго «душу» [86]), а будущій журналъ Плетнева *Современникъ* уже теперь спѣшитъ выдѣлить новоявленнаго критика изъ сонмища остальныхъ ненавистныхъ ему журналистовъ.

Въ журналѣ появляется письмо въ редакцію, несомнѣнно, съ вѣдома, а можетъ быть и по внушенію Пушкина. Бѣлинскій въ первой своей статьѣ готовъ былъ пропѣть отходную пушкинскому творчеству, но здѣсь же давалъ такую блестящую аттестацію таланту поэта, что Пушкинъ не могъ не почувствовать новаго слова въ страстныхъ изліяніяхъ критика. И будто въ отвѣтъ на нихъ явилось *Письмо къ издателю*.

Оно первое опредѣляло значеніе критическаго дарованія Бѣлинскаго, и Пушкинъ, первый привѣтствуя геній Гоголя, имѣетъ право считать за собой, по крайней мѣрѣ, косвенную заслугу—самой ранней оцѣнки первостепеннаго русскаго критика.

Неизвѣстный корреспондентъ, возражая на статью Гоголя *О движеніи журнальной литературы*, писалъ:

«Жалѣю, что вы, говоря о *Телескопѣ*, не упомянули о г. Бѣлинскомъ. Онъ обличаетъ талантъ, подающій большую надежду. Если бы съ независимостью мнѣній и съ остроуміемъ своимъ соединялъ онъ болѣе учености, болѣе начитанности, болѣе уваженія къ преданію, болѣе осмотрительности,—словомъ, болѣе зрѣлости: то мы бы имѣли въ немъ критика весьма замѣчательнаго» [87]).

Бѣлинскій шелъ къ указаннымъ цѣлямъ. Учености онъ стремился удовлетворить возможно основательнымъ знакомствомъ съ послѣднимъ словомъ германскаго любомудрія; уваженіе къ преданію должно было дойти до крайнихъ предѣловъ въ прямой зависимости отъ только что пріобрѣтенной учености.

«Телескопское ратованіе» прекратилось вмѣстѣ съ *Телескопомъ*, и Бѣлинскій нѣкоторое время оставался не у дѣлъ. Попытки пристроиться къ петербургскимъ изданіямъ не увѣнчались успѣхомъ:

---

[86]) *Переписка*, I, 376.

слишкомъ ретиво стоялъ молодой писатель за независимость своихъ мнѣній и, естественно, внушалъ оторопь издателямъ и редакторамъ. Съ начала 1838 года открывается новое поприще. *Московскій Наблюдатель* отцвѣталъ, не успѣвши разцвѣсть и, мы знаемъ, Бѣлинскій съ своей стороны пробилъ немалую брешь въ шаткомъ основаніи шевыревскаго óргана. Единственнымъ спасеніемъ являлся грозный врагъ,—и Бѣлинскій становится редакторомъ *Наблюдателя*.

Критикъ успѣлъ окончательно установиться на литературномъ пути, тщательно обдумать программу дѣйствій и опредѣлить цѣли.

Программа и цѣли не новыя въ исторіи русской критики. Мы встрѣчали ихъ у перваго поколѣнія философовъ. Шеллингіанцы разсчитывали путемъ періодической печати преобразовать критику на философскихъ основахъ. То же самое задумываетъ Бѣлинскій, только вмѣсто Шеллинга вдохновителемъ его будетъ Гегель, и въ первой же книгѣ, вышедшей подъ новой редакціей, появляется манифестъ въ формѣ предисловія къ переводу гимназическихъ рѣчей Гегеля.

Выборъ этихъ произведеній для перевода представляется въ настоящее время по меньшей мѣрѣ страннымъ. Онъ показываетъ, до какой степени самоотверженно русскіе гегельянцы, по крайней мѣрѣ, въ медовый мѣсяцъ увлеченія, клялись словами учителя. И что особенно любопытно: выборъ сдѣланъ Бакунинымъ, наименѣе смиреннымъ діалектикомъ въ кружкѣ Станкевича.

Гегель говорилъ рѣчи на гимназическихъ актахъ въ качествѣ оффиціальнаго панегириста начальству и успѣхамъ заведенія, и весь текстъ представляетъ курьезную смѣсь изъ казенныхъ банальностей и спеціально гегельянскихъ изворотовъ по части превращенія данной случайной дѣйствительности въ разумную.

Оратору, великому поклоннику античнаго міра, предстоитъ философски объяснить необходимость изученія древнихъ языковъ и въ особенности грамматики.

Достигается эта цѣль самымъ необыкновеннымъ путемъ и въ то же время весьма граціозно. По мнѣнію Гегеля,—«чуждое и отдаленное имѣетъ въ себѣ что-то сильно привлекательное и принуждаетъ насъ къ старанію и труду». Съ другой стороны, «юность» всегда стремится вдаль, напримѣръ, на Робинзоновъ островъ. Отсюда для философа ясный выводъ: «Заблужденіе, которое застав-

---

[и]) *Современникъ*, III, стр. 327—8.

ляетъ ее (юность) искать глубокаго въ отдаленномъ, необходимо, и потому степень пріобрѣтенной нами глубины и силы соразмѣрна степени нашего отдаленія отъ того центра, въ которомъ мы прежде жили и къ которому снова стремимся».

На основаніи этого «центробѣжнаго стремленія души» и долженъ открыться юношамъ новый дальній міръ, т. е. міръ и языки древнихъ.

Слушатели могли бы спросить, почему же не выбрать міръ еще болѣе дальній, чѣмъ греческій и римскій,—напримѣръ индусскій, ассирійскій, египетскій? Вѣдь тогда «степень пріобрѣтенной глубины и силы» въ зависимости отъ нашего «отдаленія» поднимется еще выше? Отвѣта нѣтъ и не будетъ до тѣхъ поръ, пока начальству не вздумается ввести въ гимназіи санскритъ.

Философская защита механическаго зубренія въ своемъ родѣ верхъ совершенства. Мы должны знать ее, чтобы во всей красотѣ представилось намъ діалектическое искусство Гегеля и поразительная непритязательность его послѣдователей.

«Когда мы приложимъ», продолжаетъ Гегель, «къ изученію древнихъ языковъ эту всеобщую необходимость, заключающую въ себѣ какъ древній міръ представленій, такъ и языки ихъ, то мы увидимъ, что и механическая сторона этого изученія не есть необходимое зло, какъ обыкновенно думаютъ, но что оно важно и полезно само по себѣ, потому что это механическое есть для духа то чуждое, къ которому онъ стремится; это есть неудобоваримая пища, полагаемая въ него, для того, чтобъ оживить и одухотворить въ немъ то, что въ немъ еще безжизненно, и для того, чтобъ превратить эту непосредственную сторону его существованія въ его собственность».

Вы видите неудобоваримая пища по мановенію философа становится источникомъ жизни и развитія наперекоръ всѣмъ стихіямъ, кромѣ діалектики.

Съ такой же находчивостью въ другой рѣчи философъ поспѣшилъ на встрѣчу введенію въ школѣ «воинскихъ упражненій». Достаточное основаніе и для этой разумной дѣйствительности такое: «эти упражненія уже и по тому одному важны, что могутъ служить средствомъ къ образованію. Эти упражненія, пріучающія быстро схватывать, быть всегда въ присутствіи своего смысла, исполнять съ точностью приказанное безъ всякихъ предварительныхъ разсужденій, есть самое прямое средство противъ дряблости и разсѣянности духа, которыя требуютъ времени для того, чтобы

сообразить слышанное, и еще болѣе времени для того, чтобы перевести въ дѣйствіе вполовину понятое».

Дальше развивается вообще идея—«не смѣть свое сужденіе имѣть» ученикамъ и вообще подчиненнымъ, сочувственно припоминается дисциплина пиѳагоровскихъ учениковъ, обязанныхъ молчать въ теченіе первыхъ четырехъ лѣтъ ученія. Ораторъ противъ «простого затверживанія на память», но въ то же время безусловно за искорененіе самостоятельныхъ мыслей въ юношествѣ.

Философъ все время говорилъ по собственному опыту, и объ исполненіи приказаній безъ разсужденій, и о философствованіи по командѣ. Если бы начальству вздумалось ввести въ школѣ тѣлесныя наказанія, Гегель навѣрное не растерялся бы и при этой оказіи и нашелъ бы въ розгахъ нѣчто въ родѣ противоядія отъ той же «дряблости и разсѣянности духа».

И такая философія предлагалась русской публикѣ, какъ образчикъ мудрости и высшаго откровенія!

Предисловіе, принадлежащее переводчику, гораздо содержательнѣе и любопытнѣе рѣчей учителя. Правда, языкъ оставляетъ желать многаго: это признавала и редакція журнала. Но основныя идеи практическаго гегельянства выяснены вполнѣ удовлетворительно и Бѣлинскій примется усердно воспроизводить ихъ въ своихъ произведеніяхъ.

Совпаденіе идей и даже выраженій въ письмахъ и въ статьяхъ критика съ предисловіемъ—часто поразительное. Очевидно, Бѣлинскій былъ благодарнѣйшимъ ученикомъ Бакунина и не боялся укоризнъ въ повтореніи чужихъ словъ.

Бакунинъ возстаетъ противъ субъективныхъ системъ Канта и Фихте, противъ отвлеченнаго, пустого *я*, противъ эгоистическаго самосозерцанія и «разрушенія всякой любви». Это чувствительная подмѣна философскаго понятія этическимъ имѣетъ большое значеніе для настроеній и умственнаго процесса нашихъ философовъ. Они не только признаютъ дѣйствительность, они обожаютъ ее, они, по словамъ Бѣлинскаго «трепещутъ таинственнымъ восторгомъ, сознавая ея разумность». Они не только допускаютъ «пошлыхъ людей», они, по выраженію того же Бѣлинскаго, *любятъ* ихъ *объективно*, «какъ необходимыя явленія жизни».

Философія превращается въ поэзію и религію, идея въ чувство, діалектика въ лирическій гимнъ.

Бакунинъ подвергаетъ критикѣ Шиллера, какъ прекраснодушнаго поэта субъективности, какъ автора драмъ, возстающихъ про-

тивъ общественнаго порядка. Для нашего гегельянца безразлично, противъ какого порядка возставалъ поэтъ: Бакунинъ называетъ, напримѣръ, *Коварство и любовь*: здѣсь, повидимому, можно бы пощадить шиллеровскій протестъ, какъ нѣчто достаточно разумное. Но самая идея протеста не переносима для философа, и онъ спокойно раздѣлается съ *юной* Германіей двумя-тремя сильными словцами,—«смѣшныя», «дѣтскія фантазіи». Это потому, что юная Германія не желала спокойно сидѣть въ цѣпяхъ и казематахъ Меттерниха и поощряемыхъ имъ бурбоновъ и бонапартовъ.

Естественно, Бакунинъ всѣми силами обрушивается на Францію за ея литературу XVIII-го вѣка, за ея революцію, за ея романтизмъ и въ особенности за ея войну съ «христіанствомъ». Авторъ и здѣсь пишетъ широкими мазками, не желая знать крупнѣйшихъ оттѣнковъ: ему все равно, воевалъ ли Вольтеръ противъ христіанства, или только противъ римскаго католичества. Ему также безразлично, какъ относился Сенъ-Симонъ къ христіанству и различалъ ли онъ евангеліе отъ того же католичества и протестанства. Намъ извѣстно, что различалъ и весьма тщательно, но для ретиваго врага всякаго человѣка, кто инако мыслитъ, это безразлично. Безъ всякихъ затрудненій онъ ужъ кстати произнесетъ приговоръ вообще Франціи, безнадежно томящейся своей «пустотой». У нея нѣтъ «безконечной субстанціи», и поэтому у французовъ философія превращается въ пустыя безсмысленныя фразы и въ стряпаніе новыхъ идеекъ.

Бѣлинскій отзовется на этотъ воинственный кличъ безусловнымъ отрицаніемъ у французовъ вообще искусства; у нихъ могутъ быть литераторы, стихотворцы, искусники, риторы, декламаторы, фразеры,—только не художники и поэты, по очень простой причинѣ: французы лишены отъ природы чувства изящнаго. Не пропуститъ критикъ безъ должной отповѣди и французскаго легкомыслія,—все будетъ выполнено по программѣ. Буквально будетъ воспроизведенъ и ея основной параграфъ общественнаго содержанія.

Бакунинъ и въ стихахъ и въ прозѣ докажетъ слѣдующее положеніе:

«Дѣйствительность всегда побѣждаетъ, и человѣку остается или помириться съ нею и сознать себя въ ней и полюбить ее, или самому разрушиться».

Наконецъ, была дана и тема Бородинскихъ статей во всей своей полнотѣ. Предисловія заканчиваются обращеніемъ къ публикѣ въ проповѣдническомъ тонѣ, и Бѣлинскому оставалось только

брать эпиграфы и девизы изъ этой лирической рѣчи. Онъ такъ и поступилъ, вызвавъ совершенно неожиданно для самого себя и для насъ,—испугъ у своего прорицателя:

«Счастіе не въ призракѣ, не въ отвлеченномъ снѣ, а въ живой дѣйствительности, возставать противъ дѣйствительности и убивать въ себѣ всякій живой источникъ жизни—одно и тоже; примиреніе съ дѣйствительностью, во всѣхъ отношеніяхъ и во всѣхъ сферахъ жизни, есть великая задача нашего времени, и Гегель и Гете, главы этого примиренія, этого возвращенія изъ смерти въ жизнь. Будемъ надѣяться, что наше новое поколѣніе также выйдетъ изъ призрачности, что оно оставитъ пустую и безсмысленную болтовню, что оно сознаетъ, что истинное знаніе и анархія умовъ и произвольность въ мнѣніяхъ совершенно противоположны, что въ знаніи существуетъ строгая дисциплина и что безъ этой дисциплины нѣтъ знанія. Будемъ надѣяться, что новое поколѣніе сроднится, наконецъ, съ нашею прекрасною русскою дѣйствительностью, и что, оставивъ всѣ пустыя претензіи на геніальность, оно ощутитъ наконецъ въ себѣ замѣтную потребность быть дѣйствительными русскими людьми» [88]).

И такъ, изящное конецъ и начало критическихъ изысканій, примиреніе съ дѣйствительностью,—основная нравственная стихія, на этихъ принципахъ будетъ построена эстетика *Московскаго Наблюдателя*. Вскорѣ послѣ гимназическихъ рѣчей Гегеля, журналъ напечатаетъ переводъ статьи Ретшера *О философской критикѣ художественнаго произведенія*. Смыслъ разсужденія сводится здѣсь къ требованію—открыть въ художественомъ произведеніи «общее конкретной идеи въ ея обобособленіи и понять разумность ея формы, порожденной творческою фантазіею художника» [89]).

Эта истина уполномочитъ Бѣлинскаго на усиленные поиски діалектическаго развитія идеи въ литературныхъ произведеніяхъ и вдохновитъ его на величественное презрѣніе ко всякимъ мелочамъ и случайностямъ, т. е. историческимъ и національнымъ вопросамъ въ области творчества. И мы увидимъ, до какой степени философская указка сузила умственный горизонтъ критика, поработила его природу и наложила несвойственную печать на его нравственное и общественное міросозерцаніе.

Нѣтъ необходимости искать другихъ источниковъ гегельян-

---

[88]) *Московскій Наблюдатель*, часть XVI, 1838 годъ.
[89]) *М. Н.*, часть XVII, стр. 194—5.

ства Бѣлинскаго, кромѣ указанныхъ статей его журнала. Мы увидимъ, ихъ идеи вполнѣ покрываютъ все философствовані критика вплоть до разрыва его вообще съ нѣмецкими теоріями изящнаго и съ «гнуснымъ стремленіемъ къ примиренію съ гнусною дѣйствительностью». Эти слова будутъ написаны имъ три года спустя. Негодованіе на прошлый обманъ ума и чувства,—глубокое, мучительное и совершенно законное,— но и обманъ не прошелъ даромъ для совершенствованія и углубленія мысли Бѣлинскаго.

Гегельянство,—одно изъ тлетворнѣйшихъ теоретическихъ вліяній, какія только переживала русская критика. Но въ мірѣ физическомъ, часто именно послѣ самыхъ тяжелыхъ недуговъ,—съ особеннымъ блескомъ и силой организмъ разцвѣтаетъ къ новой жизни. Такъ произошло и съ духовнымъ міромъ Бѣлинскаго, лишь только метафизическій кошмаръ разсѣялся и писатель снова приблизился къ первоисточнику своихъ идейныхъ откровеній—къ дѣйствительной жизни.

XXI.

Бѣлинскій въ теченіе всей своей жизни безпрестанно припоминалъ различные періоды своей духовной жизни, подвергая ихъ безпощадному суду и доискиваясь въ своихъ личныхъ, многообразныхъ опытахъ поучительныхъ выводовъ въ общечеловѣческомъ смыслѣ. Особенно горькое чувство и подчасъ страстное негодованіе вызывало у критика воспоминаніе объ его гегельянскомъ идолопоклонничествѣ. Бѣлинскій, казалось, не находилъ словъ, достаточно сильныхъ, заклеймить свои философическія заблужденія и не зналъ, какою цѣной раскаянія и идейнаго подвига искупить свою вину предъ здравымъ смысломъ и гражданскимъ долгомъ.

Но въ болѣе спокойныя минуты психологической вдумчивости Бѣлинскому не трудно было дать совершенно вѣрное и нравственно удовлетворительное объясненіе своимъ излишествамъ. Въ порывѣ гнѣва на свои примирительныя идеи, онъ восклицалъ: «Боже мой, сколько отвратительныхъ мерзостей сказалъ я печатно, со всею искренностью, со всѣмъ фанатизмомъ дикаго убѣжденія!..» Такъ говорилось въ письмѣ къ пріятелю, въ журнальныхъ статьяхъ то же воспоминаніе разрѣшается въ философское представленіе вообще о судьбѣ человѣка, ищущаго истины. И у насъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, этотъ человѣкъ—самъ авторъ, вмѣсто самобичеванія обратившійся къ анализу.

«Истина,—пишетъ Бѣлинскій,—есть единство противоположностей; и пока человѣкъ переживаетъ ея моменты, онъ бросается изъ одной крайности въ другую, безпрестанно впадаетъ въ преувеличеніе, исключительность и односторонность. Но какъ скоро процессъ совершился и различія разрѣшились въ гармоническое единство, то всѣ ограниченныя частности улетучиваются въ общее, ложь остается за временемъ, а истина за разумомъ» [90]).

Какое единство и какая истина? Бѣлинскій приходитъ въ ужасъ при одномъ представленіи о «зигзагахъ», какими совершалось его развитіе, но и въ періодъ яснаго самосознанія и глубокой критики пережитыхъ заблужденій онъ не смогъ найти покоя. До конца дней ему не удалось заручиться истиной, навсегда умиряющей душу. Ища «вѣрованій жаркихъ и фанатическихъ», не имѣя силъ жить безъ нихъ, какъ «рыба не можетъ жить безъ воды, дерево рости безъ дождя», Бѣлинскій каждую только что усвоенную идею превращалъ въ отправную точку для новыхъ стремленій къ болѣе высокимъ и объемлющимъ цѣлямъ. Состояніе «распаденія», «рефлексіи», столь мучительное для человѣческаго духа и потому у большинства даже лучшихъ людей промежуточное и временное, тяготѣло надъ Бѣлинскимъ съ одинаковой силой и въ годы романтическихъ порывовъ молодости, и въ зрѣлую эпоху трезвой оцѣнки пережитаго и передуманнаго.

Въ первый и единственный разъ за всю жизнь Бѣлинскій могъ почувствовать полное нравственное удовлетвореніе въ мірѣ гегельянскихъ догматовъ. Всѣ вопросы были разрѣшены заранѣе, всѣ муки и испытанія подѣлены и всему опредѣлено свое мѣсто въ величественномъ «гармоническомъ хорѣ» мірозданія, гегельянская вѣра, даже при всевозможныхъ оговоркахъ, сулила своего рода олимпійское благополучіе. Всѣ частныя толкованія и выводы школы блѣднѣли предъ безграничнымъ діалектическимъ процессомъ идеи гдѣ всѣ противорѣчія, все «неразумное» являлось только мимолетнымъ и неизбѣжнымъ диссонансомъ въ предустановленномъ созвучіи. На Бѣлинскаго именно основное представленіе гегельянства должно было произвести чарующее впечатлѣніе и онъ отдался «истинѣ» въ ея самой крайней и рѣшительной формѣ.

Критику не требовалось знать, какую политическую роль игралъ самъ Гегель и какими философскими уборами украшалъ государство въ идеѣ и государство въ дѣйствительности. Ему достаточно

---

[90]) *Русская литература въ 1840 году*. Сочин. IV, 202. 1841 годъ.

общаго положенія и онъ немедленно представитъ свою философію государственнаго права, законченную и краснорѣчивую настолько, что на нѣсколькихъ страницахъ мы найдемъ всѣ руководящіе принципы политиковъ реставраціи начала XIX-го вѣка.

Именно Бѣлинскій покажетъ, какое органическое родство существовало между Гегелемъ и Деместромъ, Бональдомъ и другими апостолами фантастическаго величія и благоденствія дореволюціоннаго міра. Бѣлинскій, навѣрное, не читалъ произведеній ни одного изъ названныхъ идеологовъ, но его не даромъ близкіе люди признавали «одною изъ высшихъ философскихъ организацій».

Бѣлинскаго еще современники укоряли, будто онъ не понималъ Гегеля. Это невѣрно, возражаетъ очевидецъ. Бѣлинскій, по его словамъ, вовсе не зналъ Гегеля, но «сблизился съ нимъ точно такъ же, какъ математикъ, не зная работы другого математика, сближается съ нимъ въ выводахъ единственно развитіемъ данной теоремы» [91]).

Здѣсь не все вполнѣ точно. Мы видѣли, Бѣлинскій съ полнымъ удобствомъ могъ узнать главнѣйшія идеи гегелевскаго ученія, но нашъ свидѣтель совершенно правъ касательно самостоятельнаго логическаго мышленія критика въ данномъ направленіи. Герценъ желаетъ сказать то же самое, называя Бѣлинскаго «совершенно русской свѣтлой головой, удивительно послѣдовательной, бьющей до конца». И эта послѣдовательность для Бѣлинскаго отнюдь не чисто отвлеченный самодовлѣющій логическій процессъ, а движеніе всей его нравственной природы, ума, чувства и воли.

Отсюда рядъ статей, наполняющихъ около трехъ лѣтъ дѣятельность критика, приблизительно съ 1838 года до начала 1841. Сначала мы слышимъ отрывочные звуки возникающей симфоніи. Намъ не даютъ цѣльнаго и сильно-выраженнаго міросозерцанія. Критикъ будто обслѣдуетъ почву, намѣреваясь посѣять сѣмена только что пріобрѣтенной мудрости. Онъ видимо раздумываетъ, находится еще въ процессѣ просвѣщенія и ждетъ случая разомъ открыть свою тайну.

Приступъ совершается путемъ жестокихъ нападокъ на французскую національность и на французскую литературу.

Можетъ быть, энергія здѣсь подогрѣвалась кружковыми междоусобицами. Молодежь, считавшая своимъ вождемъ Герцена, усердно изучала французскія политическія и соціальныя движенія, вдох-

---

[91]) Кн. В. Ѳ. Одоевскій. *Русскій Архивъ*. 1874, стр. 339.

новлялась сенъ-симонизмомъ и съ сожалѣніемъ взирала на метафизическій фанатизмъ русско-германскихъ любомудровъ. Догадка тѣмъ болѣе вѣроятна, что Бѣлинскій въ своемъ стремительномъ натискѣ не различаетъ ни школъ, ни именъ, ни талантовъ. Въ его глазахъ, повидимому, самая принадлежность критика, поэта или мыслителя къ французской націи уже непоправимый смертный грѣхъ и роковой источникъ всевозможныхъ заблужденій и уродствъ.

Въ результатѣ — начинается первое отступленіе Бѣлинскаго отъ собственныхъ, еще очень недавнихъ взглядовъ. Онъ пишетъ откровенную критику на самого себя и уничтожаетъ энергичнѣйшія заявленія своихъ *литературныхъ мечтаній* во имя отвлеченнаго ученія и внѣшняго авторитета.

Раньше истиной признавалось такое положеніе:

«Всякое произведеніе въ какомъ бы то ни было родѣ, хорошо во всѣ вѣка и въ каждую минуту, когда оно, по своему духу и формѣ, носитъ на себѣ печать своего времени и удовлетворяетъ всѣ его требованія».

Это очевидное признаніе правъ *исторической* критики и, что еще важнѣе, приближеніе поэзіи къ публицистикѣ, поэта къ политическимъ и общественнымъ дѣятелямъ. Впослѣдствіи эта идея войдетъ въ основу литературныхъ взглядовъ критика, но теперь онъ весь во власти высшихъ истинъ и *абсолютной* дѣйствительности. Но такъ какъ французская литература всегда отличалась и отличается чрезвычайной отзывчивостью на злобы современности, ясно, необходимо произнести судъ надъ самимъ національнымъ типомъ, вызвавшимъ подобное искусство.

Открывается удивительный поединокъ между двумя націями. Критикъ стремится унизить одну на счетъ другой и такимъ образомъ радикально рѣшить вопросъ о разумномъ направленіи русской литературы и мысли.

Читатели обязаны согласиться, что у русскихъ и у нѣмцевъ «много общаго въ основѣ, сущности, субстанціи духа», и слѣдовательно, вліяніе нѣмцевъ должно безусловно устранить авторитетъ французовъ. За нѣмцами признаются качества, врядъ ли вообще достижимыя для человѣческой природы. Созерцанію нѣмцевъ будто бы открыта внутренняя таинственная сторона предметовъ знанія, доступенъ «тотъ невидимый, сокровенный духъ, который ихъ оживляетъ и даетъ имъ значеніе и смыслъ». Французы, напротивъ, ограничиваются только «внѣшнею стороной пред-

мета», могутъ быть отличными математиками, медиками, но совершенные невѣжды въ «сокровеннѣйшемъ и глубочайшемъ значеніи предметовъ», въ «одномъ общемъ источникѣ жизни». Отсюда нѣмецкая религіозность и французское легкомысліе. Нѣмцы вѣрятъ, что жизнь постигается «откровеніемъ», разумѣніе дается «какъ благодать Божія», а французы «народъ безъ религіозныхъ убѣжденій, безъ вѣры въ таинство жизни, все святое оскверняется отъ его прикосновенія, жизнь мретъ отъ его взгляда». Критикъ видимо содрогается отъ столь тлетворнаго явленія и заканчиваетъ обвинительную рѣчь убійственнымъ сравненіемъ: «такъ оскверняется для вкуса прекрасный плодъ, по которому проползла гадина».

Естественно, разъ приняты въ обращеніе такія понятія, какъ «таинство», «сокровеннѣйшій смыслъ», «откровеніе», авторъ не затруднится критическую статью превратить въ догматическій трактатъ религіознаго или пророческаго содержанія. Доказывать ему собственно нечего, потому что тайны недоступны разсудку и «откровеніе»—завѣдомый врагъ логики. И мы все время пребываемъ въ истинномъ хаосѣ чрезвычайно величественныхъ, но совершенно не вразумительныхъ изреченій, безъ конца слышимъ о законахъ *разумной необходимости*, объ единой самой изъ себя развивающейся идеи, о сознаніи всего сущаго, объ углубленіи въ сущность вещей. Автору ни на минуту не приходитъ мысль, что всѣ эти великіе вопросы также требуютъ сознанія и углубленія, т. е. хотя бы самаго простого согласованія ихъ съ доступными человѣку силами разума и знанія. Что такое сущность вещей? Авторъ отвѣтитъ: она непостижимая тайна. Но тогда зачѣмъ она является въ его рукахъ метательнымъ снарядомъ на предметы совершенно реальные и жизненные? Зачѣмъ онъ громаднымъ неизвѣстнымъ усиливается ниспровергать вещи, принесшія человѣчеству осязательный и плодотворный нравственный свѣтъ и идеальную силу.

Во имя «сокровеннѣйшаго» и, надо полагать, неоткрываемаго «смысла» Бѣлинскій громитъ «эмпиризмъ», т. е. положительную науку, и противъ «наблюденій, опытовъ и фактовъ» идетъ во всеоружіи такихъ, напримѣръ, прорицаній: «чувство есть безсознательный разумъ, а разумъ есть сознательное чувство», «человѣкъ не есть только духъ и не есть только тѣло, но его тѣло есть явленіе духа».

Было бы понятно, если бы критикъ воевалъ съ безусловными

притязаніями матеріализма и, по слѣдамъ г-жи Сталь, французскому чисто-фактическому воззрѣнію на міръ и жизнь—противоставлялъ германское изученіе человѣческой нравственной личности, высокое значеніе личнаго чувства и личной воли рядомъ съ внѣшними вліяніями и впечатлѣніями. Но подобная борьба отнюдь не означала бы защиты изслѣдованія сущности вещей. Она логически привела бы къ совершенно противоположному результату, къ одновременному уничтоженію и матеріалистической, и идеалистической метафизики.

У Бѣлинскаго другая цѣль, чисто схоластическая. Онъ въ сущности желаетъ науку подмѣнить религіей, знаніе—созерцаніемъ, изслѣдованіе—откровеніемъ, наглядную дѣйствительность — абсолютной, человѣческую жизнь и исторію—діалектически развивающейся идеей.

Это въ полномъ смыслѣ созданіе особаго міра, отдѣленнаго непроходимой пропастью отъ міра явленій и формъ. Моста не существуетъ, потому что міръ доступной дѣйствительности—міръ фактовъ, а изученіе фактовъ не ведетъ къ выясненію «сокровеннѣйшаго смысла». Но этого мало. Въ области «откровенія» не существуетъ ничего научно-достовѣрнаго и, слѣдовательно, обязательнаго съ точки зрѣнія человѣческаго разума. Тайны раскрываются особой способностью—*«чувствомъ безконечнаго»*, т. е. способностью, не имѣющей ничего общаго ни съ яснымъ и точнымъ мышленіемъ человѣка, ни съ предметами, подлежащими изслѣдованію этого мышленія. Ясно, мы попадаемъ въ область чисто субъективнаго внушенія и ясновидѣнія, въ область стихійнаго произвола, становимся жертвой неуловимо прихотливыхъ разсудочныхъ толкованій высшаго созерцанія и абсолютнаго разумѣнія.

Но созерцатели по психологической сущности своихъ построеній, менѣе всего склонны признать столь «конечный» выводъ. Они становятся тѣмъ рѣшительнѣе и нетерпимѣе, чѣмъ неразрѣшимѣе ихъ тайны и непостижимѣе ихъ откровенія. Истинному знанію совершенно чуждъ фанатизмъ и изувѣрство, но все это какъ нельзя лучше уживается съ выспренними полетами къ «таинствамъ» и «сущностямъ». Отсутствіе логическихъ и научныхъ доказательствъ возмѣщается силой непосредственнаго чувства и сектантской вѣры.

Бѣлинскій неминуемо долженъ вступить на этотъ путь, разъ онъ призналъ нѣкое высшее *разумѣніе* и даже знаніе помимо доказательнаго и разсудочно-убѣдительнаго. Возьмемъ, напримѣръ, такую фразу изъ самой ранней статьи гегельянской полосы:

«У французовъ, у нихъ во всемъ конечный, слѣпой разсудокъ, который хорошъ на своемъ мѣстѣ, т. е. когда дѣло идетъ о разумѣніи обыкновенныхъ житейскихъ вещей, но который становится буйствомъ предъ Господомъ, когда заходитъ въ высшія сферы знанія» [92]).

Легко написать «высшія сферы знанія»!.. Но если бы собрать все сонмище мудрецовъ, бросавшихъ пригоршнями подобныя крылатыя рѣчи, и потребовать у нихъ искренняго и вразумительнаго отчета въ этомъ пиѳическомъ героизмѣ, мы услышали бы въ высшей степени *негармоническій хоръ*: шарлатаны, пустозвоны—извѣстные шопенгауэрскіе эпитеты по адресу Гегеля были бы сравнительно кроткими звуками въ этой свалкѣ докторовъ и магистровъ.

Нѣтъ ничего пагубнѣе для человѣческой природы, какъ увѣренность въ лично-завоеванномъ *абсолютномъ знаніи*. Подобный счастливецъ ставитъ себя въ положеніе демоническаго законодателя, изображеннаго Руссо въ *Общественномъ договорѣ*. Это сверхъестественное существо, не доказывая, убѣждаетъ, не убѣждая, увлекаетъ и предписываетъ, т. е. изощряется надъ темнымъ человѣчествомъ по мѣрѣ силъ и возможности.

Путь всегда одинъ и тотъ же и мы не должны изумляться, что у Бѣлинскаго встрѣтимъ подлинные отголоски не только гегельянскихъ откровеній, а даже первоисточника всякой діалектической метафизики, именно идей Платона. Бѣлинскій врядъ-ли изучалъ *Республику* эллинскаго философа, но пришелъ къ одному изъ поразительнѣйшихъ выводовъ платоновской діалектики, существенному какъ разъ въ практическомъ смыслѣ.

Платонъ за много вѣковъ до Гегеля, объявилъ *діалектику* единственной настоящей наукой. Достоинство *діалектики* въ томъ, что она совершаетъ свой путь только посредствомъ чистыхъ *идей*, безъ всякаго вниманія къ міру явленій, *черезъ идеи къ идеямъ*. Цѣль процесса—*идея блага*. Путь величественный и цѣль чрезвычайно любопытная, жаль только, что полное банкротство постигаетъ науку въ самый рѣшительный моментъ. Идея блага не находитъ у философа даже *опредѣленія*, не только не становится жизненнымъ достояніемъ мыслящаго человѣчества. Идея блага въ нравственномъ мірѣ то же, что солнце въ физическомъ; вотъ и всѣ результаты грандіознаго предпріятія.. Сравненіе, иносказаніе,

---

[92]) Ст. о сочиненіяхъ Фонвизина и «Юріи Милославскомъ» Загоскина. II 313. 1838 годъ.

метафора и прочія поэтическія фигуры—таково заключеніе широковѣщательнаго провозглашенія науки наукъ.

Но именно это заключеніе и уполномачиваетъ философа на недосягаемо-пренебрежительныя чувства къ наукамъ, изучающимъ факты и явленія, даже въ математикѣ. Всѣ онѣ приводятъ къ *мнѣніямъ*, а не къ *знанію*, а мнѣнія измѣнчивы, какъ сами явленія, какъ тѣни, по сравненію философа [93]).

Подобный процессъ и у Бѣлинскаго.

Онъ также ставитъ рядомъ *мысль* и *мнѣніе* и приходитъ къ такому сравненію: оно въ высшей степени важно для насъ, оно играетъ роль вдохновляющаго принципа для нашего автора.

«Мнѣніе опирается на случайномъ убѣжденіи случайной личности, до которой никому нѣтъ дѣла и которая сама по себѣ—очень неважная вещь; мысль откроется на самой себѣ, на собственномъ внутреннемъ развитіи изъ самой себя, по законамъ логики» [94]).

Мы тщетно будемъ доискиваться, на чемъ же собственно будетъ основанъ этотъ процессъ, если явленія сами по себѣ не даютъ *мыслей*, а только *мнѣнія?* Отвѣтъ мы получаемъ, что онъ совершенно не относится къ области знанія и логики. Вдохновленный высшимъ созерцаніемъ идей, Бѣлинскій написалъ свои бородинскія статьи и представилъ точный символъ своей нравственной и общественной вѣры.

XXII.

Первая статья написана по поводу книги Ѳ. Глинки *Очерки Бородинскаго сраженія*, и представляетъ едва ли не единственный въ русской литературѣ блестящій образчикъ философской борьбы реакціонный мысли противъ идей XVIII-го вѣка. У Бѣлинскаго тѣ же задачи, какъ и у Бональда, и задачи чрезвычайно неголоволомныя, Ничего нѣтъ легче, какъ возражать противъ такихъ вымысловъ, какъ, напримѣръ, ученіе объ изобрѣтеніи языка, о договорномъ происхожденіи гражданскаго общества. Даже Бональдъ, при всемъ своемъ невѣжествѣ и умственной ограниченности, могъ высказать нѣсколько удачныхъ замѣчаній на счетъ совершенно неисторическихъ и даже противоестественныхъ фантазій нѣкоторыхъ идеологовъ-просвѣтителей.

---

[93]) Politeia, VII.

[94]) Ст. *Очерки Бородинскаго сраженія*. III, 247. 1839 годъ.

Но одно дѣло — опровергнуть противника, другое — построить свое зданіе. Языкъ не изобрѣтенъ, но слѣдуетъ ли изъ этого факта, что онъ «данъ человѣку, какъ откровеніе»? Имѣетъ ли эта истина за себя больше *доказательствъ*, чѣмъ только что уничтоженная? А между тѣмъ принять эту мысль, какъ *знаніе*, значитъ отвергнуть заранѣе представленіе о постепенномъ историческомъ развитіи извѣстнаго явленія, и вообще о поучительности естественно-научныхъ данныхъ.

Бональдъ вполнѣ послѣдовательно вооружался противъ исторіи и естествознаніе обзывалъ «скотологіей». Послѣдователь Гегеля могъ не отличаться такой азартной откровенностью, но по существу онъ неминуемо долженъ впасть въ метафизику реставраціи. Отъ Бѣлинскаго мы слышимъ тѣ же бональдовскія соображенія насчетъ таинственнаго происхожденія гражданскаго строя, тотъ же надменный отзывъ о «человѣческихъ уставахъ», то же мечтательное благоговѣніе къ «силѣ вѣкового преданія», ко «всему, теряющемуся въ довременности», вообще мистическая декламація вмѣсто прежняго «буйства» разсудка.

Но разъ въ основу практическихъ выводовъ полагается «довременность», т. е. нѣчто неподлежающее точному изслѣдованію и опредѣленію, самые выводы неизбѣжно должны принять форму невмѣняемыхъ изреченій и догматическихъ пророчествъ.

Бѣлинскій въ статьяхъ гегельянскаго направленія ничего не доказываетъ и не разъясняетъ, а только диктуетъ и вѣщаетъ. У него все рѣшено безъ какихъ бы то ни было доводовъ, научныхъ или логическихъ. На мѣсто ложныхъ представленій XVIII-го вѣка онъ ставитъ столь же бездоказательныя истины собственнаго измышленія. Разница только въ одномъ: вся ложь прошлаго вѣка стремилась непремѣнно возстановить и утвердить достоинство человѣческой личности и человѣческаго разума, аксіомы Бѣлинскаго направлены къ противоположной цѣли. Онъ усиливается доказать ничтожество человѣка и буйство его разсудка предъ тайнами и вѣковымъ преданіемъ.

Кто же поможетъ намъ проникнуть въ смыслъ этихъ тайнъ, чтобы мы могли руководиться имъ въ вопросахъ и фактахъ нашей современности?

Ужъ, конечно, не наука и не разсудокъ, слѣдовательно, не люди культуры и знанія, а «массы самаго низшаго народа, лишеннаго всякаго умственнаго развитія, загрубѣлаго отъ низшихъ нуждъ и тяжелыхъ работъ жизни».

Это опять неизбѣжное прибѣжище реакціонныхъ метафизи-

въ. Весь, такъ называемый, прогрессъ, вообще идея перемѣнъ движенія — выдумка интеллигенціи, утратившей живую связь стихійными основами народной жизни. Тамъ внизу разъ навсегда рѣшили вопросы по всякой международной и внутренней литикѣ, и остается только повиноваться этому голосу почвы и временности.

Бѣлинскій опять былъ бы правъ, если бы призналъ существованіе общаго національнаго духовнаго склада у всякаго историческаго народа, если бы указалъ, какъ этотъ духъ проявляется въ великія годины испытаній, въ родѣ эпохи междуцарствія или отечественной войны. Но это признаніе не должно переходить въ идеализацію не столько народнаго чувства духовнаго единства и нравственной силы, сколько простонародной первобытности и «загрубѣлой» инстинктивности на всѣхъ путяхъ человѣческаго развитія. Это два совершенно различныхъ вопроса.

Подъемъ національнаго сознанія одинаково распространяется на массу и на интеллигенцію, иногда даже интеллигенція занимаетъ руководящее положеніе, какъ это было въ Германіи во время національной борьбы съ Наполеономъ. И въ Россіи—развѣ Пожарскій, Авраамій Палицынъ и Гермогенъ принадлежали къ «массѣ самаго низшаго народа»? И развѣ отечественная война вызвала чувства самоотверженія и патріотизма только у однихъ «грубыхъ солдатъ»? Печальна была бы судьба того народа, который роковымъ путемъ выдѣлялъ бы изъ своей среды отщепенцевъ родного національнаго организма на поприще высшей *общечеловѣческой* культуры и *сознательной* политической общественной дѣятельности! Лучше этому народу и не выходить изъ мрака довременности, не посягать ни на какіе «человѣческіе уставы» и быть счастливымъ «силой вѣкового преданія».

Мы видимъ, какъ вполнѣ основательная критика приводитъ нашего писателя къ совершенно произвольнымъ положеніямъ—крайняго и нетерпимаго направленія. Частные выводы ясны. Общество создается стихійно, живетъ по непреложной, въ довременіи предопредѣленной программѣ,—очевидно, всѣ явленія этой жизни столь же священны и непрекосновенны, какъ и ея первоисточникъ. Примиреніе съ дѣйствительностью—выводъ логики и правило нравственности,—«примиреніе путемъ объективнаго созерцанія жизни», пояснитъ Бѣлинскій,—и за эту именно способность превознесётъ Пушкина [95]).

---

[95]) *Литературная хроника.* II, 335. 1838 годъ.

Правда, критикъ поспѣшитъ оговориться: «странно было бы думать, что все, имѣющее внутреннюю и необходимую причину, истинно и нормально». Оговорка ни къ чему не поведетъ. Добрыя намѣренія совершенно потонутъ въ лирическомъ, нетерпѣливо-стремительномъ гимнѣ *сущему*. Бѣлинскій будто спѣшитъ покрыть силой голоса и размахомъ рѣчи невольно поднимающіеся протесты здраваго смысла и непосредственнаго чувства.

Въ самомъ дѣлѣ, какія поправки можетъ внести человѣческій разумъ въ фатальныя предначертанія неисповѣдимыхъ силъ! Послушайте, съ какимъ презрѣніемъ преслѣдуетъ критикъ «маленькихъ великихъ людей», дерзающихъ помышлять о своей *случайной* волѣ! Эти несчастные въ глазахъ автора—слѣпорожденныя насѣкомыя, ихъ порывы можно выразить не иначе, какъ безгранично пренебрежительнымъ понятіемъ—*таращиться*. Всюду «могучая десница»,—и Наполеонъ, напримѣръ, палъ «не отъ слабости», т. е. на обыкновенный историческій взглядъ, не отъ своего ослѣпленія и поразительныхъ ошибокъ и недоразумѣній, а какъ разъ наоборотъ—«отъ тяжести своей силы». Критикъ не признаетъ даже вообще, чтобы здравомыслящій человѣкъ сталъ доискиваться ошибокъ въ дѣятельности «Петровъ и Наполеоновъ». Это—*смѣшно* и *жалко*. Взамѣнъ подобныхъ трагикомическихъ потугъ Бѣлинскій предназначаетъ написать рядъ страницъ апокалипсическаго характера и недосягаемо-выспренняго краснорѣчія [96].

Очевидно, разъ человѣкъ со всѣми своими стремленіями и волей—горе-богатырь въ картонномъ вооруженіи, единственный выходъ—умѣть наслаждаться тѣмъ, что есть, что существуетъ независимо отъ безумныхъ *личныхъ* умысловъ на ходъ человѣческой жизни. Въ этомъ искусствѣ найти источникъ утѣшенія при какихъ угодно внѣшнихъ условіяхъ заключается даже тайна высшей натуры.

«У генія», пишетъ Бѣлинскій, «всегда есть инстинктъ истины и дѣйствительности; что есть, то для него разумно, необходимо и дѣйствительно, а что разумно, необходимо и дѣйствительно, то только и есть».

Истина поясняется примѣромъ, для насъ особенно интереснымъ. Въ періодъ раскаянія этотъ примѣръ будетъ поднимать жестокую горечь въ сердцѣ Бѣлинскаго. Идеальный образецъ таланта приспособленія, конечно, Гёте, и теперь онъ первостепенный

---

[96]) *Менцель противъ Гёте*. III, 296 etc. 1840 годъ.

герой нашего критика, отъ поэтическаго таланта въ *Фаустѣ* до безпримѣрно-космополитическаго безстрастія въ положеніи германскаго гражданина среди борьбы отечества съ національнымъ внѣшнимъ врагомъ.

«Гёте—соображаетъ Бѣлинскій,—не требовалъ и не желалъ невозможнаго, но любилъ наслаждаться необходимо-сущимъ». На основаніи этой любви авторъ *Фауста* былъ непоколебимо убѣжденъ въ раздробленности Германіи.

Критикъ не считаетъ нужнымъ даже коснуться вопроса, имѣло ли гётевское убѣжденіе какія-либо историческія основанія и самая раздробленность была ли положительнымъ, разумнымъ фактомъ или печальнымъ переживаніемъ? Достаточно умиротворенія сущимъ,—все остальное «буйство» разсудка.

Бѣлинскій пойдетъ дальше. Онъ не можетъ, конечно, отрицать страданій, какими на каждомъ шагу удручаютъ человѣчество. Но это безразлично. Достаточно одного факта—*бытія*, и счастье обезпечено, т. е. достаточно видѣть что-либо существующимъ, чтобы наслаждаться. «Души нормальныя и крѣпкія находятъ свое блаженство въ живомъ сознаніи живой дѣйствительности, и для нихъ прекрасенъ Божій міръ, и само страданіе есть только форма блаженства, а блаженство жизнь въ безконечномъ».

Положимъ, это еще удобопріемлемо относительно стихійнаго, безсознательнаго зла. Но какъ примириться съ злою волей людей, съ явными умыслами эгоистовъ и преступниковъ на благоденствіе ближнихъ? Вѣдь это уже не область безконечнаго и не царство неуловимаго и неотразимаго фатума, а вполнѣ осязательное и самопроизвольное зло.

Критикъ не смущается. Все и всѣ служатъ духу и истинѣ. Иной даже, удовлетворяя «низкимъ нуждамъ своей жизни», напримѣръ, увлекаясь страстью любостяжанія, безсознательно и противъ желанія приноситъ пользу обществу, оживляетъ торговлю, кругъ обращенія капиталовъ. Поразительная идея сопровождается вполнѣ достойнымъ сравненіемъ: бродящій по полю волъ споспѣшествуетъ плодородію земли...

Разъ дѣло дошло до такихъ идиллическихъ пейзажей, не можетъ быть рѣчи о скептическомъ настроеніи, какой бы вопросъ ни подлежалъ разрѣшенію философа. Бѣлинскій попытался вернуть русскую общественную мысль прямо къ вѣку Карамзина. Онъ безпрестанно будетъ пользоваться даже формой рѣчи сладкогласноголиваго пѣвца «чудесной гармоніи» и «вѣка златого». Потому

что эта «чудесная гармонія» родная сестра разумной дѣйствительности» и карамзинская вѣра—всякое общество священно уже потому, что оно существуетъ,—станетъ достояніемъ и нашего философа. Не отречется онъ и отъ *общественныхъ* результатовъ этого символа, примется доказывать, что «заграничные крикуны» Россіи не указъ, что «ходъ ея исторіи обратный въ отношеніи къ европейской» и заключитъ эту музыкальную фантазію такимъ аккордомъ, будто списаннымъ съ произведеній чувствительнаго поклонника «счастливыхъ швейцаровъ» и «просвѣщенныхъ земледѣльцевъ»:

«Отношеніе высшихъ сословій къ низшимъ прежде состояло въ патріархальной власти первыхъ и патріархальной подчиненности вторыхъ, а теперь въ спокойномъ пребываніи каждаго въ своихъ законныхъ предѣлахъ, и еще въ томъ, что высшія сословія мирно передаютъ образованность низшимъ, а низшія ее принимаютъ» [97]).

Совершенно послѣдовательно Бѣлинскій встанетъ на защиту своего предшественника и произнесетъ восторженную рѣчь во славу всевозможныхъ доблестей Карамзина—историка и мыслителя [98]).

Таковы принципы гегельянскаго періода критики Бѣлинскаго. Они грозили свести на нѣтъ всѣ завоеванія русскаго нравственнаго и общественнаго самосознанія, совершенныя съ такими усиліями и опасностями лучшими представителями поколѣнія двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Неистовый Виссаріонъ, встрѣченный горячими привѣтствіями людей живой мысли и великихъ надеждъ, шелъ во всеоружіи своего таланта на первоисточникъ всякаго духовнаго движенія,—на *личность*, отвергалъ ея права на самоопредѣленіе и приговаривалъ ее къ пожизненному рабству у безличнаго, стихійно-безпощаднаго чудовища—*вѣками освященной дѣйствительности*. Разумъ уничтожался во имя преданія и воля во имя факта. И, разумѣется, старинный лепетъ прекрасныхъ душъ, при всемъ ихъ задорѣ, не могъ идти ни въ какое сравненіе съ воодушевленной рѣчью новаго поборника патріархальности и душевнаго блаженства. Здѣсь послѣднее слово европейской мудрости освѣщало путь къ вожделѣнной цѣли и создавало для рыцаря неизмѣримо болѣе внушительную твердыню, чѣмъ самыя обильныя слезы и сладчайшія стихотворенія въ прозѣ.

97) Ст. *Бородинская годовщина.* В. Жуковскаго. III, 207. 1839 годъ.

98) Ст. *Полное собраніе сочиненій А. Марлинскаго.* III, 438. 1840 годъ.

Бѣлинскій установилъ принципы, конечно, не ради ихъ самихъ, а по извѣстному намъ свойству своей природы, ради ближайшихъ жизненныхъ цѣлей. Ему вѣра нужна ради любви и мысль ради дѣла, и онъ не преминулъ поднять войну противъ всего, что только нарушало его «гармоническій хоръ». Критикъ невольно, вопреки своему ученію о спокойномъ, объективномъ созерцаніи дѣйствительности и даже о «роскошномъ трепетно-сладкомъ восторгѣ» предъ исторіей человѣчества, несъ войну и разрушеніе въ ненавистный лагерь. Онъ открылъ этотъ лагерь одновременно съ догматомъ наслажденія всяческой дѣйствительностью.

Странное противорѣчіе, уже съ самаго начала заставляющее насъ опасаться за прочность столь рѣшительно воздвигнутаго сооруженія.

XXIII.

Обильныя жертвы на алтарь разумной дѣйствительности должны были дать Бѣлинскому французы разныхъ партій и поколѣній. Неудовлетворителенъ по части гармоніи и примиренія восемнадцатый вѣкъ, не лучше и его наслѣдникъ. Всюду резонерство, декламаторство и, главное, буйство разсудка. Вѣчныя системы, секты, партіи, «дневные вопросы», и въ особенности нелѣпый Жоржъ Зандъ съ его возмутительнымъ сенъ-симонизмомъ. Критикъ имѣетъ весьма смутныя представленія о предметахъ, жестоко, напримѣръ, перетолковываетъ сенъ-симонистскія идеи, открываетъ въ нихъ небывалое торжество «индюстріальнаго направленія надъ идеальнымъ и духовнымъ». Но догматизмъ никогда не нуждается въ основательности свѣдѣній, — совершенно напротивъ, и Бѣлинскій составляетъ своего рода индексъ писателей.

Какъ водится, всѣ подобныя произведенія сильнаго чувства не отличаются точностью оцѣнки и осторожностью приговора. У Бѣлинскаго подъ-рядъ идутъ имена Корнеля, Расина, Мольера, Вольтера, Гюго, Дюма... Принимаясь за достодолжное возмездіе этимъ авторамъ, критикъ заранѣе желаетъ быть рѣшительнымъ, потому что, по его наблюденіямъ, «мы очень не смѣлы въ нашихъ сужденіяхъ, когда слово француза сходится съ словомъ искусства». Назвавъ вмѣстѣ и Расина, и Гюго, Вольтера и Корнеля, Бѣлинскій, пожалуй, готовъ признать ихъ «отличными, превосходными литераторами, стихотворцами, искусниками, риторами, декламаторами, фразерами», но отнюдь не художниками.

Художественность здѣсь слѣдуетъ понимать вовсе не въ чисто

эстетическомъ смыслѣ, иначе зачѣмъ такая рѣзкость приговора и не соотвѣтствующее одушевленіе рѣчи? Нѣтъ, для критика несравненно важнѣе *настроенія* писателей, самый духъ, проникающій ихъ произведенія, ихъ нравственные и общественные мотивы, иначе онъ не смѣшалъ бы классиковъ съ романтиками, католиковъ съ философами. Тайну критикъ объяснилъ совершенно откровенно по поводу Шиллера.

Авторъ *Коварства и любви* также попалъ на черную доску и вотъ по какимъ соображеніямъ. «Огня отрицать нельзя,—пишетъ критикъ о драмѣ Шиллера,—но такъ какъ этотъ огонь вытекъ не изъ творческаго одушевленія объективнымъ созерцаніемъ жизни, а изъ ратованія противъ дѣйствительности, подъ знаменемъ нравственной точки зрѣнія, то онъ и похожъ на фейерверочный огонь; много шуму и треску и мало толку».

Еще краснорѣчивѣе приговоръ надъ *Свадьбой Фигаро*. Здѣсь мы вполнѣ убѣждаемся, какъ далеко унесли нашего критика эстетика и философія отъ обыкновенной всѣмъ видимой дѣйствительности и какимъ ослѣпленіемъ поразили его мысль и чувство.

Комедія Бомарше, оказывается, не представляла никакого интереса для русской публики конца тридцатыхъ годовъ. Это пьеса утомительная, скучная, съ натянутыми остротами и натянутыми положеніями, и все потому, что она «политическая» и притомъ сатира. Особенно критикъ недоволенъ монологомъ Фигаро въ послѣднемъ актѣ, той исторически-безсмертной рѣчью, гдѣ съ неподражаемой силой и остротой нарисованы портреты людей, «давшихъ себѣ трудъ только родиться...» [99]).

И автору *Дмитрія Калинина* не почуялось ни одного родного звука въ этой образцовой исповѣди Калининыхъ всѣхъ временъ и народовъ!

Не находитъ критикъ ничего современно-любопытнаго и художественнаго и во всѣхъ комедіяхъ Мольера. Онъ можетъ смѣшить развѣ только «праздную толпу»: до такой степени въ недосягаемую даль отошли образы Донъ-Жуана, Тартюфа и «смѣшныхъ маркизовъ!» И замѣчательно, критику приходится обмолвиться словомъ, многозначительнымъ для его будущаго міровоззрѣнія: Мольеръ—поэтъ *соціальный*. По гегельянскому толкованію это значитъ заставлять поэзію носить ливрею, между тѣмъ какъ поэзія—происхожденія божественнаго и не любитъ ливреи.

---

[99]) *Театральная хроника*. III, 124. 1839 годъ.

Въ такомъ же унизительномъ нарядѣ, по мнѣнію Бѣлинскаго, щеголяетъ Жоржъ Зандъ, распространяя путемъ романовъ идеи сенъ-симонизма, Мицкевичъ, въ порывѣ патріотическихъ чувствъ сочиняющій «риѳмованные памфлеты». Вообще и конца нѣтъ преступленіямъ противъ божественности и дѣвственной чистоты художника! Потому что такъ мало на свѣтѣ людей, ублаготворенныхъ объективнымъ созерцаніемъ дѣйствительности. Гораздо больше раздраженныхъ, гнѣвныхъ или, во всякомъ случаѣ, волнующихся. А это и вредитъ творчеству. «Нельзя,—говоритъ критикъ,—сердиться и творить въ одно и то же время; досада портитъ желчь и отравляетъ наслажденіе, а минута творчества есть минута высочайшаго наслажденія» [100]).

Назначеніе искусства переносить это наслажденіе въ среду простыхъ смертныхъ. Истинно-художественное произведеніе «примиряетъ человѣка съ дѣйствительностью, а не возстановляетъ противъ нея». Конечно, человѣку приходится бороться въ жизни, но отнюдь не противъ ея несовершенствъ, а только «съ ея невзгодами и бурями», и борьба эта будетъ «великодушной» [101]).

Однимъ словомъ, все время на глазахъ критика во-очію совершается райское блаженство. Въ самое короткое время онъ успѣлъ возобновить въ памяти читателей рѣшительно всѣ обязательныя и не обязательныя піитическія піянства старыхъ піитъ и критиковъ. Сблизившись съ Карамзинымъ, Бѣлинскій не остался въ долгу и предъ одописцами и лириками болѣе ранней эпохи, призналъ свое родство и съ позднѣйшими риторами. Чѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, идея искусства, какъ всеуслаждающей силы, отличается отъ державинскаго понятія поэзіи, какъ сладкаго лимонада, и какая разница между «гармоническимъ хоромъ» нашего автора и «вѣчной гармоніей и небесной лѣпотой» профессора Надеждина?

Бѣлинскій имѣлъ полное право считать свои философскія статьи идеально-совершеннымъ фокусомъ, заключившимъ въ себѣ всѣ дотолѣ разсѣянные лучи истинно-ливрейнаго разума и безупречно-мирнаго слова. Не можетъ быть, конечно, и мысли даже о самомъ отдаленномъ сродствѣ руководящихъ мотивовъ у Бѣлинскаго и его предшественниковъ по части объективнаго созерцанія, но тѣмъ горшая участь предстояла русской литературѣ, чѣмъ независимѣе и благороднѣе былъ рыцарь косности и безличія и чѣмъ неумо-

---

[100]) *Горе отъ ума.* III, 370. 1840 годъ.
[101]) *Менцель, критикъ Гёте.* III, 332.

лимѣе являлась его послѣдовательность рѣшительно во всѣхъ вопросахъ искусства, нравственности и политики.

Бѣлинскій неуклонно чертилъ магическіе круги и произносилъ заклинанія, безпощадно отметая все небожественное, безпокойное и лично-оригинальное въ какой бы то ни было области. Уничтоживъ *Горе отъ ума*, какъ гнѣвное и, слѣдовательно, нехудожественное произведеніе, онъ самъ написалъ жестокую сатиру на Чацкаго уже на основаніи теоріи любви и даже общественныхъ приличій. Этотъ фактъ въ высшей степени замѣчателенъ. Онъ показываетъ, какъ доктринерство школы и секты порабощаетъ *всего* человѣка и на тѣхъ путяхъ, гдѣ, повидимому, менѣе всего умѣстна его основная доктрина. Какое дѣло ученію о примиреніи съ дѣйствительностью до тѣхъ или иныхъ проявленій любовнаго чувства? Критику надлежитъ считаться съ *фактомъ* и не входить въ его оцѣнку на основаніи случайныхъ убѣжденій случайной личности.

Но, мы знаемъ, самъ Гегель не выдерживалъ спокойнаго созерцательнаго состоянія и превращался въ жестокаго гонителя неразумной, по его мнѣнію, дѣйствительности. Бѣлинскій, конечно, долженъ опередить учителя и провозгласить неправдоподобіе увлеченія Чацкаго Софьей, потому что «любовь есть взаимное, гармоническое разумѣніе двухъ родственныхъ душъ». У Чацкаго нѣтъ ничего подобнаго, чтó онъ могъ найти въ Софьѣ. Въ Софьѣ, любящей Молчалина! Естественно, всѣ слова, выражающія чувства Чацкаго къ Софьѣ, «такъ обыкновенны, чтобы не сказать пошлы».

И все это на основаніи незыблемыхъ общихъ положеній, гдѣ теорія «ясновидѣнія внутренняго чувства» занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ. Каждое изреченіе критика свидѣтельствуетъ о своего рода самоотреченіи разума и вдумчивости. Бѣлинскій, не желая быть политикомъ, перестаетъ быть психологомъ, не понимая временныхъ общественныхъ задачъ и построеній, закрываетъ глаза и на духовную жизнь отдѣльной личности. Это полное торжество философскаго фанатизма. Узость идей, въ соединеніи съ горячей натурой критика, усѣевали сцену иностраннаго и русскаго творчества развалинами и жертвами. Если бы Бѣлинскій остановился на этомъ пути и не сбросилъ съ себя гегельянскихъ доспѣховъ, умственное развитіе русскаго общества было бы отодвинуто на цѣлыя десятилѣтія назадъ. Сильнѣйшимъ и искреннѣйшимъ дѣятелямъ литературы пришлось бы потратить не мало усилій только на одно уничтоженіе философской заразы и на возстановленіе идей *Телеграфа* и его единомышленниковъ.

Бѣлинскій не уставалъ въ развитіи теорій и законодательствъ И все это давалось ему легко, мимоходомъ, какъ истинному прозелиту въ дѣвственный періодъ вѣры. Извѣстному политическому и нравственному ученію соотвѣтствуетъ эстетическое. Мы слышимъ вновь величественныя опредѣленія трагическаго, комическаго и драматическаго. И вполнѣ основательно: доброе старое время должно воскреснуть во всемъ своемъ многообразномъ обликѣ,—піитика московскихъ профессоровъ ничѣмъ не хуже ихъ морали и политики. Если Чацкій сумасшедшій съ точки зрѣнія «свѣта», *Горе отъ ума*—нехудожественно предъ судомъ «науки». Эти двѣ силы шли всегда рядомъ, и Мольеръ увѣковѣчилъ ихъ сродство душъ въ безсмертной дружбѣ Филаминты съ Триссотэномъ.

Мы видимъ, какая хищная стихія простирала свою власть на русскую мысль и русское слово. Гегельянство въ лицѣ Бѣлинскаго и на русской почвѣ обнаружило до послѣдней черты свои реакціонныя тенденціи. Призывъ учителя къ современному поколѣнію уйти отъ злобъ современности въ высь философскихъ созерцаній, привелъ практически дѣйствовавшаго ученика къ чрезвычайно-рѣшительной и полной *реставраціи*. Она, при русскихъ общественныхъ условіяхъ, стоила дѣятельности какого-нибудь Бональда или Деместра во Франціи, и мы съ гораздо бо́льшимъ основаніемъ, чѣмъ отечественный біографъ Гегеля, можемъ въ гегельянствѣ видѣть возрожденіе *стараго порядка*. И этотъ результатъ являлся тѣмъ разрушительнѣе, что между нашимъ прошлымъ и болѣе прогрессивнымъ будущимъ не лежало никакихъ краснорѣчивыхъ историческихъ событій, затруднявшихъ во Франціи дѣятельность «привидѣній». Послѣднимъ словомъ русскаго общественнаго самосознанія былъ журналъ Полевого. Это, конечно, не *Энциклопедія* и не *Философскій словарь* Вольтера и не законодательство національнаго собранія. Тѣмъ болѣе, что бывшій издатель *Телеграфа* постепенно шелъ по наклонному пути не только къ объективному созерцанію дѣйствительности, а къ полному безсильному преклоненію предъ ней.

Легко представить, какую грозу несли статьи Бѣлинскаго на едва зеленѣвшую русскую ниву. И между тѣмъ, некому было встать противъ Орланда. Талантъ давалъ ему положеніе вершителя судебъ русской литературы, «неистовство» дѣлало его неукротимымъ и неутомимымъ. Только одинъ противникъ могъ вступить въ ратоборство съ нимъ,—это онъ самъ. Вся надежда тѣхъ,

кому оставалась дорога правда жизни и могущество мысли, должна была сосредоточиться на великихъ природныхъ задаткахъ Бѣлинскаго. Можетъ быть, они, наконецъ, свергнутъ иго и разсѣютъ очарованіе.

XXIV.

Надежда являлась возможной даже въ самый разгаръ гегельянскаго подвижничества. Несомнѣнно, величайшее заблужденіе Бѣлинскаго за весь философскій періодъ—разгромъ грибоѣдовской комедіи. Но совершился онъ какъ-то двусмысленно, во всякомъ случаѣ, для истыхъ «реставраторовъ» не совсѣмъ удовлетворительно.

Правда, Чацкій развѣнчанъ безусловно, но на долю его *полюса* пришлось отнюдь не меньше жестокихъ словъ. Слѣдовало бы ждать иного. Если Чацкій—воплощенный протестъ противъ общества—крикунъ, фразеръ, идеальный шутъ, то Молчалинъ—образецъ примиренной души и личнаго созвучія съ дѣйствительностью—долженъ быть пощаженъ. А между тѣмъ, онъ «мерзавецъ, низкопоклонникъ, ползающая тварь». И Софья, любящая подобное чудовище, также ниже званія человѣка, и критикъ явно горитъ личнымъ негодованіемъ противъ всякой дѣвушки, способной полюбить столь презрѣнную тварь.

Это—непослѣдовательно. Авторъ *Гимназическихъ рѣчей* не допустилъ бы такого противорѣчія и гораздо терпимѣе отнесся бы къ основному принципу молчалинскаго міровоззрѣнія: разсуждать въ зависимости отъ чиновъ и положенія. Молчалинъ—только самый сочный и зрѣлый плодъ извѣстной дѣйствительности. И если Гёте великъ именно потому, что умѣлъ наслаждаться необходимосущимъ, а Гегель мудръ потому, что всякому факту подыскивалъ идею, чѣмъ же тогда Молчалинъ ниже *по существу* этихъ олимпійцевъ и мудрецовъ? Вопросъ вѣдь въ *нравственныхъ принципахъ* взаимныхъ отношеній личности и общества, а вѣдь самъ же Бѣлинскій убѣждаетъ насъ, что общество «всегда правѣе и выше частнаго человѣка». Этой именно истиной живутъ Фамусовъ и Молчалинъ. Очевидно, въ воинственный натискъ критика противъ нихъ вкралось нѣкоторое логическое недоразумѣніе.

Можно найти кое-что и посущественнѣе.

Въ томъ же самомъ манифестѣ гегельянской мудрости, въ бородинской статьѣ, мы встрѣчаемъ пламенную страницу во славу одного изъ самыхъ негегельянскихъ поступковъ императора Петра.

Вообще, съ точки зрѣнія Бѣлинскаго-гегельянца—Петра защищать довольно странно. Вѣдь вся личность и дѣятельность великаго царя—вопіющее противорѣчіе исторической дѣйствительности, тѣмъ болѣе, что Бѣлинскій не знаетъ предшественниковъ Петра на пути къ реформѣ. Только что критикъ отнялъ у «субъективнаго человѣка» право «возстанія» противъ «объективнаго міра», и вдругъ восторженный гимнъ человѣку, даже отъ Пушкина заслужившему наименованіе *революціонера.* Мало этого, гимнъ по поводу участи царевича Алексѣя. Въ этомъ вопросѣ царь не только пошелъ противъ преданій московскаго царства, но даже отринулъ естественный голосъ отеческой любви. И Бѣлинскій не находитъ слова достойно оцѣнить эту побѣду.

«Солнце должно было остановиться въ своемъ вѣчно-довременномъ теченіи, природа притаить дыханіе, пульсъ міровой жизни прерваться, въ ожиданіи страшнаго рѣшенія, чтобы потомъ забиться новою, удвоенною жизнью, потечь новымъ увѣреннымъ теченіемъ отъ чувства торжества... Великій подвигъ великаго человѣка!—восклицаете вы въ гордомъ сознаніи торжества достоинства человѣческой природы». И дальше выговаривается слѣдующая фраза!

«*Міръ объективный побѣдилъ міръ субъективный*, *общее побѣдило частное!*»

Какъ, спросите вы, о какомъ объективномъ мірѣ идетъ здѣсь рѣчь? Критикъ отождествляетъ его съ *народомъ.* Не можетъ быть ничего произвольнѣе и прямо фантастичнѣе. Если бы Петръ обратился къ русскому народу XVII-го вѣка за рѣшеніемъ своей распри съ сыномъ, нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что онъ не получилъ бы отъ него совѣта лишить царевича престола ради «идеи реформы». Объективный міръ, о какомъ говоритъ Бѣлинскій, цѣликомъ сосредоточивался въ субъективномъ мірѣ царя, напротивъ, «естественныя влеченія сердца» въ данномъ случаѣ должны были найти единодушное сочувствіе именно *народа.* Торжествовало дѣйствительно достоинство человѣческой, но только *личной* природы, *великій человѣкъ* рядомъ съ *мелкой дѣйствительностью.* Торжество, *по результатамъ*, вышло на пользу *общую.* Это справедливо, но *по мотивамъ* оно дѣло самого героя, исключительно мощной *личности.*

И Бѣлинскій запутывается въ безвыходныя противорѣчія, осудивъ Шиллера за «ратованіе подъ знаменемъ нравственной точки зрѣнія» и восхваливъ Петра за осуществленіе «нравственнаго закона». Ужъ, конечно, Петръ еще менѣе Шиллера былъ

способенъ къ объективному созерцанію дѣйствительности и его слѣдовало бы покарать наравнѣ съ «маленькими великими людьми», которые таращатся вертѣть по произволу государствами.

Мы видимъ, какой опасности подвергается у Бѣлинскаго объективный міръ при встрѣчѣ съ нѣкоторыми субъективными мірами. Обаяніе *личности* неотразимо для критика и его толкованіе объекта зависитъ отъ его отношенія къ субъекту. Это существенный и рѣшительный фактъ въ философствованіи Бѣлинскаго. Онъ принесетъ въ жертву гегельянскому фетишу Шиллера, Гюго, Жоржъ-Занда, но его рука дрогнетъ предъ Байрономъ и Лермонтовымъ. Онъ броситъ насмѣшкой въ германскихъ преобразователей и просвѣтителей начала XIX-го вѣка; но остановится въ восхищеніи предъ русскимъ царемъ-реформаторомъ. На первый взглядъ едва вѣроятное противорѣчіе, по психологіи Бѣлинскаго совершенно естественное. Лично сильный человѣкъ, онъ *непосредственно* отзывается на родныя ему души. Шиллеръ не могъ принадлежать къ ихъ кругу: его личности и силы хватило только на романтическую молодость. Это не былъ мощный организмъ, ломающійся, но не дряблѣющій. Еще менѣе героемъ можетъ быть названъ Бомарше, и оба поэта не захватывали самой натуры критика, не поднимали въ немъ отвѣтныхъ чувствъ на свою непреклонную, невозмутимо-сознательную волю.

Не то Петръ, какъ политикъ, Байронъ и Лермонтовъ, какъ поэты: организмы цѣльные безъ малѣйшаго признака пестроты, энергичныя безъ намека на сдѣлку и податливость.

Все это справедливо, но какъ же тогда спасти объективность? Не могъ же Бѣлинскій не чувствовать своего ложнаго положенія. Роли личности и дѣйствительности постоянно мѣнялись, необходимо было установить какой-либо порядокъ и разъ навсегда опредѣлить философскій смыслъ предметовъ.

И Бѣлинскій опредѣляетъ. Въ этомъ опредѣленіи предъ нами поучительнѣйшій фактъ всего нравственнаго развитія нашего критика. Онъ, будто незамѣтно для себя, перебросилъ мостъ между буддійскими тенденціями гегельянства и неумиротворимыми порывами своей натуры. Какъ это возможно было сдѣлать? Что общаго и даже смежнаго у яснаго объективнаго созерцанія и повелительной притязательности личнаго *я* вносить свои думы и чувства въ строй внѣшняго міра? Какъ узаконить буйство разсудка рядомъ съ деспотической и священной властью необходимости?

Бѣлинскій достигъ цѣли чрезвычайно искусно. Никто ни изъ современниковъ, ни изъ позднѣйшихъ судей критика не оцѣнили этой тонкости мысли, какая сдѣлала бы честь извѣстнѣйшему оратору-философу сократовской школы. Тонкость діалектики, какъ извѣстно, весьма часто приближается къ софистикѣ, и въ нашемъ случаѣ несомнѣнна нѣкоторая игра съ понятіями и заключеніями. Но если когда-либо цѣль можетъ оправдывать средства, то именно въ усиліяхъ Бѣлинскаго одухотворить жизнью и страстью своего философскаго фетиша.

Вопросъ идетъ о точномъ опредѣленіи понятій *дѣйствительность* и *объективность*. Гегелевская дѣйствительность — это діалектически развившаяся и осуществившаяся идея. Бѣлинскій знаетъ эту истину, но съ ней трудно рѣшать практическіе вопросы—одинаково и въ искусствѣ, и въ жизни. Требуется опредѣленіе, непосредственно предписывающее цѣль и путь дѣйствій, слѣдовательно, опредѣленіе не чисто-философское, а нравственное Метафизика не заключаетъ въ себѣ побудителнныхъ мотивовъ для дѣятельности, они создаются этикой, т. е. извѣстнымъ ученіемъ о добрѣ и злѣ.

Въ результатѣ, дѣйствительность является у Бѣлинскаго противоположностью мечтательности. Нашъ «могучій, мужественный вѣкъ — не терпитъ ничего ложнаго, поддѣльнаго, слабаго, расплывчатаго, расплывающагося, но любитъ одно мощное, крѣпкое, существенное». Дѣйствительность, слѣдовательно, равнозначительна съ положительностью и истиной. Въ искусствѣ это — реализмъ, въ наукѣ—безусловная трезвость мысли, въ жизни — закаленная твердость души.

Очевидно, гегельянское понятіе незамѣтно перешло въ символъ позитивизма—совершенно независимо отъ какихъ бы то ни было внѣшнихъ теоретическихъ вліяній. Ихъ не могло и быть въ Россіи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, когда сенъ-симонизмъ привлекалъ вниманіе ограниченнаго круга русской молодежи почти исключительно своимъ политическимъ и соціальнымъ содержаніемъ. Бѣлинскій самъ отъ себя преобразовалъ германскую философію, приспособляя ее къ потребностямъ своего ума, и вводилъ въ это преобразованіе драгоцѣннѣйшія для него силы и способности человѣка—мужественное проникновеніе въ смыслъ дѣйствительности и героическій разсчетъ съ добытыми результатами.

И вы знаете, кто на этотъ взглядъ окажется человѣкомъ,

достойнымъ удивленія? Никто иной, какъ лермонтовскій Печоринъ, кажется, не имѣющій никакихъ касательствъ къ объективному созерцанію дѣйствительности. Именно онъ *дѣйствителенъ*, потому что неуклонно правдивъ съ жизнью и съ самимъ собой. Онъ «смотритъ дѣйствительности прямо въ глаза, не опуская своихъ глазъ, называетъ вещи настоящими ихъ именами». Онъ одаренъ силой духа и могуществомъ воли, у него есть инстинктъ истины...

Все это и значитъ воплощать дѣйствительность XIX-го вѣка...

Не припоминается ли вамъ невольно другой литературный образъ, чрезвычайно близко подходящій къ только что начертанной характеристикѣ? Развѣ вы удивились бы, если бы вамъ точно въ такихъ же выраженіяхъ изобразили Базарова? Основныя черты, несомнѣнно, тѣ же самыя, и такъ должно быть, потому что идеалъ разумной дѣйствительности по Бѣлинскому долженъ совпадать съ отрицаніемъ всего призрачнаго, не настоящаго, романтическаго и чувствительно слабодушнаго. И прислушайтесь къ драмѣ, какая критику представляется между Печоринымъ и его противниками, предъ вами будто одна изъ сценъ тургеневскаго нигилиста съ однимъ изъ «старенькихъ романтиковъ».

Романтики вопіютъ:

«Какой страшный человѣкъ этотъ Печоринъ! Потому что его безпокойный духъ требуетъ движенія, дѣятельность ищетъ пищи, сердце жаждетъ интересовъ жизни, потому должна страдать бѣдная дѣвушка! «Эгоистъ, злодѣй, извергъ, безнравственный человѣкъ!» — хоромъ закричатъ, можетъ быть, строгіе моралисты. Ваша правда, господа; но вы-то изъ чего хлопочете? за что́ сердитесь? Право, намъ кажется, вы пришли не въ свое мѣсто, сѣли за столъ, за которымъ вамъ не поставлено прибора... не подходите слишкомъ близко къ этому человѣку, не нападайте на него съ такою запальчивою храбростью; онъ на васъ взглянетъ, улыбнется, и вы будете осуждены, и на смущенныхъ лицахъ вашихъ всѣ прочтутъ судъ вашъ. Вы предаете его анаѳемѣ не за пороки, въ васъ ихъ больше, и въ васъ они чернѣе и позорнѣе,—но за ту смѣлую свободу, за ту жолчную откровенность, съ которою онъ говоритъ о нихъ».

Впослѣдствіи критикѣ шестидесятыхъ годовъ не придется прибавить ни одной существенной черты къ этому портрету «мыслящей личности», «сильнаго организма», «реальнаго мыслителя». Такого предѣла достигла разумная дѣйствительность, почерпнутая изъ мутнаго источника гегельянской діалектики! Учитель пришелъ бы въ крайнее смущеніе отъ такого толкованія своего *разума*:

получалась дѣйствительно если не «алгебра революціи», какъ выражался Герценъ о разрушительныхъ наклонностяхъ діалектики, то формула личнаго протестантизма и увѣнчаніе одинокой и презрительно-вызывающей личности.

И все это писалось въ одинъ годъ со статьей о *Горѣ отъ ума*. Чацкій не нашелъ пощады, а Печоринъ не встрѣтилъ даже и тѣни порицанія. Такова чарующая власть силы и самодовлѣющаго одиночества! Именно эта власть внушила Бѣлинскому чудодѣйственное толкованіе идеи *дѣйствительности* и пронизала туманъ метафизической реторики страстнымъ словомъ личнаго сочувствія и гнѣва [102]).

Еще значительнѣе судьба другого философскаго понятія — *объективность*.

По правовѣрному теоретическому представленію, объективность означаетъ поглощеніе личности внѣшнимъ міромъ, подчиненіе субъекта дѣйствительности до полнаго самоотреченія. Такъ проповѣдывалъ и Бѣлинскій, но въ самый разгаръ проповѣдей онъ опять будто безсознательно впадалъ въ жестокую ересь, по своему переиначивая процессъ развитія объективизма въ личности. У него гармонія между личностью и внѣшнимъ міромъ достигалась обратнымъ путемъ, чѣмъ у нѣмецкихъ философовъ и ихъ вѣрныхъ русскихъ послѣдователей, не личность тонула въ дѣйствительности, а дѣйствительность цѣликомъ входила въ нравственный міръ личности. Начало и конецъ—*я*, со всею мощью и богатствомъ его духа.

Это не фихтіанскій субъективизмъ, гдѣ личность—единственно творческая и реальная сила. Это совершенно оригинальная система, гдѣ за дѣйствительностью оставлено все ея неисчерпаемое содержаніе и неизсякаемое творчество, а за человѣческимъ *я* признано все достоинство непрерывно дѣятельнаго сознательнаго духа.

Очевидно, въ этой системѣ объективность превратится въ воспріимчивость, въ способность нашей природы заключить въ себѣ всѣ явленія и тайны жизни. Разумная дѣйствительность, слѣдовательно, отождествится съ совершеннымъ человѣческимъ духомъ, т. е. неограниченно отзывчивымъ и неустанно претворяющимъ внѣшнія впечатлѣнія въ идеи.

Вотъ самый ранній образъ подобной личности:

«Кто способенъ выходить изъ внутренняго міра своихъ задушевныхъ, субъективныхъ интересовъ, чей духъ столько могучъ,

---

[102]) *Герой нашего времени*. III. 1840 годъ.

что въ силахъ переступить за черту заколдованнаго круга прекрасныхъ обаятельныхъ радостей и страданій своей человѣческой личности, вырваться изъ ихъ милыхъ, лелѣющихъ объятій, чтобы созерцать великія явленія объективнаго міра, и ихъ объективную особность усвоять въ субъективную собственность чрезъ сознаніе своей съ ними родственности, того ожидаетъ высокая награда, безконечное блаженство: засверкаютъ слезами восторга очи его, и весь онъ будетъ—настроенная арфа, бряцающая торжественную пѣснь своего освобожденія отъ оковъ конечности своего сознанія духомъ въ духѣ».

Все это говорится затѣмъ, чтобы на высшую ступень духовныхъ радостей поставить патріотическое чувство, отзывчивость на великія событія родной исторіи, въ родѣ Бородинской битвы.

Если это справедливо, тогда какой же смыслъ имѣетъ защита Гёте отъ упрековъ Менцеля въ отсутствіи патріотическаго подъема духа при самыхъ тяжелыхъ испытаніяхъ Германіи? Слѣдовательно, Гете не смогъ выйти изъ круга себялюбивыхъ интересовъ и не ощутилъ объективнаго восторга? Противорѣчіе безвыходное и оно показываетъ, какъ трудно было нашему критику выкроить свои идеи и размѣрить свои чувства по чужой теоретической указкѣ.

Немного позже изображается идеальный человѣкъ въ высшей степени одушевленной кистью. Рѣчь Бѣлинскаго вся горитъ и блещетъ личнымъ сочувствіемъ предмету. Основное положеніе: «чѣмъ глубже натура и развитіе человѣка, тѣмъ болѣе онъ человѣкъ и тѣмъ доступнѣе ему все человѣческое». Мысль эта развивается въ страстной лирической рѣчи и съ каждымъ словомъ все больше и больше тускнѣетъ идея объективнаго созерцанія, на сценѣ мыслитель и дѣлатель жизни, весь сотканный изъ нервовъ, весь — трепетная чуткость и неукротимая стремительность къ излюбленной цѣли [103]).

Послѣ подобнаго настроенія мы поймемъ авторское изреченіе: «безпристрастіе добродѣтель сухая, мертвая, чиновническая» [104]). Гдѣ же ее вмѣстить нашему критику, такъ своеобразно истолковавшему дѣйствительность и объективность. Онъ дастъ послѣдній ударъ кисти своимъ толкованіямъ, потребуетъ, чтобы даже отъ дѣтей не скрывали правды дѣйствительности, показывали ее «во всемъ ея очарованіи и во всей ея неумолимой суровости». Именно

---

[103]) Ст. *Дѣтскія сказки дѣдушки Иринея*. III, 508. 1840 годъ.

[104]) *Повѣсть о приключеніи англійскаго милорда*. III, 253. 1839 годъ.

такимъ путемъ воспитываются сильныя, независимыя личности. «Въ одной истинѣ и жизнь и благо». Наконецъ, Бѣлинскій представитъ изумительную характеристику суевѣрія. Прочитавши ее, мы невольно зададимъ себѣ вопросъ, на чемъ же зиждется философская вѣра критика? Какой жизненный нервъ питаетъ гегельянскія настроенія въ его душѣ?

«Въ развитіи индивидуальнаго *я*,—пишетъ Бѣлинскій,—есть такой моментъ, въ которомъ оно отрицаетъ отъ себя всякую истину и полагаетъ ее всю въ объектѣ. Продолжая развивать далѣе этотъ моментъ, онъ доходитъ, наконецъ, до рѣшительной крайности, принимая за истину все, что только противорѣчитъ его опредѣленіямъ. Эта моментная крайность называется суевѣріемъ. Сущность суевѣрія именно заключается въ томъ, что оно видитъ всю истину во внѣшнемъ, положительномъ, и не потому, чтобы оно было убѣждено въ разумности внѣшняго и положительнаго, а потому, что оно, напротивъ, темно и недоступно для *я* (что бы ни было это *я*—чувство ли, предчувствіе ли, мысль ли) и діаметрально противорѣчитъ ему»[105]. Естественно, суевѣріе вмѣсто разумныхъ доводовъ прибѣгаетъ къ таинственности и вмѣшиваетъ ее въ самыя обыкновенныя явленія.

Такъ разсуждалъ авторъ бородинскихъ статей. Ему слѣдовало бы задать себѣ вопросъ, о какомъ суевѣріи ведетъ онъ рѣчь? Конечно, не о народномъ, не о наивномъ и непосредственномъ, а о суевѣріи развитого ума, т. е. о философскомъ и нравственномъ доктринерствѣ. Бѣлинскій, переживая гегельянскій недугъ, самъ же поставилъ ему діагнозъ и даже нашелъ лѣкарство въ своей неподкупно-искренней и страстной душѣ.

Когда критикъ прославляетъ примиреніе и созерцаніе, намъ представляется затихшая передъ грозой природа, погрузившаяся въ грезы усталая мысль, разстроенное жаждой свѣта и любви одинокое сердце. Мы ни на минуту не вѣримъ, будто діалектическое фокусничество съ разумной дѣйствительностью — послѣднее пристанище нашего писателя истины и вѣры. Мы вѣримъ совершенно другому: «безъ бурь нѣтъ плодородія и природа изнываетъ; безъ страстей и противорѣчій нѣтъ жизни, нѣтъ поэзіи. Лишь бы только въ этихъ страстяхъ и противорѣчіяхъ была разумность и человѣчность, и ихъ результаты вели бы человѣка къ его цѣли»[106].

---

[105]) *Герой нашего времени*. III, 604.
[106]) Къ Боткину, Пыпинъ. II, 105.

Вотъ это подлинное выраженіе психологіи автора и на этомъ признаніи мы можемъ основать всю исторію нравственныхъ переворотовъ Бѣлинскаго. Онъ долженъ былъ пережить полосу «суевѣрія», построенія реакціи послѣ революціоннаго шиллеризма и бурнаго опекунства надъ человѣчествомъ. Онъ необходимо бросился въ крайность, ища дѣйствительности и положительности взамѣнъ романтической поэзіи и неосуществимыхъ мечтаній. И онъ доходилъ до фанатическаго восторга предъ новымъ божествомъ, но отнюдь не до религіознаго спокойнаго обожанія. Гегельянство подарило Бѣлинскому рядъ *построеній* и вовсе не повліяло на его міросозерцаніе въ положительномъ смыслѣ. Когда потребность перевести духъ миновала, когда мучительное возбужденіе смѣнилось ясной вдумчивостью и процессомъ самопознанія — недавнія излишества неминуемо вызвали чувство горечи и гнѣва. Бѣлинскій неоднократно будетъ казнить себя за былой паѳосъ, но въ порывѣ самобичеванія преувеличитъ свою вину.

Онъ никогда не былъ вѣрнымъ и безусловно преданнымъ служителемъ «фетиша» и не способенъ былъ, даже если бы захотѣлъ. Онъ недаромъ такъ восхищался Печоринымъ, съ особенной тщательностью отмѣтилъ двойственность его духовной жизни: одинъ и тотъ же человѣкъ говоритъ, дѣйствуетъ и въ то же время наблюдаетъ за своими мыслями и дѣйствіями. Этотъ неотвязный самоанализъ—свойство самого Бѣлинскаго и мы видѣли, какъ настойчиво вторгался «инстинктъ истины» въ «гармоническій хоръ».

Побѣда, рано или поздно, была за этимъ инстинктомъ и онъ съумѣлъ собрать обильные плоды самопознанія съ ненавистныхъ заблужденій. Бѣлинскій, окончательно освободившійся отъ разлада между своей личностью и чужой вѣрой, навсегда исцѣлился отъ всяческихъ суевѣрій. Гегельянство сыграло роль предохранительной прививки и Бѣлинскій на всю жизнь остался проповѣдникомъ *своей* дѣйствительности и *своей* объективности, т. е. совершенной жизненной правды и непосредственнаго воспріятія ея смысла.

Въ высшей степени важенъ вопросъ: какія силы заставили Бѣлинскаго разорвать всѣ связи съ философскими вдохновеніями и произнести безповоротное осужденіе надъ Гегелемъ и его ученіемъ. Письмо, заключающее смертный приговоръ практической мудрости германскаго философа, относится къ марту 1841 года. Бѣлинскій уже болѣе года жилъ въ Петербургѣ, съ конца 1839 года, и естественно предположить, что новыя внѣшнія условія повліяли на его мысли. Этого вліянія, конечно, отрицать нельзя, но его слѣ-

дуетъ ввести въ весьма ограниченные предѣлы. Независимо отъ переселенія въ Петербургъ, Бѣлинскій пришелъ бы къ извѣстной цѣли и, вѣроятнѣе всего, въ тотъ же срокъ, какъ это произошло въ Петербургѣ.

XXV.

Мы неоднократно отмѣчали существенный фактъ въ критикѣ Бѣлинскаго: никакіе теоретическіе символы и внѣшнія вліянія не мѣшали ему въ самыхъ раннихъ статьяхъ положить прочныя основы дальнѣйшему совершенствованію своей независимой критической мысли. Пушкинъ и Гоголь нашли у Бѣлинскаго достодолжную оцѣнку съ самаго начала, произведенія Лермонтова встрѣтили восторженный пріемъ въ самый, повидимому, неблагопріятный періодъ увлеченій критика. Такое же представленіе мы должны усвоить и вообще о нравственномъ развитіи Бѣлинскаго.

Переѣздъ въ Петербургъ измѣнилъ среду дѣйствій, свелъ критика съ новыми людьми, вызвалъ еще неиспытанныя впечатлѣнія, но все это не имѣло бы рѣшающаго значенія въ философскихъ принципахъ Бѣлинскаго, если бы они не подверглись преобразованію въ силу органическаго развитія его мысли. Мы видѣли, это развитіе не прекращалось ни при какихъ условіяхъ, и статьи, написанныя въ Москвѣ, обличали затаенную борьбу *теоріи* и *натуры*. Знакомое намъ въ высшей степени краснорѣчивое опредѣленіе «суевѣрія», оригинальное понятіе «объективности» принадлежатъ еще Москвѣ. На долю Петербурга выпало въ одинъ и тотъ же годъ увидѣть въ *Отечественныхъ Запискахъ* жестокое униженіе Чацкаго и одушевленную оду Печорину. Обѣ статьи являлись крайнимъ выраженіемъ борьбы идей, переживаемой авторомъ. Она началась не въ Петербургѣ и Петербургъ только, можетъ быть, приподнялъ негодованіе Бѣлинскаго на свои примирительныя чувства.

Петербургу естественно было этого достигнуть.

Бѣлинскому предстояло единственное поприще—литературное, и вотъ въ этой-то области онъ засталъ удручающе-тягостную дѣйствительность. Еще раньше далеко не розовыя впечатлѣнія испыталъ въ Петербургѣ Станкевичъ. Изъ его словъ можно заключить, что Петербургъ былъ отличнымъ средствомъ противъ идиллической мечтательности и блаженнаго ничегонедѣланія.

«Я много обязанъ тебѣ и Петербургу, — писалъ Станкевичъ Невѣрову.—Я началъ дорожить временемъ; теперь мнѣ совѣстно

прошляться цѣлый день на охотѣ; я позволяю себѣ это не иначе, какъ отдыхъ или какъ поощреніе» [107]).

Бѣлинскому также пришлось припомнить свои первыя впечатлѣнія лѣтъ пять спустя послѣ пріѣзда въ Петербургъ. И въ этихъ воспоминаніяхъ общая форма рѣчи явно прикрываетъ собой личную исповѣдь. Напримѣръ, слѣдующую характеристику москвичей Бѣлинскій могъ вполнѣ написать по своему собственному московскому портрету:

«Многимъ изъ нихъ (исключенія рѣдки) стоитъ сочинить свою, а всего чаще вычитать готовую теорію или фантазію о чемъ бы то ни было, и они уже твердо рѣшаются видѣть оправданіе этой теоріи или этой фантазіи въ самой дѣйствительности, и чѣмъ болѣе дѣйствительность противорѣчитъ ихъ любимой мечтѣ, тѣмъ упрямѣе убѣждены они въ ея безусловномъ тождествѣ съ дѣйствительностью. Отсюда игра словами, которыя принимаются за дѣла, игра въ понятія, которыя считаются фактами».

Въ Петербургѣ всѣ высокопарныя мечты, идеалы, теоріи, фантазіи разлетаются прахомъ. «Петербургъ имѣетъ на нѣкоторыя натуры отрезвляющее свойство: сначала кажется вамъ, что отъ его атмосфесы, словно листья съ дерева, спадаютъ съ васъ самыя дорогія убѣжденія; но скоро замѣчаете вы, что то не убѣжденія, а мечты, порожденныя праздною жизнью и рѣшительнымъ незнаніемъ дѣйствительности, и вы остаетесь, можетъ быть, съ тяжелою грустью, но въ этой грусти такъ много святаго, человѣческаго!..» [108]).

И авторъ ни на какую обольстительную ложь не промѣняетъ самой горькой истины: ложь—счастье глупца, страданіе разумнаго человѣка—истина, плодотворная въ будущемъ.

Бѣлинскій, несомнѣнно, говорилъ такъ по собственному опыту и на себѣ самомъ вынесъ страданія, неминуемо постигающія мечтателя предъ истинами жизни. Не даромъ его бесѣда производила на петербургскихъ знакомыхъ впечатлѣніе глубокой горечи. Ему пришлось многое сжечь и весьма немногому поклониться, въ литературѣ и въ общественной жизни только талантамъ немногихъ писателей да своей личной вѣрѣ въ лучшее будущее.

Много лѣтъ спустя по смерти Бѣлинскаго Некрасовъ такъ

---

[107]) Переписка, 99.

[108]) *Петербургъ и Москва.* XII, 222, 230. 1845 годъ.

[109]) Никитенко, *Записки и дневникъ.* I, 451.

рисовалъ сцену, гдѣ предстояло дѣйствовать критику съ первыхъ дней петербургской жизни:

Тогда все глухо и мертво
Въ литературѣ нашей было:
Скончался Пушкинъ, безъ него
Любовь къ ней публики остыла.
Въ бореньи пошлыхъ мелочей
Она, погрязнувъ, поглупѣла.
До общества, до жизни ей
Какъ будто не было и дѣла.
Въ то время, какъ въ родномъ краю
Открыто зло торжествовало
Ему лишь «баюшки-баю»
Литература распѣвала.
Ничья могучая рука
Ея не направляла къ цѣли [110])...

Правда, дѣятельность Гоголя только что началась. Но геніальный художникъ не встрѣтилъ признанія у современныхъ журнальныхъ представителей общественнаго мнѣнія. Пушкинъ—другъ и критикъ, его привѣтствовавшій и направлявшій, сошелъ въ могилу и—продолжаетъ Некрасовъ—Гоголь

Одинъ изнемогалъ,
Тѣснимъ безстыдными врагами.

Въ періодической печати царствовали Булгаринъ и Сенковскій. Въ лицѣ ихъ Бѣлинскій еще за московскій періодъ успѣлъ нажить непримиримыхъ враговъ и Булгаринъ даже прямо былъ убѣжденъ, что «бульдога» привезли изъ Москвы съ цѣлью именно его травить [111]). Что касается Сенковскаго, Бѣлинскій не пропускалъ случая заклеймить торгашество и циническое легкомысліе барона Брамбеуса, какъ писателя и какъ вдохновителя журнала, и не переставалъ *Библіотеку для чтенія* именовать «проказой» [112]).

Противники, конечно, не оставались въ долгу и предъ нами поразительная, можно сказать, оффиціальная картина борьбы Бѣлинскаго съ позорнымъ заговоромъ литературныхъ промышленниковъ противъ него и русскаго общественнаго просвѣщенія. Сообщенія идутъ отъ цензора Никитенко, принимавшаго ближайшее

---

[110]) Отрывокъ изъ неизданнаго стихотворенія Некрасова.

[111]) Такъ разсказывалъ Панаевъ и Бѣлинскому со словъ самого Булгарина. Письмо Бѣлинскаго, Пыпинъ. II, 9.

[112]) *Русская литература въ 1840 году*. IV, 225.

участіе въ многообразныхъ происшествіяхъ современнаго литературнаго міра.

Судьбами русской литературы располагалъ министръ народнаго просвѣщенія Уваровъ. Мы знаемъ его роль въ гибели «Телеграфа». Она была только частнымъ и сравнительно слабымъ проявленіемъ общей системы. Министръ не скрывалъ своихъ предначертаній и даже гордился ихъ чисто средневѣковымъ духомъ.

Никитенко передаетъ одинъ изъ откровенныхъ монологовъ Уварова. На взглядъ министра, даже Гречъ и Сенковскій оказывались опасными либералами. Самый фактъ существованія литературы поднималъ у него желчь и подсказывалъ необъятные героическіе замыслы.

Министръ желалъ, ни болѣе, ни менѣе, какъ «отодвинуть Россію на 50 лѣтъ отъ того, что готовятъ ей теоріи» въ статьяхъ такихъ революціонеровъ, какъ другъ Булгарина и издатель *Библіотеки для чтенія*! Это дѣло Уваровъ считалъ своимъ долгомъ и твердо разсчитывалъ выполнить его при своихъ обширныхъ «политическихъ средствахъ».

Въ другихъ случаяхъ Уваровъ говорилъ еще проще и энергичнѣе: его желаніе «чтобы, наконецъ, русская литература прекратилась» [113]).

И противъ кого же шла эта гроза!

Отъ самого Греча мы знаемъ, какъ онъ быстро и основательно вылѣчился отъ какого бы то ни было либерализма и составилъ довольно стройный хоръ съ Булгаринымъ. Сенковскій съ полной убѣдительностью и краснорѣчіемъ заявилъ о своихъ убѣжденіяхъ еще въ *Большомъ выходѣ Сатаны*.

Сатира эта представляла самый откровенный пасквиль на современныя политическія движенія Западной Европы. Авторъ издѣвался надъ журналистикой, основными законами французской монархіи, и особенно надъ «верховной властью сапожниковъ, поденщиковъ, извозчиковъ, наборщиковъ, нищихъ, бродягъ и проч.». Даже англійскій билль о реформѣ не избѣгъ насмѣшки и въ заключеніе свобода конституціонныхъ государствъ отождествлялась въ возможность кому угодно безпрепятственно разбивать другимъ головы «во всякое время года».

Кажется, достаточно ясно, но для власти было мало. Вполнѣ удовлетворительнымъ, очевидно, являлся только Булгаринъ.

---

[113]) Никитенко. I, 360, 459.

Его подвиги какъ разъ съ появленіемъ Бѣлинскаго въ *Отечественныхъ Запискахъ* достигли совершенно сказочнаго блеска. Не зная, какъ донять опаснаго конкуррента, издатель *Сѣверной Пчелы* подалъ доносъ на цензуру и на самого министра.

Доносъ былъ вызванъ цензурной мѣрой относительно булгаринской газеты. Въ ней доводилось до всеобщаго свѣдѣнія, что Краевскій, издатель *Отечественныхъ Записокъ*, унижаетъ Жуковскаго, не смотря на то, что Жуковскій авторъ нашего народнаго гимна «Боже, царя храни». Цензура распорядилась, чтобы *Сѣверная Пчела* больше не «трудилась писать такихъ мерзостей, ибо цензура будетъ безжалостно вымарывать ихъ».

Булгаринъ рѣшилъ защищать свои права и на имя попечителя князя Волконскаго прислалъ письмо, гдѣ прямо обвинялъ власть въ поощреніи революціонерамъ. Въ Россіи существуетъ партія мартинистовъ, цѣль ея—ниспровергнуть существующій порядокъ вещей, и представитель этой партіи *Отечественныя Записки*. А цензура явно имъ потворствуетъ.

Булгаринъ требовалъ слѣдственной коммиссіи, готовъ былъ предстать предъ ней какъ «доноситель» для обличенія враговъ вѣры и престола, грозилъ просить самого государя разобрать дѣло, а въ случаѣ, если государь не вникнетъ въ вопросъ, довести до свѣдѣнія прусскаго короля и чрезъ него дѣйствовать на государя императора.

Доносу пришлось дать ходъ. По инстанціямъ онъ дошелъ до государя. Никитенко сообщаетъ, будто императоръ Николай, прочитавъ письмо Булгарина, отдалъ его Бенкендорфу со словами: «Сдѣлай такъ, чтобы я какъ будто объ этомъ ничего не зналъ и не знаю»...

Очевидно, Булгарину ни съ какой стороны не грозила опасность на его поприщѣ спасенія отечества, и *Сѣверная Пчела* неуклонно продолжала свою политику. Она превратила себя въ своего рода высшій наблюдательный комитетъ надъ дѣлами печати и цензурнымъ вѣдомствомъ. Журналистъ съ булгаринскимъ прошлымъ и булгаринскими доблестями могъ держать въ страхѣ цѣлое учрежденіе и даже самого министра! Во всей высшей администраціи не находилось смѣльчака набросить «намордникъ» на новоявленнаго опричника, и Булгаринъ не стѣснялся въ лицо властямъ заявлять касательно намордника: «Я не позволю» [114])...

---

[114]) Ib. I, 457, 480, 492.

Рядомъ съ *Отечественными Записками* вскорѣ и *Современникъ* попалъ на страницахъ *Сѣверной Пчелы* въ разрядъ «зловредныхъ журналовъ». Патріоты не брезговали и другими путями: Булгаринъ и Гречъ подавали доносы прямо въ третье отдѣленіе, и цензору приходилось окольными путями оберегать затравленнаго издателя. Составлялись заговоры и помимо оффиціальныхъ воздѣйствій. Гречъ, напримѣръ, измыслилъ хитроумный проектъ—арестовать въ почтамтѣ подписныя деньги *Отечественныхъ Записокъ* за долги Краевскаго и тѣмъ подорвать печатаніе журнала.

Современникъ, попавшій съ 1847 года въ индексъ «Пчелы», отнюдь не могъ похвалиться гражданской безупречностью. Подъ профессорскимъ редакторствомъ Плетнева, онъ велъ ту же линію борьбы съ литературнымъ врагомъ не литературнымъ оружіемъ.

Плетневъ, приведенный въ отчаяніе равнодушіемъ публики къ его журналу, поспѣшилъ воспользоваться своей предсѣдательской должностью въ цензурномъ комитетѣ. Онъ предложилъ провѣрить, на сколько точно выполняютъ журналы свои, утвержденныя правительствомъ, программы.

Оказалось, всѣ отступали отъ нея, и особенно *Отечественныя Записки*. Они сначала не обѣщали иностранныхъ повѣстей, а теперь печатали переводы. Вина была найдена даже на *Библіотекѣ для чтенія*: въ программѣ у нея стояли *повѣсти*, а она помѣщала *романы*.

Изслѣдованіе повергло въ затрудненіе самого министра, допускавшаго подобныя нарушенія. Цензорамъ пришлось выдержать горячее засѣданіе, прибѣгнуть къ уставу для точнаго опредѣленія правъ предсѣдателя въ дѣлѣ цензурованія, а Никитенко даже пустился въ бесѣду по теоріи словесности, насчетъ различій между повѣстью и романомъ [115]).

Естественно, у нашего историка, отнюдь не рьянаго либерала и весьма умѣреннаго прогрессиста, вырывается настоящій стонъ:

«Вотъ руководители нашего общества на поприщѣ умственныхъ подвиговъ! Вотъ ревнители о нашемъ убогомъ просвѣщеніи!»

Такіе ревнители, конечно, не могли поднять престижъ литератора, и мы вполнѣ вѣримъ, что это имя «не внушаетъ никому уваженія». При одномъ звукѣ возставали образы «доносителей» и изслѣдователей, даже болѣе опасныхъ враговъ литературы, чѣмъ сама цензура и администрація. И они благоденствовали.

[115]) Ib. 473—4.

Плетневъ послѣ войны въ цензурномъ комитетѣ противъ печати отправлялся на каѳедру просвѣщать молодежь въ исторіи русской литературы. Булгаринъ и Гречъ изъ третьяго отдѣленія являлись въ свѣтъ и общество и собирали здѣсь дань своимъ талантамъ и своему успѣху.

Тотъ же Никитенко рисуетъ отчаянную картину той самой общественной среды, гдѣ Булгарины открыто могли кричать «слово и дѣло» и занимать положеніе «почтенныхъ» и даже «заслуженныхъ» литераторовъ. Для насъ рѣчь Никитенко особенно поучительна: она и по смыслу, и по времени совпадаетъ съ петербургскими впечатлѣніями Бѣлинскаго.

«Печальное зрѣлище представляетъ наше современное общество!—пишетъ Никитенко въ началѣ 1841 года.—Въ немъ ни великодушныхъ стремленій, ни правосудія, ни простоты, ни чести въ нравахъ, словомъ, ничего, свидѣтельствующаго о здравомъ, естественномъ и энергичномъ развитіи нравственныхъ силъ. Мелкія души истощаются въ мелкихъ сплетняхъ общественнаго хаоса... Образованность наша—одно лицемѣріе. Учились мы безъ любви къ наукѣ, безъ сознанія достоинства и необходимости истины. Да и въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ заботиться о пріобрѣтеніи познаній въ школѣ, когда наша жизнь и общество въ противоборствѣ со всѣми великими идеями и истинами, когда всякое покушеніе осуществить какую-нибудь мысль о справедливости, о добрѣ, о пользѣ общей, клеймится и преслѣдуется, какъ преступленіе? Къ чему воспитывать въ себѣ благородныя стремленія? Вѣдь рано или поздно, все равно, придется пристать къ массѣ, чтобы не сдѣлаться жертвою».

Въ результатѣ—въ европейской странѣ XIX вѣка тѣло Пушкина, поэта, признаннаго верховной властью, выносятъ изъ дому тайкомъ, ночью, запрещаютъ студентамъ и профессорамъ присутствовать на похоронахъ, и они «тайкомъ, какъ воры, должны прокрадываться» къ гробу великаго писателя. Послѣ отпѣванія также украдкой увозятъ тѣло Пушкина изъ Петербурга. Никитенко рѣшается прочесть студентамъ лекцію о заслугахъ поэта, но дѣлаетъ это съ рѣшимостью отчаянія: «будь, что будетъ!» Потомъ возникаетъ исторія объ изданіи сочиненій Пушкина, и министръ и цензура замышляютъ вновь пересмотрѣть и исправить даже тѣ произведенія, какія были одобрены государемъ. Правда, стихи Пушкина грамотная Россія знаетъ наизусть, но какое дѣло людямъ власти до общественнаго мнѣнія! Но зато они всѣми си-

лами души заинтересованы въ престижѣ званія фельдъегеря, и поднимаютъ цѣлую бурю изъ-за непочтительнаго описанія въ журнальной статьѣ фельдъегерской *формы*!

Цензура находитъ добровольцевъ всюду и среди профессоровъ, и литераторовъ, и особенно въ высшемъ обществѣ. Мы знаемъ, якобинскій духъ *Телеграфа* привелъ въ негодованіе даже Пушкина; что же должны чувствовать господа, самого Пушкина считавшіе мѣщаниномъ въ дворянствѣ!

Они «съ великимъ гнѣвомъ» кричатъ о демократическомъ направленіи современной литературы, обвиняютъ писателей въ тайной мысли возбуждать массу и готовы подписаться подъ проектомъ грибоѣдовскаго героя насчетъ повальнаго истребленія новыхъ книгъ. Приходится завидовать тѣмъ временамъ, когда русскіе аристократы не читали русскихъ журналовъ и печать была свободна, по крайней мѣрѣ, отъ салоннаго доносительства.

Возможна ли при такихъ условіяхъ бодрая умственная дѣятельность отдѣльныхъ личностей? Гдѣ сочувственники и защитники? Гдѣ просто осуществимая идеальная цѣль?

Эти вопросы неизбѣжны для всякаго дѣятеля слова и мысли и во всякое время. Отъ ихъ рѣшенія непосредственно зависитъ послѣдовательность стремленій и стойкость личностей. Если окружающая дѣйствительная жизнь развивается въ прямомъ противорѣчіи съ идеалами и надеждами человѣка, ему требуется исключительная сила воли и поистинѣ героическая вѣра въ свое дѣло и свое призваніе, чтобы не снизойти до общаго уровня и не остановиться на своемъ независимомъ пути.

Послушаемъ еще разъ нашего лѣтописца сороковыхъ годовъ. Онъ—профессоръ и литераторъ—также нуждался въ почвѣ для своего идейнаго дѣла, вожделѣлъ о публикѣ и задумывался надъ смысломъ своихъ хотя бы и очень скромныхъ, но все-таки просвѣтительныхъ усилій.

И вотъ онъ, оглядываясь кругомъ себя въ минуты раздумья надъ своимъ профессорскимъ и писательскимъ положеніемъ, приходилъ къ самымъ горькимъ выводамъ. Мы опять должны напомнить ихъ: они—въ полномъ смыслѣ историко-культурное введеніе въ зрѣлый періодъ жизни и дѣятельности Бѣлинскаго.

Никитенко не видитъ практическаго смысла въ своихъ лекціяхъ по исторіи русской литературы, просто потому, что литература не пользуется въ обществѣ правами гражданства.

«Я обманываю и обманываюсь, произнося слова: *развитіе, на*

правленіе мыслей, основныя идеи искусства. Все это что-нибудь и даже много значитъ тамъ, гдѣ существуетъ общественное мнѣніе, интересы умственные и эстетическіе, а здѣсь просто швырянье словъ въ воздухъ. Слова, слова и слова! Жить въ словахъ и для словъ, съ душою, жаждущею истины, съ умомъ, стремящимся къ вѣрнымъ и существеннымъ результатамъ, это дѣйствительное, глубокое злополучіе. Часто, очень часто я бываю пораженъ глубокимъ мрачнымъ сознаніемъ моего ничтожества. Еслибъ я жилъ среди дикихъ, я ходилъ бы на звѣриную и рыбную ловлю, я дѣлалъ бы дѣло, а теперь я, какъ ребенокъ, какъ дуракъ, играю въ мечты и призраки! О, кровью сердца написалъ бы я исторію моей внутренней жизни! Проклято время, гдѣ существуетъ выдуманная, оффиціальная необходимость моральной дѣятельности, безъ дѣйствительной въ ней нужды, гдѣ общество возлагаетъ на васъ обязанности, которыя само презираетъ» [116]).

Это очень сильно, но у автора все-таки были утѣшенія, онъ служилъ и награжденія бралъ. Неудовлетворенное нравственное и общественное чувство болѣе или менѣе возмѣщалось чиновничьимъ честолюбіемъ и оффиціальной карьерой. Если для лекцій и статей Никитенко не существовало общественнаго мнѣнія, его способности и усердіе цѣнило начальство, и эта оцѣнка, конечно, была дорога для дѣятеля: иначе онъ не усердствовалъ бы до послѣдняго напряженія силъ на поприщѣ казенной службы.

Но ему, мы видимъ, приходилось жутко только потому, что помимо чиновника, въ немъ жилъ еще гражданинъ, подъ мундиромъ билось человѣческое сердце. И этого достаточно, чтобы высокопоставленный литераторъ доходилъ по временамъ до отчаянія и полной душевной растерянности.

Чего же мы должны ждать отъ просто писателей, имѣющихъ возможность опираться только на общество, на ту самую косную, рабскую и дикую толпу, какая удручаетъ нашего лѣтописца?

Бѣлинскій, переживая послѣдніе отголоски юношескихъ мечтаній, покидая навсегда отрѣшенный міръ теоретическихъ построеній и призрачнаго удовлетворенія, долженъ былъ стать лицомъ къ лицу съ живой жизнью и дѣлать свое дѣло писателя безъ всякихъ идеалистическихъ самообмановъ и ослѣпляющихъ фантастическихъ перспективъ философской секты.

Онъ еще до петербургскихъ опытовъ не разъ принимался за

---

[116]) Ib. 412, 435, 424.

провѣрку не однихъ литературныхъ преданій. По совершенно неожиданнымъ поводамъ онъ набрасывалъ рѣзкія картины вообще русской дѣйствительности. Дурно написанная брошюра о способѣ къ распространенію шелководства вдохновляла на сатиру противъ русской системы средняго и высшаго образованія и страстноличную отповѣдь риторикѣ, отравившей не одну минуту школьной жизни критика. Съ другой стороны — гоголевскій Бульба вызывалъ у него восторженную хвалу людямъ, живущимъ идеей и ради идеи, способнымъ объективную идею претворять въ субъективную стихію жизни.

Это и значитъ жить въ разумной дѣйствительности [117]).

Теперь критику предстояло извлечь всю мощь негодованія, какая только таилась въ его публицистическомъ талантѣ, и призвать на помощь всю глубину своего идеализма, чтобы съ бодрымъ духомъ продолжать крестный путь русскаго литератора.

XXVI.

Первыя петербургскія статьи Бѣлинскаго не имѣютъ ничего общаго съ лирическимъ безпорядкомъ бородинскихъ признаній. Въ этомъ отношеніи критикъ является новымъ и будто другимъ Но въ сущности исчезъ именно только лиризмъ въ гегельянскомъ духѣ, замолкла рѣзкая и одиноко звучавшая нота исключительнаго *настроенія*. Что касается *идей*, предъ нами знакомый процессъ. теперь только онъ гораздо ярче и глубже, потому что построенія не мѣшаютъ мышленію.

Прежнее толкованіе объективности, какъ неограничено-воспріимчиваго личнаго міра, теперь развивается съ чрезвычайной силой и совершенной послѣдовательностью. Гёте, слѣдовательно, уже не будетъ идеаломъ поэта и человѣка, потому что въ его духъ не входилъ цѣлый міръ явленій — политическихъ и гражданскихъ. Гёте только идеалъ *личнаго* человѣка, но помимо личности, существуетъ еще общество и человѣчество, и мы должны усвоить «содержаніе интересовъ внѣшняго міра, общества и человѣчества», иначе наша нравственная жизнь будетъ не полна и природа несовершенна.

Личность и общество — простѣйшія силы культуры. Раньше

[117]) III, 271, 368.

[118]) *Стихотворенія М. Лермонтова*. IV, 275, 285. 1841 годъ.

критикъ говорилъ: человѣкъ и природа, личность и дѣйствительность, — теперь тѣ же понятія, только проникнутыя *нравственнымъ* чувствомъ, не чисто художественнымъ и философскимъ. Дѣйствительность изъ области метафизики и діалектики снизошла до уровня опыта и наблюденія и, естественно, обнаружила новое содержаніе: «судьба родины», «страданія и радости, кризисы и переломы общества». И Гёте отступилъ на задній планъ предъ всякимъ другимъ великимъ поэтомъ, кому помимо звѣздной книги и говора волны были еще близки «здоровье» и «недуги» людей.

И Бѣлинскій не перестаетъ доискиваться отвѣта на вопросъ, что такое поэтическая натура? Статьи и письма переполнены разсужденіями на эту тему. И совершенно основательно: отъ разрѣшенія вопроса зависитъ вся дальнѣйшая эстетика критика.

По поводу Лермонтова поэтъ опредѣляетъ такъ:

«Это организація воспріимчивая, раздражительная, всегда дѣятельная, которая при малѣйшемъ прикосновеніи даетъ отъ себя искры электричества, которая болѣзненнѣе другихъ страдаетъ, живѣе наслаждается, пламеннѣе любитъ, сильнѣе ненавидитъ, словомъ, глубже чувствуетъ; натура, въ которой развиты въ высшей степени обѣ стороны духа—и пассивная, и дѣятельная».

Изъ этой психологіи логическій выводъ — тѣснѣйшая связь нравственнаго міра поэта съ внѣшней дѣйствительностью. Духовное богатство одаренной личности соотвѣтствуетъ обилію нитей, прикрѣпляющихъ его талантъ и чувство къ окружающему человѣчеству. «Чѣмъ выше поэтъ, тѣмъ больше принадлежитъ онъ обществу» и тѣмъ глубже на него воздѣйствіе историческаго развитія общества.

Здѣсь заключается полное оправданіе страстныхъ поэтическихъ геніевъ и раньше столь ненавистной Бѣлинскому *исторической* критики. Если дарованіе поэта измѣряется степенью его отзывчивости на *современность*, оцѣнивать поэтическія произведенія слѣдуетъ непремѣнно путемъ тщательнаго сопоставленія историческаго момента съ мотивами творчества. Французская критика, очевидно, получитъ должное признаніе и ея пріемы войдутъ въ эстетику Бѣлинскаго.

Онъ даже немедленно поспѣшитъ примѣнить къ дѣлу оружіе исторической критики, именно къ Гёте. И начнетъ онъ свою расплату съ еще столь недавними вдохновеніями рѣшительнымъ приговоромъ гегельянству.

Въ письмѣ отъ 1-го марта 1841 года Бѣлинскій заявляетъ:

«Я имѣю особенно важныя причины злиться на Гегеля, ибо чувствую, что былъ вѣренъ ему (въ ощущеніи), мирясь съ россійскою дѣйствительностью, хваля Загоскина и подобныя гнусности и ненавидя Шиллера... Всѣ толки Гегеля о нравственности—вздоръ сущій, ибо въ объективномъ царствѣ мысли нѣтъ нравственности, какъ и въ объективной религіи (какъ, напр., въ индійскомъ пантеизмѣ, гдѣ Брама и Шива—равно боги, т. е. гдѣ добро и зло имѣютъ равную автономію)... Судьба субъекта, индивидуума, личности важнѣе судебъ всего міра и здравія китайскаго императора (т. е. гегелевской Allgemeinheit)»...

Дальше Бѣлинскій воображаетъ бесѣду съ Гегелемъ и обращается къ учителю съ такой рѣчью, отнынѣ вдохновляющей его краснорѣчіе:

«Благодарю покорно, Егоръ Ѳедорычъ, кланяюсь вашему философскому колпаку; но, со всѣмъ подобающимъ вашему философскому филистерству уваженіемъ, честь имѣю донести вамъ, что если бы мнѣ и удалось влѣзть на верхнюю ступень лѣствицы развитія, я и тамъ попросилъ бы васъ отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи, Филиппа II и пр. и пр., иначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головою. Я не хочу счастья и даромъ, если не буду спокоенъ на счетъ каждаго изъ моихъ братьевъ по крови... Говорятъ, что дисгармонія есть условіе гармоніи: можетъ быть, это очень выгодно и усладительно для меломановъ, но ужъ, конечно, не для тѣхъ, которымъ суждено выразить своею участью идею дисгармоніи. Впрочемъ, если писать объ этомъ все, и конца не будетъ...»

Но Бѣлинскій пишетъ. Въ сущности ничего другого онъ и не будетъ писать. Всѣ его статьи отнынѣ посвящены разрѣшенію мучительнаго вопроса, какъ создать и упрочить въ нашемъ мірѣ путь для отдѣльныхъ личностей и для всѣхъ людей къ высшему благу — идейному и нравственному и гдѣ найти неизсякаемый источникъ мужества и вдохновенія для избранныхъ вождей человѣчества? *Идея* есть *цѣль* и цѣль есть идея; вотъ истинная философія, гдѣ нѣтъ мѣста безстрастному діалектическому процессу. Идейность, значитъ полнота стремленій, идейное искусство тамъ, гдѣ личность художника исполнена идеаловъ, страстной жажды ихъ осуществленія, *паѳоса правды и чести.*

Поэтому Шиллеръ—«Гракхъ нашего вѣка», съ нимъ Бѣлинскій чувствуетъ тѣснѣйшее нравственное родство, а Гёте вызы-

ваетъ у него «родъ ненависти». Этотъ «олимпiецъ» просто «воплощенiе эгоизма», особенно тонкаго и опаснаго «эгоизма внутренней жизни».

Въ такомъ поэтѣ не можетъ быть истиннаго величiя, потому что великъ тотъ, кто заключаетъ въ себѣ жизнь человѣчества во всей ея полнотѣ. Тогда субъективность равнозначительна гуманности, и въ грусти поэта всякiй узнаетъ свою и увидитъ въ немъ брата по человѣчеству [119]).

Итакъ, теперь объективность сольется съ субъективностью, точнѣе—личность должна стать воплощенiемъ дѣйствительности, своего рода музыкальнымъ инструментомъ, богатымъ всѣми звуками, мелодiями и диссонансами жизни. А такъ какъ личность—*мыслящiй* разумъ и *живое* чувство по преимуществу, то художественное произведенiе должно быть проникнуто идеей, какъ извѣстнымъ идеаломъ и сильнымъ движенiемъ души, какъ горячимъ сочувствiемъ или безпощадной исповѣдью.

Отсюда основное положенiе эстетики Бѣлинскаго. Оно выражено въ слѣдующихъ неизгладимыхъ строкахъ:

«Что такое искусство нашего времени? Сужденiе, анализъ общества; слѣдовательно, критика. Мыслительный элементъ теперь слился даже съ художественнымъ, и для нашего времени мертво художественное произведенiе, если оно изображаетъ жизнь для того только, чтобъ изображать жизнь, безъ всякаго могучаго субъективнаго побужденiя, имѣющаго свое начало въ преобладающей душѣ эпохи, если оно не есть вопль страданiя или диеирамбъ восторга, если оно не есть вопросъ или отвѣтъ на вопросъ» [120]).

Но о чемъ-нибудь спрашивать или что-либо отвѣчать, значитъ въ извѣстномъ смыслѣ оцѣнивать дѣйствительность, измѣрять ее мѣрой идеала и имѣть въ виду тотъ или другой итогъ. Все это можно объединить понятiемъ *направленiе*. Оно ничто иное, какъ *содержанiе* произведенiй художника, не тенденцiя, а богатство реальнаго смысла, жизненная поучительность [121]).

Талантъ и *направленiе*—таковы два предмета критики. Слѣдовательно, она разбивается на двѣ части—эстетическiй анализъ и историческiй разборъ. Произведенiе искусства безусловно должно

---

[119]) *Дѣянiя Петра Великаго*. IV, 309. 1841 годъ.

[120]) *Рѣчь о критикѣ*, А. Никитенко. VI, 199—200. 1842 годъ.

[121]) *Сочиненiя Зенеиды Р—вой*. VII, 183. 1843 годъ.

быть *поэтическимъ*, обладать чисто-художественными достоинствами, Бѣлинскій настаиваетъ на этомъ принципѣ безусловно до конца своей дѣятельности.

Онъ лично одаренный глубокимъ чувствомъ художественной красоты, способный приходить въ энтузіазмъ отъ стихотвореній Лермонтова, неоднократно принимается изображать силу поэзіи, присущую ей красоту—независимо отъ дѣйствительности, ея чарующее вліяніе на человѣческую душу.

Жизнь исполнена поэзіи, внѣшній міръ красоты, но только искусство можетъ извлечь *сущность* жизненной красоты и поэзіи. Ландшафтъ талантливаго живописца лучше живописныхъ видовъ въ природѣ, потому что въ немъ нѣтъ ничего случайнаго и лишняго, всѣ части подчинены цѣлому, все направлено къ одной цѣли, все образуетъ собою одно прекрасное, цѣлостное и индивидуальное. Дѣйствительность, говоритъ Бѣлинскій, чистое золото, но не очищенное, въ кучѣ руды и земли: наука и искусство очищаютъ золото дѣйствительности, перетопляютъ его въ изящныя формы [122]).

Бѣлинскій этимъ расужденіемъ установилъ навсегда *идею красоты* въ искусствѣ и утвердилъ на незыблемомъ *психологическомъ* основаніи права художественнаго впечатлѣнія и, слѣдовательно, суда.

Невольно припоминается любопытнѣйшее совпаденіе мыслей Бѣлинскаго съ разсужденіями автора, вовсе не эстетика и критика по призванію, а только одареннаго инстинктомъ художественной красоты. Глѣбъ Успенскій написалъ оригинальнѣйшую статью о Венерѣ Милосской и здѣсь, разгадывая «каменную загадку», пришелъ къ выводамъ Бѣлинскаго.

Художникъ, создававшій дивную богиню, задался, по мнѣнію Успенскаго, совершенно опредѣленной цѣлью: «людямъ своего времени, и всѣмъ вѣкамъ и всѣмъ народамъ вѣковѣчно и нерушимо запечатлѣть въ сердцахъ и умахъ огромную красоту *человѣческаго* существа, ознакомить человѣка — мужчину, женщину, ребенка, старика—съ ощущеніемъ счастья быть *человѣкомъ*». Какъ же художникъ достигъ этой цѣли? Путемъ отвлеченія *сущности* человѣческой красоты у отдѣльныхъ людей. «Каждое лицо въ художественномъ произведеніи,—говоритъ Бѣлинскій,—есть представитель безчисленнаго множества лицъ одного рода», отъ этого

---

[122]) *Стихотворенія М. Лермонтова*. IV, 269.

имена: Отелло, Офелія, Татьяна, Молчалинъ — имена нарицательныя.

То же и Венера Милосская: она квинтэссенція прекраснаго постигнутая художникомъ въ различныхъ его проявленіяхъ. «Онъ бралъ то, что для него было нужно, и въ мужской красотѣ, и въ женской, не думая о полѣ, а пожалуй даже, и о возрастѣ, и ловя во всемъ этомъ только человѣческое; изъ этого многообразнаго матеріала онъ создавалъ то истинное въ человѣкѣ, что составляетъ смыслъ всей его работы, то, чего сейчасъ, сію минуту *нѣтъ* ни въ комъ, ни въ чемъ и нигдѣ, но что *есть* въ то же время *въ каждомъ* человѣческомъ существѣ» [123]).

Успенскій этими словами писалъ настоящую *эстетическую* критику о произведеніи античной скульптуры, но онъ въ то же время не упустилъ и *исторической* точки зрѣнія. Онъ выяснилъ цѣль художника, какъ вполнѣ соотвѣтствовавшую міросозерцанію и культурѣ античнаго эллина и какъ недосягаемо далекую для современнаго человѣка.

Именно эти пути критическаго анализа и указаны Бѣлинскимъ. Эстетика не можетъ исчезнуть, пока существуетъ красота и чувство прекраснаго, но только эстетика будетъ не предписывать правила творчества, не рѣшать, чѣмъ должно быть искусство, а разъяснять факты творчества, что такое искусство, какъ предметъ уже данный, предшествующій эстетикѣ: эстетика искусству обязана своимъ существованіемъ, а не наоборотъ [124]).

Но искусство, какъ все живое, не существуетъ внѣ времени и пространства. Оно подвержено процессу историческаго развитія и, слѣдовательно, находится въ неразрывной связи съ эпохой и національностью. Эта связь необходима и въ силу психологіи совершеннаго художника, его неограниченной и страстной отзывчивости на идеи вѣка и общества.

Разобрать эти связи и оцѣнить отзывчивость—предметъ *исторической* критики. Талантъ отнюдь не освобождаетъ художника отъ извѣстнаго «взгляда на жизнь», отъ «кровныхъ убѣжденій, составляющихъ вѣрованіе души и сердца». Напротивъ. Только то или другое *дѣятельное* отношеніе художника къ обществу упрочиваетъ его вліяніе и память о немъ.

Отвѣтить на эти вопросы опять дѣло исторической критики, и

---

[123]) *Выпрямила. Сочиненія Глѣба Успенскаго.* Спб. 1889, I, 1139.

[124]) *Сочиненія Державина.* VII, 60. 1843 годъ.

горе «потѣшникамъ и забавникамъ» на поприщѣ искусства! Общество всегда готово пренебречь ими ради новыхъ фокусовъ и новыхъ увеселителей.

Но кто творитъ во имя началъ и вѣрованій, тотъ, независимо отъ дарованія, представляетъ собой нравственный характеръ, сильную личность. Истинно-великій художникъ всегда и великій человѣкъ,—иначе онъ уподобляется птицѣ, поющей отъ того, что ей поется, не сочувствуя ни горю, ни радости своего птичьяго племени. Этотъ «опоэтизированный эгоизмъ»—печальнѣйшее явленіе въ человѣческомъ мірѣ [125]).

Ясно, при такомъ понятіи о творчествѣ и о художественномъ талантѣ искусство никогда не можетъ утратить жизненнаго и культурнаго значенія. Оно не можетъ снизойти до уровня празднаго развлеченія, такъ какъ его содержаніемъ будутъ думы и идеи времени—то же, что содержаніе исторіи и философіи. Бѣлинскій будто пророческимъ ясновидѣніемъ предупреждаетъ громы Писарева на искусство, даже частности его воинственнаго натиска, напримѣръ, сравненіе произведеній искусства съ мебелью и красивыми бездѣлками.

Сравненіе было бы основательно, если бы у таланта отнять «разумное содержаніе», т. е. уничтожить самый смыслъ художественнаго творчества и нравственное право художниковъ на существованіе.

И это уничтоженіе вовсе не произволъ критика. Талантъ, лишающій себя современнаго содержанія, постепенно падаетъ: примѣръ—Гоголь тамъ, гдѣ онъ опирается только на одно творчество, на силу своего воображенія, Очевидно, стоитъ художнику уйти отъ наглядной правды дѣйствительности, и его на каждомъ шагу ждетъ ложь и искусственность [126]).

Мы видимъ, какъ тѣсно и логически-послѣдовательно связаны принципы эстетика Бѣлинскаго. Всѣ они берутъ свое начало прежде всего въ природѣ самого критика, художественно одаренной и нравственно отзывчивой. «Воспреемлемость впечатлѣній изящнаго,—говоритъ онъ,—есть своего рода талантъ: она не пріобрѣтается ни наукою, ни образованіемъ, ни упражненіемъ, но дается природою. Постиженіе поэзіи есть откровеніе духа, а таинство откровенія скрывается въ натурѣ человѣка».

---

[125]) *Рѣчь о критикѣ А. Никитенко.* VI, 210—211.

[126]) *Объясненіе на объясненіе по поводу «Мертвыхъ Душъ».* VI, 548. 1842 г.

Эстетической критики, слѣдовательно, не могла внушить никакая философская система: Бѣлинскій былъ такъ же «помазанъ елеемъ», какъ, по его словамъ, помазаны великіе художники.

Историческая критика тоже личное достояніе Бѣлинскаго. Она не могла, конечно, быть благодѣяніемъ природы во всемъ своемъ объемѣ, но основа ея—оригинальная *объективность*, какъ *необъемлемость* субъективнаго духа--личный талантъ критика.

Бѣлинскому только требовалось найти самого себя. Процессъ этотъ тѣмъ труднѣе и мучительнѣе, чѣмъ даровитѣе и отзывчивѣе натура. Наиболѣе сложные и благородные организмы развиваются болѣзненнѣе и тягостнѣе. Критикъ прошелъ быстрый, но безпримѣрно страстный путь «ученичества» и «странствованій» и по личному опыту научился разумѣть чужія ошибки, увлеченія, чужую неудовлетворенность и собственный душевный міръ.

Гегельянство не принесло положительныхъ идейныхъ плодовъ, но оно создало для Бѣлинскаго суровую нравственную школу, совершенно независимо отъ принциповъ и цѣлей философской системы, а исключительно благодаря все той же природѣ критика, точнѣе—его неустанной работѣ самопознанія.

Когда Бѣлинскій рисуетъ блестящій рядъ картинъ и сценъ, охватывающихъ всѣ пути и положенія человѣческой жизни и когда онъ своими одушевленными образами желаетъ исчерпать всю глубину нравственной чуткости и житейскаго пониманія у «человѣка причастнаго общему», онъ пишетъ свой портретъ и разсказываетъ свою біографію. Некрасовъ, съ исторической вѣрностью изобразившій петербургскую сцену дѣятельности Бѣлинскаго, столь же точно опредѣлилъ общій смыслъ сравнительно кратковременной—всего восьмилѣтней—работы критика, но успѣвшей захватить всѣ думы и цѣли не только современности, но и до сихъ поръ не наступившаго будущаго.

Рѣчь поэта жестка и откровенна, но сущность ея та же, какую мы нашли въ чувствахъ и сказаніяхъ цензора и профессора Никитенко.

Потребность сильная была
Въ могучемъ словѣ правды честной,
Въ открытомъ обличеньи зла...
И онъ пришелъ, плебей безвѣстный,
Не пощадилъ онъ ни льстецовъ,
Ни подлецовъ, ни идіотовъ,
Ни въ маскѣ жирныхъ патріотовъ—
Благонамѣренныхъ воровъ!

Онъ всѣ преданія провѣрилъ,
Безъ ложнаго стыда измѣрилъ
Всю бездну дикости и зла,
Куда, заснувъ подъ говоръ лести,
Въ забвеньи истины и чести,
Отчизна бѣдная зашла...

XXVII.

«Каковъ бы я ни былъ, но я борюсь съ дѣйствительностью, вношу въ нее мой идеалъ жизни... Борьба съ дѣйствительностью снова охватываетъ меня и поглощаетъ все существо мое» [127]).

Такъ писалъ Бѣлинскій послѣ первыхъ опытовъ петербургской жизни. То же впечатлѣніе производили и его статьи.

«Бѣлинскій воюетъ теперь въ Питерѣ, — писалъ Грановскій Станкевичу.—Достается всѣмъ!» [128]). И война оказывалась настолько яростной, что гуманный, идеально-культурный профессоръ впадалъ въ дурное настроеніе и находилъ, что Бѣлинскаго читать «иногда забавно, иногда досадно».

Подобное чувство останется навсегда у ближайшихъ друзей и единомышленниковъ критика. Даже Герценъ до самой смерти Бѣлинскаго не постигнетъ его излишествъ, хотя и заявитъ полное сочувствіе его гнѣву и восторгамъ. Грановскій будетъ защищать Бѣлинскаго отъ университетскихъ зоиловъ еще въ гегельянскій періодъ, но признаетъ заслугой Бакунина возмущеніе противъ бородинскихъ статей по соображеніямъ, не безусловно лестнымъ для артиста діалектики. Бакунинъ *внушилъ* Бѣлинскому бородинскія статьи: это извѣстно Грановскому, но Бакунинъ «умнѣе и ловче Бѣлинскаго», поэтому онъ и не попалъ въ просакъ [129]).

Эта ловкость, повидимому, совершенно затмила основныя нравственныя черты характера Бѣлинскаго, такъ блистательно обнаружившіяся въ его «телескопскомъ ратованіи» и въ позднѣйшей петербургской войнѣ. Грановскій, спокойно вдумчивый и снисходительный, не усвоилъ себѣ проникновеннаго, полнаго ожиданій взгляда на дѣятельность своего пріятеля. Его сочувствіе цѣликомъ на сторонѣ «лысаго счастливца», «блаженствующаго», «свѣт-

---

[127]) Письмо къ Боткину отъ 10 дек. 1840 года.

[128]) Т. В. Грановскій и его переписка. М. 1897. Томъ II, 378. Письмо отъ 12 февр. 1840 г.

[129]) *Ib.* 341, 403.

лаго душою и головою», т. е. Боткина, разумѣется, ни на одну минуту въ жизни не испытывавшаго потребности неистовствовать и воевать [130]). Грановскій, конечно, не можетъ не любить Бѣлинскаго, но это любовь Гораціо къ Гамлету: датскій принцъ, твердо увѣренный въ честной дружбѣ ученаго товарища, все-таки одинокъ и лично разсчитывается съ своими «снами» и съ своею дѣйствительностью.

Фактъ отнюдь не унижаетъ ума Грановскаго и не налагаетъ ни малѣйшаго пятна на его личность. Онъ только свидѣтельствуетъ о давно извѣстной намъ истинѣ: объ одиночествѣ Бѣлинскаго какъ идейнаго дѣятеля, не въ смыслѣ общихъ положительныхъ стремленій, а въ смыслѣ путей и средствъ борьбы. Грановскому «не по душѣ героизмъ» Бѣлинскаго: это собственныя его слова и они показываютъ, какъ мало критикъ могъ разсчитывать на горячія привѣтствія своего «кружка» и своей «партіи» и на новомъ пути—новаго «остервенѣнія». Впечатлѣніе «забавности» въ состояніи допустить только уравновѣшенную благосклонность и нѣжное сожалѣніе. И то, и другое никогда не могло подняться до жгучей температуры любви и ненависти Бѣлинскаго.

Бѣлинскому, конечно, чувствовалась вся тягота его положенія и онъ не могъ скрыть своего чувства въ письмахъ. Онъ откровенно разсказывалъ о броженіи, захватывавшемъ всю его природу, пытался ввести своихъ друзей въ смыслъ своего новаго міросозерцанія и психологически объяснить новизну. Для него это вопросъ личнаго достоинства и вѣры въ свои силы и цѣли. И онъ неоднократно будетъ обращаться къ только-что пройденнымъ зигзагамъ, признаетъ ихъ многочисленность и опрометчивость, но придетъ къ рѣшительному выводу, менѣе всего малодушному и уклончивому.

Не только въ письмахъ, но и въ статьяхъ Бѣлинскій свидѣтельствовалъ о постепенномъ развитіи своихъ взглядовъ. По поводу Пушкина онъ заявлялъ, что у него долго оставалось неяснымъ и неопредѣленнымъ понятіе о значеніи поэта.

Не всякій писатель способенъ на подобную исповѣдь, и Бѣлинскій предвидитъ остроты «доброжелателей». Но онъ не смущается.

«Мы не завидуемъ готовымъ натурамъ, которыя все узнаютъ за одинъ присѣстъ и, узнавши разъ, одинаково думаютъ о пред-

---

[130]) *Ib.* 378, 363.

метѣ всю жизнь свою, хвалясь неизмѣнчивостью своихъ мнѣній и неспособностью ошибаться. Да, не завидуемъ: ибо глубоко убѣждены, что только тотъ не ошибался въ истинѣ, кто не искалъ истины, и только тотъ не измѣнялъ своихъ убѣжденій, въ комъ нѣтъ потребности и жажды убѣжденія; исторія, философія и искусство не то, что математика съ ея вѣчными, неподвижными истинами» [131]).

То же самое Бѣлинскій писалъ и своей невѣстѣ, усиливаясь поднять ее на высшую ступень нравственнаго и общественнаго міросозерцанія.

«Дѣло не въ томъ, чтобы никогда не дѣлать ошибокъ, а въ томъ, чтобы умѣть сознавать ихъ и великодушно, смѣло слѣдовать своему сознанію. Я больше всего цѣню въ людяхъ пластичность души, способность ея движенія впередъ. Вотъ бѣда, когда эта божественная способность утрачена!» [132]).

Но чтобы помириться съ такимъ «движеніемъ впередъ», какое безпрестанно уклоняется отъ прямаго направленія, сопровождается страстными порывами увлеченія и не менѣе пылкими приступами раскаянія, надо лично обладать этой способностью. Отвлеченныя соображенія не объяснятъ и не оправдаютъ перехода отъ «бѣшенаго уваженія дѣйствительности» къ ожесточенной злобѣ на нее. Грановскій особеннно наглядно обнаружилъ тотъ недостатокъ органическаго проникновенія въ сущность духовнаго міра Бѣлинскаго.

Самъ историкъ имѣлъ счастье обладать завидной гармоніей крови и разсудка и могъ совершать свой высоко-почтенный просвѣтительный путь безъ всякихъ головокружительныхъ встрясокъ. Естественно ему становилось «жаль бѣднаго Виссаріона».

«При чтеніи его письма, — пишетъ Грановскій, — мнѣ стало больно за него... Пріятели наши, сдѣлавъ пакость, извиняютъ ее потомъ моментомъ развитія, въ которомъ находились. Но вѣдь такимъ образомъ всю жизнь можно разбить на моменты абстрактные, безъ связи между собою и отвѣтственности одинъ за другой. Надобно же, чтобы была одна основная, неизмѣнная идея въ дѣятельности. Всѣ эти вещи я говорю имъ ежедневно. Правъ ли я?» [133]).

---

[131]) Статьи о Пушкинѣ. VIII, 99, 100.

[132]) *Починъ*, 1896 г., стр. 199.

[133]) *О. с.* 183.

Несомнѣнно, правъ, скажемъ мы, но только абстрактно. У Бѣлинскаго была болѣе глубокая «основная и неизмѣнная идея» дѣятельности, чѣмъ у самыхъ послѣдовательныхъ и до окаменѣнія неподвижныхъ мыслителей. И именно потому, что эта идея представляла жизненный интересъ и направлялась къ практическимъ цѣлямъ, къ ней могли вести разнообразныя дороги. Все зависитъ отъ указаній опыта, борьбы, а не отъ кабинетныхъ стратегическихъ соображеній.

Грановскій, очевидно, готовъ отрицать у Бѣлинскаго твердое сознаніе нравственныхъ задачъ. Тогда слѣдовало бы доказать, что «моменты» у критика—дѣйствительно результаты произвола, что они чисто-«абстрактные», не выношенные упорной думой и не вскормленные кровью искренней страсти. Тогда не стóитъ Бѣлинскій ни сожалѣнія, ни любви.

Если такъ судили о немъ доброжелательнѣйшіе и просвѣщеннѣйшіе свидѣтели его дѣятельности, чего же можно было ожидать отъ явныхъ враговъ и тупыхъ носителей слѣпой личной идеи?

Бѣлинскому, несомнѣнно, не одинъ разъ приходила на умъ грустная мысль о своемъ ложномъ положеніи въ глазахъ даже друзей и о благодарнѣйшихъ темахъ, какія представилъ онъ своимъ врагамъ для обвиненій въ легкомысліи, въ отсутствіи убѣжденій, въ ненадежности критическихъ приговоровъ. Подобно Гоголю, онъ часто раздумывалъ о тяжеломъ бремени писателя, искренне и мужественно говорящаго свою правду обществу. Бѣлинскій не питалъ наклонности публично исповѣдывать свои огорченія, но случалось, горькая рѣчь будто невольно врывалась въ теченіе мысли,—публика тогда читала трогательныя признанія одного изъ безкорыстнѣйшихъ рыцарей современной мысли.

«Какъ тяжка у насъ,—восклицалъ Бѣлинскій,—роль критика, проникнутаго убѣжденіемъ и не отдѣляющаго вопросовъ объ искусствѣ и литературѣ отъ вопросовъ о своей собственной жизни, обо всемъ, чтò составляетъ сущность и цѣль его нравственнаго существованія!.. И тѣмъ хуже ему, если онъ столько уважаетъ истину и столько смиряется передъ нею, что всегда готовъ отказаться отъ мнѣнія, которое защищалъ съ жаромъ и съ энергіею, но которое, въ процессѣ своего безпрерывно движущагося сознанія, онъ уже не можетъ болѣе признавать за справедливое!.. Не смотрятъ на то, что перемѣна мнѣнія не только не доставила и не могла доставить ему никакой пользы, но еще и

поставила его, или могла поставить въ непріятное положеніе къ людямъ, которые довѣряли его авторитету, не говоря уже о томъ, что отречься отъ своего мнѣнія, значитъ признаться въ ошибкѣ а это не совсѣмъ лестно для человѣческаго самолюбія, которое всегда наклонно поддерживать, что дважды два—пять, а не четыре, лишь бы только казаться непогрѣшительнымъ. А имѣть свой взглядъ, свое убѣжденіе, судить на какихъ-нибудь основаніяхъ, а не по голосу толпы, да это значитъ ни больше, ни меньше, какъ прослыть человѣкомъ безпокойнымъ и безнравственнымъ» [184]).

И Бѣлинскій, можно сказать, всенародно прослылъ имъ, въ кружкѣ друзей и на страницахъ всей современной печати. Слава безусловно утвердилась за нимъ именно въ Петербургѣ. Въ письмахъ онъ не переставалъ заявлять, что дѣйствительность приводитъ его въ отчаяніе. Это настроеніе, какъ всегда у Бѣлинскаго, непосредственно переходитъ въ статьи. Онъ жадно хватается за всякій литературный мотивъ, свидѣтельствующій о страшной драмѣ между отдѣльной личностью и общимъ строемъ жизни. Онъ съ невыразимой нѣжностью говоритъ о жертвахъ дѣйствительности. готовъ сказать слово сочувствія не только идеальному гоголевскому художнику, но и пушкинскому Чайльдъ-Гарольду. Оба они сломились подъ бременемъ тяжелой силы, именуемой обществомъ, дѣйствительностью, толпой [185]).

Въ самомъ звукѣ *толпа* для Бѣлинскаго заключается нѣчто нестерпимо мучительное. Она—его личный врагъ, потому что въ жизни стремится низвести къ общему уровню все яркое и оригинальное, въ литературѣ живетъ стадными увлеченіями, преданіями, пошлымъ преклоненіемъ предъ громкимъ именемъ, предъ традиціонной славой.

Въ исторіи литературы этотъ натискъ безсмысленной стихіи на свѣтъ и разумъ является въ особенно рѣзкихъ формахъ.

Вся жизнь писателя, въ сущности, сплошной искусъ, непрерывная расплата за свое превосходство надъ большинствомъ.

У поэта непреодолимое желаніе рисовать жизнь въ творческихъ образахъ, но предъ нимъ нѣтъ вдохновляющихъ предметовъ. Дѣйствительность не даетъ живыхъ красокъ и общество не представляетъ оригинальныхъ лицъ, и мы, часто нападая на

---

[184]) *Статьи о Пушкинѣ*. VIII, 51.

[185]) *Русская литература въ 1840 году*. IV. 221.

тщедушіе литературы, должны помнить первоисточникъ ея недуга.

«Посмотрите,—восклицаетъ Бѣлинскій,—какъ иногда крѣпко впивается она въ общество, словно дитя всасывается въ грудь своей матери, и ея ли вина, если съ перваго слабаго усилія она высасываетъ все молоко изъ этой безплодной груди... Недостатокъ внутренней жизни, недостатокъ жизненнаго содержанія, отсутствіе міросодержанія,—вотъ причина»...

И критикъ готовъ оправдать ненавистнѣйшія для него литературныя явленія ради жалкой общественной почвы, только и способной производить плевелы. Напримѣръ, Ломоносовъ, Петровъ, Херасковъ и Державинъ сочиняли громкія оды; позже ихъ въ русской литературѣ водворились жалобные вопли разочарованія... Ни то, ни другое не свидѣтельствовало о полнокровной жизненности и силѣ художественнаго творчества.

И вполнѣ естественно, «гдѣ нѣтъ внутреннихъ духовныхъ интересовъ, внутренней сокровенной игры и переливовъ жизни, гдѣ все поглощено внѣшней, матеріальной жизнью, тамъ нѣтъ почвы для литературы, нѣтъ соковъ для питанія».

Писатель можетъ отдаться изображенію этой матеріальной жизни,—но онъ лично жестоко искупитъ несоотвѣтствіе возвышеннаго строя своей природы съ окружающимъ міромъ. Поэтому авторство въ Россіи «тяжелая, медленная и напряженная работа». Это доказывается немногочисленностью произведеній даровитѣйшихъ русскихъ талантовъ. На западѣ совершенно другое. Тамъ Шекспиръ, Байронъ, Шиллеръ, Гёте завѣщали намъ одинаково громадное наслѣдство и по качеству, и по количеству.

И не только художники терпятъ отъ ледяного дыханія дѣйствительности,—той же участи подвержены и критики. Положимъ, въ журналѣ появляется статья—плодъ глубокаго убѣжденія и горячаго чувства. Она внушена великими духовными стремленіями, поглощающими писателя. Она дышитъ новизной и силой идей, посмотрите, какъ её встрѣчаетъ русскій читатель?

Или холодно, или съ негодованіемъ, не имѣющимъ ничего общаго ни съ идеями статьи, ни съ намѣреніями и талантомъ автора.

Говорятъ,—статья длинна, досадна по своему содержанію, мѣшаетъ правильному пищеваренію обывателя, смутно безпокоитъ его неповоротливую мысль. Какое читателю дѣло до чувства и вѣры писателя? Интересенъ тотъ, кто громче кричитъ, и силенъ журнальный воинъ, послѣдній оставшійся на аренѣ.

Но горшее горе тому, кто отважился затронуть старыхъ боговъ! Для толпы не существуетъ убѣжденій, сознательно и вдумчиво усвоенныхъ. Ей нуженъ авторитетъ и необходима привычка. Осужденіе общепризнанной истины всегда кажется ей бунтомъ и безразсудствомъ, и несбыточное желаніе писателя—весь свѣтъ одновременно увѣрить въ своей истинѣ!

Нѣтъ. Чѣмъ смѣлѣе его мысль, чѣмъ жизненнѣе міросозерцаніе, тѣмъ безповоротнѣе онъ осужденъ на упорную и мучительную борьбу. Сочувственники и единомышленники будутъ завоевываться медленно шагъ за шагомъ. Сначала единицы, съ годами онѣ разростутся въ десятки и сотни. Но уже большое счастье, если имѣются на лицо и единицы!

Бѣлинскій вѣритъ въ ихъ существованіе и опять, наравнѣ съ Гоголемъ, тѣшитъ себя мыслью о невѣдомомъ, Богъ вѣсть гдѣ заброшенномъ, но горячо сочувствующемъ читателѣ.

Съ этой вѣрой критикъ вступаетъ на новую дорогу войны съ дѣйствительностью и съ своими прежними врагами и читателями.

И послѣдняя война едва ли не самая отвѣтственная.

Бѣлинскій, уѣзжая въ Петербургъ, оставилъ за собой цѣлый лагерь ожесточенныхъ хулителей. Грановскій жалуется, что ему *вездѣ* приходится защищать Бѣлинскаго отъ упрековъ *въ подлости*. И во главѣ упрекавшихъ стояла молодежь, лучшіе студенты, по словамъ Грановскаго, считали Бѣлинскаго «подлецомъ въ родѣ Булгарина» [186]).

И единственное оружіе представлялось въ сомнительной перемѣнѣ мнѣній! Выйти изъ такого положенія съ честью и именемъ побѣдителя было задачей, достойной великаго таланта и еще болѣе высшаго мужества.

XXVIII.

Трезвое представленіе о дѣйствительности логически подсказало Бѣлинскому цѣли и пути его критики. Въ Петербургѣ онъ воочію убѣдился, какъ тѣсны предѣлы свободной умственной дѣятельности, какъ ограниченъ кругъ доступныхъ обществу идей и какіе многочисленные запреты лежатъ на самихъ проявленіяхъ идейной, хотя бы даже и очень скудной жизни.

Литература и только она отвѣчаетъ за все, что причастно общимъ интересамъ. Въ Западной Европѣ искусство давно сли-

---

[186]) *О. с.* 363—4.

лось съ запросами общественной жизни, литература превратилась въ анализъ настоящаго и въ програму будущаго. Въ Россіи тоже направленіе пріобрѣло еще болѣе широкій смыслъ.

Здѣсь одна лишь литература и художественная критика отражаютъ жизнь и подвергаютъ ее суду. Вообще «интеллектуальное сознаніе русскаго общества» выражается только въ литературныхъ произведеніяхъ. Слѣдовательно, искусство и критика, помимо своей общеевропейской роли въ XIX вѣкѣ, въ Россіи заполняютъ еще множество пробѣловъ въ культурномъ прогрессѣ поэзіи.

Отсюда совершенно послѣдовательно вытекаютъ свойства и основы новой критики, ея приложеніе къ искусству. Разъ художественное творчество—анализъ, оно по содержанію и смыслу ничѣмъ не отличается отъ науки и философіи. Вся разница въ формѣ, въ пути, въ способѣ, какими выражаютъ истину творчество и мысль. «Наука, разлагающею дѣятельностью разсудка, отвлекаетъ общія идеи отъ живыхъ явленій. Искусство, творящею дѣятельностью фантазіи, общія идеи являетъ живыми образами». Цѣли въ обоихъ случаяхъ тождественны—просвѣщеніе общества и разумное направленіе его жизненныхъ силъ.

Примѣните это понятіе къ литературѣ, и предъ вами сами собой распредѣлятся писатели и произведенія по различнымъ степенямъ ихъ значительности и талантливости.

Бѣлинскій, установивъ общее понятіе искусства, сдѣлалъ одновременно два практическихъ вывода и на нихъ построилъ всю свою обильную критическую мысль. Выводы касаются *настроеній* художника и *предметовъ* его творчества.

Мы знаемъ, что стала обозначать на языкѣ Бѣлинскаго *объективность*. Мѣрой воспріимчивости и отзывчивости писателя должно съ этихъ поръ опредѣляться его мѣсто въ исторіи человѣческаго развитія. И, несомнѣнно, достойнѣйшихъ писателей новому міру даетъ литература, искони жившая одной жизнью съ дѣйствительностью, горѣвшая соціальными страстями и намѣчавшая общественные идеалы.

Это — литература французская, и талантливѣйшая ея представительница въ эпоху сороковыхъ годовъ.—Жоржъ Зандъ—будетъ теперь окружена неизмѣнно блестящимъ ореоломъ.

Бѣлинскій пишетъ:

«Это, безспорно, первая поэтическая сила современнаго міра. Каковы бы ни были ея начала, съ ними можно не соглашаться, ихъ можно не раздѣлять, ихъ можно находить ложными; но ея

самой нельзя не уважать, какъ человѣка, для котораго убѣжденіе есть вѣрованіе души и сердца. Оттого многія изъ ея произведеній глубоко западаютъ въ душу и никогда не изглаживаются изъ ума и памяти. Оттого талантъ ея не слабѣетъ ни въ силѣ, ни въ дѣятельности, но крѣпнетъ и растетъ».

Критикъ готовъ еще повысить тонъ и довести изображаемый талантъ до полнаго идеала. Онъ увѣренъ, подобный писатель всегда представляетъ сильный нравственно-безукоризненный характеръ. Иначе не могло бы заключаться столько глубины и живого чувства въ его созданіяхъ.

Бѣлинскому «горько думать», что находятся люди съ талантомъ, способные пѣть, подобно птицамъ, безотчетно и беззаботно, безучастно къ судьбѣ «своихъ страждущихъ братій» [137]).

Жоржъ-Зандъ до конца останется на знамени критика. Для представленія о творческой силѣ XIX вѣка Бѣлинскій назоветъ два имени—Байрона и Жоржъ-Занда, первое, очевидно, во имя принципа борьбы личности съ обществомъ, второе—ради соціальныхъ вѣрованій [138]).

Но вѣдь такъ много толковали во всѣ времена и продолжаютъ толковать до сихъ поръ о «чистомъ искусствѣ». Существуетъ ли оно и какіе его признаки?

Отвѣтъ Бѣлинскаго рѣшителенъ: чистаго, абстрактнаго искусства, «никогда и нигдѣ не бывало». На первый взглядъ греческое искусство подходитъ подъ понятіе чистаго; оно, повидимому, особенно далеко стоитъ отъ будничной дѣйствительности. Но это обманъ зрѣнія.

На самомъ дѣлѣ ни одно искусство съ такой полнотой не отражало религіозной, политической, общественной и частной жизни гражданъ, какъ эллинское.

Среди новыхъ поэтовъ Гёте является чаще всего образцомъ безукоризненнаго жреца искусства. Но и здѣсь кроется недоразумѣніе. Само искусство не при чемъ въ равнодушіи Гёте къ вопросамъ времени. Все дѣло въ характерѣ автора *Фауста*.

Какъ поэтъ—онъ великъ, какъ человѣкъ—самое обыкновенное явленіе, можетъ быть, даже ниже обыкновеннаго, если принять во вниманіе умъ и талантъ Гёте.

«Не искусство,—говоритъ Бѣлинскій,—а его личный характеръ

---

[137]) *Рѣчь о критикѣ, А. Никитенко.* VI, 211.
[138]) *Петербургскій сборникъ.* X, 368. 1846 г.

заставляли его вѣчно тереться между сильными земли, жить и дышать милостынею ихъ улыбокъ, равно какъ и оказывать самое холодное невниманіе ко всему, что не касалось до него лично, что могло возмутить его юпитеровское, говоря поэтически, и эгоистическое, говоря прозаически, спокойствіе. И потому равнодушіе Гёте къ живымъ вопросамъ современной ему исторіи не имѣетъ ничего общаго съ искусствомъ: искусство и не думало обязывать его, въ свою пользу, безнравственнымъ равнодушіемъ такого рода».

Но даже и при такихъ отнюдь не возвышенныхъ свойствахъ личнаго характера, Гёте все-таки оказался выразителемъ многихъ сторонъ современной ему дѣйствительности. Достаточно вспомнить объ его стремленіи къ простотѣ, ясности, положительности, объ его сочувствіи природѣ и усердныхъ занятіяхъ естественными науками [139]).

Не надо, конечно, забывать и о большой долѣ мистицизма въ созерцаніяхъ Гёте: второй части *Фауста* не могъ создать умъ совершенно положительный, но не въ этомъ вымученномъ и преднамѣренно затемненномъ произведеніи сказался дѣйствительный талантъ Гёте, и характеристика его у Бѣлинскаго по существу справедлива.

Та же мысль о невозможности безусловно чистаго творчества доказывается и другимъ примѣромъ, краснорѣчивымъ не менѣе гётевскаго безстрастія.

На Шекспира обыкновенно ссылаются не рѣже, чѣмъ на Гёте, защитники священной неприкосновенности искусства. Но это значитъ обнаруживать близорукость умственнаго зрѣнія.

Шекспиръ, несомнѣнно, величайшій творческій геній, но не видѣть изъ-за его поэзіи безчисленныхъ уроковъ—для психолога, историка, философа, политика значитъ не понимать его произведеній. Шекспиръ никогда не перестаетъ быть поэтомъ, но поэзія для него только форма разнообразнѣйшаго, отнюдь не чисто-поэтическаго содержанія. Въ этомъ смыслѣ онъ истинный поэтъ новаго времени: оно отдало перевѣсъ важности содержанія надъ важностью формы [140]).

Въ единственномъ случаѣ можно усмотрѣть торжество чистаго искусства, когда оно удовлетворяетъ интересамъ одного образованнѣйшаго класса общества. Такъ было, напримѣръ, въ эпоху

---

[139]) *Современныя замѣтки.* XI. 298—9. 1847 г.

[140]) *Взглядъ на русскую литературу въ 1847 году.* XI, 361.

итальянскаго возрожденія. Но нашему времени никогда не вернуться къ этому золотому вѣку аристократическаго творчества. Теперь всепоглощающіе интересы дня—реальная жизнь народа, отношенія классовъ, взаимодѣйствіе личности и общества, идеаловъ и жизни, и искусство, если только оно желаетъ имѣть у себя публику, должно неминуемо связать путь своего развитія съ этими фактами.

Но, разъ искусство неразрывно съ дѣйствительностью и творчество должно выражать *вѣрованія* автора и даже въ опредѣленномъ направленіи, т.-е. его сочувствіе страждущимъ братьямъ, то вѣдь оно можетъ превратиться въ чистую проповѣдь гуманныхъ идей и совпасть съ обыкновенной журнальной публицистикой?

Именно этого совпаденія и потребуютъ впослѣдствіи крайніе «реалисты» шестидесятыхъ годовъ. Писаревъ откажется дѣлать различіе между художественными произведеніями и хрониками и обозрѣніями и пожелаетъ, чтобы беллетристика существовала и читалась исключительно ради положительныхъ сообщеній и фактическихъ данныхъ.

Бѣлинскій не могъ совершить подобнаго акта надъ неотразимымъ естественнымъ явленіемъ, и здѣсь одна изъ существенныхъ заслугъ его критики.

Никакое горячее сочувствіе идейно-общественнымъ задачамъ литературы, никакое глубокое презрѣніе къ птичьему лепету разумныхъ существъ не могло поднять его руки на понятіе красоты и творческой свободы.

«Искусство прежде всего должно быть искусствомъ» [141])—это незыблемая истина, несомнѣнная для Бѣлинскаго даже въ минуты его пламеннаго негодованія на Гоголя-публициста. Устремляя противъ *Переписки съ друзьями* всю силу логики и страсти, Бѣлинскій въ то же время «отчитывался» *Мертвыми душами*. *Художникъ* не утрачивалъ своего обаянія надъ критикомъ, какъ бы низко не опускалось его *мышленіе*. *Образы* продолжали горѣть безсмертной красотой рядомъ съ недостойными *идеями*.

И врядъ ли какой критикъ, равнаго политическаго темперамента, посвятилъ столько восторженныхъ рѣчей художественной красотѣ, какъ Бѣлинскій! Онъ превращался въ поэта, заговаривая о существеннѣйшемъ источникѣ эстетическаго наслажденія. Онъ, достигши вершинъ положительной мысли, вновь становился роман-

[141]) *Ib.*, стр. 351.

тикомъ, лишь только ему предстояло показать непреодолимо-манящую перспективу таинственнаго процесса, именуемаго творческимъ вдохновеніемъ.

Въ первое время петербургской дѣятельности художественные восторги Бѣлинскаго часто превращаютъ его статьи въ стихотворенія въ прозѣ. Онъ и теперь отнюдь не поклонникъ умилительныхъ эстетическихъ созерцаній. Напротивъ. Онъ переживаетъ первый неудержимый задоръ въ борьбѣ съ дѣйствительностью и стремительно ищетъ всюду личностей, воплощающихъ переживаемое имъ настроеніе. Онъ произнесетъ восторженную хвалу Лермонтову и его герою, онъ даже увѣнчаетъ Ивана Грознаго. Московскій царь, воскресившій въ памяти исторіи тацитовскія страницы о римскихъ цезаряхъ, окажется жертвой современныхъ условій полуазіатскаго быта. Они лишили царя возможности пересоздать дѣйствительность, не дали ему никакого развитія, онъ остался при своей естественной силѣ и грубой мощи.

И посмотрите, съ какимъ напряженіемъ мысли и героическими усиліями чувства защищаетъ нашъ борецъ личность только во имя ея *личныхъ* независимыхъ и сильныхъ проявленій! Мы при каждомъ словѣ должны помнить истинный источникъ мыслей автора и не упускать изъ виду, что оправданія Грозному скрываютъ въ глубинѣ трепетное негодованіе на такъ-называемую силу вещей и заѣдающую среду.

«Тираннія Іоанна Грознаго,—пишетъ Бѣлинскій,—имѣетъ глубокое значеніе, и потому она возбуждаетъ къ нему скорѣе сожалѣніе, какъ къ падшему духу неба, чѣмъ ненависть и отвращеніе, какъ къ мучителю... Можетъ быть, это былъ своего рода великій человѣкъ, но только не во время, слишкомъ рано явившійся Россіи, пришедшій въ міръ съ призваніемъ на великое дѣло и увидѣвшій, что ему нѣтъ дѣла въ мірѣ. Можетъ быть, въ немъ безсознательно кипѣли всѣ силы для измѣненія ужасной дѣйствительности, среди которой онъ такъ безвременно явился, которая не побѣдила, но разбила его и которой онъ такъ страстно мстилъ всю жизнь свою, разрушая и ее, и себя самого въ болѣзненной и безсознательной ярости».

И дальше возстаетъ предъ нами совершенно романтическая фигура: она должна бы вполнѣ удовлетворить автора *Философическаго письма*, тосковавшаго по таинственнымъ, захватывающимъ образамъ западныхъ среднихъ вѣковъ.

Здѣсь все, и блѣдное лицо, и впалыя сверкающія очи, и страшное величіе, и нестерпимый блескъ ужасающей поэзіи.,.

До такой живописи могла поднять воображеніе «гнусная рассейская дѣйствительность», вызывавшая на вражду всю природу Бѣлинскаго! Шиллеризмъ воскресъ, только уже не въ формѣ абстрактнаго героизма, а съ самыми положительными задачами и средствами.

И вотъ въ это самое время Бѣлинскій является пѣвцомъ поэтической красоты, не менѣе стремительнымъ, чѣмъ—грозной личности. Онъ, какъ и требуетъ самый предметъ, картиной поясняетъ силу прекраснаго надъ человѣческой душой. Онъ представляетъ читателямъ появленіе красавицы въ ярко освѣщенной залѣ и подробно рисуетъ эффектъ, мгновенное чудодѣйственное впечатлѣніе на пылкую юность, на суровую старость, на героевъ, на поэтовъ. Критикъ, въ порывѣ восторга, готовъ даже нанести жестокій ударъ своей религіи личнаго протеста и осмысленнаго стремленія пересоздавать дѣйствительность. Красавица можетъ не выражать опредѣленной идеи и даже опредѣленнаго чувства, и все-таки безгранично чаровать осчастливленнаго зрителя. Красота сама себѣ цѣль, подобно истинѣ и благу, и критикъ даетъ ей право царствовать надъ вселенной «только властію своего имени» [142]).

Отсюда естественный выводъ: да здравствуетъ искусство, осуществляющее красоту во имя ея самой!

Но такого вывода не будетъ сдѣлано, потому что критикъ лично не способенъ замереть въ безотчетномъ созерцаніи предъ какой угодно красавицей. И самое понятіе красоты незамѣтно сольется у него съ понятіемъ поэзіи. Тогда другое дѣло. Поэзія отнюдь не безстрастное шествіе нѣкоего величественнаго и ослѣпительнаго солнца. Она по самому существу жизнь и движеніе, слѣдовательно, источникъ весьма опредѣленныхъ чувствъ и, слѣдовательно, идей.

Критикъ будто не замѣчаетъ соревнованія двухъ весьма различныхъ понятій и въ одной и той же статьѣ воспѣваетъ самодовлѣющую невозмутимую красоту и даетъ цѣлый рядъ опредѣленій поэзіи.

Здѣсь также много романтическаго паѳоса, образы совершенно подавляютъ отвлеченія, но каждая картина дышитъ и горитъ вполнѣ реальными намѣреніями автора. «Поэзія—это огненный взоръ юноши, кипящаго избыткомъ силъ; это—его отвага и дер-

---

142) *Стихотворенія М. Лермонтова.* IV, 278. 1841 г.

зость, его жажда желаній, неудержимые порывы его стремленія сжать въ пламенныхъ объятіяхъ и небо, и землю, разомъ осушить до дна неистощимую чашу жизни... Поэзія—это сосредоточенная, овладѣвшая собою сила мужа, вполнѣ созрѣвшаго для жизни, искушеннаго ея опытами, съ уравновѣшенными силами духа, съ просвѣтленнымъ взоромъ готоваго на битву и на подвигъ»...

Очевидно, царство поэзіи неограниченно, и основная сила его—способность вызывать сильныя движенія души. Критикъ и позже съ большимъ удовольствіемъ будетъ живописать «прекрасную молодую женщину» безъ опредѣленнаго выраженія въ чертахъ ея лица. Эта преданность чистымъ эстетическимъ впечатлѣніямъ краснорѣчива для нравственнаго міра Бѣлинскаго: критикъ всю жизнь оставался художникомъ и жизнью одною жилъ съ художниками, когда вопросъ заходилъ даже о прекрасныхъ формахъ. Красота такая же потребность нашего духа, какъ истина и добродѣтель [143]).

Но всѣ эти изліянія не исчерпываютъ міровоззрѣнія критика, а только выясняютъ одинъ изъ мотивовъ его духовной жизни. Въ области критики оно займетъ свое мѣсто, но въ понятіи *поэтическаго.* А оно отнюдь не тождественно съ идеей чистой, отрѣшенной красоты, все равно, какъ не совпадаетъ и съ представленіемъ о нравственной проповѣди, о преднамѣренномъ направленіи, о разсудочно усвоенномъ идеалѣ. Въ поэзію красота входитъ лишь какъ одинъ изъ частныхъ признаковъ и можетъ даже совершенно преобразоваться сравнительно съ своимъ первичнымъ опредѣленіемъ, именно совпасть съ *истиной.*

Это совпаденіе и является идеаломъ новой поэзіи. Оно даетъ въ результатѣ *натуральную школу.*

XXIX.

Борьба, за гоголевское направленіе—главнѣйшая задача цѣлаго періода дѣятельности Бѣлинскаго. Онъ самъ неоднократно признаетъ основнымъ вопросомъ русской литературы *натуральную школу* и ставитъ его наравнѣ съ живѣйшимъ интересомъ современной общественной мысли, съ *славянофильствомъ.* Вокругъ этихъ темъ группируются важнѣйшія статьи Бѣлинскаго и его слово замираетъ на рѣшеніи задачъ, въ чемъ сила и смыслъ

[143]) Статьи о Пушкинѣ. VIII, 368.

натуральнаго направленія искусства, и что положительнаго внесено славянофильскимъ толкомъ въ сознаніе русскаго общества?

Мы видѣли, какъ высоко поставлена критикомъ идейность творчества, опредѣленность направленія. Жоржъ-Зандъ ясно и непосредственно удовлетворяла потребности Бѣлинскаго въ личной борьбѣ съ предразсудочнымъ обществомъ и косной толпой. Но онъ не могъ помириться съ *преднамѣренностью* борьбы ради какихъ бы то ни было возвышенныхъ цѣлей. Творчество не должно терять своихъ правъ предъ какими бы то ни было идеалами. Художникъ долженъ всегда и вездѣ оставаться художникомъ, идейность не должна быть тенденціей, а естественнымъ проявленіемъ таланта и натуры писателя. Въ этомъ весь смыслъ такъ-называемыхъ великихъ поэтическихъ дарованій: они безсознательно вдохновенны и непосредственно идейны.

У Бѣлинскаго нѣтъ выраженій *идейный*, *идейность*, онъ выражается энергичнѣе, говоритъ о *направленіи*, и неуклонно доказываетъ, что у художника оно также должно быть талантомъ, т. е. даромъ природы, а не извнѣ навязаннымъ символомъ вѣры. Партійные поэты смѣшны, по мнѣнію Бѣлинскаго, и отказаться художнику отъ творческой свободы значитъ обречь на гибель самый свой талантъ.

Но нѣкоторые поэты явно работаютъ въ пользу опредѣленныхъ политическихъ и общественныхъ идей, какъ же судить объ этой работѣ?

Отвѣтъ простой. Она сама себя судитъ. Она плодотворна, долговѣчна и стоитъ на высотѣ достоинства поэта, если подсказывается личными впечатлѣніями и чувствами художника. Именно самыя впечатлѣнія должны быть идейны, тогда только художественный талантъ съ одинаковымъ значеніемъ служитъ искусству и обществу.

«Творчество,—пишетъ Бѣлинскій,—по своей сущности требуетъ безусловной свободы въ выборѣ предметовъ не только отъ критиковъ, но и отъ самого художника. Ни ему никто не въ правѣ задавать сюжетовъ, ни онъ самъ не въ правѣ направлять себя въ этомъ отношеніи. Онъ можетъ имѣть опредѣленное направленіе, но оно у него только тогда можетъ быть истинно, когда безъ усилія, свободно сходится съ его талантомъ, его натурою и инстинктами и стремленіемъ» [144]).

---

[144]) *Отвѣтъ Москвитянину*. XI, 234. 1847 г.

Одного только критикъ можетъ требовать отъ художника, чтобы онъ оставался вѣренъ изображенной имъ дѣйствительности и не извращалъ выбраннаго предмета личными вымыслами.

Очевидно, свойства предмета и искреннее отношеніе къ нему сами по себѣ опредѣляютъ и значительность, и направленіе произведеній искусства. А выборъ этой или иной дѣйствительности для творческой работы зависитъ отъ глубины и богатства природы художника.

Впечатлѣнія одного поэта внушатъ ему только трели соловья, впечатлѣнія другого уподобятся «тенденціямъ». Такая именно судьба постигла Тургенева, и онъ въ свое оправданіе разсказалъ процессъ своего творчества совершенно по программѣ Бѣлинскаго. Это совпаденіе—краснорѣчивѣйшее свидѣтельство въ пользу эстетики нашего критика.

Бѣлинскій и здѣсь предупредилъ заблужденія нѣкоторыхъ публицистовъ шестидесятыхъ годовъ, во что бы то ни стало гнувшихъ творческія способности поэтовъ подъ извѣстное общественное знамя. Бѣлинскій, не меньше какихъ угодно публицистовъ почитавшій направленіе и идеи, не забылъ простѣйшаго факта: *психологическаго смысла творчества* и запутаннѣйшій вопросъ критики рѣшилъ въ полномъ согласіи и съ фактами, и съ самими художниками.

Откуда получается направленіе у художника и вообще у всякаго человѣка? Отъ очень нагляднаго обстоятельства: отъ живой и кровной симпатіи писателя съ духомъ, надеждами, радостями и болѣзнями своего времени. Безъ этой симпатіи немыслимъ просто болѣе или менѣе интеллигентный человѣкъ, какъ нравственная единица, еще менѣе возможенъ писатель.

Но вопросъ не кончается.

«Главное и трудное состоитъ не въ томъ, чтобъ имѣть направленіе и идеи, а въ томъ, чтобъ не выборъ, не усиліе, не стремленіе, а прежде всего сама натура поэта была непосредственнымъ источникомъ его направленія и идей».

Художникъ даже можетъ не отдавать полнаго и яснаго отчета въ идейномъ смыслѣ своихъ произведеній, все равно, какъ и въ возникновеніи и развитіи художественныхъ образовъ. Бѣлинскій встрѣтился съ самымъ рѣзкимъ фактомъ подобнаго недоразумѣнія,—въ лицѣ Гоголя. Но критикъ предусматривалъ раньше возможное самонепониманіе художника, и этотъ фактъ новое доказательство психологической глубины критики Бѣлинскаго.

Для примѣра Бѣлинскій беретъ не Гоголя, а другого своего любимаго поэта и предполагаетъ слѣдующее:

«Еслибъ сказали Лермонтову о значеніи его направленія и идей, онъ, вѣроятно, многому удивился бы и даже не всему повѣрилъ. И не мудрено: его направленіе, его идеи были онъ самъ, его собственная личность, и потому онъ часто высказывалъ великое чувство, высокую мысль въ полной увѣренности, что онъ не сказалъ ничего особеннаго. Такъ силачъ безъ вниманія, мимоходомъ, откидываетъ ногою съ дороги такой камень, который человѣкъ съ обыкновенною силою не сдвинулъ бы съ мѣста и руками» [145].

Если *направленіе* такъ неразрывно связано съ творчествомъ, то первоисточника его, очевидно, слѣдуетъ искать въ тѣхъ предметахъ, какіе выбираетъ художникъ для своей творческой работы. А предметъ можетъ быть идейнымъ только въ томъ случаѣ, когда онъ *значителенъ* по своему жизненному и общественному смыслу, когда въ немъ самомъ, независимо отъ преднамѣренныхъ толкованій и освѣщеній, заключается богатое поучительное содержаніе.

А такимъ предметомъ является только *дѣйствительность*, переживаемая даннымъ временемъ и обществомъ. Литература, избирающая ее своимъ предметомъ, и будетъ идейная въ силу естественнаго порядка вещей. Это и есть *натуральная школа*.

Намъ ясно теперь, почему Бѣлинскій съ такой неустанной энергіей защищалъ гоголевское творчество и почему въ торжествѣ новаго направленія видѣлъ ясное свидѣтельство развивающагося самосознанія русскаго общества. *Натуральная школа* обладаетъ направленіемъ и идеями сама по себѣ, по своей сущности, независимо отъ книгъ, аудиторій и критики. Пусть представители этой школы не сознаютъ всего общественнаго значенія своего творчества, только пусть не измѣняютъ своему художественному знамени, и плоды созрѣютъ безъ ихъ ухода.

Бѣлинскій судьбу натуральнаго направленія старался выяснить не только путемъ публицистики и эстетики, онъ связалъ ее вообще съ исторіей русской литературы. Онъ въ прошломъ русской словесности собралъ задатки новѣйшей школы, чтобы доказать ея глубоко-національный характеръ, онъ всѣ періоды русскаго литературнаго слова оцѣнилъ съ точки натуральныхъ принциповъ

---

[145]) *Стихотворенія Аполлона Григорьева.* X, 404. 1846 г. *Русская литература въ 1844 году.* IX, 293. 1845 г.

творчества. Гоголь сталъ на мѣсто Гегеля и *Мертвыя души* явились такимъ же неистощимымъ законодательствомъ для общественной мысли, какимъ раньше была гегельянская діалектика для философскихъ построеній.

Основное положеніе натуральной критики, высказаное въ 1842 году по поводу гоголевской поэмы, крайне рѣшительно:

«Въ томъ, что художническая дѣятельность Гоголя вѣрна дѣйствительности, мы видимъ черту геніальности» [146]).

Приложите этотъ принципъ къ историческимъ фактамъ и вы получите точную философію исторіи русской литературы: это — постепенный переходъ отъ искусственности и подражательности къ естественности и самобытности. Изъ книжной русская литература становилась живой и общественной.

Слѣдовательно, всѣ явленія прогрессивны, гдѣ правда и общественность, наоборотъ, всѣ ретроградны, гдѣ искусственность, реторичность и художественная отрѣшенность. И Бѣлинскій знаетъ въ сущности только двѣ литературныхъ школы: *реторическую* и *натуральную*. Одна стремится къ выспреннимъ мотивамъ, громкимъ рѣчамъ, небывалымъ подвигамъ и героямъ, другая пребываетъ на землѣ и въ средѣ обыкновенныхъ смертныхъ. И это направленіе существовало гораздо раньше Гоголя: въ сущности русская литература началась *натурализмомъ*, именно общественными сатирами Кантемира. Гоголь только окончательно утвердилъ власть исконнаго русскаго и сдѣлалъ невозможными новые набѣги лжи и подражательности на сцену національнаго творчества.

«Если бы насъ спросили,—пишетъ Гоголь,—въ чемъ состоитъ существенная заслуга новой литературной школы, мы отвѣчали бы: въ томъ именно, за что нападаетъ на нее близорукая посредственность или низкая зависть, въ томъ, что отъ высшихъ идеаловъ человѣческой природы и жизни она обратилась къ такъ-называемой «толпѣ», исключительно избрала ее своимъ героемъ, изучаетъ ее съ глубокимъ вниманіемъ и знакомитъ ее съ нею же самою. Это значило совершить окончательно стремленіе нашей литературы, желавшей сдѣлаться вполнѣ національною, русскою, оригинальною и самобытною; это значило сдѣлать ее выраженіемъ и зеркаломъ русскаго общества, одушевить ее живымъ національнымъ интересомъ» [147]).

---

[146]) Статья по поводу критическихъ статей К. Аксакова о *Мертвыхъ душахъ*. VI, 546.

[147]) *Русская литература въ 1845 году*. X, 283; XI. 328.

Мы видимъ, натуральная школа только предметомъ своего изученія достигла двухъ великихъ результатовъ, отвѣчающихъ духу новаго времени—общественной идейности и народности. Во имя этихъ завоеваній Бѣлинскій стоялъ на стражѣ гоголевскихъ произведеній и не пропускалъ случая выступить на защиту *Мертвыхъ душъ* противъ Сенковскаго, Полевого, даже друзей автора—проф. Шевырева и Константина Аксакова, наконецъ, противъ самого автора.

Библіотека для Чтенія уничтожала произведеніе Гоголя за наименованіе его *поэмой*, за несоблюденіе правилъ русской грамматики, за «нечистыхъ героевъ», за сходство съ романами Поль-де-Кока [148]). Одновременно Полевой въ *Русскомъ Вѣстникѣ* убѣждалъ Гоголя лучше перестать писать, чѣмъ «постепенно болѣе и болѣе падать», сочинять языкомъ харчевенъ и томить читателей въ смрадномъ воздухѣ «неопрятныхъ гостинницъ». Шевыревъ готовъ былъ требовать отъ Гоголя «добродѣтельнаго человѣка», патріотическаго оправданія отрицательныхъ героевъ и совѣтовалъ автору обратиться къ изученію высшаго общества, какъ неисчерпаемаго кладезя русскихъ положительныхъ свойствъ. *Сѣверная Пчела* клеймила Гоголя за то же пристрастіе къ негодяямъ, за безвкусіе, дурной тонъ, за варварскій языкъ, и назначала ему мѣсто даже ниже Поль-де-Кока [149]). Константинъ Аксаковъ—полная противоположность петербургскимъ насмѣшникамъ и пасквилянтамъ, впалъ въ другую крайность, сопоставилъ Гоголя съ Гомеромъ. Смѣшное этого паѳоса почувствовали даже принципіальные враги Бѣлинскаго, въ родѣ Погодина и Шевырева, недоволенъ остался и Гоголь [150]).

Бѣлинскому предстояло единолично защищать Гоголя и отъ ярости враговъ, и отъ наивности друзей. Но защита не означала безусловнаго восторга. Правда, Гоголь—родоначальникъ новой національной школы. Онъ, какъ художникъ, стоитъ на высотѣ современности, но онъ не послѣднее слово творческаго таланта. Есть нѣчто, не входящее въ дарованіе Гоголя, и между тѣмъ весьма существенное для художника новаго времени. Это именно нѣчто и вызоветъ у Гоголя злополучную переписку. Бѣлинскій

---

[148]) *Библ. для Чтенія.* 1842, т. 53.

[149]) *Сѣв. Пч.* 1842 г., № 137.

[150]) Брошюра *Нѣсколько словъ о поэмѣ Гоголя: Похожденія Чичикова или Мертвыя Души.* 1842 г. Отзывы Погодина, Шевырева и Гоголя. Барсуковъ VI, 298—9.

могъ предчувствовать ее задолго до ея появленія. Его остановили «мистико-лирическія выходки» въ поэмѣ, и онъ могъ отмѣтить измѣну художника своему истинному призванію, желаніе стать прорицателемъ, глашатаемъ великихъ истинъ, теорій и системъ. А теоріи и системы, по мнѣнію Бѣлинскаго, «всегда гибельны для искусства и таланта» [151]).

Но вѣдь возможенъ же случай, когда истины и теоріи одновременно и непосредственныя внушенія вдохновеннаго генія, и выводы сознательной мысли? Бѣлинскій сравнивалъ Гоголя съ животнымъ, рѣзко характеризируя безотчетность его творчества. Это не общее правило: о Жоржъ-Зандѣ Бѣлинскій такъ не могъ бы выразиться. Въ чемъ же разница?

XXX.

Аксаковъ, вознося Гоголя до Гомера, не призналъ Жоржъ-Зандъ великой писательницей. Бѣлинскій возмутился и воспользовался случаемъ еще разъ заявить свое преклоненіе предъ геніальностью «первой поэтической славы современнаго міра». Жоржъ-Зандъ—выше Гоголя, потому что имѣетъ значеніе не въ одной французской литературѣ, но и во всемірно-исторической [152]).

Критикъ не могъ объяснить подробно своего приговора, не могъ въ то время, когда, по словамъ Бѣлинскаго, цензура безпрестанно исключала изъ его статей по двѣ трети и въ томъ числѣ самый «смыслъ». Но намъ извѣстно изъ отрывочныхъ и общихъ намековъ, чѣмъ Жоржъ-Зандъ заслужила отъ русскаго критика такой роскошный вѣнокъ?

У Гоголя нѣтъ двухъ достоинствъ писателя—знаній и субъективнаго начала. Первое понятно само собой, второе объяснено критикомъ еще независимо отъ Гоголя, въ своеобразномъ толкованіи объективности. Гоголь только внушилъ болѣе яркое и подробное выясненіе старой мысли.

Бѣлинскій привѣтствовалъ въ *Мертвыхъ душахъ*, какъ «величайшій успѣхъ и шагъ впередъ», субъективность—болѣе ощутительную, чѣмъ въ прежнихъ произведеніяхъ. И дальше слѣдовало объясненіе.

«Мы разумѣемъ не ту субъективность, которая, по своей ограниченности или односторонности, искажаетъ объективную дѣй-

[151]) *Похожденія Чичикова.* XI, 69, 70. 1847 г.
[152]) VI, 541.

ствительность изображаемыхъ поэтомъ предметовъ; но ту глубокую, всеобъемлющую и гуманную субъективность, которая въ художникѣ обнаруживаетъ человѣка съ горячимъ сердцемъ, симпатическою душою и духовно-личною самостью,—ту субъективность, которая не допускаетъ его съ апатическимъ равнодушіемъ быть чуждымъ міру, имъ рисуемому, но заставляетъ его проводить черезъ свою *душу живу* явленія внѣшняго міра, а чрезъ и въ нихъ вдыхать *душу живу*» [153]).

Именно такой субъективностью въ высшей степени обладаетъ Жоржъ-Зандъ, и въ направленіи, рѣзко подчеркнутомъ у Бѣлинскаго.

Критикъ не могъ въ цѣльной статьѣ дать характеристику этого направленія, не могъ даже и случайно употреблять терминовъ, соотвѣтствующихъ его идеѣ, пришлось ограничиваться общими выраженіями — сочувствіе къ страждущимъ друзьямъ, «симпатія къ падшимъ и слабымъ», «гуманность и человѣколюбіе», «вѣчно-тревожное стремленіе къ идеалу и уравненію съ нимъ дѣйствительности». Во всѣхъ этихъ нравственныхъ качествахъ заключается «жизненная идея и паѳосъ французской націи», «рѣзкая черта ея національнаго характера» [154]).

Въ письмахъ Бѣлинскій выражался гораздо откровеннѣе. Еще въ концѣ 1841 года онъ сообщалъ Боткину о своей новой крайности и объяснялъ, что «это идея *соціализма*», и она стала для него «идеею идей... альфою и омегою вѣры и знанія», «поглотила и исторію, и религію, и философію». «Ею,—прибавляетъ Бѣлинскій,—я объясняю теперь жизнь мою, твою и всѣхъ, съ кѣмъ встрѣчался я на пути жизни» [155]).

У насъ есть другія свѣдѣнія о настроеніяхъ Бѣлинскаго въ началѣ сороковыхъ годовъ. Отъ Грановскаго мы знаемъ объ увлеченіи критика Робеспьеромъ, потому что Робеспьеръ «удовлетворялъ дѣлами своими ненависти Бѣлинскаго къ аристократамъ» [156]). Тотъ же Грановскій рекомендуетъ Бѣлинскому читать французскихъ историковъ и *Encyclopédie Nouvelle*, гдѣ можно познакомиться съ Пьеромъ Леру. Грановскій его называетъ «однимъ изъ самыхъ умныхъ и благородныхъ людей въ Европѣ».

---

[153]) *Журнальныя и литературныя замѣтки.* VI, 577. 1842 г.

[154]) *Парижскія тайны.* IX, 32. 1844 г. *Сочиненія Державина.* VII, 99. 1843 г.

[155]) Пыпинъ. II, 122.

[156]) II, 439.

Бѣлинскій послѣдовалъ совѣту, и, вѣроятно, безъ всякаго совѣта обратился бы именно къ французской исторіи. Она вполнѣ совпадала съ его новыми восторгами предъ соціальными задачами французской литературы. И Бѣлинскій не былъ въ одиночествѣ. Кругомъ него молодое поколѣніе жадно напитывалось политическою мыслью Франціи, перечитывало Прудона, Кабе, Леру и особенно Фурье и позже Луи Блана. Уже къ 1843 году, по словамъ современника, «книги названныхъ авторовъ были во всѣхъ рукахъ, подвергались всестороннему изученію и обсужденію, породили, какъ прежде Шеллингъ и Гегель, своихъ ораторовъ, комментаторовъ, толковниковъ» [157]). Но результаты новыхъ увлеченій не могли ограничиться чистой теоріей: французскія идеи вскорѣ должны были создать и своихъ мучениковъ.

Вопросъ о крѣпостномъ правѣ, не перестававшій тлѣть въ русскихъ умахъ со временъ декабристовъ, долженъ былъ сообщить особенно жгучій интересъ демократическимъ и соціальнымъ ученіямъ Запада. Бывшій авторъ *Дмитрія Калинина*, вернувшійся къ рыцарственной войнѣ съ дѣйствительностью, вполнѣ послѣдовательно и, по обыкновенію, страстно углубился въ исторію и идеалы европейскаго соціализма.

Онъ началъ издалека. Ему хотѣлось прослѣдить источники современнаго движенія, уяснить сѣмена соціальныхъ задачъ въ революціи восемьдесятъ девятаго года, изучить законодательскую дѣятельность революціонныхъ собраній и особенно внимательно вдуматься въ факты открытаго соціальнаго характера, именно въ исторію бабувизма и французскихъ карбонаріевъ.

Бѣлинскій принялся читать *Исторію революціи* Тьера и, конечно, не могъ найти искомыхъ указаній. Стремительный бонапартистъ и представитель воинствующаго оппортюнизма менѣе всего могъ ввести русскаго читателя въ область демократическихъ стремленій XIX-го вѣка. Бѣлинскій нашелъ желаннаго историка въ лицѣ Луи Блана, поставившаго во главѣ угла своей исторіи прогрессъ демократіи. *Исторія десяти лѣтъ* очаровала Бѣлинскаго.

Анненковъ разсказываетъ:

«По возвращеніи моемъ въ 1843 году въ Петербургъ, почти первымъ словомъ, услышаннымъ мною отъ Бѣлинскаго, было восторженное восклицаніе о книгѣ Луи Блана: «Что за книга Луи

[157]) Анненковъ. *Воспомин. и критич. очерки.* III, Спб. 1881, стр. 70—1.

Блана!—говорилъ онъ. — Вѣдь этотъ человѣкъ намъ ровесникъ, а между тѣмъ, что такое я передъ нимъ, напримѣръ? Просто стыдно подумать о всѣхъ своихъ кропаніяхъ передъ такимъ произведеніемъ. Гдѣ они берутъ силы, эти люди? Откуда у нихъ является такая образность, такая проницательность и твердость сужденія, а потомъ такое мѣткое слово! Видно, жизнь государственная и общественная даютъ содержаніе мысли и таланту наиболѣе, чѣмъ литература и философія» [158]).

Въ этихъ словахъ звучало явно тяжелое чувство. Мысль Бѣлинскаго начинала задыхаться въ тѣсныхъ предѣлахъ искусства и литературной критики. Этому чувству не суждено было ни замереть, ни потускнѣть. Начиналась новая драма для вѣчно-жаждущаго духа, драма мысли и воли, мучительнѣйшая изъ драмъ. доступныхъ человѣческой природѣ. Бѣлинскій чувствуетъ себя будто приговореннымъ къ пожизненному заключенію и насильственному молчальничеству. Ему невыносимо больно, и онъ не смѣетъ издать крика, произнести даже слово, вѣрно опредѣляющее его боль и ея источникъ.

«Если бы знали вы,—говорилъ онъ Панаеву,—какое вообще мученіе повторять зады, твердить одно и то же все о Лермонтовѣ, Гоголѣ, Пушкинѣ, не смѣть выходить изъ опредѣленныхъ рамокъ,—все искусство да искусство! Ну, какой я литературный критикъ! Я рожденъ памфлетистомъ, и не смѣть пикнуть о томъ, что накипѣло на душѣ, отчего сердце болитъ».

А между тѣмъ враги Бѣлинскаго послѣ его смерти будутъ укорять его съ особеннымъ усердіемъ въ «докучной сказкѣ», въ «двѣнадцати статьяхъ о Пушкинѣ и «чуть ли» не въ «ста эпизодахъ о Лермонтовѣ и Гоголѣ», въ «безконечныхъ и утомительныхъ варьяціяхъ!» [159]).

Бѣлинскій, какъ всегда, пытался и въ статьяхъ выразить свою душевную тоску. Онъ съ горечью выражалъ подозрѣніе, что читателямъ литература давно уже кажется предметомъ «истощеннымъ и слишкомъ часто истощаемымъ». Критикъ увѣрялъ, что и онъ «не чуждъ этого прогресса», и что было бы несправедливо упрекать его «въ отсталости отъ духа времени». Но... «будемъ разсуждать о русской литературѣ!» заключалъ Бѣлинскій, и вновь начиналъ свою сказку, напрягая всѣ силы одушевить ее интересами времени [160]).

---

[158]) *Ib.*, стр. 72.

[159]) Погодинъ. *Москвитянинъ*, 1848 г., ч. IV.

[160]) *Русская литература въ 1844 году.* IX, 232.

Удавалось это съ величайшимъ трудомъ и только по счастливымъ случайностямъ. Бѣлинскій переживалъ лихорадочныя минуты при выходѣ каждой новой книги *Отечественныхъ Записокъ*. «Онъ съ какою-то жадностью бросался» на нее, «и дрожащей рукой разрѣзывалъ свои статьи, чтобы пробѣжать ихъ и посмотрѣть, до какой степени сохранился смыслъ ихъ въ печати. Въ эти минуты лицо его то вспыхивало, то блѣднѣло. Онъ отбрасывалъ отъ себя книжку въ отчаяніи, или успокоивался и приходилъ въ хорошее расположеніе духа, если не встрѣчалъ значительныхъ перемѣнъ и искаженій» [161]).

Но рѣдко дѣло кончалось такъ благополучно. Мы безпрестанно встрѣчаемъ въ письмахъ Бѣлинскаго такія, напримѣръ, восклицанія: «Святители! Изъ моей несчастной статьи вырѣзанъ весь смыслъ, ибо выкинута ровно половина», «статья не подгуляла бы, если бы цензура не вырѣзала изъ нея смысла и не оставила одной галиматьи», «статья страшно искажена... Чортъ возьми всѣ наши статьи да и всѣхъ насъ съ ними!»

Отчаяніе переходило въ самыя настоящія страданія, Бѣлинскій переживалъ «тяжелые дни». Оказывалось невозможнымъ хвалить императора Петра, говорить о Державинѣ, о Мицкевичѣ, о шапкѣ-мурмолкѣ, и именно самыя горячія статьи выходили «ошельмованными».

Какія опустошенія производились цензорскимъ карандашемъ можно приблизительно судить по напечатанной *статьѣ* о *Перепискѣ Гоголя* и ненапечатанному *письму* Бѣлинскаго къ Гоголю.

Противники критика и поклонники Гоголя-проповѣдника торжествовали: статья вышла «самая пустая», и они понимали почему: цензура не допустила Бѣлинскаго говорить о направленіи [162]). А между тѣмъ *письмо* о томъ же предметѣ до такой степени содержательно и внушительно, что впослѣдствіи нѣкоторые «петрашевцы», въ числѣ ихъ Достоевскій, были приговорены къ смертной казни только за распространеніе этого письма.

Здѣсь Бѣлинскій рѣзко и кратко перечислялъ «самые живые современные національные вопросы въ Россіи»: «уничтоженіе крѣпостного права, ослабленіе тѣлеснаго наказанія, введеніе, по возможности, строгаго исполненія хотя тѣхъ законовъ, которые уже есть».

---

[161]) Панаевъ, стр. 405—6.

[162]) Отзывъ А. О. Смирновой. Берсуковъ. VIII, 595.

Это—правительственная программа освободительныхъ реформъ, ясно сознанная властью еще раньше письма, и задушевнѣйшимъ желаніемъ Бѣлинскаго было обсуждать именно эти вопросы. Но на пути стояла непреодолимая стѣна и, благодаря ей, предъ нами въ сочиненіяхъ критика только блѣдное и куцое отраженіе его дѣйствительной мысли.

Оставалось обходными путями идти къ страстно-желанной цѣли, и Бѣлинскій неуклонно *хвалилъ* и *порицалъ писателей-художниковъ*, не имѣя возможности подробно объяснить основанія своихъ похвалъ и порицаній и ограничиваясь только общими соображеніями. Отъ читателей требовалась недюжинная проницательность, чтобы оцѣнить по достоинству часто едва намѣченную мысль критика.

XXXI.

Петербургская молодежь стояла на уровнѣ современныхъ соціальныхъ идей Франціи. Въ *Словарѣ иностранныхъ словъ*, изданномъ Петрашевскимъ и представлявшимъ философскую и политическую систему русскихъ соціальныхъ идеалистовъ сороковыхъ годовъ, конституціонный образъ правленія признавался «аристократіей богатства», т. е. буржуазнымъ строемъ.

Эта мысль—точное воспроизведеніе основного соціалистскаго воззрѣнія, выясненнаго у сенъ-симонистовъ. Несомнѣнно, имѣлась въ виду французская конституція, сначала хартія, октроированная Людовикомъ XVIII, потомъ основной законъ іюльской монархіи. По существу обѣ конституціи не противорѣчили другъ другу, одинаково утвержденные на высокомъ матеріальномъ цензѣ правящаго класса.

Въ результатѣ, французскій парламентъ превратился въ капиталистическую олигархію и политика его, при всей азартной оппозиціи партій разнымъ министерствамъ, не имѣла ничего общаго съ дѣйствительными интересами страны и народа.

Фактъ превосходно понимали въ Россіи и здѣсь вражда къ капиталу и его политическимъ привилегіямъ укоренялась не менѣе глубоко и искренне, чѣмъ на Западѣ. Бѣлинскій питалъ эту вражду, по обыкновенію, въ самой напряженной формѣ. Она не могла не отразиться въ его статьяхъ, какъ бы ихъ ни шельмовала цензура.

Критикъ не могъ открыто заявить своего сочувствія соціаль-

ному движенію, вызвавшему февральскую революцію, но неумолимо преслѣдовалъ будущихъ жертвъ этого движенія.

Разбирая «соціальный» романъ Эжена Сю, Бѣлинскій обрушивается на автора:

«Онъ желалъ бы, чтобъ народъ не бѣдствовалъ, и, переставъ быть голодною, оборванною и частью поневолѣ преступною чернью, сдѣлался сытою, опрятною и прилично ведущею себя чернью, а мѣщане, теперешніе фабриканты законовъ во Франціи, остались бы по прежнему господами Франціи, образованнѣйшимъ сословіемъ спекулянтовъ. Эженъ Сю показываетъ въ своемъ романѣ, какъ иногда сами законы французскіе безсознательно покровительствуютъ разврату и преступленію. И, надо сказать, онъ показываетъ это очень ловко и убѣдительно; но онъ не подозрѣваетъ того, что зло скрывается не въ какихъ-нибудь отдѣльныхъ законахъ, а въ цѣлой системѣ французскаго законодательства, *во всемъ устройствѣ общества*» [163]).

Подчеркнутыя нами слова, очевидно, пропущены цензурой по недостаточному вниманію или непониманію. Они, при всей краткости, выражали основной принципъ соціальной политики, равнодушный къ *политическимъ формамъ* и всецѣло направленный на *общественные устои*, т. е. на буржуазный капиталистическій феодализмъ новаго времени.

Бѣлинскому не всегда удавалось такъ опредѣленно выразить свою идею, тогда онъ разилъ врага въ лицѣ какого-нибудь другого *писателя-буржуа*, напримѣръ, Бальзака. Этотъ авторъ «вѣренъ моральному принципу выскочившаго въ люди богатаго мѣщанства», полная противоположность ему Жоржъ-Зандъ, «обвинитель, изобличитель и нравственная кара» современнаго французскаго общества. А «представители этого общества—набитые золотомъ мѣшки, пріобрѣтатели, люди, поклоняющіеся золотому тельцу»... [164]).

Читателямъ оставалось познакомиться съ романами Жоржъ-Зандъ и сдѣлать общій выводъ. Онъ былъ бы ничѣмъ инымъ, какъ философіей Пьера Леру, вообще, демократическимъ соціализмомъ.

Бѣлинскій понималъ политическое значеніе буржуазіи именно такъ, какъ его представляли соціальные политики на Западѣ.

---

[163]) IX, 18.

[164]) *Сочиненія Зенеиды Р—вой.* VII, 152. 1843 г.

Онъ ставитъ ее рядомъ съ дворянствомъ Людовика XV: и это сословіе и современная bourgeoisie, господствующая во Франціи, по мнѣнію критика, доказываютъ, что «меньшинство скорѣе можетъ выражать болѣе дурныя, нежели хорошія стороны національности народа» [165]).

Наконецъ, Бѣлинскому иногда удавалось провести задушевную идею съ нѣкоторой страстью, перенести ее на почву искусства, нравственности и даже религіи. При защитѣ натуральной школы, такъ кстати сказать доброе слово о «малыхъ сихъ», и критикъ говоритъ, ставя цѣль гораздо дальше вопросовъ литературы.

Прочтите, напримѣръ, его сравненіе образованнаго человѣка съ необразованнымъ, вы непремѣнно почувствуете «памфлетиста» больше, чѣмъ «литературнаго критика».

«Вы говорите,—обращается Бѣлинскій къ своимъ противникамъ,—что образованный человѣкъ выше необразованнаго. Съ этимъ нельзя не согласиться съ вами, но не безусловно. Конечно, самый пустой свѣтскій человѣкъ несравненно выше мужика, но въ какомъ отношеніи? Только въ свѣтскомъ образованіи, а это нисколько не помѣшаетъ иному мужику быть выше его, напримѣръ, со стороны ума, чувства, характера. Образованіе только развиваетъ нравственныя силы человѣка, но не даетъ ихъ: даетъ ихъ человѣку природа. И въ этой раздачѣ драгоцѣннѣйшихъ даровъ своихъ она дѣйствуетъ слѣпо, не разбирая сословій... Если изъ образованныхъ классовъ общества выходитъ больше замѣчательныхъ людей, это потому, что тутъ больше средствъ къ развитію, а совсѣмъ не потому, чтобы природа была для людей низшихъ классовъ скупѣе въ раздачѣ даровъ своихъ».

И дальше слѣдуетъ краснорѣчивое изображеніе человѣколюбія Искупителя, не различавшаго мудрыхъ и образованныхъ отъ простыхъ умомъ и сердцемъ, призвавшаго рыбаковъ быть «ловцами человѣковъ» [166]).

Къ тому же порядку идей принадлежитъ горячая проповѣдь Бѣлинскаго противъ холоднаго скептицизма, отсутствія какой бы то ни было дѣятельной нравственной вѣры. «Спокойные скептики», «абстрактные человѣки» — это «безпаспортные бродяги въ человѣчествѣ».

---

[165]) *Взглядъ на русскую литературу въ 1846 году.* XI, 41.
[166]) *Взглядъ на русскую литературу въ 1847 году.* XI, 348–9.

Согласно съ сенъ-симонистами Бѣлинскій скептицизмъ считаетъ признакомъ переходныхъ эпохъ, разложенія старыхъ основъ общества. Скептицизмъ въ такихъ случаяхъ—болѣзнь времени.

Критикъ не отрицаетъ скептицизма, очищающаго истину отъ лжи и заблужденій. Но такой скептицизмъ—свойство всѣхъ глубокихъ людей, онъ—жажда знанія, а не холодное отрицаніе.

Совершенно другое скептицизмъ, какъ щегольство, какъ модное платье. Оно по плечу только мелкимъ умамъ и ничтожнымъ душамъ. «Только маленькіе великіе люди, фокусники и потѣшники праздной толпы, только они сомнѣваются во всемъ легко и весело, забавляясь, а не страдая». Скептицизмъ сильныхъ умовъ, напротивъ, неудовлетворенное стремленіе къ истинѣ.

Бѣлинскій идетъ дальше тѣмъ же сенъ-симонистскимъ путемъ. Онъ требуетъ сильнаго чувства въ знаніи и разумнаго убѣжденія въ вѣрѣ. «Сознательная вѣра и религіозное знаніе»—единственные источники живой дѣятельности. Безъ нихъ воцаряется эгоизмъ и шутовство надъ священнѣйшими преданіями и стремленіями человѣчества [167]).

Намъ понятны всѣ конечные выводы этихъ положеній. Бѣлинскій одинаково не способенъ допустить самодовлѣющей чистой учености и безотчетнаго, хотя бы самаго идеальнаго увлеченія. Всякое знаніе должно непосредственно отражаться на поведеніи человѣка и его отношеніяхъ къ внѣшнему міру, всякая идея должна возвышаться до уровня религіознаго вѣрованія, т. е. убѣжденіе должно быть догматомъ практической жизни личности, истиной неподкупной и неустрашимой. «Теоретическая нравственность»—явленіе фарисейское, она совершенно ничтожна для оцѣнки человѣка. «Въ сферѣ теорій и созерцаній быть героемъ добродѣтели тысячу разъ легче, нежели въ дѣйствительности выслужить чинъ коллежскаго регистратора или, пообѣдавъ, почувствовать себя сытымъ» [168]).

Легко представить, чего стоило Бѣлинскому оставаться при «теоретической нравственности». И самая истина теряла для него смыслъ и значеніе. Что въ ней толку, «если ея нельзя популяризировать и обнародывать?—Мертвый капиталъ!..»

И Бѣлинскій безнадежно зачахъ въ жестокомъ противорѣчіи своей натуры съ поприщемъ своей дѣятельности. Герценъ еще за

---

[167]) *Рѣчь о критикѣ А. Никитенко.* — *Сочиненія Платона.* VI, 279, 460. Письмо у Пыпина. II, 307.

[168]) Статьи о Пушкинѣ. VIII' 461.

четыре года до смерти Бѣлинскаго мѣтко опредѣлилъ крестъ, лежавшій на его плечахъ.

«Энергія и невозможность дѣла,—писалъ Герценъ,—сломили его. Возможность внутренняя и невозможность внѣшняя превращаютъ силы въ ядъ, отравляющій жизнь; они загниваютъ въ организмѣ, бродятъ и разлагаютъ, отсюда взглядъ гнѣва и желчи, односторонность въ самомъ мышленіи. Бѣлинскій пишетъ: *я жидъ по натурѣ и съ филистимлянами за однимъ столомъ ѣсть не могу*»... [169]).

Герценъ, подобно всѣмъ друзьямъ Бѣлинскаго, понималъ развѣ только половину правды о немъ. Всѣ могли понять, когда и отчего Бѣлинскому становилось тяжело, но проникнуть въ нравственный и психологическій смыслъ тяготы оказывалось задачей неразрѣшимой. Не требовалось особенной проницательности усмотрѣть жестокую драму въ невозможности для писателя высказаться, но совсѣмъ другое дѣло—правильно оцѣнить манеру человѣка смотрѣть на практическое значеніе своей истины.

Бѣлинскій могъ сравнивать себя съ жидомъ, а своихъ противниковъ съ филистимлянами, но это не значило для него сознаваться въ слѣпой фанатической нетерпимости, а только характеризовало его рѣшительность въ борьбѣ за свою правду, его отвращеніе къ уступкамъ и сдѣлкамъ, его неспособность закрыть глаза на заблужденія хорошаго человѣка потому только, что онъ хорошій человѣкъ.

Герцену и Грановскому все это казалось нестерпимо-дикимъ и у нихъ даже существовала общая система для оправданія личныхъ благодушныхъ отношеній съ филистимлянами.

Пусть Аксаковъ доводитъ москвобѣсіе до высшей нелѣпости, но «нельзя же порвать такъ холодно связи многихъ лѣтъ. Дружба должна быть снисходительна и пристрастна, она должна любить лицо, а не идею».

Такъ разсуждалъ Герценъ, и Бѣлинскому при желаніи ничего не стоило изобличить друга въ софизмахъ и спросить у него, какими ухищреніями ему удавалось лицо отдѣлить отъ идеи, въ особенности когда этимъ лицомъ былъ самый цѣльный и послѣдовательный представитель москвобѣсія?

Грановскій поступалъ проще, не прибѣгалъ къ нравственнымъ соображеніямъ, а прямо ставилъ рядомъ «невообразимую» фило-

---

169) *Былое и думы.* I, 307.

софію славянофиловъ и личную симпатичность нѣкоторыхъ изъ нихъ, напримѣръ, Ивана Кирѣевскаго: «Я уважаю въ немъ благородство и независимость характера, соединенныя съ теплотою души», оправдывался Грановскій. Недуренъ и Петръ Кирѣевскій: «въ нихъ такъ много святости, прямоты вѣры, какъ я еще не видалъ ни въ комъ»,—восторгается обыкновенно очень сдержанный и остроумный профессоръ. И Грановскій готовъ съ радостью участвовать въ *Москвитянинѣ*, славянофильскомъ органѣ, если только редакторомъ будетъ Иванъ Кирѣевскій [170]).

Бѣлинскій рѣшительно не могъ понять ни этихъ чувствительностей, ни еще менѣе журнальнаго сотрудничества въ завѣдомо враждебномъ лагерѣ. Самъ Грановскій изложилъ воззрѣнія Кирѣевскихъ въ самомъ отчаянномъ тонѣ: Западъ сгнилъ, русская исторія испорчена Петромъ; вся мудрость человѣческая истощена въ твореніи св. отцовъ греческой церкви...

Это дѣйствительно филистимлянскій символъ вѣры сравнительно съ міросозерцаніемъ Грановскаго, и все-таки глубокое уваженіе Кирѣевскимъ и статьи ихъ журналу!

Какое впечатлѣніе такая «гуманность» могла производить на Бѣлинскаго? Герценъ разсказываетъ:

«Съ нашей стороны было невозможно заарканить Бѣлинскаго. Онъ слалъ намъ грозныя грамоты изъ Петербурга, отвергалъ насъ, предавалъ анаѳемѣ и писалъ еще злѣе въ *Отечественныхъ Запискахъ*».

Грановскій интересовался, читалъ-ли Бѣлинскій его статью въ *Москвитянинѣ*. Бѣлинскій отвѣчалъ Герцену: «Нѣтъ, и не буду читать; скажи ему, что я не люблю ни видѣться съ друзьями въ неприличныхъ мѣстахъ, ни назначать имъ тамъ свиданія» [171]).

Самого Герцена Бѣлинскій предупреждалъ, что отъ него попахиваетъ умѣренностью и благоразуміемъ житейскимъ, т. е. началомъ паденія и гніенія. И дальше слѣдовало жестокое издѣвательство надъ двоемысліемъ и недомысліемъ пріятеля касательно дикихъ, но удивительныхъ людей.

Игра не могла продолжаться безъ конца, Герцену и Грановскому пришлось склонить свои головы предъ «нетерпимостью» Орланда. «Бѣлинскій былъ правъ,—восклицаетъ Герценъ.—Грановскому приходится еще тѣснѣе. Ему приходится написать именно

---

170) *О. с.* II, 369, 381, 402, 259.

171) *Былое и думы.* I, 311, 307.

объ Иванѣ Кирѣевскомъ рѣчи, вполнѣ достойныя «неистоваго Виссаріона».

«Здѣшніе п... нарекли его русскимъ Златоустомъ. А этотъ Златоустъ смѣло говоритъ о необходимости изгнать изъ государства всѣхъ иновѣрцевъ, или, по крайней мѣрѣ, подчинить ихъ строгому надзору православной церкви. Изъ всей этой безобразной партіи только у Петра Кирѣевскаго и у Ивана Аксакова есть живая душа и безкорыстное желаніе добра». Всѣ остальные «Аксаковы, Самарины и братія противны» Грановскому, «какъ гробы. Отъ нихъ пахнетъ мертвечиною. Ни одной свѣтлой мысли, ни одного благороднаго взгляда. Оппозиція ихъ безплодна, потому что основана на одномъ отрицаніи всего, что̀ сдѣлано у насъ въ полтора столѣтія новѣйшей исторіи» [172]).

Да, Бѣлинскій былъ правъ! Только нѣсколько поздно это признаніе посѣтило умы его друзей.

И все-таки онъ—не ослѣпленный фанатикъ и не самообольщенный «учитель жизни». Онъ только не отдѣляетъ лица отъ идеи и всегда готовъ *ради идеи* пощадить *лицо*, а не наоборотъ, какъ это было у его пріятелей. И мы встрѣтимъ Бѣлинскаго въ станѣ словянофиловъ съ рѣчами мира: въ эту минуту мы можемъ твердо быть увѣрены, что во враждебномъ станѣ оказалось нѣчто истинное и благородное, независимо отъ привлекательности самихъ поиновъ.

Предъ нами теперь окончательно выяснились идеальные запросы Бѣлинскаго къ художественному таланту. Великъ этотъ талантъ, если изображаетъ дѣйствительность во всей ся правдѣ, но существуетъ еще высшая степень величія, когда талантъ *сознательно* живетъ интересами этой дѣйствительности, когда его вдохновеніе совпадаетъ съ его разумомъ, художникъ сливается съ гражданиномъ, поэтъ съ мыслителемъ и столь же непосредственно создаетъ о̀бразы, какъ и исповѣдуетъ идеалы.

Только при такихъ условіяхъ невозможны трагическія недоразумѣнія писателя съ самимъ собой, борьба его разсудка съ его геніемъ и достижима общественно-просвѣтительная не умирающая цѣль творчества.

Бѣлинскій убѣдился въ этихъ истинахъ на судьбѣ двухъ даровитѣйшихъ художниковъ русской литературы.

Критикъ съ величайшей любовью раскрылъ всѣ художествен-

---

[172]) Письмо изъ Москвы къ Кавелину отъ 2 окт. 1855 г. *О. с.* II, 456—7.

ныя достоинства поэзіи Пушкина, но долженъ былъ признать: «Пушкинъ поэтъ гораздо выше Пушкина мыслителя». Это доказывается отношеніемъ Пушкина къ внѣшнему міру: оно—чисто созерцательное, а не рефлектирующее. Поэту чуются диссонансы и противорѣчія жизни, производятъ даже на него впечатлѣніе страданія, но поэтъ смотритъ на нихъ «съ какимъ-то самоотрицаніемъ, какъ бы признавая ихъ роковую неизбѣжность, и не нося въ душѣ своей идеала лучшей дѣйствительности и вѣры въ возможность ея осуществленія». Въ пушкинской поэзіи нѣтъ духа анализа, нѣтъ страстнаго, полнаго вражды и любви мышленія,—то, что вдохновляетъ поэзію новаго времени. И съ теченіемъ времени отъ пушкинскаго таланта выигрывало искусство и мало пріобрѣтало общество. Можно объяснять эти результаты, но нельзя не признать, что Пушкинъ для нашего времени—слава историческая, и творчество его не стоитъ на уровнѣ съ нашимъ идеальнымъ представленіемъ о художникѣ. Школа Пушкина не можетъ уже произвести великаго поэта. Нельзя также ставить Пушкина рядомъ съ величайшими поэтами Запада.

Такая честь была бы законна, если бы въ нашемъ поэтѣ съ одинаковой глубиной и силой развились творчество и мысль, и если бы его поэзія выросла на почвѣ многовѣковой цивилизаціи.

Именно отсутствіе такой почвы и оправдываетъ во многомъ созерцательныя и примирительныя наклонности пушкинскаго вдохновенія. Бѣлинскій ни на минуту не забываетъ, чего стоитъ русское общество, хотя бы просвѣщенное и на видъ европейски развитое. Въ немъ неизмѣнно существуетъ непроходимая пропасть между жизнью и поэзіей. Личность, одаренная исключительными духовными силами и особенно художественнымъ талантомъ, осуждена на одиночество. Предъ ней одна часть общества спокойно тянетъ день за днемъ въ грязи и пошлости будней, другая—меньшинство—увлекается поэзіей, усиленно старается сблизить ее съ жизнью. Но въ самой дѣйствительности и среди общества нѣтъ никакого сродства съ поэзіей, остается брать ее исключительно изъ книгъ и удовлетворять запросы ума и сердца книжной пищей.

Это—благопріятнѣйшія условія для возникновенія всевозможныхъ Донъ-Кихотовъ мужского и женскаго пола. Идеальныя дѣвы кишатъ въ русской захолустной жизни, идеальные юноши, можно сказать—неотъемлемое богатство русскаго быта, и на каждомъ шагу геройствуютъ и страдаютъ Донъ-Кихоты любви, науки, литературы, убѣжденій...

Бѣлинскому, очевидно, и здѣсь удается высказать не все, что накипѣло у него на сердцѣ. Насчетъ Донъ-Кихотовъ убѣжденій онъ, несомнѣнно, распространился бы не меньше, чѣмъ о воспитаніи русскихъ барышень, и по поводу Евгенія Онѣгина набросалъ бы рядъ такихъ же жизненныхъ картинъ, какъ и по поводу Татьяны. Онъ показалъ бы, по личному опыту, что значитъ проводить въ русскую среду не идеальное чувство любви, а горячую вѣру ума, что значитъ писать статью, не зная участи каждой строчки еще до появленія въ свѣтъ и разсчитывая только на немногихъ избранныхъ даже послѣ всяческихъ мытарствъ. Но критикъ все это сохранилъ въ сердцѣ своемъ, зато рѣшился превратить Онѣгина въ одну изъ трагическихъ жертвъ русской дѣйствительности.

Эту идею слѣдуетъ признать однимъ изъ внушеній чисто личныхъ впечатлѣній критика, все равно, какъ раньше романтическую реабилитацію Ивана Грознаго. Малѣйшій проблескъ личности, едва уловимый намекъ на страданія ея по винѣ внѣшняго міра, и Бѣлинскій немедленно является во всеоружіи своего краснорѣчія на защиту *человѣка* противъ *стада*.

Онѣгинъ менѣе всего достоинъ благороднаго ратоборства критика, и сама же логика мститъ Бѣлинскому за донъ-кихотство. Онѣгинъ оказывается «эгоистомъ поневолѣ»; «въ его эгоизмѣ должно видѣть то, что древніе называли fatum». Но почему же тогда подвергается порицанію Пушкинъ, объясняющій эгоизмъ другой жертвы разочарованія—Алеко—«судьбами», т. е. тѣмъ же fatum'омъ?

Этого мало. Онѣгинъ ничего не дѣлаетъ и, очевидно, не способенъ ни къ какому дѣлу. Бѣлинскій не винитъ его, виновато общество. Оно лишено дѣйствительныхъ потребностей, вызывающихъ сильную личность на дѣло. И посмотрите, до чего договаривается донъ-кихотствующій адвокатъ въ своемъ стремительномъ гнѣвѣ на пошлость массы, адвокатъ одного изъ родныхъ дѣтищъ именно этой массы:

«Что̀ бы сталъ дѣлать Онѣгинъ въ сообществѣ съ такими прекрасными сосѣдями, въ кругу такихъ милыхъ ближнихъ? Облегчить участь мужика, конечно, много значило для мужика, но со стороны Онѣгина тутъ еще немного было сдѣлано. Есть люди, которымъ если удается что-нибудь сдѣлать порядочное, они съ самодовольствіемъ разсказываютъ объ этомъ всему міру, и такимъ образомъ бываютъ пріятно заняты на цѣлую жизнь. Онѣ-

гинъ же не изъ такихъ людей: важное и великое для многихъ, для него было не Богъ знаетъ чѣмъ».

И безъ поясненій ясно, сколько страннаго и неожиданнаго заключается въ этихъ соображеніяхъ! Облегченіе участи мужика выходило дѣломъ значительнымъ только для мужика! Конечно, не для Онѣгина; онъ, вѣдь, по словамъ поэта:

Чтобъ только время проводить,

задумалъ «порядокъ новый учредить». Благотворительность отъ скуки — одно изъ пошлѣйшихъ проявленій пошлыхъ существованій, и критикъ беретъ ее подъ свое покровительство. А между тѣмъ, онъ такъ энергически умѣлъ уничтожить «теоретическую нравственность» и героевъ грандіозныхъ плановъ и системъ! Чѣмъ же инымъ могли быть Онѣгины въ наилучшемъ случаѣ?

Въ той же самой статьѣ объ Онѣгинѣ Бѣлинскій заявляетъ: «благодатная натура не гибнетъ отъ свѣта вопреки мнѣнію мѣщанскихъ философовъ». Какъ же могъ погибнуть Онѣгинъ?

Критикъ имѣлъ законнѣйшее право клеймить пошлость общества, рѣзкими чертами рисовать ея разлагающее вліяніе на отдѣльныхъ личностей, даже утверждать, что «у насъ только геніальность спасаетъ человѣка отъ пошлости», но критику необходимо было осторожнѣе раздавать терновые вѣнки и не увѣнчивать одного изъ расовыхъ выразителей засасывающей стадности и нравственной дряблости. Пушкинъ въ этомъ случаѣ оказывался болѣе мыслителемъ: онъ не скрылъ ни одной изъ мелкихъ чертъ «московскаго Чайльдъ-Гарольда» и заключилъ романъ меньше всего патетическимъ аккордомъ, достойнымъ страдающей одинокой личности...

Увлеченіе Бѣлинскаго Онѣгинымъ естественно затуманило его взглядъ на Татьяну, и здѣсь онъ забылъ про сосѣдей и близкихъ, т.-е. забылъ вывести смягчающія обстоятельства изъ всей этой пошлости для характера и міросозерцанія Татьяны. Эстетическое тунеядство Онѣгина можно было оправдать, а великую правду Татьяны о психологіи онѣгинскаго чувства къ ней пришлось принести въ жертву ея *обществомъ* воспитанной идеѣ о супружескомъ долгѣ!..

Мы знаемъ разгадку этихъ противорѣчій. Когда человѣкъ задыхается, всякая струя болѣе свѣжаго воздуха вызываетъ у него радостный и благодарный откликъ. И мы раньше видѣли, какое чарующее и благотворное дѣйствіе производили на нашего

критика встрѣчи съ рѣзко-очерченными личностями въ жизни или въ литературѣ. Этотъ инстинктъ остался до конца, и даже Онѣгинъ могъ послужить благодарнымъ поводомъ для лишней вылазки противъ «гнусной дѣйствительности».

Этотъ порывъ не помѣшалъ Бѣлинскому дать безсмертную оцѣнку таланта Пушкина и въ исторію русской литературы вписать классическія страницы о классическомъ поэтѣ.

Гоголь вызвалъ у критика несравненно болѣе сильныя чувства. Онъ по природѣ и таланту былъ гораздо доступнѣе Пушкина «субъективности». Онъ это доказалъ многими лирическими «волнами» въ *Мертвыхъ душахъ*, напримѣръ, въ изображеніи судьбы двухъ писателей разнаго направленія.

И что же?

Именно этотъ человѣкъ, на комъ покоились высшія надежды критика, чье творчество было его настоящимъ и будущимъ, кто для его завѣтнѣйшихъ идей создалъ незабвенные образы, этотъ человѣкъ вздумалъ отречься отъ своего дѣла, не понять внушеній своего генія и призваніе общественнаго просвѣтителя смѣшать на роль усыпителя...

XXXII.

Исторія съ *Перепиской* Гоголя, безспорно, любопытнѣйшій эпизодъ во всей исторіи нашей общественной мысли. Нечего и говорить, до какой степени глубокая психологическая задача—уясненіе его, какъ одного изъ фактовъ чрезвычайно сложнаго нравственнаго міра писателя. Но не менѣе великъ интересъ и внѣшней судьбы *Переписки*. Здѣсь первостепенную роль играетъ нашъ критикъ.

Гоголь поразилъ прежде всего своихъ личныхъ друзей и восторженнѣйшихъ поклонниковъ своего таланта. Въ семьѣ Аксаковыхъ, гдѣ царствовалъ своего рода гоголевскій культъ, переписка вызвала междоусобицу. Отецъ, С. Т. Аксаковъ, не обинуясь объявилъ Гоголя сумасшедшимъ, призналъ его смерть, какъ художника, видѣлъ въ немъ «добычу сатанинской гордости». Аксаковъ шелъ дальше и открывалъ въ умѣпомѣшательствѣ Гоголя «много плутовства», въ общемъ сумашествіе выходило «и жалко, и гадко».

Эти мнѣнія почти тождественны впечатлѣніямъ Бѣлинскаго, вплоть до уликъ Гоголя въ плутовствѣ. Съ отцомъ соглашался Константинъ Аксаковъ и онъ самому Гоголю заявлялъ, что «важныя и еще болѣе важничающія письма» «далеко оттолкнули» его, Аксакова, отъ Гоголя, что ученіе его «ложное, лживое». И Аксаковъ не скрывалъ отъ другихъ своего негодованія, всюду разносилъ его по Москвѣ и тоже сообщалъ объ этомъ Гоголю.

За *Переписку* возсталъ Иванъ Аксаковъ и въ теченіе нѣкотораго времени велъ полемику съ отцомъ. Онъ въ письмахъ Гоголя находилъ «идеалъ художника-христіанина», упивался языкомъ, «торжественною важною тишиною» проповѣдей. Отецъ рѣзко останавливалъ восторги сына. Языкъ писемъ называлъ пошлымъ, сухимъ, вялымъ и безжизненнымъ, не могъ «безъ горькаго смѣха» слушать наставленіе Гоголя помѣщикамъ, «безъ отвращенія» его завѣщаніе...

Побѣда осталась на сторонѣ отца, и сынъ вскорѣ усмотрѣлъ въ книгѣ «много лжи и нелѣпицы, много скрытой гордости и самолюбія».

Погодинъ также убѣдился въ «помѣшательствѣ» и «гордости» Гоголя, тѣмъ болѣе, что Гоголь въ той же книгѣ нанесъ Погодину жестокое оскорбленіе, громогласно изобличивъ его въ писательскомъ неряшествѣ, въ легкомысленной торопливости сообщить читателямъ свои незрѣлыя мысли, въ безплодности его тридцатилѣтней муравьиной работы.

Погодинъ, по его словамъ и по свидѣтельству Шевырева, жестоко «огорчился до глубины сердца» и «горько плакалъ» и затѣмъ написалъ Гоголю:

«Другъ мой, Іисусъ Христосъ учитъ насъ подставлять правую ланиту, получивъ пощечину въ лѣвую, но гдѣ же учитъ онъ давать публично оплеухи?»

С. Т. Аксаковъ написалъ Гоголю: «я не вѣрилъ глазамъ своимъ, что вы, разставаясь съ міромъ и со всѣми его презрѣнными страстями, позорите, безчестите человѣка, котораго называли другомъ и который точно былъ вамъ другъ, но по своему» [173]).

Гоголь одумался и сообщилъ Погодину, что онъ напишетъ другую статью *о достоинствѣ сочиненій и литературныхъ трудовъ Погодина*. Но обѣщаніе осталось невыполненнымъ и странный

---

[173]) *О перепискѣ* Гоголя разсказано въ *Исторіи моего знакомства съ Гоголемъ*, С. Т. Аксакова. Москва. 1890, стр. 155 etc.

способъ практиковать христіанское смиреніе сохранился въ *Переписке* во всемъ неподражаемомъ блеске.

Душевный недугъ, несомненно, действовалъ здесь на первомъ плане, но идея о лжи, ненатуральности, не истинности Гоголя не ограничилась впечатленіями Сергея и Константина Аксаковыхъ [174]). Грановскій задолго до появленія *Переписки* отметилъ въ Гоголе именно те черты, какія возмутили Аксаковыхъ: «много претензій, манерности, что-то неестественное во всехъ пріемахъ» [175]). Только А. Смирнова осталась непреклонной и своими восторгами продолжала растлевать недугъ писателя, фактъ, не имевшій никакого положительнаго значенія для современнаго общественнаго значенія, но весьма существенный въ судьбе Гоголя.

Белинскій могъ быть довольнымъ и вместе съ Боткинымъ привететствовать существованіе твердаго *направленія* въ русской литературе: *Переписка* встречала единогласное осужденіе [176]). Но критикъ не могъ удовлетвориться столь скромнымъ торжествомъ. «Гнусная книга» взволновала все его существо. Еще никогда такъ мучительно не поднималось противоречіе личнаго стремленія и внешней возможности выполнить его. И Белинскій именно по этому случаю далъ особенно резкое определеніе своей душевной драме: «природа осудила меня лаять собакою и выть шакаломъ, а обстоятельства велятъ мурлыкать кошкою, вертеть хвостомъ по лисьи». Статья, мы знаемъ, не позволила, «зажмуривъ глаза, отдаться негодованію и бешенству». Гоголь дорожилъ мненіемъ Белинскаго, но, подобно Пушкину, не решался вступить съ нимъ въ открытыя дружескія отношенія. Личныя связи автора *Мертвыхъ душъ* были на стороне барей-славянофиловъ и просто барей: здесь не находилось места неистовому плебею.

Но это непреодолимое обстоятельство не мешало Гоголю пользоваться услугами Белинскаго по изданію *Мертвыхъ душъ* и пересылать ему «письмецо» по поводу его статьи о *Переписке*.

Со многими мыслями этого «письмеца» согласились бы, наверное, даже и те, кого возмущала *Переписка*: Белинскій выходилъ

[174]) Напримеръ, не лишенъ интереса отзывъ кн. П. Вяземскаго: «Въ Гоголе много истиннаго, но онъ самъ не истиненъ; много натуры, но онъ самъ не натураленъ; много здраваго, добраго, но онъ самъ болезненъ: былъ таковымъ прежде, таковъ и ныне». Барсуковъ. VIII, 558—9.

[175]) Письмо къ Станкевичу отъ 12 февр. 1840 г. *О. с.* II, 384.

[176]) Письмо Боткина къ Анненкову отъ 28 февр. 1848 г. *Анненковъ и его друзья*. Спб. 1892, стр. 529.

просто «раздраженнымъ» человѣкомъ, по существу неспособнымъ хладнокровно вдуматься въ предметъ своего суда.

Въ отвѣтъ послѣдовало знаменитое письмо Бѣлинскаго.

Онъ жилъ въ это время въ Зальцбруннѣ, безплодно стараясь возстановить свое въ конецъ разбитое здоровье, и письмо Гоголя упало на нервно-раскаленную почву, и Бѣлинскій далъ волю своему перу, не боясь цензуры и не щадя противника.

Письмо не только одинъ изъ самыхъ яркихъ эпизодовъ въ жизни критика,—оно историческій фактъ для всего русскаго общества Первый критикъ своего времени возставалъ противъ своего любимѣйшаго писателя, любимѣйшаго какъ «надежды, чести славы своей страны», какъ «одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія и прогресса», и теперь ненавистнаго, *лично-ненавистнаго*, какъ безумнаго проповѣдника тьмы, неподвижности, и рабства. До сихъ поръ ни въ одной литературѣ нѣтъ примѣра, гдѣ бы человѣкъ и гражданинъ слились въ такомъ подавляющемъ паѳосѣ идеи и страсти, гдѣ бы отдѣльная личность съ такой глубиной и мукой пережила общую утрату какъ свое кровное лишеніе.

Бѣлинскій и теперь продолжаетъ именовать Гоголя «великимъ писателемъ», «геніальнымъ человѣкомъ», и тѣмъ воинственнѣе его гнѣвъ на «позорныя строки». Онъ становится безпредѣльнымъ, когда вопросъ касается крѣпостного народа, его свободы и благоденствія. Очевидно, это старая наболѣвшая рана этого рыцарскаго сердца, и малѣйшее прикосновеніе къ ней заставляетъ Бѣлинскаго горѣть молніями гнѣва и презрѣнія.

И въ то же время какая чисто-религіозная вѣра въ свою родину, въ ея будущее, даже въ русскую публику, въ «инстинктъ истины» у русскаго человѣка! Книга Гоголя «позорно провалилась сквозь землю»,—развѣ это не фактъ общественнаго самосознанія? Развѣ это не свидѣтельство «свѣжаго здороваго чутья» у русской публики? Пусть все это будетъ въ зародышѣ, но, несомнѣнно, у такого общества есть будущность.

Бѣлинскій на нѣсколькихъ страницахъ умѣлъ захватить всѣ общественныя отношенія дореформенной Россіи, бросить огненное слово обо всѣхъ назрѣвшихъ вопросахъ современности, и въ общемъ представить, за всѣми этими идеями и страстными рѣчами, свой поразительно-яркій и могучій образъ. Письмо останется незабвеннымъ въ національныхъ преданіяхъ русскаго народа, какъ правдивая страница прошлой дѣйствительности, какъ искренняя испо-

вѣдь жизнедѣятельнаго идеализма, какъ нерукотворный памятникъ одного изъ вѣрнѣйшихъ сыновъ Россіи [177]).

Гоголь отвѣчалъ Бѣлинскому кратко и смиренно: «Что мнѣ отвѣчать!—писалъ онъ,—Богъ вѣсть, можетъ быть, въ словахъ вашихъ есть часть правды». Здѣсь стояло и превосходное опредѣленіе врага, брошенное съ укоризной, но на самомъ дѣлѣ—почетное и правдиво: «рыцарь прошедшихъ временъ»... Такъ именовалъ Гоголь Бѣлинскаго, оставляя, къ сожалѣнію, неопредѣлимой противоположность этому образу.

Въ бумагахъ Гоголя сохранились клочки другого письма—не посланнаго и разорваннаго. Его позаботились возстановить и оно дѣйствительно гораздо вразумительнѣе перваго посланія. Здѣсь весьма основательно выражался взглядъ на совершеннаго русскаго критика и русскаго обывателя: одинъ долженъ показывать читателямъ красоты въ твореніяхъ писателей, другой—примиряться съ жизнью и благословлять все въ природѣ. Но поучительными тихими рѣчами Гоголь не желалъ ограничиться, ни въ *Перепискѣ*, ни во второмъ томѣ *Мертвыхъ душъ*, ни въ отвѣтѣ Бѣлинскому. Смиренный, всепрощающій христіанинъ вдругъ сталкивался съ покаяннаго пути чрезвычайно надменнымъ и злобнымъ полемистомъ и тогда рядомъ съ вылазками на критиковъ и друзей въ «Перепискѣ», съ памфлетомъ на «рѣзкаго направленія недоучившагося студента», писались такія увѣщанія:

«Нельзя судить о русскомъ народѣ тому, кто прожилъ вѣкъ въ Петербургѣ, безпрестанно занятый легкими журнальными статейками французскихъ романистовъ».

Или:

«Вспомните, что вы учились кое-какъ, не кончили даже университетскаго курса. Вознаградите это чтеніемъ большихъ сочиненій, а не современныхъ брошюръ, писанныхъ разгоряченнымъ умомъ, совращающимъ съ прямаго взгляда» [178]).

Раздраженіе Гоголя вполнѣ естественно. Ему пришлось защищаться одновременно и отъ «словенистовъ и европеистовъ», какъ на его языкѣ назывались «славянофилы и западники». Всѣ вдругъ впали въ «излишества». Онъ въ началѣ попытался было стать выше партій, объявилъ спорящія стороны одинаково «каррикатурами

---

[177]) Письмо почти въ полномъ видѣ напечатано въ *Мірѣ Божьемъ*, май, 1897.

[178]) Перепечатано тамъ же, стр. 614 etc.

на то, чѣмъ хотятъ быть» и уличилъ всѣхъ въ незрѣлости и слѣпотѣ.

Такой критическій полетъ не могъ имѣть успѣха: самому Гоголю нечего было сказать зрѣлаго и опредѣленнаго для приведенія партій къ согласію и взаимному пониманію. Онъ достигъ только одного: обидѣлъ «словенистовъ» и не завоевалъ «европеистовъ».

Всѣмъ было ясно, что *Переписка* тяготѣетъ къ Востоку, и Боткинъ и Бѣлинскій, не сговариваясь другъ съ другомъ, выразили тождественныя впечатлѣнія. Боткинъ удивлялся, почему славянская партія отказывается отъ Гоголя изъ-за *Переписки*, «сама натолкнувъ его на эту дорогу?» Бѣлинскій писалъ еще энергичнѣе;

«Славянофилы... напрасно на него сердятся. Имъ бы вспомнить пословицу: неча на зеркало пенять, коли рожа крива. Они... трусы, люди не консеквентные, боящіеся крайнихъ выводовъ собственнаго ученія, а онъ человѣкъ храбрый, которому нечего терять» [179]).

Бѣлинскому не въ первый разъ приходилось сталкиваться съ непримиримыми противорѣчіями славянофильскаго толка, и все изъ-за того же Гоголя. Авторъ *Мертвыхъ душъ* не напечаталъ ни строки въ *Отечественныхъ Запискахъ*, водилъ хлѣбъ-соль только съ славянофилами, *Москвитянинъ* былъ его литературнымъ органомъ въ такой же мѣрѣ, какъ и всей славянофильской партіи. И онъ именно среди этой партіи встрѣтилъ необузданные восторги, далеко оставлявшіе за собой критику Бѣлинскаго.

Чаадаевъ даже всѣ изъяны *Переписки* относилъ не лично къ Гоголю, а къ его московскимъ друзьямъ.

«Тамъ въ Москвѣ,—писалъ Чаадаевъ,—сталъ нуженъ человѣкъ, котораго бы могли поставить на-ряду съ великанами духа человѣческаго, съ Гомеромъ, Дантомъ, Шекспиромъ и выше всѣхъ прочихъ писателей настоящаго и прошлаго времени. Этихъ поклонниковъ я знаю коротко; я ихъ люблю и уважаю; они люди умные, люди хорошіе; но имъ надобно во что бы то ни стало возвысить нашу скромную, богомольную Русь надъ всѣми странами въ мірѣ, имъ непремѣнно надобно себя и другихъ въ томъ увѣрить, что мы призваны быть какими-то наставниками народовъ. Вотъ и нашелся на первый случай такой маленькій настав-

---

179) *Анненковъ и его друзья*, стр. 529. Пыпинъ. II, 271.

никъ; вотъ они и стали ему про это твердить на разные голоса, а онъ имъ повѣрилъ» [180]).

Положимъ, Гоголю и отъ природы было дано не мало страсти попасть въ положеніе учителя, проповѣдника, вообще руководителя неразумными смертными и онъ еще въ ранней молодости снабжалъ свою семью поученіями и выспренними изрѣченіями. Но Чаадаевъ правъ въ изображеніи славянофильскихъ ухаживаній за Гоголемъ.

Но вѣдь Гоголь, какъ художникъ, представитель натуральной школы. А школа эта—бѣльмо на аристократическихъ глазахъ воспитанныхъ «словенистовъ» и ученыхъ профессоровъ, въ родѣ Юрія Самарина и Шевырева. О Самаринѣ Бѣлинскій выражался, что онъ «не лучше Булгарина по его отношенію къ натуральной школѣ» [181]), а Шевыревъ во снѣ и на яву видѣлъ свѣтское изящество и эстетику итальянскаго возрожденія, писалъ нарочитыя статьи противъ «западной» школы и находилъ полное сочувствіе у Погодина [182]). *Москвитянинъ* вообще служилъ пріютомъ для всѣхъ враговъ натуральнаго направленія...

И послѣ всего этого—культъ Гоголя!

Бѣлинскій неоднократно указывалъ на это вопіющее недоразумѣніе. Славянофильская критика пыталась выйти изъ затрудненія, приписывая русской натуральной школѣ родство съ французской словесностью и усиливаясь открыть разницу между Гоголемъ и натурализмомъ. Всѣ старанія оставались безплодными и славянофилы бились въ собственныхъ тенётахъ [183]).

Очевидно, что-то неладное происходило одновременно и въ эстетикѣ, и въ политикѣ славянофильскаго лагеря. Обѣ области тѣсно примыкали другъ къ другу въ одномъ вопросѣ, великомъ одинаково и въ искусствѣ, и въ общественной жизни—въ вопросѣ о *народности*.

Отношенія Бѣлинскаго къ славянофильскимъ ученіямъ—послѣдняя глава въ исторіи его духовнаго развитія. Борьба съ принципіальными старыми противниками захватила всѣ многообразные умственные и художественные интересы, какими жилъ Бѣлинскій. Именно здѣсь его мысль и слово вступили въ вожделѣнную область живой общественной политики, и, слѣдовательно, скорѣе чѣмъ въ

180) У Барсукова. VIII, 578.

181) Письмо Бѣлинскаго къ Кавелину, *Русская Мысль*, 1892, январь.

182) Напримѣръ, въ № 1 1848 года. О Погодинѣ—Барсуковъ. IX, 391.

183) *Отвѣтъ Москвитянину. — Взглядъ на русскую литературу въ 1847 году*. XI, 227, 246, 328.

другихъ случаяхъ наталкивались на «внѣшнюю невозможность». И все-таки Бѣлинскій съумѣлъ написать вполнѣ точное и вразумительное завѣщаніе по важнѣйшимъ вопросамъ современнаго идейнаго движенія и по существу разрѣшить одну изъ сложнѣйшихъ задачъ позднѣйшей русской публицистики.

Эта борьба броситъ заключительный свѣтъ на незабвенное дѣло Бѣлинскаго и дорисуетъ намъ окончательно избранный образъ борца за разумъ и правду.

XXXIII.

Борьба Бѣлинскаго съ славянофильствомъ принадлежитъ къ самымъ спорнымъ и запутаннымъ вопросамъ въ исторіи идейнаго развитія критика. На первый взглядъ вопросъ представляетъ два совершенно непримиримыхъ звѣна: одно—чрезвычайно рѣзкія отрицательныя чувства, другое—вполнѣ благосклонный разборъ славянофильскихъ воззрѣній и даже признаніе славянофильскихъ заслугъ предъ русской общественной мыслью.

Признаніе высказано Бѣлинскимъ незадолго до смерти и, несомнѣнно, съ теченіемъ времени получило бы дальнѣйшее оправданіе и развитіе. Но голосъ критика замолкъ и предъ нами остались, съ одной стороны, ядовитыя нападки на примирительное слабодушіе московскихъ западниковъ, съ другой — похвальная рѣчь въ честь именно той секты, съ какой Бѣлинскій не могъ допустить ни сдѣлокъ, ни уступокъ.

Какъ объяснить этотъ фактъ?

Отвѣтъ можно дать очень простой и не лишенный убѣдительности. Смѣна идей у Бѣлинскаго—явленіе обычное. Если шиллеризмъ могъ быть замѣненъ гегельянствомъ, а гегельянство уступило мѣсто неистово-страстнымъ инстинктамъ борьбы, отчего же не повториться подобному приключенію и въ области чисто-партійныхъ счетовъ?

Преданія о томъ, какъ были приняты благосклонные отзывы Бѣлинскаго о славянофилахъ его ближайшими сподвижниками, совпадаютъ съ извѣстіями о впечатлѣніяхъ редакціи *Отечественныхъ Записокъ*, когда въ журналѣ послѣ бородинскихъ статей стали появляться проповѣди въ совершенно другомъ духѣ. Теперь изумляться и огорчаться пришлось издателямъ *Современника*.

Намъ разсказываютъ: «редакція много роптала на статью съ такой странной, небывалой тенденціей въ петербургско-западни-

ческой печати и которой она должна была открыть свой новый органъ гласности» [184]).

И, несомнѣнно, будь на мѣстѣ Бѣлинскаго другой критикъ, ни Краевскій, ни Панаевъ съ Некрасовымъ, не потерпѣли бы такого разочарованія. Вся программа *Современника*, только что пріобрѣтеннаго у Плетнева, сосредоточивалась на двухъ задачахъ — на защитѣ новой литературы обличенія и на борьбѣ съ славянофильской партіей. И вдругъ, руководящая статья отводитъ славянофиламъ почетное мѣсто среди просвѣтителей русскаго общества!

Это впечатлѣніе головокружительнаго прыжка осталось и позже. Бѣлинскій вписалъ въ свою біографію лишній эпизодъ, по обыкновенію блещущій искренностью, но не свидѣтельствующій о послѣдовательности и вдумчивости ума. Были даже попытки объяснить новое приключеніе новыми внѣшними вліяніями, именно разсужденіями молодого критика Валерьяна Майкова, занявшаго мѣсто Бѣлинскаго въ *Отечественныхъ Запискахъ* [185]).

Самъ Бѣлинскій личными признаніями давалъ поводъ смотрѣть на свои чувства къ славянофиламъ, какъ на неожиданную новость. Ему приходится наталкиваться на дѣльныя мысли въ славянофильскихъ статьяхъ, напримѣръ, въ статьѣ Юрія Самарина о *Тарантасѣ* гр. Соллогуба: Бѣлинскому понравилась казнь, совершенная критикомъ надъ аристократическими замашками беллетриста и онъ прибавляетъ:

«Это убѣдило меня, что можно быть умнымъ, даровитымъ и дѣльнымъ человѣкомъ, будучи славянофиломъ».

По поводу встрѣчи съ Иваномъ Аксаковымъ тѣ же настроенія и съ очень краснорѣчивой оговоркой: «Я впадаю въ страшную ересь и начинаю думать, что между славянофилами дѣйствительно могутъ быть порядочные люди. Грустно мнѣ думать такъ, но истина впереди всего!» [186]).

Точный смыслъ этихъ словъ тотъ же, какой заключался и въ проклятіяхъ Бѣлинскаго на гегельянство и въ провозглашеніи своего революціоннаго перехода въ другое вѣроисповѣданіе... Но мы могли убѣдиться, сколько страстнаго *моментнаго* увлеченія было въ крѣпкихъ рѣчахъ критика, какая неразрывная органи-

---

[184]) Анненковъ. *Воспомин. и критич. очерки*. III, 149.

[185]) Скабичевскій. *Сорокъ лѣтъ русской критики*. Сочиненія. Спб. 1890 I, 473.

[186]) Письма изъ поѣздки Бѣлинскаго въ Крымъ, лѣтомъ 1846 года. Пыпинъ II, 261—2.

ческая связь проходила по его, будто бы, непримиримымъ идейнымъ увлеченіямъ, сколько задатковъ борьбы съ «гнусной дѣйствительностью» таилось подъ потокомъ стремительныхъ пѣснопѣній въ честь этой самой дѣйствительности.

Мы раньше должны были ограничить безусловно-историческое значеніе заявленій Бѣлинскаго о пережитыхъ имъ нравственныхъ опытахъ и, въ разрѣзъ съ его свидѣтельствами, ввести въ болѣе тѣсные предѣлы незаслуженно прославленныя вліянія его товарищей на его умъ и міросозерцаніе. Подобная задача предстоитъ намъ и въ исторіи славянофильскихъ преобразованій Бѣлинскаго.

Прежде всего, въ высшей степени оригинально положеніе самого предмета, вызвавшаго столь, повидимому, противорѣчивыя чувства у нашего критика. Въ ряду всевозможныхъ чисто философскихъ и общественныхъ системъ Запада и Россіи трудно указать школу или направленіе, создавшее и навсегда оставившее за собой столь смутныя впечатлѣнія, какъ славянофильство. Можно подумать, друзья и враги судили не о новой вполнѣ исторической и вполнѣ откровенной партіи, а о какихъ-то темныхъ отрывкахъ темнаго преданія. До такой степени разнымъ умамъ различно представлялись достоинства и самыя существенныя стороны славянофильскаго толка! Онъ, въ лицѣ своихъ краснорѣчивѣйшихъ представителей, завѣщалъ потомству цѣлую библіотеку откровеній по всѣмъ вопросамъ нравственности и общежитія, начиная съ религіи и кончая экономической политикой. И въ результатѣ, роковой туманъ до сихъ поръ не разсѣянъ и позднѣйшимъ витязямъ школы все еще приходилось едва ли не по всякому случаю начинать рѣчь съ самаго корня и вести ее въ тонѣ учителя, безпомощно изнывающаго надъ объясненіемъ трудной теоремы предъ неподготовленной и скептической аудиторіей.

Именно въ этой роли оказался Иванъ Аксаковъ, послѣдній столпъ и хранитель вѣры. Появилась статья *въ защиту* славянофильства. Авторъ, повидимому, совершенно искренне выполнялъ свой трудъ, ожесточенно нападалъ на недомысліе и злоумышленія западниковъ, рисовалъ привлекательные, отчасти даже величественные, хотя и архаическіе образы славянофиловъ-патріотовъ, въ родѣ новаго отца церкви Хомякова, «ветхопещерника» Петра Кирѣевскаго, благороднаго идеалиста Константина Аксакова, устанавливалъ чрезвычайно лестную противоположность славянофиловъ и западниковъ: одни представляли идею общественной самодѣя-

тельности, другіе ожидали всѣхъ благъ отъ просвѣщенной правительственной власти [187]).

Казалось бы, все благополучно, по крайней мѣрѣ въ общемъ, и личная нравственность, и общественная политика славянофиловъ поставлены на исключительную высоту, и притомъ публицистомъ, «слишкомъ долго» принадлежавшимъ къ «славянофильской дружинѣ».

Такъ поспѣшилъ заявить Иванъ Аксаковъ, и отнюдь не въ похвалу, а съ цѣлью съ особенной ядовитостью подчеркнуть преднамѣренныя извращенія автора.

Оказывалось, онъ почти ничего не понялъ въ славянофильскомъ ученіи, или умышленно перетолковалъ. По объясненію Аксакова, основная словянофильская идея—*народность*. «Около этого термина, какъ около центра,—говоритъ онъ,—группировалась вся борьба и ожесточенно ломались копья въ теченіе чуть не двадцати лѣтъ». Авторъ статьи ни разу даже не употребилъ этого термина. Народность славянофилы возвели на степень «философскаго принципа», устами Хомякова признали ее «необходимымъ орудіемъ истиннаго просвѣщенія». Дальше, «основное начало русской народности» словянофилы видѣли въ православіи и находили въ немъ «иныя просвѣтительныя начала, начала высшей цивилизаціи, чѣмъ тѣ, которыми жила и которыя уже почти изжила Западная Европа».

Эта идея развивалась до крайняго предѣла и приводила къ выводу, что сама русская народность получала смыслъ «просвѣтительнаго органа» только въ зависимости отъ проникновенія духомъ православія.

Слѣдовательно, славянофильскіе философы являлись сначала церковными и религіозными наставниками, а потомъ уже философами и публицистами, на первомъ планѣ—община вѣрующихъ, а потомъ—гражданское общество. Толкованіе вполнѣ опредѣленное. и вотъ до него-то не додумался защитникъ славянофильства, не смотря на свои многолѣтнія связи съ его дружиной. За эту слѣпоту или злой умыселъ онъ подвергся тяжкому обвиненію въ недобросовѣстности [188]).

Но, при всей энергіи и торжествующей надменности тона Аксакова, вопросъ оставался все-таки неразрѣшеннымъ. Повторять

[187]) *Русскій Архивъ* 1873 года, *Славянофилы. Историко-критическій очеркъ* Э. Мамонова, стр. 2493 etc.

[188]) *Письмо* Аксакова, тамъ же, стр. 2508 etc.

тысячи разъ можно какіе угодно термины, не возбраняется и совершать съ ними всяческія комбинаціи, но достоинство дѣла требуетъ не диктаторскихъ возгласовъ, а спокойныхъ, вразумительныхъ объясненій, не таинственныхъ формулъ, а послѣдовательнаго и доказательнаго анализа—и терминовъ, и ихъ сочетаній.

Хомяковъ, по выраженію издателя его богословскихъ сочиненій, «жилъ въ церкви» и всю жизнь пребывалъ вѣрнымъ сыномъ православія,—эта ссылка Аксакова убѣдительна только для личной характеристики Хомякова, какъ человѣка религіознаго. Другіе славянофилы не были одарены такой искренностью, и тѣмъ не менѣе, горячо исповѣдывали догматъ народности. Какая же *необходимая* связь между религіозными чувствами и общественными идеями славянофиловъ? Какимъ путемъ *народность* могла быть создана извѣстнымъ *вѣроисповѣданіемъ* и почему именно русскую народность создало православіе, а не греческую или иную, принявшую ту же церковь? Не унижаетъ ли это представленіе *національной* сущности русскаго племени, не отрицаетъ ли оно у этого племени самобытной духовной организаціи, свойственной каждому народу, независимо отъ извнѣ воспринятой религіи?

Для ясности вопроса можно провести яркую историческую параллель. Католичество когда-то владѣло всѣми народами западной Европы и одинаково властно тяготѣло надъ ихъ нравственной и матеріальной жизнью. Реформація освободила отъ этого господства германскія націи и только частью коснулась романскихъ, и то не всѣхъ. Какъ объяснить этотъ фактъ? Одно изъ нагляднѣйшихъ объясненій—болѣе глубокіе и самостоятельные національные инстинкты германской расы. Именно эта сила, независимая отъ историческихъ условій, вызвала протестъ противъ римской церкви, ея догматовъ и ея іерархіи. А между тѣмъ, въ глазахъ Рима средневѣковая Германія и душой, и тѣломъ сливалась съ лономъ католичества и была немыслима безъ благословеній папы.

Не приближались ли славянофилы къ такому же средневѣковому воззрѣнію, усиливаясь отожествить два совершенно различныхъ явленія и рискуя поставить себя въ очень ложное положеніе—искусственно устанавливать связь своего культурнаго нравственнаго міра съ непосредственными вѣрованіями и обычаями народа?

Въ дѣйствительности, по крайней мѣрѣ, широковѣщательный догматъ влекъ къ менѣе всего почтеннымъ фактамъ. Они одновременно напоминали и о темнотѣ совсѣмъ недобраго стараго времени, и о лживой политикѣ апостоловъ новой культурной вѣры.

Чистота намѣреній и личностей нѣкоторыхъ московскихъ славянофиловъ безпрестанно омрачались или фанатическими идеями, или мелочными и недостойными поступками. Отсюда противорѣчивыя впечатлѣнія, какія славянофильская среда производила на умѣреннѣйшихъ западниковъ. Мы слышали отъ Грановскаго самые пестрые отзывы о братьяхъ Кирѣевскихъ. Гуманному и образцово-терпимому профессору приходилось прибѣгать къ оговоркамъ и смягченіямъ, обращаться къ чувствительности своихъ друзей, рисовать симпатичныя фигуры рядомъ съ отталкивающими идеями. То же самое бремя лежало и на Герценѣ, близкомъ пріятелѣ Константина Аксакова.

Самый мирный западчикъ Боткинъ, равнодушный къ глубокимъ пріятельскимъ чувствамъ, предпочиталъ иронію и судилъ безъ всякихъ ограниченій и вполнѣ трезво межеумочное положеніе славянофиловъ.

«Оторванные своимъ воспитаніемъ,—писалъ онъ,—отъ нравовъ и обычаевъ народа, они дѣлаютъ надъ собою насиліе, чтобъ приблизиться къ нимъ, хотятъ слиться съ народомъ искусственно». И дальше слѣдуютъ иллюстраціи.

Въ семьѣ Аксаковыхъ не ѣдятъ телятины, ходятъ къ обѣднѣ и ко всенощной, наряжаются въ русское платье, въ мурмолку, преслѣдуютъ жестокими укоризнами молодыхъ людей, посѣщающихъ театръ по субботамъ, Иванъ Кирѣевскій возмущается шуточными письмами Соловьева на славянскомъ языкѣ, потому что это языкъ св. писанія [189]).

Много лѣтъ спустя столь же умѣренный западникъ вознамѣрился отдать отчетъ о славянофильскомъ движеніи и во главѣ своихъ статей заявилъ о тѣхъ же противорѣчіяхъ, распространенныхъ среди «большинства». Оно представляетъ славянофильство «странной смѣсью глубокихъ мыслей, взглядовъ и стремленій съ смѣшными причудами, съ бросающимися въ глаза нелѣпостями, глубокой вѣры съ святошествомъ и суевѣріями, требованій свободы гражданской и общественной съ національнымъ изувѣрствомъ и грубымъ посягательствомъ на несомнѣнныя права, вѣротерпимости съ религіознымъ фанатизмомъ, просвѣтительныхъ и прогрессивныхъ идей съ обскурантизмомъ и реакціонерными замашками. Гдѣ же и въ чемъ правда? Откуда могли взяться такія вопіющія противорѣчія въ одномъ и томъ же ученіи?» [190]).

[189]) Письмо къ Анненкову. *Анненковъ и его друзья*, стр. 539.

[190]) Кавелинъ. *Московскіе славянофилы сороковыхъ годовъ. Сѣверный Вѣстникъ*. 1878 г., № 20.

Благосклонный авторъ не даетъ опредѣленнаго отвѣта. Онъ ограничивается самоотверженнымъ выясненіемъ положительныхъ завоеваній славянофильской мысли, усиленно настаиваетъ на ея просвѣщенности и культурности... Но и ему приходится ввести въ свои хвалы нѣкоторый диссонансъ. Славянофильство, по его словамъ, «не имѣло почти ничего общаго съ фанатиками, обскурантами, квасными патріотами и дикими людьми, готовыми видѣть въ насиліи и кулакѣ оригинальное возрожденіе русскаго народнаго духа».

Еще бы! Общее съ дикими людьми! И все-таки потребовалось словечко «почти»,—значитъ не совсѣмъ безгрѣшно славянофильство даже въ такихъ недугахъ, какъ фанатизмъ и патріотическое умопомѣшательство.

Да, не совсѣмъ, и источникъ противорѣчій, думается намъ, вполнѣ ясенъ. Онъ заключается въ средневѣковой основѣ славянофильскаго религіозно-культурнаго принципа.

Славянофилы слили въ одно понятіе народность и вѣру русскаго народа и даже народность поставили въ зависимость отъ *простонародной* вѣры. Хомяковъ могъ чрезвычайно тонко и просвѣщенно разсуждать о свободѣ личной совѣсти, о заслугахъ «дѣятельности разума человѣческаго», доходить даже до идеи о вредоносности «понятія государственной религіи» и подвергать Ѳеодосія Великаго критикѣ за то, что тотъ объявилъ христіанство господствующей религіей имперіи... Все это при блестящемъ діалектическомъ талантѣ и обширныхъ знаніяхъ писателя, представляло поучительное зрѣлище. Но оно врядъ ли совпадало съ тѣмъ православіемъ, какимъ жилъ и живетъ русскій народъ и врядъ ли служило интересамъ той церкви, гдѣ, по мнѣнію Аксакова, всю жизнь пребывалъ богословъ-любитель.

Для практическихъ цѣлей приходилось пользоваться другой, реальной системой, дѣйствительно народной. Отсюда исторіи, сообщаемыя Боткинымъ и тѣ черты вѣры, какія подвергали просвѣщенныхъ славянофиловъ укоризнамъ въ святошествѣ и обскурантизмѣ. Гоголь это теченіе довелъ до ослѣпительной яркости и западники справедливо изумлялись, почему славянофилы отказываются признать родство съ ближайшимъ своимъ идейнымъ родичемъ.

Совершенно естественны и другія странности славянофильскаго толка, вплоть до мнимо-національнаго костюма Константина Аксакова, Погодина, Шевырева. Славянофилы, выставивши на своемъ

знамени великую и истинно-культурную идею *народности*, практически нашли ей чрезвычайно простое и даже первобытное объясненіе. Вмѣсто того, чтобы въ русской исторіи и въ русскомъ бытѣ тщательно выдѣлить положительные задатки національнаго нравственнаго и политическаго развитія, они оказались не прочь воспользоваться первымъ попавшимся сырымъ матеріаломъ и пустить его въ оборотъ подъ флагомъ непогрѣшимаго философскаго принципа.

Въ результатѣ — выспреннѣйшій идеализмъ переходилъ въ грубѣйшія чисто эмпирическія внѣшнія формы, самостоятельное строгое мышленіе уступало мѣсто такой же скоропалительной и легкомысленной подражательности, какою страдали безтолковые обожатели Запада. Мѣнялся только внушитель модъ, рѣчей и настроеній, вмѣсто Парижа — великорусская деревня, притомъ даже не въ ея непосредственномъ современномъ видѣ, а деревня, созданная искусственно путемъ любительскихъ кабинетныхъ упражненій надъ понятіями русскаго мужика и русской народности.

И Константинъ Аксаковъ легко могъ додуматься до національнаго наряда, въ которомъ русскій народъ принималъ его за персіянина. Подобныя недоразумѣнія безпрестанно разрушали гармонію славянофильскихъ ученій въ несравненно болѣе важныхъ случаяхъ.

Единственной неотъемлемой заслугой нѣкоторыхъ славянофиловъ былъ и остался самый источникъ ихъ воззрѣній, первопричина ихъ безпокойства и критики.

XXXIV.

Откуда пошло славянофильство—вопросъ, безчисленное число разъ рѣшавшійся современниками и потомствомъ и получавшій далеко не всегда тождественные отвѣты. Славянофильская теорія сложилась поздно и подъ сильнѣйшимъ давленіемъ германской философіи. Мы указывали, чему могли русскіе націоналисты научиться у Фихте и видѣли у молодыхъ философовъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ краснорѣчивые отголоски чужой культурной мысли, приспособленной къ отечественной почвѣ.

Но отвлеченному, философскому воззрѣнію предшествовало чувство, органическій протестъ извѣстнаго душевнаго склада противъ явленій, ему по природѣ ненавистныхъ или непонятныхъ.

Герценъ вполнѣ правильно понялъ эту стихійную основу славянофильства. «Славянизмъ, или руссицизмъ,—пишетъ онъ,—не какъ

теорія, не какъ ученіе, а какъ оскорбленное народное чувство, какъ темное воспоминаніе и вѣрный инстинктъ, какъ противодѣйствіе исключительно иностранному вліянію, существовалъ со времени обритія первой бороды Петромъ I» [191]).

И дальше Герценъ слѣдитъ за ходомъ славянофильскихъ настроеній въ зависимости отъ судебъ русской правительственной власти. По нашему мнѣнію, это путь ложный и односторонній. Для развитія русскаго національнаго чувства тѣ или другія увлеченія Петра II или Петра III имѣли второстепенное значеніе. Это чувство питалось самой исторіей русскаго просвѣщенія,—все равно, сидѣла ли на престолѣ энциклопедистка Екатерина II или пруссофилъ—Петръ III. Высшее общество, при всевозможныхъ перемѣнахъ въ высшемъ правительствѣ, продолжало оставаться покорнымъ данникомъ иноземной образованности и парижскихъ модъ. Это данничество и служило неисчерпаемымъ источникомъ обиды и протеста для всѣхъ, кому по натурѣ или по разуму казалось зазорнымъ самозакланіе русскаго національнаго духа на алтарѣ чужебѣсія.

Нѣтъ никакихъ основаній открывать славянофиловъ въ лицѣ Екатерины и Елизаветы, и только развѣ въ интересахъ остроумія «бѣлое и черное духовенство», можно причислять къ тому же толку. Оно, по обязанностямъ службы, конечно не могло одобрять иноземныхъ новшествъ, но отъ этого оффиціальнаго долга до прирожденнаго или принципіальнаго отвращенія ко всему европейскому—цѣлая пропасть. Герценъ правъ въ одномъ: славянофильство—инстинктъ, невольный крикъ оскорбленнаго чувства, но источника болѣзненныхъ ощущеній слѣдуетъ искать не въ партійныхъ или сословныхъ стремленіяхъ, а въ самой природѣ русскихъ людей, осужденныхъ завоевывать себѣ мѣсто на сценѣ міровой цивилизаціи совершенно исключительными путями.

Безпощадныя мѣры, какими Петръ приспособлялъ Россію къ Европѣ, должны были неминуемо вызвать хотя бы страдательное сопротивленіе, и патріоты, горой стоявшіе за свои бороды и величавую длиннополую одежду, являлись прообразомъ позднѣйшихъ подвижниковъ мурмолки и терлика. Но это только изнанка историческаго явленія. Лицевая сторона его представлялась не раскольниками, не стрѣльцами, не партіей царевича Алексѣя или князей Долгорукихъ, а передовыми дѣятелями науки и литера-

[191]) *Сочиненія.* Женева 1879. VII, 269.

туры. Первымъ славянофиломъ по справедливости долженъ быть признанъ Ломоносовъ, не имѣвшій ничего общаго ни съ московскимъ изувѣрствомъ, ни съ аристократическимъ и стрѣлецкимъ бунтарствомъ. Именно онъ занялъ мѣсто Петра въ дѣлѣ просвѣщенія Россіи и онъ же рѣзко и опредѣленно заявилъ себя борцомъ за русскую народность.

Мы знаемъ, Ломоносовъ жаловался академіи на нѣмца Миллера за то, что нѣмецъ-историкъ относится непочтительно и неблагосклонно къ «россійскимъ жителямъ», унижаетъ ихъ даже предъ чувашами, за то что онъ на нѣмецкомъ языкѣ разсказываетъ иностранцамъ смутныя времена, т. е. «самую мрачную часть россійской исторіи», и даетъ иностраннымъ народамъ поводъ «худыя выводить слѣдствія о нашей славѣ»... Съ этой минуты славянофильство могло вести свое лѣтоисчисленіе.

Ломоносовъ шелъ очень далеко въ своей рыцарской защитѣ русской славы. Онъ готовъ былъ запретить ученое изслѣдованіе цѣлыхъ эпохъ и преслѣдовать до пота лица «занозливыя рѣчи» въ книгахъ иностранцевъ о Россіи. И великій ученый не оставался одинокимъ на своемъ пути.

Славянофильское теченіе захватывало и менѣе сильныхъ и отважныхъ современниковъ Ломоносова. Его восторги предъ исключительными достоинствами русскаго языка раздѣлялъ Сумароковъ, не чуждъ и Тредьяковскій народной гордости и даже художественнаго чутья къ красотамъ народной поэзіи.

И дальше, съ каждымъ десятилѣтіемъ, эти чувства росли и углублялись. При Екатеринѣ явились уже настоящіе французоѣды, въ родѣ Фонвизина, поднимавшіе бичъ съ одинаковой страстью и на Иванушекъ, и на самого Вольтера. У сатирика европейское просвѣщеніе трудно отличить отъ глупости русскихъ недорослей и «нынѣшніе мудрецы», безъ всякихъ оговорокъ, обзываются искоренителями добродѣтели. Вообще протестъ противъ уродливаго европеизма, насмѣшки надъ нижегородскими парижанами очень рано стали переходить въ злобное чувство вообще на западныя вліянія и въ идеализацію почвы и старины. Высшее русское общество усерднѣйше питало оскорбленныя чувства соотечественниковъ и просто по закону контраста—противъ великосвѣтскихъ подданныхъ французской короны, утратившихъ вмѣстѣ съ роднымъ языкомъ и національнымъ платьемъ русскую душу, возставалъ образъ непросвѣщеннаго, невзрачнаго но искренняго и естественно-мощнаго человѣка изъ народа. «Православный му-

жичекъ» своей простотой и загадочнымъ богатствомъ своего нравственнаго міра рисовался воображенію патріотовъ будто романтическій герой, въ сильной степени разукрашенный чисто литераторскимъ искусствомъ и тоскливымъ жаднымъ настроеніемъ празднаго любителя рѣдкостей и пикантностей.

Деревня для старыхъ русскихъ благородныхъ гражданъ являлась своего рода экзотическимъ міромъ, царствомъ «въ чистомъ воздухѣ и посреди поля». Именно такъ выражается одинъ изъ екатерининскихъ поэтовъ—Львовъ, тосковавшій о русскомъ духѣ, о чисто русской одеждѣ и «поступкахъ». Эта идиллическая струя не исчезнетъ въ славянофильскомъ міросозерцаніи и барственно-чувствительныя изліянія по адресу интереснаго незнакомца въ армякѣ и курной избѣ безпрестанно будутъ прорываться у славянофильскихъ мыслителей сквозь философію и публицистику. Аристократическій элементъ—одна изъ оригинальнѣйшихъ чертъ славянофильскаго направленія и его не слѣдуетъ забывать рядомъ съ ломоносовскимъ патріотическимъ негодованіемъ на униженіе русской славы и русской добродѣтели.

Въ литературѣ всѣ эти черты нашли въ высшей степени яркое выраженіе. За нѣсколько десятилѣтій до появленія самого понятія *славянофильство* другъ противъ друга стояли два совершенно разнородныхъ родоначальника партіи—Крыловъ и Карамзинъ. У одного—идея народности, руссицизма—естественное прирожденное чувство, у другого—плодъ салонной и беллетристической прихоти. Одинъ ополчается на иноземцевъ и воспѣваетъ русскую сметку и почвенный здравый смыслъ въ ущербъ хитрымъ наукамъ, потому что онъ самъ всѣми силами души связанъ съ этой почвой и съ міросозерцаніемъ людей, живущихъ цѣлые вѣка сметкой и нутромъ. Другой сладостно щебечетъ стихотворенія въ прозѣ о добродѣтельномъ земледѣльцѣ, потому что—этотъ земледѣлецъ для него то же самое, что̀ черный хлѣбъ для барченка пресыщеннаго пирожнымъ. Но и Карамзинъ также попадетъ въ списокъ подлинныхъ славянофиловъ и Бѣлинскій именно его историческую идею о превосходствѣ Ивана III надъ Петромъ будетъ считать источникомъ славянофильства.

Въ результатѣ первичные задатки направленія сложились изъ чувствъ и стремленій въ высшей степени различныхъ,—до такой степени, что впослѣдствіи искренніе почвенники и руссофилы найдутъ возможнымъ даже презирать славянофиловъ, какъ партію. Это люди ломоносовскаго и крыловскаго закала, не ищущіе пред-

намѣренно въ мужикѣ своего рода «естественнаго человѣка». Блестящіе примѣры—Гоголь и особенно Писемскій.

Авторъ *Переписки* задался цѣлью стать выше партій и подвергъ одинаковому осужденію славянистовъ и европеистовъ, призналъ и тѣхъ и другихъ каррикатурами на то, чѣмъ занятъ былъ, у славянистовъ даже открылъ «больше кичливости» и «строптиваго хвастовства». И, несомнѣнно, Гоголь не былъ славянофиломъ въ смыслѣ Аксаковыхъ, Кирѣевскихъ и Хомякова, т. е. у него не было особой доктрины—литературнаго и философскаго содержанія, а простой инстинктъ человѣка, по природѣ мало доступнаго соблазнамъ европейской культуры и по обстоятельствамъ почти совсѣмъ не вкусившаго ихъ.

То же самое Писемскій.

Онъ еще энергичнѣе насмѣялся надъ славянофилами и отвергъ у нихъ даже знаніе и пониманіе народа, огульно обозвалъ барами, мечтающими о пейзанчикахъ. А между тѣмъ, тотъ же Писемскій не пощадилъ и европейскаго просвѣщенія. страдалъ даже «органическимъ отвращеніемъ къ иностранцамъ» и ощущалъ болѣзненный трепетъ негодованія при одной мысли о чуждыхъ вліяніяхъ и заимствованныхъ идеяхъ.

Выводъ ясенъ. Славянофильство, какъ система воззрѣній, далеко не совпадаетъ съ руссофильскимъ національнымъ теченіемъ, проходящимъ чрезъ всю нашу литературу. Съ другой стороны—независимость и сила «русскаго духа», оригинальность русскаго народа весьма часто и чрезвычайно горячо защищали писатели, отнюдь не желавшіе заключать своихъ вѣрованій въ формулы и взрывы чувствъ превращать въ идеологію.

При такихъ условіяхъ невольно возникаетъ вопросъ: зачѣмъ появилось славянофильство, какъ особая воинствующая партія въ то время, когда на стражѣ русской національности стояла вся русская сатирическая литература, когда величайшіе поэты Россіи—Грибоѣдовъ, Пушкинъ, Гоголь—воплощали въ себѣ самихъ русскаго человѣка, во всей глубинѣ и силѣ его національныхъ инстинктовъ и его естественнаго противоборства европейскому культурному порабощенію? Что̀ новаго могли прибавить славянофилы къ русской отрицательной критикѣ, непрерывно раздававшейся противъ европеизма отъ сатиръ Кантемира до *Горе отъ ума*? И особенно въ сороковые годы, когда, независимо отъ партійной борьбы, русская литература окончательно сбросила съ себя иноземное иго и это движеніе восторженно привѣтствовалось даровитѣйшимъ критикомъ-западникомъ.

Очевидно, разрушать славянофиламъ было нечего. Ниже мы увидимъ, — у самого Бѣлинскаго давно былъ накопленъ обильнѣйшій запасъ идей о народности и національности, гораздо раньше его столкновенія съ славянофилами. Если бы славянофильство этими идеями ограничило свои задачи, Бѣлинскому не пришлось бы пламенѣть на него гнѣвомъ, а потомъ впадать въ покаянный тонъ и сознаваться въ перемѣнѣ мыслей.

Но сущность явленія заключалась въ притязаніяхъ славянофиловъ на всестороннюю положительную истину. Они не желали ограничиться критикой и совершенно естественно: тогда они не имѣли бы никакой своеобразной окраски и у нихъ не было бы даже права на самостоятельное существованіе въ формѣ философской или общественной партіи. Ни Крылову, ни Грибоѣдову, ни Гоголю никогда и на умъ не пришло бы вооружаться нарочитымъ теоретическимъ знаменемъ. На вопросъ объ убѣжденіяхъ они просто отвѣтили бы: мы—русскіе люди, настоящіе русскіе, и поэтому осмѣиваемъ и ненавидимъ петиметровъ, парижанъ изъ Нижегородской губерніи и всякаго сорта обезьянъ и попугаевъ. Развѣ для этого надо принадлежать къ какой-либо партіи и изобрѣтать особую систему принциповъ и воззрѣній? Достаточно родиться въ Россіи и принадлежать ей.

Такъ сказали бы люди непосредственнаго чувства, искренно и просто воспринятой жизни. Но всѣ они или не знали, или не хотѣли знать о настоятельной необходимости чувства и воспріятія подчинять діалектически развивающейся идеѣ. Они были славянофилами безсознательно, все равно, какъ милліоны людей говорятъ прозой, не подозрѣвая самаго понятія *проза*. Явилась германская философія, стройныя и величественныя теоріи, и оказалось несвоевременнымъ мыслить не по системѣ и говорить не по схемѣ. На Западѣ національное движеніе немедленно было вложено въ строгія, извнѣ даже научныя формулы. Нѣмецкій бюргеръ ненавидѣлъ Бонапарта и французовъ просто потому, что они были Бонапартъ и французы, а онъ нѣмецкій бюргеръ, тѣ побѣдители, а онъ побѣжденный. Для философа этотъ фактъ означалъ: на міровую сцену является новая общечеловѣческая культурная сила, она подчинитъ себѣ всѣ другія націи и на землѣ воцарится германскій духъ, какъ сила самодовлѣющая и всеобъемлющая. Германія, слѣдовательно, борется съ французскимъ завоевателемъ не за свою національную и политическую свободу, а за всемірное торжество германской идеи.

Но нѣмцы играли въ сущности второстепенную роль въ пора-

женіи апокалипсическаго звѣря. Драгоцѣннѣйшія жертвы и величайшая слава выпала на долю Россіи. Ея государь сталъ на небывалую высоту въ глазахъ всей Европы и свидѣтели всѣхъ политическихъ партій единодушно признавали провиденціальное назначеніе Александра I. Г-жа Сталь объявляла русскаго императора «чудомъ Провидѣнія», воздвигнутымъ для спасенія свободы. Современные мистики спѣшили внушить Александру непоколебимую вѣру въ его сверхестественное міровое призваніе. Въ блескѣ славы царя совершенно исчезали и дѣла его союзниковъ.

Было бы невѣроятно, если бы чувства русскаго общества не отвѣчали этому настроенію и если бы они не приняли того самаго направленія, какое было подсказано нѣмцамъ ихъ національной борьбой. У русскихъ, наоборотъ, оказывалось несравненно больше основаній гордиться ролью своей страны въ умиротвореніи Европы. чѣмъ у всѣхъ другихъ народовъ Европы. И германская идея о предстоящемъ завоеваніи міра германскими началами неминуемо вызывала къ жизни славянскую идею съ соотвѣтствующимъ полетомъ

Исходный моментъ вполнѣ понятный и даже законный, если ограничиться событіями и настроеніями дня. Но дальше вопросъ мѣнялся.

Германскіе мечтатели, въ порывѣ національнаго опьянѣнія, могли впасть въ своего рода психическій недугъ, извлекать изъ средневѣкового архива кунсткамеру идей и предметовъ, вплоть до внѣшнихъ украшеній, устраивать вальпургіевы ночи съ національными декораціями и патріотическими безумствами, но все это не уничтожало весьма цѣннаго культурнаго капитала, завѣщаннаго Германіи ея стариной. Страна, создавшая въ прошломъ реформацію, Лютера и Гуттена, могла смѣло помѣряться съ какимъ угодно народомъ достоинствомъ своихъ преданій и силой своей народной стихіи. Оргіи и маскарады буршей были жалки и смѣшны, но никакой смѣхъ и никакое юношеское легкомысліе не могли подлинной исторіи превратить въ сказку и великихъ героевъ мысли и воли низвести до уровня забавныхъ лицедѣевъ.

Въ Россіи вступили на тотъ же путь, но чѣмъ, какими свѣточами мысли предстояло освѣтить его? Какія имена изъ далекаго, забытаго прошлаго можно было выдвинуть, какъ надежду и залогъ исключительнаго призванія русскаго народа на пути міровой цивилизаціи? Какія жизненныя нравственныя силы старины можно было принять за источникъ вдохновенія въ настоящемъ, за твердую почву для общечеловѣческихъ идеаловъ будущаго? Какими, нако-

нецъ, идейными, не умирающими связями можно привязать Москву Алексѣя Михаиловича къ новой Европѣ первостепенныхъ мыслителей, политиковъ и художниковъ?

Отвѣтъ поспѣшили дать — въ самый разгаръ національнаго культа.

Въ *Русскомъ Вѣстникѣ* Глинки Симеонъ Полоцкій и Костровъ соревновали Сократу и Гомеру, а мудрость Домостроя совсѣмъ не находила себѣ соперницъ. Другіе публицисты той же окраски усердно разыскивали русскихъ самоучекъ и излагали ихъ жизнь и дѣянія въ эпическомъ стилѣ. Славянофильство и впослѣдствіи не оставитъ этой политики: профессоръ Шевыревъ не побоится напасть на философію Гегеля во имя посланія Никифора къ Мономаху... Все это свидѣтельствовало объ истинно-рыцарскомъ самоотверженіи воиновъ. Но развѣ только бредъ Донъ-Кихота на счетъ Дульцинеи Тобозской могъ поспорить высотой температуры съ видѣніями нашихъ подвижниковъ! И такъ какъ время рыцарскаго угара миновало безвозвратно, то публикѣ позволительно было сомнѣваться въ полной искренности и убѣжденности новыхъ мучениковъ идеи.

Ясно, въ какое безвыходное положеніе попали славянофилы, лишь только принимались за выясненіе *положительной* стороны своего ученія. Имъ неизбѣжно приходилось или насиловать логику и здравый смыслъ, или укрываться за выспренней реторикой и безрезультатной софистикой или прямо и рѣшительно окунаться въ безпримѣсное «москвобѣсіе».

Въ этомъ органическомъ недугѣ славянофильства лежитъ разгадка всѣхъ недоразумѣній и непримиримыхъ противорѣчій, переполняющихъ одинаково и произведенія самихъ славянофиловъ, и свидѣтельства людей другой партіи, все равно—враждебно или благосклонно настроенныхъ.

Краснорѣчивѣе всего, конечно, славянофильскіе семейные раздоры и нескончаемыя междоусобицы. Въ этомъ отношеніи славянофильство также единственное явленіе въ исторіи общественной мысли. Можно сказать, весь символъ славянофильской вѣры состоитъ изъ еретическихъ членовъ, и мы безпрестанно подвергаемся опасности не распознать правовѣрнаго апостола отъ еретика, хранителя подлиннаго ученія церкви отъ злокозненнаго недовѣрка.

XXXV.

Москва въ сороковые годы отличалась чрезвычайнымъ общественнымъ оживленіемъ и была имъ обязана преимущественно славянофиламъ. Въ столичныхъ салонахъ гремѣли отважныя рѣчи, точнѣе, проповѣди, приговоры и пророчества. Дѣйствовало первое поколѣніе славянофильской партіи, въ высшей степени талантливое, съ блестящими силами въ наукѣ, въ публицистикѣ, и даже отчасти въ художественной литературѣ. И оно несло свою вѣру въ непосвященную толпу съ необъятными надеждами создать новую церковь на идеальныхъ основахъ любви къ родному народу, его духу и его исторіи. Оригинальныя личности проповѣдниковъ усиливали обаяніе пламеннаго слова и среди просвѣщеннаго общества не осталось, кажется, ни одного человѣка—ни мужчины, ни женщины, не захваченнаго кипучей борьбой.

Въ первый разъ на русской общественной сценѣ появились дѣйствительно идейные салоны съ хозяйками, близко принимавшими къ сердцу судьбу людей во имя извѣстныхъ воззрѣній. «Барыни и барышни,—разсказываетъ Герценъ,—читали статьи очень скучныя, слушали пренія очень длинныя, спорили сами за Константина Аксакова или за Грановскаго, жалѣя только, что Аксаковъ слишкомъ славянинъ, а Грановскій недостаточно патріотъ».

Эти статьи часто превращались въ обязательный урокъ. Кружокъ собирался въ опредѣленный день и одинъ изъ гостей обязанъ былъ прочитать что-нибудь вновь написанное. Соблюдалась очередь, и статьи нерѣдко отличались отнюдь не салоннымъ содержаніемъ, писались на вопросы самаго головоломнаго и трудно разрѣшимаго содержанія [192]).

Славянофилы въ своихъ рядахъ могли выставить на рѣдкость неутомимыхъ спорщиковъ. Хомяковъ находилъ, что московская «жизнь идетъ или плетется потихоньку» и «только одни споры идутъ шибкою рысью»: именно онъ самъ былъ однимъ изъ усерднѣйшихъ виновниковъ этой рыси. Ему ничего не стоило въ теченіе нѣсколькихъ часовъ развивать отвлеченнѣйшую тему въ родѣ вопроса о разумѣ и вѣрѣ, и ни на минуту не утрачивать ни находчивости въ діалектикѣ, ни мягкости въ настроеніи.

---

[192]) Таково, напримѣръ, происхожденіе статьи Хомякова *О старомъ и новомъ. Полное собраніе сочиненій*. М. 1878. I, 359.

Совершенно другимъ характеромъ отличался Константинъ Аксаковъ. Фанатически-убѣжденный, рыцарски-благородный и въ то же время нетерпимый, онъ наполнялъ московскія гостиныя атмосферой миссіонерства и подвижничества. Его не останавливали опасенія впасть въ комическую крайность или нелѣпость. Чѣмъ неожиданнѣе для другихъ могли казаться его выводы и выходки, тѣмъ больше утѣшенія получало его героическое сердце, и онъ не отказался бы примѣнить къ себѣ извѣстное изреченіе: «вѣрю потому, что это нелѣпо», т. е. нелѣпо для другихъ — добровольныхъ или безсознательныхъ слѣпцовъ.

Обожаемый въ родной семьѣ, молодой Аксаковъ водворилъ здѣсь нѣчто въ родѣ деспотическаго правленія. Отецъ слушалъ его рѣчи, будто откровенія мудрости, не подлежащей критикѣ, не стѣснялся при всѣхъ признавать самодержавіе сына, не могъ допустить и мысли, чтобы статья Константина или иное какое произведеніе могло оказаться неудовлетворительнымъ и кому-либо не понравиться. Сергѣй Тимофеевичъ не задумался пожертвовать «двадцатилѣтней дружбой» Погодина послѣ его неодобрительнаго отзыва о пьесѣ сына [193]).

Этотъ культъ окрылялъ юношу на несказанныя дерзновенія въ области излюбленныхъ идей. Ему ничего не стоило нанести оскорбленіе непріятному собесѣднику изъ-за одного слова: онъ приходитъ въ бѣшенство на Надеждина, своего гостя, назвавшаго себя «случайнымъ представителемъ Петербурга», онъ даже Хомякова повергаетъ въ смущеніе узостью своихъ православныхъ воззрѣній и прямолинейностью жизненныхъ запросовъ и тотъ оставилъ намъ о своемъ пылкомъ другѣ краткія, но въ высшей степени внушительныя замѣчанія. Они проливаютъ свѣтъ на существенныя нравственныя и культурныя черты лучшихъ представителей партіи.

«Его православіе,—писалъ Хомяковъ,—хотя искреннее, имѣетъ характеръ слишкомъ мѣстный, подчиненный народности, слѣдовательно, не вполнѣ достойный. Опять-же Аксаковъ невозможенъ въ приложеніи практическомъ. Будущее для него должно непремѣнно сей же часъ перейти въ настоящее, а про временныя уступки настоящему онъ и знать ничего не знаетъ, а мы знаемъ, что безъ нихъ обойтись нельзя» [194]).

Ту же наклонность «самодержавствовать», какъ выражается

---

193) Барсуковъ. IX, 461.
194) *Ib.*, стр. 458—9.

Погодинъ, Аксаковъ вносилъ и въ мелкіе вопросы, очевидно, казавшіеся ему крупными. Сергѣй Тимофеевичъ разсказывалъ Гоголю, какъ его сынъ устроилъ сцену Смирновой изъ-за русскаго платья и бороды [195]).

Родительскимъ глазамъ эта «твердость» могла казаться почтенной и трогательной, но мы видѣли, какъ легко она порождала разногласія среди самихъ славянофиловъ. Фамильное святилище Аксакова и культъ семейной геніальности и родственной непогрѣшимости глубоко оскорбляли даже близкихъ людей. Погодинъ, напримѣръ, безпрестанно вносилъ въ свой дневникъ жалобы на самообожаніе и надменность Аксаковыхъ и, видимо, оказывался въ ихъ средѣ плебеемъ за столомъ аристократовъ. Только что мы слышали отзывъ Хомякова: даже его исключительному искусству не удалось заговорить разноголосицу и сгладить оттѣнки. Еще дальше отъ аксаковской трибуны стояли братья Кирѣевскіе.

Герценъ описываетъ ихъ положеніе въ Москвѣ крайне грустными красками. Оба брата производили на него впечатлѣніе печальныхъ тѣней. Ихъ не признавали живые, они сами ни съ кѣмъ не дѣлили интересовъ, ни съ кѣмъ ихъ не связывало сочувствіе и близость, и Иванъ Кирѣевскій изрекъ однажды Грановскому безнадежную исповѣдь: «Сердцемъ я больше связанъ съ вами, но не дѣлю многаго изъ вашихъ убѣжденій; съ нашими я ближе вѣрой, но столько же расхожусь въ другомъ».

А въ другой разъ онъ могъ только разсказывать о своихъ молитвенныхъ слезахъ, объ умиленныхъ настроеніяхъ при видѣ колѣнопреклоненной толпы... [196]). Невольная жалость сжимала сердце у всякаго не предубѣжденнаго свидѣтеля въ присутствіи этихъ живыхъ мертвецовъ. Никакого сильнаго и упорнаго дѣла нельзя было ожидать отъ этой томительной, безнадежной грусти, отъ этого чисто-отшельническаго самоуглубленія.

Въ результатѣ, нескончаемыя междоусобицы и практическая безпомощность, какая-то немощь жизненныхъ проявленій идеи рѣзко оттѣняютъ славянофиловъ рядомъ съ принципіальной устойчивостью и энергіей западниковъ.

Касательно междоусобицъ краснорѣчивѣйшее свидѣтельство— участь погодинскаго *Москвитянина* въ кругу славянофиловъ.

Журналъ этотъ во время процвѣтанія *Отечественныхъ Запи-*

---

[195]) *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 150.

[196]) Герценъ. *О. с.*, стр. 300 etc.

сокъ съ Бѣлинскимъ во главѣ остается единственнымъ прочнымъ органомъ славянофиловъ. Правда, Погодину не удалось пріобрѣсти авторитета среди партіи, она даже лично къ нему не питала особенно почтительныхъ чувствъ, но вѣдь онъ издавалъ несомнѣнно славянофильскій журналъ, враги у него и у славянофиловъ были общіе, и онъ не переставалъ добиваться трудовъ Аксаковыхъ, Кирѣевскихъ и Хомякова на страницы своего изданія... Все было тщетно!

«Видно, на роду написано нелѣпымъ потомкамъ словенъ дѣйствовать всегда врозь», таковъ вѣчный припѣвъ Погодина [197]). И съ этой тоской вполнѣ совпадаетъ свидѣтельство Боткина о тѣхъ же потомкахъ славянъ: «эти господа такъ раздѣлены въ своихъ доктринахъ, такъ что, что голова, то и особое мнѣвіе» А Герценъ находитъ среди славянофиловъ партіи всѣхъ красокъ, какія только извѣстны изъ исторіи жесточайшихъ смутъ западной Европы» [198]).

Герценъ могъ шутить надъ славянофильской пестротой, но редакція *Москвитянина* не переставала терзаться то отчаяніемъ, то злобой, то впадать въ прострацію и восклицать: «опять скучно писать!»

Семья Аксаковыхъ рѣшительно не желаетъ поддерживать *Москвитянина* и не позволяетъ даже поставить свои имена въ списокъ сотрудниковъ. Хомяковъ также не скрываетъ своего равнодушія къ журналу, пока онъ существуетъ, и Шевыреву приходится выдерживать съ нимъ жаркія схватки, какъ ближайшему сотруднику Погодина. Хомяковъ не убѣждался и упорно находилъ, что *Москвитянинъ* «не заслуживаетъ поддержки» и отъ него заслуженно «всѣ отказываются». Только при слухахъ объ окончательной гибели погодинскаго изданія Хомяковъ принялся сѣтовать и въ его жалкихъ словахъ ярко обнаружилось не только барское эпикурейство тонкихъ мыслителей, но и самая откровенная аристократическая брезгливость къ слишкомъ заурядному поприщу дѣятельности.

Да, какъ ни странно, но славянофилы ранняго поколѣнія сторонились журнальной публицистики совершенно съ такимъ же выспреннимъ настроеніемъ, какое переполняетъ гордыхъ служителей чистой науки или чистаго искусства. Хомяковъ сознается, что онъ никогда не напечаталъ бы и строки въ журналѣ, будь у него

---

197) Барсуковъ. IX, 413, 447.

198) *Анненковъ и его друзья*, стр. 729. Герценъ. *Ib.*, стр. 290—1.

другой путь «для выраженія мысли». И, сообщая о предстоящей кончинѣ *Москвитянина*, онъ пишетъ пріятелю:

«Пожалѣй объ насъ. Не остается даже журнала. Никто въ немъ не пишетъ и не хлопочетъ объ его поддержкѣ, а когда онъ скончается, вѣрно всѣ будутъ такъ же разстроены, какъ Иванъ Никифоровичъ, если бы у него украли ружье, изъ котораго онъ отъ роду не стрѣливалъ. Вѣдь покуда было ружье, можно бы было стрѣлять, если захотѣлось».

Но только славянофиламъ никогда этого не хотѣлось, а если и приходило желаніе, то исполненіе откладывалось на дальній срокъ.

Именно такая участь постигла добрыя намѣренія Ивана Кирѣевскаго. Онъ ближе другихъ интересовался *Москвитяниномъ*, а при своихъ настроеніяхъ не могъ дѣятельно работать. Но даже и ему случалось въ глаза самому Погодину заявлять, что писать хочется, да печатать негдѣ. Тогда Погодинъ снова неистовствовалъ въ своемъ дневникѣ: «безсовѣстные люди!»

Впрочемъ, Погодинъ могъ бы равнодушнѣе отнестись къ заявленію Кирѣевскаго на счетъ хотѣнія. Со времени закрытія *Европейца* Кирѣевскій не нарушалъ молчанія въ теченіе цвѣтущаго періода своей жизни. Это менѣе всего свидѣтельствовало о жаждѣ мыслить для другихъ и Шевыревъ лучше Погодина понималъ славянофильскую психологію.

Онъ жаловался на «бездѣйственные таланты» русскихъ людей, на ихъ способность довольствоваться пріятельскими бесѣдами, расточать на мелочи игру ума и воображенія, отвыкать отъ труда, не пускать своего нравственнаго капитала во всенародный оборотъ и коснѣть въ праздности и апатіи.

Примѣры у Шевырева были подъ рукой.

Въ то время, когда западники, не покладая рукъ, работали надъ пропагандой своихъ общественныхъ и культурныхъ идей, славянофилы задыхались въ спорахъ о «церкви развивающейся» и Константинъ Аксаковъ, Хомяковъ, Юрій Самаринъ и Кирѣевскій изнываетъ надъ опредѣленіемъ понятія *развитія*, схватываются другъ съ другомъ при встрѣчахъ, переносятъ борьбу въ переписку и видимо любуются на свое столь производительное и возвышенное времяпрепровожденіе. Богословіе, философія, да еще XVII-й вѣкъ — самые жгучіе предметы для славянофильскихъ упражненій. Впослѣдствіи сынъ Самарина глубокомысленно будетъ изслѣдовать, на чью сторону и по какому поводу его отецъ присталъ на сторону Хомякова и Кирѣевскихъ или остался вѣренъ

Константину Аксакову? Изслѣдователь наивно не замѣчаетъ гомерическаго комизма своей задачи: такъ прочно наслѣдіе словенъ!

Современники доблестныхъ ратоборцевъ были проницательнѣе, и тотъ же Шевыревъ ясно видѣлъ, какъ мало выигрывали насущные интересы родной партіи отъ богословскихъ экскурсій ея отцовъ. Какъ бы ни цѣнить талантъ и дѣятельность Шевырева, не слѣдуетъ забывать объ его безвозмездномъ долголѣтнемъ трудѣ въ *Москвитянинѣ*. Онъ единолично выносилъ борьбу съ такими противниками, какъ Бѣлинскій и успѣвалъ выступать противъ западниковъ на всѣхъ сценахъ борьбы и въ университетскихъ аудиторіяхъ, и въ публичныхъ лекціяхъ, и въ журнальныхъ статьяхъ. Личный характеръ профессора можетъ не внушать намъ особеннаго уваженія, но труженичество его внѣ сомнѣнія и при условіяхъ, менѣе всего благопріятныхъ для успѣха и популярности.

Сопоставьте съ нимъ блестящихъ и дѣвственно безукоризненныхъ джентльменовъ, располагающихъ въ случаѣ надобности безчисленнымъ множествомъ укромныхъ убѣжищъ отъ суеты житейской и соприкосновенія съ безтолково мятущейся толпой.

Прежде всего у каждаго изъ нихъ по нѣсколько родовыхъ и благопріобрѣтенныхъ помѣстій. Всякую минуту «краснобаи» могутъ разъѣзжаться по деревнямъ, а тамъ «хоть трава не рости». Такъ ядовито выражается Сергѣй Аксаковъ, но гражданскія чувства не мѣшаютъ ему и его семьѣ заниматься по лѣтамъ «артистическимъ» сборомъ грибовъ, вести подробный дневникъ о количествѣ найденныхъ и замѣчательные экземпляры срисовывать въ особый альбомъ! Естественно, Погодинъ, тщетно добиваясь помощи и совѣта отъ этихъ идиллическихъ патріарховъ, имѣлъ всѣ основанія воскликнуть: «пустые люди!»

Менѣе рѣзки сужденія Грановскаго, но смыслъ ихъ тотъ же. Въ періодъ самыхъ сочувственныхъ отношеній къ Кирѣевскимъ Грановскій писалъ:

«Я отъ всей души уважаю этихъ людей, не смотря на полную противоположность нашихъ убѣжденій... Жаль только, что богатые дары природы и свѣдѣнія, рѣдкія не только въ Россіи, но и вездѣ,—гибнутъ въ нихъ безъ всякой пользы для общества. Они бѣгутъ отъ всякой дѣятельности» [199]).

И трудно было не бѣжать, по крайней мѣрѣ въ періодъ со-

---

199) *Т. Н. Грановскій и его переписка*. II, 402.

стязаній о *развитіи* и углубленіи въ русскія древности. Онѣ для благородныхъ славянофиловъ служили удовлетвореніемъ всѣхъ запросовъ ума и сердца. Юрій Самаринъ, долго пожившій въ XVII вѣкѣ, пріобрѣлъ основательныя свѣдѣнія о вѣнчаніи на царство Михаила Ѳедоровича и о созывѣ земской думы при Алексѣѣ Михаиловичѣ. Это похвально, но изъ науки вытекаетъ философія такого содержанія:

«Славное было время! Куда противъ настоящаго лучше. Люди были поумнѣе нынѣшнихъ, а умничали меньше, поэтому и дѣло шло у нихъ лучше». Замѣчаніе насчетъ умничанья было бы очень кстати, какъ самокритика славянофила, но именно славянофилы особенно далеко стояли отъ вѣнца мудрости—самопознанія.

Намъ ясно теперь, къ какому концу неминуемо шла борьба западничества съ славянофильствомъ. На одной сторонѣ развивалась неустанная энергія, жгучая жажда идеи отдѣльныхъ личностей превратить въ общее достояніе, истинно гражданское стремленіе просвѣтить общество и общественное мнѣніе заставить судить первостепенные вопросы современной дѣйствительности. На другой—или тоскливое равнодушіе, или художественное наслажденіе блескомъ мыслей и прихотливой бойкостью ума въ кругу избранныхъ друзей. Единственный разъ славянофилы старшаго поколѣнія рѣшили спуститься съ своихъ высотъ на землю.

Въ 1844 году друзья Ивана Кирѣевскаго, не забывая объ его опытѣ на издательскомъ поприщѣ, рѣшили снова воскресить его къ дѣятельности и спасти его отъ коснаго унынія. Погодинъ, изнывавшій съ *Москвитяниномъ* среди безгласной пустыни славянофильства, шелъ на встрѣчу этимъ замысламъ, и предложилъ Кирѣевскому редакторство журнала.

Дѣло ладилось съ большимъ трудомъ и, по свидѣтельству Хомякова, одной изъ причинъ было настроеніе Кирѣевскаго—именно его «робость и тайное желаніе найти предлогъ для бездѣйствія». Наконецъ, сговорились, и Кирѣевскаго редактора одинаково сочувственно привѣтствовали и славянофилы, и московскіе западники—Герценъ и Грановскій. *Москвитянинъ* воскрешенъ къ новой жизни и, разумѣется, немедленно должно было взвиться знамя славянофильской критики и публицистики противъ неограниченно господствовавшей силы *Отечественныхъ Записокъ*.

XXXVI.

Оригинальное положеніе занялъ Кирѣевскій, приготовляясь редактировать *Москвитянинъ*! Съ первой же минуты онъ обнаружилъ свое недовѣріе къ талантамъ и работѣ однихъ славянофиловъ, и желалъ привлечь къ сотрудничеству въ своемъ журналѣ Грановскаго и Герцена. Хомяковъ возсталъ, но Кирѣевскій не измѣнилъ намѣренія и нашелъ сочувствіе въ намѣченныхъ западникахъ.

Кирѣевскій былъ правъ. На славянофильское краснорѣчіе никто не могъ разсчитывать, принимаясь за всенародное распространеніе какихъ бы то ни было идей. *Москвитянинъ* своимъ существованіемъ свидѣтельствовалъ о безнадежномъ банкротствѣ партіи, какъ общественной и литературной силы. Погодинъ исторіей своего издательства могъ бы представить не мало благодарнѣйшихъ темъ для сатиры и комедіи.

Профессора прежде всего изводило крайнее скопидомство, переходившее въ откровенную жадность къ деньгамъ. Его неизмѣнная мечта пользоваться трудами даровыхъ сотрудниковъ и ему безпрестанно приходится переживать мучительныя настроенія и выслушивать отъ пріятелей жестокія укоризны.

Гоголь, напримѣръ, проситъ у него денегъ, Погодинъ колеблется и утро посвящаетъ на размышленіе о томъ, «какъ бы пріобрѣсти равнодушіе къ деньгамъ». Сотрудники настоятельно объясняютъ Погодину «требованія нынѣшняго вѣка», т. е. необходимость оплачивать литературную работу [200]). Погодинъ не поддается убѣжденіямъ и готовъ помириться на допотопныхъ сотрудникахъ, лишь бы они не бередили его корыстолюбиваго сердца.

Результаты получались, конечно, въ высшей степени прискорбные. *Москвитянинъ* вѣчно запаздывалъ на цѣлые мѣсяцы, книжки превращались въ складъ археологическаго хлама, въ дикій памятникъ варварскаго языка и мертвыхъ разсужденій. Журналъ будто нарочно выкапывалъ изъ всѣхъ захолустій Россіи двуногихъ мамонтовъ и другихъ рѣдкостныхъ экземпляровъ исчезавшихъ человѣческихъ породъ.

Уже при появленіи *Москвитянина* къ Погодину посыпались привѣтствія, звучавшія чувствами и увлеченіями XVIII-го вѣка. Одинъ старый писатель разсчитываетъ вновь узрѣть «типы не-

---

[200]) Напримѣръ, письма В. Григорьева и Даля. Барсуковъ. IX, 352, 365—7.

забвеннаго Карамзина», другой выступаетъ на защиту поэтическаго генія Ломоносова, третій присылаетъ собственное произведеніе—«пріобщая стихи», «потому чтобы тяжелое созданіе разума расцвѣтить игривостью воображенія», четвертый печаталъ статью о *Коперникѣ*, называлъ ее *Голосомъ за правду*, нещадно перепутывалъ хронологію и географію и въ оправданіе ссылался на «разсѣянность» [201]). И послѣ всего этого *Москвитянинъ* не переставалъ гремѣть противъ легкомыслія *Отечественныхъ Записокъ*, невѣжества Бѣлинскаго! Погодинъ съ товарищами особенно не могли простить критику нападокъ на древнюю русскую исторію и на русскихъ писателей прошлаго вѣка.

Но какъ они защищали дорогія преданія и съ какимъ оружіемъ шли въ борьбу? Отвѣтъ—любая критическая статья *Москвитянина*.

Его критикъ, Шевыревъ, въ теченіе многихъ лѣтъ истощалъ словарь бранныхъ словъ на Бѣлинскаго, сочинялъ на него пасквили, не называя по имени и знаменуя тѣмъ вящее свое презрѣніе къ противнику, «какой-нибудь журнальный писака навеселѣ отъ нѣмецкой эстетики», «рыцарь безъ имени», «литературный бобыль», «непризванный судья, развалившійся отчаянно въ креслахъ критика и размахавшійся борзымъ перомъ своимъ», и цѣлый рядъ соотвѣтствующихъ опредѣленій долженствовали сразить Бѣлинскаго. Но онъ все жилъ и горячо дѣйствовалъ.

Тогда друзья *Москвитянина* припоминаютъ «другія мѣры» профессоровъ московскаго университета, Каченовскаго и Надеждина, и «замышляютъ написать оффиціальную бумагу и подписать ее всѣмъ противъ правилъ, проповѣдуемыхъ *Отечественными Записками*», Шевыревъ готовъ повторить исторію Надеждина съ Полевымъ по поводу критики на диссертацію, т. е. жаловаться вла-

201) Въ этой статьѣ, принадлежащей перу С. П. Побѣдоносцева, значатся слѣдующія строки: «Въ Краковѣ Коперникъ духовно сочетался съ великими міровыми именами Галилея, Кеплера и Ньютона, по слѣдамъ которыхъ шелъ и которыхъ оставилъ далеко за собою». Герценъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* осмѣялъ статью *Москвитянина о Коперникѣ*, и, между прочимъ говорилъ: «Холодные люди засмѣются, холодные люди скажутъ, что это изъ рукъ вонъ, и присовокупятъ, что Коперникъ умеръ въ 1543 году, Галилей въ 1642, Кеплеръ въ 1630, а Ньютонъ въ 1727. А у насъ слезы навернулись на глазахъ отъ этихъ строкъ; какъ чисто сохранился *Голосъ за правду*, ультрасловенскій, отъ грѣховной науки Запада, отъ нечестивой исторіи его! Онъ даже о ней понятія не имѣетъ». Въ той же статьѣ «Регенсбургъ переставленъ съ Дуная на Рейнъ». *Отеч. Зап.* 1843, № 11.

стямъ на статью Бѣлинскаго *Педантъ* [202]). Другой сочувственникъ *Москвитянина* считаетъ необходимымъ ходатайствовать предъ правительствомъ «подъ благовиднымъ предлогомъ остановить изданіе *Отечественныхъ Записокъ—навсегда*». Этотъ же ретивый охранитель всероссійской чистоты нравовъ убѣдительно проситъ редакцію журнала: «стерегите вредныя мысли въ журналахъ и печатайте ихъ въ видѣ прибавленія къ *Москвитянину* на какой-нибудь яркой бумагѣ, чтобы вредъ бросился скорѣе въ глаза: да образумятся!» [203])

Сотрудники *Москвитянина* по мѣрѣ силъ выполняли эту програму. Напримѣръ, Шевыревъ подвергъ оригинальной критикѣ *Похвальное слово Петру Великому* Никитенко, возсталъ особенно противъ идеи, будто русскіе новому порядку вещей обязаны «честью существовать по человѣчески» и выразилъ свой гнѣвъ въ такой отповѣди: «Это и неприлично, и безнравственно въ смыслѣ и религіозномъ, и патріотическомъ, и исторически ложно». Бѣлинскій, не обинуясь, обозвалъ эту критику «доносомъ» [204]).

Направлялись доносы и по адресу публики, невѣроятно наивные, но обличавшіе всю бездну безсилія православныхъ подвижниковъ. *Отечественныя Записки*, напримѣръ, уличались въ подделкѣ лермонтовскихъ стихотвореній, имъ приписывалась мысль, будто русская поэзія въ лицѣ Лермонтова въ первый разъ вступала въ самую тѣсную дружбу съ чортомъ!

Естественно, западническія убѣжденія Бѣлинскаго рисовались московскимъ славянофиломъ въ видѣ смертныхъ грѣховъ и преступленій. Для нихъ установленная истина и общеизвѣстный фактъ—«гнусная враждебность къ русскому человѣку». Такъ выражается Сергѣй Аксаковъ и приходитъ въ ужасъ отъ одной мысли, будто «Гоголь имѣлъ сношеніе съ Бѣлинскимъ». И Гоголь дѣйствительно не рѣшался открыто завязать знакомство съ критикомъ. Бѣлинскій для обоихъ величайшихъ современныхъ поэтовъ оказался пугаломъ, хотя именно эти поэты обязаны ему выясненіемъ и оцѣнкой своихъ произведеній! Подобное уродливое явленіе врядъ ли еще можетъ засвидѣтельствовать исторія какого бы то ни было культурнаго общества. Пушкинъ пересылаетъ Бѣлинскому свой журналъ тайкомъ отъ московскихъ «наблюда-

---

[202]) Проектъ М. А. Дмитріева. Барсуковъ. VI, 81. О Шевыревѣ. *Ib.*, 262.
[203]) *Ib.* VIII, 21.
[204]) *Сочиненія.* VII, 412—3.

телей», т. е. отъ журнала *Наблюдатель*, Гоголь поступаетъ также изъ страха предъ «Москвитянинымъ». И все это знаетъ критикъ и находитъ въ себѣ достаточно любви къ истинѣ, чтобы забыть недостойное поведеніе *людей* ради великихъ заслугъ *писателей*.

Бѣлинскій въ глазахъ московскаго журнала до конца остается иностранцемъ среди русскихъ, онъ даже не въ состояніи понимать русскихъ талантовъ, «всякій русскій стихъ свиститъ имъ по ушамъ», говоритъ Погодинъ объ *Отечественныхъ Запискахъ*, онѣ питаютъ отвращеніе къ прошлому Россіи и желали бы «перевачать ея бытіе» по журналамъ и книгамъ изъ за моря. Аристократическое славянофильство еще рѣзче осуждало національную измѣну и тлетворныя вліянія петербургскаго журнала.

«Семейство Аксаковыхъ, — разсказываетъ Грановскій,—буквально плачетъ о погибели народности, семейной нравственности и православія, подрываемыхъ *Отечественными записками* и ихъ *гнусною партіею*» [205]).

Петербургскіе блюстители нравовъ обращались въ *Москвитянинъ*, какъ завѣдомый арсеналъ въ войнѣ съ западными развратителями. Даже проф. Гротъ, сравнительно терпимо относившійся къ Бѣлинскому, не сдержался и напечаталъ у Погодина статью противъ русскихъ поклонниковъ сенъ-симонизма и Жоржъ Зандъ. Статья, по заявленію самого автора, имѣла въ виду «обратить вниманіе публики» на вредное растлѣвающее направленіе *Отечественныхъ Записокъ*.

Когда вопросъ заходилъ о сотрудничествѣ московскихъ западниковъ въ *Москвитянинѣ*, Погодинъ считалъ нужнымъ произвести предварительно чисто инквизиторское слѣдствіе. Онъ самъ разсказываетъ, какъ велъ переговоры съ Грановскимъ и Евгеніемъ Коршемъ. Онъ поставилъ имъ слѣдующіе вопросы: «возьмутъ ли они свято соблюдать нашу программу, отрекутся ли отъ діавола и *Отечественныхъ Записокъ*, будутъ ли почитать христіанскую религію, уважать бракъ» [206]).

Наконецъ западники дождались генеральнаго воинственнаго залпа. Языковъ, оффиціальный Гомеръ славянофильства, вдохновился на цѣлыхъ три стихотворенія. Каждое изъ нихъ стоило публицистическихъ и юридическихъ статей *Москвитянина* по откровенности чувства, энергіи тона и полной опредѣленности цѣлей

[205]) *О. с.* II, 464.
[206]) Барсуковъ. VI, 210.

Чаадаевъ, мирно доживавшій свои дни, вдругъ подвергся экзекуціи какъ «всего чужого гордый рабъ» и вызывалъ негодующее изумленіе поэта:

Ты все свое презрѣлъ и выдалъ...
И ты еще не сокрушенъ...
Ты все стоишь красивый идолъ
Строптивыхъ душъ и слабыхъ женъ!?
Ты цѣлъ еще...

Дальше—очередь Герцена. Онъ дружитъ съ тѣмъ, кто «гордую науку и торжествующую ложь становитъ превыше истины святой», «Русь злословитъ и ненавидитъ всей душой». Наконецъ, грозный окликъ *Къ Ненашимъ*... Это сплошная казнь всѣхъ западниковъ, и какая! Поэтъ говоритъ языкомъ фанатика и якобинца и разсыпаетъ тягчайшія обвиненія съ такой же легкостью, будто свои обычныя «удалыя» риѳмы.

Его враги «людъ заносчивый и дерзкій», «оплотъ богомерзкой школы», ненавидящій «святое дѣло», «славу старины», не вѣдающій любви къ родинѣ, исполненный «предательскихъ мнѣній и святотатственныхъ сновъ». Въ заключеніе поэтъ грозилъ:

Умолкнетъ ваша злость пустая,
Замретъ проклятый вашъ языкъ!..

Поэзія Языкова произвела свое дѣйствіе. Бѣлинскому больше не требовалось открывать глаза своимъ московскимъ пріятелямъ: Грановскій и Герценъ сами, наконецъ, прозрѣли. Больше не оставалось сомнѣнія ни въ славянофильскихъ пріемахъ борьбы, ни въ возможности вдумчиваго отношенія съ ихъ стороны къ воззрѣніямъ и цѣлямъ западниковъ.

Герцену пришлось послѣ нѣкоторыхъ чувствительностей порвать даже съ Константиномъ Аксаковымъ. Даже у Грановскаго едва не дошло до дуэли съ Петромъ Кирѣевскимъ. Съ Хомяковымъ у него также произошла горячая сцена и онъ наговорилъ такихъ вещей славянофильскому философу «о силѣ его убѣжденій», что, по словамъ самого Грановскаго, на нихъ можно было бы отвѣтить дѣйствіемъ [207]). Такъ, Грановскій писалъ Кетчеру въ началѣ марта 1845 года, и Герценъ, съ своей стороны, свидѣтельствуетъ, что еще годомъ раньше славянофилы и западники не желали встрѣчаться другъ съ другомъ.

И вотъ въ это-то время Иванъ Кирѣевскій берется за *Москвитянина* съ цѣлью привлечь къ участію въ немъ и западниковъ.

---

207) Герценъ. VII, 306. Грановскій. II, 464.

Въ воздухѣ чувствовалась перемѣна, на новаго редактора возлагались блестящія надежды, въ недалекомъ будущемъ видѣлось полное примиреніе партій, а въ настоящемъ дружеская совмѣстная работа.

Перемѣны ожидались по всѣмъ направленіямъ, и прежде всего предстояло исчезнуть со страницъ журнала доисторическимъ чудищамъ.

Теперь Гоголь не будетъ имѣть основаній писать о *Москвитянинѣ* такія, напримѣръ, оскорбительныя вещи: «*Москвитянинъ* не вывелъ ни одной сіяющей звѣзды на словесный небосклонъ. Высунули носы какіе-то допотопные старики, поворотились и скрылись». И профессора, наконецъ, могутъ успокоиться: Гоголь не станетъ издѣваться надъ ихъ пристрастіемъ къ краснобайству и неумѣньемъ говорить по-русски съ русскимъ человѣкомъ.

И Гоголь радовался переходу *Москвитянина* въ руки болѣе живого и просвѣщеннаго руководителя. «Чего добраго!—писалъ онъ,—можетъ быть, Москва захочетъ показать, что она не баба».

И Москва начала показывать съ января 1845 года.

XXXVII.

Мы знакомы съ публицистикой Кирѣевскаго, какъ сотрудника *Московскаго Вѣстника* и издателя *Европейца*. Тогда онъ былъ шеллингіанцемъ, противникомъ французскаго матеріализма XVIII вѣка, сторонникомъ поэзіи *существенности*, т. е. художественнаго реализма. Еще любопытнѣе культурныя идеи прежняго Кирѣевскаго. Онѣ были ясны уже изъ наименованія журнала *Европейцемъ*.

Издатель поспѣшилъ высказать свое мнѣніе о патріотахъ славянофильскаго направленія и началъ съ обвиненія славянофиловъ въ заимствованіи чужихъ мыслей и словъ, даже въ «непонятомъ повтореніи». Окончательный приговоръ Кирѣевскаго: единственный источникъ русской образованности европейское просвѣщеніе, потому что «у насъ искать національнаго значитъ искать необразованнаго; развивать его на счетъ европейскихъ нововведеній значитъ изгонять просвѣщеніе».

Энергичнѣе не могъ бы выразиться самый ревностный западникъ. Такія рѣчи звучали въ 1832 году. Прошло ровно тринадцать лѣтъ и Кирѣевскому снова предстояло высказать свой взглядъ при несравненно болѣе серьезныхъ обстоятельствахъ. Борьба партій достигла высшаго подъема, стала переходить въ личное озлобленіе

вызывать совершенно недостойныя выходки ненавистническаго чувства. Надлежало сказать вѣское примирительное слово, спокойной критической мыслью проникнуть въ самую сущность раздора и обостренную слѣпую вражду устранить во имя дѣйствительно идейнаго и литературнаго исканія истины.

Кирѣевскій понялъ свою задачу и въ первой же книгѣ журнала напечаталъ *Обозрѣніе современнаго состоянія словесности*—статью, ни единымъ словомъ не напоминавшую обычнаго задора московскихъ политиковъ.

Авторъ видимо желалъ занять положеніе нейтральной державы, стать предъ враждующими фалангами и произнести слово высшей истины. Путемъ пространныхъ разсужденій о современномъ состояніи мысли и литературы на западѣ Кирѣевскій приходилъ къ выводу: «всѣ вопросы сливаются въ одинъ существенный, живой, великій вопросъ объ отношеніи Запада къ тому незамѣченному до сихъ поръ началу жизни, мышленія и образованности, которое лежитъ въ основаніи міра православно-словенскаго».

Мы видимъ, какъ далеко уклонилась мысль писателя съ тридцатыхъ годовъ: теперь европейская цивилизація не признается единственной и самодовлѣющей, — теперь она не удовлетворяетъ «высшимъ требованіямъ просвѣщенія».

Почему же? Отвѣтъ знаменательный: западное просвѣщеніе, по толкованію русскаго философа,—«*преимущественное стремленіе къ личной и самобытной разумности* въ мысляхъ, въ жизни, въ обществѣ и во всѣхъ пружинахъ и формахъ человѣческаго бытія». Въ результатѣ обнаружилось «темное или ясное сознаніе *неудовлетворительности безусловнаго разума*» и «стремленіе къ *религіозности вообще*».

До сихъ поръ мысли менѣе всего оригинальныя, извѣстныя самой Европѣ, по крайней мѣрѣ, съ начала XIX вѣка. Кирѣевскій могъ бы подкрѣпить свое открытіе многочисленными свидѣтельствами западноевропейскихъ мыслителей и просто писателей. Оригинальность Кирѣевскаго начинается только съ того момента, когда онъ желаетъ спасти Западъ и весь міръ «православно-словенскимъ началомъ». Подобной идеи дѣйствительно не вспадало на умъ никому изъ западныхъ критиковъ раціонализма и правовозвѣстниковъ новой вѣры.

Но Кирѣевскій не фанатикъ, онъ желаетъ быть терпимымъ и безпристрастнымъ. Онъ смѣло уничтожаетъ два крайнихъ теченія русской мысли,—безотчетное поклоненіе Западу, вѣру въ со-

вершенное пересозданіе Россіи подъ вліяніемъ иноземной образованности и противоположную односторонность—столь же безотчетное обожаніе «прошедшихъ формъ нашей старины» и надежду на безслѣдное исчезновеніе европейскаго просвѣщенія изъ русской умственной жизни.

Автору можно бы замѣтить: первое воззрѣніе, слѣпое западничество если и существовало, то не находило себѣ выраженія въ современной русской западнической литературѣ. Ни Бѣлинскій, ни московскіе западники никогда не идолослужительствовали предъ Западомъ, и Кирѣевскій мѣтилъ въ непріятеля, сраженнаго стрѣлами еще екатерининскихъ стародумовъ. Что касается крайняго славянофильства, оно дѣйствительно процвѣтало. Еще кн. Одоевскій исповѣдывалъ вѣру въ неограниченное культурное властительство Россіи надъ міромъ и заявлялъ, что «девятнадцатый вѣкъ принадлежитъ Россіи». Русскій — *избавитель* Европы во всѣхъ отношеніяхъ, отъ деспотизма Бонапарта и отъ всевозможныхъ нравственныхъ недуговъ: «не одно *тѣло* должны спасти мы, но и *душу* Европы» [208]).

Естественно, у другихъ послѣдователей идеи, менѣе вдумчивыхъ, менѣе одаренныхъ общечеловѣческими инстинктами, убѣжденіе въ исключительномъ назначеніи Россіи легко переходило въ отрицаніе самого бытія Запада и даже правъ на бытіе.

Кирѣевскій поступилъ благоразумно, подчеркивая односторонность славянофильскаго сектантскаго правовѣрія. Но именно эта односторонность, очевидно, близко лежала его сердцу. Онъ спѣшитъ оговориться, что славянофильское *ложное* мнѣніе болѣе логично, чѣмъ западническое. «Оно основывается на сознаніи достоинства прежней образованности нашей, на разногласіи этой образованности съ особеннымъ характеромъ просвѣщенія европейскаго и, наконецъ, на несостоятельности послѣднихъ результатовъ европейскаго просвѣщенія».

Очевидно, авторъ самъ стоитъ на скользкомъ пути къ односторонности, и по существу его философское безпристрастіе ограничивается только признаніемъ неустранимаго факта: Россія сдѣлалась участницей европейскаго просвѣщенія, Уничтожить этого нельзя, забвеніе разъ узнаннаго не легко дается человѣку и намъ волей-неволей приходится засчитать въ свой умственный капиталъ европейскія идеи и знанія, ихъ нужно только подчинить высшему живому началу русской образованности.

---

[208]) *Сочиненія*. Спб. 1844, I, 312, 314.

Въ этомъ подчиненіи вся сущность философіи Кирѣевскаго. Можно пожалѣть, что онъ не объясняетъ верховной истины, имѣющей въ своей всеобщности обнять всѣ частныя истины, но вѣдь это исконный пріемъ славянофильской проповѣди: пышное пророческое прорицаніе, покидающее непосвященнаго слушателя на темномъ и мучительномъ распутьи.

Кирѣевскій заключаетъ, что Европа пришла именно къ тому моменту, когда она жаждетъ русскаго начала, когда любовь къ европейской образованности и къ русской становится одной любовью, однимъ стремленіемъ «къ живому, всечеловѣческому и истинно христіанскому просвѣщенію» [209]).

Мы до конца такъ и не узнали, какою *собственно* образованностью владѣла и продолжаетъ владѣть Россія, настолько глубокой и жизненной, чтобы ее можно было превознести надъ европейской. Мы не знаемъ, что значитъ живое, полное и истинно-христіанское просвѣщеніе, если только авторъ не разумѣетъ того же Никифора, Симеона Полоцкаго или творца Домостроя. Повидимому, иного толкованія быть не можетъ, такъ какъ все, что внѣ древней Москвы, все это принадлежитъ европейскому просвѣщенію, во всякомъ случаѣ имъ вызвано къ жизни и имъ проникнуто.

Кирѣевскій не замедлилъ подтвердить этотъ логическій выводъ изъ его статьи. Напрасно онъ только не договорилъ всего немедленно: тогда къ славянофильской смутѣ идей и безконечнымъ изворотамъ тонкаго ума не прибавилось бы новаго грѣха, который успѣлъ ввести въ заблужденіе нѣкоторыхъ западниковъ [210]).

Пять лѣтъ спустя Кирѣевскій, наконецъ, вывелъ свои задушевныя думы на чистую воду. Въ разсужденіи *О характерѣ просвѣщенія Европы и его отношеніи къ просвѣщенію Россіи* основной символъ вѣры поставленъ ясно и сильно. Кирѣевскій повторялъ старую мысль о всеобщемъ недовольствѣ и разочарованіи на Западѣ, но выводъ изъ факта теперь получался другой. Россія рѣшительно выдѣлялась изъ круга другихъ европейскихъ народовъ, начала ея просвѣщенія признавались «совершенно отличными» отъ началъ европейскаго ровно на столько же, на сколько Византія не похожа на Римъ. Въ коренномъ отличіи этихъ источниковъ рус-

---

209) *Полное собраніе сочиненій.* Спб. 1861, II, 26 etc.

210) Напримѣръ, Анненкова. По его мнѣнію, статья Кирѣевскаго «наносила тяжелые удары преслѣдователямъ Запада». *Воспоминанія* III, 113.

*

ской и европейской образованности и заключается роковая противоположность духовныхъ путей русскаго народа и всѣхъ остальныхъ народовъ Стараго свѣта. Естественно, русская до-петровская и даже до-московская старина теперь проходитъ предъ взорами умиленнаго созерцателя величественнѣйшимъ зрѣлищемъ, монахи и князья оказываются глубокомысленнѣе современныхъ западныхъ философовъ, самоотреченіе древняго русскаго человѣка—недосягаемый идеалъ сравнительно съ безпокойствомъ и личной горячкой европейца... Вообще Кирѣевскій попалъ окончательно въ свою точку, и именно теперь Грановскій могъ во-очію наслаждаться послѣдними словами мудрости симпатичныхъ москвичей: по его свидѣтельству, тремя годами позже разсужденія Кирѣевскій дошелъ уже прямо до инквизиторскихъ воззрѣній на всѣхъ, кто инако вѣруетъ... Очевидно, славянофильская симпатичность зависѣла отнюдь не отъ послѣдовательнаго развитія принципа, а отъ исключительно личныхъ свойствъ отдѣльныхъ представителей партіи, отъ «живой души», какъ выражается Грановскій о Петрѣ Кирѣевскомъ и Иванѣ Аксаковѣ.

Въ собственно критическихъ вопросахъ Кирѣевскій не обнаружилъ никакой самостоятельности. Давая отчетъ о журналахъ, онъ послалъ по адресу *Отечественныхъ Записокъ* излюбленный славянофильскій упрекъ въ «отрицаніи нашей народности» и въ умаленіи «литературной репутаціи» Державина, Карамзина и даже Хомякова. Большимъ успѣхомъ можно было считать терпимый отзывъ о Лермонтовѣ и отсутствіе вылазокъ противъ натуральной школы, но эти отрицательныя заслуги не возмѣщали явнаго безсилія овладѣть смысломъ современныхъ литературныхъ явленій и на оригинальномъ толкованіи ихъ оправдать громкія притязанія—указать истинно-національные пути русскаго просвѣщенія.

Мало внесъ цѣннаго въ этотъ предметъ и Хомяковъ, написавшій двѣ статьи для *Москвитянина* Кирѣевскаго. Онъ краснорѣчиво защищалъ самобытныя художественныя дарованія русскаго народа, хотя ихъ не осуществилъ пока ни одинъ поэтъ и художникъ, за исключеніемъ Гоголя,—и еще краснорѣчивѣе возставалъ противъ огульнаго гоненія на все западное. Россія должна безбоязненно усваивать полезное и прекрасное изъ чужихъ рукъ и умственные труды Европы могутъ оказать намъ великія благодѣянія. Всякое заимствованіе преобразуется на чужой почвѣ и входитъ въ національный организмъ, слѣдовательно, безмысленно

отвергать открытія и завоеванія другихъ народовъ во имя народной исключительности [211]).

Въ другой статьѣ Хомяковъ повторялъ тѣ же мысли объ усвоеніи чуждыхъ стихій по законамъ нравственной природы народа, о нарожденіи новыхъ самобытныхъ формъ и явленій на почвѣ заимствованныхъ произведеній ума и творчества. Автору прямо ненавистны узкіе націоналисты, создающіе вокругъ себя китайскую стѣну: «есть что-то смѣшное, говоритъ онъ, и даже что-то безнравственное въ этомъ фанатизмѣ неподвижности». Хомяковъ договаривался до той самой идеи, какую постоянно развивали западники: бояться за участь русской національности въ виду западныхъ вліяній—значитъ не вѣрить въ русскій народъ и сомнѣваться въ его органической самобытной мощи [212]).

Эта статья Хомякова появилась въ *Москвитянинѣ*, когда уже Кирѣевскій сложилъ съ себя редакторство. Его энергіи хватило всего на три книги и Погодинъ снова взялъ знамя. И пора было, потому что съ третьей книги между редакторами началась полемика. Погодинъ не могъ согласиться ни съ Иваномъ, ни съ Петромъ Кирѣевскими: одинъ обижалъ его «клеветой», будто славянофилы не уважаютъ Запада и усиливаются воскресить трупъ, другой—Петръ—выступилъ открыто противъ погодинскаго объясненія русской исторіи--мягкостью русскаго народа и его способностью «легко покоряться». Петръ Кирѣевскій считалъ этотъ взглядъ оскорбительнымъ и Погодинъ, совершенно неожиданно для себя, оказывался плохимъ сыномъ своего отечества.

Присоединилось еще не мало мелкихъ дрязгъ, отчасти неразлучныхъ съ журнальнымъ издательствомъ но еще больше неизбѣжныхъ при погодинскомъ скопидомствѣ и обычной неряшливости въ веденіи дѣла. Кирѣевскій не выдержалъ, передалъ матеріалъ Погодину и бѣжалъ въ деревню. Начались новыя мытарства *Москвитянина*, безпримѣрныя даже въ русской многострадальной журналистикѣ. Книжки не выходятъ по три, по четыре мѣсяца, одно время, вмѣсто двѣнадцати разъ въ годъ, журналъ выходитъ всего четыре, потомъ снова возрождается и въ началѣ 1848 года производитъ среди публики сенсацію; январьская книжка вышла въ январѣ! По словамъ самого Погодина, многіе подписчики не вѣрили событію, и друзья обращались къ редак-

---

[211]) *Письмо въ Петербургъ по поводу желѣзной дороги. Москвитянинъ.* 1845, кн. 2. *Полное собр. сочиненій.* I, 452.

[212]) *Мнѣніе иностранцевъ о Россіи. Москвит.* № 4. *Сочин. Ib.*

тору съ вопросами: отчего *Москвитянинъ* вышелъ перваго числа? Погодинъ желалъ, чтобы *Полицейскія Вѣдомости* въ фельетонѣ отмѣтили «небывалую новость» [213]).

Но великія событія случаются не часто и Погодинъ не перестаетъ горевать съ своимъ незадачнымъ дѣтищемъ: только «передъ тѣнями Карамзина и Пушкина совѣстно», а то онъ давно развязался бы съ этой обузой. Онъ былъ увѣренъ, что «доброе преданіе возложено» на него съ товарищами и онъ не имѣлъ права «оставить попеченіе русскаго слова для петербургскихъ мародеровъ».

Но сочувствія ни откуда не слышалось. Несчастному редактору безпрестанно приходилось заносить въ свой дневникъ такія приключенія. Явится онъ въ гости, увидитъ на столѣ всѣ журналы, а *Москвитянина* нѣтъ,—остается наединѣ излить душу: «Не говоритъ никто, о скоты! А претендуютъ на національное». Или въ другой формѣ: «Перебиралъ *Москвитянинъ*, хорошъ, а подписчиковъ нѣтъ, и стало жутко».

Въ такія минуты оторопѣвшему издателю являлись самыя дикія идеи, и онъ бросался за помощью въ станъ мародеровъ, умолялъ Чаадаева осчастливить славянофильскій журналъ своимъ сотрудничествомъ или принимался распространять подписные билеты чрезъ полицію и провинціальныхъ преосвященныхъ [214]).

Не унывалъ только Шевыревъ, писалъ въ каждой книжкѣ, нерѣдко по четыре листа, неутомимо огрызался на всякій новый талантъ противнаго лагеря, на Некрасова, Тургенева, нещадно громилъ натуральную школу и торжественно провозглашалъ высшей добродѣтелью русской словесности и русскихъ писателей «память благоговѣйнаго преданія, которая преемственно переходитъ отъ одного къ другому».

Къ сожалѣнію, во всей Россіи находилось едва триста данниковъ, способныхъ цѣнить столь возвышенные принципы. Сердце Погодина болѣзненно сжималось отъ такого равнодушія публики, не забывавшей своими милостями *Отечественныя Записки* и онъ доставлялъ себѣ единственное доступное утѣшеніе, публично заявлялъ, что ему въ сущности публики и не надо: «не *Москвитянину* вступать въ соперничество съ *вѣрными представителями и вожатыми современности*, какъ называютъ они себя». Погодинъ

[213]) Барсуковъ. IX, 387.
[214]) *Ib.* VIII, 306, IX, 386.

съ горькой иронiей, таившей слезы обиды, предоставлялъ другимъ понимать современность и знакомить публику съ животрепещущими интересами минуты, а онъ самъ будетъ идти разъ начатымъ путемъ.

Шевыревъ напрягалъ всѣ силы приспособить сколько-нибудь своего прiятеля къ современности, настаивалъ на статьяхъ объ Европѣ: иначе журналъ будетъ «односторонній и дрянной». Это значило учиться уму-разуму у «мародеровъ» и «литературныхъ бобылей»,—вполнѣ основательный прiемъ. Но только для ученья требовались мозгъ и нервы особаго состава, не погодинскаго. И впослѣдствiи даже Аполлону Григорьеву, еще болѣе ретивому возбудителю, чѣмъ Шевыревъ, ничего не удается сдѣлать съ призваннымъ блюстителемъ карамзинскихъ и пушкинскихъ преданiй: Григорьевъ *Европейское Обозрѣнiе* принужденъ будетъ вести по статьямъ *Сына Отечества*!

Болѣе внушительнаго приговора мертвому дѣлу и отжившимъ дѣятелямъ не могли бы произнести злѣйшiе враги.

Но утратой всякаго авторитета въ общественномъ мнѣнiи не ограничились злоключенiя славянофильской журналистики; она и по отношенiю къ власти устроилась въ высшей степени безтактно и совсѣмъ не лестно для своего достоинства.

XXXVIII.

Одинъ изъ почтеннѣйшихъ критиковъ славянофильства, лично западникъ, но признавшiй за славянофильскимъ ученiемъ необходимый элементъ въ мiросозерцанiи мыслящаго русскаго человѣка, рѣшительно отвергъ у славянофиловъ какой бы то ни было намекъ на *политическую* партiю.

«Славянофилы, — утверждаетъ нашъ критикъ, — по принципу были враждебны всякимъ политическимъ комбинацiямъ, всякому навязыванiю какихъ бы то ни было политическихъ программъ государству и народу. Они были глубоко убѣждены, что зло должно запутаться и пасть вслѣдствiе своей внутренней несостоятельности, что добро, правда должны рано или поздно восторжествовать вслѣдствiе присущей имъ внутренней силы. Такъ они думали, такъ и поступали» [215]).

Изъ дальнѣйшихъ словъ автора ясно, что славянофилы отнюдь не стремились осуществлять своихъ воззрѣнiй въ жизни. Это—

---

[215]) Кавелинъ. *О. с.* № 20.

чистые теоретики, совершенно равнодушные къ вопросу о практическомъ воздѣйствіи ихъ идей на дѣйствительность.

Въ такой оцѣнкѣ славянофильства нѣтъ ничего лестнаго ни для цѣлаго направленія, ни для отдѣльныхъ его представителей, и она нисколько не противорѣчитъ извѣстному намъ славянофильскому аристократическому отвращенію къ идейной борьбѣ на широкой литературной сценѣ. Но все-таки общій приговоръ будетъ не точенъ. Славянофилы не обладали страстями проповѣдниковъ, но это отнюдь не означаетъ, будто ихъ ученіе вовсе лишено политическаго содержанія. Политику можно понимать въ разныхъ смыслахъ. Несомнѣнно, ни въ комъ изъ славянофиловъ не было отъ природы нервовъ трибуна, но въ каждомъ изъ нихъ, за немногими исключеніями, жилъ духъ безпокойный и мыслящій и мысль безпрестанно направлялась на самые политическіе вопросы современности. Достаточно вспомнить вопросъ о крѣпостномъ правѣ.

Въ началѣ сороковыхъ годовъ на этой почвѣ развивалось гораздо больше чувствительныхъ настроеній, чѣмъ опредѣленныхъ представленій и плановъ. Мужика любили, но любовью, довольно безразличной для самого мужика и вовсе ему не нужной. Даже искренній интересъ просвѣщенныхъ литераторовъ къ народному творчеству, восторженное удивленіе предъ талантами и нравственными совершенствами русскаго человѣка вовсе не означали точнаго и трезваго пониманія его реальнаго положенія, какъ крѣпостного. Напротивъ, очень распространенное славянофильское умиленіе предъ смиреніемъ мужика, предъ его прирожденной наклонностью — разрѣшать всѣ тяжелые вопросы жизни непротивленіемъ злу, могло повести къ сладостному созерцанію исторической судьбы самоотверженнаго страдальца и наводить по временамъ на глубокомысленное раздумье о премудрыхъ тайнахъ русской исторіи и души.

Такъ это и происходило съ нѣкоторыми первостепенными учителями славянофильства. Во главѣ слѣдуетъ поставить Ивана Кирѣевскаго и пламеннаго Константина Аксакова.

Кирѣевскій, послѣ опыта съ *Москвитяниномъ*, вскорѣ окончательно ушелъ въ мистицизмъ и пересталъ обращать вниманіе на дѣйствительную жизнь. Въ его глазахъ безпокойство о крѣпостномъ народѣ не имѣло никакого смысла и производило на него даже комическое впечатлѣніе. Кошелевъ взялъ было на себя

задачу—встряхнуть умъ и совѣсть собрата по вѣрѣ, но старанія остались безъ результата [216]).

Константинъ Аксаковъ даже успѣлъ придумать принципіальное оправданіе для своего безразличія къ той же величайшей задачѣ внутренней политики Россіи. По свидѣтельству Ивана Аксакова, его братъ былъ убѣжденъ, что народъ равнодушенъ къ управленію и «ищетъ только царствія Божія».

Но такую идеологію слѣдуетъ признать исключительнымъ явленіемъ въ средѣ славянофиловъ, и притомъ она съ теченіемъ времени переходила въ болѣе живое возрѣніе. Правда, переходъ этотъ совершался сравнительно медленно и не дѣлалъ большой чести ни смѣлости, ни оригинальности нашихъ мыслителей. Константинъ Аксаковъ, напримѣръ, въ концѣ пятидесятыхъ годовъ очень краснорѣчиво говорилъ о нравственной независимости крѣпостного мужика. По мнѣнію Аксакова, крестьянинъ «никогда не думалъ вѣрить нелѣпости», будто помѣщикъ законный обладатель всего существа его, духовнаго и тѣлеснаго. «На угнетенія помѣщичьей власти смотритъ крестьянинъ какъ на бурю, на тучу съ градомъ, на набѣгъ разбойниковъ, и переноситъ съ терпѣніемъ эти угнетенія, какъ перенесъ бы онъ съ терпѣніемъ какое-нибудь народное бѣдствіе, посланное отъ Бога». Аксаковъ шелъ дальше: онъ признавалъ исключительныя права крестьянъ на землю, какъ свою неотъемлемую собственность [217]).

Но писать такія вещи въ 1857 году значило наполовину, по крайней мѣрѣ, повторять истины, торжественно признанныя высшимъ правительствомъ ровно десять лѣтъ тому назадъ. Еще въ декабрѣ 1847 года Бѣлинскій могъ сообщить Анненкову о рѣчи государя къ депутатамъ смоленскаго дворянства. Государь признавалъ права помѣщиковъ на землю, но рѣшительно отвергалъ ихъ права на людей. «Я, — говорилъ императоръ Николай, — не понимаю, какимъ образомъ человѣкъ сдѣлался вещью, и не могу себѣ объяснить этого иначе, какъ хитростью и обманомъ съ одной стороны и невѣжествомъ—съ другой. Этому должно положить конецъ. Лучше намъ отдать добровольно, нежели допустить, чтобы у насъ отняли. Крѣпостное право причиною, что у насъ нѣтъ торговли, промышленности» [218]).

---

[216]) *Біографія А. И. Кошелева*. М. 1892. II, 89.
[217]) *Ib.*, стр. 96.
[218]) *Анненковъ и его друзья*, стр. 601.

Послѣ такой рѣчи, конечно, не было особенно великой заслугой говорить о противозаконности и противоестественности крѣпостныхъ порядковъ. Но славянофильскій взглядъ на земельную собственность имѣлъ совершенно другое значеніе, даже въ эпоху освобожденія. Этотъ взглядъ возникъ очень рано, одновременно съ идеей объ общинѣ, какъ исконно-національномъ явленіи русскаго быта. Самое раннее и вполнѣ опредѣленное выраженіе его мы встрѣчаемъ у Ивана Кирѣевскаго, въ то время, когда онъ еще былъ одинаково далекъ и отъ крайняго славянофильства и идиллическаго мистицизма. Онъ только признавалъ фактъ, превосходно выясненный западными публицистами и философами: «болѣзненную неудовлетворительность» чистой «раціональности» западно-европейской мысли. Кирѣевскій и ссылается именно на западныя свидѣтельства. Въ числѣ коренныхъ отличій русскаго и европейскаго культурнаго развитія онъ считаетъ понятіе о собственности: на Западѣ—право на поземельную собственность, *личное*, въ Россіи — *общественное*. Отдѣльное лицо участвовало въ этомъ правѣ лишь насколько это лицо входило въ составъ общества. Частное пользованіе землей зависѣло отъ извѣстныхъ отношеній лица къ народу или къ государству, какъ его представителю. На этомъ основаніи зиждутся всѣ права помѣщика на землю, отнюдь *не безусловныя*, а временныя, случайныя, неразрывно связанныя съ его положеніемъ въ государствѣ, т. е. съ его службой. Онъ былъ собственникомъ дохода съ земли, а не самой земли, и не могъ ею располагать по личному праву собственности. Такой порядокъ вещей господствовалъ невозбранно въ допетровской Руси. Очевидно, возвращеніе земли крестьянамъ будетъ не экспропріаціей, а только осуществленіемъ народнаго понятія о правахъ общины и личности на землю.

Эти идеи послѣдовательно и упорно развивались славянофилами. Константинъ Аксаковъ перенесъ вопросъ на почву историческаго изслѣдованія и вложилъ мысль Кирѣевскаго въ стройную форму научно-философскаго трактата [219]). Хомяковъ опередилъ своихъ единомышленниковъ. Онъ заявилъ, что право безусловной собственности пребываетъ въ самомъ государствѣ, что «всякая частная собственность есть только болѣе или менѣе пользованіе,

---

[219]) Статьи Кирѣевскаго: *Въ отвѣтъ А. С. Хомякову*, I, 194 и *О характерѣ просвѣщенія Европы*. II, 226—7. Ср. Колюпановъ II, 98 etc.

только въ разныхъ степеняхъ» и что, наконецъ, это «общая мысль всѣхъ государствъ, даже европейскихъ».

Отсюда логически вытекало право крестьянъ на землю, ни въ какомъ смыслѣ не уступающее правамъ помѣщиковъ и необходимость освобожденія крестьянъ съ земельнымъ надѣломъ.

Ясно, какими безпокойствами грозило это воззрѣніе правовѣрнымъ защитникамъ крѣпостничества. Славянофилы могли только писать и говорить, не заботясь о проведеніи въ жизнь своихъ писаній и словъ, но въ самихъ словахъ таился страшный ядъ,— какой именно—вполнѣ очевидно съ перваго взгляда.

Хомяковъ европейскимъ государствамъ приписывалъ идею личной собственности, какъ личнаго пользованія, основательнѣе онъ могъ бы эту идею приписать европейскимъ соціальнымъ преобразователямъ начала XIX-го вѣка, прежде всего сенъ-симонистамъ. Однимъ изъ прямыхъ путей, ведущихъ къ спасенію современнаго общества, они считали утвержденіе правъ собственности на всѣ орудія труда и въ томъ числѣ на землю—за государствомъ и отождествленіе личной собственности съ личной службой обществу. Пользованіе матеріальными предметами должно распредѣляться по способностямъ и работѣ каждаго члена общества и право завѣщанія и наслѣдованія должно исчезнуть: единственнымъ наслѣдникомъ накопляемыхъ богатствъ будетъ община, т. е. тоже государство [220]).

Сходство этого ученія съ славянофильскимъ несомнѣнно: славянофилы, конечно, не касались вопроса о завѣщаніи, занимавшаго одинъ изъ важнѣйшихъ пунктовъ въ сенъ-симонистской программѣ, но идея объ общественной собственности и личномъ пользованіи, идея національзаціи земли не замедлила навести русскихъ крѣпостниковъ на грозную параллель.

Одинъ изъ реакціонныхъ органовъ шестидесятыхъ годовъ, газета *Вѣсть* упорно преслѣдовала славянофиловъ, какъ русскихъ сенъ-симонистовъ, и печатала громкія улики на тему «сенъ-симонизмъ славянофиловъ доказанъ» и наивно сознавалась: «нѣтъ у насъ иного, болѣе непримиримаго врага, какъ славянофильская партія съ газетой *День*». Почему,—газета объясняла чрезвычайно горячо и съ такой прозрачностью политики, какая сдѣлала бы честь отечественнымъ «охранителямъ» всѣхъ эпохъ и поколѣній.

«Всего ужаснѣе для насъ, — писала *Вѣсть*,—то, что, будучи

---

220) *Doctrine de Saint-Simon. Exposition. Première année.* Paris 1830, p. 183 etc.

самою радикальною изъ всѣхъ существующихъ газетъ и журналовъ, *День* драпируется въ мантію православія, древняго монархизма и народности. Скажи онъ откровенно, что онъ стоитъ за Сенъ-Симона и Фурье, намъ было бы легче и спокойнѣе. Онъ не былъ бы такъ опасенъ для простодушныхъ и легковѣрныхъ. Красное знамя испугало бы многихъ изъ его нынѣшнихъ поклонниковъ. Но все горе, вся бѣда, все несчастіе и коренится именно въ томъ, что онъ выставляетъ себя охранителемъ православія, монархіи и народности. Мы же положительно убѣдились, что между славянофильствомъ и ученіемъ сенъ симонистовъ нѣтъ существенной разницы... *День* какъ бы не признаетъ права собственности...

«Извѣстно, съ какою энергіей *Московскія Вѣдомости* преслѣдуютъ *украйнофильство*, какъ направленіе, враждебное Россіи. Не пора ли раскрыть глаза и перестать обманывать себя невинностью и простодушіемъ славянофильства! Не пора ли, наконецъ, признать въ нихъ направленіе, способное при дальнѣйшемъ развитіи подорвать всѣ основы, на которыхъ зиждется общественный порядокъ просвѣщенныхъ государствъ?»

И газета предлагала любимое слово славянофиловъ «общественникъ» замѣнить другимъ. Газета ясно подсказывала какимъ—соціалистъ или просто революціонеръ [221]).

Такой опасностью грозилъ журналъ Ивана Аксакова. И реакцію особенно раздражала именно идея *общественности*. Она противоположна понятію *государственности*, слѣдовательно, на взглядъ *Вѣсти*, революціонна [223]).

Реакціонеры, разумѣется, сгущали краски и негодовали не столько въ интересахъ государственности, сколько крѣпостничества, но славянофилы, несомнѣнно, могли вызвать такое теченіе мыслей, стоило только «общинное владѣніе», т. е. защиту крестьянской русской общины, отождествить съ соціализмомъ, какъ отрицаніемъ «личной собственности».

Что касается *государственности*, здѣсь славянофилы также были грѣшны, хотя опять не такимъ смертнымъ грѣхомъ, какой приписывали имъ враги.

Задолго до уликъ *Вѣсти* славянофилы встрѣтили обличителя совершенно неожиданно. Смирнова должна была многому сочув-

[221]) *Вѣсть*. 1863, № 10.
[222]) *Вѣсть*. 1863, № 8, 29 сент., стр. 13.
[223]) *Вѣсть*. № 6, стр. 9.

ствовать въ славянофильскихъ увлеченіяхъ, прежде всего культу Гоголя, но и ее осѣнило исповидѣніе по части славянофильской политики.

Она коротко и сильно изложила ея программу: «Ненависть къ власти, къ общественнымъ привилегіямъ, къ высокому рожденію и богатству—таковая-то отвлеченная страсть къ идеальному русскому, таящемуся въ бородѣ,—вотъ начало этихъ господъ. Не коммунизмъ ли это со всѣми своими гадостями, т. е. коммунизмъ Жоржъ Занда?» [224]).

Вотъ до чего оказалось возможнымъ договориться! И особенно любопытна «ненависть къ власти». Источникъ обвиненія въ критикѣ, какой славянофилы подвергали крутыя мѣры Петра—цивилизовать Россію по-европейски. Они возставали противъ мысли Карамзина, одного изъ своихъ родоначальниковъ, будто реформа Петра—воспитаніе *грубаго и невѣжественнаго народа просвѣщеннымъ правительствомъ*. Народъ, по взгляду Ивана Кирѣевскаго—*разумъ*, а правительство—*народная воля*, и Петръ, «*подражая* чужому образу дѣйствій», не стоялъ выше своего народа, потому что воля не можетъ быть *умнѣе* разума [225]).

За этими бездоказательными и смутными отвлеченностями стояло глубокое чувство уваженія къ народному сознанію и свободной нравственной стихіи народа. Бѣда заключалась только въ томъ, что стихія эта оставалась искомымъ неизвѣстнымъ и опредѣлять ее приходилось отрицательнымъ путемъ, т. е. подвергая критикѣ «насилія Петра», подражательность и отсутствіе патріотизма у западниковъ. Лишь только заходилъ вопросъ о положительномъ выясненіи *русскаго народнаго духа*, славянофильская рѣчь или впадала въ выспренній тонъ и вѣщала объ *истинно-христіанскихъ* началахъ какой-то миѳической истинно-русской образованности или договаривалась до удѣльнаго періода и «московбѣсія».

Но все это, мы видимъ, не мѣшало развитію славянофильской политики, энергичной и разносторонней, вызывавшей жестокую ненависть у враговъ свободной мысли и государственныхъ преобразованій на основахъ гуманности и справедливости. Можно было опровергать славянофильскіе историческіе выводы въ пользу общины, можно было очень многое возразить противъ обвиненій Петра въ разрывѣ съ народомъ, но одна идея создавала положительный

[224]) *Р. Ст.* 1890, авг. 285. Н. В. Гоголь. Письма къ нему А. О. Смирновой.
[225]) Письмо къ Погодину, у Барсукова. VIII, 224, 1845 годъ.

практическій выводъ для современности, приводила къ требованію надѣленія крестьянъ землей при отмѣнѣ крѣпостнаго права, другая указывала на дѣйствительную пропасть между правящей интеллигенціей, т. е. чиновничествомъ и народомъ, его бытомъ и его дѣйствительными нуждами. Здѣсь славянофилы выдвигали на первый планъ принципъ народности и общественности, принципъ непосредственнаго проникновенія въ народную жизнь въ противовѣсъ канцелярскому и административному формализму и самовластію.

Современное значеніе славянофильскихъ идей выяснялось медленно. Въ первый разъ вопросъ о крѣпостномъ правѣ затрогивается Хомяковымъ въ 1842 году. Его статьи *О сельскихъ условіяхъ* появляются въ *Москвитянинѣ* и вызываютъ большой интересъ въ обществѣ и у власти. Хомяковъ писалъ по поводу закона объ обязанныхъ крестьянахъ, уполномочивавшаго помѣщиковъ предоставлять крестьянамъ личную свободу, надѣлять ихъ землею за опредѣленныя повинности. Законъ предоставлялъ взаимнымъ соглашеніямъ крестьянъ съ помѣщиками опредѣлять размѣры надѣла и даже замѣнять повинности барщиной, въ то же время подтверждалъ права помѣщиковъ на землю, занимаемую обязанными крестьянами. Указъ было перепугалъ сначала помѣщиковъ, но вскорѣ обнаружилъ свой болѣе чѣмъ платоническій характеръ, укрѣпилъ у помѣщиковъ мысль объ ихъ исключительныхъ правахъ земельной собственности и въ одномъ отношеніи только принесъ пользу идеѣ преобразованія старыхъ отношеній: вызвалъ въ обществѣ усиленные толки о крѣпостномъ правѣ. Однимъ изъ отголосковъ этого движенія и является полемика, созданная статьями Хомякова въ *Отечественныхъ Запискахъ* и въ томъ же *Москвитянинѣ*. Полемика разъясняла вопросъ о сдѣлкахъ, какія были возможны между помѣщиками и крестьянами на основаніи новаго закона. Хомяковъ ни единымъ словомъ не критиковалъ закона и позволилъ себѣ только одно общее заявленіе: «въ наше время возникло въ Россіи новое требованіе, основанное на началахъ нравственныхъ и утвержденное на хозяйственныхъ разсчетахъ, требованіе положительныхъ и правомѣрныхъ отношеній между землевладѣльцами и поселянами» [226]).

Какъ ни благонамѣренны были разсужденія автора, гр. Бен-

---

[226]) Вторая статья въ № 10 *Москвитянина. Еще о сельскихъ условіяхъ. Сочиненія* I, 423.

кендорфъ поспѣшилъ сдѣлать запросъ Уварову, съ его ли вѣдома напечатана статья? Уваровъ отвѣтилъ обѣщаніемъ сдѣлать общее распоряженіе по цензурѣ—не пропускать въ печати, безъ предварительнаго представленія на разрѣшеніе высшаго начальства, ничего, касающагося указа объ обязанныхъ крестьянахъ [227]).

Пришлось замолчать, и до второй половины сороковыхъ годовъ печать не касается вопроса о крѣпостномъ правѣ. Только съ 1847 года общественное мнѣніе постепенно обнаруживается и Бѣлинскій въ концѣ этого года радостно отмѣтилъ участіе литературы, хотя и «робкое», въ преобразовательномъ движеніи [228]).

Критикъ могъ здѣсь сойтись съ славянофильскими настроеніями, нисколько не насилуя своихъ западническихъ сочувствій. Но случай, мы видимъ, представился очень поздно, передъ самой смертью Бѣлинскаго. Славянофилы дѣйствительно вступали на *политическій* путь, подозрительный въ глазахъ власти, и скоро должны были превратиться въ гонимую партію, насколько вопросъ касался внутренней политики Россіи.

Но раньше этого преобразованія и одновременно съ нимъ славянофильство не утрачивало своей изнанки и не сбрасывало окончательно уродливаго облика — презрѣнія къ гнилому Западу, вообще узко-націоналистической слѣпой односторонности въ культурныхъ вопросахъ. И здѣсь *Москвитянинъ* Погодина оказывалъ злосчастнѣйшую услугу славянофильству, компрометируя всю партію своей дикостью и шутовствомъ. Именно своеобразной политикѣ *Москвитянина* славянофилы обязаны упорной враждой западниковъ и страстнымъ негодованіемъ Бѣлинскаго.

XXXIX.

Герценъ партію *Москвитянина* считалъ университетскою и даже *правительственною* въ отличіе отъ другихъ независимыхъ славянофиловъ. Погодинъ и Шевыревъ, по словамъ Герцена, несомнѣнно отличались отъ Булгарина и Греча, господъ съ «ливрейной кокардой» вмѣсто «мнѣнія»: московскіе профессора были «добросовѣстно раболѣпны» [229]).

Отзывъ вполнѣ справедливый. Можно подивиться отвагѣ двухъ ученыхъ мужей, щеголявшихъ съ поразительной наивностью и от-

[227]) Барсуковъ. VI, 274—5.
[228]) Въ письмѣ къ Анненкову. *О. с.*, стр. 603.
[229]) Герценъ. VII, 307—8.

кровенностью чувствами младенческаго и отчасти балаганнаго патріотизма.

Въ первомъ нумерѣ *Москвитянина* въ первый годъ изданія Шевыревъ помѣстилъ руководящую статью *Взглядъ русскаго на образованіе Европы.* Мысли статьи остались неизмѣнными вдохновительницами журнала, за исключеніемъ краткаго промежутка редакторства Кирѣевскаго. Статья, несомнѣнно, виновница величайшихъ недоразумѣній, какія только вызывало славянофильство въ западномъ лагерѣ. Мы знаемъ, ни Аксаковы, ни Кирѣевскіе, ни Хомяковъ въ теченіе сороковыхъ годовъ не проклинали Запада, не хоронили его заживо и не считали его цивилизаціи безусловно заразительной и ядовитой. Шевыревъ именно эти проклятія положилъ въ основу своей философіи и разсужденіе превратилъ въ какое-то желчное кликушество. Слова трупъ, ядъ, развратъ, оргія, чувственность пестрятъ статью и не оставляютъ ни одного проблеска въ сплошной содомской тьмѣ, облегающей, будто бы, западную Европу [230]).

Какое чувство подобное упражненіе должно было вызвать у людей въ родѣ Бѣлинскаго показываютъ впечатлѣнія неизмѣримо болѣе мирнаго и осторожнаго человѣка—профессора Никитенко. Онъ въ своемъ дневникѣ произнесъ уничтожающій судъ надъ «младенчествующей самодѣятельностью» московскихъ философовъ [231]). Бѣлинскій, разумѣется, не могъ ограничиться подобнымъ приговоромъ и долженъ былъ загорѣться пожирающимъ пламенемъ негодованія и презрѣнія...

Шевыревъ не переставалъ воевать въ томъ же направленіи. Ему ничего не стоило реформацію и революцію обозвать просто болѣзнями и на томъ покончить съ исторіей Запада. Какой практическій смыслъ имѣла эта философія доказывали извѣстные намъ политическіе пріемы *Москвитянина* и въ особенности гражданское поведеніе обоихъ профессоровъ.

Оно во всемъ блескѣ обнаружилось по поводу маскарадныхъ празднествъ, устроенныхъ супругой московскаго генералъ-губернатора графа Закревскаго. Эпизодъ произвелъ на современниковъ живѣйшее впечатлѣніе, Бѣлинскій уже былъ въ могилѣ, но *Москвитянинъ* въ теченіе многихъ лѣтъ послѣдовательно подготовлялъ этотъ апоѳеозъ своей политики.

---

[230]) *Москвитянинъ*, № 1, 1841 года.

[231]) *Записки и дневникъ.* I, 417—8.

Торжество началось статьей Погодина: *Нѣсколько словъ о значенiи русской одежды сравнительно съ европейской*. Статья дышала энтузiазмомъ, доказывала, что русская одежда *умнѣе* европейской, живописнѣе, разнообразнѣе и вообще неописуема по своимъ достоинствамъ. Потомъ слѣдовало описанiе самого маскарада: оно принадлежало перу Шевырева и блистало всѣми красками краснорѣчiя, свойственнаго профессору. «Русскiй духъ во-очiю совершился», восклицалъ, въ свою очередь, Погодинъ, и *Москвитянинъ* звонилъ во всѣ колокола во славу сарафановъ. Предлагался подробнѣйшiй списокъ «красныхъ дѣвицъ» и «добрыхъ молодцевъ», презрѣвшихъ по случаю маскарада европейскiе костюмы.

Вскорѣ прiѣхалъ въ Москву государь, маскарадъ повторился и *Москвитянинъ* снова впалъ въ пiитическое пiянство, съ необыкновенной грацiей изображая «правильность и полноту движенiй» героевъ танцевъ.

Но ироническая судьба готовила жестокiй ударъ. Едва профессора успѣли перевести духъ въ приливѣ восторга, изъ Петербурга послѣдовало распоряженiе сбрить дворянамъ бороды и изгнать изъ употребленiя русское платье. Славянофилы прiуныли, Сергѣй Аксаковъ горько жаловался на гибель «русскаго направленiя» и на «предательство». Константинъ Аксаковъ продолжалъ нѣкоторое время щеголять въ бородѣ. Шевыревъ энергично возсталъ на такую оппозицiю и въ письмѣ къ Погодину обозвалъ смѣльчака «дуракомъ» [232]).

Такъ прискорбно окончилось кратковременное торжество «русскаго духа!»

Случались и болѣе мелкiя, но крайне досадныя огорченiя. Петербургъ не уставалъ окачивать холодной водой патрiотическiй и нацiональный жаръ московскихъ профессоровъ.

Сначала *Москвитянинъ* встрѣтилъ поощренiе: имъ заинтересовалось высшее общество, Уваровъ велѣлъ гимназiямъ подписываться на журналъ, рекомендовалъ попечителямъ, представилъ его даже государю. Но все опять выходило «предательствомъ».

Прежде всего Бенкендорфъ не давалъ Уварову покою своими жалобами и уже на третьемъ нумерѣ предлагалъ «воспретить» изданiе. Причина негодованiя—анекдоты, напечатанные въ *Смѣси* и неуважительные къ «сословiю чиновниковъ». Уваровъ прину-

232) Барсуковъ. X, 198, 205, 227, 251 etc.

жденъ былъ ссылаться на гоголевскаго *Ревизора...* Потомъ самъ Уваровъ возмутился беллетристикой *Москвитянина*, опасной для «молодыхъ людей». Наконецъ, московская цензура изводила Погодина оскорбительнѣйшими придирками: онъ, какъ «православный русскій профессоръ», не смѣлъ говорить о Мицкевичѣ и о встрѣчѣ съ нимъ, не могъ напечатать своего похвальнаго слова Петру, стиховъ Языкова на памятникъ Карамзину, не могъ свободно употреблять слово православіе, потому что цензура подъ нимъ разумѣла самодержавіе, не могъ говорить о развитіи жизни, потому что это означало «представительное правленіе...»

Тогда, наконецъ, не выдерживалъ русскій патріотъ и писалъ совсѣмъ «неблагонамѣренныя» вещи, конечно, въ «Дневникѣ» браня цензуру и вносилъ слѣдующее «замѣчательное слово» гр. А. П. Толстого:

«Живя въ Парижѣ, сбираешься сказать то и другое, сдѣлать также, подъѣдешь къ границѣ, жаръ простываетъ, проѣдешь дальше, чувствуешь совсѣмъ ужъ не то, а ввалишься въ Петербургъ, такъ и почувствуешь такое подлое трясеніе подъ жилками, что изъ рукъ вонъ» [233]).

Случалось Погодину обнаруживать нѣкоторую терпимость къ Западу и даже говорить о «должномъ уваженіи къ его историческому значенію». Очевидно, суровая дѣйствительность мало соотвѣтствовала восторженнымъ національнымъ настроеніямъ, и подчасъ бѣдный «словенинъ» заставляетъ читателя думать, что онъ прославляетъ «русскій духъ» больше изъ личнаго самолюбія— остаться вѣрнымъ принципу.

Публика до конца не щадила привилегированныхъ патріотовъ. Ни одинъ славянофильскій органъ не вызвалъ у нея интереса и простого вниманія. Петербургскій *Маякъ*, подвизавшійся одновременно съ *Москвитяниномъ*, представлялъ еще болѣе крайнее крыло славянофильства, чѣмъ погодинскій журналъ. Въ его глазахъ даже Ломоносовъ и Державинъ являлись зараженными западной ересью, и даже Кирѣевскій въ *Москвитянинѣ* принужденъ былъ дать неблагопріятный отзывъ, возстать на его презрительные отзывы о Пушкинѣ, на его варварскій языкъ и вообще «странныя понятія».

Въ годъ смерти Бѣлинскаго въ Петербургѣ возникло *Сѣверное Обозрѣніе* подъ негласной редакціей Василія Григорьева, оріенталиста, товарища Грановскаго по петербургскому университету,

---

233) *Ib.*, VII, 110.

впослѣдствіи поразившаго русскихъ читателей памфлетической статьей въ *Русской Бесѣдѣ* Кошелева—*Т. Н. Грановскій до его профессорства въ Москвѣ*. Статья даже у Шевырева вызвала «омерзѣніе», Константинъ Аксаковъ поспѣшилъ печатно отозваться о Грановскомъ въ совершенно противоположномъ тонѣ, Естественно, Григорьевъ, какъ самостоятельный редакторъ, не пощадилъ западниковъ, распространяя, по его выраженію, «религіозно-патріотическій духъ». Публика осталась глуха къ призыву, и журналъ Григорьева умеръ послѣ кратковременной агоніи [234]).

Университетское славянофильство въ борьбѣ съ европейскимъ ядомъ не ограничилось журналистикой. Еще болѣе горячее и шумное столкновеніе партій произошло на другомъ поприщѣ, въ высшей степени любопытномъ при гнетущей атмосферѣ сороковыхъ годовъ, при инквизиціонномъ настроеніи властей, слѣдившихъ за развитіемъ русскаго слова и мысли.

XL.

Грановскій первый перенесъ борьбу на широкую общественную сцену и вмѣсто салонныхъ и кабинетныхъ дуэлей открылъ курсъ публичныхъ лекцій въ ноябрѣ 1843 года. Приготовляясь къ чтенію, Грановскій не скрывалъ, что это бой и писалъ Кетчеру: «хочу полемизировать, ругаться и оскорблять... Постараюсь заслужить и оправдать вражду моихъ враговъ» [235]).

Темой лекцій были выбраны средніе вѣка, и рѣшеніе Грановскаго полемизировать и ругаться слѣдуетъ понимать очень относительно. Въ томъ же письмѣ онъ выходитъ изъ себя противъ слишкомъ рѣзкой статьи Бѣлинскаго, находитъ въ ней «азіатскія, монголо-манчжурскія формы» и возмущается «цинизмомъ выраженій». Очевидно, у самого Грановскаго формы будутъ совершенно европейскія, тѣмъ болѣе, что на первыхъ лекціяхъ молодой ученый совершенно растерялся и едва нашелъ силы приступить къ чтенію.

Успѣхъ былъ блестящій. Предъ нами свидѣтельства Герцена и Хомякова, оба свидѣтеля единодушны и восторженны, недовольными остались Погодинъ и Шевыревъ [236]). Послѣдній имѣлъ всѣ

---

[234]) Разсказъ самого Григорьева о судьбѣ его журнала въ письмѣ къ Кошелеву. Колюпановъ. *О. с.* II, 261.

[235]) Грановскій. II, 459.

[236]) Отзывъ Герцена былъ напечатанъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, № 142, 1843 года. Перепечатанъ въ *Воспоминаніяхъ* Пассекъ — *Изъ дальнихъ лѣтъ*, II, 353.

основанія: Грановскій самъ сознается, что нѣсколько разъ выводилъ его на сцену, говоря о риторахъ, объ язычникахъ-староверахъ.

Друзья принялись разглашать по Москвѣ, что Грановскій оставляетъ безъ вниманія Русь и Православіе. Говоръ обезпокоилъ Филарета. Грановскій рѣшилъ отвѣчать публично и сдѣлалъ это предъ своей аудиторіей послѣ лекціи, указалъ на нелѣпость господъ, обвиняющихъ его въ пристрастіи къ Западу и требующихъ, чтобы онъ въ исторіи Запада читалъ о Россіи. Громъ рукоплесканій былъ отвѣтомъ.

Герценъ поспѣшилъ дать отчетъ сначала о первой лекціи Грановскаго, потомъ обо всемъ курсѣ. Вторую статью попечитель гр. Строгановъ не разрѣшилъ напечатать въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* и она появилась въ *Москвитянинѣ*, гдѣ Шевыревъ уже успѣлъ по своему разработать вопросъ. Это не помѣшало Герцену высказать нѣсколько мыслей, не утратившихъ своего значенія до послѣднихъ дней. Лекціи Грановскаго выдвинули на очередь одну изъ самыхъ существенныхъ задачъ русской науки и уже этого факта достаточно, чтобы чтенія остались событіемъ въ исторіи нашего общества.

Герценъ настаивалъ на открытіи новаго пути умственныхъ вліяній университета, на новомъ сближеніи его съ Москвой. «У насъ,—писалъ онъ,—не можетъ быть науки, разъединенной съ жизнью: это противно нашему характеру; потому всякое сближеніе университета съ обществомъ имѣетъ значеніе и важно для обоихъ. Преподаваніе, для пріобрѣтенія сочувствія, должно очиститься отъ школьнаго формализма, оно должно изъ холодной замкнутости сухихъ односторонностей выйти въ жизнь дѣйствительности, взволноваться ея вопросами, устремиться къ ея стремленіямъ. Общество должно забыть суету ежедневности и подняться въ среду общихъ интересовъ для того, чтобъ слушать преподаваніе. Оно готово это сдѣлать. Тактъ общества вѣренъ: все живое и сочувствующее ему находитъ въ немъ неминуемое признаніе, курсъ Грановскаго лучшее доказательство [227]).

Но этотъ успѣхъ не прошелъ даромъ. Отъ Грановскаго потребовали «апологій и оправданій въ видѣ лекцій, настаивали, чтобы реформацію и революцію онъ излагалъ съ католической точки зрѣнія и «какъ шаги назадъ». Грановскій предложилъ вовсе не читать

---

[227]) *Изъ дальнихъ лѣтъ. Ib.*, стр. 361.

о революціи, но реформаціи уступить не рѣшился и сталъ помышлять о выходѣ въ отставку, такъ какъ Строгановъ заявилъ, что «имъ нужно православныхъ» [238]).

Не дремали и славянофилы. Шевыревъ не могъ помириться на единоличномъ торжествѣ Грановскаго и открылъ свой православный и патріотическій курсъ лекцій. Готовился онъ молитвой надъ частицей мощей первоучителя словенскаго Кирилла, чтеніемъ его житія и «лекція,—говоритъ Шевыревъ,—была его внушеніемъ». Лекціи произвели на всѣхъ славянофиловъ отрадное впечатлѣніе, Языковъ воспѣлъ ихъ стихами, но Хомяковъ долженъ былъ засвидѣтельствовать печальный фактъ: «ряды нашихъ друзей оказались необычайно рѣдкими и дружина ничтожною». Университетъ и публика принадлежали Западу, и особенно молодое поколѣніе.

Это блистательно обнаружилось на диспутѣ Грановскаго.

Диссертація его—*Воллинъ*, *Іомсбургъ и Винета*, отвергавшая легенду о великомъ торговомъ центрѣ прибалтійскихъ славянъ—городѣ Винетѣ, проходила факультетъ съ большими затрудненіями. Славянофилы намѣревались ее вернуть, но, убоявшись скандала, допустили диспутъ. Оппонентами выступили ученый славистъ Бодянскій и Шевыревъ. Первыя же слова Бодянскаго были встрѣчены шиканьемъ, оно не прекращалось, пока оппонентъ не прервалъ окончательно своихъ возраженій. Та же участь постигла Шевырева. Рѣдкинъ, вмѣшавшійся въ диспутъ за Грановскаго, былъ награжденъ рукоплесканіями. Диспутъ совершенно утратилъ ученый характеръ и превратился въ шумное общественное зрѣлище. Деканъ Давыдовъ, по словамъ очевидца, «произнесъ ехидную заключительную рѣчь, гдѣ не сказалъ почти ничего ни о достоинствѣ диссертаціи, ни объ ученыхъ заслугахъ профессора, распространился о томъ, что преимущественно присудило магистранту ученую степень такъ настойчиво и необычно заявленное сочувствіе слушателей».

Эти слушатели съ громомъ апплодисментовъ подняли новаго магистра на руки.

Думали они повторить привѣтствія и на ближайшей лекціи. Грановскій, по просьбѣ инспектора, предупредилъ студентовъ прочувствованной рѣчью [239]).

Славяне не унялись. Москва вновь заговорила объ интригахъ

[238]) Письмо къ Кетчеру, 14 янв. 1844 г. *О. с.* II, 462—3.

[239]) Колюпановъ. *Изъ прошлаго. Русское Обозрѣніе.* 1895, апрѣль, 539 etc.

Грановскаго, объ его измѣнѣ отечеству, о статьяхъ Бѣлинскаго, подрывающихъ народность, семейную нравственность и православіе.

Очевидно, славянофильскій лагерь, по крайней мѣрѣ дѣйствовавшій на открытой литературной и научной сценѣ, никакъ не могъ уклониться отъ роли быть «добровольнымъ помощникомъ жандармовъ» [240]). И намъ ясно, въ какомъ источникѣ брали начало ярост-ныя рѣчи западниковъ, что заставляло ихъ часто закрывать глаза на положительныя стороны славянофильскаго ученія и сплошь громить его, какъ варварство и мракобѣсіе или какъ ложь и лицемѣріе.

Мы видѣли, пороками и недугами далеко не исчерпывалось славянофильское міросозерцаніе и славянофильская политика. И мы дальше увидимъ, сколько общихъ идей было у западниковъ съ восточниками. Но эти идеи будто заранѣе были осуждены вращаться въ дурномъ обществѣ и заражаться дурнымъ запахомъ. Правда, было здѣсь и одно великое смягчающее обстоятельство; мы не должны его забывать, если не желаемъ впасть въ пристрастіе.

Славянофилы по существу изнывали надъ рѣшеніемъ той самой задачи, какая истерзала великій талантъ Гоголя. Онъ искалъ идеальнаго русскаго человѣка, дивнаго славянскаго мужа и чудную славянскую женщину, и поиски окончились жестокой душевной драмой самого художника. Онъ пытался говорить громовыя рѣчи, показать своей родинѣ величественный образъ ея лучшаго сына, и какимъ безпомощнымъ, искусственнымъ является *этотъ* Гоголь сравнительно съ *тѣмъ!*—съ Гоголемъ сатиры и отрицанія, осмѣявшимъ «добродѣтельнаго человѣка» и взлелѣявшимъ Чичикова!

Подобная же участь постигла и славянофиловъ. Мы говоримъ о тѣхъ, чья искренность и благородство мысли внѣ сомнѣнія и кто дѣйствительно искалъ истины съ мучительной тоской души и съ напряженіемъ всѣхъ нравственныхъ силъ.

Они также неотразимы и побѣдоносны, пока предъ ихъ судомъ проходили всевозможныя несовершенства, неразуміе и пошлость отечественнаго чужебѣсія. Здѣсь славянофилы шли исконнымъ путемъ національнаго чувства и здраваго смысла, вдохновлявшихъ русскую сатиру въ теченіе вѣка.

Сатирики далеко не всегда выдерживали спокойный тонъ и не ограничивались правосудной карой туземныхъ уродовъ, а рас-

[240]) Выраженіе Герцена.

пространяли свой гнѣвъ и на тѣхъ, кто соблазнялъ слабыхъ умомъ Иванушекъ и, въ противовѣсъ ихъ недугу подражанія, воздвигали культъ «святой старины», объявляли гоненіе на писателей-разбойниковъ, воспѣвали даже китайскія добродѣтели вплоть до московскихъ охабней и мурмолокъ, не находили словъ достойно выразить восторгъ предъ смѣтливостью ярославскаго мужика, очарованіями русской тройки и единственной въ мірѣ силой русской рѣчи и проницательности русскаго ума.

Путь этотъ совершали писатели-художники, вовсе не зараженные какой бы то ни было политической тенденціей и совершенно свободные отъ нарочито-вымышленной исторической философіи. Естественно было людямъ отвлеченной мысли, стремившимся къ цѣльной системѣ нравственныхъ и культурныхъ воззрѣній, перейти границы критики и, подобно тому же Гоголю, послѣ насмѣшекъ надъ отечественнымъ попугайствомъ, положить всѣ свои силы на созданіе положительнаго образа русскаго гражданина.

Результаты вышли тѣ же.

Геніальный художникъ выбился изъ силъ, оживотворяя свою схему плотью и кровью. Славянофилы углубились въ темпую даль вѣковъ настоящей Руси, разыскивая по всѣмъ направленіямъ русской жизни, во всѣхъ намекахъ русскихъ преданій—національную доблесть. Предъ ними стоялъ несравненно болѣе внушительный врагъ, чѣмъ разнаго сорта Jean de France, чѣмъ пошлые франты и щеголихи, кривляющіеся на чужихъ діалектахъ. Въ Москвѣ, единственной надеждѣ «любви къ отечеству» и «народной гордости», раздалась убійственная рѣчь противъ всей русской старины, противъ даже культурныхъ задатковъ русской природы. Письма Чаадаева никто не забывалъ и не могъ забыть. Самъ авторъ многіе годы продолжалъ оставаться живымъ олицетвореніемъ западничества, дошедшаго до безнадежныхъ думъ о прошломъ Россіи.

Уже по одному закону противорѣчія и равносильнаго отпора, та же Москва должна вызвать къ жизни Чаадаевыхъ совершенно другихъ чувствъ и воззрѣній и, мы видѣли, Константинъ Аксаковъ могъ поспорить съ грибоѣдовскимъ Чацкимъ страстностью національнаго настроенія и неизмѣримо превзойти его устойчивостью и основательностью національной философіи. Тамъ—взрывъ оскорбленнаго чувства, здѣсь—система, воинственная и послѣдовательная.

Мы видимъ, психологія славянофильства—явленіе совершенно

ясное, неизбѣжное по историческимъ условіямъ русскаго просвѣщенія. Но столь же неизбѣжны и печальныя послѣдствія этой психологіи.

Они, въ зависимости отъ нравственныхъ свойствъ отдѣльныхъ личностей,—двояки, и опять не подъ вліяніемъ исключительно партійныхъ внушеній, а по тѣмъ же общимъ законамъ человѣческаго духовнаго міра.

Самоотверженные поиски въ удѣльной и московской Руси идеаловъ, имѣющихъ спасти вселенную отъ умственнаго раздвоенія и душевной тяготы, не могли привести къ желанной цѣли. Только развѣ золотые сны поэтически настроеннаго воображенія способны были явить неслыханныя чудеса исключительно прекрасной русской образованности, затмевающей всю европейскую цивилизацію. Добросовѣстные и искренніе искатели клада скоро убѣдились въ горькой правдѣ и волей-неволей видѣли себя вынужденными ограничиться вполнѣ цѣлесообразной, но исключительно отрицательной задачей—критикой слѣпого европеизма и общей защитой народности и національности, т. е. настаивать на близкомъ знакомствѣ русскихъ просвѣщенныхъ людей съ жизнью и природой своего народа.

Но такой результатъ не могъ удовлетворить именно самыхъ благородныхъ и искреннихъ энтузіастовъ. Драма неминуемо вкрадывалась въ это, самой дѣйствительностью, навязанное воззрѣніе. Отсюда тяжелое, истинно-трагическое впечатлѣніе, какое нѣкоторые славянофилы производили даже на людей другого лагеря.

Такъ, напримѣръ, Герценъ рисуетъ братьевъ Кирѣевскихъ. Это по истинѣ чета рыцарей, не признанныхъ жизнью, лишенныхъ воздуха и почвы въ настоящемъ и будущемъ.

«Грустно, какъ будто слеза еще не обсохла, будто вчера посѣтило несчастіе, появлялись оба брата на бесѣды и сходки. Я смотрѣлъ на Ивана Васильевича, какъ на вдову или на мать, лишившуюся сына; жизнь обманула его, впереди все было пусто и одно утѣшеніе:

Погоди немного,
Отдохнешь и ты!..» [241]).

Но грусть, у натуры энергичной, можетъ граничить и съ другимъ настроеніемъ. Чувство горькаго самообмана и разочарованія переходитъ нерѣдко въ невольное озлобленіе на тѣхъ, кому уда-

---

[241]) Герценъ. VII, 301.

лось найти нравственное довольство и успокоительные отвѣты на свои поиски. И тѣ же Кирѣевскіе столь симпатичные въ своихъ поблекшихъ мечтахъ юности, превращались если не въ фанатиковъ, то въ нетерпимыхъ хулителей чужой вѣры и чужихъ истинъ. И насъ не удивляетъ негодованіе, какое Иванъ Кирѣевскій вызывалъ впослѣдствіи у Грановскаго прямолинейностью чисто сектантской религіозности... У кого нѣтъ личнаго душевнаго мира, тому много надо самоотреченія и человѣческой любви къ людямъ, чтобы въ самомъ себѣ переживать разладъ и не выносить наружу его отголосковъ нетерпѣливыми окриками на увлеченія и надежды инако мыслящихъ.

Но это только одно проявленіе славянофильскихъ нравственныхъ крушеній. Рядомъ долженъ былъ обнаружиться другой способъ—маскировать отсутствіе твердыхъ убѣжденій и опредѣленнаго искренне-воспринятаго символа философской вѣры. Въ обыденной жизни безпрестанно можно встрѣчать людей, даже сильныхъ волей и разумомъ, служащихъ извѣстному дѣлу съ какой-то холодной окаменѣлой жестокостью и чуждыхъ душою этому дѣлу. Это будто извнѣ навязанный урокъ, выполняемый съ насильственнымъ напряженіемъ способностей. Тогда человѣкъ за свою тяготу вознаграждаетъ себя откровенной злобой и ожесточеніемъ на другихъ, свободныхъ отъ непосильнаго бремени. Азартомъ ненавистническаго чувства противъ враждебнаго лагеря онъ прикрываетъ призрачность и тщедушіе положительнаго идеала въ своемъ собственномъ, и весьма часто безпощадные фанатики сражаются во славу именно тѣхъ идей и вѣрованій, какія по волѣ судьбы стали для нихъ цѣлью обязательной службы и никогда не были предметомъ нравственнаго служенія.

Это явленіе и даже въ очень яркой формѣ могли прослѣдить и въ развитіи славянофильской воинственности.

Мы знаемъ, среди славянофиловъ никогда не прекращались междусобицы, и особенно, никогда не закрывалась пропасть между университетскимъ, оффиціальнымъ славянофильствомъ въ лицѣ Погодина и Шевырева, и общественнымъ, такъ сказать, вольнымъ славянофильствомъ. Аксаковы, Кирѣевскіе, Хомяковъ даже не скрывали своего менѣе всего почтительнаго отношенія къ *Москвитянину* и его писателямъ. Это было раздоромъ нестолько принциповъ, сколько натуръ.

Погодинъ и Шевыревъ именно состояли *на службѣ* у славянофильскаго направленія и, какъ истинные служители, ежеминутно

грозили скомпрометировать и опошлить его своимъ служительскимъ усердіемъ.

Такъ это и выходило на самомъ дѣлѣ.

Москвитянинъ обнаруживалъ одинаково унизительную безтактность и по отношенію къ власти и въ борьбѣ съ западниками. Тамъ онъ безпрестанно готовъ впасть въ раболѣпство, до глубины души возмущавшее Аксаковыхъ, воспѣть маскарадъ, сложить пышное похвальное слово по поводу событій, о какихъ дѣйствительно-политическій умъ, по крайней мѣрѣ, умолчалъ бы. Въ столкновеніяхъ съ западниками предъ *Москвитяниномъ* неизмѣнно былъ открытъ ровный и прямой путь къ инсинуаціямъ, доносамъ и прочему охранительному добровольчеству.

Эти герои, разумѣется, не могли впасть въ грусть и вызывать у кого бы то ни было чувство состраданія и подчасъ невольнаго уваженія къ своей нравственной безпріютности. У нихъ были простыя и вполнѣ доступныя средства—создавать себѣ удовлетвореніе.

Шевыревъ, напримѣръ, очарованный успѣхомъ своихъ публичныхъ лекцій, облекается въ русскій костюмъ и щеголяетъ по Москвѣ на удивленіе даже своихъ ближайшихъ сочувственниковъ въ родѣ Погодина [242]).

Очевидно, здѣсь не было мѣста ни грустному раздумью, ни отрезвляющему, хотя и мучительному сомнѣнію въ *своей* правдѣ. И мы знаемъ, что̀ значило встрѣтиться съ Шевыревымъ на полѣ литературной брани!..

Столько разнообразныхъ нравственныхъ стихій жило и развивалось въ славянофильствѣ! Слѣдуетъ признать, врядъ ли когда существовало болѣе сложное культурное теченіе, болѣе способное вызвать самые противоположные взгляды и чувства, менѣе выясненное самими послѣдователями и менѣе организованное, упорядоченное и вложенное въ логическую систему благосклонными и неблагосклонными критиками.

Мы ни на минуту не должны упускать изъ виду этого факта, чтобы правильно оцѣнить борьбу западничества съ славянофильствомъ, чтобы отыскать истинный смыслъ противорѣчивыхъ, по видимому, отношеній Бѣлинскаго къ славянофиламъ въ разные періоды его дѣятельности и чтобы, наконецъ, составить точное представленіе о дѣйствительномъ значеніи славянофильскихъ идей въ культурномъ и политическомъ развитіи русскаго общества.

---

[242]) Барсуковъ. VIII, 84.

XLI.

Мы видѣли, какими глубокими чувствами ненависти и гнѣва пламенѣла славянофильская публицистика противъ Бѣлинскаго, и поводъ былъ, на первый взглядъ, чрезвычайно внушительный, «гнусная враждебность къ русскому человѣку». *Отечественныя Записки*, по представленію писателей изъ *Москвитянина*, превратились, благодаря Бѣлинскому, въ органъ антирусскій и противонародный. Первенствующій критикъ неуклонно велъ политику враговъ русской національности, обнаруживалъ тупое непониманіе исконныхъ сокровищъ русскаго духа и творилъ себѣ кумировъ изъ всевозможныхъ зарубежныхъ боговъ.

Это обвиненіе тяготѣло надъ Бѣлинскимъ въ теченіе всей его жизни, не исчезло и позже. Въ глазахъ патріотовъ-спеціалистовъ онъ стяжалъ прочную славу фанатическаго западника, ослѣпленнаго блескомъ европейской цивилизаціи до совершенно невмѣняемаго презрѣнія къ самымъ подлиннымъ и яркимъ проявленіямъ русской самобытной стихіи. Это—нравственный безпочвенникъ и культурный межеумокъ.

Патріоты въ азартѣ преслѣдованія заходили даже за геркулесовы столбы; отрицали у *Отечественныхъ Записокъ* Бѣлинскаго способность понимать русскую поэзію вообще, не только народную...

Такая температура славянофильскихъ настроеній могла бы освободить насъ отъ необходимости вести процессъ съ подобными обвинителями. Но вопросъ въ сильной степени осложняется, независимо отъ воинственности *Москвитянина* и его единомышленниковъ.

Въ настоящее время не заслуживали бы особеннаго вниманія всѣ кривотолки, какіе вызывались личностью и дѣятельностью Бѣлинскаго въ лагерѣ завѣдомыхъ враговъ и даже просто людей, чуждыхъ ему по духу и міросозерцанію. Случилось же, напримѣръ, Бѣлинскому лично выслушать отъ извѣстнаго профессора, ученаго славянскаго филолога, Срезневскаго заявленіе, что его критическая дѣятельность не заслуживаетъ сочувствія, но зато его комедія *Пятидесятилѣтній дядюшка*—«вещь геніальная» [243])

Бѣлинскій не могъ опомниться отъ изумленія. Но съ теченіемъ времени онъ долженъ былъ привыкнуть къ оригинальной игрѣ ума своихъ критиковъ: улики въ непониманіи русскихъ стиховъ ничѣмъ въ сущности не уступали приговору Срезневскаго. Разница лишь въ томъ, что улика—крайняя точка линіи, какую вели

---

[243]) Анненковъ. *Воспоминанія*. III, 49.

не одни москвитяне. Въ этомъ обстоятельствѣ и заключается великій общественный интересъ вопроса.

Намъ неоднократно приходилось указывать на одинокое положеніе Бѣлинскаго даже среди ближайшихъ сочувственниковъ. Однихъ отталкивало его неистовство въ разъясненіи тѣхъ идей, какія они сами признавали истинными, другихъ смущала неумолимая послѣдовательность мысли, непреклонное отождествленіе идейныхъ стремленій и личныхъ отношеній.

Особенно глубокія страданія испытывалъ Грановскій. Онъ не успѣлъ вдуматься въ смыслъ духовныхъ преобразованій критика, не могъ помириться съ его безпощадной воинственностью и, конечно, оказался не въ силахъ вскрыть сущность воззрѣній Бѣлинскаго въ области основныхъ задачъ времени. На первомъ планѣ здѣсь стоялъ вопросъ о народности, одинаково близкій и литературѣ, и политикѣ сороковыхъ годовъ.

Среди западниковъ онъ обсуждался съ не меньшимъ усердіемъ, чѣмъ на страницахъ *Москвитянина*. Безъ него былъ немыслимъ никакой разговоръ объ искусствѣ и о наукѣ. И этотъ порядокъ достался времени Бѣлинскаго по наслѣдству, отъ публицистики двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Она, безъ различія направленій, усердно толковала о самобытности и подражательности. Начиная съ *Мнемозины* и кончая *Московскимъ Телеграфомъ*, критики-поэты и критики-публицисты съ одинаковой энергіей преслѣдовали «безнародность», «наносныя цѣпи» и взывали къ національному генію и народному творчеству. И мы знаемъ, наименованіе «перваго славянофила» стяжалъ поэтъ Кюхельбекеръ, не принадлежавшій ни къ какой партіи, и менѣе всего къ славянофильской, еще невѣдомой въ литературныхъ лѣтописяхъ первой четверти вѣка.

Бѣлинскій, слѣдовательно, неизбѣжно въ силу историческаго теченія идей, встрѣтился съ темой о народности, нисколько не утратившей своей важности и жгучести. Напротивъ. Появленіе особой національной партіи, вооруженной помимо патріотическаго жара еще философскими и даже научными средствами, сообщило задачѣ характеръ исключительной серьезности. И Бѣлинскій съ первой статьи до послѣдней не спускалъ глазъ съ борьбы.

Къ какимъ же результатамъ пришелъ онъ?

Отвѣтъ, помимо враговъ, дали также друзья критика, и въ такой формѣ, что выходки Погодина и Шевырева можно признать основательными, по крайней мѣрѣ, въ ихъ первоисточникѣ.

Одинъ изъ членовъ западническаго круга, впослѣдствіи добросовѣстный лѣтописецъ минувшихъ дѣлъ и рѣчей, разсказываетъ въ высшей степени любопытный, отчасти драматическій эпизодъ, въ своемъ родѣ событіе.

Совершилось оно въ окрестностяхъ Москвы, въ селѣ Соколовѣ, въ томъ самомъ, чье имя стоитъ подъ герценовскими *Письмами объ изученіи природы*. Въ этомъ селѣ, лѣтомъ 1845 года, жили семьи Герцена и Грановскаго. Общество собиралось многочисленное и шумное. Ежедневно происходили настоящіе миттинги западнической партіи. Бесѣды велись горячія и по всякому ничтожному поводу рѣчь готова была перейти на важнѣйшіе вопросы современной литературы и. общественности.

Въ атмосферѣ чувствовалось нѣкоторое напряженіе. Чуялось приближеніе если не грозы, то рѣшительнаго взрыва долго накоплявшихся чувствъ. Туча надвигалась со стороны, казалось бы, самой ясной и мирной, именно отъ Грановскаго, и громъ долженъ былъ поразить прежде всего Бѣлинскаго и *Отечественныя Записки*.

Однажды общество отправилось въ поля на прогулку. Кругомъ крестьяне и крестьянки убирали жатву. Костюмы ихъ, конечно, оставляли желать многаго по части скромности и изящества. Кто-то изъ гуляющихъ замѣтилъ, что изъ всѣхъ женщинъ на свѣтѣ только одна русская женщина никого не стыдится и ея также никто не стыдится.

Замѣчаніе, очевидно, было брошено съ иронической шуткой и немедленно вызвало протестъ Грановскаго. Онъ обратился къ насмѣшнику съ такимъ поученіемъ:

— Надо прибавить, что фактъ этотъ составляетъ позоръ не для русской женщины изъ народа, а для тѣхъ, кто довелъ ее до того, и для тѣхъ, кто привыкъ относиться къ ней цинически. Большой грѣхъ за послѣднее лежитъ на нашей русской литературѣ. Я никакъ не могу согласиться, чтобы она хорошо дѣлала, потворствуя косвенно этого рода цинизму распространеніемъ презрительнаго взгляда на народность.

Самый ярый славянофилъ не отказался бы отъ подобной рѣчи и поспѣшилъ бы указать непремѣнно на петербургскій западническій журналъ. Грановскій именно такъ и поступилъ.

Ему возразили, что не слѣдуетъ обобщать одно случайное замѣчаніе. Онъ не согласился и напомнилъ, что подобныя замѣчанія превращаются иногда въ цѣлое ученіе, напримѣръ, у Бѣлинскаго.

и онъ, профессоръ, во взглядахъ на русскую національность гораздо больше сочувствуетъ славянофиламъ, чѣмъ *Отечественнымъ Запискамъ* и западникамъ [244]).

Болѣе краснорѣчивый фактъ трудно представить и для славянофиловъ не могло быть ничего желаннѣе, какъ эта междоусобица. Слѣдовательно, должны мы замѣтить, Бѣлинскій на самомъ дѣлѣ грѣшилъ смертнымъ грѣхомъ противъ русской народности и давалъ своимъ противникамъ вполнѣ законныя основанія уличать его чуть ли не въ измѣнѣ отечеству?

Косвенный утвердительный отвѣтъ даетъ и самъ историкъ разсказаннаго событія. По его словамъ, «кичливость образованностью омрачала иногда самые солидные умы» и была, по преимуществу, «темной стороной нашего западничества» [245]).

Имѣется и съ другой стороны подтвержденіе печальнаго факта. Герценъ сознается, что они, то-есть, западники, «долго не понимали ни народа русскаго, ни его исторіи». Правда, вина лежала на славянофилахъ. Они заслонили жизненную и историческую правду «иконописными идеалами и дымомъ ладона». Но причина не мѣняетъ смысла послѣдствій; по сознанію западника, западничество, по крайней мѣрѣ, въ теченіе нѣкотораго времени, оставалось на русской почвѣ растеніемъ чужеяднымъ и слѣпымъ. И если Герценъ говоритъ *мы не понимали,* читатель не имѣетъ ни малѣйшаго повода исключать изъ этихъ *мы* того же Бѣлинскаго и его послѣдователей.

Достаточно этихъ фактовъ, чтобы преклониться предъ грозными патріотическими окриками славянофиловъ и на совѣсти нашего критика оставить преступленіе еще горшее, чѣмъ всѣ другія, въ родѣ обоготворенія дѣйствительности, развѣнчиванія пушкинской Татьяны. И, повидимому, общественное мнѣніе нашей литературы помирилось съ такимъ заключеніемъ. Въ статьѣ о русскихъ былинахъ и сказкахъ Бѣлинскому пришлось, между прочимъ, высказать такую мысль:

«Одно небольшое стихотвореніе истиннаго художника-поэта неизмѣримо выше всѣхъ произведеній народной поэзіи вмѣстѣ взятыхъ» [246]).

Эта фраза пріобрѣла классическую славу и стала эпиграфомъ всѣхъ негодующихъ рѣчей, направляемыхъ противъ Бѣлинскаго—

---

[244]) *Ib.*, стр. 119 etc.

[245]) *Ib.*, стр. 124.

[246]) *Сочиненія.* V, 36—7.

эстетика и публициста. Въ связи съ извѣстными намъ признаніями западниковъ она звучитъ неотразимо и защитниковъ критика ставитъ, повидимому, въ безвыходное положеніе.

Мы не беремъ на себя этой роли и считаемъ ее недостойной ума и таланта Бѣлинскаго. Мы предоставимъ ему самому вести процессъ: отъ глубины его чувства, отъ силы его мысли и краснорѣчія будетъ зависѣть побѣда или пораженіе. Мы только должны оговориться, — Бѣлинскій уже давно нашелъ своихъ защитниковъ, столь же неожиданныхъ, какъ нападки Грановскаго. Писатель, не причислявшій себя ни къ славянофиламъ, ни къ западникамъ, но, несомнѣнно, тяготѣвшій къ востоку и славянскому міру, взялъ на себя задачу понять и простить вины Бѣлинскаго предъ русскимъ народомъ.

Этотъ смѣльчакъ—Аполлонъ Григорьевъ.

Всегда искренній и благородный, доступный глубокимъ идейнымъ увлеченіямъ, къ сожалѣнію, не всегда уловимый и удобопонятный въ полетахъ горячей мысли, Григорьевъ пересмотрѣлъ давнишній процессъ западниковъ съ славянофилами и открылъ сильнѣйшія смягчающія обстоятельства даже для крайнихъ противонароднических выходокъ Бѣлинскаго.

Критикъ съ истинной проницательностью культурнаго историка разобралъ условія, при какихъ началась схватка западничества съ славянофильствомъ. Для насъ соображенія Григорьева не новость послѣ того, какъ мы знакомы съ лубочнымъ національзмомъ и сусальной народностью публицистовъ въ родѣ Глинки и ученыхъ въ стилѣ Надеждина. Для насъ важно, что заслуженная казнь маскарадныхъ патріотовъ постигла изъ устъ убѣжденнаго исповѣдника національной вѣры.

Какая мѣткая и сильная характеристика романовъ Загоскина, драмъ Кукольника, статей Надеждина, какъ сокровищницъ особаго русскаго духа, воплощаемаго въ лицѣ скомороховъ, нравственныхъ евнуховъ, отождествляемаго съ неотразимымъ кулакомъ лихаго забіячества или тупымъ смиреніемъ безличнаго холопа! У Загоскина предѣлъ національнаго нравственнаго совершенствованія—«баранья покорность всякому существующему факту», а въ драмахъ—звѣрское самодовольство Ляпунова, татарскій азартъ Ѳедосьи Сидоровны — грозы китайцевъ. Это—сплошное наслѣдіе татарщины, это варварское дыханіе Азіи, а не подлинный духовный міръ русскаго народа, не великая будущая сила культурнаго міра.

Какой же читатель, не утратившій окончательно здраваго смысла и чувства человѣческаго достоинства, могъ остаться благосклоннымъ или даже равнодушнымъ предъ подобными зрѣлищами! Какъ могло не поразить до нестерпимой боли униженіе, какому подвергали русскую народность ея неосмысленные апостолы? И кто, наконецъ, подниметъ камень на людей, въ порывѣ оскорбленнаго ума и духа клеймящихъ пошлость и дикость самозваннаго патріотизма?

Такими людьми и были западники, отъ Чаадаева до Бѣлинскаго. Григорьевъ понимаетъ всю жгучую боль, какая вложена авторомъ философскаго письма въ его произведеніе. Онъ понимаетъ и страстные набѣги Бѣлинскаго на возстановителей татарщины подъ видомъ русской народности. Критикъ приходитъ къ заключенію, достойному высшихъ стремленій нашей просвѣщенной публицистики и общественной исторіи.

«Не съ народностью боролось западничество, а съ фальшивыми формами, въ которыя облеклась идея народности. И вина западничества, если можетъ быть вина у явленія историческаго, не въ томъ, конечно, что оно отрицало фальшивыя формы, а въ томъ, что фальшивыя формы принимало оно за самую идею» [247]).

Прекрасно сказано, но не договорено. Бѣлинскаго можно считать правымъ въ западническихъ излишествахъ предъ торжествующимъ кулакомъ и уличнымъ забіячествомъ. Но ему мало чести, если онъ не распозналъ формы и сущности, если онъ неразуміе и первобытность отдѣльныхъ личностей смѣшалъ съ общимъ культурнымъ принципомъ.

По мнѣнію Григорьева, именно такъ и выходитъ.

Критикъ готовъ все понять и отпустить, но онъ въ то же время убѣжденъ, что Бѣлинскій всецѣло нуждается въ прощеніи и вовсе не заслуживаетъ нашихъ положительныхъ чувствъ, какъ публицистъ на тему народности. Онъ—чистый отрицатель, онъ—*гонитель народности*, — и только съ теченіемъ времени могъ усвоить болѣе здоровое міросозерцаніе. Григорьевъ увѣренъ, Бѣлинскій его усвоилъ бы, какъ вообще во всякое время оказался бы на высотѣ культурныхъ задачъ. Но это значитъ превозносить потенціальнаго Бѣлинскаго, а не дѣйствительнаго. Пророчество, несомнѣнно, симпатичное, но оно въ глазахъ большинства свидѣ-

---

[247]) Статьи Григорьева: *Западничество въ русской литературѣ*, *Бѣлинскій и отрицательный взглядъ въ литературѣ*. *Сочиненія*. Спб. 1876.

тельствуетъ больше о добромъ благородномъ сердцѣ прорицателя, чѣмъ утверждаетъ истину на незыблемыхъ основаніяхъ логики и фактовъ.

Мы не имѣемъ возможности ограничиться усладительными настроеніями. Мы должны рѣшиться на нѣчто большее. Для насъ не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія въ фактѣ, по странному недоразумѣнію упущенномъ изъ виду рыцарственнымъ защитникомъ Бѣлинскаго: если критикъ не имѣлъ опредѣленнаго представленія о народности, если онъ упорствовалъ въ слѣпомъ отрицаніи, онъ психологически не могъ быть глубокимъ цѣнителемъ и поучительнымъ истолкователемъ произведеній русской литературы. Такому критику доступно развѣ только искусство, по самой сущности враждебное народной стихіи,—искусство, оторванное отъ исторической національной почвы, напримѣръ, французскій классицизмъ.

А между тѣмъ Бѣлинскій именно и нанесъ жесточайшіе удары классическому космополитизму и наносной лжи. Именно онъ трепеталъ всѣми нервами за честь независимаго русскаго творчества. Это—несомнѣнное противорѣчіе. Между принципомъ народности и космополитическими влеченіями нѣтъ средины, возможны только тѣ или другія толкованія принципа, сплошное отрицаніе его немыслимо вообще для литературнаго дѣятеля новаго времени.

Очевидно, Григорьевъ неправъ. Въ идеяхъ Бѣлинскаго, яростнаго ненавистника татарской самобытности, имѣлось нѣчто свое, несомнѣнно, національное и народное, нѣчто достаточно глубокое и содержательное, чтобы критикъ могъ на немъ возвести незабвенные памятники творчеству Пушкина, Лермонтова, Гоголя.

И открыть этотъ положительный капиталъ не представляетъ никакихъ затрудненій: именно здѣсь критикъ съ особеннымъ блескомъ развернулъ свой дивный талантъ лиризма, возвышавшій его въ счастливыя минуты на уровень первостепеннаго поэта.

XLII.

Бѣлинскому пришлось коснуться рокового вопроса въ одной изъ самыхъ молодыхъ своихъ статей, въ журналѣ Надеждина. Здѣсь онъ столкнулся съ извѣстной намъ одой въ честь кулака и ему необходимо было сказать свое мнѣніе о предметѣ, весьма близкомъ сердцу редактора.

Бѣлинскій не отступилъ отъ крайне щекотливой задачи. Онъ

написалъ цѣлое разсужденіе полу-ироническаго, полу-серьезнаго характера, сравнивая кулакъ съ другими орудіями борьбы шпагой, штыкомъ, пулей. Онъ постарался доказать своему воинственному патрону, что кулакъ, дубина то же самое, что ноготь, зубъ, т.-е. орудія звѣря или дикаря; другія средства борьбы «предполагаютъ искусство, ученіе, слѣдовательно, зависимость отъ идеи», характеризуютъ «человѣка образованнаго» [248]).

Простое, но въ высшей степени знаменательное сопоставленіе! Сущность его не исчезаетъ до конца изъ разсужденій Бѣлинскаго. Его цѣль двоится: онъ долженъ побороть ярмарочныхъ націоналистовъ и установить понятіе истинной культурной національности. Въ силу вещей эти цѣли часто сливаются въ одномъ теченіи мысли. Предъ Бѣлинскимъ цѣлая фаланга патріотовъ загоскинскаго типа. Они взапуски другъ передъ другомъ стараются закидать шапками своихъ противниковъ и доходятъ до такой степени азарта, что всякая человѣческая рѣчь и здравый смыслъ становятся излишними предъ нечленораздѣльными воплями черни и массы.

По культурнымъ условіямъ времени эти враги вполнѣ серьезные. Въ ихъ распоряженіи періодическія изданія, популярная беллетристика и даже университетскія каѳедры. Имъ волей-неволей приходится удѣлять много вниманія, даже начинать писательство въ томъ журналѣ, гдѣ только что была совершена апоѳеоза русскаго кулака. На страницахъ профессорскаго органа надо объяснять, что «кулаки не помогли подъ Нарвой, и не кулаки, а обученное войско смыло подъ Полтавой пятно стыда кровью своего прежняго побѣдителя». Непосредственная физическая сила и наука, просвѣщеніе: такъ стоитъ вопросъ съ самаго начала. И не было бы смертнаго грѣха, если бы Бѣлинскій окончательно перетянулъ вѣсы въ сторону ума и однимъ ударомъ покончилъ съ народностью, которую можно отожествлять съ разрушительными инстинктами дикаря. Этого не случилось, и причина лежитъ исключительно въ глубокомъ умѣ критика, въ его восторженной любви къ родному народу, отнюдь не въ искусствѣ его противниковъ—раскрыть безсмертныя общечеловѣческія сокровища—въ исторіи и природѣ русскаго человѣка.

Смыслъ отрицаній Бѣлинскаго, столь поразившихъ его славянофильскаго поклонника, вполнѣ ясенъ. Сдѣлайте логическіе

[248]) *Ничто о ничемъ, или отчетъ г. издателю «Телескопа» за послѣднее полугодіе (1835) русской литературы.* II, 137.

выводы изъ основныхъ положеній той самой народности, какая возмущаетъ самого Григорьева: ихъ два—смиреніе и кулакъ, два полюса русскаго народнаго духа, по разъясненію его профессіональныхъ толкователей, смиреніе—добродѣтель внутренней политики, кулакъ—всемогущее средство разрѣшать внѣшнія осложненія. У себя дома—русскій человѣкъ или скоморохъ, или умственный аскетъ; обѣ роли не противорѣчатъ другъ другу и въ случаѣ нужды могутъ сливаться въ одну; предъ иноземцами онъ—неугомонный забіяка и самохвалъ. Художественные образы для всѣхъ этихъ идеаловъ даны въ изобиліи охотнорядской литературой. Дальнѣйшее развитіе неуклонно.

Народъ естественно будетъ подмѣненъ чернью, русскій языкъ жаргономъ, «національная мудрость» откроется въ вѣковомъ мракѣ «святой старины», провиденціальное назначеніе Россіи опредѣлится ея неограниченнымъ военнымъ торжествомъ надъ басурманами, въ противодѣйствіи яду европейской образованности.

Вдохновеній для этой дѣятельности можно почерпнуть сколько угодно въ самой подлинной русской народной поэзіи. Взять, напримѣръ, былины. Какое раздолье кулаку, забубенной физической силѣ, какіе сочные жанры на романическія темы въ чисто національномъ духѣ, безъ всякой примѣси западной ереси!

Именно исторіи и драмы любви особенно краснорѣчивы. Въ любовной страсти человѣкъ сказывается весь, безъ утайки и удержу, во всей полнотѣ обнаруживается его нравственная природа.

И былины не скупятся на живопись. У нихъ есть свой излюбленный Ромео и своя Джульетта. Ромео—это Змѣй Тугаретинъ, или Тугаринъ Змѣевичъ, а Джульетта—княгиня Апраксѣевна, супруга кіевскаго князя Владиміра. И что это за любовь и что за герои!

Прочтите, какъ держитъ себя счастливый любовникъ съ своей возлюбленной публично, на пиру, въ присутствіи ея мужа! Ѣстъ онъ—по цѣлой ковригѣ за щеку мечетъ, пьетъ—по цѣлой чашѣ охлестываетъ, «котора чаша въ полтретья ведра», съ милой бесѣдуетъ—«къ княгинѣ руки въ пазуху кладетъ, цѣлуетъ уста сахарныя, князю насмѣхается». Эти подвиги не мѣшаютъ Змѣю быть самымъ жалкимъ трусомъ, и спасаться отъ противника въ такомъ доблестномъ и изящномъ бѣгствѣ, что подробности народной иронической фантазіи являются невозможными въ печати. Подъ стать такому герою и его зазноба. Богатыри съ ней рѣшительно не стѣсняются, имъ ничего не стоитъ при всей почтенной

публикѣ обозвать ее «сукой, сукою-то волочайкою», а глядя по обстоятельствамъ, приправить рѣчь энергическимъ жестомъ, потому что «женской полъ отъ того пухолъ бываетъ».

Когда вы пожелаете вызвать предъ собой во всей красотѣ идеалы былинной русской очаровательницы, предъ вами предстанетъ такой образъ: «она по двору идетъ—будто уточка плыветъ, а по горенкѣ идетъ—частенько ступаетъ, а на лавицу садится, колѣнцо жметъ,—а и ручки бѣленьки, пальчики тоненьки, дюжина изъ перстовъ не вышли всѣ».

Какъ оцѣнить подобное творчество? Съ художественной точки зрѣнія оно явно неудовлетворительно, иначе пришлось бы вычеркнуть изъ исторіи искусства эллинскую національную поэзію, не имѣющую ничего общаго ни съ утиной походкой, ни съ женской пухлостью, ни съ манерами жеманныхъ мѣщанокъ. Положимъ, и у Гомера достаточно наивностей и даже дикостей, но прощаніе Гектора съ Андромахой, нѣчто совершенно другое, чѣмъ сцена Дуная Ивановича съ Настасьей Королевишной, гдѣ кавалеръ даетъ дамѣ пощечину и шутитъ многія подобныя же шутки, появленіе Навзикаи, равной по стройности пальмамъ Делоса, совсѣмъ не похоже на очаровательные поступки Марины Игнатьевны или княгини Апраксѣевны. Множество и другихъ сравненій можно привести. Какъ поступить съ ними въ виду притязаній русскихъ патріотовъ—сложить изъ русскихъ былинъ своего рода Одиссею и замереть въ восторгѣ предъ національной эпопеей?

Бѣлинскій не колебался въ отвѣтѣ, и далъ его, по обыкновенію, рѣшительно и рѣзко. Поэзіи и красоты нѣтъ въ тѣхъ былинахъ, гдѣ царитъ звѣрская сила, гдѣ слабѣйшій—будь это женщина, или ея обманутый мужъ, подвергаются всяческимъ насиліямъ и издѣвательствамъ, гдѣ чувство любви отождествляется или съ бѣсовскимъ навожденіемъ или съ вызывающимъ цинизмомъ.

Дальше, вопросъ культурный, общечеловѣческій. Здѣсь рѣшеніе еще нагляднѣе. Кто станетъ утверждать, что былинныя рыцарскія добродѣтели должны остаться драгоцѣнными завѣтами для будущихъ поколѣній? Мы не откажемъ въ трогательномъ неумирающемъ чувствѣ поэту, создавшему образъ Пенелопы, изобразившему тоску великаго Ахиллеса по другѣ Патроклѣ, вложившему въ уста героевъ столько мудрыхъ и дивно прекрасныхъ рѣчей о любви къ родинѣ, о человѣческой судьбѣ, о доблести мужчины и о красотѣ женщины...

Пусть на этой же сценѣ приносятся человѣческія жертвы,

плѣнницы превращаются въ наложницъ, вожди поносятъ другъ друга словами—крылатыми яростью,—все это не заслонитъ ослѣпительнаго блеска поэзіи и мысли. И развѣ допустимо будетъ признать эстетическимъ или нравственнымъ преступленіемъ естественный выводъ, какой получается изъ сравненія русскихъ сказаній о богатыряхъ съ гомеровскими пѣснями?

А именно только этотъ выводъ и сдѣлалъ Бѣлинскій, но ограничилъ его до послѣдней степени, приписалъ всѣ грѣхи русскихъ народныхъ былинъ—и противъ художественности, и противъ человѣчности не народности, не самой природѣ русскаго народа, а несчастнымъ внѣшнимъ условіямъ, обставившимъ ростъ русской національности.

Это излюбленная идея Бѣлинскаго: «Недостатки нашей народности вышли не изъ духа и крови націи, но изъ неблагопріятнаго историческаго развитія». Критикъ доказываетъ свою мысль и съ помощью фактовъ и еще сильнѣе—страстными взрывами своего поэтическаго чувства.

Посмотрите, какъ онъ объясняетъ тяжелые, часто безнадежные мотивы русской пѣсни! Онъ не пропустилъ ни одной черты ни въ прошломъ, ни въ настоящемъ русскаго народа, вспомнилъ о междоусобицахъ, о татарщинѣ, о самовластіи Грознаго, о смутахъ междуцарствія, сильными красками поэта-публициста нарисовалъ будничную тяготу народнаго житья-бытья и набросилъ на эту картину фонъ свинцоваго неба, холодной весны, печальной осени и необозримыхъ однообразныхъ степей [249])... И вы согласны съ критикомъ.

Гдѣ же родиться смертной тоскѣ и тяжелому размаху подавленныхъ силъ, какъ не въ этихъ вѣчныхъ сумеркахъ нравственнаго и внѣшняго міра? Какъ эта жизнь и природа далеки отъ глубокаго, вѣчно сіяющаго неба, отъ нервныхъ, переливчатыхъ волнъ моря того юга, гдѣ Гомеръ слагалъ свои поэмы! И какіе два несхожихъ человѣка—свободный и праздный грекъ и удрученный работами данникъ азіатской желѣзной силы!.. Легко представить, какъ вмѣсто полубоговъ явились полузвѣри и чарующіе вольные полеты воображенія не могли ужиться съ неотразимой прозой рабской дѣйствительности.

Такъ было на Руси, хотя не вездѣ и не всегда. Въ Новгородѣ историческая жизнь народа сложилась иначе, чѣмъ въ средней

[249]) *Сочиненія*. V, 247.

Россіи, и это отразилось на народномъ творчествѣ. Странная республика, не успѣвшая вырости въ строго-организованную политическую силу, успѣла внести свой духъ воли и независимой силы въ былинныя пѣсни. Она создала всего четыре сказанія— о купцѣ Садко и о Василіѣ Буслаевѣ, но какое здѣсь богатство чувства и мысли сравнительно съ исторіями о другихъ русскихъ богатыряхъ! Именно онѣ освѣщаютъ вѣрнымъ свѣтомъ дѣйствительный духъ русской народности и показываютъ, въ какомъ направленіи, при лучшихъ историческихъ судьбахъ, развилось бы русское народное творчество.

Такъ думаетъ Бѣлинскій, и здѣсь онъ не скупится на восторги онъ счастливъ отвести душу на томъ, что его художественное чувство можетъ признать истинно прекраснымъ, въ чемъ его высококультурная мысль можетъ распознать человѣческую душу, *идею*.

И какъ онъ не требователенъ въ своемъ восхищеніи, какъ мало правовѣренъ на строгій западническій взглядъ! Онъ неоднократно принимается произносить лирическія рѣчи во славу именно той добродѣтели русскаго народа, какая впослѣдствіи у Тургенева вызоветъ смѣхъ и презрѣніе. Это—прославленная русская удаль, широкій размахъ души, головокружительный разгулъ...

Качество, несомнѣнно, картинное; не даромъ оно внушило Гоголю такое стремительное, такое искреннее чувство. Но вѣдь тотъ же великій сатирикъ распространилъ свой восторгъ далеко за предѣлы поэзіи, слилъ его съ политикой и отъ гимна русской тройкѣ перешелъ къ историческому ясновидѣнію, къ небывалымъ, будто уже существующимъ, перспективамъ побѣдоноснаго русскаго прогресса среди изумленныхъ отсталыхъ народовъ и государствъ.

Не шелъ ли на такую же опасность и нашъ критикъ?

Да, почти: онъ приближается къ самой грани, отдѣляющей лирическое предчувствіе будущаго отъ сознательнаго преклоненія предъ настоящимъ.

XLIII.

«Я люблю русскаго человѣка и вѣрю великой будущности Россіи»,—такъ писалъ Бѣлинскій незадолго до смерти, и эти слова можно поставить во главѣ его національной философіи [250]). Немного раньше онъ точно опредѣлилъ и основанія своей любви

[250]) Письмо къ Кавелину, 22 ноября 1847 года. *Русск. М.* 1892, I, 114

вѣры. «Русская личность пока эмбріонъ, но сколько широты и силы въ натурѣ этого эмбріона, какъ душна и страшна ей всякая ограниченность и узкость!» [251]).

Эти рѣчи говорились въ самый разгаръ славянофильской полемики, но смыслъ ихъ установился гораздо раньше, былъ заявленъ открыто и всякаго, кто внимательно слѣдилъ за развитіемъ идей критика, не должна была удивлять его благосклонность къ нѣкоторымъ славянофильскимъ воззрѣніямъ.

«Я—натура русская», признавался Бѣлинскій и гордился этимъ. Отсюда совершенно непосредственный путь ко всѣмъ его лирическимъ изліяніямъ, къ его проповѣди національности и народности. Здѣсь, въ этомъ сознаніи, таятся всѣ нравственныя побужденія, двигавшія талантъ критика на защиту и толкованіе первостепенныхъ современныхъ художниковъ, и заключается вся идейная программа, подсказывавшая ему предметы восторга и порицанія.

Бѣлинскій, стараясь уловить національную русскую природу, совершалъ процессъ самопознанія, разоблачая культурный составъ русской народности, набрасывалъ черты своей собственной личности.

Въ русской народной поэзіи всѣ эти черты схвачены однимъ понятіемъ—*удаль*. Это—способность разойтись до того, что море кажется по колѣно, насладиться чувствомъ необъятной воли и силы, забыться въ страстномъ трепетѣ жизни, рискнуть всѣмъ, что есть дорогого, годами и трудомъ взлелѣяннаго и ощутить пронизывающее дыханіе смертельной опасности. Это купецъ Садко, бросающій въ темную бездну судьбы и свое богатство, и себя самаго, это Васька Буслаевъ, съ бурнымъ безуміемъ прожигающій жизнь, не вѣрующій ни въ сонъ, ни въ чохъ, а лишь въ свой червленый вязъ.

И тамъ, и здѣсь предъ нами сила дикая, не облагороженная какими бы то ни было высшими нравственными стремленіями, но сила—истинно-богатырская, исполненная отваги и блеска.

Она-то именно и плѣняетъ Бѣлинскаго, влечетъ къ себѣ своимъ неудержимымъ размахомъ, несокрушимымъ удальствомъ. Въ этой удали онъ готовъ видѣть даже начало и проблески духовности и преклониться предъ великой будущностью этихъ задатковъ. Только пусть проникнетъ въ эту стихію свѣтъ мысли, пусть овладѣютъ ею человѣческіе идеалы, и она совершитъ чудеса, поразитъ изумленіемъ старый міръ.

---

[251]) Письмо къ Боткину, 8 марта 1847 года. Пыпинъ. II, 281.

«Отвага, удаль и молодечество,—разсуждаетъ критикъ,—еще далеко не составляютъ человѣка; но они—великое поручительство въ томъ, что одаренная ими личность можетъ быть по преимуществу человѣкомъ, если усвоитъ себѣ и разовьетъ въ себѣ духовное содержаніе».

Его почти нѣтъ въ русской былинной поэзіи. Всюду только могучее тѣло, преклоненіе предъ физической силой, предъ богатырствомъ въ истребленіи невѣроятнаго количества зелена вина, въ избіеніи враговъ, часто въ чудовищной казни невѣрной жены.

Сами богатыри не личности и не характеры, а смутные, едва очерченные образы, едва организованная матеріальная стихія. И она еще ждетъ творческаго и мыслящаго духа, такъ же, какъ ждалъ его и весь народъ старой до-петровской Руси. Избытокъ органическихъ силъ уходилъ на дикій разметъ грубыхъ страстей, явился царь-преобразователь, вдунулъ въ исполинское тѣло душу живу, и, говоритъ Бѣлинскій, «замираетъ духъ при мысли о необъятно-великой судьбѣ, ожидающей народъ Петра»...

Припомните личныя признанія критика о самомъ себѣ, и васъ поразитъ тожественность мыслей. Мы знаемъ, какое страстное отвращеніе питалъ неистовый Орландъ къ подвигамъ умѣренности и аккуратности, какъ ненавистны и презрѣнны были для него среднія мѣщанскія добродѣтели. «Лучше быть падшимъ ангеломъ, т. е. дьяволомъ, нежели невинною, безгрѣшною, но холодною и слизистою лягушкою». Такова нравственная психологія Бѣлинскаго; живую иллюстрацію ей онъ могъ найти въ нижегородскихъ былинахъ. Всѣ его сочувствія на сторонѣ Васьки Буслаева.

Герой, правда, преисполненъ всевозможныхъ грѣховъ. Онъ самъ сознается: «съ молоду бито много, граблено», но это разгулъ органической силы, дурно направленной, но не перестающей быть силой. И, по мнѣнію критика, Васька «лучше многихъ тысячъ людей, которые тихо и мирно проживали вѣкъ свой: онъ былъ мотомъ и пьяницей отъ избытка душевнаго огня, лишеннаго истинной пищи, а тѣ жили тихо и мирно по недостатку силы».

И, читая эту оправдательную рѣчь, вы невольно представляете самого адвоката во власти такого же широкаго размета души, только здѣсь онъ направленъ къ ясной идеальной цѣли, здѣсь неистощимая энергія проникнута духомъ и разумомъ. Развѣ знакомая намъ сцена, устроенная Бѣлинскимъ по случаю его Бородинской статьи, не тотъ же самый богатырскій размахъ, какому

нѣтъ дѣла до внѣшнихъ препятствій и опасностей? Развѣ неуклонная рѣшимость вѣрить только своему чувству и своему разсудку въ разрѣзъ съ какими бы то ни было настроеніями и мыслями другихъ людей, не то же презрѣніе Буслаева къ чоху и сну т. е. къ общепринятымъ вѣрованіямъ и примѣтамъ, и надежда лишь на одну свою силу?

Тамъ только «червленый вязъ», т. е. орудіе первобытнаго человѣка, здѣсь мощная воля и неустанная мысль. Натуры тожественныя по существу, различныя по направленію. И поэтому Бѣлинскій такъ горячо стоялъ за реформу Петра; она въ его глазахъ—творческій духъ, очеловѣчившій могучее тѣло, она варвару, безтолково и часто преступно тратившему свои силы, указала путь культурнаго прогресса.

Какой смыслъ послѣ этого могли имѣть обвиненія противъ Бѣлинскаго въ презрѣніи и ненависти къ русскому человѣку? Можно ли было въ большей степени извратить настоящее чувство критика и съ большей отвагой оклеветать одного изъ восторженнѣйшихъ глашатаевъ русской народной силы?

И не одной силы. Помимо нижегородскихъ былинъ русская старина завѣщала еще одно сокровище, поэтическое и трогательное, правда не *Иліаду* и *Одиссею*, но само по себѣ краснорѣчивое свидѣтельство о благородныхъ общечеловѣческихъ чертахъ русскаго народнаго духа. Это—*Слово о полку Игоревѣ*.

Прочтите страницы, написанныя Бѣлинскимъ объ этой таинственной эпопеѣ, и сравните ихъ съ остроумнымъ разборомъ того же предмета, принадлежащимъ перу несомнѣнно ученѣйшаго филолога сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ — Сенковскаго, вы поймете, что значитъ *критиковать* народную поэзію и *понимать* ее. Двѣ вещи совершенно различныя.

Для барона Брамбеуса *Слово* — ничто иное какъ «школьный реторическій трудъ». Составилъ его нѣкій семинаристъ прошлаго вѣка по всѣмъ правиламъ классическихъ реторикъ. Баронъ отличался способностью доказывать рѣшительно все что угодно именно при помощи филологіи, проявилъ во всемъ блескѣ этотъ талантъ на поразительномъ истолкованіи греческихъ миѳовъ путемъ переименованія героевъ и героинь въ *Распребѣшана Невпопадовича* (Агамемнонъ Атридъ), въ *Дебелощеку Распредѣшановну* (Ифигенія дочь Агамемнона) и даже въ *Маклера Откуповича* (Парисъ сынъ Пріама) и въ *Шкатулку* (Елена): ему, конечно, дешево стоило произвести соотвѣтствующій опытъ и надъ русскимъ *Словомъ*.

И онъ произвелъ, съ искусствомъ мастера и съ забавностью присяжнаго остроумца. Русская народная поэзія — не *Слово*: оно продуктъ кіевской семинаріи, а всякая другая оказывалась «грубымъ издѣліемъ грубыхъ воображеній», или просто «чепухой» [252]).

И между тѣмъ тотъ же баронъ выступалъ неоднократно на защиту русской народности и даже оберегалъ ее отъ растлѣвающихъ вліяній Запада!

Бѣлинскій не былъ посвященъ въ тайны филологическихъ экспериментовъ, а простодушно поддался очарованію поэмы. Онъ «противъ воли» увлекся ея красотами и незамѣтно, вмѣсто пересказа содержанія, представилъ читателямъ полный переводъ. И онъ ярко отмѣчаетъ все благородное и человѣческое, заключенное въ образахъ и фактахъ древняго *Слова*. Онъ лирически изображаетъ горе Ярославны, встрѣчу князей-братьевъ. Здѣсь дышитъ глубокое чувство, образы простодушны, но изящны и поэтичны. Критикъ тщательно подчеркиваетъ каждое нѣжное слово въ рѣчахъ героевъ, и ищетъ источника такихъ настроеній, совершенно чуждыхъ былинамъ.

Это—южная Русь. Тамъ до сихъ поръ такъ много человѣческаго и благороднаго въ семейномъ быту, въ полную противоположность сѣверной Руси, гдѣ женщина на положеніи домашней скотины, а любовь совершенно посторонее дѣло при бракахъ.

Очевидно, въ этой средѣ таятся сѣмена истинно-художественнаго творчества. Они могутъ быть собраны великимъ талантомъ, что и было сдѣлано Гоголемъ. Фактъ въ высшей степени существенный и для нашего критика особенно поучительный.

Именно Гоголь побиваетъ отрицательныя предсказанія Бѣлинскаго на счетъ малорусской поэзіи. Критикъ во что бы то ни стало не желаетъ поступиться ни культурой, ни развитой политической жизнью. Онъ ежеминутно боится за ихъ власть и достоинство, не спускаетъ глазъ съ народническихъ притязаній—въ первобытномъ общественномъ строѣ найти идеалы для новаго общества и государства. И онъ вооружается всѣми силами логики, лишь только является опасность со стороны непосредственнаго народнаго творчества заслонить основы общечеловѣческой цивилизаціи.

Въ эти минуты Бѣлинскій способенъ противорѣчить своему собственному чувству и даже своимъ словамъ.

---

[252]) *Собраніе сочиненій Сенковскаго.* Спб. 1859, томъ IX, стр. 475 etc.

Онъ знаетъ связь Гоголя съ малорусскимъ бытомъ и, конечно, съ малорусской поэзіей. Правда, Гоголь писалъ по-русски, но вѣдь отъ переработки поэтическихъ мотивовъ на какомъ угодно языкѣ не понижается ихъ цѣнность. Слѣдовательно, могло же кое-что развиться изъ народнаго творчества Малороссіи. А потомъ Бѣлинскій зналъ произведенія Шевченко. Неужели они уступаютъ отдѣльнымъ красотамъ *Слова о полку Игоревѣ?*

Дальше. Бѣлинскій убѣжденъ, — художественная поэзія «выростаетъ на почвѣ естественной». Это—неограниченное правило, вѣрное и по отношенію къ русской поэзіи. Критикъ оговаривается, что народная поэзія должна быть «полна элементовъ *общаго*», т.-е. общечеловѣческаго: тогда только она создастъ художественную.

Россія, несомнѣнно, владѣетъ художественной поэзіей, очевидно, русская народная поэзія не чужда общечеловѣческаго содержанія, и притомъ очень глубокаго и богатаго, если Пушкина, Гоголя и даже Лермонтова можно признать національными поэтами.

И Бѣлинскій упорно, шагъ за шагомъ развиваетъ идею, что «народность—альфа и омега эстетики нашего времени», что талантливость художника неразрывно связана съ національностью, что въ произведеніяхъ Лермонтова живетъ истинно-національная русская грусть—«могучая, безконечная, грусть натуры великой, благородной», что у Пушкина лучшія лирическія произведенія полны того же чувства [253])... Столько блестящихъ вдохновенныхъ силъ выросло на почвѣ русской народности!

Сопоставьте эти разсужденія съ рѣшительнымъ отрицаніемъ будущаго у малорусской поэзіи, съ рѣзкимъ разграниченіемъ народнаго сознанія въ до-петровской Руси и въ новой Россіи, у васъ явится чувство чего-то недосказаннаго или, наоборотъ, переговореннаго. Скрывается внутреннее противорѣчіе между восторженными прославленіями могучей грусти, необъятной силы-удали и безусловнымъ обожаніемъ молніеноснаго удара Петра по исполину, но не одухотворенному организму московскаго темнаго народа.

Противорѣчіе подчеркивается еще однимъ фактомъ.

Петръ для Бѣлинскаго идеально-русскій человѣкъ, истинный патріотъ, своего рода удалецъ новгородской старины—неотрази-

[253]) *Стихотворенія М. Лермонтова.* IV, 291, 382. Статьи о Пушкинѣ. VIII, 329, 330.

мый и самоувѣренный. Онъ—подлинный сынъ своего народа и глубина и успѣхъ его преобразованій только и объясняются этимъ кровнымъ родствомъ съ народной стихіей.

Слѣдовательно, эта почва способна производить и общечеловѣческіе мотивы поэзіи, и героизмъ на поприщѣ культуры и просвѣщенія. Ни Пушкинъ, ни Гоголь, равно и Петръ были бы немыслимы безъ *естественной почвы*: все равно, какъ вообще «человѣкъ, существующій внѣ народной стихіи—призракъ». Это—убѣжденіе Бѣлинскаго. Изъ него слѣдовало вывести необходимыя умозаключенія: петровская реформа не могла быть почвеннымъ переворотомъ ни нравственнымъ, ни общественнымъ. Если личность Петра—воплощеніе русскаго типа, то и его дѣятельность осуществленіе національныхъ задатковъ, можетъ быть, чрезвычайно стремительное, но тѣмъ не менѣе органическое проявленіе народнаго духа.

Такъ выходитъ по логикѣ самого Бѣлинскаго, и онъ одинаково страстно рисуетъ неясныя, но величественныя перспективы будущаго Россіи и исповѣдуетъ свой культъ предъ именемъ преобразователя.

Критикъ неоднократно касается вопроса объ этомъ будущемъ—такого остраго, такого раздражающаго, при жестокой войнѣ славянъ съ европейцами. Славяне не стѣснялись въ пророчествахъ, не считали себя вправѣ ограничиваться смутными посулами и чисто-религіозными видѣніями.

Бѣлинскій не желалъ чувство возводить на степень доказательства и на любви и вѣрѣ строить логическія сооруженія. Но любовь была такъ близка его сердцу и вѣра такъ глубоко волновала его русскую природу, что онъ не всегда оберегался отъ предсказаній, и однажды даже предвосхитилъ позднѣйшіе возгласы Достоевскаго о «всечеловѣкѣ».

Да, какъ это ни неожиданно, а нашъ отрицатель и гонитель народности, разсуждая о русской и европейской критикѣ, написалъ слѣдующія строки:

«Мы уже и теперь не можемъ удовлетворяться ни одною изъ европейскихъ критикъ, замѣчая въ каждой изъ нихъ какую-то односторонность и исключительность. И мы уже имѣемъ нѣкоторое право думать, что въ нашей сольются и примирятся всѣ эти односторонности въ многостороннее, органическое (а не пошлое эклектическое) единство. Можетъ быть, и назначеніе нашего отечества, нашей великой Руси состоитъ въ томъ, чтобъ слить въ

себѣ всѣ элементы всемірно-историческаго развитія, доселѣ исключительно являвшагося только въ западной Европѣ. На этомъ условіи, на обѣщаніи этой великой будущности, наша скромная роль учениковъ, подражателей и перенимателей не должна казаться ни слишкомъ смиренною, ни слишкомъ незавидною» [254]).

Немного позже Бѣлинскій предчувствіе великаго назначенія Россіи призналъ достояніемъ всѣхъ образованныхъ русскихъ людей и указалъ на «факты, превращающіе это предчувствіе въ убѣжденіе» [255]). На первомъ мѣстѣ въ ряду этихъ фактовъ стоитъ все тотъ же Петръ, столь же національный герой для Россіи, какъ гомеровскій Ахиллъ для Эллады.

Все это очень краснорѣчиво и безусловно національно и патріотично. Но попрежнему остается неразрѣшимой загадка, какъ народный герой могъ создать бездонную пропасть между цѣлыми вѣками исторической жизни своего народа и своей дѣятельностью? Критикъ восхваляетъ Петра за «способность самоотрицанія», т. е. за то, что онъ отвергъ «грубыя формы ложно развившейся народности въ пользу разумнаго содержанія національной жизни».

Что это означаетъ? Въ до-петровской Руси существовали только формы народности и никакого содержанія или были грубы формы, а содержаніе, какъ національное, вполнѣ приспособленное для воспріятія петровскихъ преобразованій?

Очевидно, возможенъ только второй отвѣтъ и онъ приводитъ къ результату, ускользнувшему отъ вниманія Бѣлинскаго.

Онъ касается одинаково и поэзіи, и гражданственности. Критикъ, мы видѣли, тщательно собралъ красоту и силу въ народномъ творчествѣ и открылъ ихъ отраженія въ произведеніяхъ великихъ художниковъ. Между народными пѣснями и Пушкинымъ, даже Лермонтовымъ нѣтъ непроходимой пропасти. Гоголь явно воспитанъ музой малорусскаго народа. Послѣдній фактъ не оцѣненъ по достоинству Бѣлинскимъ и мы можемъ заключить, что онъ не придавалъ особеннаго значенія подробному и всестороннему выясненію связи художественной поэзіи съ естественной.

Въ области литературы этотъ пробѣлъ не могъ повлечь слишкомъ печальныхъ слѣдствій: критикъ былъ одаренъ на столько мощнымъ эстетическимъ чувствомъ и общественнымъ чутьемъ, что недоразумѣнія и ошибки въ оцѣнкѣ талантовъ и произведеній были почти невозможны.

---

[254]) *Сочиненія.* VI, 234—5.
[255]) *Ib.*, VII, 104.

Но другое дѣло въ вопросахъ культурнаго развитія Россіи. Совершенно и безповоротно отрывать Россію Петра отъ Руси Алексѣя Михайловича—вина и предъ исторіей, и предъ логикой. Бѣлинскій избѣгъ бы многихъ славянофильскихъ нареканій, если бы не разрубилъ такимъ рѣшительнымъ и въ сильной степени теоретическимъ ударомъ русскую исторію... *Психологически* онъ оцѣнилъ Петра, какъ вполнѣ національную русскую личность, но *исторически* возвелъ его на обособленный одинокій пьедесталъ и увѣнчалъ его цвѣтами исключительныхъ похвалъ, еще рѣзче оттѣнявшихъ безпросвѣтную тьму и всевозможныя немощи московской Руси.

XLIV.

Мы видимъ непослѣдовательность критика и должны установить ее, какъ одно изъ его заблужденій. Намъ ясно также, какимъ путемъ Бѣлинскій могъ спастись отъ разлада съ собственными идеями. Ему подлежало позаботиться разыскать въ до-петровской общественной и политической исторіи такіе же «элементы общаго», какіе онъ съумѣлъ открыть въ народной поэзіи. Они должны непремѣнно существовать, конечно, не въ формѣ ослѣпительно-яркихъ фигуръ и событій западной исторіи, а въ иномъ, несравненно болѣе скромномъ, но, тѣмъ не менѣе, жизненномъ видѣ.

Московская Русь не знала рыцарства—столь эффектнаго и подчасъ поэтическаго, не произвела безсмертныхъ мучениковъ мысли и совѣсти, но въ ея почвѣ, несомнѣнно, таились ключи, давшіе впослѣдствіи столь обильныя и дѣйствительно общечеловѣческія теченія, хотя бы только въ искусствѣ глубоко-идейномъ, подлинномъ воплощеніи національнаго духа и національнаго міросозерцанія.

Въ эпоху Бѣлинскаго вопросъ объ *исторической неизбѣжности* петровской реформы не существовалъ вполнѣ опредѣленно и настоятельно. Онъ почти не покидалъ области публицистики и сводился къ партійнымъ счетамъ двухъ непримиримыхъ партій. Эти партіи усвоили каждая по спеціальности: одна откапывала московскія сокровища ради Москвы и въ обличеніе Петербурга, другая—окружала чисто романтическимъ ореоломъ личность Петра, какъ политика, и противоставляла ее московскимъ преданіямъ, какъ міру, ей совершенно чуждому. Въ общемъ, недоразумѣній и несправедливостей оказывалось больше на сторонѣ славянофиловъ. Запад-

ки, не признавая московской гражданственности и ея культурхъ задатковъ, оставались вѣрными апостолами національности народности. Славянофилы неуклонно совершали тяжкій грѣхъ. Взявъ нравственнымъ долгомъ и политическимъ принципомъ каго истиннаго патріота открывать и популяризировать моэвскую старину, они разорвали ее на пароли и лозунги для ихъ воинственныхъ атакъ на мнимыхъ враговъ отечества. ѣсто того, чтобы эту старину сблизить съ неустранимымъ факъ дѣятельности Петра, они преднамѣренно размалевывали ее фальшивые цвѣта небывалой красоты и нравственнаго доинства.

Такая политика еще больше отталкивала западный строй отсковскаго повѣтрія. и Герценъ вполнѣ основательно многія доразумѣнія своего лагеря насчетъ русскаго народа приписылъ фанатизму славянофиловъ.

Прошло много времени раньше, чѣмъ истинный смыслъ петровой реформы русская литература стала обсуждать безъ страсти гнѣва, какъ вопросъ исторической науки, а не политической ограммы. Бѣлинскій, слѣдовательно, виноватъ виной своего времени и въ сильнѣйшей степени ошибками и предубѣжденіями своихъ инципіальныхъ противниковъ. Эти противники, въ свою очередь, нюдь не могутъ похвалиться, что они способствовали проясне горизонта современной общественной мысли. Напротивъ, они пятнали свою совѣсть несмываемымъ заблужденіемъ: въ партіймъ жару полемики и часто личной вражды они не разглядѣли и не желали разглядѣть въ лицѣ Бѣлинскаго искренняго рыцаря самой идеи, какую они полагали въ основу своей вѣры—*родности*.

Наконецъ, мы не должны забывать существеннаго факта. Даже евидныя ошибки Бѣлинскаго ничто иное какъ увлеченія, подсканныя грознымъ натискомъ москвобѣсія. Ихъ можно опровергнуть деями самого же критика. По самой сущности воззрѣній на національность и народность Бѣлинскій правъ, и достаточно только поѣдовательно развить его излюбленныя положенія и спокойно зпристрастно раскрыть логику его чувствъ, чтобы выдѣлить стоянное зерно изъ случайныхъ наростовъ.

Мы видѣли, чѣмъ объясняются рѣзкіе отзывы Бѣлинскаго о усскихъ былинахъ: отзывы такъ удовлетворительно обоснованы актами, что «вѣра» и «любовь» оказываются излишними. Одноеменно Бѣлинскій приписывалъ народной поэзіи одинъ мѣстный

интересъ, отрицалъ у малорусской поэзіи возможность развитія все это не подлежитъ оправданію. Но только надо имѣть въ виду что тотъ же Бѣлинскій находилъ «въ грезахъ народной фантазі идеалы народа, которые могутъ служить мѣрою его духа и достоинства», тотъ же Бѣлинскій открывалъ въ народномъ творчествѣ доисторическія черты народной жизни и, наконецъ, тотъ же Бѣлинскій видѣлъ у Гоголя «общее и человѣческое», заимствованное изъ народнаго быта.

Военное положеніе литературной критики помѣшало Бѣлинскому спокойно развить внушенія своего глубокаго чувства истины. Онъ волей-неволей долженъ былъ прибѣгать къ политическимъ мѣрамъ предъ лицомъ противниковъ, не стѣснявшихся никакими средствами борьбы.

На этотъ счетъ мы имѣемъ прямыя признанія самого Бѣлинскаго, такого же искренняго и откровеннаго въ политикѣ разсудка, какъ и въ лиризмѣ чувства.

Напримѣръ, дѣло идетъ о натуральной школѣ. Родоначальникъ ея Гоголь. Его признаетъ славянофильская партія, но школу отвергаетъ. А между тѣмъ всѣ надежды на развитіе русскаго общественнаго самосознанія связаны съ судьбой натуральнаго направленія въ искусствѣ. Бѣлинскій естественно встаетъ на защиту и Гоголя, и его художественнаго потомства.

Но критикъ слишкомъ проницателенъ и добросовѣстенъ, чтобы рядомъ съ здоровыми побѣгами гоголевскаго вліянія не замѣтить множество незаконныхъ дѣтищъ. И Бѣлинскій не могъ не предвидѣть, что въ слабыхъ рукахъ натурализмъ превратится въ литературу менѣе всего художественную, не идейную, а первобытно тенденціозную. По части замѣны психологіи патологіей и всесторонней правды дѣйствительности преднамѣреннымъ нагроможденіемъ всевозможной житейской грязи, уже Бѣлинскій могъ видѣть примѣры. Достоевскій немедленно оттолкнулъ его отъ себя, лишь только вступилъ на поприще лазаретнаго анализа.

Бѣлинскій и не пощадилъ его въ своихъ частныхъ письмахъ [258], но могъ ли онъ возстать вообще на новую художественную школу? Вѣдь это значило бы сослужить неоцѣненную службу врагамъ, онъ, сознавая пропасть между Гоголемъ и позднѣйшими отпры

---

[258]) Въ письмѣ къ Анненкову, 15 февр. 1848 года. *Анненковъ и его дру[зья]*, стр. 610.

ками натурализма, не переставалъ сливать вмѣстѣ судьбу учителя и учениковъ [257]).

Наконецъ, по поводу той же натуральной школы возникалъ еще болѣе существенный вопросъ, распространявшій свою власть далеко за предѣлы искусства и литературной критики. Застрѣльщиками опять явились славянофилы и патріоты.

Они задавали весьма двусмысленную задачу: неужели русская жизнь не представляетъ вовсе положительныхъ типовъ и натуральные писатели безусловно вѣрны дѣйствительности, изображая только пороки и уродство русской дѣйствительности?

Какъ въ журналистикѣ сороковыхъ годовъ возможно было отвѣчать на подобный допросъ?

Отрицать вообще существованіе русскихъ хорошихъ людей — Бѣлинскій не могъ: лично онъ вѣрилъ, что такихъ людей «на Руси, по сущности народа русскаго, должно быть гораздо больше, нежели какъ думаютъ сами славянофилы» [258]). Слѣдовательно, литература должна бы воспроизводить и эту положительную сторону русской жизни? Несомнѣнно, потому что эта сторона существуетъ.

И Бѣлинскій не противорѣчилъ славянофиламъ, утверждавшимъ возможность художественнаго воплощенія русскихъ хорошихъ людей.

Его осуждали за неосновательную уступку, и уступка — внѣ сомнѣнія. Дѣло въ томъ, что одновременно съ реальнымъ существованіемъ положительныхъ явленій въ русской дѣйствительности установилась столь же реальная недоступность этихъ явленій именно для натуральной школы. Писателю реторическаго направленія легко взять въ герои какого-нибудь чиновника. Этотъ писатель свободно изобразитъ всѣ его гражданскіе и юридическіе подвиги, въ заключеніе наградитъ большимъ чиномъ, сдѣлаетъ героя губернаторомъ или сенаторомъ. Цензура останется вполнѣ довольна. Но дайте ту же тему писателю натуральной школы, и результаты получатся совершенно обратные. Бѣлинскій, изображая ихъ цѣликомъ, предвосхитилъ исторію Калиновича изъ *Тысячи душъ* Писемскаго. Развѣ подобныя превращенія мыслимы по цензурной практикѣ—по крайней мѣрѣ въ то время, когда славянофилы съ особеннымъ ожесточеніемъ требовали отъ литературы добродѣтельнаго русскаго человѣка?

---

[257]) Письма къ Кавелину. *Р. М.*, 1892, I, стр. 127.
[258]) *Ib.*, стр. 126.

Очевидно, Бѣлинскому приходилось давать утвердительный отвѣтъ на запросъ славянофиловъ далеко не въ законченной формѣ. Мы увидимъ, эта политика умалчиванія или урѣзыванія мысли особенно широко будетъ практиковаться русской литературой послѣ смерти Бѣлинскаго, въ пятидесятые годы, когда всѣ вѣдомства, даже второстепенныя, вооружатся своими спеціальными цензурами на русское слово и оно на цѣлые годы попадетъ въ карантинъ. Бѣлинскій считался сравнительно еще съ цвѣтками, ягодки были впереди.

Но и здѣсь онъ съумѣлъ остаться на высотѣ той же рыцарственной справедливости, какая руководила имъ и въ самыхъ свободныхъ порывахъ его чувства. Принужденный воздерживаться отъ порицанія того, чему грозила опасность и съ чѣмъ было связано будущее русской общественной мысли, онъ считалъ долгомъ воздерживаться отъ излишнихъ похвалъ явленіямъ, гдѣ нельзя было откровенно изобличить недостатки.

Напримѣръ, Бѣлинскій жестоко издѣвается надъ успѣхомъ лекцій Шевырева, надъ русской публикой—этимъ «мѣщаниномъ въ дворянствѣ», готовымъ увлекаться чѣмъ угодно изъ благодарности за приглашеніе въ парадно-освѣщенную залу и въ боярскія хоромы... И при всемъ этомъ Бѣлинскій недоволенъ слишкомъ восторженными статьями Герцена о лекціяхъ Грановскаго: «По моему мнѣнію—пишетъ онъ,—стыдно хвалить то, чего не имѣешь права ругать», т.-е. ту же русскую публику [259]).

Въ такомъ же положеніи Бѣлинскій находился и при своихъ разсужденіяхъ о русской народности и вообще о народной поэзіи. На него двигались со всѣхъ сторонъ тучи чисто охотнорядскаго самохвальства отечественнымъ варварствомъ и рабствомъ, предъ нимъ возводились въ перлы мірового искусства, по меньшей мѣрѣ, не поэтическія и не мудрыя сказанія о Тугаринѣ Змѣевичѣ, Дунаѣ Ивановичѣ и объ удивительной княгинѣ Апраксѣевнѣ, въ половинѣ девятнадцатаго вѣка солнце геніальнаго культурнаго творчества народовъ и вдохновляющія преданія свободной мысли и человѣческой дѣйствительности грозили заслонить смутными, часто уродливыми óбразами темной первобытной фантазіи... Да если бы у критика былъ не одинъ талантъ мысли, а въ придáчу и геній творчества, если бы, помимо могучаго краснорѣчія публициста, онъ обладалъ бы еще сверкающимъ стихомъ поэта,—все это напра-

---

[259]) Пыпинъ. II. 241—2

вилъ бы онъ противъ кичливаго недомыслія и фарисейскаго націонализма.

Отсюда рядъ заявленій, какими чрезвычайно просто воспользоваться для самыхъ рѣзкихъ уликъ писателя въ какихъ угодно преступленіяхъ противъ «любви къ отечеству» и «національной гордости». Бѣлинскій, напримѣръ, не пожелалъ оцѣнить достоинства финскаго эпоса, отнесся хладнокровно къ индусской поэмѣ *Наль и Дамаянти*, а относительно малорусской литературы выразился совсѣмъ обидно: «жалко видѣть, когда и маленькое дарованіе попусту тратитъ свои силы, пиша по малороссійски—для малороссійскихъ крестьянъ» [260]).

Мысль на иной рѣшительный народническій взглядъ прямо преступная! И впечатлѣніе было бы основательно, если бы въ идеѣ критика заключалось чувство пренебреженія къ малорусскому народу. Ничего подобнаго. Бѣлинскій стоитъ на стражѣ все той же дорогой для него европейской цивилизаціи, культурной идейности, и спѣшитъ указать на однообразіе содержанія и интереса спеціально крестьянской малорусской литературы. И онъ приводитъ примѣры изъ цѣлой книги, выѣзжающей на мужицкой простоватости и своеобразности крестьянскаго говора.

Мы знаемъ,—«простоватость»—фактъ народной психологіи, говоръ—фактъ народнаго быта, и то и другое для насъ драгоцѣнно въ смыслѣ поучительности, практической и культурной. И критикъ, несомнѣнно, согласился бы съ нами. Вѣдь онъ же самъ, разсуждая о томъ же простоватомъ и грубоватомъ народномъ творчествѣ, написалъ слѣдующее стихотвореніе въ прозѣ:

«Не диво, что русскій мужичокъ и плачетъ, и пляшетъ отъ своей музыки; но то диво, что и образованный русскій, музыкантъ въ душѣ, поклонникъ Моцарта и Бетховена, не можетъ защититься отъ неотразимаго обаянія однообразнаго, заунывнаго и удалого напѣва народной пѣсни... Возрастъ мужества выше младенчества—нѣтъ спора. Но отчего же звуки нашего дѣтства, его воспоминанія даже и въ старости потрясаютъ всѣ струны нашего сердца радостью и грустью и вокругъ поникшей головы нашей вызываютъ свѣтлыхъ духовъ любви и блаженства?» [261]).

И у критика есть отвѣтъ, столь же трогательный и поэтическій: смыслъ его—«единство съ природой». Развѣ нельзя дать по-

---

[260]) *Сочиненія.* V, 309.
[261]) V, 37.

добнаго же отвѣта не въ интересахъ чувства и поэзіи, а ума и знанія, когда предъ нами таже народная литература?

Мы видѣли, критикъ неоднократно пытался дать такой отвѣтъ, и знаемъ, почему попытки не увѣнчались стройнымъ всеисчерпывающимъ разборомъ народнаго творчества. Бѣлинскій самъ лучше другихъ сознавалъ пробѣлъ въ своей критикѣ. Онъ хотѣлъ написать исторію русской народной поэзіи и литературы: мысль эта не покидала его до самой смерти [262]). Краснорѣчивое свидѣтельство, какое онъ значеніе придавалъ всестороннему выясненію вопроса, столь затемненнаго и извращеннаго безтолковыми восторгами безсознательно или преднамѣренно слѣпыхъ жрецовъ славянизма и руссицизма.

Заключеніе наше вполнѣ ясно: Бѣлинскому незачѣмъ было склоняться предъ славянофильской вѣрой, чтобы усвоить чувства патріотизма и народности, незачѣмъ было идти на вынужденныя уступки, чтобы восполнить свое художественное и общественное міросозерцаніе. Мы могли оцѣнить теченіе идей Бѣлинскаго до его предсмертной славянофильской полемики, и могли убѣдиться, что полемика вела къ давно намѣченной цѣли, къ болѣе полному и систематическому закрѣпленію раньше высказанныхъ мыслей и къ идейной формулировкѣ раннихъ, давнишнихъ чувствъ.

XLV.

Наканунѣ мнимаго отступничества Бѣлинскаго отъ правовѣрныхъ западническихъ идеаловъ, положеніе его въ современной литературѣ рѣзко измѣнилось.

До 1846 года Бѣлинскій работалъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*, создалъ имъ безпримѣрную популярность и, конечно, пріобрѣлъ себѣ громкое имя. Его голосъ царствовалъ безраздѣльно и неограниченно въ критикѣ и публицистикѣ. Глухая провинція не хуже столицы понимала силу Бѣлинскаго и безошибочно угадывала его неподписанныя статьи. Критика изумляла его собственная популярность: «этого мнѣ и во снѣ не снилось», заявлялъ онъ [263]), и добродушно радовался своему авторитету даже среди сибирскихъ купцовъ [264]).

[262]) Анненковъ. *Воспоминанія*. III, 198.

[263]) Письма къ Герцену. *Русск. М.* 1891, I, 22.

[264]) Разсказъ Панаева о встрѣчѣ съ сибирскимъ купцомъ, почитателемъ Бѣлинскаго. *Литературныя Воспоминанія*. Спб. 1876, стр. 391—2.

Слава приносила великое нравственное утѣшеніе. Бѣлинскій могъ чувствовать себя въ полномъ смыслѣ «властителемъ думъ» всѣхъ современныхъ честныхъ людей, даже своего рода диктаторомъ: объ этомъ, мы увидимъ, будутъ заявлять его противники при его жизни и послѣ его смерти, и критикъ лично могъ убѣдиться въ правотѣ этихъ заявленій. Именно благодаря ему выросъ журналъ Краевскаго въ распространеннѣйшій органъ цѣлой эпохи, именно его участіе привлекло въ изданіе и подписчиковъ, и сотрудниковъ.

Все это были розы, но за ними скрывались чрезвычайно колючія терніи и можно было даже думать, что весь ароматъ и вся красота цвѣтовъ достаются на долю другихъ, а самому садовнику приходится утѣшаться платоническими радостями.

Издатель видѣлъ въ Бѣлинскомъ исключительно выгодную рабочую силу. Въ обширной перепискѣ Бѣлинскаго съ Краевскимъ и Бѣлинскаго съ его друзьями нельзя открыть ни единаго проблеска человѣческихъ или просто культурныхъ отношеній между владѣльцемъ журнала и сотрудникомъ. Задолго до разрыва Бѣлинскій откровенно и безпрестанно говоритъ Краевскому о насильственной связи ихъ другъ съ другомъ, надѣляетъ его далеко не любезными, хотя по формѣ и шутливыми эпитетами, и явно страдаетъ отъ безпощадной разсчетливости издателя [265]).

Въ глазахъ Краевскаго трудъ Бѣлинскаго имѣлъ совершенно другое значеніе, чѣмъ даже для сибирскихъ купцовъ. Это просто рабочій, связанный подрядомъ и неограниченными обязательствами. Онъ долженъ писать не только статьи о Пушкинѣ и Гоголѣ, но разбирать французскіе и латинскіе букварн, итальянскія грамматики, даже книги по византійской архитектурѣ и по медицинѣ. Если что-либо, по мнѣнію Краевскаго, не выполнялось изъ урока, немедленно слѣдовало замѣчаніе, что за нанятаго критика работаютъ другіе.

Бѣлинскій выбивался изъ силъ, горѣлъ страстнымъ негодованіемъ и всей волей души рвался на свободу. Издатель до конца не щадилъ закабаленнаго слуги. Помимо строжайшаго наблюденія за количествомъ работы, тщательно взвѣшивалось качество ея и результаты взвѣшиванія провозглашались во всеуслышаніе, безъ всякаго соображенія о самолюбіи и о неоцѣненныхъ заслу-

---

[265]) Письма Бѣлинскаго къ Краевскому. *Отчетъ Имп. Публ. библіотеки за 1889 годъ*. Спб. 1893.

гахъ писателя. «Бѣлинскій выписался и мнѣ пора его прогнать»— такую фразу Краевскаго передаетъ Бѣлинскій Герцену [266]). Она была бы невѣроятна, если бы это отношеніе не засвидѣтельствовали люди, прекрасно знавшіе о немъ отъ самого Краевскаго и сочувствовавшіе его рѣшенію. Намъ разсказываютъ, что Краевскій вознегодовалъ на Бѣлинскаго за статьи о Пушкинѣ, за ихъ, будто бы, исключительно эстетическое содержаніе, и сталъ придумывать средство, какъ бы отдѣлаться отъ своего критика [267]). Бѣлинскій самъ пришелъ ему на помощь, и разсказъ его, какъ издатель принялъ его отказъ отъ сотрудничества въ *Отечественныхъ Запискахъ*, не противорѣчитъ нашимъ свѣдѣніямъ. Отъ минутнаго смущенія Краевскій прямо перешелъ къ соображеніямъ, кому отдать критическій отдѣлъ журнала.

Бѣлинскій много перетерпѣлъ, пока закончилось дѣло. Каждое письмо переполнено воплями на упадокъ физическихъ и нравственныхъ силъ, на безпамятство и отупѣніе отъ подневольной ремесленнической работы, на совершенно безнадежное будущее убогаго бѣдняка, связаннаго семьей. Здѣсь нѣтъ ни одной черты преувеличенной и прикрашенной, и личная драма писателя тѣмъ больнѣе должна бить по сердцу и совѣсти русскаго общества, что жертва ея не Виссаріонъ Бѣлинскій, какъ сотрудникъ *Отечественныхъ Записокъ*, а великій литературный талантъ и доблестная гражданская мысль. Во всеоружіи всего этого писатель попадаетъ въ разрядъ лишнихъ людей и инвалидовъ, принужденныхъ обращаться за помощью къ добрымъ чувствамъ друзей.

Бѣлинскій такъ и поступилъ. Онъ задумалъ издать научнолитературный сборникъ и былъ глубоко тронутъ готовностью пріятелей снабдить его статьями. Но семья оказалась не безъ урода. На сторонѣ Краевскаго явились усердные добровольцы, утѣшавшіе его въ разрывѣ съ Бѣлинскимъ и самоотверженно работавшіе для преуспѣянія *Отечественныхъ Записокъ*.

Рыцарь этотъ Боткинъ. Онъ завѣрялъ Краевскаго, что журналъ его, по уходѣ Бѣлинскаго сталъ еще лучше прежняго, что «литературное поприще Бѣлинскаго» онъ считаетъ «поконченнымъ». Одновременно шла вербовка сотрудниковъ для Краевскаго. Боткинъ находилъ послѣднія статьи Бѣлинскаго неудовлетворитель-

---

266) Письма къ Герцену. *Р. М.* 1891, I, 3.

267) *Одинъ изъ забытыхъ журналистовъ*, А. Старчевскаго. *Ист. Вѣстн.* 1886 г., XXIII, 380—1.

ными: «Теперь нужно и больше такта и больше знанія». Все, что писалъ Бѣлинскій помимо русской литературы, «изъ рукъ вонъ плохо» [268]).

Краевскій могъ торжествовать и не имѣлъ, конечно, никакихъ основаній съ большей пощадой относиться къ своему прежнему сотруднику, чѣмъ завѣдомые пріятели самого Бѣлинскаго. Замѣчательно, Боткину ни на минуту не пришла мысль хотя бы объ *историческомъ* значеніи отжившаго критика для журнала Краевскаго. Онъ съ поразительнымъ усердіемъ ухаживаетъ за настроеніями Краевскаго,—онъ, рѣшительно не нуждающійся въ любезностяхъ журнальнаго издателя,—и ни словомъ не обмолвливается объ единственномъ настоящемъ создателѣ благополучія Краевскаго и его журнала.

А въ это время Бѣлинскій отбивался отъ призрака голодной смерти. Правда, среди его друзей и знакомыхъ числились господа съ большими и даже громадными средствами. Герценъ, тотъ же Боткинъ, Анненковъ, Панаевъ были богатыми людьми, Огаревъ могъ претендовать на наименованіе Креза̀, но какъ-то вышло, что мы узнаемъ удручающія подробности бѣдственнаго положенія Бѣлинскаго, слышимъ объ его обманутыхъ надеждахъ на Креза, Огарева, человѣка, впрочемъ, идеальной доброты, рыцарскаго джентльменства и симпатичнаго поэтическаго таланта. Исторія длится до тѣхъ поръ, пока перо не выпадаетъ изъ рукъ страдальца, сердце окончательно не отказывается биться, и надорванная грудь не замираетъ подъ тяжестью неизбывнаго труда. Семьѣ остается тотъ же путь лишеній и имя Бѣлинскаго на-вѣки остается символомъ каторжной борьбы за существованіе среди самыхъ оригинальныхъ условій: среди безчисленныхъ почитателей таланта и многочисленныхъ друзей сердца чрезвычайно щедрыхъ на *трогательныя воспоминанія* и странно равнодушныхъ къ *трагической очевидности*.

Испытанія не могли безслѣдно пройти для нравственной жизни Бѣлинскаго. Онъ никогда не умѣлъ отдѣлить своей личности отъ своихъ идей, перечувствованнаго отъ передуманнаго, и теперь, весь, повидимому поглощенный мыслью о спасеніи себя и семьи отъ голода, о возстановленіи своего здоровья на новую работу, онъ не перестаетъ жить въ духѣ и истинѣ. Процессъ общихъ идей не прерывается при самыхъ мрачныхъ перспективахъ личнаго

[268]) Письмо къ Краевскому. *Отчетъ*, стр. 78, 82 etc.

матеріальнаго существованія, и въ напряженномъ личномъ горѣ и гнѣвѣ Бѣлинскій почерпаетъ будто молодую страсть общественнаго чувства и изощренность философскаго взора.

Въ самый разгаръ переписки съ Герценомъ о разрывѣ съ *Отечественными Записками*, среди поистинѣ трагическихъ доказательствъ, что всякій бѣднякъ—подлецъ, онъ даетъ мимоходомъ превосходную характеристику беллетристическаго таланта Герцена. Подъ перо этого, будто бы поконченнаго человѣка вновь являются озаряющія опредѣленія въ родѣ *осердеченный* умъ, обильно ложатся неожиданныя мимолетныя соображенія, каждое отдѣльно заключающее въ себѣ мотивъ и содержаніе цѣлаго философскаго и критическаго разсужденія, напримѣръ: умъ художника и умъ человѣка. Немного спустя изъ Крыма, куда Бѣлинскій поѣхалъ «не только за здоровьемъ, но и за жизнью», онъ посылаетъ Герцену остроумнѣйшія дорожныя впечатлѣнія. Письмо въ высшей степени любопытно, помимо остроумія. Оно свидѣтельсвуетъ о чувствахъ Бѣлинскаго къ нѣкоторымъ положительнымъ идеаламъ славянофильской партіи наканунѣ знаменитой полемики.

Бѣлинскій пишетъ:

«Въѣхавши въ крымскія степи, мы увидѣли три новыя для насъ націи: крымскихъ барановъ, крымскихъ верблюдовъ и крымскихъ татаръ. Я думаю, что это разные виды одного и того же рода, разныя колѣна одного племени, такъ много общаго въ ихъ физіономіи. Если они говорятъ и не однимъ языкомъ, то тѣмъ не менѣе хорошо понимаютъ другъ друга. А смотрятъ рѣшительно славянофилами. Но, увы! въ лицѣ татаръ даже и настоящее, коренное, восточное, патріархальное славянофильство поколебалось отъ вліянія лукаваго запада: татары, большею частью, носятъ на головѣ длинные волосы, а бороду брѣютъ! Только бараны и верблюды упорно держатся святыхъ праотческихъ обычаевъ временъ Кошихина: своего мнѣнія не имѣютъ, буйной воли и буйнаго разума боятся пуще чумы и безконечно уважаютъ старшаго въ родѣ, т. е. татарина, позволяя ему вести себя куда угодно и не позволяя себѣ спросить его, почему, будучи ничѣмъ не умнѣе ихъ, гоняетъ онъ ихъ съ мѣста на мѣсто? Словомъ, принципъ смиренія и кротости постигнутъ ими въ совершенствѣ, и на этотъ счетъ они могли бы проблеять что-нибудь поинтереснѣе того, что блеетъ Шевырко и вся почтенная славянофильская братія» [269]).

[269]) Шевырко-Шевыревъ. *Р. М.* Ib., стр. 24.

Славянофилы вообще больше, чѣмъ когда-либо безпокоили Бѣлинскаго. Они совершенно неожиданно проявили дѣятельность на поприщѣ публичности, рѣшительно отдѣлились отъ Погодина и Шевырева и издали свой *Московскій Сборникъ*. Бѣлинскій прочиталъ *Сборникъ* по дорогѣ въ Крымъ, остался доволенъ статьей Юрія Самарина за то, что онъ «умно и зло казнилъ аристократическія замашки Соллогуба», автора *Тарантаса*, но Хомяковъ взволновалъ его.

Славянофильскій діалектикъ и богословъ напечаталъ статью *Мнѣніе русскихъ объ иностранцахъ*. Погодинъ называлъ ее «меньшой сборникъ въ большомъ сборникѣ»: такъ богато ея содержаніе! Это мнѣніе подкрѣплялось весьма двусмысленными похвалами многообразнымъ талантамъ автора, обилію его свѣдѣній и поразительному искусству говорить рѣшительно обо всемъ, начиная съ охоты на зайцевъ и кончая вселенскими соборами [270]).

Хомяковъ почувствовалъ ядовитость погодинскихъ восторговъ и поспѣшилъ заявить о лукавомъ профессорѣ: *не нашъ!* [271]).

Но весьма трудный вопросъ, чьимъ былъ Хомяковъ—авторъ своей статьи? Написана она, по обыкновенію, очень бойко и проникнута, повидимому, патріотическими руссофильскими чувствами. Но философъ съ такой стремительностью переносится съ предмета на предметъ, съ такой чисто-барственной небрежностью и граціознымъ самодовольствомъ разсыпаетъ партійные труизмы, что читателю и на умъ не приходитъ мысль объ убѣжденности и вѣрѣ автора. Діаметральная противоположность статьямъ Бѣлинскаго! Отъ разсужденій Хомякова вѣетъ чѣмъ-то худшимъ, чѣмъ холодъ: какимъ-то разсчитаннымъ кокетствомъ мысли и слова, какимъ-то ничѣмъ неоправдываемымъ утонченнымъ пренебреженіемъ къ противникамъ, непоколебимой увѣренностью въ собственной правдѣ, доставшейся даромъ, безъ всякой отвѣтственной нравственной работы, безъ всякихъ жертвъ личнымъ покоемъ и уютной гармоніей самодовольнаго, самовлюбленнаго существованія.

Хомяковъ считаетъ ниже своего достоинства и внѣ своего полета называть своихъ противниковъ по именамъ: «одинъ изъ нашихъ журналовъ», «тридцатилѣтніе соціалисты», «какой-то критикъ». Все вѣдь за предѣлами нашего святилища такъ мелко и сѣро, почти такъ же, какъ масса нашихъ наслѣдственныхъ Ва-

---

270) *Москвитянинъ*. 1846 г., № 5.

271) Барсуковъ. VIII, 321.

некъ и Парашекъ, что нѣтъ возможности запомнить фамилію *Бѣлинскій*, названіе *Отечественныя Записки!* Правда, русская публика, какъ бы ни была она молода и загнана, именно этимъ литературнымъ плебсомъ только и интересуется, и не желаетъ знать о краснорѣчивыхъ упражненіяхъ тонко-просвѣщенныхъ энциклопедистовъ. Но какое намъ дѣло до улицы и площади: у насъ имѣется свой партеръ въ первѣйшихъ московскихъ салонахъ и въ англійскомъ клубѣ!

Для его удовольствія Хомяковъ, надменно и мимоходомъ задѣпилъ Бѣлинскаго за его восторги предъ народнымъ творчествомъ Пушкина и Лермонтова, неизмѣримо высшимъ, чѣмъ русскія сказки и пѣсни [272]). Бѣлинскій вознегодовалъ и грозилъ местью [273]). Онъ выражается о Хомяковѣ очень сильно—«безталанный ёрникъ», но въ статьѣ, дѣйствительно, при самыхъ благосклонныхъ намѣреніяхъ, трудно найти ясность и доказательность мысли: «неисчерпаемыя богатства», «неподражаемый языкъ», «величіе пѣсеннаго міра», «неподражаемая мудрость и глубокій смыслъ внутреннихъ учрежденій и обычаевъ»—всѣ эти возгласы нисколько не поддерживаютъ ни величія русскихъ пѣсней, ни достоинства русскихъ обычаевъ. Бѣлинскій яснѣе, чѣмъ кто-либо, могъ оцѣнить пустопорожность хомяковскихъ словоизвитій и заранѣе предвкушалъ удовольствіе встрѣтиться на полѣ битвы съ подобнымъ паладиномъ.

Такимъ образомъ поѣздка за здоровьемъ и жизнью выходила отнюдь не отдыхомъ, а непрерывнымъ накопленіемъ новыхъ мотивовъ борьбы, новыхъ поводовъ отдавать литературѣ и силы, и самую жизнь. Бѣлинскій радовался всякой новой статьѣ своихъ враговъ, разжигавшихъ въ немъ кровь бойца, и привѣтствовалъ нападки Сенковскаго на его брошюру о Полевомъ. Онъ возвращался въ Петербургъ безъ большого запаса физическихъ силъ, но безъ малѣйшей утраты нравственной энергіи. Судьба на этотъ разъ пожелала быть вдвойнѣ благосклонной къ своему пасынку: она приготовила для него новое поприще подвижничества и выдвинула, въ первый разъ за всю его жизнь, повидимому дѣйствительно литературнаго противника.

Поприще—журналъ *Современникъ*, купленный Панаевымъ и Некрасовымъ у Плетнева, противникъ—новый критикъ «Отечественныхъ Записокъ» Валеріанъ Николаевичъ Майковъ.

---

272) Статья перепечатана. *Полное собраніе сочиненій*. I, 57—8 etc.

273) Письмо къ Герцену. *Р. М.* 1891, I, 23.

XLVI.

Дѣятельность Майкова, по своему содержанію и значенію, должна считаться одною изъ любопытнѣйшихъ главъ въ исторіи критики Бѣлинскаго. Майковъ заявилъ о себѣ большой публикѣ полемикой съ Бѣлинскимъ, вызвалъ у него отпоръ и далъ ему ближайшій поводъ выяснить окончательно свои отношенія къ славянофильству. Молодой критикъ умеръ на двадцать четвертомъ году жизни несчастной случайной смертью, въ *Отечественныхъ Запискахъ* работалъ всего пятнадцать мѣсяцевъ, но успѣлъ оставить послѣ себя большое количество обширныхъ статей и рецензій и вызвать у современныхъ и позднѣйшихъ судей въ высшей степени лестное мнѣніе о своемъ талантѣ и о вліяніи своего кратковременнаго писательства на русскую публицистику.

Во главѣ поклонниковъ стоитъ Боткинъ. Онъ пишетъ Краевскому благосклонные отзывы о статьяхъ Майкова, находитъ въ нихъ «дѣльныя мысли»; въ письмѣ къ Анненкову похвалы сдержаннѣе, но все-таки подчеркивается большое преимущество Майкова предъ другими критиками—свобода отъ нѣмецкихъ теорій и французское воспитаніе. По смерти молодого писателя Боткинъ пишетъ очень почетный некрологъ: «умъ крѣпкій, самостоятельный», «изъ него вышелъ бы замѣчательный критикъ». Со стороны такого скептика, какимъ сталъ Боткинъ послѣ своего романическаго, но крайне неудачнаго брака, характеристика Майкова является внушительной.

Но тотъ же Боткинъ не могъ не отмѣтить и отрицательныхъ сторонъ въ его произведеніяхъ: неопытность, незрѣлость мысли, отсутствіе въ статьяхъ твердаго рисунка, опредѣленнаго колорита, наклонность поднимать много шуму изъ ничего... [274]).

Все это, конечно, извинительно въ двадцать три года, странна только крѣпость и самостоятельность ума рядомъ съ незрѣлостью мысли. Впослѣдствіи Майковъ попалъ чуть не въ родоначальники новаго направленія русской критики и, во всякомъ случаѣ, оказался чрезвычайно сильнымъ соперникомъ Бѣлинскаго, даже отчасти его учителемъ.

Мысли эти были высказаны сначала въ некрологахъ подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ внезапной трагической кончины юноши [275]).

---

274) *Отчетъ*, стр. 78, 84. *Анненковъ и его друзья*, стр. 527, 549.

275) Статьи Плещеева, Гончарова, Порѣцкаго. Перепечатаны въ *Критическихъ опытахъ* Майкова, Спб. 1891.

Потомъ нашлись очень усердные истолкователи посмертныхъ сочувственныхъ оцѣнокъ Майкова и проложили ему прямой и широкій путь къ первому по времени мѣсту среди преобразователей русской публицистики [276]). Важнѣйшія права на столь высокое положеніе слѣдующія: «со статьи В. Майкова началась настоящая оппозиція славянофильству», Бѣлинскій послѣ нея «внезапно прозрѣлъ», началось «радикальное измѣненіе въ отношеніи его къ славянофиламъ...»

Мы уже знаемъ, что ни о какомъ радикальномъ измѣненіи, ни о внезапномъ прозрѣніи Бѣлинскаго не можетъ быть и рѣчи. Такое мнѣніе возможно только при поверхностномъ знакомствѣ съ развитіемъ и сущностью воззрѣній Бѣлинскаго на народность, вообще при крайне сбивчивомъ представленіи о всей его критической дѣятельности, предшествовавшей статьѣ въ *Современникѣ*. А потомъ, оппозиція Майкова славянофильству не только не была «настоящей», а по своимъ идейнымъ основамъ даже подрывала кредитъ западническаго міросозерцанія и рѣшительно не грозила никакой опасностью самому узкому московскому правовѣрію.

Майковъ литературнымъ критикомъ сдѣлался случайно, безъ личнаго внутренняго влеченія. Правда, онъ выросъ въ семьѣ, богатой художественными талантами: отецъ—художникъ, братъ—даровитый поэтъ. Природа не отказала и ему въ литературномъ вкусѣ. Намъ разсказываютъ, что Гончаровъ читалъ *Обыкновенную исторію* въ семьѣ Майковыхъ и обратилъ вниманіе на замѣчанія самаго младшаго изъ слушателей—Валерьяна, и даже сдѣлалъ измѣненія согласно указаніямъ юнаго критика [277]). И все-таки душа Майкова лежала къ совершенно другому роду умственнаго труда, къ какому—онъ самъ объяснилъ въ письмѣ къ Тургеневу:

«Я никогда не думалъ быть критикомъ въ смыслѣ оцѣнщика литературныхъ произведеній: я чувствовалъ всегда непреодолимое отвращеніе къ сочиненію отрывочныхъ статей. Я всегда мечталъ о карьерѣ ученаго и до сихъ поръ ни мало не отказался отъ этой мечты. Но какъ добиться того, чтобы публика читала ученыя сочиненія? Я видѣлъ и вижу въ критикѣ единственное средство заманить её въ сѣти интереса науки. Есть люди и много, которые прочтутъ ученый трактатъ въ «критикѣ» и ни за что не станутъ читать отдѣла «Наукъ», а тѣмъ болѣе ученой книги».

---

[276]) Скабичевскій. *Сорокъ лѣтъ русской критики. Сочиненія*, стр. 466 etc.
[277]) Старчевскій. *О. с. Ист. В.* XXIII, стр. 378–9.

И Майковъ началъ свою литературную дѣятельность сообразно съ своими наклонностями. Онъ кончилъ юридическій факультетъ петербургскаго университета, съ особеннымъ прилежаніемъ изучалъ исторію политической экономіи, служилъ въ департаментѣ сельскаго хозяйства и заинтересовался естественными науками, особенно химіей Первый трудъ его—переводъ *Писемъ о химіи* Либиха, второй—*Объ отношеніи производительности къ распредѣленію богатства*. Оба не были напечатаны и второй появился въ печати лишь въ собраніи сочиненій Майкова. Для насъ онъ представляетъ большой интересъ, не въ смыслѣ учености и фактической полноты, а ясности и послѣдовательности мысли, характера изложенія и конечной цѣли идей.

Прежде всего достойна вниманія самая тема. Впослѣдствіи Майковъ и въ литературную критику внесетъ свой вкусъ къ политической экономіи и будетъ одиимъ изъ первыхъ популяризаторовъ-экономистовъ, игравшихъ такую значительную роль въ позднѣйшей русской публицистикѣ.

Майковъ явится не одинокимъ воиномъ на страницахъ *Отечественныхъ Записокъ*. Одновременно съ нимъ въ отдѣлѣ «Науки и художества» выступилъ Владиміръ Алексѣевичъ Милютинъ. Чрезвычайно талантливый молодой ученый, популярный лекторъ, въ высшей степени привлекательный какъ личность, Милютинъ принесъ съ собой въ журналъ Краевскаго жизнь и блескъ. Онъ писалъ въ отдѣлѣ, какой Майкову казался недоступнымъ для большой публики, и между тѣмъ статьи Милютина несравненно популярнѣе по содержанію и изящнѣе по формѣ, чѣмъ критики Майкова. Обширная статья *Пролетаріи и пауперизмъ въ Англіи и во Франціи* обратила на себя всеобщее вниманіе и еще выше подняла популярность автора. Злой рокъ тяготѣлъ надъ человѣкомъ, сулившимъ широкія перспективы русской общественной мысли. Милютинъ въ самомъ началѣ блестящаго пути покончилъ самоубійствомъ [278]).

Направленія идей Милютина и Майкова тожественны. Оба молодые ученые одной экономической школы, весьма краснорѣчивой для молодежи конца сороковыхъ годовъ. Школа эта, очевидно, преобладала въ преподаваніи политической экономіи на юридическомъ факультетѣ петербургскаго университета и въ то же

---

[278]) Романическая исторія Милютина разсказа въ *Воспоминаніяхъ о С.-Петербургскомъ университетѣ*. О. Устрялова. *Ист. В.* 1884 г. XVI, 596.

время пользовалась сочувствіемъ общества, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ избранныхъ знатоковъ европейскихъ теченій.

Это—школа Маркса, по крайней мѣрѣ ея весьма существенные отголоски.

У насъ имѣются обстоятельныя свѣдѣнія, какой великій интересъ вызывали личность и ученіе Маркса у русскихъ странниковъ заграницей. Знаменитый экономистъ занялъ мѣсто Шеллинга и Гегеля, сталъ предметомъ русскаго пилигримства и не менѣе романтическихъ увлеченій, чѣмъ раньше было германское «любомудріе». Экономическіе вопросы, поглотившіе публицистику и даже художественную литературу Запада послѣ іюльской революціи, не могли миновать русской публики. Популярнѣйшія знаменитости беллетристики, въ родѣ Жоржъ-Занда и Эжена Сю, держали вниманіе читателя почти исключительно на соціальномъ движеніи. Судьба народныхъ массъ стала во главѣ всѣхъ культурныхъ и нравственныхъ интересовъ времени, и фактъ какъ нельзя болѣе соотвѣтствовалъ назрѣвавшему медленно, но неотвратимо, вопросу о русскомъ крѣпостномъ строѣ.

При такихъ условіяхъ Марксъ являлся вліятельнѣйшей научной и публицистической силой по систематичности своихъ воззрѣній, по исключительной энергіи своей личности, по чисто мессіанской вѣрѣ въ свое призваніе.

Естественно, находились даже степные помѣщики, поддававшіеся обаянію марксизма и увѣрявшіе пророка въ своей готовности пожертвовать всѣми земными благами ради грядущаго переворота [279]). Еще, конечно, естественнѣе, помѣщикамъ не выполнять своихъ клятвъ и быстро утрачивать энтузіазмъ.

Не не было недостатка и въ искреннихъ и стойкихъ послѣдователяхъ. Анненковъ — одинъ изъ скромнѣйшихъ русскихъ литераторовъ — весьма живо и картинно изобразилъ личность Маркса: очевидно, даже его взяло за живое близкое знакомство съ авторомъ *Капитала*. И онъ, повидимому, съумѣлъ внушить Марксу весьма почтенныя чувства: тотъ счелъ нужнымъ писать русскому путешественнику письма съ изложеніемъ своихъ доктринъ и даже имѣть въ виду переслать ему свою книгу.

На сколько Анненковъ усвоилъ идеи Маркса, намъ неизвѣстно, но одну изъ нихъ—культурно-философскую—онъ внесъ въ свои воспоминанія. И эта именно идея вошла въ міросозерцаніе моло-

[279]) Анненковъ. *Воспоминанія*. III, 155.

дыхъ русскихъ экономистовъ конца сороковыхъ годовъ. Въ виду этого, для насъ не безразличны подлинныя слова русскаго марксиста:

«Марксъ одинъ изъ первыхъ сказалъ, что государственныя формы, а также и вся общественная жизнь народовъ съ ихъ моралью, философіей, искусствомъ и наукой—суть только прямые результаты экономическихъ отношеній между людьми, и съ перемѣной этихъ отношеній сами мѣняются или даже и вовсе упраздняются. Все дѣло состоитъ въ томъ, чтобы узнать и опредѣлить законы, которые вызываютъ перемѣны въ экономическихъ отношеніяхъ людей, имѣющія такія громадныя послѣдствія» [280]).

Милютинъ и Майковъ усвоили это ученіе и съ чрезвычайной энергіей, насколько позволяла современная цензура, защищали истины экономическаго матеріализма. При первомъ же знакомствѣ съ учеными статьями молодыхъ сотрудниковъ *Отечественныхъ Записокъ* бросается въ глаза любопытный фактъ: оба экономиста излагаютъ исторію своей науки въ *тождественныхъ* выраженіяхъ и оцѣниваютъ различныя школы совершенно одинаково по смыслу и по формѣ критики. Авторы или пользовались однимъ и тѣмъ же источникомъ, просто переводя его или, можетъ быть, Милютинъ зналъ работу Майкова въ рукописи [281]). Марксистская идея также выражена въ рѣзкой, очевидно, вполнѣ установившейся формулѣ. Оба автора находятъ безполезными или прямо лицемѣрными всякіе толки о просвѣщеніи рабочаго класса, пока не обезпечено его матеріальное благосостояніе. Майковъ исповѣдуетъ эту вѣру съ видимымъ увлеченіемъ и безпрестанно возвращается къ ней, даже повышая обычно-спокойный и тягучій тонъ своихъ разсужденій и не отступая предъ крайними логическими выводами.

«По нашему мнѣнію,—пишетъ онъ,—духовное образованіе не только безполезно, но... какъ бы это сказать?—безпокойно для человѣка, не пользующагося другими условіями благосостоянія» [282]). Оно усиливаетъ въ человѣкѣ сознаніе его тягостнаго положенія, заставляетъ понимать, что потребности его не признаются и вообще лишаетъ его способности безропотно переносить свои ли-

---

[280]) *O. c.*, стр. 159.

[281]) Ср., напр., характеристику Сисмонди у Милютина въ статьѣ *Пролетаріи и пауперизмъ*, *От. Зап.* 1847, апрѣль, стр. 154, 156 и въ статьѣ Майкова *Критическіе опыты*, стр. 614, 617. Критика экономическихъ ученій—у Милютина стр. 158, у Майкова стр. 618 etc.

[282]) *Критич. оп.*, стр. 700.

щенія. Невѣжество, слѣдовательно, благодѣяніе при бѣдности. А такъ какъ бѣдность не только не уменьшается, а напротивъ, растетъ среди рабочихъ массъ, то осуществленіе просвѣтительныхъ плановъ отодвигается въ далекое неопредѣленное будущее. И молодой публицистъ обзываетъ прямо «смѣшными» и «неблагонамѣренными» проекты о спасительности умственнаго и нравственнаго образованія нищихъ [283]).

Это одно, по мнѣнію новыхъ экономистовъ, недоразумѣніе современныхъ политиковъ. Другое—не менѣе пагубное—мечты о политическихъ правахъ рабочихъ, объ особыхъ парламентахъ изъ промышленнаго класса, вообще объ усиленіи его политическаго значенія. Все это—совершенно праздный и неразумный разговоръ: политическія права немыслимы безъ умственнаго развитія, а мы уже знаемъ, умственное развитіе вредно при современныхъ экономическихъ условіяхъ. Слѣдовательно, пока рабочіе не будутъ вполнѣ обезпечены, имъ лучше оставаться безграмотными и справедливѣе безправными [284]).

Выводъ, несомнѣнно, «безпокойный», но мы можемъ успокоиться: одинъ изъ нашихъ философовъ позаботился подвергнуть самого себя вполнѣ цѣлесообразной критикѣ и освободилъ читателей отъ всякихъ хлопотъ — возражать ему по существу и въ подробностяхъ. Этимъ фактомъ и замѣчательны статьи Майкова: онъ обдумывалъ ихъ, очевидно, во время процесса писанія и не садился за свой письменный столъ съ готовымъ планомъ и строго упорядоченными идеями. Какая истина подвертывалась ему подъ перо, ту онъ и бросалъ на бумагу, предварительно не позаботившись даже о тщательной словесной формѣ идеи. Отсюда многословіе статей, запутанность доказательства, смута основныхъ положеній, уродливое нагроможденіе отступленій и подробностей, и въ общемъ утомительность и неудобоваримость—исключительныя въ публицистикѣ сороковыхъ годовъ. Несомнѣнно, съ годами всѣ эти недостатки или исчезли бы, или, по крайней мѣрѣ, ослабѣли бы, но мы должны считаться съ дѣйствительно существующимъ.

Мы видѣли, кажется, достаточно опредѣленно установленъ вредъ просвѣщенія рабочихъ до устройства ихъ матеріальнаго положенія. Черезъ нѣсколько страницъ мы читаемъ, что умствен-

---

[283]) *Ib.*, стр. 296.

[284]) Майковъ, стр. 631; Милютинъ, стр. 158.

ное и нравственное образованіе рабочаго класса «можетъ смягчить гибельное вліяніе раздѣленія труда на умственныя способности работниковъ», а потомъ тоже умственное образованіе можетъ превратить рабочихъ въ «представителей своего класса», наконецъ, умственнно-просвѣщенный работникъ не будетъ испытывать порабощающаго вліянія машинъ и тупѣть со дня на день предъ непонятными для него «трескучими и громадными явленіями».

Очень дѣльныя соображенія, хотя далеко не исчерпывающія предмета. Насчетъ политическихъ правъ еще болѣе сильныя возраженія на только что доказанную истину—о безполезности ихъ для рабочихъ.

Авторъ идетъ на свою истину съ двухъ сторонъ, и эти движенія сами по себѣ не чужды противорѣчій. Въ одномъ мѣстѣ онъ призналъ желѣзный законъ «задѣльной платы» и помирился съ фактомъ, что увеличивать ее не зависитъ отъ хозяевъ, даже больше: «требовать отъ хозяевъ, чтобы они платили работникамъ болѣе того, сколько дозволяетъ имъ благоразуміе, значитъ требовать добровольнаго саморазоренія».

Но вопросъ, кто и какъ будетъ оцѣнивать требованія благоразумія? Авторъ, сказавши слово въ защиту хозяйскаго разсчета, немного спустя нарисовалъ трагическую картину эксплоатаціи рабочихъ богатымъ классомъ». Здѣсь все — и глухота къ убѣжденіямъ справедливости, и эгоизмъ, и признаніе всякихъ уступокъ нарушеніемъ правъ, пожертвованіемъ и разореніемъ, даже ожесточеніе, «какое-то злобное сладострастіе» богачей «выказывать свои даровыя преимущества надъ бѣдными, пользуясь ими при полномъ сознаніи ихъ несправедливости».

Въ результатѣ, конечно, современная заработная плата ничто иное, какъ отказъ рабочаго отъ всякой надежды на личную собственность и просто утрата человѣческаго образа и подобія.

Гдѣ же спасеніе?

Авторъ не вѣритъ въ самозащиту рабочихъ и возстаетъ противъ рабочихъ союзовъ. Вся его надежда на «правосудіе власти», на «отправленіе общественнаго правосудія», другими словами: на политическій строй государства. Но если всякая власть, въ томъ числѣ и судебная, будетъ находиться исключительно въ рукахъ хозяевъ, очевидно, отъ нея нечего будетъ ждать возстановленія справедливости. Классъ богачей, снабженный образованіемъ и политическими правами, явится такой деспотической и эксплуататорской силой, предъ которой поблѣднѣютъ всѣ легендарныя ти-

раны и деспоты. Франція сороковыхъ годовъ начинала сознавать эту истину и плодомъ сознанія явилась революція сорокъ восьмого года. Нашъ авторъ могъ бы и раньше сообразить простую вещь: власть правосудна вовсе не потому, что она власть, а потому, что она находится въ извѣстныхъ рукахъ и связана съ извѣстными нравственными и общественными цѣлями.

Дальше авторъ усиленно повторяетъ, что только «власть просвѣщенная и безпристрастная можетъ вывести общество изъ ложной колеи». Кажется, прямой выводъ, въ конституціонныхъ странахъ, лишить эту власть односторонняго буржуазнаго характера и предоставить участіе въ ней рабочему классу?

Авторъ не додумывается до этого вывода, но рѣшается признать conseils des prud'hommes, т. е. представительныя собранія изъ рабочихъ и хозяевъ для рѣшенія споровъ и столкновеній между капиталомъ и трудомъ. Почему же въ общегосударственномъ парламентѣ нѣтъ мѣста представителямъ рабочихъ? Или потому, чтобы сохранить неприкосновенность правила: рабочій не можетъ быть полноправнымъ гражданиномъ, пока онъ пролетарій? Но вѣдь это волшебный кругъ: пролетарій онъ потому, что политически безправенъ, а лишенъ правъ, потому что пролетарій.

Для насъ въ данную минуту безразлична сущность вопроса,— наша цѣль—познакомиться съ пріемами и силой мышленія критика. Мы не будемъ настаивать и на практическомъ или научномъ достоинствѣ личнаго преобразовательнаго проекта нашего экономиста: *дольщины*, т. е. участіе рабочихъ въ прибыляхъ предпріятія. Но мы не должны и здѣсь упускать изъ виду странной идеи—сдѣлать рабочихъ участниками въ чистыхъ доходахъ и лишить ихъ права вникать въ самую идею предпріятія, въ его развитіе и не платиться за рискъ. Почему?

Отвѣтъ, лишенный всякихъ доказательствъ: просто потому, что промышленность должна управляться «самодержавіемъ личной мысли и личной воли» [285]). Тогда и всякое акціонерное предпріятіе немыслимо, и всякая предпринимательская компанія—подрывъ промышленному прогрессу.

XLVII.

Помимо экономическихъ вопросовъ, мы знаемъ, Майковъ увлекался естествознаніемъ. И въ этой области, раньше крити-

[285]) *Ib.*, стр. 647.

ческихъ статей, написалъ начало обширнаго разсужденія: *Общественныя науки въ Россіи*. Статья появилась въ *Финскомъ Вѣстникѣ*. Это—второе изданіе, гдѣ сотрудничалъ молодой ученый. Первое—*Карманный словарь иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ составъ русскаго языка*.

Майковъ редактировалъ первый выпускъ словаря, написалъ нѣсколько статей, но еще до выхода выпуска изъ печати сталъ редакторомъ новаго журнала.

Замыслы редакціи были изложены публикѣ чрезвычайно смѣло и широко: редакція намѣревалась подвергнуть «критическому разбору всѣ стихіи цивилизаціи, которой призваны мы пользоваться позже всѣхъ другихъ народовъ Европы». Немного спустя объяснялось: цивилизація каждой изъ европейскихъ націй одностороння и «мы должны дѣлать строгій выборъ» въ своихъ заимствованіяхъ. Это—программа, стоявшая на очереди у славянофиловъ и у Бѣлинскаго еще въ ранній періодъ его дѣятельности.

Майковъ очень не долго оставался въ *Финскомъ Вѣстникѣ*, не имѣвшемъ успѣха, и не окончилъ своего труда. Продолженіе осталось въ рукописи; первая статья—нѣчто вродѣ вступленія.

По литературнымъ достоинствамъ ея нельзя и сравнивать съ молодыми статьями Бѣлинскаго: у его будущаго противника обнаруживалось полное отсутствіе увлеченія, темперамента, блеска слова и энергіи мысли. Статья похожа на переводъ чужой работы, съ большимъ трудомъ давшійся переводчику. Статья раздѣлена на параграфы, имѣетъ всѣ внѣшніе признаки ученаго трактата, но въ дѣйствительности показываетъ неумѣнье автора говорить простымъ языкомъ о простыхъ предметахъ и наклонность весьма спорныя истины заключать въ тяжеловѣсную педантическую форму. Откуда, напримѣръ, авторъ узналъ, будто мистицизмъ девятнадцатаго вѣка появился только въ «наше время», т. е. въ концѣ сороковыхъ годовъ? Какая исторія сообщила автору, что «эпикурейскіе пиры смѣнялись аскетизмомъ и отшельничествомъ»? Исторія, напротивъ, свидѣтельствуетъ о совмѣстномъ существованіи этихъ явленій. И какъ могъ такой глубокомысленный философъ идеализмъ и мистицизмъ объяснять *усталостью* человѣка отъ «прагматизма историческаго», *скукою* «отъ трупоразъятія явленій»? Какъ, наконецъ, вдумчивый критикъ могъ увѣровать въ такой законъ: «крайность необходимо рождаетъ другую», и доказывать его фактомъ: «фанатизмъ среднихъ вѣковъ смѣнился безвѣріемъ XVIII-го вѣка»? Будто средніе вѣка и XVIII-й вѣкъ—эпохи смеж-

ныя и будто у энциклопедистовъ, вовсе не проповѣдывавшихъ *безвѣрія*, за исключеніемъ единичныхъ исключеній, не было предшественниковъ?

Ученость, очевидно, сомнительнаго качества. Но статья все-таки не безъ нѣкоторыхъ достоинствъ, и эти достоинства опять общее достояніе у Майкова съ Милютинымъ.

Майковъ въ одномъ мѣстѣ статьи и совершенно мимоходомъ ссылается на *Курсъ позитивной философіи* Конта. На самомъ дѣлѣ французскій философъ далъ русскому автору важнѣйшую идею разсужденія: о *философіи* или *физіологіи общества*, т. е. о наукѣ, приводящей въ строгую систему «соціальные вопросы». Майковъ разсуждаетъ о соціологіи, называя соціологовъ «соціалистами», нападаетъ на безпочвенную и безжизненную философію нѣмцевъ, на юношескую мечтательность ихъ науки, не щадитъ ни Шеллинга, ни Гегеля—за оторванность мышленія отъ опыта, знаній отъ дѣйствительности... Все это — плодъ весьма благотворной положительной философіи Конта, но все это давно русская публика прочитала въ статьяхъ Бѣлинскаго, только безъ новыхъ терминовъ и съ другимъ способомъ доказательствъ: не силлогизмами и отвлеченіями, а живымъ смысломъ окружающей дѣйствительности и страстнымъ сочувствіемъ жизненной правдѣ.

Милютинъ и здѣсь выше Майкова.

Въ обширной статьѣ по поводу книги Бутовскаго *Опытъ о народномъ богатствѣ или о началахъ политической экономіи* онъ прекрасно изложилъ контовскія идеи о развитіи человѣчества, о положительномъ періодѣ цивилизаціи, о необходимости построенія новой общественной науки на прочныхъ научныхъ основахъ. Правда, онъ слишкомъ придерживается позитивистскаго взгляда на умственное направленіе XVIII-го вѣка, какъ исключительно отрицательное и метафизическое. Онъ могъ бы проявить больше самостоятельности мысли и безпристрастія сужденій, чѣмъ преемники энциклопедистовъ въ самой Франціи, но заслуга уже въ точномъ и дѣйствительно популярномъ объясненіи замѣчательнаго факта западной мысли. Милютинъ, кромѣ того, съ большимъ остроуміемъ подвергъ критикѣ мнимую ученость многочисленныхъ экономистовъ, наводнившихъ литературу безцѣльными схоластическими препирательствами о научныхъ терминахъ, часто просто о словахъ. «Утонченность и абстракція», по словамъ автора, затемнили простѣйшіе предметы и изгнали здравый смыслъ изъ самой жизненной и практически-настоятельной науки. Наконецъ, Милютинъ, не въ

примѣръ Майкову, умѣетъ кстати пользоваться выраженіями *соціализмъ* и *соціалистъ* и превосходно истолковываетъ политическое значеніе новыхъ соціальныхъ ученій. Онъ также ссылается на Конта, но безъ всякаго сравненія съ Майковымъ, даетъ вполнѣ дѣльную характеристику вновь возникающей положительной науки объ обществѣ [285]).

Предъ нами настоящій популяризаторъ, можетъ быть, недостаточно независимый, но всегда поучительный, безъ непосильныхъ притязаній на глубокомысліе, съ большимъ литературнымъ талантомъ. Милютина съ полнымъ правомъ можно считать предшественникомъ политико-экономическихъ и философскихъ публицистовъ шестидесятыхъ годовъ. Его статьи не могли пройти безслѣдно даже для средняго читателя. Что же касается трактатовъ Майкова, можно сомнѣваться, были ли они прочитаны даже заинтересованнымъ литературнымъ кружкомъ. Такого труда они требовали и такъ мало давали!

Если бы Майковъ не попалъ въ *Отечественныя Записки* и, по счастливому стеченію обстоятельствъ, не занялъ мѣста перваго критика въ популярнѣйшемъ журналѣ и непосредственно послѣ Бѣлинскаго, его личность врядъ ли привлекла бы вниманіе современниковъ и врядъ ли дошла бы до потомства. Даже послѣ критическихъ статей это потомство какъ-то необычайно легко и скоро забыло критика. Шестидесятые годы полны именемъ Бѣлинскаго, но они совсѣмъ не желаютъ заниматься его противникомъ. Съ эпохой, столь чуткой ко всякому біенію идейнаго общественнаго пульса, столь жадно нащупывавшей этотъ пульсъ въ прошломъ и настоящемъ, не могло бы случиться подобнаго приключенія, если бы молодой критикъ оставилъ послѣ себя дѣйствительно цѣнное и неумирающее наслѣдство.

Снова повторяемъ, произведенія Майкова важны для насъ только по ихъ отношенію къ дѣятельности Бѣлинскаго. Сами по себѣ они не только не внесли въ современную критику положительнаго новаго содержанія, но даже не бросили въ нее прочныхъ элементовъ броженія. Майковъ — отрицательный моментъ нѣкоторыхъ сторонъ критики Бѣлинскаго: въ этихъ предѣлахъ все его историческое значеніе.

Оно стало намѣчаться въ той же статьѣ *Общественныя науки въ Россіи*, именно въ разсужденіи о національности. Критикъ немедленно

---

[285]) *Отеч. Зап.* 1847 г., XI, стр. 23 etc.

показалъ, какъ мало онъ имѣлъ права нападать на «силлогистику» нѣмецкихъ философовъ. Онъ самъ идеальный силлогистъ, т. е. фанатикъ отвлеченныхъ схемъ, рѣзкихъ математическихъ подраздѣленій и на столько же точныхъ, насколько и мертвыхъ формулъ.

Майковъ начинаетъ свое опредѣленіе культурнаго значенія національностей сравненіемъ рода человѣческаго съ многоугольникомъ. Цѣлое состоитъ изъ частей, многоугольникъ изъ угловъ, государство изъ провинцій, человѣчество изъ народовъ... Зачѣмъ, спросите вы, все это нагроможденіе предметовъ? Не ясно ли дѣло изъ самаго факта? Но таковъ пріемъ Майкова: онъ воображаетъ, что доказательность и простота мысли тожественны съ обиліемъ элементарныхъ сравненій, аналогій и параллелей. Это—дѣйствительно излюбленный способъ школьныхъ учителей бесѣдовать съ учениками; но горе въ томъ, что задачи нашего критика не школьныя и публика, читавшая Бѣлинскаго, Герцена, нуждалась совершенно въ другомъ методѣ разсужденій.

Ей не надо было на нѣсколькихъ страницахъ объяснять, что человѣчество состоитъ изъ народовъ, что «народность не служитъ препятствіемъ къ успѣхамъ человѣчества», но ей слѣдовало бы доказать, почему народность непремѣнно «возможно сильное развитіе какой-нибудь существенной части общечеловѣческой природы», своего рода одна черта общечеловѣческой физіономіи? Почему народность обязательно нѣчто одностороннее, исключительное и какими путями авторъ додумался до существованія *общечеловѣка*, какъ реальнаго типа?

Все это требовало бы тщательныхъ откровеній, тѣмъ болѣе, что критикъ идеи о *національности*, какъ воплощеніи одной какой-либо черты общечеловѣческой природы и о *человѣчествѣ*—какъ идеальной, но достижимой полнотѣ всѣхъ человѣческихъ чертъ, положилъ въ основу своей полемики съ Бѣлинскимъ и славянофилами.

XLVIII.

Майковъ, вступая въ *Отечественныя Записки*, поспѣшилъ сдѣлать нападеніе на своего предшественника. Бѣлинскій не назывался по имени, но ударъ былъ разсчитанъ на самую *почву* его славы. Именно, критикъ обвинялся *въ бездоказательности* своихъ идей, въ стихійномъ диктаторствѣ надъ публикой. За критикой Бѣлинскаго важнѣйшей заслугой признавалось «энергическое вы-

раженіе симпатіи къ новой школѣ искусства». Но Майковъ жалѣетъ о томъ, «чья недоказанная мысль нашла себѣ поддержку въ модѣ» [286]).

Выходитъ, Бѣлинскій не больше, какъ отголосокъ общаго настроенія, счастливый выразитель *моды*. Гоголь всѣми былъ понятъ и оцѣненъ, а Бѣлинскій только пошелъ вслѣдъ за этими всѣми. Не велика заслуга!

Современные читатели вознегодовали на «безтактность» выходки. Майковъ оправдывался въ письмѣ къ Тургеневу: онъ написалъ только то, что думалъ! Еще бы, написать по внушенію Краевскаго! Но вопросъ: какъ могъ молодой критикъ дойти до подобныхъ мыслей? Неужели онъ не зналъ, что такое Гоголь для критики въ лицѣ Сенковскаго, Булгарина и даже Шевырева и Константина Аксакова? Неужели, при самомъ бѣгломъ знакомствѣ съ современной журналистикой, можно было увлеченіе Гоголемъ признать всеобщей модой, а Бѣлинскаго только ея послушнымъ эхо? И какъ одновременно можно быть диктаторомъ и слѣдовать за модой? И если бы даже Бѣлинскій дѣйствительно являлся диктаторомъ, то вѣдь это было неизмѣримо больше *историческимъ фактомъ*, чѣмъ *личнымъ усиліемъ*. Кого же рядомъ съ нимъ могъ бы поставить Майковъ? Впослѣдствіи также найдутся критики, готовые обвинять Бѣлинскаго въ неограниченной власти надъ литературной публикой. Но эти обвинители поспѣшатъ сознаться, что власть эта выросла совершенно естественно. Кругомъ не было ничего, равнаго ей по таланту и по любви къ истинѣ [287]). Это, по крайней мѣрѣ, благоразумно, а нашъ критикъ бросилъ обвиненіе, будто облегчая накипѣвшее личное чувство и на протяженіи громадной статьи не напалъ на счастливую мысль—быть самому *доказательнымъ*.

Какія же собственныя оригинальныя идеи выдвигалъ критикъ на смѣну модной неосновательной диктатуры?

Прежде всего—чисто литературные взгляды.

Мы можемъ опустить насмѣшки надъ классицизмомъ и романтизмомъ: для 1846 года это—азбука эстетики, не любопытенъ и разговоръ о Гоголѣ: о немъ достаточно наслышаны читатели *Отечественныхъ Записокъ*, напрасно только критикъ отказывается «разобрать» *Переписку съ друзьями*; можно, наконецъ, прямо не читать порази-

---

[286]) Статья о Кольцовѣ. *Крит. оп.*, 9—10.

[287]) Дружининъ. *Собраніе сочиненій*. Спб. 1865, VII, 196—6.

тельно элементарныхъ разсужденій о безсиліи воображенія освободиться отъ явленій дѣйствительности... Но вотъ что любопытно.

Мы знаемъ, Бѣлинскій различалъ искусство и беллетристику по силѣ и значенію *творчества*, по глубинѣ содержанія, по совершенству выполненія [288]). У Майкова эта идея развита совершенно иначе: здѣсь его оригинальность. Какой же она цѣны?

Бѣлинскій вполнѣ прочно установилъ свободу художника, доказалъ, что онъ часто можетъ не постигать всего содержанія своихъ произведеній: Майкову незачѣмъ было изощряться на этихъ истинахъ. Но онъ идетъ гораздо дальше и по другому направленію. По его мнѣнію, безсознательность великихъ художниковъ простирается такъ далеко, что читатели никакъ не могутъ угадать его «настоящаго взгляда» на изображенную имъ дѣйствительность [289]). Это значитъ—вы не знаете, какъ Гоголь смотритъ на Сквозника-Дмухановскаго и на Чичикова.

Этого мало. Нашъ критикъ безпощаденъ въ выводахъ. Ужъ если безсознательность, то до полнаго сомнамбулизма. Художникъ не различаетъ добра и зла, а его произведеніе осуждено воспроизводить одни труизмы. «Мысль совершенно новая не можетъ быть выражена эстетически», новая—значитъ «не пришедшая въ общее сознаніе» [290]).

Слѣдовательно, негодованіе подавляющаго большинства публики на *Ревизора* Гоголя—миѳъ, повальное непониманіе пушкинскаго *Онѣгина*—случайное недоразумѣніе, тургеневскій Базаровъ, вызвавшій безчисленное множество кривотолковъ даже въ *передовой* критикѣ—несчастное созданіе. Или другое рѣшеніе задачи: и Гоголь, и Пушкинъ, и Тургеневъ такъ же, какъ и Бѣлинскій, служили только современной модѣ, и Гоголь, напримѣръ, только выражалъ общепринятое мнѣніе о взяткахъ.

Таково искусство. Беллетристика—полная противоположность. Она непремѣнно тенденціозна. Пушкинъ не зналъ, почему онъ писалъ *Каменнаго гостя*, но Сю отлично понималъ, зачѣмъ онъ сочинилъ *Вѣчнаго жида*. Тамъ—безотчетное требованіе творчества, здѣсь—внѣшняя цѣль [291]).

Въ этихъ сооображеніяхъ есть доля правды, но только не слѣдовало доводить эту правду до точности многоугольника.

---

[288]) *Сочиненія*. IX, 390 etc.

[289]) *Крит. оп.*, стр. 196.

[290]) *Ib.*, стр. 549.

[291]) *Ib.*, стр. 707.

Художникъ можетъ не менѣе беллетриста быть воодушевленъ сознательной *общей* идеей, отнюдь не утрачивая своей безотчетности въ *процессѣ* творчества. Тотъ же Гоголь прямо заявлялъ, что онъ въ комедіи «рѣшился собрать въ одну кучу все дурное въ Россіи» и «за однимъ разомъ посмѣяться надъ всѣмъ». Все зависитъ отъ прирожденнаго направленія таланта, и Майкову надлежало вдуматься въ психологію художника, раскрытую Бѣлинскимъ, чтобы понять всю противоестественность рѣзкихъ разграниченій цѣлесообразности и безсознательности творчества.

Таковы оригинальныя черты въ эстетикѣ Майкова. Къ нимъ слѣдуетъ присоединить еще сильную наклонность сопоставлять искусство съ юридическими науками. Это уже неизбѣжное отраженіе первичныхъ влеченій автора. Стихотвореніе Кольцова *Что ты спишь мужичекъ*—«воззваніе страстнаго политико-эконома, облеченное въ форму искусства», собраніе сочиненій Гоголя—«художественная статистика Россіи» [292]). Опредѣленія, не лишенныя меткости, хотя, можетъ быть, во второмъ случаѣ кто-нибудь вздумалъ бы употребить съ бо̀льшимъ основаніемъ «художественная психологія Россіи».

Но не въ частностяхъ дѣло, а въ томъ, что именно эти сравненія нашли потомъ параллельныя замѣчанія въ статьѣ Бѣлинскаго: онъ сравнивалъ содержаніе искусства съ работами политико-эконома и статистика и находилъ вездѣ одну и ту же цѣль, различны только пути. Одинъ дѣйствуетъ логическими доводами, другой—картинами, одинъ *доказываетъ*, другой—*показываетъ*, и оба *убѣждаютъ* [293]).

Что это, заимствованіе? Инымъ хочется такъ думать [294]). Но только они должны вспомнить, что Бѣлинскій задолго до Майкова искусство называлъ «сужденіемъ, анализомъ общества», «критикой», и особенно въ Россіи: «искусство нашего времени есть выраженіе, осуществленіе въ изящныхъ о̀бразахъ современнаго сознанія» [295]). Слѣдовательно, если чѣмъ и снабдилъ новый критикъ стараго, то развѣ только лишнимъ словомъ для украшенія давно использованной мысли: вмѣсто ученый и философъ—политико-экономъ. Нельзя сказать, чтобы это была особенно значительная ссуда.

---

[292]) *Ib.*, 24.
[293]) *Сочиненія.* XI, 363—4. 1848 годъ.
[294]) Статья предъ *Критич. оп.*, стр. XLVI.
[295]) VI, 211 etc.—1842 годъ.

Вотъ и весь эстетическій капиталъ Майкова. Онъ или точное воспроизведеніе раннихъ и позднихъ идей Бѣлинскаго, напримѣръ, о нехудожественности сатиры, или столь же оригинальныя, сколько и не убѣдительныя открытія. Остается еще одинъ вопросъ, вызвавшій критику Бѣлинскаго и стяжавшій большую и даже почтенную извѣстность,—вопросъ о народности.

Мы видѣли, въ какой формѣ онъ появился въ первой статьѣ Майкова; дальше слѣдовало развитіе.

Раньше національность казалась критику только односторонностью, теперь она просто порокъ, по крайней мѣрѣ «слабость», «крайность», противоположная *человѣчности*, т. е. «чистотѣ человѣческаго типа».

Майковъ вѣритъ въ реальное существованіе этого типа, «не зависящаго отъ принадлежности къ тому или другому племени».

Этотъ типъ состоитъ весь изъ добродѣтелей, потому что «добродѣтели прирождены человѣческой природѣ, какъ силы, составляющія ея сущность». Пороки являются благодаря внѣшнимъ вліяніямъ. Къ числу ихъ относятся родовыя или племенныя особенности. И эти особенности являются «противодѣйствіемъ къ достиженію всѣми народами одной идеальной степени развитія». Такъ выходитъ согласно «съ ходомъ силлогистики». Этотъ ходъ теперь признается естественнымъ путемъ къ истинѣ.

Выводъ ясенъ. Національность отдаляетъ человѣка отъ общечеловѣческой цивилизаціи. Идеальный человѣкъ національно безличенъ и не оригиналенъ. Цѣль европейскаго прогресса—уподобленіе всѣхъ народовъ другъ другу. Славянофилы виноваты отъ начала до конца, въ ихъ ученіи нѣтъ и признака истины, потому что они вѣруютъ въ неизмѣнность и разумность національныхъ типовъ и характеровъ.

Вотъ и вся сущность культурно-философскаго міросозерцанія Майкова. Въ настоящее время даже не представляется нужды опровергать эту дѣйствительно рѣдкостную силлогистику. Любопытенъ особенно одинъ фактъ. Поклонникъ Конта, защитникъ строго-научнаго анализа, проповѣдникъ *физіологіи* общества и противникъ XVIII вѣка, съ умилительной наивностью и покойной совѣстью воскрешаетъ самые отчаянные метафизическіе завѣты этой эпохи—фантазіи Руссо насчетъ естественнаго человѣка и естественнаго состоянія. Ученый половины XIX вѣка серьезно толкуетъ объ общечеловѣческомъ типѣ, ангелоподобномъ по своимъ нравственнымъ совершенствамъ и падшемъ только подъ давле-

ніемъ внѣшнихъ обстоятельствъ, т. е. о томъ же идеальномъ «чувствительномъ существѣ» Руссо, загубленномъ исторіей!

Болѣе жестокой ироніи надъ ученостью и «дѣльностью мыслей» нашего критика не могли бы придумать его жесточайшіе враги.

Естественно, послѣ такой *философіи исторіи* мы слышимъ невѣроятныя историческія открытія. Они связаны съ еще одной оригинальной теоріей, также вызвавшей возраженія Бѣлинскаго,— съ теоріей о великихъ людяхъ.

Эти «могущественныя личности» могутъ «въ извѣстной степени отринуть» «слабости, свойственныя роду и народу». Критикъ открываетъ законъ, «до сихъ поръ не оцѣненный этнографами». Законъ этотъ состоитъ въ слѣдующемъ: «Каждый народъ имѣетъ двѣ физіономіи: одна изъ нихъ діаметрально противоположна другой; одна принадлежитъ большинству, другая меньшинству (миноритету). Большинство народа всегда представляетъ собою механическую подчиненность вліяніямъ климата, мѣстности, племени и судьбы; меньшинство же впадаетъ въ крайность отрицанія этихъ явленій».

Майковъ искренне считаетъ это разсужденіе своего рода аксіомой. Онъ подчеркиваетъ свою формулу и съ чрезвычайнымъ спокойствіемъ укоряетъ «этнографовъ и историковъ» за невѣдѣніе закона.

Открытіе дѣйствительно образчикъ глубокомыслія и пріемовъ мышленія нашего ученаго. Для выраженія всѣмъ извѣстнаго и простого факта болѣе сильной и оригинальной нравственной природы у болѣе даровитаго и просвѣщеннаго меньшинства въ каждомъ обществѣ, критику понадобился фантастическій законъ, теорія какого-то стихійнаго и фатальнаго раздѣленія народа на двѣ взаимныя, враждебныя, даже непримиримыя породы. Можно бы спросить у философа, какимъ же путемъ понимаютъ другъ друга эти двѣ расы одного и того же племени, какъ онѣ уживаются въ одномъ гражданскомъ строѣ и почему даже составляютъ одну культурную силу, одинъ народъ? «Діаметральная противоположность» и «крайнее отрицаніе»—величайшія опасности для всякаго сообщества и жизнь народа вѣчно представляла бы изъ себя нѣчто въ родѣ борьбы патриціевъ съ плебеями. И какое основаніе человѣка, рѣшительно и всесторонне отвергающаго природу большинства своего рода, признавать сыномъ этого самаго рода? Такихъ людей естественно называть выродками, прирожденными эмигрантами, чѣмъ угодно, только не цвѣтомъ и силой своего народа, какъ этого желаетъ критикъ.

Потому что, соображаетъ онъ, изъ меньшинства выходятъ великіе люди.

Опредѣленіе *личности* у Майкова верхъ «силлогистики»:

«Личность заключается въ противоположности внѣшнимъ вліяніямъ». Это—труизмъ, не заслуживающій даже повторенія, но для философа было бы обидно ограничиваться истинами «большинства» и онъ продолжаетъ: «но чтобы перейти въ человѣчность, она должна освободиться отъ крайности, противоположной той, которая преобладаетъ въ національности» [296]).

Какое болѣзненное пристрастіе говорить простыя вещи пиеническимъ языкомъ! «Перейти въ человѣчность» должно, вѣроятно, означать—стать общечеловѣческимъ типомъ. «Освободиться отъ крайности» ничто иное, какъ примириться съ нѣкоторыми *національными* чертами, т. е. сбросить съ себя страсти воображаемаго меньшинства и примкнуть хотя бы отчасти къ большинству.

Въ результатѣ все хитросплетеніе разрѣшается въ такой же обидный труизмъ, какъ и первая фраза: личность должна быть *національнымъ* явленіемъ, правда, съ задатками протеста и отрицанія, но непремѣнно на почвѣ и въ духѣ своей національности.

Столь пышно и фигурно огороженный огородъ оказывается пустымъ мѣстомъ, даже хуже. Лишь только авторъ переходитъ къ историческимъ доказательствамъ своихъ истинъ, его героическое поприще превращается въ поле сорныхъ травъ.

Можете ли вы повѣрить, что «свободное мышленіе» развилось въ странахъ съ жаркимъ климатомъ, т. е. въ *Индіи*, *Персіи*, *Египтѣ* и, между прочимъ, въ Греціи и въ южной Италіи? Азія, стоитъ рядомъ съ южной Европой, но и это еще не большое горе, во всякомъ случаѣ меньшее, чѣмъ превращеніе индусскихъ мудрецовъ въ революціонеровъ, т. е. философовъ, проповѣдующихъ совершенное самоотреченіе воли и исчезновеніе личности въ общей міровой жизни. Майковъ открылъ, что индусская философія—мудрость меньшинства, воплощающаго непримиримый протестъ противъ «внѣшнихъ обстоятельствъ», т. е. *крайность* по отношенію къ большинству. Этого мало. Дальше слѣдуетъ параллель восточныхъ философовъ съ норманскими викингами, потому что суровый климатъ такъ же порабощаетъ людей, какъ и южное солнце и викингъ такая же противоположность порабощенному большинству сѣверныхъ наро-

---

[296]) *Крит. оп.*, стр. 69.

довъ, какъ браминъ или буддистъ индусамъ... И между тѣмъ, здѣсь же говорится о норманнѣ, какъ «олицетворенной страсти къ гимнастикѣ силъ, къ *процессу* труда и дѣйствія», т. е. «къ удальству»...

Нирвана и удальство—явленія тожественныя, потому что оба результатъ порабощенія человѣка «внѣшними обстоятельствами!»... И все-таки, *южному*, а не сѣверному человѣку «обязаны мы свободой мысли»... Наконецъ, еще нѣсколько перловъ въ этотъ букетъ глубокомыслія: «аѳиняне съ восторгомъ слушали софистовъ», «французы обожаютъ своихъ энтузіастовъ», «нѣмцы своихъ отшельниковъ-мыслителей», все потому, что софисты, энтузіасты, отшельники-мыслители, воплощенныя «противоположности» «національнымъ особенностямъ» аѳинянъ, французовъ, нѣмцевъ...

Можно ли было вести серьезную борьбу съ подобнымъ «соціалистомъ»? Стоило ли для спасенія логики и исторіи взывать къ здравому смыслу и элементарнымъ фактамъ психологіи и жизни? Представляла ли вновь изобрѣтенная «силлогистика» опасность для русской литературной критики?

На первые два вопроса вполнѣ допустимы отрицательные отвѣты, но послѣдній гораздо сложнѣе при условіяхъ русскаго общественнаго просвѣщенія сороковыхъ годовъ.

Въ лицѣ Майкова на сцену публицистики выступала въ полномъ смыслѣ отрицательная сила. Ограниченность культурно-историческихъ свѣдѣній, отсутствіе строгой предварительной обдуманности критическихъ сужденій и новыхъ открытій, наивныя, чисто-ученическія притязанія на исключительную глубину и солидность мысли, наклонность на основаніи только этихъ притязаній обвинять другихъ въ бездоказательности, въ недостаткѣ научной цѣльности идей и въ заключеніе схоластическая форма языка сравнительно съ литературными талантами не только Бѣлинскаго, но даже писателей *Библіотеки для Чтенія*: все это отнюдь не являлось шагомъ впередъ въ русской журналистикѣ и не сулило благодѣяній для юной и робкой русской мысли.

Мы не отрицаемъ, Майкову, можетъ быть, предстояло болѣе достойное и дѣйствительно плодотворное будущее. Но оставленное имъ наслѣдство представляетъ развѣ только самые смутные намеки на роскошный плодъ. Рѣзкая черта, крайне невыгодно оттѣняющая духъ и содержаніе статей Майкова рядомъ съ произведеніями Бѣлинскаго, отсутствіе глубокаго прирожденнаго чутья жизни, страстнаго слiянія личности съ идеальными интересами окружаю-

щей дѣйствительности. Майковъ—подвижникъ книги и кабинета, способный находить наслажденіе въ замысловатыхъ изворотахъ хитроумной рѣчи и отвлеченной силлогистики. Во всѣхъ его обширныхъ разсужденіяхъ нѣтъ возможности указать ни одной прочувствованной, вдохновенной мысли, ничего похожаго на тѣ моліеносные вспышки критическаго ясновидѣнія и художественнаго восторга, какими блещутъ страницы Бѣлинскаго. Съ нами бесѣдуетъ двадцати-трехлѣтній юноша, и отъ его рѣчи вѣетъ педантизмомъ и схоластикой, онъ не живетъ предметомъ бесѣды, а изощряетъ надъ ними запасъ своей учености и рессурсы своей логической гимнастики. Врядъ ли особенно утѣшительное предзнаменованіе будущаго!

Такой уравновѣшенный, выдисциплинированный въ абстракціяхъ студентъ, несомнѣнно, могъ превратиться въ почтеннаго ученаго, можетъ быть качествомъ выше обыкновеннаго цехового типа. Но вліятельнаго публициста и указующаго пути критика такая природа не могла дать. Что могъ совершить на тернистомъ отвѣтственнѣйшемъ поприщѣ русской мысли ученый, вообразившій себѣ образъ идеальнаго человѣка безличнаго, безтемпераментнаго, превознесшій чистую логическую абстракцію надъ живой вопіющей дѣйствительностью? Краснорѣчивый психологическій фактъ: силлогистическая возня писателя съ воображаемымъ общечеловѣкомъ въ то время, когда жизнь требовала яркой, опредѣленной, сильной личности, хотя бы даже односторонней но непремѣнно самобытной и національной.

Бѣлинскій былъ правъ, сравнивая славянофиловъ съ новоявленными космополитами: «если первые и ошибаются, то какъ люди, какъ живыя существа, а вторыя и истину-то говорятъ, какъ такое-то изданіе такой-то логики».

И Бѣлинскій всей силой своего бурнаго слова, насколько хватало угасавшей энергіи, возсталъ на ненавистную абстрактную діалектику, когда-то калѣчившую его собственный здравый смыслъ и талантъ.

XLIX.

«Силлогистика» Майкова, несомнѣнно, дала сильнѣйшій толчекъ славянофильской критикѣ Бѣлинскаго. Онъ вообще признавалъ большое вліяніе, какое могутъ имѣть на него разные фантазеры, доводящіе извѣстную идею до нелѣпости [298]). Майковъ

[298]) Письмо къ Анненкову. *Анненковъ и его друзья*, стр. 611.

сослужилъ именно эту службу, превративъ сочувствія западниковъ европейской культурѣ въ математическій космополитизмъ. Бѣлинскій и началъ свое сотрудничество въ новомъ журналѣ рѣзкимъ отпоромъ критику *Отечественныхъ Записокъ*.

Это отнюдь не означало перехода Бѣлинскаго въ славянофильскій лагерь. Напротивъ, онъ не перестаетъ попрежнему разоблачать ложь, несбыточныя притязанія и въ особенности барственность славянофиловъ. Онъ ради нѣкоторыхъ здравыхъ идей направленія не проститъ ни одного порока личностямъ его представителей. Его статьи и письма непосредственно послѣ обзора русской литературы за 1846 годъ полны насмѣшками и энергическими обличеніями—противъ отдѣльныхъ апостоловъ славянофильства. По существу ничего не измѣнилось ни въ міросозерцаніи, ни въ чувствахъ критика. Онъ только, раздраженный «фантазеромъ», съ особенной рѣшительностью призналъ жизненность и важность славянофильства, какъ общественнаго и литературнаго явленія, заявилъ о своемъ уваженіи къ славянофильству, какъ «убѣжденію», выразилъ сочувствіе славянофильской критикѣ европеизма, но поспѣшилъ указать въ «положительной сторонѣ доктрины» «какія-то туманныя, мистическія предчувствія побѣды востока надъ западомъ», подчеркнуть ихъ несомнѣнную «несостоятельность» и даже отвергнуть у славянофиловъ пониманіе запада [299]).

Все это не представляетъ ничего неожиданнаго даже послѣ раннихъ разсужденій Бѣлинскаго на ту же тему. Говорилось и о способности русскаго человѣка къ разностороннему пониманію европейскихъ явленій, страстно защищалась русская національность и приписывалось ей великое культурное будущее. Все это повторяется и теперь, но съ непремѣнными ограниченіями по части патріотическаго «самохвальства и фанатизма» и съ рѣшительной отповѣдью противъ «смиренія», будто бы, истинно національной черты русскаго народа.

Что же новаго въ статьѣ, вызвавшей такую тревогу? Въ сущности только благосклонные отзывы вообще о славянофильствѣ, прямое признаніе его заслугъ. Но что касается всего ученія, но признано только въ тѣхъ предѣлахъ, какихъ и раньше держалась мысль критика. Вся разница въ томъ, что прежде Бѣлинскій собственныя идеи о народности и національности говорилъ

---

[299]) *Сочиненія*. XI, 20 etc.

только отъ своего лица, а теперь подъ тѣми же идеями онъ подписалъ имя славянофильства, отнюдь не склоняясь предъ его знаменами всецѣло.

Пріемъ чисто полемическій. Смыслъ его обнаружилъ самъ критикъ, когда книжныхъ «силлогистовъ» противоставилъ жизненнымъ вопросамъ славянофильства. Это собственно и было главной цѣлью критика: помимо космополитизма, Бѣлинскій столь же сильно напалъ и на другую уродливую идею Майкова о раздѣленіи народа на большинство и меньшинство и его представленіе о великихъ людяхъ. И этому возмущенію мы обязаны новой превосходной формулой, выражающей исконные взгляды критика:

«Что *личность* въ отношеніи къ *идеѣ* человѣка, то *народность* въ отношеніи къ идеѣ человѣчества. Другими словами: народности суть личности человѣчества. Безъ національностей человѣчество было бы мертвымъ логическимъ абстрактомъ, словомъ безъ содержанія, звукомъ безъ значенія» [300]).

Бѣлинскій успокоивалъ славянофиловъ на счетъ заимствованій русскихъ у Запада. Всѣ европейскіе народы «нещадно заимствуютъ другъ отъ друга» и не боятся утратить своихъ національностей. Этотъ страхъ возможенъ только у народовъ нравственно-безсильныхъ и ничтожныхъ. Критикъ, заодно съ славянофилами, далекъ отъ подобнаго представленія о русскомъ народѣ.

Вотъ и всѣ главнѣшія изъявленія сочувствія противникамъ. Они, конечно, ни къ чему не обязывали критика и ни на минуту не связывали его свободы. Случай доказать ее скоро представился.

Въ *Москвитянинѣ*, по поводу преобразованія *Современника* появилась статья: *О мнѣніяхъ Современника, историческихъ и литературныхъ*. Подписанная буквами М. З. К., она принадлежала Юрію Самарину; объ этомъ печатно объявилъ самъ Погодинъ.

Авторъ прежде всего обнаружилъ гораздо больше проницательности и здраваго смысла, чѣмъ нѣкоторые современные и позднѣйшіе обличители Бѣлинскаго въ славянофильствѣ. Самаринъ крайне недоволенъ статьями *Современника* и въ томъ числѣ статьей Бѣлинскаго. Его нисколько не успокоила любезность критика; напротивъ болѣе чѣмъ когда-либо раздражили именно любезныя опроверженія славянофильскаго правовѣрія и онъ кстати напалъ и на статьи Кавелина и Никитенко.

Бѣлинскій загорѣлся гнѣвомъ, какъ въ былое время знамени

---

[300]) *Ib.*, стр. 37.

той сатиры *Педантъ*. Она явилась отвѣтомъ на брань Шевырева, поразила громомъ жертву сатиры и взбудоражила весь университетскій муравейникъ, оскорбила славянофильскую церковь и вызвала у многихъ добровольцевъ разнообразные проекты рѣшительной раздѣлки съ петербургскими «безбожниками, алтынниками, подлецами, канальями». Подобныя рѣчи велъ даже смиренный и культурный Кирѣевскій [301]).

Несомнѣнно, и теперь пришлось бы плохо врагу. Цензура поспѣшила на помощь по всѣмъ пунктамъ: статью Бѣлинскаго «исказила варварски», въ отвѣтѣ Кавелина «кое что смягчила», но въ возраженіяхъ критика все-таки остались слѣды его воодушевленія.

Отвѣтъ Москвитянину начинаетъ рядъ предсмертныхъ статей Бѣлинскаго, ни единой чертой не свидѣтельствующихъ о нравственной или физической усталости. Онѣ — разительное противорѣчіе извѣстнымъ намъ страхамъ Краевскаго, будто критикъ окончательно погрязъ въ чисто эстетической критикѣ и утратилъ способность отзываться на новые запросы русскаго общества.

Въ дѣйствительности, послѣдняя полемика Бѣлинскаго съ славянофилами должна быть признана достойнымъ завѣщаніемъ великаго бойца. Онъ будто спѣшилъ подвести итогъ своимъ художественнымъ и общественнымъ принципамъ и не оставить у своей публики ни единаго повода къ недоразумѣніямъ. Ясность и сила общихъ положеній много выиграла именно потому, что идеи развились путемъ полемики, устанавливались не какъ безстрастныя теоретическія истины, а какъ орудія настоящей и будущей борьбы съ противниками художественнаго и культурнаго прогресса русскаго духа.

Что касается собственно полемики, Самарина нельзя и сравнивать съ Бѣлинскимъ, ни по таланту, ни по опытности, ни по рыцарскому страстному самоотверженію во имя защищаемыхъ идей.

Славянофилъ писалъ свою статью съ величайшимъ комфортомъ и всеблаженнымъ покоемъ души. Трудился онъ надъ ней около полугода, такъ какъ въ *сентябрѣ* онъ возражалъ на *январьскую* статью «Современника». И это была его вторая статья за цѣлыхъ два года! Болѣе «прохладное» писательство трудно и представить. И Бѣлинскій имѣлъ всѣ права съ высоты своей неутомимой, могущественно-вліятельной боевой дѣятельности набросать

---

301) Ср. письмо Боткина къ Краевскому. *Отчетъ*, стр. 43—4.

слѣдующую безсмертную картину эпикурейски-барственнаго литераторства и всѣми нравственными силами, всѣми нервами одушевленной апостольской работы плебея. Бѣлинскій отказывается защищать свою личность отъ вылазокъ такихъ критиковъ, какъ М. З. К.—не къ чему:

«Публика и сама съумѣетъ увидѣть разницу между человѣкомъ, у котораго литературная дѣятельность была призваніемъ, страстью, который никогда не отдѣлялъ своего убѣжденія отъ своихъ интересовъ, который, руководствуясь врожденнымъ инстинктомъ истины, имѣлъ больше вліянія на общественное мнѣніе, чѣмъ многіе изъ его дѣйствительно ученыхъ противниковъ, и между какимъ-нибудь баричемъ, который изучалъ народъ черезъ своего камердинера, и думаетъ, что любитъ его больше другихъ, потому что сочинилъ или принялъ на вѣру готовую о немъ мистическую теорію, который между служебными и свѣтскими обязанностями, занимается также и литературою, въ качествѣ дилеттанта, и изъ году въ годъ высиживаетъ по статейкѣ, имѣя вдоволь времени показаться въ ней умнымъ, ученымъ и, пожалуй, талантливымъ» [302]).

Въ этихъ словахъ заключается нѣчто большее, чѣмъ полемическій отвѣтъ на единичный фактъ. Предъ нами историческая характеристика двухъ типовъ писателей— аристократа и демократа. Каждый изъ нихъ точный выразитель извѣстнаго общественнаго направленія и извѣстной эпохи общественнаго развитія. Аристократъ-идеологъ, тонкій цѣнитель художества, изящный любитель литературы съ ея показной, усладительной стороны, самъ литераторъ—съ чувствами полуснисходительнаго, полуувлеченнаго покровителя «словесности»: все это типичный образъ помѣщика-литератора, просвѣщеннаго владѣльца крѣпостныхъ душъ, прямаго потомка екатерининскаго энциклопедиста, упразднившаго конюшню по вѣяніямъ времени, но донесшаго во всей неприкосновенности эпикурейскія наклонности и барственные полеты вплоть до сѣрыхъ страницъ *Москвитянина*.

Этотъ типъ цѣликомъ принадлежалъ прошлому, но, заканчивая свое земное странствіе и невольно чувствуя свою пѣсню спѣтой, онъ съ тѣмъ бо̀льшимъ азартомъ набрасывался на новыя творческія силы жизни и мнилъ остановить ихъ важностью и самоувѣренностью своихъ традиціонныхъ манеръ.

На встрѣчу ему шелъ герой совершенно другого нравствен-

---

[302]) Сочиненія. XI, 257. Ср. Письмо къ Кавелину. *Р. М.* 1892, I, 120—123.

наго склада, герой-плебей по происхожденію, по прямолинейной запальчивости чувства, по чисто-народной непосредственности и искренности взгляда на свое дѣло, по непримиримой враждѣ ко всякой маниловщинѣ, безцѣльному краснобайству, къ комфортабельной мягкости натуры—въ нравственныхъ и общественныхъ вопросахъ.

Въ рукахъ подобнаго дѣятеля-писателя литература немедленно становилась одновременно и ремесломъ, и призваніемъ, т. е. трудомъ жизни и пищей души. Здѣсь не могло быть мѣста пріятельскимъ счетамъ, джентльменскимъ экивокамъ, салонному переливанью изъ пустого въ порожнее, такъ называемымъ дипломатическимъ пріемамъ воспитанности и свѣтскости. Предметы, по возможности, будутъ называться своими именами, каждая мысль будетъ соотвѣтствовать дѣйствительному взгляду автора и будетъ высказана не для красоты стиля и не для личной утѣхи автора и его друзей, а ради настоятельныхъ требованій самой дѣйствительности. Искренность личностей и жизненность убѣжденій — таковы основныя черты новой демократической публицистики.

И родоначальникъ ея Бѣлинскій. У него были предшественники и онъ умѣлъ оцѣнить самаго сильнаго изъ нихъ, Полевого, но *Московскій Телеграфъ* не могъ искоренить барскихъ теченій русской журнальной литературы и погибъ въ этой борьбѣ. Не могла и дѣятельность Бѣлинскаго окончательно упразднить литераторовъ, благодѣтельствующихъ русскій народъ съ балкона своей усадьбы. Но послѣ Бѣлинскаго стало немыслимо положительное отношеніе къ журналистикѣ, лишенной живого общественнаго темперамента, выѣзжающей на педантической учености и прекраснодушномъ велерѣчіи. Журналистика получила значеніе *службы* народу и его благу—въ полномъ смыслѣ слова, писательство навсегда достигло, по крайней мѣрѣ, въ лицѣ достойнѣйшихъ и популярнѣйшихъ своихъ дѣятелей, той высоты, о какой мечталъ Гоголь: нравственнаго обязательства и гражданскаго долга предъ отечествомъ.

Бѣлинскій во всемъ блескѣ представлялъ этотъ типъ писателя и явился предшественникомъ оживленнѣйшаго періода русской публицистики шестидесятыхъ годовъ,—публицистики, какъ увидимъ, во многомъ грѣшившей и нерѣдко работавшей даже во вредъ себѣ, но глубоко проникнутой практическими задачами современнаго общества и могучимъ духомъ всеобщаго просвѣщенія и гражданскаго развитія. И эта публицистика не замедлила увѣнчать

роскошнѣйшими вѣнками своего первоучителя: имя Бѣлинскаго не переставало занимать почетнѣйшаго мѣста на тѣхъ страницахъ литературы шестидесятыхъ годовъ, какимъ суждено было перейти въ потомство.

Всѣ эти факты окончательно выяснились именно въ послѣдней борьбѣ Бѣлинскаго съ славянофильствомъ. Она горячо захватила писателя и какъ критика и какъ публициста. Она заставила его заключить эстетическія идеи и общественные принципы въ рѣзкія и ясныя формулы. Произнесена заключительная рѣчь въ защиту натуральной школы, дано геніальное опредѣленіе художественному таланту, его свободѣ и направленію, разъяснена пропасть, отдѣляющая французскую словесность отъ гоголевской школы, оправдана та же школа отъ обвиненій въ клеветѣ на русскую дѣйствительность, блистательно доказана вздорность идеи о такъ называемомъ чистомъ искусствѣ, нигдѣ никогда не существовавшемъ, установлено нравственное значеніе литературы, посвященной изображенію народнаго быта и народной психологіи, разъ навсегда признана необходимость творчества и поэзіи въ произведеніяхъ искусства и въ то же время указано на естественность слiянія художественной даровитости съ ненамѣреннымъ воодушевленіемъ ради опредѣленныхъ принциповъ, ради «страстнаго убѣжденія»—и именно такого рода таланты признаны «полезными обществу»... Однимъ словомъ, развита вся эстетика великаго критика, уже извѣстная намъ.

Но одновременно и попутно высказаны еще и другіе завѣты русскимъ писателямъ,—завѣты, сдѣлавшіе особенно дорогимъ дѣло Бѣлинскаго вскорѣ возставшему поколѣнію страстныхъ работниковъ во имя народной свободы.

L.

Бѣлинскій писалъ послѣднія статьи во власти непреодолимаго смертельнаго недуга. Во время работы его томитъ лихорадочный жаръ, онъ бросаетъ перо, задыхаясь въ полномъ безсиліи, въ страстныя минуты столь обычнаго для него увлеченія своей или чужой идеей, ему не хватаетъ воздуха и онъ боится покончить свои дни одной минутой стремительнаго восторга или гнѣва. Онъ слѣдитъ за собой и усиліями воли заставляетъ молчать свое сердце, старается перемочь свою неистовую природу. Очевидецъ рисуетъ единственную въ своемъ родѣ картину этой мученической борьбы человѣческаго духа съ самимъ собой.

«Страстная его натура, какъ бы ни была уже надорвана мучительнымъ недугомъ, еще далеко не походила на потухшій вулканъ. Огонь все тлился у Бѣлинскаго подъ корой наружнаго спокойствія и пробѣгалъ иногда по всему организму его. Правда, Бѣлинскій начиналъ уже бояться самого себя, бояться тѣхъ еще не порабощенныхъ силъ, которыя въ немъ жили, и могли при случаѣ, вырвавшись наружу, уничтожить за-разъ всѣ плоды прилежнаго лѣченія. Онъ принималъ мѣры противъ своей впечатлительности. Сколько разъ случалось мнѣ видѣть, какъ Бѣлинскій, молча и съ болѣзненнымъ выраженіемъ на лицѣ, опрокидывался на спинку дивана или кресла, когда полученное имъ ощущеніе сильно въѣдалось въ его душу, а онъ считалъ нужнымъ оторваться или освободиться отъ него. Минуты эти походили на особый видъ душевнаго страданія, присоединеннаго къ физическому, и не скоро проходили: мучительное выраженіе довольно долго не покидало его лица послѣ нихъ. Можно было ожидать, что, не смотря на всѣ предосторожности, наступитъ такое мгновеніе, когда онъ не справится съ собой» [303]).

Такое мгновеніе наступило, когда Бѣлинскій получилъ письмо Гоголя съ упрекомъ за его неблагопріятный отзывъ о *Перепискѣ*. Оно длилось три дня, писался отвѣтъ и возникала всеисчерпывающая программа русской публицистики грядущихъ поколѣній.

Письмо къ Гоголю только болѣе обширная исповѣдь Бѣлинскаго и только отрывокъ изъ его духовной жизни, не прекращавшейся до послѣдней минуты. Бѣлинскій искалъ теперь здоровья дома и заграницей, но для этого слѣдовало и заняться исключительно своимъ здоровьемъ, своей особой. Вмѣсто самосозерцанія, онъ не перестаетъ заботиться о спасеніи другихъ, съ одинаковымъ вниманіемъ слѣдитъ за движеніемъ мысли и жизни въ Европѣ и въ Россіи, при всей осторожности, дышитъ и горитъ только «общимъ» и менѣе всего «личнымъ».

Каждая прочитанная имъ статья и книга непремѣнно вызываетъ у него рядъ горячихъ отзывовъ. Отъ его взора не ускользаетъ ни одно явленіе въ области европейскихъ идей. Ему извѣстна вновь возникшая школа въ философіи, позитивизмъ Конта, онъ прилежно вдумывается въ новыя соціальныя ученія, понимаетъ важность новыхъ экономическихъ школъ. Еще три года тому назадъ онъ познакомился съ идеями Маркса изъ журнала *Deutsch-*

---

[303]) Анненковъ. *Воспоминанія*. III, 194—5.

französiche Jahrbücher, страстно ими увлекся, хотя не всѣми:— усвоилъ преимущественно оппозиціонную, протестующую стихію новой доктрины. Теперь его со всѣхъ сторонъ окружаетъ интересъ общества и народныхъ европейскихъ массъ къ экономическимъ и соціальнымъ открытіямъ и онъ, мы видѣли, не упустилъ случая сопоставить общественныя задачи художественнаго творчества съ работой экономиста.

Идеи позитивной философіи, близко примыкавшія къ новому соціальному движенію, должны были еще глубже заинтересовать Бѣлинскаго. Умъ его, давно освободившійся отъ нѣмецкой метафизики, весь сосредоточенный на правдѣ жизни, восторженно привѣтствовалъ проповѣдь научнаго изслѣдованія этой правды и послѣдовательнаго воспроизведенія идей развивающагося разума въ дѣйствительности.

И здѣсь, какъ и въ области политической экономіи, выступила на сцену художественная литература и потребовала своей доли въ движеніи точнаго знанія. За нѣсколько лѣтъ до ближайшаго знакомства съ идеями Конта и Литтре, Бѣлинскій доказываетъ вліяніе положительныхъ наукъ на поэзію и находитъ необходимымъ ввести въ исторію литературы исторію науки, даже такой, какъ астрономія: ея открытія не могли не повліять на воображеніе поэтовъ [304]).

Вообще Бѣлинскій, по самой сущности своей нравственной природы, долженъ былъ высоко цѣнить всякій успѣхъ строгонаучной мысли, *сознательности*. Еще въ самомъ началѣ петербургской дѣятельности критикъ обнаруживалъ мало почтенія къ стихійному, безотчетному идеализму. По его мнѣнію, лежитъ громадное разстояніе отъ инстинкта хотя бы даже благородныхъ наклонностей до свободнаго сознанія, до чувства, просвѣтленнаго мыслью [305]).

И онъ, конечно, «безъ ума отъ Литтре» за его статью о физіологіи. Въ естественныхъ наукахъ онъ видитъ могучее оружіе противъ безпочвенныхъ полетовъ отвлеченной мысли и фантазіи, противъ нравственныхъ и общественныхъ суевѣрій. Онъ радъ *Письмамъ Герцена объ изученіи природы*, но недоволенъ ихъ «отвлеченнымъ, почти тарабарскимъ языкомъ». Герценъ возражалъ, будто на русскомъ языкѣ иначе и нельзя выражать «умъ и дѣльный взглядъ» [306]).

---

[304]) *Сочиненія.* IX, 393—4. 1844 годъ. «Онъ мечталъ о воспитаніи дочери на естествознаніи и точныхъ наукахъ». Анненковъ. III, 221.

[305]) *Ib.*, IV, 260. 1840 годъ.

[306]) Анненковъ. *Воспоминанія.* III, 133, 135.

Но Бѣлинскій правъ. Стиль Герцена, не всегда отличавшійся чистотой и правильностью и нерѣдко напоминавшій скорѣе переводъ съ иностраннаго, чѣмъ оригинальное произведеніе, въ *Письмахъ* дѣйствительно не свободенъ отъ излишней темноты и запутанности. Мы встрѣтимся впослѣдствіи съ идеями *Писемъ*: онѣ намъ понадобятся при разборѣ философскихъ основъ публицистики шестидесятыхъ годовъ. Мы увидимъ, какой незначительный слѣдъ оставили эти письма въ сознаніи русской молодежи, и, несомнѣнно, на ихъ форму падаетъ главная вина.

Самъ Бѣлинскій съ обычной страстностью чувства и прозрачностью мысли защищалъ естествознаніе. Онъ убѣждалъ своихъ читателей благоговѣть не только предъ умомъ, но и предъ массой мозга, гдѣ происходятъ умственныя отправленія, объяснялъ, что «психологія, не опирающаяся на физіологію такъ же несостоятельна, какъ и физіологія, не знающая о существованіи анатоміи» [307].)

Знакомясь съ ученіемъ Конта и Литтре, Бѣлинскій съумѣлъ оцѣнить научную силу ученика и будто предсказать поворотъ въ идеяхъ учителя. Онъ не восхищается Контомъ, не находитъ въ немъ генія и не думаетъ, чтобы онъ явился основателемъ новой философіи. Правда, Бѣлинскій узнаетъ о Контѣ по журнальнымъ статьямъ. Но онъ отлично умѣетъ отдѣлять мнѣнія излагателей отъ принциповъ философа. Онъ, напримѣръ, принялся за статью въ *Revue des deux Mondes* и съ первыхъ же строкъ понялъ филистерское отношеніе журнала къ новому научному движенію [308]).

Такая отзывчивость на европейскую идейную современность— въ отечественной атмосферѣ должна была доходить до мучительныхъ ощущеній неправды и томительной жажды свѣта и свободы. Крѣпостное право—громадный чудовищный призракъ, не дававшій покоя уму и сердцу Бѣлинскаго еще со временъ первой молодости. Борьбѣ съ нимъ онъ готовъ принести какія угодно жертвы, отвергнуть глубочайшія сочувствія и влеченія своей художественной натуры, забыть свой идеалъ свободнаго поэта-творца, отбросить въ сторону несказанныя красоты вдохновеннаго искусства, если только поэтъ лишенъ представленія о судьбѣ угнетеннаго и без-

---

[307]) *Сочиненія*. XI, 34.

[308]) Статья Saisset. *Revue*, 1846 г., томъ XV. Бѣлинскій не сразу прочиталъ статью, сначала «запнулся на гнусномъ взглядѣ этого журнала съ первыхъ же строкъ статьи». Этотъ отзывъ касается, несомнѣнно, сужденія Saisset о Контѣ и Литтре, какъ продолжателяхъ матеріализма XVIII вѣка стр. 187. Письмо къ Боткину, Пыпинъ, II, 270—1.

помощнаго человѣчества, если красота не одухотворена скорбью за страдающихъ братьевъ.

Впослѣдствіи Бѣлинскаго будутъ укорять за поощреніе, даже за созданіе тенденціозной обличительной не художественной литературы. Наслѣдники, не доросшіе до наслѣдія своего предшественника, увидятъ въ Бѣлинскомъ даже исключительно лишь проповѣдника тенденціозности и погубителя поэзіи и творчества. Они не поймутъ простого факта, сопровождающаго читателя по всѣмъ статьямъ Бѣлинскаго: его глубоко-поэтическаго чувства, его прирожденнаго художественнаго генія, его восторженнаго культа вдохновенія и искусства, и, слѣдовательно, безусловной невозможности гоненій на поэзію.

Они особенно охотно будутъ ссылаться даже не на статьи критика, а на его письма къ Боткину. Мы должны привести этотъ документъ: на немъ будетъ основана цѣлая долголѣтняя война съ Бѣлинскимъ.

«Для меня,—пишетъ онъ,—иностранная повѣсть должна быть слишкомъ хороша, чтобы я могъ читать ее безъ нѣкотораго усилія, особенно вначалѣ; и трудно вообразить такую гнусную русскую, которой бы я не могъ осилить... А будь повѣсть русская хоть сколько-нибудь хороша, главное, сколько-нибудь *дѣльна*—я не читаю, а пожираю... Ты—сибаритъ, сластёна... тебѣ, вишь, давай поэзіи да художества, тогда ты будешь смаковать и чмокать губами. А мнѣ поэзіи и художественности нужно не больше, какъ настолько, чтобы повѣсть была истинна, т. е. не впадала въ аллегорію, или не отзывалась диссертаціею... Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатлѣніе. Если она достигаетъ этой цѣли и вовсе безъ поэзіи и творчества, она для меня *тѣмъ не менѣе* интересна... Разумѣется, если повѣсть возбуждаетъ вопросы и производитъ нравственное впечатлѣніе на общество, при высокой художественности, тѣмъ она для меня лучше; но главное-то у меня все-таки въ дѣлѣ, а не въ щегольствѣ. Будь повѣсть хоть разхудожественна, да если въ ней нѣтъ дѣла, то я къ ней совершенно равнодушенъ... Я знаю, что сижу въ односторонности, но не хочу выходить изъ нея, и жалѣю и болѣю о тѣхъ, кто не сидитъ въ ней [309]).

Нельзя не видѣть, что Бѣлинскій невольно и рѣзко подчеркнулъ свою мысль: письмо свидѣтельствуетъ о чрезвычайно напряжен-

[309]) Пыпинъ, II, 312–3.

юмъ отношеніи къ современной русской литературѣ. Это отнюдь е новое настроеніе. Въ извѣстномъ намъ сопоставленіи искусства ъ беллетристикой Бѣлинскій указывалъ на одну въ высшей стеени важную заслугу беллетристики: эта заслуга равняетъ ее ъ настоящимъ вдохновеннымъ искусствомъ. Беллетристика можетъ казывать на живыя потребности общества. Тогда «она имѣетъ вои минуты откровенія», «не даетъ искусству изолироваться отъ изни, отъ общества и принять характеръ педантическій и аскеическій» [310]).

Эта идея съ теченіемъ времени становилась настойчивѣе и астнѣе. Вопросъ о крѣпостномъ рабствѣ сообщилъ ей всепоглоающій жизненный интересъ. Бѣлинскій жилъ и дышалъ надеждой а освобожденіе народа. Она сопровождала критика всюду, вмѣшивалась во всѣ его наблюденія, врывалась во всѣ его впечатлѣнія— нижныя и житейскія. Онъ проникся убѣжденіемъ, что всѣ силы овременнаго русскаго человѣка должны быть направлены на страшнаго вѣкового врага, что предъ этой задачей блѣднѣютъ сѣ другія потребности человѣческаго чувства и ума—въ красотѣ, ь свободномъ творчествѣ, можетъ быть, у нѣкоторыхъ счастливевъ—въ отшельнической внѣжизненной учености. Что значитъ аслажденіе знатока предъ идеально-прекраснымъ созданіемъ поэзіи, огда милліоны людей лишены права носить человѣческій образъ пользоваться первѣйшими благами человѣческаго существованія? стественно, писатель, призывающій совѣсть общества предъ ицо вопіющей неправды, по человѣчеству выше, нравственнѣе и, лѣдовательно, полезнѣе, чѣмъ производитель чисто-художественыхъ неземныхъ перловъ. И на Бѣлинскаго такіе перлы не могли роизвести цѣльнаго захватывающаго впечатлѣнія.

Это доказало одно изъ геніальнѣйшихъ созданій живописи— икстинская Мадонна.

Бѣлинскій совершенно измѣнилъ установившемуся всесвѣтному бычаю—приходить въ восторгъ предъ рафаелевскимъ произвеніемъ. Онъ, напротивъ, испыталъ чувство, близкое къ ужасу. нъ увидѣлъ на лицѣ Мадонны полное равнодушіе къ далекому зинному міру, отсутствіе благости и милости, и только одно сознаніе своего высокаго сана и своего личнаго достоинства [311]).

---

[310]) *Сочиненія*. IX, 394.

[311]) *Ib*. XI, 360. Ср. Анненковъ. *О. с.*, стр. 216. Письмо къ Боткину у Пыпина. II, 297.

Онъ не могъ этотъ недоступный аристократизмъ и чувство самоудовлетворенія слить съ представленіемъ о божественномъ идеалѣ. Онъ отдавалъ должное «благородству и граціи кисти», но сердцу его не доставало человѣчности, и онъ съ глубокимъ огорченіемъ смотрѣлъ на Младенца—«не будущаго Бога любви, мира, прощенія, спасенія, а древняго, ветхозавѣтнаго Бога гнѣва и ярости, наказанія и кары».

Трудно краснорѣчивѣе и точнѣе изобразить нравственный міръ нашего критика. Только что вступивъ на дорогу писателя, онъ поспѣшилъ откровенно и опредѣленно заявить о цѣляхъ и смыслѣ своей дѣятельности: «наша критика должна быть гувернеромъ общества и на простомъ языкѣ говорить высокія истины» [312]. И программа выполнялась до конца. Бѣлинскій занялъ мѣсто учителя и своей энергіей, высотой своего ученія затмилъ и постыдилъ призванныхъ руководителей и наставниковъ современныхъ поколѣній. Гоголь далъ поразительно яркую характеристику именно этихъ наставниковъ и отрицательными чертами ихъ во всей полнотѣ воспроизвелъ противоположный имъ ббразъ того, кто слылъ между ними за «рыцаря безъ имени», «бобыля литературнаго», за невѣжду и недоучку.

Гоголь такъ изображалъ этихъ рыцарей съ именами:

«У насъ старье изъ литераторовъ мастера только приводить въ уныніе молодыхъ людей, а подстрекнуть на трудъ и дѣльную работу нѣтъ ума. Какъ до сихъ поръ такъ мало заботятся объ узнаніи природы человѣка, тогда какъ это есть главное начало всему! Профессора у насъ заняты своимъ собственнымъ краснобайствомъ, а чтобы образовать человѣка, объ этомъ вовсе не помышляютъ. Они не знаютъ, кому они говорятъ, а потому не мудрено, что не дошли до сихъ поръ до языка, которымъ слѣдуетъ бесѣдовать и говорить съ рускимъ человѣкомъ. Не умѣя ни научить, ни наставить, они умѣютъ только, разсердившись, выбранить кого-нибудь и потомъ сами жалуются на то, что не принимаются слова, что у молодыхъ не соотвѣтствующее потребностямъ направленіе, позабывъ, что если скверенъ проходъ, то въ этомъ тотъ виноватъ, а не кто другой» [313].

Эта характеристика не отжила своихъ дней до сихъ поръ. Тотъ же Гоголь краснорѣчиво выразилъ основной фактъ русской

---

[312]) *Сочиненія*. II, 78. 1836 годъ.

[313]) Письмо къ Языкову.

бщественной психологіи: жажда человѣка, умѣющаго сильно и искренне сказать молодому поколѣнію слово *впередъ*!.. Бѣлинскій вошелъ на встрѣчу этой жаждѣ и страстнымъ, религіозно-убѣжденнымъ голосомъ звалъ своихъ соотечественниковъ на путь человѣческаго достоинства и свободы. Отъ его вниманія не ускользалъ малѣйшій проблескъ молодого дарованія и онъ готовъ былъ скорѣе переоцѣнить талантъ, чѣмъ не отдать ему должнаго. Онъ полагалъ свое личное счастье въ каждомъ успѣхѣ русской литературы и мысли. Намъ передаютъ множество случаевъ, когда Бѣлинскій торжествовалъ, будто на семейномъ праздникѣ, открывая новую надежду отечественнаго искусства. До конца дней онъ не перестаетъ самоотверженно выполнять свой долгъ судьи-руководителя и предъ самой смертью успѣваетъ сказать напутственное слово Герцену, Гончарову, Некрасову, Тургеневу.

Да, этотъ человѣкъ умѣлъ подстрекнуть на трудъ и дѣльную работу и слѣдить за чужой работой, какъ за драгоцѣннѣйшимъ достояніемъ своихъ задушевныхъ желаній и упованій. И мы знаемъ, какимъ ударомъ явилось гоголевское проповѣдничество для критика, сосредоточившаго на великомъ сатирикѣ весь энтузіазмъ своего пламеннаго художественнаго чувства, всю силу своей просвѣтительной мысли.

«Я никогда не могу такъ оскорбить его, какъ онъ оскорбилъ меня въ душѣ моей и моей вѣрѣ въ него», говорилъ Бѣлинскій, посылая свое письмо къ Гоголю [314]). *Вѣра въ человѣка*, вѣра ради его генія, ради великихъ общечеловѣческихъ благъ, какія онъ принесетъ родинѣ, вѣра, вдохновляющая восторженную любовь и мучительно-безпокойное участіе въ судьбѣ избранника: это поистинѣ высокая ступень писательскаго подвига и одна изъ идеальнѣйшихъ чертъ человѣческаго духа.

Умѣлъ Бѣлинскій и говорить съ русскимъ человѣкомъ и сознательно вести его по извѣстнымъ путямъ и къ опредѣленнымъ цѣлямъ. Онъ—самъ убѣжденный и стремительный—счелъ бы кровнымъ самоуниженіемъ успокаиваться на жалобахъ о своемъ безсиліи направить «молодыхъ» и длить безплодный, мертворожденный трудъ ради личнаго удовлетворенія и мелкихъ житейскихъ расчетовъ. Въ глазахъ критика было бы преступленіемъ и нравственнымъ уродствомъ скрывать свое тунеядство и умственное омертвѣніе за казовымъ оффиціальнымъ положеніемъ, свое граж-

---

[314]) Анненковъ. *О. с.*, стр. 213.

данское скопчество и идейный аскетизмъ драпировать въ пышные мишурные уборы, именуемые «чистой, свободной наукой», «достоинствомъ ученаго», «спокойствіемъ мудреца». Онъ зналъ, сколько слабыхъ и неумѣлыхъ рукъ изъ тьмы тянутся къ свѣту и не допустилъ бы и мысли, чтобы можно было съ какой угодно высоты учености и мудрости побрезговать протянуть руку на встрѣчу слѣпымъ и жаждущимъ. Для него эта отзывчивость являлась условіемъ жизни, основой нравственнаго самоудовлетворенія, смысломъ истинно-справедливаго подвижничества, какое ему досталось на долю подъ именемъ жизни.

Именно эти духовныя стихіи природы Бѣлинскаго останутся незабвенными въ исторіи русскаго общества. Его завоеванія въ литературной критикѣ, его художественное и нравственное міросозерцаніе могутъ, наконецъ, стать общимъ достояніемъ и его идеи войдутъ въ неприкосновенный капиталъ русской гражданственности. Это совершается медленно, не совершилось до послѣднихъ дней и мы безпрестанно будемъ встрѣчаться съ подавляющей властью мысли Бѣлинскаго даже надъ тѣми, кто будетъ одаренъ оригинальнымъ, сильнымъ талантомъ или будетъ завѣдомо усиливаться сбросить съ себя ненавистную ему силу. Намъ представятся еще болѣе краснорѣчивыя свидѣтельства о богатствѣ и цѣнности наслѣдства, завѣщаннаго Бѣлинскимъ. Его ближайшіе преемники и искренніе ученики окажутся не въ силахъ усвоить *всѣхъ* завѣтовъ своего учителя, охватить даже его художественные взгляды во всей ихъ полнотѣ, и направленія критики послѣ Бѣлинскаго будутъ исчерпываться въ сущности борьбой двухъ крайнихъ воззрѣній, извлеченныхъ, точнѣе оторванныхъ отъ его цѣльнаго, всесторонняго ученія. Задачей отдаленнаго будущаго останется возстановить гармонію враждующихъ идей и направить ихъ развитіе по пути, указанному Бѣлинскимъ.

Рано или поздно задача будетъ выполнена и литература, создавшая Бѣлинскаго, создастъ и достойныхъ его продолжателей. Они, можетъ быть, превзойдутъ его послѣдовательностью мысли: вѣдь дѣвственныя дороги и запутаннѣйшія извилины выпадаютъ на долю первыхъ путниковъ; они оставятъ послѣ себя болѣе стройныя и строже обоснованныя системы: вѣдь черная работа борьбы за самыя основы разумныхъ системъ падаетъ на плечи все тѣхъ же тружениковъ ранняго часа; они, наконецъ, будутъ вооружены настолько внушительнымъ научнымъ и философскимъ оружіемъ, что имъ никогда не представится необходимости защищать свое право

говорить о предметахъ науки и философіи и вмѣсто обдуманныхъ возраженій слышать только надменные, но для многихъ вполнѣ убѣдительные возгласы: невѣжда! недоучка! Вѣдь наступитъ же время, когда ученость учителей и талантливость учениковъ не будутъ взаимными врагами, когда порядокъ и интересъ школы, личность, и свободное развитіе школьника не будутъ исключать другъ друга... Все это придетъ, и тогда *дѣятельность* Бѣлинскаго сведется къ *историческимъ* заслугамъ. Имя его поднимется надъ партійными и временными страстями и пребудетъ въ спокойномъ ореолѣ общепризнанной славы.

Но *личность* Бѣлинскаго сохранитъ свой нетускнѣющій блескъ, свою вдохновляющую силу рядомъ съ какими угодно талантами и героями русскаго слова. Никто и никогда не превзойдетъ неистоваго Виссаріона идеализмомъ, мыслительнымъ и дѣятельнымъ, никто не въ силахъ будетъ затмить его подвижничествомъ идеи и знанія,—этой новой формой апостольства и мученичества, столь же необходимыхъ для созиданія человѣческаго благоденствія и просвѣщенія, какъ подвиги и муки первыхъ христіанъ были необходимы для распространенія и прославленія христіанской церкви.

И напрасно въ настоящемъ и будущемъ станутъ ополчаться искренніе или *политическіе* враги противъ Бѣлинскаго, безцѣльна и борьба за честь его памяти и могущество его дѣла: онъ по уму, сердцу и таланту *воплощенный духъ прогресса*, т. е. неотразимой положительной силы, управляющей міромъ. А такихъ людей оправдываютъ и достойнѣйшими вѣнками увѣнчиваютъ не судьи и историки, а судьба и исторія.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

Съ тѣхъ поръ, какъ русская критика выросла за предѣлы чистой эстетики и возвысилась до общественнаго содержанія, одной изъ самыхъ излюбленныхъ задачъ ея стало рѣшеніе вопроса о взаимныхъ отношеніяхъ личности и среды, личной нравственной энергіи и внѣшнихъ вліяній, «натуръ» и «обстоятельствъ». Въ западной критикѣ понятіе «среды» искони занимало важное мѣсто, какъ силы, воздѣйствующей на складъ характеровъ и направленіе талантовъ. Наравнѣ съ «расой» и «эпохой» это—могущественный творческій «моментъ» въ духовномъ развитіи оригинальнѣйшихъ писателей и историку вообще не представляется большихъ затрудненій прослѣдить результаты этого момента въ жизни и идеяхъ данной личности.

Совершенно другое значеніе получилъ вопросъ въ русской публицистикѣ. Онъ превратился въ основной догматъ философіи нашей исторіи, поглотивъ вниманіе первостепенныхъ критиковъ и художниковъ. На русской почвѣ «среда» преобразовалась во всемогущую подавляющую стихію. Она не *вліяетъ* на личность, а безпощадно и непреодолимо *порабощаетъ* ее. Она не присоединяетъ къ духовному міру человѣка своихъ внушеній, не дѣлитъ власти надъ нимъ съ другими равноправными силами,—она захватываетъ его будто желѣзнымъ кольцомъ, создаетъ его по своему образу и подобію, слабыхъ жертвъ въ конецъ обезличиваетъ, сильныхъ ломаетъ и уродуетъ. Она совершенно перевертываетъ весь ходъ мысли психолога и историка, когда ему требуется представить личную или идейную характеристику русскаго дѣятеля. Онъ долженъ сосредоточить все свое вниманіе не на даровитости и умѣ отдѣльнаго человѣка, а на его внѣшнемъ положеніи. Сопутствующія обстоятельства должны стать центромъ, деспотически управляющимъ какой угодно благородной природой и глубокой мыслью.

Этотъ порядокъ можно считать установившимся. Наша общественная философія давно обзавелась своеобразными аксіомами,

исключающими возможность пересмотра и поправокъ рѣшеннаго процесса. Банальное, опостылѣвшее изреченіе «среда заѣла» можетъ вызывать у насъ искренніе протесты, они не помѣшаютъ ему оставаться подлиннымъ, строго доказаннымъ выводомъ нашей публицистической мудрости. Они не отнимутъ у него правъ очень солидной давности и не лишатъ его освященія самыхъ почтенныхъ авторитетовъ.

Очевидно, русская «среда» всегда отличалась особеннымъ эффектомъ мощи и внушительности. Она умѣла заставить призадуматься самоувѣреннѣйшихъ идеологовъ и сосредоточивала на себѣ мучительно-тоскующіе или страстно-гнѣвные взоры отважнѣйшихъ рыцарей идеализма и личной независимости. Она ввела грустную ноту въ пылкое краснорѣчіе нашихъ романтиковъ, вызвала у Марлинскаго своего рода надгробное причитаніе надъ русской литературой, едва прозябающей среди общественнаго тщедушія и мелочности, не одинъ разъ воодушевляла рѣчь *Телеграфа* жалобами и даже негодованіемъ на темноту и заражающую мертвенность такъ называемой просвѣщенной публики, она же, наконецъ, снабдила Бѣлинскаго самыми пламенными мотивами гражданской скорби.

Кому бы, кажется, не спасти до конца величаваго полета идеалистической мысли, не противостать во всеоружіи могучей, самоопредѣляющейся личности покушеніямъ внѣшняго міра на нравственную ясность и свободу, какъ не Бѣлинскому! Кто въ первой молодости умѣлъ изъ роли шиллеровскаго Карла Моора извлечь вполнѣ осмысленныя и жизненныя задачи, кто потомъ нашелъ въ себѣ достаточно воли исповѣдывать философскую вѣру, будто нарочно разсчитанную на полное пренебреженіе къ окружающей дѣйствительности, — отъ такого человѣка слѣдовало бы ожидать стойкой вѣры въ личность и натуру при какихъ бы то ни было «вліяніяхъ» и «обстоятельствахъ».

Вышло другое. Именно Бѣлинскій представилъ яркую картину разложенія и гибели лучшихъ человѣческихъ силъ среди тлетворнаго дыханія общества. Именно онъ постарался подыскать оправданія въ «средѣ» даже для тунеядства и чайльдъ-гарольдства Онѣгина и дать ему универсальную индульгенцію въ виду несчастнаго стеченія обстоятельствъ.

Можно представить, въ какую форму должна облечься та же философія у другихъ русскихъ публицистовъ, не одаренныхъ неистовствомъ Бѣлинскаго. У его молодого современника и соперника

«среда» окончательно заслоняетъ человѣка. Майковъ, въ сороковые русскіе годы, вдохновляется на ту самую идею, какая была подсказана французскимъ философамъ эпохой распаденія стараго общественнаго и политическаго строя Западной Европы. Русская публика узнавала, что всѣми пороками, грѣхами и преступленіями она обязана внѣшнимъ вліяніямъ, что изъ рукъ творца она вышла въ блескѣ ангельской чистоты, и только «среда» опозорила ее нравственной тьмой и неразуміемъ. Фактъ, въ высшей степени краснорѣчивый для русскаго публициста!

Наивность Майкова не нашла подражателей, но сущность принципа не измѣнилась съ перемѣной эпохъ и вѣяній. Шестидесятые годы съ великимъ усердіемъ занимаются старымъ вопросомъ, но не могутъ отдѣлаться отъ стараго рѣшенія. Именно публицистикѣ этого періода понятіе «среды» въ русскомъ смыслѣ обязано своей популярностью. И мы увидимъ, одно изъ философскихъ увлеченій шестидесятниковъ должно было чисто логическимъ путемъ выдвинуть рѣшающую власть внѣшнихъ условій надъ фактами высшаго нравственнаго порядка. Матеріалистическія тенденціи, наложившія яркую печать на міросозерцаніе нѣкоторыхъ руководителей эпохи, не могли благопріятствовать идеѣ свободнаго нравственнаго самоопредѣленія личности вопреки стихійнымъ органическимъ воздѣйствіямъ почвы и атмосферы. Матеріалистическое воззрѣніе по существу—безусловное отрицаніе свободной воли и столь же рѣшительная защита неотразимой закономѣрной необходимости, царствующей одинаково и въ мірѣ явленій, и въ области идей. Чисто личные задатки русскихъ публицистовъ вовлекли ихъ въ рѣзкую непослѣдовательность, сообщая ихъ литературной дѣятельности протестующее и преобразовательное направленіе. Но принципіальная основа такъ называемой естественно-научной философіи менѣе всего уполномочиваетъ своего послѣдователя на личную борьбу съ даннымъ порядкомъ вещей. Онъ существуетъ въ силу непреложныхъ математическихъ законовъ, осуществляющихся по собственной программѣ, независимо отъ нашихъ, настроеній и идеаловъ. Въ одномъ изъ основныхъ учительскихъ разсужденій всей эпохи усиленно доказывалось, что «хотѣніе только субъективное впечатлѣніе», и что всѣ поступки, и дурные, и хорошіе—фатальные результаты предъидущихъ фактовъ [1]). Это доказательство логически

---

[1]) Чернышевскій. *Антропологическій принципъ въ философіи. Современникъ*, 1860, май. *Русская литература*, стр. 7.

отвергало вмѣняемость личности и превращало человѣка въ простой объектъ слѣпыхъ силъ природы. Выводъ блистательно подтверждался при всякомъ случаѣ.

Латинская поговорка «saecula vitia non hominis» признавалась безъ всякихъ ограниченій. «Пороки вѣка» могутъ оправдать какого угодно преступнаго или неразумнаго человѣка. И намъ прямо говорятъ, что она «очень полезна для оправданія личностей». Правда, здѣсь же спѣшатъ прибавить, что она еще полезнѣе и «для исправленія нравовъ общества». Но прибавка противорѣчитъ логикѣ. Исправлять общество—значитъ дѣйствовать на отдѣльныхъ личностей, т. е. уличать, обвинять и наставлять ихъ. Всѣ эти мѣры безцѣльны, разъ личность неповинна въ своихъ дѣйствіяхъ и помышленіяхъ. Даже больше, личность *должна* нести все это какъ вѣчное и неизбывное бремя. Она сама не въ состояніи ничего предпринять противъ собственныхъ невольныхъ, хотя и сознательныхъ кривыхъ поступковъ.

Именно такую истину внушаютъ намъ.

«Какъ развитіемъ всѣхъ хорошихъ своихъ качествъ человѣкъ бываетъ обязанъ обществу, точно такъ и развитіемъ всѣхъ своихъ дурныхъ качествъ. На удѣлъ человѣка достается только наслаждаться или мучиться тѣмъ, что даетъ ему общество» [2]).

На основаніи этого соображенія критикъ шестидесятыхъ годовъ оправдалъ Гоголя въ *Перепискѣ съ друзьями*. Все оказалось на совѣсти общества, и Гоголь ни въ чемъ не виноватъ. Вы спросите, отчего же среди одного и того же общества въ одно и то же время одни переписываются съ друзьями на манеръ автора *Мертвыхъ Душъ*, а другіе жестоко негодуютъ на эту корреспонденцію? Если общество единственная и непреодолимая причина какихъ бы то ни было «качествъ» личности, откуда же получилась такая непримиримая разница между Бѣлинскимъ и Гоголемъ? Неужели два совершенно противоположныхъ нравственныхъ поступка одинаково извинительны — и для личностей не зазорны? Вѣдь это значитъ вообще отказываться отъ права такъ или иначе цѣнить людей и ихъ дѣйствія и обрекать себя на роль невозмутимаго, неограниченно-благоволящаго созерцателя.

Нашъ публицистъ вовсе не рожденъ для подобной роли, но это зависѣло отъ его природы, а не отъ его философіи. Онъ, на-

---

[2]) Чернышевскій. *Сочиненія и письма Н. В. Гоголя. Критическія статьи.* Спб. 1895, стр. 137.

примѣръ, слагаетъ съ Гоголя всякую вину въ наклонности «приноровляться къ людямъ болѣе, нежели слѣдовало бы», т. е. попросту въ молчалинскихъ добродѣтеляхъ предъ лицомъ людей нужныхъ и сильныхъ. «Эта слабость принадлежитъ не отдѣльному человѣку, а всему обществу», соображаетъ критикъ. Тогда за что же превозносить людей другого направленія? Если угодливость и мудрая приспособляемость не составляютъ порока, почему же недовольство и протестъ добродѣтели? Если вы «гибкаго» Гоголя признаете явленіемъ нравственно-чистымъ и нормальнымъ, на какомъ основаніи вы лишите меня права объявить Бѣлинскаго явленіемъ болѣзненнымъ и неестественнымъ?

Къ счастью русской общественной мысли теоретическія увлеченія нашихъ даровитѣйшихъ публицистовъ всегда шли въ разрѣзъ съ ихъ личными жизненными задачами. Бѣлинскій-гегельянецъ не переставалъ быть неистовымъ Виссаріономъ среди безвыходной смуты философическихъ созерцаній. То же самое съ его наслѣдниками. Матеріалисты въ отвлеченныхъ трактатахъ, они преисполнены идеалистическаго жара въ нравственныхъ и общественныхъ вопросахъ. Бѣлинскій, во имя философіи, исповѣдуетъ такую стремительную страсть къ дѣйствительности, что становится страшно за предметъ страсти. Матеріалисты шестидесятыхъ годовъ такъ усердно защищаютъ личность и превозносятъ всемогущество внѣшнихъ обстоятельствъ, что за каждымъ оправдательнымъ приговоромъ непремѣнно ждешь безпощаднаго обвинительнаго акта. Правда, онъ не въ правилахъ логики, но зато въ порядкѣ напряженныхъ и искреннихъ чувствъ. И жертвой оправданнаго Гоголя падетъ то самое общество, какое, на чисто-теоретическій взглядъ, также ни въ чемъ неповинно.

Фактъ—достойный сочувствія, но все-таки мало успокоительный именно въ силу своей нелогичности и своего *патетическаго* начала. Нѣкоторые шестидесятники поймутъ ложность положенія и измѣнятъ общепринятому взгляду. Такъ поступитъ, напримѣръ, Писаревъ.

Онъ начнетъ съ преклоненія предъ роковыми вліяніями среды и кончитъ жестокими издѣвательствами надъ тѣми, кого она «заѣла», кого «изломала жизнь» и «погубили обстоятельства» [3]). Онъ перечислитъ цѣлый рядъ горе-богатырей и комическихъ персонажей, сваливающихъ вину въ своей пошлости

[3]) Писаревъ. *Сочиненія*. Спб. 1894, III, 170; IV, 250.

и въ своемъ комизмѣ на людей и судьбу. Но это не будетъ преобразованіемъ міросозерцанія эпохи, а только личнымъ капризнымъ порывомъ критика.

Писаревъ переживалъ героическій періодъ своей литературной дѣятельности и давалъ неограниченную свободу воинственному азарту. Разрушая эстетику, онъ лишалъ и поэтовъ права на существованіе, уничтожая Онѣгина, онъ кстати предавалъ казни и Пушкина. Естественно, при такомъ настроеніи героя нечего было ждать пощады «достойнымъ согражданамъ» и «филейнымъ частямъ человѣчества». Но писаревскій разгромъ далеко не соотвѣтствовалъ даже основнымъ идеямъ первоучителей и руководителей эпохи. Въ вопросѣ о личности и средѣ они не шли дальше грустнаго и горькаго убѣжденія Добролюбова въ непреодолимой власти обстоятельствъ даже надъ избранными русскими людьми.

«Суровый опытъ говоритъ намъ постоянно, что подъ давленіемъ нашей среды не могутъ устоять самыя благородныя личности» [1]). Это—правило, по мнѣнію Добролюбова, и если бываютъ исключенія, предъ ними остается преклоняться съ чувствомъ удивленія и восторга. Но и исключенія далеко не всегда надежны. Они требуютъ крайней осмотрительности, русскій публицистъ на каждомъ шагу рискуетъ разыграть Донъ-Кихота въ своихъ скоропалительныхъ привѣтствіяхъ какому-нибудь независимому дѣятелю.

Къ такому выводу пришла самая энергическая и смѣлая эпоха нашей публицистики. Позднѣйшему времени трудно было его опровергнуть. Шестидесятые годы надолго остались недосягаемыми образцами юношеской вѣры въ личныя силы и личную нравственную свободу. Потомкамъ приходилось только мечтать о болѣе или менѣе близкомъ уподобленіи своимъ отцамъ на всѣхъ путяхъ, гдѣ ставился вопросъ о самодѣятельности и самоопредѣленіи мыслящей личности. Представленіе о подавляющемъ всемогуществѣ среды и обстоятельствъ они могли усвоить невозбранно и вполнѣ законно именно благодаря тому же суровому опыту. Съ общественной сцены скоро исчезли блестящіе передовые вожди и оставили за собой смутную и смущенную толпу второсортныхъ подражателей и перепѣвщиковъ. Надъ ними сколько угодно могли измываться и люди, и обстоятельства. Единичныя исключенія не въ силахъ были поколебать величественнаго престижа, цѣликомъ перешедшаго на сторону внѣшнихъ вліяній, и когда-то, можетъ быть,

---

[1]) Добролюбовъ. *Сочиненія*. Спб. 1862, I, 234, 283.

дѣйствительно жалкія и возмутительныя фразы «среда заѣла», «обстоятельства погубили», теперь пріобрѣли весь трагизмъ непреложныхъ жизненныхъ истинъ.

И съ теченіемъ времени русская нравственная философія навсегда усвоила открытіе, только ей одной свойственное и безусловно-національное. Оно въ высшей степени гуманно и снисходительно. Оно этими качествами превосходитъ даже извѣстное народное отношеніе къ подлиннымъ преступникамъ. Нашъ народъ именуетъ ихъ «несчастненькими», наше общество, въ свою очередь, создало собственную категорію такихъ же «малыхъ сихъ». Это—всѣ неудавшіеся таланты, непризнанные геніи, неувѣнчанные герои. Въ ихъ сонмѣ можно встрѣтить самыхъ разнородныхъ мучениковъ и жертвъ, громко вопіющихъ о нашемъ состраданіи, нерѣдко о благоговѣйномъ преклоненіи предъ разбитыми мечтами и разрушенными усиліями. Скорбный лишній человѣкъ, яростно-вопіющій или мрачно-безмолвствующій демонъ и просто нравственный бродяга и тунеядецъ,—всѣ одинаково притязаютъ на терновые вѣнки, сплетеные имъ средой и обстоятельствами. И меланхолическій взоръ русскаго публициста плохо различаетъ цвѣта и оттѣнки, лишь только рѣчь заходитъ о страждущей личности, лишь только ему бросится въ глаза малѣйшій намекъ на разладъ между «натурой» и «обстоятельствами». Онъ всякую минуту, ради отпущенія всѣхъ смертныхъ грѣховъ, склоненъ вспомнить извѣстные стихи:

Да! въ нашей грустной сторонѣ,
Скажите, что жъ и дѣлать болѣ,
Какъ не хозяйничать женѣ,
А мужу съ псами ѣздить въ поле?..

И не поднимется рука у русскаго гражданина на своего соотечественника, стóитъ лишь показать ему изъяны тоскующей души и повторить предъ нимъ заученный стонъ надорваннаго сердца! Добрыя намѣренія и возвышенные порывы во всякомъ культурномъ обществѣ могутъ разсчитывать развѣ только на признательность стихотворцевъ и идеальныхъ дѣвъ, разъ за намѣреніями и порывами не слѣдуютъ вполнѣ наглядныя дѣла. У насъ все это положительный капиталъ, и съ нимъ однимъ можно попасть въ храмъ славы и заслужить признательность у очевидцевъ высокой комедіи и даже у потомства. Не слѣдуетъ непремѣнно добиваться судебныхъ процессовъ и жестокихъ приговоровъ надъ талантливыми натурами, заѣденными средой:

и въ своемъ комизмѣ на людей и судьбу. Но необходимо убѣ-
образованіемъ міросозерцанія эпохи, а тольк ъ, ни непризнанныхъ
порывомъ критика. бываетъ и не можетъ

Писаревъ переживалъ героическій ntradictio in adjecto, т. е.
дѣятельности и давалъ неогранич вода, гнусная добродѣтель,
азарту. Разрушая эстетику, онъ ланты, способные задохнуться
ществованіе, уничтожая Онѣг в или размѣняться на демонизмъ
Пушкина. Естественно, при почета, ни сожалѣнія. Они до такой
ждать пощады «достойным ственно-ничтожны, что безпрестанно
человѣчества». Но писа подделываются всевозможными наход-
валъ даже основным русской простодушной гражданской скорби.
Въ вопросѣ о личн евъ, большой художникъ по части удалой
горькаго убѣждег цыганскихъ романсовъ и молодецкихъ посяга-
тельствъ даже твенныя души полевыхъ цвѣтковъ, свободно схо-

«Суровый ливую натуру, заѣденную средой. Такимъ онъ ка-
ніемъ нап себѣ и ужъ, конечно, захолустнымъ галкамъ жен-
ности» Всѣ другіе неудачники жестокаго типа мало чѣмъ
исклю отъ этого героя, развѣ только большей осмыслен-
лені въ геніальность и даромъ загубленныя «силы души».
Ог тѣмъ, давно ли русскіе читатели, во главѣ съ самими
и даже критиками, несли дань изумленія этимъ идоламъ,
читательницы прямо именовали ихъ идеалами!

Эти чувства не отжили своего вѣка до нашихъ дней. Нѣко-
торымъ историческимъ періодамъ нашей общественной мысли они
принадлежатъ по преданію. Многіе дѣятели прошлаго превращены
въ неприкосновенную священную традицію, особенно краснорѣчиво
свидѣтельствующую о сверхъестественномъ могуществѣ нашихъ
отечественныхъ обстоятельствъ.

Такая именно эпоха предстоитъ теперь нашему изученію. Она, не-
сомнѣнно, оказала рѣшительное вліяніе на идеи шестидесятыхъ
годовъ. Она непосредственно познакомила ихъ съ мерзостью за-
пустѣнія, царившей, за незначительными проблесками свѣта и ра-
зума, въ русской литературѣ. И она же представила вполнѣ убѣ-
дительное объясненіе, рядъ дѣйствительно удручающихъ обстоя-
тельствъ.

При одномъ взглядѣ на грозныя внѣшнія вліянія, у впеча-
тлительнаго человѣка могъ замереть духъ, и онъ готовъ былъ все
понять и все простить. Такъ русскіе публицисты и поступили. Мы
слышимъ чрезвычайно мрачные отзывы о «времени» и ни еди-
наго слова о «людяхъ». Предъ нами нескончаемая вереница общихъ

·къ, остроумныя живописныя изображенія сонной ли-
ывающей свой летаргическій сонъ библіографиче-
·патріотическими грезами [5]). Говорятъ намъ кое-что
роисшедшихъ съ дѣятелями: нельзя же опустить
ература—дѣло литераторовъ. Но вся тяжесть
таки на время и среду. Благодаря имъ цар-
мелюзги и дряни упрочилось вполнѣ естественно
основаніяхъ, а все крупное и почтенное принуж-
убиться въ изложеніе грамматикъ, вмѣсто идейныхъ
.й заняться значеніемъ кочерги и исторіей ухвата. Та-
залась воля обстоятельствъ и духъ среды!

ы ближе подойдемъ къ вопросу и посмотримъ, дѣйствительно
и онъ рѣшенъ исторически точно и нравственно справедливо? Рѣшеніе важно не только для вѣрнаго сужденія объ извѣстномъ періодѣ нашей критики: оно, мы видѣли, имѣетъ общій философскій и психологическій смыслъ вообще для исторіи русскаго общественнаго самосознанія. Обратимся сначала къ «обстоятельствамъ», оставившимъ такое глубокое впечатлѣніе въ русской публицистикѣ, и приведемъ ихъ въ естественную духовную связь съ чувствами и стремленіями ихъ жертвъ. Въ результатѣ вопросъ получитъ совершенно фактическое рѣшеніе, чуждое какихъ бы то ни было настроеній—гуманнаго сожалѣнія или гражданскаго негодованія.

II.

Перваго августа 1848 года, т. е. два мѣсяца спустя послѣ смерти Бѣлинскаго Грановскій писалъ одному изъ близкихъ людей въ высшей степени грустное письмо. Рѣчь профессора звучала чувствомъ безнадежности и отчаянія, холоднаго, подавленнаго, но тѣмъ болѣе горькаго и мучительнаго. Грановскій не видитъ никакого просвѣта и утоленія въ будущемъ, единственное спасеніе—забвеніе въ трудѣ. Это—пока, немного позже мы услышимъ нѣчто еще болѣе печальное: уже и трудъ перестанетъ облегчать душу ученаго и онъ примется разгонять тоску, отбиваться отъ «безвыходной бездонной работы» виномъ, картами, ухаживаніемъ за московскими львицами...

Какая страшная исторія душевной немощи! Мысль о смерти—желанная гостья, и она безпрестанно посѣщаетъ Грановскаго, и въ письмѣ отъ 1-го августа онъ пишетъ:

[5]) Добролюбовъ. I, 405.

«Сердце бѣднѣетъ, вѣрованія и надежды уходятъ. Подъ часъ глубоко завидую Бѣлинскому, во время ушедшему отсюда. Скучно жить, Фроловъ! Еслибъ не жена...» [6]).

Достаточно прочесть эти строки, чтобы невольно задать вопросъ: что же случилось въ личной жизни профессора, еще такъ недавно съ такой энергіей вступавшаго въ ратоборство съ славянофилами? Вся западническая партія взирала на него, какъ на одинъ изъ оплотовъ европейскаго просвѣщенія въ Москвѣ и въ Россіи. Талантъ, популярность Грановскаго заставляли ждать отъ него неутомимой и бодрой работы на благодарномъ поприщѣ. И вдругъ полная прострація и сплошной болѣзненный стонъ!..

Загадка разрѣшена давно и, повидимому, безповоротно.

Немедленно по смерти Бѣлинскаго начался «страшный годъ» для русской мысли и литературы. Это—выраженіе Писемскаго, и можно судить, какихъ предѣловъ достигалъ страхъ, если даже авторъ *Взбаломученнаго моря* счелъ возможнымъ дать такой отзывъ. Этого мало. Еще болѣе отвѣтственные и строгіе судьи сочувственно повторяли слова, высказанныя въ литературныхъ кругахъ: «Эпоха цензурнаго террора» [7]). Они относились къ тому же времени, которое для Грановскаго началось тоской о смерти.

Очевидно, надъ литературой повисла небывалая темная туча, если даже послѣ попеченій Бенкендорфа и Уварова надъ литераторами и печатью можно было приходить въ ужасъ и въ лучшихъ случаяхъ впадать въ отчаяніе и безмолвіе.

Никакая катастрофа въ русскомъ обществѣ и въ русскомъ государствѣ не вызывала экстренныхъ мѣръ. Все обстояло вполнѣ спокойно и благополучно, спокойнѣе даже, чѣмъ въ самомъ началѣ царствованія Николая. Цензура была доведена до цѣлесообразныхъ границъ и держала литературу подъ неусыпной и безпощадной опекой. Еще въ началѣ тридцатыхъ годовъ она далеко оставила за собой всѣ преданія русской словесности. Она запрещала перепечатывать книгу Беккаріи, объявляла, слѣдовательно, неблагонамѣренность *Наказа* Екатерины и нарушала Высочайшее повелѣніе 1803 года, вызвавшее напечатаніе книги Беккаріи «на счетъ кабинета Его Императорскаго Величества» [8]). Тогда же было признано безусловно вреднымъ изданіе книгъ для

---

[6]) Грановскій II, 425.

[7]) *Историческія свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи.* Спб. 1862. Печатано по распоряженію министерства народнаго просвѣщенія, стр. 77.

[8]) *Ib.*, стр. 56.

народа; случалось, не могли быть напечатаны сочиненія, награжденныя лично государемъ, помимо общей цензуры всѣ министерства владѣли особымъ правомъ цензурованія статей и книгъ, касавшихся подвѣдомственныхъ имъ вопросовъ. Уже тогда эти мѣры достигли постепеннаго сокращенія числа вновь выходящихъ книгъ, особенно «разительно» по философіи и естествознанію, и въ періодической печати наука и серьезная литература все больше ограничивали свой кругъ въ пользу модныхъ журналовъ и иллюстрацій [9]). Повидимому, дѣло стояло вполнѣ прочно и русская публика не нуждалась больше въ усиленныхъ огражденіяхъ отъ тлетворнаго духа литературы. Такъ именно думали люди, безусловно благонамѣренные и прекрасно исполнявшіе обязанности огражденія. Болѣе компетентныхъ судей нельзя представить, и они еще въ 1834 году разсуждали такъ:

«Власти объявили себя врагами всякаго умственнаго развитія, всякой свободной дѣятельности духа. Не уничтожая ни наукъ, ни ученой администраціи, они, однако, до того затруднили насъ цензурою, частными преслѣдованіями и общимъ направленіемъ къ жизни, чуждой всякаго нравственнаго самосознанія, что мы вдругъ увидѣли себя въ глубинѣ души какъ бы запертыми со всѣхъ сторонъ, отторженными отъ той почвы, гдѣ духовныя силы развиваются и совершенствуются» [10]).

Авторъ этихъ строкъ разсчитывалъ, что эпоха пройдетъ. Онъ боялся только, какъ бы она не затянулась, но сгущенія красокъ онъ, повидимому, не ожидалъ за невозможностью дальнѣйшаго движенія на существующемъ пути.

Судьба насмѣялась одинаково и надъ надеждами, и надъ сѣтованіями. Февральская революція во Франціи оказалась виновницей жесточайшей реакціи въ Россіи. Какую связь имѣли эти явленія, яснаго отчета не отдавали даже современники, весьма близко стоявшіе къ событіямъ. «Въ Европѣ напроказятъ, а русскихъ бьютъ по спинѣ», выразилось одно изъ оффиціальныхъ лицъ, огорченныхъ русскими послѣдствіями французскаго переворота [11]).

---

[9]) *Ib.*, стр. 57, 61, 63 etc. Академикъ Шопенъ свое сочиненіе объ Арменіи, за которое онъ получилъ подарокъ отъ Государя Императора, «не могъ въ теченіи десяти лѣтъ провести сквозь цензурныя фуркулы, отчасти потому, что онъ неблагосклонно отзывался объ армянахъ вообще, отчасти по соображеніямъ политическимъ».

[10]) Никитенко. I, 327.

[11]) Никитенко. I, 519.

Но таинственность фактовъ не мѣшала побоямъ быть чрезвычайно сильными и обильными. Очевидецъ прямо взываетъ: «спасай, кто можетъ, свою душу». И взываетъ втунѣ, потому что именно противъ души и направились всѣ силы, уже давно изощрившія свою зоркость въ этомъ дѣлѣ.

Прежде всего обратились къ цензурному вѣдомству. Всѣ существовавшія цензуры признаны недостаточными, возникаетъ особый *комитетъ второго апрѣля.* Комитетъ начинаетъ дѣйствія подъ предсѣдательствомъ морского министра кн. Меньшикова, но главная сила его въ Дмитріѣ Бутурлинѣ, и учрежденіе скоро получаетъ наименованіе Бутурлинскаго комитета, или совѣта пяти. Остальные члены — М. А. Корфъ, Дегай, Дубельтъ, гр. Строгановъ.

Назначеніе комитета сначала остается ужасающей тайной, потомъ узнаютъ, что онъ имѣетъ въ виду изслѣдовать направленіе русской печати и выработать новыя мѣры для ея обузданія. Паническій страхъ, по словамъ современника, овладѣваетъ обществомъ. Носятся страшные слухи. Говорятъ, будто комитетъ особенно занятъ пристрастнымъ розыскомъ идей коммунизма, соціализма, всякаго либерализма и измышленіемъ примѣрно—жестокихъ наказаній виновному.

Можно было замѣтить перепуганнымъ писателямъ, что вѣдь идеи их прошли въ журналахъ съ вѣдома цензуры. Но замѣчаніе оказывалось неубѣдительнымъ. Еще въ 1834 году редакторамъ объявлено, что одобреніе цензора не избавляетъ ихъ отъ отвѣтственности за напечатаніе «чего-нибудь явно неприличнаго» и всѣмъ памятны были запрещеніе *Московскаго Телеграфа* и вполнѣ основательные слухи о личной карѣ Полевому [12]).

И мы не удивляемся, слыша такое сообщеніе очевидца по поводу возникновенія комитета второго апрѣля:

«Ужасъ овладѣлъ всѣми мыслящими и пишущими. Тайные доносы и шпіонство еще болѣе усложняли дѣло. Стали опасаться за каждый день свой, думая, что онъ можетъ оказаться послѣднимъ въ кругу родныхъ и друзей» [13]).

Первый планъ въ изслѣдованіяхъ комитета должны, конечно, занять *Отечественныя Записки* и *Современникъ*, и Краевскій ежедневно ждетъ посѣщенія жандармовъ и обыска. Выго-

[12]) *Историч. свѣд.*, 55.

[13]) Никитенко, 4, 94.

воры и нагоняи редакторамъ не считаются даже происшествіями. Комитетъ дѣйствуетъ съ поразительной энергіей. Можно подумать, вся внутренняя политика Россіи поглощается борьбой съ печатью и литераторами. Комитетъ посредствующее звено между государемъ и литературой. Онъ дѣлаетъ представленія независимо отъ министровъ и цензуръ и объявляетъ высочайшія резолюціи.

Доклады комитета многочисленны, потому что кругъ его вѣдѣнія безпредѣленъ. По словамъ оффиціальнаго источника, «главнѣйшее его вниманіе обращено на междустрочный смыслъ сочиненій, не столько на «видимую», сколько на предполагаемую цѣль автора». Такимъ изслѣдованіямъ подлежитъ не только текущая литература, но и сочиненія, изданныя раньше. Комитетъ разсматриваетъ губернскія вѣдомости, спеціальныя изданія, даже словари иностранныхъ языковъ. Его дѣлопроизводство громадно. Въ одномъ іюнѣ мѣсяцѣ Бутурлинъ сообщаетъ министру народнаго просвѣщенія шесть Высочайшихъ резолюцій. Словарь Рейфа навлекаетъ опалу цензуры за переводъ слова *Litanej*—словами: *литія, молебенъ, скучный разсказъ*. Цензоръ требуетъ уничтоженія послѣдняго слова, какъ неблагопристойнаго рядомъ съ двумя другими священными словами. Цензоръ дѣйствуетъ по прямому указанію комитета противъ неблагопристойныхъ выраженій въ словаряхъ [14]). Количество спеціальныхъ цензуръ увеличивается до двадцати двухъ, рукописи часто странствуютъ по нѣсколькимъ министерствамъ, отдѣльнымъ вѣдомствамъ, канцеляріямъ учебныхъ заведеній и благотворительныхъ обществъ, часто изъ-за одной фразы, упоминающей о какомъ-либо административномъ распоряженіи или о совершенно второстепенной власти [15]).

Послѣднее обстоятельство особенно озабочиваетъ цензуру. Предъ нами *Сборникъ постановленій и распоряженій по цензурѣ* и описываемое время особенно щедро на огражденія чиновниковъ отъ покушеній литературы на ихъ чины и добродѣтели. Основное положеніе отъ 20 іюня 1848 года гласитъ: «не должно быть допускаемо въ печать никакихъ, хотя бы и косвенныхъ порицаній дѣйствій или распоряженій правительства и установленныхъ властей, къ какой бы степени сіи послѣднія ни принадлежали» [16]).

Это соображеніе на счетъ *степени* властей было мотивировано нѣсколько раньше распоряженіемъ, вызваннымъ *Сѣверной Пчелою*,

---

14) *Историч. свѣд.*, стр. 69, 72.
15) *Ib.*, 96.
16) *Сборникъ*. Спб. 1862, стр. 250.

т. е. Булгаринымъ. Даже сей мужъ ухитрился попасть въ потрясатели основъ по чрезвычайно замѣчательному случаю. Онъ выразилъ неудовольствіе на царскосельскихъ извозчиковъ, запрашивающихъ съ публики непомѣрныя цѣны въ дурную погоду. Фельетонная жалоба принята за «косвенныя укоризны царскосельскому начальству» и усмотрѣно, что она предъявлена не подлежащей власти, а «предана на общій приговоръ публики». Дальше слѣдовало соображеніе: «допустивъ единожды сему начало, послѣ весьма трудно будетъ опредѣлить, на какихъ именно предѣлахъ должна останавливаться такая литературная расправа въ предметахъ общественнаго устройства». *Сѣверная Пчела* не подверглась примѣрной карѣ только въ уваженіе своей завѣдомой благонамѣренности, но зато ея фельетонъ далъ поводъ обезопасить впредь всѣ органы правительства отъ какихъ бы то ни было приговоровъ публики.

Проницательность цензуры простерлась и на беллетристику. Воздвиглось гоненіе на повѣсти и романы, даже на анекдоты, затрогивающіе честь чиновниковъ или рисующіе какое бы то ни было начальство въ комическомъ видѣ. По поводу анекдотовъ той же *Сѣверной Пчелы* дѣлались спеціальные доклады государю и слѣдовали резолюціи общаго характера [17]).

Комитетъ обраруживалъ исключительную подозрительность къ печатному слову, въ чьихъ бы рукахъ оно ни находилось. Перечитывая многочисленныя «предложенія», «распоряженія», «повелѣнія», вы можете подумать, — Россія мгновенно наводнилась шайками необыкновенно тонкихъ и неуловимыхъ злоумышленниковъ. Министръ, цензоры, комитетъ, безпрестанно толкуютъ о «косвенныхъ намекахъ»: это—излюбленнòе выраженіе оффиціальныхъ документовъ и высокопоставленныхъ критиковъ. Цензурѣ, буквально, во всякомъ словѣ грезится «обинякъ» и «намекъ», и она употребляетъ неимовѣрныя усилія вывести на свѣжую воду злокозненныхъ литераторовъ, совершенно непричастныхъ столь геніальному хитроумію и закоренѣлымъ разрушительнымъ инстинктамъ. Булгаринъ и здѣсь оказывается поставщикомъ революціоннаго матеріала.

Въ его дѣтской книжкѣ *Колокольчикъ* описывался патріархальный обычай внуковъ преклонять колѣни предъ бабушкой. Рецензентъ *Отечественныхъ Записокъ* возсталъ противъ искренности

---

17) *Ib.*, стр. 241, 247, 298.

подобныхъ отношеній. Цензура усмотрѣла весьма отдаленный смыслъ критики, «двусмысленность», опасную для «круга вещей» «неприкосновеннаго частнымъ разсужденіямъ». Послѣдовало Высочайшее повелѣніе цензорамъ «дѣйствовать при пропускѣ статей въ *Отечественныхъ Запискахъ* съ самою величайшею осмотрительностью» [18]).

Цензура быстро утратила ясное представленіе объ естественныхъ предѣлахъ своего духовнаго могущества и совершенно серьезно помышляла воспитывать русское общество по строго опредѣленной программѣ, вопреки неизбѣжнымъ внѣшнимъ вліяніямъ и простѣйшему непосредственному житейскому опыту самыхъ безобидныхъ обывателей. Запрещенію стали подвергаться пословицы, народныя преданія, примѣты, загадки, и не только въ общедоступной литературѣ, но даже въ ученыхъ сочиненіяхъ и сборникахъ. Послѣднее распоряженіе подтверждено неоднократно, очевидно, въ виду заставить русскій народъ забыть свое неблагопристойное творчество [19]).

Естественно, исторія должна подвергнуться соотвѣтственной фильтраціи. Изъ журнальныхъ статей устраняются факты, все равно, какой бы то ни было давности съ намеками на народныя движенія, на вражду крестьянъ и холопей къ боярамъ и господамъ. Изъ разсказовъ объ эпохѣ Самозванца должны исчезнуть подробности о положеніи народной массы и ея дѣйствіяхъ, статьи о Пугачевѣ и Стенькѣ Разинѣ не должны вовсе появляться въ періодическихъ изданіяхъ «при всей благонамѣренности авторовъ и самыхъ статей ихъ». Подобныя сочиненія, по мнѣнію власти, «неумѣстны и оскорбительны для народнаго чувства». Въ особенности печать обязана избѣгать всякихъ описаній народныхъ лишеній, тяжелыхъ отношеній между помѣщиками и крѣпостными крестьянами. Даже съ цѣлью восхваленія патріархальныхъ порядковъ и защиты крѣпостного права не слѣдуетъ приводить соображенія его противниковъ, чтобы не искушать и не смущать читателей. «Цензура,—говоритъ оффиціальное изданіе,—упорно держалась основного своего начала, причины своего бытія: «осторожнѣе и соотвѣтственнѣе природѣ человѣческой людей незнакомыхъ со зломъ оставлять въ прежнемъ его невѣдѣніи, нежели знакомить съ онымъ, даже посредствомъ порицаній и опроверженій» [20]).

---

[18]) *Ib.*, стр. 244, 260.

[19]) *Ib.*, стр. 289, 295, 296, 297.

[20]) *Историч. свѣд.*, 65; *Сборникъ*. 261, 265.

Эта истина высказана по поводу сообщенія нѣмецкой рижской газеты, заимствованнаго изъ отчета гамбургскаго библейскаго общества. Отчетъ описывалъ случаи, когда люди низшихъ сословій презрительно и насмѣшливо отзывались о словѣ Божіемъ. Русская цензура считала существованіе подобныхъ фактовъ невѣдомымъ русскому обществу и свѣдѣнія о нихъ заразительными для его младенческой наивности и непорочности.

Бдительность цензуры не ограничивается книгами и статьями. Первоисточникъ зла — авторы, и на нихъ неизбѣжно направить всю тяжесть отвѣтственности. Для власти не достаточно—редакторовъ превратить въ обязательныхъ цензоровъ собственныхъ изданій и грозить имъ расправой за неблагонамѣренность независимо отъ цензурныхъ одобреній. Еще горшая участь ждетъ авторовъ не одобренныхъ и, слѣдовательно, не напечатанныхъ статей. По распоряженію отъ 14 мая 1848 года, цензоры обязаны «негласнымъ образомъ» дѣлать представленія въ третье отдѣленіе Собственной Его Величества канцеляріи объ авторахъ воспрещенныхъ статей, въ случаѣ, если въ статьяхъ окажется «особенно вредное въ политическомъ и нравственномъ отношеніи направленіе». Третьему отдѣленію предстояло принять мѣры для пресѣченія зла или для наблюденія за преступнымъ писателемъ [21]).

Мы привели только незначительную часть цензурныхъ мѣръ, быстро возникшихъ одна за другой вслѣдствіе французской революціи. Но и по этому ограниченному матеріалу можно судить, въ какомъ положеніи явилась русская литература и журналистика и какой кругъ безопасной и «благонамѣренной» дѣятельности предоставлялся русскимъ писателямъ комитетомъ второго апрѣля и его органами.

III.

Какъ трудно было удовлетворить учрежденіе сорокъ восьмого года по части благонамѣренности и «благопристойности» вамъ извѣстно изъ промаховъ Булгарина. Кажется, нельзя и вообразить журналиста, болѣе опытнаго въ патріотическихъ чувствахъ, и между тѣмъ онъ одна изъ первыхъ жертвъ. Гоненія часто становятся до такой степени жестокими, что Булгаринъ впадаетъ въ гражданскія настроенія и принимается разносить цензуру не хуже самаго радикальнаго «мальчишки». «О Боже, гдѣ мы живемъ!»—

[21]) *Сборникъ*, стр. 247—248.

задачу:—«за что цензоры угнетають разумъ человѣческій и навлекають на всѣхъ насъ гнѣвъ Божій?» И это спрашиваетъ человѣкъ, лично обнаруживающій чисто инквизиторскую проницательность и холопскій трепетъ при малѣйшемъ намекѣ на самую отдаленную «неблагопристойность» въ патріотическомъ смыслѣ. Онъ, напримѣръ, не рѣшается невинно подшутить даже надъ нѣмецкимъ городомъ, вспомнивъ, что императрица ѣдетъ на лѣто въ Германію. Онъ не дерзаетъ напечатать извѣстіе о новыхъ гасильникахъ, поступившихъ въ продажу, изъ опасенія цензурнаго толкованія. Онъ врагъ всякой политики и вполнѣ согласенъ съ цензурой, что въ русской печати незачѣмъ даже упоминать о представительныхъ собраніяхъ европейскихъ державъ. Онъ идетъ даже дальше цензуры: та имѣетъ въ виду второстепенныя государства, Булгаринъ не желаетъ знать о политическихъ происшествіяхъ гдѣ угодно. По его мнѣнію, русская публика въ единственномъ случаѣ интересуется политикой, когда «чужеземные борцы схватятся за всѣ святые и дуютъ другъ друга по сусамъ», вообще когда дѣло идетъ о дракѣ и скандалѣ. Для нея скачки несравненно занимательнѣе, чѣмъ состояніе Франціи. И задушевнѣйшая мечта Булгарина—дождаться хорошей международной потасовки, по очень резонному соображенію: «при каждомъ объявленіи войны прибывало по 1.500 и 2.000 подписчиковъ». И онъ страшно негодуетъ, если *Пчела* опровергаетъ слухи о войнѣ и начинаетъ проповѣдывать о мирѣ, не разжигаетъ забіяческихъ инстинктовъ у своей публики и не открываетъ ихъ всѣми правдами и неправдами у иностранныхъ народовъ [22]). И такой-то публицистъ и философъ томится и бѣшенствуетъ подъ гнетомъ Бутурлинскаго комитета!

Правда, онъ можетъ добиться удаленія цензора, можетъ жаловаться на цензуру попечителю, министру и выше, можетъ показывать цензурованные листки самому Цесаревичу и писать «въ собственныя руки государя императора» съ приложеніемъ запрещенныхъ статей [23])... О такихъ привилегіяхъ и во снѣ не снилось ни одному издателю, и все-таки Булгарину приходится заболѣвать отъ цензурныхъ огорченій, приходить въ отчаяніе отъ невѣроятныхъ мытарствъ его фельетоновъ по инстанціямъ и провоз-

[22]) *Ѳ. В. Булгаринъ въ послѣднее десятилѣтіе его жизни*. П. Усова. *Ист. Вѣстн.* 1883 г., XIII, 306, 300, 292, 294, 299, 309 etc.

[23]) *Ib.*, стр. 305, 312, 315.

глашать «стыдъ и униженіе» Россіи, управляемой Шихматовымъ и людьми безграмотными [24]).

Какую же участь терпѣли писатели, не занимавшіе столь почетнаго поста и имѣвшіе сношенія съ высокими особами преимущественно только по случаю внушеній и распеканій за содѣянныя преступленія? Среди этихъ смертныхъ числились отнюдь не одни лишь завѣдомые журнальные крикуны и потрясатели. Отъ *Сѣверной Пчелы* до *Современника* разстояніе весьма почтенное, и въ промежуткѣ дѣйствовали люди, повидимому, вполнѣ благонадежные и несомнѣннаго патріотизма. И вотъ имъ-то не оказывалось ни снисхожденія, ни пощады.

Прежде всего самый патріотизмъ попалъ въ сильное подозрѣніе. Еще до комитета второго апрѣля состоялось распоряженіе по цензурѣ съ «особливой внимательностью» слѣдить за авторами, возбуждающими въ читающей публикѣ необузданные порывы патріотизма». Впослѣдствіи, во время Севастопольской войны, у государя было испрошено указаніе, «до какихъ предѣловъ можетъ быть допущено изъясненіе подобныхъ чувствованій?» т. е. патріотическихъ заявленій въ прозѣ и стихахъ. Общество, по признанію власти, нуждалось теперь «въ обнаруженіи» этихъ чувствованій, и они были разрѣшены, но въ извѣстныхъ предѣлахъ [25]). До войны патріотизмъ не требовался внутренней политикой Россіи и даже патентованные патріоты очутились не у дѣлъ.

Однимъ изъ первыхъ почувствовалъ дрожь Погодинъ. «Въ ужасномъ времени мы живемъ,—писалъ онъ.—Я непремѣнно уничтожилъ бы журналъ, несмотря на всѣ виды, если бы не опасался такою внезапностью подать повода къ обвиненіямъ и подозрѣніямъ». Дальше онъ сообщалъ Шевыреву: «мы сами были обвинены» и просилъ его не говорить ни слова о литературѣ и ея вліяніи.

Шевыревъ раздѣлялъ чувства своего пріятеля и самъ не зналъ, о чемъ вообще писать. Даже о буквахъ и о словахъ ему кажется опаснымъ говорить: «и тутъ еще найдутъ что-нибудь». И онъ жестоко сѣтуетъ на Погодина, рѣшившаго продолжать изданіе журнала [26]).

Паника охватила и другихъ профессоровъ университета. Они собирались съ силами—перенести наступившую невзгоду. Погодинъ додумывается до идеи подать государю адресъ отъ литераторовъ.

[24]) *Ib.*, 301, 305.

[25]) Распоряженіе 6 мая 1847 года. *Сборникъ*, стр. 240.

[26]) Барсуковъ. IX, 282.

Но на осуществленіе идеи не хватаетъ смѣлости ни у самого Погодина, ни вообще у московскихъ писателей, и издатель *Москвитянина* думаетъ совсѣмъ уйти отъ публичной литературной дѣятельности, зарыться въ ученыхъ историческихъ изысканіяхъ. Онъ былъ бы даже радъ, если бы запретили *Москвитянинъ* и дали ему, редактору, предлогъ укрыться въ своемъ убѣжищѣ [27]).

И Погодинъ правъ. Направленіе, какое онъ считалъ краеугольнымъ въ русской общественной мысли, оказалось самымъ опаснымъ. Высочайшее повелѣніе отъ 20-го іюня 1852 года узаконяло: «На представляемыя къ одобренію для изданія въ свѣтъ сочиненія въ духѣ славянофиловъ должно быть обращаемо особенное и строжайшее вниманіе со стороны цензуры» [28]). До какой степени распоряженіе было серьезно, доказала исторія съ *Московскимъ Сборникомъ*. Извѣстная намъ статья Ивана Кирѣевскаго *О характерѣ просвѣщенія Европы и о его отношеніи къ просвѣщенію въ Россіи* вызвала самое рѣзкое негодованіе цензуры, всему *Сборнику* сообщила подозрительный характеръ и послужила непосредственнымъ поводомъ къ постановленію 20 іюня. Статьи для второго тома *Сборника* не удостоились одобренія. Пространныя соображенія вызвало изслѣдованіе Константина Аксакова—*Богатыри временъ великаго князя Владиміра по русскимъ пѣснямъ*. Въ другихъ случаяхъ оберегательница патріархальныхъ преданій, на этотъ разъ цензура вознегодовала на отыскиваніе въ пѣсняхъ «небывалаго въ Россіи общиннаго порядка дѣлъ». Аксаковъ, по мнѣнію цензуры, проводилъ идеи демократическаго равенства, подчеркивая *равный почетъ* у князя Владиміра для богатырей всяческаго происхожденія. Авторъ, кромѣ того, выписывалъ изъ былинъ неблагопристойныя рѣчи, какими богатыри честили великую княгиню и татарскаго царя Калину. Выходило, богатыри становились противъ великаго князя, проповѣдывалась вольница, а мнимое *общинное начало* скрывало за собой «мысль совершенно коммунистическую». Съ той же точки зрѣнія оцѣнена и статья Хомякова по поводу разсужденія Кирѣевскаго *О характерѣ просвѣщенія Европы*. И здѣсь *община* свидѣтельствовала о явной неблагонадежности автора, и вообще о славянофильской идеализаціи старой Руси въ ущербъ нынѣшней. По толкованію цензуры, это означало «какое-то недовольство настоящимъ образованіемъ, обра-

---

[27]) *Ib.*, 284.
[28]) *Сборникъ*. 282.

зомъ жизни и даже учрежденіемъ правительства». Славянофилы оказывались наигоршими революціонерами, коммунистами, во всякомъ случаѣ,—если не анархистами—на взглядъ охранителей пятидесятыхъ годовъ.

Этотъ взглядъ до глубины души огорчилъ самыхъ крайнихъ консерваторовъ и патріотовъ въ московскомъ стилѣ. Они проливаютъ горючія слезы предъ Погодинымъ на небывалую цензурную инквизицію. Они приписываютъ цензурѣ намѣреніе «не пропускать ни одной истины, ни одной мысли», помѣшать русскому народу понять самого себя. Они вспоминаютъ о недавнемъ прошломъ русской литературы, далеко не блестящемъ, какъ о «блаженномъ», «золотомъ времени». Они—отчаяннѣйшіе москвобѣсы и руссофилы, ссылаются на примѣръ старой германской словесности, до гётевскаго періода, когда даже не знаменитые писатели могли «вести, такъ сказать, на помочахъ, мысль народа въ читателяхъ всѣхъ классовъ». Они находили цѣлесообразнѣе всевозможныхъ цензурныхъ стѣсненій—допустить писателямъ, какъ людямъ просвѣщеннымъ, «объяснять понемногу истины» публикѣ: все равно, вѣдь когда-нибудь придется ей имѣть дѣло съ тѣми истинами, только безъ всякаго порядка и яснаго сознанія. А такой хаосъ опаснѣе, чѣмъ постепенное воспитаніе мысли!

Изъ жалобъ тѣхъ же патріотовъ мы узнаемъ дѣйствительно о едва вѣроятныхъ мѣрахъ цензуры. «Повѣрятъ ли потомки?» спрашиваетъ авторъ и сообщаетъ, напримѣръ, запрещеніе *Москвитянину* печатать о дурномъ положеніи финансовъ въ Англіи 1399 года. По мнѣнію автора, въ его время были бы невозможны басни Крылова, сатиры Милонова, оды Державина [29])...

И такія рѣчи писались человѣкомъ, еще недавно предлагавшимъ подать правительству оффиціальную жалобу отъ лица благонамѣренныхъ литераторовъ на духъ и направленіе *Отечественныхъ Записокъ!* Такъ возмущался и граждански скорбѣлъ писатель, лично вызывавшій чувства негодованія и презрѣнія у лучшихъ людей своего же прихода, напримѣръ, у Аполлона Григорьева! Но и на этой границѣ не остановился цензурный разгромъ. Петербургъ вскорѣ представилъ еще болѣе неожиданные образцы идейнаго страданія за свободу мысли.

Погодинъ вскорѣ попалъ подъ надзоръ полиціи за критику на Кукольника и за траурную кайму на обложкѣ журнала по слу-

---

[29]) Письмо М. А. Дмитріева Погодину, 1 августа 1848 года. Барсуковъ. IX, 395 и 396.

чаю смерти Гоголя. Фактъ произвелъ переполохъ въ Петербургѣ [30]). Москва, въ свою очередь, ужасалась, узнавъ объ участи Плетнева. Этотъ образцовый дѣятель салонной и чиновничьей словесности вызвалъ подозрѣніе Бутурлинскаго комитета въ неблагонадежности. Комитетъ подалъ государю доносъ на либерализмъ лекцій и годичныхъ отчетовъ Плетнева—профессора и ректора. Обвиняемый узналъ стороной о грозномъ фактѣ и написалъ цесаревичу письмо съ изложеніемъ «правилъ своей жизни, службы и всѣхъ сочиненій своихъ». Письмо было прочитано государю и государь велѣлъ успокоить Плетнева. Такъ Плетневъ самъ разсказываетъ дѣло въ жалобномъ письмѣ къ Жуковскому. Министръ Уваровъ увѣрялъ его, не напиши онъ письма цесаревичу, его удалили бы отъ должности ректора [31]).

Но вскорѣ громъ загремѣлъ и надъ самимъ Уваровымъ. Судьба будто мстила ему за исключительно-добровольческую ненависть къ русской литературѣ. Когда-то онъ, по поводу Полевого, провозгласилъ: въ правахъ русскаго гражданина нѣтъ права обращаться письменно къ публикѣ [32]). Теперь ему самому предстояло жестоко поплатиться за пользованіе незаконнымъ правомъ, не только какъ пишущему гражданину, но и какъ министру.

Опала на высшее образованіе была вторымъ русскимъ отраженіемъ французскихъ событій рядомъ съ гоненіемъ на литературу. Опала и здѣсь могла имѣть въ виду развѣ только предупредительныя цѣли. Карать университеты было рѣшительно не за что. Это признавалъ самъ императоръ Николай I. Ограничивая число студентовъ въ двухъ столичныхъ университетахъ тремя стами пятидесятью, онъ прямо заявилъ министру, что не слыхалъ ничего дурного объ университетахъ. Не смотря на это, просьба цесаревича и министра увеличить цифру не получила удовлетворенія [33]).

Но сущность новаго положенія вещей не въ ограниченіи студенческаго комплекта, а въ регламентѣ 24 октября 1849 года Документъ называется *Наставленіе ректору и деканамъ юридическаго и перваго отдѣленія философскаго факультета.* Университетскому начальству ставилось на видъ революціонное состояніе умовъ въ Западной Европѣ, развитіе республиканскихъ и кон-

---

[30]) Никитенко. I, 533.
[31]) Барсуковъ. IX, 284.
[32]) Никитенко. I, 325.
[33]) *Ib.*, 590—1.

ституціонныхъ идей и возможность распространенія ихъ среди русской молодежи.

Въ виду опасности, университетское преподаваніе должно подвергнуть особенно пристальному надзору именно въ тѣхъ предметахъ, какіе представляютъ больше случаевъ внушать молодымъ людямъ «неправильныя и превратныя понятія о предметахъ политическихъ». Таковы, напримѣръ, государственное право, политическая экономія, наука о финансахъ и всѣ вообще историческія науки. Инструкція перечисляетъ опаснѣйшія школы—сенъ-симонистовъ, фурьеристовъ, соціалистовъ и коммунистовъ и на нихъ сосредоточиваетъ вниманіе ректора и декановъ. Одновременно воспрещается профессорамъ «изъявлять въ неумѣренныхъ выраженіяхъ сожалѣніе о состояніи крѣпостныхъ крестьянъ» и признавать пользу для государства въ перемѣнѣ отношеній помѣщиковъ къ ихъ подданнымъ.

Появленіе регламента сопровождалось слухами о закрытіи университетовъ и о преобразованіи всего образованія и науки въ Россіи. И слухи находили полное довѣріе даже среди профессоровъ, въ особенности проектъ замѣны университетовъ высшими корпусами для юношества, исключительно высшаго сословія, будущихъ чиновниковъ и государственныхъ мужей [34]). Слухи возникли раньше инструкціи, одновременно съ комитетомъ второго апрѣля и настолько упорно держались въ столичномъ обществѣ, что Уваровъ призналъ необходимымъ выступить на защиту университетовъ.

Въ мартовской книгѣ *Современника* за 1849 годъ появляется статья—*О назначеніи русскихъ университетовъ*. Статья безъ подписи, авторъ ея Давыдовъ, но вдохновитель и весьма серьезный участникъ въ содержаніи—самъ министръ. Статья прямо и начинается съ заявленія о слухахъ, стремится доказать ихъ неосновательность и защитить университеты отъ какихъ бы то ни было подозрѣній въ революціонныхъ затѣяхъ. Напротивъ, именно университетамъ русское общество обязано своимъ образованіемъ, глубокимъ просвѣщеніемъ. Порицатели университетовъ не имѣютъ понятія ни объ ихъ благодѣяніяхъ, ни о совершенно благонамѣренномъ составѣ профессоровъ и студентовъ, т. е. о подавляющемъ большинствѣ дворянъ среди учащихся и о половинѣ ихъ среди учащихъ. Статья походъ противъ университетовъ признаетъ «борьбой тьмы со свѣтомъ».

[34]) *Ib.*, 502—3.

Бутурлинъ, издавна питавшій неистребимую ненависть къ университетамъ, не могъ допустить подобнаго посягательства, да еще публичнаго, на свои принципы. Комитетъ доложилъ государю о статьѣ *Современника*, и 24 марта послѣдовало распоряженіе—впредь ничего не допускать въ печати на счетъ правительственныхъ учрежденій, а 21 апрѣля состоялось повелѣніе: «Всѣ статьи въ журналахъ за университеты и противъ нихъ рѣшительно воспрещаются въ печати» [35]). Уварову сдѣланъ запросъ отъ комитета и статья объявлена неприличною. Уваровъ вошелъ къ государю съ докладной запиской, усердно доказывалъ благонамѣренность статьи, принималъ на себя всю отвѣтственность, не скрывалъ своего щекотливаго положенія, какъ начальника цензуры рядомъ съ комитетомъ второго апрѣля.

Представленія Уварова не имѣли успѣха и его смѣнилъ кн. Ширинскій-Шихматовъ [36]). Этотъ не помышлялъ становиться въ оппозицію какимъ бы то ни было усмотрѣніямъ комитета и съ готовностью шелъ имъ на встрѣчу. Именно во время его управленія изобрѣтательность цензуры достигла сказочнаго совершенства и именно Шихматову принадлежитъ честь систематической отравы такихъ «либераловъ», какъ Булгаринъ и Гречъ.

Замѣчательно, однимъ изъ тлетворнѣйшихъ источниковъ нравственной заразы въ описываемую эпоху считался классицизмъ. Статья *Современника* принуждена защищать греческій и латинскій языки противъ обскурантовъ. Они находили, что «самые кровожадные изверги французской революціи были глубоко ученые латинисты» и дѣйствовали по урокамъ римскихъ писателей. Доводы Уварова не разубѣдили цензуры и особенно Бутурлинскаго комитета. Цензура не пропускаетъ даже объявленія о книгѣ, посвященной *Аѳинской республикѣ*. Эти два слова являются совершенно неблагопристойными. Такой же участи подвергается слово *Демосъ*. Вообще гражданскія преданія древняго міра кажутся предосудительными, но зато объ убитыхъ римскихъ императорахъ нельзя говорить: они *убиты*,—они *погибли* [37]).

Наконецъ, комитетъ рѣшается пересмотрѣть рѣшительно всю русскую литературу съ точки зрѣнія современнаго понятія о благонадежности. Погодинскій пріятель оказывался правъ насчетъ сатиръ и одъ XVIII вѣка. Кантеміръ подвергся запрещенію и

---

[35]) *Сборникъ*. 258.

[36]) *Историч. свѣдѣнія*. 70—71.

[37]) Никитенко. 524.

одвовременно двѣ басни Хемницера. Но блистательнѣйшая исторія разыгралась по поводу Пушкина.

Поэтъ имѣлъ несчастіе и послѣ смерти оставить непримиримыхъ враговъ среди вліятельныхъ лицъ. Первое мѣсто занимали Дубельтъ и Орловъ, шефъ жандармовъ. Дубельтъ открыто именовалъ сочиненія Пушкина *дрянью* и находилъ, что ея вполнѣ достаточно напечатано и нечего еще хлопотать о неизданныхъ сочиненіяхъ поэта [38]). Это происходило еще въ 1840 году; время могло только упрочить столь опредѣленныя отношенія.

Въ самомъ концѣ «эпохи цензурнаго террора» Анненковъ задумалъ издать сочиненія Пушкина. Первое посмертное изданіе явилось исключительно благодаря личной волѣ императора Николая и большимъ выигрышемъ для новаго издателя была своего рода охранная грамота, оберегавшая уже изданныя произведенія Пушкина отъ домысловъ цензуры. Но совершенно въ другомъ положеніи находились стихотворенія поэта, разсѣянныя по журналамъ и сохранившіяся въ рукописяхъ. На этой почвѣ предстояло возникнуть цѣлой упорной борьбѣ издателя съ цензурой.

Анненковъ довольно энергично отвоевывалъ стихи и статьи Пушкина и напечаталъ впослѣдствіи документъ—записку, поданную главному управленію цензуры съ возраженіями на исключенія цензора. Между прочимъ, цензоръ не желалъ пропустить замѣчаній Пушкина о Державинѣ. Существовало общее распоряженіе по цензурѣ не допускать критическихъ отзывовъ о старыхъ классическихъ писателяхъ, если отзывы умаляютъ ихъ авторитетъ. Распоряженіе было вызвано доносами на статьи Бѣлинскаго, оскорблявшія, по мнѣнію доносителей, народную гордость и помрачавшія славу великихъ мужей Россіи. Цензура съ такой настойчивостью охраняла эту славу, что Анненкову приходилось отводить глаза цензора въ завѣдомо ложную сторону, подмѣнять имена особенно почтенныхъ жертвъ поэта другими, менѣе классическими и національно-славными [39]). Но особенно много изворотливости требовалось издателю—спасти ни въ чемъ неповинныя стихотворныя фразы, гдѣ упоминались слова «свобода», «неволя», «гоненіе», говорилось безъ особаго уваженія о такихъ высокооффиціальныхъ изданіяхъ, какъ *Инвалидъ, Календарь*, рисовались болѣе или менѣе вольныя картины любви и употреблялись поэти-

[38]) *Р. Ст.* 1881, т. XXX, стр. 714. *Къ характеристикѣ отношеній Дубельта къ сочин. Пушкина.*

[39]) *Любопытная тяжба. Анненковъ и его друзья*, стр. 396, 404, 417.

ческіе эпитеты или сильныя выраженія въ родѣ *пакостный* романъ. Издателю приходилось прибѣгать къ хитроумнымъ и въ то же время идиллически-наивнымъ соображеніямъ, чтобы побѣдить пуританскія или вѣрноподданническія страданія цензора. И что̀ любопытнѣе всего, цензура, при всей изощренности взора, упускала изъ виду существенный фактъ: вычеркиваемыя ею стихотворенія зналъ наизусть едва ли не всякій русскій читатель, способный пріобрѣсти новое изданіе сочиненій любимаго поэта.

Не большей благосклонностью властей пользовался и другой великій поэтъ—Гоголь. Въ то самое время, когда Погодина отдавали подъ надзоръ полиціи, Тургенева отправляли на съѣзжую а одно и то же преступленіе. Тургеневъ напечаталъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* статью о смерти Гоголя и называлъ покойника великимъ. Очевидецъ находитъ, что такимъ унизительнымъ наказаніемъ въ лицѣ Тургенева «хотѣли заклеймить званіе литератора» и что намѣреніе не достигнетъ цѣли: за Тургенева почувствуетъ обиду публика и станетъ на его сторону [40]).

Въ высшей степени идеальное соображеніе! И за эти «злополучные годы» сколько случаевъ представлялось русской публикѣ оскорбляться и негодовать, а «образованнымъ людямъ» быть органами этихъ благородныхъ настроеній! Тотъ же мечтатель не устаетъ изображать «паническій страхъ», охватившій одинаково и высшихъ сановниковъ и общество, толкуетъ о какомъ-то рокѣ, влекущемъ эпоху въ невѣдомую даль, взываетъ: «горе намъ рожденнымъ въ свѣтъ», и тутъ же спѣшитъ явить бодрость духа и плачъ и вздохи закончить гражданскимъ изреченіемъ: «честный человѣкъ не долженъ слагать оружія и предаваться бездѣйствію, доколѣ есть хоть тѣнь возможности дѣйствовать».

Превосходная, хотя и сильно заношенная истина! Сколько же честныхъ людей оказалось на Руси въ роковую годину и какъ они отличали «тѣнь возможности дѣйствовать» отъ безусловной невозможности дѣйствовать честно или повелительной необходимости дѣйствовать по влеченію рока?

IV.

Когда мы читаемъ лѣтописи русскаго сорокъ восьмаго года и позднѣйшихъ лѣтъ, предъ нами начинаетъ блѣднѣть поразительно-яркая картина «террора» и на мѣсто ея выступаетъ цѣлый міръ

40) Никитенко. 532—3.

жалкихъ, безтолково мятущихся или безнадежно запуганныхъ лицъ. На первый взглядъ они кажутся вамъ всѣ похожими другъ на друга, безъ опредѣленныхъ физіономій, безъ сильныхъ душевныхъ движеній, безъ крови и воли. Будто толпа дантовскихъ тѣней, толпящихся у входа въ адъ, куда-то безотчетно стремящаяся, гонимая невѣдомой ей силой въ кромѣшную тьму вѣчныхъ страданій. Ни единаго проблеска сознательной мысли, ни намека на свободное человѣчески-осмысленное желаніе: такую бы точно картину представили и сухія вѣтви, подхваченныя бурей и разбрасываемыя вѣтромъ въ разныя стороны.

Подойдите ближе къ этому обществу, гдѣ нашъ идеалистъ искалъ честныхъ людей, и всѣ разсказы о цензурныхъ приключеніяхъ, даже о подвигахъ грознаго комитета покажутся мелкими и побочными исторіями сравнительно съ однимъ все подавляющимъ фактомъ—съ малодушіемъ и рабствомъ призванныхъ носителей отечественнаго просвѣщенія и человѣческаго достоинства. Историкъ-пессимистъ могъ бы составить цѣлый рядъ характеристикъ, способныхъ затмить всевозможныя декламаціи на счетъ благородства человѣческой природы и преимуществъ просвѣщеннаго ума. Во главѣ онъ поставилъ бы самыя громкія имена эпохи и могъ бы съ полнымъ успѣхомъ опровергнуть всѣ ссылки на среду и обстоятельства. Онъ могъ бы перенести вопросъ на самую гуманную почву. Онъ совершенно отказался бы отыскивать непремѣнно героизмъ, выдающуюся силу души, рыцарственное сознаніе нравственной отвѣтственности. Онъ ограничился бы только простѣйшими запросами къ здравому смыслу и первобытному чувству чести. Онъ только вспомнилъ бы снисходительнѣйшее требованіе, какое только можетъ быть предъявлено разумному существу и какое одинъ изъ терпимѣйшихъ французскихъ историковъ положилъ въ основу историческаго суда надъ личностями.

Человѣкъ не можетъ стать господиномъ обстоятельствъ, но онъ всегда остается господиномъ своего поведенія. Онъ не обязанъ непремѣнно завоевать успѣхъ, но онъ обязанъ дѣйствовать сообразно съ правилами справедливости, даже забытыми, и сообразоваться съ законами вѣчной нравственности, даже когда ихъ болѣе всего нарушаютъ [41]).

Въ виду исключительно тяжелыхъ обстоятельствъ можно даже понизить и это требованіе, т.-е совсѣмъ освободить человѣка отъ

[41]) Минье.

дѣйствій въ пользу нравственности и удовлетвориться его бездѣятельностью въ ущербъ этой нравственности. Пусть дѣйствительно при террорѣ вполнѣ достаточно *жить*: и это уже *дѣло*, и пусть оно зачтется какъ подвигъ чести предъ дѣлами тѣхъ, кто управлялъ терроромъ и былъ его виновникомъ. Пусть будетъ добродѣтелью только уйти отъ зла и даже не творить блага. Наконецъ, можно распространить евангельское всепрощеніе еще дальше: въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ тщательно взвѣшивать фактическую возможность посильной добродѣтели, молчаливой и смиренной неприкосновенности ко злу и именно эту мѣрку мы прикинемъ къ исторіи русскаго общества. Намъ необходимо рѣшить вопросъ, дѣйствительно ли рокъ такъ непреодолимо увлекалъ эпоху съ ея героями и жертвами и искупаются ли обстоятельствами тяжкія вины отдѣльныхъ личностей, удостовѣренныя позорными преданіями прошлаго?

Мы видѣли, во главѣ исключительныхъ явленій эпохи стало особое учрежденіе, наблюдавшее надъ русской литературой и надъ ея оффиціальными попечителями. Гдѣ источникъ новой власти и кому принадлежитъ первая мысль объ этомъ еще небываломъ на Руси недреманномъ окѣ?

Отвѣтъ — безусловно свѣдущихъ людей: доносы и внушенія «гражданъ», преслѣдовавшихъ вовсе не государственную пользу, а свои личныя цѣли [42]). Застрѣльщикомъ явился гр. С. Г. Строгановъ, бывшій Московскій попечитель. Къ нему присоединился баронъ М. А. Корфъ. Строгановъ мстилъ Уварову за потерю должности попечителя, а Корфъ мѣтилъ на мѣсто Уварова. Оба въ докладныхъ запискахъ государю изображали либерализмъ, коммунизмъ и соціализмъ, господствовавшими въ русской литературѣ благодаря потворству министерства народнаго просвѣщенія. Россіи предрекались всевозможные ужасы, если не будутъ приняты экстренныя мѣры для обузданія писателей и для вразумленія цензоровъ. Государь, встревоженный этими свѣдѣніями, на докладѣ гр. Орлова по тому же предмету положилъ резолюцію въ духѣ записокъ Корфа и Строганова: «Необходимо составить комитетъ, чтобы разсмотрѣть, правильно ли дѣйствуетъ цензура и издаваемые журналы соблюдаютъ ли данную каждому програму». Комитету повелѣвалось непосредственно заняться упущеніями министерства народнаго просвѣщенія и Уваровъ, естественно, не вошелъ въ составъ комитета.

[42]) Никитенко. 493.

Все, слѣдовательно, устроилось по замысламъ доносителей. А дальше уже открывалось неограниченное поприще усердію Бутурлина, доходившее до спеціальныхъ докладовъ государю на счетъ анекдотовъ *Сѣверной Пчелы* и гадательныхъ книжекъ. Но комитетъ и извнѣ нашелъ усерднѣйшихъ приспѣшниковъ и помощниковъ. Въ Петербургѣ оказался непочатый уголъ доносчиковъ. Они заваливали третье отдѣленіе своей литературой, здѣсь даже принуждены были не давать движенія множеству сообщеній и указаній и по субботамъ совершалось сожженіе доносовъ, признанныхъ вздорными [43]). Но это безъименная когорта добровольцевъ: она—неизбѣжное явленіе при всякомъ «террорѣ». Впереди ея стоятъ люди съ именами и весьма виднымъ положеніемъ. Они не брезгуютъ наушничать тайно, не смущаются подвизаться и публично.

Первое мѣсто должно принадлежать, конечно, профессорамъ.

Въ сентябрѣ 1848 года Уваровъ получилъ возможность доказать свою строгость и бдительность. На добрый путь навелъ его Шевыревъ. *Общество исторіи и древностей* задумало издать въ русскомъ переводѣ записки англичанина Флетчера о Россіи XVI-го вѣка. Предсѣдателемъ *Общества* состоялъ гр. Строгановъ, находившійся во враждѣ съ министромъ. Шевыревъ воспользовался случаемъ угодить министру и рѣшилъ объяснить ему, до какой степени неблаговидно печатать по-русски Флетчера, весьма нелестно судившаго московскихъ царей и русскій народъ. Строгановъ совершаетъ явно неблагонадежный поступокъ, поощряя это предпріятіе. Уваровъ немедленно распорядился прекратить печатаніе и донесъ государю. Строганову послѣдовалъ строжайшій выговоръ въ самой оскорбительной формѣ, черезъ московскаго генералъ-губернатора. Закревскій послалъ къ графу квартальнаго надзирателя съ приглашеніемъ явиться къ нему для выслушанія выговора. Шевыревъ могъ торжествовать.

Профессорское усердіе иногда переходитъ границы и ввергаетъ въ смущеніе даже высшую власть. Такой случай произошелъ съ Давыдовымъ и министромъ народнаго просвѣщенія Норовымъ, преемникомъ Шихматова. Давыдовъ представилъ министру оффиціальное письменное сообщеніе о томъ, что весь педагогическій институтъ желаетъ стать подъ ружье и проситъ, чтобы его немедленно начали обучать военнымъ эволюціямъ.

---

[43]) Р. Ст. 1875, т. XIV. *Воспоминанія О. А. Пржеславскаго. стр.* 145

«Министръ,—разсказываетъ очевидецъ,—изумился и не зналъ, что дѣлать съ такимъ радикальнымъ усердіемъ». Но Давыдовъ зналъ, что дѣлалъ. Онъ добивался, чтобы его воинственный азартъ дошелъ до государя. Министръ не далъ бумагѣ оффиціальнаго хода, сообщилъ только цесаревичу и не нашелъ въ великомъ князѣ ни малѣйшаго сочувствія предложенію Давыдова [44]).

Но Давыдовъ велъ свою линію. Не довольствуясь директорствомъ въ педагогическомъ институтѣ, онъ выхлопоталъ себѣ мѣсто въ иностранной цензурѣ и считалъ эту службу предпочтительнѣе всякой другой. Онъ уговаривалъ и Погодина перейти въ цензуру, чѣмъ возмущалъ даже Шевырева, особенно своей враждой къ университету [45]).

Въ роли цензора Давыдовъ не замедлилъ поразить энергіей своихъ товарищей. Одинъ примѣръ вполнѣ краснорѣчивъ. Въ цензурномъ комитетѣ разсматривался учебникъ по исторіи—Смарагдова. Давыдовъ потребовалъ исключить изъ книги все, что касалось Магомета: онъ былъ «негодяй и основатель ложной религіи», вопилъ просвѣщенный профессоръ. Товарищамъ стóило не малаго труда образумить своего предсѣдателя... [46]).

Зачѣмъ было Бутурлинскому комитету изощряться въ инструкціяхъ цензорамъ, когда въ его распоряженіи состояли подобные изобрѣтатели?

Находились профессора, щеголявшіе своей находчивостью всенародно. Въ петербургскомъ университетѣ въ концѣ декабря 1848 года, совершилось событіе, рѣдкое даже въ лѣтописяхъ печальныхъ періодовъ русской гражданственности. Молодой ученый Варнекъ защищалъ диссертацію на естественно-научную тему—*О зародышѣ вообще и о зародышѣ брюхоногихъ слизняковъ*. Диспутантъ въ своей рѣчи употреблялъ латинскіе термины, иногда нѣмецкіе и французскіе. Профессоръ Шиховской торжественно объявилъ, что Варнекъ, очевидно, не любитъ своего отечества и презираетъ свой языкъ. Диспутанта крайне озадачило такое возраженіе, онъ растерялся и не нашелся чтó отвѣчать. Оппонентъ перешелъ къ другому, столь же тяжкому обвиненію—къ уликамъ молодого магистра въ матеріализмѣ и, наконецъ, осудилъ всю диссертацію... «И такъ,—прибавляетъ очевидецъ-разсказчикъ,—вотъ одинъ изъ профессоровъ, вмѣсто ученаго диспута, направился

---

[44]) Никитенко. 566.
[45]) Барсуковъ. IX, 286—7.
[46]) Никитенко. 580.

прямо къ полицейскому доносу... Мудрено ли, что многіе у васъ презираютъ и науку, и ученыхъ?» [47]).

Но подобныхъ храбрецовъ, способныхъ на презрѣніе, врядъ ли было особенно много. Съ теченіемъ времени умъ русскихъ читателей достигъ чрезвычайнаго совершенства по части уловленія неблагопристойностей въ самыхъ благонамѣренныхъ органахъ и подчасъ оставлялъ за собой всѣ оффиціальныя цензуры и чутье общепризнанныхъ мастеровъ сихъ дѣлъ. Разсказываютъ, напримѣръ, удивительный случай добровольческой проницательности.

Въ *Сѣверной Пчелѣ* было напечатано извѣстіе о томъ, что по Амуру къ устью отправлены пушки. Корреспонденцію одобрило министерство иностранныхъ дѣлъ, военно-цензурный комитетъ и обыкновенная цензура. Но отыскался читатель, усмотрѣвшій въ сообщеніи разоблаченіе военной тайны, и сообщилъ куда слѣдуетъ свои соображенія. Въ результатѣ—строгій выговоръ редакторамъ газеты и всѣмъ цензурамъ [48]).

Какое блистательное поприще открывалось при такихъ условіяхъ литературной интригѣ, писательскимъ оскорбленнымъ самолюбіямъ, заугольной злобѣ и открытой накипѣвшей ненависти! И братья-писатели не преминули внести богатѣйшую лепту въ сокровищницу сысковъ, подозрѣній, уликъ и чисто-инквизиціонныхъ кривотолковъ.

Мы видѣли, въ чемъ заключалось страшнѣйшее полномочіе Бутурлинскаго комитета. Цензурный уставъ 1828 года имѣлъ въ виду преслѣдовать и карать «видимыя» цѣли авторовъ и печатныхъ произведеній, т. е. имѣлъ дѣло съ фактами, для всѣхъ доступными и очевидными. Комитетъ далъ неограниченный просторъ пристрастному толкованію мыслей и фразъ, на первый планъ выдвинулъ намекъ и двусмысленность и артистическіе таланты добровольныхъ и оффиціальныхъ цензоровъ направилъ не на чтеніе произведеній авторовъ, а на изобличеніе ихъ душъ и обнаженіе сердецъ. Легко представить, сколько произвольнаго, фантастическаго и просто капризнаго проникало въ домыслы цензоровъ при такой постановкѣ вопроса! А между тѣмъ, на этой почвѣ зиждилось все назначеніе новаго порядка и этимъ масштабомъ измѣрялись заслуги подлежащихъ лицъ.

И кто же далъ тонъ?

---

[47]) Ib., 497—498.

[48]) *Историч. Вѣстн.* XIII, 319.

Писатель, и притомъ очень почтенный. Въ 1848 году князь Вяземскій составилъ записку противъ журнальной литературы и преимущественно противъ сатиры. Въ сатирическихъ произведеніяхъ, писалъ князь, «каждое слово есть обинякъ. Литература наша, и особенно нѣкоторые изъ петербургскихъ журналовъ, исполнены этихъ обиняковъ и намековъ, прозрачныхъ для смышленыхъ читателей» [49]). Не-литераторамъ, конечно, приходилось внимательно вслушиваться въ голосъ столь опытнаго судьи и удвоить зоркость взора и подозрительность ума.

Если въ такомъ тонѣ говорилъ князь Вяземскій, что же оставалось на долю Булгариныхъ? И здѣсь, пожалуй, вполнѣ умѣстна ссылка на среду и обстоятельства. Заслуженный писатель охотился за обинявами и намеками, Булгаринъ всѣ силы свои посвятилъ на совершенно откровенную травлю лежачихъ. Его имя мы встрѣчаемъ при всѣхъ литературныхъ драмахъ. Онъ побуждаетъ властей покарать Тургенева за статью о Гоголѣ, онъ въ своихъ фельетонахъ осыпаетъ бранью и Гоголя, и Тургенева, и даже Погодина: послѣдняго именно потому, что онъ также подвергся правительственной карѣ. Онъ невозбранно геройствуетъ въ роли газетнаго опричника и кричитъ «слово и дѣло» гораздо раньше, тѣмъ опасность бросается въ глаза цензурѣ и начальству. У него двоякая цѣль: выместить на другихъ свои собственныя цензурныя огорченія и обезпечить себѣ привилегированное положеніе усердіемъ приспѣшника и доносчика. И, можетъ быть, нѣтъ болѣе краснорѣчивой черты, характеризующей извѣстную эпоху, какъ самоувѣренная и торжествующая дѣятельность Булгариныхъ, какъ монополизированіе подобными пресмыкающимися великихъ идей патріотизма и общественнаго порядка. Но вѣдь не исчерпывались же всѣ нравственныя силы русскаго общества «мерзавцами своей совѣсти» и «патріотами своего отечества». Пребывали же въ литературномъ и ученомъ Содомѣ какіе-нибудь праведники, спасавшіе зачумленный городъ и донесшіе до потомства незапятнанную честь русскаго писателя. Направлялась же противъ кого-нибудь безпощадная злоба добровольцевъ и «самая величайшая осмотрительность» цензуры. Немыслимо, чтобы *Москвитянинъ*, *Сѣверная Пчела* служили вполнѣ достойными цѣлями столь сложной и энергической атаки.

Конечно, нѣтъ. Праведники имѣлись налицо, и ихъ-то именно

[49]) *Историч. свѣдѣнія*, стр. 66.

дѣла для насъ особенно любопытны. Мы заранѣе отказались не только отъ выспреннихъ запросовъ къ русскимъ идеалистамъ, а даже отъ поисковъ за положительными результатами ихъ идеализма. Мы предоставляемъ обширнѣйшій просторъ голосу, вопіющему о снисхожденіи: «человѣкъ вѣдь я», и готовы понимать *человѣческое* въ самомъ «смертномъ» смыслѣ. Наконецъ, мы устраиваемъ не судейскій трибуналъ, составляемъ не обвинительные акты и не замышляемъ приговоровъ съ снисхожденіемъ или безъ снисхожденія. Наши стремленія не идутъ дальше общечеловѣческой потребности видѣть въ историческихъ фактахъ удовлетвореніе непосредственному нравственному чувству правды и сознанію достоинства нашей природы. Для насъ люди прошлаго поучительны не столько какъ подвижники или преступники, сколько какъ живыя свидѣтельства, какой высоты или какого паденія можетъ достигнуть человѣкъ извѣстнаго духовнаго склада и извѣстнаго времени? И если бы мы пожелали вывести общія заключенія, они будутъ подсказаны намъ прямымъ смысломъ дѣлъ и событій, а не нашими нравственными задачами или гражданскими програмами.

V.

Мы знаемъ, два журнала по преимуществу *Отечественныя Записки* и *Современникъ*, сосредоточили вниманіе комитета второго апрѣля. Уже третьяго апрѣля кн. Меншиковъ сообщалъ гр. Уварову высочайшее повелѣніе—объявить редакторамъ и издателямъ обоихъ журналовъ, что за ними правительство «имѣетъ особенное наблюденіе» и, въ случаѣ чего-либо предосудительнаго или двусмысленнаго, изданія ихъ немедленно будутъ прекращены и сами редакторы подвергнутся строгому взысканію.

Уваровъ поспѣшилъ повелѣніе это осуществить на Краевскомъ, предложилъ попечителю петербургскаго округа призвать издателя *Отечественныхъ Записокъ*, предоставить ему на выборъ или измѣнить «въ основаніяхъ» направленіе журнала, или идти на неминуемое запрещеніе и строгое взысканіе. Краевскому давался «послѣдній срокъ», какъ милость, и онъ обязанъ былъ «рѣшительно принять прямыя мѣры».

Попечитель исполнилъ предложеніе министра, далъ Краевскому аудіенцію въ присутствіи цензоровъ *Отечественныхъ Записокъ* и сообщалъ Уварову о вполнѣ удовлетворительномъ результатѣ: «Краевскій принялъ съ должнымъ уваженіемъ и полною призна-

тельностью сообщенныя ему мною замѣчанія и объяснилъ въ подпискѣ, что предписаніе вашего сіятельства онъ принимаетъ къ надлежащему и точному исполненію».

Краевскій принялъ предписаніе съ самымъ легкимъ духомъ и немедленно засвидѣтельствовалъ перемѣну въ направленіи своего журнала. Сдѣлано это было основательно и на столько убѣдительно, что Бутурлинъ счелъ нужнымъ выразить гр. Уварову особое одобреніе статьѣ Краевскаго. Среди сотрудниковъ *Отечественныхъ Записокъ* или не нашлось подходящаго труженика, или издатель не рѣшился довѣрить столь отвѣтственной задачи другому: онъ самъ выступилъ въ качествѣ публициста и пожалъ обильные лавры. Комитетъ доложилъ о статьѣ государю и Краевскому было передано объ этомъ фактѣ. Краевскій могъ торжествовать. Раньше онъ съ гордостью заявлялъ: «напишу такъ, что самъ Булгаринъ расчихается». И дѣйствительно, написалъ.

Статья была окончена 25-го мая, т. е. наканунѣ смерти Бѣлинскаго и хоронила всѣ идеи, какими великій критикъ одушевлялъ журналъ. Краевскій вырывалъ непроходимую пропасть между прошлымъ и настоящимъ своего изданія. До какой степени шагъ отличался рѣшительностью, въ Москвѣ доказали съ неопровержимой наглядностью.

Погодинъ и Шевыревъ глубоко возмутились превращеніемъ петербургскаго журнала. Редакторъ *Москвитянина* усмотрѣлъ въ статьѣ сплошной плагіатъ изъ собственныхъ разсужденій и блистательно доказалъ это. Онъ приготовилъ *Нѣсколько словъ и выписокъ* изъ параллельныхъ мѣстъ статей *Москвитянина* и статьи Краевскаго. Совпаденія выходили поразительныя. *Россія и Западная Европа въ настоящую минуту*, какъ представлялъ ихъ петербургскій публицистъ, оказывались ничѣмъ инымъ, какъ давнишними славянофильскими формулами. Краевскій торжественно съ *Москвитяниномъ* излагалъ исторію Россіи и Европы, противоставлялъ завоевательный процессъ на Западѣ патріархальной отеческой власти въ Россіи, сравнивалъ кротость и искренность русской церкви съ инквизиціей и монашескимъ лицемѣрствомъ католичества, а въ политическомъ вопросѣ воспроизводилъ духъ Бородинскихъ статей Бѣлинскаго. Погодину, конечно, не было нужды указывать на это совпаденіе. Но такое сличеніе вышло бы еще эффектнѣе, чѣмъ открытіе идей *Москвитянина* на страницахъ *Отечественныхъ Записокъ*, еще ярче обнаружилась бы вся головокружительность поворота, совершеннаго Краев-

скимъ. Впрочемъ, достаточно было и того, что Погодинъ припоминалъ свою прежнюю полемику съ петербургскимъ журналомъ какъ разъ по вопросамъ, теперь разрѣшеннымъ вполнѣ удовлетворительно на самый правовѣрный московскій взглядъ. *Отечественныя Записки* даже пересаливали въ восторгѣ предъ удѣльнымъ періодомъ и въ національной русской гордости предъ Западной Европой всевозможными культурными успѣхами. Погодинъ эти чувства называлъ крайностями.

Статья Погодина, несомнѣнно, произвела бы впечатлѣніе даже на публику конца сороковыхъ годовъ. Но въ Петербургѣ нашли ее «неудобной» и, конечно, совершенно основательно. Такъ мѣнялись люди и пѣсни! Редакторъ *Отечественныхъ Записокъ* удостоивался похвальнаго листа за патріотизмъ и благонамѣренность, а издатель *Москвитянина* попадалъ въ опалу. Могъ ли ожидать Бѣлинскій такого приключенія при всѣхъ своихъ сильныхъ чувствахъ противъ Краевскаго?

Но оставимъ въ покоѣ человѣка, промышлявшаго литературой. Ему, можетъ быть, законно и даже обязательно подчиняться какимъ угодно обстоятельствамъ и превосходить самыя смѣлыя ожиданія «среды». Любопытнѣе вопросъ о людяхъ, работавшихъ вмѣстѣ съ Краевскимъ въ его журналѣ. Какъ же они приняли подвигъ своего редактора—подвигъ, вызвавшій даже въ душѣ Шевырева невообразимое омерзѣніе?

Мы, напримѣръ, знаемъ, съ какой нервностью относился Боткинъ къ своему имени, какъ главы чайнаго торговаго дома. Онъ не могъ допустить, чтобы это имя появилось въ разсказѣ Дружинина о поѣздкѣ ихъ къ Тургеневу. Боткинъ приходилъ въ ужасъ при одной мысли, что скажутъ московскіе купцы по случаю такого чрезвычайнаго происшествія? Не подумаютъ ли они, что онъ заплатилъ фельетонисту и тотъ пропечаталъ его ради славы [50])? Это значитъ дорожить общественнымъ мнѣніемъ.

Съ другой стороны, намъ извѣстно весьма критическое отношеніе Боткина къ славянофиламъ. Онъ признавалъ за ними исключительно отрицательную заслугу, т. е. протестъ противъ крайняго западничества, и подвергалъ жестокой насмѣшкѣ положительные идеалы московской партіи и ея отдѣльныхъ представителей [51]).

---

[50]) Письмо къ Краевскому отъ 8 авг. 1855 г. *Отчетъ Имп. публ. библ. за 1889 годъ*, стр. 107—108.

[51]) Письмо къ Анненкову отъ 14 мая 1847 года. *Анненковъ*, стр. 538—539

И послѣ всего этого ни капли вниманія выходкѣ Краевскаго, отъ которой даже Булгаринъ могъ расчихаться! Куда же дѣвался дѣвственный трепетъ за честь своего имени и западническіе принципы? Или купеческая честь казалась Боткину несравненно дороже, чѣмъ литературная, и чайный складъ болѣе почтеннымъ учрежденіемъ, чѣмъ журналъ?

Во всякомъ случаѣ, Краевскій и послѣ своей статьи остается «любезнымъ Андреемъ Александровичемъ» для сотрудниковъ, не ощущавшихъ никакого давленія обстоятельствъ и ничѣмъ не обязанныхъ издателю *Отечественныхъ Записокъ*. По крайней мѣрѣ, Боткинъ былъ нарасхватъ: Некрасовъ писалъ ему жалкія письма на счетъ его обязательствъ предъ *Современникомъ* и Боткинъ не зналъ, какъ вывернуться предъ двумя журнальными соперниками, притязавшими на его работу [52]). По этому факту можно судить, до какой степени глухое время стояло въ русской литературѣ, но положеніе Боткина только выигрывало отъ подавляющаго безлюдья и необходимость ухаживать за какимъ бы то ни было издателемъ—являлась исключительно потребностью души, а не вліяніемъ среды.

Помимо Боткина, *Отечественныя Записки* имѣли и другихъ сотрудниковъ, далеко не лишенныхъ правъ на самостоятельность и нравственную энергію. Мѣсто перваго критика послѣ Майкова занялъ Дудышкинъ: его привѣтствовалъ Бѣлинскій. Мы увидимъ, насколько эти привѣтствія заслуженны. Пока для насъ поучительна благодушная уживчивость безусловно необходимаго человѣка съ невѣроятными упражненіями издателя. Потому что мы должны помнить: въ *такой мѣрѣ* «исполненія предписанія» отъ Краевскаго не требовалось даже обстоятельствами сорокъ восьмого года. Онъ могъ не вызывать восторга у Бутурлина и проявить, по крайней мѣрѣ, сдержанность *Современника*. Краевскій, напротивъ, сообщилъ статьѣ такой преднамѣренно разгоряченный тонъ, что даже въ настоящее время, на разстояніи пятидесяти лѣтъ, она производитъ впечатлѣніе искусственнаго, насильственно вытверженнаго и суетливо изложеннаго урока. Особенно конецъ статьи съ лирическимъ обращеніемъ къ «драгоцѣнному нашему отечеству», съ воинственнымъ провозглашеніемъ непоколебимаго русскаго «нравственнаго карантина» противъ «развратныхъ ученій» Запада вызываетъ невольное

---

[52]) Письмо Некрасова къ Боткину и письма Боткина къ Краевскому *Отчетъ*, стр. 105—106, 102 etc.

удивленіе, какъ Бутурлинъ могъ до такой степени восхититься поступкомъ Краевскаго и мгновенно увѣровать въ столь радикальную перемѣну фронта? [53]). Усердіе явно хватило черезъ край и новый патріотъ обнаруживалъ всѣ характерныя черты испуганнаго, но чрезвычайно лукаваго раба.

И въ современной литературѣ подвигъ прошелъ безнаказанно. Восклицательные знаки и многоточія, способныя испугать даже Шевыревыхъ и Погодиныхъ, только укрѣпили положеніе и редакторскій авторитетъ Краевскаго. Впослѣдствіи, повидимому, даже и воспоминаніе о фактѣ сгладилось у снисходительныхъ современниковъ. Анненковъ, человѣкъ несомнѣнно благородной души и либеральныхъ сочувствій, много лѣтъ спустя припоминалъ, что *Современникъ* и *Отечественныя Записки* послѣ Бѣлинскаго продолжали полемику съ славянофилами и поддерживали даже «огонекъ». Какъ было бы кстати припомнить здѣсь и о той копоти, какую *Отечественныя Записки* поспѣшили напустить въ журналистику при первомъ же случаѣ!

Можно сказать, эпизодъ съ Краевскимъ—своего рода пробный камень для современныхъ литераторовъ и извѣстное отношеніе къ знаменитой статьѣ едва ли не самая краснорѣчивая характеристика, какую можно представить для людей конца сороковыхъ годовъ.

Въ западническомъ лагерѣ быстро научились толковать: «Мы можемъ обойтись безъ Европы», «мы не совѣтуемъ французскимъ говорунамъ пріѣзжать къ намъ: умрутъ съ голода, никто не приметъ ихъ, пусть роются въ своемъ домашнемъ хламѣ». Какихъ же рѣчей слѣдовало ожидать отъ славянофиловъ, уже давно убѣжденныхъ въ гніеніи Запада? Въ силу непостижимаго процесса мысли они открыли наступающее всемірное торжество Россіи именно въ западно-европейскихъ политическихъ замѣшательствахъ. Хомяковъ въ мартѣ 1848 года уже задавалъ вопросъ, съумѣетъ ли Россія воспользоваться «минутой великой, предугаданной»? Орлинымъ взоромъ окидывалъ онъ басурманскія земли, и видѣлъ всюду смерть, разложеніе и отчаяніе. Совершенно въ другомъ положеніи Россія. Задача ея ясна и Хомяковъ излагаетъ ее въ такой формѣ, что цензурѣ слѣдовало бы отказаться отъ предубѣжденій противъ славянофиловъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ. Жаль только, что начальство съумѣло раскусить хомяковскій геній

---

[53]) *Отеч. Записки*. 1848, т. 59, *Современная хроника Россіи*, стр. 19—2?.

и давало о немъ отзывъ, который сдѣлалъ бы честь самому тонкому психологу. По поводу статьи Хомякова для *Московскаго сборника* цензура рисовала такой портретъ славянофильскаго философа, живо напоминающій остроумныя насмѣшки Герцена и негодущую рѣчь Бѣлинскаго.

«Этотъ человѣкъ весьма ученый и поэтъ: убѣжденія его болѣе умственныя, нежели душевныя; любитъ пренія и готовъ спорить за и противъ».

Очевидно, внушительнаго авторитета не могъ имѣть подобный артистъ ни въ какомъ направленіи. Фактъ, достойный сожалѣнія: Хомяковъ начертывалъ въ общихъ чертахъ программу образцовой цензуры. Онъ писалъ:

«Перевоспитать общество, оторвать его совершенно отъ вопроса политическаго и заставить его заняться самимъ собою, понять свою пустоту, свой эгоизмъ и свою слабость: вотъ дѣло истиннаго просвѣщенія, которымъ наша русская земля можетъ и должна стать впереди другихъ народовъ. Корень и начало дѣла—религія, и только явное, сознательное и полное торжество православія откроетъ возможность всякаго другого развитія» [54]).

При извѣстномъ діалектическомъ искусствѣ слова эти можно истолковать совершенно въ томъ самомъ смыслѣ, за какой статья Краевскаго была одобрена комитетомъ. Только развѣ въ толкованіи православія комитетъ разошелся бы съ Хомяковымъ: извѣстно, что онъ собирался процензуровать Библію и удалить изъ нея духъ неблагонамѣренности. Но вполнѣ было достаточно смертнаго приговора Западу именно за его попытки улучшить положеніе общества и опредѣленія русскаго прогресса, какъ религіознаго и нравственнаго покаяннаго самосозерцанія. Естественно, гражданскій духъ философа не поднимается выше жалобъ на московскую цензуру за непропускъ его богословской статьи, а вообще философъ «здоровъ и веселъ», непримиримый врагъ «либеральства», «западную мысль» считаетъ «нарядомъ всего горничнаго міра», т.-е. мыслью толпы и плебеевъ, былъ бы очень радъ отставкѣ Грановскаго, Рѣдкина и Кавелина. Правда, цензура его очень безпокоитъ, но онъ не рѣшается выступить противъ нея, не по какимъ-либо политическимъ соображеніямъ и не изъ страха предъ особенно тяжелой расплатой, а просто потому, что это будетъ «дурно принято» и возстановитъ противъ него начальство.

---

[54]) *Изъ писемъ Хомякова къ А. П. Попову. Русскій Архивъ*, 1884, II 290–291.

Съ такими гражданами, конечно, власти нечего было особенно изощряться, обстоятельствамъ и средѣ незачѣмъ было заѣдать ихъ. Они сами являли изъ себя обстоятельства и создавали среду. По крайней мѣрѣ, тотъ же Хомяковъ неодобрительно отзывается о простыхъ, не свѣдущихъ смертныхъ, недовольныхъ «молчаніемъ словесности»: «никто добраго слова не хочетъ сказать» [55]). Хомяковъ не говорилъ такого слова и совѣсть его была спокойна, потому что онъ былъ «человѣкъ весьма ученый». А такому, очевидно, можно было говорить даже и дурныя слова.

Энергичнымъ единомышленникомъ Хомякова явился поэтъ Тютчевъ, его личный другъ. Этотъ поставилъ вопросъ гораздо опредѣленнѣе, безъ всякихъ философскихъ украшеній и богословскихъ откровеній. *Россія* и *революція*—двѣ истинныя державы, исчерпывающія судьбы міра. Имъ предназначена смертельная взаимная вражда, потому что Россія — христіанство по преимуществу, а революція — одушевлена антихристіянскимъ духомъ. Очевидно, Россія должна бороться съ революціей не у себя дома, а вообще гдѣ бы революція ни обнаружилась. Это — провиденціальное назначеніе Россіи и отъ него зависитъ «вся политическая и религіозная будущность человѣчества». Февральская революція окончательно доказала, что исторія Европы за послѣдніе тридцать три года была лишь «долгою мистификаціей». «Мудрость вѣка» осрамилась безусловно, и Россіи остается спасать міръ [56]).

Авторъ, конечно, не могъ неодобрить, съ своей точки зрѣнія, всѣхъ мѣръ, какія принимались въ Россіи противъ западной заразы. Краевскій открыто привѣтствовалъ заставы, устроенныя для заграничныхъ книгъ.

Мы видимъ, на какой твердой *общественной* почвѣ стояло оффиціальное направленіе сорокъ восьмого года. Комитетъ безъ большихъ затрудненій могъ бы, если бы желалъ, оградить себя весьма краснорѣчивыми философскими и политическими идеями. Бутурлину надо было только принять исповѣдь современныхъ попечителей о судьбахъ человѣчества. Правда, онъ не получилъ бы отъ нихъ полномочія на цензурованіе Библіи, но набралъ бы достаточное количество культурныхъ и нравственныхъ принциповъ, оправдывающихъ возникновеніе охранительнаго учрежденія. На-

---

[55]) Ib., 306, 307, 310, 294.

[56]) *La Russie et la Révolution*—трактатъ Тютчева былъ написанъ лѣтомъ въ 1848 году, напечатанъ въ *Русскомъ Архивѣ* 1873 года.

конецъ, онъ услышалъ бы жалобы не столько на свои распоряженія, сколько на крайне запуганныхъ цензоровъ. И виноватыми оказались бы разные Крыловы и Фрейганги, а не высшіе борцы съ революціей.

Намъ предстоитъ сдѣлать послѣдній шагъ въ нашемъ обзорѣ русскаго общества и подойти къ людямъ, далеко превосходившимъ не только Краевскихъ и Хомяковыхъ, талантомъ и искренностью убѣжденій, но даже сосредоточивавшихъ на себѣ надежды старѣйшихъ дѣятелей и ужъ, конечно, младшихъ современниковъ. Имена этихъ людей до сихъ поръ остались на страницахъ нашей исторіи свѣтлыми и вдохновляющими. Очевидно, потомство не могло припомнить ни одного сознательно ложнаго поступка и лживаго слова изъ жизни своихъ избранниковъ и не оставило на ихъ славѣ ни одного пятна.

Мы отнюдь не намѣрены посягать хотя бы на одинъ лучъ этой славы. Мы только возможно точнѣе опредѣлимъ ея источникъ и пристальнѣе вглядимся въ лица, озаренныя традиціоннымъ блескомъ.

VI.

Намъ неоднократно приходилось указывать, какая рѣзкая нравственная черта отдѣляла Бѣлинскаго отъ его ближайшихъ друзей. Мы безпрестанно могли видѣть, съ какимъ трудомъ понимали они «неистовство» Орланда и какъ легко переходили къ отрицательнымъ настроеніямъ по поводу его идей и увлеченій. На первомъ мѣстѣ среди этихъ невольныхъ грѣшниковъ стоялъ Грановскій. Сама природа, уравновѣшенная, наклонная къ снисхожденію и примиренію, лишила талантливаго профессора чуткости къ страстнымъ впечатлѣніямъ и чувствамъ, волновавшимъ Бѣлинскаго до конца дней. И Грановскій весьма нерѣдко выступалъ противъ критика, подвергалъ суровому суду его излишества, изрекалъ обвинительные приговоры даже надъ нѣкоторыми принципами его направленія, напримѣръ, въ вопросѣ о народности. Мы знаемъ, здѣсь было гораздо больше недоразумѣнія, чѣмъ анализа, но именно этотъ фактъ и поучителенъ: онъ показываетъ, какъ различна можетъ быть практика людей, по существу единомышленныхъ и одинаково благородныхъ, но съ разными закалами нравственной природы.

Величайшее испытаніе ожидало Грановскаго въ страшный сорокъ восьмой годъ. И не потому только, что профессору пред-

стояло подвергнуться общей участи, ограничить свое слово и мысль. Ему пришлось страдать какъ ученому и мыслителю едва-ли не глубже, чѣмъ какъ русскому обывателю. Источникъ страданій былъ доступенъ далеко не всякому современнику событій, не по умственной ограниченности наблюдателей, а по недостатку особаго рода идейной чувствительности и тонко развитого страха за будущее европейскаго прогресса.

Этотъ страхъ свидѣтельствовалъ объ изящной аристократичности воззрѣній въ лучшемъ смыслѣ слова, о нѣкоторой оранжерейности и изысканности культурныхъ сочувствій и принциповъ, въ практическомъ отношеніи обличалъ натуру болѣе пассивную и созерцательную, чѣмъ энергію борца и инициатора. Люди подобнаго склада приходятъ въ смущеніе и даже растерянность отъ фактовъ слишкомъ стремительныхъ и противорѣчащихъ предварительно обдуманной программѣ. Эти люди инстинктивно враждебны всякому стихійному, бурному процессу и склонны видѣть въ немъ зло только въ силу его стихійности и быстроты. Они желали бы вѣчно присутствовать при упорядоченной постепенной эволюціи добра и свѣта, безъ экстренныхъ толчковъ и внезапныхъ вдохновеній и капризовъ жизни и людей. Они ежеминутно готовы разочароваться и охладѣть къ той самой цѣли, какая начинаетъ угрожать имъ всевозможными сюрпризами и настойчивыми запросами къ твердости ихъ воли и ясности ихъ взгляда. Тогда они способны остановиться на излюбленномъ пути, даже податься въ сторону или назадъ, лишь бы не имѣть дѣла съ непонятнымъ непреодолимымъ дыханіемъ таинственной исторической силы.

Къ типу этихъ людей принадлежалъ Грановскій.

Онъ не могъ не знать, какой порядокъ вещей представляла іюльская монархія, не могъ не понимать, какой смыслъ имѣла конституція, превратившая многомилліонную страну въ добычу хищной мѣщанской олигархіи. Профессоръ исторіи не могъ не отдавать яснаго отчета въ источникахъ и цѣляхъ движенія, приведшаго къ февральскому перевороту. Какому-нибудь Хомякову было естественно лицезрѣть одинъ лишь страшный жупелъ въ явленіи, быстро овладѣвшемъ всей западной Европой, Грановскому была бы непростительна такая національная философія, и онъ, конечно, не страдалъ ею. Но ему и на умъ не могло придти, чтобы всемірная исторія дѣлалась такъ грубо и скоропалительно, какъ это произошло во Франціи.

Онъ составилъ себѣ чрезвычайно стройное и эстетическое пред-

ставленіе объ историческомъ прогрессѣ. Существуютъ массы и личность. Массы «коснѣютъ подъ тяжестью историческихъ и естественныхъ опредѣленій», и только отдѣльная личность «освобождается мыслью» отъ этой тяжести. Число такихъ личностей наростаетъ, образуется общество, «сообразное требованіямъ личности», и въ этомъ заключается процессъ исторіи...

Очень увлекательно и художественно! Такъ думали и французскіе либералы вплоть до послѣдняго роковаго часа. Развѣ мыслимы событія безъ великихъ людей и движенія безъ вождей? Грановскій пишетъ *массы*, во Франціи либеральнѣйшіе журналисты выражались еще откровеннѣе—*la populace*, или даже *les couches inferieures de la population*, т. е. чернь, низшіе слои населенія. Высшими политиками на этой глубинѣ не признавалось существованіе «политическихъ животныхъ» и не допускалась возможность, чтобы здѣсь когда-либо возникло какое-либо «политическое представленіе» [58]). Государственныхъ мужей постигъ жестокій урокъ, и даже не одинъ. Оказалось, «низшимъ слоямъ» не представилось нужды въ руководителяхъ, чтобы покончить сначала съ аристократическимъ феодализмомъ, а потомъ заставить образумиться зазнавшихся мѣщанъ въ дворянствѣ.

Не всѣмъ, конечно, эта неожиданность пришлась по вкусу въ самой Франціи и еще іюльская революція расплодила въ литературѣ и въ политикѣ «дѣтей вѣка» съ роковой печатью разочарованія на благородномъ челѣ и съ прорицаніями Кассандры на поблекшихъ устахъ. Поэты въ родѣ Мюссе и политики отвлеченнаго либерализма, какъ чистаго искусства, въ стилѣ Ройэ-Коллара— создали даже особый жанръ лирической художественной тоски и платонической гражданской скорби. Они до конца не могли преодолѣть врожденной оторопи предъ темной силой, именуемой демократіей, соціальными задачами времени, и отводили свои экзотическія души въ іереміадахъ и филиппикахъ, столь же краснорѣчивыхъ, сколько и безплодныхъ.

Русскій профессоръ впалъ въ подобное настроеніе. Онъ ужаснулся шумнаго появленія на сцену новой силы, лишенной, повидимому, вѣковыхъ украшеній цивилизаціи и даже не чувствующей къ нимъ особаго почтенія. Грановскій задумался: не наступаетъ ли свѣтопреставленіе стараго міра? Не грозитъ ли гибель культурѣ и не готовится ли на вѣковую цивилизацію нашествіе новыхъ

---

[58]) *National*. 22 juillet 1830.

варваровъ? Профессоръ былъ глубоко убѣжденъ, что судьба цивилизаціи связана съ тѣмъ порядкомъ, какой вызвалъ движеніе массъ. Представлялось разрѣшить дилемму: или долженъ погибнуть этотъ порядокъ и вмѣстѣ съ нимъ человѣческая культура и просвѣщеніе, или «массы» должны быть возвращены на старое мѣсто и обязаны ждать систематическаго выполненія программы, начертанной просвѣщенными историками.

Грановскій не зналъ, какъ выйти изъ затрудненія. Выходъ собственно не представлялъ непосильной трудности для болѣе или менѣе вдумчиваго и безпристрастнаго наблюдателя. Для историка движенія массъ не могли казаться явленіемъ поразительнымъ до столбняка: онъ могъ припомнить не мало этихъ движеній изъ прошлаго Западной Европы и могъ бы сообразить ихъ общій смыслъ. А что̀ касается варварства февральской революціи, достаточно было собрать болѣе тщательныя свѣдѣнія, чтобы разсѣять страшный призракъ. Даже русскій очевидецъ изумлялся умѣренному поведенію массъ и сообщалъ фактъ, повидимому, весьма благопріятный для будущаго цивилизаціи.

Во время смутъ на парижскихъ улицахъ луврскую картинную галлерею охраняли сами блузники и не только никого не пускали въ музей, но даже возбраняли всякое скопленіе народа въ этомъ мѣстѣ. Впослѣдствіи гуманность и сдержанность февральскихъ революціонеровъ будетъ подтверждена образцовымъ либераломъ, историкомъ Токвилемъ[59]. Слѣдовательно, нечего было пѣть отходную цивилизаціи и просвѣщенію и, главное, было совсѣмъ неосновательно и въ историческомъ смыслѣ нелогично цивилизацію отождествлять съ іюльской конституціей и властью Людовика-Филиппа. Но Грановскому не представлялось ничего отраднаго ни въ настоящемъ, ни въ будущемъ. Онъ сѣлъ на рѣкахъ Вавилонскихъ и принялся повторять стихи Гете, полные не то горькой ироніи надъ погибающимъ міромъ, не то эпикурейскаго равнодушія къ его участи [60].

Грановскій вдругъ пережилъ свои желанія и мечты. Жизнь утратила для него пріятный вкусъ и превратилась въ безцѣльное подневольное прозябаніе. Онъ сталъ завидовать покойникамъ не потому, чтобы обстоятельства неумолимой силой поражали его энергію и заключали въ невыносимо-тѣсный кругъ его волю, а

[59]) Анненковъ. *Воспоминанія.* I, 270. *Воспоминанія Алексѣя Токвиля.* М. 1893, стр. 81.
[60]) *Грановскій.* I, 219.

потому, что совсѣмъ исчезали и энергія, и воля, сами собой, безъ всякихъ столкновеній съ внѣшними стихіями.

Тяжелыхъ мгновеній приходилось переживать не мало. Все это мы должны принять во вниманіе, но мы не можемъ забыть, что всевозможныя отдѣльныя испытанія падали уже на омертвѣвавшую почву. Грановскій былъ готовъ для воспріятія холодныхъ душей,—такъ же, какъ и его современники, намъ извѣстные,—только по разнымъ причинамъ. Тѣ вообще никогда не жили идеалами и свѣтлыми надеждами, а Грановскій пересталъ жить ими, независимо отъ событій личной жизни. Тѣмъ нечего было сжигать, незачѣмъ было мѣнять религію: торжествующій фактъ былъ ихъ единственнымъ божествомъ. Грановскій если ничего не сжегъ и ничему не измѣнилъ, во всякомъ случаѣ пересталъ быть дѣятельнымъ исповѣдникомъ своей вѣры, усомнился въ ея догматахъ и на него больше не вѣялъ отъ прежняго храма бодрящій духъ.

Ему ни на минуту не могла придти мысль пойти на встрѣчу времени, но въ то же время не оказывалось силъ противодѣйствовать ему, хотя бы со всевозможной скромностью и осмотрительностью, но съ твердымъ сознаніемъ правоты своего дѣла. Онъ безпрестанно говоритъ друзьямъ, что его душа больна и «едва ли выздоровѣетъ», что у него «впереди все такъ пусто и темно», что онъ добыча «безвыходной будничной хандры» и что, наконецъ онъ не вѣритъ въ успѣхъ какой бы то ни было своей работы. Онъ убѣжденъ, что его существованіе погибло и эта мысль «без престанно грызетъ его».

Если такія фразы изрекаетъ двадцатилѣтній юноша, смертельной опасности не предвидится ни для будущаго, ни для жизни. Но если это обычный тонъ зрѣлаго мужа и даровитаго общественнаго дѣятеля,—агонія несомнѣнна и на излѣченіе дѣйствительно нѣтъ надеждъ.

Но Грановскій продолжалъ состоять профессоромъ, занималъ едва ли не самое видное мѣсто среди московской интеллигенціи, ему волей-неволей приходилось дѣйствовать. И онъ дѣйствовалъ, думалъ, говорилъ, и каждымъ словомъ подтверждалъ печальную истину: здѣсь жизни нѣтъ и вѣры нѣтъ.

VII.

Мы возьмемъ два наиболѣе крупныхъ дѣла Грановскаго послѣ сорокъ восьмого. Одно въ высшей степени важное и отвѣтственное

по оффиціальному положенію профессора,—составленіе програмы учебника по всеобщей исторіи. Распоряженіе исходило отъ министра Ширинскаго-Шихматова и уже этого было достаточно превратить задачу въ исключительно-тягостный подвигъ. Кромѣ того, на помощь министерству не замедлили явиться добровольцы изъ среды педагоговъ. Они предлагали подвергнуть исторію радикальной реформѣ, исключить, напримѣръ, изъ преподаванія всю греческую и римскую исторію до временъ Августа и вообще удалить русское юношество отъ историческихъ сочиненій, написанныхъ язычниками въ родѣ Геродота, Ѳукидида, Ливія и Тацита. Министръ требовалъ учебниковъ «въ русскомъ духѣ и съ русской точки зрѣнія». Составленіе програмы было поручено Грановскому.

Работа шла съ большимъ трудомъ, «замучила меня», писалъ Грановскій, наконецъ была кончена и къ програмѣ присоединена объяснительная записка. Она подвергала рѣзкой критикѣ иностранные учебники за равнодушіе къ византійской исторіи и къ основательному опроверженію теорій, противоположныхъ монархическому принципу. Эта критика врядъ ли требовалась задачей автора: онъ могъ бы изложить «русское воззрѣніе», не обвиняя иностранцевъ въ преступленіяхъ, съ точки зрѣнія западнаго историка не постижимыхъ. Это тѣмъ болѣе было бы умѣстно, что програма построена на вполнѣ благонамѣренныхъ основахъ, совершенно убѣдительныхъ независимо отъ сравненія русскихъ учебниковъ съ иностранными.

Програма все-таки не имѣла успѣха въ высшихъ сферахъ и Грановскій не пріобрѣлъ довѣрія министерства. Не смотря на безукоризненно русское направленіе, Шевыревъ все-таки стоялъ во мнѣніи власти несравненно выше Грановскаго.

Другой фактъ еще любопытнѣе: на немъ проявилась личная иниціатива профессора. Правда, энергія быстро упала и дѣло не было доведено до конца, но Грановскій успѣлъ высказать нѣсколько мыслей, не менѣе краснорѣчивыхъ для послѣдняго періода его жизни, чѣмъ оффиціальная записка къ програмѣ.

На этотъ разъ предъ нами черновой набросокъ письма къ попечителю Назимову по слѣдующему поводу, характеризующему эпоху.

Въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* появилась статья, безъ подписи автора, подъ заглавіемъ *О старомъ и новомъ поколѣніи*. Подъ статьей стояло *сообщено* и она приписывалась въ публикѣ одному изъ родственниковъ попечителя. Трудно опредѣленно от-

вѣтить, какія цѣли преслѣдовалъ авторъ. Говорилъ онъ въ чрезвычайно повышенномъ и реторическомъ тонѣ, рисовалъ нестерпимо жестокія картины, и самъ же подъ конецъ уничтожалъ свое сооруженіе, отнималъ у него, по крайней мѣрѣ, цѣлесообразность на столбцахъ русской газеты.

Авторъ нападалъ на понятія *старое* покоiѣніе и *новое* поколѣніе, приписывалъ изобрѣтеніе этихъ страшныхъ словъ коммунистамъ, соціалистамъ и фурьеристамъ, вообще «нечистому духу нечестія и безначалія». Дальше раздавались вопли: крамола, насиліе, грабежъ, убійство и слѣдовало политическое соображеніе на счетъ «духа сего»: «Главными дѣятелями его были языкъ и перо; они служили проводниками его нелѣпыхъ и дерзкихъ мнѣній, которыя, какъ тонкій ядъ, по каплямъ распускались въ азбукахъ и повѣстяхъ, въ драмахъ и романахъ, въ журнальныхъ и газетныхъ статьяхъ. Извѣстнымъ словамъ даны прогрессистами условныя, символическія значенія; такъ напримѣръ, *отстать отъ вѣка*, *не идти наравнѣ съ вѣкомъ*, *быть въ застоѣ* значило у нихъ «кто не съ нами, тотъ противъ насъ», *отрясти прахъ отцовъ отъ ногъ своихъ*—отречься отъ вѣрованій отеческихъ или разорвать связь со всѣмъ прошедшимъ. Такъ *обновленіе*, *возрожденіе* у нихъ принималось въ смыслѣ разрушенія общественнаго порядка, революціи; *собственность* называли воровствомъ, *общность* значило «что твое, то мое» и т. д. Словомъ, все у нихъ шло на выворотъ, наперекоръ здравому смыслу и совѣсти. Замѣтьте, что всѣ утописты, соціалисты, коммунисты и тому подобныя исчадія нечестія выдавали себя за представителей и ходатаевъ человѣчества и народа, между тѣмъ какъ ни то, ни другое не вызывало ихъ на этотъ подвигъ и не поручало имъ своего дѣла. «Нація,—говорили они,—должна имъ безусловно покориться для произведенія надъ нею опытовъ» [61]).

Проницательность, достойная Бутурлинскаго комитета! Даже въ *азбукахъ* наслѣженъ коммунизмъ и соціализмъ и разъ навсегда пригвождены къ позорному столбу нѣкоторыя нечестивыя слова. Цензура также питала непреодолимое отвращеніе къ нѣкоторымъ выраженіямъ, напримѣръ *организація* [62]), неизвѣстный авторъ открывалъ ядъ въ чисто-русскихъ общеупотребительныхъ словахъ и, конечно, оказывалъ существенную услугу подлежащему вѣдомству.

---

[61]) *Московскія Вѣд.* 1851 г. № 40.
[62]) *Историч. свѣд.* стр. 67.

Зачѣмъ онъ это дѣлалъ, вообще къ чему стремился и чего хотѣлъ?

Въ отвѣтъ конецъ статьи гласитъ:

«Но благодареніе Богу! Русскому уму и сердцу чужды дикія и чудовищныя понятія Запада, который можетъ служить западнею для легкомысленныхъ и заблужденныхъ; русскому несродно враждебное дѣленіе соотечественниковъ на старое и новое поколѣніе: для него они, въ духѣ христіанской любви и въ здравомъ понятіи, составляютъ одно отечество, одно христіанское *жительство*, у котораго одинъ общій отецъ-Богъ, а на землѣ одинъ отецъ народа своего-царь».

Слѣдовательно, авторъ вразумлялъ европейцевъ и *Московскія Вѣдомости* долженствовали внести страхъ и смущеніе въ среду французскихъ соціалистовъ! Не иначе, потому что Россія оказывалась вполнѣ обезопашенной отъ духа нечестія. Но оговорка, превращавшая весь краснорѣчивый походъ неизвѣстнаго публициста въ войну съ вѣтряными мельницами, не теряла весьма существеннаго практическаго значенія при извѣстныхъ настроеніяхъ власти и общества. Лишній разъ въ литературѣ языкъ и перо объявлялись виновниками величайшихъ бѣдствій, и, естественно, статья обезпокоила прежде всего университетъ; его оффиціальный органъ, неизвѣстно по какимъ поводамъ, внезапно поднялъ воинственный крикъ.

Грановскій рѣшилъ возражать на статью. Публично было невозможно и онъ принялся составлять письмо къ попечителю Назимову. Онъ объяснялъ, какую услугу статья оказываетъ врагамъ просвѣщенія, ненавистникамъ литературы и писателей, какъ опрометчиво переносить понятія и термины съ Запада на русскую почву и дѣлать опальными слова, «освященныя нашими великими писателями»: робкій литераторъ будетъ ихъ избѣгать, и робкій цензоръ вычеркивать и изъ-за фразы заподозрѣвать цѣлую книгу [63]).

Эти указанія сопровождались болѣе чѣмъ успокоительными соображеніями профессора насчетъ неприкосновенности Россіи къ искушеніямъ Запада. Грановскій отвергаетъ всякую вражду между русскими поколѣніями, утверждаетъ, что духовныя основы нашего общества не измѣнялись, а было лишь движеніе впередъ и развитіе и благодаритъ Бога за то, что у насъ нѣтъ партій за ста-

---

[63]) Письмо къ В. И. Назимову—*Грановскій*. II, 477 etc.

ресъ и за новое... Заявленіе противорѣчащее собственному напоминанію автора о гонителяхъ образованія и литературы. «Дѣды этихъ людей ненавидѣли Петра Великаго,—говоритъ Грановскій,—внуки ненавидятъ его дѣло». Если такъ, это настоящая партія, и мы знаемъ, она не только существовала, но и дѣйствовала: иначе Грановскому не пришлось бы возражать на статьи *Московскихъ Вѣдомостей*. Очевидно, онъ въ угнетеніи духа просмотрѣлъ и тѣ, правда, не ослѣпительные и немногочисленные проблески мужественнаго разрыва новаго со старымъ, о какихъ несомнѣнно знала кратковременная исторія русскаго общества, и слишкомъ рѣшительно приписалъ оффиціальному ходу русскаго просвѣщенія всѣ успѣхи отдѣльныхъ поколѣній. Собственное поколѣніе Грановскаго могло бы представить весьма сильныя возраженія и именно *московскій университетъ* съ своими профессорами—Каченовскимъ, Давыдовымъ, Побѣдоносцевымъ, Сандуновымъ, Маловымъ и студентами-недоучками Бѣлинскимъ, Лермонтовымъ и отнюдь не учениками, хотя и кондидатами—Станкевичемъ, Герценомъ. Этотъ университетъ не вышелъ бы изъ испытанія въ такой красотѣ, какъ рисуетъ его Грановскій. Слѣдовало бы понизить патріотическій и слишкомъ обязательный тонъ рѣчи и лучше бы не касаться острыхъ вопросовъ.

Но и такое письмо не было отправлено по адресу, даже, по-видимому, не дописано до конца.

Съ каждымъ годомъ настроенія Грановскаго становились мрачнѣе и даже заря новой эпохи не усладила его души. Онъ утрачивалъ вѣру и въ русскій народъ, и въ русское общество. Всюду находилъ онъ нравственную тлю и не переставалъ жаловаться не на какія бы то ни было притѣсненія цензуры, а именно на общественное рабство и общественную нетерпимость. Удручающими красками онъ рисуетъ поведеніе дворянства во время выборовъ въ ополченіе: полное отсутствіе понятій о чести и о правдѣ! И при этомъ — мракобѣсіе и реакціонные инстинкты. «Общество притѣснительнѣе правительства», таковъ приговоръ Грановскаго русской интеллигенціи даже въ началѣ новаго царствованія [64]). И мы знаемъ, сколько по истинѣ трагической правды заключалось въ этомъ обвиненіи.

Можно бы написать пространную исторію любительской цензуры и героями исторіи явились бы русская публика и русская литература.

---

[64]) Письмо къ Кавелину, II. 455.

Задолго до сорокъ восьмого года русскіе образованные люди вожделѣли о цензурной розгѣ. Оффиціальный источникъ разсказываетъ, съ какой нервной дрожью и скрежетомъ зубовнымъ «весьма значительная часть общества» встрѣчала намеки на крѣпостное право. Когда въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* появилась статья объ освобожденіи негровъ во французскихъ колоніяхъ, въ жандармское управленіе посылались жалобы и извѣстія о неблагопріятныхъ толкахъ. Въ то же время нашелся журналъ, напечатавшій слѣдующее молитвословіе:

«Ну вотъ хоть и литература наша: еще слава Богу, что у насъ есть цензура! не будь ея, сейчасъ бы явились у насъ свои Польде-Коки и Жоржъ-Занды. Стоитъ толькоприпомнить два несчастные романа *Тайна* и *Мертвыя Души*. Но всего достойнѣе сожалѣнія, что въ Россіи нашлись два какіе-то профессора, которые смотрѣли на *Мертвыя Души* не какъ на злоупотребленіе великаго таланта, но... увы!.. Какъ на образцовое твореніе! Ахъ, слава Богу, что у насъ есть цензура!» [65]).

Отчего же было цензурѣ при такой общественной и литературной атмосферѣ не преслѣдовать *Хижину дяди Тома*, не запрещать романовъ Жоржъ Занда, не усматривать повсюду обиняки и намеки на соціализмъ и коммунизмъ? Было бы странно, если бы цензурное вѣдомство не стояло, по крайней мѣрѣ, на уровнѣ патріотическихъ чувствъ добровольныхъ спасателей отечества. Да если бы цензура и вздумала проявить терпимость, публика не замедлила бы призвать ее къ порядку. Мы знаемъ, *Московскій Телеграфъ* былъ затравленъ прежде всего доносами лицъ не оффиціальныхъ и тотъ же оффиціальный источникъ сообщаетъ, что по поводу журнала Полевого «анаѳемѣ предавалъ» всѣхъ мыслителей не цензоръ, а *писатель* [66]). Очевидно, русское общество въ своей средѣ давно уже имѣло обширный комитетъ, зорко наблюдавшій за дѣйствіями цензуры и не пропускавшій безъ замѣчаній и жалобъ малѣйшаго упущенія. Одинъ Булгаринъ стоилъ сотни цензоровъ по изощренности чутья, а по значенію его сыски нельзя и сравнивать съ оффиціальными открытіями. *Сѣверная Пчела* являлась распространеннѣйшимъ органомъ печати и *Ѳ. Б.* имѣлъ обширную и благодарную публику во всѣхъ слояхъ русскаго общества.

---

[65]) *Маякъ.—Историч. свѣдѣнія*, стр. 60—61.
[66]) Ib., стр. 61.

И мы видѣли, отпора этой дѣятельности неоткуда было ждать. Лучшіе люди безнадежно опустили руки и, можетъ быть, даже неожиданно для самихъ себя впадали въ неподобающій тонъ. При взглядѣ на эти испуганныя или горько страдающія лица становится прямо страннымъ толковать о вліяніяхъ среды, о давленіяхъ обстоятельствъ. И то, и другое предполагаетъ извѣстную силу, на которую оказываются вліянія и производятся давленія, вообще составляется представленіе о какой бы то ни было борьбѣ. Ничего подобнаго мы не видимъ. Люди никнутъ и вянутъ, будто экзотическія растенія, захваченныя морозомъ. Они заранѣе не приспособлены къ перемѣнѣ температуры, ихъ природа—благородна, но она бѣдна нервами активности, она страдаетъ неустойчивостью, впечатлительностью, мягкотѣлостью незрѣлаго организма. Да, мы не должны отступать предъ этимъ фактомъ: культурная незрѣлость и, слѣдовательно, недостаточная самосознательность—такова нравственная почва, съ какою сорокъ восьмой годъ встрѣтился у лучшихъ русскихъ людей. Незрѣлость мы понимаемъ, конечно, не въ смыслѣ ограниченности или наивности общественныхъ идей, а общаго духовнаго склада, характеризующаго человѣка какъ дѣятельную умственную и практическую силу. Всѣмъ извѣстны недоразвившіеся по какимъ-либо обстоятельствамъ художественные таланты крупной величины. Ихъ произведенія могутъ поражать блескомъ формы и даже глубиной содержанія, но въ нихъ будетъ что-то недосказанное, какая-то полуобъясненная тайна, будто внезапно прерванный могучій размахъ органической силы. Таковы, напримѣръ, поэзія Лермонтова и отчасти Пушкина. Оба художника застигнуты смертью несомнѣнно далеко отъ грани естественнаго развитія своихъ дарованій, и Пушкинъ унесъ съ собой въ могилу недопѣтые мотивы національнаго и народнаго творчества, а Лермонтовъ не успѣлъ создать цѣльный, положительный идеалъ, во имя котораго онъ творилъ стихи, облитые горечью и злостью.

Такіе же не законченные, не вполнѣ сложившіеся таланты возможны вездѣ, и въ русскомъ обществѣ, преимущественно въ области гражданской культуры. Мы только что познакомились съ настроеніями Грановскаго, захваченнаго врасплохъ историческими событіями. Настроенія до такой степени характерны, что ихъ можно приписать не отдѣльной личности, а цѣлому типу русскихъ людей. Они только не разсказали намъ о себѣ съ такой откровенностью, какъ Грановскій; такимъ людямъ вообще свойственны молчаливыя

томленія духа, да ихъ и не могло быть особенно много въ русскомъ обществѣ сороковыхъ годовъ. Но вотъ еще одинъ примѣръ, благороднѣйшаго перепуганнаго наблюдателя грозныхъ событій. Мы говоримъ о Жуковскомъ.

Никто глубже его не чувствовалъ неправдъ крѣпостного права, никто искреннѣе не могъ желать облегченія народныхъ страданій. Онъ одинъ изъ первыхъ далъ свободу своимъ крестьянамъ. Но лишь только Франція возстала противъ своего правительства, поэта охватилъ ужасъ. Онъ мгновенно вообразилъ, что смуты западной Европы грозятъ политическому строю Россіи и что власть русскаго монарха, опирающаяся на милліоны преданнаго народа, можетъ поколебаться отъ междоусобныхъ счетовъ французской демократіи съ буржуазіей. Жуковскій жилъ заграницей и съ каждымъ днемъ все больше проникался страхомъ за свое отечество.

И какихъ только мыслей не подсказалъ гуманному и мягкосердечному поэту этотъ страхъ!

Жуковскій теперь горячій сторонникъ смертной казни, принципіальный врагъ суда присяжныхъ, какъ орудія безнаказанности, какъ гибели правосудія. Онъ, конечно, весьма интересуется положеніемъ русской литературы, отлично понимаетъ его послѣ учрежденія комитета второго апрѣля, но онъ не можетъ не сочувствовать воинственному натиску цензуры даже на романы. Онъ самъ не позволилъ бы выставлять въ беллетристикѣ дурную сторону крѣпостного состоянія и вообще касаться отрицательныхъ явленій современнаго положенія вещей. Цензура, правда, чрезмѣрно строга, но даже отдаленнѣйшіе намеки литературы на существующій порядокъ недопустимы... Очевидецъ, передающій всѣ эти свѣдѣнія, прибавляетъ:

«Робость въ Жуковскомъ чрезвычайная; задумавшись, онъ сказалъ: «конечно цензурѣ трудно быть не нелѣпою, но во что бы то ни стало надобно охранять самодержавіе и общество образованное» [67]).

Психологія—вполнѣ естественная и не требуетъ особыхъ поясненій. Мы теперь представляемъ, при какихъ условіяхъ жила общественная мысль и развивалась литература послѣ смерти Бѣлинскаго. И та, и другая были поставлены въ очень тѣсныя границы, подвергнуты необыкновенно пристальному и пристрастному надзору. Но дѣйствія этой силы не должны поглощать всего вни-

---

[67]) А. И. Кошелевъ. *Біографія.* II, 211.

нанія историка. Одновременно съ оффиціальнымъ надзоромъ пышно разцвѣтали такого рода «обстоятельства» и «вліянія», что наши воспоминанія о тяжеломъ прошломъ по справедливости должны быть распредѣлены между обществомъ и властью, «личностями» и «средой». Даже больше. Содержаніе и направленіе русской критики описываемаго періода убѣдятъ насъ, что въ «личностяхъ» весьма часто заключалось горшее зло, чѣмъ въ самой «средѣ», что литература, по своей доброй волѣ, измѣняла достойнѣйшимъ преданіямъ своего еще вчерашняго дня и независимо отъ какихъ бы то ни было давленій, по движенію собственнаго сердца и по капризу собственнаго вкуса, бросала камнями въ эти преданія. И мы не можемъ даже прибавить: «по убѣжденію», потому что та же литература вскорѣ измѣнила свои чувства и публично отреклась отъ своихъ приговоровъ.

Почему она поступила такъ?—мы не найдемъ отвѣта, лестнаго для ея достоинства, и должны будемъ смиренно сознаться въ прискорбной истинѣ: русскія «личности» не только не обнаружили никакого притязанія на *личность* рядомъ съ обстоятельствами, но даже оказались не въ силахъ спасти отъ внѣшнихъ вліяній ясное и твердое представленіе о достоинствѣ человѣка и чести писателя.

VIII.

Бѣлинскій незадолго до смерти успѣлъ встрѣтить добрымъ словомъ нѣкоторыхъ своихъ преемниковъ, критика Дудышкина и беллетриста Дружинина. Оба они вскорѣ заняли мѣста первыхъ критиковъ, одинъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*, послѣ смерти Майкова, другой въ *Современникѣ*. Бѣлинскій съ завистью говорилъ о «превосходной критикѣ сочиненій Фонвизина» и о «прекрасныхъ рецензіяхъ». Авторомъ былъ Дудышкинъ и критикъ *Современника* завидовалъ счастью Краевскаго [68]).

Еще болѣе лестныхъ отзывовъ удостоился Дружининъ. Въ его повѣсти *Полинька Саксъ* Бѣлинскій нашелъ много истины, много душевной теплоты, вѣрнаго сознательнаго пониманія дѣйствительности, много самобытности. Правда, упоминалась также незрѣлость мысли, но Дружининъ могъ успокоиться за свои успѣхи: «онъ,— говорилъ Бѣлинскій,—для женщинъ будетъ то же, что Герценъ для мужчинъ» [69]). Карьера не особенно возвышенная, но, во всякомъ случаѣ, видная.

---

[68]) *Анненковъ и его друзья*. 595.

[69]) *Сочиненія*. XI, 419. *Анненковъ*, письмо отъ 15 февраля, 1848 г., стр. 610.

На сколько же дебютанты заслуживали такихъ привѣтствій и предсказаній?

Путь Дудышкина вполнѣ опредѣлился съ самаго начала. Съ первой статьи до послѣдней критикъ оставался неизмѣннымъ. Никакихъ рѣзкихъ увлеченій, никакихъ глубокихъ идейныхъ опытовъ, ни одной смѣлой и оригинальной мысли. Статьи писались ровно, гладко, достаточно умно, даже солидно, обнаруживали въ авторѣ основательныя познанія по русской литературѣ, несомнѣнную личную добросовѣстность. Всѣ эти добродѣтели критику *Отечественныхъ Записокъ* превратили въ своего рода оффиціальный корректный отдѣлъ. Ежемѣсячный долгъ предъ подписчиками уплачивался сполна, большими статьями и многочисленными рецензіями. Но самый чуткій читатель врядъ ли могъ за цѣлые годы встрѣтить здѣсь какую-либо волнующую оригинальную идею, почувствовать трепетъ живой человѣческой души въ невозмутимо и размѣренно льющемся іотокѣ общихъ истинъ и банальныхъ приговоровъ.

Иныхъ результатовъ нельзя было ожидать ни по духу, управлявшему журналомъ, ни по личности его главнаго литературнаго судьи. Краевскій, столь блистательно ознаменовавшій свое публицистическое поприще, конечно, не могъ явиться вдохновителемъ на смѣлыя и самостоятельныя кампаніи. Вся задача издателя ограничивалась искусствомъ лавировать между Сциллой цензурныхъ строгостей и Харибдой либеральныхъ подписчиковъ. Издательство выходило сплошнымъ компромиссомъ, тонкимъ коммерческимъ экивокомъ, съ полной готовностью, во всякую минуту, податься въ сторону Сциллы, а Харибду удовлетворить какимъ-нибудь восклицательнымъ знакомъ или чувствительнымъ вздохомъ съ гражданскимъ оттѣнкомъ.

Журналъ въ теченіе многихъ лѣтъ ловко выполнялъ эту программу двусторонняго фронта и пребывалъ въ званіи либеральнаго органа. Направленіе, пожалуй, дѣйствительно можно было считать либеральнымъ, въ смыслѣ неограниченной терпимости ко всѣмъ запросамъ времени, къ внушеніямъ Бутурлинскаго комитета и къ неумиравшимъ проблескамъ самостоятельной общественной мысли. Впослѣдствіи критика шестидесятыхъ годовъ отдастъ должное межеумочному либерализму журнала, вспоеннаго потомъ и кровью Бѣлинскаго, но пока онъ могъ совершать акробатическія упражненія невозбранно и даже съ одобренія почтенной публики.

До какой степени психологія Дудышкина отличалась гибкостью и тактичностью, показываютъ его успѣхи въ редакціи журнала. Краевскій сдѣлалъ его соредакторомъ и соиздателемъ, раздѣляя съ нимъ труды и доходы. Никакая междоусобная брань не нарушала добраго согласія. Оно могло омрачаться только постепеннымъ упадкомъ журнала одновременно съ проясненіемъ горизонта надъ русской литературой.

Дудышкинъ окончилъ курсъ въ петербургскомъ университетѣ. Съ юныхъ лѣтъ ему, сыну провинціальнаго разорившагося купца, пришлось вынести не мало лишеній. Въ Петербургѣ ему удалось отдохнуть благодаря знакомству съ семьей Майковыхъ. Онъ весьма часто посѣщалъ ихъ домъ, проводилъ много времени въ художественно-литературной атмосферѣ, учился привычкамъ культурнаго просвѣщенаго общества и впослѣдствіи Валеріану Майкову былъ обязанъ началомъ своей карьеры: Майковъ ввелъ его въ *Отечественныя Записки*.

До сотрудничества въ журналѣ Дудышкинъ пробавлялся уроками и переводами, неудачными и совершенно не сулившими ему литературной славы. Рекомендація, а потомъ быстрая смерть Майкова открыли, наконецъ, широкую дорогу. Статья о Фонвизинѣ— первый большой опытъ Дудышкина: она довольно точно характеризуетъ его личность и талантъ.

Бѣлинскій назвалъ статью «превосходною»: критикъ обнаружилъ свою обычную снисходительность къ литературнымъ дебютантамъ, подающимъ надежды. На самомъ дѣлѣ статья весьма обыкновеннаго содержанія, даже для 1847 года. Она открываетъ длинный рядъ произведеній особаго литературно-критическаго жанра, чрезвычайно популярнаго въ журналистикѣ по смерти Бѣлинскаго. Это—историко-литературное изслѣдованіе, а не критика. Здѣсь исключительную роль играютъ фактическія свѣдѣнія автора, и почти незамѣтны его личныя сужденія. Онъ достаточно *сообщаетъ* и почти совсѣмъ *не разсуждаетъ*. Критика превращается въ историческія справки или докладныя записки. Нѣкоторые читатели могли признать ее очень дѣльной. Но эта дѣльность не мѣшала оставаться ей крайне безжизненной и совершенно безплодной именно на томъ пути, какой только и могла преслѣдовать русская журналистика наканунѣ шестидесятыхъ годовъ: на пути къ развитію общественной культурной мысли.

Именно эта цѣль исчезла безслѣдно изъ міра руководящей печати, лишь только замолкъ голосъ Бѣлинскаго. Журналисты сбро-

сили съ себя отвѣтственное бремя руководителей и, при извѣстныхъ условіяхъ, творцовъ общественнаго мнѣнія. Можно, конечно, вспомнить о грозныхъ препятствіяхъ, безъ конца загромождавшихъ эту дорогу. Но мы снова повторяемъ: препятствіямъ было естественно оказывать пресѣкающее, *отрицательное* вліяніе на литературу, ихъ *положительные* плоды всецѣло зависѣли отъ доброй воли самихъ литераторовъ. Они *не могли* многаго писать, но *могли* также многое и не писать изъ того, что мы читаемъ на страницахъ передовыхъ журналовъ конца сороковыхъ и начала пятидесятыхъ годовъ.

Кто, напримѣръ, заставлялъ Дудышкина восхвалять вѣкъ Екатерины II, какъ вѣкъ неограниченной славы и могущества во внѣшней и внутренней политикѣ? Именовать его «вѣкомъ *маленькихъ заблужденій* и сплошныхъ побѣдъ и блеска? Мы знаемъ, цензура не допустила бы напоминаній о пугачевщинѣ, о ней можно и не упоминать, но не позволительно было многое забывать, безъ передышки изумляться «величію и благодѣтельнымъ результатамъ» внутренняго управленія Россіи при императрицѣ, въ списокъ великихъ людей заносить даже Орловыхъ. Авторъ, несомнѣнно, свѣдущій человѣкъ: какъ же онъ могъ начертать слѣдующія строки:

«Честь и слава вѣку Екатерины, въ который каждый о себѣ говорилъ: «я человѣкъ!»

Мыслимо ли было наслѣднику Бѣлинскаго настаивать преимущественно на военныхъ успѣхахъ Екатерины и рѣчь о «геніальныхъ людяхъ» ея царствованія ограничивать генералами и даже просто «баловнями фортуны»? Отдавалъ ли критикъ ясный отчетъ въ своихъ словахъ, прославляя *Наказъ*, какъ *практическій* законодательный памятникъ и сравнивая его въ этомъ смыслѣ съ морскими, воинскими и административными уставами Петра? Могъ ли студентъ, хотя бы поверхностно знакомый съ русской исторіей эпохи Екатерины, праздную компиляцію временной поклонницы энциклопедистовъ называть «краеугольнымъ камнемъ для исторіи просвѣщенія Россіи»?

Задалъ ли авторъ самому себѣ простѣйшій вопросъ, въ какихъ именно людяхъ и явленіяхъ выразилось это *философское* просвѣщеніе? Онъ разсказываетъ, какъ и съ какими побужденіями знатные подданные Екатерины запасались французскими книжками. Они являлись къ книгопродавцу и заказывали цѣлыя библіотеки. На вопросъ, какихъ собственно книгъ имъ требуется, слѣдовалъ отвѣтъ на французскомъ языкѣ:

«Вы знаете это лучше меня. Это ваше дѣло. Толстыя книги внизъ, потоньше, на верхъ: такъ именно онѣ разставлены у императрицы».

На этомъ устройствѣ можно было и прекратить просвѣщеніе и всякую философію. Такъ и поступали не только какіе-нибудь Орловы, Зубовы и Потемкины, но даже Фонвизины. Дудышкинъ читалъ заграничныя письма автора *Недоросля*. Въ этихъ письмахъ нелитературной брани подвергнуты знаменитѣйшіе французскіе философы. Критикъ не понимаетъ источника этихъ выходокъ и готовъ приписать ихъ какимъ угодно національнымъ добродѣтелямъ сатирика, только не подлинной причинѣ. Эта наклонность все покрывать лакомъ и умащать цвѣтами чиновничьяго славословія основывается у критика на рѣшительной и многообѣщающей истинѣ: недуги времени иногда безвыходны. Этого сознанія достаточно. Кѣмъ и чѣмъ создана эта безвыходность, кто заражаетъ время недугами и кто долженъ бы лѣчить ихъ? Эти вопросы не входятъ въ программу публициста. Ему и на умъ не придетъ разстраиваться отъ какихъ-то несчастныхъ «случайностей» или неотразимыхъ необходимостей и онъ съ легкимъ сердцемъ изобразитъ: «Императрица покровительствовала каждому рождающемуся таланту въ Россіи»... Надо полагать, Новиковъ и Радищевъ или не таланты, или родились не въ Россіи.

Послѣ этихъ публицистическихъ данныхъ мы можемъ предугадать психологическую проницательность критика. То и другое связано неразрывно и публицистъ извѣстнаго направленія въ сущности только развитіе моралиста. Нашъ критикъ чрезвычайно краснорѣчиво обнаружилъ свой талантъ мимоходомъ, характеризуя резонеровъ Фонвизина. По его мнѣнію, Чацкій точь-въ-точь такой же Стародумъ комедіи Грибоѣдова, какого для своихъ надобностей создалъ Фонвизинъ [70]).

Это отождествленіе обличаетъ не столько психологическую близорукость критика, сколько его непониманіе извѣстныхъ нравственныхъ и общественныхъ явленій. Чацкій для него искусственное и мертворожденное лицо, потому что оно не желаетъ признавать безвыходности недуговъ своего времени, потому что оно воплощаетъ борьбу и протестъ, все равно, какъ бы ни были ограниченны предѣлы и силы этой воинствующей энергіи. Критикъ не можетъ сочувствовать ей и, слѣдовательно, не въ силахъ понимать.

---

70) *Отеч. Зап.*, т. 53, 1847, стр. 24, 29, 32 etc. т. 54, 24, 46.

Съ годами это настроеніе нисколько не смягчалось. *Отечественныя Записки*, показавшія рѣдкостную способность примиряться и преклоняться, не могли простить другимъ желанія по возможности стоять во весь ростъ и съ сохраненіемъ человѣческаго достоинства.

Десять лѣтъ спустя Дудышкинъ неустанно преслѣдовалъ природу Чацкаго, гдѣ бы она ни встрѣчалось на его журнальномъ пути. По поводу *Повѣстей и разсказовъ* Тургенева онъ написалъ своего рода сатиру на русскихъ людей, страдающихъ «недовольствомъ». Какое именно «недовольство» непріятно критику, мы узнаемъ вполнѣ опредѣленно: недовольство «пошлостью» и «самодовольствомъ». Было бы, разумѣется, странно, если бы умный человѣкъ, даже не писатель, взялъ на себя крайне рискованную обязанность защищать эти распространеннѣйшія явленія русской дѣйствительности. Критикъ достаточно осмотрителенъ и политиченъ: онъ понятія пошлости и самодовольства украшаетъ *трудомъ* и *дѣятельностью*. Онъ смѣется надъ лишними людьми и идеалистами, бѣжавшими на корабляхъ при первомъ попутномъ вѣтрѣ въ чужія края изъ своего отечества. А здѣсь оставались именно подвижники труда, жизни, любви.

Конечно, при такой философской и общенравственной постановкѣ вопроса не можетъ быть сомнѣнія въ славѣ тружениковъ и позорѣ бѣглецовъ. «Все трудящееся, работающее было пошло», такъ восклицали тунеядцы, по свѣдѣніямъ критика,—и уже этимъ восклицаніемъ побуждали потомство увѣнчивать ихъ жертвъ вѣнками подвижничества и гражданскаго мужества.

Очень удачный оборотъ, но на горе критика, ни одного вопроса изъ исторіи общества нельзя рѣшать отвлеченно, путемъ идеальной морали и чистой идеологіи. Мы обязаны доподлинно знать, кто именно бѣжалъ и кто оставался, отъ чего и отъ кого бѣжали и что̀ дѣлалось? Мы обязаны знать имена и личности и точно опредѣлить дѣла, тогда только возъимѣемъ право подводить итоги и набрасывать широкія общія характеристики.

И попробуйте выполнить это нравственно-обязательное и логическое условіе, картина немедленно мѣняется. Ходить не слишкомъ далеко. Чацкій сѣлъ въ карету, а Фамусовъ остался въ своемъ салонѣ: кто изъ нихъ дѣйствительно пошлъ, кто заслуживаетъ нашего сочувствія, какія дѣла любви совершены оставшимся и чѣмъ онъ можетъ посрамить бѣжавшаго? Намъ незачѣмъ идеализировать бѣглеца, согласимся даже, что и въ самомъ дѣлѣ нѣтъ

никакой заслуги предъ отечествомъ сѣсть въ карету и отправиться на теплыя или кислыя воды. Но Молчалинъ, напримѣръ, несомнѣнно не убѣжитъ, напротивъ онъ пришелъ бы въ отчаяніе, если бы порядки въ московскихъ канцеляріяхъ и гостиныхъ стали другими. Неужели же поэтому онъ—соль русской земли? Пусть Чацкій не герой и не гражданинъ, но и Фамусовы съ Молчалиными еще менѣе герои и граждане. Правда, они работаютъ и даже трудятся, но гдѣ же развивается *жизнь* и торжествуетъ *любовь*, какъ плоды этихъ трудовъ? Не лучше ли было бы для жизни и любви, если бы Фамусовы совсѣмъ перестали подписывать бумаги, а Молчалины дѣлать доклады и награжденья брать?

Очевидно, критикъ перепуталъ, и притомъ намѣренно, совершенно различныя понятія и явленія. Вмѣсто того, чтобы осудить *форму* борьбы съ пошлостью, онъ осудилъ самую борьбу и отождествилъ завѣдуемую пошлость съ высокой *идеей* труда, онъ одновременно унизилъ людей благородныхъ стремленій, хотя и печальной воли, и возвысилъ дѣльцовъ и проходимцевъ, шарлатановъ и эгоистовъ. Вѣдь такіе именно труженики и заставляли лишнихъ людей бѣжать отъ родной жизни: такъ, по крайней мѣрѣ, представляла вопросъ литература, вызвавшая критика на разсужденія.

Она строго отличала разныя породы лишнихъ и разочарованныхъ, рядомъ съ Печориными она спѣшила указать на Грушницкихъ и даже, можетъ быть, съ незаслуженной жестокостью казнила ихъ. И раньше критика понимала намѣренія художниковъ. Бѣлинскій, лично отнюдь не способный на безплодное, чисто-отрицательное человѣконенавистничество «героя нашего времени», понялъ органическую силу личности и распозналъ горечь и безъисходность страданія въ надменномъ сердцѣ. Теперь критика не желаетъ знать ни тонкихъ оттѣнковъ, ни бьющихъ въ глаза отличій. Печоринъ просто соблазнитель, Донъ-Жуанъ, напыщенный бѣглецъ и тунеядецъ. Онъ ничѣмъ не лучше любого кавалера въ военномъ мундирѣ, грозы наивныхъ провинціальныхъ дѣвицъ.

Этого мало. Безпощадныя чувства критика не останаливаются на герояхъ. Они посягаютъ на самихъ авторовъ и слава Лермонтова подвергается сильнѣйшей опасности предъ именемъ Баратынскаго, изобразившаго просто пошлаго искателя приключеній. Наконецъ, критикъ дѣлаетъ послѣдній шагъ и говоритъ о ненавистномъ героѣ: «онъ могъ быть безнравственнымъ подъ однимъ условіемъ: держать въ себѣ замкнутыми великія силы». Тогда

ему все прощалось. Если же не было подозрѣнія, что въ немъ заперты необыкновенныя силы—онъ пропащій человѣкъ: его забросаютъ грязью. Первый могъ ничего не дѣлать; а этотъ что ни дѣлай, какое благо ни приноси—онъ пошлый человѣкъ, въ немъ ничего нѣтъ идеальнаго».

Гдѣ, въ какомъ произведеніи русской литературы, критикъ нашелъ подобное *авторское* воззрѣніе? Чей великій поэтическій талантъ уполномочилъ его на рѣшительный выводъ о совершенно извращенныхъ нравственныхъ представленіяхъ нашей литературы въ какую бы то ни было эпоху? Какой поэтъ заклеймилъ презрѣніемъ даже благородныхъ и мужественныхъ дѣятелей только за то, что въ нихъ не подозрѣвались «замкнутыя великія силы»? Напротивъ, литература представляла богатую галлерею комедіантовъ разочарованія и мнимыхъ идеальныхъ порывовъ, и если выражала свое сочувствіе лишнимъ людямъ, отнюдь не за ихъ тунеядство и не въ поношеніе чужому трудолюбію.

Дудышкинъ, естественно, ополчается и на критику, рѣшавшую иначе поставленный вопросъ. Писатель поумнѣвшихъ *Отечественныхъ Записокъ* дѣятельно опровергаетъ взгляды Бѣлинскаго и слѣдуетъ въ этомъ случаѣ популярнѣйшей модѣ описываемой эпохи. Въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ Бѣлинскій будто бѣльмо на глазу у русской критики. Оффиціально о немъ писать запрещено, его преемники пойдутъ дальше запрещенія, они станутъ противъ него какъ разъ за тѣ самыя свойства его личности и таланта, какія могли бы заставить ихъ почувствовать хотя бы нѣкоторый конфузъ за излишнее усердіе.

Имъ ненавистна непримиримость съ дѣйствтельностью. Человѣкъ долженъ уничтожить разногласіе мысли и жизни: это ихъ правило. Онъ «долженъ найти средства примиренія», иначе онъ никогда не станетъ «дѣйствительно мыслителемъ». Дудышкинъ припоминаетъ даже философію Карамзина, какъ учительницу чисторусской мудрости, и стремится доказать, что Тургеневъ и творецъ *Исторіи Государства Россійскаго* народность и космополитизмъ понимаютъ совершенно одинаково. Критикъ усиливается другихъ пристегнуть къ возможно болѣе раннему періоду русской общественной мысли, потому что самъ отступаетъ далеко вспять сравнительно съ дѣятельностью своего предшественника. Сочиненіе Карамзина вдругъ опять превращается въ кодексъ національной гражданственности, а *положительное* творчество Пушкина, по

мнѣнію критика, характеризуется пристрастіемъ поэта къ русскому древнему міру [71]).

Развѣ всѣ эти идеи не гармоническое дополненіе къ манифесту Краевскаго и развѣ возможно было изъ этого лагеря ждать живого движенія и хотя бы даже вдумчивой и смѣлой литературной критики? Дудышкинъ, несомнѣнно, искрененъ, и эта искренность являлась для журнала еще болѣе зловѣщимъ признакомъ, чѣмъ политика издателя. Критику случалось даже ссылаться на Бѣлинскаго, все равно, какъ онъ могъ бы опереться на нѣкоторыя его статьи и въ вопросѣ о примиреніи съ дѣйствительностью. Но эти ссылки входили клиньями въ разсужденія самого автора.

Мы, напримѣръ, читаемъ о необходимости *идеи* въ литературномъ произведеніи. Рѣчь очень настойчива и подкрѣпляется длинной выпиской изъ статьи Бѣлинскаго. Почему Бѣлинскій попалъ въ такую честь—понятно: статья, хотя бы и съ похвалой философіи Карамзина, пишется уже въ то время, когда нѣтъ настоятельной нужды примиряться и укрощаться и имя стараго критика снова становится во главѣ литературнаго движенія. Въ другомъ, болѣе молодомъ и даровитомъ кружкѣ журналистовъ оно станетъ боевымъ кличемъ и знаменемъ. Не отставать же *Отечественнымъ Запискамъ*, имѣющимъ возможность вспоминая Бѣлинскаго, вспоминать себя самихъ.

И Дудышкинъ воюетъ съ теоріей чистаго искусства, довольно ловко отождествляетъ ее съ идеей индифферентизма въ вопросахъ жизни, съ шаткимъ представленіемъ о добрѣ и злѣ. Онъ негодуетъ на Писемскаго, не знающаго *цѣли* въ своемъ творчествѣ, и приходитъ къ заключенію: «художникъ безъ идеи быть не можетъ» [72]).

Все это прекрасно, но вопросъ только намѣченъ. Идею понимать можно весьма разнообразно, слить ее просто съ извѣстнымъ смысломъ произведенія, т. е. опредѣленнымъ продуманнымъ содержаніемъ или придать ей общественную или политическую окраску. Трудно представить талантливаго писателя, сочиняющаго совершенно безсознательно, поющаго подобно птицѣ. *О такомъ* чистомъ искусствѣ не стоитъ и толковать. Также не заслуживаетъ особенной защиты и идея, понятая какъ очевидный *смыслъ* творчества. Дудышкинъ, повидимому, такъ и представлялъ идею.

---

[71]) *Отеч. Записки.* 1857, январь, стр. 5, 21, 25 etc.

[72]) *Ib.*, апрѣль, стр. 59, 61, 62 etc.

Онъ нашелъ ее въ раннихъ разсказахъ гр. Толстого. Она состоитъ въ преслѣдованіи всего мишурнаго, ложнаго, неестественнаго и въ прославленіи лучшихъ свойствъ простого человѣка [73]).

Въ высшей степени смутная идея! Она можетъ повести къ многочисленнымъ, трудно разрѣшимымъ недоразумѣніямъ. Гр. Толстой своей позднѣйшей дѣятельностью блистательно доказалъ, какъ можетъ быть капризно и нетерпимо понятіе о ложномъ и до какой степени искусственна идея правды и простоты. Давать такія общія истины въ полное распоряженіе чисто художественной натурѣ и ждать поучительныхъ нравственныхъ результатовъ отъ ея вдохновеній, значитъ не понимать и не цѣнить *идеи*. Критика мертваго періода съ неустаннымъ усердіемъ восхваляла независимость литературной дѣятельности гр. Толстого... На этомъ восхваленіи ей слѣдовало остановиться и не навязывать молодому писателю идейности, въ чемъ онъ былъ совершенно неповиненъ.

Быть идейнымъ художникомъ — значитъ быть художникомъ-мыслителемъ, а не только художественнымъ талантомъ, не лишеннымъ общечеловѣческаго здраваго смысла и логики. Такимъ идейнымъ писателемъ гр. Толстой никогда не былъ. Онъ могъ попеременно творить и резонерствовать, внушенія своей поэтической натуры перемѣшивать съ чисто-разсудочными комментаріями и трактатами, т. е. дѣлать два совершенно различныхъ дѣла, отнюдь не представляющихъ цѣльнаго акта вдохновеннаго творчества. Но мыслить образами ему не дано, такъ же какъ и мыслить идеями онъ всегда могъ только въ весьма слабой, поверхностной и крайне запутанной формѣ. Въ чисто-отвлеченномъ мышленіи порадоксальность подчасъ выкупаетъ основную немощь и смуту мысли, въ художественномъ произведеніи — непримиримый разладъ между идеологіей и творчествомъ до боли мечется въ глаза.

Но Дудышкинъ, ссылаясь даже на Бѣлинскаго и унижая Писемскаго, все-таки открылъ въ гр. Толстомъ идейнаго художника. Зато въ Тургеневѣ онъ усмотрѣлъ почти исключительно мыслителя только «съ инстинктомъ поэтической красоты» и «художественную отдѣлку» повѣстей призналъ «самой слабой стороной» тургеневскаго таланта...

Можно ли до такой степени страдать критическимъ дальтонизмомъ? Отъ другого современнаго критика мы услышимъ нѣчто

---

[73]) *Отеч. Зап.* 1855 г., декабрь.

совершенно обратное о Тургеневѣ, какъ о поэтѣ по преимуществу. Краснорѣчивый примѣръ смуты, царствовавшей даже въ руководящихъ сужденіяхъ критики!

Овцы будто очутились безъ пастыря и не знали, по какому направленію идти. Имѣя предъ глазами текстъ учителя, они не понимали истиннаго смысла словъ. Произнося приговоры надъ самыми ясными и крупными талантами эпохи, они сбивались и противорѣчили себѣ въ нагляднѣйшихъ фактахъ.

Смута шла еще дальше.

Взгляды критиковъ съ теченіемъ времени, нельзя сказать мѣнялись, а умножались чуждыми идеями, раньше отвергнутыми и осужденными. Происходило это независимо отъ личнаго идейнаго развитія критиковъ, а исключительно подъ вліяніями внѣшней атмосферы. Мы могли замѣтить подобное явленіе въ статьяхъ Дудышкина, еще ярче оно скажется въ многолѣтней и очень плодовитой критикѣ Дружинина. И показать его можно вовсе не на какихъ-либо тонкостяхъ эстетики, а на судьбѣ самого простого вопроса о значеніи и талантѣ Бѣлинскаго.

IX.

Дружининъ одинъ изъ баловней писательскаго счастья. Правда, потомство имъ мало интересуется и восьмитомное собраніе сочиненій когда-то популярнаго и разносторонняго таланта остается въ пренебреженіи даже у самыхъ просвѣщенныхъ русскихъ читателей.

На несправедливость такого отношенія нельзя пожаловаться. Дружининъ врядъ ли можетъ научить современную публику какимъ-либо плодотворнымъ истинамъ, не доставитъ и художественнаго удовольствія.

Совершенно иное положеніе занималъ Дружининъ полвѣка тому назадъ.

Мы знаемъ отзывы Бѣлинскаго; не менѣе сочувственно встрѣтилъ будущаго критика и славянофильскій лагерь. Григорьевъ, звѣзда новаго славянофильства, съ особеннымъ удовольствіемъ и неоднократно говоритъ о Дружининѣ. Онъ не раздѣляетъ слишкомъ благосклонныхъ чувствъ Бѣлинскаго къ *Полинькѣ Саксъ*, но зато онъ безпрестанно воздаетъ хвалы Дружинину-критику.

Дружининъ — «самый образованный и самый умный изъ нашихъ критиковъ», онъ одаренъ чуткостью и тонкостью, онъ

авторъ лучшихъ статей о Пушкинѣ «за послѣднее время», т. е. за пятидесятые годы, онъ написалъ блестящую статью о Тургеневѣ [74]).

Другой критикъ москвитянинской арміи Алмазовъ возмѣстилъ суровость своего товарища и восхвалилъ Дружинина, какъ автора романовъ; онъ большой знатокъ человѣческаго сердца, онъ перечувствовалъ и много думалъ о чувствахъ, тонко понимаетъ любовь и дружбу [75]).

Очевидно, нашъ писатель долженъ былъ считать свою карьеру блестящей, тѣмъ болѣе, что онъ смотрѣлъ на нее, какъ на любительское поприще.

По происхожденію сынъ важнаго чиновника, по образованію — воспитанникъ пажескаго корпуса, по службѣ — лейбъ-гвардейскій офицеръ, потомъ чиновникъ военнаго министерства, — Дружинина, казалось, внѣшняя судьба удаляетъ отъ литературы [76]). Но врожденная наклонность создала изъ него сначала беллетриста, потомъ публициста и критика, превратила его даже въ редактора *Библіотеки для Чтенія*.

Способности, конечно, весьма важный залогъ для дѣятельности писателя, но онѣ далеко не исчерпываютъ вопроса, особенно въ литературѣ новаго времени, и именно въ публицистической. Чисто-литературное дарованіе, т. е. хорошій стиль, извѣстная наблюдательность, бойкость ума могутъ создать множество разнообразныхъ писательскихъ ступеней, отъ уличнаго фельетониста до полноправнаго руководителя общества. Если для поэтическаго таланта безусловно необходимо нравственное содержаніе, а для художественнаго генія — чуткость къ явленіямъ общечеловѣческой и общественной жизни, публицистъ безъ руководящаго строго обдуманнаго и религіозно-воспринятаго принципа скорѣе отрицательное явленіе, чѣмъ дѣйствительное пріобрѣтеніе для какой бы то ни было бѣдной литературы. Предъ внѣшнимъ міромъ, предъ всей окружающей дѣйствительностью онъ долженъ явиться съ богатымъ личнымъ нравственнымъ міромъ, съ неограниченно отзывчивой душой и мучительно вдумчивой мыслью. Пусть как-

---

[74]) Григорьевъ. *Мои литературныя и нравственныя скитальчества*. *Эпоха*, 1864, май, стр. 150. *Сочиненія*, стр. 60, 238, 307.

[75]) *Сочиненія*. М. 1892. III, 645.

[76]) Біографія Дружинина у Венгерова. *Критико-біографическій словарь*, томъ V, Спб. 1897. Кирпичниковъ. *Очерки по исторіи новой русской литературы*. Спб. 1896.

дый фактъ встрѣтитъ въ немъ отвѣтный откликъ, пусть одинаково и мелкія и крупныя явленія жизни вызываютъ въ немъ безкорыстный процессъ идей, направленный къ одной истинѣ и справедливости. Это будетъ процессъ неустаннаго развитія ума и нравственнаго чувства, выработка зрѣлой энергіи и умѣнья вносить въ жизнь опыты и завоеванія своей личности.

Съ какими же силами и задачами подошелъ будущій критикъ къ тяжелой русской дѣйствительности своего времени?

Онъ началъ повѣстью и имѣлъ блестящій успѣхъ, преимущественно среди дамской публики. Очевидецъ описываетъ довольно картинно положеніе писателя на зарѣ его славы.

«Очень юный гвардейскій офицерикъ, смазливый, деликатный съ вѣчно опущенными глазами, вѣчно застѣнчивый и пугливый... Дружинину открыты были двери всѣхъ гостиныхъ, салоновъ и будуаровъ... Каждая дама того времени считала за счастье увидѣть Дружинина, хотя украдкой взглянуть на этого милаго человѣка, дорогаго адвоката женскаго сердца, а познакомиться съ нимъ, съ авторомъ *Полиньки*, для каждой молодой дамы и дѣвицы было верхомъ блаженства» [77]).

Предсказаніе Бѣлинскаго, слѣдовательно, исполнялось. Но всякій успѣхъ налагаетъ на своего героя и свою жертву, извѣстную отвѣтственность. Дружининъ, по слѣдамъ Жоржъ Зандъ, очень трогательно защищалъ права женскаго сердца, рисовалъ мужа, идеальнаго джентльмэна, выдающаго собственную жену замужъ за любимаго ею человѣка. Полинька Саксъ являлась, слѣдовательно, новой героиней, но какъ большинство героинь этой породы, рѣшительно не желала знать идейной и философской основы своего героизма. Ея мужъ, страдающій отъ направленія жены, напротивъ, поклонникъ французской романистки. Онъ желаетъ при помощи романовъ Жоржъ Зандъ просвѣтить Полиньку. Но она «зѣвала, зѣвала и бросила книги съ отвращеніемъ» [78]).

Петербургскимъ дамамъ естественно было сочувствовать даже такой представительницѣ эмансипаціи, но для насъ любопытны чувства автора. Онъ явный почитатель «генія» Жоржъ Зандъ и въ то же время выбираетъ въ героини своего романа ничтожнѣйшее въ нравственномъ отношеніи существо, окружая его всѣми узорами обязательной кавалерской любезности. Очевидно, идеи

---

[77]) А. В. Дружининъ. Изъ воспоминаній стараго журналиста А. Старчевскаго. *Наблюдатель*. 1885, апрѣль, стр. 115.

[78]) *Сочиненія*. Спб. 1865, I, 5.

Жоржъ Занда въ ихъ серьезномъ общественномъ значеніи не занимали русскаго беллетриста и онъ слѣдовалъ гораздо больше литературной модѣ, торжествующему современному направленію критики, чѣмъ личному убѣжденію. Плохой признакъ для будущаго: чисто-литературное увлеченіе такъ же легко можетъ быть забыто, какъ и усвоено.

Свѣтскій успѣхъ съ самаго начала наложилъ на новаго беллетриста своего рода узы. Онъ непремѣнно долженъ быть *интереснымъ*, приспособлять свои творенія для дамскаго чтенія, возможно чаще острить, блистать разнообразіемъ, оригинальностью, переполнять свои страницы анекдотами, каламбурами, вообще салонными шалостями, все равно, о чемъ бы ни шла рѣчь и въ какой бы формѣ ни излагались чувства мысли,—въ формѣ ли веселаго фельетона или критической статьи. Авторъ долженъ нравиться и развлекать: иначе дамы перестанутъ открывать ему двери салоновъ и будуаровъ.

Русская литература уже пережила однажды періодъ подобной кавалерской, беззаботно-порхающей словесности. Карамзинъ—журналистъ, единственной цѣлью своей полагалъ «занимать публику пріятнымъ образомъ, не оскорбляя вкуса ни грубымъ невѣжествомъ, ни варварскимъ слогомъ». Совершенно такой же идеалъ намѣтилъ и авторъ *Полиньки Саксъ*. Это—воскрешеніе карамзинской школы со всей ея беззаботностью на счетъ просвѣтительныхъ задачъ литературы, съ ея чувствительной угодливостью предъ праздными и умственно-неповоротливыми сускрибентами, съ ея пристрастіемъ къ пустякамъ и курьезамъ. Это одна сплошная «смѣсь» и одинъ неограниченно царствующій фельетонъ съ придуманно-пестрой и преднамѣренно-забавной болтовней. Сходство съ допотопной салонной словесностью шло еще дальше, до увлеченій Дружинина западной литературой. Онъ, конечно, зналъ неизмѣримо больше Карамзина, усердно читалъ журналы и книги на англійскомъ языкѣ, составилъ рядъ до сихъ поръ полезныхъ компиляцій объ англійскихъ писателяхъ.

Но въ общемъ его и здѣсь больше тянуло къ какой-нибудь достопримѣчательности, мѣщански поучительной и любопытной чертѣ, чѣмъ къ глубокому культурному и общественному смыслу изображаемыхъ лицъ и фактовъ.

Современникъ очень зло называетъ Дружинина пажемъ—всюду, въ обществѣ, въ кругу дамъ, въ литературѣ [79]). Это, можетъ быть,

[79]) *Наблюдатель. Ib.*, стр. 119.

не совсѣмъ заслуженно, но что Дружининъ не былъ писателемъ по натурѣ и по всему складу своего ума, не можетъ быть сомнѣнія. Для него существеннѣйшіе интересы литературы были довольно безразличны, онъ просто не сознавалъ ихъ, не чувствовалъ ни достоинства, ни позора того самаго поприща, гдѣ подвизался столько лѣтъ. Онъ до конца оставался литераторомъ *in partibus infidelium*, весело пописывая и почитывая гдѣ угодно и при какихъ бы то ни было обстоятельствахъ. Мало того. Случались обстоятельства, когда именно Дружининъ оказывался «драгоцѣннѣйшимъ сотрудникомъ» и даже въ такихъ журналахъ, какъ *Современникъ*.

Незамѣнимость будущаго критика обнаружилась какъ разъ въ «эпоху цензурнаго террора». Какимъ образомъ это было открыто, намъ разсказываетъ одинъ изъ близкихъ свидѣтелей всей дружининской дѣятельности.

Сначала онъ говоритъ трагически о «громахъ» сорокъ восьмого года, грянувшихъ надъ литературой и просвѣщеніемъ, потомъ описываетъ растерянность литераторовъ и просвѣтителей и изображаетъ, наконецъ, оригинальное общество, съумѣвшее спасти хорошее настроеніе духа подъ громомъ и бурями. Даже невзгода особенно поощрила нашихъ героевъ и они принялись жить припѣваючи среди всеобщаго болѣзненнаго стона или мрачнаго молчанія.

Кружокъ молодыхъ людей учредилъ нѣчто въ родѣ маленькой домашней академіи въ стилѣ Возрожденія. Бесѣды отличались больше чѣмъ непринужденностью и могли часто соперничать съ новеллами Декамерона. Члены академіи наперерывъ щеголяли другъ передъ другомъ пародіями, стихотвореніями и прозаическими шутками, «уморительными» анекдотами. Уморительность, разумѣется, создавалась пикантнымъ острословіемъ и соблазнительнымъ букетомъ юнаго вдохновенія. Скоро составилась обширная литература, получившая въ кружкѣ наименованіе *Чернокнижія*. Авторы задумали связать плоды своего творчества одной нитью и измыслили похожденія праздныхъ чудаковъ, шатающихся по Петербургу и переживающихъ разныя веселыя приключенія. Академія не страдала честолюбіемъ и не намѣрена была предавать гласности свои труды.

Иначе рѣшилъ Дружининъ.

Упражненія «чернокнижниковъ» онъ перенесъ на страницы *Современника*. Самъ ли онъ додумался до этого рѣшенія или сообща съ Панаевымъ—издателемъ журнала и участникомъ «чернокнижія»—вопросъ не важный, но въ высшей степени важно вни-

маніе, оказанное первостепеннымъ и передовымъ журналомъ скарроновскому творчеству петербургскихъ юношей. Некрасовъ также принималъ усердное участіе въ фельетонахъ, вносилъ свою лепту и извѣстный намъ Милютинъ. Сотрудничество это касалось, по крайней мѣрѣ, трехъ первыхъ главъ *Сентиментальнаго путешествія Ивана Чернокнижникова по петербургскимъ дачамъ*, и скоро, надо думать, прекратилось [80]). Другіе члены кружка энергично стали протестовать противъ появленія въ печати такого рода статей, но Дружининъ и *Современникъ* полагали иначе, и *Путешествіе* тянулось цѣлый годъ. Впослѣдствіи въ другихъ изданіяхъ оно смѣнилось похожденіями «Петербургскаго туриста»— «увеселительными» или даже «увеселительно-философскими очерками».

Ничего, конечно, нельзя было бы возразить противъ фельетоннаго отдѣла журнала. Вопросъ не въ фельетонѣ и не въ остроумныхъ настроеніяхъ автора, а въ предметахъ его остроумія и въ его авторскихъ цѣляхъ. Чернокнижниковъ недаромъ вызвалъ протестъ даже у поставщиковъ веселаго матеріала: его разсказы о «прелестной шалуньѣ съ сигарой въ пунсовыхъ губкахъ», о знакомствѣ нѣкоего петербургскаго обывателя съ «дамами-камеліями» и живописное описаніе панны Юзи, мадамъ «или, быть можетъ», мадемуазель Эрнестинъ, врядъ ли служили украшеніемъ литературы [81]). Фельетонистъ вполнѣ окровенно потѣшалъ ту самую публику, какую въ жизни интересовали «жестокіе красавцы» и «иностранныя пѣвицы», и продолжалъ свое дѣло даже въ началѣ шестидесятыхъ годовъ.

Фактъ вполнѣ краснорѣчивый. Онъ неразрывно связанъ съ содержаніемъ всей литературности Дружинина. Писатель приступилъ къ ней вовсе не съ литературными, еще менѣе идейными задачами. Его чрезвычайно свободные переходы изъ одного журнала въ другой, изъ *Современника* Некрасова въ *Библіотеку для Чтенія* Сенковскаго свидѣтельствовали въ лучшемъ случаѣ о дилеттантизмѣ, если просто не о ремесленничествѣ. Дружининъ также будетъ относиться и къ своимъ мыслямъ и взглядамъ, будетъ исправлять ихъ, раскаяваться и совершать этотъ процессъ будто съ квартирой, костюмомъ или обѣденнымъ блюдомъ. Но и здѣсь не лишена интереса одна черта. Перемѣна и раскаяніе потре-

---

[80]) Лонгиновъ. *Вмѣсто предисловія* къ VIII тому *Сочиненій* Дружинина.
[81]) *Сочиненія*. VIII, 500, 511 etc.

буются относительно, напримѣръ, Бѣлинскаго, но предъ лицомъ Сенковскаго Дружининъ останется твердъ и вѣренъ себѣ.

Редакторъ *Библіотеки для Чтенія* сохранитъ свою внушительность и свои достоинства при всяческихъ обстоятельствахъ, также какъ и личное уваженіе нашего критика. О Бѣлинскомъ будутъ высказаны весьма настойчивыя отрицательныя сужденія въ періодъ, неблагопріятный для памяти критика, и будутъ замѣнены другими въ болѣе счастливыя времена. Достаточно было бы одного этого приключенія, чтобы освѣтить истиннымъ свѣтомъ глубину и принципіальность идей Дружинина.

Но онъ, по крайней мѣрѣ, въ теченіе семи лѣтъ занималъ мѣсто самаго авторитетнаго критика въ западническомъ лагерѣ и, мы видѣли, встрѣчалъ одобренія даже у словянофиловъ. Мы обязаны изслѣдовать основы этой авторитетности; она—самое яркое явленіе въ исторіи русской передовой критики за всю промежуточную эпоху отъ смерти Бѣлинскаго до появленія людей шестидесятыхъ годовъ.

X.

Дружининъ являлся драгоцѣннымъ человѣкомъ при извѣстныхъ условіяхъ литературы не только въ качествѣ увеселителя публики, но преимущественно какъ чрезвычайно осторожный и предупредительный литераторъ. Онъ дрожалъ предъ цензурой, готовъ былъ перечеркивать свои статьи при малѣйшемъ подозрѣніи насчетъ цензорскихъ неудовольствій, даже лично просить цензора «просмотрѣть построже» особенно, по его мнѣнію, сомнительныя мѣста въ его писаніяхъ [82]).

Такая предупредительность могла бы показаться невѣроятной, плодомъ чужого злостнаго вымысла. Но, къ сожалѣнію, она не противорѣчитъ прямымъ заявленіямъ Дружинина и особенно настроеніямъ, господствующимъ въ его статьяхъ.

Эти статьи—*Письма иногороднаго подписчика*—печатались въ «Современникѣ» съ 1848 года по 1854-й, за исключеніемъ послѣдняго мѣсяца 1851 года и всего 1852, когда Дружининъ перенесъ ихъ въ *Библіотеку для Чтенія.*

Съ перваго же *Письма* авторъ поспѣшилъ заявить публикѣ о своихъ писательскихъ вкусахъ. Онъ является предъ ней литераторомъ вполнѣ довольнымъ, веселымъ и беззаботнымъ. Онъ радъ,

[82]) *Наблюдатель.* 1885, іюнь, стр. 260.

что полемика, недавно еще, наполнявшая русскую печать, прекратилась, что теперь публика можетъ разсчитывать на однѣ лишь новости и живой фельетонъ. Самъ критикъ въ литературѣ любитъ изображеніе настоящей петербургской жизни—не унылой и бѣдной, а шумной, веселой и блестящей, въ повѣстяхъ изъ провинціальной жизни ищетъ идиллій, «сцену изъ жизни добраго и веселаго помѣщика». Въ жизни все такъ интересно, за исключеніемъ развѣ только «знаменитыхъ писателей»: читать ихъ «какъ-то утомительно», да еще думать «какъ-то не хочется». А все прочее—чрезвычайно забавно, и его надо искать всѣми силами всюду: въ литературѣ и въ дѣйствительности [83]).

И горе журналу и автору, поставляющимъ этотъ матеріалъ въ недостаточномъ количествѣ.

Въ такой-то книжкѣ такого-то журнала «мало забавнаго», у русскихъ авторовъ «напрасно ищемъ мы какихъ-нибудь остроумныхъ замѣтокъ», «бойкой выходки». Все это плохая литература. Она не удовлетворяетъ своему назначенію. Она должна «обильно» доставлять намъ «спокойствіе» и «тихія радости», отрѣшать насъ «отъ плачевной дѣйствительности», создавать произведенія на образецъ гётевскихъ—исполненныя «невозмутимаго, неподражаемаго спокойствія», переносить людей, смирившихся передъ уроками Провидѣнія, въ невозмутимую область изящнаго. Пусть кругомъ царитъ какая угодно смута, пусть отечество дрожитъ отъ грозныхъ опасностей, идеаломъ останется все-таки Гёте съ его полнымъ, совершеннымъ отрѣшеніемъ отъ «плачевной дѣйствительности». Русской словесности, по мнѣнію критика, предстоитъ блестящій путь именно въ этомъ направленіи къ «ароматическимъ цвѣтамъ» [84]).

Она развивается среди спокойствія и ея современное положеніе внушаетъ критику «сладкую увѣренность» въ ея будущемъ. Только пусть она окончательно усвоитъ два правила: успокоиться отъ внутреннихъ раздоровъ и сосредоточитъ свое вниманіе исключительно на прелестяхъ родной жизни и на добродѣтеляхъ русскихъ людей.

Миръ, неограниченное благоволеніе и забавное или усладительное вдохновеніе—вотъ предѣлы національнаго русскаго творчества.

---

[83]) *Сочиненія.* VI, 8, 13, 17, 19.

[84]) *Ib.*, стр. 78, 106, 116, 117, 118.

[85]) *Ib.*, стр. 86, 137, 466, 583.

И авторъ не устаетъ убѣждать русскихъ журналистовъ—оставить свою прежнюю исключительность, излѣчиться отъ запальчивости и нетерпимости, вообще изгнать всякую полемику.

Она прежде всего скучна, совершенно безполезна, «тишина и согласіе» гораздо пріятнѣе и «иногородный подписчикъ» не можетъ безъ веселаго смѣха вспомнить время «забавной нетерпимости» журналовъ,—*Отечественныхъ Записокъ*, *Современника*, *Москвитянина*. «Къ крайнему удовольствію» автора этотъ недугъ сталъ исчезать, и отнынѣ журналисты и редакторы будутъ беречь свое здоровье и заботиться о «веселости духа» [86]).

А путей къ этой цѣли множество. Въ мірѣ дѣйствительности множество пріятностей и неисчерпаемыхъ источниковъ удовольствія, напримѣръ, женщины. Если русскому публицисту недоступны общественные вопросы и даже разговоръ о художественной литературѣ подъ запретомъ, онъ свою статью можетъ превратить въ психологическое изслѣдованіе женскаго сердца и въ любовное объясненіе предъ прекраснымъ поломъ. Сколько чувства, пафоса и познанія жизни можетъ обнаружить онъ въ столь благодарной и поучительной роли! Одно перечисленіе женскихъ добродѣтелей какой эффектъ можетъ представить, въ особенности, если сравнить ихъ съ пороками мужчинъ! Это будетъ чисто-беллетристическая страница, не вошедшая въ чувствительную повѣсть и читательницы будутъ неотразимо завоеваны новымъ жанромъ литературной критики. Она вполнѣ замѣнитъ «десертную часть въ журналахъ», по наблюденіямъ автора, пришедшую за послѣднее время въ упадокъ. Это—«смѣсь», когда-то великолѣпная, теперь скучная [87]).

Дружининъ поддержитъ славу старинныхъ поваровъ. У него имѣется одно блюдо, до чрезвычайности разнообразное. При искусномъ приготовленіи оно можетъ удовлетворить самый прихотливый вкусъ и оказаться неистощимымъ источникомъ веселья. Это—анекдотъ, по истинѣ всецѣлительное средство отъ скуки и непріятныхъ впечатлѣній. И нашъ критикъ широко воспользуется имъ, такъ, какъ еще не пользовались до него призванные развлекатели русской публики — издатели *Сына Отечества*, *Сѣверной Пчелы*, *Библіотеки для Чтенія*. Дружининъ по всей справедливости можетъ быть названъ царемъ анекдота, спеціалистомъ диковинокъ и курьезовъ. Если бы возможно, онъ всѣ свои статьи

---

[86]) *Ib.*, стр. 58, 59, 390.

[87]) *Ib.*, стр. 139, 191, 195, 200, 730, 243, 293, 129, 185.

превращалъ бы въ вереницы анекдотовъ, біографіи писателей составлялъ бы изъ анекдотовъ, произведенія ихъ оцѣнивалъ бы при помощи курьезныхъ цитатъ и забавныхъ эпизодовъ. Но, къ сожалѣнію, о такомъ счастьѣ доступно только мечтать! Даже при громадномъ количествѣ десертныхъ эпизодовъ, въ жизни и, слѣдовательно, въ литературѣ, все-таки остается много слишкомъ серьезнаго и даже грустнаго.

Письма Дружинина безпрестанно открываются анекдотами, часто даже несвязанными съ темой автора. Онъ болтаетъ ради болтовни и только спустя долгое время приходитъ въ себя и принимается говорить о главномъ предметѣ. Но ему не всегда удается выдержать тонъ и онъ на каждомъ шагу готовъ впасть въ анекдотическій гипнозъ.

Обыкновенная программа критической статьи такая: сначала цѣлый залпъ *диковинокъ*,—исторіи про *одного* ученаго, про *одного* англичанина, про *одного* пріятеля, про великую пѣвицу, анекдотъ о благодарной щукѣ, «свирѣпое» приключеніе молодаго графа де Б., «чрезвычайно милый» разсказъ, слышанный отъ одного англичанина, «милая и даже драматическая исторія» про русскаго вельможу... Когда десертный столъ, по соображенію милаго историка, достаточно сервированъ, онъ заявляетъ: «теперь потолкуемъ объ *Отечественныхъ Запискахъ*». Но пусть читатель не пугается и не воображаетъ, будто сейчасъ и начнется разговоръ о скучныхъ матеріяхъ. Нѣтъ. У автора еще обильный запасъ личныхъ дѣтскихъ и всякихъ другихъ воспоминаній. У него былъ «англійскій учитель, джентльмэнъ не совсѣмъ изящной, но тѣмъ не менѣе интересной наружности, англичанинъ *pur sang*, длинный, тощій, рижеватый, съ зубами непомѣрной длины». Потомъ авторъ когда то въ молодости живалъ въ маленькихъ дешевыхъ комнатахъ и въ семнадцать только лѣтъ въ первый разъ услышалъ *Донъ-Жуана*. Все это чрезвычайно забавно и должно найти свое мѣсто на страницахъ *Современника* [88]).

Но, наконецъ, пора же дѣйствительно потолковать объ *Отечественныхъ Запискахъ*, о *Москвитянинѣ*, о *Сынѣ Отечества*, о *Библіотекѣ для Чтенія*. И толки начинаются по слѣдующей системѣ.

Помимо современныхъ журналовъ, авторъ читаетъ еще съ большимъ удовольствіемъ и пользой всѣ забытыя сочиненія. Это очень странно для такого любителя веселья и разнообразія. Но дѣло

---

[88]) *Ib.*, стр. 33, 357.

совершенно очевидное. Авторъ только что передалъ своимъ читателямъ любопытную исторію объ итальянской торговкѣ и о Данте, умилился до глубины души и сдѣлалъ принципіальный выводъ: «Отыскивать въ старыхъ книгахъ подобные разсказы, пояснять ими жизнь и образъ мыслей любимыхъ своихъ писателей,—это наслажденіе высокое, которое, право, стôитъ удовольствія написать повѣсть съ отчаянно трагическимъ окончаніемъ»[89]).

Разумѣется! И авторъ будетъ продолжать поиски за такими же удовольствіями и въ новыхъ книгахъ. Онъ готовъ удалиться отъ своего предмета «на страшное разстояніе», лишь бы поймать анекдотецъ и исторію, хотя бы даже о совершенно нелитературныхъ привередничествахъ Потемкина и водевильныхъ эксцентричностяхъ англійскаго лорда. Анекдотъ выполняетъ рѣшительно всѣ обязанности, возлагаемыя литературой на критика: онъ и исторія, и эстетика, и философія. Онъ забавляетъ, но онъ же и доказываетъ. Предъ критикомъ всегда развернуты сборники веселыхъ разсказовъ и разныхъ «чертъ» изъ жизни знаменитыхъ людей, и онъ беретъ отсюда ежемѣсячныя порціи для русской публики.

Естественно, столь тонкій гастрономъ и кондитеръ долженъ питать профессіональное сочувствіе уже прямо къ кулинарному искусству. Ни съ того, ни съ сего, просто по влеченію сердца и игрѣ ума онъ сообщитъ читателямъ подробный рецептъ испанскаго блюда, ольи подриды, обстоятельно опишетъ самый процессъ приготовленія, просмакуетъ вкусъ и только тогда воскликнетъ: «однако пора обратиться къ журнальнымъ новостямъ».

Здѣсь имѣется особенный отдѣлъ, заслуживающій глубокаго вниманія нашего обозрѣвателя,—именно отдѣлъ *модъ*. Критикъ изслѣдуетъ его съ чисто научной основательностью, потому что онъ любитъ «всматриваться и вдумываться во все микроскопическое». Движимый этимъ вкусомъ, онъ очень часто и охотно возвращается къ идеально-микроскопическому вопросу, къ такъ-называемой «механической части нашихъ періодическихъ изданій».

Это означаетъ—критика опечатокъ и бумаги. Авторъ, пожалуй, и согласенъ, что подобные пустяки не стôятъ шума, но съ сердцемъ и умомъ ничего не подѣлаешь: приходится собирать диковинки и въ этой области. Напримѣръ, такой приговоръ надъ журналомъ положительно необходимъ: «Книжка сшита весьма худо,

---

[89]) *Ib.*, стр. 457, 286, 472, 313, 281.

обертка дурно пригнана и слишкомъ мягка, отчего скоро мнется и представляетъ видъ довольно не изящный». Кромѣ того, можно припомнить поучительную исторію объ англичанинѣ и французѣ, взапуски отыскивавшихъ опечатки въ газетахъ изъ патріотическаго самолюбія. Въ англійскомъ изданіи не оказалось ни одной опечатки, а во французскомъ—нѣсколько, между прочимъ, точка съ запятой не на своемъ мѣстѣ.

Впрочемъ, журналы сами даютъ обильную пищу остроумію критика: они безпрестанно заводятъ междоусобные счеты изъ-за «механической части», анализируютъ бумагу другъ у друга, ловятъ типографскіе промахи и авторскія описки, уснащаютъ свои открытія шутливыми примѣчаніями и даже стихами. Очевидно, таково направленіе вѣка, и не завѣдомо-милому фельетонисту идти противъ всеобщаго вкуса [90]).

Легко судить, въ чемъ будутъ состоять собственно литературныя разсужденія Дружинина, какое знамя водрузитъ онъ на томъ журнальномъ оплотѣ, гдѣ застрѣльщикомъ и вождемъ былъ такъ еще недавно Бѣлинскій. Разумѣется, его преемнику придется возможно скорѣе разорвать всѣ нравственныя и идейныя связи съ прошлымъ и занять независимую позицію. Дружининъ отлично понялъ свое положеніе и во всеоружіи анекдотовъ и свирѣпыхъ исторій направился вялыми, будто танцующими, но вполнѣ опредѣленными шагами противъ «забавной нетерпимости» и серьезности своего предшественника.

XI.

Гоголь и Бѣлинскій—два принципіальныхъ противника передового, но въ сильной степени остепенившагося журнала. Разсчетъ съ Гоголемъ чрезвычайно простъ и нагляденъ. Новое міросозерцаніе *Современника* требуетъ во что бы то ни стало веселья и смѣха, близко интересуется вопросами: «возможенъ ли русскій водевиль? Забавенъ ли русскій водевиль?» Заботится о статьяхъ, «нужныхъ для свѣтскаго человѣка», не желаетъ знать иныхъ героевъ, кромѣ здоровыхъ, жизнерадостныхъ, влюбленныхъ молодыхъ людей и проектируетъ даже двѣ спеціальныхъ науки—«разговора» и «супружеской жизни», исключительно для мужчинъ. Ясно, кто долженъ пасть жертвой столь утонченнаго и культурнаго направленія.

[90]) *Ib.*, стр. 300, 231, 180, 69.

Дружининъ терпѣть не можетъ повѣстей, гдѣ завязка происходитъ на чердакѣ, а не въ красивой комнатѣ, и готовъ пропѣть восторженный гимнъ скорѣе рыцарственной правдивости, благородству, высокой поэтической грусти Шатобріана—автора *Замогильныхъ записокъ*, чѣмъ признать поэзію въ гоголевской школѣ. Да, русскій критикъ подвергнется чисто-психопатическому головокруженію отъ дерзкой шумихи пустозвонныхъ фразъ и театральныхъ бутафорскихъ эффектовъ, но онъ не усмотритъ въ русскомъ писателѣ ни таланта, ни правдивости, разъ онъ не живописуетъ изящныхъ любовныхъ томленій, не слагаетъ романсовъ въ честь женщинъ и не освѣщаетъ горизонта русской жизни незаходящимъ солнцемъ всеобщаго благополучія и довольства? Редакція *Современника*, повидимому, еще сдерживаетъ порывы своего критика, и онъ больше сосредоточивается на приготовленіи собственнаго десерта, чѣмъ на уничтоженіи чужихъ грубыхъ блюдъ. Но стоитъ нашему эстетику получить полную свободу, и онъ всѣ свои маленькія средствица, шпильки и булавки направитъ на враговъ всероссійскаго веселья.

Общій характеръ *Писемъ* Дружинина въ *Библіотекѣ для Чтенія* тотъ же, что и въ *Современникѣ*, но нѣкоторыя подробности въ высшей степени замѣчательны. Онѣ, прежде всего, рисуютъ эстетическія воззрѣнія критика, а потомъ не оставляютъ въ насъ ни малѣйшаго сомнѣнія насчетъ нравственнаго достоинства его личности.

Въ *Современникѣ* «иногороднаго подписчика» пугала тѣнь Бѣлинскаго и онъ не могъ развернуться во всю ширь тамъ, гдѣ еще вѣялъ духъ великаго гонителя литературной пошлости и шутовства. Но Дружининъ попадаетъ въ журналъ, искони ненавистный Бѣлинскому, поступаетъ подъ верховное руководительство того самаго Барона Брамбеуса, котораго Бѣлинскій считалъ одной изъ тлетворнѣйшихъ язвъ русской журналистики, становится первымъ сотрудникомъ органа, въ былыя времена заклейменнаго наименованіями лавочки и аферы.

Одинъ переходъ уже достаточно краснорѣчивъ, тѣмъ болѣе, что совершилъ его Дружининъ безъ всякихъ затрудненій. Его «перетянули» изъ *Современника* при помощи дамской политики, предложили какой угодно отдѣлъ въ журналѣ и онъ переѣхалъ въ него со всѣмъ багажомъ своихъ анекдотовъ и старыхъ книгъ. Привезъ онъ и еще кое-что, именно чего особенно могъ требовать могущественный баронъ,—привезъ открытую вражду къ Бѣлинскому и къ натуральной школѣ. Измѣны убѣжденіямъ здѣсь,

разумѣется, не было, по очень простой причинѣ, за неимѣніемъ самыхъ убѣжденій. Но усердіе, подогрѣтое внѣшними обстоятельствами, несомнѣнно.

Одна изъ благодарныхъ темъ для остроумія Дружинина—гоголевскій смѣхъ сквозь слезы. Критикъ, конечно, не смѣетъ возобновить штучки барона Брамбеуса на счетъ грязнаго хохлацкаго жанра великаго художника, но онъ не откажетъ себѣ въ удовольствіи слегка зацѣпить непріятнаго писателя, хихикнуть надъ незримыми міру слезами и заявить уже развеселившемуся читателю, что эти слезы «даже у автора *Мертвыхъ душъ* зримы не всякому глазу». Критикъ впадетъ потомъ въ серьезное настроеніе и прибѣгнетъ къ солидной рѣчи, чтобы поразить послѣдователей Гоголя, между ними перваго Писемскаго. За что же именно? Можетъ быть, за мрачныя преувеличенія, за недостатокъ творчества, за слишкомъ рѣзкую тенденціозность?

Нѣтъ, просто за то, что литературные потомки Гоголя пренебрегаютъ героями, «довольными свѣтомъ и довольными судьбой» и обнаруживаютъ пристрастіе къ человѣческому горю и пороку. Критикъ, разумѣется, не въ силахъ отличить талантовъ одного и того же направленія. Для него Писемскій только подражатель и даже не умѣющій хоронить концы. Критикъ до потери ясности взгляда и разсудка подавленъ мракомъ «ультра-дѣйствительности» и ставитъ дурную отмѣтку за поведеніе всѣмъ писателямъ грустнаго настроенія.

Участь Островскаго, поэтому, не лучше. Онъ, по всей видимости, также выученикъ Гоголя, и усердно надоѣдаетъ публикѣ юношами изъ породы Хлестакова, глупой и разсуждающей прислугой, свахами, сплетницами, крѣпколобыми пріобрѣтателями. Всѣ эти персонажи не менѣе скучны и утомительны, чѣмъ скромные Эрасты и прекрасныя Софіи, Честоны и Правдолюбы и могутъ «погубить силу писателя». Островскій тотъ же классикъ со своимъ «океаномъ житейской пошлости», и критикъ находитъ полезнымъ преподать ему слѣдующей совѣтъ: «пусть онъ дастъ одному изъ своихъ слѣдующихъ произведеній счастливый конецъ, выведетъ на сцену нѣсколько лицъ, глядящихъ на жизнь съ свѣтлой, утѣшительной и разумной точки зрѣнія, пусть онъ придастъ лицамъ этимъ нѣсколько хорошихъ и благородныхъ сторонъ»... По мнѣнію Дружинина, все это представитъ точнѣйшее изображеніе дѣйствительности, безъ «малѣйшаго уклоненія» отъ жизненной правды.

«Мы не хотимъ тоски» — восклицалъ критикъ еще въ *Совр-*

менникъ, и теперь онъ это нежеланіе ставитъ основнымъ принципомъ своей эстетики. Онъ горячій поклонникъ стиховъ, особенно ихъ «музыкальной части». По его мнѣнію, сочиненія грустнаго, на его языкѣ значитъ болѣзненнаго, содержанія пишутся «чрезвычайно легко», но «истинно гармоническіе стихи» даже «жидкаго содержанія»,—весьма трудно, и зато они заслуживаютъ полнаго предпочтенія. Поэзія вообще ближе къ музыкѣ, чѣмъ кажется многимъ читателямъ, и какое дѣло «иногороднему подписчику» до блестящихъ идей, даже до «художническихъ» подробностей, если стихи не музыка? На поэзію нельзя нападать, даже осуждая «безтолковую» манеру стихотвореній Гейне, именно на поэзію стиля и звуковъ [91]).

Понятно, въ какомъ положеніи оказывался Бѣлинскій. Ему рѣшительно не находилось мѣста среди всѣхъ этихъ деликатесовъ и пряностей. На него сочиняется прозрачный памфлетъ въ духѣ Сенковскаго, на него «знаменитаго критика», чье мѣсто можно занять съ нѣсколькими фразами изъ одной нѣмецкой эстетики, передѣланной французомъ. Его памяти наносится ударъ привѣтствіемъ появленія Кукольника на страницахъ *Современника*, торжествуется фактъ: «пора узкой исключительности миновалась», и намекается, что Кукольникъ страдалъ отъ «пристрастныхъ оцѣнокъ» и что до подобныхъ мнѣній журналистовъ нѣтъ дѣла подписчикамъ.

Но и это не все. Критикъ возстаетъ вообще на «критическія теоріи», и подъ теоріями разумѣетъ не какія-либо эстетическія системы, а просто опредѣленныя воззрѣнія на нравственный и общественный смыслъ искусства и талантовъ отдѣльныхъ писателей. Онъ, еслибы дожилъ до нашего времени, съ наслажденіемъ причислилъ бы себя къ безпечному хору импрессіонистовъ. Въ его глазахъ вертится какой-то калейдоскопъ съ картинками, а не совершается строго послѣдовательное развитіе общественной мысли. Критику онъ уподобляетъ вѣчному жиду, желая фигурально объяснить фантастичность и случайность ея идей и увлеченій. Онъ не понимаетъ ни идеализма, ни художественности и съ торжествующимъ видомъ смѣется надъ идеалистами и поклонниками чистаго искусства. Онъ смѣется и надъ самимъ собой—безсознательно, невольно, все равно, какъ ребенокъ, не разсчитавши размаха своей неопытной руки, бьетъ самого себя.

---

[91]) *Ib.*, стр. 590, 640, 676, 373—4, 380.

Вѣдь приходится даже нашему беззаботному поклоннику цвѣтовъ и грацій разбирать и судить, правда, пока лишь изрѣдка. Но вскорѣ наступитъ время, болѣе отвѣтственное. Золотая пора анекдотовъ и диковинокъ минуетъ, по крайней мѣрѣ, на нѣсколько лѣтъ. А злая судьба довершитъ ударъ, превративъ Ивана Черновкнижникова въ редактора толстаго журнала. Поневолѣ пойдетъ рѣчь и о художественности, и объ идеализмѣ, даже о теоріи искусства.

Жалкое положеніе! И мы увидимъ, какое печальное зрѣлище представитъ любимецъ впечатлительныхъ дамъ и легкомысленный сынъ мертвой эпохи среди дѣйствительно литературной публики и среди мыслящихъ и живыхъ дѣятелей.

Но пока это еще далеко и Дружининъ смѣло можетъ совершать прямые и косвенные набѣги на критику Бѣлинскаго и задавать многозначительный вопросъ: «У кого въ памяти остались пышные диѳирамбы въ честь Жоржа Занда или мадамъ Дюдванъ, женщины, погубившей великую часть своей славы въ послѣднее время?» [92]).

Вопросъ очень кстати, потому что именно злополучные романы Жоржъ Зандъ привлекли особенное вниманіе цензуры. Бѣлинскій, мы знаемъ, состоялъ на еще худшемъ оффиціальномъ счету: нечего щадить и его, а позже при другихъ обстоятельствахъ, можно будетъ раскаяться весьма искренне и мило. Гоголь также не числился благонамѣреннымъ писателемъ: ему можно противопоставить поэзію вообще, какъ силу, автору *Мертвыхъ душъ* невѣдомую, и доказать ненатуральность его направленія. Пушкинъ долженъ явиться спасительнымъ противодѣйствіемъ мрачному творчеству Гоголя, у Пушкина — «упоительная поэзія», свѣтъ повсюду, даже въ зимней вьюгѣ, въ осенней мглѣ, и въ той самой дорогѣ, гдѣ Гоголь открылъ лишь толчки и пьянаго Селифана [93]).

Нѣтъ необходимости возражать восхищенному и негодующему автору. Безнадеженъ критическій взглядъ, разъ онъ не разглядѣлъ тѣней русской жизни въ свѣтлой поэзіи Пушкина и не почуялъ захватывающей поэзіи въ гоголевскихъ картинахъ пошлости. Такъ и должно случиться. Не Дружинину разсуждать о поэзіи и правдѣ, не ему проникать въ творческую душу поэта и рас-

---

92) *Ib.*, стр. 560, 552, 567.
93) *Сочиненія.* VII, 59-60.

крывать свойства и задачи талантовъ. Даже если бы насъ не сопровождала въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ побрякушка увеселителя, если бы не уставали очаровывать насъ забавными анекдотами и безконечной «смѣсью», мы безошибочно могли бы опредѣлить уровень психологической проницательности и культурно-историческихъ свѣдѣній по непостижимому впечатлѣнію, какое Шатобріанъ произвелъ на «иногороднаго подписчика».

Дружининъ гордился своими статьями по англійской литературѣ. Всѣ эти статьи—чисто ремесленническія компиляціи, съ той же преобладающей анекдотической окраской и шаблонными чувствами удивленія и восторга предъ общепризнанными знаменитостями. Но даже такія произведенія были, несомнѣнно, полезны въ свое время, не утратили значенія и до сихъ поръ, по крайней мѣрѣ съ фактической стороны и особенно благодаря обилію обширныхъ цитатъ изъ художественныхъ произведеній и подробному пересказу ихъ содержанія. Дружининъ владѣлъ стихомъ и его не затруднялъ переводъ поэмъ и драмъ. Все это — положительный капиталъ, хотя и не особенно цѣнный. Дружининъ трудолюбиво переводилъ и добросовѣстно заимствовалъ, но весьма поверхностно и даже мало—понималъ. Его статьи доступны для очень зеленаго юношества, по тону, содержанію, по наивности и незамысловатости критическихъ сужденій и историческихъ картинъ. До какой степени мысль и анализъ Дружинина работали плохо и безнадежно—юношески, показываетъ именно его поразительный отзывъ о Шатобріанѣ. Это вполнѣ удовлетворительный образчикъ философскаго полета нашего критика.

Чего только ни вычиталъ добросердечный иногородный подписчикъ въ *Замогильныхъ Запискахъ*! Изъ иностранныхъ журналовъ онъ могъ бы узнать, что даже почитатели Ренэ пришли въ смущеніе отъ дѣтскаго хвастовства, комическаго геройства, болѣзненнаго самообожанія и преднамѣреннаго искаженія исторіи—преобладающихъ качествъ шатобріановской исповѣди. Именно она освѣтила яркимъ свѣтомъ всю мелкоту и смѣхотворность личности прирожденнаго лицедѣя, и со временъ *Записокъ* его драматическій спектакль былъ окончательно проигранъ въ глазахъ всѣхъ болѣе или менѣе мыслящихъ французовъ.

Какую же роль разыгрывалъ русскій критикъ, сообщая своей публикѣ такія, напримѣръ, впечатлѣнія:

«Предсмертная исповѣдь поэта—*Замогильныя Записки*—этого великаго таланта срываетъ съ моихъ глазъ завѣсу, скрывавшую

отъ меня благородную, нѣжную, истинно-рыцарскую личность ихъ автора; я начинаю понимать эту высокую поэтическую грусть, это разочарованіе страстной души, разрѣшившееся не отчаяніемъ, а смиреніемъ и любовью къ ближнимъ, сквозь которыя такъ ярко свѣтится безотрадная, безвыходная душевная боль, смѣшанная съ проблесками скептицизма, глубокаго, непроизвольнаго скептицизма»

Дальше въ такомъ же тонѣ декламируется о глубоко и много любившемъ сердцѣ Шатобріана, и автору даже извѣстно, будто Рензъ «претерпѣлъ отъ людей все, что можно было претерпѣть», и все-таки онъ не роптал, а желалъ всю жизнь только одного спокойствія!.. [94])

Прямо невѣроятно читать весь этотъ вздоръ. Намъ неизвѣстно другого образчика подобнаго невѣжества и такой неизглаголанной невинности ума и души. Дружининъ любилъ щеголять своей литературной образованностью, съ удовольствіемъ указывалъ на неопытность и непросвѣщенность русской критики, сочинялъ даже сатиры на критиковъ—скороспѣлыхъ недоучекъ, но рѣшительно никому изъ русскихъ болѣе или менѣе извѣстныхъ журналистовъ, за исключеніемъ Булгарина, не удалось столь краснорѣчиво расписаться въ невѣжествѣ и недомысліи, какъ это сдѣлалъ веселый фельетонистъ *Современника*. Именно открытіями въ шатобріановской душѣ человѣколюбія, смиренія, жажды спокойствія Дружининъ какъ нельзя болѣе заслужилъ извѣстную эпиграмму Тургенева:

Дружининъ корчитъ европейца,
Но ошибается, чудакъ;
Онъ трупъ россійскаго гвардейца,
Одѣтый въ англійскій пиджакъ.

Можно бы и еще прибавить кое-что по адресу психолога, выудившаго поэтическую грусть въ сердцѣ Ренэ и посмѣявшагося надъ гоголевскими слезами, оцѣнившаго душевную боль вѣрнѣйшаго и любимѣйшаго артиста сенъ-жерменскихъ психопатокъ, и не распознавшаго великой *человѣческой* силы въ сатирическомъ талантѣ автора *Мертвыхъ душъ*.

Можно думать, и восторги предъ Шатобріаномъ были позаимствованы у какого-нибудь французскаго журнальнаго недоросля. Можно даже остановиться на мысли, что позаимствованія и пережевыванья составляли истинное назначеніе Дружинина, какъ *толкователя* важныхъ литературныхъ явленій на Западѣ. Можно,

---

[94]) VI, 69—70.

наконецъ, вполнѣ справедливо на этомъ основаніи оцѣнить русскую критику нашего автора. Объ ея достоинствахъ до половины пятидесятыхъ годовъ не можетъ быть двухъ мнѣній, и—собственно не объ ошибкахъ или недоразумѣніяхъ иногородняго подписчика, а объ его общемъ не-литературномъ направленіи.

Съ обычной наивностью и заученной, такъ сказать, свѣтской безшабашностью. Дружининъ неоднократно, отчасти сознательно, отчасти безотчетно, успѣлъ очерчить свою литературную физіономію въ первый же періодъ своей дѣятельности.

Въ *Современникѣ* онъ заявлялъ:

«Я не имѣю горячей привязанности къ современной нашей литературѣ и смотрю на нее болѣе съ любопытствомъ, чѣмъ съ полнымъ сочувствіемъ». Подобныя мысли онъ повторялъ неоднократно, давая весьма точную картину литературнаго эпикурейства и литераторскаго бонвиванства. Входить въ оцѣнку этой психологіи нѣтъ нужды. Беззаботный туристъ самъ оцѣнилъ себя.

Онъ горько сѣтовалъ, что въ русской литературѣ нѣтъ идеальнаго фельетониста. Это значитъ «преданнаго сердцемъ интересамъ русской словесности». Поприще многотрудное, и Дружининъ увѣренъ,—его невозможно совершать безъ любви, великой любви къ литературѣ [95]).

А вотъ самъ же авторъ, по собственному сознанію, не имѣлъ этой любви и все-таки совершалъ поприще, сначала только фельетониста, а потомъ совершенно серьезнаго критика и даже руководителя журнала.

Произошло это событіе въ концѣ 1856 года и должно было обнаружить свои вліянія на литературу при другомъ порядкѣ вещей. Впослѣдствіи мы встрѣтимся съ вопросомъ, какой вкладъ сдѣлала *Библіотека для Чтенія* подъ руководствомъ сначала одного Дружинина, потомъ Дружинина и Писемскаго,—въ чрезвычайно оживленное движеніе общественныхъ идей. Теперь же пока оставимъ «иногородняго подписчика» и остановимся еще на одномъ критикѣ промежуточной эпохи и передового направленія.

XII.

На первый взглядъ кажется страннымъ, какъ можно именовать критикомъ Анненкова? Если критики Полевой, Бѣлинскій, Чернышевскій, Добролюбовъ и первостепенныя свѣтила славянофильскаго

---

[95]) VI, 87, 697.

лагеря, что же общаго съ критикой у издателя сочиненій Пушкина и автора обширныхъ литературныхъ воспоминаній? Критика вѣдь это живая и дѣйствующая общественная мысль, одновременно философія, публицистика и личная исповѣдь автора. Бѣлинскій съ гордостью говорилъ объ исключительной популярности критическихъ статей именно у русской публики. Она привыкла въ этихъ статьяхъ искать руководительства по всѣмъ вопросамъ, съ какими приходится встрѣчаться просвѣщенному человѣку. И руководительства яснаго, убѣжденнаго, принципіальнаго для самого критика, непогрѣшимаго для его нравственнаго чувства.

И вдругъ *критикъ*, даже во снѣ не грезившій ни о чемъ подобномъ! Какой-нибудь иногородный подписчикъ, при всей беззаботности своихъ фельетонныхъ упражненій, все-таки глубоко убѣжденъ, что фельетонъ есть вещь, именно по его значенію для читателей. Онъ, устраивая дѣтскія увеселенія, не желаетъ забыть, что онъ работаетъ для публики зрѣлаго возраста, поучаетъ ее и во всякомъ случаѣ является органомъ ея вкусовъ и увлеченій.

А здѣсь какая-то отшельническая, необыкновенно кропотливая, но совершенно *замкнутая* работа, совершается будто ради редакторовъ, корректоровъ и ближайшихъ друзей автора. Съ какой цѣлью человѣкъ изводилъ такое количество бумаги на *критическія* статьи? Напиши онъ еще нѣсколько томовъ этихъ статей, онъ не прибавилъ бы къ своей славѣ ни единаго самаго ничтожнаго лавроваго листка. Онъ такъ и остался бы для благосклоннѣйшаго потомства авторомъ біографіи Пушкина, примѣчаній на его сочиненія и многихъ весьма любопытныхъ записокъ по исторіи русской литературы и отчасти общества.

Впрочемъ, потомство припомнило бы еще одинъ фактъ. Анненковъ былъ близкимъ пріятелемъ почти всѣхъ современныхъ ему литературныхъ знаменитостей, и отношенія съ Тургеневымъ особенно лестны для памяти нашего скромнаго мемуариста. Тургеневъ питалъ большое довѣріе къ его художественному вкусу, предлагалъ на его судъ свои произведенія до печати и многое исправлялъ на основаніи его замѣчаній.

Это очень важно и, пожалуй, опровергаетъ наше слишкомъ холодное сужденіе о критическихъ талантахъ Анненкова. Къ сожалѣнію, нисколько.

Обладать вкусомъ, быть умнымъ и образованнымъ читателемъ, дѣльно судить о романѣ *Рудинъ* вовсе не значитъ быть талантливымъ критикомъ. Содержаніе тургеневскихъ романовъ до та-

кой степени жизненно и богато, что трудно было бы отыскать болѣе или менѣе думающаго человѣка, не способнаго высказать по поводу ихъ двухъ-трехъ дѣльныхъ мыслей. Мы увидимъ, — даже безнадежное ослѣпленіе тенденціей не помѣшало стремительному Писареву сдѣлать нѣсколько разумныхъ замѣчаній о Базаровѣ. Такова сила истиннаго реализма и вдумчиваго идейнаго творчества!

Не мудрено, — Анненковъ судилъ иногда весьма правильно и тонко, особенно въ области чисто-художественныхъ вопросовъ и общечеловѣческой психологіи. Основательное образованіе и обширная начитанность еще больше изощряли вкусъ судьи. Но лишь только ему приходилось свои сужденія представить въ формѣ связной статьи, пріятельскую бесѣду перенести на страницы журнала, искры эстетической воспріимчивости и разсудочнаго анализа меркли подъ пепломъ необыкновенно тягучаго, банальнаго резонерства. Предъ публикой являлся будто совсѣмъ другой человѣкъ, чѣмъ авторъ заграничныхъ писемъ и воспоминаній.

Письма и воспоминанія свидѣтельствовали объ очень наблюдательномъ и часто проницательномъ психологѣ и историкѣ. Они, кромѣ того, доказывали его несомнѣнное тяготѣніе въ сторону свободной благородной мысли, положительнаго культурнаго прогресса. Но вскорѣ становилось очевиднымъ, что это тяготѣніе тоже своего рода вкусъ, т. е. непосредственное, пассивное проявленіе доброй и честной души. Отъ природы она преисполнена свѣтлыми задатками, но въ такой же степени лишена живыхъ самостоятельныхъ побужденій—всесторонне и настойчиво опредѣлить практическій смыслъ и цѣли этого свѣта. Анненковъ не эгоистъ и не откровенный эпикуреецъ въ родѣ Боткина. Онъ только пассивенъ и робокъ, точнѣе—мнителенъ и лѣнивъ.

Вращаясь всю жизнь на вершинахъ русской и даже западной общественной мысли, Анненковъ до конца дней, вѣроятно, не могъ бы точно отвѣтить на вопросъ: кто онъ самъ? Въ дѣйствительности онъ желанный гость во всѣхъ литературныхъ кружкахъ. Его имя, единственное среди извѣстныхъ, осталось за предѣлами боевого поля русской журналистики, и вовсе не потому, чтобы онъ являлся только равнодушнымъ зрителемъ, или своего рода журнальнымъ всечеловѣкомъ. Совершенно напротивъ.

Въ *Библіотекѣ для Чтенія* и въ *Москвитянинѣ* отлично знали, какъ Анненковъ думаетъ о Бѣлинскомъ или о Гоголѣ, но думы эти всѣмъ казались до такой степени безобидными и не влекущими

къ послѣдствіямъ, что съ ними, по общему молчаливому согласію, не стоило считаться.

А между тѣмъ, при другомъ складѣ нравственной природы Анненковъ могъ бы явиться однимъ изъ доблестнѣйшихъ воиновъ передового строя нашей критики почти трехъ десятилѣтій. Во многихъ отношеніяхъ онъ выгодно отличается даже отъ Грановскаго, личности, — отчасти родственной ему психологически. Прочтите, напримѣръ, его заграничныя впечатлѣнія, и вы будете поражены яснымъ, чисто историческимъ разсказомъ о самыхъ смутныхъ явленіяхъ западно-европейской современности.

Грановскій, напримѣръ, не могъ отдать себѣ отчета въ движеніи сорокъ восьмого года. Анненковъ стоитъ на высотѣ задачи, насколько это было возможно для русскаго путешественника и иностранца, не посвящающаго себя нарочито французскимъ общественнымъ вопросамъ. Анненковъ рисуетъ картину февральскихъ дней настолько вѣрно и поучительно, что даже свидѣтели, въ родѣ Токвиля, не сообщатъ намъ ничего новаго послѣ разсказа нашего автора. Отъ него, конечно, нельзя требовать всесторонней оцѣнки событія: онъ лично не демократъ и не свой человѣкъ въ европейскихъ соціальныхъ вопросахъ, хотя и знакомецъ Маркса. Но уже достаточно безпристрастнаго описанія самихъ фактовъ и очень умнаго сужденія о началѣ и развитіи движенія [96]).

Не менѣе ярко въ письмахъ Анненкова отразилось другое, противоположное историческое явленіе—меттерниховскіе порядки въ началѣ сороковыхъ годовъ. Краткая, но живописная картина Вѣны,—настоящій документъ и показываетъ въ авторѣ даже искусство сатирика [97]).

Все это по части образованности и наблюдательности. Не меньше развита у Анненкова и психологическая проницательность. Нѣкоторыя замѣчанія о нравственной личности Каткова прямо драгоцѣнны: они схватываютъ самую сущность его характера, какъ будущаго публициста и притомъ еще въ юный откровенный моментъ развитія. Равнодушіе Каткова—юноши къ темнотѣ и грубости русской общественной среды, подозрительное отношеніе даже къ *Мертвымъ душамъ* Гоголя, и все это въ то время, когда будущій издатель *Московскихъ Вѣдомостей* безпрестанно впадалъ

---

[96]) *Воспоминанія и очерки.* I, 242—7 etc.

[97]) II, 62.

въ тонъ романтика и поэта, черты историческія и безусловно лестныя для остроты зрѣнія нашего историка.

Еще любопытнѣе многочисленныя мелочи изъ жизни Гоголя, представлявшаго неизмѣримо болѣе трудную задачу для наблюдателя, чѣмъ Катковъ. Что же касается разсказовъ Анненкова о Бѣлинскомъ, безъ нихъ мы не имѣли бы представленія о весьма существенныхъ чертахъ личности критика и человѣка. Никто, напримѣръ, съ такой мѣткостью выраженій и глубиной анализа не опредѣлилъ основной черты психологіи Бѣлинскаго: способности проникать въ процессъ чужой мысли послѣдовательнѣе самихъ авторовъ и приводить этотъ процессъ къ неотразимымъ логическимъ выводамъ [98]). Подобныя страницы воспоминаній и писемъ Анненкова никогда не утратятъ своего историческаго значенія.

Не лишена интереса его обширная переписка съ первостепенными писателями эпохи, съ тѣмъ же Бѣлинскимъ и особенно съ Тургеневымъ. Чьихъ писемъ нѣтъ, о томъ у Анненкова имѣется обстоятельный личный разсказъ, напримѣръ о Писемскомъ. Вообще русская литература сороковыхъ, пятидесятыхъ и отчасти тридцатыхъ годовъ нашла въ лицѣ Анненкова добросовѣстнаго и въ высшей степени дѣльнаго наблюдателя и историка.

Заслуги по изданію сочиненій Пушкина еще очевиднѣе. Анненковъ первый воспользовался рукописями поэта. Впослѣдствіи неоднократно указывалось, что это пользованіе оставляетъ желать многаго по части полноты и тщательности. Но Анненковъ первый представилъ русской публикѣ болѣе или менѣе полное собраніе сочиненій поэта и первый собралъ матеріалы для его біографіи. Современная критика не знала, какъ и выразить свой восторгъ.

Дружининъ изданіе называлъ «первымъ памятникомъ великому писателю отъ потомства», «широкимъ незыблемымъ фундаментомъ» для будущихъ сооруженій въ честь поэта [99]). Добролюбовъ въ литературѣ и общественной жизни начала пятидесятыхъ годовъ трудъ Анненкова считалъ «событіемъ» [100]). Позже восторги охладѣли и тотъ же Добролюбовъ не раздѣляетъ сильныхъ чувствъ Дружинина, но замѣчателенъ былъ уже одинъ фактъ появленія великаго поэта въ глохнувшей средѣ петербургскихъ туристовъ и иногородныхъ подписчиковъ.

---

[98]) III; 51—2; 96.

[99]) *Сочиненія*. VII, 32.

[100]) *Сочиненія*. I, 462—3.

Всѣ эти заслуги Анненкова неоспоримы. Но онъ не желалъ ограничиться пересказомъ наблюденій надъ людьми и событіями, кружковой репутаціей тонкаго художественнаго цѣнителя, болѣе или менѣе искуснаго библіографа. Ему мало было даже извѣстной гражданской славы послѣ борьбы съ цензурой за произведенія Пушкина. Анненковъ пожелалъ явиться критикомъ не только для такихъ часто непозволительно благосклонныхъ слушателей, какимъ былъ Тургеневъ, но и для настоящей большой публики. Онъ упустилъ изъ виду громадную разницу, вести ли пріятельскую бесѣду съ высоко одареннымъ и просвѣщеннымъ художникомъ—лично великимъ эстетикомъ, или выносить свою рѣчь на улицу, передъ толпу. Мысли и замѣчанія, ясныя избранному собесѣднику съ полуслова и вызывающія у него самого вереницу отвѣтныхъ соображеній и еще болѣе глубокихъ замѣчаній, на страницахъ журнала должны быть всесторонне выяснены, рѣзко и точно опредѣлены и сильно высказаны. Для читателей не могли быть рѣшающимъ фактомъ несомнѣнныя сочувствія Анненкова всему идеальному и прекрасному. Публика даже послѣ знакомства съ превосходными заграничными письмами автора все-таки потребовала бы отъ него прочныхъ и энергическихъ принциповъ критики.

И вотъ здѣсь-то Анненковъ никакъ не могъ бы отвѣтить съ полной увѣренностью на неизбѣжный вопросъ: кто онъ?

Анненковъ, по происхожденію богатый помѣщикъ, по образованію вольный слушатель философскаго, т. е. историко-филологическаго факультета петербургскаго университета, много жилъ за границей, совершенно свободный отъ какихъ-либо обязанностей, кромѣ самообразованія и, какъ водится съ свободными туристами, самоуслажденія. Продолжительное пребываніе въ Италіи должно было сильно развить художественный вкусъ, а близкое знакомство съ французской общественностью,—возвысить просвѣщенность и широту ума. Любознательность Анненковъ всю жизнь проявлялъ приблизительно такую же, какъ герой его *Писемъ изъ провинціи*—Нилъ Ивановичъ, т. е. читалъ множество книгъ и интересовался множествомъ вопросовъ, отъ чистаго искусства до экономическихъ теорій [101]).

Нилъ Ивановичъ, прочитавъ книгу, немедленно забывалъ ее и хранилъ совершенное равнодушіе къ ея содержанію, Анненковъ, напротивъ, искусно пользовался своимъ капиталомъ и бралъ

---

[101]) *Воспоминанія*. I, 9 etc.

съ него проценты въ формѣ критическихъ статей. Это чисто книжное происхожденіе критики Анненкова — ея главнѣйшая черта. Онъ — образцовый бумажный человѣкъ, производитель словесныхъ упражненій, за письменнымъ столомъ будто забывающій всѣ свои наблюденія и опыты. Если онъ только *разсказчикъ* на его страницахъ живетъ и дышитъ дѣйствительность, если онъ *мыслитель*, онъ внѣ здѣшняго міра, въ какой-то особой области, именуемой литературой, искусствомъ. У этого симбирскаго помѣщика заложенъ неистребимый аристократическій инстинктъ смотрѣть на литературу именно какъ на словесность, а не на естественный и необходимый спутникъ жизни и ея прозы. Это собственно не эстетическая манія, не культъ чистаго искусства, а именно салонная теорія словесности: искусство—нѣчто парадное и праздничное, своего рода украшеніе и невинное удовольствіе.

Анненковъ не могъ дойти до послѣдняго вывода теоріи—оцѣнить искусство какъ забаву. Онъ обладалъ слишкомъ просвѣщеннымъ умомъ и жилъ въ слишкомъ демократическую литературную эпоху, но раздѣлъ между дѣйствительностью и литературой, понятія дѣйствительности, какъ исключительной прозы и литературы, какъ безпримѣсной поэзіи, будничной жизни, какъ мрака и страданій и искусства, какъ свѣта и наслажденій, —всѣ эти понятія одного логическаго порядка.

И они плодъ не столько теоретическаго созерцанія, сколько извѣстныхъ условій жизни и прирожденныхъ наклонностей.

Анненковъ съ полной ясностью обнаружилъ эту затаенную стихію своей эстетики.

Въ статьѣ о народнической литературѣ онъ усиливается доказать, что «простонародная жизнь» не можетъ быть воспроизведена литературно во всей своей истинѣ. Почему же? Потому что эта жизнь слишкомъ мрачна, нечистоплотна или даже нецензурна?

Нѣтъ, не потому, а по общимъ основаніямъ.

«Что̀ бы ни дѣлалъ авторъ,—говоритъ критикъ,—для тщательнаго сохраненія истины и оригинальности въ своихъ лицахъ, онъ принужденъ наложить краску искусственности на нихъ, какъ только принялся за литературное описаніе».

Дальше съ удивительной непосредственностью раскрывается тайна барскаго воззрѣнія на искусство. Здѣсь каждое слово имѣетъ вѣсъ: всѣ эти слова вылились прямо изъ сердца критика, выдавъ его задушевныя мечтанія о красотѣ и художествѣ.

«Желаніе сохранить рядомъ другъ подлѣ друга требованія

искусства съ настоящимъ, жесткимъ ходомъ жизни, произвесть эстетическій эффектъ и вмѣстѣ цѣликомъ выставить бытъ, или подчиняющійся вообще эффекту,—желаніе это кажется намъ неисполнимымъ [102]).

Вы спросите, зачѣмъ же непремѣнно производить эффекты, да еще эстетическіе? Вѣдь критикъ, повидимому, вѣруетъ въ геніальность Гоголя и весьма высоко цѣнитъ Бѣлинскаго: гдѣ же въ изображеніяхъ *быта* онъ усмотрѣлъ стремленіе къ эффекту и какъ онъ не научился у Бѣлинскаго достодолжнымъ образомъ понимать эстетику и эстетическое? Очевидно, и для него, какъ и для другихъ его современниковъ, втунѣ прозвучала страстная проповѣдь учителя, и они, по крайней мѣрѣ, двое—Дружининъ и Анненковъ—безнадежно погрязли въ художественность блаженной и благородной литературы временъ классицизма и чувствительности. Недаромъ Дружининъ готовъ былъ сѣтовать даже на равнодушіе публики къ «блестящимъ» писателямъ—Расину и Корнелю [103]). Это въ высшей степени краснорѣчиво для точнаго представленія объ уровнѣ литературно-общественныхъ запросовъ нашихъ критиковъ. Анненковъ не доходитъ до подобныхъ откровенностей, но и онъ усиленно убѣждаетъ насъ, что «истина жизни и искусство рѣдко бываютъ примирены». Совершенно напротивъ: они «большею частію находятся въ обратной ариѳметической пропорціи другъ къ другу, и законъ правильнаго соотношенія между ними еще не найденъ» [104]).

Какъ не найденъ? Слѣдовательно, вся новѣйшая русская литература до 1854 года включительно или клевета на истину жизни, или ничтожна какъ искусство? И натуральная школа, одушевлявшая такими надеждами русскую критику, не представляетъ положительнаго пріобрѣтенія въ исторіи литературы? И тотъ путь, какой указанъ Гоголемъ, неизбѣжно приведетъ русскихъ писателей или къ художественному банкротству, или къ слѣпому извращенію дѣйствительности?

Можно подумать, критикъ не отдавалъ строгаго отчета въ своихъ словахъ или желалъ выразить свое неодобреніе новому направленію. Послѣднее вѣроятнѣе.

Анненковъ съ самаго начала обнаруживалъ недовольство «сен-

---

[102]) *О. с.* II, 47.
[103]) *Сочиненія.* VI, 347.
[104]) *О. с.* II, 81.

тиментальнымъ» родомъ повѣствованій. Это выраженіе замѣчательно. Оно часто встрѣчается и у Дружинина и удостоивается также негодующихъ указаній цензуры. Новый сентиментализмъ на языкѣ цензоровъ и критиковъ означаетъ одно и то же: литературу гоголевскаго направленія, литературу объ Акакіяхъ Акакіевичахъ всевозможныхъ общественныхъ положеній и нравственныхъ обликовъ. Цензурѣ эта литература не нравилась скрытымъ якобы демократизмомъ и оппозиціоннымъ духомъ недовольства и мрачныхъ воззрѣній на современную благоденствующую дѣйствительность. Въ общемъ оффиціальный взглядъ на гоголевскихъ литературныхъ наслѣдниковъ можно вполнѣ точно опредѣлить извѣстнымъ отзывомъ Екатерины о Радищевѣ: «сложенія унылаго и все видитъ въ темно-черномъ видѣ».

Критики изъ породы Дружинина, мы знаемъ, весьма близко подходили къ этому чувству, и веселый иногородный подписчикъ конечно, вполнѣ согласился бы съ самымъ рѣзкимъ приговоромъ о людяхъ «темно-черныхъ» настроеній. Дружининъ, по обыкновенію, заявлялъ о своихъ чувствахъ открыто, шутя и играя. Анненковъ не заряженъ честолюбіемъ острослова и фельетониста: онъ солидно и сдержанно посѣтуетъ на «фантастически-сентиментальныя» повѣсти за слишкомъ сѣрыя и будничныя картины и заурядные типы [105]. Мало, очевидно, эстетическихъ эффектовъ! И слишкомъ много чего-то, враждебнаго эстетикѣ и спокойному наслажденію красотой.

Изъ письма Огарева къ Анненкову мы узнаемъ, что нашему критику были свойственны очень рѣшительныя мысли въ чисто-эстетическомъ направленіи. Онъ полагалъ, что «мысль убиваетъ искусство и женщину» [106].

Это—цѣлая теорія, и опять подъ стать дружининскимъ истинамъ. Анненковъ не преминулъ развить ее въ статьяхъ. Онъ давно замѣтилъ *педагогическій характеръ* изящной литературы: это результатъ постоянныхъ хлопотъ *о мысли*. Это—цѣлое бѣдствіе. Мысль лишаетъ авторовъ «простодушія во взглядѣ на предметы» и пріучаетъ ихъ къ философствованію и лукавству.

Это дѣйствительно непріятно. Но какже избавиться отъ злокозненныхъ мыслей, на какой чертѣ остановиться?

Мы видѣли, Дружининъ довольствовался идеями самаго общаго,

---

105) *Ib.*, 25, 33 etc.

106) *Анненковъ и его друзья*, стр. 647.

можно сказать, неуловимаго содержанія. Для него *идея* тождественна съ извѣстнымъ понятнымъ смысломъ произведенія, т. е. съ болѣе или менѣе осмысленнымъ содержаніемъ,—требованія Анненкова еще проще: «развитіе психологическихъ сторонъ лица или многихъ лицъ»—вотъ и вся идея. «Никакой другой «мысли»,—увѣряетъ нашъ критикъ,—не можетъ дать повѣствованіе и не обязано къ тому, будь сказано не во гнѣвъ фантастическимъ искателямъ мысли».

Значитъ, только потребны герои съ извѣстной психологіей, т. е. лишь бы въ повѣсти не было манекенныхъ, безжизненныхъ фигуръ, и вполнѣ достаточно. А будетъ ли смыслъ въ наборѣ героевъ, обладающихъ психологіей, обнаружится ли болѣе или менѣе значительное содержаніе въ событіяхъ разсказа,—до этого читателямъ нѣтъ никакого дѣла. Должны они быть благодарными и въ томъ случаѣ, если онъ своимъ искусствомъ излагать «психическія наблюденія» воспользуется въ интересахъ какой-нибудь пустопорожней или прямо негодной мысли. Критикъ прямо заявляетъ:

«Врядъ ли дозволено дѣлать разсказъ проводникомъ эфическихъ или иныхъ соображеній и по важности послѣднихъ судить о немъ».

Достоинство художественнаго произведенія «въ обиліи прекрасныхъ мотивовъ», «во множествѣ картинъ, рождающихся безъ усилія и подготовки, въ легкой дѣятельности фантазіи». И образцы всего этого разсказы Тургенева!

Этотъ писатель, слѣдовательно, и для Анненкова только поэтъ, какъ и для Дружинина,—поэтъ беззаботный, съ непринужденнымъ воображеніемъ и безъ докучливой идейности. Это пишется въ 1854 году, когда еще не существуетъ великихъ романовъ автора. Что же заговоритъ критикъ по поводу *Дворянскаго гнѣзда*, *Отцовъ и дѣтей*?

Пока ея идеалъ гр. Толстой. Здѣсь всѣ наши критики единогласны. Рѣдкій писатель вообще, а русскій ни одинъ не выступалъ на литературную сцену при такихъ благопріятныхъ обстоятельствахъ. Художественный талантъ, свободный отъ всякихъ общественныхъ задачъ, пришелся какъ нельзя болѣе по плечу робкой и наивной публицистикѣ первой половины пятидесятыхъ годовъ. Одного критика увлекаетъ идеализація *простоты* — неизвѣстно какой именно, вообще простоты и непосредственности, другого—Анненкова—очаровываетъ «вѣра» гр. Толстого въ «жизненное дѣйствіе организма».

Это нѣчто еще болѣе двусмысленное и скользкое, чѣмъ простота. Критикъ восхищается, что «природа сама по себѣ, безъ всякаго пособія со стороны, даетъ искру мысли» [107]). Какой же мысли?

Дальше говорится о «первомъ признаніи чувства и первой наклонности». Это несомнѣнно. Природа вполнѣ можетъ внушать такія мысли «безъ всякаго пособія со стороны» и, всякому извѣстно, какой великій мастеръ гр. Толстой по части физіологическаго анализа, отнюдь не психологическаго. Онъ неподражаемъ въ живописи чувствъ и наклонностей даже такихъ духовно-первобытныхъ особей, какъ недоросли разныхъ частей русской арміи и ихъ героини.

Но развѣ это «искры мысли»? Развѣ впечатлѣнія Вронскаго, когда онъ впервые видитъ Анну Каренину въ ярко освѣщенной залѣ и чувствуетъ «избытокъ чего-то» въ ея организмѣ,—развѣ онъ *мыслитъ*? Блестящіе глаза и румяныя губы вызываютъ мысли или нѣчто совершенно противоположное? И развѣ въ интересахъ мышленія влюбленныхъ мужчинъ авторъ съ великой тщательностью и множество разъ обращаетъ ихъ вниманіе на «статныя ножки», на «маленькую ручку», на «упругую ножку», на «скромную грацію». Сообразите, сколько вниманія удѣлено этимъ «пособіямъ со стороны» въ романахъ гр. Толстого, и вы оцѣните истинный смыслъ внушеній природы и особенно вызываемыхъ ею «искръ».

Мы отнюдь не желаемъ произносить рѣчей на аскетическія темы, мы только указываемъ, въ какомъ непроницаемомъ туманѣ обрѣтается разсудокъ нашего критика и въ какую нелѣпость впадаетъ онъ совершенно безсознательно. Гр. Толстой своимъ талантомъ изображать организмы и ихъ естественную жизнь создалъ благодарнѣйшую точку опоры для промежуточной критики, чуравшейся всѣми силами «эфическихъ соображеній». Талантъ писателя, конечно, заслуживалъ горячихъ похвалъ, и мы протестуемъ не противъ восторженныхъ чувствъ критиковъ, а противъ вопіющаго смѣшенія понятій, противъ злоупотребленія явленіями искусства въ пользу извѣстной теоріи. Талантъ художника могъ быть замѣчателенъ, но это не значитъ, что онъ совершененъ и по *своей сущности* послѣднее слово творческаго генія. Кажется, Бѣлинскій достаточно опредѣленно рѣшилъ вопросъ по поводу Гоголя, нисколько не унижая дарованія великаго сатирика.

Наши критики, конечно, не рѣшились бы приравнять гр. Тол-

[107]) *Очерки*. II, 98—9, 100—1, 105.

стого къ Гоголю по размѣрамъ таланта, почему же они съ такой трепетной поспѣшностью ухватились за новаго писателя?

Отвѣтъ ясенъ: новый писатель обильно снабжалъ нашихъ искателей чистой художественности примирительными и истинно-поэтическими впечатлѣніями, не безпокоилъ ихъ сердца и мысли досадными вопросами изъ жизни современнаго мыслящаго и страдающаго общества, рисовалъ имъ нескончаемый рядъ картинъ и не томилъ «педагогическими» идеями. И гр. Толстой почти до конца пятидесятыхъ годовъ затмеваетъ Тургенева. Только при сильномъ подъемѣ общественной мысли Тургеневъ становится на первый планъ, чтобы въ позднѣйшіе годы, при соотвѣтствующемъ пониженіи идейной температуры у русской публики, снова уступить честь и мѣсто вѣрѣ «въ жизненное дѣйствіе организма» и поэтическому идеалу простоты.

Анненковъ продолжалъ свою критическую дѣятельность и въ эту эпоху. Его пути, раньше безпрестанно сходившіеся съ дорогой Дружинина, нѣсколько измѣнили свое направленіе. Критикъ пересталъ мысль отождествлять съ волненіемъ крови и идеи съ романическими или даже чувственными мотивами. Тургеневъ научилъ его нѣкоторой осмотрительности и вдумчивости, и Анненковъ, мы увидимъ, внесъ кое-какую лепту въ новое движеніе русской критической мысли. Совершилось это, очевидно, при самомъ энергическомъ участіи «пособій со стороны», и своей уступчивости Анненковъ былъ обязанъ почетнымъ положеніемъ даже среди шестидесятниковъ.

Но и въ предшествующіе годы онъ среди своихъ журнальныхъ совмѣстниковъ представляется величиной далеко не второго разбора. Какъ бы скромно мы ни цѣнили литературный талантъ Анненкова, рядомъ съ Дудышкинымъ и Дружининымъ, онъ заставляетъ насъ въ сильной степени смягчить нашъ приговоръ. Разница между этими тремя дѣятелями особенно ясна именно по вліянію, какое произвела на нихъ новая публицистика. Дружининъ не могъ подняться выше теоріи отрѣшенной художественности, т. е. въ сущности придалъ только болѣе внушительную форму своимъ прежнимъ хлопотамъ о забавномъ и веселомъ. Дудышкинъ кончилъ еще хуже,—впалъ, по свидѣтельству очевидца, въ мистицизмъ, а передъ этимъ послѣднимъ шагомъ писалъ совершенно безличныя компиляціи [108]).

---

[108]) *Одинъ изъ забытыхъ журналистовъ*. А. Старчевскаго. *Ист. В.* 1886 г. XXIII. 385—6.

Анненковъ не могъ окончательно сбросить съ себя ветхаго человѣка и, спасаясь отъ старыхъ эстетическихъ искушеній, безпрестанно рисковалъ впасть въ новыя уже публицистическія недоразумѣнія. Но онъ искренне стремился понять новыя вѣянія и отдать имъ должную справедливость.

Конецъ соотвѣтствовалъ началу, столь же добросовѣстному и, для своего времени, даже плодотворному.

По смутѣ и робости мысли Анненковъ вполнѣ отвѣчалъ духу своей эпохи. Онъ не менѣе своихъ собратовъ—писатель приспособившійся, «благопристойный» и «благонамѣренный», съ одной только разницей. Для приспособленія ему не требовалось насилій надъ своей натурой и совѣстью. Онъ вполнѣ искренне, по влеченіямъ своей въ общественномъ смыслѣ косной и индифферентной природы, могъ приносить жертвы свободной красотѣ и безотчетному искусству. Онъ чувствовалъ себя непріятно и даже тягостно предъ настойчивой, ярко выраженной идеей: чувство общее у него съ другими современниками. Но все это не помѣшало ему оставить, какъ мы видѣли, довольно цѣнное наслѣдство для *фактической* исторіи литературы.

Въ этомъ отношеніи онъ также одинъ изъ многихъ. Если бы мы задались цѣлью найти какую-нибудь положительную черту въ безцвѣтной и мертвенной критикѣ описываемаго періода, мы принуждены были бы искать ее по сосѣдству съ «библіографическимъ храпомъ».

Добролюбову легко презрительно отзываться о преемникахъ Бѣлинскаго. Его окружала кипучая литература, отважные бойцы на сравнительно свободной и широкой дорогѣ. Предъ ними наши герои естественно казались жалкими и неразумными. Но и эти пигмеи дѣлали кое что.

Дружининъ безпрестанно требовалъ отъ русскихъ журналовъ статей по иностраннымъ литературамъ и самъ писалъ ихъ, писалъ далеко не блестяще и не солидно, но все-таки извѣстныя свѣдѣнія сообщались читателю, и онъ пріучался къ широкимъ культурнымъ интересамъ. Дудышкинъ дѣлалъ то же самое въ области русской литературы. Его статьи еще безцвѣтнѣе дружининскихъ, въ нихъ даже нѣтъ бойкости пера и разнообразія содержанія, на чемъ стоялъ дамскій критикъ. Но фактовъ всегда находилось достаточно и, напримѣръ, изложеніе *Наказа* Екатерины, хотя бы съ безусловно невѣрной исторической критикой, несомнѣнно, приносило свою пользу обществу сорокъ восьмого года.

Наконецъ, Анненковъ все въ области того же «библіографическаго храпа» съумѣлъ совершить «подвигъ» и создать «событіе» изданіемъ сочиненій Пушкина.

Мы не должны забывать всѣхъ этихъ фактовъ въ интересахъ справедливой и точной оцѣнки почти забытыхъ людей безвременья. Они въ лицѣ Дудышкина приходили въ смущеніе предъ блестящими фигурами ранней литературы, не понимали болѣзни, вызывавшей сочувствіе Бѣлинскаго—«апатіи чувства и воли при пожирающей дѣятельности мысли», сваливали въ одну кучу и Печориныхъ, и Грушницкихъ: это было психологическимъ недомысліемъ и крупнымъ ложнымъ шагомъ общественной мысли. Но положительный принципъ, во имя котораго произносился огульный приговоръ надъ трагическими или комическими абсентеистами и бездѣльниками, заслуживаетъ полнаго вниманія. Это запросъ къ жизненной дѣятельности, хотя бы самой скромной и незамѣтной.

Конечно, Дудышкинъ и его сочувственники впадали въ смертный нравственный грѣхъ, противопоставляя дѣятельность Фамусовыхъ абсентеизму Чацкихъ. Такимъ путемъ можно скорѣе подорвать убѣдительность принципа, чѣмъ развѣнчать Чацкаго или Печорина. Но вопросъ таилъ вполнѣ здоровое зерно, хотя и не литераторамъ затишья доступно было вскрыть его и воспользоваться имъ. Несомнѣнно, русская жизнь не могла остановиться даже на эффектнѣйшемъ разочарованіи, на какомъ угодно трагическомъ озлобленіи противъ презрѣнной дѣйствительности и на самомъ основательномъ презрѣніи къ темной и рабской толпѣ.

Печорины и Чацкіе, при всей исторической неизбѣжности своего исключительнаго положенія, все-таки явленія переходныя, юношескія, факты только что начавшагося броженія молодого общественнаго сознанія. Успѣхъ не малый: окружающая пошлость и рабство поняты, оцѣнены и вызвали непримиримое отвращеніе. Фамусовымъ и Грушницкимъ больше не будетъ житья среди новаго поколѣнія, ихъ авторитетъ и обаятельность поколеблены въ самомъ основаніи, и рано или поздно падутъ непремѣнно.

Но это чисто отрицательная, разрушительная работа. За ней должна слѣдовать положительная и созидательная. Трудно было созидать на почвѣ, предоставленной людямъ пятидесятыхъ годовъ. Но они пытались выполнять свою задачу и начали именно съ *примиренія*. Этотъ процессъ соотвѣтствовалъ безличію и нравственной слабости нашихъ дѣятелей. Дѣйствительность не заслуживала такихъ чувствъ, какими принялась щеголять литература и, по условіямъ времени,

именно люди разочарованія и недовольства достойны были пощады и даже уваженія. И все-таки въ примиреніи заключался извѣстный нравственный и историческій смыслъ. Восхваленіе положительнаго дѣла въ ущербъ самодовольной или самопоѣдающей бездѣятельности свидѣтельствовало о проблескахъ новаго теченія общественной мысли, и наши дѣятели успѣли даже кое-чѣмъ практически ознаменовать свои отвлеченныя соображенія.

Герценъ въ одной изъ своихъ заграничныхъ статей *Русскіе нѣмцы и нѣмецкіе русскіе* произнесъ рѣшительный смертный приговоръ «молодому поколѣнію», слѣдовавшему за Бѣлинскимъ и Грановскимъ. Но прежде всего, мы уже знаемъ, Грановскаго не слѣдуетъ вездѣ и всегда ставить рядомъ съ Бѣлинскимъ, и особенно тамъ, гдѣ идетъ рѣчь объ энергіи и ясности направленія. А потомъ, «молодое поколѣніе» не представляетъ сплошного кладбища. Кое-гдѣ все-таки трепетала жизнь и мерцалъ хотя рѣдко и боязливо, духовный свѣтъ.

Въ исторіи не бываетъ ни безпросвѣтнаго мрака, ни всеослѣпляющаго свѣта. И тѣни, и лучи падаютъ одновременно на нашу бѣдную планету—одно время—лучей больше, другое—тѣней. И мы должны съ особеннымъ тщаніемъ и заботливостью всматриваться въ свѣтлыя точки именно среди, повидимому, неограниченно царствующаго мрака.

Мы теперь обязаны выполнить этотъ нравственный долгъ даже предъ Назаретомъ русской журналистики сороковыхъ годовъ. Въ то время, когда передовой строй критики рѣдѣлъ и обнаруживалъ крайнее безсиліе, неожиданно сталъ подавать признаки юной жизни московскій лагерь, и погодинскій *Москвитянинъ*, едва влачившій свое темное существованіе, вдругъ заволновался, зашумѣлъ и пошелъ на враговъ во главѣ дѣйствительно талантливыхъ бойцовъ. На нѣсколько лѣтъ архивные листки московскаго Дѣвичьяго поля превратились въ самый живой литературный органъ, о какомъ въ Петербургѣ не дерзали и мечтать.

XIV.

Какимъ чудомъ могъ воскреснуть *Москвитянинъ*? Кажется, онъ успѣлъ достаточно развернуть свои силы и до конца истощить ученость Погодина и краснорѣчіе Шевырева. Два славянофильскихъ Аякса не стѣснялись никакими военными средствами, и все таки пали въ борьбѣ. Что же могло поднять ихъ вновь и даже увѣнчать побѣдными вѣнками?

Совершенная случайность, а вовсе не какая-либо глубокая и сильная эволюція старыхъ боевыхъ силъ.

Въ Москвѣ объявился молодой большой художественный талантъ—Островскій. Бывшій студентъ московскаго университета, онъ не прерывалъ своихъ связей съ профессорами и литераторами послѣ преждевременнаго оставленія университета и поступленія на мелкую канцелярскую службу. Между прочимъ, онъ посѣщаетъ Шевырева, и 14 февраля 1847 года прочитываетъ профессору и его гостямъ свои первыя драматическія сцены. Шевыревъ награждаетъ автора объятіями и провозглашаетъ его «громадный талантъ». Этотъ день Островскій впослѣдствіи считаетъ «самымъ памятнымъ» въ своей жизни. Спустя нѣсколько времени сцены печатаются въ *Московскомъ Городскомъ Листкѣ*, подъ заглавіемъ *Картина семейнаго счастья*.

Новый талантъ родился, и Погодинъ спѣшитъ пригласить его въ сотрудники своего журнала. Островскаго уже окружаетъ цѣлое общество молодыхъ цѣнителей его таланта—питомцы московскаго университета, среди нихъ наиболѣе энергичные и талантливые—Григорьевъ и Алмазовъ.

Григорьевъ—давнишній писатель *Москвитянина*, еще съ 1843 года, и предложеніе Погодина не могло явиться неожиданностью. Правда, нѣкоторыя затрудненія представлялись съ самымъ драгоцѣннымъ пріобрѣтеніемъ. Островскій тяготѣлъ къ западничеству, даже кремлевскіе соборы называлъ «пагодами» и находилъ ихъ лишними. Но это было простымъ капризомъ молодости, объ убѣжденіи не было и рѣчи и всякую минуту одно крайнее увлеченіе могло перейти въ противоположное, не менѣе горячее.

Такъ и случилось.

Островскій быстро перешелъ въ московскій лагерь, не столько подъ вліяніемъ идейныхъ внушеній, сколько чисто художественныхъ впечатлѣній. Намъ разсказываютъ очень пространно объ успѣхахъ Островскаго въ купеческихъ и аристократическихъ гостиныхъ, о восторгахъ кружка русскими народными пѣснями, особенно пѣніемъ одного изъ членовъ кружка... Вся эта національная московская атмосфера окутала молодого драматурга и отдала его на жертву Востоку. Такой выводъ можно сдѣлать изъ разсказовъ очевидцевъ. Насмѣшки западниковъ повысили температуру новаго увлеченія и Островскій быстро дошелъ «до крайностей истинно русскаго направленія».

Такъ сообщаетъ членъ кружка, очаровывавшій своихъ друзей

исполненіемъ русскихъ пѣсенъ [109]). Самъ онъ очень близко стоялъ къ направленію погодинскаго журнала; но нельзя было этого сказать объ остальныхъ будущихъ сотрудникахъ.

Какой общественной и культурной вѣры они держались,—вопросъ, врядъ ли вполнѣ ясный для самыхъ отважныхъ дѣятелей *молодого Москвитянина*. Они рядомъ съ Шевыревымъ и Погодинымъ составили *молодую* редакцію: такъ она именовалась въ публикѣ и въ самомъ журналѣ. Но это наименованіе выражало нѣчто, несравненно болѣе существенное, чѣмъ разницу возрастовъ. На самомъ дѣлѣ подъ зеленой обложкой *Москвитянина* водворились два изданія, связанныя вмѣстѣ случайно волею судьбы. Погодинъ отнюдь не желалъ выпускать браздовъ правленія изъ своихъ учительскихъ рукъ, молодежь, въ свою очередь, далеко не во всемъ признавала руководительскую власть редактора. Выходила междоусобица, нерѣдко до такой степени воинственная, что отголоски ея долетали даже до публики.

Мы не будетъ останавливаться на извѣстномъ намъ фактѣ—оригинальной политикѣ Погодина, какъ *издателя*. Мы знаемъ, что даже по поводу Гоголя онъ посвящалъ цѣлыя утра на обсужденіе денежнаго вопроса. Съ молодежью онъ, конечно, еще меньше стѣснялся. Въ минуту крайняго огорченія и праведнаго гнѣва Григорьевъ совершенно вѣрно охарактеризовалъ издательскую тактику Погодина въ письмѣ къ нему:

«Въ вашемъ превосходительствѣ глубоко укоренена мысль, что человѣка надобно держать вамъ въ черномъ тѣлѣ, чтобы онъ былъ полезенъ» [110]).

И мы увидимъ, какой горючей кровью сердца Григорьевъ, одинъ изъ столповъ *Москвитянина*, имѣлъ право написать эти слова.

Но не въ болѣзненной скупости и не въ патріархальной хозяйской разсчетливости заключались главные поводы къ междоусобицамъ. Погодинъ съ самаго начала сталъ въ оборонительное положеніе противъ своихъ сотрудниковъ и занялъ для нихъ мѣсто цензуры, въ высшей степени безцеремонной и придирчивой. Погодинъ безпрекословно соглашался съ цензоромъ, разъ вопросъ шелъ объ укрощеніи и сокращеніи молодыхъ авторовъ. Ему ничего не стоило произвести какое угодно упражненіе надъ стихотворе-

---

[109]) Барсуковъ. XI, 73, 79.
[110]) *Ib.* XII, 293.

ніемъ Алмазова, безъ малѣйшаго вниманія къ смыслу, вставить свои собственныя соображенія въ статью Григорьева. Это, вѣчная война съ юношескимъ увлеченіемъ, и такъ понимаютъ роль Погодина его сотрудники.

Алмазовъ пишетъ редактору негодующія письма. На сторонѣ оскорбленнаго вся молодая редакція. Онъ горячо протестуетъ противъ хозяйскаго произвола и безсмысленныхъ искаженій чужого текста, даже не вызываемыхъ цензурой. Погодинъ отдаетъ своихъ сотрудниковъ на посмѣшище ихъ журнальнымъ противникамъ и безтолково хлопочетъ о поддержаніи мѣщанской благопристойности и педантической плѣсени на страницахъ было ожившаго изданія.

Но Алмазовъ обороняетъ свои стихотворенія и пародіи. Это— весьма интересный матеріалъ для читателя, но не въ немъ духъ журнала. Статьи Григорьева несравненно важнѣе, какъ программа новой редакціи, и вотъ здѣсь-то Погодинъ давалъ полную свободу своей рукѣ-владыкѣ.

У профессора накопилось не мало старыхъ литературныхъ и личныхъ связей очень подозрительнаго достоинства. У него, напримѣръ, состоитъ пріятелемъ извѣстный намъ М. А. Дмитріевъ; онъ желалъ бы пощадить даже Ѳаддея Булгарина въ виду страха іудейска предъ пронырливымъ литературныхъ и нелитературныхъ дѣлъ мастеромъ, не мало у него и свѣтскихъ пріятельницъ, и вотъ всѣ эти сочувствія и трепеты должны найти мѣсто въ чужой статьѣ, все равно, какого автора и съ какимъ именемъ.

Григорьевъ и вся молодая редакція благоговѣетъ предъ Пушкинымъ и его эпохой, она желаетъ наслѣдовать ей, а Погодинъ тычетъ ей автора *Московскихъ элегій*, пѣвца домостроевскихъ порядковъ и молчалинскихъ идеаловъ. Григорьевъ желаетъ отдать должное старой публицистикѣ и не желаетъ позорить Полевого: Погодинъ предпочитаетъ *Сѣверную Пчелу*. Молодой критикъ перечисляетъ поэтовъ Пушкина, Лермонтова, Кольцова и другихъ, кто, по его мнѣнію, одаренъ истиннымъ талантомъ: Погодинъ вставляетъ въ списокъ Каролину Павлову и даже Авдотью Глинку! Но этого мало. Погодинъ дѣлаетъ особыя примѣчанія къ статьямъ авторовъ, «искренне сожалѣя», и все это падаетъ на голову перваго критика журнала! [111])

---

[111]) *Скитальчества. Эпоха.* 1864, мартъ, 146. — Барсуковъ. XI, 387 — 8; XII, 292.

Страннѣе порядки трудно и представить. И они входятъ въ силу съ самаго обновленія журнала, съ 1850 года до окончательнаго прекращенія въ 1856 году. Слѣдовательно, *молодая редакція* не была правовѣрно-славянофильской?

Отрицательный отвѣтъ ясенъ не только изъ взаимныхъ отношеній стариковъ и молодежи, но изъ прямыхъ личныхъ признаній сотрудниковъ. Погодинъ, мы знаемъ, не пользовался никакимъ авторитетомъ у вольныхъ славянофиловъ. Они безпрестанно оскорбляли его самолюбіе и носились съ мыслью объ изданіи своего органа. Этой мысли они не оставятъ и съ преобразованіемъ *Москвитянина*: *Московскій Сборникъ* появится въ 1852 году. Мы знаемъ, судьба его оказалась очень печальной, но *Сборникъ* свидѣтельствовалъ о глубокомъ раздѣленіи въ нѣдрахъ московской славянофильской церкви. Даже больше.

Изданіе благородныхъ славянофиловъ и призванныхъ хранителей ковчега попало въ положеніе *Москвитянина*. Не суждено было славянофильскому толку столковаться даже въ самомъ тѣсномъ кружкѣ и на счетъ тѣхъ самыхъ вопросовъ, какіе они сами считали основными и руководящими. Извѣстное намъ *Письмо* Кирѣевскаго о просвѣщеніи Европы возмутило другихъ прихожанъ—братьевъ Аксаковыхъ и Хомякова, и они собрались возражать Кирѣевскому во второмъ томѣ *Сборника*. Готовилось, слѣдовательно, то же самое, что происходило въ *Москвитянинѣ*.

Молодая редакція, несомнѣнно, желала отдать себѣ отчетъ, кто она? Глава ея—Григорьевъ, не одинъ разъ принимался рѣшать этотъ вопросъ и не пришелъ къ удовлетворительному отвѣту.

Островскій — художественный центръ и надежда кружка не способенъ былъ оказать помощь, да и врядъ ли особенно близко принималъ къ сердцу точное опредѣленіе цвѣта своей партійной физіономіи. Онъ просто сочинялъ пьесы изъ купеческаго быта и русской исторіи, не мудрствуя лукаво и полагаясь на силу своего великаго дарованія. Восторги ему были обезпечены и у Григорьева, и у Добролюбова. Только *Отечественныя Записки*, безнадежно хирѣвшія въ мертвомъ прекраснодушіи и благопристойности, воображали видѣть въ Островскомъ врага новой просвѣщенной Россіи, преднамѣреннаго изобразителя грязной дѣйствительности. Патріотизмъ Краевскаго, столь успѣшно вдохновленный начальствомъ, тосковалъ по «идеальнымъ чертамъ» въ лицахъ и дѣйствіи и печаловался объ односторонности драматурга.

Но Островскій могъ смѣло не считаться съ этими укоризнами:

звѣзда его всходила быстро и побѣдоносно, и ему не было дѣла ни до чужихъ рецензентовъ, ни до своихъ домашнихъ идеологовъ. Онъ скорѣе нуждался въ бесѣдахъ съ московскимъ молодымъ купцомъ Шанинымъ: тотъ снабжалъ его множествомъ любопытныхъ чертъ изъ замоскворѣцкаго быта и характерными выраженіями, украшающими такой своеобразной силой комедіи Островскаго. А что касалось «знамени», его могли водружать и защищать другіе, на это и призванные. Островскій, помимо блестящаго таланта, былъ полезенъ еще и тѣмъ, что усердно пріобрѣталъ *Москвитянину* молодыхъ сотрудниковъ. Онъ, напримѣръ, ввелъ Алмазова и, можетъ быть, помогъ сближенію Эдельсона, своего близкаго пріятеля, съ Погодинымъ.

Кружокъ, по словамъ Григорьева, отличался чрезвычайнымъ энтузіазмомъ. Всѣ трепетали восторгомъ предъ неограниченными перспективами истинно-національной славной дѣятельности. Казалось, всѣ они находились въ какомъ то особомъ лирическомъ мірѣ и пѣли хоромъ торжественные гимны въ перемежку съ русскими народными пѣснями. Во имя чего, собственно, звучали эти гимны—яснаго отчета не отдавала ликующая компанія и довольствовалась чрезвычайно звучными, но столь же смутными по смыслу словесными мотивами.

Изъ всѣхъ героевъ молодого *Москвитянина* самыя подробныя свѣдѣнія о невозвратномъ прошломъ оставилъ Григорьевъ. Послушайте, что это за исторія и попробуйте составить точное представленіе о мысляхъ и убѣжденіяхъ историка и его близкихъ.

Предъ нами не простой разсказъ, а стремительная вдохновенная исповѣдь. Рѣчь ведетъ не просто бывшій сотрудникъ бывшаго журнала, а предается воспоминаніямъ нѣкій влюбленный, пережившій чарующій образъ своихъ мечтаній.

«О мой старый *Москвитянинъ* зеленаго цвѣта, *Москвитянинъ*, въ которомъ мы тогда крѣпко, общинно соединенные, такъ смѣло выставляли знамя самобытности и *непосредственности,* такъ честно и горячо ратовали за единство—правое и святое дѣло! О время пламенныхъ вѣрованій, хотя и смутныхъ, время жизни по душѣ и по сердцу!...»

Вы видите, авторъ искреннъ: одновременно съ пламенемъ онъ не забываетъ о смутѣ. Такъ онъ могъ судить на пространствѣ многихъ лѣтъ, когда его взоръ на прошлое прояснился и въ золотой дали ему открылась подлинная историческая правда. Но эта даль и теперь кажется достаточно увлекательной, чтобы хо-

тѣть ея возврата. Она лучшее воспоминаніе Григорьева за всю жизнь, и онъ часто забываетъ объ ея туманѣ, ему мечется въ глаза одинъ блескъ и былой орлиный полетъ его молодости.

Въ краткой автобіографіи, найденной послѣ смерти критика, возникновеніе молодой редакціи излагается вполнѣ точно и иначе, насколько событіе касалось самого Григорьева.

«Явился Островскій и около него, какъ центра, кружокъ, въ которомъ *нашлись* всѣ мои дотолѣ смутныя вѣрованія».

Нашлись—подчеркиваетъ авторъ, слѣдовательно, онъ пришелъ къ самопознанію и началъ развивать для всѣхъ ясныя и доступныя истины? Такъ можно заключить, и ждать съ вѣрою рѣшительныхъ откровеній восторженнаго бойца. Онъ, дѣйствительно, удовлетворитъ ожиданія, но посмотрите какъ?

«Есть вопросъ и глубже, и обширнѣе по своему значенію всѣхъ нашихъ вопросовъ, и вопроса (каковъ цинизмъ?) о крѣпостномъ состояніи, и вопроса (о ужасъ!) о политической свободѣ. Это вопросъ о нашей умственной и нравственной *самостоятельности*. Въ допотопныхъ формахъ этотъ вопросъ явился только въ покойникѣ *Москвитянинѣ* 50-хъ годовъ,—явился молодой, смѣлый пьяный, но честный и блестящій дарованіями (Островскій, Писемскій и т. д.). О, какъ мы тогда пламенно вѣрили въ свое дѣло, какія пророческія рѣчи лились, бывало, на попойкахъ изъ устъ Островскаго, какъ безбоязненно принималъ тогда старикъ Погодинъ отвѣтственность за свою молодежь, какъ сознательно, не смотря на пьянство и безобразіе, шли мы всѣ тогда къ великой и честной цѣли!..» [112]).

Въ высшей степени краснорѣчивое признаніе! Попробуйте совмѣстить пьянство и сознаніе, пророчество и равнодушіе даже къ крѣпостному состоянію, блестящую и честную цѣль и руководительство Погодина! Въ особенности обратите вниманіе на *самостоятельность* и непосредственность. Это—краеугольные камни новаго святилища. Чтò начертано на этихъ камняхъ, мы не знаемъ. Извѣстно намъ только, что съ Григорьевымъ «внятно, ласково» говорили старыя стѣны стараго Кремля и обвивало его «что-то растительное» [113]). Болѣе ясныхъ указаній мы не добьемся, а между тѣмъ какая страстная рѣчь, какая неподдѣльная искренность чувства и какая рѣшительность совершать свой путь среди «чего-то» подъ невнятный говоръ неодушевленныхъ предметовъ.

---

[112]) *Ib.*, сентябрь, 36, 45, 12.

У юныхъ пророковъ, конечно, хватило воображенія воодушевить стѣны Кремля, но рѣшительно не доставало силъ и логики переложить вѣянія стараго духа на общепонятный, убѣдительный языкъ. И на великое горе молодой редакціи ея даровитѣйшій публицистъ самою природою былъ созданъ такъ, чтобы самые реальные предметы обвивать романтическимъ полумракомъ и разсудокъ подмѣнять лирикой.

XV.

Въ исторіи русской литературы немного такихъ незадачныхъ, можно сказать, трогательныхъ личностей, какъ Аполлонъ Григорьевъ. Прислушайтесь къ отзывамъ современниковъ, даже дружественныхъ ему, вы непремѣнно составите о пламенномъ критикѣ менѣе всего *почтенное* представленіе. Это—смѣшной энтузіастъ, плохо отдающій отчетъ въ предметахъ своего восторга и безпрестанно попадающій впросакъ.

Погодинъ его не уважаетъ, хотя и признаетъ нѣкоторый талантъ. Отзывъ профессора очень мѣткій, къ сожалѣнію неудобный для печати: смыслъ его—полная безотчетность идей и чувствъ Григорьева [114]).

Бывшій сотрудникъ *Москвитянина* и членъ молодой редакціи Алмазовъ при всякомъ удобномъ случаѣ изощряетъ свое остроуміе надъ прежнимъ главой редакціи. И портретъ выходитъ очень непредставительный: «взоръ изступленный», «Медузой вдохновенный», и въ заключеніе рисунокъ во весь ростъ:

Мраченъ ликъ, взоръ дико блещетъ,
Умъ отъ чтенья извращенъ,
Рѣчь парадоксами хлещетъ...
Се Григорьевъ Аполлонъ!..

Практическій выводъ хуже всѣхъ рисунковъ: Григорьева нельзя *безъ контроля* допустить ни въ одинъ журналъ. Это могъ сдѣлать только Достоевскій Михаилъ—«невинное созданіе» [115]).

Это допущеніе произойдетъ уже въ послѣдніе годы Григорьева, но и оно будетъ въ сущности обидой, и Алмазову не слѣдовало удивляться невинности Достоевскихъ. Ѳедоръ Достоевскій, примиряясь съ сотрудничествомъ Григорьева въ журналѣ *Время*,

[113]) Мартъ, 132.
[114]) Барсуковъ. XI, 88.
[115]) Алмазовъ. Сочиненія. М. 1892. II, 326, 369, 451.

счелъ необходимымъ предложить маленькую «хитрость»,—именно печатать статьи Григорьева безъ подписи. Хитрость вызывалась его «дурнымъ положеніемъ въ литературѣ», и публику интриговали: пусть она сначала оцѣнитъ глубину произведеній, а потомъ уже узнаетъ имя автора [116]).

Вотъ до чего дошло! Григорьева нельзя было показывать публикѣ, какъ критика: иначе, оказывалось, вѣрное средство заставить читателей не разрѣзывать статей за подписью *А. Григорьевъ*. Естественно, злополучный писатель жестоко обидѣлся, и кажется едва вѣроятнымъ, что разсказчикъ факта могъ усмотрѣть въ обидчивости только «недовѣріе и мнительность»! Такъ судили о настроеніяхъ Григорьева его ближайшіе друзья и уже послѣ его дѣятельности въ *Москвитянинѣ*.

И чѣмъ же заслужилъ Григорьевъ подобное отношеніе?

Жизнь его—настоящая исторія не «скитальчествъ», какъ онъ самъ ее называлъ, а подлинныхъ мучительныхъ мытарствъ.

По окончаніи университетскаго курса онъ становится литераторомъ, печатаетъ стихи въ *Москвитянинѣ*, пробуетъ служить въ одной изъ петербургскихъ канцелярій, но не выноситъ *стыда* механической работы и предпочитаетъ перебиваться переводной и компилятивной работой во второстепенныхъ петербургскихъ изданіяхъ. Но онъ уже и теперь *чудакъ*, по отзывамъ товарищей, и *фанатикъ*—по личному признанію. Но больше всего онъ романтикъ и идеалистъ. Онъ совершенно искренне громитъ Ваала, Веліара и другія божества человѣческихъ «мерзостей», заявляетъ о своемъ гордомъ исканіи истины, о равнодушіи къ личному счастію, о пламенной вѣрѣ въ человѣческую душу. Все это, несомнѣнно, особенно *вѣра*, потому что столь лирическія рѣчи пишутся Погодину и сопровождаются юношескимъ объясненіемъ въ любви къ любимому наставнику. Это очень кстати! Именно Погодинъ достойно оцѣнитъ и рыцарство, и гордость, и ненависть къ «филистеріи» и «къ раздвоенію мышленія и жизни».

Онъ докажетъ остроту пониманія немедленно, лишь только Григорьевъ обратится къ нему съ просьбой о помощи,—отнюдь не даровой,—съ просьбой дать работу въ *Москвитянинѣ*, какую угодно, на шесть листовъ, по десяти рублей листъ. Погодинъ, конечно, согласится, но сугубо примется держать наивнаго энтузіаста въ черномъ тѣлѣ. И вполнѣ по заслугамъ! Зачѣмъ онъ такъ скромно, съ чисто дѣтской наивностью говоритъ о своихъ писаніяхъ?

[116]) Сообщеніе Н. Страхова. *Эпоха*. 1864, сентябрь, 16—7.

Затѣмъ онъ сравниваетъ себя съ «честной возовой лошадью» и неукоснительно подтверждаетъ хозяину, что можетъ работать «за весьма умѣренную плату, какъ волъ». Разъ самъ человѣкъ такъ ставитъ себя, чего же съ нимъ церемониться? Пусть умоляетъ о каждомъ рублѣ, на мольбы можно отвѣчать поученіями, а то и прямо хозяйскимъ окрикомъ [117]).

И Погодинъ не скупится на ничего не стоющія ему приношенія. Положеніе Григорьева не улучшается и при молодой редакціи. Нужда его душитъ, работа валится изъ рукъ, издатель держитъ его даже на посылкахъ и все-таки правильно заноситъ въ свой *Дневникъ*: «Досада отъ Григорьева, приставшаго за деньгами» [118]). Григорьевъ, по прежнему, пишетъ вопіющія письма, умоляетъ Погодина пристроить его на какое-либо мѣсто, «пособить выбиться», «не кинуть его»: онъ еще пригодится!..

Это сплошной вопль, и отъ кого-же? Перваго критика славянофильскаго лагеря, перваго, по крайней мѣрѣ, по признанію самихъ славянофиловъ, и во всякомъ случаѣ автора самыхъ талантливыхъ критическихъ страницъ въ *Москвитянинѣ*. При этомъ надо помнить, — Погодинъ платилъ очень немногимъ сотрудникамъ, различая семейныхъ и несемейныхъ: однимъ полагалось 15 р. за листъ, другимъ шесть. И такихъ счастливцевъ было всего трое — Эдельсонъ, Григорьевъ и Алмазовъ. Большинство ничего не брало.

И все-таки шестирублевый Алмазовъ считаетъ долгомъ отличить Погодина отъ Краевскаго: тотъ «выжалъ Бѣлинскаго, какъ апельсинъ, и выкинулъ за окошко» [119]). Любопытно, чѣмъ же отличался московскій издатель отъ петербургскаго? Краевскій, по крайней мѣрѣ, во время выжиманія оплачивалъ потъ и кровь своихъ воловъ, Погодинъ не считалъ нужнымъ и этого.

Послѣ прекращенія *Москвитянина* начались уже непрерывныя скитальчества. Григорьевъ на короткіе сроки пристраивается къ разнымъ изданіямъ или—скоротечной судьбы, или весьма второстепеннаго качества. Часто разрывы слѣдуютъ неожиданно, или потому, что «не сошлись», или потому, что редакторъ посягнетъ на «личность» критика, т. е. вымараетъ «дорогія ему имена» или попытается перетянуть въ «приходъ». Выборъ постепенно су-

---

117) Письма Григорьева у Барсукова VIII, 87, 298; IX, 440 etc; XI 396—7.

118) *Ib.*, XII, 223, 293.

119) *Ib.*, XII, 213.

живался, на сцену выступали новые люди, съ побѣдоносной ясностью положительныхъ и жизненныхъ идей, а чудакъ оставался все тѣмъ же романтикомъ и созерцателемъ. Въ немъ издавна развивалась «съ ужасающею силою жизнь мечтательная», и онъ никогда не думалъ отрезвиться отъ этого развитія. Съ каждымъ годомъ онъ становился все болѣе чужимъ окружающей дѣйствительности и литературѣ, «человѣкомъ ненужнымъ. Такъ онъ самъ себя называетъ и не перестаетъ повторять: «струя моего вѣянія отшедшая, отзвучавшая» и друзья должны удостовѣрить фактъ: «Григорьевъ въ совершенномъ загонѣ» [120]).

Мы еще встрѣтимся съ этой агоніей. Она—весьма существенная черта на картинѣ шестидесятыхъ годовъ. Пока для насъ достаточно видѣть, сколько незаслуженныхъ невзгодъ обрушивалось на нашего критика въ теченіе всей его жизни. Конечно, на взглядъ строгаго судьи Григорьевъ не безъ вины. Ему слѣдовало твердо запомнить, что неприкосновенность его личности вовсе не священная заповѣдь для его покровителей и доброжелателей, что его философское и романтическое отношеніе къ первымъ потребностямъ существованія—преступленіе и безуміе въ глазахъ людей солидныхъ и опытныхъ, что рѣшительно никому нѣтъ дѣла до его юношескихъ исканій абсолюта, до мистическихъ и вдохновенныхъ созерцаній. Григорьевъ пожиналъ то, что сѣялъ. Онъ понялъ свою ненужность въ шестидесятые годы. Онъ былъ ненуженъ гораздо раньше. Онъ гордившійся *органической* неспособностью сказать что-либо противъ своего убѣжденія, онъ, готовый поднимать бурю изъ-за редакторскаго пренебреженія къ любимымъ его писателямъ, былъ лишнимъ и безпокойнымъ человѣкомъ въ эпоху повальнаго приспособленія, всеобщей готовности подальше и поуютнѣе запрятать личность и малѣйшія поползновенія на самостоятельность.

Только развѣ съ яснымъ и безпощадно-послѣдовательнымъ умомъ Бѣлинскаго, съ его фанатической страстью къ нравственной личной неприкосновенности и свободѣ можно было побѣдоносно раздѣлываться со всевозможными рожнами, со всѣхъ сторонъ обступавшими писателя дореформенной Россіи. А у Григорьева ровно столько же было энергіи, добрыхъ стремленій сколько неспособности къ самоопредѣленію, даже къ уясненію своихъ задушевнѣйшихъ думъ и идеаловъ.

---

[120]) *Эпоха*, 1864, май, 147, сентябрь 20, 4. Ср. Аверкіевъ о Григорьевѣ, *Ib.*, августъ, стр. 11.

Онъ глубоко могъ чувствовать и многое понимать, но и чувства и идеи оставались вдохновенными мимолетными вспышками. Они, будто искры, вспыхивали и тонули въ вѣчномъ туманѣ невыясненныхъ цѣлей и коротко-душныхъ порывовъ.

Психологію Григорьева успѣлъ опредѣлить еще Бѣлинскій. Онъ крайне бережно, даже сердечно отзывался объ его стихотвореніяхъ, не нашелъ въ нихъ поэзіи, но встрѣтилъ несомнѣнную искренность, отголоски сильныхъ чувствъ и серьезной умственной дѣятельности. Но эта искренность не мѣшала странной, противоестественной апоѳеозѣ страданія, не удерживала поэта отъ громогласныхъ вскриковъ о «гордости страданья», о «безумномъ счастьи страданья» и не разоблачала передъ нимъ менѣе всего почтенной роли краснорѣчиваго страдальца въ неудачныхъ притязательныхъ стихахъ.

Бѣлинскій не могъ не распознать основной черты нравственной природы Григорьева. Она неизмѣнно сопутствовала ему и какъ критику. «Дѣлая себя героемъ своихъ стрихотвореній,—писалъ Бѣлинскій,—онъ только путается въ неопредѣленныхъ и безвыходныхъ рефлексіяхъ и ощущеніяхъ».

Та же способность запутываться не только въ рефлексахъ, но даже въ выраженіяхъ непосредственныхъ впечатлѣній, та же нетвердость и затаенная неувѣренность поступи, при видимой наличности отваги и даже героизма, не оставила Григорьева до конца его литературной дѣятельности.

И трагизмъ положенія еще повышался съ теченіемъ времени, когда Григорьевъ путемъ многочисленныхъ опытовъ долженъ былъ придти къ безнадежному выводу о своей неизлѣчимой нравственной безпомощности, о своемъ безсиліи подчинить порывы своего пылкаго воображенія и страстнаго чувства упорядочивающей силѣ умственнаго анализа и воздвигнуть прочное идейное зданіе на такой, повидимому, блестящей, и неистощимой вереницѣ вдохновеній и подчасъ дѣйствительно удивительныхъ критическихъ интуицій.

Другіе поняли этотъ трагизмъ, конечно, еще раньше, и жизнь безусловно талантливаго, благороднаго и въ литературномъ смыслѣ на рѣдкость образованнаго писателя вышла какой-то нервно-надорванной, удручающе-мучительной съ весьма немногочисленными промежутками ясности духа и удовлетворенія сердца.

XVI.

Въ признаніяхъ Григорьева есть одно особенно пылкое изліяніе. Оно—вѣрнѣйшій ключъ къ таланту автора, какъ критика, къ сущности его художественныхъ воззрѣній и къ его идеальнымъ запросамъ въ области литературы. Мы приведемъ эти строки; болѣе краснорѣчивой общей характеристики намъ не дадутъ никакія соображенія и выводы на основаніи статей Григорьева. Въ отрывкѣ говорится о ранней молодости, но авторъ здѣсь же припоминаетъ другую эпоху своей жизни, гораздо позднѣйшую, и сознается въ тѣхъ же пережитыхъ чувствахъ. Природа оставалась неизмѣнной, неистребимой ни властью лѣтъ, ни вліяніемъ опытовъ.

«Отчего жъ это бывало,—спрашиваетъ Григорьевъ,—въ пору ранней молодости и нетронутой свѣжести всѣхъ физическихъ силъ и стремленій, въ какое-нибудь яркое и дразнящее, но зовущее весеннее утро, подъ звонъ московскихъ колоколовъ на Святой—сидишь весь углубленный въ чтеніе того или другого изъ безумныхъ искателей и показывателей абсолютнаго хвоста... Сидишь, и голова пылаетъ, и сердце бьется не отъ вторгающихся въ раскрытое окно съ ванильно-наркотическимъ воздухомъ призывовъ весны и жизни... а отъ тѣхъ громадныхъ міровъ, связанныхъ цѣлостью, которые строитъ органическая мысль, или тяжело мучительно роешься въ возникшихъ сомнѣніяхъ, способныхъ разбить все зданіе старыхъ душевныхъ и нравственныхъ вѣрованій... и физически болѣешь, худѣешь, желтѣешь отъ этого процесса... О! эти муки и боли души, какъ онѣ были отравительно сладки! О! эти безсонныя ночи, въ которыя съ рыданіемъ падалось на колѣни съ жаждою молиться и мгновенно же анализомъ подрывалась способность къ молитвѣ—ночи умственныхъ бѣснованій вплоть до разсвѣта и звона заутрень—о! какъ онѣ высоко подымали душевный строй!» [121]).

Пусть читатель не думаетъ, будто это стихотвореніе въ прозѣ заключаетъ въ себѣ хотя бы одну реторическую фразу. Григорьевъ въ совершенно искреннихъ порывахъ доходилъ и не до такихъ лиризмовъ, вплоть до мистической вѣры въ чудеса и мгновенное раскрытіе отъ вѣка скрытыхъ тайнъ [122]). Иногда

---

[121]) *Эпоха*, мартъ, 134.

[122]) Ср. разсказъ Н. Страхова. *Эпоха*, сентябрь, 38.

искусственное возбужденіе нервовъ и воображенія приходило на помощь странному таланту Григорьева, но и независимо отъ внѣшнихъ случайностей—экстазъ и стремительный вопль страстнаго чувства всегда готовы были одушевить его рѣчь.

Теперь представьте, съ какими запросами онъ подойдетъ къ литературѣ, ея исторіи и критикѣ. Онъ искрененъ до послѣдней степени, ему и на мысль не придетъ восхвалять или порицать людей на основаніи какихъ бы то ни было политическихъ соображеній. У него нѣтъ партійной злобы и полемическихъ разсчетовъ. Правда, онъ иногда броситъ рѣзкимъ словомъ въ Добролюбова: ему, естественно, ненавистенъ всякій намекъ на матеріализмъ, но въ этой ненависти нѣтъ личнаго озлобленія, это скорѣе лирическій порывъ оскорбленнаго чувства, чѣмъ воинственное нападеніе публициста. И Григорьевъ здѣсь же готовъ отдать все должное новому направленію мысли и представить такія лестныя смягчающія обстоятельства даже для его крайнихъ увлеченій, что въ противномъ лагерѣ; немедленно должны отпустить всякую вину подобному врагу. Тѣмъ болѣе, что онъ неумолимъ съ нѣкоторыми «своими», не вызывающими у него сочувствія и уваженія.

Съ какой, напримѣръ, силой обрушится онъ на *Маякъ* и *Домашнюю Бесѣду*, этихъ патріотовъ-опричниковъ! Они—обожатели застоя, существующаго факта, они защищаютъ китаизмъ, на всякій протестъ смотрятъ, какъ на злодѣяніе и преступленіе, непрестанно вопіютъ *vae victis!* и, подъ предлогомъ патріотизма и народности, оправдываютъ возмутительнѣйшія явленія стараго быта.

Критикъ волнуется и негодуетъ, когда въ этомъ чумномъ лагерѣ видитъ честнѣйшаго и наивнѣйшаго Загоскина. Онъ знаетъ, патріотическій сочинитель попалъ въ компанію Бурачка и Аскоченскаго по невинности сердца, но состраданіе къ ближнему не мѣшаетъ критику по достоинству оцѣнить позорную шайку [123]).

Съ другой стороны, Григорьевъ не пожалѣетъ восторженныхъ словъ о людяхъ рѣзко-западническаго направленія. Мы слышимъ неоднократно о честности и мужествѣ Чаадаева. Григорьевъ понимаетъ его драматическую психологію, ему ясно, что «пустынная, однообразная и печальная, какъ киргизская степь, русская жизнь» могла вызвать крикъ отчаянія именно у искреннаго патріота, и не суду подлежитъ это отчаяніе, а скорѣе, вдумчивому сожалѣнію и оправданію. Другіе западники удостоиваются еще болѣе горячаго сочувствія.

---

[123]) *Сочиненія.* Спб. 1876, стр. 581—7 etc.

Полевой именуется «даровитымъ до геніальности самоучкой», онъ «предводитель» молодого поколѣнія. Григорьевъ перечитываетъ *Очерки русской литературы* съ умиленіемъ къ даровитой, жадной свѣта личности автора, всѣмъ обязаннаго самому себѣ. Онъ не можетъ безъ боли въ сердцѣ вспомнить о вынужденномъ крутомъ поворотѣ журналиста на другую дорогу, о его борьбѣ съ голодомъ, о безвыходныхъ лишеніяхъ, заставлявшихъ работать у Сенковскаго. И съ какой проницательностью нашъ критикъ умѣетъ отмѣтить существенную черту въ личности и дѣятельности Полевого: «демократъ по рожденію и духу».

Одно это опредѣленіе сдѣлало бы великую честь автору, но онъ идетъ дальше. Онъ осмѣливается заявить о культурныхъ достоинствахъ *Исторіи русскаго народа*, онъ цѣнитъ въ ней «отрыжки мѣстностей, національностей», попранныхъ Карамзинымъ во славу абсолютной государственной идеи.

Имѣются, конечно, и большія недостатки въ публицистикѣ Полевого, главный—недостаточное пониманіе Пушкина и позднѣйшій квасной патріотизмъ. Но что значатъ эти укоры предъ уничтожающей сатирой надъ врагами Полевого—«омерзительными» идолопоклонниками Карамзина, «дрянными котурнами и полинявшими бланжевыми чулками», сочинявшими статьи «площадного цинизма» на *Исторію* Полевого! Что значатъ обличенія русскаго романтизма въ слѣпотѣ предъ грознымъ портретомъ одного изъ типичнѣйшихъ старцевъ, автора *Московскихъ элегій!* «Фамусовъ, дошедшій до лирическаго упоенія, до гордости, до помѣшательства на весьма странномъ пунктѣ, на томъ именно, что Аркадія единственно возможна подъ двумя формулами, барства съ одной и назойства съ другой стороны, это Фамусовъ, явно и по рефлексіи презирающій народъ и въ купечествѣ, и въ сельскомъ свободномъ сословіи» [124]).

Какого же размаха и жара достигнетъ рѣчь критика, когда онъ начнетъ рисовать личность Бѣлинскаго и перечислять его заслуги! Предъ нами одинъ изъ самыхъ восторженныхъ поклонниковъ неистоваго Виссаріона, привѣтствующій будто родную себѣ душу и исполненный счастья отъ собственныхъ привѣтствій и восхищеній.

Для Григорьева Бѣлинскій—«великій учитель», «могущественный борецъ». Его идеи «навѣки нерушимы», и для нашего критика

---

[124]) *Ib.*, 511—2; *Эпоха*, мартъ, 137, 147—8, 150, 145, 149.

«смиренное назначеніе» и гордость — продолжать дѣло Бѣлинскаго въ художественной критикѣ. Но всего этого мало.

Григорьевъ увѣнчаетъ Бѣлинскаго роскошнѣйшими лаврами, какіе онъ только можетъ придумать. «Пламенная любовь къ правдѣ и рѣдкая самоотверженная способность натуры устоять предъ правдою мысли»; эти личныя черты Бѣлинскаго заставляютъ критика забывать о нравственныхъ и общественныхъ разногласіяхъ съ нимъ. Бѣлинскій параллель къ Пушкину: одинъ *сила*, другой — *сознаніе*. А для Григорьева Пушкинъ—«наше все», на какой же высотѣ мысли и общественнаго значенія долженъ стоять критикъ, если его можно сравнить съ подобнымъ поэтомъ? [125]).

И Григорьевъ цѣлыя страницы выписываетъ изъ статей Бѣлинскаго, потому что лучше Бѣлинскаго трудно выразить красоту и силу искусства, потому что онъ по таланту и свойствамъ своей натуры во всякое время стоялъ бы во главѣ критическаго сознанія. Григорьевъ оберегаетъ честь своего учителя отъ неразумныхъ, по его мнѣнію, послѣдователей.

Они не хотятъ знать цѣльнаго, полнаго Бѣлинскаго. Они усвоили изъ его положеній только потребное имъ для данной минуты, ухватились за *послѣдній* моментъ его развитія и принялись «пережевывать шелуху» [126]).

Григорьевъ мѣтитъ въ защитниковъ тенденціозности и въ новыхъ публицистовъ, равнодушныхъ къ художественнымъ красотамъ искусства. Онъ исполненъ гнѣва на превознесеніе дѣйствительности предъ творчествомъ и не желаетъ, чтобы такое кощунство опиралось на авторитетъ Бѣлинскаго.

И критикъ правъ.

Мы знаемъ, Бѣлинскій отнюдь не думалъ посягать на искусство, свою защиту не художественныхъ, но полезныхъ литературныхъ произведеній считалъ односторонностью и политикой, необходимой по исключительнымъ общественнымъ условіямъ. Григорьевъ правъ, выдвигая на первый планъ глубокую поэтичность самой природы Бѣлинскаго, правъ и въ своемъ недовольствѣ на нѣкоторыхъ шестидесятниковъ, воспользовавшихся *односторонностью* Бѣлинскаго и превратившихъ его въ исключительнаго проповѣдника не-художественной тенденціозной литературы. Самъ Бѣлинскій, конечно, не призналъ бы своимъ послѣдователемъ Писарева и про-

---

125) *Ib.*, 413—4, 194, 301—2, 238.

126) *Ib.*, 413, 623—4.

тестовалъ бы противъ настоятельнаго утвержденія «реалистовъ», будто они даже въ разрушеніи эстетики развиваютъ его принципы.

Все это справедливо, но понималъ ли цѣльнаго Бѣлинскаго самъ Григорьевъ? У него было достаточно искренности и благороднаго неистовства—разгадать *личную* психологію Бѣлинскаго, но его *писательскій* геній и его литературное наслѣдство, требовало отъ судьи и истиннаго послѣдователя больше, чѣмъ способности восхищаться и говорить правду,—особаго склада ума и столь же неуклоннаго и всесторонняго логическаго мышленія, какимъ обладалъ самъ Бѣлинскій.

Изъ личныхъ признаній Григорьева мы знаемъ, что именно этихъ средствъ врядъ ли было достаточно въ его рыцарской и даровитой натурѣ. Именно умъ его отличался не столько ясностью и логичностью, сколько нервностью и горячностью. Это умъ романтика, всегда опережаемый воображеніемъ и послушный чувству, часто неуловимо-увлекательнымъ совершенно фантастическимъ призракамъ.

Мы слышали отъ Григорьева восторженные гимны во славу непосредственности, органическаго міра, грунта, почвы. Это отголоски чисто-поэтическаго влеченія къ природѣ, простотѣ, къ процессу свободной дѣвственной жизни. Влеченіе для поэта вполнѣ законное и чреватое многими вдохновенными мотивами. Съ другой стороны не менѣе основательна и вражда Григорьева къ чистымъ теоріямъ, не желающимъ считаться съ жизнью и живымъ міромъ.

Но непосредственность и абстрактность—одинаково крайности и источники заблужденій. Чистая непосредственность, ничто иное, какъ дикость и животность,—стихіи, совершенно не уживающіяся не только съ теоріями, а даже съ болѣе или менѣе развитыми чувствами и облагороженными инстинктами. Въ свою очередь, фанатическая теоретичность—явный признакъ мертвенности нравственной природы и безплодности, часто даже вредоносности представленій чистаго теоретика о дѣйствительности и его покушеній осуществлять ихъ.

Это азбучныя истины, подтверждаемыя ежедневнымъ опытомъ. Но какъ разъ для уроковъ и опыта и невоспріимчива романтическая душа нашего критика. Бѣлинскій пережилъ полосу такой же невоспріимчивости, но очень кратковременную и далеко не столь *закаленную*. Отвлеченный фанатизмъ ни на одну минуту не вытравилъ изъ его сердца нервовъ, чуткихъ къ свѣту и холоду внѣшняго міра. А впослѣдствіи непосредственное и идейное слились въ міросозерцаніе жизненнаго и дѣятельнаго идеализма.

Григорьевъ до конца оставался на односторонности, противоположной теоретическимъ увлеченіямъ своихъ недруговъ—шестидесятниковъ. Непосредственное, стихійное, органическое подавляю его воображеніе неизглаголанной таинственностью и неотразимой мощью. Даже слово *органическій* звучало для него какъ-то особенно соблазнительно, наравнѣ съ *почвой* и *жизнью*. Онъ выбивался изъ силъ надъ созданіемъ *органической критики* и не уставалъ умиленно или восторженно твердить: «органическія явленія», «органическій взглядъ», «непосредственное чутье», «тихое и поэтическое однообразіе жизни», а тамъ ужъ слѣдують «почва», «высокія вѣковыя преданія», «коренныя народныя созерцанія», и въ заключеніе «ярыжно-глубокіе» и «глубоко-ярыжные», по выраженію критика, контрасты: вѣчные идеалы и «поклоненіе послѣднему моменту», «типовое бытіе» и «мимолетная злоба дня», «единый идеалъ» и случайные «кумирики», «чувство массы» и тенденціозные идеалисты.

Такова непрерывная цѣпь мыслей и понятій, берущая начало въ поэтическомъ культѣ непосредственности. Мы, видимо, безъ всякихъ особенныхъ усилій со стороны нашего энтузіаста, въ цѣпи могли оказаться звенья весьма сомнительнаго идейнаго достоинства, а главное, крайне смутнаго значенія. Что такое «вѣчные идеалы» и какъ опредѣлить чувство массы, а главное, какъ къ нему отнестись во имя тѣхъ же вѣчныхъ идеаловъ?—это и глубокіе, и еще болѣе ярыжные вопросы. И вотъ ихъ-то, какъ заранѣе рѣшенные, критикъ положилъ въ основу своей эстетики.

XVII.

Обычная судьба всѣхъ недосягаемо-выспреннихъ или необъятно-широкихъ отвлеченныхъ положеній—совершенное банкротство въ практическомъ приложеніи. Стóитъ только метафизическаго орла или морализирующаго ангела поставить предъ лицомъ реальныхъ явленій и заставить считаться съ подлинной человѣческой природой и средой, немедленно обнаружится пустопорожность величественныхъ формулъ и безцѣльность героическихъ полетовъ. Въ лучшихъ случаяхъ столкновеніе широковѣщательныхъ отвлеченій съ фактами завершается безнадежной смутой и безвыходными противорѣчіями мыслей и поступковъ философа.

Нашъ критикъ—завѣдомый врагъ теорій—создалъ рядъ са-

мыхъ отчаянныхъ абстрактныхъ понятій и, при первомъ же приложеніи ихъ къ литературѣ, сразу упалъ съ облаковъ въ весьма неприглядную «почву».

«Тихое поэтическое однообразіе жизни», «органическое развитіе», какъ все это звучитъ красиво и въ стихахъ непремѣнно достигло бы высшей цѣли чистаго искусства. Но въ критикѣ сладкіе звуки означаютъ слѣдующее:

Идеалъ художника долженъ идти рука объ руку съ *коренными началами* дѣйствительности. Цѣль искусства—органическое единство съ жизнью въ глубочайшихъ корняхъ сей послѣдней. Раздраженное отношеніе къ дѣйствительности *во имя претензій человѣческаго самолюбія* хуже самаго тупого равнодушія къ язвамъ современности.

Остановитесь на этихъ изреченіяхъ и сдѣлайте выводы. Не спрашивайте у критика, что̀ значитъ *коренныя начала* жизни и какъ отличить ихъ отъ не коренныхъ, какой писатель раздражается подъ вліяніемъ идеальныхъ запросовъ къ жизни или по внушенію *претензій самолюбія*,—всего этого критикъ не объяснитъ, и не можетъ объяснить. Всѣ выдвинутыя имъ понятія— относительны, а между тѣмъ имъ навязана роль абсолютныхъ истинъ. Практически немедленно вскрывается жестокое недоразумѣніе.

Протестъ личности наскучилъ всѣмъ смертельно и сталъ смѣшонъ. Отрицательная нота въ изображеніи дѣйствительности потеряла *въ настоящую минуту* всякую цѣнность.

Это пишется въ 1851 году, когда именно наклонность русскихъ писателей протестовать и отрицать менѣе всего нуждалась въ сдержкѣ и въ призывахъ къ умѣренности. И потомъ—*скука, комизмъ*... Достойны ли эти мотивы нашего критика, такого впечатлительнаго и съ такими возвышенными взглядами на искусство! И кто же это скученъ и смѣшонъ? Чьи отрицанія утратили всякую цѣнность?

Лермонтовскія, и комиченъ его герой,—Печоринъ.

Вы изумлены... Какъ писатель, самъ поэтъ, съ такими «безумными» порывами и вожделѣніями объ орлиныхъ полетахъ, какъ онъ, «вдохновенный» и «изступленный», могъ ополчиться на пѣвца «Демона»? Какъ онъ могъ устоять предъ бурнымъ и жгучимъ дыханіемъ дѣйствительно органической страсти и силы, какими дышитъ и блещетъ геній Лермонтова?

Не только устоялъ, но даже наговорилъ такихъ трезвенныхъ рѣчей, что хотя бы въ пору любому филистеру и мѣщанину.

«Лермонтовъ не болѣе, какъ случайное повѣтріе, какъ миражъ иного, чуждаго міра; *правда* его поэзіи есть правда жизни мелкой по объему и значенію, теряющейся въ безбрежномъ морѣ иной жизни; *казнь*, совершаемая этою все-таки поэтическою правдою надъ маленькимъ муравейникомъ, въ отношеніи къ которому она справедлива, имѣетъ сколько-нибудь общее значеніе только какъ *казнь* одинокаго положенія этого муравейника» [127]).

Авторъ подчеркиваетъ слова *правда*, *казнь*, но не отдаетъ себѣ отчета въ ихъ истинномъ значеніи. Онъ говоритъ *муравейникъ* и думаетъ убить этимъ презрительнымъ выраженіемъ глубину и силу лермонтовской тоски и горечи. *Маленькій муравейникъ!* Да вѣдь во времена Лермонтова это—цвѣтъ такъ называемаго русскаго просвѣщеннаго общества! Это сливки интеллигенціи, могущественная соль земли, если не нравственно, то практически. Рядомъ съ ней, правда, жили и мучались Полевые и Бѣлинскіе, но они еще стояли на положеніи «невѣрныхъ» и «дикихъ». Только въ немногихъ избранныхъ находила отголосокъ ихъ рѣчь, по крайней мѣрѣ, до начала сороковыхъ годовъ, а все, что̀ гордилось цивилизаціей, образованностью, что̀ представляло власть оффиціальную и общественную, то и было «муравейникомъ» и вызывало у поэта презрѣніе и злобу.

Конечно, съ точки зрѣнія даже, пожалуй, 1856 года и еще больше на взглядъ вообще историка русскаго прогресса жертвы лермонтовской злости совершенно ничтожны... Но не смертный ли грѣхъ критика предъ исторической перспективой на этихъ основаніяхъ правду одного изъ величайшихъ русскихъ борцовъ съ пошлостью и рабствомъ считать *мелкой?* Вѣдь тогда вообще правда всѣхъ сатириковъ и протестантовъ *мелка*. Въ настоящее время, напримѣръ, Собакевичи, Чичиковы, Сквозники-Дмухановскіе далеко не имѣютъ такого жизненнаго значенія, какимъ обладали полвѣка тому назадъ, а недалеко время, когда эти уродцы, можетъ быть, совсѣмъ станутъ ископаемыми. Тогда, слѣдовательно, и правду гоголевской поэзіи можно будетъ признать мелкой по объему и значенію? Надо обладать исключительной способностью впадать въ ослѣпленіе и безсознательно проповѣдывать вопіющую нравственную и историческую ересь, чтобы лермонтовское одиночество въ современномъ ему муравейникѣ свести къ безпредметной тоскѣ и безплодному отчаянію. Надо забыть рѣшительно все русское

127) *Ib.*, 58, 144—6, 50, 161.

доброе старое время, притомъ весьма еще недавнее, чтобы проглядѣть одну изъ захватывающихъ драмъ въ жизни геніальнаго поэта. Григорьевъ готовъ смѣяться сопоставленію Лермонтова съ Байрономъ. Смѣшно не сопоставленіе, а настроеніе критика. Конечно, русскіе аристократы, московскіе Чайльдъ-Гарольды не англійскіе лорды и петербургскій «свѣтъ» какой угодно эпохи комиченъ и жалокъ предъ великобританскимъ кентомъ. Но и ничтожество можетъ быть страшнымъ и мельчайшіе пошляки, подобно микробамъ, могутъ задушить даже настоящаго Байрона. Можно навѣрное сказать, петербургскій свѣтъ для Лермонтова, при всей прирожденной силѣ и талантѣ поэта, былъ гораздо болѣе опасный и неотвязчивый врагъ, чѣмъ англійское высшее общество для Байрона. А насчетъ средствъ, удобствъ и блистательныхъ эффектовъ борьбы русскаго дворянина и поручика нельзя и сравнивать съ великобританскимъ лордомъ и пэромъ.

Всего этого не сообразилъ критикъ, прекрасно знавшій предметъ. Также безотчетно обозвалъ онъ и Печорина «комическимъ лицомъ», «личнымъ безсиліемъ, поставленнымъ на ходули».

Мы уже говорили,—и для насъ Печоринъ не герой и не богатырь, но отсюда цѣлая пропасть до комизма и ходульнаго безсилія. Комиченъ человѣкъ, рыдающій и грызущій землю! Именно объ этой странной *двойственности* говоритъ критикъ, и проходитъ мимо, удовлетворившись ничего не говорящимъ словомъ. Смѣшные люди вовсе не отличаются двойственностью, да еще такой драматической, и кто способенъ рыдать и грызть землю, тотъ уже не щеголяетъ ходулями. Вопросъ, въ сущности, не представлялъ никакихъ затрудненій: стоило только подойти къ нему даже не съ глубокимъ психологическимъ анализомъ, а просто съ развитой чуткостью сердца и съ кое-какими свѣдѣніями по исторіи русскаго общества.

Даже меньше. Григорьеву надо было только соблюсти послѣдовательность и держаться строго логическихъ выводовъ изъ собственныхъ положеній.

Одна изъ оригинальныхъ его идей, подавшая поводъ къ многочисленнымъ журнальнымъ насмѣшкамъ, представленіе о *допотопныхъ* писателяхъ и типахъ. *Свистокъ* съ большой благодарностью принялъ удивительный терминъ и поспѣшилъ поднять его на смѣхъ.

Въ дѣйствительности, въ идеѣ заключался смыслъ и весьма любопытный. Критикъ желалъ выразить *органическое* развитіе

извѣстнаго таланта, или художественнаго образа. Все равно какъ для развитыхъ животныхъ организмовъ существуютъ формы первичнаго образованія, *допотопныя*, такъ и для талантовъ и типовъ одного и того же духовнаго склада и направленія. Напримѣръ, Марлинскій и Полежаевъ — таланты допотопной формаціи въ отношеніи къ Лермонтову. Типъ проходитъ нѣсколько цикловъ развитія раньше чѣмъ въ полной мѣрѣ разовьетъ свое внутреннее содержаніе и выльется въ соотвѣтствующую форму.

Идея—ясная, но Григорьевъ, по обыкновенію, затемнилъ ее пафосомъ, «индійскими аватарами» и вызвалъ невольный смѣхъ. А между тѣмъ, разочарованіе героевъ Марлинскаго и самого Полежаева дѣйствительно нѣчто предшествущее для лермонтовской поэзіи. Слѣдовательно, Печоринъ—завершеніе цѣлой исторіи извѣстнаго типа, органическое явленіе, проходящее по нѣсколькимъ періодамъ русскаго общественнаго развитія. Слѣдовательно, въ немъ таится нѣчто вполнѣ серьезное. Это несомнѣнно еще и по другимъ соображеніямъ, вытекающимъ также изъ прочувствованныхъ идей критика.

Среди восторженныхъ патетическихъ рѣчей во славу Пушкина Григорьевъ высказалъ одну яркую мысль, достойную вниманія. Она касается Бѣлкина. Смыслъ этого героя, по мнѣнію Григорьева, заключается въ борьбѣ простого здраваго смысла и здраваго чувства, кроткаго и смиреннаго съ блестящимъ и страстнымъ типомъ, т. е. типомъ печоринской породы. Съ этого времени литература не перестанетъ изображать эту борьбу: Тургеневъ возьмется за нее въ *Рудинѣ*, продолжитъ въ *Дворянскомъ гнѣздѣ*: Лаврецкій первый изъ ненавистниковъ «тревожнаго начала», первый изъ преемниковъ Бѣлкина сброситъ съ себя залуганность и поднимется надъ чистымъ отрицаніемъ. Лежневу это еще не удавалось по отношенію къ Рудину. Лаврецкій первый начнетъ жить полною гармоническою жизнью [128]).

Послѣднее врядъ ли справедливо. Но общій ходъ мысли критика не противорѣчитъ культурному смыслу названныхъ литературныхъ явленій. Лишній и разочарованный человѣкъ дѣйствительно постепенно вытѣснялся съ перваго плана сцены, и литературный фактъ соотвѣтствовалъ жизненному. Эта смѣна типовъ подмѣчена и Добролюбовымъ, только у него идетъ преемственность прямо отъ лишняго человѣка черезъ Рудина къ Лаврецкому [129]).

[128]) *Ib.*, 227, 337—8, 252, 286, 406.

[129]) Въ статьѣ *когда же придетъ настоящій день. Сочиненія* III, 279.

Нельзя не признать проницательности взгляда въ данномъ случаѣ на сторонѣ Григорьева.

Онъ могъ бы въ подтвержденіе своей мысли привести множество примѣровъ именно борьбы блестящаго героя съ простымъ человѣкомъ. У Писемскаго этотъ контрастъ выступаетъ съ поразительной яркостью, вполнѣ преднамѣренно. И, можетъ быть, именно излюбленный планъ повѣстей Писемскаго подсказалъ Григорьеву любопытную идею. Съ другой стороны даже поверхностныя наблюденія надъ общественными явленіями могли навести писателя на тотъ же выводъ. Разочарованные утрачивали обаяніе, по крайней мѣрѣ, на вершинахъ интеллигентности, весьма быстро. Къ половинѣ пятидесятыхъ годовъ демонизмъ былъ дискредитированъ и развѣ только захолустныя мѣщанскія палестины могли еще служить благодарной сценой для демоническихъ спектаклей. А съ наступленіемъ новой полосы, съ развитіемъ жизненныхъ энергическихъ стремленій, съ обновленіемъ общественнаго и государственнаго строя, лишніе и разочарованные люди даже изъ прошлаго, когда они были лучшими людьми, съ трудомъ стали встрѣчать сочувственное вниманіе и справедливый судъ.

Но этотъ результатъ долженъ былъ получиться десятилѣтіями и Григорьевъ правъ, много разъ подчеркивая *борьбу*. Слѣдовательно, была же какая-то сила на сторонѣ блестящаго типа, и притомъ не ходульная, разъ люди здраваго смысла и чувства долго не могутъ отдѣлаться отъ страха и смущенія предъ своимъ неотразимымъ врагомъ?

Отвѣтъ не подлежитъ сомнѣнію. Лишніе люди и герои демонической складки, при всѣхъ отрицательныхъ и даже порочныхъ чертахъ, существеннѣйшее явленіе русскаго культурнаго быта и во многихъ отношеніяхъ *положительное*.

Оно первичное выраженіе протестующей мысли и оскорбленнаго чувства предъ пошлой и рабской дѣствительностью. Какова она была въ годы особенно урожайные на героевъ разочарованія и злобнаго абсентеизма, показываетъ идеальный *простой человѣкъ* Писемскаго [130]). Григорьевъ не далекъ отъ правильнаго пониманія этого идеала: «Писемскій,—говоритъ онъ,—пытался опоэтизировать точку зрѣнія на жизнь губернскаго правленія».

Это не вѣрно: Писемскій искренне ненавидѣлъ жизнь губернскихъ правленій, но губернскихъ добрыхъ малыхъ весьма ува-

---

[130]) См. въ нашей книгѣ *Писемскій*, главы XXVI, XXVII.

жалъ и ихъ здравый смыслъ и простую душу ставилъ выше всякаго ума и просвѣщенія. Можно представить, какъ воплощали тотъ же идеалъ «допотопные» націоналисты въ родѣ Загоскина!

Что же ввело нашего критика въ такую смуту противорѣчій и неправдъ? Ничто иное, какъ его пристрастіе къ положительнымъ, почвеннымъ и примирительнымъ настроеніямъ. Для него искусство — религія, «высшее служеніе на пользу души человѣческой, на пользу жизни общественной», «откровеніе великихъ тайнъ души и жизни», «цѣльное, непосредственное разумѣніе жизни» [131]), вообще недосягаемо глубокій и всесовершенный духовный процессъ. Гдѣ же здѣсь мѣсто недовольству, возмущенію, протесту? Развѣ все это допустимо въ культѣ, въ священнодѣйствіи? Развѣ Байронъ и Лермонтовъ походили на величественныхъ мужей, ясныхъ и спокойныхъ, озаренныхъ всепримиряющей благодатью свыше? Конечно, нѣтъ, и поэтому, дальше отъ ихъ поэзіи! Не даетъ истиннаго утѣшенія и Гоголь: въ прошломъ одинъ Пушкинъ, а въ настоящемъ—Островскій. Вотъ истинно-русскіе поэты-пророки!

XVIII.

Островскій въ личной жизни и въ критикѣ Григорьева занимаетъ одинаково исключительное мѣсто. Это неумирающая страсть человѣка и писателя, молитвенное умиленіе, нескончаемыя жертвы восторговъ и славословій. Если Григорьевъ дѣйствительно «фанатикъ до сеидства», какъ онъ себя называетъ, то Островскій его пророкъ. Григорьевъ не умѣетъ опредѣлить, кто онъ—западникъ или славянофилъ, знаетъ только, что существуетъ одинъ человѣкъ, съ кѣмъ у него «*все* общее», въ комъ нашлись всѣ его вѣрованія—Островскій. Только онъ можетъ сказать и даже сказалъ уже *новое слово*. Безъ такого слова жить не можетъ критикъ и его счастье безмѣрно: *Бѣдная невѣста* окончательно рѣшила вопросъ. «Новое, сильное слово»—произнесено [132]).

Эти экстазы вызвали бурю насмѣшекъ. Григорьевъ поощрялъ насмѣшниковъ не только прозой, но и стихами. Они оказались на столько благодарными, что Добролюбовъ почти цѣликомъ выписалъ ихъ въ статьѣ *Темное царство* и эффектъ, дѣйствительно

---

[131]) *Сочиненія*, 137, 406, 334.
[132]) *Эпоха*, мартъ, 132, сентябрь 12, 45. *Сочиненія*, 44.

выходилъ на столько желательный, что можно было поэзію даже не сопровождать никакими прозаическими примѣчаніями. Нѣкоторыя строфы стали знаменитыми, напримѣръ, гдѣ описывался восторженный трепетъ публики по слѣдующему поводу:

Любимъ Торцовъ предъ ней живой
Стоитъ съ поднятой головой,
Вурнусъ напяливъ обветшалый,
Съ растрепанною бородой,
Несчастный, пьяный, исхудалый,
Но съ русской, чистою душой! [133]).

Отечественныя Записки еще раньше Добролюбова ополчились, съ точки зрѣнія вкуса, приличія и нравственности, на критика, идеализирующаго «пьяную фигуру какого-нибудь Торцова» [134]).

Вылазка, въ свою очередь, не лишенная комизма, но все-таки ей далеко было до григорьевской лирики. Критикъ не смущался и шелъ своимъ путемъ. Это дѣлаетъ честь его мужеству, тѣмъ болѣе онъ все-таки достигъ извѣстной цѣли, хотя и не особенно блестящей.

Всѣмъ извѣстно, какую славу пріобрѣли статьи Добролюбова о *Темномъ царствѣ* и о *Лучѣ свѣта въ темномъ царствѣ*. Мы встрѣтимся съ этими статьями и увидимъ, что онѣ дѣйствительно заслуживали вниманія, по чрезвычайно искусному своду жизненныхъ явленій, представленныхъ художникомъ, и энергическому отпору всевозможнымъ журнальнымъ кривотолкамъ, вызваннымъ произведеніями Островскаго.

Добролюбовъ былъ вполнѣ правъ, указывая, какъ мало сдѣлали даже восторженные почитатели Островскаго для уясненія его таланта. Паѳосъ Григорьева виталъ въ недосягаемой области лирики, а на противоположномъ полюсѣ, въ *Отечественныхъ Запискахъ* пѣли отходную только что разцвѣтавшему дарованію. *Критикъ* «Современника» явился единственнымъ вдумчивымъ и безпристрастнымъ толкователемъ. Если бы пожелалъ, онъ имѣлъ бы основаніе впасть въ преднамѣренные поиски либеральныхъ идей въ пьесахъ Островскаго, потому что *Русская Бесѣда*— журналъ патріотическій и славянофильскій, успѣлъ сочувственно открыть въ комедіи *Не такъ живи, какъ хочется*, идеализацію домостроевскихъ семейныхъ порядковъ.

---

[133]) Стихи напечатаны въ *Москвитянинѣ*. 1854, IV.
[134]) *Отеч. Записки*. 1854, VI.

Критикъ удержался отъ оппозиціи и предоставилъ самому Островскому говорить за себя, т. е. попытался извлечь изъ произведеній художника прямыя и естественныя заключенія, не насилуя и не передѣлывая смысла творчества и не подсказывая автору своихъ воззрѣній. «Художественную правду» Добролюбовъ даже противопоставилъ «внѣшней тенденціи», «воспроизводителя явленій дѣйствительности», «теоретику» и заранѣе оговорился: «мы не придаемъ исключительной важности тому, какимъ теоріямъ художникъ слѣдуетъ. Главное дѣло въ томъ, чтобъ онъ былъ добросовѣстенъ и не искажалъ фактовъ въ жизни въ пользу своихъ воззрѣній: тогда истинный смыслъ фактовъ самъ собою выкажется въ произведеніи, хотя, разумѣется, и не съ такою яркостью, какъ въ томъ случаѣ, когда художнической работѣ помогаетъ и сила отвлеченной мысли» [135]).

Это ничто иное, какъ пересказъ извѣстныхъ намъ идей Бѣлинскаго и онъ показываетъ, какъ мало у Добролюбова было желанія проявлять партійную нетерпимость и умышленную политику на художественной литературѣ. И его статьи о *Темномъ царствѣ* спокойное и скромное подведеніе итоговъ, намѣченныхъ самими пьесами.

Григорьевъ напалъ на толкованія Добролюбова. Раздраженіе было весьма полезно для энтузіаста и одописца. До статей *Современника* Григорьевъ славословилъ, изрекалъ прорицательскія опредѣленія, рѣялъ въ нѣкоемъ золотистомъ и розовомъ туманѣ. Самыя опредѣленныя заявленія критика не заходили дальше слѣдующихъ откровеній:

«Новое слово Островскаго есть самое старое слово—народность: новое отношеніе его есть только прямое, чистое, непосредственное отношеніе къ жизни».

Въ другой разъ критикъ это отношеніе можетъ назвать «идеальнымъ міросозерцаніемъ съ особеннымъ оттѣнкомъ», а оттѣнокъ этотъ ничто иное, какъ «коренное русское міросозерцаніе, здравое и спокойное, юмористическое безъ болѣзненности, прямое безъ увлеченій въ ту или другую крайность, идеальное, наконецъ, въ справедливомъ смыслѣ идеализма, безъ фальшивой грандіозности или столько же фальшивой сентиментальности» [136]).

Можно признать эти выраженія не столь непроницаемыми, ка-

[135]) *Сочиненія*, III, 78.
[136]) *Сочиненія*. 63, 119.

кими ихъ считалъ Добролюбовъ. Можно усмотрѣть нѣкоторый опредѣленный смыслъ въ юморѣ безъ болѣзненности, въ идеализмѣ безъ аффектаціи, т. е. въ добродушіи и простотѣ. Но эти симпатичныя черты вовсе не образуютъ міросозерцанія, онѣ скорѣе свидѣтельствуютъ о темпераментѣ идеалиста, чѣмъ о содержаніи идеализма. Ими можетъ быть одаренъ писатель, нисколько не похожій на Островскаго по природѣ и таланту. Развѣ юморъ Гоголя болѣзненный и развѣ этотъ художникъ страдаетъ грандіозностью и сентиментальностью? Добродушія у Гоголя, пожалуй, было больше, чѣмъ у автора *Бѣдной невѣсты* и *Свои люди—сочтемся*.

Слѣдовало бы пойти дальше и выполнить именно задачу Добролюбова: попытаться извлечь жизненный смыслъ изъ фактовъ творчества Островскаго. Самъ Добролюбовъ не притязалъ на непогрѣшимость своихъ выводовъ и ставилъ ихъ въ зависимость отъ развитія таланта драматурга. Григорьеву слѣдовало направить свою критику на *ошибочность* взглядовъ *Современника*, а не вообще противъ желанія идейно осмыслить дѣятельность поэта.

А между тѣмъ письма къ Тургеневу *Послѣ «Грозы» Островскаго*—лучшія статьи Григорьева. Въ нихъ нѣтъ ни головокружительныхъ отступленій, ни неумѣстныхъ лирическихъ безпорядковъ, нѣтъ и спеціально свойственнаго нашему критику словеснаго молодечества и разгильдяйства, придающаго его статьямъ какой-то напряженно разухабистый характеръ. Критикъ, будто сверхъ своихъ силъ беретъ вполнѣ свободный тонъ, но какъ разъ въ самыхъ удалыхъ фразахъ и героически-небрежныхъ оборотахъ чувствуется затаенная немощь мысли и бѣднота изобрѣтательности. Краснорѣчивѣйшіе образчики—письма къ Достоевскому—*парадоксы органической критики*. Писались они въ худшую пору жизни Григорьева, одновременно съ приступами горькаго отчаянія и неизлѣчимой нравственной агоніи. Григорьевъ будто старался *перекричать* свою внутреннюю боль, широтой жестовъ замаскировать невольные судороги страждущей природы, и впадалъ въ какой-то надорванный, полу-торжествующій, полу-стонущій паѳосъ.

То же самое встрѣчается нерѣдко и въ другихъ статьяхъ Григорьева: жизнь, съ перваго до послѣдняго дня не бывшая для него родной матерью, налагала тяжелыя тѣни и на его слово. Но письма къ Тургеневу выдаются изъ всѣхъ произведеній критика—ясностью содержанія, твердостью и трезвостью формы и даже нѣкоторымъ полемическимъ искусствомъ. Григорьевъ будто

подтянулся и собралъ всѣ силы своего таланта и логики, обращаясь къ первостепенному современному художнику и направляя свое перо противъ влiятельнѣйшей современной критики.

Что же удалось Григорьеву сказать поучительнаго и прочнаго даже при такихъ исключительныхъ обстоятельствахъ?

Григорьевъ особенно недоволенъ однимъ обстоятельствомъ: зачѣмъ Добролюбовъ превратилъ Островскаго въ сатирика? Зачѣмъ онъ навязалъ «народному» художнику борьбу съ темнымъ царствомъ? Это значитъ впадать въ теорiю, растягивать жизнь на прокустовомъ ложѣ.

Обвиненiе является, по меньшей мѣрѣ, страннымъ. Добролюбовъ усердно открещивался отъ теорiй и всяческихъ отвлеченныхъ насилiй надъ дѣломъ художника. Онъ только *объяснялъ*, и вдругъ прокустово ложе!

Значитъ Григорьевъ не понялъ или не хотѣлъ понять статей своего противника? Мы думаемъ, ни то, ни другое, а нѣчто гораздо болѣе существенное: Григорьевъ *не могъ*, по складу своей патетической и созерцательной природы, допустить какого бы то ни было вмѣшательства идей и логики въ заповѣдную область его религiи, т. е. искусства. Малѣйшее посягательство анализировать *органическое* созданiе вдохновеннаго генiя въ его глазахъ преступленiе, теоретическiй фанатизмъ, преступленiе въ родѣ анатомированiя живого тѣла.

И посмотрите, во что превратились для него образцово-скромныя попытки Добролюбова! Тотъ раздѣлилъ темное царство на *самодуровъ* и *забитыхъ личностей*. Здѣсь даже ничего нѣтъ оригинальнаго, нарочито выдуманнаго для Островскаго. Только другiя наименованiя для *героевъ* и *жертвъ*, *побѣдителей* и *побѣжденныхъ* во всякой литературной и житейской драмѣ. Но Григорьевъ возмущенъ и навязываетъ критику «почти что» сочувствiе Липочкѣ, какъ протестанткѣ, и даже Матренѣ Савишнѣ и Марьѣ Антиповнѣ, попивающимъ съ чиновниками мадеру на вольномъ воздухѣ.

Что эти замоскворѣцкiя львицы-протестантки—несомнѣнно; таковы ихъ положенiя въ самихъ пьесахъ. Но что бы ихъ «протестантизмъ» заслуживалъ почтенiя—это вымыселъ обиженнаго критика. Добролюбовъ тщательно постарался доказать, какъ глубоко распространяется нравственный ядъ въ темномъ царствѣ, какъ одинаково смертельно отравляетъ онъ и торжествующихъ, и униженныхъ. Въ Липочкѣ Добролюбовъ не могъ, разумѣется,

не распознать «наклонности къ самому грубому и возмутительному деспотизму», а по поводу другихъ протестантокъ подробно говоритъ о *религіи лицемѣрства*. Статьи Добролюбова, какъ увидимъ, далеко не совершенство въ смыслѣ психологической проницательности, но Григорьевъ изобрѣлъ совершенно небывалые проступки критика и на нихъ построилъ свою положительную оцѣнку таланта Островскаго.

Онъ желаетъ доказать, что драматургъ «объективный поэтъ», а не сатирикъ, что русскій бытъ взятъ у него «поэтически, съ любовью, съ симпатіею очевидными», даже «съ религіознымъ культомъ существенно-народнаго». Островскій не «сатирикъ», а «народный поэтъ».

Уже изъ сопоставленія этихъ опредѣленій ясна давно знакомая намъ истина: для Григорьева поэзія непремѣнно симпатія, любовь, восторгъ. Всякое отрицаніе не поэтично уже потому, что оно отрицаніе, а въ русскомъ міросозерцаніи сатира, очевидно совершенно неестественное явленіе, какъ «раздражительное отношеніе къ дѣйствительности».

Вотъ, слѣдовательно, первоисточникъ обиды! Островскій, конечно, противъ самодурства, но это отрицательная черта его творчества и для него унизительна: должна быть положительная, и она существуетъ: въ поэзіи «существенно-народнаго». Мы съ особеннымъ интересомъ ждемъ объясненія, что же именно у Островскаго существенно народно и достойно религіознаго культа? Неужели Любимъ Торцовъ?

Оказывается, да. У него критикъ находитъ «могучесть натуры», «высокое сознаніе долга», «чувство человѣческаго достоинства», однимъ словомъ, всѣ личныя и гражданскія добродѣтели. Одно только обстоятельство тщательно обходится: прежде всего разсказъ самого Любима о своей жизни, весьма мало свидѣтельствующій о могучести натуры, а потомъ странный фактъ: необходимость столь богато одаренному представителю существенно-народнаго пройти путь добровольныхъ нравственныхъ униженій и ни въ какомъ смыслѣ не возвышенныхъ и не достойныхъ приключеній. Онъ, конечно, по человѣчеству достоинъ сочувствія, такъ же какъ и Любовь Гордѣевна—добрая, ограниченная насѣдка замоскворѣцкаго курятника, но неужели обѣ эти фигуры могутъ вдохновить поэта на лирическую любовь и религіозныя чувства? Стихи Григорьева, вызванныя Любимомъ Торцовымъ, одинъ изъ рѣдкихъ образчиковъ восторга невпопадъ и врядъ ли самъ Остров-

скій могъ раздѣлить искренность и непосредственность своего поклонника.

А между тѣмъ, обладай критикъ болѣе развитымъ самообладаніемъ, онъ могъ бы не впасть въ столь неблагодарную роль. Въ той же статьѣ, наполненной недоразумѣніями, Григорьевъ высказываетъ одну чрезвычайно меткую мысль, ускользнувшую отъ Добролюбова. Критикъ бросаетъ ее мимоходомъ: явное доказательство, что анализу онъ не придавалъ большого значенія. Перечисляя «горькое и трагическое» темнаго царства—невѣжество, ненависть къ просвѣщенію, критикъ, между прочимъ, бросаетъ выраженіе «отупѣлая земщина». Она «въ лицѣ глупаго мужика Кита Китыча предполагаетъ въ Сахарѣ Сахарычѣ власть и силу написать такое прошеніе, по которому можно троихъ человѣкъ въ Сибирь сослать, и въ лицѣ умнаго мужичка Неуѣденова справедливо боится всего, что не она—земщина».

Это случайное замѣчаніе критикъ могъ бы развить въ широкую, совершенно оригинальную картину взаимныхъ отношеній темной земщины и всякаго рода власти, самодуровъ и «стрикулистовъ». Картина даже не затронута Добролюбовымъ, а между тѣмъ ожесточенная война земщины съ тѣмъ, что не земщина, одна изъ самобытныхъ драмъ самобытнаго русскаго міра. Стоитъ вспомнить искренній, но жестокій смѣхъ добродушнаго и неглупаго Андрея Титыча надъ «стрюцкими», прямо изъ сердца вылетающій вопль его отца о «вашемъ братѣ», т. е. о тѣхъ же «стрюцкихъ», ужасъ отца и сына предъ дѣлами, какія съ ними дѣлаютъ эти щуки темнаго царства, достаточно этихъ воспоминаній, чтобы представить едва ли не ядовитѣйшую основу многочисленныхъ насилій и безобразій замоскворѣцкихъ деспотовъ-рабовъ. Григорьевъ приближался къ этому «горькому и трагическому», но на одно мгновеніе: поиски за поэзіей и примиреніемъ опять увлекли его въ восторженныя, но совершенно безплодныя восклицанія: «чувство массы», «существенно-народное», «объективный поэтъ». Въ результатѣ, если Добролюбовъ не исчерпалъ таланта Островскаго «теоріей» темнаго царства, то и Григорьевъ съ своими романтическими порывами не могъ особенно помочь публикѣ понимать и любить новое художественное дарованіе.

Это настоящая драма: быть всецѣло во власти могучаго глубокаго чувства и не умѣть заразить имъ другихъ. Мы понимаемъ негодованіе критика на жалобы своихъ читателей, будто его статьи

ıчаются «непонятностью» [137]). Это очень обидно, особенно для эго «фанатика». Но читатели были правы. Статьи не только ıдали неясностью изложенія, но обличали поразительную путау мысли. До появленія критики шестидесятниковъ путаница такъ замѣтна. Критикъ съ наслажденіемъ витаетъ въ области ики, сторицей вознаграждая себя эстетическими восторгами за ды дѣйствительности.

Но лишь только раздались голоса новыхъ людей, одушевленхъ жгучими, настойчивыми запросами къ живой цѣлесообразной ргіи въ литературѣ и въ жизни, Григорьевъ сбился съ ноты. ъ, разумѣется, вступилъ въ борьбу съ вандалами искусства, пѣсня его была заранѣе спѣта, и—что особенно трагично—спѣта ıгодаря особенно личному благородству и страстной любви къ гературѣ.

XIX.

Мы знаемъ въ общихъ чертахъ, какое дѣйствіе оказало движеніе шестидесятыхъ годовъ на преемниковъ Бѣлинскаго: оно ıи застало всѣхъ этихъ эпикурейцевъ и эстетиковъ врасплохъ въ конецъ пригнело землѣ, будто свѣжій сильный вѣтеръ ıхую омертвѣвшую траву, или преобразовывало ихъ изъ легкоысленныхъ туристовъ въ глубокомысленныхъ рыцарей чистаго скусства. Мы увидимъ, обѣ роли близко родственны по своему ıыслу и различаются только по манерѣ и тону игры.

Съ Григорьевымъ произошло нѣчто другое. Попасть въ число ıалкихъ онъ не могъ: въ немъ до конца жило достаточно страсти ъ старому кумиру, а страсть вѣрное спасеніе отъ пошлости и ıизерабельности. Еще менѣе Григорьевъ могъ ограничиться спокойнымъ и благопристойнымъ сладкогласіемъ о самодовлѣющей красотѣ. Не наступи обновленія въ самой жизни, критикъ, можетъ быть, и упивался бы лирическими созерцаніями. Но когда кругомъ развертывались и шумѣли свѣжія силы, когда со всѣхъ сторонъ звучали самоувѣренныя и искреннія рѣчи, фанатикъ не выдержалъ и, по своей обычной стремительности, поспѣшилъ отдать справедливость чужой правдѣ и чужой силѣ.

Это вполнѣ естественно со стороны горячаго поклонника Бѣлинскаго. Но вѣдь и Чернышевскій, и Добролюбовъ чтили въ великомъ критикѣ своего учителя. Слѣдовательно, Григорьевъ могъ

[137]) *Сочиненія*. 451.

бы столковаться съ ними, по крайней мѣрѣ, ужиться? На самомъ дѣлѣ, именно торжество подлинныхъ учениковъ Бѣлинскаго переполнило горькую жизненную чашу нашего критика, и они подчасъ вызывали у него или крикъ смертнаго отчаянія, или воинственный вопль непримиримой вражды и даже презрѣнія.

И столь, повидимому, странное явленіе неизбѣжно.

Григорьевъ основательно укорялъ крайнихъ послѣдователей новой «реальной» критики въ половинчатомъ пониманіи Бѣлинскаго. Они брали у своего предшественника публицистическую сторону его таланта и забывали, а то даже подвергали порицанію чисто-литературную, художественно-критическую. Григорьевъ поступалъ какъ разъ наоборотъ.

Какъ «наглый гуманистъ», — это его выраженіе о себѣ самомъ [138]),—онъ съ теченіемъ времени опредѣлилъ предѣлъ, до какого онъ признаетъ Бѣлинскаго, именно до второй половины сороковыхъ годовъ [139]). Мы знаемъ, что это значитъ. Критикъ не желаетъ знать о тѣхъ нравственныхъ и общественныхъ обязательствахъ, какія Бѣлинскій возлагалъ на искусство. Замѣтьте, Бѣлинскій вовсе не желалъ развѣнчивать непосредственной силы въ творчествѣ, совершенно напротивъ; но для нашего гуманиста уже достаточно легкаго публицистическаго прикосновенія къ священному кумиру, чтобы смутиться и вознегодовать.

И опять не менѣе грубое недоразумѣніе, чѣмъ въ полемикѣ съ Добролюбовымъ. Мы указывали на неполное представленіе Григорьева о національномъ и народномъ ученіи Бѣлинскаго. Кромѣ того, Бѣлинскій виноватъ еще въ одномъ грѣхѣ: онъ уничтожалъ «все непосредственное, прирожденное въ пользу выработаннаго духомъ, искусственнаго».

Это чистая клевета. Въ основаніи идей Бѣлинскаго послѣднихъ лѣтъ лежитъ то самое убѣжденіе, какое онъ энергически выразилъ въ письмѣ къ Кавелину.

«Безъ непосредственнаго элемента все гнило, абстрактно и безжизненно, такъ же, какъ при одной непосредственности все дико и нелѣпо» [140]).

Такое превратное пониманіе идей Бѣлинскаго и своевольное урѣзываніе ихъ, привело Григорьева къ безвыходному противорѣчію.

---

[138]) *Эпоха*, мартъ, 130.

[139]) *Сочиненія*, 642.

[140]) Григорьевъ. *Ib.*, 569.—Письма Бѣлинскаго, *Р. М.* 1892, янв., 115.

Накануне шестидесятыхъ годовъ и въ самомъ началѣ ихъ Григорьевъ будто рѣшился идти на уступки.

Дорожа вѣчнымъ, презирая временное, восхищаясь непосредственностью, примиренностью и органичностью вплоть до идеализаціи Обломова, Григорьевъ рѣшился признать естественность вражды нѣкоторыхъ людей къ Обломову и обломовщинѣ. «Современныя обстоятельства» вполнѣ оправдываютъ эту несправедливость. Критикъ въ порывѣ новаго увлеченія въ обломовцевъ зачисляетъ и Лаврецкаго, и Лизу, и приводитъ чей-то «оригинально-прекрасный взглядъ» на Обломова, какъ на «перлъ въ толпѣ», какъ на «хрустальную прозрачную душу» и даже какъ на *народнаго поэта*. Значитъ, и Островскій, сказавшій новое слово, тотъ же обломовецъ, и критикъ смѣло честь Обломова объявляетъ вопросомъ войны съ прогрессивнымъ лагеремъ [141]).

Но Григорьевъ понимаетъ и противоположное чувство. «Наша напряженная и рабочая эпоха» заставляетъ приступать къ «невиннымъ чадамъ творчества и фантазіи», съ весьма сильными и дѣйствительными чувствами любви и вражды. Еще Савонаролла, сжигая Мадоннъ итальянскихъ художниковъ, понималъ спасительное или гибельное дѣйствіе искусства на людей. И Григорьевъ беретъ подъ свою защиту теоретиковъ, «честную теорію, родившуюся вслѣдствіе честнаго анализа общественныхъ отношеній и вопросовъ», и жестоко обрушивается на дилеттантовъ. Это одна изъ любопытнѣйшихъ и самыхъ горячихъ отповѣдей критика. Ни одинъ шестидесятникъ не могъ рыцарственнѣе защищать тенденцію и издѣваться надъ чистымъ искусствомъ.

«Теоретики,—говоритъ Григорьевъ,—рѣжутъ жизнь для своихъ идоложертвенныхъ требъ, но это имъ, можетъ быть, многаго стоитъ. Дилеттанты тѣшатъ только плоть свою и какъ имъ въ сущности ни до кого и ни до чего нѣтъ дѣла, такъ и до нихъ тоже никому не можетъ быть въ сущности никакого дѣла. Жизнь требуетъ рѣшеній своихъ жгучихъ вопросовъ, кричитъ разными своими голосами, голосами почвы, мѣстностей, народностей, настроеній нравственныхъ въ созданіяхъ искусствъ, а они себѣ тянутъ вѣчную пѣсенку про бѣлаго бычка, про искусство для искусства и принимаютъ невинность чадъ мысли и фантазіи въ смыслѣ какого-то безплодія. Они готовы закидать грязью Занда за неприличную тревожность ея созданій, и манерою фламандской школы

[141]) *Сочиненія*, 414, 431, 421—3.

оправдывать пустоту и низменность взгляда на жизнь. То и другое имъ ровно ничего не стоитъ».

Григорьевъ повторяетъ мысль Бѣлинскаго, что искусство для искусства никогда не существовало, что теорія его появляется въ эпохи упадка, разъединенія утонченнаго чувства дилеттантовъ съ народнымъ сознаніемъ. Истинное искусство было и будетъ всегда народное, демократическое. Поэты—голоса массъ, глашатаи великихъ истинъ... [142]).

Все это вполнѣ ясно. Можно допустить *педагогическое* стремленіе въ искусство. Можно даже позволить ему служить интересамъ минуты, честно понятымъ.

Такъ, повидимому, слѣдуетъ изъ оживленной рѣчи критика.

Нѣтъ. У него будто два сознанія и во всякомъ случаѣ два влеченія. Онъ не можетъ отрицать правъ жизни и гражданскихъ обязанностей художника, но свободное, себѣ довлѣющее искусство—какая плѣнительная идея! И критикъ такъ и не выбьется изъ подъ власти двухъ противоположныхъ силъ – въ *статьяхъ*, но въ личныхъ признаніяхъ, гдѣ будетъ говорить только его чувство,—прирожденное влеченіе одолѣетъ. Этого нельзя назвать неискренностью и двоедушіемъ: это естественный голосъ подавленнаго чувства, это невольная побѣда натуры надъ разсудкомъ.

И посмотрите, какъ грустно, безнадежно хоронитъ себя заживо «наглый гуманистъ»! Ему кажется,—гибнутъ всѣ благородныя утѣхи человѣчества — религія, искусство, философія. Въ русской литературѣ принципіальный врагъ философіи, исторіи и поэзіи *Современникъ*. Григорьевъ признаетъ дѣятелей этого журнала людьми честными, но по временамъ его охватываетъ чувство омерзѣнія къ ихъ дѣятельности, вообще къ «россійской словесности». «Поэзія уходитъ изъ міра»,—горькій вопль отверженнаго эстетика и онъ способенъ свою безпріютность, свою тоску топить въ винѣ, «пить мертвую», по его собственному признанію. Его изводятъ «муки во всемъ сомнѣвающагося сердца» и впереди онъ видитъ лишь одинъ мракъ и «приливы служенія лізю». т. е. ту же «мертвую».

Григорьевъ слишкомъ искрененъ и впечатлителенъ, чтобы не видѣть настоящаго смысла своего одиночества и безъисходнаго томленія. «Не разобщаются люди съ современностью безнаказанно, какъ бы ни было искренне разобщеніе»,—это неотразимый смерт-

---

[142]) *Ib.*, 158–9.

ный приговоръ неисправимому прирожденному гуманисту въ эпоху напряженной жизненной работы. Единственное спасеніе — сойти со сцены и не ждать по собственной воли безцѣльной агоніи. Григорьевъ такъ и поступаетъ.

Онъ уѣзжаетъ изъ Петербурга въ глухую провинцію, превращается въ учителя русскаго языка и словесности оренбургскаго корпуса. Но именно отсюда ему приходится писать друзьямъ самыя горькія письма, потому что здѣсь, въ захолустьѣ, онъ неожиданно еще глубже убѣдился въ торжествѣ новыхъ людей и новыхъ боговъ, и что его голосъ звучалъ бы теперь въ пустынѣ. Петербургскіе друзья менѣе были поражены извѣстіями Григорьева о великихъ завоеваніяхъ «теоретиковъ», и напрасно Страховъ, Достоевскіе пытались ободрять своего критика. Онъ могъ отвѣчать горячими любезностями Страхову, его таланту: оба пріятеля тѣшили только самихъ себя, все живое и юное шло мимо нихъ, удостаивая только изрѣдка пренебрежительной насмѣшки или мимолетнаго возраженія.

Григорьевъ это понималъ лучше другихъ, и благо ему было. Въ Оренбургѣ произошло событіе, окончательно доказавшее его органическое безсиліе бороться съ ненавистными теоретиками. Григорьевъ вздумалъ прочитать четыре публичныхъ лекціи о Пушкинѣ. Онъ сообщаетъ ихъ программу и разсказываетъ вкратцѣ о самыхъ чтеніяхъ.

Онѣ импровизировались, лекторъ «ни одной своей лекціи не обдумывалъ», это онъ самъ пишетъ и прибавляетъ еще, какъ онъ «пророчествовалъ» о побѣдѣ галилеянина, о торжествѣ царства духа» [143]).

Можно представить, сколько поучительныхъ и въ особенности живыхъ идей вынесла публика изъ аудиторіи! Если статьи Григорьева на каждомъ шагу поражаютъ удивительнымъ колобродствомъ и разбросанностью мысли, что̀ же выходило изъ его импровизацій?

Всѣмъ было понятно одно: авторъ ненавидѣлъ поколѣніе, не читающее ничего, кромѣ Некрасова. Но, къ сожалѣнію, Пушкинъ врядъ ли выигрывалъ послѣ защиты подобнаго адвоката. За Некрасовымъ стояла критика, вооруженная усовершенствованнымъ оружіемъ діалектики, практическаго смысла и несравненной прозрачностью мысли. А здѣсь изступленіе и вдохновеніе: плохо при-

---

[143]) *Эпоха*, сентябрь.

ходилось поэзіи и философіи послѣ такого зрѣлища, можетъ быть даже хуже, чѣмъ до него.

Конецъ Григорьева—достойное заключеніе всей его «неземной» и больной жизни. Незадолго до смерти «лэй» окончательно овладѣлъ волей несчастнаго. Онъ попалъ въ долговое отдѣленіе, его освободила какая-то сердобольная дама, черезъ четыре дня онъ умеръ, оставивъ «на память старымъ и новымъ друзьямъ» «краткій послужной списокъ»—рядъ бѣглыхъ замѣтокъ о многочисленныхъ скитальчествахъ и разочарованіяхъ, наполнявшихъ всю жизнь писателя.

Несомнѣнно, въ самой личности Григорьева таился неисчерпаемый источникъ всевозможныхъ житейскихъ невзгодъ. Вдохновенный романтикъ—не подходящій организмъ для почвы и атмосферы половины XIX-го вѣка, особенно русскаго. Но столь же очевидно,—въ лицѣ Григорьева умиралъ не только человѣкъ извѣстнаго нравственнаго склада, но глохла и омертвѣвала цѣлая струя чувствъ, настроеній, понятій. Изъ нихъ могла сложиться стройная система идей, эстетическое и философское міросозерцаніе. Мы видѣли, оно даже не преминуло заявить о себѣ устами самого Григорьева. Но, не смотря на всю стремительность и убѣжденность критика, публика могла уловить только кое-какіе обрывки идейнаго процесса, довольствоваться лиризмомъ, восклицательными знаками и многоточіями даже въ самыхъ жгучихъ вопросахъ современной литературы, поднятыхъ самимъ же критикомъ. Но даже и въ этихъ порывахъ не оказывалось выдержанности и стойкости. Публика внимала ожесточеннымъ нападкамъ на историческую критику, будто бы обрекающую искусство на «рабское служеніе жизни», то вдругъ ей громогласно заявляли объ ея правахъ искать смысла жизни именно въ художественныхъ созданіяхъ!

Какой выходъ избрать публикѣ?

Его указалъ самъ критикъ, своей судьбой, какъ писатель. Онъ съ теченіемъ времени все сильнѣе запутывался въ дилеммѣ, поставленной фактами современной жизни и влеченіями его личной природы, обнаруживалъ полное распаденіе своихъ нравственныхъ силъ и кончалъ злобными вылазками противъ настоящаго и мистическими прорицаніями будущаго, одинаково не убѣдительными и наивными. И никакой «теоретикъ» не могъ бы измыслить болѣе внушительнаго приговора, чѣмъ это открытое, истинно-физическое самоосужденіе. Былая жизнь вянула и умирала отъ истощенія, отъ неприспособленности къ борьбѣ за существованіе

Сподвижники Григорьева далеко уступали ему литературнымъ талантомъ и главное—любовью къ искусству и вѣрой въ него. Они и кончили нѣсколько иначе, но врядъ ли съ большей славой.

XX.

Самымъ блестящимъ сотрудникомъ *Москвитянина* послѣ Григорьева явился Борисъ Алмазовъ, Погодинъ даже считалъ его болѣе полезнымъ для журнала, чѣмъ смѣшного и искренняго энтузіаста. Образованіе Алмазова закончилось первымъ курсомъ юридическаго факультета. Дѣятельное участіе въ любительскихъ спектакляхъ московскаго общества, мечты о славѣ актера, занятія поэзіей наполняли молодость будущаго критика и стихотворца. Обновленіе *Москвитянина*—важнѣйшее событіе въ жизни Алмазова и рѣшительный моментъ для его литературнаго призванія.

Въ письмѣ къ Погодину онъ чрезвычайно сильно характеризуетъ этотъ фактъ: «Вы сдѣлали для меня очень много: я вамъ обязанъ своимъ спасеніемъ. Когда я познакомился съ вами, меня мучила страшная жажда дѣятельности; я метался изъ стороны въ сторону, не зная, за что взяться; мнѣ хотѣлось борьбы, бороться съ пороками, съ развратомъ и злоупотребленіями, которыя я видѣлъ повсюду, отъ которыхъ отовсюду бѣжалъ и на которыя не находилъ средства сдѣлать нападеніе. Предсталъ случай...» [144]).

И молодой поэтъ внесъ въ журналъ «страшный избытокъ энергіи и духовныхъ силъ». Такъ выражается авторъ письма, и мы съ особеннымъ интересомъ должны ждать широкаго размаха такихъ благородныхъ замысловъ и такой долго накоплявшейся мощи. Тѣмъ болѣе, что юноша усиленно подчеркиваетъ свое мужество и неуклонность въ правдѣ: «Я не люблю умѣренности»; «крайне смѣшно быть умѣренно правдиву, говорить правду въ половину», заявляетъ онъ и притязаетъ на безусловную честность въ литературѣ.

И подвиги дѣйствительно начались. Наканунѣ появленія на поле битвы, новый витязь увѣрялъ Погодина, что онъ чувствуетъ «непреодолимое желаніе ругаться и драться со всѣмъ, что есть пришлаго, басурманскаго въ нашей литературѣ и нашей жизни», что онъ на эту борьбу «обрекаетъ жизнь». Витязь выступилъ

[144]) Барсуковъ. XII, 213—4.

подъ забраломъ, подъ именемъ Эраста Благонравова, и произвел сильный эффектъ.

Цензура, солидные друзья почтеннаго редактора, даже весе лые журналисты были поражены. Въ такомъ маститомъ орган науки и сановнаго патріотизма вдругъ появляется нѣчто въ род фельетона! Въ нѣкоемъ храмѣ раздается школьническій смѣхъ и обнаруживаются явныя посягательства позабавить публику по жалуй, даже на счетъ самихъ жрецовъ.

Цензоръ пропускалъ, но изумлялся снисходительности «почтеннѣйшаго Михаила Петровича»; это должно было огорчить изда теля. Но энергичнѣе всѣхъ возмутился Писемскій: онъ прямо на шелъ остроуміе Эраста Благонравова «тупымъ» и считалъ не позволительнымъ «такъ дурачиться» на страницахъ такого серьез наго журнала, какъ *Москвитянинъ*.

Но дѣло не въ дурачествѣ: Писемскій хватилъ черезъ кра въ своей строгости. Дурачился и *Современникъ*, въ лицѣ иного роднаго подписчика и особенно «новаго поэта», т. е. Панаева. Дружининъ прямо заявлялъ, что публикѣ «нравится фельетонная манера изложенія» [145]). Отчего же не удовлетворить этого вкуса, если нѣтъ читателей на серьезныя статьи? Зло не въ фельетонѣ, а въ намѣреніяхъ фельетониста и въ содержаніи фельетона. Позже *Современникъ* изобрѣтетъ *Свистокъ*, усерднѣйшимъ «свистуномъ» явится Добролюбовъ, но отъ этого «дурачества» нисколько не потерпѣли первостепенныя идейныя задачи, какія преслѣдовались руководящимъ органомъ шестидесятыхъ годовъ. Несомнѣнно даже выиграли. Вѣдь искони у мысли и просвѣщенія едва ли не больше противниковъ, заслуживающихъ презрительнаго или веселаго смѣха, чѣмъ патетическихъ рѣчей.

Горе Эраста Благонравова заключалось не въ фельетонной манерѣ, а въ пустотѣ и наивности смѣха. Ничего не можетъ быть жалче и мельче, какъ *невольное* простодушіе и непосредственная юношеская незлобивость и, такъ сказать, мелкоплаваніе въ сатирическихъ замыслахъ. Въ такихъ случаяхъ самъ авторъ становится смѣшнѣе своихъ жертвъ и строгіе читатели, въ родѣ Писемскаго, неудачное остроуміе могутъ обозвать тупымъ.

На самомъ дѣлѣ Благонравовъ вовсе не страдалъ тупостью, напротивъ, онъ не лишенъ находчивости, превосходно владѣетъ бойкимъ, часто остроумнымъ стихомъ, большой мастеръ на пароди

[145]) *Сочиненія*. VI, 598.

и эпиграммы. Но всѣ заряды, весь блескъ тратятся или на совершенно ничтожные предметы, или направляются на несущественныя стороны лицъ и фактовъ, дѣйствительно стоющихъ осмѣянія.

Напримѣръ, первый же фельетонъ Алмазова, надѣлавшій шума, *Сонъ по случаю одной комедіи*, т. е. пьесы Островскаго *Свои люди—сочтемся*. Фельетону предпослано пространное «предувѣдомленіе». Оно посвящено характеристикѣ двухъ пріятелей автора *X* и *Y*, преимущественно направлено на «новаго поэта» и критика *Современника*. *Иксъ* и *Игрекъ*, легкомысленный франтъ и тяжеловѣсный ученый, притязали на сатирическія изображенія живыхъ всѣмъ извѣстныхъ лицъ. Погодинъ въ *Игрекѣ* увидѣлъ даже «нѣкоторыя свои черты» и вообще «своей братіи»—ученыхъ, *Иксъ* явно разсчитанъ на Панаева, его беллетристику, щегольство и беззаботность. Ни тотъ, ни другой портретъ не представляютъ ничего язвительнаго: *Игрекъ*—утрированный педантъ съ уродливой таблицей росписанія своихъ занятій, а Панаевъ въ простыхъ отзывахъ пріятелей и добродушныхъ насмѣшкахъ Бѣлинскаго—гораздо забавнѣе, чѣмъ въ каррикатурной живописи фельетониста. Панаевъ не только не почувствовалъ себя уязвленнымъ, но публично призналъ намеки на свою особу и заявилъ: «Эрастъ Благонравовъ рискуетъ сдѣлаться моимъ фаворитомъ, если будетъ писать въ этомъ родѣ» [146]).

Самый *Сонъ* долженъ дать оцѣнку новому драматическому таланту. Авторъ и здѣсь уловляетъ смѣшное во всѣхъ направленіяхъ, издѣвается надъ «большимъ знатокомъ западной литературы», смѣется надъ неразумнымъ патріотизмомъ «любителя славянскихъ древностей», влагаетъ въ его уста чисто-младенческій восторгъ предъ русскими поговорками и даже словомъ «ужотка».

Несомнѣнно, въ погодинско-шевыревскомъ лагерѣ находились допотопные филологи и историки, весьма близко напоминавшіе фельетонную каррикатуру. Насмѣшка надъ ними на страницахъ *Москвитянина* не лишена пикантности, но въ началѣ пятидесятыхъ годовъ это—стрѣльба изъ пушекъ по воробьямъ. Обновленному журналу, представлявшему цѣлую литературную и общественную партію, врядъ ли стоило заниматься съ такимъ усердіемъ уродствами доморощенныхъ чудищъ. Цѣлесообразнѣе было бы разобраться въ смутѣ журнальныхъ сужденій объ Островскомъ.

Фельетонистъ выполнилъ эту задачу менѣе всего оригинально.

---

146) *Современникъ*. 1851. май. Соврем. замѣтки, стр. 52.

Онъ изобразилъ «истиннаго художника», какъ «объективнаго поэта», съ міросозерцаніемъ спокойнымъ и терпимымъ, идеально-безпристрастнымъ.

Это и было эстетической вѣрой новаго критика. Она грозила даже поколебать славу Гоголя, какъ поэта чисто-отрицательнаго, по выраженію Григорьева, и по словамъ Благонравова, «одареннаго сильной, непреодолимой, *болѣзненной* ненавистью къ людскимъ порокамъ и людской пошлости» [147]).

Болѣзненность, подчеркиваемая фельетонистомъ, ненавистна ему именно какъ черта—безпокойная, протестующая. Онъ ничего не имѣлъ бы противъ сверхъ человѣческаго спокойствія, противъ уподобленія современнаго русскаго писателя пушкинскому лѣтописцу: Островскій и напоминаетъ Благонравову эту величавую фигуру, не вѣдающую ни жалости, ни гнѣва.

Таковъ девизъ новаго рыцаря, столь нашумѣвшаго о своей страсти къ борьбѣ! Онъ считалъ свой идеалъ «истиннаго художника» *кличемъ*, «по которому должно воспрянуть *младшее* поколѣніе!» Болѣе стараго и наивнаго заблужденія не могло бы представить даже старшее поколѣніе. Можно судить, съ какими положительными результатами совершались наѣзды нашего богатыря на бусурманъ и пришельцевъ!

Благонравовъ поставилъ себѣ задачей оберегать поэзію отъ покушеній *Современника* и въ частности отъ оскорбленій Новаго поэта. Петербургскій фельетонистъ дѣйствительно обнаруживаетъ часто веселость невпопадъ и остритъ совсѣмъ некстати. Даже мирный Грановскій, случалось, обзывалъ его «подлецомъ» и требовалъ отъ своихъ знакомыхъ, прекратить литературныя отношенія къ журналу [148]). Правда, гнѣвъ вызывался обидой за честь пріятеля, но Панаевъ, по дилетантской свободѣ журнальнаго пера, касался весьма неосторожно и другихъ болѣе существенныхъ вопросовъ.

Веселость и фельетонный вздоръ, требуемый направленіемъ эпохи, толкнули Панаева на особый жанръ обязательнаго шутовства и безпардонной потѣхи. Онъ принялся писать пародіи, не щадя, конечно, по самому свойству задачи, ради остраго словца ни великихъ, ни малыхъ. Между прочимъ, онъ пародировалъ лирическое обращеніе Гоголя къ Россіи въ *Мертвыхъ Душахъ* и

[147]) Григорьевъ. *Сочиненія*, 240. Алмазовъ. *Сочиненія*. III, 573.

[148]) Въ письмѣ къ Погодину. Барсуковъ. XI, 381.

его страдальческія признанія въ «Перепискѣ съ друзьями». Онъ не отступилъ предъ искушеніемъ посмѣяться надъ «личной потребностью очищенія» и набросалъ веселый рядъ стишковъ на совершенно не смѣшную тему.

Фельетонистъ *Москвитянина* возмутился, но выбралъ совершенно неожиданный способъ казни. Онъ принялся доказывать, что Новый поэтъ не долженъ кичиться своимъ талантомъ и что онъ, Эрастъ Благонравовъ, также золотыхъ дѣлъ мастеръ и можетъ вывернуть наизнанку все, что угодно, и въ самыхъ бойкихъ риемахъ. Дальше слѣдовали доказательства: пародіи на стихотворенія Лермонтова, Пушкина, Некрасова. Новый поэтъ соединялъ по два стихотворенія въ одну пародію, то же дѣлаетъ и его конкуррентъ. Соревнованіе выходило для любителей дѣйствительно забавнымъ, и славолюбивый фельетонистъ изъ Москвы оказывался, пожалуй, побѣдителемъ въ достойномъ состязаніи. Но даже самые искренніе почитатели таланта совершенно не могли бы открыть, какое отношеніе имѣютъ московскія и петербургскія упражненія къ побѣдѣ «россійскихъ наукъ» надъ врагами и зачѣмъ собственно ихъ защитнику требовалось заявлять предъ началомъ битвы: «Я не боюсь никого!» Такого сорта поединки могутъ вести и не столь безстрашные рыцари: Новый поэтъ, по крайней мѣрѣ, не отставалъ отъ своего противника, но о своемъ мужествѣ и призваніи не кричалъ и не хвастался удалью.

Критическія сужденія Благонравова объ отдѣльныхъ писателяхъ мало замѣчательны. Онъ энергично нападаетъ на Гончарова за *Обыкновенную исторію*, за неправдоподобность романтическаго героя, Александра Адуева. Повидимому, это общее убѣжденіе молодой редакціи *Москвитянина*. Григорьевъ также потратилъ не мало краснорѣчія противъ искусственности контрастовъ въ романахъ Гончарова, противъ преднамѣренной живописи положительныхъ типовъ — Петра Адуева и Штольца. Краснорѣчіе очень основательное и мало оригинальное только потому, что наивный разсчетъ Гончарова увѣнчивать и ниспровергать различныя міросозерцанія путемъ борьбы между героями противоположныхъ направленій рѣзко бросается въ глаза всякому читателю. Поэтическій инстинктъ Григорьева не могъ не почувствовать ходульности здравомыслящаго резонера въ лицѣ Петра Адуева и умышленнаго приниженія его противника. Бѣлинскій вѣрилъ въ жиз-

---

[149]) Письмо къ Е. Ѳ. Коршу, 1854 года. Грановскій. II, 468.

ненность такой романтической фигуры, какую представляетъ Александръ Адуевъ, и считалъ характеръ Петра Иваныча выдержаннымъ отъ начала до конца. Только съ эпилогомъ не могъ помириться критикъ и находилъ вопіющее насильственное нарушеніе первичнаго замысла въ перерожденіи обоихъ героевъ [150]).

Но этого возраженія недостаточно. Романъ Гончарова, дѣйствительно, искусственъ съ самаго начала и ярко отражаетъ въ высшей степени мелкую, мѣщански-канцелярскую философію автора. Григорьевъ въ данномъ случаѣ правъ въ своихъ упрекахъ, правѣе своего великаго предшественника, подкупленнаго, очевидно, превосходной литературной формой романа, прекрасными частностями и особенно рѣзко выраженной критикой мечтательности и провинціальной поэтической безпомощности и праздности.

Благонравовъ даже указываетъ, что гончаровскій романтикъ составленъ по рецепту критики и вышелъ поэтому неестественнымъ. Кому извѣстны свойства таланта Гончарова и его отношенія къ литературѣ, какъ къ нравственной и общественной силѣ, тотъ врядъ ли повѣритъ въ самую возможность подобныхъ внушеній. Но и правильныя замѣчанія о романѣ Гончарова не придаютъ интереса и содержательности статьѣ критика. Въ редакціи, конечно, сочувствовали его неудовольствію на Некрасова за слишкомъ «непріятное впечатлѣніе» его стихотвореній, его рѣшительному протесту противъ женщинъ-писательницъ, но вся эта борьба цѣликомъ могла бы войти въ программу старой редакціи *Москвитянина*.

Критическая и стихотворческая дѣятельность Благонравова продолжалась и послѣ прекращенія погодинскаго изданія. Изъ нея видно, какъ мало могъ талантливый пародистъ сообщить настоящей идейной жизни возрожденному журналу. Критикъ опускался все ниже, по направленію объективности; съ своей точки зрѣнія поднимался все выше и дальше отъ дѣйствительности и жизнетворческаго искусства.

Онъ написалъ очень большую статью о Пушкинѣ и извлекъ изъ таланта поэта только звуки сладкіе и молитвы. Съ этой цѣлью и написана статья. Читатели могли почувствовать себя снова въ самомъ разгарѣ самаго идиллическаго романтизма. Они вновь видѣли образъ поэта, — совершенно неземного, загадочно-страннаго существа, капризнаго до полной неуловимости

[150]) Бѣлинскій. *Сочиненія.* XI, 412 etc.

его мыслей и настроеній. Все поглощено вопросами о прогрессѣ, о цивилизаціи, о матеріальномъ совершенствованіи жизни, а поэтъ тоскуетъ о первобытныхъ временахъ. Смертные прославляютъ великаго философа, преклоняются предъ его идеями, а поэтъ выводитъ его на всенародное посмѣяніе [151]).

Вообще созданіе невмѣняемое и не подлежащее суду обыкновенныхъ людей. Правда, мы узнаемъ, что слова поэта—плодъ долгихъ, глубокихъ думъ, плодъ страданій и слезъ за человѣчество. Но намъ не ясно, зачѣмъ столь прихотливая «натура» станетъ предаваться страданіямъ, зачѣмъ ей проливать слезы, когда всегда она въ правѣ осмѣять какого угодно великаго философа съ его истиной?

Очевидно, предъ нами старая романтическая нескладица, всѣ тѣ обветшавшія небылицы, какими тѣшило себя выспреннее пустозвонство предшественниковъ новѣйшаго символизма. И выводы изъ этихъ видѣній получаются соотвѣтственные: критикъ берется объединить и Пушкина, и Ломоносова, и даже душу русскаго человѣка. Дѣлается это чрезвычайно просто.

На русскомъ языкѣ существуютъ слова: какой-то, куда-то, что-то. Вотъ изъ нихъ и можно составить какую угодно характеристику. Напримѣръ, душа русскаго человѣка: очень ясно! Это—«какая-то необыкновенная сила, стремительность, высокій, широкій полетъ, но куда, къ какому идеалу, неизвѣстно».

Чрезвычайно почтенный полетъ и необыкновенно осмысленная стремительность! Въ такомъ же духѣ и поэзія Пушкина.

Она внѣ времени и пространства, такъ же, какъ и мысли самого поэта. Онѣ такъ высоки, что «всѣ политическія системы кажутся мелкими, ничтожными и пустыми». Что̀ собственно это значитъ—остается тайной критика, потому что нельзя же признать за объясненія такое, напримѣръ, открытіе: будто для великихъ поэтовъ «каждый порядокъ вещей» одновременно и «неудовлетворителенъ», и «сносенъ», и истинно возвышенный поэтъ *по понятіямъ своимъ* не принадлежитъ ни къ какому времени и въ то же время принадлежитъ всѣмъ временамъ...»

Все это изреченія, достойныя романтической теоріи искусства, но въ 1858 году они звучали дикимъ замогильнымъ голосомъ. Критикъ становился гораздо ниже своего бывшаго товарища по *Москвитянину*, договаривался до единомыслія со стар-

---

[151]) *Сочиненія*. III, 297.

цами-котурнами, сѣтуя на гибель ломоносовскаго поэтическаго таланта отъ политики и учености. Всѣ идеалы отважнаго борца остановились теперь на пушкинской Татьянѣ и онъ рисовалъ сенсаціонную картину: Татьяна въ обществѣ *великихъ* женщинъ, т. е. Сталь, Роланъ, Дюдеванъ. Живописецъ замиралъ отъ восторга предъ тихими, успокоительными, «неизъяснимо-сладкими» рѣчами несчастной поклонницы Онѣгина и супруги заслуженнаго генерала. Такова именно, по мнѣнію Алмазова, и поэзія Пушкина, лишенная великихъ идей, силы страсти, особеннаго сердцевѣдѣнія [152]).

Не поздоровилось бы отъ такихъ похвалъ великому поэту. Усердіе любителей сладости и тишины превратило его въ какую-то воркующую голубицу—безпечную, наивную, шаловливую и даже отчасти флегматическаго темперамента! Авторъ *Посланій къ цензору*, *Клеветникамъ Россіи*, *Мѣднаго всадника*, *Поэта* и именно того самаго произведенія, гдѣ говорится о звукахъ сладкихъ и молитвахъ, отвернулся бы съ негодованіемъ отъ сусальной каррикатуры на свою личность, страстную, безпрестанно трепетавшую негодованіемъ и отнюдь не свободную отъ политики вполнѣ опредѣленнаго времени и пространства.

Даже больше. Разгнѣванный поэтъ уличилъ бы своего не по разуму услужливаго критика въ той самой политикѣ, какую онъ считаетъ недостойною поэтическихъ геніевъ. Алмазовъ дѣйствительно дѣлалъ политику, какъ всегда и всѣ рыцари чистаго художества. Дѣло у нихъ сначала идетъ о «неизъяснимо-сладостныхъ впечатлѣніяхъ», и незамѣтно переходитъ въ азартный вопль: «бей ихъ! не наши!»

Личное благородство удержало Григорьева отъ такого продолженія, его соратникъ быстро достигъ обычнаго предѣла.

Настоящую воинственность Алмазовъ обнаружилъ много лѣтъ спустя послѣ смерти *Москвитянина*, во время движенія шестидесятыхъ годовъ. Представился рядъ темъ, до глубины возмутевшихъ нашего служителя молитвъ и объективности. Талантъ эпиграммъ и вывертываній мыслей и людей былъ пущенъ на всѣхъ парахъ, и заложено основаніе обширному сооруженію—поэмѣ *Соціалисты*. Зданіе осталось недоконченнымъ, но поэтъ успѣлъ высказаться вполнѣ.

Герой поэмы—шестидесятникъ, какъ его представляла и про-

---

152) *Ib.* 283, 272, 323—4.

долждаетъ воображать благопристойная фантазія эстетиковъ и обывателей. Бичъ родной словесности семинаристъ, плохой грамматикъ, нещадно истязуемый розгами, но большой мастеръ въ избитыхъ мысляхъ, формулахъ и схемахъ, путемъ діалектики уничтожившій въ себѣ и «вѣру, и начала, и правила». Почва, вполнѣ удобная для соціализма и тиранства надъ литературой и особенно «преданіями вѣковъ». Авторъ посвятилъ много страницъ сценѣ будущей дѣятельности своего героя. Картина открывается необыкновенно энергично:

Была та смутная пора,
Когда Россія молодая,
Въ трескучихъ фразахъ утопая,
Кричала Герцену ура!
Въ тѣ дни невѣдомая сила,
Какъ аравійскій ураганъ,
Вдругъ подняла и закружила
Умы тяжелыхъ россіанъ;
Все пробудилось, все возстало
И все куда-то понеслось—
Куда, зачѣмъ, само не знало,—
Но все впередъ, во чтобъ ни стало,
Съ просонокъ пёръ лѣнивый россъ!..

Сумасшествіе не пощадило ни пола, ни возраста, ни званія. По увѣренію автора, даже грудныя дѣти, просвирни, взяточники, квартальные, высѣченные гимназисты кричали: «Я прогрессистъ! Я либералъ», горой становились за «мерзавцевъ» съ «убѣжденіями» и истребляли «вѣчныя начала» въ наукѣ, въ жизни, во всемъ. Журналисты выгодно торговали либерализмомъ, самые либеральные «всѣхъ меньше любили родину», и къ числу этихъ извергов принадлежалъ герой поэмы, съ особеннымъ ожесточеніемъ казнившій произведенія искусства [153]).

Въ заключеніе «мыслящіе люди»—любимое выраженіе шестидесятниковъ, хуже Тамерлана: поэту не хватаетъ словаря русскаго языка заклеймить новыхъ разрушителей нравственнаго, общественнаго и мірового порядка.

Алмазовъ не оставался, конечно, безъ сочувственниковъ. Напротивъ. Можетъ быть, его даже подогрѣвали кое-какія вліянія. Напримѣръ, онъ былъ очень близокъ съ авторомъ *Взбаломученнаго моря* и на юбилеѣ Писемскаго въ засѣданіи *Общества любителей россійской словесности* прочиталъ пространный докладъ

153) *Сочиненія*. II, 381—5, 393, 400—2 etc.

о литературной дѣятельности юбиляра. Докладъ почти цѣликомъ занятъ изложеніемъ романа *Тысячи душъ* съ обширными выписками—о критикѣ нѣтъ и рѣчи. Докладчикъ видимо не могъ отдать себѣ отчета въ своемъ предметѣ, не могъ даже ярко освѣтить біографическихъ данныхъ, полученныхъ отъ самого Писемскаго. Въ докладѣ не замѣтно ни былого бойкаго насмѣшника, ни стараго борца съ басурманами. Духъ мысли и жизни окончательно отлетѣлъ отъ человѣка, не имѣвшаго части въ живой современности за всю послѣднюю четверть вѣка.

Можно спросить, имѣла ли вообще эту часть вся молодая редакція *Москвитянина?* Подъ руководствомъ Погодина и Шевырева журналъ едва влачилъ свое существованіе. Явилась молодежь и мы видѣли, старики вступили съ ней въ междоусобную брань. За что? Изъ-за новыхъ смѣлыхъ идей? Изъ за новаго опредѣленнаго міросозерцанія?

Вовсе нѣтъ, а просто изъ-за нѣкоторыхъ вольностей, нарушавшихъ годами установившійся чинный тонъ археологическаго изданія. Московскій кружокъ много суетился, шумѣлъ, раздражался, но чаще всего *почему-то*, изъ-за *чего-то*, во имя *какихъ-то* идеаловъ и стремленій. Укоризны Алмазова по адресу стремглавъ и безсознательно летѣвшей *куда то* молодежи шестидесятыхъ годовъ можно цѣликомъ отнести къ его собственному лагерю, и съ гораздо большимъ правомъ, чѣмъ къ Чернышевскому, Добролюбову и ихъ послѣдователямъ.

У тѣхъ цѣли могли быть ошибочными, фанатически отвлеченными, но, по крайней мѣрѣ, въ теоріи онѣ не страдали смутой и неопредѣленностью. А здѣсь во времена всеобщаго затишья или пророческіе возгласы и романтическій восторгъ, или праздное школьническое зубоскальство. Только появленіе ненавистныхъ новыхъ людей заставило нашихъ объективистовъ и народниковъ строже опредѣлить жизненный и отвлеченный смыслъ своихъ вожделѣній. Въ результатѣ получилась теорія чистаго искусства, и подъ этимъ знаменемъ мы найдемъ впослѣдствіи всѣхъ литературныхъ обозрѣвателей «Москвитянина» Эдельсона, Григорьева, Благонравова. Эдельсонъ самый скромный въ этой троицѣ и менѣе одаренный. Даже Погодинъ говорилъ объ его языкѣ: «такая туча, что мочи нѣтъ». Это естественно у бывшаго горячаго поклонника Гегеля и до конца подвижника чистой эстетики. Мы встрѣтимся съ нимъ въ ряду противниковъ Чернышевскаго,—встрѣтимся безъ особеннаго интереса и разстанемся безъ сожалѣнія.

Москвитянинъ не воспиталъ ни одной крупной силы для грядущей воинственной публицистики и критики.

Мы можемъ сказать больше. Московскій лагерь въ годы затишья сдѣлалъ даже меньше, чѣмъ петербургскій. Тамъ, по крайней мѣрѣ, внесли посильный вкладъ въ историческій матеріалъ литературы. Безсильные и безличные по части идей, западники собирали факты. Въ Москвѣ не было и этого. Если подвести итоги положительному наслѣдству молодого «Москвитянина», самымъ цѣннымъ капиталомъ окажется неизмѣнное и восторженное благоговѣніе Григорьева предъ памятью Бѣлинскаго, все равно хотя бы даже до 1844 года. Все остальное свидѣтельствовало о тягостномъ промежуткѣ, о промозглыхъ и гнетущихъ сумеркахъ русской общественной мысли.

XXI.

Мы изложили исторію цѣлаго періода русской критики. Онъ рѣзко отличается по людямъ и дѣламъ отъ предъидущаго и послѣдующаго. У него нѣтъ ничего общаго съ неукротимой страстной идейной работой Бѣлинскаго, его отдѣляетъ не менѣе глубокая пропасть и отъ новыхъ людей, развернувшихъ свои силы въ новое царствованіе. Всѣ критики промежуточнаго періода безъ различія направленій явились противниками *дѣтей*, и дѣти должны были искать своихъ отцовъ по ту сторону ближайшихъ предшественниковъ, въ лицѣ Бѣлинскаго и его сподвижниковъ.

Предъ нами будто глубокій ухабъ на пути русскаго прогресса или трясина съ населеніемъ другой крови и другой расы, чѣмъ ранніе и поздніе руководители общества и живые двигатели литературы.

Это фактъ внѣ сомнѣнія. Но возникаетъ вопросъ, откуда же взялась публика для новыхъ публицистовъ? Въ теченіе семи лѣтъ ее тщательно отъучали отъ идей Бѣлинскаго, даже пытались предать забвенію самое его имя и осмѣять его критику, и вдругъ стоило появиться его поклонникамъ и продолжателямъ, публика съ увлеченіемъ стала на ихъ сторону и окончательно перестала слушать «иногороднихъ подписчиковъ» и «наглыхъ гуманистовъ».

Это также фактъ и одинъ изъ самыхъ поучительныхъ въ исторіи русскаго просвѣщенія. Онъ свидѣтельствуетъ о явленіи неожиданномъ, но совершенно достовѣрномъ, не особенно лестномъ для литературы вообще, но въ высшей степени знаменательномъ для будущихъ судебъ русскаго общественнаго развитія.

Мы говорили о популярности Бѣлинскаго, изумлявшей его самого. Но онъ не зналъ и малой доли этой популярности. Одновременно съ журнальной публицистикой выростала едва замѣтно но неуклонно другая, исключительно принадлежавшая обществу, имъ созданная и имъ тщательно хранимая. Еще по поводу критики двадцатыхъ годовъ намъ приходилось говорить о русскомъ *третьемъ сословіи*, о разночинцахъ, семинаристахъ, даже о самоучкахъ въ родѣ купца Полевого. Эта сѣрая публика, невѣдомо для столичныхъ просвѣтителей, была благодарнѣйшей читательницей ихъ произведеній. Она въ лицѣ Полевого зачитывается статьями Мерзлякова и благоговѣетъ предъ самымъ званіемъ писателя, въ лицѣ семинаристовъ увлекается шеллингіанствомъ и вообще германской философіей раньше университетскихъ профессоровъ и вершинъ русскаго просвѣщеннаго общества, она, наконецъ, въ лицѣ захолустныхъ чиновниковъ выучиваетъ наизусть статьи Бѣлинскаго, живетъ ими, какъ единственнымъ источникомъ духовнаго свѣта и ждетъ не дождется истинныхъ наслѣдниковъ великаго критика.

Этой публикѣ нѣтъ никакого дѣла до веселыхъ настроеній иногороднаго подписчика, петербургскаго туриста, и Новаго поэта. Она живетъ слишкомъ серьезной и тяжелой жизнью, чтобы развлекаться анекдотами и пародіями. Она инстинктомъ и повседневнымъ опытомъ отрицаетъ «святое» искусство и жаждетъ красоты, исполненной жизненныхъ печалей и трепещущей отъ страстныхъ ощущеній жизненной правды во всей ея яркости. Ей по природѣ ненавистны забавляющіе дилеттанты и эпикурействующіе эстетики и ей не нужно доказывать, что они прирожденные тунеядцы и эксплуататоры самого званія писателя. Она безъ всякихъ внѣшнихъ давленій немедленно отзовется на дѣльную и дѣятельную мысль и шестидесятникамъ не потребуется особенныхъ усилій собрать вокругъ себя самую интеллигентную и чуткую аудиторію.

И они сами понимали скромность своихъ собственно литературныхъ заслугъ. Одна изъ любимыхъ идей Добролюбова—творческое безсиліе литературы. Она только разъясняетъ вопросы, уже заданные обществомъ. Она не создаетъ новыхъ стремленій независимо отъ жизненныхъ фактовъ.

Добролюбовъ доказывалъ свою мысль вполнѣ наглядно. Онъ называлъ писателей и ученыхъ, существовавшихъ въ другое время, не въ концѣ пятидесятыхъ годовъ,—и не писавшихъ ничего похожаго на свои позднѣйшія идеи. Заговорило сначала общество, въ

немъ явилась потребность гласности, свѣта, правды, дѣятельности, и литература пришла въ движеніе и стала его усерднѣйшей выразительницей. Статьи въ журналахъ стали слѣдовать непосредственно за толками общества: о желѣзныхъ дорогахъ, объ экономическихъ отношеніяхъ народа, о воспитаніи. Общество не замедлило оцѣнить усердіе литературы и тѣснѣе сблизилось съ ней [154]).

Въ этихъ столь рѣшительныхъ соображеніяхъ несомнѣнно нѣкоторое увлеченіе. Среди положительныхъ культурныхъ дѣятелей нѣтъ безусловно активныхъ и безнадежно пассивныхъ. Законъ взаимодѣйствія—основной въ мірѣ нравственномъ и въ мірѣ физическомъ. Дерево, обязанное своимъ расцвѣтомъ извѣстной почвѣ, въ свою очередь измѣняетъ эту почву. Падающіе листья, вѣтки, плоды перегниваютъ, измѣняютъ составъ почвеннаго слоя. То же самое происходитъ съ литературой и общественной средой. И, можетъ быть, именно въ исторіи русскаго просвѣщенія слѣдуетъ выше оцѣнить самостоятельное значеніе литературы. Это доказывается исключительной, чрезвычайно приподнятой и *прочувствованной* популярностью нѣкоторыхъ русскихъ писателей. Въ лицѣ ихъ общество, очевидно, любитъ и чтитъ не только выразителей, но также иниціаторовъ извѣстныхъ идеаловъ. Простые передатчики общаго настроенія никогда не удостоились бы славы Тургенева и Бѣлинскаго, особенно послѣдняго, — не поэта и не романиста.

Но мысль Добролюбова какъ нельзя болѣе примѣнима къ объясненію рѣзкаго перехода отъ эпохи фельетоновъ и пародій къ періоду усиленнаго публичнаго учительства. Мы видѣли, фельетонисты были увѣрены въ любви публики къ фельетонамъ, и эта же самая публика образовала пустыню вокругъ своихъ увеселителей, лишь только заслышала другіе голоса и другія рѣчи. И эта публика была давно готова. Она—такое же наслѣдство Бѣлинскаго, какъ и его идеи. Шестидесятники обязаны своему учителю не только учебниками, но и учениками.

Доказательство предъ нами самое блистательное, какого только можно желать. и относится оно какъ разъ къ переходной страдѣ русской публицистики. Свидѣтельство принадлежитъ принципіальному и даже личному противнику Бѣлинскаго, но посильно честному—И. С. Аксакову.

Въ концѣ 1856 года онъ писалъ отцу слѣдующее:

---

[154]) Добролюбовъ. *Сочиненія*. I, 436, 492—3, IV, 168 etc.

«Много я ѣздилъ по Россіи: имя Бѣлинскаго извѣстно каждому сколько-нибудь мыслящему юношѣ, всякому, жаждущему свѣжаго воздуха среди вонючаго болота провинціальной жизни. Нѣтъ ни одного учителя гимназіи въ губернскихъ городахъ, который бы не зналъ наизусть письма Бѣлинскаго къ Гоголю; въ отдаленныхъ краяхъ Россіи только теперь еще проникаетъ это вліяніе и увеличиваетъ число прозелитовъ. Тутъ нѣтъ ничего страннаго. Всякое рѣзкое отрицаніе нравится молодости, всякое негодованіе, всякое требованіе простора, правды, принимается съ восторгомъ тамъ, гдѣ сплошная мерзость, гнетъ рабства, подлость грозятъ поглотить человѣка, осадить, убить въ немъ все человѣческое. «Мы Бѣлинскому обязаны своимъ спасеніемъ», говорятъ мнѣ вездѣ молодые, честные люди въ провинціяхъ. И въ самомъ дѣлѣ, въ провинціи вы можете видѣть два класса людей: съ одной стороны взяточниковъ, чиновниковъ въ полномъ смыслѣ этого слова, жаждущихъ ленты, крестовъ и чиновъ, помѣщиковъ, презирающихъ идеологовъ, привязанныхъ къ своему барскому достоинству и крѣпостному праву, вообще довольно гнусныхъ. Вы отворачиваетесь отъ нихъ, обращаетесь къ другой сторонѣ, гдѣ видите людей молодыхъ, честныхъ, возмущающихся зломъ и гнетомъ, поборниковъ эмансипаціи и всякаго простора, съ идеями гуманными... И если вамъ нужно честнаго человѣка, способнаго сострадать болѣзнямъ и несчастіямъ угнетенныхъ, честнаго доктора, честнаго слѣдователя, который полѣзъ бы на борьбу,—ищите таковыхъ между послѣдователями Бѣлинскаго» [155]).

Это не было новымъ явленіемъ провинціальной жизни. Тотъ же Аксаковъ говоритъ о «громадномъ» вліяніи Полевого. Мы знаемъ подобные факты еще болѣе ранняго происхожденія. Грибоѣдовская комедія въ рукописи нашла обширную публику въ провинціи и именно среди разночинцевъ. Преданіе, по крайней мѣрѣ, разсказываетъ цѣлую драму, едва не постигшую канцелярскаго служителя за увлеченіе запрещенной пьесой. Немного спустя Гоголь счелъ нужнымъ остроумнѣйшаго и основательнѣйшаго критика своей комедіи указать въ «очень скромно одѣтомъ» провинціалѣ— любопытнѣйшемъ дѣйствующемъ лицѣ *Разъѣзда*. Очевидно, предъ нами преемственность поколѣній и въ высшей степени прочная, если вслѣдъ за Аксаковымъ и Писемскій—отнюдь не единомыш-

---

[155]) *И. С. Аксаковъ въ его письмахъ*, часть третья, томъ первый. М 1892, стр. 290—1.

ленникъ Бѣлинскаго, также отмѣтитъ свѣтлыя впечатлѣнія статей Бѣлинскаго на захолустную провинцію.

Публика, слѣдовательно, существовала для болѣе литературныхъ произведеній, чѣмъ стихотворныя и прозаическія упражненія веселой журналистики. И эта публика даже находила удовлетвореніе при всей бдительности цензуры. Это также старый порядокъ вещей. Еще Пушкинъ предупреждалъ цензора: ему ни за что не уловить неблагонамѣреннаго писателя:

Рукопись его, не погибая въ Летѣ,
Безъ подписи твоей разгуливаетъ въ свѣтѣ...

Произведенія самого Пушкина разгуливали въ громадномъ количествѣ. То же самое продолжалось и въ «эпоху цензурнаго террора». Фактъ засвидѣтельствованъ вполнѣ освѣдомленнымъ оффиціальнымъ лицомъ, московскимъ попечителемъ Назимовымъ.

Въ самомъ началѣ новаго царствованія Катковъ, редактировавшій *Московскія Вѣдомости*, задумалъ издавать журналъ *Русскій Вѣстникъ*. Министерство отказало на первый разъ, попечитель сталъ на сторону Каткова и въ пользу умноженія періодическихъ изданій, между прочимъ, высказывалъ такое соображеніе:

«Вмѣсто печатной гласной литературы, образовалась литература безгласная, письменная. Въ рукахъ читающей публики появились во множествѣ списковъ разныя сочиненія, по всѣмъ современнымъ вопросамъ наукъ и словесности и между ними, разумѣется, нашли себѣ путь и рукописи, содержанія не совершенно одобрительнаго».

Дальше попечитель свидѣтельствовалъ о ропотѣ въ обществѣ на цензурныя строгости [156]).

Но ни рукописная литература, ни ропотъ не произвели бы никакой перемѣны въ періодической печати, если бы на помощь не пришла высшая и рѣшающая сила. Мы видѣли, критика усиленно призывала публику къ примиренію съ дѣйствительностью, усерднѣйше старалась разсѣять дурное настроеніе у читателей, если оно появлялось, призывала искусство утѣшать бѣдное человѣчество. Критика готова была вполнѣ серьезно низвести литературу до десерта и заполонить журналы фельетонами и стихами.

Критика до такой степени утвердилась на этомъ пути, усѣянномъ розами, что не свернула съ него даже при совершенно другихъ обстоятельствахъ и вліяніяхъ. Напротивъ, она сочла вопро-

---

[156]) *Историч. свѣд. о цензурѣ*, стр. 82.

сомъ чести и самолюбія остаться вѣрной себѣ и объявила непримиримую войну «дидактикѣ» и «тенденціи». Очевидно, господствующее оффиціальное направленіе имѣло надежнаго союзника въ журналистикѣ, даже болѣе предупредительнаго, чѣмъ могло ожидать.

Если и приходилось наблюдать за явленіями подозрительными и неблагопристойными, то развѣ только въ беллетристикѣ. Здѣсь дѣйствительно замѣчалось недовольство, протестъ, развивалась натуральная школа, сценой овладѣвала самая жалкая и темная дѣйствительность, рисовались печали и несправедливости, переполняющія жизнь униженныхъ и оскорбленныхъ.

Все это противорѣчило обязательной программѣ—всякому обывателю быть довольнымъ и примиреннымъ. Но критика по собственному устремленію шла на встрѣчу возможному негодованію власти. Она, мы видѣли, усиленно преслѣдовала протестъ въ поэзіи, грустныя темы въ беллетристикѣ и не съумѣла понять и оцѣнить повѣстей Тургенева, крестьянскихъ разсказы Писемскаго: ей, радостной и беззаботной, одинаково были чужды и странны и «лишній человѣкъ», и плотникъ Петръ—оба пасынки существующей дѣйствительности, одинъ въ обществѣ, другой въ народѣ. Даже Островскому, отнюдь не протестанту и не сатирику, пришлось ждать новыхъ людей, чтобы услышать дѣльное слово о своемъ талантѣ и о своихъ произведеніяхъ.

Ясно, отъ самой литературы нечего было ожидать поворота къ лучшему. Она не только подчинилась «обстоятельствамъ», но сама стала однимъ изъ нихъ. Пока она единственная представлялась читающей публикѣ. Выбора не было—фельетонъ или пародія, и *Современникъ*, и даже *Москвитянинъ* читались, иногда даже отмѣчали «переполохъ» по поводу того или другого своего фокуса. Но и теперь публика тяготѣла все-таки больше въ ту сторону, откуда такъ недавно раздавался голосъ Бѣлинскаго. Она имѣла основаніе ждать, что здѣсь, а не въ погодинскомъ древлехранилищѣ, зазвучитъ опять знакомая рѣчь и на временно опустѣвшей сценѣ явятся, наконецъ, достойные преемники незабвеннаго учителя.

И публика дождалась.

Но раньше, чѣмъ она замѣтила нарожденіе новыхъ людей, раньше, чѣмъ они сами заявили о себѣ, необходимо было произойти основной перемѣнѣ въ положеніи литературы предъ властью. Добролюбовъ откровенно заявлялъ, что шестидесятники существо-

вали *раньше* открытаго направленія шестидесятыхъ годовъ: оно оставалось нѣкоторое время подъ спудомъ. Добролюбовъ только не договорилъ до конца своей откровенной рѣчи: не одно общество вызвало на свѣтъ Божій новыхъ людей, еще болѣе важную роль играла здѣсь другая сила, та самая, какая раньше дала тонъ «обстоятельствамъ».

XXII.

Никитенко, отмѣчая въ своемъ дневникѣ кончину императора Николая, писалъ: «Длинная и надо таки сознаться, безотрадная страница въ исторіи русскаго царства дописана до конца. Новая страница перевертывается въ ней рукою времени: какія событія занесетъ въ нее новая царственная рука, какія надежды осуществитъ она?..» [157]).

Надежды были вполнѣ ясны. Ихъ питали уже давно и принялись за осуществленіе при первой возможности. Министерство народнаго просвѣщенія немедленно вспомнило о цензурѣ и задумало составить новую инструкцію цензорамъ. Никитенко взялъ дѣло на себя съ полной готовностью.

«Настаетъ пора, — писалъ онъ, — положить предѣлъ этому страшному гоненію мысли, этому произволу невѣждъ, которые дѣлали изъ цензуры съѣзжую и обращались съ мыслями, какъ съ ворами и съ пьяницами» [158]).

Это не единоличное убѣжденіе профессора и либеральнаго цензора. Попечитель Назимовъ оффиціально заявлялъ то же самое и увѣрялъ министерство, что совершенно излишне опасаться западно-европейскихъ революціонныхъ идей, намъ чуждыхъ и противоположныхъ кореннымъ началамъ русской жизни [159]).

На сторону терпимости начали переходить весьма суровые стражи своевольства русскихъ писателей. Кн. Вяземскій совѣтовалъ допустить «умѣренную свободу» въ изложеніи мнѣній, «не буквально согласныхъ съ общимъ порядкомъ и ходомъ дѣйствительности». Князь позволялъ себѣ даже общія соображенія насчетъ опасностей «насильственнаго молчанія», укрѣпляющаго всякій незначительный протестъ. Успѣли выясниться и нѣкоторыя практическія неудобства слишкомъ пристальной цензурной опеки.

---

[157]) *Записки*. I, 588.

[158]) *Ib*. II, 3.

[159]) *Историч. свѣд.*, стр. 82.

За границей знали, конечно, положеніе русской печати и патріархальное усердіе русскихъ цензоровъ. Съ теченіемъ времени иностранцы привыкли, по выраженію оффиціальнаго источника, «смотрѣть на каждую строку нашихъ журналовъ, какъ на мнѣніе русскаго правительства».

Этотъ взглядъ вызывалъ особую бдительность цензуры и въ то же время создавалъ крайне досадныя недоразумѣнія между русскимъ правительствомъ и иностранными властями. Правительство иногда попадало въ необходимость приниматься за полемику съ редакторомъ русской газеты и занимать отнюдь не почтенное положеніе въ глазахъ русской и иностранной публики.

Вообще, все шире распространялось убѣжденіе, что цензура въ стилѣ Бутурлинскаго комитета не принесла пользы ни русскому просвѣщенію, ни даже русской нравственности. Катковъ въ оффиціальной запискѣ даже доказывалъ, что цензурная опека вызвала въ русскомъ обществѣ упадокъ религіознаго чувства. Она насильственно отдѣлила высшіе интересы отъ живой мысли и живого слова. Она заставила повторять только казенныя, стереотипныя фразы и подорвала довѣріе къ религіознымъ убѣжденіямъ.

Катковъ могъ бы тоже соображеніе примѣнить и къ другому вопросу. Цензура тщательно пресѣкала изъявленія патріотическаго чувства, опасаясь неумѣренности и неблагопристойности. Находились сановники, требовавшіе строго оффиціальныхъ, именно стереотипныхъ тостовъ за государя, краткихъ на манеръ военной команды. Кн. Вяземскій и здѣсь оказался либераломъ. Онъ находилъ, что усердствовать до такого предѣла значитъ «разорвать священныя узы сочувствія и любви, связывающія народъ съ Государемъ своимъ» [160]). А между тѣмъ Бутурлинскій комитетъ и шелъ какъ разъ этимъ путемъ нравственнаго опустошенія и преобразованія русской печати въ нѣмотствующую и раболѣпствующую полицейскую канцелярію.

Не видѣть самыхъ прискорбныхъ послѣдствій этой политики, значило не имѣть или глазъ, или совѣсти. И съ первыхъ же дней новаго царствованія ожиданія общества и самихъ властей направились на перемѣну порядковъ въ области литературы. Недавнее прошлое представлялось такимъ тяжелымъ, что даже цензоры считали «протестъ и оппозицію—явленіями неизбѣжными» [161]).

[160]) *Ib.* 86, 91, 95, 98 etc.

[161]) Никитенко. II, 65.

Всеобщее приподнятое настроеніе поддерживалось ходомъ и окончаніемъ крымской войны. Факты говорили громче самыхъ неблагонамѣренныхъ книгъ и газетъ,—и голосъ ихъ для всѣхъ былъ совершенно ясенъ. Существующіе порядки обнаружили свою несостоятельность, Россія, несомнѣнно, страдаетъ внутреннимъ недугомъ. Ему она обязана многочисленными жертвами въ безплодной борьбѣ съ западной Европой. Они и въ будущемъ грозятъ горькими испытаніями, если немедленно не придти на помощь и не направить жизнь народа и государства по новымъ путямъ.

Названіе недуга уже давно было на устахъ у всѣхъ. Онъ неоднократно констатировался высшей властью, съ нимъ пытались даже бороться, но симптоматическими средствами. А онъ требовалъ рѣшительнаго и всесторонняго вниманія, съ каждымъ годомъ заявляя о болѣзненномъ состояніи всего общественнаго организма. Цензура, мы видѣли, съ напряженіемъ всѣхъ своихъ силъ хранила тайну. Даже отдаленный намекъ на крѣпостное состояніе русскихъ крестьянъ не могъ проникнуть въ печать. Книга Бичеръ-Стоу попала въ разрядъ опасныхъ и зажигательныхъ сочиненій, потому что, по соображеніямъ цензуры, русскій читатель могъ провести параллель между негромъ-рабомъ и крѣпостнымъ мужикомъ. Основательность этихъ соображеній была порукой, что вопросъ не можетъ далѣе оставаться въ прежнемъ положеніи и голосъ вопіющей правды рано или поздно перекричитъ цензорскія инструкціи.

Едва лишь миръ былъ заключенъ, по всей Россіи стали ходить слухи о предстоящемъ коренномъ преобразованіи крестьянскаго быта. Говорили, будто освобожденіе крестьянъ включено въ тайный договоръ Россіи съ Франціей, будто императоръ Николай, по настоянію Наполеона III, окончательно согласился на отмѣну крѣпостного права и на смертномъ одрѣ завѣщалъ сыну непремѣнно покончить крестьянское дѣло.

Факты не замедлили подтвердить слухи, по крайней мѣрѣ, на счетъ намѣреній новаго государя. Немедленно послѣ заключенія мира Александръ II, принимая въ Москвѣ предводителей дворянства Московской губерніи, сказалъ имъ слѣдующую рѣчь—первое благовѣстіе наступающей новой эпохи:

«Я узналъ, господа, что между вами разнеслись слухи о намѣреніи моемъ уничтожить крѣпостное право. Въ отвращеніе разныхъ неосновательныхъ толковъ по предмету столь важному, я считаю нужнымъ объявить вамъ, что я не имѣю намѣренія сдѣлать это теперь. Но, конечно, сами вы знаете, что существующій

порядокъ владѣнія душами не можетъ оставаться неизмѣннымъ. Лучше отмѣнить крѣпостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда онъ самъ собою начнетъ отмѣняться снизу. Прошу васъ, господа, подумать о томъ, какъ бы привести это въ исполненіе. Передайте слова мои дворянству для соображенія» [162]).

Рѣчь государя произвела потрясающее впечатлѣніе въ Россіи и заграницей. Съ этой минуты крестьянскій вопросъ, и, слѣдовательно, судьба вообще старой отжившей Россіи становится всеобщимъ. Каждый фактъ, сколько-нибудь намекающій на новое движеніе, вызываетъ глубокій интересъ. Въ публикѣ появляется безчисленное множество преобразовательныхъ проектовъ. Изъ-за границы высылаются тучи обращеній къ народу. Всѣ партіи и просто мыслящіе люди приходятъ въ волненіе и стараются принять участіе въ предстоящемъ обновленіи отечества. Въ цензурное вѣдомство безпрестанно поступаютъ ходатайства о разрѣшеніи новыхъ періодическихъ изданій.

Катковъ сначала намѣревался издавать журналъ въ духѣ патріотическаго *Сына Отечества*, какъ «особый органъ» для «благороднаго одушевленія» русскаго общества по случаю Севастопольской войны [163]). Но вскорѣ соображенія о внѣшней политикѣ уступили мѣсто новымъ задачамъ. Катковъ желалъ установить у русской публики «русскій взглядъ на вещи», освободить русскій умъ отъ ига чуждаго слова. Московскій попечитель, мы видѣли, поддерживалъ ходатайство.

То же самое онъ сдѣлалъ и для славянофиловъ, хлопотавшихъ о собственномъ изданіи. *Москвитянинъ* длилъ свое существованіе еще въ 1856 году, но отъ него нельзя было ожидать живого практическаго участія въ современности. Ни одинъ изъ его сотрудниковъ не обладалъ способностью даже понять важность текущей минуты и мы знаемъ, какъ талантливѣйшій изъ нихъ Григорьевъ, смотрѣлъ на крестьянскій вопросъ. До возвышенныхъ сферъ красоты и «вѣчныхъ идеаловъ» не долеталъ земной шумъ, и славянофилы, бывшіе сотрудники *Московскаго Сборника*, задумали возобновить свою журнальную дѣятельность. Душою предпріятія явились И. С. Аксаковъ и А. И. Кошелевъ.

Аксакову было запрещено редактировать какой бы то ни было журналъ послѣ исторіи съ *Московскимъ Сборникомъ*, и онъ согла-

---

[162]) *На зарѣ крестьянской свободы*. «Русск. Стар.» 1897 г., окт., 8—9 etc.

[163]) *Катковъ, какъ редакторъ «Москов. Вѣд.» и возобновитель «Русск. Вѣстн.»*. *Р. Стар.* 1897, декабрь, стр. 574.

ился негласно руководить новымъ славянофильскимъ органомъ а Кошелевъ—подписываться редакторомъ и раздѣлять трудъ Аксакова.

Ходатайство славянофиловъ встрѣтило сначала очень сильный отпоръ. Назимовъ представилъ въ министерство записку съ самымъ лестнымъ отзывомъ о личностяхъ и талантахъ московскихъ славянофиловъ [164]). *Русская Бесѣда* явилась въ свѣтъ.

Она немедленно восприняла въ себя основной духъ эпохи, совершенно враждебный москвитяниновскому. Это видно изъ письма Григорьева къ Кошелеву. Критика пригласили сотрудничать въ новомъ журналѣ. Григорьевъ соглашался, но заранѣе объяснялъ нѣкоторыя различія въ воззрѣніяхъ своихъ и редакціи *Русской Бесѣды*. Одно въ особенности любопытно, и Григорьевъ считаетъ его самымъ важнымъ,—это взглядъ на искусство. Для *Русской Бесѣды* искусство имѣетъ только *служебное* значеніе, для Григорьева *совершенно самостоятельное*. Въ результатѣ, и отношеніе къ двумъ первостепеннымъ поэтамъ къ Пушкину и Гоголю — различны: Григорьевъ больше за Пушкина, новый журналъ за Гоголя [165]).

Предъ нами не разногласіе двухъ славянофильскихъ толковъ, а коренная вражда стараго, вымиравшаго направленія критики и новаго, жаждавшаго внести силу идей и творческихъ образовъ въ потокъ современной жизни.

Славянофилы основывали журналъ съ очевидными практическими цѣлями, а вовсе не ради прекраснодушныхъ литературныхъ упражненій. Григорьевъ могъ помѣстить въ журналѣ всего одну статью; та же участь постигла и Т. И. Филиппова, одного изъ столповъ *Москвитянина*, пѣвца русскихъ народныхъ пѣсенъ. Филипповъ написалъ разборъ драмы Островскаго *Не такъ живи, какъ хочется*, возмутившій западническую печать и обезпокоившую даже Востокъ.

Авторъ возвеличивалъ философію судьбы русской женщины, выраженную словами народной пѣсни: «Потерпи сестрица, потерпи родная!» и дѣлалъ выводъ, обязательный и для русскаго общества вообще: «пошлется счастіе — благодари, пошлется горе — терпи! Вотъ всѣ правила для устройства обстоятельствъ нашей жизни». Это поученіе сопровождалось соотвѣтственнымъ пригово-

---

[164]) *Истор. свѣд.*, 83—4.

[165]) *Біографія А. И. Кошелева.* Томъ II. М. 1892, стр. 258—9.

ромъ надъ «западнымъ взглядомъ», т. е., по мнѣнію критика, надъ Жоржъ-Зандомъ.

Статья вызвала письмо Хомякова. Онъ желалъ защитить товарища отъ нападокъ *Современника*, но въ заключеніе ставилъ вопросъ о женской эмансипаціи, признавалъ возникновеніе его неизбѣжнымъ при лицемѣріи и развратѣ мужчинъ. Выходило нѣчто больше, чѣмъ защита Домостроя. Опять вѣяніе новаго духа, знаменовавшее нравственную смерть и молчаніе для писателей московской Руси и патріархальнаго Востока.

Изъ этихъ фактовъ можно видѣть, съ какой настойчивостью журналистика приступала къ обсужденію задачъ своего времени. Прорвалась будто плотина, и потокъ новыхъ идей и стремленій захватило одинаково безмолвствовавшихъ прогрессистовъ и принципіальныхъ хранителей староотеческихъ преданій. Цензура теряла голову, и только что возникшимъ журналамъ грозила мгновенная безвременная смерть.

Статья о пугачевщинѣ въ *Русскомъ Вѣстникѣ* заставляетъ третье отдѣленіе требовать закрытія журнала, такъ какъ пугачевщина—крестьянскій бунтъ и напоминаніе о ней опасно. Статья И. С. Аксакова *Богатыри великаго князя Владиміра* едва не подвергла той же опасности *Русскую Бесѣду* за восхваленіе «прелести прежней вольности».

Положеніе оказывалось безвыходнымъ. Общество напитывалось слухами и толками о крестьянскомъ вопросѣ, а литературу карали даже за намекъ на тотъ же вопросъ. Кн. Вяземскій далъ распоряженіе московскому цензурному комитету пресѣкать печатныя сужденія о предстоящей реформѣ: они «едва ли есть дѣло литературное и въ особенности журнальное», вѣдать его надлежитъ исключительно одному правительству. Князь не сомнѣвался въ благонамѣренности и добросовѣстности русскихъ писателей, «но едва ли участіе литературы принесетъ въ этомъ дѣлѣ пользу».

Въ результатѣ—фактъ, едва вѣроятный, но вполнѣ согласный съ разсчетами цензуры.

Академія наукъ признала полезнымъ «предложить на соисканіе задачу», «относящуюся къ историческимъ изслѣдованіямъ объ обмѣнѣ и выкупѣ помѣщичьихъ правъ въ различныхъ государствахъ Европы». Призывъ былъ обращенъ къ иностраннымъ литературамъ и программу «задачи» запрещено перепечатывать въ русскихъ журналахъ [166]).

[166]) *Истор. свѣд.*, 105.

Но это значило бороться противъ стихій. «Жгучій вопросъ— говоритъ оффиціальный источникъ—самъ врывался на литературную арену и вытѣснить его не было возможности». Кромѣ того, правительство силою своего положенія вынуждалось относиться съ меньшей строгостью къ посягательствамъ литературы.

Высшее общество, просвѣщенные душевладѣльцы отнеслись къ угрожающей реформѣ, какъ революціонному бѣдствію. Такихъ было большинство, по свидѣтельству предсѣдателя редакціонной коммиссіи, Ростовцева. Они «смотрѣли на дѣло съ точки зрѣнія частныхъ интересовъ и гражданскаго права», обвиняли редакціонную коммиссію «въ желаніи обобрать дворянъ и произвести анархію». Даже петербургскіе сановники ждали революціи въ Россіи по европейскому образцу. Обыкновенные крѣпостники не находили словъ для выраженія своихъ ужасовъ.

Они указывали, что русскій народъ—христіанскій, «только по названію, а въ существѣ не понимаетъ ни вѣры, ни евангельскихъ добродѣтелей, не знаетъ ни одной молитвы и самого Бога признаетъ богатымъ, щедрымъ, но злымъ царемъ».

«Поборники скотолюбства», по выраженію современника, находились въ подавляющемъ изобиліи среди просвѣщенныхъ и даже передовыхъ дворянъ. Многіе ударились въ бѣга и переполнили заграничныя пристанища международныхъ патріотовъ. Банкиръ Штиглицъ за первые четыре мѣсяца послѣ московской рѣчи Государя перевелъ заграницу сорокъ милліоновъ для русскихъ путешественниковъ. «Надо ѣхать за-границу, чтобы видѣться съ русскими», пишетъ современникъ.

Парижъ кишѣлъ русской эмиграціей и она вела себя чрезвычайно громко, выражала оппозицію «неприличными выходками». Очевидцы едва могутъ достойно выразить свое презрѣніе къ этимъ протестантамъ и свою обиду за русское имя. «Marchands de chair humaine, подбитые холопствомъ», таскающіеся по парижскимъ трактирамъ и притонамъ, всеобщее посмѣшище на европейской сценѣ, и они же либералы изъ пошлаго фрондерства или жадности! Они не перестаютъ вопіять: «C'est le debâcle de l'ancien régime» и въ то же время не гнушаются изобрѣтать «подлыя», такъ они сами называютъ, уловки противъ своихъ «рабовъ». И это люди съ тонкимъ просвѣщеніемъ, вольтерьянцы, жоржъ-зандисты, даже прогрессисты! Раньше они при случаѣ не прочь были пощеголять демократизмомъ, состраданіемъ къ «этому народу», а теперь

они заставляютъ крестьянъ подавать правительству заявленія, что они крестьяне—не хотятъ воли, распространяютъ слухи, что объявленіе свободы будетъ встрѣчено крестьянскимъ возмущеніемъ. Эта угроза повторяется въ дворянскихъ собраніяхъ, на съѣздахъ предводителей, проникаетъ даже въ печать [167]).

Господствующій дворянскій голосъ: ни дворяне, ни мужики не готовы къ реформѣ. Правительство убѣждено въ противномъ, по крайней мѣрѣ относительно народа. Ему остается искать не помощи, оно достаточно сильно само по себѣ,—а нравственной поддержки и открытаго сочувствія за предѣлами непримиримыхъ скотолюбовъ. Значеніе литературы выдвигалось на первый планъ силою вещей. Въ январѣ 1858 года опубликовано высочайшее повелѣніе объ учрежденіи главнаго комитета по крестьянскому дѣлу, взамѣнъ секретнаго, существовавшаго въ теченіе года. Съ новымъ учрежденіемъ мѣнялось и положеніе печати.

Въ концѣ января періодическимъ изданіямъ объявлено дозволеніе обсуждать крестьянскій вопросъ, держаться только самаго примирительнаго тона, не возбуждая раздора между крестьянскимъ и дворянскимъ сословіемъ.

Это распоряженіе освятило новый періодъ русской публицистики и положило оффиціально-историческое начало литературному движенію шестидесятыхъ годовъ. Въ самомъ началѣ на сцену выступили два строя: за ними можно удержать старыя наименованія славянофиловъ и западниковъ, но старыя отношенія быстро измѣнились, старыя клички утратили былой всеобъемлющій смыслъ и возникли партіи неизмѣримо болѣе сложныхъ окрасокъ и болѣе глубокаго культурнаго значенія.

XXIII.

Мы знаемъ, славянофильство возбуждало особенно рѣзкое недовѣріе власти. *Отечественныя Записки* и *Современникъ* казались цензурному вѣдомству сравнительно болѣе благонамѣренными и безопасными, чѣмъ сотрудники *Московскаго Сборника* и ни одинъ западническій редакторъ не имѣлъ въ своемъ формулярѣ такихъ суровыхъ каръ, какъ Иванъ Аксаковъ. Впослѣдствіи онъ представитъ совершенно исключительный примѣръ издательской дѣятельности по части цензурныхъ и административныхъ преслѣдованій.

[167]) *Рус. Стар.* 1898, янв., 93—4; 1897, окт., 32—3; 1898, февр., 267—8; апр., 69—70; мартъ 468.

Его біографія, единственная среди всѣхъ редакторскихъ біографій въ Россіи, напомнитъ эффектныя приключенія какого-нибудь неукротимаго оппозиціоннаго журналиста Франціи. Только Аксакову будетъ дозволено вести блистательную борьбу съ цензурой и даже съ высшей администраціей, только ему будутъ разрѣшать періодическое изданіе *День* и въ то же время учреждать надъ этимъ изданіемъ особое наблюденіе, только его газета — *Москва* удостоится меньше чѣмъ за два года девяти предостереженій, будетъ три раза пріостановлена, наконецъ, прекращена и вызоветъ рыцарственный отпоръ издателя самому министру внутреннихъ дѣлъ...

Это своего рода многоактная драма и во всякомъ случаѣ единственная исторія въ судьбахъ русской публицистики. Подъ предводительствомъ такого героя славянофилы поспѣшили отозваться на новыя вѣянія.

Желаніе вполнѣ естественное. Мы знаемъ, вопросъ о крѣпостномъ правѣ занималъ славянофиловъ очень давно и они пытались провести его въ печать. Теперь изъ ихъ лагеря стали исходить проекты освобожденія крестьянъ съ землею, т. е. самые здравомыслящіе среди всѣхъ многочисленныхъ плановъ, изобрѣтавшихся оффиціальными и вольными преобразователями. Кошелевъ, основатель *Русской Бесѣды*, издавна занимался рѣшеніемъ задачи и еще въ 1847 году велъ любопытную переписку съ Петромъ Кирѣевскимъ объ этомъ предметѣ.

Тогда Кошелевъ готовъ былъ помириться на частныхъ сдѣлкахъ помѣщиковъ съ крестьянами. Кирѣевскій вѣрилъ только въ общее и всестороннее преобразованіе всѣхъ злоупотребленій «полицейскихъ и общественныхъ», водворенія законности, какъ «общей атмосферы всего русскаго царства». «Судебная справедливость» Кирѣевскому казалась не менѣе настоятельнымъ вопросомъ, даже болѣе значительнымъ, чѣмъ крѣпостное право [168]).

Славянофилы, слѣдовательно, владѣли прекрасными преданіями отъ нѣкоторыхъ своихъ первоучителей и могли теперь выступить во всеоружіи идей и чувствъ, особенно при захудалости и пустозвонствѣ западническихъ фельетонистовъ.

И они, повидимому, понимали свое положеніе.

Въ Москвѣ снова оживились салоны, Хомяковъ опять сталъ

---

[168]) *Письмо П. В. Кирѣевскаго къ А. И. Кошелеву. Русскій Архивъ*, 1873, II, 1345 etc.

повергать въ изумленіе благородныхъ дамъ краснорѣчіемъ и діалектикой и даже наводить страхъ на «скотолюбцевъ».

Одесскій попечитель А. Г. Строгановъ получалъ отъ брата отчаянныя новости. Славянофилы, оказывается, превозносили зарю новой жизни для Россіи и смотрѣли на основаніе общины, какъ на первый шагъ отступленія отъ петровскихъ реформъ. Правда, Хомяковъ могъ бы нѣсколько разсѣять трагическое настроеніе Строганова: онъ едва ли не самый яркій лучъ зари видѣлъ въ предстоящемъ разрѣшеніи носить бороду и кафтанъ. Это напоминаю соображенія Самарина о важности крымской войны и особенно ополченія: офицерамъ, служившимъ въ ополченіи, можно будетъ щеголять въ бородѣ![169]). Благородные славянофилы никакъ не могли отдѣлаться отъ своего хвоста и самоотверженно юродствовали при самыхъ неподходящихъ обстоятельствахъ.

Но Строгановъ все-таки ужасался. «Ты видишь, это православный соціализмъ!» убѣждалъ онъ брата. Въ заключеніе слѣдовало дѣйствительно безпокойное соображеніе «корифеевъ» славянофильства:

«Если дворянство въ продолженіе стольkихъ лѣтъ не успѣло упрочить себя, какъ независимое сословіе, то симъ доказало свое ничтожество и не заслуживаетъ быть поддержано» [170]).

Подобныя рѣчи производили впечатлѣніе даже и не на скотолюбцевъ. Славянофилами увлекся Салтыковъ и съ такимъ художественнымъ азартомъ, что, казалось бы, трудно было ожидать такой непосредственности чувства отъ сатирика. Салтыковъ считалъ затруднительнымъ держаться иного направленія «въ наши дни», чѣмъ славянофильское. «Въ немъ одномъ есть нѣчто похожее на твердую почву,—писалъ прозелитъ,—въ немъ одномъ есть залогъ здороваго развитія». И Салтыковъ готовъ даже «залѣзать въ удѣльный періодъ» за признаками русской самостоятельности [171]).

Эти порывы не влекли къ послѣдствіямъ, но они показываютъ, какъ славянофилы стояли на виду у публики конца пятидесятыхъ годовъ. Имъ предстояло оправдать свою славу.

Чтò же они совершили?

Въ первыхъ же книгахъ журнала появились извѣстныя намъ

---

[169]) *Письмо Грановскаго къ Кавелину.* Грановскій. II, 456.

[170]) *Р. Стар.* 1898, марта, 486.

[171]) *Р. Стар.* 1897, ноябрь, 234.

статьи Филиппова и Василія Григорьева о Грановскомъ и, кромѣ того, Аполлона Григорьева *О правдѣ и искренности въ искусствѣ*, съ проповѣдью вѣчныхъ идеаловъ и съ проклятіями на «минутные, жалкіе или порочные законы дѣйствительности».

Правда, всѣ три сотрудника больше не появлялись въ журналѣ, но и оставшіеся коренные сотрудники не представляли утѣшительнаго зрѣлища. Въ самой редакціи ежеминутно готова была вспыхнуть междоусобная брань. Кошелевъ оказался самымъ нетерпимымъ цензоромъ славянофильскаго правовѣрія. Несомнѣнно, за нимъ былъ богатѣйшій практическій и идейный опытъ. Бывшій «архивный юноша», членъ «Общества любомудрія», сотрудникъ *Мнемозины*, славянофилъ подъ руководствомъ Хомякова, наконецъ, чиновникъ, помѣщикъ и откупщикъ, Кошелевъ имѣлъ право давать тонъ своимъ помощникамъ по журналу, но врядъ ли самое дѣло могло выиграть отъ чрезмѣрнаго изслѣдовательскаго усердія издателя.

Прежде всего, Кошелевъ не могъ поладить съ Аксаковымъ, самой блестящей силой *Русской Бесѣды*. Онъ находилъ свои убѣжденія и аксаковскія различными «въ самыхъ основахъ» и считалъ невозможнымъ вмѣстѣ съ Аксаковымъ издавать журналъ. Костантинъ Аксаковъ еще больше пугалъ Кошелева, Хомякова издатель считалъ «совершенно нежурнальнымъ человѣкомъ», одного изъ главныхъ пайщиковъ журнала, кн. Черкасскаго, онъ не причислялъ даже къ славянофиламъ по многимъ весьма существеннымъ основаніямъ: князь не считалъ православнаго ученія основою славянофильскаго міровоззрѣнія, не признавалъ общины и насмѣхался надъ народомъ. Оставался Самаринъ, также пайщикъ *Бесѣды*, но ему было недосугъ заниматься журналомъ.

Все это выяснилось очень скоро, и оба редактора, гласный и негласный, рѣшились каждый обзавестись отдѣльнымъ органомъ, не прекращая *Бесѣды*. Аксаковъ началъ издавать газету *Москву*, а Кошелевъ—журналъ *Сельское Благоустройство*. Цензура еще была вооружена всѣми средствами противъ журнальныхъ посягательствъ на крестьянскій вопросъ и не замедлила обрушиться на оба изданія.

Кошелевъ ходатайствовалъ о расширеніи права говорить объ окончательномъ устройствѣ крестьянъ и заявлялъ о «рѣшительной невозможности» продолжать журналъ, если цензурныя постановленія по крестьянскому вопросу не измѣнятся.

Ходатайство осталось тщетнымъ, и Кошелевъ прекратилъ журналъ [172]).

Та же участь постигла *Москву*, выходившую въ теченіе 1857 г. Кошелевъ поспѣшилъ заявить «во всеуслышаніе», что *Русская Бесѣда* и *Москва* совершенно независимы другъ отъ друга и читатели не должны смѣшивать ихъ мнѣній. Такое образцовое согласіе царствовало между руководителями *Русской Бесѣды* и съ такой тонкой политикой они вели свое дѣло предъ публикой!

Болѣе опаснаго врага, чѣмъ Кошелевъ, *Москва* встрѣтила въ князѣ Вяземскомъ. Пока существовалъ секретный комитетъ по крестьянскому вопросу, князь не могъ допустить даже намека на «вольный трудъ»; по его словамъ, «утопію, которая можетъ сбить съ толку трудящихся». Товарищъ министра народнаго просвѣщенія въ письмѣ къ Константину Аксакову дѣлалъ по адресу издателя *Москвы* крайне рѣзкій выговоръ: «Вводить въ искушеніе несбыточными мечтаніями и эффектными фразами меньшую братію грѣшно и ужъ вовсе не православно». *Москва* не выдержала этой грозы и скончалась въ концѣ года.

Годъ спустя Аксаковъ предпринялъ изданіе новой газеты *Парусъ*. Передовая статья была посвящена вліянію цензуры на литературу и журналистовъ. Авторъ въ горячей лирической формѣ высказывалъ въ высшей степени мрачный взглядъ.

«Неужели же,—восклицалъ онъ,—мы еще не избавились отъ печальной необходимости лгать или безмолвствовать? Когда же, Боже мой, можно будетъ, согласно съ требованіемъ совѣсти, не хитрить, не выдумывать иносказательныхъ оборотовъ, а говорить свое мнѣніе прямо и просто, во всеуслышаніе? Развѣ не довольно мы лгали? Чего довольно?!—изолгались совсѣмъ... Было такое время, когда ни воздуха, ни свѣта не давалось людямъ, когда жизнь притаилась и смолкла и въ пустынномъ мракѣ пировала и вѣнчалась оффиціальная ложь, одна, владыкою безмолвнаго простора. Но вѣдь это время прошло! Или мы еще не убѣдились, что постоянное лганье приводитъ общество къ безнравственности, къ безсилію и гибели? Или уроки исторіи пропали для насъ даромъ? Развѣ не выгоднѣе для правительства знать искреннее мнѣніе каждаго и его отношенія къ себѣ?..»

И редакторъ собирался высказывать «безоглядную правду», почтительно и скромно, но вполнѣ независимо и свободно. На второмъ выпускѣ газета была прекращена.

---

[172]) *Истор. свѣд.*, 107.

Въ союзѣ съ цензурой опять оказался Кошелевъ. Онъ не могъ выносить оппозиціоннаго настроенія Аксакова, предлагалъ ему «кутить» въ *Парусѣ* какъ угодно, но въ *Бесѣдѣ* быть сдержаннымъ, иначе ее лучше закрыть. Кошелевъ стремился «слыть органомъ правительства», болѣе или менѣе либеральнаго, и позволялъ себѣ только «скорбѣть», не больше [173]).

Скорбѣть приходилось такъ часто и такъ глубоко, что на другія чувства не оставалось и времени. Оффиціальный источникъ сообщаетъ свѣдѣнія о количествѣ статей по крестьянскому вопросу, которыя присылались изъ Москвы въ Петербургъ на просмотръ главнаго управленія цензуры. Цифры чрезвычайно краснорѣчивыя. Напримѣръ, изъ 14 статей, съ исключеніями одобряется 4; изъ 9 всего 3. И такъ постоянно: рукописей приходили «цѣлыя кипы» и «большая часть ихъ была устраняема отъ печати»—все изъ-за старанія цензуры удержать обсужденіе вопроса въ указанныхъ границахъ. Одновременно разсылались многочисленные циркуляры и частныя письма сановниковъ, въ родѣ посланія кн. Вяземскаго къ Аксакову.

Кошелевъ имѣлъ всѣ основанія спрятаться съ своимъ *Благоустройствомъ*, но *Бесѣда* продолжала жить. Одной изъ главныхъ задачъ редакція считала укрѣпленіе тѣсныхъ связей съ славянскими народами и въ привлеченіи сотрудниковъ изъ славянскихъ земель. Путешествія по славянскимъ землямъ занимали видное мѣсто въ журналѣ. Изъ политическихъ статей особенный шумъ былъ поднятъ статьей Самарина *Два слова о народности въ наукѣ*. Усерднымъ совопросникомъ явился *Русскій Вѣстникъ* въ лицѣ Б. Чичерина. Московскія стогны огласились возгласами: «воззрѣніе объективное», «субъективные взгляды», «общечеловѣческое», «народное» и всякими другими задорными словами, никого ничему не научившими и оставившими ярыхъ ратоборцевъ на ихъ неизмѣнныхъ позиціяхъ. Вышла чисто словесная чернильная свалка, сильно потѣшившая самихъ героевъ и кучку праздныхъ пріятелей.

Какое дѣло могло быть публикѣ до этой суеты журнальнаго муравейника? Кошелевъ признавалъ, что кругъ читателей *Бесѣды* «не огроменъ» и что «молодежь не льнетъ» къ ней. Онъ разсчитывалъ на «людей зрѣлыхъ». Похвальный разсчетъ, но только понятіе о зрѣлости чрезвычайно относительно. Въ глазахъ Кошелева оба братья Аксаковы не были вполнѣ зрѣлы и только по

---

[173]) *Біографія А. И. Кошелева*, 249.

необходимости, за недостаткомъ болѣе удовлетворительнаго редактора, приходилось мириться съ Иваномъ Аксаковымъ. Солидность, можетъ быть и весьма почтенная, и вполнѣ приличная политику, сильно разсчитывавшему одно время на постепенное уничтоженіе крѣпостного права благородными душевладѣльцами. При другихъ обстоятельствахъ разсчетъ и солидность, пожалуй, и были бы оцѣнены по достоинству, но не публикой шестидесятыхъ годовъ. Для нея *Бесѣда* явилась и осталась до конца вторымъ изданіемъ *Москвитянина*, т. е. журналомъ, заранѣе дискредитированнымъ, отчасти курьезнымъ, отчасти старчески-скучнымъ и вообще несовременнымъ.

Относительно *Бесѣды* во многихъ отношеніяхъ это было несправедливо. Но редакція не умѣла и даже не желала свои несомнѣнныя достоинства и свой положительный идейный капиталъ представить публикѣ въ яркой, талантливой, вдохновляющей формѣ. Она совершенно напрасно мирилась съ равнодушіемъ молодежи. Наступало время, когда всѣ, безъ различія возраста, молодѣли духомъ и предъявляли юношески-нетерпѣливые запросы къ людямъ, взявшимъ на себя смѣлость руководить общественнымъ мнѣніемъ въ эпоху величайшаго перелома общественной и народной жизни.

Болѣе острую проницательность обнаружилъ врагъ *Русской Бесѣды* — *Русскій Вѣстникъ*. Онъ сразу закутилъ, лишь только появился на свѣтъ, не въ духѣ незрѣлости и молодости, какъ понималъ Кошелевъ. Нѣтъ. Солидность возврѣній и зрѣлость гражданскихъ чувствъ Каткова не подлежали сомнѣнію,—онъ съумѣлъ «дать себѣ отвагу» въ другомъ направленіи, вполнѣ удобномъ, но, тѣмъ не менѣе, очень картинномъ и благодарномъ.

XXIV.

Долголѣтняя журнальная дѣятельность Каткова представляетъ исключительный примѣръ публицистики чисто-импрессіонистскаго жанра. Будущему историку и психологу будетъ одинаково трудно прослѣдить многообразныя эволюціи катковской внутренней и внѣшней политики и опредѣлить сущность и принципіальное зерно ея стремленій. Нельзя назвать ни одного болѣе или менѣе важнаго вопроса въ государственной и общественной исторіи преобразованной Россіи, не получившаго въ статьяхъ Каткова по нѣскольку совершенно различныхъ, непримиримыхъ отвѣтовъ. Публицистика

Московскихъ Вѣдомостей, разложенная на догматы и принципы, представила бы изумительно пеструю справочную энциклопедію для большинства политическихъ партій XIX-го вѣка, отъ англійскаго высоко-культурнаго либерализма до вполнѣ откровенной философіи «слова и дѣла».

Эти результаты на почвѣ молодой русской публицистики не лишены оригинальности, но нашъ публицистъ обнаружилъ еще болѣе яркую оригинальность въ другомъ отношеніи. Писатели-импрессіонисты народъ обыкновенно спокойный, иронически ко всему снисходительный и до послѣдней степени терпимый. Это очень похвально. Если человѣкъ положилъ себѣ правиломъ не держаться строго опредѣленныхъ взглядовъ, не мучиться изъ-за постоянныхъ убѣжденій, ему, конечно, было бы странно горячиться и переживать сильныя чувства восторга или негодованія по поводу чужихъ какихъ бы то ни было идей. Вѣдь всякій имѣетъ право говорить рѣшительно все, что̀ ему угодно; разговоръ—результатъ не мысли и вѣры, а настроеній, тѣхъ или другихъ случайныхъ внушеній. И современные импрессіонисты—все господа образцоваго литературнаго тона и безукоризненнаго джентльмэнства, по крайней мѣрѣ, на родинѣ импрессіонизма во Франціи.

Катковъ импрессіонистъ совершенно особаго характера. Его «впечатлѣнія» въ его глазахъ—догматы и законоположенія. Какъ бы часто и рѣзко они ни мѣнялись, публицистъ ни на минуту не утрачивалъ рѣшительнаго всеподавляющаго тона. Размахъ пера и воинственная отвага рѣчи оставались неизмѣнными при самыхъ разнообразныхъ рѣшеніяхъ одного и того же вопроса. Даже больше: азартъ непосредственно послѣ скачка въ сторону или назадъ становился настойчивѣе, будто публицистъ старался перекричать свой собственный голосъ, только что выкрикивавшій другіе мотивы и еще не совсѣмъ замолкшій въ ушахъ публики. Самоувѣренность чрезвычайно завидная и принесшая самому герою богатые плоды. Онъ могъ съ неприкосновеннымъ и одинаково внушительнымъ эффектомъ и «олимпійскимъ» громогласіемъ провозглашать судъ присяжныхъ благодѣяніемъ и судомъ улицы, вопросъ о женскомъ образованіи—исторически-неизбѣжнымъ и фальшивымъ, гибельнымъ для благоденствія Россіи, союзъ съ Франціей—унизительнымъ, опаснымъ и немного спустя мудрымъ и необходимымъ. И будущій историкъ напрасно станетъ доискиваться какой-либо руководящей мысли во всѣхъ этихъ зигзагахъ и прыжкахъ талантливаго газетнаго слова. Предъ нимъ развер-

нется, будто многоактная и многословная пьеса будущаго автора. Психологія дѣйствующихъ лицъ неопредѣленна и противорѣчива, эпизоды плохо мотивированы, интрига произвольна и основана на случайностяхъ, развязка совершенно фантастична. Ясно только одно: главный герой весь поглощенъ заботой участвовать во всѣхъ сценахъ и непремѣнно на первомъ планѣ, произносить краснорѣчивые монологи и дѣлать «выигрышные» выходы. Вдумываясь въ спектакль, зритель даже можетъ напасть на мысль: да ужъ не ради ли этихъ выходовъ задумана вся махинація и не ими ли объясняется головокружительная безсвязность и сюрпризность зрѣлища?

Повидимому, зритель не будетъ слишкомъ далекъ отъ истинной разгадки. Въ нашу программу не можетъ входить оцѣнка публицистическаго таланта Каткова, но дебюты издателя *Русскаго Вѣстника* для насъ важны—въ томъ же отношеніи, какъ и дѣятельность *Русской Бесѣды.* Мы должны опредѣлить военную позицію, занятую новымъ журналомъ въ современномъ движеніи и вывести окончательное заключеніе объ истинныхъ выразителяхъ этого движенія.

Мы видѣли, Катковъ замышлялъ журналъ съ цѣлью создать «особый органъ въ литературѣ» для «благороднаго одушевленія» русскаго общества, готовъ былъ даже просить просто о возобновленіи *Сына Отечества*—съ переименованіемъ въ *Русскаго Лѣтописца.* Разрѣшеніе получилось, и *Русскій Вѣстникъ* съ 1856 г. явился въ свѣтъ.

Онъ не замедлилъ выдѣлить себя изъ хора остальной журналистики—существовавшей и существующей. Совершилъ онъ этотъ актъ съ большимъ величіемъ въ позѣ и краснорѣчіемъ въ словахъ. Онъ напалъ прежде всего на *господъ критиковъ* вообще за ихъ исключительное положеніе въ журналистикѣ. Со времени Бѣлинскаго критика стала главнымъ и для читателей любопытнѣйшимъ отдѣломъ журналовъ. Этотъ порядокъ вещей не понравился *Русскому Вѣстнику* и онъ сочинилъ «нѣсколько словъ о критикѣ»—весьма поучительныхъ для всей его только что начинавшейся дѣятельности.

Критики—это «литературные бобыли», «баши-бузуки», отнюдь не «производители». Они притязаютъ на «направленіе», но это понятіе столь же презрѣнно, какъ и «критика». Его вовсе до сихъ поръ не понимали. Вмѣсто «направленія» царствовало «громогласіе», «литературныя сплетни» и круглое невѣжество. По мнѣнію

Русскаго Вѣстника, «критикамъ вмѣнялось въ главнѣйшую обязанность»—«быть какъ можно свободнѣе отъ всякихъ другихъ (кромѣ сплетень) стѣснительныхъ знаній: чѣмъ легче на умѣ—тѣмъ легче на совѣсти и тѣмъ смѣлѣе говорится». Въ результатѣ—«невообразимая наглость», «недобросовѣстность». «Баши-бузуки обыкновенно занимали журнальные аванпосты, и съ гиканьемъ носились въ отдѣлахъ критики, библіографіи, обозрѣнія журналистики».

Авторъ утѣшаетъ себя мыслью, что эти *обры* погибли, раздается «послѣдній вопль литературныхъ баши-бузуковъ». Въ будущемъ русскимъ журналамъ предстоитъ уподобиться «англійскимъ *обозрѣніямъ*». «Скандалёзныя явленія», «гостинодворскіе отчеты» критиковъ исчезнутъ. *Athenaeum* и другія «англійскія большія *обозрѣнія*» процвѣтутъ на русской почвѣ,—надо полагать, по образцу *Русскаго Вѣстника* и подъ руководствомъ его издателя, столь основательно усвоившаго чинный и благопристойный тонъ англійской печати.

Какъ!—воскликнете вы,—что же это за благопристойность: сидѣльцы, баши-бузуки, наглость, гиканье? Если русскіе журналы начнутъ отвѣчать своему критику въ его же тонѣ, выйдетъ нѣчто почище даже «гостиныхъ дворовъ», столь презираемыхъ *Русскимъ Вѣстникомъ*.

Несомнѣнно. Журналы, конечно, имѣли полное право разговаривать съ нашимъ англоманомъ въ его стилѣ. Но съ нихъ, завѣдомыхъ баши-бузуковъ, нечего было и спрашивать. Другое дѣло, какъ русскій *Revue des deux Mondes* унизился до гиканья и громогласія?

Это непостижимое противорѣчіе будетъ сопровождать всю публицистическую карьеру Каткова. Врядъ ли какой журналистъ извергнулъ на своемъ вѣку бо́льшее количество бранныхъ словъ, чѣмъ онъ, и врядъ ли кто съ бо́льшимъ усердіемъ твердилъ въ то же время о тонѣ и «чистотѣ» критики. Въ первой же статьѣ провозглашалось слѣдующее благородное правило:

«Всякое дѣло должно быть дѣло чистое, и критика должна быть критикою чистою, какъ наука должна быть чистою, какъ искусство должно быть чистымъ» [174]).

На что́ превосходнѣе! А между тѣмъ эта чистая критика съ каждымъ мѣсяцемъ все сильнѣе пачкалась въ предметахъ, не

---

174) *Русскій Вѣстникъ*. 1856 г., томъ III. *Современная Лѣтопись*, стр. 213.

особенно чистыхъ. «Балаганы», «желтый домъ», «свирѣпое безсмысліе», «рабольпство», «мальчишеское забіячество», «оскверненіе мысли въ ея источникахъ» и множество другихъ полемическихъ красотъ и прямо сплетень могли извлечь мальчишки и баши-бузуки изъ московскаго Athenaeum'a. Насмѣшливая судьба судила *Русскому Вѣстнику* со дня рожденія быть «подозрительнымъ бель-этажемъ», возглашать неустанно о своихъ «чистыхъ комнатахъ» и щеголять публично убранствомъ и атмосферой чердаковъ и подваловъ.

Глѣбъ Успенскій по поводу одной чисто-подвальной выходки «бель-этажа» заявлялъ, что она далеко не новость въ этихъ благовонныхъ сферахъ, что крики «мошенники», «негодяи» уже начали раздаваться въ самую раннюю весну послѣ реформеннаго времени».

Мы видимъ, даже еще раньше, *за пять лѣтъ* до реформъ. И даже направленіе криковъ успѣло намѣтиться съ достаточной точностью. Здѣсь Катковъ не измѣнялъ себѣ отъ перваго драматическаго монолога противъ «баши-бузуковъ» до послѣдняго натиска на «разбойниковъ печати». Даже изящество терминовъ не потерпѣло отъ времени.

Для читателя нѣсколько неожиданно такое заключеніе. Извѣстно, «разбойники печати» для Каткова, спасавшаго отечество отъ скрытыхъ и явныхъ нигилистовъ, были всѣ, кто не состоялъ подписчикомъ или читателемъ *Московскихъ Вѣдомостей*, предпочиталъ другія газеты. Неужели же онъ еще съ 1856 г. провидѣлъ эту злокозненную расу людей и заклеймилъ ее на все будущеее время баши-бузуками?

Оказывается, да. Потому что, кого же *Русскій Вѣстникъ* могъ поражать съ такой свирѣпостью, какъ не предшественниковъ позднѣйшихъ недруговъ *Московскихъ Вѣдомостей*? Не надо забывать, катковское «слово и дѣло» въ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годахъ раздавалось вовсе не противъ завѣдомыхъ революціонеровъ и нигилистовъ, а вообще противъ «не нашихъ». До какой степени оказался обширнымъ районъ этихъ прокаженныхъ, показываетъ исторія *Московскихъ Вѣдомостей* съ Тургеневымъ. Она выяснила, что всякій русскій «либералъ» на языкѣ Каткова означаетъ послѣдователя нигилизма и даже самъ Тургеневъ въ томъ числѣ. Русская печать, при всей разрозненности и гражданской шатости, поняла размахъ патріотическаго краснорѣчія и доказала это публично. На обѣдѣ при открытіи пушкин-

скаго памятника въ Москвѣ Катковъ вздумалъ взывать къ примиренію и единенію. Воззваніе нашло искренній откликъ въ единственномъ редакторѣ-издателѣ, Гайдебуровѣ.

Такая широта арены опредѣлилась именно съ 1856 года.

Въ самомъ дѣлѣ, на кого ополчался новый журналъ? Онъ особенно негодовалъ на журнальныя обозрѣнія, называлъ ихъ «варварствомъ литературныхъ нравовъ», излюбленнымъ изобрѣтеніемъ баши-бузуковъ. Онъ соображалъ, что этотъ обычай завелся «лѣтъ за семь или за восемь предъ симъ», т. е. съ 1848 года.

Соображеніе невѣрное. Журналы обозрѣвалъ еще Полевой, потомъ пушкинскій *Современникъ* и, наконецъ, Бѣлинскій. Послѣдній ежегодные критическіе отчеты окончательно ввелъ въ обычай, и нѣкоторые читатели не сомнѣвались, что *Русскій Вѣстникъ* всей своею бранью на гиканье, направленіе, невѣжество, не-чистую критику мѣтилъ именно въ Бѣлинскаго [175]).

И читатели врядъ ли ошибались.

Говорить о *направленіи* можно было только по поводу Бѣлинскаго, о критикѣ, какъ «животворномъ элементѣ журнала», только въ виду его статей, обзывать же его «бобылемъ», значило повторять эпитетъ Шевырева, обвинять въ невѣжествѣ — слѣдовать примѣру всѣхъ другихъ противниковъ критика. Правда, журналы обозрѣвалъ еще *Иногородній Подписчикъ*, но какое же у него направленіе? Онъ вскорѣ сталъ сотрудникомъ *Русскаго Вѣстника* и ужъ, конечно, никогда не принадлежалъ къ «баши-бузукамъ». Вообще *Русскій Вѣстникъ* въ теченіе шестидесятыхъ годовъ собралъ у себя всѣхъ «туристовъ» и «подписчиковъ»—Анненкова, Дружинина, Алмазова, наконецъ Лонгинова, извѣстнаго библіографа и еще болѣе извѣстнаго оффиціальнаго гонителя «литературныхъ баши-бузуковъ» и «мальчишекъ».

Первое мѣсто среди нихъ, по бойкости пера, слѣдуетъ отдать И. Ф. Павлову. При жизни Бѣлинскаго онъ прославился остроумной статьей о *Перепискѣ* Гоголя. Статья появилась въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, привела въ восторгъ Бѣлинскаго удачнымъ сопоставленіемъ міросозерцанія *Переписки* и психологіи отрицательныхъ героевъ гоголевской сатиры и была перепечатана въ *Современникѣ* [176]). Такой же восторгъ, но уже со стороны Тургенева выпалъ на долю статьи Павлова о комедіи гр. Соллогуба— *Чиновникъ*, въ *Русскомъ Вѣстникѣ*.

---

[175]) *Біографія А. И. Кошелева*. II, 420.

[176]) *Современникъ*. 1847, май, іюнь.

Статья дѣйствительно очень живая, остроумная и очень благонамѣренная по части просвѣщенія. Но въ статьѣ мелькали отдаленные отголоски приближавшейся войны, какую вскорѣ Павловъ подниметъ въ своей газетѣ *Наше Время* противъ *Грозы* Островскаго и *Наканунѣ* Тургенева. Тогда Катерина возбудитъ «все его негодованіе», а Тургеневъ огорчитъ «философическими воззрѣніями» [177]). Теперь критикъ выступитъ на защиту «современной графини», будетъ взывать къ писателямъ: «схватите душу свѣтской женщины, уловите направленіе ея мысли» и, наконецъ, поставитъ довольно неожиданную дилемму, яростно нападая на героя пьесы: «Зачѣмъ г. Надимовъ запрещаетъ равнодушіе и не велитъ потворства? Неужели премудро-спокойное, азіятски-одинаковое созерцаніе прекрасныхъ и безобразныхъ явленій преступно?»

Не будь здѣсь нѣсколько неодобрительной приставки «азіятски», можно бы смѣло подсказать авторскій отвѣтъ. Да онъ, впрочемъ, ясенъ и съ приставкой. Тому же Павлову, надо полагать, принадлежитъ разборъ стихотвореній Фета. Критикъ въ восторгѣ, въ особенности по слѣдующей причинѣ:

«Теперь гг. Надимовы краснорѣчиво и сильно громогласятъ о нашихъ общественныхъ язвахъ,—г. Фетъ вздумалъ пѣть, что̀ ему придетъ въ голову, что̀ ему пройдетъ по сердцу, что̀ у него проснется въ душѣ... Онъ поетъ какъ птичка на вѣткѣ: да вѣдь это было сказано Богъ знаетъ когда, это было сказано старикомъ Гёте, а развѣ не знаетъ г. Фетъ, что теперь это запрещено, строжайшимъ образомъ это запрещено?.. Придетъ съ своею алебардою безпощадный блюститель запрещенія и бѣда тебѣ, пѣвчая птичка?..» [178]).

Кто же этотъ «грубый сторожъ»? Опять приходится припоминать ни кого иного, какъ Бѣлинскаго. Его въ теченіе всего мертваго періода укоряли за погубительство поэзіи и всѣ обвинители нашли пріютъ въ *Русскомъ Вѣстникѣ*. Очевидно, онъ продолжатель эстетики *Москвитянина* и Иногороднаго Подписчика. Фактъ сталъ вполнѣ яснымъ при первомъ же опредѣленномъ заявленіи «новыми людьми» своихъ мнѣній.

Эти люди въ литературной критикѣ пока считали себя преданнѣйшими учениками Бѣлинскаго и, несомнѣнно, были ими съ

---

[177]) *Наше Время*. 1860. №№ 1 и 9.

[178]) *Русск. Вѣст.* 1856, томъ III, *Русская литература*, стр. 501, 385: томъ IV, *Соврем. Лѣтопись*, стр. 91.

неизмѣримо бо́льшимъ правомъ, чѣмъ Анненковъ и Дружининъ. Съ теченіемъ времени, мы увидимъ, стремительность мысли унесла ихъ въ сторону, и самые увлеченные изъ нихъ даже открыто отреклись отъ наслѣдства Бѣлинскаго. Но для Чернышевскаго и Добролюбова завѣты критика были еще дороги и жизненны. А между тѣмъ уже въ 1861 году между Катковымъ и *Современникомъ* шла непримиримая война и нетерпимой запальчивостью отличалось именно московское *Rèvue*. Чернышевскій невольно долженъ былъ вспомнить, какъ быстро и далеко разошлись когда-то, повидимому, единомышленные люди? Катковъ писалъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* вмѣстѣ съ Герценомъ и Бѣлинскимъ, и Чернышевскій даже впалъ въ грустный лиризмъ по поводу воспоминанія о прошломъ. Совершенно напрасный «порывъ чувствъ»! Катковъ сталъ хозяиномъ журнала, ему нужно стать властителемъ душъ,—будетъ онъ хлопотать о какой-то послѣдовательности взглядовъ или о старыхъ связяхъ съ людьми! Онъ видитъ, *Современникъ*—опасный соперникъ. И онъ не ошибается. Политика одна: пойти войной на противника, все равно, врагъ ли онъ въ самомъ дѣлѣ, честный ли работникъ на томъ же литературномъ поприщѣ или только помѣха нашему вліянію. Вопросъ, *кто* побѣдитъ, а *во имя чего*—дѣло второстепенное. Мы даже кое-что заимствуемъ у нашихъ непріятелей. Мы большіе поклонники англійскихъ журнальныхъ порядковъ, мы будемъ безпрестанно твердить о насажденіи истинно-парламентскихъ пріемовъ въ русской печати, но это не помѣшаетъ намъ прибѣгать къ отборной не литературной брани, въ отвѣтъ на бойкія манеры молодой литературы. Мы джентльмэны и живемъ въ бель-этажѣ, но и у просвѣщенныхъ мореплавателей существуетъ боксъ и имъ приходится бывать въ мѣстахъ менѣе чистоплотныхъ, чѣмъ бель-этажъ: мы также ринемся въ свалку и съ большой охотой уподобимся обитателямъ чердаковъ и подваловъ, если это потребуется для защиты нашего бель-этажа и для торжества нашей аристократичности. Мы, можетъ быть, обнаружимъ нѣкоторую непослѣдовательность, впадемъ въ противорѣчія, но развѣ только слѣпые не распознаютъ во всѣхъ нашихъ полетахъ отъ бель-этажа до подвала одной строго-выдержанной политики: быть вездѣ и всегда на первомъ и исключительномъ мѣстѣ. Мы одни и единственные,—идеалъ, за который можно пожертвовать мессами всѣхъ церквей и вѣроисповѣданій.

[179]) *Современникъ*. 1861, VI.

XXV.

Катковъ съ перваго года *Русскаго Вѣстника* вполнѣ прочно установилъ свое положеніе: быть отрицательнымъ моментомъ новаго движенія въ русскомъ молодомъ поколѣніи. Задача должна выполняться съ неуклонной прямолинейностью, все равно, обнаружитъ ли молодежь сплошныя нравственныя язвы или также коекакіе признаки здоровья. Она виновата заранѣе, потому что съ ней живетъ и волнуется что-то *свое*, не предусмотрѣнное и не предписанное «олимпійцемъ». Такъ Алмазовъ будетъ именовать своего редактора, предавая гласности задушевныя думы самого героя и покоренныхъ имъ народовъ. Молодежи потребовались большія силы бороться съ своимъ врагомъ, особенно въ началѣ, когда врагъ игралъ эффектную и увлекательную роль. Мы знаемъ, Чернышевскій не могъ даже удержаться отъ чувствъ: это свидѣтельствовало о большомъ значеніи катковскихъ «впечатлѣній».

Издатель *Русскаго Вѣстника* съ большимъ искусствомъ защищалъ права печати. Мы видѣли, онъ въ самомъ началѣ новаго царствованія высказывалъ въ оффиціальной бумагѣ общія соображенія о тлетворныхъ вліяніяхъ цензурныхъ стѣсненій. Одновременно онъ отказался напечатать въ своемъ журналѣ опроверженіе оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода на статьи о злоупотребленіяхъ греческаго духовенства въ Болгаріи. Въ 1858 году это было нѣкоторой отвагой [180]).

Еще эффектнѣе поступилъ Катковъ годомъ раньше.

Двадцатаго ноября послѣдовалъ Высочайшій рескриптъ на имя виленскаго военнаго, гродненскаго и ковенскаго генералъ губернатора, разрѣшавшій дворянамъ этихъ губерній образовать комитетъ и приступить къ составленію проектовъ объ освобожденіи крестьянъ. Рескриптъ произвелъ громадное впечатлѣніе на общество; московская интеллигенція рѣшила ознаменовать событіе торжественнымъ обѣдомъ. Участіе приняло до 180 лицъ и обѣдъ состоялся 28 декабря въ залахъ купеческаго клуба. Участвовали разныя сословія и состоянія, но на первомъ мѣстѣ стояли журналисты и профессора.

Было произнесено множество рѣчей; Катковъ говорилъ о единодушіи «всей мыслящей Руси» въ чувствѣ безграничной признательности предъ Государемъ Императоромъ, Павловъ указывалъ

---

[180]) *Историч. свѣд.* 93—4.

на «второе преобразованіе Россіи», Погодинъ возлагалъ надежды на дворянство и литературу, какъ усердныхъ помощниковъ правительству въ предстоящемъ великомъ дѣлѣ. Но особенно сильное впечатлѣніе произвела рѣчь В. А. Кокорева, мѣщанина по происхожденію, откупщика и старообрядца. Рѣчь—не лишенная оригинальности по формѣ—говорила о «гражданской равноправности» бывшихъ крѣпостныхъ, о томъ, что «всѣ кривые и дряблые побѣги опять сростутся съ своимъ корнемъ—съ народомъ» и «отъ этого сростанія мы почерпнемъ изъ чистой натуры народа ясность и простоту воззрѣній».

Катковъ напечаталъ подробный отчетъ объ обѣдѣ въ своемъ журналѣ, съ изложеніемъ рѣчей. Петербургская администрація взволновалась и усмотрѣла въ Катковѣ и въ цензорѣ, пропустившемъ статью, главныхъ виновниковъ. Министръ Норовъ потребовалъ у цензора Н. Ф. Крузе объясненія, и цензоръ отвѣчалъ превосходной защитой литературы. Краснорѣчивѣе и искреннѣе не могъ бы говорить самый либеральный и убѣжденный редакторъ. Записка Крузе въ высшей степени любопытна, какъ показатель духа времени. Рядомъ съ ней оппозиція Каткова сильно теряетъ въ своей гражданской доблести.

Цензоръ полагалъ, правительство смотритъ на литературу «не какъ на враждебный элементъ, допускаемый только по обычаю или изъ приличія, а какъ на дѣло существенное, необходимое, желательное, какъ на важное и лучшее пособіе себѣ во всѣхъ благихъ начинаніяхъ».

Дальше цензоръ, по личнымъ наблюденіямъ, характеризовалъ современную литературу: «она заслуживаетъ въ послѣднее время доброе о себѣ мнѣніе. Она не искала подъ двусмысленностью выраженія провести какую-нибудь недозволенную мысль. Да въ литературѣ нашей за послѣднее время не отъищется ничего безнравственнаго, ничего анархическаго, ничего иносказательно-вреднаго. Ни въ какую эпоху не выражала она такъ искренно, такъ благородно, съ такимъ отсутствіемъ неоправданной лести своего сочувствія вѣнчанной главѣ государства. Всѣ ея стремленія, съ какой стороны ихъ ни взять, какъ ихъ ни перетолковывать, клонятся только къ указаніямъ злоупотребленій, къ истребленію общественной порчи, къ полезнымъ, не разрушительнымъ нововведеніямъ, ко благу и славѣ Россіи».

---

181) *Русск. Вѣстн.* 1857, т. XII. *Современная Лѣтопись*, стр. 203. Исторія обѣда—*Р. Стар.* 1898, январь—февраль.

Цензоръ находилъ такую литературу достойной поощренія и и защиты. Независимость науки, ума, таланта необходима, чтобы литература могла выполнять свое назначеніе. Цензоръ указывалъ, до какой степени цензурныя стѣсненія способствуютъ именно врагамъ Россіи, клеветѣ и разнымъ обвиненіямъ, развиваютъ у общества недовѣріе и подозрительность.

Крузе получилъ строжайшій выговоръ, рѣчь Кокорева признана неприличной, перепечатка ея въ другихъ изданіяхъ запрещена.

Но на этомъ вопросъ не закончился. *Одесскій Вѣстникъ* успѣлъ перепечатать нѣкоторыя мѣста изъ статьи *Русскаго Вѣстника* раньше распоряженія министра.

Газета состояла въ вѣдѣніи попечителя округа Пирогова и перепечатка вызвала ожесточенную войну генералъ-губернатора гр. А. Г. Строганова съ попечителемъ. Графъ выступилъ настоящимъ якобинцемъ старыхъ порядковъ и въ оффиціальныхъ бумагахъ принялся излагать такую государственную мудрость, что вызвалъ возраженія даже въ правительственныхъ сферахъ. Эта война—одно изъ самыхъ яростныхъ столкновеній умиравшаго крѣпостничества съ новымъ движеніемъ, и Строгановъ выполнялъ свою задачу съ рѣдкимъ блескомъ.

Онъ горячо возмущался московскимъ обѣдомъ не могъ допустить и мысли, чтобы русскіе обыватели смѣли высказывать свои «частныя мнѣнія» даже въ пользу правительственныхъ распоряженій, заявлялъ, что вся русская періодическая печать отъ модмаго журнала до губернской газеты—есть «мнѣніе правительства», что комедія Гоголя *Ревизоръ*, копія *Свадьбы Фигаро*. Правда, эта пьеса и сотни подобныхъ ей не произвели въ Россіи «тѣхъ же печальныхъ послѣдствій для Россіи, какъ творенія Бомарше для Франціи», но зато переводы ихъ навлекли на Россію много нареканій заграницей. Строгановъ прямо ставилъ вопросъ о благонамѣренности Пирогова, доносилъ о литературныхъ собраніяхъ въ его домѣ, какъ первоисточникахъ возмутительныхъ статей *Одесскаго Вѣстника*.

Строгановъ долженъ былъ найти сочувственниковъ и херсонскій губернскій предводитель дворянства Касиновъ, въ бумагѣ къ министру, вліяніе Пирогова на *Одесскій Вѣстникъ* приводилъ въ непосредственную связь съ принципомъ *La propriété c'est le vol*, съ предстоящимъ воззваніемъ къ топорамъ во имя свободы труда, припоминалъ Прудона, Мацини, Герцена и его *Колоколъ*, грозилъ правительству «кровавою стезею безпорядковъ» и въ заключеніе

договаривался до Робеспьера. Въ доказательство и генералъ-губернаторъ, и его сотрудники ссылались на статьи газеты.

Но спасители отечества съ Ропеспьеромъ и «республикой» хватили черезъ край и сами заранѣе подорвали довѣріе къ своему здравому смыслу. Направленіе *Одесскаго Вѣстника* въ Петербургѣ не признали вреднымъ и Пироговъ пока остался на своемъ мѣстѣ и съ репутаціей благонамѣреннаго администратора. Но по усердію Строганова и Касинова можно судить о напряженности охранительскихъ инстинктовъ у многихъ особъ преобразовательной эпохи. Разсказанная борьба, кромѣ того, подтверждаетъ существенный историческій фактъ: оппозицію правительству по поводу реформы дѣлало только дворянство и преимущественно высшее чиновничество. Литература, напротивъ, скорѣе могла потеряться въ своихъ восторженныхъ чувствахъ, чѣмъ обнаружить даже тѣнь отрицательнаго настроенія. Это засвидѣтельствовано одинаково и публикой, и властью, и самой литературой [182]). Даже заграничная русская печать преклонялась предъ волей и личностью Императора Александра. Огаревъ сравнивалъ его восшествіе на престолъ съ «теплымъ утромъ послѣ долгой и ледяной ночи», Герценъ опредѣлялъ ему «мѣсто въ числѣ величайшихъ, государственныхъ дѣятелей нашего времени» [183]). И общество высоко цѣнило печать и пристально слѣдило за ней.

Въ это именно время и развернулась слава Каткова, какъ публициста. Заключалась ли особенная заслуга въ усердіи *Русскаго Вѣстника* по вопросу крестьянской реформы? Врядъ ли. На московскомъ обѣдѣ говорились рѣчи людьми умѣреннѣйшаго образа мыслей, и тонъ рѣчей даже превосходилъ тусклое слово Каткова. Относительно крестьянской реформы въ печати—болѣе или менѣе здравомыслящей—не было рѣзкихъ направленій. Конечно, Строгановы и Касиновы могли найти органъ и для своихъ Кассандріадъ: ихъ прорицанія, навѣрное, не отказался бы напечатать *Журналъ Землевладѣльцевъ*,—но это не былъ органъ общественнаго мнѣнія, а чисто-эгоистической партіи и заматорѣвшей касты. *Русскій Вѣстникъ*, слѣдовательно, отнюдь не либеральничалъ, а плылъ широкимъ теченіемъ, захватывавшемъ одновременно и высшее правительство и лучшее общество.

Даже больше. *Русскій Вѣстникъ* явно придерживался подавив-

---

[182]) Ср. *Русск. Стар.* 1896, февр., 273—4.

[183]) *Колоколъ*, 15 дек. 1859.

шей его англійской складки въ торійскомъ смыслѣ. *Современникъ* еще въ 1859 году могъ составить рядъ крайне любопытныхъ ссылокъ на статьи журнала, разсматривавшихъ вопросъ *о выкупѣ душъ*, не желавшихъ отчужденія даже усадебъ въ промышленныхъ губерніяхъ и особенно горячо враждовавшихъ съ принципомъ общиннаго владѣнія. По адресу защитниковъ общины *Русскій Вѣстникъ* даже прибѣгъ къ своему «англійскому» стилю: обозвалъ ихъ «крикунами», «задорно-крикливыми голосами, которыхъ наглость равняется только ихъ невѣжеству и безсмыслію», упомянулъ о «нерастворимомъ осадкѣ отъ верхоглядиаго чтенія всякаго рода брошюрокъ», о «цинизмѣ» о «мерзостномъ кострѣ»,—вообще вполнѣ въ духѣ *Révue des deux Mondes* и *Athenaeum*'а, и въ духѣ всего дальнѣйшаго будущаго нашего публициста.

Этотъ духъ обнаруживался безпрестанно съ подавляющимъ «олимпійствомъ». Катковъ будто заболѣлъ мономаніей, болѣзненнымъ зудомъ преслѣдованія нигилистовъ. Никакихъ оттѣнковъ и степеней онъ не желалъ различать. Въ припадкѣ длящейся ярости, руководимый страннымъ дальтонизмомъ, онъ набрасывался на все, что только напоминало ему ненавистный призракъ. Журналъ не замедлилъ воспользоваться романомъ Тургенева *Отцы и дѣти*, чтобы наплести всѣхъ ужасовъ на «милыхъ малютокъ, которые пишутъ въ нашихъ журналахъ», уличить ихъ въ дикихъ разрушительныхъ инстинктахъ и одновременно—въ убѣжденіи, будто «сосущій младенецъ — самый передовой изъ всѣхъ передовыхъ людей», договориться даже до своего рода также нигилистической идеи: «исторія разбила у насъ всѣ общественныя завязи и и дала отрицательное направленіе нашей искусственной цивилизаціи». Такая защита порядка оказывала ему весьма сомнительную услугу, и авторъ впадалъ въ обычную крайность особаго типа охранителей, подрывающихъ достоинство защищаемаго строя и вѣру въ его законную и естественную прочность именно чрезмѣрностью и болѣзненностью своихъ ужасовъ предъ малѣйшей, даже призрачной опасностью.

Но пока *Русскій Вѣстникъ* не считалъ полезными «отрицательныя мѣры» противъ недуга, т. е. «стѣсненія и преслѣдованія», и указывалъ одно радикальное средство—«усиленіе всѣхъ положительныхъ интересовъ общественной жизни». *Въ Замѣткѣ для издателя «Колокола»*, надѣлавшей когда-то много шума и дѣйствительно искусно составленной, Катковъ разграничивалъ со-

блазнителей отъ соблазненныхъ и говорилъ о послѣднихъ съ чувствомъ состраданія [184]). Но съ теченіемъ времени сдержанность чувствъ должна была исчезнуть въ интересахъ энергіи стиля и полета мысли. Катковъ быстро расширилъ кругъ своихъ жертвъ и захватилъ едва ли не все русское общество и не всю русскую цивилизацію. Въ заключеніе ему неминуемо пришлось занять полюсъ противоположный подлинному нигилизму, и столь же, слѣдовательно, далекій отъ истинно-политической мудрости и плодотворной идейной дѣятельности. Ясныя предзнаменованія мы могли отмѣтить въ самомъ раннемъ періодѣ катковской публицистики. Она не таила въ себѣ зеренъ поступательной и развивающейся жизни. Она по существу представляла силу, враждебную послѣдовательному и независимому движенію общественнаго сознанія. И не потому, что она враждовала съ нигилистами и мальчиками: во многихъ отношеніяхъ они дѣйствительно заслуживали критики, а потому, что она враждовала прежде всего съ лицами, а не съ идеями и въ своей стихійной ярости не различала ни добра, ни зла подъ завѣдомо ненавистнымъ знаменемъ.

А между тѣмъ, владѣй публицистика *Русскаго Вѣстника* истинно-гражданскими задачами, умѣй она поставить принципы выше личнаго самолюбія и честолюбія, она могла бы оказать большую пользу и мальчишкамъ-свистунамъ, и ихъ публикѣ. Слѣдовало только спуститься съ Олимпа и заговорить не на діалектѣ подозрительнаго бель-этажа, а на простомъ русскомъ литературномъ языкѣ, хотя бы на такомъ языкѣ, на какомъ обращался къ Каткову передовой вожакъ свистуновъ.

Мы приведемъ эту по истинѣ удивительную рѣчь. Свистуны и нигилисты стяжали славу баши-бузуковъ и именно издатель *Русскаго Вѣстника* особенно постарался на этотъ счетъ гораздо раньше, чѣмъ непріятные ему писатели заслужили подобное наименованіе. Впослѣдствіи они, разумѣется, перестали скромничать и стѣсняться: незачѣмъ было, разъ самъ издатель «большого обозрѣнія» на англійскій образецъ неистовствовалъ и бранился совсѣмъ не въ парламентскихъ формахъ. А пока эти циники говорили совсѣмъ иное, и могли бы поучить культурѣ и парламентаризму всю редакцію московскаго *Athenaeum'a*.

Въ отвѣтъ на судорожные вопли и личныя клеветническія обвиненія Каткова, Чернышевскій писалъ:

---

[184]) *Рус. Вѣстн.* 1862, май, іюль.

«Сошлемся на опытъ каждаго, кто дѣйствовалъ въ литературѣ благородно: кому изъ нихъ не случалось нѣсколько разъ говорить себѣ то о томъ, то о другомъ, близкомъ прежде, соучастникѣ трудовъ и стремленій: «Мы перестаемъ понимать другъ друга мы стали чужды другъ другу по убѣжденію, мы должны покинуть другъ друга во имя чувствъ еще болѣе чистыхъ и дорогихъ намъ чѣмъ наши взаимныя чувства». Тотъ, кто пишетъ эти строки, началъ свою литературную дѣятельность позднѣе почтеннаго редактора *Русскаго Вѣстника*; но и ему пришлось испытать не одну такую потерю. Онъ можетъ сказать не шутя, что не совсѣмъ легко было ему убѣдиться нѣсколько лѣтъ тому назадъ, что онъ и редакція *Русскаго Вѣстника* по мнѣніямъ своимъ о нѣкоторыхъ слишкомъ важныхъ вопросахъ не могутъ сочувствовать другъ другу. Что мнѣ былъ г. Катковъ? его тогда я не зналъ въ лицо, онъ меня также. Я никогда не разсчитывалъ быть его сотрудникомъ онъ, вѣроятно, еще меньше могъ бы согласиться принять меня въ свои сотрудники. Ничего подобнаго личнымъ отношеніямъ или интригамъ тутъ быть не могло. Но было время, когда мнѣ пріятно было думать: «и мы можемъ дѣйствовать за-одно». Разсчетъ ли денежнаго выигрыша былъ тутъ? И пришло потомъ время, когда мнѣ тяжело было думать: «по вопросу, который теперь стоитъ впереди всего, мы не можемъ дѣйствовать за-одно? «Что же въ самомъ дѣлѣ, денежную ли потерю я чувствовалъ такъ горько. И если я теперь думаю: «можетъ придти очередь другихъ вопросовъ, въ которыхъ мы можемъ сойтись», развѣ денежныя выгоды или другія дрязги заставляютъ меня желать того? пусть судьей будетъ самъ *Русскій Вѣстникъ*» [185]).

Но *Русскій Вѣстникъ* не пожелалъ быть судьей, онъ предпочелъ роль прокурора и притомъ весьма своеобычнаго, произносящаго обвинительныя слова независимо отъ достовѣрныхъ фактовъ и не взирая на преступность удостовѣренныхъ.

Естественно, подсудимые перестали скоро не только оправдываться, а вообще вѣжливо разговаривать съ такимъ одержимымъ представителемъ правосудія. Больше Катковъ уже не дождался «порыва чувствъ» и «неумѣстнаго паѳоса», заставившаго Чернышевскаго даже отложить полемику до «другого настроенія». Олимпіецъ достигъ обычныхъ результатовъ всѣхъ не по разуму энергичныхъ и не по достоинствамъ величественныхъ педагоговъ: «мальчи-

---

[185]) *Современникъ*. 1861, VI. *Полемическія красоты*. Коллекція первая.

шки» совершенно утратили всякую почтительность къ *Русскому Вѣстнику* и стали обращаться съ нимъ чрезвычайно обидно. Московскому обозрѣнію не разъ приходилось весьма плохо, но Катковъ могъ въ трудныя минуты сказать себѣ: *Tu l'as voulu, Georges Dandin*. Гораздо прискорбнѣе и важнѣе другія послѣдствія не для Каткова, а вообще для русской публицистики шестидесятыхъ годовъ.

Дѣти, встрѣтивъ со стороны отцовъ незаслуженную брань и ничѣмъ не оправданное высокомѣріе, въ свою очередь, закусили удила и понеслись безъ оглядки впередъ. Порывъ естественный, но онъ скоро превратилъ въ «отсталыхъ» самихъ учителей и вдохновителей пылкаго юношества. Сначала Бѣлинскій отжилъ свое время, потомъ очередь дошла и до Чернышевскаго и Добролюбова, по крайней мѣрѣ, относительно многихъ существенныхъ идей. А дѣти все неслись впередъ и въ лицѣ Писарева и Зайцева успѣли домчаться до отрицанія луны и солнца. Нашлись, конечно и спутники у этихъ передовиковъ, и строгая преобразовательная мысль первоучителей-шестидесятниковъ у младшихъ эпигоновъ доразвилась весьма скоро до невмѣняемаго каприза и неукротимо-отважной безсмыслицы.

Этотъ «прогрессъ» врядъ ли совершился бы въ такихъ откровенныхъ формахъ, какія мы встрѣтимъ въ нѣкоторыхъ импровизаціяхъ *Русскаго Слова*. Если бы съ самаго начала установилась совмѣстная работа отцовъ и дѣтей, если бы не объявились самозванные олимпійцы и не стали въ вызывающую воинственную позу противъ искреннѣйшихъ публицистовъ своего времени, если бы они не поклялись своимъ кляузническимъ перомъ и своей маніей величія стереть въ порошокъ всѣхъ инако мыслящихъ, и снизошли до общей принципіальной бесѣды съ талантливѣйшими и трудолюбивѣйшими писателями молодого поколѣнія, исторія могла бы принять другой оборотъ, во всякомъ случаѣ не выразилась бы въ столь рѣзкой безпощадной междоусобицѣ.

И потомство въ своемъ судѣ о заслугахъ или преступленіяхъ Каткова не должно забыть роковаго вліянія, оказаннаго имъ на русскую общественную мысль въ лучшую весеннюю пору ея развитія. Никто, ни раньше, ни позже, не вносилъ столько озлобленія и раздѣленія въ семью русскихъ писателей, никто съ такимъ преднамѣреннымъ усердіемъ не работалъ надъ униженіемъ другихъ ради личнаго возвышенія и никто никогда съ такимъ гордымъ сознаніемъ своихъ силъ и успѣховъ не совершалъ такой

разлагающей работы въ теченіе десятковъ лѣтъ. Одновременно и рядомъ съ ней шла другая, заклейменная наименованіями разрушительной и отрицательной, но въ дѣйствительности продолжавшая дѣло положительной мысли и передавшая его слѣдующимъ поколѣніямъ.

XXVI.

Вопросъ о *новыхъ людяхъ* шестидесятыхъ годовъ, одинъ изъ самыхъ трудныхъ для историка русской общественной мысли. Что такое представляли эти люди, во имя какихъ положительныхъ принциповъ они дѣйствовали, какія благотворныя сѣмена посѣяли на литературной почвѣ—все это задачи, получавшія столько же разнообразныхъ рѣшеній, сколько разъ онѣ разрѣшались. Кипучая страсть, одушевлявшая шестидесятниковъ, перешла на ихъ судей и врядъ ли скоро настанетъ время, когда спокойное историческое разслѣдованіе окончательно устранитъ полемическіе приговоры и съумѣетъ бурный періодъ нашей публицистики ввести въ закономѣрный ходъ ея развитія.

На пути къ этой цѣли стоитъ множество препятствій; главнѣйшихъ два—направленіе идей и характеры дѣятелей. Шестидесятые годы выдвинули на первый планъ основные вопросы личной нравственности и культурнаго гражданскаго строя. Они желали построить свои отвѣты на общихъ философскихъ принципахъ, т. е, создать цѣльное міросозерцаніе въ области философіи, морали и политики. Они, слѣдовательно, мечтали о коренной реформѣ отвлеченной и практической дѣятельности человѣка и гражданина. Задача, равная отыскиванію причины всѣхъ причинъ и во всякомъ случаѣ далеко превосходящая силы и стремленія обычныхъ преобразователей философской мысли и отживших общественныхъ порядковъ.

Она, несомнѣнно, требовала не только исключительныхъ талантовъ, но и особаго метода. Строжайшее изслѣдованіе фактовъ, спокойная разносторонняя критика существующаго и вдумчивая безпристрастная оцѣнка предлагаемыхъ на смѣну ему идеаловъ, крайняя осторожность въ выборѣ *данныхъ* и въ составленіи *заключеній*—все это первыя настоятельныя условія не только для рѣшенія поставленныхъ задачъ, а даже для болѣе или менѣе соотвѣтственной и достойной работы надъ ними.

Эти условія оказались съ самаго начала трудно выполнимыми.

Преобразователями философіи и политики являются не изслѣдователи, закаленные въ пріемахъ строго-научнаго мышленія, а юные публицисты. По самой природѣ вещей для нихъ вся цѣнность и радость труда заключается не въ подробной кропотливой разработкѣ фактовъ и постепенномъ осмотрительномъ ихъ обобщеніи, а въ возможно смѣлыхъ, быстрыхъ и практически-проложимыхъ выводахъ. Они ищутъ не столько истины, сколько новизны, приспособленной для разрушенія устарѣвшихъ воззрѣній и для подъема молодыхъ свѣжихъ силъ на борьбу съ развѣнчанными авторитетами и омертвѣвшими вѣрованіями.

Съ одной стороны, страстное желаніе, установить всеобъемлющіе научно и логически обоснованные принципы новаго міросозерцанія, съ другой—настоятельная потребность непосредственно примѣнить ихъ къ дѣйствительности, общую идею превратить въ руководящій пароль повседневной дѣятельности. Легко представить, при такихъ условіяхъ, какая-нибудь изъ двухъ цѣлей непремѣнно потерпитъ, будетъ выполнена не съ достодолжной глубиной и основательностью и безъ надеждъ на прочный успѣхъ. Или философскій принципъ будетъ опредѣленъ слишкомъ поспѣшно и не на достаточно солидныхъ фактическихъ основаніяхъ, или практическое приложеніе его приведетъ стремительную мысль преобразователей къ результатамъ, менѣе всего научнымъ и логическимъ. И та, и другая неудача будетъ зависѣть вовсе не отъ злой воли, или какихъ-либо другихъ нравственныхъ изъяновъ нашихъ мыслителей, а будетъ вызвана разумной необходимостью, самой постановкой философской системы на жгучую перерождающуюся почву дѣйствительности.

Эта почва, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ нуждается преимущественно въ молодыхъ отважныхъ силахъ. Новая жизнь должна создаваться и новыми людьми, вновь подниматься только что накаленными плугами и еще не истощенными работой пахарями. Но дѣло въ высшей степени усложняется, если одновременно однимъ и тѣмъ же людямъ приходится расчищать будущую ниву, выбирать сѣмена, сѣять ихъ и сторожить посѣвъ отъ истребленія и потравы.

Именно въ такое положеніе стали новые люди шестидесятыхъ годовъ. Мы видѣли, ихъ, при первомъ же появленіи на сцену, встрѣтила эгоистическая, и тѣмъ болѣе слѣпая вражда. Они съ перваго шага вынуждены и отстаивать свое право на существованіе, и выяснять свою вѣру, и доказывать ея жизненную цѣле-

сообразность. Требуется исключительная разносторонность талантовъ и гибкость умовъ. Многому научиться и умѣть говорить непремѣнно общедоступнымъ увлекательнымъ языкомъ, владѣть навыкомъ отвлеченнаго мышленія и научныхъ доказательствъ и являться во всеоружіи полемической находчивости, остроумія, блестящей діалектики, возводить собственное зданіе и наносить удары чужому—это по истинѣ героическая работа и она цѣликомъ лежала на плечахъ молодежи шестидесятыхъ годовъ. Мы, встрѣчаясь съ юношескимъ задоромъ, часто наивнымъ самообольщеніемъ и самоувѣренностью, не должны забывать, на какой дѣйствительно драматической сценѣ подвизались эти юноши? Человѣку позволительно даже преувеличить представленіе о своихъ силахъ и рисовать въ слишкомъ радужныхъ краскахъ плоды своихъ усилій, если онъ дѣйствительно предоставленъ самому себѣ и видитъ, какъ съ каждымъ днемъ увеличивается число его слушателей и уменьшается строй его противниковъ.

Шестидесятники это видѣли и имѣли неизмѣримо больше основаній, чѣмъ современные имъ олимпійцы, высоко цѣнить своя дарованія.

А что касается стремленій,—безъ всякихъ личныхъ и себялюбивыхъ иллюзій шестидесятники могли считать ихъ потребностью времени и предсказать будущее, по крайней мѣрѣ, многимъ изъ своихъ идеаловъ.

Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ существеннѣйшія основы новыхъ ученій. Они прежде всего поразятъ насъ вовсе не новизной. Совершенно напротивъ. Отъ самыхъ запальчивыхъ проповѣдниковъ новаго слова мы услышимъ чрезвычайно старыя рѣчи, пережившія множество многолѣтнихъ годовщинъ. Мы увидимъ, русскіе шестидесятники выполняли исконный законъ общественнаго культурнаго прогресса, возобновляли старую первую главу въ исторіи всякаго преобразовательнаго движенія.

У цивилизованнаго человѣчества были и остаются въ распоряженіи два пути нравственной и практической жизни: прежде всего готовыя уже выработанныя обобщенія наблюденныхъ и объясненныхъ фактовъ и вновь открытые или иначе истолкованные факты. Преданія—ничто иное, какъ давнишніе выводы изъ давнишнихъ опытовъ, авторитетъ—власть, основанная на этихъ выводахъ. Но съ теченіемъ времени факты увеличиваются въ количествѣ, способы наблюденія изощряются, объясненіе становится глубже и точнѣе, слѣдовательно, и обобщенія должны со-

твѣтственно мѣняться и авторитеты терять старыя точки опоры. то совершенно естественное движеніе, столь же неотвратимое неизбѣжное, какъ накопленіе жизненнаго опыта и усовершентвованіе общихъ воззрѣній у каждаго человѣка отдѣльно.

Рѣшительный переломъ въ возрѣніяхъ, не удовлетворяющихъ мыслу вновь пріобрѣтенныхъ достовѣрныхъ данныхъ, всегда и ездѣ обозначается однимъ и тѣмъ же понятіемъ: старое—протиорѣчитъ *природѣ и здравому смыслу*. Прежнія обобщенія не соотвѣтствуютъ изученной дѣйствительности, они, слѣдовательно, *противоестественны* и *не разумны*. Эти понятія тождественны: природа и разумъ сливаются въ одну воинственную и преобразовывающую силу. Факты—это сама природа, смыслъ ихъ—разумъ; очевидно, новое воззрѣніе только потому и можетъ разсчитывать на побѣду, что оно основывается одинаково на природѣ и логикѣ.

Съ такими разсужденіями стоики шли на разлагавшійся языческій нравственный и политическій строй, философы XVIII вѣка разрушали «старый порядокъ» и ихъ ближайшіе предшественники—люди Возрожденія и Реформаціи—подрывали истины среднихъ вѣковъ и авторитетъ католической церкви. Подробнѣе и настойчивѣе всѣхъ преобразовательную философію выяснили энциклопедисты. Они не переставали твердить о природѣ, естественномъ порядкѣ вещей, естественныхъ потребностяхъ человѣка, метафизикѣ противоставлять опытную науку, т. е. факты наглядной дѣйствительности, хитроумнымъ и обременительнымъ отвлеченностямъ схоластики—истины и правила здраваго смысла. Такъ именно и называлъ новую философію Вольтеръ, а Руссо старался изъяснить сущность *естественнаго состоянія*. *Les lois la nature et de la raison*—законы природы и разума—въ этихъ словахъ вся мудрость XVIII вѣка, притязавшаго создать новую землю и новое небо.

Совершенно такимъ же путемъ шли и русскіе *новые люди*.

Ихъ общія воззрѣнія чрезвычайно просты. Они установлены первыми вождями движенія Чернышевскимъ и Добролюбовымъ. Ученики прибавили свои выводы, но сущность ученія оставалась неизмѣнной съ первыхъ статей автора *Антропологическаго принципа въ философіи* до самыхъ радикальныхъ откровеній Варфоломея Зайцева.

«Для того, чтобы образовался ясный и правильный взглядъ на предметъ нужны факты»; это одно изъ самыхъ раннихъ за-

явленій Чернышевскаго [187]). *Факты* должны быть единственными источниками нашихъ знаній и нашей философіи, и Добролюбовъ въ основу характеристики новыхъ людей, молодого поколѣнія положитъ «ближайшее соприкосновеніе съ дѣйствительной жизнью», съ «частными фактами», отвращеніе къ абстракціямъ и фантастическимъ представленіямъ. «Положительность», «реализмъ» съ одной стороны, съ другой—«благородныя мечты» и «идиллическія надежды», *дѣло* и *фраза*, такъ ясно и кратко можно выразить контрасты отцовъ и дѣтей [188]).

Итакъ, *факты*—единственные руководители философа и моралиста. Но они существуютъ затѣмъ, чтобы дѣлать выводы, т. е. обобщенія. Новыя истины должны устранить старыя, и, слѣдовательно, новые люди перемѣнятъ только способъ добыванія общихъ идей,—обратятся къ природѣ, а не къ отвлеченному мышленію и воображенію.

Чему же учитъ природа?

Первый и нагляднѣйшій выводъ: закономѣрность и неотразимая причинность явленій. Въ мірѣ фактовъ нѣтъ произвола и случайностей. Все послѣдующее неразрывно связано съ предъидущимъ, все одновременно и причина, и слѣдствіе. «Законъ причинности», «необходимость вещей»—истины, одинаково приложимыя и къ міру физическому, и нравственному. Каждый фактъ послѣдствіе другого въ природѣ и каждый поступокъ—необходимый результатъ факта въ жизни человѣка [189]).

Итакъ, всеобъемлющій, всеподчиняющій законъ причинности первый урокъ, какой даютъ намъ факты, т.-е. природа и дѣйствительность.

Дальше слѣдуютъ логическіе выводы.

Разъ въ природѣ все закономѣрно, мы имѣемъ право отъ извѣстныхъ, уже наблюденныхъ фактовъ дѣлать умозаключенія о неизвѣстныхъ и даже недоступныхъ наблюденію.

Мы, напримѣръ, не изслѣдовали внутренней Австраліи и Африки. Можетъ быть, тамъ существуютъ какія-нибудь новыя горныя породы, новыя растенія, новыя метеорологическія явленія. Съ точностью пока нельзя сказать, что это за вещи и явленія

---

[187]) Въ рецензіи на переводъ сочин. Аристотеля. *О поэзіи. Отеч. Зап.* 1854, № 9, критика.

[188]) *Сочиненія.* II, 418, III, 357—9.

[189]) *Чернышевскій. Критич. статьи.* Спб. 1895, стр. 342, 347—8. *Антропол. принципъ. Соврем.* 1860, май, 7.

но можно съ достовѣрностью утверждать, какихъ вещей и явленій не найдется нигдѣ на земномъ шарѣ и *какого характера* будутъ предметы и феномены въ центрѣ земли и на какой угодно точкѣ ея поверхности. Такимъ образомъ «методъ отрицательныхъ заключеній» также одно изъ пріобрѣтеній фактическаго знанія [190]).

До сихъ поръ философія идетъ вполнѣ гладко и факты даютъ достаточное основаніе для выводовъ.

Но цѣль нашихъ философовъ вовсе не естественно-научныя истины, все равно, какъ и для философовъ XVIII вѣка природа и ея законы отнюдь не представлялись источникомъ самодовлѣющаго спокойнаго созерцанія. Природа для всякаго нравственнаго мыслителя поучительна лишь въ интересахъ его воззрѣній на человѣка и общество. Она—только фундаментъ для зданія, именуемаго новымъ порядкомъ человѣческой жизни. Она *первая* посылка въ силлогизмѣ, гдѣ *вторая*—человѣкъ какъ одно изъ явленій природы и *заключеніе*—программа новой морали и политики.

Фактъ—неизмѣнный при всѣхъ преобразовательныхъ движеніяхъ мысли. Естествознаніе въ такія эпохи ничто иное, какъ арсеналъ для культурной борьбы, наука—щитъ и мечъ новыхъ людей въ бою съ защитниками «фантастическаго міросозерцанія». И ученѣйшій изъ французскихъ энциклопедистовъ Даламберъ превосходно выразилъ эту мысль въ предисловіи къ *Энциклопедіи*.

По мнѣнію знаменитаго математика, изученіе природы само по себѣ «холодно и спокойно», и чувство естествоиспытателя «однообразно, сдержанно и неподвижно». А новымъ людямъ нужны «живыя удовольствія», и ихъ методъ философствовать—нѣчто въ родѣ длящагося состоянія энтузіазма — *une espèce d'enthusiasme*. Открытія вызываютъ у нихъ «подъемъ идей», «броженіе ума», и оно, по словамъ Даламбера, направляется на все съ крайнимъ увлеченіемъ—*avec une espèce de violence!*...

Въ высшей степени краснорѣчивое признаніе! Энтузіазмъ, подъемъ идей, стремительность и непремѣнно даже въ изслѣдованіяхъ природы,—это останется вѣчной характеристикой всѣхъ преобразователей жизни на основахъ разума.

Шестидесятники не только не могли отступить отъ общаго закона, но, по условіямъ времени и среды, должны оправдать его съ особенной силой. Они не имѣютъ возможности пережить и одной минуты спокойнаго, *отрѣшеннаго* размышленія. Они не

[190]) *Антроп. принц. Соврем.*, апрѣль, 360—1.

уходятъ съ боевого поля и не снимаютъ доспѣховъ, все равно, о чемъ бы имъ ни приходилось бесѣдовать съ своей публикой — о наукѣ, о литературѣ, о Молешоттѣ, о Фетѣ, о Боклѣ или о Катковѣ. «Броженіе» не покидаетъ ихъ и не могло покинуть: врагъ слѣдитъ за каждымъ ихъ движеніемъ и во всякую минуту готовъ нанести ударъ, покрыть смѣхомъ неловкое слово, извратить неясно выраженную мысль. Дидро привѣтствовалъ историческіе труды Вольтера не за ихъ фактическую полноту, а за искусное философское истолкованіе фактовъ. То же назначеніе имѣли и всевозможныя разсужденія нашихъ просвѣтителей.

Новые люди искренне дорожили фактами, но конечная цѣль заключалась не въ накопленіи фактовъ и даже не въ идеальномъ выясненіи законовъ природы, а въ философскомъ освѣщеніи фактовъ и въ открытіи естественныхъ путей человѣческаго развитія и счастья.

Очевидно, естественно-научныя размышленія шестидесятниковъ явились только *предисловіемъ:* само сочиненіе посвящено не природѣ, а человѣку, не организмамъ, а духу.

XXVII.

Мы назвали два понятія—организмъ и духъ, мы этимъ самымъ допустили величайшую научную ересь. Въ природѣ никакого дуализма не существуетъ: это основное убѣжденіе нашихъ философовъ. Такъ учатъ «медицина, физіологія, химія», а философія прибавляетъ: «если бы человѣкъ имѣлъ, кромѣ реальной своей натуры, другую натуру, то эта другая натура непремѣнно обнаруживалась бы въ чемъ-нибудь, и такъ какъ она не обнаруживается ни въ чемъ, такъ какъ все происходящее и проявляющееся въ человѣкѣ происходитъ по одной реальной его натурѣ, то другой натуры въ немъ нѣтъ» [191]). Такъ разсуждаетъ Чернышевскій; Добролюбовъ въ другихъ словахъ пересказываетъ то же самое:

«Безъ вещественнаго обнаруженія мы не можемъ узнать о существованіи внутренней дѣятельности, а вещественное обнаруженіе происходитъ въ тѣлѣ; возможно ли отдѣлять предметъ отъ его признаковъ, и что останется отъ предмета, если мы представленіе всѣхъ его признаковъ и свойствъ уничтожимъ» [192]).

[191]) Стр. 349.
[192]) *Сочиненія.* II, 33.

Добролюбовъ называетъ авторитетовъ, научившихъ его этой философіи: Молешотта, Фохта, Бюхнера и подробно сообщаетъ выводы ученыхъ на счетъ связи количества мозга съ умственными способностями и не отступаетъ даже предъ печальнымъ приговоромъ надъ женскимъ умомъ. Для Добролюбова, автора едва ли не самыхъ рыцарственныхъ статей о литературныхъ женскихъ типахъ во всей русской критикѣ, это должно быть истиннымъ самоотверженіемъ. Но наука впереди всего.

Другихъ доказательствъ матеріальнаго единства человѣческой природы мы не слышимъ отъ нашихъ публицистовъ. Весь вопросъ сводится къ аксіомѣ: духа нѣтъ, потому что онъ не обнаруживается ничѣмъ другимъ помимо тѣла. Слѣдовательно, тѣло—*орудіе?* Но Добролюбовъ подмѣняетъ это понятіе, онъ говоритъ: *признакъ*. Двѣ идеи совершенно различныя! Нѣкая сила пользуется матеріальными средствами воздѣйствія на внѣшній міръ, но это не значитъ, будто тѣ же средства ея признаки, т. е. ея органически неразрывныя принадлежности. Это значитъ впадать въ логику младенца, называющаго папой всякаго господина въ такой же шляпѣ, въ какой онъ привыкъ видѣть своего отца. Въ этомъ случаѣ, для ребенка, шляпа *признакъ*, такъ же какъ ружье въ чьихъ-либо рукахъ непремѣнно заставитъ заподозрѣть солдата или охотника, глядя по тому, кого ему назвали въ первый разъ съ такимъ *признакомъ*.

Но даже если остановиться на болѣе осторожномъ выраженіи Чернышевскаго, все-таки *руководящій принципъ* цѣлой философской и нравственной системы требовалъ несравненно болѣе убѣдительныхъ и строгихъ доказательствъ. Дуализмъ можно отвергать, какъ нѣчто бездоказательное и фантастическое, но это еще не уполномочиваетъ разносторонняго ученаго XIX-го вѣка утверждать *монизмъ*, все равно, матеріальный или идеальный. До какой степени шатка почва у автора *Антропологическаго принципа*, показываетъ его злоупотребленіе аналогіями и сравненіями. Если Платонъ прибѣгалъ преимущественно къ этимъ способамъ доказательства, то, вѣдь, никто никогда и не разсчитывалъ предъявлять къ нему научныхъ запросовъ и онъ самъ менѣе всего помышлялъ о титлѣ ученаго. А здѣсь насъ предупреждаютъ: современная наука «не принимаетъ ничего безъ строжайшей всесторонней повѣрки и не выводитъ изъ принятаго никакихъ заключеній, кромѣ тѣхъ, которыя сами собою неотразимо слѣдуютъ

*

изъ фактовъ и законовъ, отвергать которыхъ нѣтъ никакой логической возможности» [193]).

Неужели въ самомъ дѣлѣ естественныя науки развились на столько, что даютъ возможность «точнаго рѣшенія нравственныхъ вопросовъ?»

Какія же это точныя рѣшенія?

Разъ человѣческая природа только организмъ, все примѣнимое къ животнымъ, относится и къ ней, т. е. вся психологія и мораль.

Обѣ не требуютъ пространныхъ разговоровъ. Явленія нравственнаго и матеріальнаго порядка *качественно* ничѣмъ не отличаются другъ отъ друга. Мало того. Организмы и не органическія вещества находятся въ такомъ же взаимномъ отношеніи. Это только *по количеству* различныя соединенія элементовъ. Дерево и неорганическая кислота двѣ химическія комбинаціи, одна простая, другая сложная, одна, положимъ, 2, другая—200. Человѣческій организмъ «очень многосложная химическая комбинація, находящаяся въ очень многосложномъ химическомъ процессѣ» [194]).

Всѣ эти положенія—исконный символъ вѣры матеріализма. Нѣтъ ни одной философской системы, которая такъ безнадежно не вращалась бы въ заколдованномъ кругу однихъ и тѣхъ же представленій. Съ теченіемъ времени могли измѣняться *формулы* въ зависимости отъ фактовъ и гипотезъ опытныхъ наукъ, но сущность воззрѣнія осталась до конца XIX-го вѣка въ томъ же состояніи, въ какомъ ее завѣщали своимъ ученикамъ древніе матеріалисты—Демокритъ, Лукрецій. Воюя съ метафизикой и произволомъ фантазіи, матеріализмъ всегда являлся одной изъ самыхъ догматическихъ системъ метафизики. Если метафизики своимъ *апріорнымъ* построеніямъ приписывали *фактическую* цѣнность, матеріалисты *факты* возводили на совершенно *фантастическую* высоту и въ *общихъ выводахъ* теряли почву дѣйствительности и руководительство науки съ неменьшимъ ослѣпленіемъ, чѣмъ глубокомысленные скоттусы среднихъ вѣковъ. У метафизиковъ *внутренній опытъ* часто доходитъ до ясновидѣнія, у матеріалистовъ *внѣшняя дѣйствительность* является гипнозомъ не только для научной логики, но и для здраваго смысла.

Какія, напримѣръ, наблюденія дали нашему философу право утверждать *количественную* разницу между кислотой и человѣ-

---

[193]) *Соврем.*, апр., 365.

[194]) Апрѣль, 5.

комъ? Какую тайну онъ разъяснилъ, подмѣнивъ метафизическія термины новыми—комбинація элементовъ, химическій процессъ? Чью пытливость ума онъ успокоилъ, настаивая на законѣ причинности? Не вправѣ ли читатель задать ему рядъ вопросовъ: вы отождествляете фактъ съ причиной, но почему же глава позитивизма, Контъ, призналъ доступнымъ только знаніе послѣдовательности и сосуществованія явленій, а не причинности? Почему даже философъ XVIII вѣка, Юмъ, болѣе близкій къ вашимъ воззрѣніямъ, не рѣшился утверждать необходимость связи между фактами-причинами, т. е. не призналъ *идеи причинности* за данное опытнаго изслѣдованія? И неужели вы желаете уподобиться самому ограниченному изъ положительныхъ пустослововъ Тэну, покончившему съ вопросомъ о причинности легкомысленнымъ сравненіемъ фактовъ съ арміей солдатъ и причины—съ ея генераломъ? Генералъ вѣдь тоже солдатъ, только поважнѣе, слѣдовательно, и причина тоже фактъ... Это было бы не достойно ни вашего ума, ни вашихъ несомнѣнныхъ знаній.

А между тѣмъ, вы дѣйствительно подпадаете подъ насмѣшки даже идеологовъ прошлаго столѣтія. Кондильякъ имѣлъ въ виду философовъ вашего типа, когда смѣялся надъ фанатиками обобщеній. Мы рождаемся среди лабиринта фактовъ, тысячи путей готовы привести насъ къ заблужденію, выходъ найти необычайно трудно, и вотъ философы прибѣгаютъ къ обобщеніямъ, выбираютъ, напримѣръ, два факта, на самомъ дѣлѣ совершенно не сходные другъ съ другомъ и только по внѣшности механически связанные, и воображаютъ, что вышли изъ лабиринта. По мнѣнію, замѣтьте, отнюдь не метафизика,—ничего не можетъ быть смѣшнѣе этого приключенія [195]).

Впрочемъ, зачѣмъ обращаться намъ къ чужимъ критикамъ. Въ русскомъ журналѣ въ сороковыхъ годахъ печатались статьи русскаго, безусловно положительнаго мыслителя и либеральнаго публициста *Письма объ изученіи природы* Герцена Въ нихъ представлена пространная критика матеріализма сравнительно съ идеализмомъ и показано, сколько *вѣры* и *произвола* въ мнимо-достовѣрныхъ положеніяхъ матеріалистовъ. Правда, разсужденія не могутъ похвалиться ясностью и авторъ будто намѣренно старался явиться глубокомысленнѣе при помощи запутанной рѣчи. Но сущность авторскихъ убѣжденій—несомнѣнна. Она вполнѣ выразилась

---

[195]) *Traité des systèmes*, chap. II.

въ сочувственной ссылкѣ на слѣдующія слова одного нѣмецкаго анатома: «Разбирая сложныя явленія нашего духа, можно ихъ свести на простыя понятія или категоріи. Но желаніе эти категоріи вывести изъ чего-либо внѣшняго, было бы столько же безумно, какъ звуками объяснять краски: такъ поступала Локкова школа, хотѣвшая вывести понятія изъ внѣшняго опыта» [195]).

Разсужденія Герцена не оставили никакихъ слѣдовъ въ воспитаніи *новыхъ людей*. Они предпочли съ *энтузіазмомъ* воспринять крайніе выводы Молешотта и Бюхнера и примѣнить ихъ къ рѣшенію труднѣйшихъ вопросовъ человѣческой нравственности.

Трудности этой для Чернышевскаго не существовало съ того момента, когда онъ увѣровалъ въ качественное тождество человѣческаго и животнаго организма. Ему оставалось только наблюденія надъ мозгомъ животныхъ перенести въ человѣческое общество.

Прежде всего, не можетъ быть сомнѣнія, что такъ называемые умственные процессы по существу одинаковы у человѣка и животнаго. Нервная система Ньютона и нервная система курицы отличаются только *размѣрами* процесса; все равно какъ полеты мухи и орла. Самосознаніе такая же безсмыслица, какъ самосеребро: вѣдь бѣднякъ и Ротшильдъ отличаются только количествомъ серебра, у Ротшильда нѣтъ никакого особаго серебра, такъ же и у человѣка нѣтъ другого сознанія, кромѣ свойственнаго собакѣ и курицѣ. Другими словами, это значитъ, человѣкъ не отдаетъ себѣ отчета въ нравственной цѣнности своихъ поступковъ, никогда не бываетъ судьей своихъ чувствъ и дѣйствій, потому что самосознаніе—критика своего *я*.

Вы удивлены: какимъ путемъ можно додуматься до отрицанія столь простого всѣмъ извѣстнаго и доступнаго опыта! Ни у одного ученаго нѣтъ матеріала, чтобы заподозрѣть у собаки способность сознательнаго выбора между разными влеченіями,—выбора, основаннаго на примѣненіи извѣстныхъ общихъ понятій къ отдѣльному случаю. И только въ средніе вѣка могли судить животныхъ и даже предметы за нарушеніе гражданскихъ и нравственныхъ законовъ: по логикѣ матеріализма выходитъ, эти процессы вполнѣ основательны.

И въ самомъ дѣлѣ, нашъ философъ поставленъ въ необходи-

---

[196]) Герценъ. *Сочиненія*. II, 257, 284 etc.

мость создать гармонію между нравственнымъ міромъ животнаго и человѣка. Онъ долженъ, слѣдовательно, унизить человѣка и, возвысить животное. Это онъ совершитъ будто по программѣ. О любви курицы къ цыплятамъ, высиженнымъ ею изъ яицъ другой курицы, онъ будетъ говорить очень трогательно; «она любитъ ихъ потому, что положила въ нихъ часть своего нравственнаго существа—не матеріальнаго существа, нѣтъ: въ нихъ нѣтъ ни частички ея крови,—нѣтъ, въ нихъ она любитъ результаты своей заботливости, своей доброты, своего благоразумія, своей опытности въ куриныхъ дѣлахъ: это отношеніе чисто-нравственное».

О человѣкѣ пойдетъ иной разговоръ. Всѣ его дѣйствія управляются эгоизмомъ. Положимъ, и курица эгоистична, но по поводу, напримѣръ, слезъ матери о смерти ребенка, уже не вспоминается о «чисто-нравственномъ отношеніи», а подчеркивается въ ея причитаніяхъ *я*, *мое*, *у меня*, т.-е. чисто-эгоистическія чувства. Вообще, всюду человѣкъ руководится разсчетомъ, выбираетъ бóльшую пользу или бóльшее удовольствіе. Курица, поэтому, выходитъ выше: у нея нѣтъ способности разсчитывать и выбирать и она подвизается въ добрѣ по влеченію своей благородной природы [197]).

Такова философская система, положенная шестидесятниками въ основу литературныхъ и общественныхъ воззрѣній. Нѣтъ нужды разбирать всѣ ея частности, настаивать, напримѣръ, на совершенно бездоказательномъ отождествленіи движеній нервовъ съ ощущеніями, представленіями и даже идеями. Физіологъ знаетъ, что внѣшнія явленія вызываютъ движеніе нервной системы, но какимъ путемъ въ результатѣ движенія получается идейный процессъ, никакой опытъ ему этого не показываетъ. Настоящій ученый долженъ сознаться, что для него весьма многое остается тайной въ нравственномъ мірѣ человѣка послѣ изученія всевозможныхъ химическихъ процессовъ и онъ не имѣетъ никакого права отъ извѣстныхъ фактовъ анатоміи и физіологіи дѣлать заключеніе о неизвѣстныхъ и даже недоступныхъ *внѣшнему наблюденію* фактахъ психологіи. Чернышевскій, отрицая самосознаніе, забылъ и о самонаблюденіи, о томъ, что психологи называютъ *внутреннимъ опытомъ*, т. е. о важнѣйшемъ источникѣ психологіи, какъ науки.

Очевидно, всякій читатель, вовсе не идеалистъ и не метафизикъ, могъ разсмотрѣть шаткость и искусственность сооруженія

---

[197]) *Соврем.*, май, 30—1, 33, 35.

Чернышевскаго. Оно не выдерживало критики, преимущественно съ его собственной точки зрѣнія, воздвигалось на обобщеніяхъ. отнюдь не оправдываемыхъ «современной наукой» и безпрестанно украшалось аналогіями и другими фигуральными доказательствами вмѣсто научно-обоснованныхъ фактовъ. Разсужденіе *объ Антропологическомъ принципѣ въ философіи* слѣдуетъ признать слабѣйшимъ прозведеніемъ знаменитаго публициста. Ни въ одной его статьѣ мы не найдемъ такой вереницы непродуманныхъ мыслей, произвольныхъ выводовъ, курьезныхъ, даже комическихъ сопоставленій и такого вопіющаго нарушенія основного принципа — положительности и реализма. Чернышевскій оказался авторомъ въ полномъ смыслѣ метафизическаго трактата и уподобился метафизикамъ въ дальнѣйшей политикѣ, вызванной печатными возраженіями на его произведеніе.

Метафизики, по самому существу своего мышленія, *не могутъ* доказывать своихъ идей. Ихъ дѣло категорически наставлять и производить откровенія. Всякая метафизическая система непремѣнно догматъ для вѣрующихъ и романъ для скептиковъ. Такъ искони ведется и никогда, вѣроятно, не кончится. Отсюда—исторически извѣстная нетерпимость и запальчивость метафизиковъ. Они признаютъ только прозелитовъ и невѣрныхъ, и ни одна наука не представляетъ примѣровъ такихъ яростныхъ междоусобицъ. какъ диспуты метафизиковъ.

Ничего другого отъ нихъ нельзя и ждать. Но неизмѣримо высшій и культурный долгъ лежитъ на человѣкѣ, провозглашающемъ себя апостоломъ строгой доказательной науки. Онъ не можетъ декламировать, вопіять, инсинуировать—вообще сражаться оружіемъ прорицателей, владѣющихъ высшими тайнами. Онъ встанетъ за свою истину спокойно, исполненный благородной и величаво-скромной увѣренности въ правотѣ своего дѣла. У него неистощимый запасъ фактовъ и идей, ясныхъ какъ лучи солнца и также губительныхъ для всѣхъ умственныхъ и нравственныхъ микробовъ. И не должно и не можетъ быть отраднѣе и величественнѣе зрѣлища, чѣмъ борьба просвѣщеннаго разума и неотразимо-правдиваго знанія съ полубезотчетными грезами и трусливой схоластической изворотливостью людей—косной мысли и духовной слѣпоты.

Какъ же поступилъ Чернышевскій, вызванный на открытый бой ненавистной метафизикой, «фантастическимъ міросозерцаніемъ»?

Моментъ великаго историческаго и культурнаго смысла! Онъ— единственный во всей литературной дѣятельности Чернышевскаго, показавшій его не въ свѣтѣ, приличествующемъ вождю и учителю. И это зависѣло не отъ недостатка воли и таланта, а отъ самого дѣла, завѣдомо проиграннаго для какого угодно защитника.

XXVIII.

Одинъ только разъ Каткову удалось литературными средствами поставить своихъ враговъ—новыхъ людей—въ двусмысленное положеніе—не то побѣжденныхъ, не то не принявшихъ вызова. И даже не самъ Катковъ создалъ это положеніе, а профессоръ кіевской духовной академіи Юркевичъ. Катковъ только съ большимъ трескомъ и крикомъ воспользовался чужой статьей противъ философіи Чернышевскаго.

Возражать противъ этой философіи рѣшительно не стоило никакихъ усилій ума и знанія. Возраженій не мало можно найти въ самой статьѣ, чѣмъ, впрочемъ, Юркевичъ именно и не воспользовался, а потомъ въ многовѣковой полемикѣ идеалистовъ съ матеріалистами. Даже Катковъ, читавшій въ московскомъ университетѣ весьма посредственныя лекціи по исторіи философіи, могъ бы удачнѣе возражать философу *Современника*: онъ, по крайней мѣрѣ, спасся бы отъ *поколику—потолику* и прочей семинарской философской оснастки [198]). Въ статьѣ Юркевича нѣтъ ни одного самостоятельнаго довода, ни одной свѣжей и яркой мысли и *Русскій Вѣстникъ* въ компаніи съ *Отечественными Записками* только въ порывѣ полемическаго задора могли придти въ восторгъ отъ учености и даже талантливости профессора. Чернышевскій имѣлъ основаніе съ легкимъ духомъ относиться къ самому Юркевичу, но у него не было ни литературнаго, ни нравственнаго права пренебрегать тѣми возраженіями и запросами, какіе—устами заурядного автора—обращали къ нему логика, наука и общечеловѣческій здравый смыслъ. Юркевичъ ни единаго слова не говорилъ отъ себя, хотя ни на кого и не ссылался; Чернышевскій, дѣйствительно, во всей статьѣ, съ первой строчки до послѣдней встрѣчалъ все мысли давно ему знакомыя и, можетъ быть, даже полнѣе, чѣмъ Юркевичу. Но значеніе компиляціи кіевскаго профессора въ томъ и заключалось, что она представляла не личныя

---

[198]) Статья Юркевича перепечатана въ *Русск. Вѣст.*, апрѣль и май 1861 года.

воззрѣнія какого-нибудь метафизика и схоластика или наивнаго школьнаго идеалиста, а повторяла исконную и пока неопровержимую критику истинно-положительныхъ умовъ противъ матеріализма. Если бы Катковъ и Дудышкинъ обладали серьезными познаніями въ области новой философіи, они могли бы двинуть противъ Чернышевскаго неизмѣримо болѣе внушительную армію фактовъ и авторитетовъ, чѣмъ критика Юркевича. И Чернышевскій не могъ этого не знать; онъ, по обширности и основательности научныхъ свѣдѣній годившійся въ учителя всей редакціи *Русскаго Вѣстника*. Достало бы у него и полемическаго, и литературнаго таланта, чтобы положить на мѣстѣ и Юркевича, и Каткова, перепечатывавшаго его статьи съ восторженными примѣчаніями.

И все-таки у современной безпристрастной публики должно было остаться впечатлѣніе, весьма невыгодное для Чернышевскаго. Впечатлѣніе это переживаетъ и современный читатель.

Въ самомъ дѣлѣ, допустима-ли въ основныхъ вопросахъ цѣлаго направленія слѣдующая тактика?

Статья Юркевича появляется въ *Трудахъ кіевской духовной академіи: Современникъ* пренебрегаетъ. Статью перепечатываетъ *Русскій Вѣстникъ*. *Отечественныя Записки* спѣшатъ воспользоваться случаемъ,—вся большая публика, слѣдовательно, призывается въ судьи вопроса. Молчать невозможно уже послѣ усердія Каткова, петербургскій журналъ требовалъ еще болѣе рѣшительнаго отвѣта.

И Чернышевскій отвѣчалъ своимъ противникамъ, не Юркевичу собственно, а его популярнымъ покровителямъ, т. е. поступилъ съ самаго начала въ совершенный ущербъ дѣлу.

Нелитературная брань Каткова, его чрезвычайно крѣпкія слова, которыя могли бы сдѣлать честь самой національной московской площади,—все это говорило за себя и не стоило соревнованія. Не стоило уже потому, что *Русскій Вѣстникъ* былъ явно одержимъ сильными чувствами и вовсе не вдохновлялся ни наукой, ни истиной. Юркевичъ не обнаруживалъ недуга и скромно выполнялъ роль пересказывателя выученныхъ и прочитанныхъ философскихъ идей. Съ нимъ можно было говорить, не утрачивая человѣческаго достоинства и не прибѣгая къ боксу и кулаку.

Вмѣсто разговора Чернышевскій вдругъ заявляетъ, что вся статья Юркевича не заслуживаетъ ни малѣйшаго вниманія. Она ничто иное, какъ одна изъ «задачъ», г. е. школьныхъ семинар-

кихъ диссертацій. Такія задачи онъ, Чернышевскій, выполнялъ ъ саратовской семинаріи и, не читая статьи Юркевича, знаетъ, то въ ней написано. Онъ даже и не прочтетъ ея, а познакомится олько въ корректурѣ съ отрывкомъ, какой онъ перепечатаетъ ъ *Современникѣ*, т. е. съ третьей частью статьи. Больше, по акону, перепечатать нельзя, но зато законъ будетъ выполненъ ъ точностью: треть статьи придется на *половинѣ слова*, она и будетъ перепечатана безъ окончанія.

И больше ничего. Въ перепечатанномъ отрывкѣ, между прочимъ, заключается указаніе на грубое отождествленіе нервныхъ движеній съ ощущеніями, т. е. сліяніе въ одно двухъ явленій, только необходимо связанныхъ другъ съ другомъ. Эта улика безусловно требовала объясненій. Чернышевскій ихъ не даетъ и настаиваетъ, что Юркевичъ нѣчто въ родѣ алхимика и кабалиста и, слѣдовательно, его возраженія «смѣшны и пусты» и даже будто бы онъ «натуралистовъ» считаетъ «пропащимъ народомъ». Изъ статьи Юркевича послѣдняго вывода никакъ нельзя сдѣлать. Явно публицистъ *Современника* чувствуетъ себя въ не совсѣмъ выгодной позиціи. Это ясно изъ его весьма нетвердой и подчасъ даже неожиданной тактики.

Катковъ и *Отечественныя Записки* обзываютъ его невѣждой; онъ припоминаетъ, что и Гегеля называли невѣждою и что вообще «люди рутины упрекаютъ въ невѣжествѣ всякаго нововводителя, за то, что онъ нововводитель» [199]).

Это поменьшей мѣрѣ неубѣдительно и даже не лишено наивности. Еще хуже другое возраженіе.

Отечественныя Записки напомнили Чернышевскому, что баронъ Брамбеусъ также отвѣчалъ шуточками и пренебреженіемъ на критику Бѣлинскаго. Чернышевскій принимаетъ сравненіе и отвѣчаетъ журналу, разсчитывавшему оскорбить его сопоставленіемъ съ Сенковскимъ: «Почему же Сенковскій любилъ отшучиваться? Потому, что былъ человѣкъ очень сильнаго ума, находившій, что при своемъ умѣ имѣетъ право презирать противниковъ».

И даже Бѣлинскаго?—спросите вы у того самого публициста, кто являлся неизмѣнно восторженнымъ почитателемъ критика. Какъ же такая фраза могла попасть подъ его перо? Только въ состояніи полной безвыходности можно заговориться до такой степени или ужъ питать къ своимъ противникамъ нестерпимое

---

199) *Полемическія красоты*. Коллекція вторая. *Соврем*. 1861. VII

презрѣніе, даже не удостоивать ихъ болѣе или менѣе серьезной бесѣды и издѣваться надъ ними, принимая съ удовольствіемъ уподобленіе своей личности барону Брамбеусу? По тону рѣчи этого нельзя заключить и тогда бы пріемъ публициста оказался бы еще недостойнѣе поднятыхъ имъ самимъ принципіальныхъ вопросовъ.

Очевидно, сраженіе за философію матеріализма кончалось не къ славѣ *новыхъ людей*. Исходъ не заставилъ ихъ одуматься. У Чернышевскаго нашлись послѣдователи съ самой искренней непосредственной вѣрой. Написанный впослѣдствіи романъ *Что дѣлать?* воспроизводилъ *Антропологическій принципъ* въ еще болѣе рѣзкихъ формулахъ, чѣмъ въ статьѣ. Теоріи эгоизма посвящена длинная бесѣда Лопухова и Вѣры Павловны. Героиня, какъ женщина, пугается холодности и безпощадности теоріи, но Лопуховъ сравниваетъ свою философію съ ланцетомъ: онъ не долженъ гнуться, иначе плохо придется паціенту...

Жаль только, герой не объясняетъ, отъ какой именно болѣзни лѣчитъ его теорія исключительно матеріальныхъ побужденій во всѣхъ человѣческихъ дѣйствіяхъ? Выражаться Лопуховъ можетъ очень сильно, особенно, по части сравненій: напримѣръ, «жертва— сапоги въ смятку», но ни научность, ни логичность проповѣдуемой теоріи отъ этой силы не возвышаются; совершенно напротивъ [200].

Въ результатѣ, самые пріемы полемики Чернышевскаго засвидѣтельствовали несостоятельность его философской системы, и именно потому, что она при всѣхъ протязаніяхъ на доказательность явилась только новой формой метафизики и догматизма. Стремленіе создать всеобъемлющее міросозерцаніе на фактахъ химіи и физіологіи—романтическая мечта, самый слабый пунктъ въ идейномъ творчествѣ шестидесятыхъ годовъ. Она принесла безчисленныя бѣдствія новымъ людямъ и ихъ дѣлу. Она заранѣе подорвала кредитъ у другихъ положительныхъ идей эпохи, наложила незаслуженно широкую окраску легкомыслія и умственной незрѣлости на всю работу молодого поколѣнія, дала въ руки Катковымъ благодарнѣйшее оружіе въ борьбѣ съ дѣятелями великихъ талантовъ и добросовѣстнаго труда.

Провозглашеніе матеріализма философской религіей нанесло непоправимый ударъ именно научности и продуманности публицистики шестидесятниковъ. Кто такъ легко и произвольно обращался съ фактами и такъ стремительно и самоувѣренно на нѣ-

---

[200]) *Что дѣлать*. VIII, XIX. *Современникъ*. 1863, мартъ.

кольких разбросанных камнях воздвигалъ міровое и вѣчное зданіе, тотъ самъ себѣ отрѣзывалъ пути къ глубокимъ и прочнымъ вліяніямъ на общество. Отвагой и неограниченной широтой воззрѣній онъ могъ увлечь нѣсколькихъ молодыхъ талантливыхъ людей, могъ очаровать даже цѣлое поколѣніе непосредственно послѣ гнетущей тьмы и неволи, но упрочить свой *философскій* авторитетъ на будущее у него не было силъ. Мы подчеркиваемъ *философскій* и настаиваемъ на рѣзкомъ разграниченіи матеріалистической метафизики шестидесятыхъ годовъ отъ другихъ идейныхъ стремленій молодого поколѣнія.

Источникъ и метафизики, и стремленій одинъ и тотъ же: воззваніе къ природѣ, къ фактамъ, къ естественности. Но метафизика—незаконное дѣтище плодотворныхъ принциповъ, не логическое и не научное. Между нею и ея источникомъ громадная пропасть. Ее можно было перепрыгнуть только въ азартѣ страстнаго увлеченія новымъ фантастическимъ міросозерцаніемъ подъ вліяніемъ ненависти къ старому противоположному, но не болѣе фактастическому. Прыжокъ искупленъ дорогой цѣной, и только исторія вполнѣ хладнокровно и справедливо съумѣетъ отличать роковое заблужденіе отъ многочисленныхъ жизненныхъ сѣмянъ, брошенныхъ шестидесятниками на ниву русскаго общественнаго развитія.

Тотъ же Чернышевскій, авторъ злополучнаго трактата, явился истиннымъ продолжателемъ просвѣтительной работы Бѣлинскаго, самымъ вѣрнымъ и послѣдовательнымъ изъ всего своего поколѣнія.

XXIX.

Философская статья Чернышевскаго не даетъ и приблизительнаго представленія о разносторонности и глубинѣ научнаго образованія Чернышевскаго. Только оно и могло спасти въ немъ сильнаго и грознаго противника даже послѣ печальной исторіи съ *Антропологическимъ принципомъ*.

Одаренный блестящими способностями, Чернышевскій еще дома успѣлъ превратиться въ ученаго, подъ руководствомъ отца, саратовскаго протоіерея, и собственной пламенной охоты къ чтенію [201]). Въ семинаріи онъ пробылъ два съ половиной года, прошелъ реторику и философію, далеко оставляя за собой товарищей, пора-

[201]) Свѣдѣнія о жизни Николая Гавриловича Чернышевскаго. *Русск. Ст.* 1890, томъ 66, стр. 449; томъ 67, стр. 531; *Русскій Архивъ.* 1890. I, стр. 553.

зительно начитанный, знающій древніе и новые языки, даже арабскій и татарскій, и особенно отличаясь въ сочиненіяхъ по литературѣ «Свѣтило», «профессоръ академіи», иначе не цѣнили преподаватели семинаріи своего питомца. Эпитеты товарищей не менѣе любопытны: «красная дѣвушка», «дворянчикъ». Они характеризовали чрезвычайную застѣнчивость молодого ученаго. Онъ первый не рѣшался ни съ кѣмъ заговорить, не выпускалъ изъ рукъ книги, всегда былъ готовъ помочь другимъ своими знаніями, но съ трудомъ завязывалъ дружбу и не принималъ участія въ товарищескихъ шалостяхъ. Такимъ же скромнымъ Чернышевскій оставался всю жизнь, избѣгая общества, развлеченій и отдавая всѣ свои силы умственному труду.

Въ романѣ *Что дѣлать?* одно изъ немногочисленныхъ лирическихъ отступленій посвящено идеѣ развитія. Авторъ, рисуя отдаленныя перспективы всеобщаго счастья, обращается къ своимъ читателямъ:

«Поднимайтесь изъ вашей трущобы, поднимайтесь, это не такъ трудно, выходите на вольный бѣлый свѣтъ, славно жить на немъ и путь легокъ и заманчивъ, попробуйте: развитіе, развитіе. Наблюдайте, думайте, читайте тѣхъ, которые говорятъ вамъ о чистомъ наслажденіи жизнью, о томъ, что человѣку можно быть добрымъ и счастливымъ. Читайте ихъ—ихъ книги радуютъ сердце, наблюдайте жизнь—наблюдать ее интересно, думайте—думать завлекательно. Только и всего. Жертвъ не требуется, лишеній не спрашивается—ихъ не нужно. Желайте быть счастливыми—только, только это желаніе нужно. Для этого вы будете съ наслажденіемъ заботиться о своемъ развитіи: въ немъ счастье. О, сколько наслажденій развитому человѣку! Даже то, что другой чувствуетъ какъ жертву, горе, онъ чувствуетъ, какъ удовлетвореніе себѣ, какъ наслажденіе, а для радостей какъ открыто его сердце и какъ много ихъ у него! Попробуйте:—хорошо» [202])!

Это личная исповѣдь автора. Чернышевскій другого наслажденія, кромѣ *развитія*, не зналъ всю жизнь. Ту же идею усвоятъ и другіе новые люди. Они будутъ неустанно повторять: развитіе—такая же естественная потребность человѣка, какъ пища и питье. Сущность человѣческой природы трудно опредѣлить кратко и точно, но одно несомнѣнно—ея способность къ развитію. Это основа и первоисточникъ всей нравственной жизни [203]).

---

[202]) *Что дѣлать?* XXX, *Соврем.* 1863, апрѣль, стр. 526.

[203]) Добролюбовъ. Сочиненія, III, стр. 346.

И Чернышевскій работалъ неустанно, не взирая ни на какія внѣшнія условія, работалъ дома, въ семинаріи, въ университетѣ, въ ссылкѣ, въ Вилюйскѣ, въ Астрахани и, наконецъ, въ томъ же Саратовѣ, и умеръ, окруженный работой, не мѣняя своей замкнутой жизни, до послѣдней минуты не утрачивая вѣры въ плодотворность развитія и полагая всѣ свои силы на помощь ему въ своемъ отечествѣ.

Какой умственный капиталъ могъ собрать подобный работникъ! И Чернышевскій собралъ. Есть извѣстіе, будто бы еще студентомъ петербургскаго университета увлекся матеріалистическими идеями и собирался «мѣрить и вѣсить мозги» [204]). Это не существенно. Гораздо важнѣе—изумительная энциклопедическая ученость, обнаруженная Чернышевскимъ въ первыхъ же литературныхъ статьяхъ и чисто-религіозная вѣра въ человѣка и силу добра и разума.

По окончаніи историко-филологическаго факультета въ 1850 году Чернышевскій былъ оставленъ при университетѣ, но по просьбѣ матери переѣхалъ въ слѣдующемъ году въ Саратовъ и сталъ учителемъ мѣстной гимназіи. Товарищи оказались людьми допотопной формаціи, въ саратовскомъ обществѣ нашлось всего два-три интеллигентныхъ живыхъ человѣка. Единственнымъ утѣшеніемъ оставались книги да еще пристальное человѣческое руководительство умственной работой учениковъ. Послѣ женитьбы и по смерти матери, событій почти одновременныхъ, Чернышевскій переселился въ С.-Петербургъ, пробылъ недолго учителемъ кадетскаго корпуса, и навсегда покончилъ съ педагогической дѣятельностью.

Но учительскій опытъ долженъ былъ принести большую пользу писателю, поставившему себѣ цѣлью развитіе *новыхъ людей*. Онъ воочію могъ видѣть, кого, чему и какъ предстояло учить. Психологія молодежи—важнѣйшая наука, завоеванная Чернышевскимъ, и настоятельнѣйшая именно для публициста шестидесятыхъ годовъ. Чтобы подойдти къ этой психологіи и овладѣть ею, Чернышевскому не стоило никакихъ усилій. Онъ самъ былъ юношей по непоколебимому оптимизму и неисчерпаемой энергіи своей натуры. Онъ усвоилъ себѣ и настоящую философію молодости, вѣру

---

204) *Р. Архивъ*. 1890. I, 559. Эти воспоминанія (Ив. Палимсестова) вызвали энергическія возраженія (Ф. Духовникова). *Р. Стар*. 1890, т. 67. Они, несомнѣнно, внушены извѣстной «благонамѣренной» тенденціей и многія, можетъ быть, и достовѣрныя данныя стараются окрасить въ наиболѣе яркій цвѣтъ.

въ естественную правду, въ прекрасную сущность природы, въ величіе науки. Эта вѣра, мы знаемъ, подсказала ему матеріалистическую страсть, но она же внушила ему и его послѣдователямъ, столь же юнымъ и сильнымъ, рядъ дѣйствительно вдохновляющихъ и жизненныхъ идей.

Мы попадаемъ будто въ раннюю весеннюю атмосферу XVIII-го вѣка, преисполненную свѣтлыхъ надеждъ и героической любви къ человѣку, къ текущему періоду его исторіи и еще болѣе блестящему будущему.

На русскую жизнь только что повѣяло еще слабое дыханіе тепла, еще только 1856 годъ, а нашъ писатель уже говоритъ о «нашемъ благородномъ времени, благородномъ и прекрасномъ, не смотря на всѣ остатки ветхой грязи... Оно всѣ силы свои напрягаетъ, чтобы омыться и очиститься отъ послѣднихъ грѣховъ. Правда, есть и тѣни, но онѣ—результаты злосчастныхъ обстоятельствъ, внѣшнихъ давленій. Въ дѣйствительности «огромное большинство людей всегда имѣетъ наклонность къ доброжелательству и правдѣ». Даже мошенники-купцы у Островскаго исключенія: «огромное большинство нашихъ купцовъ» обладаютъ всѣми добрыми качествами, какія свойственны русскому народу [205]).

Вы, пожалуй, усмотрите противорѣчіе въ этихъ похвалахъ и въ провозглашеніи эгоизма, какъ единственной управляющей силы въ природѣ. Противорѣчія нѣтъ. Природа сама по себѣ «благое божество», и все *естественное*, все что натура—все то благо. Эгоизмъ также. Это ясно. Послушайте перваго ученика нашего учителя. Всякій, кто заботится о своемъ развитіи, не выноситъ стѣсненій. Съ этимъ «естественнымъ требованіемъ» сливается «естественное сознаніе», что и ему—человѣку—не надо посягать на права другихъ и вредить чужой дѣятельности. Такимъ путемъ эгоизмъ для себя становится «гуманными чувствами» для другихъ.

И Добролюбовъ этотъ культъ естественнаго, натуры и непосредственности внесетъ въ свое толкованіе литературныхъ явленій. Катерина Островскаго будетъ превознесена надъ всѣмъ русскимъ обществомъ шестидесятыхъ годовъ ради дѣйствующей въ ней *натуры*. Рѣчь восхищеннаго критика безпрестанно будетъ напоминать гимны Руссо во славу «естественнаго человѣка» и его проклятія извращенной цивилизаціи. Да, почти буквально. Мы услышимъ о «тощихъ и чахлыхъ выродкахъ неудавшейся цивили-

---

[205]) *Критич. статьи*, 288, 331, 333,

заціи», насмѣшливое заключеніе на счетъ «азарта высокихъ ораторовъ правды въ пользу идеи» и вообще «отвлеченныхъ вѣрованій, образа мыслей, принциповъ», и намъ постараются явить во всемъ блескѣ «влеченіе натуры безъ отчетливаго сознанія», «силу естественныхъ стремленій», «жизненную необходимость натуры», «глубину организма»... [206]).

Мы увидимъ впослѣдствіи, въ какую смуту противорѣчій завлекла нашего психолога религія натуры, но въ ней есть и безусловно здоровое зерно. Оно открыто еще Чернышевскимъ и усвоено всѣми публицистами шестидесятыхъ годовъ, за исключеніемъ Писарева.

Гдѣ природа, какъ нравственный принципъ, тамъ непремѣнно является народъ, какъ политическая сила. Такъ было у философовъ прошлаго вѣка, тоже съ точностью повторилось у насъ. Шестидесятники—демократы и народники не по чувствительности сердца, а по принципамъ философіи и нравственности. Народъ стоитъ ближе къ природѣ и дѣйствительности, его свѣдѣнія глубже, мысль яснѣе, чѣмъ у высшихъ классовъ и даже у людей ученыхъ, онъ можетъ сообщить имъ много новаго и имъ недоступнаго. Прогрессъ заключается въ гражданскомъ развитіи народа, въ его борьбѣ съ людьми исключительнаго политическаго положенія. И Чернышевскій, напишетъ цѣлый рядъ статей по новѣйшей исторіи Франціи для доказательства этой мысли.

Мы видѣли, какая оторопь охватила просвѣщенныхъ историковъ благороднѣйшаго образа мыслей, вродѣ Грановскаго, предъ поступательнымъ движеніемъ демократіи. Шестидесятники поймутъ смыслъ явленія, и первый Чернышевскій представитъ въ должномъ свѣтѣ буржуазный либерализмъ, раскроетъ мертвую эгоистическую политику Гизо и доктринеровъ и объяснитъ русскимъ читателямъ, въ какія горькія заблужденія вводитъ людей наивныхъ «превздорное слово—либерализмъ».

Выяснить истинный смыслъ программы и дѣятельности французскихъ либераловъ и разсѣять ореолъ свободы и прогресса, окружающій ихъ въ глазахъ громаднаго большинства зрителей, было бы немалой заслугой публициста даже гораздо позднѣйшаго времени, не только въ шестидесятыхъ годахъ.

Чернышевскій не открывалъ ни новыхъ фактовъ, ни новыхъ истинъ. Онъ въ общихъ чертахъ повторялъ старую критику

---

[206]) Добролюбовъ, III, 346, 440, 497, 505 etc.

сенъ-симонистовъ противъ политическаго либеразма, доказывалъ вслѣдъ за ними, какъ естественно конституціонныя права обращаются въ привилегіи высшихъ классовъ и какъ трудно осуществлять политическую свободу низшимъ при экономической зависимости.

Но это не значитъ, будто эти права и не стоитъ давать народу раньше экономическаго освобожденія. Вовсе нѣтъ. Демократія, являясь на сцену политическимъ дѣятелемъ, обнаруживаетъ свои недостатки—невѣжество, зависимость и, слѣдовательно, ставитъ рѣшительный вопросъ о своемъ ближайшемъ будущемъ. Когда поселяне начали пользоваться правомъ голоса, всѣмъ стало ясно, что лежало въ основѣ злополучныхъ событій французской исторіи. Болѣзнь была тайная и безъ вѣдома политиковъ изнуряла организмъ. Теперь честные люди поймутъ, что необходимо тщательно заняться воспитаніемъ народа, иначе всѣ либеральныя усилія останутся безплодными.

Чернышевскій даже готовъ отрицать всѣ заслуги за либералами и смѣяться надъ ихъ заботой о свободѣ печати, о свободѣ выборовъ, о національной гвардіи [207]).

Это опять увлеченіе, а, можетъ быть, и не достаточно полное знакомство съ исторіей либеральной партіи. Относительно, напримѣръ, свободы печати она менѣе всего заслуживаетъ насмѣшекъ. Одинъ изъ даровитѣйшихъ вождей либерализма Бенжамэнъ Констанъ правовѣрный либералъ и горячій защитникъ ценза, всѣми силами своего краснорѣчія отстаивалъ свободу печатнаго слова и одинъ изъ главныхъ его аргументовъ—право печати контролировать отношенія труда и капитала и служить органомъ эксплуатируемаго пролетаріата. И самъ Чернышевскій понималъ, что свобода печати. при нынѣшнемъ состояніи западно-европейскихъ обществъ, становится обыкновенно средствомъ для демократической пропаганды. Что Гизо ополчался на свободу слова и въ то же время числился либераломъ, нисколько не опровергаетъ факта.

А потомъ либералы вовсе не смѣшны въ своей борьбѣ съ бурбонской реставраціей. Нельзя одинаково судить о нихъ, и въ то время, когда они представляли оппозицію и когда явились правительственной партіей. Классовый эгоизмъ и даже сочувствіе реакціи развились послѣ побѣды, а до нея либеральные буржуа все-

---

[207]) *Соврем.* 1860, апрѣль, 345. *Борьба партій во Франціи при Людовикѣ XVIII и Карлѣ X*, августъ и сентябрь 1858 года. *Іюльская монархія.* 1860, январь, 265—6. *Кавеньякъ.* Январь и мартъ, 1858.

таки стоятъ выше и дѣйствуютъ благороднѣе, чѣмъ феодальные сеньоры.

Но это второстепенныя частности, въ главномъ Чернышевскій представилъ исторически-вѣрную картину отношеній либерализма къ соціальнымъ вопросамъ и буржуазіи къ демократіи. Выводъ получился совершенно опредѣленный: воспитаніе народа—первѣйшая необходимость культурнаго общества.

Это—основной догматъ шестидесятниковъ, и онъ первоисточникъ ихъ литературныхъ воззрѣній.

Всякій человѣкъ прежде всего гражданинъ, а потомъ спеціалистъ какого-либо дѣла, поэтъ, публицистъ, ученый, философъ. А быть гражданиномъ въ наше время, значитъ содѣйствовать благосостоянію гражданъ, а не сословія и класса, т. е. быть демократомъ. Каждый долженъ быть *полезенъ* умственному развитію и матеріальному прогрессу народа. Эта мысль высказана Чернышевскимъ въ одной изъ самыхъ раннихъ его статей, еще въ *Отечественныхъ Запискахъ* и неуклонно развивалась во всей его критикѣ. Обширная монографія о Лессингѣ переполнена намеками на положеніе русской литературы, будто авторъ даже нарочно съ этой цѣлью взялъ свою тему. И здѣсь именно онъ многократно настаиваетъ на неразрывной связи писателя съ народомъ.

Устами поэтовъ и литераторовъ высказываются надежды и требованія народа. «Языкъ данъ человѣку не для стихотворнаго или педантическаго пустословія: писатель долженъ быть органомъ желаній своего народа, его руководителемъ и защитникомъ» [209]).

Чернышевскій указываетъ и путь сближенія литературы съ народомъ. Его указанія — развитіе мыслей Бѣлинскаго о психологіи русскаго мужика. Настаивая на интеллигентной и просвѣщенной народной литературѣ, Бѣлинскій требовалъ простоты отношеній къ народу, безпощадно издѣвался надъ славянофильскими прибауточными и искусственно-идиллическими издѣліями, надъ барскимъ ухаживаніемъ за мужичкомъ, надъ младенческой идеализаціей его быта и натуры. Мужикъ такой же человѣкъ, какъ и всѣ нормальные люди: у него много природнаго ума, много разумнаго чутья и онъ отлично понимаетъ всякую фальшь и поддѣлку [210]).

---

[208]) *О поэзіи*, сочин. Аристотеля, переводъ Ордынскаго. *Отеч. Записки* 1854, IX.

[209]) *Лессингъ, его время, его жизнь и дѣятельность. Эстетика и поэзія* Спб. 1893, стр. 292, 307.

[210]) *Сочиненія*. VI, 421. IX, 164.

Чернышевскій столь же энергично возстаетъ противъ «прѣсной лживости, усиливающейся идеализировать мужиковъ». У мужика такая же человѣческая природа, какъ и у людей всякаго другого сословія. Его добродѣтели и пороки вполнѣ соотвѣтствуютъ нравственнымъ качествамъ просвѣщенныхъ господъ, и совершенная безсмыслица подводить мужиковъ подъ одинъ типъ, какъ нѣкіихъ дикарей [211]).

А достигнуть этой цѣли—значитъ основательно изучить дѣйствительность, познакомиться съ реальными фактами. Поэтъ долженъ много *знать* и поэзія должна стоять наравнѣ съ *наукой*, по своей *полезности*. Умственная дѣятельность, слѣдовательно, не менѣе важна, чѣмъ талантъ, даже болѣе. Это доказывается и литературой, и повседневной жизнью.

Наблюдая факты, Чернышевскій дошелъ до слѣдующаго убѣжденія:

«Я почти никогда не нахожу нужды приписывать какому-нибудь дурному намѣренію человѣка поступокъ, который считаю за нехорошій. Я прежде всего смотрю на умъ человѣка; и если онъ поступилъ дурно, то почти всегда нахожу я достаточное объясненіе тому, просто въ недостаткѣ силы соображенія у этого человѣка» [212]).

Другими словами, въ недостаткѣ развитія, не учености, а природнаго ума, воспитаннаго непосредственными столкновеніями съ дѣйствительностью. Для шестидесятника это существенная разница: *самобытный* умъ и мудрость, почерпнутая изъ книги, заимствованная у чужого авторитета и не провѣренная личной работой. Рахметовъ не желаетъ даже и въ руки брать *не-самобытной* книги, насколько онъ строгъ по этой части, показываетъ его безнадежный приговоръ надъ Маколеемъ, Ранке, Гервинусомъ, о Тьерѣ и Гизо нечего и толковать. Все это—«лоскутья». И ему достаточно четверти часа, взглянуть на разныя страницы, чтобы рѣшить вопросъ. Для самого Чернышевскаго требуется иногда всего «двѣ строки», чтобы бросить книгу, не читая [213]).

Такъ велика ненависть этихъ людей къ компиляторамъ и рабамъ чужой мысли! Добролюбовъ безпрестанно будетъ убѣждать своихъ читателей «сохранить личную самостоятельность противъ всякаго авторитета, свою внутреннюю нравственность противъ всякихъ внѣшнихъ внушеній» и никогда ни предъ кѣмъ и предъ

---

211) *Критич. статьи*, 367, 382.

212) *Полемич. красоты*. Коллекція вторая.

213) *Соврем*. 1863. апрѣль, 485, 493. *Антроп. принц*. 1860, апр., 325—9.

чѣмъ не отрекаться отъ своей воли и ума. «Всякій, кто поступаетъ противъ внутренняго своего убѣжденія, поступаетъ безчестно и подло, всякій, потерявшій силу свободнаго самостоятельнаго дѣйствія, есть жалкая дрянь и тряпка, и только напрасно позоритъ свое существованіе» [214]).

Это чрезвычайно сильно и въ міросозерцаніи шестидесятниковъ вполнѣ естественно. Если природа человѣка и его самобытность основа его нравственной свободы и умственнаго развитія, очевидно, рабство и всевозможные духовные и практическіе недуги являются извнѣ, подъ вліяніемъ *среды*. Отсюда, неуклонная настойчивость шестидесятниковъ въ вопросѣ о вліяніяхъ и обстоятельствахъ. Имъ не надо было непремѣнно проникаться идеями Бокля о могуществѣ природы и вообще внѣшняго міра надъ психологіей и исторіей человѣка. То же убѣжденіе логически вытекаетъ изъ извѣстнаго представленія о *натурѣ*. Руссо историческаго человѣка сравнивалъ съ прекраснымъ античнымъ произведеніемъ, покрытымъ грязью, пылью и иломъ. Такова же сущность и философіи шестидесятниковъ.

Эта философія, мы видѣли и увидимъ дальше, вовлекала нашихъ публицистовъ въ безвыходныя противорѣчія, но она вознесла на небывалую высоту принципъ личной оригинальности и естественной самобытности. Никто ожесточеннѣе шестидесятниковъ не преслѣдовалъ всякаго рода схоластику, профессіональную узость и нетерпимость мысли, исконное невѣжество, самообольщеніе и надутую притязательность цеховыхъ спеціалистовъ.

«Не мѣшаетъ иной разъ умному человѣку взглянуть на дѣло подобно намъ, свистунамъ, то-есть, безъ самоуничиженія передъ вздоромъ» [215]).

Такъ писалъ Чернышевскій по поводу необузданныхъ домысловъ филологовъ-фанатиковъ, и сколько разъ «свистуны» были какъ нельзя болѣе на мѣстѣ въ борьбѣ съ безсмысленнымъ жреческимъ священнодѣйствіемъ и тупоумной притязательностью подвижниковъ заугольной учености! Сколько разъ блестящее умное и простое слово публициста нахлобучивало колпакъ на мѣдное чело книгоѣда, разоблачая тунеядство и шарлатанство его величественныхъ аллюръ! И какъ еще много пройдетъ времени, раньше чѣмъ это искусство «свистуновъ» станетъ излишнимъ въ дѣлѣ общественнаго развитія и народнаго просвѣщенія!

---

[214]) *Сочиненія.* III, 248, II, 51, 346 etc.

[215]) *Полемич. красоты.* Коллекція вторая.

Несомнѣнно, и здѣсь свистуны могли впадать и дѣйствительно впадали въ крайности и, напримѣръ, въ лицѣ Писарева брались толковать о предметахъ невѣдомыхъ и во всякомъ случаѣ основательно не изученныхъ. Мы увидимъ, свистуны не медленно и платились за свое геройство. Но Чернышевскій, съ его дѣйствительной ученостью и самобытнымъ умомъ, устроилъ не мало цѣлительныхъ для публики душей холодной воды надъ головами дипломированныхъ ученыхъ. То же самое можно сказать о Добролюбовѣ, и самый принципъ независимости здраваго смысла и жизненнаго умственнаго развитія предъ самой внушительной книжной ученостью долженъ остаться прочнымъ достояніемъ русскаго общества и всякаго молодого умственнаго дѣятеля.

Мы видимъ, въ какой неразрывной логической связи слѣдовали руководящіе принципы публицистики шестидесятыхъ годовъ. На противоположныхъ концахъ этой цѣпи стоятъ идеи—на одномъ природа и естественное развитіе, на другомъ—писатель-гражданинъ и руководитель общества. И мы снова повторяемъ, эта цѣль и эти звѣнья—основныя культурныя явленія всѣхъ преобразовательныхъ эпохъ. Стоическія опредѣленія философа [216])—paedagogus generis humani, artifex vitae,—*воспитатель человѣческаго рода, устроитель жизни*—соотвѣтствуютъ излюбленному вольтеровскому сравненію писателя-энциклопедиста съ *апостоломъ*. Мы знаемъ, первоучитель шестидесятниковъ выразилъ сущность того же воззрѣнія, основалъ на немъ свое эстетическое ученіе, т. е. всю критику шестидесятыхъ годовъ.

XXX.

Въ «Современникѣ» въ 1864 году было объявлено: «Возрожденіе нашей литературы началось, какъ извѣстно, съ 1855 г.» [217]). Въ этомъ году Чернышевскій сталъ сотрудникомъ *Современника*, одновременно выпустилъ диссертацію: *Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности* и превратился въ перваго критика журнала. Но уже въ слѣдующемъ году въ журналѣ появляется Добролюбовъ, къ нему постепенно переходитъ литературная критика, Чернышевскій пишетъ или чисто-публицистическія статьи, или ограничивается историческими и политико-экономическими работами. Такимъ образомъ, главнѣйшій вкладъ Чернышевскаго въ

[216]) Seneca. *Epistolae morales*. Lib. XVIII, ep. V; Lib. XIV, ep. I, II.

[217]) Совр. 1884, февр.

критику шестидесятыхъ годовъ—его диссертація и его же статья объ этой диссертаціи, излагавшая и дополнявшая ея положенія [218]). Эта статья гораздо меньше книги, но по содержанію важнѣе ея и для читателя поучительнѣе: авторъ извлекъ изъ книги все существенное и присоединилъ нѣкоторыя поправки и поясненія.

Эстетика Чернышевскаго успѣла выясниться раньше диссертаціи въ *Отечественныхъ Запискахъ*. Въ рецензіи на русскій переводъ аристотелевскаго сочиненія *О поэзіи* Чернышевскій напалъ на идеалистическую эстетику, требующую отъ искусства «идеаловъ» и унижающую «дѣйствительность». Здѣсь же обнаружился и философскій первоисточникъ личныхъ взглядовъ автора,—нападки Платона на искусство. Платонъ обвинялъ его въ бѣдности, слабости, безполезности, ничтожествѣ, и нашъ авторъ находитъ эти обвиненія «во многомъ справедливыми и благородными». Авторъ съ видимымъ удовольствіемъ излагаетъ платоновское дѣленіе искусствъ на производительныя и подражательныя. Одни—земледѣліе, ремесла, медицина—заслуживаютъ полнаго уваженія, другія неизмѣримо ниже ихъ. Они «не даютъ человѣку ничего, кромѣ обманчивыхъ, ни въ какое употребленіе не годныхъ копій съ дѣйствительныхъ предметовъ». Ихъ можно приравнять къ парикмахерскому и поварскому искусству. Они стараются только забавлять. Они служатъ къ пріятному, но безполезному препровожденію времени.

Чернышевскій припоминаетъ, что и Руссо также смотрѣлъ на изящныя искусства и «знаменитый нѣмецкій педагогъ» Кампе говорилъ: «выпрясть фунтъ шерсти полезнѣе, нежели написать томъ стиховъ». Авторъ не сомнѣвается, что «многія» изъ обличеній Платона вполнѣ примѣнимы и къ современному искусству. Онъ убѣжденъ, «искусство для искусства» мысль странная, все равно, какъ «богатство для богатства», «наука для науки». «Всѣ человѣческія дѣла должны служить на пользу человѣку». И онъ безжалостно издѣвается надъ защитниками искусства, будто оно смягчаетъ сердце и облагораживаетъ душу. Правда, изъ картинной галлереи или театра человѣкъ выходитъ добрѣе и лучше, по крайней мѣрѣ на полчаса, пока не разлетѣлось эстетическое довольство. Но вѣдь и послѣ сытнаго обѣда человѣкъ встаетъ снисходительнѣе и добрѣе. Критикъ обличенія Платона дополняетъ чрезвычайно краснорѣчивымъ сравненіемъ: «сидѣнье на завалинѣ

---

[218]) Неподписанная рецензія. *Соврем.* 1855, іюнь, подпись Н. П—а.

(у поселянъ) или вокругъ самовара (у горожанъ) больше развило въ нашемъ народѣ хорошаго расположенія духа и добраго расположенія къ людямъ, нежели всѣ произведенія живописи, начиная съ лубочныхъ картинъ до *Послѣдняго дня Помпеи*.

Это вполнѣ опредѣленно. Искусство должно приносить совершенно осязательную пользу, иначе оно недостойная забава и тунеядство. И критикъ указываетъ, какую именно пользу: поэзія должна распространять въ массѣ читателей свѣдѣнія и понятія, вырабатываемыя наукой, перечеканивать въ ходячую монету тяжелый слитокъ золота, выловленный наукой. *Поэзія—распространительница знаній и образованности*, только на этомъ условіи она можетъ быть одобрена и допущена.

Эти взгляды высказаны въ 1854 году, а годъ спустя появилась диссертація. Ученой степени, по волѣ высшаго начальства, Чернышевскій не получилъ, но сторицей былъ вознагражденъ популярностью книги. Новаго послѣ только что установленныхъ принциповъ она ничего не могла дать и приводила только прежнія отрывочныя замѣчанія въ систему.

Цѣль автора—примѣнить общія воззрѣнія новаго времени къ эстетическимъ вопросамъ. А эти воззрѣнія ничто иное, какъ «апологія дѣйствительности сравнительно съ фантазіею». Въ наукѣ метафизика должна уступить мѣсто опытному знанію, въ искусствѣ дѣйствительность должна устранить все фантастическое. Сущность эстетическаго трактата опредѣляется ясно: «доказать, что произведенія искусства рѣшительно не могутъ выдержать сравненія съ живою дѣйствительностью» [219]). И авторъ подробно объясняетъ, до какой степени безсильна фантазія и, слѣдовательно, искусство создать что-либо прекраснѣе и совершеннѣе дѣйствительныхъ явленій жизни.

«Прекрасное есть жизнь», а не воображаемый идеалъ, какъ думаетъ старая эстетика. Мысль эта, повидимому, противорѣчитъ общественнымъ фактамъ. Люди безпрестанно мечтаютъ о совершенствѣ, объ идеальной красотѣ, желаютъ чего-то болѣе возвышеннаго, чѣмъ существующая дѣйствительность. Эти желанія, разъ онѣ ничѣмъ не удовлетворяются, слѣдуетъ признать болѣзненными, а что̀ касается о̀бразовъ фантазіи, сто̀итъ приглядѣться къ нимъ, и непремѣнно обнаружится, что они нисколько не лучше реальныхъ лицъ. Наконецъ, фантазія и желанія у здороваго че-

---

[219]) *Эст. отнош. искусства къ дѣйств.* Заключеніе.

развиваются только при отсутствіи удовлетворительной дѣйствительности. Напримѣръ, въ сибирскихъ тундрахъ еще можно мечтать о садахъ изъ *Тысячи одной ночи*, но, напримѣръ, въ небогатомъ, но порядочномъ саду въ Курской или Кіевской губерніи эти мечты навѣрное исчезнутъ [220]).

Факты, слѣдовательно, согласны съ выводами современной науки, признающей высокое превосходство дѣйствительности надъ мечтою.

Очевидно, старая теорія «творчества» несостоятельна. Силы творческой фантазіи очень ограниченны. «Она можетъ только комбинировать впечатлѣнія, полученныя изъ опыта; воображеніе только разнообразитъ и экстенсивно увеличиваетъ предметъ, но интенсивнѣе того, что мы наблюдали или испытали, мы ничего не можемъ вообразить. Я могу представить себѣ солнце гораздо больше по величинѣ, нежели каково оно въ дѣйствительности, но ярче того, какъ оно являлось мнѣ въ дѣйствительности, я не могу его вообразить» [221]).

Чернышевскій примѣняетъ это соображеніе къ поэтическому созданію типовъ. Обыкновенно думаютъ, будто поэтъ наблюдаетъ множество отдѣльныхъ личностей, подмѣчаетъ у нихъ рядъ общихъ типическихъ чертъ, отбрасываетъ все частное и соединяетъ въ одно художественно-цѣлое.

Такъ, дѣйствительно, говорятъ не только эстетики, но и сами художники. Напримѣръ, Тургеневъ, признавалъ, что онъ въ своемъ творчествѣ «никогда не отправлялся отъ *идей*, а всегда отъ *образовъ*», а за недостаткомъ *образовъ*, ему приходилось сидѣть сложа руки. Будто бы онъ даже опредѣлялъ количество необходимыхъ для него знакомствъ—для изученія чертъ извѣстнаго характера, именно до пятидесяти. При окончательномъ воспроизведеніи типа писатель непремѣнно нуждался въ «живомъ лицѣ», какъ исходной точкѣ, напримѣръ, рисуя Базарова, онъ представлялъ себѣ личность нѣкоего молодого врача.

Эти признанія не противорѣчатъ разсужденіямъ Чернышевскаго, но и въ томъ и въ другомъ случаѣ отнюдь нельзя сдѣлать логическаго вывода, будто дѣйствительность, въ данномъ случаѣ, реальное лицо, выше художественнаго образа. Безспорно, художникъ не можетъ отрѣшиться отъ впечатлѣній дѣйствитель-

---

[220]) *Ib.* изданіе 1864 года, стр. 6—7, 52. Рецензія. *Соврем.* 1855, VI.

[221]) *Ib.*, стр. 87—8.

ности, иначе онъ рискуетъ впасть въ сочинительство и чудовищность. Но это не значитъ, будто онъ ограничивается точнымъ воспроизведенiемъ «индивидуальныхъ личностей», т. е. «портретами съ живыхъ людей». Тургеневъ, несомнѣнно, протестовалъ бы, если бы читатели его Базарова отождествили съ его знакомымъ врачемъ. Въ Базаровѣ нашлись бы черты, отсутствовавшiя въ личности врача, и художникъ достигъ полной гармонiи, Базаровъ не вышелъ «эклептическимъ существомъ», т. е. уродомъ. составленнымъ изъ частей разныхъ лицъ. Чернышевскiй справедливо смѣется надъ подобнымъ процессомъ, достойнымъ гоголевской героини, но это не тотъ процессъ, какимъ создаются типы. Они—не портреты, романъ не мемуары, бiографiя героя не исторiя. Чернышевскiй именно всѣ эти понятiя отождествляетъ. но противъ него вопiетъ ежедневный опытъ и писателей, и публики. и простой здравый смыслъ. Всякiй знаетъ, какая разница даже между фотографiей и художественно-исполненнымъ портретомъ. Тэнъ, не менѣе стремительный реалистъ, чѣмъ нашъ критикъ, находилъ, что иной портретъ историческаго лица стóитъ груды документовъ. Тэнъ, по обыкновенiю, схватился за истину такъ, что немедленно перевернулъ ее внизъ головой, но сущность мысли—вѣрна. Стóитъ только побывать въ галлереяхъ старинной живописи, чтобы вынести чрезвычайно яркое представленiе о самыхъ сложныхъ историческихъ эпохахъ.

Очевидно, даже въ портретахъ-картинахъ заключается нѣчто большее, чѣмъ индивидуальныя черты отдѣльныхъ личностей.

Весь процессъ творчества Чернышевскiй готовъ свести къ «пониманiю, способности отличать существенныя черты отъ неважныхъ». Самъ критикъ, несомнѣнно, обладалъ этими качествами, почему же онъ написалъ такой плохой романъ? Почему его идеальный «новый человѣкъ»—«свирѣпый» Рахметовъ вышелъ куклой, чрезвычайно пышно убранной многочисленными кричащими ярлыками, но совершенно мертвой и механической? А вѣдь, кажется, рука автора «направлялась живымъ смысломъ» и умомъ, конечно, не уступавшимъ уму даже большихъ художниковъ.

Очевидно, психологiя художника и вопросъ о творчествѣ несравненно сложнѣе, чѣмъ представляетъ авторъ. Мы могли бы не настаивать на этой истинѣ, если бы она не оказала гибельнаго влiянiя на послѣдователей Чернышевскаго. Самъ онъ обладалъ слишкомъ крѣпкимъ здравымъ смысломъ, чтобы въ самомъ дѣлѣ художниковъ приравнять къ копировальщикамъ и искусство къ

парикмахерству. Онъ только представилъ извѣстные запросы художникамъ и ихъ талантамъ, но на самое ихъ существованіе не посягнулъ, не дошелъ до отрицанія художественнаго таланта, какъ явленія природы. Этотъ подвигъ будетъ совершенъ Писаревымъ, и мы видимъ по вдохновенію Чернышевскаго. Онъ поставилъ своего юнаго ученика на предательскій путь—мнимо-реальнаго воззрѣнія на сущность художественнаго творчества и толкнулъ его на такіе же фантастическіе выводы, къ какимъ пришелъ самъ въ общихъ философскихъ понятіяхъ матеріализма. Это существенная отрицательная черта книги Чернышевскаго. Ее миновали многочисленные критики, съ ожесточеніемъ нападавшіе на новую эстетику. Они привязались какъ разъ къ тѣмъ идеямъ Чернышевскаго, какія являлись продолженіемъ критики Бѣлинскаго, и дѣйствительно оживляли и возрождали современную заиндевѣвшую библіографію и шаблонное рецензентство.

Отечественныя Записки усиливались доказать «самую дорогую, самую близкую» для нихъ «истину»: «нравственное чувство есть то же, что чувство эстетическое, примѣненное только къ дѣйствительной жизни», «чувство эстетическое и гуманное чувство находятся въ неразрывной связи другъ съ другомъ» [222]).

Аполлонъ Григорьевъ также фанатически держался этой истины, но уже Шиллеръ блистательно успѣлъ ее разбить, самъ Шиллеръ, прекраснодушнѣйшій поэтъ классической и романтической красоты!

Эдельсонъ, издавшій цѣлую книгу противъ критики шестидесятыхъ годовъ, также открылъ въ Чернышевскомъ безумнаго врага искусства именно потому, что онъ требовалъ отъ искусства *пользы*. Критикъ разсчитывалъ поразить Чернышевскаго авторитетомъ Бѣлинскаго, высоко ставившаго поэзію и требовавшаго отъ нея только серьезнаго содержанія [223]). Мы знаемъ, *какую* поэзію цѣнилъ Бѣлинскій и что значило для него серьезное содержаніе. Еще въ ранній періодъ онъ горевалъ, что находятся люди съ толантомъ, способные пѣть подобно птицамъ безотчетно и безучастно къ судьбѣ своихъ страждущихъ братій.

Чернышевскій развивалъ именно эту мысль, и нападенія его критиковъ доказывали только ихъ безнадежно-слѣпое пристрастіе къ «святой» старинѣ и «святому» искусству. Психологія творче-

---

[222]) *Вопросъ объ искусствѣ*, Соловьева. *От. Зап.* 1865, іюнь, стр. 474.

[223]) *О значеніи искусства въ цивилизаціи.* Спб. 1867, стр. 8—10.

ства не нашла у Чернышевскаго достодолжнаго пониманія, но вопросъ, чѣмъ должно быть искусство, разрѣшенъ критикомъ побѣдоносно для всѣхъ его противниковъ—и современныхъ, и позднѣйшихъ.

XXXI.

«Языкъ человѣку данъ не для стихотворнаго или педантическаго пустословія», въ этой фразѣ вся *активная* эстетика Чернышевскаго, и она почерпнута у Бѣлинскаго. Великій критикъ идеальнымъ художникомъ считалъ талантъ, воспроизводящій дѣйствительность и силой своей творческой природы осмысливающій ее, т. е. одушевляющій свое произведеніе духомъ правды и высокихъ стремленій не подъ вліяніемъ отвлеченной мысли, не преднамѣренно, а по внушеніямъ своей натуры.

Чернышевскій развиваетъ этотъ принципъ послѣдовательно и съ математической ясностью.

Область искусства, все интересное для человѣка въ жизни и природѣ, первое положеніе. Второе—назначеніе искусства, служить объясненіемъ воспроизводимыхъ явленій. Третье—если художникъ человѣкъ мыслящій, то его произведеніе непремѣнно будетъ приговоромъ мысли о воспроизводимыхъ явленіяхъ. Въ такомъ случаѣ искусство пріобрѣтаетъ значеніе *научное*, произведеніе художника становится *учебникомъ жизни*, и здѣсь значеніе его «неизмѣримо огромно», и искусство такая же «насущная потребность человѣка, какъ пища и дыханіе». Одинаково нелѣпо ограничивать жизнь человѣка одною головою или однимъ желудкомъ: жизнь умственная и нравственная—«истинно-приличная человѣку» [224]).

Чернышевскій говоритъ о своемъ сочиненіи, что оно «проникнуто уваженіемъ къ искусству». Это несомнѣнно, только къ искусству просвѣтительному, «мыслящему», къ искусству содержательному и идейному. Его настойчивое возвышеніе дѣйствительности надъ искусствомъ нисколько не вредитъ достоинству искусства и не лишаетъ его самостоятельности и даже «неизмѣримо огромнаго значенія». Пусть только художникъ будетъ мыслителемъ и стоитъ на уровнѣ современной ему науки и передовыхъ общественныхъ стремленій. Желаніе не новое, оно еще высказывалось Веневитиновымъ и легло въ основу всей критики Бѣлинскаго.

---

[224]) *Эстетич. отношенія*, стр. 139, 141—2, 148.

Но послѣдніе выводы одной и той же идеи оказались далеко не одинаковыми у Бѣлинскаго и его восторженнаго поклонника, и не одинаковыми у самого Чернышевскаго и его учениковъ. Мы знаемъ одинъ изъ первоисточниковъ этого преобразованія: превратное толкованіе творческаго процесса, другой—еще болѣе сильный, боевой характеръ всей новой литературы и особенно публицистики.

Въ атмосферѣ шестидесятыхъ годовъ трудно было сохранить идеальную послѣдовательность мысли, уравновѣшенную невозмутимую вѣрность какой-либо теоріи, если только она сама по себѣ не соотвѣтствовала кипучему настроенію молодого поколѣнія. До какой степени несовременными являлись мирныя созерцательныя и творческія добродѣтели, показываетъ примѣръ истинно-художественной и сильной натуры Писемскаго. Даже его шестидесятые годы превратили въ тенденціознѣйшаго публициста и внесли полный разгромъ въ эпическій строй его таланта. Чего же было ожидать отъ юной публицистики, воинственной по призванію, страстно отважной по темпераменту и глубоко убѣжденной на основаніи житейскаго опыта и принциповъ своей философіи, что внѣ общественныхъ и гражданскихъ интересовъ, можетъ царить только «злоязычная и безпутная пошлость», что мужчина безъ чувствъ гражданина—даже не мужчина, а только существо мужескаго пола и что, наконецъ, и лучше не развиваться человѣку, нежели развиваться безъ вліянія мысли объ общественныхъ дѣлахъ, безъ всякихъ чувствъ, пробуждаемыхъ участіемъ въ нихъ?» [225]).

Это общее правило. Время, съ своей стороны, нахлынуло на литературу нескончаемыми запросами жизни и науки. Они до такой степени сложны и значительны, что, въ сущности, эстетика среди нихъ, дѣло совершенно второстепенное, и о ней даже можно бы и не говорить [226]). Если и заходитъ рѣчь, то, конечно, не ради нея, а ради все тѣхъ же запросовъ, ради отношенія литературы къ нимъ.

Очевидно, искусство, волей-неволей, въ силу духа времени утрачиваетъ самодовлѣющій интересъ и становится въ подчиненное положеніе къ дѣйствительности, т. е. главный вопросъ о немъ сосредочитовается на его полезности для гражданскаго и научнаго развитія.

---

[225]) Чернышевскій. *Критич. ст.*, 261—2.
[226]) *Соврем.* 1855, VI; *Крит. ст.*, стр. 258.

Къ этой цѣли и направится критика шестидесятыхъ годовъ, пройдетъ свой путь съ свойственной ей быстротой, въ нѣсколько лѣтъ достигнетъ полюса не только относительно теоріи искусства для искусства, но даже раннихъ идей Чернышевскаго. И самъ учитель пойдетъ впереди.

Мы видѣли, въ одной изъ первыхъ статей Чернышевскій успѣлъ написать совершенно опредѣленное предисловіе къ своей эстетикѣ, заявить непримиримую вражду къ эстетикѣ идеаловъ. Но отъ этихъ заявленій еще далеко до послѣдняго *реальнаго* момента критической эволюціи автора.

Въ 1855 году Чернышевскій начнетъ *Очерки гоголевскаго періода*: смыслъ ихъ въ популяризаціи статей Бѣлинскаго. Эти статьи не были собраны въ отдѣльное изданіе, современной публикой, можетъ быть, полузабыты и теперь являются во главѣ новаго движенія общественной мысли, хотя автора ихъ пока еще нельзя называть. Сужденія Бѣлинскаго и его полемика съ разнаго сорта публицистами и профессорами положены въ основу историческаго обзора критики. Естественно, очерки украшаются обширнѣйшими выдержками изъ статей Бѣлинскаго и множествомъ фактовъ, дѣлающихъ честь авторской начитанности. Чернышевскій оказывалъ русской публикѣ великую услугу, вводя ее въ историческій ходъ критической мысли. Правда, онъ это дѣлалъ путемъ отдѣльныхъ эпизодовъ, не проводилъ связующей нити между идеями и направленіями, оцѣнивалъ заслуги отдѣльныхъ критиковъ и мало обращалъ вниманія на взаимную зависимость ихъ воззрѣній. Только Бѣлинскій примкнутъ къ Надеждину и даже тѣснѣе, чѣмъ было на самомъ дѣлѣ. Можно указать и другія неточности и пробѣлы: первая статья Бѣлинскаго не оцѣнена по достоинству, въ ней и въ его гегельянскихъ увлеченіяхъ не прослѣжены зачатки наступившаго вскорѣ новаго періода его критики [227]). Но всѣ эти недостатки исчезаютъ предъ важностью всего дѣла. Западническая партія въ лицѣ Чернышевскаго выполнила задачу, съ которой тщетно носились славянофильскіе патріоты. Она дѣйствительно просвѣщала и поучала публику не декламаціями и пророчествами а фактами и исторіей. Эта задача такъ и останется лестной привилегіей «западниковъ», «прогрессистовъ», «либераловъ». Они дѣйствительно будутъ работать, не отступая предъ черным трудомъ

[227]) *Очерки гоголевскаго періода русской литературы*. Спб. 1893, стр. 22—269.

омъ собиранія данныхъ и изученія документовъ. Въ теченіе ка-ихъ-нибудь десяти лѣтъ они передадутъ публикѣ такую массу вѣдѣній, бросятъ въ чуткую среду молодыхъ читателей такое оличество философскихъ идей и научныхъ выводовъ, что ихъ противникамъ придется или безнадежно опустить руки, или утѣшаться нглійскимъ діалектомъ *Русскаго Вѣстника* и *Московскихъ Вѣдомостей.* И кто же виноватъ, если московскій *Athenaeum* предпочиталъ щеголять компиляціями Дружинина и туманнымъ сладкогласіемъ нненкова въ то время, когда *Современникъ* давалъ превосходно аписанныя статьи по всѣмъ животрепещущимъ наукамъ времени. [статьи отнюдь не партійныя, не полемическія. *Очерки изъ политической экономіи* Чернышевскаго, его тщательнѣйшая критиа идей Милля, его монографіи по новой французской исторіи не тратили своего значенія до послѣдняго времени, и не мертвеннымъ, хотя и ученымъ, диссертаціямъ Соловьева и не философкимъ экскурсамъ Юркевича было соревновать съ талантомъ одного зъ самыхъ блестящихъ публицистовъ своего времени,—не только ъ Россіи.

Очерки заканчивались рѣшительнымъ заявленіемъ, что Бѣлинкій остается «лучшимъ и современнымъ выраженіемъ» русской ритики. Авторъ это доказываетъ большой статьей о Пушкинѣ. Она преисполнена почтительныхъ чувствъ къ поэту. Онъ «благороднѣйшій человѣкъ», онъ «навсегда останется великимъ поэомъ», но и умъ его равнялся таланту, а по образованности даже еперь въ русскомъ обществѣ найдется немного людей, равныхъ Іушкину. Это видно изъ бѣглыхъ отрывочныхъ замѣчаній Пушина по разнымъ вопросамъ литературы—о народности, о нѣкотоыхъ писателяхъ, ихъ глубокой обдуманности его поэтическихъ роизведеній. Значеніе его въ исторіи русской образованности не еньше, чѣмъ въ исторіи русской поэзіи. «Его произведенія могущественно дѣйствовали на пробужденіе сочувствія къ поэзіи въ ассѣ русскаго общества, они умножили въ десять разъ число юдей, интересующихся литературою и черезъ то дѣлающихся пособными къ воспринятію высшаго нравственнаго развитія» [228]).

Чернышевскій будто предвосхищаетъ позднѣйшую войну своихъ ослѣдователей съ Пушкинымъ и старается установить правильочку зрѣнія на поэта,—заботливость въ высшей степени важная для вождя шестидесятниковъ краснорѣчивая:

---

[228]) *Критич. статьи.* 2, 11, 26, 43.

«Говоря о значеніи Пушкина въ исторіи развитія нашей литературы и общества, должно смотрѣть не на то, до какой степени выразились въ его произведеніяхъ различныя стремленія, встрѣчаемыя на другихъ ступеняхъ развитія общества, а принимать въ соображеніе настоятельнѣйшую потребность и тогдашняго, и даже нынѣшняго вресени,—потребность литературныхъ и гуманныхъ интересовъ вообще. Въ этомъ отношеніи значеніе Пушкина неизмѣримо велико. Черезъ него разлилось литературное образованіе на десятки тысячъ людей, между тѣмъ какъ до него литературные интересы занимали немногихъ. Онъ первый возвелъ у насъ литературу въ достоинство національнаго дѣла. тѣмъ какъ прежде она была, по удачному заглавію одного изъ старинныхъ журналовъ *Пріятнымъ и полезнымъ препровожденіемъ времени* для тѣснаго кружка дилеттантовъ. Онъ былъ первымъ поэтомъ, который сталъ въ глазахъ всей русской публики на то высокое мѣсто, какое долженъ занимать въ своей странѣ великій писатель. Вся возможность дальнѣйшаго развитія русской литературы была приготовлена и отчасти еще приготовляется Пушкинымъ» [229]).

Эти мысли Чернышевскій не считаетъ своими. Онъ признаетъ невозможнымъ опредѣлить смыслъ и значеніе пушкинской поэзія лучше и полнѣе, чѣмъ было сдѣлано Бѣлинскимъ, и онъ съ тоской сравниваетъ современную критику съ прежней. Да, авторитетъ Бѣлинскаго для нашего публициста священенъ, и Чернышевскій будетъ зорко оберегать отъ покушеній невѣждъ и тонкихъ политиковъ, обвиняющихъ Бѣлинскаго въ односторонней «дидактикѣ» [230]).

Это будетъ продолжаться въ то время, когда защита Пушкина утратитъ для критика привлекательность и онъ даже съ особенной настойчивостью станетъ развивать мысль, высказанную также Бѣлинскимъ: Пушкинъ преимущественно художникъ, а не поэтъ-мыслитель. Раньше критикъ не налегалъ на вторую часть этого опредѣленія и краснорѣчиво изображалъ плодотворныя вліянія поэтическаго таланта Пушкина, теперь по поводу Гоголя онъ заявляетъ: недалеко уйдетъ художникъ не мыслитель. Поэтому, Пушкинъ оказывается ужъ очень безразличнымъ наблюдателемъ. Онъ равнодушенъ, какъ поэтъ, и не знаетъ, негодованія или удив-

229) *Ib.*, 65—6, 119.
230) *Критич. ст.*, стр. 177.
231) *Критич. ст.*, 128.

ленія заслуживаетъ изображаемый имъ бытъ? Новые писатели чужды этого равнодушія, они дѣлаютъ выборъ среди явленій, попадающихся имъ на глаза, а пушкинская наблюдательность просто зоркость глаза и памятливость. И критикъ поспѣшитъ доказать, что даже Писемскій вовсе не оставляетъ своими разсказами примирительнаго отраднаго впечатлѣнія, какъ съ обычной проницательностью открылъ Дружининъ. Дальше, Пушкинъ страдаетъ еще болѣе важнымъ недостаткомъ. Всего два года назадъ онъ открывалъ критику множество поучительныхъ истинъ, теперь его прозаическія статьи поражаютъ соединеніемъ разнорѣчивыхъ мыслей. Наконецъ, рѣшительный приговоръ: Пушкинъ не могъ повліять благотворно на Гоголя. Онъ могъ въ разговорахъ объ искусствѣ ссылаться на глубокомысленнаго Катенина, могъ обозвать Полевого пустымъ и вздорнымъ крикуномъ, могъ прочесть свое стихотвореніе *Поэтъ и чернь*... Все это не могло создать у Гоголя твердыхъ убѣжденій, сообщить ему широту общественнаго взгляда.

Это писалось въ *Современникѣ* въ 1857 году. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя въ томъ же журналѣ о томъ же предметѣ разсуждалъ Добролюбовъ. Онъ также говорилъ объ отсутствіи у Пушкина серьезныхъ, независимо развившихся убѣжденій и о недостаткѣ серьезнаго образованія, но «пресловутую *чернь*» не считаетъ точнымъ выраженіемъ взглядовъ Пушкина на поэзію. Кромѣ того Добролюбовъ увѣренъ, что Пушкинъ, никогда не доходилъ до обскурантизма и даже поражалъ, когда могъ, обстрантизмъ другихъ. Въ заключеніе Добролюбовъ считаетъ Анненкова достойнымъ искренней благодарности за изданіе сочиненій «нашего великаго поэта»: это «истинная заслуга предъ русской литературой и обществомъ» [232]).

Критики не совсѣмъ единодушны, но они вполнѣ уподобляются другъ другу въ развитіи своихъ взглядовъ на Пушкина. Два года спустя Добролюбовъ говоритъ о Пушкинѣ въ тонѣ Базарова. По его словамъ, Пушкинъ воспѣвалъ только «прелесть роскошнаго пира, стройность колоннъ, идущихъ въ битву, грандіозность падающей лавины, «благоуханіе словеснаго слоя», пролившагося на него съ какой-то «высоты духовной» и пр. и пр.». Пушкину почти невѣдомо уваженіе къ человѣческой природѣ, развѣ только «въ эпикурейскомъ смыслѣ» [233]).

---

[232]) Ст. Чернышевскаго. *Соврем.* 1857, VIII. Добролюбова. 1858, I.

[233]) *Сочиненія*. III, 554.

У третьяго вождя шестидесятниковъ—у Писарева—мы встрѣтимъ ту же эволюцію, и даже въ еще болѣе рѣзкой формѣ.

Фактъ въ высшей степени любопытный. Защищать Пушкина нѣтъ нужды; мы достаточно знакомы съ его художественными и общественными взглядами и имѣли возможность оцѣнить его отношенія къ Радищеву и Полевому. Что касается вообще не серьезности и отсутствія убѣжденій, эту мысль развилъ еще горячій последователь Бѣлинскаго и его современникъ, написавшій *Очеркъ исторіи русской поэзіи* по статьямъ критика. Книга эта много лѣтъ служила яблокомъ раздора нашихъ литературныхъ лагерей: эстетики ее поносили, шестидесятники—именно Добролюбовъ—восхваляли. Характеристика Пушкина здѣсь изображена рѣзко и опредѣленно, безъ всякихъ противорѣчій и недомолвокъ [284]).

Почему же колебались наши критики?

У автора *Очерка* Пушкинъ являлся великимъ поэтомъ и плохимъ общественнымъ мыслителемъ. Такова идея и Бѣлинскаго. Она тяготѣла надъ всѣми молодыми критиками и они, при всей страстности своихъ запросовъ къ гражданской поэзіи, не могли съ легкимъ сердцемъ покончить съ «любимымъ», «великимъ», «первымъ» поэтомъ. Это все ихъ эпитеты, но они шли не отъ сердца. Достаточно вспомнить безграничные восторги Григорьева предъ Пушкинымъ, чтобы отъ шестидесятниковъ ожидать другого отношенія къ поэту, не изъ протеста, конечно, критику *Москвитянина* и *Эпохи*, а по самому складу нравственнаго и практическаго міросозерцанія.

Было бы противоестественно, если бы философы, положительные до послѣднихъ выводовъ матеріализма, и публицисты-политики по принципу и страсти оставили неприкосновенной славу Пушкина, весьма неудовлетворительнаго политика и еще менѣе—философа.

Настоящее естественное направленіе критики шестидесятыхъ годовъ обнаружилось одновременно съ отрицательными замѣчаніями Чернышевскаго на счетъ развитія и убѣжденій Пушкина. Въ *Отечественныхъ Запискахъ* Чернышевскій еще могъ кое-какъ мириться съ разсужденіями о поэзіи и художественности, въ *Современникѣ* онъ съ первой же статьи напалъ на безличную, пустопорожнюю критику тѣхъ же *Отечественныхъ Записокъ* и привелъ

284) *Очерки исторіи*, А. Милюкова. Спб. 1864. 3-е изд., стр. 209—214 Первое изд. вышло въ 1847 году.

дѣйствительно поразительные образчики безъидейности и бездарности, царствовавшихъ въ критическомъ отдѣлѣ журнала Дудышкина и Краевскаго [235]). Чернышевскій не могъ помириться съ такимъ самоубійствомъ критики, и въ каждой статьѣ позаботился высказать вполнѣ опредѣленное, искреннее мнѣніе о предметѣ. Первыми жертвами оказались Бенедиктовъ, давно уничтоженный Бѣлинскимъ, но возстановляемый Дружининымъ, потомъ Авдѣевъ, каррикатурное воплощеніе Лермонтова или даже Марлинскаго, но тѣмъ не менѣе любимецъ того же Дружинина и *Отечественныхъ Записокъ*, впослѣдствіи смертельно пораженный Добролюбовымъ. Все это не особенно важно, гораздо любопытнѣе критика на комедію Островскаго *Бѣдность не порокъ*.

Она принадлежитъ 1854 году, но уже вполнѣ обличаетъ новаго критика, даже съ большой долей нетерпимости и партійнаго увлеченія. Чернышевскій, конечно, не можетъ миновать удивительнаго гимна Григорьева въ честь Любима Торцова, и надо думать, этотъ гимнъ особенно раздражилъ нашего критика.

Если Островскій приводитъ въ такое неистовое восхищеніе писателей *Москвитянина*, въ немъ непремѣнно долженъ таиться духъ москвобѣсія, т. е. мракобѣсія, идеализація татарской старины, замоскворѣцкихъ добродѣтелей, вообще всѣ прелести славянофильской вѣры. И первое впечатлѣніе, повидимому, подтверждаетъ догадку. Въ комедіи *Не въ свои сани не садись* «ясно и рѣзко было сказано: *полуобразованность хуже невѣжества*, но не прибавлено, что лучше и той, и другого: *истинная образованность*». За это послѣдуетъ разборъ новой комедіи безпощадный. Большинство сценъ окажутся ненужными, и цѣль автора будетъ истолкована именно какъ «апотеоза стариннаго быта» и вся пьеса признана не больше, какъ «сборникомъ народныхъ пѣсенъ и обычаевъ» [236]).

Добролюбовъ впослѣдствіи въ томъ же *Современникѣ* возмѣститъ несправедливость своего учителя, но намъ у Чернышевскаго нужны не столько оцѣнки отдѣльныхъ литературныхъ явленій, сколько общій духъ его критической мысли. Онъ быстро становится воинственнымъ и исключительно публицистическимъ. Еще въ 1856 году онъ подробно и благосклонно разбираетъ художественный талантъ гр. Толстого и восхищается особенно «силой

---

[235]) Ст. *Объ искренности въ критикѣ. Критич. ст.* 203, 204—7.
[236]) *Ib.*, стр. 269, 271—3, 277—8.

*

нравственной чистоты» въ *поэзіи* автора *Дѣтства и Отрочества*, говоритъ лирически о чистой юношеской душѣ, отзывчивой на все чистое и прекрасное и, разчувствовавшись окончательно, соглашается, «не всякая поэтическая идея допускаетъ внесеніе общественныхъ вопросовъ въ произведеніе». И непосредственно мы слышимъ о «законѣ художественности!» [237])...

Вообще, удивительное счастье гр. Толстого. Вполнѣ понятно, почему иногородніе подписчики воздвигали ему пьедесталъ надъ всей современной литературой, но вотъ критикъ, только что совершившій походъ на Пушкина, какъ на человѣка безъ общественныхъ идей, впадаетъ въ идиллическое созерцаніе юношеской души и даже художественности! Правда, пройдетъ четыре года и гр. Толстому жестоко достанется за его педагогическія умствованія. Разоблаченія Чернышевскаго насчетъ обычныхъ спутниковъ философіи графа, т. е. непреодолимой наклонности всѣ вопросы разрубать одинимъ взмахомъ руки, страсть къ фантастическимъ обобщеніямъ едва лишь усмотрѣнныхъ и вовсе не понятыхъ фактовъ, совершенная безпомощность въ области теоретическаго анализа идей, вывода заключеній и отыскиванія принциповъ, наконецъ, неограниченная притязательность единоличнаго изобрѣтателя пороха съ высоты своихъ мнимыхъ открытій и скоропалительныхъ комически-незрѣлыхъ истинъ, взирать на другихъ, какъ на глупцовъ и невѣждъ, всѣ эти разоблаченія философическаго генія гр. Толстого не утратили своей новизны и своего значенія до нашихъ дней. Еще любопытнѣе смертоносная критика, какой подвергъ Чернышевскій художественные вымыслы гр. Толстого съ педагогической цѣлью [238]).

Все это будетъ какъ бы отплатой за «юношескіе» восторги предъ талантомъ гр. Толстого, но «художественность» все-таки была признана независимо отъ общественныхъ вопросовъ, и въ заключеніе статьи говорилось о «вкусѣ», которому только и доступны «истинная красота, истинная поэзія».

Очень краснорѣчиво, но на этомъ и закончилась чистая эстетика Чернышевскаго. Въ слѣдующемъ году Пушкину наносятся усиленные удары, а еще немного спустя, разборъ тургеневской повѣсти *Ася* уже выходитъ *размышленіями* и называется *Русскій человѣкъ на rendez-vous*. Реальная критика, какъ впослѣдствіи

---

[237]) *Ib.*, 281 etc.

[238]) *Ib.*, 301 etc.

шеніе къ художественному произведенію, какъ къ матеріалу для сужденій о дѣйствительности, какъ къ поводу и канвѣ для общественной философіи и политики. Писаревъ поведетъ эту мысль дальше и отождествитъ повѣсти и драмы просто съ обозрѣніями и хрониками. У Чернышевскаго и Добролюбова нѣтъ этого «послѣдняго слова» новой эстетики, но толчокъ данъ ими, и первый Чернышевскимъ.

Онъ воспользовался повѣстью Тургенева для убійственной характеристики «лучшихъ» русскихъ людей, написалъ сатиру на общество, создающее такую дрянь, и заклеймилъ позоромъ всѣхъ Ромео, впадающихъ въ конфузъ и трусость при каждомъ рѣшительномъ моментѣ жизни. Автора нисколько не интересуетъ любовный вопросъ, столь художественно разработанный въ повѣсти: «Богъ съ ними съ эротическими вопросами, не до нихъ читателю нашего времени, занятому вопросами объ административныхъ и судебныхъ улучшеніяхъ, о финансовыхъ преобразованіяхъ, объ освобожденіи крестьянъ».

И не герой собственно занимаетъ критика, а характеръ вообще русской интеллигенціи, и не поступокъ героя съ героиней, а неопытность и растерянность русскаго общества въ самыхъ насущныхъ жизненныхъ вопросахъ. Автора безпокоитъ мысль, какъ поступитъ оно въ только что наступившій великій историческій моментъ? Онъ жестоко боится за русскихъ лучшихъ людей, съумѣютъ ли они понять свое положеніе, свой домъ и воспользоваться обстоятельствами?

«Противъ желанія нашего, — пишетъ онъ, — ослабѣваетъ въ насъ съ каждымъ днемъ надежда на проницательность и энергію людей, которыхъ мы упрашиваемъ понять важность настоящихъ обстоятельствъ и дѣйствовать сообразно здравому смыслу».

Онъ усиливается объяснить обществу смыслъ обстоятельствъ и преподать совѣты. Онъ обращается къ читателямъ искренне и открыто:

«Поймете ли вы требованіе времени, съумѣете ли воспользоваться тѣмъ положеніемъ, въ которое вы поставлены теперь, — вотъ въ чемъ теперь для васъ вопросъ о счастіи или несчастіи навѣки» [239]).

Слышится глубокое безпокойство автора въ этихъ словахъ, и намъ понятно, что онъ станетъ дѣлать. «Пусть, по крайней мѣрѣ,

---

[239]) *Ib.*, 247, 250, 265—6.

не говорятъ они, что не слышали благоразумныхъ совѣтовъ, что не было объясняемо ихъ положеніе!»—восклицаетъ онъ о своихъ читателяхъ, и, насколько хватитъ силъ и представится возможность, онъ не перестанетъ давать совѣты и представлять объясненія.

Въ этихъ задачахъ вся программа новой критики и ея первостепенныхъ представителей. Со вступленіемъ Добролюбова въ *Современникъ* журналъ сталъ настоящей общественно-просвѣтительной энциклопедіей своего времени, новымъ философскимъ словаремъ новыхъ энциклопедистовъ. И молодому сотруднику пути уже были проложены; литература въ его рукахъ обратится въ неисчерпаемый источникъ для совѣтовъ и объясненій, старому—останется продолжать свое любимое дѣло, выполнять свое истинное призваніе—учить публику необходимѣйшимъ наукамъ новаго вѣка—исторіи и политической экономіи.

XXXII.

Предъ нами второй учитель и вождь шестидесятниковъ, не менѣе вліятельный и любимый, чѣмъ его старшій современникъ,—и мы, всматриваясь въ лицо и вчитываясь въ произведенія юнаго героя, — также спрашиваемъ съ недоумѣніемъ: гдѣ же мальчишка? гдѣ баши-бузукъ и наѣздникъ? Мы не встрѣтили ничего подобнаго въ нравственномъ характерѣ и въ критическихъ статьяхъ Чернышевскаго,—напротивъ, — слышали отъ него даже умильныя, до послѣдней степени миролюбивыя рѣчи. Здѣсь также мы тщетно стали бы искать малѣйшаго намека на ужасы, открытые гонителями нигилизма въ дѣятельности новыхъ людей.

Мы снова должны повторить: какъ легко было бы сладить съ этими страшными разрушителями, если бы подойдти къ нимъ съ искреннимъ, доброжелательнымъ словомъ, внимательно вслушаться въ ихъ откровенную юношескую рѣчь, и признать за ними нравственное и литературное право — смѣть свое сужденіе имѣть! Можно быть увѣреннымъ,—русской публикѣ не пришлось бы присутствовать при одной изъ самыхъ жестокихъ литературныхъ междуусобицъ, какія только знаетъ вся новая европейская литература. Увѣренность тѣмъ болѣе основательная, что у «мальчишекъ» и величественныхъ старцевъ на первыхъ порахъ оказались, повидимому, однѣ и тѣже исходныя точки и ближайшіе идеалы.

Русскій Вѣстникъ усиленно писалъ на своемъ знамени тѣ

самыя слова, какія считались священными и въ лагерѣ молодежи: свобода печатнаго слова, развитіе общественной самодѣятельности, коренное преобразованіе старой Россіи. Конечно,—изъ однихъ и тѣхъ же положеній можно выводить весьма различныя заключенія,—но отъ самихъ партій зависитъ сообщить этимъ заключеніямъ непримиримо воинственный, нетерпимый смыслъ или попытаться найти почву для совмѣстной борьбы противъ общаго врага.

Мы видѣли,—*Русскій Вѣстникъ* съ самого начала даже не могъ представить, что рядомъ съ нимъ будутъ жить и дѣйствовать какіе то другіе люди, журнальные выскочки и санкюлоты. До разговоровъ ли съ подобными мизераблями! Они виноваты уже фактомъ своего независимаго существованія: долой ихъ,—все равно, о чемъ бы они тамъ ни толковали и какими бы добродѣтелями ни отличались.

И надъ молодежью засвисталъ бѣшеный бичъ, угрожая опозорить ее и смести съ лица земли... Это именно одинъ изъ рѣдкихъ историческихъ моментовъ, когда самому спокойному историку и на какомъ угодно промежуткѣ времени—должно чувствоваться величіе зла и преступленія. Историкъ не можетъ избѣжать этого чувства, изображая первые шаги молодого поколѣнія въ лицѣ Чернышевскаго и еще въ сильнѣйшей степени тоже самое чувство овладѣваетъ имъ, когда на сценѣ появляется гуманная и до трогательности сердечная личность Добролюбова.

Именно—гуманность—основа всей нравственной природы Добролюбова—человѣка и писателя. Онъ родился съ неутолимой жаждой близкаго, любящаго сердца, росъ, всецѣло поглощенный счастливымъ сознаніемъ видѣть такое сердце въ лицѣ матери учился и потомъ началъ писать съ единственной вдохновляющей мечтой—вызвать у людей побольше чувствъ любви, пріязни, терпимости, страдалъ и умеръ, угнетаемый ощущеніемъ одиночества и душевнаго сиротства. Это—личность по преимуществу лирическая и, если иногда подъ перомъ Добролюбова являлись слова, холодныя и укоризненно насмѣшливыя,—это былъ голосъ все той же оскорбленной любви, голосъ не злобы и ненависти, а разочарованія, горькой обиды на несбывшуюся надежду и разсѣянную мечту. И самому писателю въ эти минуты чувствовалось гораздо больнѣе, чѣмъ жертвамъ его негодованія и смѣха. Это свойство личности Добролюбова—главная причина его прочной и глубокой популярности, необычайно любовнаго отношенія къ его имени современной и позднѣйшей молодежи.

Съ первой минуты сознанія и до самой смерти какой идеально-почтительный сынъ! И предметъ его особенно горячей любви—мать—вѣрное свидѣтельство нѣжной, и гуманной натуры,—и, что еще замѣчательнѣе—восторженно-религіозной. Сначала вѣра, наивная, по-дѣтски пугливая, преисполненная надеждами на чудеса, на высшее счастье за богобоязненность и—ужасомъ предъ равнодушіемъ и нечестіемъ. Съ годами эти идеи измѣнятся, таинственныя чары исчезнутъ, — но сущность вѣрующаго духа останется навсегда. Онъ только направитъ жаръ своего обожанія на другіе идеалы и поставитъ новыя цѣли своему нравственному подвижничеству. Не исчезнетъ и рыцарственная деликатность въ рѣшеніи грубыхъ задачъ жизни — тамъ, гдѣ придется оберечь безсильную и безправную жертву отъ семейнаго или общественнаго деспотизма. Мужество принциповъ и изящная тонкость впечатлѣній,—важнѣйшія силы Добролюбова, какъ писателя, благороднѣйшіе задатки его первой молодости. Они спасутъ его отъ какихъ угодно давленій среды и выведутъ на прямой независимый путь мысли и дѣла.

Въ дѣтствѣ онъ образецъ прилежанія и серьезности. Онъ краса и слава духовнаго училища и семинаріи. Но онъ совершенно чуждъ духу этихъ закоренѣлыхъ разсадниковъ схоластики и умственной косности. Онъ одинокъ среди товарищей и страненъ учителямъ. Пока у него это чувство отчужденія не сложилось въ ясный разсудочный процессъ, пока это невольное отвращеніе благородной, свободной натуры ко всему мелкому и кромѣшному. Юноша не находитъ мѣста въ школѣ, потому что въ ней некого и нечего любить. Одинъ только учитель—Сладкопѣвцевъ умѣетъ захватить его душу, вызвать у него своего рода обожаніе, поэтическое увлеченіе,—и за то какой благодарный гимнъ любви! Иначе нельзя назвать слѣдующихъ заочныхъ изліяній ученика по адресу наставника:

«Что то особенное привлекало меня къ нему, возбуждало во мнѣ болѣе чѣмъ привязанность,—какое то благоговѣніе къ нему... Ни однимъ словомъ, ни однимъ движеніемъ не рѣшился бы я оскорбить его, просьбу его я считалъ для себя закономъ. Вздумалъ бы онъ публично наказать меня, я послушался бы, перенесъ наказаніе, и мое расположеніе къ нему нисколько бы оттого не уменьшилось... Какъ собака я былъ привязанъ къ нему и для него я готовъ былъ сдѣлать все, не разсуждая о послѣдствіяхъ».

Это п ишется въ дневникѣ. Безъ самопризнаній и самоанализовъ еде мыслима такая «прекрасная душа». Если она переполнена такимъ стремительнымъ пристрастіемъ къ учителю-семинаристу,—въ какомъ ореолѣ должна являться предъ ней высшая избранница, предназначенная судьбой—мать! На ней сосредоточены всѣ представленія о возможномъ на землѣ счастьѣ, ея образъ воплощаетъ все прекрасное, чѣмъ только обладаетъ нашъ міръ, все вдохновляющее, что способно двинуть человѣка на подвигъ, на страданія. Она царитъ надъ каждымъ мгновеніемъ въ жизни своего сына. Она представляется ему, какъ непогрѣшимая цѣнительница его достоинствъ, какъ достойнѣйшая участница его успѣховъ. Это не любовь сына къ матери, это романтическое сродство душъ, изъ области вдохновенныхъ мечтаній перешедшее въ самую подлинную и жизненную дѣйствительность.

И Добролюбовъ въ своемъ нравственномъ мірѣ воспроизводитъ цѣльную психологію рыцарскаго служенія идеалу. Онъ по природѣ лишенъ расплывчатой, легко возбуждаемой чувствительности. То, что̀ именуется увлеченіемъ и что̀ въ романахъ и поэмахъ производитъ такое красивое, чарующее впечатлѣніе, совершенно не мирится съ его строгой и сильной личностью. У него вопросы сердца стоятъ рядомъ съ глубочайшими задачами человѣческаго существованія и входятъ въ религію долга и личнаго достоинства... Онъ долженъ любить съ одинаковой силой—чувствомъ и мыслью,—тогда только онъ успокоится на своемъ счастьи. И вотъ, мать является первой героиней этого до фанатизма прямолинейнаго *однолюба*.

Послѣ ея смерти онъ чувствуетъ жгучее, нестерпимо-мучительное одиночество. Здѣсь ничего нѣтъ общаго съ идеальной поэтической тоской, приносящей чувствительнымъ сердцамъ несравненно больше утѣшенія, чѣмъ горечи и боли. Это—рѣзкій, знобящій холодъ, оставляющій въ памяти человѣка неизгладимые слѣды на многіе годы, часто на всю жизнь. Послушайте, какъ этотъ удивительный сынъ оплакиваетъ смерть матери и кстати раскрываетъ вообще свою душу. Можно подумать,—мы читаемъ отрывокъ изъ художественно обработаннаго романа съ самыми драматическими приключеніями и съ героями самой сложной, изысканной психологіи.

Добролюбову, какъ всѣмъ людямъ его природы, приходится выслушивать укоризны въ эгоизмѣ, холодности, даже безчувственности. Онъ слышитъ эти навѣты вскорѣ послѣ смерти матери и

отвѣчаетъ на нихъ со всею страстью истиннаго оскорбленнаго чувства. Онъ согласенъ, что есть чрезвычайно счастливые характеры: они горятъ любовью ко всему человѣчеству, у нихъ всегда имѣется въ запасѣ неограниченное множество предметовъ для чувствительныхъ волненій. Потеря одного не поражаетъ ихъ безпоправимымъ ударомъ. Совершенно другая судьба человѣка, не способнаго расточать своихъ чувствъ зря, всякому встрѣчному. Они отдаютъ свое сердце непремѣнно одному существу и тогда, говоритъ будущій критикъ, «въ этомъ существѣ заключается для нихъ весь міръ, и съ потерею его міръ дѣлается для нихъ пустымъ, мрачнымъ и постылымъ, потому что не остается ничего, чѣмъ бы могли они замѣнить любимый предметъ, на что могли бы обратить любовь свою. Изъ такихъ людей и я. Былъ у меня одинъ предметъ, къ которому я не былъ холоденъ, который любилъ со всею пылкостью и горячностью молодого сердца, въ которомъ сосредоточилъ я всю любовь, которая была только въ моей душѣ,—этотъ предметъ была мать моя. Поймешь ли ты теперь, какъ много, необъятно много потерялъ я въ ней?..»

И онъ проситъ своего родственника вѣрить искренности его излiяній. Ему теперь, одинокому и обездоленному, легче послѣ признаній, и когда онъ заканчиваетъ письмо стихами изъ Лермонтовскаго *Демона*, читателю не можетъ и на мысль придти малѣйшее подозрѣніе въ изысканномъ краснорѣчіи, въ ловкомъ подборѣ цитатъ [240]).

Но жизнь идетъ. Молодость неизмѣнна въ своихъ запросахъ. Одиночество—для нея недугъ, нѣчто неестественное, ни сердцемъ, ни разсудкомъ не допустимое. И чѣмъ шире развертывается жизненная дорога, чѣмъ больше надеждъ подсказываютъ молодыя силы, тѣмъ холоднѣе и тягостнѣе окружающій чуждый міръ.

Добролюбовъ становится писателемъ. Его талантъ настолько ярокъ и богатъ, что у свѣдущихъ людей не является ни малѣйшаго сомнѣнія въ блестящемъ будущемъ. Редакторъ главенствующаго журнала—Некрасовъ—говоритъ ему послѣ первыхъ же статей: пишите сколько хотите и чѣмъ больше, тѣмъ лучше. Вліятельнѣйшій современный публицистъ, непогрѣшимый вдохновитель

[240]) Письмо къ двоюродному брату, Мих. Иван. Благообразову. 15 апр. 1854 года. *Матеріалы для біографіи Добролюбова*. М. 1890. I, 119 etc. О религіозности Д—ва, письма къ отцу и матери, стр. 49, 50, 85, 102; письмо къ отцу, стр. 107,—въ мартѣ 1854 года; письмо къ теткѣ, 25 марта 1856 г., послѣднее, гдѣ обнаруживается религіозное чувство въ вопросѣ о говѣньѣ.

молодежи становится его ближайшимъ другомъ. Чернышевскій по цѣлымъ часамъ ведетъ задушевныя бесѣды съ юношей, только что покинувшимъ скамью педагогическаго института. И эти бесѣды, очевидно, до такой степени увлекательны, личность учителя такъ могущественно дѣйствуетъ на трепетно-отзывчивый умъ двадцатилѣтняго собесѣдника, что между ними быстро устанавливается тѣснѣйшая нравственная связь. Старшій становится авторитетомъ для младшаго, внушительнымъ не столько по уму, учености и талантамъ, сколько по взаимному духовному родству. Оба они одного поколѣнія и одного типа въ этомъ поколѣніи.

Чернышевскій также вступилъ въ жизнь добросовѣстнѣйшимъ обожателемъ книжной учености, «красной дѣвушкой» среди товарищей и маменькинымъ сынкомъ среди семьи. Жизнь быстро оказала должное вліяніе на прирожденный независимый умъ и постепенно освободила юношу отъ всевозможной практической и идейной плѣсени. Розовый, застѣнчивый семинаристъ путемъ самостоятельной внутренней работы выросъ въ мужественнаго публициста съ оригинальной и яркой физіономіей. То же самое должно произойти и съ Добролюбовымъ.

Онъ жалуется, что не можетъ различать времени въ бесѣдахъ съ Чернышевскимъ. Они заговориваются до упоенія, перебираютъ литературу и философію, и съ Добролюбова день за днемъ спадаютъ первобытныя наслоенія домашней и семинарской идилліи. И сами обстоятельства являются на помощь прозрѣнію и просвѣщенію. Одинъ ударъ слѣдуетъ за другимъ. Не успѣла скончаться мать, умираетъ отецъ и многочисленной семьѣ грозитъ чуть не голодная смерть. Ея единственный кормилецъ—студентъ педагогическаго института, еще самъ нуждающійся въ помощи. Трудно было при такихъ обстоятельствахъ утѣшаться чудесами. По недавнему еще убѣжденію Добролюбова, сверхестественная сила спасла его—на репетиціи по русской исторіи и онъ, въ искреннемъ умиленіи сердца, могъ сообщить родителямъ о чудныхъ видѣніяхъ,—теперь приходится обращаться къ другимъ способамъ объяснять дѣйствительность и, главное, бороться съ ней. Переворотъ совершается въ сравнительно короткое время: слишкомъ ужъ краснорѣчивы уроки практики и убѣдительны рѣчи авторитета. Уже въ августѣ 1856 года, ровно два года спустя послѣ смерти отца Добролюбовъ пишетъ о своихъ юношескихъ вѣрованіяхъ и иллюзіяхъ, какъ о невозвратномъ прошломъ. Личный опытъ совершенно разочаровалъ его въ сладкоглаголивыхъ по-

ученіяхъ наставниковъ дѣтства. Теперь онъ знаетъ, что такое дѣйствительность и настоящая дѣятельная правда жизни. Онъ покончилъ съ мечтами,—предъ нимъ трудный, но зато какой увлекательный путь сознательной борьбы за разумно сознанныя истины!

И Добролюбовъ вступаетъ на этотъ путь, сначала робко, осторожно, потомъ все смѣлѣй, сообразно съ тѣмъ, какъ крѣпнетъ мысль и выясняются цѣли. Онъ занимаетъ мѣсто перваго критика. Его статьи—одно изъ блестящихъ украшеній журнала и одна изъ причинъ его исключительной распространенности. Редакторъ умѣетъ оцѣнить заслуги молодого сотрудника и дѣлаетъ его вторымъ редакторомъ. Въ двадцать два года—это завидная карьера, особенно въ эпоху всеобщаго подъема общественной мысли. Стоять на первомъ планѣ въ *Современникѣ*, заранѣе быть увѣреннымъ, что каждая напечатанная строчка найдетъ живѣйшій отголосокъ среди просвѣщеннѣйшей и честнѣйшей публики, это можно признать высшимъ счастьемъ молодости, идеальнымъ удовлетвореніемъ писателя.

И оно упрочилось бы, это счастье, если бы нашъ критикъ, помимо таланта, не былъ еще надѣленъ безпокойнымъ, мучительно-любящимъ сердцемъ. Борьба, успѣхъ—двѣ побудительнѣйшихъ причины видѣть подлѣ себя особенно близкаго человѣка, способнаго оцѣнить усилія и искусство въ борьбѣ и раздѣлить радость побѣды. Правда, учитель съ безконечной любовью слѣдитъ за развитіемъ своего друга, возлагаетъ на него самыя смѣлыя надежды, готовъ именовать его геніемъ, бережно лелѣять каждую его мысль. Но онъ только другъ и учитель! Въ двадцать два года это слишкомъ отвлеченное благо и невыносимо спокойныя чувства. Только *она* можетъ цѣликомъ заполнить сердце, утѣшить гнетущую истому молодости и общимъ идеальнымъ стремленіямъ сообщить силу и глубину личнаго всепоглощающаго счастья.

И Добролюбовъ, вѣчно вооруженный воинъ на поприщѣ идей, ведетъ такую же неустанную и еще болѣе тяжелую борьбу съ самимъ собой. И здѣсь онъ безпрестанно остается побѣжденнымъ, ядовитое чувство горечи и безсилія ежеминутно готово сковать юношескій полетъ его мысли и заставить опустить руки подъ напливомъ жгучей тоски, почти отчаянія.

XXXIII.

Какая въ самомъ дѣлѣ странная игра судьбы! Въ годы, когда еще впору учиться, проходить разныя школьныя мытарства, человѣку выпадаетъ слава, настоящая, разумная слава,—не фейерверкъ случайной мимолетной популярности, а то рѣдкое почетное имя, какое въ неприкосновенной свѣжести и чистотѣ переходитъ въ отдаленное потомство. Умъ, талантъ и сердце, готовое сторицей отплатить за малѣйшее доброе чувство, чего еще требуется для любви самой взыскательной, идеально-чистой женщины? Поставить вопросъ отвлеченно, значитъ предрѣшить его. Совершенно другой отвѣтъ дала дѣйствительность. И это непримиримое противорѣчіе логики и фактовъ до такой степени обычно, часто именно въ жизни русскихъ талантливыхъ людей, что, повидимому, логическую безсмыслицу слѣдуетъ считать закономъ природы.

Въ самой разгаръ литературныхъ успѣховъ Добролюбовъ излагаетъ слѣдующую исповѣдь одному изъ своихъ товарищей:

«Если бы у меня была женщина, съ которой я могъ бы дѣлить свои чувства и мысли до такой степени, чтобы она читала даже вмѣстѣ со мною мои (или, положимъ, все равно, твои) произведенія, я былъ бы счастливъ и ничего не хотѣлъ бы болѣе. Любовь къ такой женщинѣ и ея сочувствіе—вотъ мое единственное желаніе теперь. Въ немъ сосредоточиваются всѣ мои внутреннія силы, вся жизнь моя, и сознаніе полной безплодности и вѣчной неосуществимости этого желанья гнететъ, мучитъ меня, наполняетъ тоской, злостью, завистью, всѣмъ, что есть безобразнаго и тягостнаго въ человѣческой натурѣ» [241]):

Онъ неистощимъ на эту тему. Разъ заговоривъ о любви, онъ съ трудомъ прерываетъ рѣчь: до такой степени вопросъ захватываетъ все его нравственное существо. Мечта о женской ласкѣ преслѣдуетъ его неотступно, вмѣшивается въ его работу и превращаетъ ее въ тяжелое бремя, въ отвратительное рабство. Добролюбовъ въ минуты безнадежной, одинокой тоски готовъ видѣть своего рода промыселъ въ своей литературной дѣятельности, торговлю «святынями души своей». Правда, это мимолетные припадки, но они свидѣтельствуютъ, въ какой тяготѣ и мракѣ жилъ человѣкъ лучшіе годы молодости. Онъ задумываетъ куда-нибудь увести

---

[241]) *Ib.*, стр. 492.

свою грусть, напримѣръ, въ Италію: можетъ быть чудная страна заставитъ его забыть свое безграничное одиночество...

Вамъ удивительно читать всѣ эти жалобы. Неужели блестящій писатель въ ореолѣ славы и съ безграничными надеждами на будущіе успѣхи, не могъ вызвать интереса ни у одной женщины? Или онъ самъ, можетъ быть, предпочиталъ только мечтать и изнывать, и не рѣшался взять приступомъ свое счастье?

Совершенно напротивъ! Неуклюжій семинаристъ и труженикъ всѣми силами старается превратиться въ свѣтскаго, интереснаго кавалера. Онъ одѣвается у лучшаго портного, посѣщаетъ общество, непрочь блеснуть остроуміемъ предъ красивыми дѣвицами, готовъ даже пуститься въ хитрую и тягучую интригу. Вообще, въ немъ нѣтъ ни капли педантства, цеховой литературной тяжеловѣсности, недоступнаго глубокомыслія и отталкивающаго доктринерства. Онъ въ высшей степени легко поддается впечатлѣніямъ, разъ онъ видитъ дѣйствительно нѣчто изящное и прекрасное. Недаромъ онъ отлично владѣетъ стихомъ: въ его груди бьетъ живая струя лиризма и онъ способенъ написать цѣлую поэму по поводу встрѣчи съ очаровательной незнакомкой.

И онъ дѣйствительно пишетъ такую поэму. *Она* явилась предъ нимъ, чарующая оригинальной красотой: черные глаза, свѣтлые волосы, правильныя изящныя черты лица, и сколько ума и жизни въ этомъ лицѣ! Одни глаза, кажется, преисполнены ласки, теплоты и свѣта. Нашъ герой замираетъ въ восхищенномъ созерцаніи. Онъ счелъ бы себя счастливымъ, если бы одинъ взглядъ этихъ глазъ упалъ на него. Но она занята танцами: отчего онъ не умѣетъ танцовать! Проклятое семинарское воспитаніе! И знаменитый критикъ въ углу залы терзается завистью къ ловкимъ танцорамъ: они такъ близки къ его божеству!

Но судьбѣ угодно потѣшить несчастнаго. Случайно, здѣсь же на балу, онъ знакомится съ отцомъ красавицы, попадаетъ въ домъ, и немедленно убѣждается, какую жестокую шутку сыграла надъ нимъ судьба! *Она*, невѣста другого, и кого же? Такого же рѣдкаго экземпляра человѣческой породы, какъ она сама, одареннаго рѣдкимъ умомъ, наружностью и талантами?

Нисколько. Избранникъ—обыкновеннѣйшій изъ смертныхъ, «плюгавенькій офицерикъ», но красавица ухитрилась, повидимому, открыть въ немъ не меньше достоинствъ, чѣмъ, напримѣръ, Офелія приписываетъ датскому принцу: «дивный духъ», «воителя отвагу, умъ мудреца»... Она читаетъ всѣ эти доблести на самомъ заурядномъ

номъ лицѣ своего возлюбленнаго, и нашъ бѣдный герой, увѣнчанный, кажется, всѣми феями, присутствуетъ при этомъ неизглаголонномъ ослѣпленіи. Что остается ему? Воскликнуть—«эхъ-ма!» и отступить предъ чужимъ счастьемъ [242]).

И подобная исторія—удѣлъ Добролюбова. Бываетъ даже хуже. На него будто обратятъ вниманіе, начнутъ говорить нѣжныя рѣчи и писать интересныя записки. Сердце у него таетъ, вотъ, вотъ откроется небо и завѣтная греза станетъ дѣйствительностью! Увы! Она призрачнѣе, чѣмъ когда-либо. Надъ нимъ просто потѣшались, шутили. Правда, къ нему расположены, но только какъ къ хорошему человѣку. Ему даже готовы повѣрять тайны сердца, по очень простой причинѣ: развѣ онъ мужчина! Было бы странно стѣсняться съ нимъ, и еще страннѣе, увлекаться и любить.

Опять, какая мораль исторіи? Безцѣльно доискиваться, развѣ спросить только у себя: «Я не знаю, отчего же я не мужчина? И что же я такое, послѣ этого? Неужели баба?» [243]).

Дѣйствительно, задача. Плюгавенькій офицерикъ—герой, а онъ, вовсе не обиженный природой даже внѣшностью, пребываетъ на положеніи сандрильоны и на оскорбительнѣйшей роли повѣреннаго женскихъ тайнъ. У него даже нѣтъ утѣшеній некрасовскаго героя: онъ отнюдь не застѣнчивъ и не лишенъ находчивости и блеска въ какомъ угодно разговорѣ, онъ—авторъ остроумнѣйшихъ эпиграммъ *Свистка!*

Добролюбовъ могъ бы, пожалуй, развлечься *историческими* разсужденіями на тему своихъ неудачъ. Ему легко припомнился бы цѣлый рядъ такихъ же жертвъ женскаго равнодушія и пренебреженія,—и стать въ ряду этихъ жертвъ ему отнюдь не показалось бы унизительнымъ.

Онъ задался цѣлью отыскать гормоническое счастье ума и сердца, женщину-товарища и спутницу,—кто же нашелъ ее? Его великій предшественникъ мечталъ о томъ же въ теченіе всей молодости и до конца дней горько и подчасъ гнѣвно сѣтовалъ на неосуществимость мечты. У Бѣлинскаго имѣлась семья, но не было родной души въ этой семьѣ. А ужъ онъ ли не писалъ горячихъ, неотразимо-захватывающихъ статей, ужъ ему ли, кажется, было не волновать женскихъ сердецъ. И въ награду мѣщанская любовь и, если угодно, мѣщанское счастье.

---

[242]) *Ib.*, 548 etc.
[243]) *Ib.*, 501, 512.

Но, положимъ, онъ писалъ статьи, предметъ все-таки не столь доступный. Возьмемъ поэта, о которомъ другой поэтъ сказалъ, будто навстрѣчу ему неслись въ головокружительномъ восторгѣ шестнадцатилѣтнія дѣвушки. Такъ, вѣроятно, и было: нельзя же равнодушно пропустить исторію Татьяны и множество другихъ вещей первостепенной поэтической прелести. И все таки головокруженья шестнадцатилѣтнихъ читательницъ не помѣшали поэту пережить жесточайшую драму на почвѣ женскаго легкомыслія и равнодушія и заплатить своей кровью за свое «счастье».

И замѣчательно, именно самые рыцарственные защитники женщины и восторженные почитатели вѣчно-женственнаго не находятъ созвучнаго отвѣта на свое подвижничество и свой культъ. Онѣгины могли терять счетъ своимъ жертвамъ и не знать куда дѣваться отъ посланій Татьянъ, а Пушкины въ это время являлись притчей во языцѣхъ и вызывали негодованіе въ качествѣ «уродовъ» и «ревнивцевъ». И непростительный грѣхъ совершилъ Достоевскій предъ исторіей и правдой, когда пропѣлъ гимнъ русской женщинѣ и ея идеалу Татьянѣ и забылъ прибавить великое *но*: за этимъ *но* пришлось бы написать самыя свѣтлыя имена русской литературы и мысли отъ Пушкина до Тургенева. И имя Добролюбова заняло бы въ спискѣ одно изъ самыхъ скорбныхъ мѣстъ.

Вся жизнь его распадается на двѣ параллельныя полосы. Въ журналѣ онъ неутомимый воинъ за общее благо, за идеалы гуманности, свободы, женской равноправности; дома, въ письмахъ онъ изнываетъ въ непрерывной агоніи: это сплошной стонъ, грозящій перейдти въ рыданія. И онъ бѣжитъ изъ дома въ журналъ, набрасывается на работу, какъ на единственное прибѣжище въ нестерпимой душевной боли.

«Хочу все», пишетъ онъ, «искушать умъ наукою безплодной», и даже отчасти успѣваю надуть самого себя, задавая себѣ усиленную работу. Но иногда бываетъ необходимость выйти изъ дома, повидаться съ кѣмъ-нибудь по дѣламъ, и тутъ обыкновенно разстраиваться на цѣлый день. Несмотря на мерзѣйшую погоду, все мнѣ представляется на свѣтѣ такимъ веселымъ и довольнымъ, только я совершенно одинъ, не доволенъ ничѣмъ и никому не могу сказать задушевнаго слова» [244]).

И такъ до самой смерти. За нѣсколько мѣсяцвъ до кончины

[244]) *Ib.* 533.

Добролюбовъ снова возвращается къ грызущему его вопросу. Будто въ предчувствіи близкаго конца его рѣчь становится еще грустнѣе, звучитъ совершенно безнадежно и ни одинъ поэтъ не могъ бы написать болѣе трогательной и прочувствованной элегіи, чѣмъ невольная, годами накипѣвшая жалоба Добролюбова сестрѣ. И эта жалоба писалась въ расцвѣтѣ итальянской весны, подъ небомъ Неаполя, изъ поэтическаго края, гдѣ писатель искалъ душевнаго мира и гдѣ, по обыкновенію, на нѣсколько лишь мгновеній судьба было посулила ему счастье.

Онъ сравниваетъ жизнь замужней сестры съ своей жизнью и читаетъ отходную своимъ мечтамъ и надеждамъ:

«А вотъ я, напримѣръ, шатаюсь себѣ по бѣлому свѣту одинъ одинехонекъ; всѣмъ я чужой, никто меня не знаетъ и не любитъ. Если бы я заговорилъ о своихъ родителяхъ, о своемъ дѣтствѣ, о своей матери, никто бы меня не понялъ, никто не откликнулся бы сердцемъ на мои слова. И принужденъ я жить день за день, молчать, заглушать свои чувства, и только въ работѣ я и нахожуспокоеніе. Говоря по правдѣ, со времени маменькиной смерти до сихъ поръ я и не видывалъ радостныхъ дней. Но роптать и жаловаться къ чему послужитъ? И я покорился своей участи» [245]).

Подобная покорность не проходитъ безслѣдно. Склониться сильному человѣку предъ судьбой значитъ накопить въ своемъ умѣ и сердцѣ неисчерпаемый запасъ горькихъ мыслей и болѣзненныхъ ощущеній. Ядъ пессимизма неизбѣжно отравляетъ самую могучую и свѣтлую энергію. Погромъ въ стремленіяхъ къ личному счастью налагаетъ рѣзкую и тяжелую печать на все міросозерцаніе человѣка, и Добролюбовъ безпрестанно впадаетъ въ мрачное раздумье уже не только о своей участи, а вообще о своемъ поколѣніи, о своемъ времени.

Кажется невѣроятнымъ, какъ въ самомъ началѣ шестидесятыхъ годовъ можно было терять вѣру въ одно изъ энергичнѣйшихъ молодыхъ поколѣній Россія. Самъ Добролюбовъ, умѣвшій работой заглушать личное горе, повидимому достаточное свидѣтельство противъ всякаго пессимизма. На самомъ дѣлѣ именно онъ говоритъ въ тонѣ современника какого-то нравственнаго и общественнаго упадка. И мы знаемъ источникъ тона. Двадцатидвухълѣтній юноша обладалъ бы сверхестественнымъ стоицизмомъ, еслибы ни на одну минуту не допустилъ личнымъ настроеніямъ

---

[245]) Письмо отъ 16 мая 1861 года. *Ib.*, стр. 619.

ворваться въ свои идеи. И Добролюбовъ подчасъ будто ищетъ случая высказать слово отрицанія и сомнѣнія, устроить душъ холодной воды для какого-либо опрометчиваго энтузіаста. Ему видимо доставляетъ особаго рода горькое наслажденіе заявить протестъ противъ слишкомъ самоувѣренныхъ полетовъ идеалистическаго воображенія. На днѣ его души таится глубокій осадокъ скептицизма и ироніи. Онъ на собственномъ опытѣ научился цѣнить по достоинству разныя красивыя мечты и высокопарныя представленія о мірѣ и людяхъ.

Отсюда его безпощадные окрики на публицистовъ, преувеличивающихъ практическое значеніе литературы, на идеалистовъ восторженно вѣрующихъ въ силу человѣческой личности, отсюда, наконецъ, наклонность критика быстро разочаровываться и говорить жалкія слова по первымъ впечатлѣніямъ.

Уже въ 1858 году Добролюбовъ готовъ отчаяться въ современномъ поколѣніи, обозвать его и себя вмѣстѣ съ нимъ вялымъ, дряблымъ, ничтожнымъ, надѣлять тѣми же качествами и «предшественниковъ». Это удивительнѣе всего. Въ туманѣ мрачныхъ думъ Добролюбовъ усмотрѣлъ предшественниковъ своего поколѣнія среди самого несоотвѣтственнаго общества, среди людей, увѣнчивавшихъ свой разладъ съ обществомъ пьянствомъ, путешествіемъ на Кавказъ и въ Сибирь, вступленіемъ даже въ іезуитскій орденъ. Русской исторіи неизвѣстны образчики подобнаго *общественнаго* героизма, за исключеніемъ нѣкоторыхъ невольныхъ обывателей Кавказа и Сибири. Еще менѣе извѣстны исторіи нравственное разслабленіе, отвращеніе отъ борьбы, страсть къ комфорту, если не матеріальному, то умственному и сердечному,— всѣ эти, по мнѣнію Добролюбова, основныя черты его поколѣнія. Оно дало только совершенно безполезныхъ коптителей неба, негодныхъ ни на какую твердую и честную дѣятельность [246])...

Эти изреченія стóятъ запальчивыхъ монологовъ мольеровскаго мизантропа противъ плохихъ стихотворцевъ, достойныхъ будто бы за свою чепуху висѣлицы. И нѣтъ сомнѣнія, русскій шестидесятникъ испытывалъ въ минуты своего общественнаго пессимизма чувства, весьма родственныя обидѣ и гнѣву измученнаго рыцаря Селимены. Не было, конечно, недостатка и въ общихъ источникахъ для грустныхъ настроеній, но именно обиліе этихъ источниковъ рядомъ съ несомнѣнно энергической дѣятельностью людей

---

[246]) *Ib.*, 463.

добролюбовскаго поколѣнія доказывают всю неосновательность краснорѣчивыхъ декламацій на счетъ нравственнаго разслабленія и тунеяднаго коптительства. Добролюбовъ, противъ своего ожиданія, изобразилъ не себя и не своихъ сверстниковъ, а людей дѣйствительно отжившаго прошлаго, являющихся привидѣніями среди обновлявшейся Россіи.

Но у Добролюбова пессимизмъ былъ такъ же искрененъ, какъ реальна дѣйствительность, отравившая его молодость. Немного людей и еще меньше писателей способно такъ самоотверженно анализировать свою личность, талантъ, значеніе своей дѣятельности. Кажется злѣйшій врагъ не могъ бы наплести столько ужасовъ на особу нашего критика, сколько открылъ онъ самъ. Это—настоящій смертный приговоръ! И нѣтъ у него нравственныхъ силъ, и лишенъ онъ серьезныхъ знаній, и не получилъ онъ никакого воспитанія... Катковъ пришелъ бы въ неописанный восторгъ, если бы могъ перепечатать эту исповѣдь въ своихъ изданіяхъ. Особенно ярко онъ подчеркнулъ бы унизительный отзывъ Добролюбова о своей литературной работѣ. «Я вижу самъ,—признается Добролюбовъ»,—что все, что пишу слабо, плохо, старо, безполезно, что тутъ виденъ только безплодный умъ, безъ знаній, безъ данныхъ, безъ опредѣленныхъ практическихъ взглядовъ. Поэтому я и не дорожу своими трудами, не подписываюсь, и очень радъ, что ихъ никто не читаетъ»... [247]).

Подъ этими трудами дѣйствительно стоитъ или —*бовъ*, или совсѣмъ нѣтъ никакой подписи. Также и Бѣлинскій почти никогда не подписывалъ своихъ статей, не злоупотреблялъ своей подписью и Чернышевскій: эти инкогнито не помѣшали именамъ критиковъ стяжать громкую всероссійскую извѣстность. Скромность и покаяныя рѣчи Добролюбова свидѣтельствуютъ, до какого предѣла была развита у него совѣсть, требовательность къ самому себѣ и съ какимъ мужествомъ онъ умѣлъ смотрѣть въ глаза своимъ недостаткамъ, часто даже мнимымъ. Вѣрнѣйшій признакъ именно великой нравственной силы!

Въ сѣтованіяхъ Добролюбова на свои ученическіе годы много правды. Онъ дѣйствительно убилъ бездну труда и времени на негодное чтеніе, до двадцати лѣтъ могъ читать только на русскомъ языкѣ книги и притомъ далеко не самыя поучительныя. Съ такимъ личнымъ образовательнымъ богатствомъ онъ долженъ выступить въ

---

[247]) *Ib.*, 434 etc.

*

качествѣ учителя и руководителя публики! Какимъ же запасомъ воли надлежало обладать, какія дарованія необходимо было обнаружить, чтобы съ честью выполнить столь, повидимому, неожиданное и отвѣтственное назначеніе!

Соедините всѣ эти факты вмѣстѣ, представьте себѣ юношу, успѣвшаго къ двадцати пяти годамъ закончить свое земное поприще, пережить за этотъ срокъ неизлѣчимую драму неудовлетвореннаго сердца, ненасытную жажду рыцарски-честной, горячей мысли, и ежеминутно томиться между сомнѣніями въ своемъ нравственномъ правѣ на выполняемое дѣло и вѣрой въ его неотразимый успѣхъ... Вдумайтесь въ эту психологію, независимо отъ какихъ бы-то ни было направленій и партій и сопоставьте этого «мальчишку» и «невѣжду» съ его врагами-олимпійцами и мудрецами,—простѣйшее чувство справедливости и прирожденное человѣческое достоинство подскажетъ вамъ окончательный приговоръ и вы безъ всякихъ преднамѣренныхъ толкованій придете къ рѣшительному заключенію: пусть подобные мальчишки и невѣжды ошибаются, пусть обнаруживаютъ недостатокъ учености и отсутствіе солидности во взглядахъ, самыя ихъ ошибки—подлинная жизнь человѣческой души, въ то время, какъ даже великая мудрость олимпійцевъ только *внѣшняя* политика. И вы, не соглашаясь со многими идеями и увлеченіями людей добролюбовскаго типа, должны будете сознаться: въ дѣлѣ, какое они защищаютъ, непремѣнно есть что-то благородное и честное. Именно *тиранія* защитниковъ—твердая порука въ идеальномъ характерѣ самой защиты. И въ этомъ заключается разгадка страннаго явленія: нѣкоторыя имена долго остаются знаменами даже послѣ того, какъ позднѣйшія поколѣнія уже переросли ихъ идеалы и разоблачили всѣ ихъ заблужденія и недоразумѣнія. Идеальныя стремленія мѣняются по эпохамъ и историческимъ обстоятельствамъ, но идеальныя личности безсмертны, въ своемъ величіи и чистотѣ неуязвимы ни для какой давности, ни для какого прогресса.

XXXIV.

Дѣятельность Добролюбова продолжалась около четырехъ лѣтъ. Въ ней нѣтъ ни періодовъ, ни замѣтныхъ переходовъ, ни яркихъ преобразованій. Предъ нами всѣ статьи критика будто одинъ непрерывный монологъ, весьма обширный, но въ основныхъ руководящихъ идеяхъ удивительно выдержанный. Судьба позволила

критику произнести только одну рѣчь, на сколько могло хватить у него одного порыва, одного глубокаго подъема груди, и пробѣгла жизнь раньше, чѣмъ онъ успѣлъ перевести духъ. Этой стремительностью и скоротечностью работы объясняется отчасти исключительная *сплоченность* и *цѣльность* идей Добролюбова: ея нѣтъ ни у одного русскаго критика подобнаго дарованія. Но, несомнѣнно, имѣла здѣсь значеніе и ранняя зрѣлость мысли, поразительная способность человѣка въ двадцать лѣтъ точно и увѣренно опредѣлить свое міросозерцаніе и неуклонно развивать его въ строгой логической послѣдовательности.

Признавая этотъ фактъ, мы не должны, однако, преувеличивать творческихъ силъ Добролюбова въ области идей. Мы не должны забывать, что̀ въ его распоряженіи находился матеріалъ высшаго качества для сооруженія собственнаго принципіальнаго зданія. Сочиненія Бѣлинскаго представляли цѣлую энциклопедію критики и публицистики и достаточно было разобраться въ этомъ наслѣдствѣ, чтобы упрочить за собой вліятельное положеніе въ современной литературѣ. Имѣть подобныхъ предшественниковъ, съ одной стороны, очень полезно, но съ другой—въ высшей степени отвѣтственно. Чернышевскій и Добролюбовъ могли бы и собственными силами подняться на высоту такъ называемой реальной критики и гражданской мысли: прогрессъ въ этомъ смыслѣ, несомнѣнно, составлялъ ихъ нравственную природу. Но разъ существовалъ Бѣлинскій, имъ оставалось только воспринять *чужія* мысли и постигнуть путь ихъ органическаго, естественнаго развитія.

У Добролюбова эта невольная зависимость отъ предшествующаго еще настойчивѣе и шире, чѣмъ у Чернышевскаго. Рядомъ съ Бѣлинскимъ его учителемъ явился тотъ же Чернышевскій—учителемъ, лично глубоко любимымъ, слѣдовательно, неограниченно авторитетнымъ и незамѣтно, *симпатически-властнымъ*. Въ результатѣ, міросозерцаніе Добролюбова неминуемо должно полностью отразить общіе идеалы и частныя увлеченія его предшественниковъ, и главная историческая заслуга молодого критика сведется не къ оригинальнымъ открытіямъ въ области уже раньше всесторонне разработанной, а къ достойному, вдумчивому продолженію чужого дѣла. Мы опять, слѣдовательно, приходимъ къ прежнему выводу: нравственная личность Добролюбова—его высшее право на нашу признательность. Она воскресила и мужественно повела впередъ забытыя и замершія стремленія великаго гражданина

до-реформенной Россіи, она явилась той благородной и отзывчивой почвой, гдѣ долго безпріютныя сѣмена идеализма сороковыхъ годовъ нашли, наконецъ, пріютъ и вновь зазеленѣли и зацвѣли.

Да, мы все время въ знакомой, уже изученной нами обстановкѣ. Мы успѣли пройти это зданіе по всѣмъ направленіямъ, правда, всѣхъ подробностей мы, повидимому, не отмѣтили, тщательно не разглядѣли, но мы отлично помнимъ общій планъ, главнѣйшіе орнаменты, и указанія новаго проводника не противорѣчатъ нашимъ представленіямъ. Напротивъ. Мы слушаемъ его съ особеннымъ удовольствіемъ именно потому, что онъ съ рѣдкой ясностью и логичностью умѣетъ вновь развить и доказать дорогіе для насъ принципы.

Во главѣ стоитъ плодотворнѣйшая могущественная идея всякаго прогрессивнаго движенія въ наукѣ и въ общественной мысли—*понятіе факта*. Мы знаемъ, какъ настаивалъ на немъ Чернышевскій,—Добролюбовъ положитъ это понятіе въ основу всѣхъ своихъ литературныхъ и политическихъ разсужденій и воздвигнетъ стройную систему эстетики и общественнаго идеализма..

Фактъ, это значитъ добросовѣстно и безкорыстно раскрытая дѣйствительность, отсутствіе фантастическихъ мечтательныхъ украшеній жизненной правды, вражда къ безпочвенной реторикѣ, праздному фразерству, чисто-религіозный культъ *дѣла*, положительныхъ настоятельно-потребныхъ задачъ личности и общества. *Фактъ* въ наукѣ—значитъ опытное изслѣдованіе и выводы, совершенно свободные отъ предвзятыхъ теорій и метафизическихъ внушеній, *фактъ* въ общественной дѣятельности — честное прямое отношеніе къ современности, умѣнье соразмѣрять силы личности съ нуждами общаго блага, работать на данной почвѣ, при данныхъ обстоятельствахъ, не улетать въ надзвѣздныя сферы и не тѣшить себя мнимо идеальными призраками среди тупого непониманія или преступнаго равнодушія къ жестокой правдѣ земли.

Вотъ краткій символъ добролюбовской вѣры, все остальное только выводъ и частности. При талантѣ критика эти частности стоятъ общихъ истинъ: до такой степени блестяще и мощно ихъ развитіе!

Прежде всего, насъ поражаетъ удивительно ясная, невозмутимая *трезвость взгляда*. Странно это слышать! Вѣдь Добролюбовъ—одинъ изъ самыхъ злокозненныхъ «мальчишекъ»: слѣдовало бы ждать примѣрнаго легкомыслія и азарта. На самомъ дѣлѣ русская литература именно въ сочиненіяхъ Добролюбова владѣетъ

самыми зрѣлыми и обдуманными страницами. Предъ этой твердостью и спокойной увѣренностью формы и содержанія—выкликанія *Русскаго Вѣстника* являются какимъ-то психопатическимъ припадкомъ, безтолковыми метаніями раненаго звѣря. И не одного *Русскаго Вѣстника*: подъ ударами этого безпощаднаго анализа и дѣйствительно *реальной* логики могутъ почувствовать краску стыда люди, искренно считающіе себя вѣрными противниками реакціи, консерватизма и блистательными двигателями прогресса.

Добролюбовъ въ самомъ выгодномъ положеніи, чтобы изобличать злѣйшую язву русской литературы и общественности. И въ его смѣлости и истинно-молодой искренности—великій гражданскій подвигъ. Бороться съ явными мракобѣсами, крѣпостниками и скотолюбцами ему, человѣку шестидесятыхъ годовъ, не предстоитъ особенной нужды. Только позже эти породы получатъ настолько видное значеніе. что состязанія съ ними станутъ вопросомъ дня. Пока праздникъ еще далеко отъ ихъ улицы,—и у молодой публицистики имѣется другой, несравненно болѣе опасный врагъ,—не утратившій своей ядовитости и до послѣднихъ дней.

Послѣ севастопольскаго погрома, съ началомъ новаго царствованія надъ Россіей пронеслась нѣкая живительная сила. Страна будто проснулась и раскрыла свои глаза на свои недуги и язвы. Въ порывѣ самобичеванія она принялась всенародно каяться въ своихъ прегрѣшеніяхъ, раскрывать «свои общественныя раны»,— и въ самое короткое время на сцену выступило множество вопросовъ, задачъ, стремленій. Вышло зрѣлище поучительное и трогательное. Можно было подумать,—просыпается исполинъ на великіе подвиги. И отрадное чувство невольно охватывало свидѣтелей этого величественнаго возрожденія. И особенно нашъ критикъ, только что расправившій крылья своей одаренной природы, увлекался и мечталъ.

Многое, слишкомъ многое наполняло эти мечты. Юноша, вѣроятно, ждалъ мгновеннаго обновленія земли и неба. Мечты— простительныя: въ самомъ дѣлѣ уже очень громко происходила всенародная исповѣдь и даже солидные люди старшаго поколѣнія поддавались искушеніямъ минуты.

Но прошло два года, и нашъ молодой наблюдатель долженъ разстаться съ мечтами. Кающіеся люди успѣли уже ослабѣть и утомиться. Самые запальчивые отошли въ сторону и предпочли занять выжидательное положеніе. Почему?

Критика, можетъ быть, неправа въ своемъ быстромъ приговорѣ

русскому обществу *въ 1857 году*: было еще рано клеймить его за малодушіе и безразличіе. Наступившія вслѣдъ реформы встрѣтили горячій откликъ въ этомъ обществѣ и нашли даже въ его средѣ людей сознательнаго дѣла. Но эти факты не опровергаютъ негодующей рѣчи Добролюбова. Онъ правъ, усматривая среди многихъ своихъ современниковъ родовую черту русскихъ гражданскихъ скорбниковъ. Еще до реформъ онъ могъ наблюдать немало присмирѣвшихъ ораторовъ на либеральныя темы и еще больше прогрессивныхъ эксплоататоровъ новыхъ идей. *Фраза*—этотъ злѣйшій врагъ Добролюбова—успѣла и въ первые два года новыхъ вѣяній заявить свое всероссійское значеніе и открыть предъ внимательнымъ молодымъ наблюдателемъ цѣлый рядъ руководителей реторическаго, тунеяднаго, шарлатанскаго «либерализма».

«Подвиги нужно совершать не на однихъ словахъ»—«нужны дѣйствительные труды и пожертвованія»—вотъ страшный голосъ *фактовъ*. Стоило ему раздаться въ ушахъ всероссійскихъ покаянниковъ, и героическое зрѣлище мгновенно стало неузнаваемымъ. Проснувшійся было Илья Муромецъ, правда, снова не погрузился въ безпробудный сонъ, но явь его оказалось, пожалуй, еще жалче спячки.

Вотъ галлерея какихъ спасителей отечества проходитъ предъ современникомъ столь, повидимому, энергической, вдохновляющей эпохи. Помѣщикъ толкуетъ о правахъ человѣчества и о необходимости развитія личности; чиновникъ жалуется на запутанность и обременительность дѣлопроизводства; офицеръ—на утомительность парадовъ; въ журналахъ читаются «либеральныя выходки» противъ злоупотребленій; въ обществѣ просвѣщенныхъ людей высказывается горячее сочувствіе нуждамъ человѣчества, разсказываются съ одушевленіемъ анектоды о взяточникахъ и беззаконіяхъ всякаго рода...

Кто же всѣ эти ораторы и публицисты? По глубокому убѣжденію Добролюбова все это Обломовы, и либеральныя статьи пишутся изъ Обломовки. ([248]).

Обломовскій типъ въ русской природѣ вовсе не ограничивается лежебоками вродѣ Ильи Ильича. Типъ видоизмѣняется и совершенствуется и признаки его въ высшей степени разнообразны, нерѣдко блестящи и очаровательны, особенно для жен-

---

[248]) *Что такое обломовщина? Сочиненія*. II, 556—7. Ср. *Губернскіе очерки. Ib*. I, 435 etc.

скихъ сердецъ. Онѣгинъ, Печоринъ, Рудинъ, Бельтовъ не чета гончаровскому герою, а между тѣмъ всѣ они одной съ ними породы. У всѣхъ у нихъ одна общая черта—*безплодное стремленіе къ дѣятельности, сознаніе что изъ нихъ многое могло бы выйти, но не выйдетъ ничего.* Это главное, все остальное подробности и для конечнаго результата безразлично, страстный ли *печоринскій* темпераментъ у Обломова или *обломовскій* въ точномъ смыслѣ слова, краснорѣчивъ ли Обломовъ на манеръ Рудина или многозначительно молчаливъ по образцу Онѣгина. Всѣ они проживутъ жизнь байбаками и лишними людьми.

Типичный голосъ шестидесятника! И онъ логическое послѣдствіе критики Бѣлинскаго. У стараго идеалиста не хватило бы духа обозвать Печорина и Рудина тунеядцами и отожествить съ жалкимъ нравственно-недужнымъ отбросомъ крѣпостной теплицы, но запросъ Бѣлинскаго къ сознательному и дѣятельному идеализму былъ смертнымъ приговоромъ блестящему типу при всѣхъ его задаткахъ протеста и внѣшнихъ чарахъ.

Добролюбовъ только иллюстрировалъ общій идеалъ Бѣлинскаго, всей своей натурой отвѣчавшаго на горечь и гнѣвъ своего преемника. И Добролюбовъ, рисуя положительный контрастъ Обломовымъ, невольно и безсознательно характеризуетъ своего первоучителя:

«Всѣ обломовцы никогда не перерабатывали въ плоть и кровь свою тѣхъ началъ, которыя имъ внушили, никогда не проводили ихъ до послѣднихъ выводовъ, не доходили до той грани, гдѣ слово становится дѣломъ, гдѣ принципъ сливается съ внутренней потребностью души, исчезаетъ въ ней и дѣлается единственною силою, двигающею человѣкомъ. Потому-то эти люди и лгутъ безпрестанно, потому-то они и являются такъ несостоятельными въ частныхъ фактахъ своей дѣятельности. Потому-то и дороже для нихъ отвлеченныя воззрѣнія, чѣмъ живые факты, важнѣе общіе принципы, чѣмъ простая жизненная правда. Они читаютъ полезныя книги для того, чтобы знать, что пишется; пишутъ благородныя статьи затѣмъ, чтобы любоваться логическимъ построеніемъ своей рѣчи; говорятъ смѣлыя рѣчи, чтобы прислушиваться къ благозвучію своихъ фразъ и возбуждать ими похвалы слушателей. Но что далѣе, какая цѣль всего этого читанія, писанія, говоренія, они или вовсе не хотятъ знать, или не слишкомъ объ этомъ безпокоятся».

Эта характеристика обломовщины должна остаться безсмерт-

Бѣлинскій, какъ исконный питомецъ философскихъ системъ, не могъ лишить литературы самостоятельнаго идеальнаго значенія, т. е. принципіальнаго независимаго воздѣйствія на дѣйствительность. Для Бѣлинскаго существуетъ двѣ равноправныхъ силы— *художникъ* и *жизнь*, *творчество* и *фактъ*. Поэтому онъ такъ и настаивалъ на разностороннемъ нравственномъ развитіи художника, на «духовно-личной самостоятельности» художника, на его «вѣчно-тревожномъ стремленіи къ идеалу и уравненіи съ нимъ дѣйствительности». Гоголь, при всей геніальной способности воспроизводить дѣйствительность, не удовлетворялъ Бѣлинскаго потому что въ немъ—какъ художникѣ—не было этой субъективной стихіи, опредѣленнаго жизненнаго идеала.

Добролюбовъ перетягиваетъ вѣсы на сторону дѣйствительности по очень понятной причинѣ: такимъ путемъ онъ думаетъ сохранить вѣрность факту и реализму. Идея, богатая многочисленными истинами, но въ тоже время представляющая немало опасностей.

Критикъ прекрасно понимаетъ психологію творчества. Онъ далекъ отъ мысли производить какіе бы то ни было насильственные опыты надъ художественнымъ произведеніемъ и призывать художника на инквизиціонный судъ за отсутствіе направленія. Онъ не станетъ, конечно, разсуждать о томъ, что такое красота, эстетическое волненіе: этимъ на досугѣ могутъ заняться чувствительныя барышни [251]). Критика и въ жизни и литературѣ занимаютъ только жизненные факты, и онъ смотритъ на созданіе искусства совершенно какъ на произведеніе ума и науки. Оно для него таже исторія и тоже естественное описаніе. Въ практической жизни дѣльное пониманіе фактовъ и явленій неизмѣримо дороже и важнѣе, чѣмъ теорія и отвлеченія,—въ художественныхъ произведеніяхъ фактическое содержаніе нужнѣе авторской тенденціи. Это—двѣ стороны одной и той же истины: «Жизнь не уловляется діалектикой—для Добролюбова до такой степени неопровержимая истина, что онъ готовъ впасть въ фатализмъ, признать за личностью одну только способность воспріятія, а жизни и средѣ приписать всемогущую силу создавать такой или иной нравственный міръ въ человѣкѣ. Личность *ничтожна* предъ общимъ ходомъ исторіи [252]). Это вполнѣ естественный выводъ матеріали-

---

[251]) *Когда же придетъ настоящій день?* III, 275.

[252]) I, 441, 558.

стической философіи,—и Добролюбовъ, въ качествѣ добросовѣстнаго ученика Чернышевскаго, не перестаетъ твердить о столь же стихійномъ, математически-неуклонномъ развитіи духовнаго міра, какое царствуетъ въ физическомъ.

Совершенно послѣдовательно въ искусствѣ онъ будетъ сосредоточивать свое вниманіе на средѣ и событіяхъ и равнодушно относиться къ теоріямъ художника, какъ нравственной и гражданской личности. Какъ ни странно и даже неожиданно, но именно Добролюбовъ возстанетъ противъ тенденціозности и партійности въ художественномъ творчествѣ и произнесетъ защитительную рѣчь въ пользу объективности. Конечно, онъ поспѣшитъ отречься собственно отъ чистаго искусства и съ одинаковымъ презрѣніемъ встрѣтитъ резонерскій либерализмъ Бенедиктова и беззаботное щебетанье идиллическихъ пѣвцовъ луны и дѣвы. Но все-таки объективность не только законное, а даже великое достоинство художника,—больше: требовать отъ него непремѣнно раздражительнаго содержанія, т. е. тенденціознаго—значитъ непремѣнно хотѣть руководителя даже въ чувствахъ, т. е. впадать въ обломовщину [253]).

Мы должны брать то, что даетъ намъ поэтъ и требовать лишь одного: пусть его *предметъ* будетъ значителенъ, все остальное приложится само собой. Слѣдовательно, вопросъ может быть только о приложеніи таланта, а не о руководящихъ принципахъ художника,—и цѣнность таланта зависитъ не отъ субъективныхъ теоретическихъ задачъ, а отъ объекта творчества. Можно выразиться еще яснѣе: великій талантъ непремѣнно идеенъ и общественно-поучителенъ, независимо отъ преднамѣренныхъ задачъ. Къ этому выводу пришелъ Бѣлинскій и его усвоилъ Добролюбовъ. «У сильныхъ талантовъ,—говоритъ онъ,—актъ творчества такъ проникается всею глубиною жизненной правды, что иногда изъ простой постановки фактовъ и отношеній, сдѣланной художникомъ, рѣшеніе ихъ вытекаетъ само собою». «И для критика,—по его собственнымъ словамъ,—именно тѣ произведенія и важны, въ которыхъ жизнь сказалась само собою, а не по заранѣе придуманной авторомъ программѣ» [254]).

Задачи критики послѣ этого вполнѣ ясны и, на первый взглядъ, дѣйствительно не хитры, на чемъ настаиваетъ Добролюбовъ. Кри-

---

[253]) II, 531.

[254]) *Забитые люди.* III, 552; 277.

тика должна подвести итоги даннымъ, разсѣяннымъ въ произведеніи автора, взглянуть на нихъ какъ на явленія, *факты жизни*. Она будетъ имѣть дѣло исключительно съ произведеніемъ, дѣйствующими лицами, а не съ личностью художника. Для нея, напримѣръ, совсѣмъ не существуетъ вопроса, почему Островскій не уподобляется Гоголю и чѣмъ онъ отличается отъ Шекспира? Она не станетъ также допытываться, какихъ воззрѣній придерживается драматургъ на старый и новый бытъ Россіи? Положимъ, онъ изобразилъ старозавѣтнаго и въ тоже время добраго и умнаго героя: реальная критика не позволитъ себѣ сдѣлать заключеніе, что авторъ сочувствуетъ стариннымъ предразсудкамъ,—она сосредоточится на фактѣ: на сценѣ хорошій человѣкъ, зараженный предразсудками,—дѣйствителенъ ли этотъ фактъ? Если дѣйствителенъ, то чѣмъ онъ объясняется? И какія объясненія имѣются въ самомъ произведеніи?

Очевидно, величайшій вредъ художнику можетъ причинить всякая односторонность, исключительность, пристрастіе. Онъ долженъ или сохранить совершенно простой, *младенчески-непосредственный* взглядъ на міръ, или спастись отъ односторонности возможно болѣе широкимъ развитіемъ своихъ понятій, т. е. стать въ уровень съ передовыми людьми мысли своего времени. Отсюда тѣснѣйшая связь искусства и науки [255]).

Предъ нами опять воскресаетъ Бѣлинскій и мы должны признать, что болѣе вѣрнаго ученика критикъ не могъ желать. Слѣдуетъ прибавить, и болѣе вліятельнаго, и болѣе краснорѣчиваго въ общемъ *положительномъ* движеніи шестидесятыхъ годовъ. Сколько безсмыслицы, невѣжества или преднамѣренной клеветы въ навѣтахъ, будто шестидесятники — безпощадные гонители искусства, фанатическіе проповѣдники тенденціозныхъ проповѣдей въ беллетристикѣ! Ни одинъ чистый поэтъ не умѣлъ защитить поэзіи и творчества съ такимъ авторитетомъ, съ такой логичностью, какъ это удалось Добролюбову. Онъ, признаетъ *чувство художника* источникомъ нравственнаго возмущенія противъ беззаконной дѣйствительности, онъ оберегаетъ Островскаго и Тургенева отъ резонерскихъ натисковъ изъ Обломовки, онъ ощущаетъ страхъ— «прикоснуться своей холодной и жесткой рукой къ нѣжному поэтическому созданію», т. е. къ тургеневской Еленѣ,—и сухимъ безчувственнымъ пересказомъ профанировать чувство читателя и

---

[255]) III, 276. *Темное царство*. III, 14.

поэзію романа, онъ пишетъ лирическую страницу о благодатныхъ слезахъ, свѣтлыхъ воспоминаніяхъ дѣтства, о чарахъ дѣвственныхъ волненій, онъ признаетъ за вдохновеніемъ художника силу проникать въ міръ, закрытый для логическаго мышленія, онъ представляетъ себѣ всю мощь, всю сложность творческой работы, возсоздающей изъ безсвязныхъ, отрывочныхъ, противорѣчивыхъ явленій дѣйствительности стройное цѣлое,—и этотъ *онъ*—вождь новыхъ вандаловъ! [256]). О если бы русское искусство вѣчно знало только такихъ разрушителей и реалистовъ! Не пришлось бы ему переживать періодическихъ смутъ со всѣми бѣдствіями умственнаго междуцарствія — художественнымъ декадентствомъ и идейнымъ индифферентизмомъ.

Иногда можно подумать,—Добролюбовъ даже переоцѣнивалъ искусство въ ущербъ чистымъ фактамъ дѣйствительности,—и эта переоцѣнка не мимолетное увлеченіе, а строго обдуманный выводъ изъ глубокаго и разносторонняго представленія о предметѣ. Вотъ разсужденіе изъ предсмертной статьи Добролюбова: оно—подлинное завѣщаніе истиннаго шестидесятника, оно—послѣднее слово въ эстетикѣ перваго дѣйствительно прогрессивнаго періода эпохи:

«Художникъ всегда безпристрастенъ: къ спорамъ и теоріямъ онъ не прикасается, а наблюдаетъ только факты жизни да и рисуетъ ихъ какъ умѣетъ,—вовсе не думая, кому это послужитъ для какой идеи пригодится. И поэтому-то именно замѣчательный художникъ важенъ въ общественномъ смыслѣ: въ жизни-то еще когда наберешь фактовъ, да и тѣ будутъ блѣдны, отрывочны, побужденія не ясны, причины смѣшаны; а тутъ, пожалуй, и одно или два явленія представлены, да за то такъ, что послѣ нихъ уже никакого сомнѣнія не можетъ быть относительно разряда подобныхъ явленій» [257]).

Добролюбовъ не остановился на признаніи могучей просвѣтительной и облагораживающей силы за искусствомъ. Онъ, оберегая неприкосновенность художественной личности, готовъ загорѣться гнѣвомъ противъ «споровъ и партій», только потому что они споры и партіи. Критикъ увлекся объективностью гораздо больше, чѣмъ позволяла его публицистическая натура и допускали задушевнѣйшія стремленія его поколѣнія. Что-нибудь изъ двухъ—или признавать «глубокую страстность» и «святое недовольство» Бѣлинскаго достоинствами,

---

[256]) III, 277, 297, 535.
[257]) III, 563.

или считать идеаломъ спокойствіе Гончарова. Критикъ совершенно правъ въ своихъ восторгахъ предъ вдохновенной проницательностью геніальныхъ художниковъ: они дѣйствительно способны схватывать въ жизни и изображать въ дѣйствіи то, что философы только предугадываютъ въ теоріи. Они могутъ являться «полнѣйшими представителями высшей степени человѣческаго сознанія въ извѣстную эпоху» и, слѣдовательно, своимъ творчествомъ внушать человѣчеству яснѣйшее представленіе о силахъ и потребностяхъ даннаго времени. Таковъ, напримѣръ, Шекспиръ. Но значитъ ли это, что художникъ великъ по мѣрѣ своего отчужденія отъ партій и политическихъ волненій своихъ современниковъ? Какъ же онъ тогда будетъ уяснять «живыя силы» и «естественныя наклонности» своей публики ей же самой? Не слѣдуетъ ли придти къ совершенно обратному заключенію?

Недоразумѣніе рѣшилъ самъ Добролюбовъ удивительными разсужденіями о Беранже и характеристикой Катерины Островскаго. Обѣ статьи — слабѣйшія произведенія добролюбовскаго пера и свидѣтельствуютъ гораздо больше объ искренности критика, чѣмъ объ основательности и вдумчивости его политической мысли и психологическаго анализа. Но, произнося этотъ приговоръ, мы должны помнить первоисточникъ недоразумѣній: не можетъ быть сомнѣнія, что въ недалекомъ будущемъ самъ критикъ внесъ бы необходимыя поправки въ свои нецѣлесообразныя увлеченія, какъ это онъ успѣлъ сдѣлать относительно идей среды и историческаго фатализма.

XXXVI.

Представленіе о всемогуществѣ *среды*, мы знаемъ, возникло на почвѣ матеріалистическаго воззрѣнія, но жизненные опыты быстро доказали несостоятельность прямолинейнаго ученія. У Добролюбова это произошло послѣ перваго же столкновенія съ фактами, доказывавшими, повидимому, невиновность личности въ вопіющихъ нарушеніяхъ принциповъ гуманности и культурности. Исторія въ свое время надѣлала много шуму: въ положеніи обвиняемаго оказался просвѣщеннѣйшій современный администраторъ — Пироговъ.

Добролюбовъ восторженно привѣтствовалъ *Вопросы жизни* — статьи Пирогова въ *Морскомъ Сборникѣ*. Критику оставалось только развивать его преобразовательныя гуманныя идеи, рѣзко опредѣленныя и прямо высказываемыя. Но восторгъ пришлось

очень скоро замѣнить другими чувствами и написать негодующую статью *Всероссійскія иллюзіи, разрушаемыя розгами*, съ эпиграфомъ *Tu quoque Brute*. Оказывалось, Пироговъ издалъ *Правила о проступкахъ и наказаніяхъ учениковъ* и не призналъ возможнымъ окончательно и безповоротно изгнать тѣлесныя наказанія изъ учебныхъ заведеній. Сюда поступали дѣти, подвергавшіяся сѣченію дома, отъ родителей, и *Правила* на этомъ основаніи считали невозможнымъ «вдругъ вывести розгу изъ употребленія», хотя и признавали розгу «гнусной и вредной». Пироговъ, лично безусловно враждебный тѣлеснымъ наказаніямъ, уступилъ большинству педагогическаго комитета при учебномъ округѣ. Съ самаго начала онъ положилъ рѣшать всѣ вопросы по округу коллегіальнымъ путемъ, не измѣнилъ рѣшенію и въ вопросѣ о розгахъ.

Правъ онъ или виноватъ?

Съ излюбленной точки зрѣнія Добролюбова на всемогущество среды Пироговъ поступилъ вполнѣ закономѣрно, исторически-фатально и призывать его на судъ рѣшительно не за что; его дѣйствія *естественны*: они оправдываютъ общій неотразимый порядокъ вещей. Съ другой стороны защитники Пирогова восхваляли его за вѣрность коллегіальному началу, за подчиненіе большинству. Особенно сослуживцы Пирогова, зная безукоризненную гуманность и терпимость своего начальника, жестоко возмущались нападками Добролюбова. Одинъ изъ нихъ, много лѣтъ спустя, спрашивалъ: «Что бы сказалъ тотъ же Добролюбовъ, если бы Пироговъ отвергнулъ мнѣніе комитета? Вѣроятно написалъ бы статью подъ заглавіемъ: *Гуманность, превратившаяся въ мандарина*, или что-нибудь въ такомъ родѣ» [258]).

Несомнѣнно написалъ бы, если бы большинство оказалось *противъ* розогъ, а самъ Пироговъ—за розги. Слѣдовательно, нравственный характеръ дѣйствій Пирогова зависѣлъ исключительно отъ отвѣта на поставленный вопросъ и въ интересахъ желательнаго отвѣта Добролюбовъ вынужденъ придти къ совершенно новому пониманію взаимныхъ отношеній личности и среды. Вся статья *Отъ дождя да въ воду*—обвинительный актъ противъ податливости, уступчивости, подчиненія необходимости со стороны личности предъ какой бы то ни было повелительной средой. И критикъ, вмѣсто прежняго узаконенія факта ничтожества личности предъ ходомъ обстоятельствъ, теперь снабжаетъ личность совѣтами, какъ

---

[258]) *Воспоминанія о Пироговѣ* Л. Доброва. *Русск. Ст.* 1885, іюнь, 608.

вести борьбу противъ среды. Съ этихъ поръ онъ усердно принимается толковать о значеніи убѣжденій, сильной натуры, нравственной твердости и самостоятельности. Сначала онъ рекомендуетъ честнымъ людямъ приступать къ общественной дѣятельности непремѣнно съ опредѣленной програмой и съ неуклоннымъ намѣреніемъ или выполнить ее, или удалиться. Потомъ додумывается до реальнаго опредѣленія среды. Она перестаетъ являться ему какой-то неотразимой фатальной темной силой. Онъ разложилъ ее на составные элементы и пришелъ къ заключенію: «среда— это всѣ мы... и всѣ обязаны хлопотать, на сколько есть силъ и умѣнья о существенномъ измѣненіи нашего положенія, чтобы развязаны были намъ руки на проведеніе нашихъ задушевныхъ убѣжденій» [259]).

Эта истина становится главнымъ символомъ добролюбовской публицистики. Нѣтъ сомнѣнія, и раньше онъ понималъ настоящую цѣну личной силы и убѣжденности, но школьная философская теорія заставляла его чрезмѣрно рѣзко подчеркивать значеніе почвы, среды, вообще внѣшняго міра. Въ этой крайности была своя разумная сторона: Добролюбовъ, мы видѣли, успѣлъ побѣдоносно разсчитаться съ отвлеченнымъ доктринерствомъ и платоническимъ либерализмомъ. Но риторы и чистые теоретики не должны заслонять собою вообще идейности, личной активной принципіальности. Жизнь не только творитъ и *позволяетъ* творить, но и *воспринимаетъ* творчество извнѣ. *Среда* безпрестанно порабощаетъ и обезсиливаетъ людей, но та же среда можетъ быть возмущена, взволнована въ своемъ *историческомъ* покоѣ, сдвинута съ мѣста и, если не преобразована, то столкнута съ традиціоннаго коснаго пути. Сдѣлаютъ это, разумѣется, не фразеры и не обломовцы, но все-таки люди слова и идеи, люди личной инициативы и самобытнаго протеста во имя идеала.

Съ правовѣрной точки зрѣнія матеріалистическаго ученія выводъ не логичный и не научный: къ нему шестидесятники и пришли окольнымъ путемъ, не чрезъ разсужденія въ духѣ *Антропологическаго принципа*. Этимъ обходомъ они косвенно подписали приговоръ своей общей философіи и неопровержимо доказали превосходство своихъ натуръ и талантовъ надъ опрометчиво-излюбленной доктриной. Понятіе *факта* и *дѣйствительности*—положительный капиталъ въ идеяхъ шестидесятниковъ, но война съ метафизикой

---

[259]) I, 286, 307.

ультъ научности и жизненной правды имѣютъ только внѣшнее прикосновеніе съ матеріализмомъ,—менѣе всего логическое и научное.

Мы видѣли, Добролюбовъ усиленно противоставлялъ реальное знаніе дѣйствительности, платоническому идеализму, теперь у его та же, но видоизмѣненная параллель: *благонамѣренность* и *дѣятельность*. Вмѣсто спокойной трезвости взгляда является *истинное, живое, полное убѣжденіе,* до такой степени сросшееся съ человѣкомъ, что онъ на пути къ его осуществленію можетъ пойти на смерть или умереть, вынужденный заглушить свое убѣжденіе [260]).

Вотъ до какихъ предѣловъ теперь доходитъ *азартъ* критика *въ пользу идеи!* Мы употребляемъ его собственныя слова и должны запомнить ихъ: они послужатъ намъ неопровержимой уликой противъ нашего критика, слишкомъ склоннаго поддаться очарованію прежнихъ дней. Катерина вновь вызоветъ въ душѣ Добролюбова лирическія движенія, уничтожающія только что воздвигнутый алтарь убѣжденіямъ, принципамъ, сознательному, идейному подвижничеству. Но Катерина, очевидно, рѣдкое поэтическое явленіе, властное надъ сердцемъ критика: Пушкинъ не обладаетъ такою властью и именно онъ станетъ жертвой чрезвычайно суроваго отношенія Добролюбова къ убѣжденіямъ и личной силѣ.

Еще до преобразованія понятія среды Добролюбовъ раздѣлялъ позднѣйшее мнѣніе Чернышевскаго на счетъ недостаточной образованности Пушкина, слабости его характера и убѣжденій. Мы сопоставили сужденія обоихъ критиковъ, по времени крайне сосѣдственныя и внутренне, несомнѣнно, тѣсно связанныя. Съ теченіемъ времени взглядъ Добролюбова сильно обострился и если бы мы не вполнѣ ясно представляли послѣдовательность этого процесса, критикъ раскрылъ бы его въ своей предсмертной статьѣ. Пушкинъ лишь *кое гдѣ* проявляетъ уваженіе къ человѣческой природѣ, къ человѣку, какъ человѣку, и то большею частью въ эпикурейскомъ смыслѣ. Пушкинъ по натурѣ былъ слишкомъ мало серьезенъ, на языкѣ эстетиковъ это значитъ—слишкомъ гармониченъ, чтобы заниматься аномаліями жизни [261]).

Вотъ къ какимъ выводамъ пришелъ критикъ, еще такъ недавно одобрявшій спокойствіе и объективность Гончарова. Мало

---

[260]) *Благонамѣренность и дѣятельность.* III, 351.
[261]) III, 554.

даже убѣжденій, надо обладать протестующей безпокойной натурой, все равно, какъ бы ни былъ великъ художественный талантъ. И во имя этого требованія критикъ, по поводу Пушкина забываетъ о средѣ и обстоятельствахъ, а между тѣмъ, онъ не имѣлъ болѣе повелительнаго и основательнаго случая вспомнить о нихъ, чѣмъ именно при оцѣнкѣ личности и таланта Пушкина. Замѣчательно, ту же самую несправедливость обнаружитъ и Писаревъ. Какой-нибудь Гейне встрѣтитъ самыя благосклонныя объясненія и оправданія, на основаніи условій эпохи и обстоятельствъ, а Пушкинъ будетъ взятъ внѣ времени и пространства. Сыграетъ здѣсь не малую роль и простая ограниченность и сбивчивость историко-литературныхъ свѣдѣній, но несомнѣнно, знаменитая писаревская война съ эстетикой должна признать своего предшественника въ добролюбовскомъ недоразумѣніи.

Но пусть на самомъ дѣлѣ Пушкинъ единолично виноватъ въ сомнительномъ идейномъ содержаніи своего творчества, тогда, по крайней мѣрѣ, надлежитъ распространить требованіе убѣжденій и энергически-сознанныхъ принциповъ на всѣ культурныя явленія. Критикъ, отказываясь съ пристрастіемъ допрашивать художниковъ насчетъ ихъ преднамѣренныхъ задачъ, совершенно разумно настаиваетъ на *отзывчивости* художественной натуры. «Всѣ колебанія общественной мысли» должны встрѣчать чуткій отголосокъ въ душѣ художника. «Живое отношеніе къ современности»—единственное условіе широкой популярности и долговѣчности поэта. Этой отзывчивостью именно и силенъ Тургеневъ [262]).

Совершенно вѣрно, и логическій выводъ, повидимому, не подлежитъ сомнѣнію. Разъ даже *колебанія* должны захватывать талантъ художника, очевидно, онъ можетъ принадлежать къ извѣстной политической и общественной партіи. Мы не станемъ требовать, чтобы эта принадлежность существовала во что бы то ни стало, чтобы художникъ ради политики насиловалъ свое вдохновеніе. Мы готовы предоставить художниковъ самимъ себѣ, но мы поставимъ правиломъ: величіе и значительность таланта оцѣниваются богатствомъ и важностью явленій и вопросовъ, возбудившихъ его творческую работу. Положеніе, утвержденное еще критикой Бѣлинскаго и признанное Добролюбовымъ. Слѣдовательно, мы можемъ и не подвергать порицанію идейно-безсодержательное вдохновеніе, но мы отведемъ ему законное и отнюдь не первое мѣсто въ нашей исторіи литературы и общественной мысли.

---

[262]) III, 278 etc.

Если все это справедливо, тогда какая ироническая и злая сила могла внушить Добролюбову его восторги предъ личностью и произведеніями Беранже? Критику извѣстно, что правительство Наполеона III торжественно хоронило этого поэта и рядомъ съ этимъ фактомъ онъ ставитъ увѣренность, что въ пѣсняхъ Беранже «всѣ горести и труды бѣдняковъ нашли себѣ живой и полный отголосокъ!» Изумительное пониманіе бонапартистской щедрости, по представленію русскаго критика, расточаемой имени поэта демократа и соціалиста!

Но это лишь вступленіе къ безпримѣрному панегирику въ честь пѣсенника-бонапартиста, вложившаго всю душу свою въ увѣнчаніи наполеоновской круглой шляпы и сѣраго сюртука и не перестававшаго бить въ барабанъ и наигрывать военные марши въ то время, когда страна напрягала всѣ усилія залѣчить раны и упорядочить культурный внутренній строй послѣ дикой бандитской оргіи «великаго императора». Беранже, конечно, въ перемѣшку съ барабаннымъ боемъ отчаянно либеральничалъ по адресу Бурбоновъ и католической церкви. Но все это куплетное свободомысліе не имѣло ни малѣйшаго значенія оригинальности: заблужденія реставраціи находили достодолжный отпоръ со всѣхъ сторонъ, кромѣ безнадежно-больныхъ маніаковъ реакціи. Риемы Беранже приносили пользу современной публикѣ развѣ только въ одномъ отношеніи—давали меткія и остроумныя клички и изреченія всеобще-ненавистнымъ фактамъ и лицамъ. Это остроуміе и бойкость формы спасаютъ удручающую банальность содержанія пѣсенъ Беранже. Французская литература не знаетъ ни одного писателя съ такимъ громкимъ именемъ и съ такой откровенной шаблонностью мысли.

Добролюбовъ миновалъ совершенно вопросъ и о политической подкладкѣ вдохновенія Беранже, и положительномъ смыслѣ его идеаловъ. Критикъ, съ удивительной непосредственностью, съ перваго приступа увѣровалъ въ краснорѣчивыя фразы и звучныя риемы поэта и *его же* чертами обрисовалъ его личность. Для критика оказалось вполнѣ достаточно заявленія Беранже: *Le peuple c'est ma muse, народъ—моя муза,* чтобы безъ оглядки пуститься въ идеализацію совершенно фантастическаго небывалаго представителя французскаго народа. Критикъ жестоко возмущается запросами, какія соотечественники Беранже предъявляють къ его *политикѣ*. Они не находятъ у прославленнаго пѣсенника твердыхъ политическихъ началъ, напротивъ, полное безразличіе къ современной политической борьбѣ.

Добролюбовъ возмущенъ. Беранже и современная политика! Какая нелѣпость! Беранже выше всякой политики. У него имѣется *инстинктъ*, стоющій всякаго либерализма, «инстинктъ благородной натуры». Беранже инстинктивно стремился къ *народному благу* и отдавалъ свое сочувствіе тому, «кто болѣе дѣлалъ или даже только желалъ, обѣщалъ сдѣлать для народа». Хорошо, критикъ догадался прибавить *обѣщалъ*: только развѣ способностью Беранже по инстинкту обожать человѣка даже *за обѣщанія* можно объяснить его культъ Бонапартовъ, но Беранже, имѣвшій оффиціальнаго мецената въ лицѣ Луціана Бонапарта и почитателя таланта въ лицѣ Наполеона III, могъ говорить все что угодно и даже объявлять Наполеона I «представителемъ побѣдоноснаго равенства»: русскому шестидесятнику, реалисту въ исторіи и въ общественныхъ идеалахъ, непростительно было съ непосредственной наивностью довѣряться признаніямъ и стихамъ Беранже. Это значило, убивать всякое критическое отношеніе къ предмету. Правда, низменный паѳосъ музы поэта ужъ слишкомъ рѣзко бьетъ въ глаза, и Добролюбовъ, при всей своей необдуманной настроенности, не можетъ не оговориться: «конечно, Беранже ошибался, увлеченія его были ложны». Здѣсь слѣдовало бы и поставить точку; нѣтъ, критикъ считаетъ нужнымъ прибавить: «все-таки нельзя не сказать, что источникъ этихъ увлеченій никакъ не заслуживаетъ порицанія».

Что это за психологическая шарада? Увлеченія ложны, а источникъ ихъ похваленъ! Когда дѣло идетъ о вопросахъ сердца, еще можно представить подобный контрастъ *идеала* и *реальнаго объекта*. Но въ политикѣ, возможно ли отдѣлить вдохновляющій, руководящій принципъ отъ практическаго осуществленія идеи? Возможно ли представить, чтобы серьезно мыслящій политикъ задался цѣлью развивать свободу и равенство, и вѣрнѣйшіе пути къ ней открылъ въ личности и дѣятельности Наполеона? Что-нибудь изъ двухъ—или политикъ рѣшительно не понимаетъ, что такое свобода и равенство, или преднамѣренно пользуется хищнически-пріобрѣтенными уборами для украшенія своего недостойнаго идола. Кажется французъ эпохи реставраціи, да еще лично пережившій и видѣвшій революцію и имперію, могъ бы не заблуждаться насчетъ политическихъ и культурныхъ благодѣяній бонапартизма. Что касается критиковъ Беранже, объ уровнѣ его идеаловъ—они могутъ безошибочно судить по его религіознымъ понятіямъ и полету его политической мысли. Мелкое шаблонное

вольнодумство въ стилѣ вольтерьянцевъ дурного тона или полуязыческая панибратская вѣра въ добраго бога подъ рукой, не возвышеннѣе и *политика Лизеты — доброй властительницы.* Беранже, можетъ быть, вполнѣ удовлетворителенъ для уличныхъ пѣвцовъ, но только по недоразумѣнію можно говорить объ его *убѣжденіяхъ* и особенно объ его «служеніи народной пользѣ».

Въ той же статьѣ о Беранже Добролюбовъ надѣлалъ немало открытій, независимо отъ главной темы, признался русской публикѣ въ своемъ восторгѣ предъ ультра-гейневской философіей любви. Эта философія выражена въ двухъ стихотвореніяхъ: въ одномъ поэтъ сегодня вдвойнѣ счастливъ съ возлюбленной, которая завтра-же, навѣрное, броситъ его ради гусаровъ, въ другомъ—онъ преподноситъ пышный букетъ цвѣтовъ своей милой, только что выдержавшей «большой военный постой» въ своемъ сердцѣ. Эти произведенія, превосходно отражающія чисто-гейневское сліяніе полу-естественнаго полу-напускного цинизма и холоднаго разсчитаннаго кривлянья,—являются для русскаго критика защитой свободы женскаго чувства! И на его взглядъ нѣтъ средины между пушкинскимъ Алеко и невмѣняемымъ рыцаремъ парижскихъ кабачковъ! Естественно,—критикъ долженъ признать поэтическимъ вдохновеніемъ такое, напримѣръ, творчество французскаго народника:

Lisette, ma Lisette
Tu m'as trompé toujours...
Mais vive la grisette!
Je veux, Lisette
  Boire à nos amours!

Весьма тонкое воспроизведеніе гейневскаго романа!

Соберемъ всѣ эти черты вмѣстѣ: проповѣдь непоколебимой принципіальности, наивную увѣренность въ глубокой демократической политикѣ Беранже, идеализацію шалостей амура въ стихахъ французскаго трубадура гризетокъ,—допустимъ, наконецъ, нѣчто невѣроятное и противоестественное—преклоненіе предъ Гейне одновременно съ культомъ убѣжденій и нравственной силы личности,—и со всѣмъ этимъ запасомъ фактовъ и идей подойдемъ къ прославленной статьѣ: *Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ...* Одно ли перо рисовало романтическій образъ этого «луча» и возводило на пьедесталъ личность, вооруженную всѣми знаніями своего времени и ясно сознанными и нерушимо—воспринятыми идеалами общественнаго и политическаго прогресса?

XXXVI.

Чтобы по достоинству оцѣнить популярнѣйшее и, повидимому, увлекательнѣйшее произведеніе Добролюбова—необходимо во всей полнотѣ представить его идеи о личномъ развитіи, т.-е о воспитаніи и образованіи. Мы знаемъ, Катерина возведена въ перлъ созданія за *натуру*, за *инстинктивныя влеченія* и *силу естественныхъ стремленій*. Все это превознесено подъ «азартомъ въ пользу идеи»: этотъ азартъ, т.-е. страстная сила убѣжденій, по мнѣнію критика «гораздо ниже и слабѣе того простого, инстинктивнаго, неотразимаго влеченія, которое управляетъ поступками личностей вродѣ Катерины, даже и не думающихъ ни о какихъ высшихъ идеяхъ».

Это очень сильно и, мы указывали, стóитъ декламацій Руссо во славу «естественнаго состоянія». Русскій писатель даже превосходитъ женевскаго философа: онъ рѣшается поднять руку на людей, неприкосновенныхъ для Руссо въ самые мрачные припадки его человѣконенавистничества. Добролюбовъ издѣвается надъ «высокими ораторами правды, претендующими на «отреченіе отъ себя великой идеи». Эти ораторы, по его наблюденіямъ, *весьма часто* отступаются отъ своего служенія. Дѣло возможное, только почему изъ-за этихъ хотя бы многочисленныхъ отступниковъ виновато высокое ораторство за правду и отреченіе отъ себя? Все это также возможно и нисколько не забавно. Критикъ, начертывая эти строки, переживалъ очевидно одинъ изъ приливовъ своего скептицизма. Приливъ захватилъ критика на цѣлую длинную статью и заставилъ его наговорить вещей, идущихъ въ разрѣзъ съ его настоящимъ міросозерцаніемъ.

Критикъ искони защищалъ природу, все естественное и преслѣдовалъ все искусственное. Это само собой разумѣется: здѣсь Добролюбовъ только человѣкъ своего времени. Не слѣдуетъ приписывать ему особенныхъ личныхъ заслугъ и въ логическомъ развитіи этого принципа. Въ воспитаніи необходимо самое пристальное попеченіе о нравственной свободѣ воспитанника, о самобытности его натуры и самостоятельности его умственной дѣятельности. Всякое поколѣніе имѣетъ свои потребности и воспитатель не долженъ подчинять ихъ идеаламъ прошлаго *своего* поколѣнія. Вообще вся «апологія правъ дѣтской природы», какъ выражается Добролюбовъ,—непосредственный результатъ основныхъ принциповъ новаго міросозерцанія, и новому публицисту

въ педагогикѣ оставалось повторять тѣже идеи вообще *просвѣтительныя мысли*, какія онъ приводилъ въ философіи и политикѣ. Разсужденія Добролюбова, естественно, напоминаютъ краснорѣчивыя безсмертныя страницы *Эмиля* Руссо,—все равно какъ общая философія шестидесятитниковъ кричитъ о своемъ тѣсномъ культурномъ родствѣ съ проповѣдью энциклопедистовъ. Совершенно логически русскій публицистъ все развитіе личности, можно сказать, весь прогрессъ нравственный и общественный сосредоточиваетъ на укрѣпленіи понятій. Добролюбовъ не довѣряетъ сердцу, какъ исключительному руководителю человѣческихъ дѣйствій. Сердце можетъ создать развѣ только добродушіе по привычкѣ и нисколько не помѣшаетъ шаткости и безсилью убѣжденій

«Можно рѣшительно утверждать»,—говоритъ критикъ,—«что только та доброта и благородство чувствованій совершенно надежны и могутъ быть истинно полезны, которыя основаны на твердомъ убѣжденіи, на хорошо выработанной мысли. Иначе нѣтъ никакого ручательства за нравственность человѣка съ *добрымъ* сердцемъ, а тѣмъ менѣе за полезность его для другихъ: вспомнимъ, что услужливый медвѣдь опаснѣе врага» [263].

Убѣжденія должны быть выработаны самобытно и самостоятельно: тогда только они дѣйствительно будутъ неразрывны съ практикой,—иначе самыя возвышенныя понятія останутся безплодной, мертвой теоріей.

Все это азбука и критика, можетъ быть, даже слишкомъ долго и подробно останавливается на раскрытіи и доказательствѣ подобныхъ истинъ. Нѣсколько любопытнѣе идея о зависимости нравственныхъ принциповъ отъ умственнаго развитія, т.-е. отъ знаній и образованія. На этой идеѣ построена философія исторіи Бокля и она впослѣдствіи у Писарева превратится въ чисто фетишистское преклоненіе предъ такъ называемыми точными и полезными науками. У Добролюбова дѣло не доходитъ до фанатизма и ослѣпленія—ни въ какомъ случаѣ,—и онъ остается на разумной почвѣ вполнѣ реальной общечеловѣческой психологіи.

Убѣжденія, несомнѣнно, результатъ болѣе или менѣе вѣрныхъ представленій о предметахъ и фактахъ. Принципы отдѣльнаго человѣка и цѣлыхъ обществъ зависятъ отъ ихъ познаній о мірѣ [264].

---

[263]) II, 49.
[264]) II, 279.

Доказательства этой истины существуютъ очень внушительныя. Никто, напримѣръ, не усомнится, что религіозныя жестокости и безумства среднихъ вѣковъ развивались на почвѣ—непроницаемой умственной тьмы—и вообще всякій фанатизмъ, всякая нетерпимость и исключительность питаются непремѣнно заблужденіями насчетъ преслѣдуемыхъ явленій, или научнымъ невѣжествомъ, или ограниченностью идейнаго кругозора.

Но изъ этого правила отнюдь нельзя выводить необходимой, по законамъ природы неотразимой связи нравственности и научнымъ прогрессомъ. Это чрезвычайно сложный вопросъ, не поддающійся рѣшенію на основаніи какихъ угодно краснорѣчивыхъ историческихъ примѣровъ. Противъ каждаго изъ нихъ можно представить другой, совершенно противоположнаго смысла, и наблюдателю исторической эволюціи весьма нерѣдко приходится вспомнить извѣстную идею Вико о кругообразномъ движеніи человѣческаго прогресса. Въ началѣ и въ концѣ круга царствуетъ варварство: одно только дикое, непосредственное, инстинктивное, другое чисто-эгоистическое, разсудочное, можно бы сказать, практикуемое по правиламъ науки. И не нашему времени, безпрестанно внимающему призывамъ къ національной и расовой борьбѣ, призывамъ изъ самыхъ ученыхъ устъ—успокаиваться на столь простой, красивой и утѣшительной вѣрѣ: знаніе есть нравственность или наука есть гуманность. Мы будемъ имѣть возможность выразить сомнѣніе, по крайней мѣрѣ, въ неограниченномъ приложеніи этихъ истинъ, на основаніи умозаключеній позднѣйшихъ шестидесятниковъ, безраздѣльно преданныхъ послѣдователей философіи Бокля.

Но Добролюбовъ не принадлежитъ къ этому направленію и его воззрѣніе сводится въ сущности къ нагляднѣйшей истинѣ: просвѣщеніе необходимо для развитія убѣжденій и нравственной силы осуществлять ихъ. И этого для насъ вполнѣ достаточно: мы видимъ, критикъ вовсе не «естественный человѣкъ» въ духѣ Руссо, онъ понимаетъ значеніе цивилизаціи и умѣетъ отвести ей надлежащее мѣсто даже въ своемъ восторженномъ культѣ *природы* и *самобытности*. Естественныя силы, облагороженныя наукой и умственнымъ развитіемъ, личная органическая воля, направленная сознательно и свободно воспринятымъ просвѣщеніемъ—это безспорный идеалъ гуманности и прогресса. Онъ, конечно, не новъ: на немъ сосредоточивалась работа Бѣлинскаго, но на каждомъ шагу слѣдуетъ привѣтствовать людей, толково и честно защищающихъ уже выработанныя истины и не истощающихъ свои

силы на суетную жажду, во что бы то ни стало поразить міръ оригинальностью и отвагой. Такъ именно будутъ дѣйствовать опрометчивые расточители добролюбовскаго наслѣдства: самъ Добролюбовъ вполнѣ основательно предпочиталъ скромную, но плодотворную роль воскрешенія русской общественной мысли въ духѣ недавняго но почти забытаго прошлаго.

Это не малая заслуга, но Добролюбовъ не остался безупречнымъ до конца на этомъ пути. Безъ всякихъ подробныхъ сопоставленій вполнѣ ясно, что его разсужденія по поводу Катерины сплошное недоразумѣніе съ его собственной точки зрѣнія на значеніе убѣжденій и умственнаго развитія. Писаревъ рѣшительно разошелся съ Добролюбовымъ въ оцѣнкѣ личности Катерины и на совершенно убѣдительномъ основаніи: «сильный развитой умъ» непремѣнный признакъ «свѣтлыхъ явленій». Этотъ взглядъ не противорѣчилъ педагогическимъ взглядамъ Добролюбова и его въ высшей степени рѣзкой общественной программѣ. Очевидно, страдальческій и трогательный образъ Катерины оказалъ рѣшительное дѣйствіе на симпатическую сторону таланта Добролюбова и перетянулъ вѣсы въ пользу безсознательной, непосредственной стихіи въ ущербъ разуму и идеямъ.

Критикъ не разглядѣлъ *гипнотическаго* характера поразившей его нравственной силы Катерины,—даже больше—впалъ самъ въ своего рода гипнозъ предъ этой на самомъ дѣлѣ призрачной силой. Катерина—страстный темпераментъ, а не нравственная сила. Такой силы, какъ въ другихъ случаяхъ отлично понималъ самъ критикъ, и не можетъ быть при одной инстинктивности чувствъ и дѣйствій. Духовная жизнь Катерины загромождена ужасами и видѣніями, навѣянными дикой болтовней странницъ и кликушъ. Она смотритъ на міръ сквозь густой туманъ суевѣрій и предразсудковъ «темнаго царства». Она законное дѣтище этого царства и только врожденная страстность въ самомъ прямомъ смыслѣ слова мѣшаетъ ей окончательно превратиться въ жертву родного самодурства. Правда, страстность Катерины не лишена поэтической мечтательности, особенно въ ранней молодости, но женская любовная страсть, если она естественна и искренна, всегда поэтична, но, конечно, вовсе не свидѣтельствуетъ о какой-то исключительной натурѣ и силѣ.

Катерина усиленно доказываетъ опрометчивость своего критика-поклонника въ теченіе всей драмы. Она, не находя исхода своимъ порывамъ, грозитъ убѣжать изъ дому и въ заключеніе рѣ-

шается утопиться. Въ этотъ моментъ энтузіазмъ критика достигаетъ высшаго полета и смерть Катерины напутствуется восклицаніемъ: «Вотъ высота, до которой доходитъ наша народная жизнь!..»

На этотъ восторгъ можно замѣтить: ничего не было бы жальче нашего народа, если бы онъ не ушелъ дальше «натуры» Катерины и ея способности утопиться. Такой народъ остался бы безплоднымъ явленіемъ въ исторіи человѣческой культуры, гдѣ потребны не бѣгства и самоубійства, а борьба и то безкорыстное увлеченіе идеей, какое только, по словамъ Канта, и доказываетъ возможность прогресса человѣческаго рода. Катерина,—замѣчаетъ самъ Добролюбовъ, не думаетъ о сопротивленіи, потому что не имѣетъ достаточно основаній для этого. Совершенно справедливо! И Катерина не только не противорѣчитъ основамъ темнаго царства, а даже доказываетъ ихъ непреодолимую силу, и не одной своей смертью, а именно своимъ характеромъ «инстинктивностью своей натуры», «не имѣющей достаточно основаній для сопротивленія», «боязнью за каждую свою мысль». Можно въ какой угодно степени признавать симпатичность Катерины, но нѣтъ никакихъ нравственныхъ и психологическихъ основаній признавать какое-либо вліяніе этой личности на просвѣщеніе «темнаго царства».

Недоразумѣніе Добролюбова въ идеализаціи Катерины тѣмъ печальнѣе, что онъ увидѣлъ въ ней послѣднее слово русскаго народнаго характера. Надо знать, на какую высоту ставилъ критикъ народъ, какъ нравственную и культурную силу, чтобы оцѣнить смыслъ его увлеченія.

Среди всѣхъ шестидесятниковъ, Добролюбова можно назвать народникомъ по преимуществу. До послѣдней степени съуживая практическую иниціативу литературы, критикъ съ особенной горечью укоряетъ ее за ея безполезность для народа, за ея равнодушіе къ народу, за ея непониманіе народнаго міросозерцанія.

Историки не умѣютъ и не хотятъ смотрѣть на событія съ точки зрѣнія народныхъ выгодъ, изслѣдовать, что проигралъ или выигралъ народъ въ извѣстную эпоху. Политическая экономія заботится только о накопленіи и употребленіи капитала, т. е. служитъ только плану капиталистовъ и обращаетъ весьма мало вниманія на массу безкапитальныхъ тружениковъ. Даже поэзія увлекалась преимущественно возвышенными личностями и сторонилась отъ простого люда, и Добролюбовъ подвергаетъ критикѣ русскую литературу подъ авторитетомъ народнической идеи. Его приговоры

надъ большими, но не демократическими талантами безпощадны, напримѣръ, надъ Державинымъ, Карамзинымъ, Жуковскимъ, даже надъ Пушкинымъ. Именно по поводу этого поэта критикъ превозноситъ «простое чувство, какимъ обладаетъ народъ» и какого, по мнѣнію Добролюбова, не было у Пушкина съ его генеалогическими предразсудками и эпикурейскими наклонностями. Правда, критикъ и здѣсь остается вѣренъ своему ослѣпленію насчетъ будто бы чрезвычайно яростнаго народолюбія Беранже: но это благодаря просто недостаточному знакомству съ предметомъ—сущность направленія вполнѣ ясна. Порывъ народническаго чувства до такой степени силенъ, что Добролюбовъ перечиркиваетъ всю русскую сатиру, кромѣ гоголевской, какъ не народную, и о Чацкомъ судитъ съ точки зрѣнія критиковъ промежуточнаго періода, великихъ враговъ всякаго безпокойства и протеста. Критикъ могъ бы сообразить, что существуетъ же извѣстная разница между гнѣвомъ Фамусова на Кузнецкій мостъ и проповѣдями Чацкаго противъ мракобѣсія.

Добролюбовъ неистощимъ на открытія совершенствъ въ душѣ народа. Его контрасты снова напоминаютъ самыя мрачныя выходки Руссо противъ цивилизованнаго общества во имя естественнаго человѣка. У народа глубокое чувство, неисчерпаемый источникъ живыхъ нравственныхъ силъ. Даже дѣти народа всегда вѣрны природѣ и здравому смыслу, пока внѣшняя сила, т. е. «пособія новѣйшей цивилизаціи» не «угомонитъ» этихъ добродѣтелей. Это совершенно въ духѣ XVIII-го вѣка, страстно любившаго изображать эффектныя группы изъ добродѣтельныхъ и непосредственныхъ крестьянскихъ мальчиковъ и въ конецъ испорченныхъ юныхъ сеньеровъ. Но, разумѣется, подобное совпаденіе нисколько не мѣшаетъ идеѣ быть значительной и правдивой одинаково и въ шестидесятые года и столѣтіемъ раньше. Оно только доказываетъ удрученную медлительность европейскаго прогресса даже въ области, повидимому, совершенно безспорныхъ истинъ. Добролюбовъ вынужденъ съ изумительной точностью повторять всѣ отзывы старыхъ писателей о народѣ. Онъ настаиваетъ на способности крестьянина къ глубокимъ и тонкимъ чувствамъ, на его отвращеніи къ риторикѣ и всему показному, о подлинной *деликатности* крестьянской души, о безусловномъ

---

[265]) I, 507—9 etc. Статья *О степени участія народности въ развитіи русской литературы*. III, 388 etc. Статья *Черты для характеристики русскаго простонародья*.

джентльмэнствѣ крестьянъ во взаимныхъ отношеніяхъ, о возвышенной житейской философіи народа, по природѣ враждебнаго ко всякому тунеядству, о разумномъ дѣйствительно карающемъ общественномъ мнѣніи деревни, совершенно не похожемъ на сплетни и раболѣпіе высоко-просвѣщенныхъ горожанъ. Добролюбовъ идетъ еще дальше: онъ находитъ въ народѣ несравненно больше терпимости, меньше формализма и педантической привязчивости въ вопросахъ нравственныхъ. Бѣднякъ можетъ въ воскресенье вмѣсто церкви отправиться работать на свою полосу. но зато дѣйствительные нравственные грѣхи судятся очень строго. И среди крестьянъ забота о доброй славѣ встрѣчается чаще, чѣмъ въ другихъ сословіяхъ, и «въ видѣ болѣе нормальномъ» ..

Все это—старыя пѣсни, но для русскихъ литературныхъ и читательскихъ ушей шестидесятыхъ годовъ онѣ должны были звучать смѣлой идеальной новизной. Критикъ обсуждалъ великіе и вѣчные вопросы политики и нравственности, и рѣчь его поражала задушевностью, простотой, нерѣдко художественной картинностью. Въ одномъ только отношеніи даже истинные народолюбцы должны были ощутить нѣкоторое опасеніе.

Публицистъ избралъ обычный и простѣйшій путь—живописать народныя совершенства, путь контрастовъ, сопоставленія природы и цивилизаціи, крестьянъ и интеллигентовъ, деревни и города. Этотъ путь всегда, во всѣхъ вопросахъ, легко приводитъ къ увлеченіямъ и невольному сгущенію красокъ.

Несомнѣнно, свѣтское и чиновничье общество преисполнено жалкихъ интересовъ и низменныхъ страстишекъ; оно лишено воли и истиннаго просвѣщенія, образованность его грошовая, правила нравственности—попугайство и рутина. Все это справедливо и все это превосходно выяснено именно русской сатирой, можетъ быть, и не особенно усердно прославлявшей народъ, но зато съ неуклоннымъ постоянствомъ клеймившей какъ разъ грошовую образованность и попугайство. У критика на этомъ поприщѣ имѣются многочисленные предшественники и авторитетнѣйшіе учителя. Но одно только обстоятельство нуждается въ оговоркѣ. Зачѣмъ критикъ такъ усиленно налегаетъ на «тощіе и жалкіе выводки неудавшейся цивилизаціи» и на «свѣжіе здоровые ростки народной жизни?» Сущность идеи—сама истина, но, при малѣйшемъ желаніи, ничего не стоитъ какому-нибудь фетишисту-народолюбцу пріударить на цивилизацію и свѣжее здоровье. Полу-

чится рядъ жупеловъ, до сихъ поръ не вытравленныхъ окончательно изъ русской литературы. Они воцарились здѣсь еще въ теченіе тѣхъ же шестидесятыхъ годовъ, составили символъ вѣры народнической шехерезады.

Мы не желаемъ обвинять Добролюбова въ соучастіи, но онъ одновременно выпустилъ въ свѣтъ двѣ поэмы лирическаго содержанія. Въ одной, по поводу разсказовъ Марка Вовчка, возставалъ величественный сіяющій обликъ народа, въ другой, по поводу *Грозы* Островскаго, дань высшаго удивленія получалъ инстинктъ. Нельзя сказать, чтобы отъ этихъ эффектовъ было слишкомъ далеко до настоящаго «почвеннаго» народничества, склоннаго въ первобытныхъ порывахъ «мужичка» узрѣть евангеліе новой культуры и съ беззавѣтностью только что полученнаго религіознаго откровенія—унижать цивилизацію и блескомъ міровой истины окружать «мускульный трудъ».

Мы, разумѣется, отдаемъ себѣ совершенно ясный отчетъ въ благородныхъ намѣреніяхъ нашего критика. Но благородство намѣреній далеко не всегда обезпечиваетъ достодолжную полноту и цѣльность идей и *частныхъ* цѣлей. Даже восторги предъ Беранже у Добролюбова, конечно, вполнѣ рыцарскаго происхожденія, но это не мѣшаетъ имъ быть пятномъ на чистомъ, прогрессивномъ, истинно-идеалистическомъ міросозерцаніи критики. Время устранило бы ложь и осмыслило бы увлеченія. Оно, несомнѣнно, привело бы въ болѣе стройный порядокъ и народническую философію Добролюбова. Теперь она остается предъ нами съ весьма значительными пробѣлами и слишкомъ поспѣшно обработанными частностями.

XXXVII.

Жертвой пробѣловъ и поспѣшности въ добролюбовскомъ народническомъ лиризмѣ явился одинъ изъ первостепенныхъ современныхъ писателей, Писемскій, и при самыхъ странныхъ обстоятельствахъ.

Мы только что видѣли, съ какой щедростью критикъ увѣнчивалъ народную природу и нравственность. Онъ открылъ въ народной психологіи рѣшительно всѣ сокровища человѣчности и существенныя основы гражданственности. «Народъ способенъ ко всевозможнымъ возвышеннымъ чувствамъ и поступкамъ наравнѣ съ людьми всякаго другого сословія если еще не больше».

И на основаніи этого, по мнѣнію критика, неопровержимаго факта, онъ настаиваетъ на сближеніи съ народомъ людей мысли и слова, на довѣріи къ народу, къ его силамъ. Народъ непремѣнно пойметъ, въ чемъ заключается благо и не откажется отъ него по лѣни или малодушію.

Если такъ, тогда какая злополучная тѣнь могла заслонить въ глазахъ Добролюбова жизненное, глубоко-народное творчество Писемскаго? Какъ нашъ критикъ могъ не понять величавой, истинно-трагической личности Ананія Яковлева? Какъ онъ позволилъ себѣ изложить содержаніе *Горькой Судьбины* по тому самому методу, какой, напримѣръ, употребляли классическіе критики въ судѣ надъ драмами Шекспира или баронъ Брамбеусъ въ приговорахъ надъ произведеніями Гоголя? Добролюбовъ извлекаетъ изъ драмы Писемскаго жестокій остовъ и сознается въ своемъ непониманіи, почему *Горькую Судьбину* ставятъ выше посредственности? Очень откровенно, и весь дальнѣйшій разговоръ критика о пьесѣ обнаруживаетъ дѣйствительно рѣдкостное непониманіе одного изъ самыхъ яркихъ явленій русской литературы. Ананій Яковлевъ—«малодушное исключеніе», Чегловъ—фигура невозможная въ русской жизни! Останься послѣ Добролюбова только эти изрѣченія, его имя не пережило бы и той книги журнала, гдѣ они нашли пріютъ. Очевидно, критикъ не счелъ нужнымъ вдуматься даже въ фактическое содержаніе драмы, прикинулъ къ ней наивный романтическій масштабъ сверхъестественной нравственной силы и заключилъ: «Богъ съ ней съ этой пьесой: она забыта теперь!..» Время жестоко отвѣтило на эту историческую ложь [266]).

Не понялъ или не пожелалъ понять Добролюбовъ и другихъ народныхъ созданій Писемскаго. Онъ нашелъ возможнымъ превознести самоубійство Катерины, признать его даже высшимъ проявленіемъ народной души, но когда героиня Писемскаго идетъ въ монастырь послѣ разбитой жизни, для него это забавно: будто Лиза *Дворянскаго гнѣзда!* Отчего же тогда о Катеринѣ нельзя сказать: будто Офелія у Шекспира!

Дальше. Въ повѣстяхъ Вовчка Добролюбовъ восхищается еще другой Катериной. У этой также жизнь не задалась, но она не прибѣгла ни къ самоубійству, ни къ затворничеству, а придумала нѣчто несравненно болѣе хитрое и свойственное «благовоспитан-

---

[266]) Подробно о *Горькой судьбинѣ* въ нашей книгѣ *Писемскій*, стр. 146 etc.

ному обществу», какъ презрительно выражается Добролюбовъ по поводу героини Писемскаго. Катерина, у Марка Вовчка, рѣшила подвизаться въ мірѣ, спастись отъ душевной пустоты и одиночества въ дѣлахъ благотворенія, общей пользы. Она становится лѣкаркой и въ сочувствіи и помощи чужому горю забываетъ свою бѣду. И даже разсуждаетъ на этотъ счетъ, какъ по писаному, и проводитъ свою жизнь, исповѣдуя несчастныхъ и исцѣляя ихъ отъ тѣлесныхъ и нравственныхъ немощей...

Вотъ это дѣйствительно возвышенно, пожалуй, сверхъ мѣры или, по крайней мѣрѣ, исключительно и необыкновенно. Добролюбовъ согласенъ, что большинство не похоже на Катерину, но онъ не считаетъ ея явленіемъ небывалымъ, напротивъ, она именно даетъ ему темы для народолюбческихъ изліяній... Послѣдовательно ли все это—отрицать у крестьянки рѣшимость пойти въ монастырь и въ тоже время признать за ней способность достигать высшаго идеала, возможнаго для человѣческой природы: служеніемъ обществу исцѣлять личныя раны своего сердца?

Наконецъ, еще одинъ, едва ли не тягчайшій грѣхъ критика все предъ тѣмъ же авторомъ. Страстно защищая свободу художественнаго творчества, Добролюбовъ, по излюбленному способу, и здѣсь нашелъ контрастъ своей идеѣ; романъ Писемскаго *Тысяча душъ* самое тенденціозное сочиненіе и «общественная сторона этого романа насильно пригнана въ заранѣе сочиненной идеѣ». О романѣ, слѣдовательно, не стóитъ и толковать [267]).

И, замѣтьте, таковъ романъ Писемскаго по сравненію съ повѣстью Тургенева *Наканунѣ!* Ужъ если говорить объ *идеѣ*, то, на всякій непредубѣжденный взглядъ, она несравненно болѣе придумана въ фигурахъ Елены и Инсарова, чѣмъ Настеньки и Калиновича. И *Наканунѣ* служило программой для разнообразной и горячей публицистики о самыхъ жгучихъ вопросахъ русской общественности. Самъ Добролюбовъ доказалъ это своей статьей *Когда же придетъ настоящій день?* А у Писемскаго такая чисто-эпическая картина провинціальныхъ потемокъ, что, кажется, именно Добролюбовъ, съ своимъ искусствомъ разлагать художественное произведеніе на вереницу публицистическихъ мотивовъ, долженъ бы почувствовать особенную признательность къ такому автору. Нельзя же вѣдь, при самомъ поверхностномъ знакомствѣ съ русской литературой, не признать Писемскаго *Тысячи*

[267]) III, 277.

душъ единственнымъ соперникомъ Гоголя въ изображеніи пошлости и мелочности человѣческой. Наконецъ, если Островскій захватилъ нашего критика изображеніями «темнаго царства»,—неужели Писемскій могъ пройти безслѣдно съ его единственной по полнотѣ галлереей дореформенныхъ уродовъ обывательскаго и чиновничьяго типа?

Очевидно, предъ нами опять увлеченіе и недоразумѣніе, и на этотъ разъ на столько значительныя и опрометчивыя, что ихъ можно сравнить только съ самыми ранними историко-литетатурными упражненіями Добролюбова, *статьями о литературѣ* екатерининскаго времени. Здѣсь начерчена поразительная характеристика сѣверной Семирамиды, ничѣмъ не уступающая піитическому піянству вдохновенныхъ мурзъ императрицы-богини. Чего только не нанизалъ молодой историкъ въ свое баснословное ожерелье: и «просвѣщенная терпимость въ дѣлѣ литературы», и необыкновенно проницательное и возвышенное отношеніе къ современнымъ литераторамъ и обществу и, однимъ словомъ, «великая Екатерина». Это писалось въ 1856 году; три года спустя критикъ успѣлъ дорости до заявленія по поводу той же «великой Екатерины»: «теперь уже нужны не диѳирамбы, не безотчетныя хвалы, а безпристрастное и спокойное разсмотрѣніе фактовъ того времени во всей ихъ полнотѣ» [268]).

И насчетъ «великаго вѣка» Добролюбовъ больше не могъ впасть въ неосновательныя настроенія. Не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія, критикъ пришелъ бы къ дѣйствительно реальнымъ взглядамъ и на всѣ другіе вопросы, пока остававшіеся для него или не вполнѣ ясными или получавшіе слишкомъ скорые и недостаточно фактическіе отвѣты. За такое будущее добролюбовской критики мы можемъ поручиться, полагаясь преимущественно на личную психологію Добролюбова. Русская литература въ наслѣдникѣ Бѣлинскаго могла привѣтствовать такого же благороднаго и убѣжденнаго дѣятеля слова, какимъ былъ самъ неистовый Виссаріонъ. Правда, наслѣднику не доставало именно этого геніальнаго неистовства, не доставало молніеносныхъ идейныхъ вдохновеній, мощной самобытности мышленія и всей нравственной природы. По всѣмъ главнымъ направленіямъ публицистики и критики у Добролюбова есть предшественники и руководители: Бѣлинскій завѣщалъ ему свою эстетику, Чернышевскій

---

268) I, 37, 39, 45. 109.

внушилъ ему свою философію. И мы могли видѣть, Добролюбовъ далеко не сразу разобрался и въ наслѣдствѣ и въ непосредственныхъ внушеніяхъ. Смерть его застала среди разлада и разброда *отдѣльныхъ* культурныхъ и художественныхъ взглядовъ. Мы подчеркиваемъ *отдѣльныхъ*, потому что *принципы* у Добролюбова непоколебимы отъ начала до конца и намъ не представило ни малѣйшихъ затрудненій, выдѣлить ихъ въ самой ясной и полной формѣ изъ неудовлетворительныхъ и смутныхъ частностей.

Въ результатѣ, Добролюбовъ, какъ литературный критикъ, долженъ быть признанъ *практикомъ* по преимуществу. Ему русская литература обязана обширнѣйшими приложеніями реальной мысли, выработанной предыдущей публицистикой. Никто до него и послѣ него не развернулъ такого искусства *толковать* вдохновіе и творчество художниковъ. Никто съ такимъ постоянствомъ, съ такимъ увѣреннымъ спокойствіемъ и съ такимъ по истинѣ политическимъ тактомъ не умѣлъ поэтическими произведеніями пользоваться, какъ данными своеобразнаго знанія и своимъ всеосвѣщающимъ анализомъ поэзію возвышать до уровня науки Статьи *Темное царство* и *Черты для характеристики русскаг простонародья* надолго останутся первостепенными образцами критики, сливающей во едино чуткость художественнаго воспріятія и глубину общественной мысли.

Въ извѣстномъ смыслѣ, Добролюбова въ критикѣ можно сравнить съ Гоголемъ. Принципы художественнаго реализма были извѣстны и до *Мертвыхъ душъ*, прелести фламандской живописи прекрасно понималъ Пушкинъ, но только Гоголю суждено было окончательно закрѣпить торжество школы безсмертными образцами реальнаго вдохновенія. Истина получила рядъ незабвенныхъ иллюстрацій, и съ этого времени стала считать свою неограниченную популярность обезпеченной.

Приблизительно то же самое произошло и въ критикѣ.

Бѣлинскій, мы видѣли, снабдилъ Добролюбова всѣми основами критическаго реализма. Но великому критику пришлось слишкомъ долго расчищать дѣвственный или засоренный путь русской публицистики. Къ внѣшней, крайне трудно податливой работѣ присоединился философскій строй натуры Бѣлинскаго, вдохновлявшій его при всякомъ даже мелкомъ литературномъ фактѣ на величественныя обобщенія и на изслѣдованія первоисточника извѣстнаго рода явленій. Бѣлинскій чувствовалъ пробѣлы своей слишкомъ *общей* критической дѣятельности и его до конца дней не поки-

дала мысль, написать исторію русской литературы. Здѣсь установленные принципы получили бы обширное частное примѣненіе и критическій реализмъ владѣлъ бы богатѣйшимъ запасомъ художественно-публицистическихъ анализовъ.

Бѣлинскій не успѣлъ выполнить своего плана, Добролюбовъ занялъ его мѣсто и докончилъ развитіе реальной критики. Эта заслуга останется незабвенной въ исторіи русской литературы. Мало этого: она должна считаться настоящимъ подвигомъ, при тѣхъ нравственныхъ условіяхъ, въ какихъ совершалась работа юнаго писателя. Мы видѣли, ими въ сильной степени объясняются многія опрометчивыя сужденія критика. Добролюбовъ дѣйствительно несъ крестъ, неустанной умственной работой заглушая естественную жажду молодого личнаго счастья. Въ каждой мысли и въ каждомъ словѣ трепетало обездоленное одинокое сердце и подчасъ душевный мракъ нарушалъ равновѣсіе мысли и могъ заглушить свѣтлый критическій анализъ. Но такихъ мгновеній, свидѣтельствующихъ будто о хаосѣ въ сильной и стойкой нравственной природѣ Добролюбова, оказалось немного и историкъ долженъ воздать великую честь волѣ и разуму писателя, не окрашивавшаго въ цвѣтъ личныхъ настроеній своихъ писательскихъ идей. Только близкіе люди знали, на какой Голгоѳѣ совершалось дѣло просвѣщенія и безкорыстной гуманности, и Чернышевскій могъ заключить некрологъ своего безвременно угаснаго друга простыми, но глубоко-трагическими словами:

«Ему было только 25 лѣтъ, но уже четыре года онъ стоялъ во главѣ русской литературы».

«Для своей славы онъ сдѣлалъ довольно. Для себя, ему незачѣмъ было жить дольше. Людямъ такого закала и такихъ стремленій жизнь не даетъ ничего, кромѣ жгучей скорби» [269]).

Но за то самъ Добролюбовъ отдалъ всего себя жизни, въ самомъ идеальномъ смыслѣ этого слова, духовной жизни своей родины и своего времени. На смѣну ему придутъ люди, болѣе счастливые, свободные отъ всякой жгучей скорби. Они объявятъ себя наслѣдниками его, изнемогшаго въ трудѣ и горѣ, но они не завѣщаютъ потомству того прочнаго и немеркнущаго свѣта, какимъ сіяла быстро сгорѣвшая подвижническая душа самаго молодого и самаго совершеннаго представителя критики шестидесятыхъ годовъ.

---

[269]) *Современникъ.* 1861 года, декабрь.

XXXVIII.

Изъ всѣхъ человѣческихъ добродѣтелей самой странной и сомнительной славой пользуется умѣренность и аккуратность, золотая средина и благоразуміе. Достаточно выговорить все это, чтобы нашему воображенію представился далеко непривлекательный образъ— солиднаго непоколебимо-трезвеннаго мужа, всѣми нервами своей души привязаннаго къ «порядку»—во всѣхъ смыслахъ этого слова, чувствующаго органическую оторопь и безпокойство предъ всякой не особенно шаблонной идеей и не вполнѣ общепринятымъ дѣйствіемъ. Въ какой тошный и нудный процессъ превратилась бы жизнь, если бы исключительно отъ этихъ мудрецовъ зависѣло ея содержаніе и теченіе! И наша литература не уставала преслѣдовать ихъ самыми жестокими чувствами, обзывая аккуратныхъ умницъ—Молчалиными, а ихъ добродѣтель «холопскимъ недугомъ».

И литература права.

Тамъ, гдѣ дѣйствительность сама по себѣ безукоризненно умѣренна и благоразумна, гдѣ высшіе перлы ея созданія—Фамусовы всевозможныхъ типовъ и спеціальностей,—тамъ умѣренность и средина граничатъ и даже сливаются съ подлинной пошлостью и безличіемъ. Это справедливо не только относительно русскаго общества и русской канцеляріи. Въ европейской исторіи навсегда останется трагикомическимъ воспоминаніемъ цѣлый періодъ французской внутренней политики, слѣдовавшій за іюльской революціей. Онъ по преимуществу носитъ наименованіе эпохи золотой средины и блещетъ всѣми талантами и проявленіями мудраго опыта и житейскаго благоразумія.

Франція, во всѣ вѣка изобиловавшая чрезвычайно разсудительными мѣщанами, никогда, кажется, не производила столь совершеннаго представителя, національнаго генія, какъ ученый историкъ и государственный мужъ—Гизо. Какая удивительная твердость взгляда, какая героическая прямолинейность поступковъ и вызывающая отвага рѣчей! Ты, мое милое отечество,— говорилъ строгій педагогъ, обращаясь къ Франціи,—достаточно накуралесило своими революціями,—теперь должно сидѣть смирно и съ благодарностью принимать всѣ опыты и отместки, какіе угодно будетъ производить надъ тобой умнымъ и умѣреннымъ господамъ. Всѣ твои идеальныя увлеченія, разныя химеры на счетъ народнаго блага и настоящей народной свободы—чистѣйшее

легкомысліе, преступныя крайности. Истина и счастье—въ золотой срединѣ, т.-е: въ достаточно обезпеченной движимой и недвижимой собственности и въ соотвѣтственномъ образѣ мыслей. Правда. разные щелкоперы полагаютъ иначе, но они въ сущности не имѣютъ даже права вообще что-либо полагать. Пусть сначала наживутъ состояніе, съ котораго казна могла бы взимать по крайней мѣрѣ двѣсти франковъ ежегоднаго налога, тогда мы посмотримъ! Станутъ ли они разговаривать о бѣдственномъ положеніи пролетаріа! Мы думаемъ, нѣтъ: двухсотъ франковый налогъ достаточное ручательство за умѣренность убѣжденій и аккуратность поведенія.

Въ такомъ смыслѣ изо дня въ день, въ теченіе многихъ лѣтъ, ораторствовалъ государственный мужъ, упорно не желая протереть очковъ и взглянуть на міръ съ нѣсколько менѣе возвышенной точки зрѣніи. Міръ, наконецъ, потерялъ терпѣніе и однимъ могучимъ движеніемъ, на какое только способна независимая правда жизни, нахлобучимъ колпакъ на нестерпимо ясное чело. Съ тѣхъ поръ *золотая средина* стала во Франціи чуть ли не браннымъ словомъ и ея искреннѣйшіе прирожденные исповѣдники обѣгаютъ злополучный терминъ, подмѣняя его другими менѣе зазорными, вродѣ политики здраваго смысла, примирительная политика и т. п.

Результатъ опять вполнѣ заслуженный.

Распинаться во славу умѣренности и аккуратности въ обществѣ лавочниковъ и биржевиковъ, ежеминутно твердить о порядкѣ и соціальномъ чинопочитаніи купонныхъ и вексельныхъ дѣлъ мастерамъ, по меньшей мѣрѣ то же самое, что съ московскимъ тузомъ ужасаться потрясенія основъ и порухи патріотизму. Но бываютъ совершенно другія положенія, когда умѣренность является въ высшей степени рѣдкой, въ полномъ смыслѣ культурной и политической добродѣтелью, когда средній образъ мыслей дѣйствительно становится золотымъ и чрезвычайно трудно достижимымъ.

Это повторяется неизмѣнно во всѣ времена глубокихъ преобразовательныхъ теченій. Всякая новая идея, отрицающая отжившій строй жизни, уже сама по себѣ обладаетъ великимъ интересомъ, исполнена естественнаго очарованія для всякаго болѣе или менѣе чуткаго ума. Независимо отъ ближайшей практической цѣнности. она увлекаетъ новизной перспективы, смѣлостью и оригинальностью своихъ плановъ, всей поэзіей надежды и вѣры. И увле-

ченіе тѣмъ стремительнѣе, чѣмъ упорнѣе сопротивленіе стараго новому и чѣмъ настоятельнѣе и яснѣе необходимость устранить старое.

При такихъ условіяхъ кто и гдѣ съ неопровержимой убѣдительностью укажетъ предѣлы, какихъ не должны переходить новые идеалы? Независимо отъ психологіи идеалистовъ,—сама идея одарена способностью неограниченнаго, вполнѣ логическаго развитія. На извѣстной стадіи, она по мнѣнію иныхъ, переходитъ въ нелѣпость, но это не вина логическаго процесса и не изъянъ мышленія человѣка, сдѣлавшаго извѣстный выводъ. Нелѣпость ткрыта *внѣшней* критикой, практическими соображеніями, здравымъ смысломъ, а не прослѣжена въ самомъ раскрытіи идеи. Слѣдовательно, нѣтъ *логической* необходимости подчиняться этой критикѣ, и мыслитель предоставленъ исключительно личному благоусмотрѣнію, своимъ личнымъ наклонностямъ въ рѣшеніи вопроса, какое заключеніе вполнѣ соотвѣтствуетъ исходному положенію.

Очевидно, идейныя крайности, то что̀ обыкновенно называется *радикализмомъ,* во всѣхъ областяхъ мысли въ философіи и въ политикѣ—*теоретическое* явленіе вполнѣ послѣдовательное. Оно такое же звено логическаго процесса, какъ и всякій другой умѣренный, *либеральный* выводъ. Совершенно иной смыслъ радикальная идея можетъ имѣть въ непосредственномъ приложеніи къ жизни, въ своемъ фактическомъ осуществленіи. Здѣсь онъ можетъ обнаружить полную практическую безплодность, непримиримое противорѣчіе съ реальными запросами преобразуемаго порядка вещей, вообще проявить всѣ недостатки чистой абстракціи.

И этотъ результатъ далеко не всѣмъ умамъ можетъ представляться безусловно убѣдительнымъ. Теорія, положимъ, не осуществима, но такой приговоръ имѣетъ значеніе только для даннаго момента. Среда можетъ измѣниться и оказаться способной воспріять идею, въ настоящее время ей чуждую. Такъ это дѣйствительно и бывало съ весьма многими идеями, производившими на современниковъ впечатлѣніе совершенно неудобопріемлемой нелѣпости, и позже доживавшими до общаго признанія.

Слѣдовательно, даже на взглядъ практики и здраваго смысла радикализмъ не можетъ быть признанъ совершенно безнадежнымъ, онъ въ состояніи призвать въ свою защиту историческій опытъ и свое право на существованіе связать съ идеей прогресса, обязательной и для самаго умѣреннаго либеральнаго мышленія.

Легко представить, до какой степени по самому существу вопроса усложняется задача положительнаго или отрицательнаго отношенія къ крайнимъ идейнымъ слѣдствіямъ какого-либо принципа. Исторія неоднократно засвидѣтельствовала этотъ фактъ и въ самыхъ эффектныхъ формахъ. Она разсказала не одну драматическую ожесточенную борьбу между представителями одного и того же освободительнаго движенія, только остановившихъ свой логическій процессъ на разныхъ пунктахъ. И нерѣдко именно эта разница превращала радикализмъ въ болѣе послѣдовательнаго и безпощаднаго противника людей умѣренныхъ воззрѣній, чѣмъ даже убѣжденный консерватизмъ. Эти явленія особенно поучительны именно въ нашихъ цѣляхъ. Они помогутъ намъ безпристрастно разобраться въ крайне запутанномъ и до сихъ поръ болѣзненно-трепещущемъ вопросѣ.

Намъ предстоитъ стать лицомъ къ лицу съ людьми неограниченной смѣлости въ теоретическихъ умозаключеніяхъ, исполненныхъ смертельной ненависти къ малѣйшему призраку *филистерства*, въ какихъ бы то не было вопросахъ,—литературныхъ, нравственныхъ, политическихъ. А филистерство—это значитъ уступка со стороны прямолинейнаго отвлеченія въ пользу дѣйствительности, сдѣлка силлогизма съ жизнью, такъ называемаго научнаго вывода съ непосредственнымъ чувствомъ. *Нигилизмъ*—такова кличка, данная новому воинственному направленію современнымъ художникомъ, и кличка, очевидно, чрезвычайно меткая. Ее немедленно усвоили и сами герои и ихъ враги. У иностранцевъ она превратилась въ исключительную характеристику русскаго отрицательнаго движенія. Въ журнальной литературѣ шестидесятыхъ годовъ создала цѣлый особый лагерь фанатическихъ преслѣдователей нигилизма, какъ явленія небывало уродливаго, противоестественнаго въ нравственомъ и историческомъ смыслѣ. И позже, на пространствѣ десятилѣтій русскій умѣренный и благонамѣренный гражданинъ при одномъ намекѣ на нигилистовъ переживалъ все тѣ же невыносимо жестокія чувства, какія тургеневскій «сынъ» въ теченіе нѣсколькихъ минутъ разговора успѣваетъ зажечь въ груди самаго респектабельнаго и культурнаго «отца».

Разумны ли эти чувства и существуетъ ли достаточное основаніе возводить понятіе «нигилиста» на степень жупела?

Не требуется пространныхъ разсужденій, чтобы дать рѣшительно отрицательный отвѣтъ. Стоитъ только припомнить важнѣйшіе моменты европейской поступательной мысли, и типъ «ни-

илиста» поразитъ насъ своей почтенной исторической давностью, и менѣе всего уродливыми исключительными чертами.

Намъ говорятъ—это дикая монгольская сила. Разрушеніе—ея стихія, отрицаніе—ея страсть, неизлѣчимое невѣріе—ея неразлучный спутникъ. Какое скопище ужасовъ! Изъ нихъ каждаго порознь достаточно, чтобы изъ человѣка образовалось совершенное чудовище и заклеймило несмываемымъ пятномъ свое время и свой народъ.

И изъ такихъ чудовищъ будто бы состояло цѣлое поколѣніе русской молодежи! И оно даже дѣйствовало, сочиняло и печатало статьи, соблазняло малыхъ и воевало съ великими. И оно должно бы оставить въ литературѣ мерзость запустѣнія и завѣщать потомству отвратительную оргію низменныхъ инстинктовъ, потому что—невѣріе и разрушеніе—послѣдніе предѣлы идейной безпринципности и практической преступности. И если французы не знаютъ какъ отчураться отъ своихъ якобинцевъ, куда намъ тогда укрыться отъ упрековъ національной совѣсти, намъ, считающимъ въ числѣ своихъ предковъ Базаровыхъ, Писаревыхъ, Зайцевыхъ, Благосвѣтловыхъ!

Какая страшная галлерея, все что ни фигура, то нигилистъ и отрицатель! И нѣтъ словъ по достоинству оцѣнить этихъ героевъ и эпоху ихъ царства. Возьмемъ первую попавшуюся исповѣдь современника. Она явилась въ 1864 году, въ аксаковской газетѣ *День*, слѣдовательно, можетъ притязать на извѣстную литературность и добросовѣстность.

«Не было той дикости, которой не проповѣдывала бы вслухъ извѣстная часть петербургской журналистики за это время, и не было той грязной выходки, которую бы она себѣ не позволила, вотъ существенныя доблести этой эпохи à la Renaissanse. Наглость, изворотливость, какое-то мастерство лжи и побѣдительный блескъ во взорѣ отъ сознанія именно своей непревосходимости въ этомъ искусствѣ—вотъ истиныя отличія ея нравственнаго достоинства. Заносчивость школьника, тайкомъ прочитавшаго двѣ три запрещенныхъ книжки, и его же капитальное невѣжество—вотъ вѣчно одни и тѣ же проблески этой «зари возрожденія». Можно смѣло сказать, не было того истинно-достойнаго или мало-мальски порядочнаго произведенія въ нашей литературѣ, которое сейчасъ же не подвергалось бы со стороны этого новаго вѣющаго духа всякому оплеванію и осмѣянію. Не было, напротивъ, мельчайшей брошюрки или статейки, ученаго волюминознаго трактата или

бѣглой повѣстушки, появленіе которыхъ не привѣтствовалось бы сейчасъ эпохой возрожденія въ трубы и въ литавры, лишь бы авторъ въ нихъ, что называется, выкидывалъ колѣнце. И всякія средства считались позволительными для духоносцевъ этой эпохи, лишь бы достигать своихъ цѣлей, лишь бы давать просторъ новому вѣющему духу. Искаженіе мыслей автора, перетасовка цитируемыхъ изъ него строчекъ, глумленіе надъ нимъ, сочиненіе на его счетъ небывалыхъ анекдотовъ, все допускалось въ полемикѣ не въ видѣ нечаянной обмолвки, а въ видѣ правила, очень сознательно принятаго для руководства»! [1]).

Это—настоящій обвинительный актъ! Собраны здѣсь, кажется рѣшительно всѣ преступленія—нравственныя и литературныя—и можно подивиться, какъ нашлась публика, терпѣвшая подобныхъ писателей и даже награждавшая ихъ громкой и довольно прочной славой.

Очевидно, съ обвиненіемъ что то неладно. Прокуроръ или слишкомъ сгустилъ краски или прямо взялъ полемическій партійный тонъ, совершенно не соотвѣтствующій истинѣ. Правда, у прокурора множество единомышвенниковъ, именно имъ предстояло до послѣднихъ дней множиться и процвѣтать. Одинъ Катковъ, вооруженный газетой и журналомъ, задачей всей своей жизни поставилъ оберегать отечество отъ язвы нигилизма и разукрашивать чудовище въ что ни на есть яркіе колеры. Подобное усердіе не могло пропасть даромъ и въ тонъ русской печати затянули иноземцы, искренне почувствовавшіе мрачное чуть не адское величіе русскаго нигилизма... Какъ бы эта музыка польстила слухъ нашихъ юныхъ героевъ и въ какое бы невольное изумленіе они впали, узнавъ о своей грандіозности!

На самомъ дѣлѣ—весь этотъ мракъ и все величіе, чистѣйшіе продукты разстроенной или преднамѣренно подогрѣтой публицической фантазіи. Русскіе нигилисты не только не духи зла и отрицанья, даже не демоны романтическаго стиля. И откуда бы взяться подобнымъ геніямъ на русской землѣ—внезапно, непосредственно послѣ образцовой тиши да глади, послѣ неизмѣнно и неограниченно звучавшаго по всей Руси увѣреннаго и властнаго гласа: «все обстоитъ благополучно!»

Мы понимаемъ появленіе на французской сценѣ жирондистовъ и якобинцевъ. Почти цѣлое столѣтіе работало надъ созд

[1]) «День» 1864 г.

даніемъ этой сцены и воспитаніемъ героевъ. И какое столѣтіе! Что ни имя—то своего рода великая держава, а одно—такъ даже стоющее нѣсколькихъ державъ. Писатель, благосклонно принимающій комплименты августѣйшихъ особъ, въ родѣ Екатерины II и Фридриха II, это дѣйствительно грозная сила и достойный предшественникъ законодателей и преобразователей!

А у насъ? Вмѣсто Вольтера, Руссо, Дидро и несчислимыхъ звѣздъ первой и второй величины—одинъ Бѣлинскій и почитатели его «скромно одѣтые» провинціалы, столичные обитатели четвертыхъ этажей и два-три даровитыхъ литератора. Конечно, въ странѣ крѣпостного права и всяческаго безправія и это очень много; но послѣдствія все-таки должны быть соотвѣтственныя. Орлы родятся только отъ орловъ и въ мірѣ физическомъ, и въ мірѣ нравственномъ. Кто умѣлъ читать и оцѣнить Бѣлинскаго, тотъ, конечно, не могъ пребывать въ сонмѣ пресмыкающихся, но врядъ ли также въ состояніи былъ и воспарить подъ облака—мощнымъ, сознательнымъ полетомъ. Ужъ очень просто и совсѣмъ даромъ давались бы тогда людямъ великія умственныя побѣды. Стоило бы только погромче крикнуть да по-молодецки свистнуть, и всѣ шуты и уроды очутились бы на корачкахъ. Въ русской былинѣ это дѣйствительно такъ и описывается, но ни въ какой жизни этого не бывало и не бываетъ,—не произошло и ради нигилистовъ.

Мы должны свести этихъ героевъ къ ихъ подлинному историческому уровню и опредѣлить ихъ ростъ независимо отъ галлюцинацій не по разуму усердныхъ враговъ. Задача—нехитрая: надо только опредѣленно представить идейную, философскую основу нигилизма, и она уже сама по себѣ броситъ правильный и яркій свѣтъ на психологію дѣйствующихъ лицъ.

XXXIX.

Отечественные охранители взапуски усиливались до послѣдней степени взвинтить нигилизмъ и раскрыть его сатанинскій характеръ: это понятно. Чѣмъ величественнѣе представляется врагъ, тѣмъ больше чести его побѣдителю, и Катковъ вполнѣ естественнымъ путемъ дошелъ подъ конецъ жизни до отождествленія съ нигилистами всѣхъ инако мыслящихъ. Это и было идеальнымъ разоблаченіемъ крамолы.

Въ другомъ положеніи находились иностранные наблюдатели

нигилизма. Если оставить въ сторонѣ обычныя недоразумѣнія знатныхъ путешественниковъ и еще болѣе обычное желаніе вольныхъ политиковъ преувеличивать отрицательныя явленія чужого государства,—въ результатѣ у западныхъ писателей не окажется ни одного основательнаго мотива выдѣлять русскій нигилизмъ въ особую категорію невиданныхъ міромъ революціонныхъ недуговъ.

Міру не только давно извѣстны подобные факты, но они, въ сущности, даже распространеннѣе и общедоступнѣе, чѣмъ другія идейныя направленія.

Въ самомъ дѣлѣ, что такое нигилизмъ, какъ умственный процессъ? Ни болѣе, ни менѣе, какъ доведенная до послѣднихъ *полярныхъ* предѣловъ борьба чистой мысли съ нагляднымъ фактомъ дѣйствительности. Отсюда ясны два заключенія: нигилизмъ, какъ философія, представляетъ одну изъ формъ метафизики, какъ практическая программа—онъ чистѣйшій идеализмъ. Послѣднее понятіе мы беремъ не въ узкомъ нравственномъ смыслѣ, а какъ логическую противоположность реальному мышленію, т.-е. во всѣхъ своихъ стадіяхъ связанному съ опытомъ, съ указаніями дѣйствительности. По поводу философской статьи Чернышевскаго мы указывали на метафическій характеръ матерьялизма шестидесятыхъ годовъ, по поводу литературныхъ и публицистическихъ разсужденій младшихъ современниковъ автора *Антропологическаго принципа* мы безпрестанно будемъ убѣждаться въ чисто-романтическомъ, непозволительно-мечтательномъ идеализмѣ злополучныхъ положительныхъ умовъ. Эта мечтательность подчасъ будетъ доходить до трогательной наивности, менѣе всего характеризующей какую бы то ни было нравственную силу. Напротивъ. Въ глубинѣ подобнаго идеализма всегда лежитъ драма, неизбѣжное противорѣчіе порывовъ личности и органическихъ силъ жизни. О результатѣ столкновенія не можетъ быть и рѣчи. Личность въ высшей степени счастлива, если ей удается покончить вопросъ драматической развязкой; чаще всего «духъ земли» предварительно успѣетъ высмѣять опрометчиваго Фауста, унизить и разбить его отдѣльными стычками и потомъ, развѣ какъ послѣднюю милость, возложить на него терновый вѣнокъ.

Именно такую исторію разсказалъ Тургеневъ о своемъ нигилистѣ, и врядъ ли когда еще съ бо́льшимъ блескомъ и глубиной проявлялась вдохновенная проницательность творческаго генія!

Какіе поучительные образы и факты! Чернышевскій, отвер-

гающій всякіе нравственные мотивы въ человѣческихъ отношеніяхъ, признаетъ ихъ у курицы, клянущійся на каждомъ словѣ фактомъ и наукой — впадаетъ въ самыя произвольныя и фантастическія догадки и обобщенія! Это—въ области отвлеченной мысли.

Еще сильнѣе эффектъ нигилистической практики. Базаровъ, въ воинственномъ азартѣ противъ существующей дѣйствительности, готовъ и себя косить по ногамъ,—о чужихъ предразсудкахъ, чувствахъ и идеалахъ нечего и толковать. И вдругъ—онъ влюбленное разбитое сердце, онъ — тоскующій и злобный герой неудачнаго романа, даже хуже, онъ—мелодраматическій персонажъ въ дуэли съ накрахмаленнымъ джентльменомъ и рыцаремъ. И онъ долженъ умереть: это лучшій исходъ для его безнадежно-надорваннаго существованія, и реальный нигилистъ, Писаревъ, будетъ восхищаться именно смертью Базарова, какъ прекраснѣйшимъ моментомъ всей этой печальной исторіи.

Скажите, развѣ это не подлинныя черты романтизма и развѣ въ этихъ чертахъ бросается вамъ въ глаза хотя бы одна точка демонической, мощной окраски?

Не проще ли признать во всемъ этомъ одинъ изъ безчисленныхъ варіантовъ отчасти жалкихъ, отчасти трагическихъ заблужденій безразсчетно-самонадѣяннаго и юношески-неиспытаннаго ума? И сколько разъ подобный умъ совершалъ все одинъ и тотъ же путь фантастическаго культа призраковъ, считая ихъ за самую реальную осязаемую дѣйствительность!

Вотъ, напримѣръ, почти четыреста лѣтъ тому назадъ по всей западной Европѣ раздается призывъ Лютера порвать связи съ разложившимся католическимъ міромъ, съ его религіей, наукой и нравственностью. Отнынѣ свободное личное чувство и личный разумъ займутъ мѣсто внѣшнихъ авторитетовъ и священное писаніе будетъ подлежать непосредственному воспріятію вѣрующаго, не проходя сквозь призму папской политики и схоластики.

Таковъ принципъ, совершенно ясный и опредѣленный въ исходной точкѣ, но неограниченный и неуловимо-разнообразный въ логическихъ выводахъ. Въ самомъ дѣлѣ, сколько можно дать отвѣтовъ на вопросъ: гдѣ остановить критику разума, направленную на св. писаніе, противъ средневѣковой учености и всего католическаго строя жизни?

Можно вѣдь и разумъ заключить въ извѣстныя границы и изъ новыхъ толкованій создать не менѣе строгую авторитетную

систему, чѣмъ католическое богословіе. Къ такой цѣли именно и стремилось правовѣрное лютеранство, создавая свои догматы и свое церковное ученіе на мѣсто отвергнутаго. Но нѣтъ логическихъ препятствій повести критику до полнаго разложенія всего общеобязательнаго и догматическаго, примѣнить къ св. писанію тѣ же пріемы анализа и изслѣдованія, какіе примѣняются вообще къ историческимъ памятникамъ. Нѣтъ также обязательной границы и въ отрицательной критикѣ противъ средневѣковой науки. и здѣсь, пожалуй, увлеченіе еще естественнѣе, можно сказать неудержимѣе, чѣмъ въ чисто-богословскихъ вопросахъ.

И оно немедленно обнаружилось, одновременно съ умѣренно-либеральной реформой Лютера. Явился даже ученый, профессоръ Карлштадтъ, блестящій и страстный ораторъ, искренній и отважный разрушитель ненавистной старины, подлинный представитель реформаціоннаго нигилизма. Да, во всей точности: только подмѣните спорные вопросы XIX вѣка идеями лютеровскаго движенія—и совпаденіе получится полное.

Второй вопросъ—оффиціальная наука и католическая цивилизація. По мнѣнію Лютера, все это можно преобразовать, старую науку и цивилизацію пообчистить, подправить, одушевить новымъ духомъ свободы и творчества...

Недостойная уступчивость и трусливая сдѣлка!—отвѣчаетъ на это Карлштадтъ. Совсѣмъ долой съ лица земли ученность и культуру. Университеты должны опустѣть, профессора и студенты разсѣяться по деревнямъ и приняться за воздѣлываніе земли собственными руками. Это и будетъ истиннымъ выполненіемъ заповѣди св. писанія: человѣкъ долженъ ѣсть хлѣбъ свой въ потѣ своего лица.

И Карлштадтъ, стремительный и убѣжденный, быстро собралъ вокругъ себя восторженную авдиторію и съ университетской каѳедры лились бурныя рѣчи противъ университетовъ, богослововъ, ученыхъ, вообще противъ ветхаго культурнаго міра.

Лютеръ пришелъ въ крайнее безпокойство, и либерализмъ объявилъ безпощадную войну радикализму. Власть стала на сторону благоразумія и умѣренности, Карлштадтъ присужденъ молчать. Но что значилъ приговоръ надъ отдѣльнымъ человѣкомъ? Развѣ существовала сила, способная прервать процессъ мысли независимо отъ того или другого энтузіаста?

И Лютеру до конца дней пришлось страдать, глубоко, невыносимо страдать, отъ прямыхъ дѣтищъ собственной реформы. Они

не замедлили перенести принципы свободной критики на политическую почву, задумали въ корнѣ передѣлать государство и общество наравнѣ съ церковью, освободить не только всуе вѣрующее стадо папы, но и неправильно-угнетенный и порабощенный народъ. Въ радикальной программѣ появились свои виттембергскіе тезисы, цѣликомъ предвосхитившіе позднѣйшій французскій восемьдесятъ девятый годъ.

И Лютеру оставалось отвернуться отъ этой эволюціи преобразовательныхъ идей и даже послать проклятіе разуму, какъ исчадію ада, тому самому разуму, который двигалъ имъ самимъ но только умѣренно и осторожно!

Та же исторія повторилась два съ половиной вѣка спустя. Второй разъ и уже гораздо рѣшительнѣе былъ поставленъ вопросъ все о той же старой вѣрѣ и старыхъ общественныхъ неправдахъ. Люди умѣреннаго образа мысли не желали и слышать о католичествѣ и папѣ, но они не рѣшались поднять рукй на самый принципъ вѣры. Они искали Бога, разрушая его видимые алтари и говорили о духѣ, воюя съ духовенствомъ. Такимъ же среднимъ путемъ шли они и въ борьбѣ съ отжившимъ общественнымъ строемъ. Они разсчитывали на поправки и передѣлки. Сметая съ лица земли педантизмъ и тунеядную пустопорожнюю ученость они требовали просвѣщенія и реальныхъ знаній. Высмѣивая уродства искусственной паразитской цивилизаціи, они пытались построить зданіе дѣятельной, нравственно-могущественной и общедоступной культуры.

Это либерализмъ и золотая средина. Но опять нашлись люди, не усмотрѣвшіе въ подобныхъ идеалахъ ничего свободнаго и золотого. И разсуждали они не безъ логики и не безъ искуества.

Вы, заявляли они умѣреннымъ просвѣтителямъ, клеймите римское ученіе и въ тоже время хотите спасти душу. Но вѣдь въ душѣ-то весь источникъ зла. Покончите съ душой, и вы однимъ ударомъ ниспровергните всю ветхую храмину. И это будетъ вполнѣ послѣдовательно.

Такъ именно разсуждали баронъ Гольбахъ и Гельвецій, и привели въ ужасъ Вольтера и его друзей. «Какая страшная книга»!— восклицалъ Даламберъ о сочиненіи барона, а Вольтеръ, не зналъ какъ убѣдить публику въ полной своей неприкосновенности къ матеріалистическому резонерству литературнаго метръ-д'отеля.

Еще рѣзче обнаружилась междоусобица въ культурныхъ идеалахъ. Здѣсь знамя нигилизма поднялъ писатель геніальныхъ даро-

ваній, несравненный стилистъ и неотразимый логикъ, и подвялъ открыто, съ преднамѣренной запальчивостью и глубокой ненавистью. Это было тѣмъ естественнѣе, что радикальный отрицатель культуры и науки самъ лично представлялъ нѣчто въ родѣ естественнаго человѣка. Просвѣщенное общество рѣшительно ничѣмъ его не облагодѣтельствовало, а наука только причинила не мало терзаній и огорченій въ годы ранней молодости. И онъ отомстилъ.

Однимъ натискомъ пера на мѣсто утонченнаго любителя философіи и прочихъ благъ усовершенствованнаго общежитія былъ воздвигнутъ грандіозный образъ даже не дикаря, а миѳическаго существа человѣческой породы, но вполнѣ ангелоподобной природы. Это означало—смертный приговоръ и наукѣ, и гражданскому обществу, и даже весьма многимъ, казалось бы, весьма естественнымъ свойствамъ человѣка, въ родѣ способности любить, ненавидѣть и ревновать, думать и словами выражать свои думы.

Можетъ ли идти дальше метафизическое отвращеніе къ дѣйствительности? Открывая въ философіи Руссо не одну родственную черту съ нигилизмомъ, мы должны все таки признать нигилистовъ филистерами сравнительно съ этой бурей отрицательныхъ *инстинктовъ*, не отвлеченныхъ идей, а органическихъ порывовъ негодованія и ненависти. Правда, и «мыслящая личность» нигилистовъ—фигура, достаточно освобожденная отъ предразсудковъ и преданій, но все таки она *мыслящая*, а здѣсь сама мысль провозглашается извращеніемъ идеальной человѣческой природы и самый даръ слова признается бѣдствіемъ и источникомъ бѣдствій.

И все это не бредъ безумнаго, а только извѣстное звено логическаго процесса. Вѣдь нельзя же въ самомъ дѣлѣ отрицать, что способность мыслить и говорить—основа всякой цивилизаціи, т. е. несомнѣннаго зла, какимъ цивилизація явилась въ XVIII вѣкѣ. А такъ какъ всякое зло надлежитъ пресѣкать въ корнѣ, то вполнѣ послѣдовательно начать идеализаціей естественнаго состоянія, т. е. безоглядно прямолинейнымъ и непримиримымъ нигилизмомъ.

Ничего другого по существу не дѣлали и русскіе нигилисты шестидесятыхъ годовъ. Мы видѣли родовое сродство идей шестидесятниковъ съ обычными принципами всякаго преобразовательнаго движенія, та же самая историческая давность лежитъ яркой печатью и на крайнихъ выводахъ этихъ идей. Иначе и быть не можетъ.

Человѣческая психологія, въ своихъ основныхъ законахъ, всегда

и всюду одинакова. Логическое развитіе какой угодно идеи совершается тождественными путями во всѣ вѣка и у всѣхъ народовъ.

Это правило остается неизмѣннымъ, къ сожалѣнію, во всѣхъ подробностяхъ и частностяхъ. Къ сожалѣнію, потому что уроки исторіи должны бы производить извѣстное дѣйствіе на позднѣйшихъ путниковъ одного и того же культурнаго пути.

Русскій нигилизмъ явился послѣ многочисленныхъ эволюцій европейской мысли въ либеральномъ и радикальномъ направленіи. Опыты въ прошломъ были въ высшей степени краснорѣчивые и внушительные. Они, при самомъ поверхностномъ знакомствѣ, могли бы научить по крайней мѣрѣ одной истинѣ: логическій процессъ отвлеченной мысли никоимъ образомъ не слѣдуетъ отожествлять съ органическимъ процессомъ жизни. Діалектика идей область совершенно другая, чѣмъ движеніе и взаимодѣйствіе фактовъ, и обѣ эти области могутъ становиться даже въ безвыходное противорѣчіе и привести отважнаго мыслителя къ грозной дилеммѣ: или поступиться чистотой и героичностью діалектики или превратиться въ своего рода инквизитора абстракцій, въ такого же фанатика разсудочныхъ теорій, какими римскіе христіане являлись во имя церковныхъ догматовъ. Собственно преступнаго въ нравственномъ смыслѣ нѣтъ ни въ инквизиціи, ни въ нигилизмѣ, и нѣтъ ничего безсмысленнѣе приговора даже надъ французскими якобинцами, какъ надъ нравственными чудовищами и выродденцами. И инквизиторъ, и якобинецъ, и нигилистъ могутъ быть людьми кристальной честности и безкорыстія: сущность ихъ психологіи не въ нравственномъ извращеніи. а въ извѣстномъ складѣ ума. Практически дѣятельность этой породы людей можетъ выразиться въ крайне отталкивающихъ формахъ, произвести впечатлѣніе настоящихъ злодѣяній и преступленій, но все это только *послѣдующее* и *производное*: предшествующее и истинно дѣятельное, принципіально творческое—идея, какъ логическое умозаключеніе и въ тоже время какъ настоящій *философскій догматъ*.

Эту психологію превосходно выразилъ одинъ изъ послѣдовательнѣйшихъ якобинцевъ Сенъ-Жюстъ. Какъ истинный нигилистъ, безусловно убѣжденный въ всемогуществѣ отвлеченной доктрины, онъ торжественно заявилъ:

«Въ тотъ самый день, когда я дойду до убѣжденія, что французскому народу невозможно сообщить нравовъ гуманныхъ, чувствительныхъ и неумолимыхъ предъ тиранніей и несправедливостью, я покончу самоубійствомъ».

И это не фраза. Весь смыслъ существованія якобинца въ фанатическомъ культѣ извѣстной теоріи. Разъ она оказывается безплодной и безцѣльной, смертный приговоръ всей личности идеолога подписанъ. И опять невольно припоминается нигилистъ, созданный всепроникающимъ творчествомъ геніальнаго художника. Неждановъ гибнетъ жалкой, вынужденной смертью, унося въ могилу нестерпимо горькое разочарованіе въ жизненности и силѣ своего идеала. Неждановъ, правда, слабъ отъ природы, но и болѣе одаренные у вдумчивой и сердечной героини вызываютъ впечатлѣніе отнюдь не лестное для ихъ нравственнаго и практическаго могущества.

— Несчастный онъ человѣкъ, неудачливый!..

Говоритъ Маріанна о Маркеловѣ, и въ этихъ словахъ звучитъ будто погребальное напутствіе не надъ отдѣльной личностью, а надъ цѣлымъ теченіемъ. Оно шумно и бурно ворвалось въ русскую жизнь и неожиданно быстро разлетѣлось въ мелкія брызги, оставивъ у большинства современниковъ и у потомства впечатлѣніе какого-то случайно налетѣвшаго вихря столь же порывистаго, сколько и безплоднаго въ вѣковой положительной культурной работѣ русскаго народа и общества.

И эту безплодность можно было предвидѣть съ самаго начала. Ни одно умственное направленіе въ XIX вѣкѣ не начиналось столь легкомысленно и слѣпо въ противорѣчіи со всѣми ранними и ближайшими указаніями европейскаго и русскаго просвѣщенія. Ни одно радикальное теченіе, во всѣ эпохи европейской культуры, не являлось до такой степени ненужнымъ и завѣдомо фантастическимъ, какъ русскій нигилизмъ. Мы не станемъ укорять юныхъ русскихъ преобразователей въ непониманіи историческаго смысла хотя бы новѣйшихъ европейскихъ событій, не станемъ приставать къ нимъ съ запросами: почему они, столь усердно занимаясь французскими революціями, не отдали себѣ отчета во французскихъ реакціяхъ? Для этой задачи требовалось, можетъ быть, слишкомъ продолжительная вдумчивость, неодолимая для очень юныхъ бойцовъ за совершенно новое будущее своего отечества.

Но одинъ вопросъ безусловно долженъ быть поставленъ нашимъ героямъ. Они выступили на сцену дѣйствія, когда съ нея едва успѣли сойти ихъ ближайшіе учителя. Голосъ Добролюбова только что умолкъ, рѣчь Чернышевскаго еще продолжала звучать,— новые люди взяли въ свои руки бразды правленія общественной мысли и немедленно устремились куда-то всторону, по ихъ мнѣ-

нію—впередъ, но непремѣнно подальше отъ своихъ предшественниковъ.

Чѣмъ вызывалась эта стремительность? Интересами совершенствованія русскаго общественнаго самосознанія, цѣлями возможно широкаго освобожденія новыхъ нарождающихся идеаловъ отъ гнета преданій и авторитетовъ? Нисколько.

Чернышевскій и Добролюбовъ въ этомъ направленіи достойно закончили дѣло Бѣлинскаго: оставалось только охранять проложенные пути, сбрасывать всякій соръ и налетъ и отражать незваныхъ гостей, въ родѣ Каткова и его прихода. Задача весьма нелегкая и ея вполнѣ хватило бы на всѣ новые таланты.

Вмѣсто нея новые люди предпочли работать исключительно за свой счетъ, отдѣлить свои стремленія и даже принципы отъ завѣтовъ своихъ старшихъ современниковъ, обозвать эти завѣты устарѣвшими и воспарить на дотолѣ недосягаемую высоту независимой оригинальности.

Мы знаемъ, расчеты на оригинальность не могли оправдаться и дѣйствительно не оправдались, а вожделѣнія о независимости на нѣсколько лѣтъ замутили прямой путь русскаго прогресса, внесли разладъ въ среду самихъ прогрессивныхъ силъ, создали рядъ благодарнѣйшихъ брешей и мишеней для вражескихъ натисковъ и набросили не мало тѣней на благороднѣйшія и безпорочнѣйшія стремленія молодого поколѣнія даже въ глазахъ его искреннихъ друзей.

Мы снова должны припомнить,—возникновеніе нигилизма могло не встрѣтить отвлеченныхъ логическихъ препятствій послѣ дѣятельности старшихъ шестидесятниковъ, все равно какъ вообще радикальныя слѣдствія всякой идеи теоретически возможны и естественны. Но въ томъ именно и заключалась задача молодыхъ наслѣдниковъ Чернышевскаго и Добролюбова, чтобы удержаться отъ чисто-абстрактныхъ головокруженій, тщательно распознать и вдумчиво оцѣнить жизненную широту уже выясненныхъ идеаловъ и не жертвовать ими ради схемъ, можетъ быть, и красивыхъ, математически-стройныхъ, но совершенно не отвѣчавшихъ на самыя наглядныя потребности русской дѣйствительности. Ради крайняго логическаго заключенія отвергать идею въ ея болѣе умѣренныхъ, но зато болѣе жизнеспособныхъ выводахъ—значитъ, работать какъ разъ въ ущербъ прогрессу и подрывать нравственный авторитетъ и практическую цѣнность всей идеи вообще.

*

Это именно и произошло со многими основными символами нигилистической вѣры.

XL.

Въ то самое время, когда Катковъ день за днемъ оттачивалъ ядовитѣйшія стрѣлы по адресу Чернышевскаго и его сочувственниковъ, петербургскій журналъ самого умѣреннаго образа мыслей вдругъ обнаружилъ поразительное безпристрастіе и джентльменство. *Библіотека для чтенія* взяла на себя трудъ перечислить заслуги Чернышевскаго предъ русской публицистикой, оцѣнить его умъ и талантъ. Оцѣнка въ высшей степени лестная, хоть бы подъ стать и нигилистическому органу. Чернышевскій возхваляется, какъ мыслитель оригинальный, сильный и въ высшей степени разносторонній. Вліяніе его на журналистику и читателей огромно.

Благодаря ему, публика въ настоящее время чувствуетъ омерзѣніе къ общимъ мѣстамъ, широковѣщательнымъ фразамъ, къ золотой посредственности. Именно его статьи вызвали всеобщую жажду оригинальности, совершенно подорвали кредитъ скучныхъ компиляторовъ, притязательныхъ педантовъ, утвердили власть здраваго смысла, легкой литературной рѣчи, распространили множество знаній, раньше совершенно недоступныхъ большой публикѣ. Статьи Чернышевскаго до такой степени своеобразны, что ихъ можно узнать даже безъ подписи, а это явно свидѣтельствуетъ о писателѣ, «способномъ производить новыя мысли» [2]).

Умѣренный журналъ находитъ даже возможнымъ сказать доброе слово объ *Антропологическомъ принципѣ* и вообще отвести Чернышевскому въ современной публицистикѣ особое и въ высшей степени почетное мѣсто. Дѣлаетъ онъ не менѣе любезный намекъ на Бѣлинскаго и Добролюбова: очевидно, «новые люди» могутъ считать себя признанными въ благоразумно-либеральномъ лагерѣ и даже дальше—среди самихъ славяновиловъ: по крайней мѣрѣ. Аполлонъ Григорьевъ не уставалъ прославлять талантъ Добролюбова. А еще раньше Иванъ Аксаковъ сознался въ побѣдѣ идей и личности Бѣлинскаго надъ славянофильскими проповѣдями.

Въ лагерѣ «новыхъ людей» эти факты могли принять за несомнѣнные показатели своего торжества. И будущее, по всѣмъ

---

[2]) *Библіотека для чтенія*. 1861, августъ. «Литерат. обозрѣніе».

признакамъ, принадлежало послѣдователямъ Чернышевскаго и Добролюбова.

Въ самомъ дѣлѣ, какая сила могла бы уничтожить то количество здравыхъ понятій и реальныхъ знаній, какое было сообщено публикѣ старшими шестидесятниками? Какой критическій талантъ оказался бы настолько сильнымъ и искуснымъ, чтобы поднять съ земли окончательно разбитое чистое искусство, возстановить престижъ мертворожденной, хотя и глубокомысленной учености, обновить безнадежно засохшія лавры на главахъ почтенныхъ, но уже больше не почитаемыхъ авторитетовъ?

Съ какой ясностью и непобѣдимой логичностью установилъ Добролюбовъ реальную критику, съ какой находчивостью и проницательностью умѣлъ онъ извлекать изъ художественнаго вдохновенія поэтовъ уроки жизни для дѣятелей, съ какой убѣжденностью и мужествомъ онъ отдѣлилъ плевелы праздно болтающей эстетики отъ пшеницы гражданской мысли!

И не было ни фанатизма, ни деспотическаго доктринерства въ спокойныхъ и вѣскихъ рѣчахъ молодого критика. Онъ, при всей страстной влюбленности въ свои идеи, ни на одну минуту не вздумалъ посягнуть на луну и солнце, т. е. на неопровержимые повелительные факты дѣйствительности. Его преемники именно войной противъ «луны и солнца» будутъ выражать силу своего отрицательнаго азарта и легкомысленно порвутъ съ преданіями разносторонняго и вдумчиваго міросозерцанія. Кажется, для торжества положительной мысли и полезной литературы было вполнѣ достаточно признать ея цѣнность въ зависимости отъ ея болѣе или менѣе жизненнаго содержанія. Но художественная литература существуетъ и не можетъ не существовать: этотъ фактъ не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. Прать противъ него—значитъ превосходить даже знаменитаго ламанчскаго рыцаря. Вѣтреныя мельницы еще можно остановить, нетрудно и перебить стадо барановъ, но положить *veto* на естественную психологію человѣческой природы, предать остракизму и лишить гражданскихъ и литературныхъ правъ цѣлый разрядъ талантовъ,—это дѣйствительно равносильно желанію погасить солнце и достать съ неба луну.

И къ камимъ результатамъ могло привести подобное геройство? Грозило ли оно серьезно уничтожить поэтовъ и художниковъ и свести печатное слово къ ученымъ докладамъ, политическимъ хроникамъ и разнаго рода обозрѣніямъ? Отнюдь нѣтъ, — не только съ точки зрѣнія защитниковъ художественнаго твор-

чества, но и самихъ героевъ. Они, даже подъ шумъ своей битвы, должны были сознаться, что *геніальные* поэты имѣютъ право на существованіе, что имъ ненавистна только посредственная поэзія и беллетристика, что Гёте и, по соображеніямъ нашихъ цензоровъ, даже Гейне могутъ процвѣтать и разсчитывать на славу въ самомъ радикальномъ потомствѣ.

Старыя пѣсни! Совершенно такимъ же путемъ Руссо уничтожалъ науки и ученыхъ, оставляя жизнь только Бэконамъ, Ньютонамъ и Декартамъ. Но нигилистъ XVIII-го вѣка велъ свою линію до конца: онъ объявлялъ толпу вообще недостойной высокихъ знаній. Новѣйшіе отрицатели желаютъ работать именно на пользу толпы,—гдѣ же они тогда остановятъ смертоносный полетъ своей ультра-аристократической критики? Какой представятъ масштабъ для опредѣленія геніальности и просто талантливости? А масштабъ необходимъ на каждомъ шагу: художники нарождаются безпрестанно,—и представьте,—имъ всѣмъ потребуется разрѣшительная грамота на творческую дѣятельность! Кто будетъ тѣмъ великимъ законодателемъ, о какомъ мечталъ все тотъ же Руссо,—законодателемъ, способнымъ «увлекать не насилуя и убѣждать не уговаривая»!

Повидимому,— именно эту роль и взяли на себя молодые наслѣдники Чернышевскаго и Добролюбова. Никто ни до нихъ ни позже ихъ не говорилъ въ литературѣ болѣе рѣшительнымъ и догматическимъ тономъ, никто съ такой вызывающей отвагой и съ такимъ пристрастіемъ не произносилъ безпрестранно *я*, *мы* и съ такимъ эффектнымъ пренебреженіемъ не обращался съ противной стороной. Всѣ вопросы казались разъ навсегда порѣшенными, вѣчныя тайны монополизированы двумя-тремя «замѣчательными головами», — современникамъ и будущему остается только объяснять и усвоивать вполнѣ раскрытое ученіе.

Впрочемъ, нечего и объяснять: достаточно только прочитать. Истины—ясныя до ослѣпительности и рѣчи — внушительныя до гипноза.

Существовали когда-то въ русской литературѣ Бѣлинскій, Добролюбовъ. Одинъ изъ нихъ всю жизнь прожилъ въ мучительныхъ поискахъ истины, праваго пути къ личному совершенствованію и общественному просвѣщенію, не разъ сжигалъ старыхъ идоловъ и принимался служить новымъ. Другой умеръ, не успѣвъ примирить многочисленныхъ противорѣчій въ своихъ мысляхъ, очевидно подавляемый ихъ сложностью и значительностью.

Жалкіе люди! Дѣло такъ просто, — и еще проще долженъ быть нашъ приговоръ надъ несчастными Гамлетами русской публицистики.

Бѣлинскій — все его несчастье въ томъ, что онъ былъ «настоящимъ жрецомъ искусства», *никогда* не судилъ по литературѣ объ обществѣ, *никогда* изъ предѣловъ критики не переходилъ въ область политическихъ вопросовъ, писалъ исключительно «эстетически-критическіе разборы, часто нелѣпые и мелочные въ частностяхъ» и даже лишенные смысла; правда, — и за нимъ есть заслуги, но какія то туманныя, въ родѣ того, что онъ «первый далъ обществу сознать, и почувствовать» идею прогресса.

Но что значитъ этотъ положительный успѣхъ, — даже если бы и на самомъ дѣлѣ онъ принадлежалъ первому Бѣлинскому, — предъ его культомъ искусства? Если бы вы знали, что такое этотъ культъ вообще эстетическій принципъ! Ничто иное какъ «раздражительная чувственность», «irritatio spinalis, возведенная въ перлъ созданія», «стариковская похотливость», «гаденькій безсильный развратъ»... И такой то принципъ воодушевляетъ всѣ двѣнадцать томовъ сочиненій Бѣлинскаго: какое ужъ тутъ «значеніе его въ литературѣ и обществѣ!» Если на эту тему новый мыслящій человѣкъ считаетъ нужнымъ написать нѣсколько страницъ, — онъ дѣлаетъ это крайне неумѣло, въ видимое противорѣчіе съ своими основными воззрѣніями. Очевидно, ему просто неловко и боязно сразу произнести прямой смертный приговоръ надъ несомнѣнно благороднѣйшимъ человѣкомъ и сильнымъ, свободнымъ писателемъ. Но эта боязнь не помѣшаетъ *косвеннымъ* покушеніямъ на Бѣлинскаго и они, надо полагать, до такой степени въ духѣ новой критики, что другой «мыслящій реалистъ» въ теченіе всей своей жизни не выбьется изъ противорѣчій и оговорокъ на счетъ того же самого вопроса [3]).

Кто такой Бѣлинскій — дѣйствительно ли ослѣпленный жрецъ искусства или отчасти и полезный мыслитель? Трудно отвѣтить вполнѣ опредѣленно. Казалось бы, достаточно прочитать только статьи о Пушкинѣ и разсужденія по поводу Онѣгина и особенно Татьяны, чтобы не написать фразы: Бѣлинскій никогда не судилъ по литературѣ объ обществѣ. Но, повидимому, у реалистическаго взора совсѣмъ особенная проницательность и она видитъ, чего нельзя видѣть и наоборотъ. И совершенно естественно: нѣтъ достойной отплаты критику за его уваженіе къ искусству!

---

[3]) *Русское Слово*. 1864, январь. Статья В. Зайцева *Бѣлинскій и Добролюбовъ*.

И вотъ оказывается, съ одной стороны принципы Бѣлинскаго «превосходны», съ другой они—полная противоположность новѣйшей реалистической критикѣ: принципы на колѣняхъ предъ святымъ искусствомъ, а критика на колѣняхъ предъ святой наукой. Это одинъ — диссонанъ, очевидно, врядъ ли способный разрѣшиться въ гармонію. Другой, еще болѣе внушительный, хотя и того же содержанія. Бѣлинскій по силамъ своего ума и по честности своего характера могъ бы явиться русскимъ Людвигомъ Берне, а на самомъ дѣлѣ онъ жилъ и умеръ эстетикомъ. Наконецъ, еще варьянтъ на тотъ же мотивъ. «Въ продолженіе двадцати лѣтъ лучшіе люди русской литератуты развиваютъ его мысли и впереди еще не видно конца этой работы». Какой вѣнокъ славы, но врядъ ли особенно прочный. Имѣются очень солидныя данныя сомнѣваться въ способности идей Бѣлинскаго къ развитію, а именно: «Бѣлинскій, при всей своей геніальности, пришелъ бы въ ужасъ, если бы Базаровъ сказалъ ему, что «Рафаэль гроша мѣднаго не стóитъ», и что, слѣдовательно, люди очень удобно могутъ жить на свѣтѣ даже совсѣмъ безъ трагедіи».

Какъ же понимать значеніе Бѣлинскаго для текущаго времени? Чтò онъ—исключительно ли явленіе историческое, «выраженіе извѣстной эпохи», и «въ этомъ смыслѣ только и дорогъ намъ» или и теперь кое-чему можно поучиться у него? Вопросъ — темный, можно судить и такъ и сякъ, — и новые люди, смотря по настроеніямъ и обстоятельствамъ, склоняются въ ту или другую сторону. Но не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія, что личные вкусы влекутъ ихъ въ сторону Базарова—безпощаднаго гонителя Рафаэля и прочь отъ Бѣлинскаго—неисправимаго эстетика[1]).

Подобная исторія и съ Добролюбовымъ. Этотъ критикъ, кажется, не особенно усердно молился чистому искусству, гораздо охотнѣе занимался публицистикой и сатирой. Но онъ не желалъ отрицать самого существованія творческой психологіи, онъ очень высоко ставилъ поэтическое вдохновеніе, даже приписывалъ ему, у геніальныхъ поэтовъ, по крайней мѣрѣ,—болѣе глубокую проницательность и болѣе широкій охватъ жизненныхъ явленій, чѣмъ это доступно обыкновеннымъ наблюдателямъ, хотя бы и ученымъ. Эта уступка весьма похожа на «эстетическій принципъ», т. е. «раз-

[1]) Статьи Писарева. *Прогулка по садамъ россійской словесности*, *Пушкинъ и Бѣлинскій*, *Реалистъ*, *Сердитое безсиліе*, *Купальная трагедія съ букетомъ гражданской скорби*. *Схоластика XIX-го вѣка*. *Сочиненія*. Спб. 1894, I, 344. III. 62; IV, 294, 371; V, 65—6.

дражительную чувственность»,—и Добролюбовъ долженъ быть поправленъ и усовершенствованъ, и Писаревъ мужественно заявитъ: «Я никогда не былъ ни самымъ горячимъ, ни даже просто горячимъ приверженцемъ Добролюбова. Я давно разошелся съ Добролюбовымъ на многихъ пунктахъ» [5]). И на самыхъ существенныхъ,—прибавимъ мы, такъ что по всей справедливости Добролюбова слѣдуетъ вычеркнуть изъ списка «мыслящихъ личностей», съ оговоркой только насчетъ немногихъ и не особенно важныхъ вопросовъ: ихъ можно признать случайными совпаденіями съ идеями новыхъ критиковъ.

Въ самомъ дѣлѣ, что̀ общаго между людьми, изъ которыхъ одинъ *чувство художника* признаетъ источникомъ нравственнаго возмущенія противъ беззаконной дѣйствительности, а другому это именно чувство кажется противоестественнымъ и матерью лжи? «Поэтъ на то и поэтъ, чтобы замазывать дѣйствительность фантастическимъ колоритомъ или, говоря проще, привирать». [6]). Вотъ эстетика новыхъ критиковъ: можетъ ли она *родственно* примыкать къ мнѣнію Добролюбова! Конечно, и Писаревъ правъ въ своемъ отреченіи отъ горячихъ чувствъ по отношенію къ Добролюбову.

Логическую связь, разумѣется, можно найти. Искусство должно служить жизни, говорилъ предшественникъ, искусство должно окончательно уничтожиться предъ жизнью—провозглашаютъ преемники. Чистое искусство безполезно и, слѣдовательно, не заслуживаетъ почета и уваженія,—такова ранняя идея, позднѣйшій рѣшительный приговоръ: *L'art gâte tout!* Это—аксіома нигилистовъ XVIII-го вѣка; буквально воспроизводится она и радикальными шестидесятниками: искусство фатально лжетъ, слѣдовательно все извращаетъ и всему вредитъ. [7]). Всѣ эти мысли *теоретически*, несомнѣнно, представляютъ одну цѣпь, но ея крайнее звѣно *практически* является полнѣйшимъ отрицаніемъ среднихъ звѣньевъ, и новая критика—не развитіе и не усовершенствованіе старой, а ея непримиримая соперница и гонительница.

Это общее свойство радикальныхъ выводовъ и, только по недоразумѣнію, юные шестидесятники стремятся по временамъ связать свое существованіе съ дѣятельностью Бѣлинскаго и Добро-

[5]) *Посмотримъ*. V, 154.

[6]) *Русское Слово*. 1865, октябрь. Ст. В. Зайцева *Взболомученный романистъ*.

[7]) *Русское Слово*. 1864, декабрь. *Библіографич. отдѣлъ*, стр., 6. Французское выраженіе принадлежитъ одному изъ послѣдователей Руссо—аббату Мабли:—«De la legislation ou principes des lois», I, 4.

любова. Какъ и слѣдовало ожидать, стремленіе ихъ не удается. мы видѣли рядъ непримиримыхъ противорѣчій, сопровождавшихъ оцѣнку идей и значенія Бѣлинскаго. Та же участь и Добролюбова, и даже Чернышевскаго.

Послѣ диссертаціи *Эстетическія отношенія къ дѣйствительности* искусство все еще представляло нѣкоторую величину. Чернышевскій совершенно ложно представлялъ психологію творчества, упрощалъ ее до такихъ же фантастическихъ предѣловъ, какъ это онъ дѣлалъ съ общимъ философскимъ міросозерцаніемъ при помощи матеріализма, но онъ не отвергалъ по крайней мѣрѣ, художественныхъ талантовъ. Это очень мало, но все таки кое-что. Его молодые ученики въ героическомъ порывѣ мыслить еще реальнѣе и положительнее *кое-что* замѣтили *ничѣмъ*, т. е. съ искусствомъ произвели туже самую операцію, какую Руссо—съ наукой и гражданскимъ строемъ общества. И дальнѣйшія послѣдствія уже выяснились сами собой.

Писаревъ сколько угодно могъ воображать себя продолжателемъ Бѣлинскаго и Добролюбова: это воображеніе у него являлось преимущественно во время полемическихъ схватокъ съ либералами. Въ дѣйствительности оно такъ и оставалось чистымъ воображеніемъ или весьма прозрачной военной хитростью.

XLI.

Преемственность между Бѣлинскимъ, Добролюбовымъ и публицистикой *Русскаго Слова* Писаревъ объяснялъ, повидимому, довольно гладко, но по существу совершенно ошибочно.

«Повторять слова учителя, писалъ онъ, не значитъ быть его продолжателемъ. Надо понимать ту цѣль, къ которой шелъ учитель. Идя къ извѣстной цѣли, учитель произноситъ извѣстныя слова. Въ ту минуту, когда эти слова произносились, они дѣйствительно подвигали людей впередъ къ предположенной цѣли. Но когда эти слова уже подѣйствовали, когда люди, подчиняясь ихъ вліянію, сдѣлали нѣсколько шаговъ впередъ, тогда все положеніе вопроса обрисовывается иначе, тогда произнесенныя слова теряютъ свою двигательную силу и, слѣдовательно, перестаютъ быть умѣстными, полезными и цѣлесообразными. Тогда надо произносить новыя слова, причисляя ихъ къ новымъ потребностямъ времени. Эти новыя слова могутъ находиться въ рѣзкомъ разногласіи со старыми словами, и это расногласіе нисколько не мѣшаетъ ни тѣмъ

ни другимъ быть одинаково вѣрными выраженіями одной и той же основной тендеціи». [8]).

Въ этомъ чрезвычайно текучемъ и на первый взглядъ вполнѣ основательномъ разсужденіи отразилась вся сущность умственныхъ процессовъ юнаго поколѣнія шестидесятниковъ. Отвлеченная рѣчь ростетъ и развивается безъ сучка, безъ задоринки и самообольщенный резонеръ воображаетъ, что такъ именно все и совершается въ дѣйствительности, какъ происходитъ у него на бѣломъ листѣ бумаги. Нѣтъ ни малѣйшей разницы между накопленіемъ силлогизмовъ и эволюціей фактовъ и низать одну мысль на другую значитъ чуть не двигать горами, и властвовать надъ настоящимъ и будущимъ, и по произволу вертѣть историческимъ смысломъ прошлаго.

На самомъ дѣлѣ, конечно, этотъ абстрактный героизмъ—чистѣйшая иллюзія ученически мыслящаго ума. Молодые шестидесятники могли быть блестящими діалектиками, но въ исторіи они пребывали на первобытной ступени культурнаго пониманія и даже просто фактическаго знанія. На ихъ взглядъ вести «основную тенденцію» до какого угодно «новаго слова» значитъ удовлетворять «потребностямъ времени». А между тѣмъ, исторія не разъ и неопровержимо доказала, что результаты чистаго логическаго процесса могутъ оказаться совершенно внѣ времени и пространства и не только не соотвѣтствовать «потребностямъ», но идти въ разрѣзъ съ основными органическими законами прогресса. Этотъ путь можетъ простираться такъ далеко, что крайній радикализмъ совпадетъ съ крайней реакціей, правда безъ собственнаго вѣдома и яснаго сознанія, исключительно въ силу прямолинейнаго отвлеченнаго фанатизма.

Война Руссо противъ ученыхъ и философовъ, противъ заурядныхъ подвижниковъ знанія и просвѣщенія, т. е. противъ популяризаціи науки и образованія, какъ нельзя болѣе отвѣчала завѣтнымъ вожделѣніямъ кровныхъ мракобѣсовъ, и исторія просвѣтительной эпохи знаетъ, сколько хлопотъ мечтанія Руссо причинили энциклопедической партіи. Многія идеи Руссо, разумѣется, не имѣли ничего общаго съ церковнымъ и политическимъ рабствомъ стараго общества, но радикальное отрицаніе цивилизаціи должно было принести свои плоды даже впослѣдствіи въ дѣятельности якобинцевъ.

---

[8]) *Пушкинъ и Бѣлинскій* V, 66.

Въ этотъ фактъ не трудно бы вдуматься людямъ, разсуждавшимъ о новыхъ словахъ почти столѣтіе спустя послѣ проповѣдей Руссо, и оцѣнить по достоинству именнно «умѣстность», «полезность» и «цѣлесообразность» величественныхъ полетевъ своего отвлеченнаго мышленія. Кромѣ того, они могли бы остановиться на этомъ пути даже независимо отъ историческихъ соображеній, просто отдавши себѣ отчетъ въ собственныхъ литературныхъ дѣйствіяхъ и поступкахъ.

Съ Бѣлинскимъ сравнительно трудно справиться, какъ съ жрецомъ искусства, и противорѣчія здѣсь неизбѣжны. Съ Чернышевскимъ, повидимому, дѣло обстоитъ проще. Онъ откровенно дѣйствительность предпочитаетъ искусству и, напримѣръ, смыслъ морской живописи видитъ только въ желаніи художника дать полюбоваться моремъ всякому, кто не можетъ сдѣлать этого у подлиннаго моря. Кажется, достаточно,—но для молодого толкователя *эстетическихъ отношеній* мало, и онъ напишетъ убійственную обвинительную рѣчь противъ живописи и вообще противъ эстетическаго наслажденія.

На сцену появится тамбовецъ: ему нежелательно «тащиться» въ Петербургъ или въ Одессу взглянуть на настоящее море, ему удобнѣе заплатить за картину 10.000 рублей,—и вотъ права знаменитаго мариниста на титло *великаго* художника! Не будь лѣниваго и богатаго тамбовца — незачѣмъ было бы и существовать художеству [9]).

Не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія, что Чернышевскій не призналъ бы этого браннаго клича законнымъ и потребнымъ развитіемъ своей «тенденціи». Косвенно не могли и сами воины

Безпрестанно громя искусство, поэзію, объявляя ея вредоносность и даже нравственную тлетворность, они, по примѣру Бѣлинскаго и особенно Добролюбова, пользуются произведеніями искусства для своихъ «новыхъ словъ». Какъ это возможно? Вѣдь мы слышали,—поэтъ обязательно лжетъ и привираетъ, искусство—удовлетвореніе чувственныхъ инстинктовъ, и вдругъ восторженныя привѣтствія Гейне, совершеннѣйшему изъ всѣхъ эстетиковъ въ мірѣ, безпримѣсному жрецу святого искусства! Не значитъ ли уподобляться унтеръ-офицерской вдовѣ—попадать въ сѣти автора *Книги пѣсенъ* и изъ самыхъ этихъ сѣтей извергать проклятія на поэзію? Какъ объяснить совершенно безнадежный приговоръ надъ

---

[9]) *Русское Слово.* 1865, апрѣль, *Библіографич. отдѣлъ,* стр. 86—7.

Мольеромъ, Шекспиромъ и Шиллеромъ, какъ безполезными стихоплетами, и увѣнчаніе все того же Гейне? Какъ можно утверждать положительную ненужность драмъ Шиллера и провозглашать Некрасова «мыслителемъ глубокимъ и честнымъ»? [10]).

Мы согласны съ этими опредѣленіями, но мы отказываемся оцѣнить по достоинству процессъ мысли, не усмотрѣвшій глубины и честности, хотя бы некрасовскаго уровня, въ образѣ маркиза Позы. Мы не въ состояніи представить критика съ логическими способностями мышленія, готоваго приступить къ поэзіи Некрасова съ историческими и публицистическими запросами и не усмотрѣвшаго тѣхъ же темъ въ комедіяхъ Мольера. Мы, наконецъ, не понимаемъ въ чемъ состоитъ идейная преемственность между Добролюбовымъ, приписывавшимъ Шекспиру вдохновенное проникновеніе въ глубочайшія, едва доступныя наукѣ тайны человѣческой психологіи, и публицистомъ, вычеркивающимъ Шекспира изъ числа сколько-нибудь полезныхъ писателей?

Собственно даже безполезно ставить всѣ эти вопросы: никакая діалектическая изворотливость не справится съ ними. Нигилистовъ XVIII вѣка укоряли, что они противъ литературы и цивилизаціи боролись утонченными средствами той же литературы и цивилизаціи: подобный упрекъ слѣдуетъ поставить и молодому поколѣнію шестидесятниковъ. Занявъ крайне опрометчиво воинственную позицію противъ художественнаго творчества, они ему же оказались обязанными самымъ полнымъ раскрытіемъ своего критическаго и даже философскаго вѣроученія. Базаровъ явился истиннымъ Магометомъ нигилистическаго Аллаха и снабдилъ Писарева самыми эффектными рисунками новыхъ словъ и «реалистическихъ» взглядовъ. Оправдалась, слѣдовательно, старая мысль Добролюбова объ исчерпывающей глубинѣ художническихъ наблюденій и объ дѣйствительности, недоступной публицистамъ и даже философамъ. Мы увидимъ,—Писаревъ будто прозрѣлъ, ознакомившись съ романомъ Тургенева, и можно безошибочно сказать, — важнѣйшіе психологическіе и нравственно-общественные опыты воинственнаго публициста были почерпнуты какъ разъ въ беллетристическомъ произведеніи, а вовсе не въ исторіи и не въ естествознаніи.

Болѣе злой мести со стороны поруганнаго искусства трудно и представить. И она, мы убѣдимся, будетъ осуществляться до конца съ замѣчательнымъ постоянствомъ: *романы* съ теченіемъ времени

---

[10]) *Русское Слово.* 1864, декабрь. *Библіографич. отдѣлъ.* стр. 79—80.

станутъ исключительной основой просвѣтительнаго мышленія Писарева, и онъ, столь торжественно порвавшій съ устарѣлыми словами и критическими пріемами Добролюбова, будетъ во всей точности воспроизводить программу статьи *Темное царство*, т. е. извлекать жизненный фактическій матеріалъ изъ творческихъ вдохновеній художника.

Иного результата нельзя было и ожидать. Все стремившееся за предѣлы реальной критики Добролюбова, являлось болѣзненнымъ наростомъ, совершенно неосуществимыми грезами закусившей удила метафизики. Писаревъ съ гордостью заявлялъ, будто онъ первый воспользовался словомъ и понятіемъ *реальная критика*: гордость безусловно неосновательная. Писаревъ или плохо вчитался въ статьи Добролюбова, или, въ азартной жаждѣ открытій и тріумфовъ, чужое достояніе приписалъ себя. Добролюбовъ былъ реалистомъ вполнѣ сознательно и громко объявлялъ себя таковымъ еще въ то время, когда Писаревъ, по собственному его признанію, не могъ одолѣть ни одной критической статьи.

Не создали, слѣдовательно, Писаревъ и его единомышленники новой идеи, не удалось имъ извлечь новыхъ жизнеспособныхъ выводовъ и изъ старой тенденціи. Они безъ оглядки ринулись впередъ, сопровождая свой порывъ торжествующимъ и преждевременнымъ побѣдоносным крикомъ. Въ результатѣ они доставили торжество не себѣ, а старой, жестоко-иронической истинѣ: не спросившись броду, не суйся въ воду. Въ данномъ случаѣ это значитъ: не вдумавшись въ практическій, цѣлесообразный смыслъ логическаго процесса, не слѣдуетъ отдаваться слѣпо и безраздѣльно абстракціямъ, не смѣшивать безотчетной игры чистаго ума съ органической жизнью дѣйствительности, не воображать себя неотразимой творческой силой только потому, что бумага все терпитъ и «въ теоріи все такъ просто и ясно».

Это общее заключеніе объ идейныхъ плодахъ нигилистической мысли получаетъ въ высшей степени яркое и поучительно освѣщеніе въ *психологіи* самихъ мыслителей. Не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія,—всякое направленіе мысли неразрывно связано съ нравственной личностью человѣка и именно крайне отрицательное, нигилистическое, какъ наиболѣе простое, почти схематическое, обусловливается непосредственной исторіей души. Этотъ законъ имѣетъ въ высшей степени важное общее культурное значеніе: онъ раскроется предъ нами въ личности даровитѣйшаго проповѣдника русскихъ «новыхъ словъ».

XLII.

Мы только что сказали — *исторія души* и готовы взять назадъ это выраженіе: такъ мало оно подходитъ къ характеристикѣ Писарева. Исторія, это вѣдь постепенное, болѣе или менѣе послѣдовательное развитіе извѣстныхъ нравственныхъ силъ и задатковъ, т. е. эволюція. Совершаться она можетъ съ перерывами, даже съ сильными потрясеніями, равномѣрный тактъ явленій можетъ нарушаться и переходить въ крайне страстный или слишкомъ медленный темпъ, но все это не мѣшаетъ наблюдателю прослѣдить господствующую тему и съ полной опредѣленностью представить основной мотивъ самой сложной симметріи фактовъ и и теченій. Въ этой возможности и заключается высшій интересъ историческаго изученія и всякаго психологическаго анализа.

Теперь подойдите къ личности и жизни Писарева съ этой задачей, попробуйте схватить доминирующую ноту въ его нравственномъ мірѣ и пріурочить его умственное развитіе къ какому-либо логическому плану. Извѣстный смыслъ вы, конечно, уловите потому что все совершающееся на землѣ, естественно и всякій фактъ имѣетъ свою причину. Но это весьма плохое утѣшеніе для психолога. Бываетъ и сумасшествіе, методическое и съ извѣстной точки зрѣнія весьма послѣдовательное. Но вѣдь никто эту послѣдовательность не положитъ въ основу логическаго разумнаго образа дѣйствій. Писаревъ писалъ въ полномъ разсудкѣ и твердой памяти, но самый путь его къ этимъ писаніямъ и сущность ихъ требуетъ отъ насъ не обычнаго пріема критики и психологіи, а совершенно спеціальнаго, допускающаго исторію человѣческой души изъ цѣлаго ряда неожиданныхъ, потрясающихъ вспышекъ, изъ смѣны мертваго затишья революціоннымъ взрывомъ. И въ результатѣ, именно взрывъ мы должны признать настоящей стихіей личности, а затишье—явленіемъ временнымъ и несвойственнымъ. Именно *должны*, потому что одновременно съ революціоннымъ броженіемъ будутъ чувствоваться очень сильныя отраженія затишья. Но ими слѣдуетъ пренебречь, и сосредоточиться на приподнятыхъ моментахъ: въ нихъ—настоящій Писаревъ. Такъ онъ самъ заявляетъ, отрекаясь отъ презрѣннаго покоя и мира. Отреченіе, мы увидимъ, болѣе рѣшительное, чѣмъ успѣшное, и это обстоятельство еще болѣе разстраиваетъ нашъ анализъ. Попробуемъ все-таки связать все, повидимому, столь разнородное, взаимно и стихійно враждебное.

Писаревъ, потомокъ дворянской семьи и образцовое идеально-тепличное дѣтище дворянской захолустной усадьбы со всѣми всѣми прелестями крѣпостного барскаго тунеядства, обывательскаго пошленькаго прозябательства и мелко-помѣстнаго помѣщичьяго гонора. Кое-какіе отголоски наслѣдственности отъ цѣлаго ряда поколѣній подобнаго склада не могли не перейти въ потомство, и будущій разрушитель явился на свѣтъ со всѣми задатками маленькаго балованнаго паразита.

Онъ единственный сынъ у матери-институтки, онъ долженъ быть идеально упитанъ и воспитанъ, болтать по французски, забавлять гостей идиллическимъ цвѣтомъ лица и разнообразными Muterwitz'ами, свойственными фамильнымъ Ѳемистоклюсамъ и будущимъ посланникамъ. Благовоспитанному юному джентльмену пресѣчены были всякія сношенія съ крѣпостнымъ народомъ: эта исключительность остается у будущаго радикальнаго публициста на всю жизнь. Въ самыхъ отважныхъ полетахъ его мысль никогда не зацѣпится за плебейское сословіе и будетъ парить въ высшихъ областяхъ просвѣщенной публики. Теперь его усиленно готовятъ къ свѣтской карьерѣ, т.-е. обучаютъ манерамъ, послушанію, любезному и трогательному поведенію по отношенію къ старшимъ. Наука идетъ впрокъ. Институтскія сѣмена падаютъ на самую благодарную почву.

Отрокъ поступаетъ въ гимназію; богатый дядя беретъ его на свое иждивеніе и неусыпно продолжаетъ барскую дрессировку. Особенныхъ стараній не требуется. Питомецъ отличается образцовымъ прилежаніемъ, безпрекословной покорностью; его розовое личико вызываетъ самыя умильныя чувства у старшихъ самаго строгаго направленія: малый видимо «принадлежитъ къ разряду овецъ!»

Именно этими словами Писаревъ очерчиваетъ свой юношескій образъ. Кончаетъ онъ курсъ гимназіи, разумѣется, съ медалью, но съ крайне посредственными знаніями и съ поразительно невысокимъ умственнымъ развитіемъ. Положимъ, ему всего шестнадцать лѣтъ, но для будущаго развивателя положительно странно даже въ этомъ возрастѣ любимымъ занятіемъ считать раскрашиваніе картинокъ въ иллюстрированныхъ изданіяхъ, читать романы съ приключеніями, въ родѣ *Трехъ мушкетеровъ* Дюма, не понимать смысла даже въ *Холодномъ домѣ* Диккенса. О болѣе серьезныхъ книгахъ нечего и говорить. *Исторія Англіи* Маколея—это своего рода живописное путешестіе—оказывается для

юнаго студента непреодолимой, журнальныя статьи производятъ впечатлѣніе «кодекса гіероглифическихъ надписей».

Но печальнѣе всего вопросъ съ русскими писателями. Гимназія здѣсь оказала обычную и великую услугу: задернула черной завѣсой всю настоящую русскую литературу, едва открыла своимъ воспитанникамъ имена Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Кольцова, Гоголя устранила какъ писателя «сальнаго», *Евгенія Онѣгина и Героя нашего времени* осудила, какъ произведенія «безнравственныя».

Допускались *Записки Охотника*, вещь, кажется, очень доступная и понятная, но и она для Писарева оказалась своего рода геометріей. Онъ не только не могъ разобраться въ своихъ впечатлѣніяхъ, а даже не имѣлъ силы остановиться на нихъ, вдуматься въ книгу, чего можно требовать именно по поводу *Записокъ Охотника* даже отъ читателя школьнаго возраста.

Всѣ эти удивительныя свѣдѣнія сообщаетъ намъ самъ Писаревъ [11]). Можетъ быть, онъ кое что и прикрашиваетъ изъ исторіи своего невиннаго отрочества съ цѣлью блеснуть позднѣйшимъ и чрезвычайно быстрымъ развитіемъ своего независимаго ума и оригинальнаго таланта. Нѣкоторый шаржъ чувствуется въ краснорѣчивыхъ орнаментахъ разсказа, но сколько бы мы ни отбрасывали этихъ украшеній, сущность все-таки останется очень внушительной и она нисколько не разногласитъ съ дальнѣйшими поступками студента и даже начинающаго литератора.

Писаревъ поступаетъ въ университетъ. Мы прекрасно знаемъ, что это означаетъ. Бѣлинскій и его сверстники въ достаточной степени ознакомили насъ съ отечественнымъ храмомъ науки въ сороковыхъ годахъ, не измѣнился порядокъ вещей и къ концу пятидесятыхъ. Все то же педантическое человѣкоубійство, то же, на законныхъ основаніяхъ, издѣвательство надъ жаждой молодежи живыхъ и содержательныхъ знаній, то же коснѣніе высшихъ жрецовъ науки въ буквоѣдствѣ, въ попугайствѣ и въ безпросыпной умственной лѣни. Плотный строй ученыхъ во всемъ блескѣ цехового чиновничьяго величія встрѣтилъ Писарева на порогѣ въ университетъ и принялся производить надъ нимъ свои, можно сказать, вѣковые опыты.

Гимназическіе наставники не успѣли сколько нибудь просвѣтить разумѣніе своего безраздѣльно-преданнаго имъ питомца на

[11]) *Наша университетская наука. Сочин.* III, 10 etc.

счетъ его наклонностей и способностей. Онъ подошелъ къ университету, будто къ распутью, и въ самомъ печальномъ состояніи духа, вовсе не чувствуя въ себѣ силъ сказочнаго богатыря и встрѣчая еще болѣе загадочныя надписи: филологическій факультетъ, математическій, юридическій... Богатырь, по крайней мѣрѣ, зналъ, что съ нимъ произойдетъ въ томъ или другомъ направленіи, а нашъ искатель свѣта и истины увѣренъ только въ одномъ: математику онъ не любилъ въ гимназіи, юридическія науки, по его соображеніямъ, должны быть очень сухи, а естественныя совсѣмъ не любопытны.

Остается—философія, и Писаревъ становится философомъ—будто нарочито затѣмъ, чтобы заключить свое ученое поприще революціоннымъ бунтомъ.

И иначе быть не можетъ: бунтъ вполнѣ естественъ, не совсѣмъ разумны только его результаты. Писаревъ желаетъ искреннѣе заниматься наукой, увлекается исторіей, въ отвѣтъ на эти запросы профессора предлагаютъ переводить нѣмецкое сочиненіе о лингвистикѣ и философіи Гегеля, потомъ книгу древняго географа Страбона и, наконецъ, изучать энциклопедическій словарь и историческіе первоисточники. Это цѣлое путешествіе по дебрямъ, пескамъ и буеракамъ, и ничего нѣтъ удивительнаго, если юный путникъ скоро изнемогаетъ и невольно долженъ задать себѣ вопросъ: какой же толкъ изъ всѣхъ этихъ мытарствъ? Становлюсь ли я умнѣе и ученѣе послѣ перевода нѣмецкаго и греческаго автора и прочтенія нѣсколькихъ статей въ словарѣ?

Отвѣтъ не могъ подлежать сомнѣнію. Два года университетскаго курса для умственнаго развитія Писарева прошли безплодно. Впослѣдствіи онъ находилъ, что даже чтеніе *Петербургскихъ* или *Московскихъ Вѣдомостей*, отнюдь не блиставшихъ литературными достоинствами, принесло бы ему гораздо больше пользы. Литературное образованіе также мало двигалось впередъ. Писаревъ едва успѣлъ познакомиться съ Шекспиромъ, Шиллеромъ, Гете и то потому, что имена ихъ пестрѣли во всякой исторіи литературы.

Съ такимъ запасомъ учености Писаревъ студентъ третьяго курса выступаетъ на литературное поприще. Правда, онъ можетъ сохранить всѣ добродѣтели своей овечьей психологіи. Поприще его литературныхъ подвиговъ—журналъ для дѣвицъ *Разсвѣтъ*. Здѣсь ему предоставленъ библіографическій отдѣлъ. Легко понять, на такой сценѣ развернуться довольно трудно, даже если бы этого

и захотѣлъ юный критикъ. Но у него пока нѣтъ буйныхъ желаній. Онъ чрезвычайно чинно и благонамѣренно пишетъ свои отчеты о прозѣ и поэзіи современныхъ писателей, добросовѣстно защищая женское образованіе, даже самостоятельность женской личности и человѣческое достоинство дѣвицъ, весьма кстати отдавая предпочтеніе браку по любви предъ бракомъ по разсудку.

Эти истины неопасно было знать и дѣвицамъ и для раскрытія ихъ не требовалось особеннаго напряженія умственныхъ силъ и богатаго запаса свѣдѣній. Вообще все это—довольно удовлетворительныя упражненія молодого человѣка, усвоившаго общечеловѣческую мудрость XIX-го вѣка: знаніе—свѣтъ, свобода—благо, умственное развитіе полезно, независимый трудъ необходимъ одинаково для мужчины и женщины. Эти упражненія приносили не столько пользы читательницамъ просвѣщеннаго журнала, сколько самому автору. «Библіографія моя,—говоритъ онъ,—насильно вытащила меня изъ закупоренной кельи на свѣжій воздухъ».

Эта аллегорія имѣетъ очень серьезный смыслъ: студентъ, угрожаемый отъ университетскихъ профессоровъ полнымъ умственнымъ оскопленіемъ, сталъ читать и думать; необходимость говорить о самыхъ разнообразныхъ вопросахъ литературы и жизни заставила Писарева работать надъ личнымъ развитіемъ и просвѣщеніемъ.

Работа шла, повидимому, весьма туго,—въ особенности по части развитія. Уже въ теченіи двухъ лѣтъ писались критическія статьи въ очень большомъ количествѣ, проводились разныя хорошія идеи, публика поучалась послѣднимъ словамъ европейскаго просвѣщенія, а самъ авторъ и учитель все еще «не имѣлъ понятія о серьезныхъ обязанностяхъ честнаго литератора».

Это выраженіе принадлежитъ самому Писареву и высказано имъ въ цѣляхъ самооправданія. Литературные противники, всячески ратуя съ радикализмомъ Писарева, припомнили между прочимъ одинъ фактъ изъ его прошлаго—совсѣмъ даже не либеральный. Именно въ апрѣлѣ 1861 года Писаревъ искалъ сотрудничества въ журналѣ *Странникъ* и даже ходилъ въ редакцію съ предложеніемъ своей работы.

Дѣйствительно странно! Журналъ совершенно не подходилъ подъ свободомыслящую программу,—и Писаревъ не нашелъ лучшаго объясненія, какъ признаніе въ своемъ непониманіи обя-

занностей честнаго литератора [12]). Ему въ это время было уже двадцать одинъ годъ,—и онъ утверждаетъ—и совершенно справедливо,—что его идеи нисколько не сходились съ направленіемъ *Странника*.

Слѣдовательно, одно изъ двухъ,—или молодой писатель ни въ грошъ не ставилъ своихъ идей, или не понималъ ихъ общаго смысла, и представлялъ изъ себя сладкогласный кимвалъ звучащій. И то и другое одинаково нелестно для умственныхъ силъ критика, для уровня его сознательности, для степени его идейной оригинальности. Потому что,—такъ относиться можно только къ наскоро заимствованнымъ чужимъ мыслямъ, лично непродуманнымъ и въ сущности нравственно-безразличнымъ. Предположеніе о внѣшнихъ вѣяніяхъ и внушеніяхъ немедленно подтверждается дальнѣйшими признаніями Писарева.

Онъ всетаки не своимъ умомъ дошелъ до представленія о серьезныхъ обязанностяхъ честнаго литератора, т.-е. до перваго и основнаго принципа всякой болѣе или менѣе достойной литературной дѣятельности. Просвѣтилъ Писарева—Благосвѣтловъ, редакторъ журнала *Русское Слово*. Именно онъ вдохновилъ опрометчиваго и мало-сознательнаго библіографа на слѣдующія разсужденія, повидимому, не особенно трудныя даже для вполнѣ самостоятельнаго завоеванія:

«Честный писатель отнюдь не долженъ уподобляться ласковому теленку, сосущему въ одно время и съ одинаковымъ успѣхомъ двухъ или даже многихъ болѣе или менѣе разношерстныхъ матокъ». Тотъ же честный писатель не долженъ поступать съ своими произведеніями, какъ сапожникъ съ сапогами, т.-е. продавать ихъ безразлично первому встрѣчному покупателю.

Все это Писаревъ услышалъ впервые отъ Благосвѣтлова—и убѣдился, наконецъ, что дѣло писателя—серьезная общественная обязанность.

Это могло случиться только во второй половинѣ 1861 года и легко понять, что подобное происшествіе—цѣлое событіе въ умственной жизни молодого литератора. Но оказывается,—раньше благосвѣтловскаго вліянія съ Писаревымъ совершился «довольно крутой переворотъ»—именно въ 1860 году. Таково одно сообщеніе о знаменательной эпохѣ, другое—нѣсколько разногласитъ съ первымъ: «умственный кризисъ» произошелъ лѣтомъ 1859 года [13]).

---

[12]) *Посмотримъ*. V, 162—3.

[13]) Статьи *Промахи незрѣлой мысли*, *Наша университетская наука*.

Всѣ эти свѣдѣнія мы опять имѣемъ отъ самого Писарева. На очень незначительномъ промежуткѣ времени онъ путается въ хронологіи, да она впрочемъ не особенно и существенна: важно установить фактъ одного или нѣсколькихъ «кризисовъ», пережитыхъ Писаревымъ наканунѣ своей славы. Мы думаемъ,—нѣсколькихъ, потому что поученія Благосвѣтлова имѣли дѣло уже не съ Писаревымъ — овцой, а съ Писаревымъ — героемъ, и необыкновенно отважнымъ и воинственнымъ. Сначала произошло преобразованіе въ характерѣ, а потомъ въ міросозерцаніи, и оба внезапно, будто коварные удары судьбы.

XLIII.

Лѣтомъ 1859 года Писаревъ страстно влюбился въ двоюродную сестру. Страсть встрѣтила сильнѣйшія препятствія,—ни предметъ увлеченія, ни родственники не сочувствовали ей. Герою пришлось пережить жестокую борьбу съ неудовлетвореннымъ и оскорбленнымъ чувствомъ. Любимая женщина и вообще люди отказывали самолюбивому мечтателю въ счастьѣ,—оставалось искать счастья въ самомъ себѣ. Выходъ, повидимому, чрезвычайно философскій, даже стоическій,—но у Писарева онъ принялъ чисто-школьническую форму, превратился въ назойливую притязательность новоявленнаго генія и героя.

«Я рѣшился,—пишетъ отвергнутый влюбленный, — сосредоточить въ себѣ самомъ всѣ источники счастья, началъ строить себѣ цѣлую теорію эгоизма, любовался на эту теорію и считалъ ее неразрушимою. Эта теорія доставила мнѣ такое самодовольствіе, самонадѣянность и смѣлость, которыя при первой же встрѣчѣ очень непріятно поразили моихъ товарищей» [14])?

Очень наивное признаніе, какъ и весь трагическій эпизодъ. Письмо заканчивается воплемъ: «мама, прости меня, мама, люби меня!...» Очевидно, теорія не соотвѣтствовала нравственной силѣ девятнадцатилѣтняго героя: душа оказывалась очень короткая,—и все геройство выходило сплошной фанфаронадой изобиженнаго мальчика. О ней не стоило бы и упоминать, если бы при извѣстномъ складѣ писаревской психологіи она не играла очень важной роли во всемъ его нравственномъ развитіи и въ его дѣятельности.

---

[14]) Письмо къ матери, напечатано въ біогр. Писарева. Ев. Соловьева Изд. Павленкова. Спб. 1894, стр. 60.

Аффектъ быстро становится въ высшей степени болѣзненнымъ, овладѣваетъ всей природой Писарева и подсказываетъ ему поступки, по существу невмѣняемые, но отнынѣ ему свойственные—даже въ самомъ трезвомъ состояніи духа. Онъ съ этихъ поръ внѣ времени и пространства, внѣ вообще законовъ нашей планеты. Онъ чувствуетъ себя Прометеемъ, ему доступно рѣшительно все: какая угодно наука и какая угодно «титаническая идея».

Вчерашняя овца будто по волѣ волшебства перерождается въ сверхъ-человѣка и совершенно утрачиваетъ ясный осмысленный взглядъ и здравый смыслъ.

Это, можетъ быть, сумасшествіе? Пока нѣтъ,—придетъ оно,—но нѣкоторое время еще сохраняется обычная твердая память и подъ ея наблюденіемъ совершаются любопытныя дѣйствія.

«Въ порывѣ самонадѣянности»,—разсказываетъ самъ больной,—онъ набрасывается на научный предметъ, ему совершенно невѣдомый. Только что отличавшая его патріархальная покорность старшимъ смѣняется неограниченнымъ скептицизмомъ. «Опрокинувъ въ умѣ своемъ всякіе Казбеки и Монбланы», — Писаревъ теперь разсчитываетъ совершить чудеса въ области мысли. Препятствій рѣшительно никакихъ не предвидится. Онъ готовъ отрицать луну и солнце. Вся дѣйствительность производитъ на него впечатлѣніе мистификаціи, а его *я* выростаетъ до грандіозныхъ размѣровъ. Это понятно независимо и отъ маніи величія. Герой такъ мало знаетъ, такъ мало и поверхностно думалъ, что ему и въ самомъ дѣлѣ нетрудно счесть планеты и пески морскіе. Именно ограниченность реальнаго умственнаго кругозора и серьезныхъ опытовъ мысли—обычная почва для порывовъ самонадѣянности. Писаревъ разсказываетъ, какъ онъ принялся изучать Гомера съ цѣлью доказать одну изъ своихъ «титаническихъ идей». Ничего нѣтъ удивительнаго! Не все ли равно для невѣжественнаго студента—Гомеръ или Ньютонъ: и въ томъ, и въ другомъ случаѣ онъ одинаково немощенъ на самомъ дѣлѣ и великъ въ собственномъ воображеніи. Изъ изученія Гомера, разумѣется, никакого титаническаго подвига не получается, но наклонность совершать ихъ по вдохновенію останется навсегда.

Впослѣдствіи ничего не стоитъ проснуться нашему Прометею по какому угодно самому неподходящему случаю. Онъ, напримѣръ, никогда не занимался естественными науками и въ теченіе всей своей литературной дѣятельности не успѣетъ составить опредѣ-

леннаго мнѣнія насчетъ ихъ значенія въ общемъ образованіи, но это обстоятельство не помѣшаетъ ему съ чрезвычайной энергіей вмѣшаться въ споръ современныхъ авторитетовъ и уничтожить презрительной ироніей Пастёра, во имя будто бы доказанной научной истины о произвольномъ зарожденіи [15]).

Поступокъ достаточно неразсудительный и въ психологіи Писарева его трудно отдѣлить отъ болѣзненной маніи величія. Приливъ самонадѣянности перешелъ въ настоящее умопомѣшательство. Писарева помѣстили въ психіатрическую больницу. Здѣсь онъ дважды покушался на самоубійство и затѣмъ, спустя четыре мѣсяца, бѣжалъ. Его увезли въ деревню, здоровье его возстановилось, но по свидѣтельству близкаго лица, признаки психической ненормальности остались у него на всю жизнь.

Эти ненормальности, спѣшитъ прибавить близкое лицо, имѣли самый невинный характеръ, выражаясь или въ минутахъ странностей и чудачествъ всякаго рода,—«то, напримѣръ, вдругъ ни съ того ни съ сего, бросивъ спѣшную работу, увлекался онъ ребяческимъ занятіемъ—раскрашиванія красками политипажей въ книгахъ, то, отправляясь лѣтомъ въ деревню, заказывалъ портному лѣтнюю пару изъ ситца яркихъ колеровъ, изъ коихъ деревенскія бабы шьютъ сарафаны» [16]).

Близкое лицо спѣшитъ для собственнаго удовольствія и для утѣшенія сочувствующей публики напомнить теорію Ломброзо объ естественномъ савпаденіи геніальности и психической ненормальности. Мы думаемъ,—утѣшеніе слѣдовало бы вести совершенно обратнымъ путемъ: сначала доказать геніальность ненормальнаго субъекта и потомъ уже утѣшаться въ его психическомъ недугѣ, а не отъ психическаго недуга направляться къ геніальности. Талантливымъ людямъ, можетъ быть, и чаще, чѣмъ обыкновеннымъ смертнымъ, случается сходить съ ума, но въ сумашествіи видѣть одно изъ свидѣтельствъ талантливости—по меньшей мѣрѣ легкомысленно и равносильно писаревскому способу разрѣшать естественно-научные вопросы. Исторія знаетъ очень много идеально-уравновѣшенныхъ и психически-нормальныхъ геніевъ,—даже среди поэтовъ,—и какъ разъ геніевъ первостепенной величины—въ родѣ Шекспира, Гёте, Гюго, Данте,—и у насъ нѣтъ ни малѣйшаго

---

[15]) Статья: *Подвиги европейскихъ авторитетовъ.*

[16]) Скабичевскій. Біографич. подробности въ *Отеч. Зап.* 1869, январь и мартъ.

основанія—признавать научное достоинство за полу-анекдотическими и въ сильной степени подтасованными открытіями Ломброзо; проще—помириться на несомнѣнномъ изъянѣ въ умственномъ развитіи русскаго публициста. Изъянъ обильно иллюстрируется и другими фактами, помимо пребыванія въ психіатрической больницѣ и невинныхъ странностей.

Рѣзкій, только что пережитый, кризисъ все-таки не просвѣтилъ Писарева на счетъ его литературнаго будущаго. Онъ думаетъ начать свою карьеру въ *Страннкѣ*, но судьбѣ угодно столкнуть его съ личностью—безусловно сильной и авторитетной—и этимъ безповоротно рѣшить вопросъ о направленіи легкомысленнаго библіографа.

Благосвѣтловъ, редакторъ *Русскаго Слова*, стоитъ въ тѣни сравнительно съ своими громкими сотрудниками—въ родѣ Писарева, Зайцева. А между тѣмъ именно его слѣдуетъ признать вдохновителемъ и первоисточникомъ нигилизма, насколько это направленіе выразилось въ публицистикѣ шестидесятыхъ годовъ. Особенно Писаревъ, по своимъ идеямъ и общему умственному развитію, находится въ тѣснѣйшей зависимости отъ Благосвѣтлова: можно сказать,—онъ созданъ или, по крайней мѣрѣ, перерожденъ,—редакторомъ *Русскаго Слова*, имъ направленъ и богато снабженъ самымъ эффектнымъ и сногсшибательнымъ оружіемъ разрушенія.

Благосвѣтловъ—по происхожденію сынъ священника, по образованію сначала семинаристъ, потомъ юристъ петербургскаго университета—началъ общественную дѣятельность учительствомъ. Карьера быстро разстроилась. Благосвѣтловъ уѣхалъ за границу, долго былъ въ Лондонѣ и сблизился съ Герценомъ, потомъ въ Парижѣ гдѣ слушалъ лекціи въ Сорбоннѣ, познакомился съ редакторомъ *Русскаго Слова*—Я. П. Полонскимъ. Журналъ издавалъ гр. Кушелевъ-Безбородко. Журналъ шелъ плохо, наполнялся статьями мертвеннаго содержанія; издатель пригласилъ Благосвѣтлова. Въ половинѣ 1860 года—Благосвѣтловъ становится редакторомъ, а два года спустя—полнымъ хозяиномъ журнала. Подъ его руководствомъ *Русское Слово* становится органомъ молодежи, представителемъ литературнаго радикализма,—и редакція является настоящимъ университетомъ, всесторонней школой для новыхъ дѣятелей и проповѣдниковъ.

Глава школы—человѣкъ необычайной энергіи и силы воли. Лишенный отъ природы всякихъ наклонностей къ чувствительности, даже вообще—къ тѣснымъ дружескимъ отношеніямъ, Бла-

госвѣтловъ всѣ свои интересы сосредоточилъ на журналѣ и публицистикѣ. Большого литературнаго таланта онъ не обнаружилъ, не могъ подняться выше толковаго изложенія послѣднихъ словъ науки,—но его убѣжденія отличались всѣми достоинствами, какія необходимы для упорной борьбы за новую идею—стойкостью, опредѣленностью и исчерпывающей полнотой. У Благосвѣтлова на всѣ запросы современности всегда находился отвѣтъ—полный, ясный, сильно и авторитетно выраженный. Въ изложеніе чужихъ статей и книгъ Благосвѣтловъ умѣлъ внести свой принципіальный духъ, и представить читателю рядъ общихъ рѣзко-очерченныхъ выводовъ и компиляцію превратить въ орудіе пропоганды. Примѣрами могутъ служить статьи о сочиненіяхъ Милля, Бокля, Токвиля. Авторъ—неумолимый врагъ отвлеченнаго политиканства и мѣщанскаго либерализма—такъ же, какъ Чернышевскій и Добролюбовъ. Но его рѣчь гораздо энергичнѣй и прямолинейнѣй. Критика, направленная на исключительное увлеченіе политическими формами, не оставляетъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ безразсудствѣ и безплодности политическаго доктринерства. Либеральная буржуазія, всѣми фибрами души связанная съ биржей и курсомъ, является съ своей подлинной исторической физіономіей на широкой картинѣ новѣйшей исторіи Франціи. И всѣ эти идеи освѣщены глубокой вѣрой въ силу человѣческой личности, въ великіе результаты свободной инициативы общества. Статья о Токвилѣ оканчивается несомнѣнно личной исповѣдью автора,—и она представляетъ лучшую его характеристику.

«Авторъ *Демократіи*, пишетъ Благосвѣтловъ, отводитъ намъ мирное поле труда и непосредственнаго участія въ нашей собственной участи. Онъ твердо вѣритъ, что сами люди создаютъ себѣ то или другое соціальное положеніе, что совершенно отъ нихъ самихъ зависитъ быть рабами, подобно китайцамъ, или свободными гражданами, подобно американцамъ. Съ такимъ убѣжденіемъ становится легче, когда посмотришь на историческую Голгоѳу человѣчества, покрывшаго свой путь слезами и кровью» [17]).

И Благосвѣтловъ въ теченіе всей своей жизни являлъ образецъ непобѣдимой энергіи и вѣры въ себя и свой трудъ. Онъ дѣйствительно былъ слѣпленъ будто изъ гранита и чугуна, какъ онъ самъ о себѣ выражается,—и это чувствовалось и сознавалось всѣми его сотрудниками.

---

[17]) *Сочиненія Благосвѣтлова*, съ предисловіемъ Шелгунова. Спб. 1882, стр. 143—4, 171, 178—9. 365.

Особенно сильно должно было поразить это чувство Писарева, по природѣ совершенно не напоминавшаго чугуна и гранита. Благосвѣтловъ подчинилъ его своей волѣ и своему уму съ первой же встрѣчи, и мать Писарева въ письмѣ къ Некрасову заявляла, что ея сынъ видѣлъ въ Благосвѣтловѣ своего друга, учителя и руководителя,—ему онъ «обязанъ своимъ развитіемъ» и въ его совѣтахъ онъ нуждался и позже [18]). Это значитъ Писаревъ превратился въ точный и покорный оттголосокъ Благосвѣтловскихъ взглядовъ. Овечья природа критика не исчезла безслѣдно и послѣ кризиса: произошла только смѣна авторитетовъ и новый авторитетъ налегъ на природу Писарева, пожалуй, еще тяжелѣе, чѣмъ старые. И не одного Писарева. Зайцевъ также неограниченно пользовался внушеніями редактора. Онъ прямо получалъ приказанія отъ Благосвѣтлова—изложить тѣ или другія мысли, и редакторъ кромѣ того дѣятельно вмѣшивался въ самое изложеніе, исправлялъ, передѣлывалъ, усиливалъ и подчеркивалъ текстъ сотрудника. До какой степени это редакторское творчество было существенно въ критическихъ статьяхъ Писарева и Зайцева, показываетъ позднѣйшая участь обоихъ писателей. Послѣ разрыва съ Благосвѣтловымъ, Писаревъ оставался почти исключительно пересказчикомъ беллетристическихъ произведеній, а Зайцевъ занялся исключительно переводами и компиляціями. Будто животворящій духъ отлетѣлъ отъ воинственныхъ бойцовъ и въ первобытномъ состояніи у нихъ исчезла сила слова и смѣлость мысли.

Надо помнить, въ удостовѣреніе всѣхъ этихъ фактовъ предъ нами признанія самого Писарева, его матери и историческое развитіе его таланта. Мы дѣйствительно имѣемъ дѣло съ любопытнымъ психологическимъ и культурнымъ фактомъ полной и непосредственной идейной зависимости одного изъ самыхъ отважныхъ публицистовъ отъ внѣшняго учительскаго авторитета. Революціонная вспышка, преобразовавшая, повидимому, душевный міръ писателя, на самомъ дѣлѣ не измѣнила сущности его психологіи. Онъ остался столь же мало критическимъ и анализирующимъ умомъ, какимъ былъ и раньше. Выходка противъ Пастёра засвидѣтельствовала чисто-школьническую способность—отдаваться сильно и безраздѣльно именно *авторитету*, почему-либо прозведшему сильное

---

[18]) Венгеровъ. *Критико-біографич. словарь русскихъ писателей и ученыхъ.* Спб. 1892, томъ III.

увлекательное впечатлѣніе. Почему Писаревъ всталъ горой за ученіе Пуше о произвольномъ зарожденіи и что ему внушило величественные софизмы надъ Пастеромъ? Критическое изслѣдованіе предмета? О немъ не могло быть и рѣчи. Провѣрка свѣдѣній и сообщеній сторонъ? Въ ней, какъ видно изъ тона статьи, Писаревъ совершенно не нуждался. Вопросъ былъ предрѣшенъ—только потому что Пуше признанъ непогрѣшимымъ авторитетомъ.

Та же исторія и съ Зайцевымъ. Онъ попалъ въ еще болѣе траги-комическую коллизію, нанесшую не малую поруху радикализму *Русскаго Слова*. На основаніи авторитета Гексли и Фихте, признающихъ негра низшей расой сравнительно съ бѣлой, радикальный публицистъ съ обычной горячностью принялся доказывать рабство черныхъ и провозглашать невольничество «самымъ лучшимъ исходомъ» для цвѣтного человѣка въ соприкосновеніи съ бѣлой расой. Это значило рѣшать политическій и нравственный вопросъ на основаніи естественныхъ наукъ,—или вѣрнѣе—по Фихте и Гексли [19]).

Такое рѣшеніе вызвало страшный скандалъ. Печать всѣхъ оттѣнковъ возмутилась до глубины души естественно-научной послѣдовательностью *Русскаго Слова*, и Писареву и Зайцеву пришлось пережить не мало тяжелыхъ минутъ. Писаревъ счелъ нужнымъ вступиться за товарища,—но значительной услуги оказать не могъ: дѣло выходило дѣйствительно вопіющее, и безпристрастная публика должна была согласиться, что радикальная оппозиція однимъ авторитетамъ можетъ иногда совмѣщаться съ радикальнымъ рабствомъ предъ другими.

Это не единичный фактъ, а таковъ общій характеръ всей публицистики *Русскаго Слова*. Она въ сильнѣйшей степени явленіе гипнотическое, она вся преисполнена догматами и весьма рѣдко обнаруживаетъ дѣйствительно критическое направленіе. Она стремится не опровергнуть, а уничтожить, и нестолько доказать, сколько внушить и навязать. Тонъ ея неизмѣнно деспотическій и побѣдоносный. Она твердо увѣрена, что обладаетъ совершенными истинами, и на противниковъ взираетъ, какъ на существъ безнадежно слабоумныхъ и темныхъ. Отсюда—безпримѣрная рѣзкость полемики, оставляющая за собой рѣшительно всѣ литерарныя преданія всѣхъ эпохъ и народовъ. Статьи Писарева, Зайцева и Благосвѣтлова—цѣлая сокровищница бранныхъ словъ и

---

[19]) *Русское Слово*, 1864 г., декабрь.

памфлетовъ, только что не караемыхъ уголовнымъ кодексомъ. Ничего подобнаго мы не встрѣчаемъ у Чернышевскаго и Добролюбова, но ихъ наслѣдники, очевидно, не считали себя въ силахъ ограничиться чисто-литературными пріемами борьбы и устроили настоящую оргію на пространствѣ нѣсколькихъ лѣтъ.

Такія свалки, какъ Благосвѣтлова съ Антоновичемъ, Писарева съ тѣмъ же критикомъ *Современника* могутъ считаться вполнѣ классическими по яркости и законченности жанра. Не стѣснялась, разумѣется, и противная сторона: но пальма первенства принадлежитъ безусловно *Русскому Слову*, изъ мѣсяца въ мѣсяцъ наполнявшему свой критическій отдѣлъ многочисленными обращеніями и вызовами по адресу недруговъ. Писаревъ, Зайцевъ, Соколовъ часто въ одной и той же книгѣ то бросаютъ перчатки *Современнику*, то производятъ надъ нимъ экзекуціи за старыя грѣхи, то просто потѣшаются надъ «глуповцами», лгунишками и просто идіотами и «гнилыми бутербродами».

Либералы и консерваторы могли наполнять цѣлыя страницы своихъ органовъ перлами радикальной полемики и въ правѣ именовать ее «возмутительной оргіей». Но собственно бѣда заключалась не въ полемикѣ, а въ ея исключительно личномъ характерѣ, попросту—въ личной перебранкѣ литераторовъ. Писаревъ изслѣдовалъ умственныя способности Антоновича, Антоновичъ наводилъ справки, какимъ путемъ досталось Благосвѣтлову *Русское Слово* и въ какихъ отношеніяхъ Благосвѣтловъ состоялъ съ лакеями гр. Кушелева-Безбородко, Благосвѣтловъ изощрялся соотвѣтственно надъ особой Антоновича [20]).

Такъ шло цѣлыми годами и, наконецъ, даже Зайцевъ написалъ слѣдующую элегію, явно накипѣвшую на его сердцѣ:

«Перебранки, доходящія до такихъ изумительныхъ непристойностей, составляющія главную и самую видную часть журналистики, свидѣтельствуютъ о плачевномъ состояніи литературы. Онѣ открываютъ, что область, подлежащая литературѣ, доведена до самыхъ микроскопическихъ размѣровъ, что на ней не осталось равно ничего, кромѣ самой журналистики и личностей, подвизающихся на поприщѣ ея. Журналы другъ другу и сами себѣ опротивѣли до крайности, но, за неимѣніемъ другого дѣла, должны заниматься другъ другомъ, что не способствуетъ смягченію и

---

[20]) Одинъ изъ самыхъ характерныхъ примѣровъ—*Послѣднее объясненіе* Благосвѣтлова, *Русское Слово*, 1865, февраль.

умиротворенію ихъ взаимныхъ отношеній. Дѣло доходитъ, наконецъ, до того, что существованіе какого-нибудь направленія въ журналѣ объявляется нелѣпостью, подвергается шуткамъ и насмѣшкамъ. Возвѣщается, что въ жизни нѣтъ ничего, что бы могло дать журналу какое-нибудь направленіе» [21]).

Справедливо, но непосредственно за элегіей опять слѣдуетъ обычный жанръ—съ крѣпкими словами и отчаянной живописью... Очевидно, нельзя было удержаться на разъ принятомъ пути, и до самаго конца существованія *Русскаго Слова*—путь совершался съ неизмѣннымъ постоянствомъ.

Мы опять должны обратить вниманіе на психологическую основу явленія. Яростная личная брань могла возникнуть только на почвѣ нетерпимости, фанатизма и при совершенномъ нежеланіи анализировать и доказывать, работать исключительно въ интересахъ логичности и истинности извѣстныхъ идей. Ставился какой-либо догматъ и требовалось безпрекословное преклоненіе предъ нимъ,—отъ кого не получалось мгновеннаго согласія, тотъ немедленно вносился въ проскрипціонные списки, отмѣчался на черной доскѣ и уже ему не было пощады—чуть ли не до седьмого колѣна по восходящей и нисходящей линіи.

Подобная стремительность характеризуетъ не только личности бойцовъ, но и самый процессъ ихъ мышленія. Онъ именно тотъ какимъ Писаревъ достигъ своихъ истинъ,—процессъ мгновеннаго осіянія, неудержимо страстнаго и столь же скоропалительнаго воспріятія. Въ жизни Писарева нѣтъ *исторіи* нравственнаго міра, постепенно, шагъ за шагомъ вырабатывающаго свое содержаніе, а есть рядъ *аффектовъ*, немедленно отражающихся на идейномъ процессѣ. И мы вполнѣ понимаемъ чрезвычайно легкій духъ, съ какимъ Писаревъ перешелъ въ новую фазу,—духъ, совершенно противоположный, напримѣръ, опытамъ Бѣлинскаго. Писаревъ заявляетъ, что онъ «беззаботно и весело пошелъ по скользкому пути журналиста»...

Предательское признаніе! Оно показываетъ, сколько легкомыслія оставалось въ умѣ и чувствахъ критика даже послѣ того, когда онъ понялъ обязанности честнаго литератора. Беззаботность и веселость на пути русскаго писателя,—когда еще наша литература знала такое счастье и могла назвать такого баловня судьбы?..

Завидная доля, но она досталась недаромъ нашему герою, и

[21]) *Русск. Сл.* 1864, окт. *Славянофилы побѣдили*, стр. 72.

если бы онъ былъ способенъ отдать отчетъ въ общемъ смыслѣ своего жизнерадостнаго путешествія, онъ искренне пожелалъ бы себѣ побольше грустныхъ и заботныхъ настроеній.

XLIV.

По самому существу нравственной природы Писарева у него не могло быть эволюціи идей, а только рядъ моментальныхъ вдохновеній. И онъ, несомнѣнно, счелъ бы недостойнымъ себя медленнымъ трудомъ и сложнымъ умственнымъ процессомъ завоевывать истину. Но все таки въ его произведеніяхъ можно отличить нѣкоторые оттѣнки. Они существуютъ, несмотря на первобытную простоту рѣшеній всѣхъ рѣшительно вопросовъ и безпримѣрную въ русской критикѣ элементарность общихъ разсужденій. Писаревъ, какъ и его сподвижники, фанатикъ схемъ, формулъ, возможно ясныхъ и простыхъ положеній. Все болѣе или менѣе сложное и глубокое органически отталкиваетъ его, вызываетъ немедленно подозрѣніе въ метафизикѣ, схоластикѣ и рутинѣ. Онъ готовъ рѣшительно всѣ явленія нравственнаго міра свести къ сложенію и вычитанію: не даромъ,—для него и для Зайцева,—Тэнъ—замѣчательный мыслитель. Гдѣ нельзя обойтись съ однимъ школьнымъ силлогизмомъ и бѣглой статистикой, тамъ преспокойно ставится точка или говорится нѣсколько безапелляціонно-скептическихъ фразъ.

Таковъ идеальный предѣлъ писаревской публицистики,—но достигъ онъ этого идеала не сразу. «Писаревскія» идеи будто дремали въ теченіе, по крайней мѣрѣ, трехъ лѣтъ, т. е. не было слышно о разрушеніи эстетики, объ уничтоженіи Пушкина и вообще искусства, о неограниченномъ, вполнѣ безотчетномъ культѣ естествознанія, а главное—нѣтъ «строгаго послѣдовательнаго реализма», точнѣе—шаржированнаго базаровскаго міросозерцанія.

Въ обычномъ представленіи о Писаревѣ идейное содержаніе этихъ трехъ лѣтъ опускается,—и Писаревъ слыветъ только разрушителемъ эстетики и реальнымъ развивателемъ. На самомъ дѣлѣ существуетъ другой Писаревъ, не вполнѣ похожій на популярнаго—Писаревъ художественныхъ удовольствій и неясныхъ поэтическихъ ощущеній. Да, какъ это ни странно, но юный джентльменъ крѣпостническаго воспитанія не выдохся окончательно послѣ даже двухъ кризисовъ. И вполнѣ естественно.

Писаревъ выступилъ на поприще радикальной журналистики

эпикурейцемъ. Идея личнаго удовлетворенія, эгоизма—его символъ вѣры—беззаботный и веселый. Весной 1862 года онъ попадаетъ въ крѣпость за статью, напечатанную въ подпольномъ журналѣ. Приключеніе, по меньшей мѣрѣ, досадное, но оптимизмъ молодого реалиста до такой степени непоколебимъ, что заключеніе не производитъ на него рѣшительно никакихъ дурныхъ впечатлѣній. Писаревъ находитъ въ своей участи даже хорошую сторону: неволя располагаетъ его къ сосредоточенности и серьезной дѣятельности. Неволя продолжалась около четырехъ лѣтъ и именно эти годы самые плодовитые въ литературной дѣятельности Писарева и самые благодарные для его популярности.

Эпикурейцу сама природа велитъ быть эстетикомъ,—и Писаревъ изощряетъ свои наклонности къ художественной красотѣ на произведеніяхъ Гейне и даже Майкова. «Гейне—одинъ изъ величайшихъ поэтовъ всѣхъ вѣковъ и народовъ» и на немъ будутъ воспитываться молодыя поколѣнія, а Майкова критикъ «уважаетъ», какъ «умнаго и развитого человѣка, какъ проповѣдника гармоническаго наслажденія жизнью». Эта проповѣдь именно и составляетъ «трезвое міросозерцаніе».

Заходитъ рѣчь о Пушкинѣ: скоро противъ него будутъ двинуты всѣ роды оружія реалистической критики, теперь пока Пушкинъ можетъ покоиться среди лавровъ и вѣнковъ. Его романъ *Евгеній Онѣгинъ* стоитъ «на ряду съ драгоцѣннѣйшими историческими памятниками». Даже какъ публицистъ Пушкинъ называется одновременно съ Вольтеромъ, Ульрихомъ Гуттеномъ, Шиллеромъ и Гёте, именно потому, что онъ «свисталъ часто рѣзко стихами и прозою», т. е. обнаруживалъ извѣстное политическое направленіе. Правда, здѣсь же посылается очень энергичная отповѣдь по адресу поэтовъ, не проводившихъ въ общественное сознаніе живыхъ общечеловѣческихъ идей, Фета, Полонскаго, Щербины, Грекова: они сравниваются съ модистками, выдумывающими новую куафюру [22]). Но удары наносятся только «микроскопическимъ поэтикамъ»,—критику, очевидно, вовсе и на умъ не приходитъ разразить Пушкина, Шекспира, Рафаэля.

Краснорѣчивѣйшая статья этого періода *Базаровъ*. Писаревъ чрезвычайно увлекается романомъ Тургенева, дѣлаетъ даже вполнѣ эстетическое признаніе, говоритъ о «какомъ то непонятномъ на-

---

[22]) *Схоластика XIX вѣка. Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ.* I, 370, 438, 442 etc. *Дворянское Гнѣздо.* I, 197.

слажденіи, котораго не объяснишь ни занимательностью разсказываемыхъ событій, ни поразительной вѣрностью основной идеи. Критикъ понимаетъ сильныя и слабыя стороны базаровскаго типа, подробно указываетъ, гдѣ Базаровъ правъ и гдѣ онъ «завирается». Писаревъ знаетъ и источникъ завирательства: крайній протестъ противъ «фразы гегелистовъ» и «витанія въ заоблачныхъ высяхъ». Крайность понятна, но «смѣшна», и «реалистамъ», разсуждаетъ Писаревъ, надлежитъ вдумчивѣе относиться къ самимъ себѣ и не провираться въ пылу діалектическихъ сраженій. И дальше слѣдуетъ вполнѣ здравомыслящее соображеніе: запомни его Писаревъ на всю жизнь, онъ, пожалуй, оставилъ бы потомству прочное и цѣнное публицистическое наслѣдство.

«Отрицать совершенно произвольно,—говоритъ онъ,—ту или другую естественную и дѣйствительно существующую въ человѣкѣ потребность или способность—значитъ, удаляться отъ чистаго эмпиризма... Выкраивать людей на одну мѣрку съ собой—значитъ впадать въ узкій умственный деспотизмъ».

Лучшей критики никто не могъ бы написать на самого Писарева, когда онъ окончательно перейдетъ въ героическій періодъ своей дѣятельности и примется «перерѣшать» вѣковые вопросы *Современникъ* станетъ обвинять его и его друга Зайцева въ *механическомъ* воззрѣніи на людей и идеи: именно такое воззрѣніе теперь не нравится Писареву, и онъ дерзнетъ даже открыть коекакія темныя черты на ослѣпительной фигурѣ Базарова. Онъ считаетъ нигилиста «человѣкомъ крайне необразованнымъ». Базаровъ «съ плеча отрицаетъ вещи», которыхъ «не знаетъ или не понимаетъ»: «поэзія, по его мнѣнію, ерунда; читать Пушкина—потерянное время, заниматься музыкой—смѣшно; наслажденіе природой—нелѣпо». Все это на Писарева производитъ крайне невыгодное впечатлѣніе. Онъ согласенъ, Базаровъ основательно знаетъ медицинскія и естественныя науки, но это не значитъ быть образованнымъ. «Онъ слыхалъ кое-что о поэзіи, кое-что объ искусствѣ, не потрудился подумать и съ плеча произнесъ приговоръ надъ незнакомыми ему предметами». Настоящій реалистъ никогда этого не позволитъ себѣ, не станетъ преслѣдовать простыя чувства и даже чисто физическія ощущенія, въ родѣ наслажденія музыкой.

Реалистъ также не согласится съ Базаровымъ, будто человѣкъ осужденъ жить исключительно въ мастерской. Всякому извѣстно, «работнику надо отдохнуть», «человѣку необходимо освѣжиться

пріятными впечатлѣніями». Это законъ природы и безразсудно воевать противъ него. Писареву, какъ эпикурейцу, это правило особенно дорого. Онъ энергично стоитъ за «безвредныя» наслажденія, т. е. эстетическія: чѣмъ ихъ больше, тѣмъ легче жить на свѣтѣ. Базаровъ, вооружаясь противъ идеализма, самъ превращается въ идеалиста и даже въ деспота, начинаетъ предписывать человѣку, чѣмъ ему наслаждаться и чѣмъ нѣтъ. «Наслажденіе рѣшительно необходимо», заключаетъ Писаревъ.

Достается не мало похвалъ и на долю Тургенева, не какъ публициста, а какъ «человѣка безсознательно и невольно искренняго», т. е. *художника*. Даже больше. Писаревъ высказываетъ общее положеніе, которое онъ впослѣдствіи долженъ предать проклятію: «Честная, чистая натура художника беретъ свое, ломаетъ теоретическія загородки, торжествуетъ надъ заблужденіями ума и своими инстинктами выкупаетъ все—и невѣрность основной идеи, и односторонность развитія, и устарѣлость понятій. Вглядываясь въ своего Базарова, Тургеневъ, какъ человѣкъ и какъ художникъ, растетъ въ своемъ романѣ, растетъ на нашихъ глазахъ и доростаетъ до правильнаго пониманія, до справедливой оцѣнки созданнаго типа».

Столько здравыхъ мыслей умѣлъ высказать критикъ, отнюдь, конечно, не новыхъ, но очень полезныхъ прежде всего для самихъ реалистовъ и перваго среди нихъ. Но мы снова не должны упускать изъ виду источника писаревскаго здравомыслія. Это не логическій разсудокъ, не критическая вдумчивость, вообще не умственный процессъ, а извѣстное психическое внушеніе, аффектъ. Теперь онъ называется эпикурейскимъ настроеніемъ и художникъ спасается только благодаря пристрастію критика къ наслажденіямъ. Искусство защищается не ради какихъ-либо идеальныхъ, самостоятельныхъ жизненныхъ цѣлей, а только какъ «источникъ безвредныхъ наслажденій». Это существенный фактъ! И онъ заранѣе можетъ приготовить насъ къ какимъ угодно сюрпризамъ въ противоположномъ направленіи. Вдругъ критикъ перестанетъ исповѣдывать эпикурейскую мораль, тогда пропадетъ и его почтительное отношеніе къ поэзіи и творчеству. Для него не литература, и не ея содержаніе и смыслъ на первомъ планѣ, а собственный личный вкусъ, неудержимо настойчивый, своенравный. Хочу засужу—хочу помилую, вотъ настоящій девизъ Писарева, какъ критика, и вскорѣ онъ дѣйствительно засудитъ искусство столь же беззаботно и весело, какъ только что защищалъ его.

Культурное міросозерцаніе Писарева въ эту эпоху столь же не похоже на позднѣйшее, какъ и эстетическое. Въ качествѣ эпикурейца онъ долженъ возможно меньше возлагать бремени и нравственныхъ обязательствъ на отдѣльную личность и вполнѣ послѣдовательно доказывать, что каждый человѣкъ порознь «не заслуживаетъ порицанія» за свои грѣхи и проступки: во всемъ виновато общество, среда. Человѣкъ только продуктъ окружающихъ условій.

Мы встрѣтили ту же идею у Чернышевскаго и Добролюбова, но тамъ у нея совсѣмъ другое происхожденіе, не имѣющее ничего общаго съ эпикурейской покладливостью и художественно-барской снисходительностью. Но и здѣсь эти настроенія внушаютъ критику лишь нѣсколько благоразумныхъ замѣчаній, имъ также грозитъ скорая и безпощадная раздѣлка. Теперь Писаревъ признаетъ великое значеніе художественныхъ типовъ, воплощающихъ людей мелкихъ, безсильныхъ и пошлыхъ: они—иллюстрація общественной атмосферы.

Другія мысли Писарева—столь же мимолетныя гостьи, хотя онѣ навѣяны на этотъ разъ уже не аффектами, а вполнѣ жизненными фактами. Программу этихъ мыслей очень удачно начерталъ самъ критикъ: «у насъ, говоритъ онъ, всегда случается, что юноша, окончившій курсъ ученія, становится тотчасъ непримиримымъ врагомъ той системы преподаванія, которую онъ испыталъ на себѣ самомъ».

И устами Писарева говоритъ просто наболѣвшее чувство, когда онъ отрицаетъ классическую систему, громитъ ученый педантизмъ и школьную схоластику, поясняетъ свои общія разсужденія очень яркими фигурами изъ своего студенческаго прошлаго и доходитъ, наконецъ, до проповѣди естествознанія, какъ основы гимназической программы.

Все это вполнѣ логическія слѣдствія лично пережитаго и перечувствованнаго. Удивительно только, что для словеснаго выраженія этихъ опытовъ потребовались кризисы, и Писаревъ дошелъ до нихъ только послѣ благосвѣтловскаго толчка. Но во всякомъ случаѣ, наконецъ, дошелъ, къ сожалѣнію, весьма быстро перестаіъ идти ровнымъ сознательнымъ шагомъ и стремительно рванулся впередъ.

Какъ и почему это совершилось — для отвѣта у насъ нѣтъ фактическихъ данныхъ. И самое происшествіе, какъ мы упомянули, прошло незамѣченнымъ для біографовъ и цѣнителей Писарева. Правда, въ *Современникѣ* было указано, что Писаревъ

мѣтно просвѣтился послѣ тургеневскаго романа. Указаніе вполз справедливое,—мы сейчасъ убѣдимся въ этомъ. Почему, проѣщеніе пришло съ подожданіемъ, почему сначала Писаревъ несся къ Базарову довольно критически, а потомъ возвелъ его перлъ созданія и даже сильно разукрасилъ въ нигилистичеомъ направленіи?

Объясненіе можетъ быть одно, — все таже благосвѣтловская ука. Писаревъ съ каждымъ днемъ все серьезнѣе долженъ былъ едставлять обязанности честнаго литератора, т. е. учителя пубки, преобразователя существующаго нравственнаго и общественго строя, руководителя «мыслящихъ реалистовъ». А при такой ли эпикурейскія идеи являются по меньшей мѣрѣ неудобными несоотвѣтствующими. Принципъ наслажденія прямо оскорбитенъ рядомъ съ просвѣщеніемъ и наставничествомъ въ самомъ ирокомъ смыслѣ. Человѣкъ, взявшій на себя такой долгъ, обяанъ проникнуться строгимъ и энергическимъ міросозерцаніемъ, езвыми и положительными принципами, а прежде всего послѣвательностью. И Писаревъ именно такъ и судитъ о себѣ въ исьмѣ къ матери: онъ «самый послѣдовательный изъ русскихъ сателей».

Мы думаемъ иначе объ этой добродѣтели въ писаревской личсти. Мы не видимъ именно послѣдовательности отъ идеи о ворческомъ сознаніи художника», создающаго стройные образы лучше критика умѣющаго осмысливать дѣйствительность, до заленія «Рафаэль гроша мѣднаго не стоитъ»; мы должны признать ѣкоторый разрывъ между этими истинами, пропасть между двумя олъ противоположными идейными процессами. Послѣдовательсть будетъ чисто писаревская, т. е. неуклонное подчиненіе афктамъ и гипнозамъ, взамѣнъ вдумчиваго, истинно критическаго ализа явленій и идей.

VIII.

Перемѣна атмосферы ясно чувствуется со статьи *Цвѣты невинго юмора*. Статья направлена противъ Щедрина, какъ «литерарнаго паразита» и «чистѣйшаго представителя чистѣйшаго исства». Правда, Щедринъ сотрудникъ *Современника*, непримимо-противнаго журнала, и это обстоятельство должно сильно острять стрѣлы изъ лагеря *Русскаго Слова*. Но у Писарева ѣется общій принципъ, бьющій наповалъ сатирика. Щедрину

не особенно обидно быть побитымъ въ данномъ случаѣ: рядомъ съ нимъ обязано пасть и развѣяться прахомъ вообще искусство, въ сущности даже всякая умственная дѣятельность, кромѣ изученія и популяризаціи естественныхъ наукъ. Естествознаніе «самая животрепещущая потребность нашего общества», и распространеніе его—высшее назначеніе «мыслящихъ людей». Всѣ должны отдаться ему и критики, и художники. Могутъ возразить, что книги по естествознанію принесутъ пользу только образованнымъ классамъ и пройдутъ незамѣтно для народа. Писаревъ не слушается. Онъ убѣжденъ, что «акклиматизація естествознанія» въ русскомъ обществѣ неизмѣримо полезнѣе для русскаго *народа* всѣхъ книгъ, предназначенныхъ собственно для него и всякихъ добродѣтельныхъ толковъ о сближеніи съ народомъ и о необходимости любить его.

Вы, можетъ быть, потребуете доказательствъ, какимъ путемъ естественники изъ общества окажутся полезнѣе для народа всякихъ другихъ образованныхъ людей? Доказательствъ вы не получите кромѣ одного: естествознаніе весьма превознесено у Бокля, и Благосвѣтловъ написалъ объ англійскомъ историкѣ обширную хвалебную статью. Этихъ фактовъ вполнѣ достаточно, чтобы гипнотически закрыть глаза рѣшительно на все кромѣ физіологіи и антропологіи. Вѣдь додумался же Шелгуновъ, въ эту эпоху также одинъ изъ покорныхъ учениковъ Благосвѣтлова, до открытія, будто благодаря успѣхамъ *физіологіи* возникли и развились идеи равенства и человѣческихъ правъ. Физіологія доказала, что «кости у всѣхъ одного цвѣта, кровь также» и что, слѣдовательно, нѣтъ основаній для дворянскихъ привилегій [23]). Вотъ какая политическая сила—физіологія, и какіе отличные физіологи были, напримѣръ, христіане перваго вѣка нашей эры и впослѣдствіи столь просвѣщенные естествоиспытатели и точные ученые, какъ энергичнѣйшій апостолъ всеобщаго равенства—Жанъ Жакъ Руссо!

Отчего же послѣ такихъ уроковъ исторіи Писареву не замѣнить естествознаніемъ рѣшительно всѣхъ умственныхъ и нравственныхъ стремленій человѣчества и не рекомендовать Щедрину «Глуповъ бросить» и приняться за переводы и компиляціи сочиненій по естественнымъ наукамъ.

Эта мысль растетъ въ мозгу критика не по днямъ, а по ча-

[23]) *Русск. Слово*, 185, октябрь. *Литература и образованные люди*, стр

самъ. Въ статьѣ *Мотивы русской драмы* она принимаетъ по истинѣ фанатическую форму и рѣчь Писарева заставляетъ ждать рѣшительно чего угодно въ смыслѣ «послѣдовательнаго реализма». Молодежь, говоритъ онъ, «должна проникнуться глубочайшимъ уваженіемъ и пламенной любовью къ распластанной лягушкѣ... Тутъ-то именно, въ самой лягушкѣ, и заключается спасеніе и обновленіе русскаго народа».

Писаревъ, написавши эту фразу, спѣшитъ побожиться предъ читателемъ. Онъ-де не шутитъ и не потѣшаетъ читателя парадоксами. «Самыя свѣтлыя головы въ Европѣ» такъ именно полагаютъ. Мы желали бы болѣе ясныхъ доказательствъ, а именно указаній, какимъ путемъ будетъ облагодѣтельствованъ народъ, если вся молодежь примется за микроскопы и лягушекъ? Базаровъ очень усердно возится съ этими предметами, но мы что-то не замѣчаемъ въ немъ особенной заботливости объ обновленіи народа. Напротивъ, онъ такъ же плохо говоритъ съ народомъ, какъ и господа Кирсановы и, не смотря на солидныя медицинскія и естественно-научныя познанія, совершенно проваливается во мнѣніи мужиковъ. Писаревъ полагаетъ, будто съ размноженіемъ Базаровыхъ по русской землѣ и мужики станутъ относиться почтительно къ этой породѣ людей. Предсказаніе утѣшительное, но все-таки оно только предсказаніе и на немъ заканчивается разсчетъ публициста съ своимъ парадоксомъ.

Это и лучше: взять Базарова каковъ онъ есть, извлечь изъ романа чисто діалектическимъ путемъ психологію и міросозерцаніе «мыслящей личности» и объявить все это «самой животрепещущей потребностью». Народъ останется въ сторонѣ и не получитъ никакой осязательной части въ этой потребности. Этотъ предметъ вообще совершенно чуждъ сочувствіямъ и интересамъ нашего публициста. Какимъ-то чудомъ радикальный критикъ сумѣлъ миновать вопросъ о народѣ какъ разъ въ ту эпоху, когда вопросъ этотъ висѣлъ въ воздухѣ, создавалъ партіи даже среди прирожденныхъ обломовцевъ, одинаково живо захватывалъ правительство, общество и литературу. Мы видѣли, сколько горячихъ страницъ посвятилъ ему Добролюбовъ,—и его преемникъ успѣлъ сохранить полную неприкосновенность къ дѣйствительно «самой животрепещущей потребности» времени.

Теперь онъ займется характеристикой «реалистовъ» и преимущественно уничтоженіемъ ихъ будто бы самаго страшнаго врага—эстетики.

Огромная статья *Реалисты* предназначена раскрыть нов[ое] міросозерцаніе. Оно ничто иное, какъ стремительное развитіе и[деи] и психологіи Базарова. Авторъ неоднократно ссылается на тургеневскаго героя, отождествляетъ его съ типомъ «реалиста», противополагаетъ эстетикамъ» въ томъ числѣ Бѣлинскому. Опредѣленіе «строгаго и послѣдовательнаго «реализма» какъ «экономі[и] умственныхъ силъ» подтверждается опровергнутымъ раньше и[з]реченіемъ Базарова насчетъ природы - мастерской. Отсюда иде[я] полезности, идея того, что *нужно*. А нужно прежде всего пи[ща] и одежда: все остальное, слѣдовательно, потребность вздорна[я]. Всѣ вздорныя потребности можно объединить однимъ понятіемъ *эстетики*. На него то и направлены вся воинственность и в[сѣ] умственные и стилистическіе рессурсы критика.

Натискъ до такой степени свирѣпъ, что даже вызываетъ ра[з]думье у самаго героя, и онъ спѣшитъ сдѣлать оговорку. «Читатель подумаетъ вѣроятно», догадывается критикъ, «что эстетика мой кошмаръ, и читатель въ этомъ случаѣ не ошибется. Эстетика и реализмъ дѣйствительно находятся въ непримиримой враждѣ между собой, а реализмъ долженъ радикально истребить эстетику которая въ настоящее время отравляетъ и обезсмысливаетъ вс[ѣ] отрасли нашей научной дѣятельности, начиная отъ высшихъ сферъ научнаго труда и кончая самыми обыкновенными отношеніями между мужчиной и женщиной... Куда ни кинь, вездѣ на эстетику натыкаешься... Эстетика, безотчетность,рутина, привычка это все совершенно равносильныя понятія».

Очень сильно, но мы можемъ прибавить еще два: реалистическое доктринерство и юношеская безотчетная самонадѣянность Это несравненно болѣе «эстетическія» явленія, чѣмъ привычка и рутина. Мы ясно видимъ, какъ отважный разрушитель любуется фантастическимъ поприщемъ своихъ подвиговъ, дрожитъ отъ восторга при видѣ поверженныхъ имъ призраковъ и неутомимо размахиваетъ мечомъ и бряцаетъ доспѣхами среди совершенно пустого пространства. Съ какимъ упоеньемъ онъ ведетъ діалоги съ дѣйствующими лицами романовъ и съ публикой: «Другъ мой разлюбезный Аркашенька! О, Анна Сергѣевна!.. О филейныя части человѣчества!..» Объ «эстетикахъ» ужъ нечего и говорить: по ихъ адресу, будто изъ ящика Пандоры, вылетаетъ одинъ перлъ за другимъ, и все изъ за эстетики.

Но гдѣ же на самомъ дѣлѣ этотъ врагъ? Кто усѣялъ своими костьми поле битвы, кто этотъ «прочный элементъ умственнаго застоя и самый надежный врагъ разумнаго прогресса?»

Страшное количество,—и какъ только у «мыслящаго реалиста» хватило смѣлости вступить въ бой! Прежде всего—пигмеи, занимающіеся скульптурой, музыкой, живописью, потомъ ученые фразеры и сирены, въ родѣ Маколея и Грановскаго; особенно Маколея очень не одобрилъ Благосвѣтловъ [24]), наконецъ, пародіи на поэтовъ, и первый изъ нихъ Пушкинъ. Дальше слѣдуютъ цѣлыя науки, во главѣ ихъ исторія, потому что «стыдно и предосудительно уходить мыслью въ мертвое прошедшее», безполезно заниматься изслѣдованіемъ народнаго творчества и міросозерцанія и совершенно ни на что не нуженъ, напримѣръ, древній періодъ русской литературы...

Недавній эпикуреецъ теперь достигъ головокружительной высоты строгой нравственности и суроваго умственнаго режима. Какъ произошло это очищеніе и вознесеніе—вопросъ совѣсти нашего героя: мы должны ограничиваться чтеніемъ его краснорѣчивыхъ упражненій въ стоическомъ направленіи, даже болѣе—совершенно подвижническомъ.

Восхищаться древней скульптурой—смертный грѣхъ предъ реалистической добродѣтелью: эти восторги «въ сущности ничѣмъ не отличаются отъ пріапическихъ улыбокъ и чувственныхъ поползновеній». Раньше отдыхъ признавался необходимымъ и даже наслажденіе, о личномъ счастьѣ нечего и толковать: оно стояло во главѣ угла,—теперь мы на противоположномъ полюсѣ.

«У реалиста потребность отдохнуть возникаетъ очень рѣдко, и поэтому онъ стоитъ выше обыкновенныхъ людей, т.-е. можетъ въ теченіе своей жизни сдѣлать больше работы. «*Человѣкъ вполнѣ реальный* (подчеркиваетъ авторъ) можетъ обходиться безъ того что называется личнымъ счастьемъ: ему нѣтъ необходимости освѣжать свои силы любовью женщинъ или хорошей музыкой, или смотрѣніемъ шекспировской драмы, или просто веселымъ обѣдомъ съ добрыми друзьями. У него можетъ быть развѣ только одна слабость: хорошая сигара, безъ которой онъ не можетъ вполнѣ успѣшно размышлять».

Именно таково свойство Рахметова, значитъ, безъ него нельзя представить настоящаго мыслящаго человѣка.

Достоинства или недостатки этихъ разсужденій совершенно излишне обсуждать. Почти каждая фраза заставляетъ задавать вопросъ: ужъ не серьезно ли авторъ говорилъ о кошмарѣ, его пре-

---

[24]) *Ораторская дѣятельность Маколея. Сочиненія,* стр. 390 etc.

слѣдующемъ? Такъ недавно онъ самъ столь краснорѣчиво возмущался насиліемъ надъ естественными наклонностями и потребностями человѣческой природы, а теперь—вмѣсто всякой природы и реальности, беретъ вывѣсочную фигуру, созданную чисто-теоретически, безъ малѣйшихъ признаковъ жизненной правды и ее кладетъ въ основу психологіи *реалиста*. Романъ *Что дѣлать?*—классическое произведеніе, равное *Мертвымъ душамъ*, Рахметовъ—идеальный типъ, *личность*. Такъ можно разсуждать дѣйствительно только въ припадкѣ бреда и не имѣя ни малѣйшаго представленія о *реализмѣ*. Писаревъ съ литературной критикой совершилъ ту же операцію, какую Чернышевскій, на свое несчастье, продѣлалъ въ *Антропологическомъ принципѣ*. Учитель, стремясь къ научности и положительности, сочинилъ рядъ самыхъ метафизическихъ и бездоказательныхъ положеній, ученикъ, рисуя реалиста, снялъ копію съ придуманнаго, преднамѣренно сочиненнаго *набора* новыхъ словъ и мнимо-реальныхъ поступковъ, объединеннаго фамиліей Рахметовъ. Еще изъ Базарова можно было извлечь жизненныя дѣйствительно-типическія черты, и романъ оказалъ неоцѣненную услугу писателю, видѣвшему жизнь въ окошко благосвѣтловскаго кабинета. Романъ снабдилъ его и принципами, и краснорѣчіемъ, и даже ненавистью противъ художественнаго творчества. Вопіющая неблагодарность! И еще болѣе глубокое ослѣпленіе, когда съ тѣми же цѣлями—поучиться и поучить другихъ, Писаревъ приступилъ и къ роману Чернышевскаго. Здѣсь удручающая ограниченность личнаго опыта и гипнотическій характеръ умственнаго процесса сказались во всей силѣ, и съ такой высоты логическаго мышленія Писаревъ обрушился на Пушкина, сочинивъ рядъ статей, признанныхъ цвѣтомъ его критическаго таланта.

Писаревъ долгое время-готовился къ подвигу, предварительно успѣлъ совершенно очистить себѣ путь отъ всякаго эстетическаго хлама. Его энергія вызвала было отпоръ, особенно идея полезности, до послѣдней степени узкой, исключительно-практической. Онъ было смутился и попятился назадъ, началъ оговариваться, что *реалисты* понимаютъ *пользу* не въ томъ ограниченномъ смыслѣ, какъ думаютъ «антагонисты». Реалисты допускаютъ даже поэтовъ, лишь бы только они «ясно и ярко раскрыли предъ нами тѣ стороны человѣческой жизни, которыя намъ необходимо знать для того, чтобы основательно размышлять и дѣйствовать».

Оговорка весьма смутная и малосмысленная, но какъ бы ее ни понимать, она не спасаетъ искусства. Писаревъ безпрестанно

ставитъ дилемму—или накормить голодныхъ людей, или «наслаждаться чудесами искусства», или популяризаторы естествознанія, или «эксплуататоры человѣческой наивности». Общество, заключающее въ своей средѣ голодныхъ и бѣдныхъ и въ тоже время покровительствующее искусствамъ, уподобляется голому дикарю украшающему себя драгоцѣнностями.

Въ результатѣ всѣхъ хожденій вокругъ да около Писаревъ допускаетъ одно лишь искусство—поэзію, но здѣсь же убиваетъ его критикой. По его мнѣнію, она должна обращать вниманіе на фактическій матеріалъ, читать художественное произведеніе совершенно такъ же, какъ «мы пробѣгаемъ отдѣлъ иностранныхъ извѣстій въ газетѣ». Для нихъ не должны представлять ни малѣйшаго интереса ни талантъ автора, ни его языкъ, ни его жанръ повѣствованія. Надо на поэзію смотрѣть съ той же точки зрѣнія, какъ, напримѣръ, на телеграфъ. «Достоинство телеграфа заключается въ томъ, чтобы онъ передавалъ извѣстія быстро и вѣрно, а никакъ не въ томъ, чтобы проволока изображала собой разныя извилины и арабески».

Самое побѣдоносное соображеніе и оно немедленно уполномочиваетъ критика архитекторовъ отождествить съ кухарками, выливающими клюквенный кисель въ замысловатыя формы, живописцевъ со старухами, которыя бѣлятся и румянятся, исторію искусства объяснить существованіемъ богатыхъ меценатовъ и продажныхъ или трусливыхъ декораторовъ...

Достаточно. Реальное міросозерцаніе болѣе чѣмъ ясно, и совершенно напрасно Писаревъ изъ года въ годъ раскрывалъ его на всяческіе лады, затопляя *Русское Слово* потокомъ фигуръ тождественнаго смысла и не уставалъ «перевертываться съ фразой» на пространствѣ цѣлыхъ страницъ. Онъ сразу установилъ истины до такой степени простыя и рѣшительныя, что больше думать рѣшительно было не о чемъ и незачѣмъ. Оставалось только приложить общія истины къ самому крупному единичному случаю и показать практически всю побѣдоносность новыхъ идей. Такой случай представляла именно поэзія Пушкина, этотъ сильнѣйшій оплотъ эстетиковъ, и Писаревъ совершенно правильно битву съ великимъ поэтомъ призналъ рѣшительной для торжества реалистовъ. Исторія эта не подаритъ насъ никакими новостями послѣ извѣстныхъ намъ подвиговъ критика, но она въ высшей степени важна, какъ именно вполнѣ наглядное фактическое освѣщеніе писаревскаго таланта и писаревской умственной силы.

IX.

До сраженія съ Пушкинымъ Писаревъ успѣлъ однимъ почеркомъ пера вычеркнуть изъ исторіи литературы Лермонтова, Гоголя, Грибоѣдова, Крылова, какъ «зародышей поэтовъ», особенно досталось Лермонтову за то, что онъ «окорналъ и обезсмыслилъ Байрона для увлеченія русскихъ барышень». Легко понять, послѣ такой гекатомбы воину нашему уже ничего не стоило покончить съ Пушкинымъ, и онъ началъ трубить побѣду еще до битвы.

Онъ желаетъ «образумить» публику насчетъ Пушкина, «перерѣшить» вопросы, рѣшенные Бѣлинскимъ, «съ точки зрѣнія послѣдовательнаго реализма». А для этого приходится порвать даже съ Чернышевскимъ, «самымъ блестящимъ и самымъ глубокимъ мыслителемъ *Современника*». Правда, Чернышевскій разрушилъ эстетику, но онъ признавалъ Пушкина поэтомъ и высоко цѣнилъ статьи Бѣлинскаго о немъ. Базаровъ думаетъ на этотъ счетъ иначе, и Писаревъ послѣдуетъ за нимъ во всѣхъ подробностяхъ, даже въ способѣ вести войну.

Базаровъ приписываетъ Пушкину мысли и чувства, ему вовсе не принадлежащія, также поступитъ и его почитатель. Пушкинъ виноватъ во всемъ, за что можно укорить Евгенія Онѣгина. Онъ отвѣчаетъ за пошлость и умственную косность высшаго русскаго общества первой четверти XIX-го вѣка, онъ достоинъ осужденія за то, что его герой скучаетъ и что онъ не *боецъ* и не *работникъ*. Пушкинъ преступенъ даже тамъ, гдѣ другой поэтъ, напримѣръ, Гейне совершенно правъ. Гейне могъ преклоняться предъ чистымъ искусствомъ и совсѣмъ не *реально* относиться къ женщинѣ: таковы были внѣшнія обстоятельства, условія среды, эпохи. Пушкину нѣтъ пощады: онъ внѣ времени и да будетъ ему стыдно просто за то, что онъ Пушкинъ и, слѣдовательно, «пародія на поэта». Именно такой ходъ мыслей у критика, какъ бы это странно ни казалось. Критикъ просто не понимаетъ совершенно ясныхъ стиховъ и толкуетъ ихъ подъ несомнѣннымъ наитіемъ кошмара.

Самая горячая филиппика противъ Пушкина написана по поводу дуэли Онѣгина съ Ленскимъ. Слова поэта: «И вотъ общественное мнѣніе! Пружина чести—нашъ кумиръ! И вотъ на чемъ вертится міръ!» Писаревъ понялъ въ томъ смыслѣ, будто въ эту минуту Пушкинъ идеализируетъ своего героя и признаетъ законность предразсудка, вынуждающаго человѣка на дуэль. «Пушкинъ», взываетъ критикъ, «оправдываетъ и поддерживаетъ св-

имъ авторитетомъ робость, безпечность и неповоротливость индивидуальной мысли... Онъ подавляетъ личную энергію, обезоруживаетъ личный протестъ и укрѣпляетъ тѣ общественные предразсудки, которые каждый мыслящій человѣкъ обязанъ разрушать всѣми силами своего ума и всѣмъ запасомъ своихъ знаній»...

И всѣ эти громы на основаніи иронически грустнаго замѣчанія поэта, какимъ-то чудомъ не понятаго столь краснорѣчивымъ защитникомъ ума и знанія!

Тотъ же умъ подсказалъ Писареву множество не менѣе диковинныхъ соображеній насчетъ другихъ поэтовъ. Знаете ли, напримѣръ, почему *Гёте—титанъ*, хотя и эстетикъ и весьма равнодушный гражданинъ? По очень внушительнымъ причинамъ: не будь онъ титанъ, Берне не сталъ бы такъ жестоко возмущаться его филистерствомъ, а Байронъ не посвятилъ бы ему *Сарданапала*. Писареву нѣтъ никакого дѣла, что Байронъ могъ считать Гёте титаномъ именно съ эстетической точки зрѣнія, и Берне возмущаться имъ по совершенно противоположнымъ мотивамъ. Впрочемъ, могутъ ли подобныя пустяки смущать «реалиста»! Онъ, именно по поводу Пушкина, дѣлаетъ слѣдующія открытія: поэты «рождены для того, чтобы ни о чемъ не думать», а потому стихи и драмы можетъ писать всякій, только не всякому размѣры ума позволяютъ заниматься такимъ низкимъ дѣломъ...

Это—по истинѣ титаническія откровенія! Во мгновеніе ока, одной фразой радикально пересозданъ человѣкъ и, естественно, законодатель нашъ позаботится начертать программу для будущей человѣческой расы.

Теперь онъ, понятно, среды не признаетъ: онъ теперь загипнотизированъ совершенно противоположной идеей—культомъ личности, столь же неограниченнымъ, какою раньше была вѣра во всемогущество среды. Выводы изъ этого культа не могли представить ничего оригинальнаго. Имѣютъ извѣстное значеніе общія педагогическія разсужденія Писарева, основанныя на «святынѣ человѣческой личности». Но все это старые и общеизвѣстные мотивы послѣ статей Добролюбова. Любопытнѣе практическія приложенія принциповъ, и вотъ, здѣсь-то опять реалисту измѣняютъ и умъ, и знаніе.

Писаревъ сочиняетъ образцовую программу для гимназій и университетовъ. Идею программы онъ цѣликомъ заимствуетъ у Конта, пользуется его классификаціей наукъ и въ основу преподаванія кладетъ математику. Одновременно проектируется изуче-

ніе ремеслъ по многимъ утилитарнымъ соображеніямъ. Знаніе ремесла сократитъ случаи ренегатства: умственные работники, лишившись работы, могутъ снискивать себѣ пропитаніе физическимъ трудомъ и не вступать въ предосудительныя сдѣлки. Наконецъ, физическій трудъ особенно способствуетъ «искреннему сближенію съ народомъ», признающимъ, по свѣдѣніямъ Писарева, только физическихъ работниковъ.

Писаревъ повторяетъ сенъ-семонистскія идеи о «реабилитаціи физическаго труда», о «связи между лабораторіей ученаго специалиста и мастерской простого ремесленника». Но русскій публицистъ и здѣсь до послѣдней возможности нажалъ педаль. Сенъ-симонистамъ и въ голову не приходило физическому труду жертвовать умственнымъ образованіемъ, а Писаревъ сочиняетъ цѣлый проектъ, даже съ денежными выкладками, обученія гимназистовъ ремесламъ, какъ одному изъ главныхъ предметовъ, едва ли даже не самому главному. Зато раньше естественныя науки признавались основой гимназической программы, теперь онѣ изгоняются изъ гимназическаго курса.

Но полнѣйшее раздолье для воображенія представила Писареву университетская программа. Прежде всего онъ предлагаетъ уничтожить дѣленіе на факультеты. Раньше онъ совсѣмъ не признавалъ исторіи, какъ науки. Контъ переубѣдилъ его и теперь онъ связываетъ исторію съ математическими и естественными науками, общеобязательную программу начинаетъ съ дифференціальнаго и интегральнаго исчисленія и кончаетъ исторіей, преподаваемой только на послѣднемъ курсѣ...

Лучшаго образчика самой необузданной игры фантазіи трудно и представить. Реалистъ до конца остается вѣренъ фанатически отвлеченнымъ построеніямъ, не обнаруживая ни познанія, ни пониманія дѣйствительности. Отрицательная критика Писарева, направленная противъ общеизвѣстныхъ и весьма живучихъ язвъ русской школы, цѣлесообразна, но всякая его попытка проявить организаторскую, созидательную мысль кончается полной неудачей.

Такъ и слѣдовало ожидать отъ ума, питающагося исключительно схемами и формулами, азартно работающаго въ области чистыхъ отвлеченій и въ своемъ протестѣ противъ дѣйствительности не умѣющаго отличить болѣзненныхъ явленій отъ основныхъ законовъ органической жизни личности и общества. Эти же свойства писаревскаго мышленія отразились и на окончательномъ результатѣ его дѣятельности.

Она изсякла сама собой, выдохлась будто летучее вещество. Жизненность и работа какого угодно сильнаго ума можетъ поддерживаться только въ близкомъ соприкосновеніи съ дѣйствительностью. Она—истинная оплодотворительница и питательница мысли. Безъ нея мысль умираетъ изморомъ и умъ и талантъ начинаютъ страдать такимъ же худосочіемъ и малокровіемъ, какія поражаютъ организмъ при недостаткѣ питанія.

Это именно произошло съ Писаревымъ. Въ теченіе пяти лѣтъ онъ все переговорилъ, что можно было высказать по поводу общихъ нравственныхъ, литературныхъ и общественныхъ идей. Въ сущности, онъ переговорилъ это еще раньше, но внѣшній литературный талантъ маскировалъ крайне многословныя и однообразныя повторенія уже нѣсколько разъ разъясненныхъ положеній и выводовъ.

Въ концѣ 1866 года Писаревъ вышелъ изъ крѣпости и обнаружилъ явное истощеніе мысли и таланта. Статьи за слѣдующіе два года—блѣдны и безличны, блѣднѣе даже самыхъ раннихъ библіографическихъ замѣтокъ Писарева. Чаще всего критикъ ограничивается болѣе или менѣе краснорѣчивымъ изложеніемъ содержанія беллетристическихъ произведеній, но и здѣсь не уберегается отъ рѣзкаго противорѣчія самому себѣ. Изрекши раньше смертный приговоръ надъ Вальтеръ-Скоттомъ, теперь онъ восхищается романами Эркмана-Шатріана, какъ удачной попыткой популяризировать исторію и приносить пользу народному самосознанію.

Благосвѣтловъ редакторскимъ наметаннымъ взоромъ сразу постигъ упадокъ Писарева и безъ особенныхъ сожалѣній порвалъ съ нимъ сношенія изъ-за случайной размолвки. Въ іюлѣ 1868 года Писаревъ утонулъ въ морѣ, въ Дуббельнѣ, и Благосвѣтловъ писалъ Шелгунову: «Онъ умеръ уже давно, какъ умственный дѣятель, т. е. умеръ въ концѣ прошлаго года».

Но Благосвѣтловъ спѣшилъ высказать увѣренность, что «люди умираютъ, а идеи, честныя и хорошія идеи живутъ».

Разумѣлись, конечно, идеи Писарева. Мы не можемъ раздѣлить этой увѣренности. Имя Писарева унаслѣдовало громкую и продолжительную популярность, но въ этой популярности было много привходящихъ обстоятельствъ, не зависѣвшихъ отъ достоинства и назидательности писаревскихъ идей. Изъ этихъ идей время сохранило отъ забвенія какъ разъ тѣ, которыя самому Писареву достались по наслѣдству отъ другихъ. Призывъ къ личной са-

мостоятельности, чувству личнаго достоинства, къ неустанному умственному развитію, это очень цѣнный голосъ во всѣ времена и при всякихъ обстоятельствахъ, и особенно онъ былъ цѣненъ на зарѣ и разсвѣтѣ обновленной, свободной Россіи. Но этотъ голосъ—только отголосокъ рѣчей, звучавшихъ до Писарева и имъ застигнутыхъ въ полномъ разгарѣ. Онъ сообщилъ отголоску много привлекательности, свѣжести и энергіи, благодаря необыкновенно ясному, простому и подчасъ очень живому литературному слову. Но онъ не пожелалъ остановиться на этой задачѣ, и «беззаботно и весело» пустился на открытія, руководимый деспотической рукой и лично очарованный эффектомъ цѣли: подарить публикѣ самые простые и въ то же время самые положительные отвѣты на всѣ интересующіе ее вопросы.

И какія же средства имѣлись въ распоряженіи новоявленнаго учителя! По его собственному сознанію, весьма ограниченныя. Начиная сотрудничество въ *Русскомъ Словѣ*, онъ «о нашей литературѣ и критикѣ не имѣлъ почти никакого понятія». Допустимъ нѣкоторую рисовку въ этомъ приз анія, но оно врядъ ли особенно далеко отъ истины, послѣ извѣстнаго намъ гимназическаго и университетскаго воспитанія. А дальше слѣдовали годы на рѣдкость производительной работы: до пятидесяти печатныхъ листовъ ежегодно. Врядъ ли оставалось много времени и возможности учиться и думать, особенно при непрестанно возроставшей славѣ. Недаромъ Писаревъ такъ энергично настаивалъ, чтобы молодые реалисты не «изучали» ни критиковъ, ни поэтовъ, а только «пробѣгали» ихъ произведенія и набирали изъ нихъ явленія жизни [25]). Писаревъ лично неуклонно слѣдовалъ этому правилу о жизни учился по романамъ, какъ это ни неожиданно для реалиста. Про него и Зайцева *Современникъ* писалъ: «въ видѣ Базарова они получаютъ желанный реалистическій талисманъ и ключъ къ скорому, почти механическому рѣшенію всѣхъ вопросовъ».

Писаревъ пространно возражалъ противъ своей идейной зависимости отъ Базарова, но насчетъ механизма умолчалъ: будто рѣшать всѣ вопросы именно такъ и слѣдовало [26]). Такъ они дѣйствительно и рѣшались всюду, гдѣ Писаревъ отступалъ отъ рѣшеній своихъ учителей, и въ легкости и простотѣ рѣшенія за-

---

[25]) *Кукольная трагедія съ букетомъ гражданской скорби.* IV, 194—5.
[26]) *Посмотримъ!* V, 161—2.

ключалась большая доля увлекательности писаревскихъ статей для молодежи. Она, конечно, должна была восторженно привѣтствовать вѣру въ ея силы, таланты, честныя стремленія, съ горячимъ сочувствіемъ встрѣчать непрерывно звучавшій кличъ: *впередъ!* Но все это не создало бы Писареву столь громкой славы. Она выпадаетъ на долю только созидателямъ, чистые отрицатели способны вызвать мимолетный эффектъ, привести публику въ изумленіе и потонуть въ рѣкѣ забвенія. Писаревъ не изъ ихъ числа: онъ всю жизнь усиливался разрушеніе соединить съ творчествомъ, на расчищенной почвѣ возвести новое зданіе.

Но усилія не могли привести къ прочнымъ результатамъ. У строителя не было ни соотвѣтственнаго матеріала, ни обдуманнаго плана, ни строительскихъ способностей. Онъ зналъ очень мало, думалъ крайне поверхностно, составлялъ заключенія въ высшей степени опрометчиво, и вся культурная первобытность русской публики какъ нельзя яснѣе обнаружилась именно въ успѣхахъ писаревской литературной дѣятельности. Онъ самъ приходилъ въ изумленіе отъ малой требовательности своихъ читателей, по поводу своей много нашумѣвшей статьи *Схоластика XIX-го вѣка*. Онъ могъ бы свое изумленіе съ еще большимъ правомъ распространить, на свои знаменательнѣйшія произведенія: *Реалисты*, *Пушкинъ и Бѣлинскій*, *Разрушеніе эстетики*. Неожиданность и легкость успѣха, несомнѣнно, сильно отразились на превращеніи Писарева изъ сравнительно скромнаго библіографа въ торжествующаго пророка, изъ эпикурейца-эстетика въ неотразимую «мыслящую личность». Это превращеніе, въ свою очередь, явилось первоисточникомъ главнѣйшихъ отрицательныхъ явленій, подорвавшихъ развитіе и распространеніе идей Чернышевскаго и Добролюбова и вписавшихъ въ исторію шестидесятыхъ годовъ рядъ не литературныхъ, не идейныхъ страницъ.

X.

Имя Писарева въ теченіе всей его дѣятельности окружено необыкновеннымъ блескомъ и шумомъ. Изъ мѣсяца въ мѣсяцъ оно испещряетъ страницы журналовъ, вызываетъ длящіяся волненія среди читателей, превращается въ нарицательное понятіе исключительной и въ высшей степени отважной умственной силы. Можно не признавать ея благодѣтельныхъ вліяній на публику, можно даже отрицать за ней вообще положительныя достоинства, но не

считаться съ ней, пренебрегать ею нѣтъ ни малѣйшей возможности. Удивительный писатель ежемѣсячно поставляетъ отъ пяти до семи печатныхъ листовъ, пишетъ о самыхъ разнообразныхъ вопросахъ съ одинаковой легкостью, бойкостью и неотразимой самоувѣренностью. Очевидно, все это жадно поглощается подписчиками, журналъ преуспѣваетъ, его презрѣніе къ противникамъ становится величественнѣе чуть не съ каждымъ днемъ, и вполнѣ основательно. Впослѣдствіи журналъ будетъ прекращенъ и, по свидѣтельству менѣе всего дружественнаго лица, это событіе вызоветъ небывало-рѣзкое единодушное недовольство общества [27]).

Задолго до катастрофы именно враги успѣютъ вполнѣ опредѣленно засвидѣтельствовать великую роль Писарева. Этихъ свидѣтельствъ безчисленное множество; возьмемъ для примѣра два на разныхъ полюсахъ современной публицистики. Въ началѣ 1862 года, т. е. въ первый же періодъ писаревскихъ подвиговъ въ нигилистическомъ направленіи, журналъ *Время* настойчиво рекомендовалъ читателямъ статью *Схоластика XIX вѣка*. По мнѣнію «почвеннаго» органа Достоевскаго, Писарева слѣдуетъ читать: «онъ самое новое, самое выразительное проявленіе нашей современной литературы; въ немъ обнаруживаются глубочайшія ея тайны». Статья Писарева ставится выше даже *Полемическихъ красотъ* Чернышевскаго [28]).

Три года спустя, *Современникъ*, яростно воевавшій съ *Русскимъ Словомъ*, сообщилъ своимъ читателямъ о письмѣ въ редакцію отъ неизвѣстнаго корреспондента. Авторъ письма совѣтовалъ *Русскому Слову* обращаться съ Писаревымъ крайне бережно, поправлять его ошибки «снисходительно, осторожно и со всей деликатностью» Писаревъ — разсуждаетъ корреспондентъ — «можетъ увлекаться, можетъ ошибаться, дѣлать промахи, но все-таки это лучшій цвѣтокъ изъ нашего сада. Грубо сорвавъ его цвѣтъ и неделикатно отнесясь къ нему, вы возстановите окончательно противъ себя всю молодежь» [29]).

Нѣтъ ни малѣйшихъ основаній сомнѣваться въ дѣйствительности этой корреспонденціи: *Современникъ*, дѣлалъ сообщеніе на свою голову и молодежь на самомъ дѣлѣ усердно поддерживала пышный разцвѣтъ Писарева. Такое положеніе вещей ставило Писарева не только на первое мѣсто среди новыхъ людей, но ве-

---

[27]) Никитенко. III, 106.

[28]) *Время*. 1862, январь, авторъ Н. Косица (Н. Страховъ).

[29]) *Современникъ*, 1865, апрѣль. *Русская литература*, 280.

минуемо должно было создать вокругъ него цѣлую школу. Благосвѣтловъ могъ сообщать своему юному сотруднику какія угодно идейныя вдохновенія, даже производить надъ ними радикальные психологическіе опыты, но онъ не обладалъ публицистическимъ талантомъ. Его отвѣты *Современнику* поражаютъ первобытной грубостью, самымъ откровеннымъ наборомъ ругательствъ, не прикрытыхъ ни остроумнымъ краснорѣчіемъ, ни какими бы то ни было принципіальными соображеніями и доказательствами. Его литературныя способности не шли дальше компилятивнаго отчета о чужой книгѣ или молодецкаго чисто-физическаго размаха сильнаго кулака.

Совершенно другое полемическіе пріемы Писарева. Онъ всегда умѣетъ жестокое издѣвательство надъ противникомъ обставить чрезвычайно живописными подробностями, бранный мотивъ уснастить разнообразными музыкальными фіоритурами, и статья произведетъ на читателя несравненно болѣе пріятное и даже болѣе основательное впечатлѣніе. Писареву, напримѣръ, потребуется заклеймить враждебныхъ критиковъ Базарова. Это значитъ они будутъ осыпаны градомъ вдохновеннѣйшихъ опредѣленій по части ихъ нравственныхъ и умственныхъ качествъ, «Ахъ ты, коробочка доброжелательная! Ахъ ты, обличительница копѣечная! Ахъ ты, лукошко россійскаго глубокомыслія!..» [30]). Превосходно, но въ чистомъ, неукрашенномъ видѣ нѣсколько жостко, и Писаревъ подастъ трудносъѣдобное блюдо въ обильномъ соусѣ. На него будутъ потрачены рѣшительно всѣ фигуры, какія только извѣстны теоріи словесности. Чрезвычайно легкая и плавная рѣчь блещетъ сравненіями, иносказаніями, восклицаніями, діалогами съ публикой и героями авторовъ. Читатель не можетъ не поддаться такому стремительному и увлекательному потоку. Самый процессъ чтенія необыкновенно усладителенъ. Писатель не предъявляетъ рѣшительно никакихъ запросовъ къ умственнымъ силамъ читателя. Его задача рѣшить вопросъ возможно *проще* и *легче*, беллетристической формой и доступнѣйшимъ содержаніемъ. Вся полемика—настоящее свободное искусство. Статья, будто лирическое стихотвореніе, переполнена своими художественными и стилистическими красотами, не имѣющими ничего общаго съ самой идеей, своими куплетами, своимъ драматизмомъ и своимъ «безпорядкомъ», и все это существуетъ само по себѣ, независимо отъ логики разсужденія и

[30]) *Реалисты. Сочиненія.* IV, 21.

окончательнаго вывода. Недаромъ авторъ началъ свое поприще беззаботно и весело: начало, достойное свободнаго художника!

И онъ останется на этомъ поприщѣ до самаго конца. Онъ невыразимо счастливъ чисто-внѣшней стороной своей работы. Нанизывать такія звучныя фразы, изобрѣтать такія необыкновенныя изреченія, снабжать противниковъ такими забавными ярлыками и эпитетами, вѣдь это цѣлое блаженство! Ужасно смѣшно представить, какъ бѣдный Антоновичъ почувствуетъ себя вдругъ «лукошкомъ россійскаго глубокомыслія»! Ничего не можетъ быть остроумнѣе и полезнѣе для успѣховъ «реальной» критики. И изобрѣтатель принимается рисовать въ своемъ воображеніи потрясающія трагическія страданія врага, сраженнаго «лукошкомъ».

Дѣйствія сего орудія поразительныя. Оно «подобно шпанской мушкѣ», оно сохраняетъ раздражающую силу въ теченіе многихъ мѣсяцевъ, съ каждымъ мѣсяцемъ страданія жертвы становятся невыносимѣе и, наконецъ, она впадаетъ въ горячечный бредъ и начинаетъ свои видѣнія принимать за существующіе факты...[31]). Все это въ яркихъ картинахъ возстаетъ предъ умными очами критика, поощряетъ его на дальнѣйшее творчество, и сколько художественныхъ страницъ можно создать при такихъ благодарныхъ обстоятельствахъ! Русскій словарь достаточно богатъ, а русскій читатель безъ мѣры благосклоненъ, и образцовый жанръ критики водворился по всей линіи русской печати.

Жанръ чрезвычайно оригинальный и совершенно-неожиданный. Предъ нами чтò ни авторъ, то завѣдомый реалистъ, т. е. усерднѣйшій и убѣжденный поклонникъ *факта* и *дѣла*. Ничего фантастическаго, ничего ненужнаго, только одна непосредственная и наглядная польза. Слова строгой науки и правила здраваго смысла, все остальное эстетика, невѣжество и умственная ограниченность. Цѣнность каждой печатной страницы соотвѣтствуетъ количеству научныхъ свѣдѣній, сообщаемыхъ авторомъ, все равно, будетъ ли это статья или романъ. Мы не должны забывать о телеграфной проволокѣ: ей не полагается никакихъ извилинъ и арабесокъ, чтобы передавать депеши. Такъ и литература: пусть она учитъ публику прямолинейно и просто, безъ разныхъ хитростей и безполезныхъ изворотовъ.

Правило—вполнѣ ясное и дѣльное. Но, вѣроятно, *теорія* всегда и для всѣхъ—предметъ очень, даже нестерпимо *сухой* и, слѣдо-

---

[31]) *Прогулка по садамъ россійской словесности.* IV, 372—3.

вательно, неосуществимый. Реалисты въ этомъ отношеніи не ушли дальше гетевскаго героя, пожалуй, отстали. Гёте сухой теоріи противопоставлялъ «цвѣтущее дерево жизни», т. е. подлинный фактическій реализмъ; русскіе новые люди теорію принесли въ жертву словамъ, отнюдь не дѣлу. Полемическая литература шестидесятыхъ годовъ поражаетъ обиліемъ чисто-словеснаго, идейно совершенно безплоднаго матеріала. На каждомъ шагу эта литература превращается въ искусство для искусства, даже не въ личное взаимное разоблаченіе противниковъ, а въ безсодержательную игру фразами и крѣпкими словами. Мы не желаемъ сказать, будто вся молодая журналистика—сплошной реторическій турниръ. Такой результатъ прямо немыслимъ, независимо отъ личной воли публицистовъ. При какой угодно безцѣльной запальчивости и непозволительномъ пристрастіи къ частнымъ перебранкамъ, имъ, несомнѣнно, по временамъ удавалось бы коснуться вопросовъ общаго, дѣйствительно просвѣтительнаго содержанія.

Такъ это и было, конечно. Но, кромѣ счастливыхъ случайностей, у публицистовъ жило искреннее желаніе учить и просвѣщать своихъ читателей. Доказательство — обиліе популярныхъ статей по исторіи и естествознанію. Оно должно считаться незабвенной исторической заслугой шестидесятыхъ годовъ. Но реалисты отнюдь не желали ограничиться работой компиляторовъ, слишкомъ безличной и скромной. Они—«мыслящія личности» и, слѣдовательно, ихъ назначеніе—самостоятельная философская разработка вопросовъ литературы, науки, личной и общественной нравственности. И вотъ на этомъ-то пути независимаго мышленія безграничнымъ потокомъ разлилась самобытная журнальная полемика, въ теченіе многихъ лѣтъ наносившая тяжкіе удары реальнымъ задачамъ молодыхъ писателей.

Этотъ фактъ долженъ быть выдвинутъ на первый планъ въ нашей исторіи: такое положеніе будетъ вполнѣ соотвѣтствовать исторической правдѣ. Полемическія красоты играютъ подавляющую роль въ нигилистической литературѣ и не столько существенна рѣзкость, безпримѣрная откровенность ея тона, сколько именно чистая художественность ея пріемовъ и результатовъ. Шестидесятники, послѣдовавшіе Добролюбову и Чернышевскому, безпрестанно полемизировали ради самой полемики, наводняли свои журналы совершенно праздными словопреніями, на десяткахъ и сотняхъ страницъ пережевывали разныя «лукошки» и

«бутерброды». Можно удивляться особенной психологіи русской публики, воспринимавшей подобную литераторскую дѣятельность и благодушно терпѣвшей пространныя доказательства, какъ такой-то критикъ удачно смазалъ другого «размазней», обозвалъ «гнилымъ и заразительнымъ бутербродомъ» и «шалопаемъ», а тотъ въ отместку изобличалъ «полемическое шулерство» своего противника, заткнулъ ему ротъ неотразимыми комплиментами. «Ахъ вы, лгувишка! Ахъ вы, сплетникъ литературный! и даже «лгунъ, помноженный на три» [32]). И эти блестки краснорѣчія украшаютъ весь критическій отдѣлъ журналовъ, врываются даже въ *Обозрѣнія Внутреннее*, по крайней мѣрѣ, весьма часто является только продолженіемъ нарочито воинственныхъ *Литературныхъ мелочей* и фельетоновъ подъ всевозможными крылатыми наименованіями.

И Писарева слѣдуетъ считать главой направленія. Въ *Русскомъ Словѣ* онъ представлялъ соблазнительнѣйшій примѣръ для всѣхъ другихъ сотрудниковъ, на *Современникъ* и другія изданія онъ дѣйствовалъ крайне раздражающимъ образомъ. Положимъ, сотрудники *Современника* не нуждались въ особенныхъ внѣшнихъ раздраженіяхъ, чтобы производить свои собственныя посильныя полемическія красоты, но въ хронологіи военныхъ нападеній первенство принадлежитъ *Русскому Слову*. Писаревъ открылъ атаку на писателей *Современника* и повелъ ее въ высшей степени упорно и безпощадно.

Какъ могло произойти это по истинѣ противоестественное событіе?

Современникъ служилъ органомъ Чернышевскаго и Добролюбова, т. е. признанныхъ учителей молодого поколѣнія. По смерти Добролюбова, мѣсто ихъ главнаго критика занялъ М. А. Антоновичъ, около двухъ лѣтъ работалъ рядомъ съ Чернышевскимъ и послѣ устраненія его съ литературной сцены сталъ однимъ изъ редакторовъ журнала. Преданія, повидимому, вполнѣ ясныя и свѣжія, и Антоновичъ, казалось бы, никакъ не могъ нарушить ихъ.

По образованію семинаристъ и академикъ, молодой писатель еще раньше—студентомъ—увлекался идеями *Современника*, началъ писать въ немъ при Добролюбовѣ и удостоился весьма одобрительнаго отзыва Чернышевскаго, какъ человѣкъ передовой и способный къ быстрому умственному развитію. Естественно, осно-

---

[32]) *Современникъ*. 1865, апрѣль. *Литературныя мелочи*. *Русское Слово* 1865, февраль.

ное эстетическое уложеніе молодой критики—диссертація Чернышевскаго, невозбранно признавалось преемникомъ Добролюбова. Впослѣдствіи его статья объ этой книгѣ представитъ чисто ученическое почтительное изложеніе ея содержанія, безъ всякихъ попытокъ сомнѣваться и критиковать священные завѣты учителя [33]).

Та же эстетика царствовала и въ *Русскомъ Словѣ*: по крайней мѣрѣ, такъ заявлялъ Писаревъ, неоднократно и очень краснорѣчиво. И вдругъ то же *Русское Слово* пишетъ статью *Глуповцы, попавшіе въ «Современникъ»*, *Современникъ* сочиняетъ сказаніе *Барскіе лакеи въ «Русскомъ Словѣ»*! Эффектный обмѣнъ любезностями! И онъ длится цѣлые годы, приводя въ смущеніе дружественную публику и въ неподдѣльную радость недоброжелателей и равнодушныхъ.

Расколъ въ нигилистахъ! злобно провозглашали *Отечественныя Записки*, *Эпоха* и прочіе «филистеры»! И они имѣли всѣ основанія торжествовать: нигилистическая междоусобица обильно снабжала ихъ перлами небывалой публицистики въ полемическомъ родѣ. Косица могъ ежемѣсячно сдабривать свои лѣтописныя замѣтки въ изданіи семьи Достоевскихъ нигилистическимъ перцемъ, цѣльными пригоршнями разсыпаннымъ по страницамъ двухъ передовыхъ журналовъ. У Косицы не оказывалось остроумія, соотвѣтствовавшаго траги-комическому приключенію юныхъ борцовъ. Но достаточно было просто отмѣчать факты, чтобы въ сильнѣйшей степени поколебать писательское достоинство яростно поѣдавшихъ другъ друга представителей одного и того же направленія. И на самомъ дѣлѣ, болѣе диковиннаго и болѣе грустнаго зрѣлища русская литература не представляла ни раньше, ни позже. Никакой филистеръ въ мірѣ не могъ бы причинить болѣе глубокаго нравственнаго ущерба передовой публицистикѣ, чѣмъ это совершали наперебой ревностными усиліями публицисты *Современника* и *Русскаго Слова*. И здѣсь одинаково замѣчательны и поводы междоусобицы, и ея характеръ, и ея результаты. Все вмѣстѣ поразительно выпуклыми чертами рисуетъ типъ критика и мыслителя, представляемый личностью перваго человѣка среди «новыхъ людей».

XI.

Мы знаемъ раннюю статью Писарева о Базаровѣ. Она можетъ быть признана наиболѣе удачнымъ произведеніемъ писа-

---

[33]) *Современникъ*. 1865, мартъ.

ревскаго пера. Она, не въ примѣръ прочимъ, носитъ явные сл[illegible] обдуманности, критической проницательности и даже художеств[illegible]наго вкуса, а главное—личной нравственной независимости к[illegible]тика отъ характеризуемаго героя и спокойнаго, достойнаго о[illegible]ношенія къ автору и его произведенію. Всѣ достоинства, как[illegible] вскорѣ тщетно станетъ искать иной требовательный читате[illegible] въ разсужденіяхъ неограниченно-властнаго публициста! Особе[illegible] горько онъ пожалѣетъ объ этихъ навсегда исчезнувшихъ [illegible]стоинствахъ, когда сравнитъ писаревскую статью съ откликам[illegible] *Современника* на тургеневскій романъ.

Зрѣлище безпримѣрное даже въ лѣтописяхъ нигилистическ[illegible] журналистики! И виновникъ его, Антоновичъ, отнынѣ снача[illegible] затаенный, потомъ открытый врагъ *Русскаго Слова*.

Удивительный артистъ прочиталъ романъ и съ его мысли[illegible]тельными способностями произошло нѣчто непостижимое: будто сказочный герой выпилъ волшебной воды и утратилъ свой есте[illegible]ственный образъ. Въ его глазахъ все вывернулось наизнанк[illegible] стало вверхъ ногами. Всего нѣсколько дней или даже часо[illegible] тому назадъ существовалъ Тургеневъ, всѣми признанный за п[illegible]сателя, по меньшей мѣрѣ, умнаго, терпимаго и свободомыслящаг[illegible] Недаромъ же онъ началъ *Записками охотника* и продолжалъ *Рудинымъ*. Вдругъ настоящая революціонная перемѣна декорацій!

Стоило Тургеневу написать *Отцовъ и дѣтей*, онъ мгновенно сталъ рядомъ съ Аскоченскимъ, издателемъ *Домашней Бес[illegible]* Во всей русской литературѣ послѣ Булгарина не было болѣе опо[illegible]зореннаго имени и безнадежнѣе высмѣяннаго изданія. Даже Кат[illegible]ковъ призналъ нужнымъ направить на темную и дикую фигур[illegible] маньяка-мракобѣса уничтожающіе удары насмѣшки и гнѣва Аскоченскій превратился въ нарицательное имя, и оно уже давно совмѣщало въ себѣ всѣ рѣшительно понятія, какія только м[illegible]гутъ кровно оскорбить писателя, какъ человѣка и литературнаго дѣятеля. И вотъ этотъ-то Терситъ русской журналистики оказы[illegible]вался предшественникомъ и даже учителемъ Тургенева!

Да, фактъ внѣ сомнѣній. Аскоченскій всего за четыре год[illegible] до *Отцовъ и дѣтей* написалъ романъ подъ названіемъ *Асм[illegible] нашего времени*. Само собой понятно, какія цѣли могли быть [illegible] сочинителя. Онѣ ясны изъ самого заглавія: Асмодей—никто ино[illegible] какъ молодой герой, представитель новаго отрицательнаго на[illegible]правленія, однимъ словомъ «нигилистъ». У него только нѣтъ зн[illegible]менитой клички, а всѣ поступки и всѣ идеи нигилистическ[illegible]

вѣры и нравственности предвосхищены въ совершенствѣ Аскоченскимъ. Критикъ *Современника* доказываетъ это обильными сопоставленіями и приходитъ къ выводу, разбивающему въ прахъ умственныя способности и гражданскіе задатки автора *Отцовъ и дѣтей.*

«Какъ угодно,—пишетъ критикъ,—но г. Аскоченскій болѣе безпристрастенъ къ отрицательному направленію и лучше его понимаетъ, чѣмъ г. Тургеневъ». Это объ авторахъ; то же самое можно сказать и объ ихъ герояхъ. Пустовцевъ, герой Аскоченскаго, «все-таки выше, по крайней мѣрѣ гораздо умнѣе и основательнѣе Базарова». Этого мало. Аскоченскій «гораздо послѣдовательнѣе» Тургенева, т. е., надо понимать, гораздо честнѣе и искреннѣе.

Онъ, не сочувствуя отрицательному направленію, заканчиваетъ свой романъ проклятіями на голову своего Асмодея, а Тургеневъ, такой же ненавистникъ своего Базарова, мечтаетъ о молодыхъ елкахъ, невинныхъ взглядахъ цвѣтковъ и всепримиряющей любви съ «отцами и людьми».

Таковы основныя идеи Антоновича о тургеневскомъ романѣ. Онѣ развиты въ громадной статьѣ, представляющей послѣднее слово разносительной критики. Все, что только можно отыскать отрицательнаго и позорнаго вообще въ какомъ бы то ни было литературномъ произведеніи, все это заполняетъ каждую тургеневскую страницу, бросается въ глаза и угнетаетъ душу скучающаго и раздраженнаго читателя. «Крайне неудовлетворительно въ художественномъ отношеніи», «удушливый зной странныхъ разсужденій», «за исключеніемъ одной старушки, нѣтъ ни одного живого лица и живой души, а все только отвлеченныя идеи и разныя направленія, олицетворенныя и названныя собственными именами», все это для критика стало совершенно ясно, лишь только онъ прочиталъ романъ. Убѣдился онъ также безповоротно и въ другой, еще болѣе роковой для автора истинѣ. Авторомъ руководила единственная цѣль показать публикѣ, какіе *негодяи* его враги и противники. Достигается она часто крайне наивно, по дѣтски. Тургеневъ мститъ Базарову во всѣхъ рѣшительно мелочахъ и пустякахъ, заставляетъ его проигрываться въ карты, обнаруживать предосудительное пристрастіе къ шампанскому. Месть идетъ и дальше: Базаровъ непочтителенъ къ родителямъ, вызываетъ ужасъ и омерзѣніе у *доброй и возвышенной по натурѣ женщины*, всѣхъ, кто подчиняется его вліянію, учитъ безнравственности и безсмы-

слію. Результаты, конечно, получаются самые плачевные. «Въ цѣломъ выходитъ не характеръ, не живая личность, а каррикатура, чудовище съ крошечной головкой и гигантскимъ ртомъ, съ маленькимъ лицомъ и пребольшущимъ носомъ, и притомъ каррикатура самая злостная».

Прекрасно! Но какъ же всѣ эти ужасы романа и преступленія Тургенева примирить съ прежними его произведеніями. За Аскоченскимъ вѣдь ничего не числится, кромѣ юридическихъ бумагъ и инквизиторскихъ сысковъ, а вѣдь имя Тургенева съ гордостью помѣщалъ *Современникъ* въ спискѣ своихъ сотрудниковъ, Какъ же это объяснить?

Очень просто, отвѣчаетъ критикъ. Раньше не понимали смысла тургеневскаго творчества, и литераторы и публика *ошибались* въ объясненіи этого смысла. Теперь все объяснилось—*напрямки*, *безъ околичностей*, въ настоящемъ, прошедшемъ и будущемъ. Тургеневъ завѣдомый врагъ новыхъ умственныхъ движеній и, слѣдовательно, современнаго молодого поколѣнія. Онъ вмѣстилъ это поколѣніе въ лицѣ изверга и глупца, не понявъ самой сущности дѣла и обрадовавшись случаю сочинить пасквиль на ненавистныхъ людей [34]).

Такъ судилъ передовой журналъ объ *Отцахъ и дѣтяхъ*, судилъ критикъ, рекомендованный Чернышевскимъ, и произведеніе критика печаталось рядомъ со статьей учителя! Какъ могло случиться подобное стеченіе обстоятельствъ? Не могъ же Чернышевскій раздѣлять галлюцинаціи своего юнаго собрата. Невѣроятно, чтобы автору статей о гоголевскомъ періодѣ тургеневскій нигилистъ показался глупцомъ и пошлякомъ, чтобъ въ его картежномъ проигрышѣ онъ усмотрѣлъ злостную месть автора! Не требовалось, повидимому, никакой особенной критической способности, чтобы постигнуть всю безсмыслицу и гомерическую наивность такого обвинительнаго акта. И Чернышевскій, несомнѣнно, постигалъ, но въ данную минуту дѣйствовали болѣе настойчивыя причины политическаго свойства, чѣмъ здравый смыслъ и литературная справедливость.

Современникъ находился въ непримиримой войнѣ съ Тургеневымъ. Она началась немедленно, лишь только *Наканунѣ* было напечатано въ *Русскомъ Вѣстникѣ*. Пламя сначала разгоралось тайно и медленно и вспыхнуло открыто и бурно, когда Турге-

[34]) *Современникъ*. 1862, мартъ.

невъ съ января 1860 года, послѣ напечатанія въ журналѣ Некрасова рѣчи о Гамлетѣ и Донъ-Кихотѣ, окончательно прервалъ свое сотрудничество въ *Современникѣ*. Журналъ принялся доказывать братьямъ-писателямъ и публикѣ, что разрывъ произошелъ изъ-за убѣжденій, Тургеневъ слишкомъ отсталъ отъ міросозерцанія *Современника:* редакція «уволила» его!... Заявленіе вопіющимъ образомъ извращало факты, и тѣмъ, конечно, ревностнѣе подтверждалось дѣйствіями журнала.

Свистокъ, издававшійся при *Современникѣ*, избралъ Тургенева своей мишенью, не только какъ писателя, но и какъ частную личность, именно его отношенія къ Віардо. По поводу *Рудина* читателямъ давалось понять, что авторъ желалъ въ своемъ романѣ угодить литературнымъ друзьямъ.

Тургеневъ возмутился и вздумалъ публично отвѣчать *Современнику*. Отвѣтъ не возъимѣлъ желаемаго успѣха: журналъ пользовался непоколебимымъ авторитетомъ среди своей публики и Тургеневу пришлось раскаяться въ своемъ плохо разсчитанномъ рѣшеніи—бороться съ такимъ противникомъ. Впослѣдствіи онъ даже совѣтовалъ «молодымъ литераторамъ» дѣлать свое дѣло и не разстраиваться дрязгами. Совѣтъ подкрѣплялся именно неудачной полемикой съ *Современникомъ*.

Послѣ этого намъ становится понятнѣе упражненіе Антоновича, усилія критика въ конецъ унизить и разбить Тургенева, поставивъ его рядомъ съ Аскоченскимъ. Редакція журнала должна была горячо сочувствовать этому предпріятію. Помимо указанныхъ данныхъ, мы можемъ тоже заключеніе сдѣлать на основаніи сообщеній лица, близкаго редактору *Современника* [35]). Сообщенія эти, вообще преизобилующія неправдами по недоразумѣнію и еще чаще по заранѣе обдуманному намѣренію, и нарочито взвинчинной страсти, любопытны, какъ яркій и откровенный показатель воинственныхъ намѣреній редакціи *Современника* по отношенію къ Тургеневу. Антоновичъ явился образцово усерднымъ отголоскомъ этихъ чувствъ и не побоялся статьей объ *Отцахъ и дѣтяхъ* навсегда подписать смертный приговоръ своимъ критическимъ способностямъ и писательскому безпристрастію. Некрасову суждено было испытать жестокое возмездіе за пріятное усердіе его критика. Впослѣдствіи, всего шесть лѣтъ спустя, ему самому пришлось поссориться съ Антоновичемъ, и тотъ отомстилъ

---

[35]) *Воспоминанія* Головачевой, *Ист. Вѣст.*

ему убійственнымъ *Объясненіемъ*, оставлявшимъ далеко за собою даже *Асмодея*. Личность и вся литературная дѣятельность Некрасова пригвождалась къ позорному столбу, знаменитый поэтъ обвинялся въ тягчайшихъ нравственныхъ и литературныхъ преступленіяхъ, прежде всего—въ торгашескомъ, спекулятивномъ характерѣ своего либерализма и народничества... Столь оказалось удобнымъ и привлекательнымъ пользоваться услугами бойкаго молодого пера съ полемическими цѣлями противъ лично непонравившагося писателя!

Но пока Антоновичъ дѣйствовалъ на полной свободѣ и въ ненарушимомъ единодушіи съ редакціей, онъ не пропускалъ случая обозвать публично Тургенева излюбленнымъ именемъ Аскоченскаго, пріурочить его къ компаніи Стебницкихъ, Клюшниковыхъ и Писемскихъ, завѣдомыхъ гонителей нигилистическаго направленія. Можно бы, конечно, многое возразить противъ по разуму стремительной наклонности критика сваливать въ одну кучу всѣ цвѣта и оттѣнки изъ лагеря *не нашихъ*, но, очевидно, съ самаго начала вопросъ заключался не въ принципахъ правды и справедливости и не въ интересахъ собственно литературной критики и общественныхъ идеаловъ. *Современникъ* становился на военное положеніе противъ Тургенева и велъ себя *какъ на войнѣ*, т. е. стрѣлялъ и рубилъ направо и налѣво, не разбирая средствъ и не различая въ станѣ противника ни добра, ни зла. Послѣдствія должны были выйти менѣе всего почетныя для запальчиваго воина и для всей современной публицистики.

Современникъ прежде всего столкнулся съ Писаревымъ. Критикъ *Русскаго Слова* не усмотрѣлъ въ лицѣ Тургенева преступника и не призналъ Базарова негодяемъ умственнаго и нравственнаго идіотизма. Это послужило началомъ «раскола» и жесточайшей междоусобицы на нѣсколько лѣтъ. Въ настоящее время подобный поводъ къ журнальной войнѣ можетъ показаться крайне легкомысленнымъ, совершенно безцѣльнымъ и юношески-комическимъ, даже больше, мало вѣроятнымъ съ точки зрѣнія здраваго смысла и самой простой публицистической политики. Въ основѣ лежало или явно вопіющее недоразумѣніе, лишавшее критика *Современника* права на какое бы то ни было серьезное вниманіе со стороны публики, или еще горшее зло—партійная и личная злоба. Изъ-за чего же было ломать оружіе съ подобнымъ героемъ? Доказывать ему, что Тургеневъ не Аскоченскій—не имѣло никакого смысла: человѣкъ, усвоившій эту идею, этимъ самымъ

доказывалъ полную безнадежность своего ума и нравственнаго чувства. Поднимать брошенную имъ перчатку—значило цѣнить не по достоинству его особу и его дѣйствія.

Единственное соображеніе могло бы заставить очевидцевъ вступить въ бой съ невмѣняемымъ рыцаремъ—популярность *Современника* среди молодой публики. Популярность не подлежала сомнѣнію и, мы видѣли, Тургеневу пришлось отступить предъ ней, какъ непреодолимой силой. Но именно фактъ отступленія геніальнаго художника показывалъ всю стихійность, всю безотчетность увлеченій *Современникомъ*. Загипнотизированные читатели, очевидно, отказывались даже выслушивать противную сторону. Приговоръ у нихъ былъ составленъ раньше процесса и безповоротно на все время гипнотическаго состоянія. Антоновичъ могъ безнаказанно изъ мѣсяца въ мѣсяцъ совершать какія угодно насилія надъ общечеловѣческой логикой, надъ общедоступными фактами и надъ непосредственнымъ чувствомъ художественной и нравственной красоты: онъ былъ правъ во что бы то ни стало, разсудку вопреки и наперекоръ стихіямъ. Диктатура въ двадцать семь лѣтъ—вещь чрезвычайно заманчивая и авторъ *Асмодея* быстро потерялъ всякое представленіе о перспективѣ и мѣрѣ, лишь бы пропустила цензура да не притянули къ суду. Недалекое будущее безжалостно возмѣстило воину его азартъ. Фейерверочный шумъ и бенгальскій блескъ, по самой природѣ, скоротечны и безплодны. Имени Антоновича—столь громкому и эффектному въ теченіе трехъ-четырехъ лѣтъ—предстояло печальное, ничѣмъ неотвратимое забвеніе, оскорбительно холодное равнодушіе даже со стороны прежнихъ участниковъ зрѣлища, теперь подросшихъ и созрѣвшихъ. Уже въ 1868 году самъ Некрасовъ отказался отъ литературныхъ услугъ Антоновича въ *Отечественныхъ Запискахъ*, и этого было достаточно, чтобы навсегда похоронить всѣ военные доспѣхи и всю героическую славу бывшаго перваго артиста *Современника*. Краснорѣчивѣйшее доказательство, на какихъ призрачныхъ устояхъ покоилась эта слава и какъ мало заключалось *разума* и *справедливости* въ мимолетной авторитетности неудержимо запальчиваго приговорщика.

Но какъ бы то ни было, запальчивость принесла свои плоды. Тургеневскій романъ сталъ яблокомъ раздора между двумя передовыми органами русской печати, и публика очутилась предъ своего рода бенефиснымъ спектаклемъ нигилистической публицистики.

XII.

Едва успѣла разгорѣться брань изъ-за Базарова и Тургенева, на поле битвы подоспѣлъ новый *casus belli*. На первый взглядъ онъ не представлялся особенно важнымъ: зажигательный снарядъ былъ брошенъ мимоходомъ, случайно, но при высокой температурѣ борцовъ, и онъ быстро наполнилъ сцену дѣйствія огнемъ и дымомъ.

На этотъ разъ виновникъ—Щедринъ, а вина—легкомысленное отношеніе сатирика къ роману *Что дѣлать?* *Современникъ* и *Русское Слово* уже состояли въ войнѣ другъ съ другомъ и Щедрину было естественно царапнуть идоловъ враждебнаго журнала, только сдѣлалъ онъ это очень неразсчетливо и опрометчиво.

Никакимъ писательскимъ авторитетомъ Щедринъ не владѣлъ въ первой половинѣ шестидесятыхъ годовъ, по очень простой причинѣ: онъ все еще *искалъ* своихъ убѣжденій и—мы знаемъ—даже въ лагерѣ крайнихъ славянофиловъ. Смѣхъ сатирика съ трудомъ различалъ толки и направленія и беззаботно разгуливалъ по головамъ нашихъ и вашихъ, лишь бы находилась пожива для болѣе или менѣе забавнаго издѣвательства. Таковъ общій голосъ критики шестидесятыхъ годовъ. Умѣренный и сдержанный Страховъ на этотъ счетъ вполнѣ согласенъ съ Писаревымъ и Зайцевымъ, и нельзя было не согласиться особенно послѣ выходки противъ романа Чернышевскаго.

Зачѣмъ собственно потребовалось Щедрину метнуть стрѣлу своего остроумія въ этотъ романъ—трудно рѣшить, тѣмъ болѣе, что самая стрѣла отнюдь не отличается остротой и пролетѣла она въ сущности мимо цѣли: сатирикъ задѣлъ слишкомъ второстепенный предметъ и притомъ весьма легкомысленно и слишкомъ беззаботно.

Въ *Современникѣ* появилась такая веселая картинка, равно разсчитанная на ядовитость:

«Когда я вспомню, напримѣръ, что «со временемъ» дѣти будутъ рождать отцовъ, а яица будутъ учить курицу, что «со временемъ» зайцевская хлыстовщина утвердитъ вселенную, что «со временемъ» милыя нигилистки будутъ безстрастной рукой разсѣкать человѣческіе трупы и въ то же время подплясывать и подпѣвать: «Ни о чемъ я, Дуня, не тужила» (ибо, «со временемъ», какъ извѣстно, никакое человѣческое дѣйствіе безъ пѣнія и пляски совершаться не будетъ), то спокойствіе окончательно вод-

воряется въ моемъ сердцѣ и я забочусь только о томъ, чтобы до тѣхъ поръ совѣсть моя была чиста. Съ чистой совѣстью я надѣюсь прожить сто лѣтъ и ничего, кромѣ чистоты совѣсти, не ощущать» [36])...

Сатирикъ долго распространяется на счетъ чистой и нечистой совѣсти: вопросъ, не подлежавшій обсужденію заинтересованныхъ читателей, они предпочли заподозрѣть у автора другого рода чистоту и въ другомъ смыслѣ, именно полнѣйшую неприкосновенность сатирика къ какому-либо опредѣленному міросозерцанію. *Эпоха* примѣняла къ сатирику *Современника* изреченіе Хлестакова: «у меня легкость въ мысляхъ необыкновенная» [37]). *Русское Слово* выражалось несравненно рѣзче, знакомя своихъ читателей съ понятіями *Современника* о нигилисткахъ. Понятія выяснялись изъ драматической, весьма веселой сценки, уличавшей бѣдныхъ нигилистокъ въ зависти къ богатымъ кокоткамъ. Съ одной изъ этихъ несчастныхъ сатирику довелось вести разговоръ о театрѣ. Нигилистка сидѣла въ пятомъ ярусѣ, а «пресловутая Шарлота Ивановна, вся блестящая и благоухающая, роскошествовала въ бель-этажѣ и безстыдно предъявляла алкающей публикѣ свои обнаженныя плечи и «мятежныя груди валъ».

— И какъ она смѣла, эта скверная!—визгливо заключала нигилистка, топая ножкой.

Авторъ изумился; какое дѣло его собесѣдницѣ до счастья Шарлоты Ивановны?

— Помилуйте! Я, честная нигилистка, задыхаюсь въ пятомъ ярусѣ, а эта дрянь, эта гадость, эта жертва общественнаго темперамента... смѣетъ всенародно показывать свои плечи... гдѣ же тутъ справедливость? И неужели правительство не обратитъ, наконецъ, на это вниманія?

Авторъ въ отвѣтъ принялся развивать ей свою теорію о чистой и нечистой совѣсти и спросилъ у нигилистки:

— Ну согласились бы вы промѣнять вашу чистую совѣсть на ложу въ бэль-этажѣ?

— Конечно, нѣтъ,— отвѣчала она, но какъ-то невнятно. И авторъ долженъ былъ повторить свой вопросъ.

Немедленно вслѣдъ за этой сценкой разсказывалась соотвѣт-

---

[36]) *Современникъ*. 1864, январь, *Наша общественная жизнь*, 26.

[37]) *Эпоха*. 1864, октябрь. *Послѣдніе два года въ петербургской журналистикѣ*. *Русское Слово*. 1864, февраль. *Глуповцы, попавшіе въ Современникъ*, 37.

ствующая бесѣда съ нигилистомъ, и нигилистъ, при одномъ намекѣ даже на *Русскій Вѣстникъ*, уже прямо заявлялъ:

— Э, батюшка, всѣ *тамъ* будемъ!..

Такъ упражнялся сатирикъ журнала, гдѣ всего семь мѣсяцевъ назадъ закончилось печатаніемъ *Что дѣлать?* Было отчего придти въ негодованіемъ даже самымъ хладнокровнымъ поклонникамъ Чернышевскаго. Сатирикъ дѣйствительно совершалъ нѣчто несообразное и редакція пускала его по всей волѣ, очевидно, въ явное противорѣчіе своему собственному азарту противъ Тургенева. Если Базаровъ — злостная каррикатура на нигилистовъ. что же остается сказать о нигилисткѣ и нигилистѣ Щедрина? И зачѣмъ же тогда Антоновичъ изъ года въ годъ потрясалъ воздухъ яростными воплями во славу молодого поколѣнія, если одновременно съ нимъ это поколѣніе подвергалось издѣвательству совершенно въ духѣ джентльменовъ изъ *Русскаго Вѣстника*. Это соединеніе естественно неслiянныхъ теченій еще ярче оттѣняетъ чисто-полемическій, а не идейный характеръ войны *Современника* съ Тургеневымъ. Къ нашему удивленію, *Русское Слово* не отмѣчало этого противорѣчія, но оно всѣми силами налегло на полное несоотвѣтствіе щедринскаго смѣха направленію *Современника*, какъ бывшаго органа Добролюбова и Чернышевскаго.

И *Русское Слово* было право.

Если Щедрину пришла охота уничтожить нигилизмъ и высмѣять мечтанія и увлеченія молодого поколѣнія,—идти къ этой цѣли надлежало отнюдь не путемъ фантастическихъ веселыхъ діалоговъ, не воздѣйствіемъ на смѣшливыя наклонности веселой публики, не эксплуатаціей забавныхъ словечекъ и еще менѣе— мнимо-остроумной и рѣшительно ничего не означавшей болтовней о чистой и нечистой совѣсти. Съ такими пріемами критики Щедринъ становился ниже Писемскаго. У автора *Взбаломученнаго моря* и фельетоновъ Никиты Безрылова говорило, по крайней мѣрѣ, сильное и глубокое чувство; онъ, видимо, волновался и мучился, преслѣдуя ненавистное общественное явленіе. А здѣсь—подлинно «легкость необыкновенная», пріятнѣйшее саморазвлеченіе и именно беззаботность сатирика, радостно глумившагося надъ безразличными для него фактами, вызвала ядъ и желчь юношей *Русскаго Слова*. Вопросъ всталъ рѣзко и для обѣихъ сторонъ въ высшей степени отвѣтственно: какъ *Современникъ* относится къ Чернышевскому? Дѣйствительно ли авторъ *Эстетическихъ отношеній* общій учитель двухъ молодыхъ редакцій, или одна изъ нихъ по-

ворачиваетъ направо, влекомая беззавѣтной веселостью и невмѣняемымъ сатирическимъ зудомъ своего фельетониста?

Русское Слово немедленно, по прочтеніи діалоговъ *Современника*, отвѣчало со всей энергіей, какою только обладала полемическая рѣчь Зайцева.

«Омерзительно видѣть самодовольнаго балагура, дошедшаго изъ любви къ безпричинному смѣху, до осмѣиванія того, чѣмъ былъ вчера, и провозглашающаго глуповскую мораль, въ родѣ слѣдующей: «яйца курицу не учатъ!» Ну что жъ, читатели *Современника*, бросайте Добролюбова, отворачивайтесь отъ него—вѣдь онъ принадлежалъ къ числу птенцовъ и осмѣливался учить и даже проучивать такихъ почтенныхъ куръ, какъ г. Погодинъ или г. Аксаковъ, или даже г. Щедринъ, который не можетъ до сихъ поръ простить ему и въ отместку старается ущипнуть его въ своемъ курятникѣ...»

Зайцевъ указывалъ на «скользкій путь», выбранный *Современникомъ* подъ руководствомъ Щедрина, прямо говорилъ о ренегатствѣ, не щадилъ личности самого «экс-администратора» и заключалъ свою рѣчь не безъ эффекта и убѣдительности: «совмѣстить въ себѣ тенденціи остроумнаго фельетониста съ идеями Добролюбова журналъ, уважающій себя, не можетъ. Надо выбирать одно изъ двухъ: или идти за авторомъ *Что дѣлать?* или смѣяться надъ нимъ».

Отповѣдь Зайцева—только начало возмездія. Дѣло въ руки взялъ Писаревъ, и быстро возникъ рядъ статей, колебавшихъ всѣ краеугольные камни *Современника*. Прежде всего пришлось поплатиться самому Щедрину. *Цвѣты невиннаго юмора* разсчитывали совершенно уничтожить сатирика, какъ серьезнаго и мыслящаго писателя. Большого труда не предстояло критику. Ранній юморъ Щедрина на самомъ дѣлѣ преисполненъ наивнаго шаржа, манернаго, напряженно-остроумнаго пустословія, усиленно придуманныхъ, до послѣдней степени откровенныхъ, но по существу вполнѣ безплодныхъ словечекъ и прибаутокъ. Писареву оставалось только вязать въ букеты и гирлянды всѣ эти «цвѣты»—въ родѣ «греческаго человѣка Тррефандоса», «фики», «ахъ матушка!»... Задача очень благодарная, и Щедринъ, читая статью, врядъ ли чувствовалъ себя въ сатирическомъ настроеніи. Къ сожалѣнію, Писаревъ не нашелъ лучшаго средства вылѣчить Щедрина отъ легкомысленнаго безотчетнаго глумленія, какъ рекомендовать ему переводить и компилировать сочиненія по естественнымъ наукамъ.

Несомнѣнно, Щедринъ годился на что-нибудь помимо компиляцій, и его Глуповъ не былъ послѣднимъ словомъ его писательской психологіи. Критикъ легко могъ бы придти къ такому заключенію на основаніи уже имѣвшагося подъ его руками матеріала. Но онъ предпочелъ разомъ и навсегда покончить съ противникомъ въ томъ же духѣ, какъ это сдѣлалъ Антоновичъ съ Тургеневымъ. Отъ рѣшительности критика не выигрывала ни истина, ни даже его цѣль. Сатирическій талантъ Щедрина не могъ быть вычеркнутъ изъ русской литературы какой угодно остроумной статьей, и читающая публика, довѣряя критику *Русскаго Слова*, пріобрѣтала только новое недоразумѣніе.

А между тѣмъ, Писаревъ находился въ очень выгодномъ положеніи. *Современникъ* явно подлежалъ уликѣ въ двусмысленности дѣйствій, Щедринъ обнаруживалъ поразительную незрѣлость идей и легковѣсность смѣха: все это представляло богатую пищу для обличительнаго краснорѣчія. Но все это не давало Писареву права обобщать нѣсколько отдѣльныхъ фактовъ, взлетать на олимпійскую высоту предъ своимъ противникомъ и доставлять зрѣлище «филистерамъ».

Они поспѣшили воспользоваться случаемъ, и Достоевскій напечаталъ въ *Эпохѣ* сатирическій разсказъ подъ заглавіемъ: *Господинъ Щедринъ или расколъ въ нигилистахъ*. Онъ прежде всего собралъ крылатыя рѣчи *Русскаго Слова* по адресу Щедрина и *Современника*, а потомъ изобразилъ въ драматической формѣ появленіе *Щедродарова*—«шавки лающей и кусающейся»—въ числѣ сотрудниковъ нигилистическаго органа. Достоевскій искусно воспользовался общими положеніями писаревской реальной критики и высмѣялъ ихъ одновременно съ безпринципностью сатирика. «Филистеры» убивали двухъ зайцевъ, исключительно благодаря безтактности самихъ передовыхъ публицистовъ [38]).

Но для насъ поучительны не столько успѣхи сатиры Достоевскаго, сколько общіе результаты жестокой войны. Ихъ отмѣчала тоже *Эпоха* и вполнѣ основательно. Результаты сводились къ нулю. Полемика не дала «ни единой крупицы пищи для ума и сердца... Что сказалъ или хотѣлъ сказать г. Щедринъ впродолженіе года? Зачѣмъ онъ напалъ на романъ *Что дѣлать?* Какая разница между *Современникомъ* и *Русскимъ Словомъ?*»

Отвѣта не получилось, и фактъ, по мнѣнію *Эпохи*, прекрасно

---

[38]) *Эпоха*. 1864, май.

характеризовалъ *стоячее* положеніе петербургской журналистики. «Обнаружилось внутреннее броженіе, не имѣющее никакой цѣли и свидѣтельствующее объ отсутствіи настоящей дѣятельности, настоящихъ интересовъ» [39]).

Интересы, конечно, были, но запальчивые юноши воинственные личные счеты предпочли идейной работѣ. Она, несомнѣнно, выходила болѣе легкой и доставляла болѣе крѣпкое наслажденіе молодому вкусу и воображенію. Оно покупалось за счетъ положительныхъ и прочныхъ задачъ публицистики; но гдѣ же было заниматься этимъ вопросомъ, когда представлялась возможность пошумѣть и подраться безъ всякихъ усилій мышленія, при помощи хлесткаго, болѣе или менѣе терпимаго браннаго словаря!

Къ такимъ же результатамъ привела междоусобица *Русскаго Слова* и *Современника* и въ спорѣ объ *Отцахъ и дѣтяхъ*. Предметъ еще болѣе значительный и явно вызывавшій на приготовленіе пищи для ума и сердца, и обѣ стороны съумѣли свести его къ личной перебранкѣ, даже не затрогивая принциповъ.

L.

Писаревъ рѣзко разошелся съ Антоновичемъ въ оцѣнкѣ *Отцовъ и дѣтей* и самого Тургенева: естественно было бы выяснить идейныя основы этого разногласія, доказать, что Тургеневъ дѣйствительно не имѣетъ ничего общаго съ Аскоченскимъ и что въ Базаровѣ заключены подлинныя черты современнаго молодого поколѣнія. Писаревъ *узналъ себя въ Базаровѣ*: это существенный фактъ, и Герценъ, отнюдь не поклоняясь ни Писареву, ни Тургеневу, призналъ его въ высшей степени поучительнымъ; въ своемъ сужденіи о Тургеневѣ, какъ авторѣ романа, повторилъ взглядъ Писарева: Тургеневъ, лично несочувствуя Базарову, какъ художникъ остался правдивымъ и честнымъ изобразителемъ своего героя [40]).

Герценъ могъ бы кое въ чемъ исправить мнѣнія Писарева, особенно послѣ личной близкой освѣдомленности на счетъ тургеневскихъ сочувствій и не-сочувствій, но, несомнѣнно, писаревская статья о Базаровѣ заключала въ себѣ много удачныхъ замѣчаній и мѣткихъ указаній, какъ истинное самопризнаніе молодого критика. На этой почвѣ и предстояло, повидимому, разыграться полемикѣ. Въ дѣйствительности вышло нѣчто совершенно обратное.

---

[39]) *Эпоха*. 1864, іюль, октябрь.

[40]) *Еще разъ Базаровъ*. Сочиненія X, 417 etc.

Антоновичъ непоколебимо усѣлся на своемъ открытіи, что Базаровъ каррикатура, а Тургеневъ—Аскоченскій. Защищать подобную истину логикой и фактами нѣтъ никакой возможности, и *Современникъ* прибѣгъ совершенно откровенно къ личной брани и даже къ личнымъ сыскамъ съ пристрастіемъ. Онъ поставилъ своей мишенью «критиковъ-дѣтей»—безнадежныхъ глупцовъ и принялся осыпать ихъ отборными укоризнами во всевозможныхъ нравственныхъ изъянахъ. Въ его распоряженіе съ самаго начала попала вѣрная мысль о зависимости Писарева отъ Базарова, о наклонности *Русскаго Слова*, вмѣсто независимой вдумчивости въ вопросы литературы, философіи и русской дѣйствительности, пользоваться нигилистическими уроками изъ романа. На этотъ фактъ указывало *Время* еще раньше Антоновича. Оно находило, что нигилизмъ рѣшительно ничего не сдѣлалъ для себя, не разъяснилъ даже своего міросозерцанія и не опредѣлилъ своего мѣста въ исторіи общественной мысли. Все сдѣлано его противниками, и особенно Тургеневымъ. Именно онъ «изобразилъ живьемъ, съ кровью и плотью, представителя, образцоваго члена загадочной толпы. Мнѣнія и чувства этого представителя были превосходно сгруппированы и доведены до возможной отчетливости и гармоніи. Въ довершеніе всего Тургеневъ открылъ и создалъ самое трудное: онъ угадалъ имя этого человѣка, онъ назвалъ его нигилистомъ» [41]).

Антоновичъ, слѣдовательно, не открывалъ Америки, и Писаревъ, подчиняясь художественному образу, проявлялъ только сущность своей природы, а вовсе не становился въ положеніе случайнаго компилятора. Онъ, по справедливому замѣчанію Герцена, дѣйствовалъ до наивности откровенно, но въ его дѣйствіяхъ заключался извѣстный психологическій и культурный смыслъ. Въ вылазкѣ Антоновича не было ничего, кромѣ личной злобы и непостижимаго непониманія совершенно яснаго предмета. И эти же мотивы критикъ положилъ въ основу своей полемики съ *Русскимъ Словомъ*.

Онъ не могъ или не хотѣлъ понять *органическую* связь Писарева, какъ личности, и Базарова, какъ извѣстнаго типа. Онъ сосредоточилъ все свое вниманіе на исключительно полемической цѣли, т. е. на внѣшней сторонѣ вопроса, притомъ совершенно извращеннаго собственнымъ толкованіемъ. Базаровъ—злостная каррикатура, а Писаревъ рабская копія съ нея: таковъ смыслъ

---

41) *Время*, 1863, январь, ст. о комедіи О. Устрялова *Слово и дѣло*,—И. Косицы.

многочисленныхъ страницъ, исписанныхъ Антоновичемъ за все время полемики. Онъ предоставлялъ автору полное раздолье по части все того же поносительнаго словаря, и погоня за энергіей и крѣпостью формы отодвинула на послѣдній планъ сущность разногласія.

Современникъ безповоротно увѣровалъ, что поклонники Базарова и тургеневскаго таланта только «вислоухіе», «дѣти» и «юродствующіе», больше ничего; *Русское Слово* не стерпѣло удара, хотя бы совершенно безсмысленнаго, и закусило удила. На Антоновича посыпался градъ соотвѣтственныхъ эпитетовъ, въ журнальной атмосферѣ стонъ стоялъ отъ брани и чисто личныхъ препирательствъ. *Современникъ* заявлялъ, что онъ «принялъ за правило наказывать всякую литературную ракалію тѣмъ же орудіемъ, которымъ она сама согрѣшаетъ», а *Русское Слово* усерднѣйше соревновало сопернику и станъ нигилистовъ на цѣлые мѣсяцы превратился въ своего рода гладіаторскую арену.

А между тѣмъ, у обѣихъ сторонъ были безусловно принципіальные поводы спорить и взаимно оправдываться. Писаревъ, по всей справедливости, могъ бы взять на себя оцѣнку таланта и направленія Тургенева. Вмѣсто того, чтобъ опровергать Бѣлинскаго и разносить Пушкина, онъ могъ бы съ точки зрѣнія реальной критики *перерѣшить* вопросъ о Тургеневѣ, остававшійся открытымъ для критиковъ всѣхъ направленій и эстетическаго, и нигилистическаго. Но Писаревъ предпочелъ даже отказаться отъ собственныхъ воззрѣній на Базарова, вступить съ самимъ собой въ рѣзкое противорѣчіе, критическое отношеніе къ герою смѣнить на восторженный культъ. Въ смѣнѣ не было ничего искусственнаго и притворнаго, Писаревъ оставался по-прежнему искреннимъ и увлеченнымъ, но въ ущербъ спокойному проникновенному мышленію. И Антоновичъ получилъ возможность дѣлать параллели и сопоставленія прежнихъ и позднѣйшихъ взглядовъ *Современника* на Базарова и отчасти на Тургенева [42]).

Все это производилось отнюдь не съ цѣлью уяснить вопросъ, представить анализъ психологіи героя и его критика, а исключительно ради пущаго униженія враждебнаго журнала. Писаревъ, съ своей стороны, доискивался, читалъ ли редакторъ *Современника* романъ Тургенева до статьи Антоновича объ Асмодеѣ? По соображеніямъ Писарева, не читалъ и «г. Антоновичъ обманулъ довѣріе». Антоновичъ немедленно возопилъ о «пошлой выдумкѣ»

---

[42]) *Современникъ*. 1865, апрѣль. *Русская литература*. 304 etc.

и «злонамѣренной клеветѣ» и постарался доконать врага всяческими средствами.

На сцену выступилъ уже вообще Писаревъ, какъ человѣкъ, и его сильнѣйшій авторитетъ—Благосвѣтловъ. Его признанія на счетъ ранняго невѣжества и неразвитія, письмо его матери объ его зависимости отъ поученій и руководства Благосвѣтлова—все это пущено въ ходъ съ самыми откровенными поясненіями и толкованіями. Искренность Писарева, а, можетъ быть, и нѣкоторая рисовка въ изображеніи своихъ школьныхъ испытаній и удручающей незрѣлости ума въ гимназіи и въ университетѣ, сослужили драгоцѣнную службу *Современнику*: «реалистъ» былъ поднятъ на смѣхъ, какъ существо едва вмѣняемое и до жалости ограниченное. А дальше подъ руку подвернулся Благосвѣтловъ, и здѣсь уже окончательно потонули всѣ принципіальные вопросы въ «черной» и «бѣлой» грязи. Такое распредѣленіе сдѣлано Благосвѣтловымъ для характеристики своихъ разнообразныхъ непріятелей изъ *Отечественныхъ Записокъ* и *Современника*. Характеристика, вполнѣ примѣнимая къ самому *Русскому Слову*.

Благосвѣтловъ бился съ открытымъ лицомъ, Антоновичъ подъ забраломъ Посторонняго сатирика. Это emploi Антоновичъ посвятилъ преимущественно издателю *Русскаго Слова* и цѣлый рядъ статей подъ названіемъ *Литературныя мелочи*. Статьи чрезвычайно обширныя, запальчивыя, безпрестанно утрачивающія литературную форму и украшаемыя бранью, намеками и совершенно откровенными нападеніями на частныя дѣла противника. Вся цѣль обоихъ соратниковъ наговорить возможно больше «поносныхъ словъ» въ глаза другъ другу, и цѣль блистательно достигается. Антоновичъ изъ силъ выбивается доказать, что не его назвали лукошкомъ, а онъ назвалъ Благосвѣтлова бутербродомъ, и что онъ никогда не назоветъ издателя «съ крайней безсовѣстностью» душкой и милашкой, что онъ раскроетъ всю подноготную Благосвѣтлова и повѣдаетъ міру, какъ онъ вдругъ сдѣлался издателемъ журнала и вообще что онъ праздношатающійся шалопай.

Противная сторона также не постѣснится по части военныхъ пріемовъ. Рядомъ съ Антоновичемъ къ слѣдствію будетъ привлеченъ также издатель *Современника*, публика узнаетъ, что этотъ издатель проигрываетъ въ карты деньги своихъ подписчиковъ, заводитъ псовыя охоты. Въ отвѣтъ Антоновичъ сообщитъ, что у Благосвѣтлова имѣются, по слухамъ, двѣ кошки и что у него «прошедшее» самое позорное, у него—графскаго прихлебателя и лакея...

Какое впечатлѣніе подобная литература могла производить на публику? Едва ей удавалось услышать одно-два общихъ замѣчанія, какъ ее немедленно привлекали къ судебному процессу и заставляли присутствовать при перемываніи грязнаго литераторскаго бѣлья. Она могла, повидимому, разсчитывать поучиться у *Современника*, какъ слѣдуетъ смотрѣть на реальную критику, какой практическій смыслъ заключенъ въ книгѣ Чернышевскаго и какія преступленія совершаетъ Писаревъ въ качествѣ разрушителя эстетики?

Обязанность въ высшей степени не хитрая—раскрыть увлеченія и ошибки критиковъ-дѣтей, и *Современникъ* подходилъ совсѣмъ близко къ рѣшенію этой задачи. Онъ брался защищать Добролюбова, желалъ доказывать «лже-реализмъ» *Русскаго Слова*, стремился выставить въ забавномъ свѣтѣ войну Писарева съ эстетикой, но только брался, желалъ, стремился... Въ результатѣ ничего не выходило поучительнаго, заслуживающаго признательности читателей. Защита Добролюбова сводилась къ оправданію его взгляда на Катерину Островскаго, улика въ лже-либерализмѣ переходила въ брань на Тургенева и *Отцовъ и дѣтей*, покушенія на эстетическое варварство Писарева закончились обвиненіемъ того же критика за его отзывъ о тургеневскомъ романѣ, за «непониманіе самыхъ ясныхъ вещей», т. е. будто Тургеневъ—Аскоченскій, а Базаровъ—Асмодей...

Очевидно, критикъ *Современника* оказывался прямо неправоспособнымъ вести литературную полемику съ *Русскимъ Словомъ* даже на самой для себя благодарной почвѣ. Его ежеминутно обуревалъ неукротимый забіяческій азартъ и на десяткахъ его бойкихъ страницъ можно найти едва нѣсколько строкъ дѣйствительно идейной работы мысли. Мы можемъ указать собственно только на одно цѣнное мѣсто среди всѣхъ критическихъ и фельетонныхъ нашествій Антоновича на *Русское Слово*, именно указаніе, что *Мертвыя души* и *Ревизоръ* принесли обществу несомнѣнно осязательную пользу. Антоновичъ желалъ сказать, что эти художественныя произведенія полезнѣе реалистическихъ статей Писарева и Зайцева. Мысль правильная и, при всей своей непосредственности, очень почтенная въ эпоху писаревскихъ гоненій на эстетику. Весьма кстати также обобщалъ Антоновичъ отдѣльные факты и указывалъ на искусство, какъ на драгоцѣнное средство распространять идеи.

---

[43]) *Современникъ*. 1865. іюль. *Русская литература*. 87 etc.

Все это неопровержимо, но, къ сожалѣнію, столь разумныя соображенія высказывались крайне рѣдко, потомъ не принадлежали изобрѣтателю Асмодея и, наконецъ, уснащались попутно исключительно личной бранью и, слѣдовательно, утрачивали свою нравственную цѣну и авторитетность.

Такими средствами боролся Антоновичъ и со всѣми другими противниками, съ тѣми, кто на языкѣ *Русскаго Слова* именовался сплошь «журнальнымъ стадомъ».

Отечественныя Записки стояли здѣсь на первомъ планѣ. Для Антоновича онѣ означали сіамскихъ близнецовъ: Кра-ев-скаго и Ду-дыш-кина, и уже самыя эти фамиліи казались ему нестерпимо позорными звуками. Корыстолюбіе и проходимство Краевскаго не сходятъ со страницъ *Современника:* недобросовѣстность, лживость, безсовѣстность, обманъ, крики объ увеличеніи издержекъ на изданіе журнала—все это обычные метательные снаряды Антоновича противъ близнецовъ. Бросаются они опять, повидимому, ради идеи: Антоновичъ стремится защитить Бокля, Чернышевскаго и Милля, но въ результатѣ для всѣхъ этихъ почтенныхъ именъ несравненно было бы выгоднѣе не имѣть подобнаго защитника. Безпристрастный читатель могъ заключить: плохи, должно быть, дѣла авторитетовъ *Современника*, если для возстановленія ихъ чести требуется такой обширный ругательный словарь и такія беззастѣнчивыя экскурсіи въ область личныхъ дѣлъ враговъ [44]).

Но самый пышный вѣнокъ Антоновичъ сплелъ себѣ въ полемикѣ съ Достоевскимъ. Гнѣвъ вызвала *Эпоха* памфлетомъ на расколъ въ *Современникѣ* и насмѣшками надъ Щедринымъ. Памфлетъ явился безъ подписи, Антоновичъ узналъ автора Ѳедора Достоевскаго и написалъ статью *Стрижамъ—посланіе оберъ-стрижу, господину Достоевскому*. О тонѣ статьи можно судить по обращенію: «Вы оберъ-стрижъ, птица... виноватъ... человѣкъ болѣзненный и больной... Статья ваша точно докторомъ вамъ прописана, по рецепту, и докторъ-то вашъ, видно, такая же «дуракова плѣшь»! Статья ваша пахнетъ аптекой, гофманскими каплями, уксусомъ и лавровой вишневой водой»...

Дальше слѣдовало изображеніе писателей *Эпохи*, между прочимъ, Аполлона Григорьева подъ именемъ Бельведерскаго. Портретъ его характеризуетъ вообще остроуміе Посторонняго сатирика и, благодаря именно своей откровенности, избавитъ васъ отъ дальнѣйшаго знакомства съ сатирами этого автора.

---

[44]) *Современникъ*. 1865, февраль. *Русская литература.*

«Бельведерскій 24 раза испускалъ необыкновенную отрыжку и затѣмъ 5 разъ плюнулъ усиленнымъ и напряженнымъ манеромъ, потому что слюна его была очень густа, прилипала къ языку и губамъ и не отлетала по воздуху прочь, какъ бываетъ обыкновенно, а повисала на усахъ и бородѣ»...

Антоновичъ, видимо, усиливался побить враговъ самыми чувствительными подробностями изъ ихъ личной жизни: нервной болѣзнью—Достоевскаго и пристрастіемъ къ выпивкѣ—Григорьева.

Эпоха горько обидѣлась и обратилась къ публикѣ съ жалобой на столь необыкновенный способъ разрѣшать литературные вопросы. Антоновичъ отвѣтилъ новой статьей *Стрижи въ западнѣ—истинное происшествіе.* Западня означала очень хитрую штуку: Антоновичъ брался доказать, что его посланіе составлено по рецепту *Эпохи*, т. е. вся брань заимствована у журнала Достоевскаго. Для доказательства приводились длинныя параллельныя сопоставленія. Изъ нихъ было ясно, что Достоевскій также не стѣснялся въ эпитетахъ—въ родѣ «шавки лающей и кусающейся» по адресу Щедрина. Но еще яснѣе оказывалось, что Антоновичъ далеко оставилъ за собой своего соперника и по части эпитетовъ, и по части слуховъ и сплетенъ. Изъ воображаемой смѣхотворной сцены у Достоевскаго о волненіяхъ критика *Современника* при чтеніи статьи *Эпохи* у Антоновича вышло совсѣмъ не воображаемый и не смѣхотворный укоръ больного въ его болѣзни, и никакія параллели не могли оправдать разыгравшагося фельетониста въ постыдной личной выходкѣ противъ автора *Записокъ изъ Мертваго дома* Не могъ же веселый сатирикъ не знать его біографіи и смысла его недуга! И врядъ ли самыя радикальныя идеи могли когда-либо смыть это пятно съ литературной физіономіи двадцати-восьми-лѣтняго публициста! [45]).

Впрочемъ, вопросъ о какихъ бы то ни было положительныхъ идеяхъ Антоновича—и въ его подлинномъ образѣ, и въ образѣ Посторонняго сатирика—въ высшей степени темный. Въ критикѣ *Асмодей*—самое крупное его произведеніе, а публицистика переполнена извѣстными намъ образчиками полемическаго жанра. *Современникъ* послѣ смерти Добролюбова не внесъ въ русскую критику ни одной идеи, ни одного факта, заслуживающихъ исторической памяти. Участіе Антоновича создало пропасть въ славныхъ преданіяхъ журнала и покровительствовать подобной молодой

---

[45]) *Современникъ*. 1864, іюль, сентябрь.

силѣ со стороны Чернышевскаго было такимъ же практическимъ грѣхомъ, какой знаменитый публицистъ совершилъ въ теоріи статьей *Антропологическій принципъ*. И оба грѣха привели къ одинаково печальнымъ результатамъ. Статья наплодила задорныхъ метафизиковъ-матеріалистовъ, въ теченіе двухъ-трехъ часовъ постигавшихъ всѣ тайны жизни, покровительство осудило журналъ на многолѣтнее безплодное, въ полномъ смыслѣ нелитературное забіячество. И Некрасовъ могъ привѣтствовать свою рѣшимость—избавиться навсегда отъ такого сотрудничества,—какъ истинный актъ здраваго смысла и гражданскаго долга.

И все-таки, какъ бы ни была пустопорожня литературная дѣятельность критика *Современника*, она второстепенное явленіе эпохи. Все буйство Антоновича кажется чисто школьнической шалостью, сравнительно съ отрицательнымъ содержаніемъ критики и публицистики *Русскаго Слова*. Антоновича быстро забыли его же читатели и въ настоящее время только историческая точность и полнота заставляетъ насъ заниматься этимъ героемъ. Не такова судьба Писарева и его сподвижниковъ. Съ ихъ именами неразрывно обычное представленіе о шестидесятыхъ годахъ. Врядъ ли кто когда-либо рѣшится издать сочиненія Антоновича, а Писаревъ числится едва ли не среди *обязательныхъ*, въ извѣстномъ смыслѣ, классическихъ авторовъ. Рѣдкая участь! И вотъ она-то налагаетъ исключительную отвѣтственность на писателя. На Посторонняго сатирика можно указать и пройти мимо, съ Писаревымъ совершенно немыслимо подобное обращеніе. Онъ подлежитъ строгому и всестороннему суду, и не только Писаревъ, какъ отдѣльная личность, а какъ представитель извѣстнаго направленія, вліятельнаго органа печати, вдохновитель другихъ, менѣе одаренныхъ или болѣе скромныхъ. *Современникъ* черпалъ свою общественную силу не въ статьяхъ Антоновича: его первостепенными двигателями и украшеніями были Некрасовъ, Островскій, Щедринъ. Предъ этими именами, особенно предъ именемъ Некрасова, Антоновичъ являлся артистомъ на вторыя или даже третьи роли, и Некрасову не трудно было замѣнить его въ *Отечественныхъ Запискахъ*.

Другое положеніе *Русскаго Слова*.

Ни одного крупнаго художественнаго таланта. Беллетристика представляется какими-то вѣчными незнакомцами и подающими надежды юными талантами. Въ настоящее время всѣ эти имена не вызываютъ у читателя никакихъ представленій: рѣка забвенія поглотила ихъ безвозвратно. Исключеніе одинъ Г. И. Успенскій и отчасти Рѣшетниковъ.

Весь блескъ журнала сосредоточенъ на критикѣ. Писаревъ и Зайцевъ—звѣзды первой величины въ редакціи *Русскаго Слова*, за ними сіяютъ менѣе яркимъ, но для публики столь же привлекательнымъ свѣтомъ—экономистъ Соколовъ и популяризаторъ Шелгуновъ. Его компиляціи написаны не столь живымъ и энергическимъ языкомъ, какъ статьи Писарева, но онѣ занимаютъ въ журналѣ очень много мѣста; онъ, очевидно, цѣнный и необходимый сотрудникъ, хотя бы по своей искренней вѣрѣ въ реальную мысль, опытную науку и по своему горячему стремленію просвѣщать толпу, быть ей полезнымъ и нравственно-близкимъ. Но всѣ эти dii minores преклонялись предъ Писаревымъ, какъ властной и неотразимой силой. Писаревскій духъ вѣялъ надъ *Русскимъ Словомъ*. Предварительно вдохновленный Благосвѣтловымъ, «реалистъ» самъ превратился во вдохновителя и вождя, прежде всего благодаря своему литературному таланту.

Этотъ талантъ долженъ былъ глубоко и мучительно волновать товарищей Писарева, и еще больше его соперниковъ. Писаревскій жанръ неизбѣжно становился классическимъ не только для своего времени. Русская публицистика въ теченіе очень многихъ лѣтъ будетъ обнаруживать присутствіе писаревской манеры и доказывать прочность реалистическихъ преданій. Подражатели и послѣдователи долго не переведутся и послѣ смерти главнаго героя, не исчезнутъ окончательно даже до послѣднихъ дней. Такой непреодолимый соблазнъ таится въ героическомъ писательствѣ «самаго послѣдовательнаго» русскаго реалиста!

Естественно, рядомъ съ Писаревымъ пышнымъ цвѣтомъ разцвѣтали однородные таланты, усердно соревнуя образцу и, какъ это всегда водится съ подражателями, воплощая его недостатки въ вящей степени.

Таковъ именно талантъ — Варѳоломей Александровичъ Зайцевъ, въ свое время чрезвычайно громкое имя и, несомнѣнно, достойное вниманія исторіи, какъ имя одного изъ самыхъ породистыхъ птенцовъ писаревскаго гнѣзда.

LI.

Зайцевъ занималъ въ *Русскомъ Словѣ*, приблизительно, то самое положеніе, въ какомъ состоялъ Антоновичъ, какъ *Посторонній сатирикъ* въ *Современникѣ*—авторъ литературныхъ мелочей, т. е. Зайцевъ велъ библіографическій листокъ и печаталъ полемическія

статейки по случайнымъ предлогамъ. Изрѣдка перу Зайцева принадлежали и болѣе обширныя разсужденія даже по философіи, напримѣръ, статья о Шопенгауерѣ. Но это не было его жанромъ. Онъ чувствовалъ себя слишкомъ тѣсно и неуютно въ предѣлахъ обширнаго связнаго трактата и ежеминутно порывался разбить его на «смѣлыя и блистательныя salto mortale». Такъ отзывался Писаревъ объ идеяхъ своего товарища, искренно имъ сочувствуя и считая ихъ логическимъ выводомъ изъ той же диссертаціи Чернышевскаго [46]). Мы могли убѣдиться, на сколько эта логика послѣдовательна, и самъ Писаревъ не могъ не признать, что на его «уважаемаго сотрудника» «съ непритворнымъ ужасомъ и съ комическимъ недоумѣніемъ» смотрятъ «всѣ солидные тихоходы нашей періодической литературы».

Мы знаемъ, ужасаться могли не одни солидные тихоходы, если только статьи Зайцева вообще производили солидное впечатлѣніе. Шелгуновъ много лѣтъ спустя далъ о Зайцевѣ очень сердечный отзывъ, и съ нимъ приходится считаться, такъ какъ врядъ ли найдется особенно много охотниковъ провѣрять слова столь близкаго и лично симпатичнаго судьи, по статьямъ Зайцева.

По словамъ Шелгунова, Зайцевъ имѣлъ хорошее спеціальное и широкое законченное общее образованіе. Поэтому, продолжаетъ Шелгуновъ, Зайцевъ—медикъ «во всѣхъ областяхъ—въ литературѣ, русской и иностранной, въ исторіи, политикѣ, естествознаніи — чувствовалъ себя хозяиномъ и, какъ хозяинъ, распоряжался со своимъ матеріаломъ, сообщая ему ту или иную группировку» [47]).

Во всей этой характеристикѣ только одинъ фактъ не подлежитъ сомнѣнію: Зайцевъ дѣйствительно *распоряжался какъ хозяинъ* во всѣхъ областяхъ знанія, но это хозяйничанье весьма рѣдко свидѣтельствовало о законченности общаго образованія. Именно Зайцевъ давалъ благодарнѣйшія темы враждебной критикѣ--устраивать охоту за его невѣдѣніемъ и опрометчивостью. Въ области политики мы знаемъ исторію съ неграми: попасть въ подобный просакъ могъ только публицистъ или неудержимо горячаго темперамента, или совершенно младенческой неопытности. И это приключеніе не единственное. Его повторилъ Зайцевъ и въ области философіи. Крайне недовольный философіей Фихте, Зайцевъ изрекъ слѣдующую истину:

---

[46]) *Пушкинъ и Бѣлинскій. Сочиненія.* V, 67.

[47]) *Воспоминанія. Изъ прошлаго и настоящаго. Сочиненія.* Спб. 1891. II, 752

«Собственно слѣдовало бы ожидать, что философа прогонятъ съ пьедестала метлой, посадятъ въ водолѣчебницу или подвергнутъ исправительному наказанію; но къ стыду человѣчества и XIX в. это не только сходитъ имъ съ рукъ, но даже заслуживаетъ всяческое поощреніе».

Легко представить, какую злую иронію вызвала эта хозяйская рѣчь на страницахъ *Современника!*

Съ болѣе мелкими пташками, чѣмъ Фихте, Зайцевъ еще менѣе церемонился. Относительно Юркевича достаточно объявить: онъ «напоминаетъ нѣкоторыя физическія отправленія Діогена» и только: вопросъ рѣшенъ навсегда. Впрочемъ, Юркевичъ можетъ не обижаться: участь Гегеля еще горше. Его философія просто «ерунда, растянутая на нѣсколькихъ стахъ страницахъ» [48]).

Эти «скачки» не могли пройти безнаказанно и Антоновичъ долженъ былъ ждать статей Зайцева, какъ манны небесной. Никому нельзя было легче и проще устроить западню, никого нельзя было эффектнѣе ошельмовать и привести въ конфузъ, и притомъ съ самыми элементарными логическими и научными средствами и къ великой гражданской чести *Современника.*

О неграхъ и философахъ нечего и толковать. Здѣсь Зайцевъ выдалъ себя прямо головой. Но не лучше и положеніе съ Фихте. Если для реальнаго мыслителя зазорно порабощать цѣлую человѣческую расу и толковать объ исправительныхъ наказаніяхъ за философскія идеи, то почти столь же неразумно ополчаться на Фихте и восторгаться Шопенгауеромъ. О Фихте германская исторія навсегда сохранитъ память, какъ о великомъ патріотѣ, какъ о восторженномъ апостолѣ германской національной свободы, какъ о мужественномъ борцѣ за вѣковую политическую и культурную идею. А Шопенгауеръ былъ самымъ плохимъ гражданиномъ, какого только можно представить даже на сценѣ филистерской Германіи. Онъ всю жизнь дрожалъ за личную безопасность и спокойствіе, знать не хотѣлъ ни о какихъ политическихъ и національныхъ интересахъ времени и всякую минуту готовъ былъ удариться въ бѣгство, лишь только воображеніе начинало рисовать ему грозные призраки для его ежедневнаго комфорта.

Повидимому, достаточно этого простѣйшаго сопоставленія, чтобы понизить гнѣвъ противъ Фихте и не гнать его метлой съ какого

---

[48]) *Русское Слово.* 1863, апрѣль, *Перлы и адаманты нашей журналистики,* 1. 1864, декабрь. *Послѣдній философъ-идеалистъ,* 195.

угодно пьедестала. Но публицистъ самаго политическаго русскаго журнала не желаетъ понимать нагляднѣйшихъ фактовъ и поднимаетъ бурю, будто въ порывѣ безотчетной ярости и столько же слѣпого пристрастія. Какъ могло случиться подобное недоразумѣніе? Не могъ же авторъ философской статьи не имѣть никакихъ біографическихъ свѣдѣній о ненавистномъ философѣ. Конечно, имѣлъ, но пренебрегъ, какъ неограниченный хозяинъ, и совершилъ *salto mortale*, способное внушить не ужасъ, а чувство гораздо менѣе лестное для смѣлаго прыгуна.

Столь же странны восторги, расточаемые въ честь Шопенгауера. Зайцевъ всѣми силами души демократъ и вдругъ сплошной диѳирамбъ философу, приходившему въ брезгливое содроганіе при одномъ имени толпа, народъ. Шопенгауеръ впадаетъ въ невмѣняемое неистовство всякій разъ, когда ему приходится говорить о демократическихъ явленіяхъ современной жизни, между прочимъ, о судѣ присяжныхъ. Зайцеву это извѣстно, но онъ, по необъяснимому капризу, желаетъ обратить всю эту политику философа въ шутку: ему это потѣшно и забавно! Ему и на умъ не приходитъ вопросъ, не имѣетъ ли тѣснѣйшей органической связи эта «забавная ненависть» Шопенгауера съ его общими философскими идеями? Гоненіе на демократію, нетерпимый, деспотическій аристократизмъ не слѣдствіе ли пессимистическаго вѣроученія Шопенгауера?

Для Зайцева эти соображенія не существуютъ: онъ удовлетворяется веселымъ настроеніемъ, менѣе всего умѣстнымъ въ приговорахъ надъ историческими явленіями и личностями.

Что касается области науки,—хозяйское поведеніе окончилось для Зайцева чрезвычайно печально: онъ долженъ былъ печатно сознаться въ грубѣйшей ошибкѣ, притомъ крайне элементарной, можно сказать, ученической.

Отважный публицистъ вздумалъ подвергнуть критикѣ статью Сѣченова *О рефлексахъ головного мозга*, пожелалъ даже исправить и дополнить ее. Именно Зайцевъ открылъ непримиримое противорѣчіе въ двухъ заявленіяхъ ученаго: одно—«психическій актъ не можетъ явиться *безъ внѣшняго чувственнаго* возбужденія», другое—ощущенія, сопровождающія *внутренніе процессы организма*, представляютъ одинъ изъ самыхъ могучихъ двигателей въ дѣлѣ психическаго развитія. Зайцевъ соображалъ: страхъ, напримѣръ, можетъ произойти отъ сердцебіенія, а сердцебіеніе—процессъ *внутренній*, слѣдовательно, первое утвержденіе Сѣченова невѣрно... Несчастный критикъ!

Что за лекцію прочиталъ ему Антоновичъ—будто мальчику! Онъ объяснилъ ему самый оскорбительный фактъ: внутренніе процессы внутренни развѣ только въ томъ смыслѣ что они происходятъ во *внутренностяхъ*, относительно психическаго акта они *внѣшнія* такъ же какъ и всѣ другія чувственныя возбужденія. По представленію Зайцева выходитъ: если, напримѣръ, *высунутый* языкъ возбуждается кускомъ сахару, будетъ внѣшнее возбужденіе, а если тотъ же языкъ возбуждается сахаромъ въ полости рта, получается внутреннее...

Безжалостный Антоновичъ въ заключеніе сообщалъ, что онъ показалъ статью Зайцева Сѣченову и вызвалъ у ученаго хохотъ и предлагалъ злополучному критику публично извиниться предъ Сѣченовымъ и своими читателями [49]).

Зайцеву ничего другого не оставалось, какъ склониться предъ побѣдоноснымъ врагомъ, и онъ откровенно призналъ свою ошибку, сообщилъ, наконецъ, читателямъ *Русскаго Слова* великую истину: «относительно психическихъ актовъ наше тѣло со всѣми своими внутренностями есть внѣшній предметъ». Этого бы и достаточно, но Зайцевъ, очевидно, почувствовалъ себя очень обиженнымъ и униженнымъ и принялся взывать даже къ человѣческимъ чувствамъ Антоновича и Сѣченова. Зачѣмъ ученому понадобилось «хохотать» надъ критикомъ: «вѣдь и преступникъ имѣетъ право на человѣческое обращеніе». Зачѣмъ Антоновичъ добивается отъ своей жертвы какой-то эпитеміи? Жертва апеллируетъ къ самому побѣдителю и проситъ его сказать откровенно: «не преступилъ ли онъ въ своей статьѣ предѣловъ полемики, которая могла быть ведена противъ меня, и неужели ни въ статьѣ моей *Послѣдній философъ-идеалистъ*, ни въ прочей моей литературной дѣятельности нѣтъ ничего, что бы могло оградить меня отъ оскорбленій съ его стороны, подобныхъ тѣмъ, которыми онъ осыпаетъ меня?..» [50]).

Идеально благородно, но совершенно некстати! Нашелъ человѣкъ къ кому обращаться съ трогательной исповѣдью! Антоновичу только и требовалось поймать врага въ западню и получить случай осыпать его оскорбленіями: до справедливости ли здѣсь!.. Вмѣсто какихъ бы то ни было соображеній о заслугахъ противника, онъ поспѣшилъ съ обычнымъ размахомъ своей кисти

---

[49]) *Современникъ*. 1865, февраль. *Русская литература*, 272, 276, 287.
[50]) *Русское Слово*. 1865, февраль. *Нѣсколько словъ г. Антоновичу*.

воспользоваться его раскаяніемъ. Въ двухъ книгахъ *Современника* онъ примется теперь трубить побѣду и кричать въ уша читателямъ «сентиментальный вопросъ» Зайцева и уже рѣшительно подпишетъ смертный приговоръ Зайцеву, какъ писателю и какъ вообще умному человѣку [51]).

Правда, Зайцевъ подъ ударами своего неумолимаго судьи могъ съ пользою припомнить свои собственные набѣги на тупоуміе «писателей извѣстнаго сорта», т. е. Аксакова и его сотрудниковъ, свои веселыя издѣвательства надъ учеными и поэтами, въ родѣ Грота и Державина, надъ «одеревенѣлыми нервами» читателей романовъ—этого «промывательнаго средства отъ окончательнаго засоренія мозговъ», свои неотразимыя доказательства, что поэтъ непремѣнно лгунъ и дитя [52]). Но въ особенности должна бы вспоминаться Зайцеву его особая критическая статья *Взбаломученный романистъ*. Здѣсь разговоръ велся съ Писемскимъ совершенно въ духѣ Посторонняго сатирика, «взбаломученный образъ мыслей» и обязанность «чернить все свѣжее, молодое и выступающее на дорогу жизни и дѣятельности» приписывались зависимости автора отъ *Русскаго Вѣстника* и, наконецъ, тотъ же авторъ отождествлялся съ презрѣннѣйшимъ, на взглядъ критика, героемъ романа... [53]). Все это грѣхи, достойные покаянія и мучительныхъ воспоминаній.

И все-таки Зайцевъ, сравнительно съ его противникомъ,—писатель, достойный сочувствія и уваженія. Его искренность прямо трогательна, честность сказывается на каждомъ шагу, какое бы пристрастіе онъ ни обнаруживалъ къ salto mortale. Примѣровъ сколько угодно и они должны бы вызвать краску даже на побѣдоносномъ лицѣ критика *Современника*.

Зайцевъ, напримѣръ, воюетъ съ Достоевскимъ, какъ публицистомъ, цѣнитъ ни во что его журналы, но талантъ Достоевскаго-художника для него неприкосновененъ и онъ какъ нельзя болѣе кстати укоряетъ *Современникъ* въ необузданности полемики и безпринципности отрицанія—разъ дѣло идетъ о партійныхъ врагахъ. Смѣяться надъ *Мертвымъ домомъ*—преступленіе, и всѣ сотрудники *Современника*, за исключеніемъ автора *Что дѣлать?*

---

[51]) *Современникъ*. 1865, мартъ (*Литературныя мелочи*), апрѣль (*Русская литература*).

[52]) *Русское Слово*. 1864, октябрь, декабрь, іюнь, *Библіографическій листокъ*; январь—*Бѣлинскій и Добролюбовъ*.

[53]) *Русское Слово*, 1863, октябрь.

не написали ничего, достойнаго сравненія съ нѣсколькими страницами книги Достоевскаго [54]).

Это истинно по рыцарски и Антоновичу и во снѣ не могло присниться подобное безпристрастіе. Зайцевъ проявлялъ его по требованію своей природы, безъ всякихъ насилій надъ своими страстями и идеями. Не признавая поэтовъ и художниковъ, онъ могъ написать нѣсколько искренне трогательныхъ строкъ о смерти Пушкина и сдѣлать удивительное для реалиста признаніе: «холодно на душѣ» при мысли о врагахъ «перваго русскаго поэта», о страшномъ разладѣ свѣтской среды съ «высокимъ поэтическимъ призваніемъ» Пушкина. Не менѣе сочувственныя рѣчи и о Тургеневѣ, даже какъ о творцѣ Базарова, есть у Зайцева доброе слово даже о Писемскомъ—и опять довольно неожиданное. По мнѣнію Зайцева, *художественный талантъ* Писемскаго помѣшалъ ему выполнить разсудочное намѣреніе: Баклановъ все-таки вышелъ глупцомъ, хотя авторъ и называетъ его человѣкомъ умнымъ и образованнымъ [55]). Это ужъ рѣзко противорѣчило излюбленной идеѣ критика о поэтахъ, какъ завѣдомыхъ, стихійныхъ извратителяхъ дѣйствительности. И именно противорѣчіе показываетъ, насколько сама натура писателя отличалась непосредственной правдивостью и искренностью, даже наперекоръ тенденціямъ. Этой черты не могли не замѣтить, просто не почувствовать читатели *Русскаго Слова*, и мы вполнѣ понимаемъ разсказъ Шелгунова о томъ, какъ онъ по смерти Зайцева получилъ отъ неизвѣстнаго провинціала прочувствованное почтительное письмо о покойномъ [56]).

Было у Зайцева еще одно достоинство, ставившее его выше даже Писарева. Разрушитель эстетики, весь поглощенный войной съ этимъ врагомъ, не принималъ участія въ едва ли не самой существенной публицистической струѣ *Русскаго Слова*—въ пропогандѣ соціально-экономическихъ идей. Редакція журнала ставила себѣ двѣ задачи: «строго реальный взглядъ на вещи» и «сближеніе экономическихъ вопросовъ съ общественными интересами» [57]).

Мы знаемъ, что̀ означалъ «строго-реальный взглядъ»: *Совре-*

---

[54]) *Русское Слово.* 1863, апрѣль. *Перлы и адаманты нашей журналистики.*

[55]) *Р. Слово.* 1863, апрѣль. *Библіографич. Листокъ*, 4; октябрь.

[56]) *О. с.* 741.

[57]) *Р. Слово.* 1864, январь. *Объ изданіи журнала на 1864 годъ.*

менникъ могъ съ полной основательностью обзывать его лже-реальнымъ и считать отступничествомъ отъ завѣтовъ Добролюбова и Чернышевскаго. Писаревъ именно и подвизался на этомъ пути практическаго и принципіальнаго разрыва съ первоучителями-шестидесятниками. Слѣдовалъ за нимъ и Зайцевъ, уничтожая поэтовъ и художественную литературу. Въ результатѣ—дѣятельность получалась въ лучшемъ случаѣ безплодная, преизобильная яростной полемикой и крайне бѣдная положительными просвѣтительными идеями.

Другое значеніе слѣдуетъ признать за соціально-экономическимъ направленіемъ *Русскаго Слова*. Здѣсь журналъ, несомнѣнно, представлялъ передовое теченіе европейской мысли и оказывалъ неоспоримую пользу молодой русской публикѣ.

LII.

Ученыхъ статей экономическаго содержанія *Русское Слово* не печатало, да это было бы и нецѣлесообразно при настроеніи современной публики. Отвлеченная ученость слишкомъ рѣзко противорѣчила бы неограниченно царившей полемикѣ и до послѣдней степени простымъ и популярнымъ жанрамъ публицистики. Естественно, журналъ пользовался услугами экономиста, вполнѣ соотвѣтствовавшаго общему тону. Соколовъ умѣлъ писать не хуже Писарева и Зайцева, совершать salto mortale совершенно въ духѣ Посторонняго сатирика и обнаруживалъ такую же неутомимость и откровенность въ случайныхъ стычкахъ и продолжительныхъ междоусобицахъ. Находчивости и собственно личныхъ мыслей у Соколова, повидимому, былъ еще болѣе бѣдный запасъ, чѣмъ у его товарищей. Его обычный пріемъ—цитаты въ сопровожденія ядовитыхъ замѣчаній и безчисленныхъ знаковъ удивленія и вопроса. Но смыслъ восклицаній вполнѣ опредѣленный: защита пролетаріата и ожесточенная ненависть противъ политическаго и экономическаго мѣщанства.

Современникъ, по вдохновенію Чернышевскаго, считалъ Милля чрезвычайно почтеннымъ авторитетомъ и крайне ретиво защищалъ его отъ всякихъ покушеній. Антоновичъ разразился въ высшей степени яростной статьей противъ *Отечественныхъ Записокъ*, заподозрившихъ Милля въ капиталистическихъ тенденціяхъ. Чернышевскій дѣйствительно признавалъ теоретическія заслуги Милля, какъ представителя адамъ-смитовской школы, его научную

добросовѣстность, но для Чернышевскаго на теоріяхъ Милля не кончалась вся экономическая наука; напротивъ, политическая экономія Милля, въ глазахъ Чернышевскаго, была только *ариѳметикой* науки, и *Современнику* не было необходимости славословить англійскаго философа безъ малѣйшихъ ограниченій, даже какъ «истолкователя настоящаго экономическаго положенія». Въ особенности нѣкоторому сомнѣнію надлежало подвергнуть «свѣтлый умъ и гуманное чувство справедливости» у Милля тамъ, гдѣ онъ становится ученикомъ Мальтуса.

Именно на эту сторону экономическаго ученія Милля и обратило вниманіе *Русское Слово*. Соколовъ напечаталъ рядъ статей чрезвычайно рѣзкаго содержанія. Многочисленныя выдержки изъ сочиненія Милля ясно доказывали, какими твердыми нравственными узами былъ привязанъ Милль къ существующимъ англійскимъ экономическимъ условіямъ и какъ мало обнаруживалось въ немъ оригинальности и смѣлости мышленія, лишь только приходилось имѣть дѣло съ установившимся порядкомъ вещей.

Экономисту *Русскаго Слова* не потребовалось никакихъ глубокихъ изысканій; онъ удовлетворился чисто публицистической критикой, во имя здраваго смысла и простого чувства гуманности. Великую услугу могло оказать ему изреченіе апостола Павла: «Кто не работаетъ, тотъ не долженъ ѣсть», и эта мысль положена въ основу всѣхъ разсужденій критика. Онъ негодуетъ одинаково жестоко и противъ Милля, и противъ «пасквильнаго писаки» *Современника*, обходящаго молчаніемъ разсужденія «безстыднаго софиста о полезномъ размноженіи лихоимцевъ и о вредномъ нарожденіи рабочихъ».

Милль, какъ извѣстно, могущественнымъ средствомъ противъ экономическихъ бѣдствій считалъ мѣры, задерживающія размноженіе населенія. Онъ не побоялся призвать государство къ строгому наблюденію за рождаемостью дѣтей въ бѣдныхъ семьяхъ: государство должно наказывать людей, производящихъ потомство и не способныхъ содержать его...

Легко представить, какое неисчерпаемое вдохновеніе получалъ экономистъ *Русскаго Слова* отъ подобныхъ истинъ [58])! И вдохновеніе совершенно кстати. Рѣзкость тона, безусловно умѣстная въ то время, когда русскому обществу настояло также рѣшать вопросъ о богатыхъ и бѣдныхъ, о правѣ послѣднихъ на трудъ и

[58]) *Р. Слово.* 1865, октябрь. *О капиталѣ.*

жизнь. Соколовъ нашелъ могущественный авторитетъ противъ буржуазныхъ политикоэкономовъ въ лицѣ Прудона, и *Русское Слово* дѣятельно распространяло идеи французскаго публициста и восторженно рекомендовало его личность и дѣятельность своимъ читателямъ. Журналъ разъяснялъ русской публикѣ, какая пропасть лежитъ между французскими героями парламентской политики и французскимъ народомъ, какъ мало общаго между демократическими политиками и самой демократіей.

Эти разъясненія—прямое продолженіе политическихъ статей Чернышевскаго. Цѣль неизмѣнно одна и та же: показать, какая практическая и идейная разница существуетъ между чисто политическимъ либерализмомъ и соціальными и экономическими интересами массы населенія. Чернышевскій разбиралъ мѣщанскую психологію; *Русское Слово* еще энергичнѣе дѣлало то же самое, показывая безплодность даже всеобщей подачи голосовъ для всесторонняго и справедливаго прогресса страны.

Соколовъ широко пользовался критикой Прудона, направленной противъ «мѣщанской демократіи», противъ «господъ демократовъ» [59]). Журналъ не давалъ полной характеристики Прудона, какъ политическаго дѣятеля, не разбиралъ даже его борьбы съ политико-экономическими авторитетами; онъ удовлетворялся чрезвычайно сильными нападками Прудона на политическое шарлатанство и гражданское двоемысліе партійныхъ буржуазныхъ вожаковъ. Основной принципъ, вдохновлявшій Прудона,—безпощадное отрицаніе всякой предвзятой, бездоказательной мысли—вполнѣ совпадалъ съ реалистическимъ символомъ вѣры, и уже одна эта идея отводила Прудону почетнѣйшее мѣсто на страницахъ *Русскаго Слова*. И журналъ не переставалъ говорить о немъ во всѣхъ отдѣлахъ, съ великимъ воодушевленіемъ перечисляя его заслуги кратко, но для современной публики безусловно убѣдительно: «Прудонъ былъ грозой для тупоумныхъ послѣдователей Адама Смита, могущественнымъ обличителемъ буржуазнаго мошенничества и административныхъ фокусовъ» [60]).

Зайцевъ—энергичнѣйшій сотрудникъ въ этомъ направленіи. Все аристократическое, незаконно-привилегированное претило ему по природѣ, вызывало у него лихорадочную дрожь негодованія и презрѣнія. Онъ не желаетъ говорить о романѣ гр. Толстого:

---

[59]) *Р. Слово.* 1865, іюнь.

[60]) *Р. Слово.* 1864, декабрь. *Политика*, 12.

достаточно, если здѣсь появляются фигуры съ аристократическими кличками, весь романъ—погибшее произведеніе. Онъ превозноситъ Некрасова, какъ «мыслителя глубокаго и честнаго»: у поэта мести и печали герой—народъ, не такъ какъ у другихъ—Наполеонъ на скалѣ, Прометей съ коршуномъ, Фаустъ съ Мефистофелемъ или Демонъ съ Тамарой. Стихотворенія Некрасова, объявляетъ критикъ, «по предмету своему, по своему герою не имѣютъ равныхъ во всей русской литературѣ». И нѣтъ предѣловъ негодованію Зайцева на недруговъ Некрасова, какъ поэта. Онъ готовъ принести ему въ жертву величайшихъ европейскихъ геніевъ поэзіи и, конечно, Пушкина: у каждаго есть какой-нибудь изъянъ, Некрасовъ—недосягаемъ [61]).

И Зайцевъ искусно пользуется всякимъ случаемъ произнести слово во славу и въ защиту народа. Даже у Шопенгауера онъ ухитряется откопать полезный для себя отрывокъ о тождествѣ рабства и нищеты, объ одинаково позорномъ положеніи пролетарія и крѣпостного. Надо думать, именно эти «свѣтлыя мысли» примирили неукротимаго критика съ «возмутительными вещами» въ произведеніяхъ нѣмецкаго философа, и Зайцевъ за удачное изображеніе участи пролетарія простилъ Шопенгауеру его ненависть къ суду присяжныхъ.

Зато у него нѣтъ пощады всякому, кто обнаружитъ малѣйшее равнодушіе къ жгучему вопросу, кто, по какимъ бы то ни было причинамъ, не пойметъ трагическаго смысла современныхъ экономическихъ отношеній. Напримѣръ, Блунчли—авторъ *Общаго государственнаго права*. Онъ и шпіонъ, и идіотъ, и шарлатанъ и въ доказательство—буржуазныя представленія Блунчли о пролетаріатѣ [62]).

Все это подчасъ выходитъ слишкомъ рѣзко и смѣло, но въ основѣ лежитъ неизмѣнно-честное стремленіе къ общему благу, къ истинно-народному матеріальному и нравственному благоденствію.

Мы не можемъ согласиться, будто Зайцевъ отличался всесторонними познаніями и по праву чувствовалъ себя хозяиномъ всюду—въ политикѣ, въ наукѣ, въ литературѣ: мы видѣли, какъ прискорбно кончалось довольно часто это хозяйничанье. Но неправъ Шелгуновъ и въ другомъ своемъ отзывѣ о Зайцевѣ.

---

[61]) *Р. Слово*. 1864, октябрь. *Библіогр. Листокъ*.

[62]) *Р. Слово*. 1865, октябрь. *Библіогр. Листокъ*.

Онъ сравниваетъ его съ Писаревымъ. «Писаревъ былъ пропагандистъ, Зайцевъ—боецъ; Писаревъ прокладывалъ широкую дорогу и рубилъ крупныя деревья, Зайцевъ занимался больше подробностями этой дороги; Писаревъ билъ болѣе сильнымъ и далекимъ ударомъ, Зайцевъ—ударами близкими, мелкими и частыми»...

Во всемъ этомъ много незаслуженнаго возвеличенія Писарева и несправедливаго умаленія Зайцева. Оба они не блистали прочностью и основательностью своихъ ударовъ, наносили ихъ безпрестанно въ пространство, воображая себя побѣдителями совершенно мнимыхъ или для нихъ безусловно непобѣдимыхъ враговъ. Но нельзя не признать ударовъ Зайцева, хотя бы и мелкихъ, болѣе цѣлесообразными и болѣе поучительными, чѣмъ крупнѣйшія порубки Писарева.

Разрушитель эстетики сосредоточилъ свои усилія на уничтоженіи искусства и самой психологіи художественнаго творчества. По самому свойству задачи—сильные удары Писарева выходили безплоднымъ маханьемъ рукъ исключительно на потѣху свойственную молодецкому сердцу, да еще нѣкоторой публикѣ, охочей до крикливыхъ театральныхъ зрѣлищъ, до раздиранія природы на части. Мы знаемъ, съ какими грозными и шумными приготовленіями Писаревъ приступилъ къ перерѣшенію вопроса о Пушкинѣ и знаемъ также успѣшность воинственнаго похода. Пушкинъ не только не пострадалъ отъ покушеній «реалиста», но спокойной силой и правдой своей поэзіи заставилъ «реальную критику» обнаружить всю свою немощь и все неразуміе своей заносчивости. И можно сказать, чѣмъ усерднѣе Писаревъ рубилъ крупныя деревья, тѣмъ они становились крупнѣе и тѣнистѣе, а усердіе героя—комичнѣе и жалче.

Такихъ результатовъ не могло быть послѣ *всѣхъ* зайцевскихъ подвиговъ. Тамъ, гдѣ Зайцевъ соревновалъ Писареву и отличался въ крѣпкой брани на поэтовъ и поэзію, онъ остался совершенно безразличнымъ для поступательнаго движенія русской публицистики. Но гдѣ онъ пламенно ратовалъ противъ всяческой эксплуатаціи сильными слабыхъ въ области политики и экономическихъ отношеній, тамъ его дѣло осталось положительнымъ и прочнымъ достояніемъ русской общественной мысли, и совершенно несправедливо слава Писарева у современниковъ и у ближайшаго потомства поглотила въ своихъ лучахъ имя его сотрудника, какъ нѣкую малую подчиненную планету.

Это прямой ущербъ исторической правдѣ. Не меньше вреда долженъ былъ причинить Писаревъ своему спутнику и при жизни. Зайцевъ, да и всякій другой съ болѣе или менѣе живымъ темпераментомъ, не могъ устоять предъ соблазномъ урвать на свою долю извѣстную толику лавровъ, столь обильно и легко сыпавшихся на голову Писарева. И Зайцевъ явно соревнуетъ своему блестящему и удачливому товарищу, соревнуетъ во всемъ—смѣлостью сужденій, откровенностью рѣчи, панибратскимъ обращеніемъ съ публикой. Онъ не желаетъ отставать отъ своего образца и энциклопедичностью свѣдѣній и у него также тайна поразительной разносторонности заключается не въ обширной учености, а какъ разъ наоборотъ, въ крайне смутномъ представленіи о томъ, что̀ значитъ знать и имѣть право судить и приговаривать.

Нельзя думать, будто это свойство было врождено Зайцеву. Его искреннее покаяніе по поводу неудачной критики на статью Сѣченова даетъ основаніе предположить, что въ другой литературной средѣ, подъ менѣе головокружительными вліяніями, Зайцевъ могъ бы и не быть любителемъ блистательныхъ salti mortali. Но именно эти головоломные скачки восхищали Писарева и онъ, очевидно, съ большимъ удовольствіемъ неоднократно вступался за своего подражателя, поддерживалъ его даже въ вопросѣ о рабствѣ негровъ и въ отождествленіи художественнаго чувства съ болѣзненной похотливостью. Это значило поощрять «уважаемаго сотрудника» на всѣ тяжкія, и немалая заслуга со стороны ученика—все-таки настолько сохранить хотя бы безсознательную независимость, чтобы трогательно говорить о гибели Пушкина, какъ поэта, о честности Писемскаго, какъ художника.

Въ заключеніе мы должны признать Писарева центральнымъ свѣтиломъ нигилистическаго міра, не по оригинальности идей, не по силѣ и самобытности мышленія, а по неотразимо увлекательному, раньше небывалому литературному жанру. Писаревъ истинный родоначальникъ всѣхъ рыцарей неограниченно откровенной и безстрашной полемики совершенно независимо отъ большей или меньшей освѣдомленности полемиста въ данномъ вопросѣ. Писаревъ—законченный типъ резонера-критика, способнаго въ какомъ угодно положеніи дѣйствовать наипростѣйшимъ средствомъ — «реальнымъ взглядомъ на вещи» и считать себя навсегда свободнымъ отъ обязанности подробно и вдумчиво «изучать» тотъ или другой научный или общественный вопросъ, авторовъ-художниковъ и критиковъ или ихъ произведенія.

Мы видѣли, на журнальной сценѣ одновременно съ писателями *Русскаго Слова* подвизался герой, еще менѣе удовлетворительный, какъ «мыслящая личность», и намъ не совсѣмъ ясно, почему, по свѣдѣніямъ Шелгунова, читатели *Современника* смотрѣли на *Русское Слово* съ оттѣнкомъ высокомѣрія. Мы думаемъ напротивъ: читатели Писарева могли и должны были искренне презирать читателей Посторонняго сатирика не за его вражду къ Писареву, а за его пріемы и удручающую пустопорожность его произведеній. Но, снова повторяемъ, никто не думалъ, ни во время оно, ни позже, считать Антоновича вдохновляющей силой и призваннымъ выразителемъ чувствъ и идей своего поколѣнія. Самое большое—онъ сыгралъ роль случайнаго отрицательнаго момента для публицистовъ *Русскаго Слова*. Писаревъ совершенно затмевалъ его и во главѣ своей свиты превращалъ его въ столь же безнадежно слабаго сколь и неукротимо озлобленнаго личнаго ненавистника. И историку приходится всѣ идейныя и культурныя явленія эпохи группировать вокругъ личности и дѣятельности перваго критика *Русскаго Слова* и его считать такой же душой второго поколѣнія шестидесятниковъ, какою былъ Чернышевскій для перваго.

Эта историческая сила Писарева вырисовывается передъ нами во всемъ блескѣ, до послѣдней черты, когда мы сопоставимъ съ нигилистической публицистикой современную умѣренную критику. Она продолжала существовать среди бурнаго движенія новыхъ ученій, вела свои благонамѣренныя и благоразумныя бесѣды подъ громъ воинственнаго нигилистическаго краснорѣчія. По силѣ, таланту и эффекту ихъ нельзя и сравнивать съ радикальной публицистикой, но для насъ онѣ представляютъ большой историческій интересъ. Мы узнаемъ, какихъ бойцовъ выставила русская литература шестидесятыхъ годовъ противъ критиковъ-нигилистовъ и во имя какихъ принциповъ разсчитывали эти бойцы спасти искусство и прочія священныя преданія?

LIII.

Вражда къ молодому поколѣнію обнаружилась въ печати очень рано, съ самаго появленія Чернышевскаго. Повторилась исторія, напоминавшая ранній періодъ дѣятельности Бѣлинскаго, и въ еще болѣе рѣзкой формѣ. Благонамѣренныя изданія будто заболѣли особымъ душевнымъ недугомъ, принялись приписывать новоявленному литератору чуть ли не всѣ литературныя и общественныя

бѣдствія и *Современникъ* совѣтовалъ раздраженнымъ журналамъ завести даже особый отдѣлъ *Чернышевщина* [63]).

Такъ обстояло дѣло еще въ 1862 году. Что же предстояло перечувствовать «филистерамъ», когда на сцену выступили «реалисты», когда новая критика объявила слишкомъ осторожнымъ самого Чернышевскаго и слишкомъ эстетичнымъ Добролюбова? Не стало предѣловъ негодованію и враждѣ. «Молодое поколѣніе» превратилось въ насмѣшливое и презрительное наименованіе. Эти два слова покрывали собой всѣ умственные и нравственные недостатки, какіе только возможно человѣку обнаружить въ литературѣ. Во главѣ воюющихъ съ молодежью шла беллетристика. Она вооружилась желчной сатирой, не отступала предъ самыми мрачными преувеличеніями, совершенно утратила художественное спокойствіе и нерѣдко забывала даже литературное достоинство. Одинъ за другимъ появились романы *Марево*, *Некуда*, *Взбаломученное море*, и даже драма *Слово и дѣло* Ѳ. Устрялова. Всюду нигилисты подвергались безпощадной казни, представлялись героями крайняго нравственнаго извращенія и умственной ограниченности. Самымъ досаднымъ произведеніемъ для молодой партіи было, разумѣется, *Взбаломученное море*. Одинъ изъ первостепенныхъ художественныхъ талантовъ снисходилъ до уровня памфлетиста, откровенно сознавался въ своемъ глубокомъ возмущеніи противъ «слабоумныхъ юношей» и былое спокойствіе творческаго духа мѣнялъ на запальчивость фельетониста и каррикатуриста.

Эти произведенія и много другихъ печатались на страницахъ *Русскаго Вѣстника*, *Библіотеки для Чтенія*, *Эпохи*. Въ этотъ строй слѣдуетъ включить и *Отечественныя Записки*: онѣ осмѣлились привѣтствовать начало Клюшниковскаго романа и именно по поводу его укорить Некрасова, Островскаго, Салтыкова въ бѣдности содержанія ихъ произведеній и, наконецъ, Авдѣева поставить рядомъ съ Тургеневымъ [64]). Журналы брали на себя большую отвѣтственность.

Беллетристамъ было позволительно вдохновляться какими угодно жестокими настроеніями и безъ всякихъ общеубѣдительныхъ доказательствъ громоздить всевозможные ужасы на нигилистовъ. Даже Писемскій могъ пренаивно воображать, что онъ представитъ картину нравовъ одновременно и правдивую, и неполную, со-

---

[63]) *Современникъ*. 1862, апрѣль. *Внутр. обозрѣніе*, 296—7.

[64]) *Отеч. Записки*. 1864, февраль. *Литерат. лѣтопись*, 322—3.

беретъ *всю ложь Россіи* и все-таки останется художникомъ и бытописателемъ. И, конечно, иначе не могли думать о себѣ Стебницкій и Клюшниковъ. Ихъ можно было предоставить самимъ себѣ: какому же болѣе или менѣе вдумчивому и опытному читателю пришло бы въ голову по романамъ изучать современное общественное движеніе и изъ нихъ же черпать истины, способныя разсѣять нигилизмъ, какъ призракъ? Публицистикѣ и критикѣ предстояло оберечь оскорбляемыя святыни и выставить противъ отрицателей всю боевую умственную силу, какую только успѣли накопить здравомыслящіе и солидные люди.

И сила дѣйствительно была двинута. Она предъ нами во всей своей красѣ и стройности и мы легко можемъ сдѣлать сравнительную оцѣнку воюющихъ сторонъ. Она будетъ очень несложна: анти-нигилисты, большею частью, наши старые знакомые, а новыхъ бойцовъ можно оглядѣть до послѣдней черты однимъ взглядомъ.

Прежде всего критика *Отечественныхъ Записокъ*. По преданіямъ, журналъ долженъ занимать первое мѣсто среди либеральныхъ изданій: все-таки это—бывшее поприще Бѣлинскаго. Теперь онъ уже давно замѣненъ Дудышкинымъ—силой, хорошо намъ извѣстной. Рядомъ съ нимъ—Николай Соловьевъ. Онъ не портитъ общаго впечатлѣнія: человѣкъ грамотный, благонамѣренный, даже терпимый, но, прекрати онъ свою дѣятельность сегодня, завтра или десять лѣтъ спустя—врядъ ли кто особенно пожалѣетъ даже изъ постоянныхъ подписчиковъ журнала.

Онъ, напримѣръ, пишетъ обширную статью о диссертаціи Чернышевскаго. Онъ защищаетъ просвѣтительное и нравственно-совершенствующее значеніе искусства, художественной красоты, защищаетъ разумно, дѣльно, но совершенно въ томъ же тонѣ и съ такой же увлекательностью, какъ Стародумы старыхъ комедій доказывали достоинства добродѣтели и вредъ порока. Одновременно онъ сѣтуетъ на полемическій азартъ *Рускаго Слова* и *Современника*, и опять правильно, возражаетъ противъ теоріи исключительной пользы тоже основательно, доказываетъ еще разъ связь «нравственно-эстетическаго начала съ гуманнымъ» не безъ солидности, хотя и съ меньшей убѣдительностью: все, однимъ словомъ, благополучно. Заслуженные статскіе совѣтники, благорасположенные къ «здравымъ понятіямъ», могутъ съ истиннымъ удовольствіемъ прочитать размышленія умѣренно-либеральнаго эстетика и публициста. Они, несомнѣнно, будутъ привѣтств-

вать и ядовитыя замѣчанія журнала насчетъ подозрительной энциклопедической учености Писарева и Зайцева. Все въ порядкѣ, но нѣтъ одного, самаго существеннаго для писателя шестидесятыхъ годовъ: нѣтъ личной силы, нѣтъ способности захватить читателя *своей* идеей, приковать его вниманіе къ *своей* истинѣ и *своей* вѣрѣ, нѣтъ властнаго слова и нѣтъ, слѣдовательно, средствъ проникнуть умными разсужденіями до сердца читающаго и сдѣлать для него *своей* кровно дорогой только что доказанную мысль.

Отечественныя Записки съ особеннымъ усердіемъ слѣдятъ за излишествами нигилистическихъ органовъ, собираютъ перлы и адаманты въ статьяхъ Антоновича, Писарева, Зайцева, и достигаютъ, конечно, цѣли: перебранка журналистовъ производитъ отталкивающее впечатлѣніе и по статьямъ Антоновича дѣйствительно можно сдѣлать заключеніе: «задорный, ругательный, оскорбительный тонъ составляетъ все насущное содержаніе настоящаго русскаго скептицизма». Можно даже напечатать *Покорнѣйшую просьбу* провинціала, представителя «самаго брезгливаго народа» съ выдержками изъ произведенія Посторонняго сатирика и убѣдить публику, что подобная сатира способна «весь аппетитъ отшибить» [65]). Все это неопровержимо, но что же могли представить взамѣнъ сами *Отечественныя Записки*?

Въ отвѣтъ Аполлонъ Григорьевъ могъ указать истинное бревно въ глазу строгаго журнала,—бревно, какимъ не страдало *Русское Слово* и ни одинъ изъ его бранчивыхъ писателей,—бревно, вполнѣ достойное Посторонняго сатирика. Дѣлая указаніе, Григорьевъ мимоходомъ даетъ и общую оцѣнку критики *Отечественныхъ Записокъ*, очень вѣрную и остроумную.

Журналъ Краевскаго напечаталъ статью о Некрасовѣ. Статью писалъ, по мнѣнію Григорьева, критикъ опытный. Она не набрасывается безразлично на хорошее и дурное: «Нѣтъ, какъ воронъ падали, ищетъ она жолчныхъ пятенъ и тыкаетъ въ нихъ пальцемъ, по большей части справедливо». Но, спрашиваетъ Григорьевъ, «справедливъ ли весь духъ ея?..» [66]).

Для *Отечественныхъ Записокъ* самый ядовитый вопросъ. Отрицательный отвѣтъ не подлежитъ сомнѣнію. Умѣренный журналъ только пользовался благодарнымъ матеріаломъ для борьбы съ

---

[65]) *Отеч. Зап.* 1863, мартъ. *Нашъ скептицизмъ*, 56; 1864, сентябрь, 608.
[66]) *Время.* 1862, іюль.

нигилистами, самъ не давалъ ничего поучительнаго и литературно-достойнаго. Совершенно напротивъ. Тотъ же Григорьевъ по поводу отношенія журнала къ Некрасову имѣлъ всѣ основанія воскликнуть: «жалкій, больше позволю себѣ сказать—постыдный пріемъ!..»

Праведный гнѣвъ критика вызванъ злостными намеками *Отечественныхъ Записокъ* на корыстные разсчеты Некрасова, какъ обличительнаго поэта. И Григорьевъ—сотрудникъ *Времени*—вынужденъ защищать поэта отъ либеральныхъ инсинуацій! И какъ защищать! Со всѣмъ жаромъ и мужествомъ, какіе только таились въ груди искренняго и благороднаго писателя.

Могли ли послѣ этого *Отечественныя Записки* притязать на нравственное вліяніе, съ высоты недосягаемаго достоинства бросать камнями въ нигилизмъ?

Григорьевъ, несомнѣнно, имѣлъ это право, но мы знаемъ, какую безнадежную агонію переживалъ онъ въ эпоху развитія новаго направленія. Съ одной безупречностью намѣреній никакая борьба немыслима, да еще въ такое горячее воинственное время, а Григорьева переполняло отчаяніе, онъ ежеминутно или въ конецъ падалъ духомъ, или безсильно потрясалъ старымъ своимъ художественнымъ знаменемъ. Даже въ лагерѣ друзей на него смотрѣли, какъ на поконченнаго искусственно подогрѣвающаго себя инвалида и не всегда рѣшались показывать его публикѣ. Зайцеву ничего не стоило побѣдоносно высмѣивать часто совершенно невразумительные, странные вопли отживавшаго романтика и даже бывшіе товарищи критика, въ родѣ Алмазова, не отказывали себѣ въ дешовомъ удовольствіи поиздѣваться надъ «мрачнымъ» и «дикимъ» любителемъ парадоксовъ.

На смѣну Григорьеву выступилъ его почитатель и ученикъ молодой, широко образованный философъ, критикъ и естествоиспытатель Страховъ. Національная партія, удержавшая коекакія преданія московскаго славянофильства, но не дерзнувшая отринуть вмѣстѣ съ тѣмъ европейскую культуру и геній Петра, могла привѣтствовать въ немъ свою самую блестящую надежду. Онъ, несомнѣнно, зналъ больше ученыхъ нигилистическаго направленія, обнаруживалъ неоспоримый вкусъ къ дѣйствительно литературной полемикѣ и, что̀ особенно замѣчательно, не страдалъ, повидимому, партійной нетерпимостью. Такъ было, по крайней мѣрѣ, въ началѣ шестидесятыхъ годовъ.

Страховъ едва ли не единственный журналистъ пережилъ

очень идиллическія чувства, наблюдая современную полемику. «Въ настоящую минуту наша литература,—писалъ онъ въ 1861 году,— почти исключительно руководствуется благороднѣйшими чувствами», и находилъ только форму полемики дурной и безплодной, а сущность считалъ хорошей [67]). Читатели могли не совсѣмъ понимать, что значитъ *безплодная форма* и какъ эту безплодность примирить съ хорошей сущностью? Но примирительныя намѣренія автора несомнѣнны и онъ впослѣдствіи, повидимому, напрасно распространялся о своемъ «большомъ негодованіи» противъ нигилизма еще съ 1855 года [68]). Если таковое негодованіе и волновало автора, то онъ предпочиталъ его подавлять и выражать въ крайне мягкой рѣчи.

Даже больше. Страховъ, очевидно, заднимъ числомъ жестоко разсердился на нигилизмъ, а раньше онъ судилъ о нигилистахъ весьма снисходительно, почти съ уваженіемъ.

Въ томъ же журналѣ Достоевскаго онъ напечаталъ статью объ *Отцахъ и дѣтяхъ*, замѣчательную и по формѣ, и по сущности. Собственно оригинальныхъ идей въ статьѣ нѣтъ, но, при всеобщемъ переполохѣ по поводу романа, большой заслугой было уже трезвое и безпристрастное отношеніе къ его герою и автору. Страховъ очень искусно изобличаетъ всю безсмыслицу статьи Антоновича, бьетъ ослѣпшаго критика его же оружіемъ, доказываетъ, что удивительный философъ во всемъ своемъ разсужденіи излагаетъ именно принципы Базарова и его же стремится обвинить въ безпринципности. Это очень ловко, хотя, конечно, и не было особенной чести одолѣть подобнаго противника. Но достойно вниманія, что Страховъ первый поймалъ въ западню любителя устраивать западни для другихъ. Дальше слѣдовало лирическое изображеніе Базарова. Страховъ неопровержимо доказывалъ громадную силу героя, его величавость и даже привлекательность, больше—его способность и жгучее стремленіе любить людей. Естественно, критику открывался и глубокій смыслъ всей исторіи. Выражался этотъ смыслъ довольно неопредѣленно: надъ Базаровымъ торжествовала жизнь и она становилась выше его отвлеченныхъ формулъ. Критикъ могъ бы яснѣе выставить метафизическій и романтическій характеръ Базаровскаго отрицанія,

---

[67]) *Время*. 1861, августъ. *Нѣчто о полемикѣ*.

[68]) Предисловіе къ сборнику статей *Изъ исторіи литературнаго нигилизма*. Спб. 1890, IX.

и показать торжество органическихъ силъ дѣйствительности надъ силлогизмами и чистыми словами. Но достаточно и сказаннаго критикомъ: онъ понимаетъ героя и даже готовъ удивляться ему [69]).

Около года спустя Страховъ снова говорилъ о Тургеневѣ и въ такомъ же сердечномъ тонѣ. «Тургеневъ есть одинъ изъ людей, наиболѣе болѣющихъ своимъ вѣкомъ, онъ представитель одной изъ глубочайшихъ сторонъ нашей жизни» [70]). И авторъ видитъ въ писателѣ одновременно и любовь къ своимъ героямъ и неумолимый анализъ, неустанные и страстные поиски положительнаго могучаго идеала.

Такъ судилъ представитель національной идеи о Тургеневѣ въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, и судилъ не только объ отдѣльныхъ фактахъ, а пытался нарисовать цѣльную, въ высшей степени увлекательную личность, всю проникнутую стремленіемъ къ истинѣ, жаждой найти дѣйствительно сильнаго человѣка въ своемъ отечествѣ. И вотъ этотъ самый писатель, мученикъ идеала, пишетъ романъ *Дымъ*, сочиняетъ Потугина и его западническую исповѣдь... Мгновенно все перевернулось и замутилось въ глазахъ нашего критика. Тургеневъ теперь совсѣмъ другой человѣкъ и писатель. Онъ врагъ народническихъ и національныхъ вѣрованій, онъ—слѣпой идолослужитель Европы, оно всю русскую жизнь считаетъ дымомъ, онъ—самъ оторвавшійся отъ почвы!

Статью Страхова печатаютъ *Отечественныя Записки*, лишній разъ доказывая полную случайность и безпринципность своего міросозерцанія [71]). Для Страхова это начало цѣлой войны не только съ Тургеневымъ, но и со всѣми западниками, первѣе всего, конечно, съ Бѣлинскимъ и Добролюбовымъ.

Критикъ указываетъ на озлобленіе русской печати противъ Тургенева: по дѣломъ ему! Онъ «старался всячески дразнить общественное мнѣніе, дерзко касаться его любимыхъ идей и вкусовъ, дотрогиваться до самыхъ больныхъ и чувствительныхъ мѣстъ».

Съ какой цѣлью говорится это? Въ защиту Тургенева? Тогда почему же самъ критикъ съ такимъ негодованіемъ возсталъ на Тургенева за *Дымъ*, за поруху народности и патріотизму? Въ одобреніе критикамъ Тургенева? Тогда, что означало раннее восхва-

---

69) *Время*. 1862, апрѣль.
70) *Время*. 1863, февраль.
71) 1867, май.

леніе Тургенева, болѣющаго своимъ вѣкомъ? Приходится, повидимому, остановиться на перемѣнѣ чувствъ критика къ Тургеневу и вообще на переворотѣ во взглядахъ критика. Это ясно изъ его отзыва о Базаровѣ: нигилистъ, недавно почти воспѣтый, теперь оказывается зараженнымъ и гордостью, и самолюбіемъ, и цинизмомъ: все это должно было всѣхъ оттолкнуть отъ Базарова—и въ романѣ и потомъ въ критикѣ [72]).

Предъ нами будто два разныхъ человѣка съ одной и той же фамиліей—Страховъ или Косица. Такъ рѣшительна эволюція, точнѣе, революція мнѣній и впечатлѣній! И совершенно напрасно авторъ поспѣшилъ забѣжать впередъ и предупредить публику насчетъ своего самаго больного мѣста: «живость моихъ впечатлѣній не должна внушать мысли о какой-либо шаткости въ моихъ убѣжденіяхъ».

Увы! Впечатлѣнія критика на самомъ дѣлѣ не такъ живы, какъ шатки его убѣжденія. Возможна ли иначе такая безпощадность къ Тургеневу за то, что онъ открыто призналъ свое невольное сочувствіе Базарову и общность своихъ убѣжденій съ его убѣжденіями, кромѣ взглядовъ на искусство? Признаніе до глубины души возмутило критика. Почему? Вѣдь онъ раньше усматривалъ въ Базаровѣ даже высшую красоту человѣческой природы, т. е. неутолимую жажду любить другихъ, а теперь—горе Тургеневу: онъ *пестрый нигилистъ!*

Очевидно, вопросъ не въ живости впечатлѣній, а въ неустойчивости идей. Но критикъ не желаетъ вложить персты въ свою рану, онъ ищетъ вину въ другомъ, и, конечно, находитъ. Тургеневъ оказывается дважды преступенъ: во-первыхъ, западникъ, во-вторыхъ, не свободный художникъ, писатель, смутившійся предъ нападками журналовъ, «утратившій олимпійское спокойствіе, приличное художнику» онъ кончилъ тѣмъ, что воспѣлъ Соломина, и критику «невозможно было смотрѣть на это безъ горькаго чувства».

Вы спросите: почему же Тургеневу не воспѣть Соломина, если онъ искренне считалъ подобный типъ сильнымъ и прогрессивнымъ? Врядъ ли и самъ критикъ могъ бы отрицать силу за этимъ героемъ, разъ онъ призналъ ее за Базаровымъ. Неужели Тургеневу непремѣнно требовалось пойти въ кабалу къ нигилистамъ, чтобы Соломина предпочесть Сипягинымъ и Коломійцевымъ? Вѣдь тотъ же Тургеневъ не пощадилъ Нежданова тоже

---

[72]) *Заря.* 1869, декабрь; 1871, февраль.

нигилиста и даже Маркелова, человѣка не безъ извѣстной воли и характера, а увѣнчалъ именно Соломина. И мы, признавая незаконченность и блѣдность этой фигуры, не можемъ отказать художнику въ правильности взгляда и вкуса. Выходитъ, критикъ не счелъ нужнымъ вдуматься въ простѣйшій вопросъ и поторопился произнести приговоръ съ такой же опрометчивостью, съ какой онъ напалъ на Тургенева за Потугина. Страховъ—патріотъ и врагъ нигилистовъ—пересталъ быть безпристрастнымъ и осмотрительнымъ судьей и осудилъ себя на безвыходную сѣть противорѣчій и самопроверженій.

Она сплеталась иногда чрезвычайно быстро, на пространствѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Напримѣръ, Страховъ разсуждаетъ о бѣдности нашей литературы и одно изъ доказательствъ этой бѣдности видитъ въ легкомысленномъ невниманіи *славянофиловъ* къ русской литературѣ, въ ихъ высокомѣрномъ отношеніи къ ней. Они безпрестанно дѣлаютъ вылазки противъ Бѣлинскаго, явно усиливаются заклеймить его презрѣніемъ, а между тѣмъ его популярность растетъ съ каждымъ годомъ, его сочиненія—настольная книга воспитателей русскаго юношества. Можно ли отдѣлываться отъ такой силы пренебрежительными изреченіями? Не прямой ли долгъ хулителей взять на себя трудъ произнести надъ Бѣлинскимъ основательный и отчетливый судъ, опредѣлить его значеніе и уберечь другихъ отъ будто бы неосновательныхъ увлеченій его произведеніями?

Ничего подобнаго славянофилы не дѣлаютъ и ограничиваются крѣпкими словами въ то время, когда первый современный писатель Тургеневъ посвящаетъ *Отцовъ и дѣтей* памяти Бѣлинскаго [73]).

Все это очень дѣльно и убѣдительно, но въ томъ же самомъ году, какимъ помѣчена книга съ такими здравыми идеями, Бѣлинскій подвергается полному уничтоженію. За нимъ признается правильность только нѣкоторыхъ отдѣльныхъ сужденій, а вообще «онъ не завѣщалъ намъ мысли, которую слѣдовало бы развивать». И вся бѣда, по соображеніямъ Страхова, въ «злополучной теоріи прогресса». Она именно вызвала позднѣйшій разгромъ всѣхъ русскихъ поэтическихъ талантовъ.

Вы изумлены. Въ какую же теорію вѣруетъ самъ критикъ, ратуя за принципы и идеи? Вѣдь они же не представляютъ и

---

[73]) *Бѣдность нашей литературы.* Критич. и историч. очеркъ. Спб. 1868. 5—11.

не могутъ представлять неподвижнаго преданія, въ родѣ какого-нибудь восточнаго вѣроученія. Критику дорогъ принципъ національности, но безъ идеи прогресса это принципъ китаизма, т. е политическаго и культурнаго окостенѣнія націи.

Дальше еще страннѣе. Добролюбовъ, оказывается, въ качествѣ западника *перетолковалъ на свой ладъ* Островскаго и его статья *Темное царство*, слѣдовательно, извращеніе смысла пьесъ и характеровъ. Мы знаемъ, это идея Григорьева, и насколько она основательна—извѣстно всякому, читавшему Островскаго и Добролюбова.

Но Страховъ теперь вообще желаетъ быть продолжателемъ Григорьева, «нашего единственнаго критика». Приблизительно въ такомъ же смыслѣ и Григорьевъ полагалъ о Страховѣ: это почтенно съ точки зрѣнія дружеской вѣрности и горячности. Но, къ сожалѣнію, взаимныя чувства критиковъ совершенно безразличны и безплодны для успѣховъ русской критики. Принципъ національности въ художественномъ творчествѣ Бѣлинскій защищалъ не менѣе настойчиво, чѣмъ наши друзья; онъ только не дошелъ до мысли, чтобы русскій національный идеалъ могъ быть сполна воплощенъ въ типѣ смиреннаго и простого героя, въ родѣ Пушкинскаго Бѣлкина или Толстовскаго Каратаева. Отвергать безцѣльный блескъ и трескъ громкаго и хищнаго героизма не значитъ непремѣнно искать спасенія въ смиреніи и младенческомъ незлобіи духа. Напримѣръ, Страховъ раньше видѣлъ въ Базаровѣ настоящаго русскаго человѣка; что же общаго между нимъ и юродцами гр. Толстого? Должно быть, весьма мало и, вѣроятно, по этой причинѣ Страховъ съ такимъ усердіемъ принялся развѣнчивать Базарова, постигнувъ національныя достоинства Каратаева. Не противорѣчила этому усердію и вражда къ западническому ученію о прогрессѣ: съ Каратаевымъ, конечно, нечего опасаться никакихъ, не только прогрессивныхъ идей, а вообще культурной, умственной и практической дѣятельности. И Страховъ сосредоточилъ живость своихъ впечатлѣній на толстовскомъ культѣ простоты и смиренномудрія.

При такихъ убѣжденіяхъ не могло быть и рѣчи не только о критикѣ, а даже о болѣе или менѣе толковомъ пониманіи современныхъ, литературныхъ и общественныхъ явленій, и Страховъ самъ себя вычеркнулъ изъ русской жизнедѣятельной и умственно-просвѣтительной публицистики.

LIV.

Съ другими представителями умѣреннаго образа мыслей не происходило и такихъ колебаній, какія пережилъ другъ Аполлона Григорьева. Они простодушнѣйшимъ образомъ не постигали того, чтò совершалось вокругъ, чѣмъ волновалась современная молодежь, къ чему стремилась и почему впадала въ заблужденія. Происходило что-то дикое, невразумительное, будто цѣлое поколѣніе впало въ острое умопомѣшательство, совершенно внезапно, и нѣтъ даже способовъ не только лѣчить больныхъ, а даже разговаривать съ ними на человѣческомъ языкѣ. И новые люди обладали, повидимому, способностью вызывать сильныя отрицательныя чувства даже въ сравнительно кроткихъ и терпимыхъ сердцахъ. Время преобразовывало снисходительность въ ожесточенную злобу, желаніе вглядѣться и понять, въ жажду устранить и уничтожить. Это доказывало прежде всего непрестанно выроставшую силу молодой критики и безсиліе «отцовъ» бороться съ ней предъ публикой ея же средствами, т. е. идеями и талантомъ.

Любопытный примѣръ—профессоръ и либеральный журналистъ Никитенко. Онъ было встрѣтилъ молодое направленіе литературы довольно благосклонно, напечаталъ о немъ статью самаго отечèскаго содержанія. Правда, онъ не одобрялъ малой образованности юныхъ критиковъ, указывалъ на туманы умозрѣній и доктринъ, но выражалъ твердую надежду на исправленіе и торжество здраваго русскаго смысла. Молодежь еще послужитъ родинѣ «со всѣмъ жаромъ своего благороднаго сердца и всею мыслью своего даровитаго ума» [74]).

Едва прошелъ годъ, настроенія благодушнаго отца рѣзко измѣнились. Онъ привѣтствуетъ предостереженіе *Современнику* за *косвенное* и прямое порицаніе началъ собственности. Никитенко напоминаетъ, что онъ врагъ современныхъ законовъ о печати, но не будетъ сочувствовать *Русскому Слову* и *Современнику* даже въ случаѣ ихъ гибели. Журналы эти печатаютъ вещи «непозволительныя», «если не допустить у насъ безусловной свободы печати», прибавляетъ либеральный цензоръ [75]).

Слѣдовательно, при свободѣ печати молодые журналы не были бы преступны и Никитенко готовъ одобрить стѣснительный по-

---

[74]) *Сѣверная Почта*. 1864, № 20.
[75]) *Записки*, 12 ноября 1865, III, 59.

рядокъ именно ради нихъ. Это уже не борьба поколѣній, какъ двухъ культурныхъ силъ, это вражда и военное положеніе, не различающее средствъ уничтоженія врага.

Чувство слѣпой вражды или безнадежное непониманіе самой сущности явленій ярко блещутъ на страницахъ лучшихъ современныхъ журналовъ умѣреннаго образа мыслей—*Русскаго Вѣстника* и *Библіотеки для Чтенія*. Публицистика Каткова и Никиты Безрылова разъ навсегда вполнѣ точно опредѣлила отношенія «отцовъ» либеральной журналистики къ радикальнымъ дѣтямъ. *Взбаломученное море*, при всей грубости и наивности полемическихъ пріемовъ, превосходно отражало духъ этихъ отношеній, и статьи Каткова ничѣмъ не отличались по существу отъ непосредственно полемическихъ выходокъ романиста въ самомъ романѣ противъ его же героевъ и героинь. Разница только въ одномъ. Никита Безрыловъ велъ жестокую войну противъ воскресныхъ школъ, женскаго вопроса, безсознательно давая оружіе завѣдомымъ врагамъ всякой свободной мысли и новаго общественнаго движенія, Катковъ вполнѣ разсчитанно, по всѣмъ правиламъ политики и стратегіи, шелъ къ той же цѣли. Въ соотвѣтствіи съ идеями издателей должны были дѣйствовать и критики. Мы знаемъ ихъ—Анненковъ и Дружининъ.

Ни одинъ изъ нихъ не могъ обнаружить страсти и гнѣва, оба люди мирные, кроткіе, въ сильной степени безличные. Про нихъ нигилисты очень метко выражались: они *паслись* на зеленыхъ лугахъ *Русскаго Вѣстника* или *Библіотеки для Чтенія*. Именно паслись, и по временамъ протестующе мычали и ворчали.

Анненковъ и съ наступленіемъ нигилистической эпохи не сталъ вразумительнѣе и удобочитаемѣе, Дружининъ — оригинальнѣе и глубже. Правда, Анненковъ — этотъ богоспасаемый эстетикъ и блаженный любитель чистаго художества, сталъ толковать объ общественныхъ вопросахъ по поводу *Дворянскаго гнѣзда*, заявлять. что «задача романа — показать читателю, куда должны обращаться его симпатіи». Онъ дошелъ даже до энергичной критики на педагогическую мудрость гр. Толстого и высказалъ дѣльную истину: «на порядочной литературѣ лежитъ обязанность не только передавать явленія съ извѣстной теплотой и живостью, но еще отыскивать, какое мѣсто они занимаютъ въ ряду другихъ

---

[76]) *Воспом. и критич. очерки*. III, 182. Статья о *Тысячѣ душъ* въ «Атенеѣ», 1859, № 2.

явленій и какъ относятся къ высшему представленію ихъ самихъ, къ своему нравственному и просвѣтительному типу» [77]).

Но какъ далеко отъ этихъ умныхъ соображеній до всесторонняго проникновенія въ смыслъ современной литературы! Анненковъ хвалитъ Тургенева за чуткое пониманіе «невидимыхъ струй и теченій общественной мысли», но самъ совершенно не понимаетъ самой видимой и мощной струи—Базарова. Для него нигилистъ тождественъ съ Обломовымъ: оба они обладаютъ душевнымъ спокойствіемъ, невозмутимой чистотой совѣсти, твердыми правилами и оба—*наслаждаются* жизнью. Мало этого: у обоихъ героевъ даже одинаковый скептицизмъ по отношенію къ жизни... И нигилизмъ ничто иное, какъ воскресшая обломовщина [78]).

Весьма оригинально, но любопытно знать, за что же такъ ненавидѣлъ нигилистовъ редакторъ Анненкова и почему, напримѣръ, даже рыцарственный Григорьевъ питалъ сердечную нѣжность къ Обломову и бранился именами новыхъ людей? Только въ шутку или съ цѣлью сдѣлать блистательный salto mortale въ зайцевскомъ духѣ, можно было изобрѣтать подобныя сравненія: у Анненкова они серьезны, потому что серьозно его полное и неизмѣнное непониманіе предмета.

Еще менѣе былъ приспособленъ къ пониманію движенія шестидесятыхъ годовъ Дружининъ. Что общаго между беззаботной веселостью, двусмысленными приключеніями, шаловливыми анекдотами Чернокнижникова и задачами молодого поколѣнія? Пожалуй, даже Павелъ Петровичъ Кирсановъ скорѣе могъ бы освоиться съ обязанностью поглубже вдуматься въ нигилизмъ Базарова, чѣмъ талантливый фельетонистъ для дамъ.

Раньше онъ защищалъ дамскіе жизнерадостные запросы къ литературѣ, дамскую любовь къ симпатичнымъ героямъ и утѣшительнымъ повѣстямъ, теперь онъ прикидываетъ ту же дамскую мѣрку къ популярнѣйшимъ явленіямъ литературы. Толкуя о поэзіи Некрасова, онъ не забываетъ внушить читателю: «для женщинъ, съ ихъ весьма разумнымъ и совершенно понятнымъ стремленіямъ къ міру симпатическихъ явленій нашего міра, эта поэзія или непонятна, или даже возмутительна».

Неопровержимый поводъ и для самаго критика искать всюду забавнаго и симпатичнаго! Дружининъ желаетъ «хохотать чи-

[77]) III, 293. *Русская беллетристика въ 1863 году.*

[78]) III, 220. *Русскій Вѣстникъ*. 1859. № 16; 248—9. Ст. о Помяловскомъ. 1863 года.

стѣйшимъ веселымъ смѣхомъ» надъ комедіями Островскаго и не видѣть въ нихъ «никакой печальной подкладки», приходить въ жестокое негодованіе отъ «зловонныхъ паровъ» обличительной литературы, воспроизводить восторги славянофильствовавшаго *Москвитянина* предъ добротой національнаго героя — Обломова. Естественно, Бѣлинскаго критикъ признаетъ до такого же періода, какой былъ намѣченъ Григорьевымъ, т. е. Бѣлинскаго, поэта, защитника Гёте, врага Менцеля и дидактической критики, однимъ словомъ, по толкованію этихъ поклонниковъ великаго критика, Бѣлинскаго-эстетика. Измѣну чистому искусству со стороны Бѣлинскаго Дружининъ приписываетъ какимъ-то внѣшнимъ вліяніямъ и внушеніямъ «чужихъ людей». Такъ, по представленію сотрудника *Отечественныхъ Записокъ* и редактора *Библіотеки для Чтенія*, безпомощенъ былъ Бѣлинскій: кто-нубудь непремѣнно долженъ его обучать или философіи Гегеля, или скрежету зубовному [79])!

Какой судъ могъ произносить подобный мыслитель надъ литературой шестидесятыхъ годовъ? Даже Анненковъ, сравнительно съ этимъ судьей, человѣкъ очень рѣшительный и передовой. Онъ, напримѣръ, не видѣлъ, чтобы талантъ Тургенева падалъ и унижался отъ интереса автора современной дѣйствительностью, не могъ допустить и мысли, чтобы сатира въ русской литературѣ была явленіе временное, второстепенное и уже болѣе ненужное, а что необходимы только эпикурейскія наслажденія яснымъ и чистымъ искусствомъ [80])! По истинѣ пажескій взглядъ на *вѣчное* въ литературѣ, и—когда и по какимъ поводамъ?..

Мы понимаемъ, почему *Библіотека для Чтенія* быстро захирѣла при такомъ редакторѣ, почему сотрудничество и товарищество Писемскаго не могло остановить разложенія журнала. Онъ былъ *безразличенъ*, какъ органъ печати. Въ немъ не видѣлось идейной личности, не жило никакой волнующей общественой страсти, онъ не могъ научить читателей ничему нужному и важному, не могъ или не хотѣлъ понять даже чужихъ ученій и упорно стремился занять положеніе брюзгливаго, никѣмъ не уважаемаго и лишь кое-кому досаднаго надзирателя за чужой нравственностью и чужимъ легкомысліемъ. И онъ не представлялъ ни малѣйшей опасности для нигилистовъ и разрушителей: они только могли быть

---

[79]) *Сочиненія*. VII, 488, 566, 600, 514, 636—8.
[80]) *Ib.* 294, 477—8.

благодарны ему за обильный матеріалъ для смѣха и, если молодежь желала, для гнѣва и сатиры.

Не были опасны и другіе. Сильнѣйшій между ними—*Русскій Вѣстникъ*—до такой степени поражалъ читателей пестротой своихъ публицистическихъ упражненій или такъ беззастѣнчиво поворачивалъ вправо, что даже писатели, имъ вскорѣ признанные и увѣнчанные, изобличали его въ «измѣнчивости» и въ обскурантизмѣ. Страховъ пространно доказывалъ отсутствіе ясныхъ убѣжденій у московскаго «олимпійца», Аксаковскій *День* ловилъ его на фактахъ, а Страховъ, кромѣ того, произносилъ уничтожающій приговоръ даже публицистическому таланту Каткова.

Неограниченно притязательный хозяинъ *Русскаго Вѣстника* умѣлъ отличаться однимъ лишь искусствомъ: принимать догматическій тонъ, уклоняться отъ обсужденія вопросовъ по существу, не понимать своихъ противниковъ и клеймить их высокомѣрнымъ презрѣніемъ. Если пріемъ не удавался, вопросы просто замазывались и объявлялись не существующими. И у Страхова не было недостатка въ примѣрахъ изумительной невѣжественности публицистики катковскихъ органовъ, особенно по вопросу о классическомъ и естественномъ образованіи. Именно здѣсь Катковъ подвизался съ особенной отвагой и именно здѣсь наговорилъ множество чисто-школьническихъ нелѣпостей. Даже Страховъ могъ достигать истиннаго остроумія, критикуя «презабавныя страницы» московскихъ классиковъ объ естествознаніи. Классики обнаруживали младенческое непониманіе предмета — до такой степени радикальное, что благонамѣренный и вѣжливый критикъ рѣшилъ обозвать ихъ «отчаянными нигилистами». Они осмѣлились отвергнуть самую возможность преподаванія естественныхъ наукъ дѣтямъ, т. е. фактъ всѣмъ извѣстный изъ германской педагогической теоріи и практики. Они вообразили, будто для описательныхъ частей естественныхъ наукъ нужны физическія и химическія свѣдѣнія, т. е. обнаружили полное невѣдѣніе методовъ естествознанія... И они же защищаютъ классическую систему, потому что она существуетъ на Западѣ! [81])

Какое траги-комическое положеніе! Катковъ, такой громкій патріотъ, и не додумался до простѣйшей мысли: Западная Европа гораздо ближе Россіи къ древнему міру, латинскій языкъ, напри-

---

[81]) *Библіотека для Чтенія*. 1863, іюль. *Нѣчто о Русскомъ Вѣстникѣ*, октябрь. *Споръ объ общемъ образованіи*. Статья за подписью Н. Нелишко

мѣръ, тамъ языкъ церкви, можно ли намъ, русскимъ, усвоивать невозбранно всю школьную систему Запада? Не очевидно ли, намъ необходима собственная точка опоры, собственная руководящая нить. А еще Катковъ такой англоманъ и не усвоилъ основной англійской культурной идеи: самобытность и свободу національнаго развитія.

Впрочемъ, развѣ можно требовать послѣдовательности отъ столь ученаго и убѣжденнаго политика? Онъ, напримѣръ, еще въ самомъ началѣ шестидесятыхъ годовъ поднялъ вопль противъ умственнаго пролетаріата, т. е. противъ наплыва бѣдныхъ людей въ университеты... Даже *Отечественныя Записки* припомнили Каткову, что вѣдь онъ былъ когда-то профессоромъ университета и передовымъ человѣкомъ... Наивное напоминаніе! Будто какое бы то ни было *билъ* къ чему-либо обязываетъ, и потомъ, всякіе бываютъ способы казаться передовымъ, и ихъ очень много зналъ московскій публицистъ, одновременно политикъ англійской складки и патріотъ московскаго духа.

Такъ обстояло дѣло еще въ 1862 году; очевидно, путь лежалъ прямой и ясный. И еще очевиднѣе было, что не на этомъ пути можно уничтожить нигилизмъ въ глазахъ общества и одержать дѣйствительно идейную побѣду надъ легкомысленной и злокозненной молодежью. Догматизмъ Каткова черпалъ свой авторитетъ въ единственномъ источникѣ: въ усиленномъ запугиваніи публики. Испуганный человѣкъ, какъ извѣстно, не способенъ вникать въ свои и чужія мысли и крайне легко поддается какимъ угодно призракамъ разсудка и дѣйствительности. Катковъ отлично зналъ эту психологію, и собиралъ обильную жатву.

Но эти успѣхи отнюдь не лишали нигилистическую печать читателей и поклонниковъ уже потому, что гнѣвъ и страсть Каткова даже просто безпристрастнымъ людямъ не внушали довѣрія и почтенія, и чѣмъ дальше, тѣмъ меньше. Смертная бѣда на новыхъ людей пришла не извнѣ, а возникла и развилась въ ихъ собственной средѣ, даже не возникла, а существовала съ самаго начала *дѣтскаго* періода шестидесятыхъ годовъ, т. е. послѣ смерти Добролюбова и устраненія Чернышевскаго. Въ содержаніи самихъ идей этого періода заключался зародышъ разложенія и гибели, и онѣ уже достигли рокового предѣла раньше, чѣмъ разразилась внѣшняя гроза.

LV.

Лѣтомъ въ 1866 году *Современникъ* и *Русское Слово* были закрыты. Общество, по свидѣтельству лица несочувствующаго, встрѣтило распоряженіе правительства съ единодушнымъ недовольствомъ. Доказательство, что либеральная и всякая другая печать нисколько не подорвала популярности нигилистическихъ журналовъ и не достигла бы цѣли, вѣроятно, еще очень долго. Но въ нѣдрахъ самихъ редакцій уже совершался процессъ, въ высшей степени знаменательный.

Предъ нами будто отраженіе исторіи Базарова. Тургеневскаго героя настигаетъ смерть при крайнемъ напряженіи его нравственныхъ силъ, при мучительномъ душевномъ разладѣ. Онъ успѣваетъ впасть въ пессимизмъ, разочарованіе, снизойти даже до резонерства и романтическихъ жестокихъ настроеній. Онъ говоритъ общими мѣстами, имъ овладѣваетъ чувство безпредметной злобы. Онъ будто перестаетъ знать, куда дѣвать себя, и не видитъ смысла въ дальнѣйшей жизненной комедіи.

Нѣчто подобное совершается въ нигилистическомъ мірѣ предъ гибелью его органовъ. Одинъ изъ первостепенныхъ его вдохновителей—Благосвѣтловъ—обнаружилъ эволюцію, явно противорѣчившую основнымъ символамъ направленія. По свидѣтельству Шелгунова, онъ постепенно превратился въ хозяина-буржуа, сталъ угнетать своимъ деспотизмомъ сотрудниковъ, рабочихъ по типографіи. *Двойственность* немедленно отразилась и на журналѣ. Благосвѣтловъ, стяжавшій богатство, началъ обижаться статьями объ эксплуатаціи, всякой защитой тружениковъ и мужиковъ. Статьи онъ печаталъ, но будто считалъ ихъ укоромъ себѣ и былъ бы очень доволенъ, если бы сотрудники не касались подобныхъ вопросовъ. Не къ лицу было ратовать за пролетарія нигилисту, жившему въ роскоши, имѣвшему дома, имѣніе, собственную карету и даже негра-лакея.

Естественно, столь неидейное превращеніе внесло разладъ въ среду сотрудниковъ журнала. Писаревъ отзывался о Благосвѣтловѣ съ явнымъ презрѣніемъ, не оставался въ долгу и Благосвѣтловъ. Наконецъ, зимой 1865 года Писаревъ и Зайцевъ рѣшили устроить coup d'état, смѣстить Благосвѣтлова и вмѣстѣ съ Шелгуновымъ взять въ свои руки журналъ. Шелгуновъ обращаетъ вниманіе, что въ это же время такой же разладъ происходилъ и въ *Современникѣ:* тамъ сотрудники также намѣревались

устранить Некрасова... «Разладъ и разъединеніе,—заканчиваетъ разсказчикъ,—чувствовались вездѣ и во всемъ...»

Это—неизмѣримо важнѣе всякой внѣшней вражды. Благосвѣтловъ, занимая центръ смутныхъ происшествій, писалъ: «Плохо наше молодое поколѣніе»... Какъ возликовалъ бы Катковъ, услышавъ этотъ приговоръ!

Но ликованіе вышло бы опрометчивымъ. Благосвѣтлову было позволительно негодовать на «молодое поколѣніе»: лучшіе его представители переставали его уважать и слѣдовать за нимъ. На самомъ дѣлѣ поколѣніе считало въ своей средѣ людей рѣдкой энергіи и талантливости, и именно они создали благополучіе Благосвѣтлова. Безъ нихъ, т. е. безъ работы Писарева, Зайцева и другихъ, онъ не былъ бы издателемъ популярнѣйшаго журнала своего времени и не ѣздилъ бы въ каретахъ. Очевидно въ молодомъ поколѣніи была сила—именно сила *свободнаго и убѣжденнаго слова*. Она чарующе дѣйствовала на молодежь, она захватывала и подчиняла все, умѣвшее желать и стремиться, она, заключавшаяся только въ *словѣ*, самыми своими крайностями возбуждала нравственную энергію у людей, обдѣленныхъ положеніемъ, званіемъ и всякими другими привилегированными благами. И мы, осуждая «перлы и адаманты» журнальной полемики шестидесятыхъ годовъ, не должны забывать, какое впечатлѣніе должна была производить независимая страстная рѣчь человѣка съ однимъ литературнымъ именемъ на среду, еще вчера крѣпостническую и чиновническую. Да, здѣсь была сила, и весьма значительная.

Но была и слабость, было плохое, по своимъ отрицательнымъ качествамъ, не уступавшее достоинствамъ силы.

Не представляло непоправимаго несчастія превращеніе Благосвѣтлова въ буржуа и капиталиста: блескъ *Русскаго Слова* не имъ создавался. Онъ весьма многое внушилъ своимъ сотрудникамъ, но всѣ внушенія уже были усвоены, Писаревъ и Зайцевъ закончили кругъ своего развитія и могли дѣйствовать безъ руководителя и наставника,—*Русское Слово* и безъ Благосвѣтлова осталось бы на прежнемъ уровнѣ талантливости и занимательности для своей публики.

Такъ слѣдовало бы предполагать, и такъ думали сами Писаревъ и Зайцевъ. На самомъ дѣлѣ эти думы свидѣтельствовали только о печальнѣйшемъ заблужденіи и самообольщеніи друзей.

Мы только что сказали: «закончили кругъ своего развитія»;

это жестокая, въ полномъ смыслѣ трагическая правда о молодыхъ талантахъ. Писаревъ и Зайцевъ успѣли истощить всѣ свои идеи, еще до разлада съ Благосвѣтловымъ. Недаромъ Зайцевъ утверждалъ, что уже въ тридцать лѣтъ человѣкъ «перестаетъ развиваться». Чисто-нигилистическая психологія! Она могла утѣшать двадцати-пяти-лѣтнихъ героевъ и снабжать ихъ даже «научнымъ» презрѣніемъ къ менѣе молодымъ ученымъ, но она въ то же время доказывала, какъ наивно, дѣтски-самонадѣянно представлялась юнымъ героямъ самая идея развитія и какъ просто, въ порывѣ горячаго воображенія, давался имъ какой угодно прогрессъ и какая угодно истина.

И истины имъ дѣйствительно давались легко,—легче, чѣмъ какому бы то ни было другому русскому поколѣнію. Въ философіи матеріализмъ освободилъ ихъ отъ труднѣйшихъ задачъ психологіи, нравственности и даже естествознанія, въ искусствѣ—отрицаніе художественнаго творчества, и чувства—избавило ихъ отъ необходимости «изучать» художниковъ, ихъ психологію, ихъ личности и ихъ произведенія. Такое развитіе, несомнѣнно, чрезвычайно просто и постигнуть его можно даже и до пятнадцати-лѣтняго возраста.

Но, къ сожалѣнію, отрицать не всегда значитъ уничтожать: психологія и искусство не только продолжали существовать послѣ *Антропологическаго принципа* и *Разрушенія эстетики*, но создали лучшія страницы въ произведеніяхъ самихъ отрицателей. Не помогли накакія заклинанія: Тургеневъ художникъ становился драгоцѣннѣйшимъ учителемъ гонителей художества и даже вызывалъ среди нихъ непримиримыя междоусобицы.

Очевидно, путь былъ взятъ ложный и на столько кривой, что по немъ даже оказалось невозможнымъ идти при самомъ искреннемъ желаніи.

Это понимали шестидесятники-отцы. Они умѣли быть благодарными художественному творчеству и въ высшей степени искусно пользоваться имъ для своихъ просвѣтительныхъ цѣлей. Они и оставили незабвенные завѣты русской критикѣ. Они закончили ея теорію вполнѣ послѣдовательно и навсегда непоколебимо.

Къ этой теоріи стремилась русская литература съ своихъ первыхъ шаговъ, она всегда и при всякихъ условіяхъ желала быть нужной и важной, правдивой и поучительной. На сколько она вдохновлялась національнымъ духомъ, оставалась свободной отъ чуждыхъ ей теорій и руководствъ,—она достигала этой цѣли.

Она искренне и честно воспроизводила жизнь и была незамѣнимо полезна жизни. Она сливала въ себѣ двѣ основныхъ стихіи вѣчнаго художественнаго творчества: реализмъ и идеализмъ. Она не извращала дѣйствительности въ угоду искусственно-развитому вкусу, и не забывала высшихъ нравственныхъ задачъ писательскаго слова. Она—въ лицѣ своихъ великихъ дѣлателей—была одновременно и наукой, и моралью, независимо отъ тенденцій и эстетическихъ школъ. Жгучая, до болѣзненности напряженная мечта Гоголя—*послужить своей родинѣ на поприщѣ писателя*—основная, истинно-національная задача всякаго русскаго художественнаго дарованія. И она должна была сообщить опредѣленный характеръ и русской критикѣ, вызвать къ жизни особый національный типъ русскаго эстетика.

Онъ съ самаго начала явился политикомъ, моралистомъ, философомъ и менѣе всего эстетикомъ въ западно-европейскомъ смыслѣ слова. Таковымъ онъ выступалъ на сцену только въ ненаціональные періоды русской литературы. Тогда и творческимъ, и умственнымъ силамъ приходилось бороться съ теоретическимъ насиліемъ, съ большими усиліями сбрасывать цѣпи и путы эстетической системы. Исходъ борьбы не подлежалъ ни малѣйшему сомнѣнію, если только въ нравственный міръ русскаго народа дѣйствительно входилъ свободный творческій геній. Кратковременная, но по истинѣ блестящая исторія литературы разрѣшила вопросъ положительно и заставила даже западные народы признать силу и оригинальность рѣшенія.

Наравнѣ съ геніальными художниками русская литература выработала также типъ національнаго критика. Работа въ этомъ направленіи шла гораздо медленнѣе—согласно психологическому закону: самопознаніе—высшій актъ духовной дѣятельности. Отдѣльныя черты типа стали обнаруживаться очень рано: публицистика съ самаго начала завладѣла критикой, но одного публицистическаго дарованія не достаточно для писателя, призваннаго судить и истолковывать произведенія искусства.

Русская литература въ области творчества высшій идеалъ явила въ лицѣ художника мыслителя, поэта-гражданина; этимъ самымъ она опредѣлила и совершенный типъ критика-мыслителя, одареннаго глубокимъ художественнымъ чувствомъ, музыкальной отзывчивостью на непосредственную, жизненную красоту искусства.

И первымъ такимъ критикомъ былъ Бѣлинскій и онъ на-

всегда останется образцомъ національнаго русскаго критика. Это не значитъ, будто въ дѣятельности Бѣлинскаго нѣтъ ни единаго пробѣла и недостатка и будто онъ, какъ писатель, высшій идеалъ для своихъ наслѣдниковъ. Это было бы невѣроятно и исторически немыслимо. Дѣйствительность дореформенной Россіи не могла не оказать печальныхъ вліяній на судьбу какого угодно генія, и Бѣлинскій, можетъ быть, единственный по даровитости среди всѣхъ европейскихъ критиковъ, стоитъ позади многихъ по образованности, т. е. по количеству свѣдѣній. Исключительными усиліями доставались русскому писателю тѣ самыя сокровища науки и цивилизаціи, какія находились въ полномъ распоряженіи у всякаго культурнаго европейца. Отсюда продолжительныя мучительныя исканія истинъ, при другихъ общественныхъ условіяхъ доступныхъ безъ всякаго труда, въ силу общаго высокаго уровня образованности и просвѣщенія. Отсюда истинно подвижническій путь, требовавшій часто сверхчеловѣческой нравственной выносливости и преждевременно оборвавшій страстную вдохновенную дѣятельность. И дѣло Бѣлинскаго осталось незаконченнымъ, его великое дарованіе не имѣло должнаго простора и не получило сполна необходимаго оружія отъ современной науки, но какъ личность и какъ писатель онъ останется въ исторіи русской культуры идеальнымъ типомъ критика, мыслителя-художника, идеалиста-практика, и каждая новая прогрессивная эпоха русской національной общественной мысли будетъ вспоминать о немъ, какъ о своемъ предшественникѣ и учителѣ.

Это осуществилось въ первую же такую эпоху—въ шестидесятые годы. Она начала съ усвоенія завѣтовъ Бѣлинскаго, съ распространенія и развитія его идей, она, подобно ему, также стремилась учить и просвѣщать общество путемъ истолкованія произведеній искусства. И тамъ, гдѣ она шла путемъ Бѣлинскаго, тамъ ея дѣятельность положительное достояніе русскаго самосознанія, прочныя основы его дальнѣйшему движенію. Чернышевскій, какъ положительный мыслитель безъ матеріалистическихъ увлеченій, и Добролюбовъ, какъ реальный эстетикъ, какъ истолкователь общественнаго и нравственнаго содержанія и смысла художественнаго творчества, прямые историческіе наслѣдники Бѣлинскаго.

Но тоже стремленіе учить и самымъ прямымъ путемъ достигнуть возможнаго развитія и яснаго пониманія вещей увлекло младшихъ дѣятелей эпохи за предѣлы науки и разума. Мы го-

ворили о логической правоспособности радикализма, мы не можемъ отрицать и исторической основы явленія. Всѣ крайнія, совершенно нереальныя и практически безцѣльныя теоріи Писарева и его единомышленниковъ исторически связаны съ исконнымъ основнымъ принципомъ русской писательской природы учить и развивать. Историческія судьбы русскаго народа этотъ принципъ возвели на степень идеальнаго гражданскаго призванія и неотъемлемаго нравственнаго долга. И новые люди загорѣлись страстью немедленно нѣсколькими идеями и статьями возместить для русскаго общества десятилѣтія умственной косности и гражданскаго рабства. Все должно служить задачамъ обученія и развитія: недаромъ первоучитель такъ восторженно воспѣвалъ въ своемъ романѣ именно развитіе и показывалъ новыхъ людей, ставшихъ новыми въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, послѣ умныхъ бесѣдъ и дѣльныхъ книгъ. Самъ Рахметовъ чрезвычайно просто изъ обыкновеннаго хорошаго гимназиста превратился въ «особеннаго человѣка». Сначала познакомился съ умной головой, съ Кирсановымъ, послушалъ его въ теченіе вечера, плакалъ, восклицалъ, по его совѣту накупилъ книгъ, читалъ безъ перерыва 82 часа, потомъ проспалъ на полу часовъ 15. «Черезъ недѣлю онъ пришелъ къ Кирсанову, потребовалъ указаній на новыя книги, объясненій, подружился съ нимъ, потомъ черезъ недѣлю подружился съ Лопуховымъ, черезъ полгода, хоть ему было только 17 лѣтъ, а имъ ужъ по 21 году, они уже не считали его молодымъ человѣкомъ сравнительно съ собою, и ужъ онъ былъ особеннымъ человѣкомъ».

Соблазнительнѣйшая и, главное, какая простая исторія! И ее, то именно задались цѣлью осуществить молодые читатели *Что дѣлать?* на своихъ читателяхъ. Было ли здѣсь время изучать и разбирать художественныя, да и всякія другія произведенія? Успѣть бы только нажить фактовъ, «явленій жизни»! И, естественно, искусство во всей своей сложности и глубинѣ отошло совсѣмъ на заднiй планъ и уступило мѣсто конспектамъ, программамъ, обозрѣніямъ и неугомонной войнѣ за всѣ эти конспекты и программы. Во имя фактовъ былъ устраненъ величайшій фактъ, во имя развитія нанесенъ ударъ могучему орудію цивилизаціи и просвѣщенія, во имя реализма разрушена цѣльность естественной человѣческой психологіи.

И пути новыхъ людей для русскаго прогресса оказались блудными, слѣпыми путями. Путниковъ толкнули на нихъ благород-

ныя цѣли, но въ борьбѣ за свѣтъ и свободу людямъ мало одного благородства; столь же необходимо еще строго обдуманная оцѣнка жизнеспособности и плодотворности благородной задачи, наравнѣ съ чистотой сердца необходимо вдумчивое самосознаніе. Рыцарь идеи долженъ быть мудрецомъ жизни и въ одинаковой степени обладать силой логическаго мышленія и историческаго смысла.

Новые люди, неумолимые и неотразимые идеологи, не могли въ полгода стать историками и не въ состояніи имъ были помочь даже двадцатилѣтнія, «особенно умныя головы». И ихъ стремительность, пережитый ими взаимный разладъ и личное идейное оскудѣніе съ новой силой подтвердили вѣчный законъ закономѣрнаго культурнаго прогресса и еще рѣзче опредѣлили исторически выработанные принципы русской критики.

Эти принципы, окончательно установленные дѣятельностью Добролюбова, подверглись суровому испытанію при его преемникахъ, безгранично рѣшительныхъ и увлекательно даровитыхъ. Зданіе доказало свою прочность и въ будущемъ ему врядъ ли грозитъ такой бурный, такой самоувѣренный натискъ. Шестидесятые годы закончили кругъ принципіальнаго развитія русской критики, представили блестящіе наглядные примѣры, какъ должны осуществляться принципы: будущее открыто и ясно. Нѣтъ ничего сильнѣе теоріи и жизненнѣе ученія, оправданныхъ историческимъ опытомъ, нѣтъ ничего реальнѣе идеи, выработанной тяжелымъ но свободнымъ историческимъ процессомъ: именно таковы основы русской критики, таковы ея преданія и надежды.

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

Политическая роль французскаго театра въ **связи съ философіей XVIII-го вѣка.** Москва. 1895 г. Цѣна 3 руб. 50 коп.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ. Жизнь. — Личность. — Творчество. С.-Петербургъ. 1896 г. Цѣна 2 руб.

Шекспиръ. С.-Петербургъ. 1896 г. Цѣна 25 коп.

Писемскій. С.-Петербургъ. 1897 г. Цѣна 1 руб.

Учитель взрослыхъ и другъ дѣтей. (Бичеръ-Стоу). Москва. 1898 г. Цѣна 30 коп.

Люди и факты западной культуры. Герой современной легенды. (Наполеонъ). Совѣсть въ исторіи одной жизни. (Мильтонъ). Москва. 1898 г. Цѣна 1 руб.

Національная героиня Франціи (Жанна д'Аркъ). Москва. 1898 г. Цѣна 35 коп.

Бѣлинскій. Москва. 1898 г. Цѣна 10 коп.

Исторія русской критики. Части I и II. С.-Петербургъ. 1898 г. Цѣна 2 руб.

Изъ Западной культуры. С.-Петербургъ. 1899 г. Цѣна 2 руб.

Императоръ Александръ II. Москва. 1899 г. Цѣна 45 коп.

Пушкинъ. Москва. 1899 г. Цѣна 25 коп.

Изъ исторіи Москвы. (1812-й годъ). Москва. 1899 г. Цѣна 30 коп.

Островскій. С.-Петербургъ. 1899 г. Цѣна 25 коп.

Цѣна 2 руб.

U. C. BERKELEY LIBRARIES
C041611243